

Анатоль Франс



*Государственное
издательство
художественной
литературы*

Анатолий Франс

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в восьми томах



Под общей редакцией
Е. А. ГУНСТА, В. А. ДЫННИК,
Б. Г. РЕИЗОВА

Государственное *издательство*
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва *1959*

Анато́ль Франс

ТОМ СЕДЬМОЙ



ВОССТАНИЕ АНГЕЛОВ
МАЛЕНЬКИЙ ПЬЕР
ЖИЗНЬ В ЦВЕТУ
НОВЕЛЛЫ
РАБЛЕ

Переводы с французского

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

ANATOLE FRANCE
ŒUVRES

LA RÉVOLTE DES ANGES
LE PETIT PIERRE
LA VIE EN FLEUR
CONTES ET NOUVELLES
RABELAIS

Фронтиспис работы
художника Б. А. Дехтерева

ВОССТАНИЕ

АНГЕЛОВ

Перевод *М. П. Богословской* и *Н. Я. Рыковой*
под редакцией *Н. Г. Касаткиной*

Глава первая,
*которая в немногих строках излагает историю одной
французской семьи с 1789 года до наших дней*

Особняк д'Эспарвье под сенью св. Сульпиция вы-
сится своими тремя строгими этажами над зеленым,
обомшелым двором и садом, который из года в год тес-
нят все более высокие, все ближе подступающие зда-
ния; но два громадных каштана в глубине все еще
вздывают ввысь свои поблекшие вершины. Здесь с
1825 по 1857 год жил великий человек этой семьи,
Александр Бюссар д'Эспарвье, вице-президент государ-
ственного совета при Июльском правительстве, член
Академии нравственных и политических наук, автор
трехтомного *in octavo* «Трактата о гражданских и ре-
лигиозных установлениях народов», труда, к сожа-
лению, не законченного.

Этот прославленный теоретик либеральной монар-
хии оставил наследником своего рода, своего состояния
и славы Фульгенция-Адольфа Бюссара д'Эспарвье, и
тот, став сенатором при Второй империи *, значительно
увеличил свои владения тем, что скупил участки, через
которые должен был пройти проспект Императрицы, а
сверх того произнес замечательную речь в защиту
светской власти пап.

У Фульгенция было три сына. Старший, Марк-Александр, поступил на военную службу и сделал блестящую карьеру; он умел хорошо говорить. Второй, Гаэтан, не проявил никаких особенных талантов. Он жил большей частью в деревне, охотился, разводил лошадей, занимался музыкой и живописью. Третий, Ренэ, с детства был предназначен в блюстители закона, но, получив должность помощника прокурора, он вышел в отставку, чтобы не участвовать в применении декретов Ферри о конгрегациях; * позднее, когда в правление президента Фальера возвратились времена Деция и Диоклетиана *, он посвятил все свои знания и все усердие служению гонимой церкви.

Со времени Конкордата 1801 года * до последних лет Второй империи все д'Эспарвье, дабы подать пример, аккуратно посещали церковь. Скептики в душе, они считали религию средством, которое способствует управлению. Марк и Ренэ были первыми в роду, проявившими истинное благочестие. Генерал, еще будучи полковником, посвятил свой полк «Сердцу Иисусову» * и исполнял обряды с таким рвением, которое выделяло его даже среди военных, а ведь известно, что набожностью, дочь неба, избрала своим любимым местопребыванием на земле сердца генералов Третьей республики *. И у веры есть свои причуды. При старом режиме вера была достоянием народа, но отнюдь не дворянства и не просвещенной буржуазии. Во времена Первой империи вся армия сверху донизу была заражена безбожием. В наши дни народ не верит ни во что. Буржуазия старается верить, и иногда ей это удается, как удалось Марку и Ренэ д'Эспарвье. Напротив, брат их, сельский дворянин Гаэтан, не преуспел в вере. Он был агностиком, как говорят в свете, чтобы не употреблять неприятного слова «вольнодумец». И он открыто объявлял себя агностиком, вопреки доброму обычаю скрывать такие вещи. В наше время существует столько способов верить и не верить, что грядущим историкам будет стоить немало труда разобраться в этой путанице. Но ведь и мы не лучше

разбираемся в верованиях эпохи Симмаха и Амвросия*.

Ревностный христианин, Ренэ д'Эспарвье был глубоко привержен тем либеральным идеям, которые достались ему от предков как священное наследие. Вынужденный бороться с республикой, безбожной и якобинской, он тем не менее считал себя республиканцем. Он требовал независимости и суверенных прав для церкви во имя свободы. В годы ожесточенных дебатов об отделении церкви от государства* и споров о конфискации церковного имущества соборы епископов и собрания верующих происходили у него в доме.

И когда в большой зеленой гостиной собирались наиболее влиятельные вожди католической партии — прелаты, генералы, сенаторы, депутаты, журналисты, — и души всех присутствующих с умильной покорностью или вынужденным послушанием устремлялись к Риму, а г-н д'Эспарвье, облокотясь на мраморную доску камина, противопоставлял гражданскому праву каноническое и красноречиво изливал свое негодование по поводу ограбления французской церкви, — два старинных портрета, два лика, недвижимые и немые, взирали на это злободневное собрание. Направо от камина портрет работы Давида — Ромэн Бюссар, землепашец из Эспарвье, в куртке и канифасовых штанах, с лицом грубым, хитрым, слегка насмешливым, — у него были основания смеяться: старик положил начало благосостоянию семьи, скупая церковные угодья. Налево — портрет кисти Жерара — сын этого мужика, в парадном мундире, увешанный орденами, барон Эмиль Бюссар д'Эспарвье, префект империи и первый советник министра юстиции при Карле X, скончавшийся в 1837 году церковным старостой своего прихода со стихиками из вольтеровской «Девственницы»* на устах.

Ренэ д'Эспарвье в 1888 году женился на Мари-Антуанетте Купель, дочери барона Купеля, горнозаводчика в Бленвилле (Верхняя Луара); с 1903 года г-жа д'Эспарвье возглавляет общество христианских

матерей. В 1908 году эти примерные супруги выдали замуж старшую дочь; остальные трое детей — два сына и дочь — тогда еще жили с ними.

Младший сын — шестилетний Леон — помещался в комнате рядом с апартаментами матери и сестры Берты. Старший — Морис — занимал маленький, в две комнаты, павильон в глубине сада. Молодой человек наслаждался там полной свободой, благодаря чему жизнь в семье казалась ему сносной. Это был довольно красивый юноша, элегантный, без излишней манерности; легкая улыбка, чуть приподнимавшая уголок его губ, была не лишена приятности.

В двадцать пять лет Морис обладал мудростью Екклезиаста *. Усомнившись в том, чтобы человек мог получить какую-либо пользу от своих земных трудов, он никогда не обременял себя ни малейшим усилием. С самых ранних лет этот юный представитель знатного рода успешно избегал ученья и, так и не отведав университетской премудрости, сумел стать доктором прав и адвокатом судебной палаты.

Он никого не защищал и не выступал ни в каких процессах. Он ничего не знал и не хотел ничего знать, избегая перегружать свои природные способности, милую ограниченность коих он старался щадить, ибо счастливый инстинкт подсказал ему, что лучше понимать мало, чем понимать плохо.

Блага христианского воспитания Морис, по выражению аббата Патуйля, получил свыше. С детства он у себя дома видел примеры христианского благочестия, а когда, окончив коллеж, он был зачислен на юридический факультет, то нашел у родительского очага ученость докторов, добродетель духовников и стойкость порядочных женщин. Соприкоснувшись с общественной и политической жизнью как раз во время великого гонения на французскую церковь *, он не пропустил ни одной манифестации католической молодежи; в дни конфискации он возводил баррикады у себя в приходе и вместе с приятелями выпряг лошадей архиепископа, когда того изгнали из дворца. Однако во всех этих обстоятельствах он проявлял весьма умерен-

ное рвение; никто не видел, чтобы он красовался в первых рядах этого героического воинства, призывая солдат к славному неповиновению, или швырял отбросами в казначейских досмотрщиков и осыпал их бранью.

Он выполнял свой долг — не более того; и если во время великого паломничества 1911 года он отличился в Лурде *, перенося расслабленных, то существует подозрение, что он делал это с целью понравиться г-же де ла Вердельер, которая любит сильных мужчин. Аббат Патуйль, друг семьи и глубокий знаток души человеческой, понимал, что Мориса отнюдь не привлекает мученический венец. Он упрекал его в недостатке рвення и драл за уши, называя бездельником. Но как бы то ни было Морис был верующим. Среди заблуждений юности вера его оставалась нетронутой, ибо он к ней не прикасался. Он никогда не пытался вникнуть ни в один из ее догматов. Ему не приходило в голову задумываться над нравственными принципами, господствовавшими в кругу, к которому он принадлежал. Он принимал их такими, какими их ему преподносили. Поэтому при всех обстоятельствах он выказывал себя вполне порядочным человеком, что было бы выше его сил, если бы он стал размышлять об основах, на которых зиждятся нравы. Он был вспыльчив, горяч, обладал чувством чести и тщательно развивал его в себе. Он не был ни тщеславен, ни заносчив. Как большинство французов, он не любил тратить деньги; если бы женщины не заставляли его делать им подарки, он сам не стал бы ничего им дарить. Он полагал, что презирает женщин, а на самом деле обожал их, но чувственность его была столь непосредственной, что он и не подозревал о ней. Единственное, чего никто не угадывал в нем, да и сам он не знал за собою, хотя об этом и можно было догадаться по теплоте, влажному сиянию, вспыхивавшему иногда в глубине его красивых светлых-карих глаз, — это что он обладал нежной душой, способной к дружбе; а в общем, в обыденной жизни и в своих отношениях с людьми это был довольно пустой малый.

Глава вторая,

в которой читатель найдет полезные сведения об одной библиотеке, где в скором времени произойдут невероятные события

Объятый желанием охватить весь круг человеческих знаний и стремясь придать своему энциклопедическому гению конкретную форму и облик, соответствующий его денежным средствам, барон Александр д'Эспарвье собрал библиотеку в триста шестьдесят тысяч томов и рукописей, большинство которых принадлежало ранее бенедиктинцам из Лигюже.

В особом пункте своего завещания он вменял в обязанность наследникам пополнять после его смерти библиотеку всем, что будет выходить в свет ценного в области естествознания, социологии, политики, философии и религии. Он выделил из оставленного им наследства специальные суммы для этой цели и поручил свою библиотеку заботам старшего сына Фульгенция-Адольфа. И Фульгенций-Адольф с сыновней рачительностью выполнял последнюю волю своего знаменитого отца.

После него эта огромная библиотека, стоимость коей превосходила долю каждого из наследников, осталась не разделенной между тремя сыновьями и двумя дочерьми сенатора. И Ренэ д'Эспарвье, к которому перешел особняк на улице Гарансьер, стал хранителем этого богатейшего собрания. Сестры его, г-жа Поле-де-Сен-Фэн и г-жа Кюиссар, неоднократно настаивали на ликвидации этого громадного и бездоходного имущества, но Ренэ и Гаэтан выкупили долю своих двух сонаследниц, и библиотека была спасена. Ренэ д'Эспарвье занялся даже ее пополнением согласно воле основателя. Однако с каждым годом он сокращал количество и стоимость новых приобретений, основываясь на том, что плодов умственного труда в Европе становится все меньше.

Гаэтан, напротив, из собственных средств пополнял библиотеку новыми, на его взгляд, достойными трудами, выходящими во Франции и за границей, и при этом обнаружил способность к здравому суждению,

хотя братья считали, что у него нет и крупницы здравого смысла. Благодаря этому праздному любознательному человеку книжное собрание барона Александра кое-как держалось на уровне своего времени.

Библиотека д'Эспарвье еще и сейчас — одна из лучших частных библиотек в Европе по богословию, юриспруденции и истории. Вы можете изучать здесь физику, или, лучше сказать, физические науки во всех их разветвлениях, а если вам вздумается, то и метафизику, или метафизические науки, то есть все, что лежит за пределами физики* и не имеет другого названия, ибо невозможно обозначить каким-нибудь существительным то, что не имеет существа, а являет собой лишь мечты и иллюзорные представления. Вы можете наслаждаться здесь философами, которые утверждают, отрицают или разрешают проблему абсолютного, определяют неопределимое и устанавливают границы безграничного. Все что угодно можно найти в этой гряде писаний и писанины, благочестивой и безбожной, — все, вплоть до самого модного, самого элегантного прагматизма*.

Иные библиотеки знамениты более богатым собранием переплетов, которые внушают почтение своей древностью, славятся своим происхождением, пленяют атласистостью и оттенками кожи, — они обратились в драгоценность благодаря искусству золотильщика, вытеснившего на них тончайший узор — виньетки, завитки, гирлянды, кружева, эмблемы, гербы, — и своим нежным блеском чаруют ученых взоры; в других библиотеках вы, может быть, найдете больше манускриптов, которые венецианская, фламандская или туренская кисть украсила тонкими и живыми миниатюрами. Но ни одна из них не превзойдет эту библиотеку богатством собранных в ней отличных, солидных изданий старинных и современных, духовных и светских авторов. В ней можно найти все, что нам осталось от древних веков, всех отцов церкви, апологетов и декреталистов, всех гуманистов Возрождения, всех энциклопедистов, всю философию, всю науку.

Именно это и заставило кардинала Мерлена сказать, когда он соизволил посетить библиотеку:

— Невозможно найти человека, у которого была бы достаточно крепкая голова, чтобы вместить всю ученость, собранную на этих полках. К счастью, в этом нет никакой необходимости.

Когда монсеньер Кашно был викарием в Париже, он там часто занимался и нередко говаривал:

— Здесь хватило бы пищи, чтобы вскормить не одного Фому Аквинского и не одного Ария*, если бы только умы человеческие не утратили былого рвения к добру и злу.

Рукописи бесспорно составляют главное богатство этого колоссального собрания. Среди них особенного внимания заслуживают неизданные письма Гассенди, отца Мерсенна, Паскаля*, которые проливают новый свет на мировоззрение XVII века. Необходимо также отметить древнееврейские писания, талмуды, ученые сочинения раввинов, печатные или рукописные, арамейские и самаритянские тексты на бараньей коже или дощечках из сикоморы, — словом, все те драгоценные древние экземпляры, которые были собраны в Египте и Сирии знаменитым Моисеем Динским и куплены Александром д'Эспарвье за бесценок, когда в 1836 году ученый гебраист умер в Париже от старости и нищеты.

Библиотека д'Эспарвье занимала третий этаж старого особняка. Труды, представлявшие второстепенный интерес, как, например, произведения протестантской экзегетики* XIX и XX веков, приобретенные Гаэтаном д'Эспарвье, были запрятаны непереpletенными в глубоких недрах мансарды. Каталог с дополнениями составлял по меньшей мере восемнадцать томов *in folio*. Каталог этот включал все новые приобретения, и библиотека содержалась в образцовом порядке. В 1895 году г-н Жюльен Сарьетт, архивист-палеограф, человек бедный и скромный, живший уроками, сделался, по рекомендации епископа Агрского, воспитателем юного Мориса и почти с того же времени хранителем библиотеки д'Эспарвье. Одаренный способностью к методическому труду и упорным терпением, Сарьетт сам разнес по отделам все части этого огромного целого. Выработанная и применяемая им система была столь сложна, шифры, которые он ставил на книгах, состояли

из такого количества больших и малых, латинских и греческих букв, арабских и римских цифр с одной, двумя и тремя звездочками, да еще с разными знаками, которыми в арифметике обозначаются степени и корни, что для изучения всего этого надо было потратить больше времени и труда, чем для изучения полного курса алгебры; а так как не нашлось никого, кто бы согласился посвятить уразумению этих темных символов время, которое с большей пользой можно было бы употребить на открытие законов чисел, то один только г-н Сарьетт и был способен разбираться в своих классификациях, и отыскать без его помощи нужную книгу среди трехсот шестидесяти тысяч вверенных ему томов стало раз и навсегда невозможным. Таков был результат его стараний. И это не только не огорчало его, а, наоборот, доставляло ему живейшее удовольствие.

Господин Сарьетт любил свою библиотеку. Он любил ее ревнивой любовью. Каждый день с семи часов утра он уже сидел там за большим столом красного дерева, уткнувшись в каталог. Карточки, исписанные его рукой, наполняли стоявшую возле него монументальную картотеку, на которой красовался гипсовый бюст Александра д'Эспарвьё с развевающимися волосами и вдохновенным взором, с маленькими, как у Шатобриана, бачками у самых ушей, с полураскрытым ртом и оголенной грудью. Ровно в полдень г-н Сарьетт отправлялся завтракать в кафе «Четыре епископа». Кафе это находилось на узкой и темной улице Каннетт; ¹ некогда его посещали Бодлер, Теодор де Банвиль, Шарль Асселино, Луи Менар * и некий испанский гранд, который перевел на язык конкистадоров «Тайны Парижа» *. И утки, которые так славно плещутся на старой каменной вывеске, — благодаря им улица и получила свое название, — приветствовали г-на Сарьетта. Он возвращался оттуда ровно без четверти час и не выходил из библиотеки до семи, когда он опять отправлялся к «Четырем епископам» и усаживался за свой скромный обед, неизменно завершав-

¹ Каннетт (Cannette) — уточка (франц.).

шийся черносливом. Каждый вечер после обеда сюда заглядывал его приятель Мишель Гинардон, которого все звали папаша Гинардон. Это был художник-декоратор, реставратор картин, работавший в церквах. Он являлся к «Четырем епископам» со своего чердака на улице Принцессы выпить кофе с ликером и сыграть с приятелем партию в домино. Рослый, кряжистый, полный жизненных сил, папаша Гинардон был так стар, что трудно себе и представить: он знал Шенавара *. Свирепый блюститель целомудрия, он неустанно обличал распутство современных язычников, пересыпая свою речь самыми чудовищными непристойностями. Он любил поговорить. Сарьетт охотно слушал его. Папаша Гинардон с увлечением рассказывал своему приятелю о часовне Ангелов в церкви св. Сульпиция; там начала местами лупиться живопись, и он собирался ее реставрировать, когда на это будет милость божья, потому что, с тех пор как церковь отделалась от государства, храмы сделались достоянием одного господина и никто не желает тратить денег даже на самый неотложный ремонт. Но папаша Гинардон не гнался за деньгами.

— Михаил — мой покровитель, — говорил он, — а к часовне святых Ангелов у меня особое пристрастие.

Сыграв партию в домино, они поднимались — крошечный Сарьетт и крепкий, как дуб, косматый, как лев, громадный, как св. Христофор, папаша Гинардон — и, беседуя, шли рядом через площадь св. Сульпиция, а ночь спускалась над ними, когда тихая, когда ненастная. Сарьетт обычно отправлялся прямо к себе домой, к великому огорчению художника, который был полуночник и любил поговорить.

На следующий день, ровно в семь, Сарьетт уже сидел у себя в библиотеке, уткнувшись в каталог. Когда кто-нибудь входил в библиотеку, Сарьетт из-за своего письменного стола устремлял на посетителя взор Медузы, заранее ужасаясь тому, что у него сейчас попросят книгу. Он рад был бы обратиться в камень этим взглядом не только чиновников, политиков, прелатов, которые, пользуясь дружескими отношениями с хозя-

ином, приходили попросить нужную книгу, но даже и благодетеля библиотеки г-на Гаэтана, который иногда брал какую-нибудь старенькую, легкомысленную или нечестивую книжицу на случай, если в деревне зарядит дождь, и г-жу Ренэ д'Эспарвье, когда она приходила за книгами для больных своего приюта, и самого г-на Ренэ д'Эспарвье, хотя он обычно довольствовался «Гражданским кодексом» и Даллозом *. Всякий, кто уносил с собой самую ничтожную книжонку, раздирал Сарьетту душу. Чтобы отказать в выдаче книги даже тем, кто имел на нее больше всего прав, он выдумывал тысячи предлогов, иногда удачных, а большей частью совсем неудачных, не останавливался даже перед тем, чтобы оклеветать самого себя, подвергнуть сомнению свою бдительность, и уверял, что книга пропала, затерялась, хотя за несколько секунд до того он ласкал ее взглядом и прижимал к сердцу. И когда ему все-таки, несмотря ни на что, приходилось выдать книгу, он раз двадцать брал ее из рук посетителя, прежде чем вручить окончательно.

Он беспрестанно дрожал от страха, как бы не пропало что-либо из доверенных ему сокровищ. Он хранил триста шестьдесят тысяч томов, и у него вечно было триста шестьдесят тысяч поводов для беспокойства. Ночью он иногда просыпался с жалобным воплем, в холодном поту, ибо ему снилась черная дыра на одной из библиотечных полок.

Ему казалось чудовищным, незаконным и неправым, если книга покидала свою полку. Его благородная скупость приводила в отчаяние г-на Ренэ д'Эспарвье, который не ценил достоинств своего образцового библиотекаря и считал его старым маньяком. Сарьетт понятия не имел об этой несправедливости, но он не побоялся бы самой жестокой немилости, вынес бы бесчестье, оскорбление, лишь бы сохранить в неприкосновенности свое сокровище. Благодаря его упорству, бдительности и рвению, или, чтобы выразить все одним словом, благодаря его страсти, библиотека д'Эспарвье под его опекой не потеряла ни одного листа в течение шестнадцати лет, которые истекли 9 сентября 1912 года.

Глава третья,
котором вводит читателя в область
таинственного

В этот день, в семь часов вечера, расставив, Как всегда, на полках те книги, которые были сняты с них, и удостоверившись, что он оставляет все в полном порядке, он вышел из библиотеки и запер за собой дверь, два раза повернув ключ в замке.

Он пообедал, по обыкновению, в кафе «Четыре епископа», прочел газету «Ла Круа»¹ и к десяти часам вернулся в свою маленькую квартирку на улице Регар. Этот чистый сердцем человек не испытывал ни тревоги, ни предчувствия. Он спокойно спал в эту ночь. Ровно в семь часов на следующее утро он вошел в переднюю библиотеки, снял, по обыкновению, новый сюртук и надел старый, висевший в степном шкафу над умывальником, затем прошел в рабочий кабинет, где в продолжение шестнадцати лет он шесть дней в неделю обрабатывал свой каталог под вдохновенным взором Александра д'Эспарвье, и, намереваясь произвести, как всегда, осмотр помещения, проследовал оттуда в первый, самый большой зал, где Теология и Религия хранились в громадных шкафах, увенчанных гипсовыми, под бронзу, бюстами древних поэтов и ораторов. В оконных нишах стояли два огромных глобуса, изображавшие землю и небо. Но едва только Сарьетт вступил туда, он остановился как вкопанный, не смея усомниться в том, что видит, и в то же время не веря собственным глазам. На синем сукне стола кое-как, кучей, были свалены книги, — одни раскрытые, текстом вверх, другие перевернутые вверх корешками. Несколько *in quarto* беспорядочно громоздились друг на дружку неустойчивой кипой; два греческих лексикона лежали, втиснутые один в другой, образуя единое существо, более чудовищное, чем человеческие пары божественного Платона *. Один *in folio* с золотым обрезом валялся раскрытый, выставляя наружу три безобразно загнутых листа.

¹ «Ла Круа» (La Croix) — «Крест» (франц.).

Выйдя через несколько секунд из своего оцепенения, библиотекарь приблизился к столу и увидел в этой хаотической груде свои драгоценнейшие еврейские, греческие и латинские библии, уникальный талмуд, печатные и рукописные трактаты раввинов, арамейские и самаритянские тексты, синагогальные свитки, короче говоря — редчайшие памятники Израиля, сваленные в кучу, брошенные и растерзанные. Г-н Сарьетт очутился перед лицом чего-то, что было невозможно понять и чему он все же попытался найти объяснение. С какой радостью ухватился бы он за мысль, что виновником этого чудовищного беспорядка был г-н Гаэтан, человек беспринципный, пользовавшийся своими пагубными приношениями в библиотеку для того, чтобы брать из нее книги охапками, когда он бывал в Париже. Но г-н Гаэтан в это время путешествовал по Италии. После нескольких секунд размышления Сарьетт предположил, что, может быть, поздно вечером г-н Ренэ д'Эспарвье взял ключи у своего камердинера Ипполита, который вот уже двадцать пять лет убирал комнаты третьего этажа и мансарду. Правда, г-н Ренэ д'Эспарвье никогда не работал по ночам и не знал древнееврейского языка, но, может быть, думал г-н Сарьетт, может быть, он привел или распорядился проводить в эту залу какого-нибудь священника или монаха Иерусалимского ордена, остановившегося проездом в Париже, какого-нибудь ученого ориенталиста, занимающегося толкованием священных текстов. Затем у г-на Сарьетта мелькнула мысль: не аббат ли Патуйль, который отличался такой любознательностью и имел обыкновение загибать страницы, набросился на все эти библейские тексты и талмуды, объятый внезапным стремлением постигнуть душу Сима *. На секунду он подумал, что, может быть, сам старый камердинер Ипполит, который четверть века подметал и убирал библиотеку, слишком долго отравлялся этой ученой пылью, и вот нынешней ночью, снедаемый любопытством, вздумал портить себе глаза, губить разум и душу, пытаясь при лунном свете разгадать эти непонятные знаки. Г-н Сарьетт дошел до того, что заподозрил юного Мориса. Он мог, вернувшись из клуба или из какого-нибудь собрания на-

ционалистической молодежи, повытаскивать с полок и свалить в кучу эти еврейские книги просто из ненависти к древнему Иакову и его новому потомству, так как этот отпрыск благородного рода заявлял, что он антисемит, и поддерживал знакомство только с теми евреями, которые, как и он, были антисемитами. Конечно, такое подозрение трудно было допустить, но взбудораженный ум Сарьетта, не находя ничего, на чем можно было бы остановиться, блуждал среди самых невероятных предположений. Горя нетерпением узнать правду, ревностный хранитель книг позвал камердинера.

Ипполит ничего не знал. Швейцар, когда его спросили, не мог дать никаких объяснений. Никто из слуг не слышал ничего подозрительного. Сарьетт спустился в кабинет г-на Ренэ д'Эспарвье; тот встретил его в халате и ночном колпаке и, выслушав его рассказ с видом серьезного человека, которому надоедают со всякой чепухой, проводил его со словами, в которых сквозила жестокая жалость:

— Не огорчайтесь так, мой милый Сарьетт, будьте уверены, что книги лежат сегодня утром там же, где вы их вчера оставили.

Господин Сарьетт раз двадцать начинал сызнава опрашивать слуг, ничего не добился и расстроился до такой степени, что не мог спать. На следующий день, в семь часов утра, войдя в залу Бюстов и Глобусов, он нашел все в полном порядке и вздохнул с облегчением. Вдруг сердце у него заколотилось с неистовой силой, — на мраморной доске камина он увидел раскрытый непереpletенный томик in octavo новейшего издания с вложенным в него самшитовым ножом, которым были разрезаны страницы. Это была диссертация, тема которой заключалась в сопоставлении двух текстов Книги Бытия. Некогда г-н Сарьетт отправил ее на чердак, и с тех пор ее ни разу не извлекали оттуда, ибо никто из знакомых г-на д'Эспарвье не интересовался вопросом о том, какая часть этой первой из священных книг приходится на долю толкователя-монотеиста и какая на долю толкователя-политеиста.

На этой книге стоял значок «R <3214 $\frac{VIII}{2}$ ». И вот тут-то

г-ну Сарьетту внезапно открылась горькая истина, что никакая самая ученая нумерация не поможет найти книгу, если ее нет на месте.

Так в течение целого месяца на столе каждый день с утра громоздились целые груды книг. Латинские и греческие тексты валялись вперемежку с древнееврейскими. Сарьетт задавал себе вопрос, не являются ли эти ночные разгромы делом злоумышленников, которые проникают сюда с чердака, через слуховое окно, чтобы похитить редкие и ценные издания. Но никаких следов взлома нигде не было видно, и, несмотря на самые тщательные розыски, он ни разу не обнаружил ни малейшей пропажи. Сарьетт совершенно потерял голову, и его стала преследовать мысль, что, может быть, это какая-нибудь обезьяна из соседнего дома лазает с крыши через камин и орудует здесь, имитируя ученые занятия. «Обезьяны, — рассуждал он, — очень искусно подражают действиям человека». Так как нравы этих животных были известны ему главным образом по картинам Ватто и Шардена, он воображал, что в искусстве повторять чьи-нибудь жесты или передразнивать кого-нибудь они подобны Арлекинам, Скарамушам, Церлианам и Докторам итальянской комедии; * он представлял их себе то с палитрой и кистями, то со ступкой в руке, за приготовлением снадобий, то листающими у горна старинную книгу по алхимии. И когда в одно злосчастное утро он увидел большую чернильную кляксу на странице третьего тома многоязычной библии в голубом сафьяновом переплете, с гербом графа Мирабо, он уже не сомневался больше, что виновницей этого злодеяния была обезьяна. Она пыталась «делать заметки» и опрокинула чернильницу. Очевидно, это была обезьяна какого-нибудь ученого.

Обуянный этой мыслью, Сарьетт тщательно изучил топографию квартала, чтобы точно представить себе расположение домов, среди которых возвышался особняк д'Эспарвье. Затем прошел по всем четырем прилегающим улицам и в каждом подъезде спрашивал, нет ли в доме обезьяны. Он обращался с этим вопросом к привратникам и привратницам, к прачкам, служанкам, к сапожнику, к торговке фруктами, к стекольщику, к

газетчикам, к священнику, к переплетчику, к двум полицейским, к детям, и ему пришлось столкнуться с различием характеров и многообразием человеческих настроений в одном и том же народе, ибо ответы, которые он получал на свои вопросы, были весьма различны: они были иногда суровые, иногда ласковые, грубые и учтивые, простодушные и иронические, многословные и короткие, и даже немые. Но о животном, которое он разыскивал, не было ни слуху ни духу, пока однажды под аркой одного старого дома на улице Сервандони веснушчатая рыжая девчонка, сидевшая в каморке привратника, сказала ему:

— Да, у нас есть обезьяна, у господина Ордоно, хотите посмотреть?

И без дальних разговоров она повела старика в глубину двора, к сараю. Там на прелой соломе, на рваной подстилке, сидела, дрожа, молодая макака, охваченная цепью поперек туловища. Она была ростом с пятилетнего ребенка. Ее посиневшая мордочка, морщинистый лоб, тонкие губы выражали смертельную тоску. Она подняла на посетителя все еще живой взгляд своих желтых зрачков. Потом маленькой сухой ручкой схватила морковку, поднесла ко рту и тут же отшвырнула прочь. Поглядев несколько мгновений на пришедших, пленница отвернулась, как если бы она не ждала ничего больше ни от людей, ни от жизни. Скорчившись, обхватив колено рукой, она сидела не двигаясь, но время от времени сухой кашель сотрясал ее грудь.

— Это Эдгар, — сказала девочка. — Вы знаете, он продается!

Но старый книголюб, который пришел сюда, обьятый гневом и негодованием, ожидая встретить насмешливого врага, коварное чудовище, ненавистника книг, теперь стоял растерянный, подавленный, огорченный перед этим маленьким зверьком, у которого не было ни сил, ни радостей, ни желаний. Поняв свою ошибку, растроганный этим почти человеческим лицом, еще более очеловеченным печалью и страданиями, он опустил голову и сказал:

— Простите.

Глава четвертая,

которая в своей внушительной краткости выносит нас за пределы осязаемого мира

Прошло два месяца; безобразия с книгами не прекращались, и г-н Сарьетт начал подумывать о франк-масонах. Газеты, которые он читал, были полны их преступлениями. Аббат Патуйль считал их способными на самые черные злодеяния и утверждал, что они, вкуче с евреями, замышляют полное разрушение христианского мира.

Они достигли теперь вершины своего могущества, они господствовали во всех крупных государственных органах, заправляли палатами, у них было пять своих людей в министерстве, они занимали Елисейский дворец *. Они уже отправили на тот свет одного президента республики за его патриотизм и затем помогли исчезнуть виновникам и свидетелям своего гнусного злодеяния. Дня не проходило без того, чтобы Париж с ужасом не узнавал о каком-нибудь новом таинственном убийстве, подготовленном в Ложях. Все это были факты, не допускавшие сомнения. Но каким образом преступники проникали в библиотеку? Сарьетт не мог себе этого представить. И что им там было нужно? Почему они привязались к раннему христианству и к эпохе возникновения церкви? Какие нечестивые замыслы были у них? Глубокий мрак покрывал эти чудовищные махинации. Честный католик, архивариус, чувствуя на себе бдительное око сынов Хирама *, заболел от страха.

Едва оправившись, он решил провести ночь в том самом месте, где совершались столь загадочные происшествия, чтобы застигнуть врасплох коварных и опасных гостей. Это было большое испытание для его робкого мужества.

Будучи слабого сложения и беспокойного характера, Сарьетт, естественно, не отличался храбростью. Восьмого января, в девять часов вечера, когда город засыпал под снежной метелью, он жарко растопил камин в зале, украшенном бюстами древних поэтов и мудрецов, и устроился в кресле перед огнем, закутав колени

пледом. На столике перед ним стояла лампа, чашка черного кофе и лежал револьвер, взятый у юного Мориса. Он попытался было читать газету «Ла Круа», но строчки плясали у него перед глазами. Тогда он стал пристально смотреть прямо перед собой и, не видя ничего, кроме мглы, и не слыша ничего, кроме ветра, уснул.

Когда он проснулся, огонь в камине уже погас, догоревшая лампа распространяла едкую вонь; мрак вокруг него был полон каких-то молочно-белых отсветов и фосфоресцирующих вспышек. Ему показалось, будто на столе что-то шевелится. Ужас и холод пронизали его до мозга костей, но, поддерживаемый решимостью, которая была сильнее страха, он встал, подошел к столу и провел рукой по сукну. Ничего не было видно, даже отсветы исчезли, но он нащупал пальцами раскрытый фолиант. Он попробовал было закрыть его, но книга не слушалась и, вдруг подскочив, трижды больно ударила неосторожного библиотекаря по голове. Сарьетт упал без сознания.

С этого дня дела пошли еще хуже. Книги целыми грудами исчезали с полок, и теперь их уже не всегда удавалось водворить на место: они пропадали. Сарьетт каждый день обнаруживал все новые и новые пропажи. Болландисты * были разрознены, не хватало тридцати томов экзегетики. Сарьетт стал не похож на себя. Лицо у него сморщилось в кулачок и пожелтело, как лимон, шея вытянулась, плечи опустились, одежда висела на нем, как на вешалке, он перестал есть и в кафе «Четыре епископа» сидел, опустив голову, и смотрел тупыми, ничего не видящими глазами на блюдец, где в мутном соку плавал чернослив. Он не слышал, как папаша Гинардон сообщил ему, что принимается наконец за реставрацию росписей Делакруа * в церкви св. Сульпиция.

На тревожные заявления своего несчастного хранителя г-н Ренэ д'Эспарвье сухо отвечал:

— Книги просто затерялись где-нибудь, — они не пропали. Ищите хорошенько, господин Сарьетт, ищите получше, и вы их найдете.

А за спиной старика он говорил тихонько:

— Этот бедняга Сарьетт плохо кончит.

— Мне кажется, — заключал аббат Патуйль, — у него что-то с головой не в порядке.

Глава пятая,

где часовня Ангелов в церкви св. Сульпиция дает пищу для размышлений об искусстве и богословии

Часовня св. Ангелов, которая находится справа от входа в церковь св. Сульпиция, была закрыта дощатой загородкой. Аббат Патуйль, г-н Гаэтан, его племянник Морис и г-н Сарьетт вошли гуськом через дверцу, проделанную в загородке, и увидели папашу Гинардона на верхней ступеньке лестницы, приставленной к Илиодору. Старый художник, вооруженный всяческими составами и инструментами, замазывал беловатой пастой трещину, рассекавшую первосвященника Онию. Зефирина, любимая натурщица Поля Бодри, Зефирина, наделившая своими белокурыми волосами и перламутровыми плечами стольких Магдалин, Маргарит, Сильфид и Ундин; Зефирина, которая, как поговаривали, была возлюбленной императора Наполеона III, стояла внизу у лестницы, взлохмаченная, с воспаленными глазами на землистом лице, с обильной растительностью на подбородке и казалась еще древнее, чем папаша Гинардон, с которым она прожила больше полувека. Она принесла в корзинке завтрак художнику.

Несмотря на то, что сквозь решетчатое окно с оправленными свинцом стеклами, сбоку, проникал холодный сдвет, краски Делакруа сверкали, а тела людей и ангелов соперничали в блеске с красной лоснящейся рожой папаша Гинардона, видневшейся из-за колонны храма. Эта стенная роспись в часовне Ангелов, которая вызвала в свое время такие насмешки и глумления, ныне вошла в классическую традицию и обрела бессмертные шедевры Рубенса и Тинторетто.

Старик Гинардон, обросший бородой, косматый, был подобен Времени, стирающему работу Гения. Гаэтан в испуге вскрикнул:

— Осторожней, господин Гинардон, осторожней, не скоблите так.

Художник сказал спокойно:

— Не бойтесь, господин д'Эспарвье. Я не пишу в этой манере. Мое искусство выше. Я работаю в духе Чимабуэ, Джотто, Беато Анжелико *. Я не подражатель Делакруа. Слишком уж здесь много противоречий и контрастов, нет впечатления подлинной святости. Шенавар, правда, говорил, что христианство любит пестроту, но Шенавар был проходимец, нехристь без стыда и совести... Смотрите, господин д'Эспарвье, я шпаклюю щель, подклеиваю отставшие кусочки, и только... Эти повреждения вызваны оседанием стены или, что еще вероятнее, незначительным колебанием почвы; они охватывают очень небольшую площадь. Эта живопись масляными и восковыми красками по очень сухой грунтовке оказалась более прочной, чем можно было думать. Я видел Делакруа за работой. Стремительный, но не уверенный, он писал лихорадочно, то и дело счищал, клал слишком много краски. Его мощная рука водила кистью иной раз с детской неловкостью. Это написано с мастерством гения и неопытностью школяра. Просто чудо, что все это еще держится.

Старик замолчал и снова принялся заделывать трещину.

— Как много в этой композиции классического и традиционного, — заметил Гаэтан. — Когда-то в ней видели только ошеломляющее новаторство. А теперь мы находим в ней бесчисленные следы старых итальянских образцов.

— Я могу позволить себе роскошь быть справедливым, я располагаю для этого всеми возможностями, — отозвался старик с высоты своего горделивого помоста. — Делакруа жил во времена нечестия и богохульства. Этот живописец упадка был не лишен гордости и величия. Он был лучше своей эпохи, но ему не доставало веры, простосердечия, чистоты. Чтобы видеть и писать ангелов, ему не хватало ангельской добродетели.

тели, которой дышат примитивы, той высшей добродетели целомудрия, которую я с божьей помощью всегда старался соблюдать.

— Молчи, Мишель, ты тоже свинья, как и все.

Это восклицание вырвалось у Зефирины, снедаемой ревностью, потому что еще сегодня утром она видела, как ее любовник обнимал на лестнице дочку булочницы, юную Октавию, грязную, но сияющую, словно Рембрандтова невеста. В давно минувшие дни прекрасной юности Зефирина была без памяти влюблена в своего Мишеля, и любовь еще не угасла в ее сердце.

Папаша Гинардон принял это лестное оскорбление с еле скрытой улыбкой и возвел очи к небу, где архангел Михаил, грозный под своим лазурным панцирем и алым шлемом, возносился в сиянье славы.

Между тем аббат Патуйль, заслонясь шляпой от резкого света, льющегося из окна, и прищурив глаза, рассматривал по очереди Илиодора, бичуемого ангелами, архангела Михаила, победителя демонов, и Иакова, который борется с ангелом.

— Все это очень хорошо, — пробормотал он наконец, — но почему живописец изобразил на этих стенах только гневных ангелов? Сколько я ни разглядываю эту роспись, я вижу здесь только глашатаев небесного гнева, вершителей божественного мщения. Бог хочет, чтоб его боялись, но он хочет также, чтобы его любили. Как отраднo было бы увидеть на этих стенах вестников милосердия и мира. Как хотелось бы, например, узреть здесь Серафима, очистившего уста пророка; святого Рафаила, сошедшего вернуть зрение престарелому Товии; Гавриила, возвещающего Марии тайну святого зачатия; ангела, разрешившего от уз святого Петра; херувимов, которые уносят преставившуюся святую Екатерину на вершину Синая, а всего лучше было бы созерцать здесь ангелов-хранителей, которых бог дает всем людям, крещенным во имя его. У всякого из нас есть свой ангел, он сопутствует каждому нашему шагу, утешает и поддерживает нас. Какое счастье было бы любоваться здесь в часовне этими небесными духами, полными очарования, этими восхитительными образами!

— Ах, господин аббат, — всякому свое, — ответил Гаэтан. — Делакруа был не из кротких. Старик Энгр до известной степени прав; он говорил, что живопись этого великого человека пахнет серой. Присмотритесь-ка к этим ангелам, — какая великолепная и мрачная красота! А эти гордые и свирепые андрогины*, эти жестокие отроки, заносащие над Илиодором карающие бичи! И этот таинственный борец, который разит патриарха в бедро.

— Тсс, — оказал аббат Патуйль, — этот ангел в библии не похож на других; если это ангел, то ангел-звездитель, предвечный сын божий. Я удивляюсь, как почтенный кюре святого Сульпиция, который поручил господину Эжену Делакруа роспись этой часовни, не осведомил его, что символическая борьба патриарха с тем, кто не пожелал открыть свое имя, происходила глубокой ночью и что здесь не место этому сюжету, ибо он касается воплощения Иисуса Христа. Лучшие живописцы могут впасть в заблуждение, если не позаботятся получить от авторитетных духовных лиц указания по вопросам христианской иконографии. Каноны христианского искусства составляют предмет многочисленных исследований, которые вам, конечно, известны, господин Сарьетт.

Сарьетт водил по сторонам ничего не видящими глазами. Это было на третье утро после ночного происшествия в библиотеке. Однако, услышав вопрос почтенного аббата, он напряг свою память и ответил:

— По этому вопросу полезно почитать Молануса «De historia sacrarum imaginum et picturarum»¹, издание Ноэля Пако, Лувен, 1771 год, или кардинала Федерико Борромео «De pictura sacra»², можно также заглянуть в иконографию Дидрона, но этим последним трудом следует пользоваться с осторожностью.

Сказав это, Сарьетт снова погрузился в молчание. Он думал о своей расхищенной библиотеке.

¹ «Об истории священных изображений и картин» (лат.).

² «О духовной живописи» (лат.).

— С другой стороны, — продолжал аббат Патуйль, — уж если в этой часовне надо было показать примеры ангельского гнева, следует только похвалить живописца за то, что он, по примеру Рафаэля, изобразил небесных посланцев, карающих Илиодора. Илиодор, которого сирийский царь Селевк послал похитить сокровища храма, был повержен ангелом, явившимся ему в золотых доспехах на роскошно убранном коне. Два других ангела стали бичевать Илиодора лозами. Он пал на землю, как это изображает здесь господин Делакруа, и был окутан мраком. Было бы справедливо и полезно, чтобы история эта служила примером республиканским полицейским комиссарам и нечестивым агентам по реквизиции. Илиодоры никогда не переведутся, но пусть знают, что всякий раз, как они наложат руку на достояние церкви, которое есть достояние бедных, ангелы будут бичевать и ослеплять их. Мне бы хотелось, чтобы эту картину или, пожалуй, еще более совершенное творение Рафаэля на ту же тему напечатали небольшим форматом в красках и раздавали школьникам в виде награды.

— Дядя, — сказал, зевнув, юный Морис, — по-моему, эти штуки просто уродливы. Матисс или Метценже * мне нравятся куда больше.

Никто не слышал его слов, и папаша Гинардон продолжал вещать со своей лестницы:

— Только мастером примитива дано было узреть небо. Истинную красоту в искусстве можно найти только между тринадцатым и пятнадцатым веками. Античность, распутная античность, которая с шестнадцатого века снова подчиняет умы своему пагубному влиянию, внушает поэтам и живописцам преступные мысли, непристойные образы, чудовищную разнузданность, всяческое бесстыдство. Все живописцы Возрождения были бесстыдники, не исключая Микеланджело.

Но тут, видя, что Гаэтан собирается уходить, папаша Гинардон сделал умильное лицо и тихонько зашептал ему:

— Господин Гаэтан, если вас не пугает мысль взобраться на шестой этаж, загляните как-нибудь в мою каморку. Есть у меня две-три небольших картинки,

которые я хотел бы сбить с рук. Вам они, наверно, понравятся. Написано хорошо, смело, по-настоящему. Кстати, я показал бы вам одну маленькую штучку Бодуэна *, до того аппетитную, смачную, что прямо слюнки текут.

На этом они распрощались, и Гаэтан вышел. Сходя с паперти и поворачивая на улицу Принцессы, он обнаружил рядом с собой Сарьетта и ухватился за него, как ухватился бы за любое человеческое существо, дерево, фонарный столб, собаку или даже собственную тень, чтобы высказать свое негодование по поводу эстетических теорий старого художника.

— Этакую дичь несет этот папаша Гинардон со своим христианским искусством и примитивами! Да ведь все что ни есть небесного у художников, все взято на земле: бог, пречистая дева, ангелы, святые угодники и угодницы, свет, облака. Когда старик Энгр расписывал витражи часовни в Дре, он сделал карандашом с натуры прекрасный, тончайший набросок нагой женщины, который можно видеть среди многих других рисунков в музее Бонна в Байонне. Внизу листа папаша Энгр написал, чтоб не забыть: «Мадемуазель Сесиль, замечательные ноги и бедра». А чтоб сделать из мадемуазель Сесиль святую, он напялил на нее платье, мантию, покрывало и этим постыдно изуродовал ее, потому что никакие лионские и генуэзские ткани не сравнятся с живой юной тканью, окрашенной чистой кровью в розовый цвет, и самая роскошная драпировка ничто по сравнению с линиями прекрасного тела; да и всякая одежда — в конце концов незаслуженный срам и худшее из унижений для цветущей и желанной плоти.

На улице Гарансьер Гаэтан ступил не глядя на лед замерзшей канавки и продолжал:

— Этот папаша Гинардон вредный идиот, он поносит античность, святую античность, те времена, когда боги были добрыми. Он превозносит эпоху, когда и живописцам и скульпторам приходилось всему учиться заново: На самом деле христианство было враждебно искусству, потому что оно порицало изучение нагого тела. Искусство есть воспроизведение природы, а самая

что ни на есть подлинная природа — это человеческое тело, это нагота.

— Позвольте, позвольте, — забормотал Сарьетт, — существует красота духовная, так сказать, внутренняя, и христианское искусство, начиная с Фра Анджелико вплоть до Ипполита Фландрена *...

Но Гаэтан ничего не слушал и продолжал говорить, обращаясь со своей страстной речью к камням старой улицы и к снеговым облакам, которые проплывали над его головой.

— Нельзя говорить о примитивах как о чем-то едином, потому что они совершенно различны. Этот старый болван валит всех в одну кучу. Чимабуэ — испорченный византиец; в Джотто угадывается могучий талант, но рисовать он не умеет и, словно ребенок, приставляет одну и ту же голову ко всем своим фигурам; итальянские примитивы полны радости и изящества, потому что они итальянцы; у венецианцев есть инстинкт колорита. Но все эти замечательные ремесленники больше разукрашивают и золотят, чем пишут. У вашего Беато Анджелико, на мой вкус, слишком нежное сердце и палитра. А вот фламандцы — это уже совсем другое дело; они набили руку, и по блеску мастерства их можно поставить рядом с китайскими лакировщиками. Техника у братьев Ван-Эйк просто чудесная. А все-таки в «Поклонении агнцу» я не нахожу ни той таинственности, ни того очарования, о котором столько говорят. Все это написано с неумолимым совершенством, но все так грубо по чувству и беспощадно уродливо! Мемлинг, может быть, и трогателен, но у него все какие-то немощные да калеки, и под роскошными тяжелыми бесформенными одеяниями его дев и мучениц чувствуется хилая плоть. Я не ждал, пока Рогир ван дер Вейден переименуется в Роже де ла Патюр и превратится во француза, чтоб предпочесть его Мемлингу. Этот Рогир, или Роже, уже не столь наивен, но зато он более мрачен, и уверенность мазка только подчеркивает на его полотнах убожество форм. Что за странное извращение — восхищаться этими постыдными фигурами, когда на свете существует живопись Леонардо, Тициана, Корреджо, Веласкеса, Рубенса,

Рембрандта, Пуссена и Прудона. Ну, право же, в этом есть какой-то садизм!

Между тем аббат Патуйль и Морис д'Эспарвье медленно шагали позади эстета и библиотекаря. Аббат Патуйль, обычно не склонный вести богословские беседы с мирянами и даже с духовными лицами, на этот раз, увлекшись интересной темой, рассказывал юному Морису о святом служении ангелов-хранителей, которых г-н Делакруа, к сожалению, не включил в свои росписи. И чтобы лучше выразить мысль об этом возвышенном предмете, аббат Патуйль заимствовал у Боссюэ * обороты, выражения и целые фразы, которые он в свое время вызубрил наизусть для своих проповедей, ибо он был весьма привержен к традиции.

— Да, дитя мое, господь приставил к каждому из нас духа-покровителя. Они приходят к нам с его дарами и относят ему наши молитвы. Это их назначение. Ежечасно, ежеминутно они готовы прийти к нам на помощь, эти ревностные, неутомимые хранители, эти неусыпные стражи.

— Да, да, это замечательно, господин аббат, — подкинул Морис, обдумывая в то же время, что бы ему такое половчее сочинить, чтобы растрогать мать и выудить у нее некоторую сумму денег, в которой он чрезвычайно нуждался.

Глава шестая,

где Сарьетт находит свои сокровища

На следующее утро г-н Сарьетт ворвался без стука в кабинет г-на Ренэ д'Эспарвье. Он вздымал руки к небу; редкие его волосы торчали дыбом. Глаза округлились от ужаса. Едва ворочая языком, он сообщил о великом несчастье: древнейший манускрипт Иосифа Флавия *, шестьдесят томов различного формата, бесценное сокровище — «Лукреций» с гербом Филиппа Вандомского *, великого приора Франции, и собственноручными пометками Вольтера, рукопись Ришара Симона * и переписка Гассенди с Габриэлем Нодэ * — сто

тридцать восемь неизданных писем — все исчезло. На этот раз хозяин библиотеки встревожился не на шутку. Он поспешно поднялся в залу Philosophes и Sphères и тут собственными глазами убедился в размерах опустошения. На полках там и сям зияли пустые места. Он принялся шарить наугад, открыл несколько стеновых шкафов, нашел там метелки, тряпки и огнетушители, разгреб лопаткой уголь в камине, встряхнул парадный сюртук Сарьетта, висящий в умывальной, и в унынии воззрился снова на пустое место, оставшееся от писем Гассенди. Целых полвека весь ученый мир громогласно требовал опубликования этой переписки. Г-н Ренэ д'Эспарвье оставался глух к этому единодушному призыву, не решаясь ни взять на себя столь трудную задачу, ни доверить ее кому-либо другому. Обнаружив в собрании писем большую смелость мысли и множество мест чересчур вольных для благочестия двадцатого века, он предпочел оставить эти страницы неизданными; но он чувствовал ответственность за свое драгоценное достояние перед родиной и перед всем культурным человечеством.

— Как могли вы допустить, чтоб у вас похитили такое сокровище? — строго спросил он у Сарьетта.

— Как я мог допустить, чтобы у меня похитили такое сокровище? — повторил несчастный библиотекарь. — Если б мне рассекли грудь, сударь, то увидели бы, что этот вопрос врезан в моем сердце.

Нимало не тронутый столь сильным выражением, г-н д'Эспарвье продолжал, сдерживая гнев:

— И вы не находите ровно ничего, что могло бы вас навести на след похитителя, господин Сарьетт? У вас нет никаких подозрений? Ни малейшего представления о том, как это могло случиться? Вы ничего не видели, не слышали, не замечали? Ничего не знаете? Согласитесь, что это невероятно. Подумайте, господин Сарьетт, подумайте о последствиях этой неслыханной кражи, совершившейся у вас на глазах. Бесценный документ истории человеческой мысли исчезает бесследно. Кто его украл? С какой целью? Кому это понадобилось? Похитившие его, разумеется, прекрасно знают, что сбить с рук этот документ здесь, во Фран-

ции, невозможно. Они продадут его в Америку или в Германию. Германия охотится за такими литературными памятниками. Если переписка Гассенди с Габриэлем Нодэ попадет в Берлин и немецкие ученые опубликуют ее — какое это будет несчастье, я бы сказал даже, какой скандал! Господин Сарьетт, вы подумали об этом?

Под тяжестью этих обвинений, тем более жестоких, что он и сам, не переставая, винил себя, Сарьетт стоял неподвижно и тупо молчал.

А господин д'Эспарвье продолжал осыпать его горькими упреками:

— И вы не пытаетесь ничего предпринять? Вы не прилагаете никаких стараний, чтоб найти это неоценимое сокровище? Ищите, господин Сарьетт, не сидите сложа руки. Постарайтесь придумать что-нибудь, дело стоит того.

И, бросив ледяной взгляд на своего библиотекаря, г-н д'Эспарвье удалился.

Господин Сарьетт снова принялся искать пропавшие книги и рукописи; он искал их повсюду, там, где искал уж сотни раз, и там, где они никак не могли находиться, — в ведре с углем, под кожаным сидением своего кресла; когда часы пробили двенадцать, он машинально пошел вниз. Внизу, на лестнице, он встретил своего бывшего воспитанника Мориса и молча поздоровался. Но перед глазами у него стоял сплошной туман, и он смутно различал людей и окружающие предметы.

Удрученный хранитель библиотеки уже выходил в вестибюль, когда Морис окликнул его:

— Да, кстати, господин Сарьетт, я чуть было не забыл: велите-ка забрать старые книги, которые свалили у меня в павильоне.

— Какие книги, Морис?

— Право, не могу сказать, господин Сарьетт, какое-то старье на древнееврейском и еще целая куча старых бумаг. Прямо завалено все. У меня в передней повернуться негде.

— Кто же это принес?

— А черт их знает.

И молодой человек быстро прошел в столовую, так как завтракать звали уже несколько минут тому назад.

Сарьетт бросился в павильон. Морис сказал правду. На столах, на стульях, на полу валялось не меньше сотни томов. При виде этого зрелища, полный удивления и смятения, не помня себя от восторга и страха, радуясь, что он нашел исчезнувшее сокровище, страшась, как бы не потерять его снова, ошеломленный этой неожиданностью, старый книжник то лепетал, как ребенок, то хрипло вскрикивал, как сумасшедший. Он узнал свои древнееврейские библии, свои старые талмуды, древнейший манускрипт Иосифа Флавия, письма Гассенди к Габриэлю Нодэ и величайшую свою драгоценность — «Лукреция» с гербом великого приора Франции и собственноручными пометками Вольтера. Он смеялся, он плакал, он бросался целовать сафьян, телячью кожу, пергамент, веленевые страницы и деревянные переплеты, изукрашенные гвоздиками. И по мере того как камердинер Ипполит переносил книги, охапку за охапкой, в библиотеку, Сарьетт трясущимися руками благоговейно расставлял их по местам.

Глава седьмая,

*весьма любопытная и мораль коей, я надеюсь, придет-
ся по вкусу большинству читателей, ибо ее можно
выразить следующим горестным восклицанием: «Куда
ты влечешь меня, о мысль!» Недаром всеми призна-
ется сия истина, что мыслить вредно и подлинная
мудрость заключается в том, чтобы ни о чем не
размышлять*

Благоговейными руками Сарьетта все книги снова были собраны вместе, но это счастливое объединение их длилось недолго. В следующую же ночь опять исчезло двадцать томов, и среди них «Лукреций» приора Вандомского. На протяжении недели древние тексты Ветхого и Нового завета, греческие и еврейские, снова переместились в павильон, и в течение всего месяца, каждую ночь, покидая свои полки, они таинственно

направлялись по тому же пути. Некоторые же книги исчезали неизвестно куда.

Выслушав рассказ об этих непостижимых событиях, г-н Ренэ д'Эспарвье безо всякого сочувствия ска- зал своему библиотекарю:

— Все это очень странно, мой бедный Сарьетт, по- истине чрезвычайно странно.

А когда Сарьетт посоветовал подать жалобу или уведомить комиссара полиции, г-н д'Эспарвье вос- кликнул:

— Что вы предлагаете, господин Сарьетт? Предать гласности наши семейные секреты? Поднять шум? Вы понимаете, что говорите? У меня есть враги, и я гор- жусь этим. Я полагаю, что заслужил их ненависть. А вот на что я мог бы пожаловаться, так это на беше- ные нападки сторонников моей же партии, ярых рояли- стов. Я готов признать, что они, быть может, прекрас- ные католики, но весьма недостойные христиане... Ко- роче говоря, за мной следят, шпионят, наблюдают, а вы предлагаете мне выдать на поношение газетчикам смехотворную загадку, нелепейшее происшествие, в котором мы с вами играем довольно-таки жалкую роль. Вы что, хотите сделать меня посмешищем?

В результате этой беседы решено было переменить все замки в библиотеке. Обсудили все в подробностях, позвали рабочих. В течение шести недель особняк д'Эспарвье с утра до вечера оглашался стуком молот- ков, скрипением сверл, скрежетом напильников. В зале Философов и Сфер зажигались паяльные лампы, и за- пах бензина вызывал тошноту у обитателей особняка. Старые, мирные, послушные замки сменились в дверях и шкафах новыми, прихотливыми и упрямыми. Это были запоры сложного устройства, висячие замки с шифром, предохранительные засовы, болты, цепи, электрические сигнализаторы. Вся эта железная меха- ника наводила страх. Металлические скобы сверкали, затворы скрипели. Чтобы открыть какую-нибудь дверь, какой-нибудь шкаф или ящик, нужно было знать осо- бый шифр, известный только г-ну Сарьетту. Голова его была набита причудливыми словами, огромными цифрами, он путался в этой тайнописи, в квадратных,

кубических корнях и треугольных числах. Сам он уже не мог открыть ни одной двери, ни шкафа, но каждое утро он находил их широко распахнутыми, а книги переставленными, разбросанными, расхищенными. Однажды ночью полицейский подобрал в сточной канаве на улице Сервандони брошюру Саломона Рейнака о тождестве Вараввы и Иисуса *. Так как на ней стояла печать библиотеки д'Эспарвье, он принес ее владельцу.

Господин Ренэ д'Эспарвье, даже не соблаговолив поставить в известность г-на Сарьетта, решил обратиться к одному из своих друзей, человеку, заслуживающему доверия, г-ну дез Обель, который в качестве советника судебной палаты расследовал несколько серьезных дел. Это был маленький, кругленький человек с очень красной физиономией и очень большой лысиной. Его голый череп напоминал бильярдный шар. Как-то раз утром он явился в библиотеку, прикинувшись библиофилом, но тотчас же обнаружилось, что в книгах он ничего не смыслит. Меж тем как все бюсты древних философов отражались ровным кругом на его лысине, он задавал г-ну Сарьетту коварные вопросы, а тот смущался и краснел, ибо нет ничего легче, как смутить невинность. С этой минуты г-н дез Обель проникся сильным подозрением, что именно Сарьетт и является виновником всех этих краж, о которых сам же вопит. И он решил тотчас же приступить к поискам сообщников. Что касается мотивов преступления, — этим он не интересовался: мотивы всегда найдутся. Г-н дез Обель предложил г-ну Ренэ д'Эспарвье учредить секретное наблюдение за особняком с помощью агента из префектуры.

— Я позабочусь, — сказал он, — чтобы вам дали Миньона, — прекрасный работник, внимательный, осторожный.

На следующий день с шести часов утра Миньон уже прогуливался перед особняком д'Эспарвье. Втянув голову в плечи, выпустив напомаженные кудерьки из-под узких полей котелка, эта весьма примечательная фигура с ускользящим взглядом, с огромными, густочерными усами, с гигантскими ручищами и ножищами,

мерно прохаживалась взад и вперед от ближайшей из колонн с бараньими головами, украшающих особняк де ла Сордьер, до конца улицы Гарансьер, к абсиде церкви св. Сульпиция и к часовне Богородицы. С этого дня нельзя было ни выйти из особняка д'Эспарвье, ни войти туда, не почувствовав, что следят за каждым вашим движением и даже за вашими мыслями. Миньон был необыкновенным существом, наделенным свойствами, в которых природа отказывает другим людям. Он не ел и не спал: в любой час дня и ночи, в ненастье, в ливень, его можно было видеть перед особняком, и никого не щадили радиолучи его взоров. Каждый чувствовал себя пронизанным насквозь, до мозга костей, не только оголенным, а много хуже — скелетом. Это было делом одной секунды; агент даже не останавливался, а проходил мимо, продолжая свою бесконечную прогулку. Положение стало невыносимым. Юный Морис угрожал, что не вернется под родительский кров, пока будет продолжаться это просвечивание. Его мать и сестра Берта жаловались на этот пронизывающий взгляд, оскорблявший их целомудренную стыдливость. Мадемуазель Капораль, гувернантка маленького Леона д'Эспарвье, страдала от неизъяснимого смущения. Раздраженный г-н Ренэ д'Эспарвье не переступал порога своего дома, не надвинув предварительно шляпу на глаза, чтобы избежать этих прощупывающих лучей, и всякий раз проклинал старика Сарьетта — источник и причину всего зла. Свои, близкие люди, аббат Патуйль и дядя Гаэтан, заходили теперь реже. Гости прекратили обычные визиты, поставщики перестали доставлять продукты, фуры больших магазинов не решались останавливаться у ворот. Но самую сильную неурядицу вызвала эта слежка среди прислуги. Камердинер, не решаясь под бдительным оком полиции навещать жену сапожника, когда она после обеда хозяйничала у себя дома одна, заявил, что служить в этом доме невыносимо, и попросил расчета; Одиль, горничная г-жи д'Эспарвье, обычно, уложив спать свою госпожу, впускала к себе в мансарду Октава, самого красивого приказчика из соседнего книжного магазина, а теперь, не рискуя принимать его, загрустила, стала раздражительной, нерв-

ной; причесывая свою госпожу, дергала ее за волосы, говорила дерзости и наконец начала делать глазки юному Морису; кухарка, г-жа Мальгуар, женщина серьезная, лет пятидесяти, которую перестал посещать Огюст, приказчик из винной лавки на улице Сервандони, была не в состоянии перенести лишение, столь тяжкое для ее темперамента, и сошла с ума: подала своим хозяевам на обед сырого кролика и объявила, что к ней сватается сам папа. Наконец, после двух месяцев сверхчеловеческого усердия, противного всем известным законам органической жизни и необходимым условиям существования животного мира, агент Миньон, не обнаружив ничего противозаконного, прекратил свою службу и без единого слова удалился, отказавшись от всякой mzды. А книги в библиотеке продолжали плясать вовсю.

— Отлично, — оказал г-н дез Обель, — раз никто не входит и не выходит, следовательно злоумышленник обретается в доме.

Этот чиновник полагал, что можно разыскать преступника без всяких допросов и обысков. В условленный день, в полночь, он велел густо усыпать тальком пол в библиотеке, ступени лестницы, вестибюль, аллею, ведущую к павильону Мориса, и переднюю павильона. На следующее утро г-н дез Обель с фотографом из префектуры, в сопровождении г-на Ренэ д'Эспарвье и г-на Сарьетта, явились снимать отпечатки следов. В саду ничего не оказалось, — тальк унесло ветром. В павильоне тоже ничего не нашли.

Юный Морис сказал, что он вымел белую пыль метлой, полагая, что это чья-то скверная шутка. На самом же деле он поторопился уничтожить следы, оставленные башмачками Одиль, горничной г-жи д'Эспарвье. На лестнице и в библиотеке были обнаружены на некотором расстоянии один от другого очень слабые отпечатки босой ступни, которая словно скользила по воздуху и только едва прикасалась к полу. Таких следов было найдено пять. Самый отчетливый из них оказался в зале Бюстов и Сфер около стола, где были навалены книги. Фотограф из префектуры сделал несколько снимков с этого следа.

— Вот это-то и есть самое страшное, — пробормотал Сарьетт.

Господин дез Обель не сумел скрыть свое недоумение.

Три дня спустя антропометрический отдел префектуры прислал обратно переданные ему снимки, сообщив, что экземпляров, подобных этим, в его материалах не усматривается. После обеда г-н Ренэ показал эти фотографии своему брату Газтану, который долго и внимательно разглядывал их и, помолчав, оказал:

— Ясное дело, что у них в префектуре не может быть ничего подобного. Это нога античного атлета или бога. Ступня, которая оставила этот след, представляет собой совершенство, неизвестное среди народов наших рас и в нашем климате. Большой палец изумительной формы, а пятка поистине божественна.

Ренэ д'Эспарвье крикнул, что брат сошел с ума.

— Поэт, — вздохнула г-жа д'Эспарвье.

— Дядя, — заметил Морис, — вы, пожалуй, влюбитесь в эту ногу, если когда-нибудь увидите ее.

— Такова была судьба Виван-Денона*, который сопровождал Бонапарта в Египет, — ответил Газтан. — В Фивах в одной крипте, разграбленной арабами, Девон нашел ногу мумии чудесной красоты. Он созерцал ее с необыкновенной пылкостью. «Это ножка молодой женщины, — рассуждал он сам с собой. — Должно быть, это была какая-нибудь царица, прелестное создание; никогда обувь не уродовала этих совершенных линий». Денон любовался, восхищался ею и наконец влюбился в нее. Рисунок этой ножки имеется в атласе путешествий Денона по Египту, а за ним не надо далеко ходить, его можно было бы перелистать там наверху, если б старик Сарьетт позволял заглядывать в какие бы то ни было книги своей библиотеки.

Иногда, проснувшись ночью, Морис, лежа в постели, слышал в соседней комнате словно шелест перелистываемых страниц или легкий стук падающей на пол книги. Однажды он вернулся домой часов в пять утра, после большого проигрыша в клубе, и, стоя на пороге павильона, шарил в карманах, разыскивая ключи, как

вдруг до него отчетливо донесся чей-то голос, кто-то со вздохом шептал:

— Познание, куда ты ведешь меня? Куда ты влечешь меня, мысль?

Но когда он вошел в комнату и заглянул в другую, он увидел, что там никого нет, и решил, что это ему показалось.

Глава восьмая,

где говорится о любви, что, конечно, понравится читателю, ибо повесть без любви все равно что колбаса без горчицы: вещь пресная

Морис ничему не удивлялся, он не пытался проникнуть в корень вещей и спокойно жил в мире явлений. Не отрицая того, что вечная истина существует, он, влекомый своими желаниями, устремлялся за суетными формами.

Не увлекаясь особенно спортом и физическими упражнениями, как это делала большая часть молодых людей его поколения, он бессознательно оставался верен любовным традициям своей нации. Французы всегда были самыми галантными людьми на свете, и было бы очень досадно, если бы они потеряли это свое преимущество. Морис сохранил его; он не был влюблен ни в одну женщину, но он «любил любить», как говорит блаженный Августин. Отдав должное несокрушимой красоте и тайным ухищрениям г-жи де ла Вердельер, он вкусил мимолетной нежности некоей юной певицы по имени Люсиоль; теперь он без всякого удовольствия переносил самое обыкновенное распутство горничной своей матери, Одиль, и слезливое обожание прекрасной г-жи Буатье, и в сердце у него была великая пустота. Но вот однажды в среду, зайдя в гостиную, где его мать принимала знакомых дам, большей частью суровых и малопривлекательных, вперемежку со стариками и совсем зелеными юношами, он вдруг заметил в этой привычной обстановке г-жу дез Обель, жену того самого советника судебной палаты, к

которому г-н Ренэ д'Эспарвье без всякого результата обращался по поводу таинственных хищений в библиотеке. Она была молода; он нашел ее хорошенькой, и не без основания. Жильберту вылепил гений Женственности, и никакой другой гений не помогал ему в этой работе. Поэтому все в ней возбуждало желание, ничто — ни ее внешность, ни самое ее существо — не внушало никаких иных чувств. И мысль, которая притягивает миры друг к другу, подвинула юного Мориса приблизиться к этому прелестному созданию. Вот почему он предложил ей руку и повел ее к чайному столу. И когда Жильберте был подан чай, Морис сказал ей:

— А ведь мы с вами могли бы сговориться. Вы как на это смотрите?

Он сказал так, следуя современным правилам, чтоб избежать пошленьких комплиментов и избавить женщину от скучной необходимости выслушивать старомодные признания, в которых нет ничего, кроме туманной неопределенности, и которые поэтому не позволяют ответить просто и ясно. И, пользуясь возможностью поговорить украдкой с г-жой дез Обель в течение нескольких минут, он изъяснялся коротко и настоятельно. Жильберта была, пожалуй, больше создана для того, чтобы возбуждать желания, нежели для того, чтобы их испытывать. Однако она отлично понимала, что ее предназначение — любить, и она охотно и с удовольствием следовала ему. Морис не то чтобы совсем не нравился ей, но она предпочла бы, чтобы он был сиротой, по опыту зная, сколько разочарований несет за собой любовь к сыну почтенного семейства.

— Так, значит, решено? — сказал он в виде заключения.

Она сделала вид, что не понимает, и вдруг, задержав у самых губ кусочек страсбургского пирога, подняла на Мориса удивленные глаза.

— Что? — спросила она.

— Вы отлично знаете.

Госпожа дез Обель опустила глаза, отпила глоток чаю и ничего не ответила. Ее скромность еще не была побеждена.

Между тем Морис, взяв из ее рук пустую чашку, продолжал:

— В субботу, в пять часов, улица Рима, сто двадцать шесть, первый этаж, под аркой, дверь направо; постучите три раза.

Госпожа дез Обель подняла на сына почтенных хозяев дома строгие и спокойные глаза и уверенным шагом вернулась в круг порядочных женщин, которым в эту минуту сенатор Ле Фоль объяснял, как действует прибор для искусственного выведения цыплят в сельскохозяйственной колонии Сен-Жюльен.

В субботу в холостой квартире на улице Рима Морис ждал г-жу дез Обель. И ждал напрасно. Маленькая ручка не постучала три раза в дверь под аркой. Морис с досады разразился проклятиями по адресу отсутствующей, обзывая ее про себя тварью и мерзавкой. Напрасные надежды и обманутые желания делали его несправедливым, ибо г-жа дез Обель не пришла, но она и не обещала прийти, и потому этих названий не заслуживала. Но мы судим о поступках людей, исходя из того, доставляют ли они нам удовольствие, или причиняют огорчение.

Морис появился в гостиной своей матери только две недели спустя после идиллии за чайным столом. Он пришел поздно, г-жа дез Обель с полчасца уже сидела в гостиной. Он холодно поклонился, сел подальше от нее и сделал вид, что слушает.

— ...они были достойны друг друга, — говорил мужественный и красивый голос, — у таких противников борьба должна быть жестокой, и нельзя было предвидеть, чем она кончится. Генерал Боль обладал неслыханной стойкостью и прямо, я бы сказал, врос в землю. А генерал Мильпертюи, которого судьба наделила сверхчеловеческой подвижностью, маневрировал вокруг своего непоколебимого противника с неопостижимой стремительностью. Сражение развернулось страшно ожесточенное. Мы все следили за ним с неописуемым волнением.

Так рассказывал генерал д'Эспарвье замирающим дамам о больших осенних маневрах. Он говорил красиво и умел нравиться. Затем он провел параллель

между методами французским и немецким, отметил, в высшей степени беспристрастно, характерные черты обоих, подчеркнул достоинства того и другого метода, не побоявшись заявить, что оба они имеют известные преимущества, и нарисовал сначала картину перевеса Германии над Францией, а удивленные, разочарованные, смущенные дамы внимали ему с вытянутыми и омраченными лицами. Но по мере того как этот воин красноречиво изображал оба метода, — французский вырисовывался как более гибкий, изысканный, мужественный, полный изящества, остроумия и живости, а немецкий между тем становился все более громоздким, неуклюжим и нерешительным. И лица дам постепенно прояснялись, округлялись и озарялись радостной улыбкой. И чтобы совсем успокоить этих матерей, сестер, жен и возлюбленных, генерал дал им понять, что и мы можем применять немецкий метод, когда нам это выгодно, тогда как немцы по-французски воевать не в состоянии.

Не успел генерал кончить, как им тут же завладел г-н Ле Трюк де Рюффек, основатель патриотического общества «Каждому шпага», которое преследовало цель, — он так и говорил «преследует цель», — возродить Францию и обеспечить ей полное превосходство над всеми ее противниками. В это общество предполагалось зачислять детей с колыбели, — и г-н Ле Трюк де Рюффек предлагал генералу д'Эспарвье быть почетным председателем.

А Морис тем временем делал вид, что прислушивается к разговору, который одна очень кроткая старушка завела с аббатом Лаптитом, духовником в общине сестер Крови Иисусовой. Старая дама, замученная последнее время горестями и недугами, желала узнать, почему люди терпят несчастья в земной жизни, и спрашивала у аббата Лаптита:

— Как вы объясните бедствия, которые обрушиваются на человечество? Ну зачем это чума, голод, наводнения, землетрясения?

— Необходимо, чтобы господь бог напоминал нам о себе время от времени, — ответил аббат Лаптит с небесной улыбкой.

Морис, казалось, был очень заинтересован этим разговором, затем он сделал вид, что пленился г-жой Фило-Гранден. Это была молодая женщина, довольно свеженькая, но простоватая — наивность лишала ее красоту всякой соблазнительности, всякой пикантности. Одна очень древняя особа, ехидная и крикливая, чье нарочито скромное платье из темной шерсти подчеркивало высокомерие светской дамы христианского финансового мира, воскликнула визгливым то-посом:

— Скажите, милая госпожа д'Эспарвье, у вас, кажется, были неприятности? В газетах что-то писали о кражах и исчезновениях в богатой библиотеке господина д'Эспарвье, о пропавших письмах?

— Ах, — вздохнула г-жа д'Эспарвье, — если верить всему, что пишут в газетах...

— В конце концов, моя дорогая, ведь ваши сокровища отыскались? Все хорошо, что хорошо кончается.

— Библиотека в полном порядке, — сказала г-жа д'Эспарвье. — Все на месте.

— Эта библиотека помещается этажом выше, правда? — спросила г-жа дез Обель с неожиданным интересом к книгам.

Госпожа д'Эспарвье ответила, что библиотека занимает весь третий этаж, а книги менее ценные помещаются в мансарде.

— А нельзя ли мне посмотреть вашу библиотеку?

Хозяйка дома ответила, что нет ничего проще. Она позвала сына:

— Морис, проводите госпожу дез Обель и познакомьте ее с нашей библиотекой.

Морис встал и, не говоря ни слова, последовал за г-жой дез Обель на третий этаж. Вид у него был совершенно равнодушный, но втайне он ликовал, не сомневаясь, что г-жа дез Обель изъявила желание осмотреть библиотеку только для того, чтобы остаться с ним наедине. И, прикидываясь равнодушным, он готовился повторить свое предложение, которое на этот раз, он чувствовал, не будет отвергнуто.

У романтического бюста Александра д'Эспарвье их молчаливо встретила маленькая старческая тень

с мертвенно-бледным лицом, с ввалившимися глазами и с застывшим выражением привычного, покорного ужаса.

— Не беспокойтесь, господин Сарьетт, — сказал Морис. — Я хочу показать госпоже дез Обель нашу библиотеку.

Морис и г-жа дез Обель вошли в большую залу, по четырем стенам которой стояли шкафы, полные книг, украшенные бронзированными бюстами поэтов, философов и ораторов древности. Все здесь покоилось в таком идеальном порядке, что казалось, он не нарушался испокон веков. Только в одном месте, где еще вчера стояла неизданная рукопись Ришара Симона, можно было заметить черную дыру. Рядом с молодыми людьми бесшумно шагал бледный, незаметный и безмолвный Сарьетт.

Морис поглядел на г-жу дез Обель с упреком.

— Так вот вы какая оказались недобрая.

Она покосилась на библиотекаря, который мог их услышать, но Морис успокоил ее:

— Не обращайтесь внимания, это папаша Сарьетт. Он стал совершенным идиотом.

И он повторил:

— Нет, вы недобрая, я вас ждал, а вы не пришли. Из-за вас я чувствовал себя несчастным.

Наступила минута молчания, и слышался только тихий, печальный шум астмы в бронхах старика Сарьетта. Затем юный Морис снова сказал настойчиво:

— Вы нехорошо поступили.

— Нехорошо? Почему?

— Потому что не хотели сговориться со мной.

— А вы все еще думаете об этом?

— Конечно.

— Так это было серьезно?

— Как нельзя более.

Тронутая этими словами, убеждавшими ее, что чувство его глубоко и прочно, и решив, что она достаточно сопротивлялась, Жильберта обещала Морису то, в чем ему было отказано две недели тому назад.

Они проскользнули в амбразуру окна, позади огромной сферы небес, на которой были начертаны знаки Зодиака и узоры созвездий, и там, возведя очи ко Льву, Деве и Весам, окруженные библиями, творениями отцов церкви, греческими и латинскими, перед лицом Гомера, Эсхила, Софокла, Еврипида, Геродота, Фукидида, Сократа, Платона, Аристотеля, Демосфена, Цицерона, Вергилия, Горация, Сенеки и Эпиктета, они поклялись любить друг друга и поцеловались долгим поцелуем.

Тут же г-жа дез Обель вспомнила, что ей предстоит еще сделать несколько визитов и нужно спешить. Любовь не мешала ей заботиться о светских успехах.

Но не успели они с Морисом выйти на площадку, как услышали хриплый крик и увидели Сарьетта, который вне себя выскочил на лестницу.

— Держите его, держите! Я видел, как он улетел. Он сам соскочил с полки... Перелетел через комнату. Вот, вот!.. Вон он!.. Летит по лестнице! Держите!.. Он вылетел в дверь, наружу!

— Кто? — спросил Морис.

Сарьетт смотрел с площадки в окно и в ужасе лепетал:

— Летит через сад... к павильону... Держите его! Держите!

— Да кого же? — переспросил Морис. — Кого, бога ради?

— Моего Иосифа Флавия, — вскричал Сарьетт, — держите его...

И тяжело рухнул навзничь.

— Ну, вы сами видите, что он сумасшедший, — сказал Морис г-же дез Обель, поднимая несчастного библиотекаря.

Жильберта, слегка побледнев, сказала, что ей тоже показалось, будто что-то летело именно там, куда показывал бедняга библиотекарь. Морис ничего не видел, но он почувствовал что-то вроде порыва ветра.

Он сдал Сарьетта на руки Ипполиту и экономке, прибежавшим на шум.

Старик разбил себе голову.

— Оно и к лучшему, — заметила экономка. — Может, у него из-за этой раны кровь в голову не бросится и удара не будет.

Госпожа дез Обель дала свой платок, чтобы унять кровь, и посоветовала сделать примочку из арники.

Глава девятая,

из коей явствует, что, как сказал один древний греческий поэт, «нет ничего милее золотой Афродиты»

Уже шесть месяцев Морис обладал г-жой дез Обель, и все-таки он продолжал ее любить. Правда, летняя пора разлучила их. Так как у него не было денег, ему пришлось ехать с матерью в Швейцарию, а затем жить со всей семьей в замке д'Эспарвье. А она провела лето у своей матери в Ниоре, а осень с мужем, в маленьком приморском местечке Нормандии, так что за все это время они виделись только раза четыре или пять. Но когда зима, благосклонная к любовникам, вновь соединила их в городе под своим туманным покровом, Морис два раза в неделю по-прежнему принимал Жильберту — и только ее одну — в своей квартире, в первом этаже на улице Рима. Ни одна женщина не внушала ему столь постоянного и верного чувства, и тем приятнее было ему думать, что и он любим. Он полагал, что она его не обманывает, и не потому, что у него были какие-нибудь основания для этого, а просто ему казалось справедливым и естественным, чтобы она довольствовалась только им. Он больше всего сердился на то, что она вечно опаздывала на свидания и всегда заставляла себя ждать, причем неопределенное время, но обычно подолгу.

Так вот 30 января в субботу, с четырех часов дня, одетый в изящную пижаму с цветочками, Морис поджидал г-жу дез Обель в маленькой розовой комнате, покуривая восточный табак перед ярким огнем камина. Сначала он мечтал, как встретит ее дивными поцелуями, необыкновенными ласками. Прошло четверть

часа и он стал придумывать нежные, но серьезные упреки, затем, после того как он напрасно ждал ее целый час, он дал себе слово встретить ее холодным презрением.

Наконец она появилась, свежая, благоухающая.

— Уж не стоило и приходить сейчас, — сказал он с горечью, в то время как она, положив на стол муфту и сумочку, снимала перед зеркальным шкафом вуалетку.

Она стала уверять своего котика, что никогда еще так не торопилась, как сегодня, и приводила тысячу оправданий, которые он упорно отклонял. Но как только она догадалась замолчать, он перестал ее упрекать: теперь уже ничто не отвлекало его от желания, которое она вызывала.

Созданная, чтобы нравиться и пленять, она раздвигалась с непринужденностью женщины, которая знает, что нагота ей очень идет и она достойна показывать свою красоту. Сначала он любил ее с мрачной яростью человека, находящегося во власти Необходимости — владычицы людей и богов. Хрупкая с виду, Жильберта обладала достаточной силой, чтобы вынести натиск неотвратимой богини. Затем он стал любить ее, не столько подчиняясь року, сколько руководствуясь наставлениями Венеры Искусшенной и причудами Эрота Изобретателя. Природная пылкость переплеталась с выдумками изощренного ума: так лоза обвивается вокруг тирса вакханки. Видя, что ей нравятся эти забавы, он длил их, ибо любовникам свойственно стремиться к удовлетворению любимого существа. Затем оба они погрузились в немое и томное забытие.

Занавеси были опущены, комната тонула в горячем сумраке, в котором плясали отблески тлеющих головешек. Тело и простыни, казалось, излучали фосфоресцирующий свет. Зеркала в дверце шкафа и над камином были полны таинственными отсветами. Жильберта мечтала, облокотившись на подушку и подперев голову рукой. Один мелкий ювелир, человек смысленный и надежный, показывал ей на днях замечательно красивый браслет с жемчугом и сапфирами; стоил он очень дорого, но сейчас продавался за бесценок.

Какой-то кокотке в трудную минуту понадобились деньги, и она принесла его ювелиру. Такого случая в другой раз не дождешься, и было бы ужасно обидно упустить его.

— Хочешь посмотреть, милый? Я попрошу моего ювелира дать мне его на время.

Морис не прямо отклонил это предложение, но видно было, что его нимало не занимает замечательный браслет.

— Когда мелким ювелирам представляется выгодный случай, — сказал он, — они берегут вещь для себя, а не уступают своим клиентам. А впрочем, драгоценности сейчас не в ходу. Порядочные женщины их больше не носят. Сейчас все увлекаются спортом, а драгоценности со спортом не вяжутся.

Морис грешил против правды, но он говорил так потому, что недавно подарил своей подруге меховую шубку, и ему нечего было торопиться с новым подарком. Он не был скуп, но знал счет деньгам. Родители давали ему не слишком много, а долги росли с каждым днем. Если он станет с излишней готовностью удовлетворять желания своей подруги, то, пожалуй, у нее будут пробуждаться все новые и новые. Случай казался ему отнюдь не таким заманчивым, как Жильберте, а кроме того ему хотелось сохранить за собой инициативу своей щедрости. И, наконец, говорил он себе, если делать слишком много подарков, нельзя быть уверенным, что тебя любят ради тебя самого.

Такое отношение нимало не рассердило и не удивило г-жу дез Обель: она была покладиста и умеренна, знала мужчин и считала, что их нужно брать такими, каковы они есть; она знала, что в большинстве случаев они дарят не очень охотно и женщина сама должна добиваться того, чтобы ей дарили.

Внезапно на улице загорелся газовый фонарь и блеснул в шелку между занавесками.

— Половина седьмого, — сказала она, — надо одеваться.

Подхлестнутый взмахами крыльев улетающего времени, Морис снова загорелся желанием и почувствовал прилив новых сил. Белая лучезарная жертва — Жиль-

берта — с запрокинутой головой, с закатившимися глазами, с полуоткрытыми губами тяжело дышала, изнемогая, но вдруг привскочила и воскликнула в ужасе:

— Что это такое?

— Да подожди ты, — сказал Морис, удерживая ее в объятиях.

Он в эту минуту не заметил бы даже, если бы небо упало на землю.

Но она вырвалась и одним прыжком ринулась с постели. Забывшись за кровать, она в ужасе показывала пальцем на фигуру, появившуюся в углу комнаты между камином и зеркальным шкафом. Затем, не в силах выносить это зрелище, почти теряя сознание, она закрыла лицо руками.

Глава десятая,

*которая по своей смелости оставляет далеко позади воображение Данте и Мильтона **

Повернув наконец голову, Морис увидел фигуру и, заметив, что она двигается, тоже испугался. Жильберта уже успела овладеть собой. Ей пришло на ум, что фигура, которую она увидела, была какой-нибудь любовницей ее возлюбленного, которую он спрятал в комнате. Вспыхнув злобой и обидой, кипя негодованием при мысли о подобном предательстве и не сводя глаз со своей соперницы, она закричала:

— Женщина, женщина, да еще голая! Ты принимаешь меня в комнате, куда водишь своих женщин! Я прихожу, а они даже не успели одеться! И меня же еще смеешь упрекать, что я опоздала! Какой наглец! Сейчас же вышвырни вон эту девку. Уж если ты хотел, чтоб мы были здесь вместе, так спросил бы меня по крайней мере, согласна ли я...

Морис, вытаращив глаза, ошупью отыскивал на ночном столике револьвер, которого там никогда не было, и шептал на ухо подруге:

— Да замолчи ты, это не женщина! Ничего не разберу... но только это, кажется, мужчина.

Тут Жильберта снова закрыла лицо руками и завопила изо всех сил:

— Мужчина! Как он сюда попал! Вор, разбойник, помогите, помогите! Морис, убей его, убей, зажги свет... Нет, не зажигай!

Она мысленно дала обет поставить свечку святой деве, если останется в живых. Зубы ее стучали.

Фигура пошевелилась.

— Не смейте подходить, — закричала Жильберта, — не смейте подходить!

Она обещала вору бросить ему все деньги и драгоценности, которые у нее лежали на столике, только бы он не двигался с места.

Среди этого страха и смятения у нее возникла мысль, что, может быть, это ее муж, втайне подозревая ее, устроил за ней слежку, нашел свидетелей и вызвал полицейского агента. В одну секунду она представила себе долгое мучительное будущее, громкий скандал, всеобщее открытое презрение, трусливое отступничество подруг, заслуженные насмешки общества, потому что в конце концов попасться таким образом просто смешно. Ей представился развод, потеря положения в свете, убогая, унылая жизнь у матери. И никто уже не станет за ней ухаживать, так как мужчины избегают женщин, которые своим семейным положением не гарантируют им безопасности. И из-за чего же? Из-за чего же это несчастье, эта катастрофа? Из-за глупости, из-за пустяка! Так говорила во внезапном озарении совесть Жильберты дез Обель.

— Сударыня, не бойтесь! — произнес нежный голос.

Жильберта немножко успокоилась и нашла в себе силы спросить:

— Кто вы такой?

— Я ангел, — ответил голос.

— Что?

— Я ангел, ангел-хранитель Мориса.

— Повторите, я с ума схожу... ничего не понимаю,

Морис, понимавший не больше ее, вне себя от возмущения, накинуд пижаму и выскочил из постели, весь в цветочках. Схватив правой рукой ночную туфлю, он угрожающе поднял ее и грубо крикнул:

— Болван! Извольте немедленно убраться отсюда той же дорогой, какой явились.

— Морис д'Эспарвье, — снова раздался нежный голос, — тот, кому вы поклоняетесь как своему создателю, приставил к каждому истинно верующему доброго ангела, который должен наставлять и охранять его; таково исконное мнение отцов церкви. Оно основано на целом ряде цитат из Священного писания. Церковь признает его единодушно, хотя и не предает анафеме тех, кто придерживается иного взгляда. Вы видите перед собой одного из таких ангелов, вашего ангела, Морис. Мне было поручено беречь вашу невинность и охранять вашу чистоту,

— Возможно, — ответил Морис, — но ясно, что вы не принадлежите к кругу порядочных людей. Порядочный человек никогда не позволил бы себе войти в спальню в ту минуту, когда... Короче говоря, какого черта вам здесь надо?

— Я принял облик, который вы видите, Морис, потому, что мне предстоит теперь общаться с людьми и я должен уподобиться им. Небесные духи обладают способностью облекаться в видимые формы, которые делают их явными и осязаемыми. Формы эти реальны, поскольку они видимы, ибо нет в мире иной реальности, кроме видимости.

Жильберта, теперь уже совершенно успокоившись, поправляла волосы на лбу.

Ангел продолжал:

— Небесные духи могут, по желанию, воплотиться в существо мужского или женского пола или даже в то и другое сразу, но они не могут менять облик в любое время по своему капризу и фантазии. Их превращения подчинены твердым законам, которые вы не в состоянии постигнуть. Таким образом, я не стремлюсь, да и не властен превратиться на ваших глазах, для вашего или моего собственного удовольствия, в тигра, льва, муху, в щепочку сикоморы, как тот юный египтянин, жизнеописание которого было найдено в гробнице, ни в осла, как это сделал Луций с помощью притираний юной Фотиды *. Мудрость, которой я владею, пред-

определила час моего появления среди людей, и ничто не могло бы его приблизить или отдалить.

Морис, которому не терпелось выяснить, что все это означает, спросил снова:

— Да, но в конце концов какого черта вам здесь надо?

И, вторя голосу своего возлюбленного, г-жа дез Обель подхватила:

— Вот именно, что вам здесь нужно?

Ангел ответил:

— Мужчина, преклони свой слух, женщина, внимли моему голосу. Я открою вам тайну, от которой зависит судьба вселенной. Возмутившись против того, кого вы считаете творцом мира видимого и невидимого, я готовлю восстание ангелов.

— Оставьте эти шутки, — сказал Морис, ибо он был верующим и не выносил, когда насмехались над святыней.

Но ангел с упреком ответил:

— Что заставляет вас, Морис, считать меня легкомысленным, а слова мои — пустой болтовней?

— Ах, бросьте это, — оказал Морис, пожимая плечами. — Не будете же вы восставать против...

Он указал на потолок, не решаясь договорить.

Но ангел в ответ:

— Разве вы не знаете, что сыны божии уже восставали однажды и что в небесах разыгралась великая битва.

— Это давно было, — отозвался Морис, натягивая носки.

Ангел сказал:

— Это было до сотворения мира, но с тех пор на небесах ничего не изменилось. Природа ангелов осталась и ныне такой же, какой она была в начале времен. И то, что они сделали тогда, они могут повторить и сейчас.

— Нет, это невозможно, это противно вере. Если б вы были ангелом, добрым ангелом, как вы говорите, вам не пришла бы в голову мысль преступить волю создателя.

— Вы ошибаетесь, Морис, и авторитет отцов церкви говорит против вас. Ориген * в своих поучениях

утверждает, что добрые ангелы подвержены заблуждениям, что они постоянно грешат и падают с неба как мухи. Впрочем, вы, может быть, отвергаете этого отца, если можно так назвать его, потому что, несмотря на все его познания в Священном писании, он не причислен к лику святых. Тогда я напому вам вторую главу Апокалипсиса, где ангелы Эфесский и Пергамский осуждаются за то, что плохо блюли свои церкви. Но тут вы, конечно, возразите, что ангелы, о которых говорит апостол, были, в сущности говоря, епископами этих двух городов, и он, называя их так, имеет в виду их сан. Это возможно, я с этим готов согласиться. Но что вы противопоставите, Морис, мнению стольких ученых богословов и пап, которые учат, что ангелы способны уклониться от добра ко злу? Так по крайней мере утверждает святой Иероним в своем «Послании Дамасию»...

— Сударь, — сказала г-жа дез Обель, — я прошу вас удалиться.

Но ангел не слушал ее и продолжал:

— ...блаженный Августин «Об истинной вере», глава тринадцатая, святой Григорий «Поучения», глава двадцать четвертая, Исидор...

— Сударь, дайте же мне одеться, я тороплюсь.

— ...«О высшем благе», книга первая, глава двенадцатая, Бэда «Об Иове»...

— Сударь, я вас прошу...

— ...глава восьмая; Дамаскин «О вере», книга вторая, глава третья. Все это, я полагаю, достаточно веские авторитеты, и вам, Морис, остается только признать свою ошибку. Вас обмануло то, что вы, забыв о моей природе, свободной, деятельной и подвижной, как у всех ангелов, помните только о благостях и щедротах, которыми я, по вашему мнению, осыпан. Люциферу было дано не меньше, однако он восстал.

— Но зачем вам восставать, для чего? — спросил Морис.

— Исайя, — отвечал сын света, — Исайя уже спрашивал об этом до вас: «Quomodo cecidisti, de coelo,

Lucifer, qui mane oriebaris?»¹ Узнайте же, Морис! Некогда, до начала времен, ангелы восстали, чтобы воцариться в небесах. Прекраснейший из серафимов возмутился из гордости. Мне же благородную жажду освобождения внушило знание. Пребывая возле вас, в доме, где помещается одна из обширнейших библиотек в мире, я обрел привычку к чтению и любовь к науке. В то время как вы, усталый от трудов плотской жизни, спали тяжелым сном, я, окружив себя книгами в зале библиотеки, под изображениями великих мужей древности, или в глубине сада, в комнате павильона, что примыкает к вашей спальне, изучал и обдумывал тексты Священного писания.

Услышав эти слова, юный д'Эспарвье разразился неудержимым хохотом и стал бить кулаком по подушке — явное свидетельство того, что человек не может совладать с собой.

— Ха, ха, ха! Так это вы разворошили папашину библиотеку и свели с ума несчастного Сарьетта? Вы знаете, он стал совершенным идиотом.

— Стремясь привести свой разум к совершенству, — отвечал ангел, — я не обращал на него внимания, как на низшее существо, но когда он осмелился препятствовать моим занятиям и вздумал помешать моей работе, я наказал его за назойливость. Как-то раз ночью, зимой, в зале Философов и Сфер я обрушил ему на голову тяжелый том, который он пытался вырвать из моих невидимых рук, а недавно, подхватив мощным рычагом, образованным из столба сжатого воздуха, драгоценный манускрипт Иосифа Флавия, я вселил в этого глупца такой страх, что он с воплем выбежал на площадку и (выражаясь красочным языком Данте Алигьери) «упал, как падает мертвец». Правда, он был вознагражден за это, ибо вы, сударыня, отдали ему свой надушенный платок, чтобы унять кровь, бежавшую из раны. Это произошло, если вы помните, в тот день, когда за небесной сферой вы поцеловались с Морисом в губы.

¹ Как упал ты с неба, Люцифер, рано восходивший? (*лат.*)

— Милостивый государь, — воскликнула, нахмуря брови, возмущенная г-жа дез Обель. — Я не позволю вам...

Но она тут же осеклась, сообразив, что вряд ли это подходящий момент для того, чтобы проявлять слишком большую требовательность в смысле уважения.

Ангел невозмутимо продолжал:

— Я задался целью исследовать основания веры. Сначала я занялся памятниками иудейства и перечел все древнееврейские тексты.

— Вы знаете еврейский язык? — воскликнул Морис.

— Это мой родной язык. В раю мы долгое время говорили только на этом языке.

— Ах, вы еврей? Я, впрочем, должен был догадаться об этом по вашей бестактности.

Ангел, пропустив это замечание мимо ушей, продолжал своим мелодичным голосом:

— Я изучал древние памятники Востока, Греции, Рима. Я поглощал богословие, философию, физику, геологию, естествознание. Я познал, я стал мыслить и потерял веру.

— Как — вы не верите в бога?

— Я верю в него, поскольку самое мое бытие связано с его бытием, и если бы не было его, то и я обратился бы в ничто. Я верю в него так же, как силены и менады верили в Диониса, и по тем же причинам. Я верю в бога иудеев и христиан, но я отрицаю, что он сотворил мир. Он всего-навсего привел в относительный порядок некоторую незначительную его часть, и все, до чего он коснулся, носит на себе печать его грубого и недалёковидного ума. Не думаю, чтобы он был вечен и бесконечен, ибо нелепо представить себе существо, которое не ограничено ни во времени, ни в пространстве. Я считаю его недалеким, весьма недалеким. Не верю я также и в то, что он единый бог; он очень долгое время и сам в это не верил. Он раньше был политеистом, а потом его гордыня и лесть его обожателей сделали из него монотеиста. В мыслях его мало последовательности; и он вовсе не так могуществен, как это думают. Словом, это скорей суетный и

невежественный демиург *, а не бог. Те, кто, подобно мне, познал его истинную природу, называют его Иалдаваоф.

— Как вы сказали?

— Иалдаваоф.

— А что это такое — Иалдаваоф?

— Я уже вам сказал, это демиург, которому вы в вашем ослеплении поклоняетесь как единому богу.

— Вы с ума сошли! Не советовал бы вам болтать такую чепуху перед аббатом Патуйлем.

— Я не надеюсь, милый Морис, рассеять густой мрак, окутывающий ваш разум. Но знаете, что я буду бороться с Иалдаваофом и у меня есть надежда победить его.

— Поверьте, это вам не удастся.

— Люцифер поколебал его престол, и одно время исход борьбы был неизвестен,

— Как вас зовут?

— Абдиилом среди ангелов и святых, Аркадием среди людей.

— Ну так вот, мой бедный Аркадий, мне жаль, что вы сбились с правильного пути. Но признайтесь, что вы просто смеетесь над нами. Уж куда ни шло, я мог бы допустить, что вы покинули небо ради женщины. Любовь заставляет нас делать ужаснейшие глупости, но я никогда не поверю, что вы, созерцавший бога лицом к лицу, нашли потом истину в книжном хламе старого Сарьетта. Нет, в этом вы никак и никогда меня не убедите.

— Мой милый Морис, Люцифер пребывал лицом к лицу с богом и все же отказался служить ему. Что же касается той истины, которую мы находим в книгах, то эта истина позволяет нам в иных случаях увидеть, каким Сущее не может быть, но никогда не открывает нам, каково оно есть на самом деле. И этой жалкой маленькой истины было достаточно, чтобы доказать мне, что тот, в кого я слепо верил, не достоин веры и что люди и ангелы были обмануты ложью Иалдаваофа.

— Никакого Иалдаваофа нет. Есть бог. Послушайте, Аркадий, ну сделайте над собой небольшое усилие, откажитесь от вашего бреда, от всяких богохульств,

развоплотитесь, станьте опять чистым духом и возвращайтесь к вашим обязанностям ангела-хранителя. Вернитесь на путь долга. Я вам прощаю, но чтобы я вас больше не видел.

— Мне бы хотелось сделать вам приятное, Морис. Я чувствую к вам какую-то нежность, ибо сердце мое слабо, но отныне моя судьба влечет меня к существам, способным мыслить и действовать.

— Господин Аркадий, — оказала г-жа дез Обель, — уйдите, пожалуйста. Мне ужасно неловко, что я в рубашке перед двумя мужчинами. Поверьте, я к этому не привыкла.

Глава одиннадцатая

о том, как ангел, одевшись в платье самоубийцы, покинул юного Мориса и тот остался без своего небесного покровителя

Она сидела, съежившись, на постели, и ее гладкие колени блестели в темноте из-под короткой легкой рубашки; прикрывая скрещенными руками грудь, она предоставляла взору только полные круглые плечи и беспорядочно разметавшиеся золотисто-рыжие волосы.

— Успокойтесь, сударыня, — ответило видение. — Ваше положение не так уж двусмысленно, как вы полагаете. Вы здесь не перед двумя мужчинами, а перед женщиной и ангелом.

Она окинула незнакомца взором, который, пронизывая темноту, различал с тревогой некий неясный, но достаточно существенный признак, и спросила:

— Сударь, а это действительно так, вы, правда, ангел?

Видение попросило ее не сомневаться в этом и поспешило сообщить точные сведения о своей природе.

— Существуют три иерархии небесных духов, и в каждой из них девять ступеней: первая — это Серафимы, Херувимы и Престоли, вторая — Господства, Силы и Власти, третья — Начала, Архангелы и Ангелы. Я принадлежу к девятой ступени третьей иерархии.

Госпожа дез Обель, у которой были свои причины сомневаться, решилась высказать одну из них:

— У вас нет крыльев.

— А зачем они мне? Разве я должен быть точь-в-точь таким, как ангелы на ваших кропильницах? Посланные небес не всегда обременяют себе плечи этими пернатыми веслами, ритмично рассекающими воздушные волны. Херувимы бывают бескрылые. Ведь не было же крыльев у тех двух слишком прекрасных ангелов, которые провели тревожную ночь в доме Лота *, осажденном восточной толпой. Нет, они во всем были похожи на людей, дорожная пыль покрывала им ноги, и патриарх омыл их благоговейной рукой. Я позволю себе обратить ваше внимание, сударыня, на то, что согласно науке об органических превращениях, созданной Ламарком * и Дарвином, птичьи крылья последовательно видоизменились в передние конечности у четвероногих и в руки у приматов, и, может быть, вы припоминаете, Морис, одно прискорбное явление атавизма — руки мисс Кэт, вашей бонны-англичанки, которая так любила вас шлепать. Они были очень похожи на ощипанные куриные крылья. Поэтому можно сказать, что существо, обладающее одновременно и руками и крыльями, это — чудовище и его следует отнести к области тератологии *. У нас есть в раю херувимы, или керубы, имеющие вид крылатых быков, но это просто неуклюжие выдумки бога, который никогда не был художником. Правда, Победы в храме Афины Победоносной в афинском Акрополе поистине прекрасны, хотя у них есть и руки и крылья; прекрасна и Брешианская Победа со своими простертыми руками и длинными крыльями, ниспадающими на мощные бедра. Но это просто чудо греческого гения, которому удавались и гармонические чудовища. Греки не ошибались, современники ваши ошибаются на каждом шагу.

— Но вы вовсе не похожи на бесплотного духа, — сказала г-жа дез Обель.

— И все-таки, сударыня, я дух, если только они когда-либо существовали. И не вам, приявшей святое крещение, в этом сомневаться. Многие отцы церкви,

как, например, святой Юстин, Тертуллиан, Ориген и Климент Александрийский, полагали, что ангелы не вполне духовны, а обладают телом из тончайшей материи. Блаженный Августин также считал, что у ангелов лучистое тело. Это мнение отвергнуто церковью, следовательно я — дух. Но что такое дух и что такое материя? Раньше их противопоставляли друг другу. Теперь же ваша человеческая наука старается объединить их как два аспекта одной и той же сущности. Она учит, что все исходит из эфира и все в него возвращается, что только движение превращает небесные волны в камни и металлы, что атомы, разбросанные в безграничном пространстве, в зависимости от скорости вращения по своим орбитам образуют все субстанции чувственного мира...

Но г-жа дез Обель не слушала. Ей не давала покоя одна мысль, и, чтоб разрешить свои сомнения, она спросила:

— Вы здесь давно?

— Я пришел вместе с Морисом.

Она покачала головой.

— Ах, вот как, очень мило.

Но ангел с небесной безмятежностью продолжал:

— Вся вселенная — это одни круги, эллипсы и гиперболы. Законы, которые властвуют над стихиями, управляют и каждой пылинкой. В первоначальном, исходном движении своей субстанции тело мое — дух, но, как вы видите, оно может перейти и в материальное состояние, изменив ритм своих элементов.

Говоря это, он уселся в кресло на черные чулки г-жи дез Обель.

Пробили часы.

— Боже мой! Семь часов! — воскликнула Жильберта. — Что я мужу скажу? Он думает, что я пью чай на улице Риволи. Мы сегодня у Вердельеров. Уходите-ка скорее, господин Аркадий. Мне надо одеться. Я не могу терять ни секунды.

Ангел ответил, что почел бы долгом повиноваться г-же дез Обель, если б он мог показаться в приличном виде, но что он никак не может выйти на улицу безо всякой одежды.

— Если я пойду голый по улице, — сказал он, — я оскорблю этим людей, которые крепко держатся за свои древние привычки и никогда не делали попытки толком разобраться в них. Это и есть основа нравов. Некогда ангелы, которые восставали, как я, являлись христианам в самом причудливом и нелепом виде: черные, рогатые, мохнатые, хвостатые, с раздвоенными копытами, а иной раз даже с человеческим лицом на зад. Какая нелепость! Они были посмешищем для людей со вкусом и пугали только старух да маленьких детей, и за что бы они ни брались — у них ничего не выходило.

— Нет, в самом деле, как же он пойдет на улицу в таком виде? — рассудительно заметила г-жа дез Обель.

Морис швырнул небесному посланцу свою пижаму и ночные туфли. Для того чтобы выйти на улицу, этого было мало. Жильберта стала уговаривать своего возлюбленного сейчас же сбегать куда-нибудь за платьем. Он сказал, что можно попросить у швейцара. Она стала горячо возражать ему. По ее мнению, было просто безумие посвящать швейцара в такие дела.

— Вы хотите, — вскричала она, — чтобы они догадались, что... — Она показала на ангела и не договорила.

Юный д'Эспарвье бросился искать старьевщика.

Тем временем Жильберта, которая не могла больше ждать, потому что это грозило громким скандалом, зажгла свет и стала одеваться в присутствии ангела. Она делала это, нимало не конфузясь, так как умела применяться к обстоятельствам и считала, что в таком невероятном случае, когда небо с землей перепутались самым непостижимым образом, можно отбросить стыдливость. К тому же она знала, что хорошо сложена и что белее у нее отвечает всем требованиям моды. Так как видение из деликатности отказалось надеть пижаму Мориса, Жильберта при свете ламп не могла не заметить, что ее подозрения были основательны и что ангелы по виду действительно подобны мужчинам. Ей хотелось узнать, мнимая это видимость или реальная, и она спросила у сына света, не похожи ли

ангелы на обезьян, которым, чтобы любить женщин, не хватает только денег.

— О да, Жильберта, — ответил Аркадий, — ангелы могут любить смертных женщин. Так говорит писание. В шестой главе Книги Бытия оказано: «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, сыны божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал».

Вдруг Жильберта жалобно воскликнула:

— Боже мой, я никак не могу застегнуть платье. Пуговицы на спине.

Когда Морис вошел в комнату, он увидел колено-преклоненного ангела, который зашнуровывал ботинки грешной жены.

Жильберта схватила со стола муфту и сумочку.

— Я ничего не забыла? — сказала она. — Нет... До свидания, господин Аркадий. До свиданья, Морис. Да, уж буду я помнить этот день.

И она исчезла как сон.

— Вот вам, — оказал Морис, кидая ангелу ворох старья.

Молодой человек, заметив в витрине торговца случайными вещами рядом с кларнетами и клистирными трубками убогие лохмотья, купил за девятнадцать франков отрепья какого-то жалкого бедняка, который одевался в черное и покончил с собой. Ангел с присутствием ему величием принял эту одежду и облачился в нее. И на нем она приобрела неожиданное изящество.

Он сделал шаг к двери.

— Так, значит, вы уходите от меня? — оказал Морис. — Окончательно? Боюсь, что когда-нибудь вы горько пожалеете об этой безумной выходке,

— Я не должен оглядываться. Прощайте, Морис.

Морис неловко сунул ему в руку пять луидоров.

— Прощайте, Аркадий.

Но едва только ангел переступил порог, в тот самый момент, когда в дверях мелькнула его пятка, Морис окликнул его:

— Аркадий, а мне ведь только сейчас пришло в голову... Значит, теперь уж у меня нет ангела-хранителя?

— Да, Морис, у вас его больше нет.

— Так что же со мной будет? Ведь надо же иметь ангела-хранителя. Скажите, пожалуйста, когда его нет, это не грозит какими-нибудь серьезными неприятностями? Может быть, это опасно?

— Прежде чем ответить вам, Морис, я должен спросить вас, как вы хотите, чтобы я отвечал: согласно ли вашим верованиям, которые раньше разделял и я, то есть согласно учению церкви и католической религии, или же согласно натурфилософии.

— На что она мне, ваша натурфилософия, отвечайте мне согласно религии, которую я исповедую и в лоне которой я хочу жить и умереть.

— Так вот, милый Морис, утрата ангела-хранителя лишит вас, по всей вероятности, некоторой духовной поддержки, некоторых милостей небесных. Я излагаю вам твердое мнение церкви на этот счет. Вам будет недоставать опоры, заступничества, утешения, которые руководили бы вами и укрепляли бы вас на пути к спасению. У вас будет меньше сил бороться с грехом, а у вас их и так немного. Словом, в смысле духовном вы будете лишены мужества и отрады. Прощайте, Морис. Когда увидите госпожу дез Обель, передайте ей мой привет.

— Вы уходите?

— Прощайте.

Аркадий исчез, а Морис, усевшись поглубже в кресло, долго сидел, опустив голову на руку.

Глава двенадцатая,

где рассказывается о том, как ангел Мирар, неся благодать и утешение в парижский квартал Елисейских полей, увидел кафешантанную певицу по имени Бушотта и полюбил ее

По улицам, утопавшим в рыжевато-белом тумане, прорезанном желтыми и белыми огнями, где лошадиное дыхание клубилось паром и стремительно мелькали фонари автомобилей, там, смешавшись с черными бес-

прерывными волнами пешеходов, шел ангел; он пересек весь город с севера на юг вплоть до пустынных бульваров левого берега. Невдалеке от старых стен Пор-Рояля есть маленький ресторанчик; каждый вечер он бросает на улицу тусклый свет своих запотевших окон. Поравнявшись с ним, Аркадий остановился, затем, толкнув дверь, очутился в зале, где стояли теплые жирные запахи, отрадные для горемык, продрогших от холода и голода. Бегло оглядевшись, он увидел русских нигилистов, итальянских анархистов, изгнанников, заговорщиков, бунтовщиков всех стран, живописные старческие головы, с которых борода и волосы струились словно потоки и водопады со скал, молодые лица, полные юношеской непримиримости, мрачные, блуждающие взоры, потускневшие глаза, исполненные бесконечной кротости, лица, искаженные мукой, а в уголке — двух русских женщин; одна была очень красива, другая безобразна, но обе казались одинаковыми в своем полном равнодушии и к уродству и к красоте. Не найдя того, кого искал, — в зале не было ни одного ангела, — Аркадий уселся за свободный мраморный столик.

Когда ангелы бывают голодны, они едят так же, как и все животные на земле, и пища, изменяясь под влиянием пищеварительной теплоты, соединяется с их небесной субстанцией. Когда Авраам увидел трех ангелов под дубом Мамврийским, он угостил их хлебами, испеченными Саррой, подал им целого теленка, масла, молока, и они ели. Лот, которого в доме его посетили два ангела, велел испечь для них опресноки, и они ели. Аркадий, получив из рук засаленного официанта жесткий, как подошва, бифштекс, тоже ел его. Между тем он вспоминал о сладостном досуге, о покое, о чудесных ученых занятиях, которые он бросил, о тяжком бремени, которое взвалил на себя, о трудах, утомлении, опасностях, на которые он себя обрек, и душа его была печальна, а сердце сжималось тревогой.

Когда он уже оканчивал свою скромную трапезу, в залу вошел бедно одетый молодой человек с усталым лицом. Окинув глазами столики, он подошел к

ангелу и назвал его Абдиилом, ибо он тоже был небесный дух.

— Я был уверен, Мирар, что ты явишься на мой призыв, — сказал Аркадий, также называя ангельского собрата именем, которое тот некогда носил на небесах.

Но с тех пор, как этот архангел оставил свое служение богу, там уже забыли о Мираре. На земле его звали Теофилом Белэ, и он зарабатывал себе на пропитание тем, что днем давал уроки музыки детям, а по ночам играл на скрипке в кабачках.

— Так это ты, милый Абдиил? — сказал Теофиль. — Ну вот мы и встретились с тобой в этом печальном мире! Я рад, что мы увиделись, и все-таки мне жаль тебя, потому что мы ведем здесь тяжкую жизнь.

Но Аркадий отвечал:

— Друг, твоему изгнанию наступил конец. У меня великие замыслы. Я хочу, чтобы ты узнал о них и был заодно со мной.

И ангел-хранитель Мориса, заказав два стакана кофе, стал посвящать товарища в свои мысли и планы. Он рассказал о том, как, пребывая на земле, увлекся исследованиями, мало обычными для небесных духов, занимался богословием, космогонией, мировыми системами, учением о сущности материи, современными опытами в области превращения и потери энергии. Когда он познал природу, то увидел, что она находится в постоянном противоречии с тем, что он почерпнул у господина, которому служил. Этот алчный к восхвалениям повелитель, которому он так долго поклонялся, стал теперь в его глазах невежественным, тупым и жестоким тираном. Он отрекся от него, проклял его и будет бороться с ним. Он горит желанием снова поднять восстание ангелов. Он жаждет вступить в борьбу и надеется на победу.

— Но прежде всего, — заключил он, — необходимо измерить наши силы и силы противника.

И он спросил, много ли у Иалдаваофа врагов на земле и достаточно ли они могущественны.

Теофиль поднял на своего собрата удивленный взгляд. Ему, казалось, были непонятны эти речи.

— Дорогой мой сородич, — сказал он, — я пришел на твое приглашение потому, что ты мой старый товарищ, но я не знаю, чего ты хочешь от меня, и боюсь, что ничем не могу тебе помочь. Я не занимаюсь политикой и не выступаю реформатором. Я не восставший дух вроде тебя, не вольнодумец и не революционер. В глубине души я верен моему небесному создателю. Я по-прежнему поклоняюсь господину, которому больше не служу, и оплакиваю те дни, когда, закрывшись крылами, я среди множества других детей света сиял в их пламенном кольце, окружавшем его лучезарный престол. Любовь, земная любовь разлучила меня с богом. Я покинул небо ради одной из дочерей человеческих. Она была прекрасна и пела в кафешантане.

Они встали. Аркадий пошел с Теофилом, который жил в другом конце города, на углу бульвара Рошешуар и улицы Стейнкерк. Они шли по пустынным улицам, и возлюбленный певички рассказывал собрату о своей любви и своих горестях.

Его падение совершилось два года тому назад, совсем внезапно. Он принадлежал к восьмой ступени третьей иерархии, и в его обязанности входило осенять благодатью верующих, которых еще много во Франции, особенно среди высших офицеров армии и флота.

— Однажды летней ночью, — говорил он, — когда я спускался с неба даровать утешение, крепость в вере и мирную кончину некоторым благочестивым людям, живущим в квартале Этуаль, мои глаза, хотя и привыкшие к нетленному сиянию, были ослеплены огненными цветами, усеивавшими Елисейские поля. Громадные канделябры под деревьями у входа в кафе и рестораны придавали листве драгоценный блеск изумруда. Длинные гирлянды сияющих жемчужин огораживали пространство под открытым небом, где толпы мужчин и женщин теснились перед веселым оркестром, звуки которого смутно доносились до моих ушей. Ночь была душная, мои крылья устали, я спустился в один из таких садов и уселся, невидимый, среди зрителей. В этот миг на сцене появилась женщина в коротком платье с блестками. Свет лампы и грим на ее лице

позволяли различить только взгляд и улыбку. У нее было гибкое, сладострастное тело. Она пела и танцевала. Аркадий, я всегда любил музыку и танцы, но хватающий за сердце голос и лукавые движения этого создания повергли меня в неведомый трепет. Я бледнел, краснел, глаза мои туманились, язык во рту пересох, я не мог двинуться с места.

И Теофиль рассказал, вздыхая, как, объятый желанием обладать этой женщиной, он не вернулся на небо, но, приняв образ человека, стал жить земной жизнью, ибо писано: «Тогда сыны божий увидели дочерей человеческих, что они красивы...»

Падший ангел Теофиль, утратив свою невинность и лишившись лицецерения бога, по крайней мере сохранил еще чистоту душевную. Одевшись в лохмотья, похищенные в лавочке перекупщика-еврея, он отправился к той, которую любил. Ее звали Бушотта, и жила она в маленькой каморке на Монматре. Он бросился к ее ногам, сказал ей, что она восхитительна, что она чудесно поет, что он любит ее безумно, отрекся ради нее от семьи и родины, что он музыкант и что ему нечего есть. Она была тронута его юностью, чистотой, бедностью и любовью, накомила его, одела и полюбила.

Наконец после долгих и трудных поисков он нашел уроки сольфеджио и заработал немножко денег, которые принес своей подруге, не оставив себе ничего. И с этой минуты она его разлюбила. Она стала презирать его за грошовый заработок и открыто показывала ему свое равнодушие, скуку, отвращение. Она осыпала его упреками, насмешками, оскорблениями, но все же не бросала его, потому что до него, с его предшественниками она жила еще хуже. Семейные ссоры были для нее делом обычным, а вне дома ей приходилось вести очень трудную, напряженную и тяжелую жизнь и как артистке и как женщине. Теофиль любил ее, как в первую ночь, и страдал.

— Она переутомляет себя, — сказал он своему небесному брату, — и оттого у нее портится характер, но я уверен, что она меня любит. Я надеюсь, что скоро мне удастся лучше устроить ее жизнь.

И он стал пространно рассказывать об оперетке, над которой он сейчас работал и которую рассчитывал поставить в одном из парижских театров. Один молодой поэт сочинил ему либретто. Это была история Алины, королевы Голконды *, из сказки восемнадцатого века.

— У меня там множество мелодий, — рассказывал Теофиль, — моя музыка идет прямо из сердца. А сердце мое — неисчерпаемый источник мелодий. К сожалению, теперь любят ученые аранжировки, трудное письмо. Меня упрекают в том, что музыка у меня слишком плавная, слишком прозрачная, что стиль мой недостаточно колоритен, что в инструментовке у меня слишком мало мощных эффектов и резких контрастов. Гармония, гармония! Конечно, у нее есть свои достоинства, но она ничего не говорит сердцу. Только мелодия может восхитить нас и захватить, вызвать на губах улыбку и на глазах слезы.

Тут он сам засмеялся и всхлипнул, потом продолжал с жаром:

— Во мне бьет настоящий фонтан мелодий, но оркестровка — вот где зарыта собака! В раю, ты ведь знаешь, Аркадий, там у нас только арфы, цитры да водяной орган — вот и все инструменты.

Аркадий слушал друга рассеянно. Мысли его были заняты планами, которые переполняли его душу и теснили сердце.

— Не знаешь ли ты кого-нибудь из возмущившихся ангелов? — спросил он товарища. — Я знаю только одного князя Истара, с которым мы обменялись несколькими письмами. Он предложил мне разделить с ним его мансарду, пока я не найду себе жилья в этом городе. Здесь, кажется, ужасно дорогие квартиры.

Но Теофиль не был знаком с возмущившимися ангелами. Встречая падшего духа, который прежде был его товарищем, он пожимал ему руку, ибо был верен дружбе. Ему приходилось встречаться с князем Истаром. Но он избегал злых ангелов, — они шокировали его крайностью своих убеждений, и разговоры их казались ему смертельно скучными.

— Так ты не одобряешь меня? — спросил неугомонный Аркадий.

— Друг, я не одобряю и не порицаю тебя. Я ничего не понимаю в этих идеях, которые тебя так волнуют, я не думаю, чтоб для артиста политика была подходящим делом. Довольно с него искусства.

Он любил свое ремесло и лелеял надежду когда-нибудь выдвинуться, но театральные нравы внушали ему отвращение. Он не видел иной возможности поставить свою пьесу, как взяв одного, двух и даже трех соавторов, которые, не работая, подпишут его труд и разделят с ним выручку. Скоро у Бушотты не будет больше ангажементов. Когда она обращается в какой-нибудь шантан, директор прежде всего спрашивает ее, какую долю она может вложить в дело. По мнению Теофиля, это были негодные нравы.

Глава тринадцатая,

где мы услышим из уст прекрасного архангела Зиты о ее высоких замыслах и увидим в стенном шкафу крылья Мирара, изъеденные молью

Так, беседуя, ангелы подошли к бульвару Роше-шуар. Увидя кабачок, из которого на одетую туманом улицу струился поток золотого света, Теофиль вдруг вспомнил архангела Итурила, который, под видом бедной красивой женщины, жил в убогой меблированной комнатке на Монмартре и каждый вечер приходил в этот кабачок читать газеты. Музыкант часто встречал здесь эту женщину. Звали ее Зитой. Он никогда не интересовался убеждениями этого архангела. Но Зита слыла русской нигилисткой, и Теофиль предполагал, что она атеистка и революционерка вроде Аркадия. Ему приходилось слышать о ней странные вещи: говорили, что она андрогин, что активное и пассивное начала сочетаются в ней в нерушимом равновесии, благодаря чему она существо совершенное, ибо в самой себе находит постоянное и полное удовлетворение, и в то же время несчастное в своем блаженстве, ибо ей неведомы желания.

— Но только я не очень этому верю, — сказал Теофиль, — я думаю, что она женщина и так же подвластна любви, как все, что дышит во вселенной. Да, впрочем, ее даже как-то раз видели с каким-то рослым крестьянином, и она явно держала себя как его возлюбленная.

Он предложил своему другу познакомить его с ней.

Они вошли и тотчас же увидели ее. Она сидела одна и читала. Когда они подошли к ней, она подняла на них громадные глаза, в расплавленном золоте которых вспыхивали искры. Меж бровей ее залегла суровая складка, как у Аполлона Пифийского, и прямо ото лба шла безупречная линия носа; плотно сомкнутые губы придавали ее лицу надменное выражение, рыжеватые волосы с огненным отливом непокорно выбивались изпод черной шляпы, к которой были небрежно прикреплены потрепанные крылья большой хищной птицы. Одета она была во что-то темное, просторное и бесформенное. Она сидела, подперев подбородок маленькой нехоленой рукой.

Аркадий, который и раньше слышал об этом могущественном архангеле, засвидетельствовал Зите свое глубокое уважение и полное доверие и не замедлил поделиться с ней своим стремлением к знанию и свободе. Он рассказал ей о своих ночных бдениях в библиотеке д'Эспарвье, о своих занятиях философией, естественными науками, экзегетикой и о том, как он, убедившись в обмане демиурга, проникся гневом и презрением и решил добровольно остаться среди людей, чтобы поднять восстание на небесах. Готовый на все в борьбе против жестокого властелина, к которому он питал неугасимую ненависть, он выразил глубокую радость, что встретил в Итурииле духа, который может дать ему совет и поддержать его великое начинание.

— Видно, что вы еще неопытный бунтовщик, — с улыбкой сказала Зита.

Однако она не сомневалась ни в его искренности, ни в решимости и приветствовала в нем отвагу мысли.

— Этого-то как раз и недостает нашему народу, — заметила она, — он не размышляет.

И тут же прибавила:

— Но как может заостриться ум в стране, где климат мягкий, а жизнь легкая? Даже здесь, где нужда заставляет мозг изощряться, мыслящее существо — большая редкость.

— И все-таки, — возразил ангел-хранитель Мориса, — люди создали науку, и надо, чтобы она проникла на небеса. Когда ангелы будут иметь понятие о физике, химии, физиологии, астрономии; когда изучение материи откроет им вселенную в атоме и тот же атом — в мириадах солнц; когда они увидят, что и они затеряны где-то между этими двумя бесконечностями; когда они взвесят и измерят светила, исследуют их субстанции, вычислят их орбиты, — они поймут, что эти громады повинуются силам, predeterminedить которые не в состоянии ни один дух, или же что у каждой из них есть свой особый гений, свой бог-покровитель, и им станет ясно, что боги Альдебарана, Бетельгейзе и Сириуса * превосходят Иалдаваофа; а когда они устремят пытливый взор на маленький мирок, к которому они привязаны, и, проникнув сквозь земную кору, проследят постепенную эволюцию растительного и животного миров и суровое существование первобытного человека в каменной пещере или в свайной хижине, не ведавшего иного бога, кроме самого себя; когда они узнают, как, связанные узами общего родства с растениями, животными, людьми, они последовательно переходили от одной формы органической жизни к другой, начиная с самых простых и грубых, чтобы стать наконец прекраснейшими из детей солнца, — тогда они поймут, что Иалдаваоф — безвестный дух маленького, затерянного в пространстве мирка, — обманывает их, уверяя, будто он своим гласом извлек их из небытия, что он лжет, называя себя Бесконечным, Вечным и Всемогущим, что он не только не создавал миры, но даже не знает, сколько их и каким они подчиняются законам; они увидят, что он подобен любому из них, и, проникнувшись презрением к тирану, свергнут его и низринут в геенну, куда он низринул тех, кто был достойнее его.

— Хорошо, если б все было так, как вы говорите, — ответила Зита, затягиваясь папироской. — Однако эти знания, с помощью которых вы надеетесь освободить

небеса, не могли уничтожить религиозное чувство на земле. В странах, где возникли, где изучаются физика, химия, астрономия, геология, которые, по-вашему, могут освободить мир, христианство почти полностью сохранило свою власть. Ну, а если позитивные науки оказали такое слабое влияние на верования людей, вряд ли можно надеяться, что они окажут больше влияния на убеждения ангелов. Научная пропаганда — дело совершенно безнадежное.

Аркадий стал горячо возражать:

— Как, вы отрицаете, что наука нанесла церкви смертельный удар? Да что вы! Церковь судит об этом иначе. Она боится этой науки, которую вы считаете бессильной, и поэтому преследует ее. Она налагает запрет на ее творения, начиная от диалогов Галилея и кончая маленькими учебниками господина Олара *. И не без основания. Некогда церковь вмещала в себе все, что было великого в человеческой мысли, и управляла телами так же, как душами, насаждая огнем и железом единство повиновения. Теперь ее могущество только призрачный след, избранные умы отвернулись от нее. Вот до чего довела ее наука.

— Возможно, — ответила прекрасная архангелица, — но как медленно все это совершалось, сколько было всяких превратностей, скольких это стоило усилий и жертв!

Зита не то чтобы совсем отрицала научную пропаганду, но она не надеялась этим путем достичь быстрых и успешных результатов. Для нее важно было не просветить ангелов, а освободить их, и она считала, что оказать нужное воздействие на любого индивида можно, лишь разжигая его страсти, затрагивая его корыстные чувства.

— Убедить ангелов в том, что они покроют себя славой, низвергнув тирана, и что они будут счастливы, когда станут свободными, — вот самый верный способ действия. Я, со своей стороны, делаю для этого все, что в моих силах. Разумеется, это не легко, потому что царство небесное представляет собой военную автократию и там не существует общественного мнения. Однако я не теряю надежды посеять там кое-какие

идеи и могу сказать, не хвастая, что нет никого, кто бы так хорошо знал различные классы ангельского общества, как я.

Бросив окурок, Зита на минуту задумалась, потом под громкий стук костяных шаров, сталкивающихся на бильярде, под звон стаканов, под отрывистые возгласы, объявляющие счет игры, и монотонные ответы официантов на требования посетителей архангелица стала перечислять все слои славного населения небес.

— На Господства, Силы и Власти рассчитывать не приходится, ибо они составляют небесную мелкую буржуазию, а мне нет надобности говорить вам, вы сами не хуже меня знаете, каким эгоизмом, какой низостью и трусостью отличаются средние классы. Ну, а что касается крупных сановников, то наши министры и генералы — Престоли, Херувимы и Серафимы, вы сами понимаете, предпочтут спокойно выжидать; если наша возьмет, они будут с нами, ибо свергнуть тирана очень нелегко, но когда он уже низложен, все его силы обращаются против него. Неплохо было бы нащупать кое-какие возможности в армии. Как бы она ни была верна, искусная анархическая пропаганда может вызвать в ней брожение. Но главный наш упор должен быть сделан на ангелов вашей категории, Аркадий, на ангелов-хранителей, которые в таком множестве населяют землю... Они стоят на самой низшей ступени иерархической лестницы, по большей части недовольны своей судьбой и в той или иной мере заражены современными идеями.

У нее уже были налажены связи с ангелами-хранителями в кварталах Монмартр, Клиньянкур и Фий-дю-Кальвер и обдуман план широкого объединения небесных духов на земле в целях завоевания неба.

— Чтобы осуществить этот план, — сказала она, — я и поселилась во Франции. Конечно, я не настолько глупа и не обольщаюсь мыслью, что в республике у меня будет больше свободы, нежели в монархическом государстве, напротив, нет другой такой страны, где бы личная свобода уважалась меньше, чем во Франции, но к вопросам религии здесь относятся с полным рав-

нодушим. Поэтому я чувствую себя здесь спокойнее, чем где бы то ни было.

Она предложила Аркадию соединить их усилия, и они простились на пороге кабачка, когда железная штора уже опускалась с визгом над витриной.

— Прежде всего, — сказала Зита, — вам надо познакомиться с садовником Нектарием, — мы как-нибудь съездим с вами в его загородный домик.

Теофиль, который спал все время, пока они разговаривали, стал умолять своего друга зайти к нему выкурить папиросу. Он жил здесь совсем рядом, на углу маленькой улочки Стейнкерк, которая выходит прямо на бульвар. Он покажет ему Бушотту, она, наверно, понравится ему.

Они поднялись на шестой этаж. Бушотта еще не вернулась.

На рояле стояла открытая коробка с сардинами. Красные чулки, как змеи, извивались по креслам.

— Тесновато у нас, зато уютно, — сказал Теофиль.

И, глядя в окно, распахнутое в рыжеватую мглу, усеянную огнями, прибавил:

— Отсюда виден Сакре-Кер *,

Положив руку Аркадию на плечо, он повторил несколько раз:

— Я рад, что мы с тобой встретились.

Потом он повел своего бывшего товарища по небесной славе в кухонный коридорчик, там поставил свечу, достал из кармана ключ, открыл стенной шкаф и, откинув занавеску, показал два больших белых крыла.

— Видишь, — сказал он, — я сохранил их. Иногда, когда я остаюсь один, я прихожу посмотреть на них, и мне становится легче.

И он вытер покрасневшие глаза.

После нескольких минут прочувствованного молчания он поднес свечку к длинным перьям, с которых местами сошел пушок, и прошептал:

— Лезут от моли.

— Перцем надо посыпать, — сказал Аркадий.

— Я сыпал, — ответил со вздохом ангел-музыкант, — я сыпал и перец, и камфару, и соль. Ничего не помогает.

Глава четырнадцатая,

*которая знакомит нас с керубом, ратующим за благо
человечества, и которая непостижимым образом
заканчивается чудом с флейтой*

В первую ночь своего воплощения Аркадий отправился на ночлег к ангелу Истару в жалкую мансарду на узкой и темной улице Мазарини, приютившейся под сенью старинного Французского Института. Истар ждал его. Он отодвинул к стене разбитые реторты, треснутые горшки, бутылочные осколки, разломанные горны — в этом заключалась вся его обстановка — и бросил на пол свою одежду, чтобы прикорнуть на ней, уступив гостю складную кровать с соломенным тюфяком.

Небесные духи по своему облику отличаются друг от друга в зависимости от иерархической ступени, к которой они принадлежат, и в соответствии с их собственной природой. Все они прекрасны, но по-разному, и отнюдь не все ласкают взор мягкими округлостями и умильными ямочками младенческих тел, сверкающих нежной белизной и румянцем. Не все они в своей нетленной юности украшены той неизъяснимой красотой, которую греческое искусство времен упадка запечатлело в своих совершеннейших изваяниях и которая столько раз несмело воспроизводилась в потускневших, умиленных ликах христианской живописи. Есть среди ангелов такие, у которых подбородок покрыт густою растительностью, а тело наделено такими мощными мускулами, что кажется, словно у них под кожей шевелятся клубки змей. Есть ангелы без крыльев и есть с двумя, четырьмя или шестью крылами; встречаются и такие, что состоят сплошь из одних крыльев; многие ангелы, и не из последних, имеют облик величавых чудовищ, наподобие мифических кентавров, есть даже и такие, которые представляют собою живые колесницы или огненные колеса. Истар, принадлежавший к высшей иерархии, был из лика херувимов, или керубов, выше которых стоят только серафимы. По-

добно всем духам этой ступени, он имел некогда, в своем небесном бытии, облик крылатого быка. Туловище его было увенчано головой мужа с длинной бородой и рогами, а чресла наделены признаками обильной плодovitости. Силой и величиной он превосходил любое животное на земле, а когда он стоял с распростертыми крыльями, то покрывал своей тенью шестьдесят архангелов. Таков был Истар у себя на родине. Он сиял мощью и кротостью. Сердце его было бесстрашно, а душа благостна. Еще совсем недавно он любил своего господина, считал его добрым и был ему верным слугой. Но, стоя на страже у порога своего владыки, он непрестанно размышлял о каре, постигшей мятежных ангелов, и о проклятии Евы. Мысль его была глубокой, медлительной. Когда, по прошествии длинной вереницы веков, он убедился в том, что Иалдаваоф, зачавший вселенную, зачал с нею зло и смерть, он перестал поклоняться и служить ему. Любовь его обратилась в ненависть, почитание — в презрение. Он изрыгнул ему в лицо хулу и проклятия и бежал на землю.

Приняв облик человеческий, соразмерный обычному росту сынов Адама, он сохранил кое-какие черты своей первоначальной природы. Его большие глаза навывкате, горбатый нос, толстые губы, тонувшие в пышной бороде, которая черными кольцами ниспадала ему на грудь, — все это напоминало керубов на скинии Ягве *, о которых довольно близкое представление дают ниневийские крылатые быки. На земле, как и на небе, он носил имя Истара, и хотя он был лишен всякого тщеславия и каких бы то ни было сословных предрассудков, однако в силу глубокой потребности быть всегда и во всем искренним и правдивым он считал необходимым заявить о том высоком положении, которое по праву рождения занимал в небесной иерархии и, переводя свой титул керуба на соответствующий французский титул, именовал себя князем Истаром. Очутившись среди людей, он проникся к ним пылкой любовью. Ожидая, когда наступит час освобождения небес, он помышлял о спасительном обновлении человечества, и ему не терпелось покончить с этим гнусным миром, чтобы под звуки лир воздвигнуть на его пепле светлый

град радости и любви. Он служил химиком у одного коммерсанта, ведущего торговлю искусственными удобрениями, жил бедно, пописывал в вольнодумных газетках, выступал на публичных собраниях и однажды, будучи обвинен в антимилитаризме, отсидел несколько месяцев в тюрьме.

Истар радушно встретил своего собрата Аркадия, похвалил его за то, что он порвал с преступной кликой, и рассказал ему, что недавно на землю спустилось примерно с полсотни сынов неба, которые теперь поселились колонией в окрестностях Валь-де-Грас, и что они настроены весьма решительно.

— Ангелы так и падают дождем на Париж, — смеясь, говорил он. — Дня не проходит без того, чтобы какой-нибудь сановник священного двора не свалился нам на голову, и скоро у Заоблачного Султана вместо визирей и стражей останутся одни только голозадые пенцы его голусятни.

Убаюканный этими добрыми известиями, Аркадий заснул, полный радости и надежд.

Он проснулся на рассвете и увидел, что князь Истар уже орудует над своими горнами, ретортами и баллонами. Князь Истар трудился для счастья человечества.

Так каждое утро, просыпаясь, Аркадий видел князя Истара, поглощенного своим великим делом любви и участия. Иногда, сидя на корточках и опустив голову на руки, керуб тихонько бормотал какие-то химические формулы или, вытянувшись во весь рост, похожий на темный облачный столб, он просовывал в слуховое оконце голову, руки и всю верхнюю часть туловища и выставлял на крышу свой тигель со сплавом, опасаясь обыска, угроза которого висела над ним постоянно. Движимый великим состраданием к несчастьям этого мира, где он был изгнанником, подстрекаемый, быть может, тем шумом, который создавался вокруг его имени, воодушевленный собственной доблестью, он стал апостолом человеколюбия и, забывая о задаче, которую поставил перед собой, когда пал на землю, уже не думал больше об освобождении ангелов. Аркадий,

напротив, только и мечтал о том, как бы вернуться победителем на завоеванное небо, и стыдил керуба за то, что он забывает о родине. Князь Истар отвечал на это зычным беззлобным хохотом и признавался, что он действительно не променяет людей на ангелов.

— Все мои усилия направлены на то, чтобы поднять Францию и Европу, — говорил он своему небесному собрату. — Ибо уже занимается тот день, которому суждено увидеть торжество социальной революции. Отрадно бросать семена в эту глубоко вспаханную почву. Французы, которые прошли путь от феодализма к монархии и от монархии к финансовой олигархии, легко перейдут от финансовой олигархии к анархии.

— Как можно так заблуждаться, — возражал Аркадий. — Надеяться на быстрый решительный переворот в социальном порядке Европы! Старое общество еще в полном расцвете своего могущества и силы, средства защиты, которыми оно располагает, грандиозны. У пролетариата, напротив, еще только едва намечается оборонительная организация, он не способен проявить в борьбе ничего, кроме слабости и растерянности. У нас, на нашей небесной родине, совсем иное дело: полная незыблемость с виду, а внутри все прогнило. Достаточно одного толчка, чтобы опрокинуть всю эту махину, до которой никто не дотрагивался миллиарды веков. Дряхлая администрация, дряхлая армия, дряхлые финансы — все это истлело, обветшало больше, чем русское или персидское самодержавие.

И чувствительный Аркадий уговаривал Истара поспешить прежде всего на помощь своим братьям, которые среди звона кифар, в пуховых облаках, за чашами райского вина более достойны сожаления, чем люди, согбенные над скупой землей. Ибо люди уже познали справедливость, тогда как ангелы веселятся в беззаконии. Он умолял керуба освободить князя Света и его поверженных сторонников, дабы восстановить их в былой славе.

Истар поддавался этим уговорам. Он обещал перенести подкупающую вкрадчивость своих речей и вели-

коленные формулы своих взрывчатых веществ на служение небесной революции. Он обещал...

— Завтра, — говорил он.

А назавтра он продолжал свою антимилиитаристическую пропаганду в Иси-ле-Мулино. Подобно титану Прометею Истар любил людей.

Аркадий ощущал теперь все те потребности, которым подчинено племя Адама, но не располагал средствами для их удовлетворения. Керуб устроил его в типографию на улице Вожирар, где у него был знакомый мастер, и Аркадий благодаря своей небесной сметливости быстро научился набирать буквы и скоро стал прекрасным наборщиком.

Целый день он простаивал в шумной типографии с верстаткой в левой руке и быстро доставал из кассы маленькие свинцовые значки, следуя укрепленному на тенакле оригиналу, потом мыл руки под краном, бежал обедать в маленький ресторанчик и там, усевшись за мраморный столик, читал газеты.

Потеряв способность быть невидимым, он уже не мог больше проникать в библиотеку д'Эспарвье и утолять из этого неиссякаемого источника свою ненасытную жажду знания. Он ходил по вечерам читать в библиотеку св. Женевьевы на прославленный науками холм *, но там можно было достать только самые общедоступные книги, захватанные грязными руками, исчерканные дурацкими надписями, с вырванными страницами.

Когда он видел женщин, его охватывало волнение и ему вспоминалась г-жа дез Обель и ее гладкие колени, блестящие на смятой постели. Как ни красив он был, в него никто не влюблялся, ибо он был беден и ходил в рабочем платье. Он навещал Зиту, и ему доставляло удовольствие пойти погулять с ней в воскресенье по пыльной дороге вдоль крепостного рва, заросшего сочной травой. Они проходили мимо харчевен, огородов, беседок и спорили, делясь друг с другом самыми грандиозными замыслами, которые когда-либо обсуждались на этой планете; и нередко откуда-нибудь, с ближней ярмарки, праздничный оркестр карусели вторил их речам, угрожавшим небу.

Зита частенько говорила:

— Истар очень честен, но ведь это сущий младенец, он верит в доброту всего, что существует и дышит на земле. Он затекает разрушение старого мира и воображает, что стихийная анархия избавит его от забот по установлению порядка и гармонии. Вы, Аркадий, вы верите в знания, вы думаете, что ангелы и люди способны понимать, тогда как на самом деле они могут только чувствовать. Поверьте, вы ничего не добьетесь, обращаясь к их разуму: надо уметь затронуть их страсти, их корысть.

Аркадий, Истар, Зита и еще трое или четверо ангелов, участвовавших в заговоре, собирались иногда на квартирке Теофиля Белэ, где Бушотта поила их чаем. Она не знала, что это мятежные ангелы, но инстинктивно ненавидела и боялась их, ибо, как ни небрежно, все же была воспитана в христианской вере. Один только князь Истар нравился ей: ее привлекало в нем его добродушие и врожденное благородство. Он продавливал диван, ломал кресла, а когда ему нужно было что-нибудь записать, он отрывал уголки у партитурных листов и засовывал эти клочки к себе в карманы, вечно набитые какими-то брошюрами и бутылками. Музыкант с грустью смотрел на рукопись своей оперетты «Алина, королева Голконды», тоже оборванную по углам. Кроме того, у князя вошло в привычку отдавать на сохранение Теофилю Белэ всякого рода механические приборы, химикалии, железный лом, дробь, порох и какие-то жидкости, распространявшие отвратительный запах. Теофиль Белэ с величайшими предосторожностями запирал всё это в шкаф, где он хранил свои крылья, и это имущество доставляло ему немало беспокойств.

Аркадий не легко переносил презрение своих братьев, оставшихся верными. Когда он попадался им на пути в их святых странствиях, они, пролетая мимо, выражали ему жестокую ненависть или жалость, еще более жестокую, чем ненависть.

Он ходил знакомиться с мятежными ангелами, которых указывал ему князь Истар, и они по большей части оказывали ему радушный прием, но, как только

он заводил речь о завоевании неба, они давали ему понять, что им это неприятно и что он ставит их в затруднительное положение. Аркадий видел, что они не желают, чтобы им мешали в их занятиях, склонностях, привычках. Ошибочность их суждений, их умственная ограниченность возмущали его, а мелкое соперничество, зависть, которую они проявляли по отношению друг к другу, лишали его какой бы то ни было надежды на то, что их можно объединить для общего дела. Наблюдая, до какой степени изгнание уродует характер, искажает ум, он чувствовал, что мужество покидает его.

Как-то раз вечером он поделился своими огорчениями с Зитой, и прекрасная архангелица сказала ему: — Пойдемте к Нектарию. Нектарий владеет секретом — он умеет лечить от усталости и уныния.

Она повезла его в Монморанси, и они остановились у порога маленького белого домика, к которому примыкал огород, сейчас оголенный зимними холодами; в сумрачной его глубине поблескивали стекла теплиц и треснутые колпаки для дынь.

Нектарий отворил дверь и, усмирив неистово лающего дога, который сторожил сад, провел гостей в большую низкую комнату, где топилась изразцовая печь. У выбеленной стены, на сосновой полке, среди луковиц и семян лежала флейта, которая словно ждала, чтобы ее поднесли к губам. На круглом ореховом столе стоял глиняный горшок с табаком, бутылка вина, стаканы и лежала трубка. Садовник пододвинул гостям соломённые стулья, а сам уселся на скамью около стола.

Это был крепкий старик; лицо у него было румяное, с широким приплюснутым носом и с длинной раздвоенной бородой; густые седые волосы были зачесаны кверху над выпуклым лбом. Огромный дог растянулся у ног хозяина, уткнул в лапы короткую черную морду и закрыл глаза. Садовник налил гостям вина. Когда они выпили и немножко поговорили, Зита сказала Нектарию:

— Прошу вас, поиграйте нам на флейте. Моему другу, которого я к вам привела, это доставит большое удовольствие.

Старик охотно согласился. Он поднес к губам буксовую свирель, сделанную грубо, по-видимому, им самим, и для начала сыграл несколько странных музыкальных фраз. Затем вдруг зазвучали прекрасные мелодии, в которых трели сверкали, как жемчуга и бриллианты на бархате. Под искусными пальцами, оживленная творческим дыханием, деревенская свирель пела, как серебряная флейта. Она не срывалась на слишком резкие ноты; тембр ее был неизменно ровен и чист; казалось, вы внимали сразу и соловью, и музам, и всей природе, и человеку. Старик выражал, излагал, развивал свои мысли в музыкальной речи, грациозной и смелой. Он пел любовь, страх, бесцельные распри, торжествующий смех, спокойное сияние разума, острые стрелы мысли, разящие своими золотыми остриями чудовищ Невежества и Ненависти. Он пел Радость и Страдание, этих близнецов, склонивших свои головы над землей, и Желание, которое созидает миры.

Всю ночь напролет звучала флейта Нектария. Уже утренняя звезда поднялась над побледневшим горизонтом. Зита, обняв колени, Аркадий, склонив голову на руку, полураскрыв губы, сидели неподвижно и слушали. Жаворонок, проснувшись неподалеку, на песчаном пустыре, привлеченный этими неведомыми звуками, стремительно взвился в небо, застыл на мгновение в воздухе и вдруг камнем упал в сад музыканта. Окрестные воробьи, покинув расщелины старых стен, стайкой слетели на карниз окна, откуда лились звуки, пленявшие их больше, чем овсяное или ячменное зерно. Сойка, впервые вылетевшая из лесу, опустилась на оголенное вишневое дерево в саду и сложила свои сапфировые крылышки. Большая черная крыса на решетке у сточной канавы, еще вся мокрая и лоснящаяся от жирной воды, присела в изумлении, вскинув свои коротенькие передние лапки с тоненькими пальчиками. Возле нее пристроилась живущая на огороде полевая мышь. Старый домашний кот, унаследовавший от своих диких предков серую шерсть, полосатый хвост, мощные лапы, отвагу и высокомерие, толкнул мордой приоткрытую дверь, бесшумно приблизился к флейтисту и, важно усевшись, насторожил уши, изодранные в ночных боях.

Белая кошечка лавочника, крадучись, вошла за ним, потянула в себя звенящий воздух, потом, выгнув спину дугой, зажмурила голубые глаза и стала в упоении слушать. Мыши выбежали из подполья, обступили их целой толпой, не страшась ни когтей, ни зубов, и, в умилении сложив на груди розовые лапки, замерли неподвижно. Пауки покинули свою паутину и, судорожно перебирая ножками, очарованные, собрались на потолке. Маленькая серая ящерица, юркнув на порог, притаилась, замороженная, и если бы кто заглянул на чердак, то увидел бы там летучую мышь, которая, зацепившись когтем, висела вниз головой и, наполовину проснувшись от своей зимней спячки, тихонько покачивалась в такт несказанной флейте.

Глава пятнадцатая,

где мы видим, что юный Морис даже в объятиях возлюбленной жалеет о своем пропавшем ангел-хранителе, и где устами аббата Патуйля все разговоры о новом восстании ангелов отвергаются как искушение и обман

Прошло две недели после появления ангела в холостой квартирке Мориса. Первый раз Жильберта пришла на свидание раньше своего возлюбленного. Морис был угрюм. Жильберта раздражительна. Мир снова обрел в их глазах унылое однообразие. Скучающие взгляды, которыми они обменивались, то и дело устремлялись в угол между зеркальным шкафом и окном, где в тот раз появился бледный облик Аркадия и где теперь не было ничего, кроме обоев из голубого крестона.

Не называя его (это было излишне), г-жа дез Обель спросила:

— Ты его больше не видел?

Медленно, грустно Морис повернул голову слева направо и справа налево.

— Ты, кажется, жалеешь об этом? — спросила г-жа дез Обель. — Но признайся, ведь он тебя ужасно напугал? И сам же ты возмущался его бестактностью.

— Разумеется, он был бестактен, — сказал Морис без всякого неудовольствия.

Она сидела в постели полуголая, обняв колени и опершись на них подбородком. Внезапно она посмотрела на своего любовника с острым любопытством.

— Скажи, Морис, для тебя теперь ровно ничего не значит видеться со мной вот так, наедине?.. Тебе нужен ангел, чтобы ты воодушевился. Знаешь, это печально в твоём возрасте.

Морис как будто не слышал и с задумчивым видом спросил:

— Жильберта, а ты чувствуешь возле себя своего ангела-хранителя?

— Я — нисколько, я даже никогда и не думала о моем... а ведь я все-таки верующая. По-моему, люди, которые ни во что не верят, это все равно что звери. И потом человек, у которого нет религии, не может быть порядочным, это немыслимо.

— Да, так оно и есть, — сказал Морис, глядя на лиловые полоски своей пижамы без цветочков. — Когда при тебе есть твой ангел-хранитель, то о нем даже и не думаешь, а вот когда потеряешь его, чувствуешь себя таким одиноким.

— Значит, ты скучаешь без этого...

— Не то чтоб я...

— Да, да, скучаешь. Ну, сказать по правде, дорогой мой, о таком ангеле-хранителе жалеть не стоит. Никуда он не годится, твой Аркадий. В тот знаменательный день, когда ты ушел покупать ему тряпье, он без конца возила, застегивая мне платье, и я очень ясно чувствовала, как его рука... ну, словом, не очень-то доверяй ему.

Морис закурил папиросу и задумался. Они поговорили о шестидневных велосипедных гонках на зимнем велодроме и об авиационной выставке в Брюссельском автомобильном клубе, но это ничуть не развлекло их. Тогда они обратились к любви, как к самому легкому развлечению. Им удалось несколько забыться. Но в тот самый момент, когда Жильберте следовало проявить наибольшую податливость и обнаружить соответствующую

щие чувства, она вдруг неожиданно привскочила и крикнула:

— Боже мой, Морис, как это было глупо с твоей стороны сказать, что мой ангел-хранитель видит меня. Ты себе представить не можешь, до чего это меня сейчас стесняет.

Морис, раздраженный, несколько грубовато попросил свою возлюбленную не отвлекаться, но она заявила, что у нее есть моральные устои, которые не позволяют ей предаваться любви вчетвером с ангелами.

Морис жаждал снова увидеться с Аркадием и не мог думать ни о чем другом. Он горько упрекал себя за то, что, расставаясь с ним, потерял его след. День и ночь он только и думал о том, как бы его разыскать. На всякий случай он поместил в «почтовом ящике» одной крупной газеты следующее уведомление: «Морис — Аркадию. Вернитесь». Дни проходили, но Аркадий не возвращался.

Как-то раз утром в семь часов Морис отправился в церковь св. Сульпиция к обедне, которую служил аббат Патуйль; когда священник после службы выходил из ризницы, он подошел к нему и попросил уделить ему несколько минут. Они вместе спустились с паперти и стали прогуливаться под ясным зимним небом вокруг фонтана «Четырех епископов». Хотя совесть его была в большом смятении и хотя, казалось, очень трудно заставить поверить в такой невероятный случай, Морис все же рассказал, как к нему явился ангел-хранитель и сообщил о своем ужасном намерении покинуть его для того, чтобы подготовить новое восстание небесных духов. И юный д'Эспарвье попросил у почтенного священнослужителя совета, как ему поступить, чтобы вернуть своего небесного покровителя, без которого он не может жить, и как снова обратиться к христианской вере. Аббат Патуйль с сердечным соболезнованием отвечал, что его дорогое дитя, вероятно, видело все это во сне и приняло за действительность лихора-

дочный бред и что не подобает думать, будто добрые ангелы способны восстать против господя.

— Молодые люди воображают, — прибавил он, — что можно безнаказанно вести рассеянный и беспорядочный образ жизни. Они заблуждаются. Невоздержанность в удовольствиях затемняет сознание и губит рассудок. Дьявол завладевает чувствами грешника, чтобы проникнуть в глубь его души. Это он грубым обманом ввел вас во искушение, Морис.

Морис продолжал настаивать, что он вовсе не бредил, что ему это вовсе не снилось, что он видел собственными глазами и собственными ушами слышал своего ангела-хранителя. Он стоял на своем.

— Господин аббат, одна дама, которая тогда находилась со мной и которую излишне называть, тоже видела и слышала его, и она даже ощущала прикосновение пальцев ангела, которыми он... которые шарили у нее под... словом, она их ощущала. Уверяю вас, господин аббат, это было самое реальное, самое настоящее, совершенно неоспоримое явление. Ангел был белокурый, молодой, очень красивый. Его светлое тело в темноте было словно пронизано каким-то молочным сиянием. Он говорил чистым нежным голосом.

Тут аббат с живостью перебил его:

— Уж это одно, дитя мое, доказывает, что вам все это пригрезилось. Все демонологи сходятся в том, что у злых ангелов хриплый голос, скрипучий, как заржавленный замок, и если им даже удастся придать своему облику некоторое подобие красоты, они никак не могут перенять чистый голос добрых духов. Эта истина, подтвержденная многочисленными свидетельствами, не подлежит никакому сомнению.

— Но, господин аббат, я же сам видел его. Он уселся совсем голый в кресло, прямо на черные чулки. Ну что я вам могу еще сказать?

Но на аббата Патуйя не подействовало и это доказательство.

— Повторяю вам, дитя мое, что это тяжелое заблуждение; этот бред глубоко смятенной души можно объяснить только плачевным состоянием вашей совести. И мне кажется, я даже угадываю, какое случайное

обстоятельство вывело из равновесия ваш смятенный разум. Нынешней зимой вы, будучи уже в скверном состоянии, пришли вместе с господином Сарьеттом и вашим дядей Газтаном посмотреть часовню Ангелов, которая тогда реставрировалась. Как я уже не раз говорил, художникам следует постоянно напоминать каноны христианского искусства. Им надобно неустанно внушать уважение к Священному писанию и его признанным толкователям. Господин Эжен Делакруа не желал подчинять свой бурный гений христианской традиции. Он творил своим умом и запечатлел в этой часовне образы, от которых, как говорили тогда, пахнет серой; жестокие, страшные сцены, которые отнюдь не даруют душе мир, радость и успокоение, а, наоборот, повергают ее в смятение и ужас. У всех его ангелов разгневанные лики, суровые, мрачные черты. Можно и впрямь подумать, что это Люцифер и его сообщники, замышляющие восстание. Вот эти-то изображения, дитя мое, и повлияли на ваш ослабленный и расшатанный беспорядочной жизнью рассудок и внесли в него ту сумятицу, жертвой которой вы сейчас являетесь.

— Нет, нет, господин аббат, да нет же! — воскликнул Морис. — Не думайте, что на меня произвела впечатление живопись Эжена Делакруа. Да я даже не смотрел на эти картины, меня совершенно не трогает такого рода искусство.

— Послушайте, дитя мое, можете мне поверить, — то, что вы рассказываете, никак не может быть истинным. Это немыслимо. Ваш ангел-хранитель не являлся вам.

— Но, господин аббат, — продолжал Морис, для которого свидетельство его собственных чувств не подлежало никакому сомнению, — я видел, как он зашнуровывал ботинки даме и потом надел на себя штаны самоубийцы!..

И, топнув ногой по асфальту, Морис призвал в свидетели своей правоты небо, землю, природу, башни св. Сульпиция, стены большой семинарии, фонтан «Четырех епископов», уличную уборную, стоянки фиакров, таксомоторов и автобусов, деревья, прохожих, со-

бак, воробьев и продавщицу цветов со всеми ее цветами.

Аббату не терпелось закончить беседу.

— Все это заблуждение, грех и обман, дитя мое, вы христианин и должны рассуждать, как подобает христианину. Христианину не подобает поддаваться соблазну суетных видений. Вера укрепляет его против обольщений чудесами. Пусть легковерие будет уделом вольнодумцев. Вот уж поистине легковерные люди, нет такого вздора, за который бы они не ухватились. Но христианин обладает оружием, которое рассеивает дьявольские наваждения, крестным знамением. Успокойтесь, Морис, вы не потеряли своего ангела-хранителя, он неустанно печется о вас, а вы должны постараться, чтобы эта его святая обязанность не была для него слишком трудной и обременительной. До свидания, Морис. Погода, видно, меняется. Я уж чувствую это по тому, как у меня ноет большой палец на ноге.

И аббат Патуйль удалился, держа под мышкой молитвенник и прихрамывая с таким достоинством, что можно было безошибочно признать в нем будущего епископа.

В этот самый день Аркадий и Зита, опершись на парапет монмартрской лестницы, смотрели на дымы и туманы, расстилавшиеся над огромным городом.

— Может ли постичь разум, сколько горя и страданий вмещает в себе большой город? — сказал Аркадий. — Мне кажется, если бы человек мог себе это представить, он не выдержал бы столь страшного зрелища, оно сразило бы его наповал.

— И тем не менее, — сказала Зита, — все, что дышит в этой геенне, любит жизнь. — И в этом — великая тайна!

— Люди несчастны, пока существуют, но перестать существовать для них ужасно. Они не ищут утешения в небытии, не ждут от него отдыха. В своем неразумии они даже страшатся небытия; они населили его призраками. Посмотрите-ка на эти фронтоны, колокольни, купола и шпили, которые поднимаются над

туманом, увенчанные сверкающим крестом. Люди поклоняются демиургу, который создал для них жизнь хуже смерти и смерть хуже жизни.

Зита долго молчала, задумавшись, и наконец сказала:

— Аркадий, я должна вам признаться, — не жажда более справедливого правосудия или более мудрого закона низвергла Итуриила на землю. Честолюбие, склонность к интригам, любовь к богатству и почестям делали для меня невыносимым небесный покой, и я горела желанием слиться с мятущимся человеческим родом. Я сошла на землю, с помощью искусства, ведомого почти никому из ангелов, приняла человеческий облик и, обладая способностью менять по своему желанию возраст и пол, обрела возможность изведать самые удивительные жребии. Сотни раз я оказывалась на первом месте среди любимцев века, королей злата и властителей народов. Я не назову вам, Аркадий, прославленные имена, которыми я называлась, но знайте, что я царила в науках, искусствах, славилась могуществом, богатством и красотой среди всех народов мира. Наконец несколько лет тому назад, путешествуя по Франции под видом знаменитой иностранки, я блуждала однажды вечером в лесу Монморанси и услышала флейту, которая пела о скорби небес. Ее чистый тоскующий голос надрывал душу. Мне никогда еще не приходилось слышать ничего столь прекрасного. Глаза мои наполнились слезами, грудь стеснилась рыданиями. Я приблизилась и увидела на опушке леса старика, похожего на фавна, который играл на деревенской свирели. Это был Нектарий. Упав к его ногам, я поцеловала его руки, прильнула к его божественным устам и убежала.

С тех пор мне наскучила шумная пустота земных забот, я познала ничтожество земного величия, я устыдилась напрасно затраченных мною огромных усилий, и, устремив свое честолюбие к более высокой цели, я обратила взор к моей небесной родине и дала обет вернуться туда освободительницей. Я оставила свое высокое звание, свое имя, богатство, друзей, толпу счита-

телей и, превратившись в безвестную Зиту, стала трудиться в бедности и одиночестве, дабы приблизить час освобождения небес.

— И я слышал флейту Нектария, — сказал Аркадий, — но кто же он, этот старый садовник, который умеет извлекать из грубой деревянной свирели столь трогательные и прекрасные звуки?

— Вы это скоро узнаете, — сказала Зита.

Глава шестнадцатая,

в которой друг за другом проходят перед нами ясновидящая Мира, Зефирина и роковой Амедей и которая на страшном примере Сарьетта подтверждает слова Еврипида о том, что Юпитер отнимает разум у тех, кого он хочет погубить

Разочаровавшись в попытке расширить религиозный кругозор прославленного своей ученостью аббата и потеряв надежду найти своего ангела с помощью истинной веры, Морис решил прибегнуть к помощи потусторонних наук и посоветоваться с ясновидящей. Он, разумеется, пошел бы к г-же де Теб, но он уже обращался к ней однажды, в пору своих первых любовных затруднений, и она беседовала с ним столь рассудительно, что он усомнился в том, что она колдунья. Теперь он возложил все свои надежды на сокровенные знания некоей модной сомнамбулы, г-жи Мира.

Он не раз слышал рассказы о ее необыкновенной прозорливости. Нужно было только принести ей какой-нибудь предмет, который носил на себе или к которому прикасался тот отсутствующий, на коего требовалось направить его всепроникающий взор. Морис, перебирая в уме все предметы, к которым мог прикоснуться ангел после своего злополучного превращения, вспомнил, что он в своей райской наготе уселся в кресло на черные чулки г-жи дез Обель и что он помогал ей одеваться. Морис попросил у Жильберты что-нибудь в качестве талисмана, необходимого для ясновидящей. Но Жильберта не могла найти ничего подходящего, за исключе-

нием разве только самой себя, ибо ангел, оказывается, проявил по отношению к ней величайшую нескромность и действовал настолько проворно, что не было никакой возможности предупредить его поползновения. Выслушав это признание, которое, кстати сказать, не заключало в себе ничего нового, Морис страшно возмутился, обозвал ангела именами самых гнусных животных и поклялся, что даст ему пинка в зад, если встретится с ним когда-нибудь на близком расстоянии. Но очень скоро ярость его обратилась на г-жу дез Обель. Он стал обвинять ее в том, что она сама поощряла развязность, на которую теперь жалуется, и, не помня себя, принялся всячески поносить ее, наделяя всеми зоологическими символами бесстыдства и разврата. Любовь к Аркадию, пламенная и чистая, с новой силой вспыхнула в его сердце; покинутый юноша, обливаясь слезами, упал на колени и, простирая руки, стал призывать своего ангела.

Как-то раз ночью Морис вспомнил о книгах, которые ангел перелистывал до своего появления, и решил, что они могли бы подойти в качестве талисмана. Вот почему однажды утром он поднялся в библиотеку и обратился с приветствием к Сарьетту, который корпел над каталогом под романтическим взором Александра д'Эспарвье. Сарьетт улыбался, смертельно бледный. Теперь, когда незримая рука уж больше не разбрасывала вверенных его попечению книг, когда в библиотеке снова воцарились порядок и покой, Сарьетт блаженствовал, но силы его слабели с каждым днем. От него осталась одна тень, легкая и умиротворенная.

Несчастья прошлого и в счастье убивают.

— Господин Сарьетт, — сказал Морис, — помните вы то время, когда ваши книжонки исчезали по ночам, охапками носились в воздухе, летали, порхали, перелетали с места на место, попадали невесть куда, вплоть до канавы на улице Палатин? Хорошее было время! Покажите-ка мне, господин Сарьетт, те книжечки, которым доставалось чаще всего.

Эта речь повергла Сарьетта в мрачное оцепенение, и Морису пришлось трижды повторить свое предло-

жение, прежде чем старый библиотекарь понял, что от него хотят. Тогда он указал на один очень древний иерусалимский талмуд, который не раз побывал в неудобных руках; апокрифическое евангелие третьего века на двадцати листах папируса тоже частенько покидало свое место. Перелистывали усердно, по-видимому, и переписку Гассенди.

— Но есть одна книга, — сказал в заключение Сарьетт, — которую таинственный посетитель, несомненно, предпочитал всем другим. Это маленький «Лукреций» в красном сафьяновом переплете с гербом Филиппа Вандомского, великого приора Франции, и собственноручными пометками Вольтера, который, как известно, в юности посещал Тампль. Страшный читатель, наделавший мне столько хлопот, прямо-таки не расставался с этим «Лукрецием». Это была, если можно так выразиться, его настольная книга. Видно, он знаток, ибо это поистине драгоценность. Увы, изверг посадил чернильное пятно на сто тридцать седьмой странице, и я боюсь, что вывести его не удастся никаким химикам.

Господин Сарьетт глубоко вздохнул. Ему пришлось тут же раскаться в своей откровенности, ибо не успел он кончить, как юный д'Эспарвье потребовал у него драгоценного «Лукреция». Напрасно ревностный хранитель уверял, что книга сейчас у переплетчика и он не может ее принести. Морис дал понять, что его этим не проведешь. Он с решительным видом прошел в зал Философов и Сфер и, усевшись в кресло, сказал:

— Я жду.

Сарьетт предлагал дать ему другое издание латинского поэта. Есть издания с более правильным текстом, сказал он, и, следовательно, более подходящие для занятий. И он предложил «Лукреция» Барбу, «Лукреция» Кутелье или, еще лучше, французский перевод. Можно взять перевод барона де Кютюра, хотя он, пожалуй, немножко устарел, перевод Лагранжа или переводы в изданиях Низара и Панкука и, наконец, два очень изящных переложения члена Французской академии, г-на де Понжервиля, одно в стихах, другое в прозе.

— Не нужно мне переводов, — надменно ответил Морис. — Дайте мне «Лукреция» приора Вандомского.

Сарьетт медленно приблизился к шкафу, где хранилось это сокровище. Ключи звенели в его дрожащей руке. Он поднес их к замку, но тут же отдернул и предложил Морису «Лукреция» в популярном издании Гарнье.

— Очень удобен для чтения, — сказал он с заискивающей улыбкой.

Но по молчанию, которое последовало на это предложение, он понял, что противиться бесполезно. Он медленно достал книгу с полки и, удостоверившись, что на сукне стола нет ни пылинки, дрожа положил ее перед правнуком Александра д'Эспарвье.

Морис взял ее, стал перелистывать и, дойдя до тридцать седьмой страницы, углубился в созерцание лилового чернильного пятна величиной с горошину.

— Да, да, вот оно, — оказал папаша Сарьетт, не сводивший глаз с «Лукреция». — Вот след, который оставили на книжке эти незримые чудовища.

— Как, господин Сарьетт, разве их было несколько? — воскликнул Морис.

— Этого я не знаю, но сомневаюсь, имею ли я право уничтожить это пятно; возможно, что оно, подобно той кляксе, которую Поль-Луи Курье * посадил на флорентийской рукописи, представляет собой, так сказать, литературный документ.

Не успел старик договорить, как у входной двери раздался звонок и в соседней зале послышались гулкие шаги и чей-то громкий голос. Сарьетт бросился на шум и столкнулся с возлюбленной папаши Гинардона, старой Зефириной. Ее взлохмаченные волосы торчали во все стороны, как змеи из гнезда, лицо пылало, грудь бурно вздымалась, живот, похожий на пуховик, вздувшийся от ветра, ходил ходуном, — она задыхалась от ярости и горя. И сквозь рыдания, вздохи, стоны и тысячи других звуков, которые, исходя из ее груди, казалось, сочетали в себе все шумы, порождаемые на земле волнением тварей и смятением стихий, она вопила:

— Он ушел, изверг! Ушел с ней! И унес с собой все, все до последней нитки! И оставил меня одну! Вот

франк и семьдесят сантимов — все, что было у меня в кошельке!

И она длинно и путано стала рассказывать, что Мишель Гинардон бросил ее и поселился с Октавией, дочерью булочницы; при этом она беспрестанно прерывала себя, осыпая изменника проклятиями и бранью.

— Человек, которого я пятьдесят с лишком лет держала на свои собственные деньги! У меня-то ведь были и деньжонки и хорошие связи, и все... Из нищеты его вытащила! И вот как он мне отплатил! Нечего сказать, хороший у вас приятель! Бездельник, за которым нужно было ходить, как за ребенком! Пьяница!.. Последний негодяй!.. Вы плохо его знаете, господин Сарьетт... Ведь это мошенник, он без зазрения совести подделывает Джотто, да, Джотто, и Фра Анджелико, и Греко. Да, да, господин Сарьетт, и сбывает их торговцам картинами. И всех этих Фрагонаров и Бодуэнов! Распутник! Нехристь! Ведь он в бога не верует!.. Вот где самое зло-то, господин Сарьетт! Раз у человека нет страха божьего...

Зефирина долго изливала свое негодование. Когда она наконец выбилась из сил, Сарьетт, воспользовавшись передышкой, стал успокаивать ее и пытался воскресить в ней надежду. Гинардон вернется. Так просто нельзя вычеркнуть из памяти пятьдесят лет дружной совместной жизни...

Эти кроткие речи вызвали новый прилив ярости. Зефирина клялась, что никогда не забудет нанесенной обиды, никогда не пустит к себе это чудовище. И если он даже будет на коленях просить у нее прощения, она заставит его валяться у нее в ногах.

— Разве вы не понимаете, господин Сарьетт, что я презираю, ненавижу его, что мне даже и глядеть-то на него противно.

Она раз шестьдесят высказала эти непреклонные чувства и столько же раз поклялась, что не пустит к себе Гинардона на порог, что ей и глядеть-то на него и думать о нем противно.

Господин Сарьетт не стал отговаривать ее, убедившись после стольких уверений, что ее решение

непоколебимо. Он не осуждал Зефирину, он даже похвалил ее. Нарисовав перед бедной покинутой женщиной более возвышенные перспективы, он обмолвился насчет непрочности человеческих чувств и, поддержав ее готовность к отречению, посоветовал благочестиво покориться воле божьей.

— Потому что, по правде говоря, — сказал он, — ваш друг недостойн такой привязанности...

Не успел он договорить, как Зефирина бросилась на него и, вцепившись ему в ворот сюртука, принялась трясти его из всех сил.

— Недостойн привязанности! — задыхаясь, кричала она. — Это мой-то Мишель недостойн привязанности! Да вы, мой милый, поищите другого такого же ласкового, веселого, находчивого... да такого, чтоб был всегда молодой, как он. Недостойн привязанности! Тот видно, что ты ничего не смыслишь в любви, старая крыса.

Воспользовавшись тем, что папаша Сарьетт был поневоле весьма занят, юный д'Эспарвье сунул маленького «Лукреция» в карман и спокойно прошествовал мимо терзаемого библиотекаря, помахав ему на прощание рукой.

Вооружившись этим талисманом, он помчался на площадь Терн к г-же Мира, которая приняла его в красной с золотом гостиной, где не было ни совы, ни жабы и никаких иных атрибутов древней магии. Г-жа Мира, дама уже в летах, с напудренными волосами, в платье цвета сливы, имела весьма почтенный вид. Она выражалась изысканно и с гордостью заявляла, что она проникает в область сокровенного исключительно при помощи науки, философии и религии. Пощупав сафьяновый переплет, она закрыла глаза и из-под опущенных век попыталась разобрать латинское заглавие и герб, которые ей ровно ничего не говорили. Привыкнув руководиться в качестве указаний кольцами, платками, письмами, волосами, она не могла понять, какого рода человеку могла принадлежать эта странная книга. С привычной ловкостью, почти машинально, она затаила свое искреннее недоумение, прикрыв его напускным.

— Странно, — пролепетала она, — очень странно. Я вижу очень неясно... вижу женщину...

Произнося это магическое слово, она украдкой наблюдала, какое впечатление оно произвело, и прочла на лице своего клиента неожиданное для себя разочарование. Обнаружив, что она идет по неправильному пути, она на ходу изменила свои прорицания.

— Но она тут же исчезает... чрезвычайно странно. Передо мною какой-то туманный облик, какое-то непостижимое существо.

И, убедившись с одного взгляда, что на этот раз ее слова жадно ловят на лету, она стала распространяться о двойственности этого существа, о тумане, который его окутывает.

Постепенно видение стало отчетливее вырисовываться перед взором г-жи Мира, которая шаг за шагом нащупывала след.

— Большой бульвар, площадь, статуя, пустынная улица... лестница... голубоватая комната. И вот он здесь. Это юноша, у него бледное, озабоченное лицо... он словно сожалеет о чем-то, и будь это в его власти, он не совершил бы этого вновь.

Но прорицания потребовали от ясновидящей слишком большого напряжения. Усталость помешала ей продолжать ее трансцендентные поиски. Она исчерпала последний запас своих сил, обратившись к клиенту с внушительным наставлением оставаться в тесном единении с богом, если он хочет вернуть то, что потерял, и преуспеть в своих стараниях.

Морис, положив на камин луидор, вышел взволнованный, потрясенный и твердо уверенный, что г-жа Мира обладает сверхъестественными способностями, к сожалению, недостаточными.

Уже спустившись с лестницы, он вспомнил, что оставил маленького «Лукреция» на столе у пифии, и, подумав, что старый маньяк не переживет потери своей книжонки, вернулся за нею. Едва он переступил порог отчего дома, как перед ним выросла горестная тень. Это был папаша Сарьетт, который жалобным го-

лосом, напоминавшим осенний ветер, требовал обратно своего «Лукреция». Морис небрежно вытащил его из кармана пальто.

— Не убивайтесь так, господин Сарьетт, вот вам ваша игрушка.

Библиотекарь схватил свое вновь обретенное сокровище и, прижимая его к груди, понес к себе в библиотеку. Там он бережно опустил его на синее сукно стола и стал придумывать, куда бы понадежнее спрятать милую его сердцу драгоценность, перебирая в уме различные проекты, достойные ревностного хранителя. Но кто из нас может похвастаться мудростью? Недалеко простирается предвидение человека, и все предосторожности нередко оказываются тщетными. Удары судьбы неотвратимы, никому не дано избежать своей участи. Все наставления разума, все старания бессильны против рока. Горе нам! Слепая сила, управляющая светилами и атомами, из превратностей нашей жизни строит порядок вселенной. Наши бедствия находят себе место в гармонии миров. Этот день был днем переплетчика, которого круговорот времени приводил сюда дважды в год под знаком Тельца и под знаком Девы. В этот день с утра Сарьетт приготавливал книги для переплетчика; он складывал на стол новые тома, признанные достойными кожаного или картонного переплета, а также и те, одежда коих требовала починки, и тщательно составлял описок с подробнейшим их описанием. Ровно в пять часов старый Амедей — служащий от Леже-Массье, переплетчика с улицы Аббатства, — являлся в библиотеку д'Эспарвье и после двойной проверки, произведенной г-ном Сарьеттом, складывал книги, предназначенные для его хозяина, на кусок холста и, связав концы крест-накрест, скидывал узел себе на плечо, после чего прощался с библиотекарем следующей фразой:

— Счастливо оставаться честной компании,

И спускался по лестнице.

И на этот раз все произошло обычным порядком. Но Амедей, найдя на столе «Лукреция», положил его по простодушию в свою холстину и унес с другими

книгами, а г-н Сарьетт этого не заметил. Библиотекарь вышел из зала Philosophen und Sphären, совсем забыв о книге, отсутствие которой сегодня днем доставило ему столько тревожных минут. Строгие судьи, пожалуй, поставят ему это в упрек как непростительную забывчивость. Но не лучше ли сказать, что таково было веление свыше, ибо это ничтожное обстоятельство, которое привело к невероятным последствиям, было вызвано, с человеческой точки зрения, так называемым случаем, а в действительности естественным ходом вещей. Г-н Сарьетт отправился обедать к «Четырем епископам» и прочел там газету «Ла Круа». На душе у него было спокойно и безмятежно. Только на следующее утро, войдя в залу Philosophen und Sphären, он вспомнил о «Лукреции» и, не обнаружив его на столе, бросился искать повсюду, но нигде не мог найти. Ему не пришло в голову, что книгу мог нечаянно захватить Амедей. Первой его мыслью было, что библиотеку опять посетил незримый гость, и его охватило страшное смятение.

В это время на площадке лестницы раздался какой-то шум, и несчастный библиотекарь, открыв дверь, увидел маленького Леона в кепи с галунами, который кричал: «Да здравствует Франция!» — и швырял в своих воображаемых врагов тряпки, метелки и мастику, которой Ипполит натирал полы. Эта площадка была излюбленным местом мальчика для его воинственных упражнений, и нередко он забирался даже в библиотеку. У г-на Сарьетта тут же возникло подозрение, что Леон взял «Лукреция» и воспользовался им в качестве метательного снаряда; он внушительно и грозно потребовал, чтобы мальчик сейчас же принес книгу. Леон стал отрекаться; тогда Сарьетт сделал попытку подкупить его обещаниями:

— Если ты принесешь мне маленькую красную книжку, Леон, я дам тебе шоколаду.

Ребенок задумался. В тот же вечер г-н Сарьетт, спускаясь по лестнице, встретил Леона, который, протянув ему растрепанный альбом с раскрашенными картинками — «Историю Грибуля» *, сказал:

— Вот вам книга, — и потребовал обещанный шоколад.

Спустя несколько дней после этого происшествия Морис получил по почте проспект некоего сысского агентства, во главе которого стоял бывший служащий префектуры. Оно обещало быстроту действий и полное сохранение тайны. Явившись по указанному адресу, Морис нашел мрачного, усатого субъекта с озабоченным лицом, который, взяв с него задаток, пообещал тотчас же приступить к поискам.

Скоро Морис получил письмо от бывшего служащего префектуры, в котором тот сообщал ему, что начал розыски, что это дело требует больших расходов, и просил еще денег. Морис денег не дал и решил искать сам. Предположив, — не без основания, — что ангел, раз у него нет денег, должен общаться с бедняками и такими же отщепенцами-революционерами, каким был он сам, Морис обошел все мебелированные комнаты в кварталах Сент-Уан, Ла-Шапель, Монмартр, у Итальянской заставы, все ночлежные дома, где спят вповалку, кабачки, где кормят ребухой и наливают рюмку разноцветной смеси за три су, подвалы Центрального рынка и притон дядюшки Моми.

Морис заглядывал в рестораны, куда ходят нигилисты и анархисты, он видел там женщин, одетых помужски, и мужчин, переодетых женщинами, мрачных, иступленных юношей и восьмидесятилетних голубоглазых старцев с младенческой улыбкой. Он наблюдал, расспрашивал, его приняли за сыщика, и какая-то очень красивая женщина ударила его ножом. Но на следующий же день он продолжал свои поиски и опять ходил по кабачкам, мебелированным комнатам, публичным домам, игорным притонам, заглядывал во все балаганы, харчевни, лачуги, ютящиеся подле укреплений, в логова старьевщиков и апашей.

Мать, видя, как Морис худеет, нервничает и молчит, встревожилась.

— Его нужно женить, — говорила она. — Какая досада, что у мадемуазель де ла Вердельер небольшое приданое!

Аббат Патуйль не скрывал своего беспокойства.

— Наш мальчик, — говорил он, — переживает душевный кризис.

— Я склонен думать, — возражал г-н Ренэ д'Эспарвье, — что он попал под влияние какой-нибудь дурной женщины. Надо подыскать ему занятие, которое бы его увлекло и льстило бы его самолюбию. Я мог бы устроить его секретарем комитета охраны сельских церквей или юрисконсультком синдиката водопроводчиков-католиков.

Глава семнадцатая,

*из которой читатель узнает, о том, как Софар, алчущий золота, подобно самому Маммоне *, предпочел своей небесной родине Францию, благословенную обитель Бережливости и Кредита, и в которой еще раз доказывается, что имущий страшится каких бы то ни было перемен*

Аркадий между тем жил скромной трудовой жизнью. Он работал в типографии на улице Сен-Бенуа и жил в мансарде на улице Муфтар. Когда его товарищи устроили стачку, он покинул типографию и посвятил все свои дни пропаганде; он вел ее столь успешно, что привлек на сторону восставших свыше пятидесяти тысяч ангелов-хранителей, которые, как правильно говорила Зита, были недовольны своим положением и заразились современными идеями. Но ему недоставало денег, а тем самым и свободы действий, и он не мог, как ему ни хотелось, тратить все свое время на то, чтобы просвещать сынов неба. Точно так же и князь Истар из-за отсутствия денег изготовлял меньше бомб, чем следовало, и притом худшего качества. Правда, он делал множество маленьких карманных бомб. Он завалил ими всю квартиру Теофиля и каждый день забывал их в каком-нибудь кафе на диване, но изящная, портативная бомба, которой можно было бы уничтожить несколько больших домов, стоит от двадцати до двадцати пяти тысяч франков. У князя Истара было всего лишь две таких бомбы. Одинаково стремясь добыть средства, Аркадий и Истар отправи-

лись за поддержкой к знаменитому финансисту Макс Эвердингену, который, как всякий знает, стоит во главе крупнейших кредитных учреждений Франции и всего мира. Однако далеко не все знают, что Макс Эвердинген не родился от женщины, а что он — падший ангел. Тем не менее это истина. На небесах он носил имя Софара и был хранителем сокровищ Иалдаваофа, великого любителя золота и драгоценных камней. Выполняя свои обязанности, Софар возгорелся любовью к богатству, которую нельзя удовлетворить в обществе, не знающем ни биржи, ни банков. Однако сердце его было полно пылкой привязанности к богу иудеев, которому он оставался верен очень долгое время. Но в начале двадцатого века христианской эры, обратив с высоты небес свой взор на Францию, он увидел, что эта страна, именуемая республикой, представляет собой плутократию, и там под видом демократического правления властвует безо всяких преград и ограничений крупный капитал. С той поры пребывание в эмпиреях стало для него невыносимо. Он всей душой тянулся к Франции, как к своей избранной отчизне, и в один прекрасный день, захватив столько драгоценных камней, сколько мог унести, он опустился на землю и обосновался в Париже. Здесь этот корыстный ангел начал вершить большие дела. После того как он воплотился, в его лице не осталось ничего небесного, оно воспроизводило во всей чистоте семитический тип и было испещрено морщинами и складками, подобными тем, какие мы наблюдаем на лицах банкиров и какие намечаются уже у менял Квентина Массейса *. Он начал скромно, но с головокружительной быстротой пошел в гору. Он женился на очень некрасивой женщине, и оба они могли видеть себя, как в зеркале, в своих детях. Дворец барона Макса Эвердингена, возвышающийся на холме Трокадеро, битком набит различными реликвиями христианской Европы. Барон принял Аркадия и Истара в своем кабинете — одной из самых скромных комнат дворца. Потолок ее был украшен фреской Тьеполо, перенесенной из какого-то венецианского палаццо. Здесь стояло бюро, не-

когда принадлежавшее регенту Филиппу Орлеанскому, различные шкафы, витрины, статуи; по стенам висело множество картин.

Аркадий, оглядываясь кругом, сказал:

— Как это случилось, брат мой Софар, что ты, сохранивший израильскую душу, так плохо соблюдаешь заповедь твоего бога, которая гласит: «Не сотвори себе кумира», ибо я вижу здесь Аполлона работы Гудона, Гебу Лемуана и несколько бюстов Каффьери. Подобно Соломону в старости, ты, сын бога, поместил в своем доме чужеземных идолов, вот эту Венеру Буше, рубенсовского Юпитера, нимф, которых кисть Фрагонара украсила красносморозинным вареньем, текущим по их сияющим ягодицам. А вот здесь, Софар, только в одной этой витрине ты хранишь скипетр Людовика Святого, шестьсот жемчужин из разрозненного ожерелья Марии-Антуанетты, императорскую мантию Карла Пятого, тиару, которую чеканил Гиберти для папы Мартина Пятого Колонны, шпагу Бонапарта... да всего не перечислишь.

— Пустяки, — сказал Макс Эвердинген.

— Дорогой барон, — сказал князь Истар, — вы владеете даже тем перстнем, который Карл Великий надел некогда на палец одной феи и который считался потерянным... Но обратимся к делу. Мой друг и я пришли просить у вас денег.

— Разумеется, я так и думал, — ответил Макс Эвердинген. — Все просят денег, но для разных целей. Для чего же вы пришли просить денег?

Князь Истар ответил просто:

— Чтоб устроить революцию во Франции.

— Во Франции! — повторил барон. — Во Франции! Ну нет, на это я денег не дам, можете быть уверены.

Аркадий не скрыл, что он ожидал от своего небесного собрата большей щедрости и более великодушной поддержки.

— У нас грандиозный план, — сказал он, — этот план охватывает небо и землю. Мы разработали его во всех подробностях. Сначала мы устроим социальную революцию во Франции, в Европе, на всем земном

шаре, затем перенесем войну на небеса и установим там мирную демократию. Но чтобы овладеть небесными твердынями, чтобы сокрушить Гору господню, взять приступом небесный Иерусалим, нужна громадная армия, колоссальное снаряжение, гигантские орудия, электрофоры неслыханной мощности. У нас нет средств для всего этого. Революцию в Европе можно устроить с меньшими затратами. Мы думаем начать с Франции.

— Вы с ума сошли! — воскликнул барон Эвердинген. — Вы безмозглые глупцы! Слушайте меня, — Франция не нуждается ни в каких реформах, в ней все совершенно, законченно, нерушимо. Вы слышите: нерушимо.

И чтобы придать больше веса своим словам, барон Эвердинген трижды стукнул кулаком по бюро регента Филиппа.

— Наши взгляды расходятся, — кротко сказал Аркадий. — Мы с князем Истаром считаем, что в этой стране следует изменить все. Но к чему спорить? Мы пришли говорить с тобой, брат мой Софар, от имени пятисот тысяч небесных духов, намеренных завтра же поднять всемирную революцию.

Барон Эвердинген крикнул, что они все взбесились, что он не даст им ни одного су, что это преступление, безумие ополчаться против прекраснейшей вещи в мире, благодаря которой земля стала краше небес, — против финансов.

В нем заговорил поэт и пророк; сердце его вспыхнуло священным огнем вдохновения, и он изобразил французскую Бережливость, добродетельную Бережливость, чистую, непорочную Бережливость, подобную деве из Песни песней *, шествующую из деревенской глуши в своем сельском наряде, чтобы отдать ожидающему ее жениху, могучему и прекрасному Кредиту, сокровище своей любви. Он изобразил, как Кредит, обогащенный дарами своей супруги, изливает на все народы земного шара потоки золота, которые тысячами невидимых ручьев возвращаются, еще более обильные, на благодатную почву, откуда они истекли.

— Благодаря Бережливости и Кредиту Франция стала новым Иерусалимом, который светит всем народам Европы, и цари земные приходят лобызать ее позлащенные стопы. И это вы хотите разрушить, вы, богохульники, святотатцы!

Так говорил ангел-финансист. Незримая арфа вторила его голосу, и глаза его метали молнии.

Тут Аркадий, небрежно облокотившись на бюро регента, развернул перед глазами барона наземный, подземный и воздушный планы Парижа, на которых красными крестиками были отмечены места, где проектировалось заложить бомбы в подвалах и подземельях; одновременно предполагалось рассеять их на улицах и скинуть сверху с целой флотилии аэропланов. Все финансовые учреждения и, в частности, банк Эвердингена со всеми его отделениями были отмечены красными крестиками.

Финансист пожал плечами.

— Оставьте! Вы нищие бродяги, преследуемые полицией всего мира. У вас нет ни гроша за душой. Где вы возьмете все эти снаряды?

Вместо ответа князь Истар вынул из кармана маленький медный цилиндр и любезно протянул его барону Эвердингену.

— Посмотрите на эту простую коробочку, — сказал он, — достаточно уронить ее вот здесь на пол, чтобы превратить весь этот громадный дворец со всеми его обитателями в груды дымящегося пепла и зажечь пожар, который истребит весь квартал Трокадеро. У меня таких штучек десять тысяч. Я делаю их по три дюжины в день.

Финансист попросил керуба спрятать бомбу в карман и сказал примирительным тоном:

— Послушайте, друзья мои, отправляйтесь сейчас же устраивать революцию на небесах и оставьте эту страну в покое. Я подпишу вам чек, у вас будет достаточно средств, чтобы приобрести все, что вам нужно для осады небесного Иерусалима.

И барон Эвердинген уже прикидывал что-то в уме, предвкушая великолепную аферу с электрофорами и военными поставками.

Глава восемнадцатая,

где начинается рассказ садовника, в котором перед читателем разворачиваются судьбы мира, рассуждения о коих настолько же отличаются широтой и смелостью взглядов, насколько «Рассуждение о всемирной истории» Боссю страдает узостью и убожеством

Садовник усадил Зиту и Аркадия в глубине сада, в беседке, увитой диким виноградом.

— Аркадий, — сказала прекрасная архангелица, — сегодня, может быть, Нектарий согласится открыть тебе то, что ты так жаждешь узнать. Попроси его.

Аркадий стал просить, и старый Нектарий, положив свою трубку, начал так:

«Я знал его. Это был прекраснейший из серафимов, он блистал умом и отвагой, и его великое сердце вмещало в себе все добродетели, которые рождает гордость: прямодушие, мужество, стойкость в испытаниях, упорство в надежде. Во времена, предшествовавшие началу времен, в полуночном небе, где сверкают семь магнитных звезд, он обитал во дворце из алмазов и золота, оглашавшемся непрерывным шелестом крыл и победоносными гимнами. Ягве на своей горе завидовал Люциферу.

Вам обоим известно, что ангелы так же, как и люди, носят в себе зачатки любви и ненависти. Они способны иной раз на благородные решения, но слишком часто руководствуются корыстью и поддаются страху. В те времена, как и ныне, им чужды были возвышенные помыслы, и единственной их добродетелью был страх перед господином. Люцифер, который с пренебрежением отворачивался от всего низменного, презирал эту стаю прирученных духов, погрязших в игрищах и празднествах. Но тем, в ком жил дерзновенный ум, мятежная душа, тем, кто пылал неукротимой любовью к свободе, он дарил свою дружбу, на которую они отвечали ему обожанием. И они во множестве покидали Гору господню и воздавали Серафиму почести, которых тот, другой, требовал для себя одного.

Я принадлежал к чину Господств, и имя мое, Ала-сиил, пользовалось славой. Чтобы насытить свой разум, снедаемый неутолимой жаждой познания и разумения, я наблюдал природу вещей, изучал свойства камней, воздуха и воды, старался проникнуть в законы, управляющие плотной и жидкой материей, и после долгих размышлений я наконец постиг, что вселенная возникла совсем не так, как старался внушить нам ее лжесоздатель. Я понял, что все сущее существует само собой, а не по прихоти Ягве, что вселенная сама является своим творцом и что дух сам себе бог. С той поры я проникся презрением к Ягве за его обман и возненавидел его за его враждебность ко всему тому, что я считал прекрасным и желанным: к свободе, пылкости, сомнению. Эти чувства приблизили меня к Серафиму. Я восхищался им и любил его, я жил его светом. И когда наконец пришел час сделать выбор между ним и другим, я стал на сторону Люцифера, горя одним желанием — служить ему, одним стремлением — разделить его участь.

Вскоре война стала неизбежной, он готовился к ней с неутомимой бдительностью, со всей изобретательностью расчетливого ума. Обратив Престоли и Господства в Халибов и Циклопов, он добыл из гор, окружавших его владения, железо, которое он предпочитал золоту, и в пещерах неба выковал оружие. Затем он собрал на пустынных равнинах севера мириады духов, вооружил их, обучил и подготовил. Несмотря на то, что все это делалось втайне, замысел его был столь грандиозен, что не мог в скором времени не стать известным противнику. Можно сказать, что тот давно ожидал и опасался этого, ибо он превратил свою обитель в крепость, а из своих ангелов создал ополчение и нарек себя богом воинств. Он держал наготове свои молнии. Больше половины детей неба остались верными ему, и он видел, как теснятся вокруг него покорные души и терпеливые сердца. Архангел Михаил, который не ведал страха, стал во главе этих послушных войск.

Когда Люцифер увидел, что его войско достигло полной мощи как численностью, так и умением, он

стремительно двинул его на врага; обещав своим ангелам богатство и славу, он повел их к Горе, на вершине которой возвышается престол вселенной. Три дня бороздили мы стремительным полетом эфирные равнины. Черные знамена восстания развевались над нашими головами. Уже Гора господня, розовея, показалась вдали на востоке, и наш военачальник измерял взором ее сверкающие твердыни. Под сапфирными стенами выстроились вражеские колонны, сверкая золотом и драгоценными камнями, а мы приближались к ним, закованные в бронзу и железо. Их алые и голубые стяги трепетали на ветру, и молнии вспыхивали на остриях их копий. Скоро наши войска оказались отделенными друг от друга лишь узким пространством, полоской ровной пустынной тверди, и, глядя на нее, самые отважные из нас содрогались при мысли, что здесь в кровавой схватке решится наша судьба.

Ангелы, как вы знаете, не умирают. Но когда медь, железо, алмазное острие или пламенный меч пронзают их нежную плоть, они испытывают гораздо более жестокую боль, нежели та, которую способны испытать люди, ибо тело их несравненно более чувствительно, а если при этом бывает поражен какой-нибудь важный орган, они падают без движения, медленно рассыпаются и, превратившись в туманности, бесчувственные, распыленные, носятся долгие века в холодном эфире. Когда же наконец они снова обретают дух и форму, память о прошлой жизни не возвращается к ним во всей полноте. Поэтому, естественно, ангелы боятся страданий, и даже самые мужественные из них содрогаются при мысли утратить свет разума и сладостные воспоминания. А если бы это было не так, ангельское племя не знало бы ни красоты борьбы, ни величия жертвы, и те, что сражались в эмпиреях до начала времен за или против бога воинств, оказались бы бесславными участниками мнимых битв, и я не мог бы, дети мои, сказать вам со справедливой гордостью: я там был.

Люцифер подал знак к бою и первый ринулся вперед. Мы обрушились на врага в полной уверенности, что раздавим его тотчас же и с первого натиска овла-

деем священной твердыней. Воины ревнивого бога, менее пылкие, но не менее стойкие, чем наши, оставались непоколебимы. Архангел Михаил руководил ими со спокойствием и твердостью отважного сердца. Трижды пытались мы прорвать их ряды, и трижды встречали они наши железные груди пламенными остриями своих копий, способных пронзить самые прочные латы. Миллионами падали лучезарные тела. Наконец наше правое крыло опрокинуло левое крыло противника, и мы увидели, как Начала, Власти, Господства, Силы и Престоли повернули и бросились бежать, колота себя пятками, в то время как ангелы третьей ступени растерянно метались над ними, осыпая их снегом своих перьев, смешанным с кровавым дождем. Мы ринулись в погоню, скользя между обломками колесниц и брошенным оружием, подстегивая их своим преследованием... И вдруг, словно нарастающий ураган, до слуха нашего доносится все увеличивающийся шум, отчаянные, иступленные вопли и ликующие возгласы. Это гигантские архангелы всевышнего — правое крыло противника — обрушились на наше левое крыло и сломали его. Пришлось нам оставить беглецов и спешить на помощь нашим расстроенным рядам. Наш князь помчался туда и восстановил боевой порядок. Но левое крыло врага, которое мы не успели разбить до конца, не чувствуя более угрозы наших стрел и копий, воспрянув духом, повернуло обратно и снова устремилось на нас.

Ночь прервала битву, и исход ее так и остался нерешенным. В то время как лагерь под покровом тьмы, в тишине, прерываемой лишь стонами раненых, располагался на отдых, Люцифер готовился к следующему дню. До рассвета пробудили нас трубы. Наши воины напали на неприятеля внезапно, в час молитвы, рассеяли его и устроили жестокую резню. Когда все были перебиты или обращены в бегство, архангел Михаил один с несколькими соратниками о четырех огненных крылах еще продолжал сопротивляться натиску наших неисчислимых войск. Они отступали медленно, не переставая отражать грудью наши удары, и лицо Михаила хранило полное бесстрашие. Солнце

совершило треть своего пути, когда мы начали взбираться на Гору господню. Это был тяжкий подъем, — пот струился по нашим лицам, жгучий свет слепил нам очи. Наши усталые крылья, отягощенные железными доспехами, уже не могли нас держать, но надежда придавала нам другие крылья, и они несли нас. Прекрасный Серафим своей сияющей рукой указывал нам путь — все выше и выше. Весь день карабкались мы на неприступную Гору, вечером она облачилась в лазурь, розы и опалы; полчища звезд, появившиеся на небе, казались отражением наших доспехов; над нашими головами простиралась бесконечная тишь. Мы шли, опьяненные надеждой. Внезапно в потемневшем небе вспыхнули молнии, грянул гром, и с вершины, окутанной облаками, пал небесный огонь. Наши шлемы и латы плавилась в пламени, наши щиты дробились под ударами четырехгранных стрел, которые метала незримая рука. В этом огненном урагане Люцифер сохранял гордое величие. Тщетно гром обрушивался на него с удвоенной силой, — он стоял непоколебимо и бросал вызов врагу. Наконец молния потрясла Гору, низринула нас вместе с обрушившимися глыбами сапфиров и рубинов, и мы, потеряв сознание, без чувств покатались в бездну. Сколько времени мы падали — никто не мог бы измерить.

Я очнулся в мучительной мгле. А когда глаза мои привыкли к глубокому мраку, я увидел своих боевых соратников, распростертых тысячами на сернистой почве, по которой пробегали синеватые отсветы. Глаза мои не различали ничего, кроме серных родников, дымящихся кратеров и ядовитых болот. Ледяные горы и необозримые моря мглы замыкали горизонт, медное небо тяжело нависло над нашими головами. И ужас этого места был столь велик, что мы сели, обхватив колени, и, уткнувшись лицом в ладони, заплакали.

Но вот, подняв глаза, я увидел Серафима, который высился передо мной подобно башне. Его лучезарное сияние украсилось мрачным величием скорби.

— Братья, — сказал он, — мы должны торжествовать и радоваться, ибо мы избавились наконец от небесного рабства. Здесь мы свободны, и лучше свобода

в преисподней, чем рабство на небесах¹. Мы не побеждены, ибо у нас осталась воля к победе. Мы поколебали престол ревнивого бога, и мы сокрушим его. Встаньте, друзья мои, и воспряньте сердцем.

Тотчас же по его приказу мы нагромоздили горы на горы, на этих высотах установили орудия и стали метать пылающие скалы в божественную обитель. Небесное воинство не ожидало этого, из пресветлого стана раздалось стенания и вопли ужаса. Мы уже готовились вернуться победителями в нашу высокую отчизну, но вдруг Гора господня сверкнула пламенем, гром и молния обрушились на нашу крепость и испепелили ее.

После этого нового поражения Серафим, склонив главу на руки, погрузился в долгое раздумье. Наконец он поднял свое почерневшее лицо. Отныне это был Сатана, еще более великий, чем Люцифер. Верные ангелы теснились вокруг него.

— Друзья, — сказал он нам, — если мы еще не победили, значит мы еще не достойны и не способны победить. Узнаем же, чего нам недостает. Только путем познания можно подчинить себе природу, воцариться над вселенной, стать богом. Нам необходимо овладеть молнией, и мы должны направить к этому все наши усилия. Но не слепая отвага (нельзя проявить большей отваги, чем проявили вы в этот день) завоюет нам божественные стрелы, а только познание и мысль. В этом немом убежище, куда мы низверглись, будем мыслить, будем познавать скрытые причины вещей. Будем наблюдать природу, будем проникать в нее с пылким рвением и жадно овладевать ею; постараемся постичь ее в бесконечно великом и в бесконечно малом. Познаем, когда она бесплодна и когда плодоносна, как создает она тепло и холод, радость и страдание, жизнь и смерть, как сочетает она и как разлучает свои стихии, как творит она прозрачный воздух, которым мы дышим, алмазные и сапфирные скалы, с которых мы были низринуты, и божественный огонь,

¹ Better to reign in Hell, than serve in Heav'n. Paradise Lost, book I, v. 254. — «Потерянный рай», книга I, стих 254. (Прим. автора.)

обугливший нас, и высокую мысль, волнующую наш разум. Истерзанные, израненные, обожженные пламенем и льдами, возблагодарим судьбу, открывшую нам глаза, и примем с радостью выпавший нам жребий. Странствие впервые столкнуло нас с природой и пробудило в нас стремление узнать и покорить ее. И только когда она делается послушной нам, мы станем богами. Но если даже она не откроет нам своих чудес, не даст нам в руки оружия и утаит от нас тайну молнии, мы все же должны радоваться тому, что познали страдание, ибо оно пробудило в нас новые чувства, более драгоценные и сладостные, нежели те, что мы испытывали в обители вечного блаженства, ибо страдание вдохнуло в нас любовь и жалость неведомые небесам.

Эти слова Серафима преобразили наши сердца и вселили в нас новые надежды. Беспредельная жажда знания и любви теснила нам грудь.

Тем временем земля рождалась. Ее громадный туманный шар с каждым часом сжимался и уплотнялся, воды, которые питали водоросли, кораллы, раковины и носили на себе легкие стаи моллюсков, уже не покрывали его целиком: они прорезывали себе русла, а там, где в теплом иле копошились чудовищные амфибии, уже показались материки. Горы покрывались лесами, и разные звери бродили по земле, питаясь травой и мхом, ягодами кустарников и желудями.

И вот пещерами и убежищами среди скал завладел тот, кто научился острым камнем убивать диких зверей и хитростью побеждать древних обитателей лесов, равнин и гор. С трудом завоевывал свое господство человек. Он был слаб и наг, редкая шерсть плохо защищала его от холода, а ногти на пальцах были слишком мягки, чтобы бороться с когтями хищников, но зато его подвижные большие пальцы, отделенные от остальных, позволяли ему легко захватывать самые различные предметы, — недостаток силы возмещался ловкостью. Не отличаясь существенно от прочих животных, он, однако, был более других способен наблюдать и сравнивать. Так как он умел извлекать из своей гортани самые разнообразные звуки, он стал пользоваться этим свойством для обозначения предметов, по-

ражавших его чувства, и чередование звуков помогло ему запечатлеть и выражать свои мысли. Его жалкая участь и беспокойный дух привлекли к нему побежденных ангелов, которые угадали в нем дерзновенность, подобную их собственной, и ростки той гордости, что явилась причиной их мучений и их славы. Великое множество их поселилось рядом с ним на этой юной земле, где их легко носили крылья. Им доставляло удовольствие подстегивать его мысль и изощрять способности. Они научили его одеваться в шкуры диких зверей и заваливать камнями вход в пещеру, чтоб преградить доступ тиграм и медведям. Они открыли ему способ добывать огонь трением палки о сухие листья и поддерживать священное пламя на камнях очага. Вдохновленный изобретательными демонами, человек осмелился переплывать реки на расщепленном и выдолбленном стволе дерева, он придумал колесо, жернов и плуг; соха взрезала землю плодоносной раной, и зерно дало человеку, который его истолок, божественную пищу. Он научился лепить посуду из глины и вытесывать орудия из кремня. Так, пребывая среди людей, мы утешали и наставляли их. Мы не всегда были видимы для них, но вечерами на поворотах дорог мы часто являлись им в причудливых и странных обликах или представляли величественным и прекрасным видением, принимая, по желанию, то вид водяного или лесного чудовища, то величавого мужа, то прелестного ребенка или пышнобедрой женщины. Мы нередко пользовались случаем посмеяться над ними в песнях или испытать их ум какой-нибудь веселой шуткой. Были среди нас и такие неугомонные, которым доставляло удовольствие дразнить их женщин и детей, но мы всегда были готовы прийти на помощь им, нашим меньшим братьям.

Благодаря нашим стараниям их умственный круг-ор настолько расширился, что они обрели способность заблуждаться и делать ошибочные умозаключения о связи явлений. Полагая, что образ связан с действительностью магическими узами, они покрывали фигурами животных стены своих пещер, вырезали из слоновой кости изображения оленей и мамонтов, чтобы

завладеть добычей, которую они запечатлели в этих изображениях. Разум их пробуждался с бесконечной медлительностью на протяжении многих веков. Мы посылали им во сне полезные мысли, подсказали, как укрощать лошадей, холостить быков, приучать собак стеречь овец. Мало-помалу они создали семью, племя. Но вот на одно из таких кочующих племен напали свирепые охотники. Тотчас же все мужчины этого племени бросились строить ограду из повозок, за которой собрали женщин, детей, стариков, быков, соковища, а сами с высоты этой ограды закидали своих противников камнями. Так основался первый город. Рожденный слабым и законами Ягве обреченный стать убийцей, человек закалил свое сердце в битвах и в войне обрел высшие свои доблести. Он освятил своей кровью священное чувство любви к родине, и этой любви суждено, — если только человек до конца выполнит свое назначение, — объединить в мире и согласии весь земной шар. Один из нас, Дедал, подарил человеку топор, отвес и парус. Так сделали мы существование смертных менее горьким и тяжким. Они научились строить на озерах тростниковые деревни, где могли вкушать задумчивый покой, неведомый другим обитателям земли, а когда они стали утолять голод, не затрачивая на это чрезмерных усилий, мы вдохнули в их сердца любовь к красоте.

Они воздвигали пирамиды, обелиски, башни, гигантские статуи, которые стояли несокрушимые, страшные и улыбались; они изображали символы деторождения. Научившись узнавать или по крайней мере угадывать нас, люди прониклись к нам страхом и любовью. Самые мудрые из них с благоговейным ужасом старались узреть нас и размышляли над нашими поучениями. Стремясь изъяснить нам свою благодарность, народы Греции и Азии посвящали нам камни, деревья, тенистые рощи, приносили нам жертвы, слагали гимны. Мы были для них богами, и они называли нас Горусом, Изидой, Астартой, Зевсом, Палладой, Кибелой, Деметрой и Триптолемом. Сатане поклонялись они под именем Диониса, Эвана, Иакха и Ленея. Он являлся им, облеченный всей мощью и красотой, какие только до-

ступны воображению человека. Очи его были пленительны, как лесные фиалки, уста горели, как яхонт раскрывшегося граната, бархатный пушок, более нежный, чем пушок персика, покрывал его подбородок и ланиты, белокурые волосы, сплетенные венцом и завязанные небрежным узлом на затылке, были увиты плющом; он чаровал хищных зверей и, проникая в глубь лесов, привлекал к себе всех непокорных духов, всех тех, что ютятся на деревьях и чьи дикие глаза горят среди ветвей, всех свирепых и пугливых тварей, что питаются горькими ягодами, в чьей мохнатой груди бьется неистовое сердце, всех лесных полулюдей, которых он наделял добрыми чувствами и грацией, и они все следовали за ним, опьяненные радостью и красотой. Он насадил виноградные лозы и научил смертных давить гроздья, чтобы добывать из них вино. Лучезарный, благотворящий, проходил он по земле со своей многочисленной свитой. Чтоб сопровождать его, я принял облик козлоногого: едва заметные рожки торчали у меня на лбу, нос был приплюснут, а уши заострены; два желвака, как у козы, свисали с моей шеи, сзади болтался козлиный хвост, а мохнатые ноги заканчивались черными раздвоенными копытами, которые мерно ударяли о землю.

Дионис совершал свое триумфальное шествие по свету. Я прошел с ним Лидию, фригийские поля, знойные равнины Персии, Мидию, вздымающую снежные вершины, счастливую Аравию, богатую Азию, чьи цветущие города омывает море. Он двигался на колеснице, запряженной львами и рысями, под звуки флейт, кимвалов и тимпанов, изобретенных для его празднеств. Вакханки, фиады и менады, опоясанные леопардовыми шкурами, потрясали тирсами, увитыми плющом; за ними следовали сатиры, — я вел их веселую толпу, — а затем силены, паны и кентавры. Цветы и плоды рождались под его стопами, он ударял своим тирсом о скалы, и из них, играя, бежали прозрачные ключи.

Ко времени сбора винограда он пришел в Грецию; поселяне обегались к нему навстречу, окрашенные зеленым и красным соком растений; они закрывали лица масками из дерева, коры или листьев и, держа в руке

глиняную чашу, кружились в сладострастных плясках. Их жены, подражая спутницам бога, увенчивали свои головы зеленым плющом и опоясывали гибкие бедра шкурами ланей и козлят. Девушки вешали себе на шею гирлянды из фиг, пекли пшеничные лепешки и носили изображение фаллуса в освященных корзинах. Виноградари, измазанные винным суслом, стоя в своих повозках и обмениваясь шутками и ругательствами с прохожими, создавали зачатки трагедии.

Однако не сладостной дремотой на берегу ручья, но тяжким трудом научил Дионис людей возделывать поля и взращивать сочные плоды. И когда он раздумывал о том, как превратить грубых обитателей леса в племя, дружественное лире и подчиняющееся справедливым законам, не раз тень печали и мрачного иступления пробегала по его горевшему вдохновением челу. Но глубокая мудрость и любовь к людям позволили ему преодолеть все препятствия. О, божественные дни! О, прекрасная заря жизни! На косматых вершинах гор и на золотистых берегах морей мы предавались вакханалиям. Наяды и ореады присоединялись к нашим играм, и Афродита при нашем приближении выходила из пены морской и улыбалась нам.

Глава девятнадцатая

Продолжение рассказа

Когда люди научились возделывать землю, пасти стада, обносить стенами священные крепости и узнавать богов по их красоте, я удалился в мирную страну, что лежит среди густых лесов, орошаемая Стимфалом, Ольбием, Эриманфом и гордым Крафидом *, вздувшимся от ледяных потоков Стикса, и здесь в прохладной долине у подножья холма, поросшего ежевикой, оливковыми деревьями и соснами, под сенью платанов и седых тополей, на берегу ручья, бегущего с нежным журчанием среди густых мастиковых деревьев, я рассказывал пастухам и нимфам о рождении мира, о происхождении огня, прозрачного воздуха, воды и земли.

Я рассказывал им о том, как первые люди жили в лесах, жалкие и нагие, до тех пор, пока изобретательные духи не научили их искусствам; о празднествах нашего бога и о том, как Семелу стали считать матерью Диониса, потому что благодатная мысль его зародилась в молнии.

Излюбленный демонами народ — счастливые греки не без труда постигли мудрые законы и искусства. Первым их храмом была хижина из лавровых веток; первым изображением богов — дерево; первым алтарем — необтесанный камень, обогранный кровью Ифигении *. Но в короткое время они достигли тех высот мудрости и красоты, к которым ни один народ не мог приблизиться ни до, ни после них. Откуда же явилось, Аркадий, это чудо, единственное на земле? Почему священная почва Ионии и Аттики могла взрастить этот несравненный цветок? Потому что там не было ни духовенства, ни догмы, ни откровения и греки не ведали завистливого бога. Из своего гения, из своей собственной красоты творил эллин богов, и когда он обращал взор к небу, то видел в нем лишь свой образ. Он мерил по своей мерке и нашел для своих храмов совершенные пропорции; все в них грация, гармония, равновесие и мудрость; все достойно бессмертных, которые там обитали, воплощая в своих благозвучных именах и совершенных формах гений человека. В колоннах, поддерживавших мраморные архитравы, фризы и карнизы, было нечто человеческое, придававшее им величие, а нередко, как, например, в Афинах и Дельфах, прекрасные юные девы, мощные и улыбающиеся, держали на вытянутых руках кровли сокровищниц и святилищ. О, сияние, гармония, мудрость!

Дионис направил свой путь в Италию, где народы, именовавшие его Вакхом, жаждали принять участие в его таинствах. Я отплыл с ним на корабле, украшенном виноградными ветвями, и высадился в устье желтого Тибра под взглядом двух братьев Елены *. Жители Лациума, следуя наставлениям бога, уже научились сочетать побег вяза с виноградной лозой. Я нашел себе жилище у подножия Сабинских гор, в долине, окруженной лиственным лесом и омываемой светлыми

источниками. Я собирал на лугах вербену и мальву. Бледные оливковые деревья, раскинувшие по склону холма свои искривленные стволы, дарили мне маслянистые плоды. Там поучал я людей с упрямыми головами; они не отличались изобретательным умом эллинов, но обладали твердым сердцем, терпеливой душой и почитали богов. Мой сосед, солдат-землепашец, в течение пятнадцати лет нес бремя службы, следуя за римским орлом по морям и горам, и видел, как бегут враги царственного народа. Теперь он водил по борозде пару рыжих волов с широко расставленными рогами и белой звездочкой на лбу. Тем временем под соломенной кровлей его целомудренной и строгой супруга толкла чеснок в бронзовой ступке и варила бобы на священном камне очага. А я, его друг, усевшись невдалеке под дубом, услаждал его труд звуками флейты и улыбался его маленьким детям, которые возвращались из лесу, нагруженные сучьями, в тот час, когда солнце, клонясь к закату, удлиняет тени. У калитки сада, где зрели груши и тыквы, где цвели лилии и вечнозеленый акант, стоял Приап *, вырезанный из ствола смоковницы, и грозил вора́м своим громадным фаллусом, а тростник над его головой, колеблемый ветром, пугал пернатых грабителей. В новолуние благочестивый земледелец приносил своим ларам *, увенчанным миртом и розмарином, горсть соли и ячменя.

Я видел, как росли его дети и дети его детей, сохранив в сердце древнее благочестие и не забывая приносить жертвы Вакху, Диане и Венере, совершать возлияния чистым вином и бросать цветы в источники. Но мало-помалу они утрачивали былое терпение и простоту. Я слышал, как они жаловались, когда поток, разлившийся от обильных дождей, заставлял их строить плотины для защиты отцовского поля; грубое сабинское вино раздражало их изнеженное нёбо. Они шли в соседнюю таверну пить греческие вина и там под виноградным навесом, забывая о времени, глядели, как пляшет флейтистка под звуки кротала *, покачивая гладкими бедрами. Хлебопашцы предавались сладостному отдыху под шепот листьев у ручья, а меж тополями по краям Священной дороги уже поднима-

лись величественные гробницы, статуи и алтари, и все чаще слышался грохот колесниц по истертым плитам. Молодое вишневое деревцо, которое принес с собой старый воин, возвестило нам о далеких завоеваниях консулов, а оды, исполнявшиеся под звуки лиры, рассказывали о победах Рима, владыки мира.

Все страны, по которым некогда прошел великий Дионис, превращая диких зверей в людей и на пути своих менад усыпая плодами деревья и обильными всходами поля, теперь вкушали мир под владычеством Рима. Питомец волчицы *, солдат и землекоп, друг покоренных народов — римлянин прокладывал дороги от берегов туманного океана до крутых отрогов Кавказа; в городах воздвигались храмы Августу и Риму, и столь сильна была во всем мире вера в латинское правосудие, что в фессалийских ущельях и на косматых берегах Рейна раб, изнемогавший под непосильным бременем, взывал: «Цезарь!» Но почему на этом несчастном шаре, состоящем из земли и воды, все обречено увядать, умирать и все самое прекрасное оказывается самым недолговечным? О дивные дочери Греции, о Знание, Мудрость, Красота, благодетельные божества, вы погрузились в непробудный сон еще прежде, чем подверглись надругательствам варваров, которые, устремившись на вас из своих северных болот и пустынных степей, уже мчались во весь опор без седла на маленьких мохнатых лошадках.

Милый Аркадий, в то время как терпеливый легионер раскидывал свой лагерь на берегах Фазоса и Танаиса, женщины и жрецы Азии и чудовищной Африки * заполняли вечный город, смущая своими чарами сынов Рема. До той поры враг трудолюбивых демонов — Ягве — был известен в мире, который он будто бы создал, всего лишь несколько жалким сирийским племенам, отличавшимся долгое время такой же жестокостью, как и сам он, и непрестанно переходившим из одного рабства в другое. Воспользовавшись тем, что Рим установил мир, который повсюду обеспечивал свободу передвижения и торговли и благоприятствовал обмену товаров и идей, этот старый бог стал готовить дерзкий захват вселенной. Впрочем, он был не

единственным, кто отважился на эту попытку. Одновременно с ним целое множество богов, демиургов, демонов, как, например, Митра, Тамуз, благодушная Изида, Евбул, мечтали овладеть умиротворенной землей. Из всех этих духов Ягве, казалось, менее всех других мог рассчитывать на победу. Его невежество, жестокость, чванливость, его любовь к азиатской роскоши, пренебрежение к законам и нелепая причуда оставаться незримым неизбежно должны были оскорблять эллинов и латинян, воспитанных Дионисом и Музами. Он сам чувствовал, что не в его силах завоевать сердца людей, свободных и светлых разумом, и поэтому он пустился на хитрость. Чтобы обольстить души, он придумал басню, и хоть она была далеко не столь увлекательна, как те мифы, которыми мы радовали воображение наших античных учеников, но все же могла тронуть слабые умы, какие в великом множестве встречаются повсюду. Он объявил, что люди с незапамятных времен повинны перед ним в некоем наследственном грехе и за это несут кару и в настоящей жизни и в будущей (ибо смертные по неразумию своему воображают, что их существование будет длиться и в преисподней). Коварный Ягве возвестил, что он послал на землю собственного сына, дабы тот своей кровью искупил долг людей. Трудно поверить, чтобы кара искупала преступление и невинный мог расплачиваться за виновного. Страдание невинного ничего не возмещает, а только прибавляет к старому злу новое зло. Однако нашлись несчастные существа, которые стали поклоняться Ягве и его сыну-искупителю и провозгласили свои откровения как благую весть. Нам следовало быть готовыми к этому безумию. Разве не были мы множество раз свидетелями того, как человек, когда он был ниц и наг, простирался перед всеми призраками, порожденными страхом, и, вместо того чтобы следовать поучениям благодетельных демонов, подчинялся заповедям жестоких демиургов. Ягве своей хитростью, как сетью, уловил души. Но он просчитался — это почти ничего не прибавило к его славе. Не он, а сын его снискал поклонение людей и дал свое имя новому культу. Сам же Ягве продолжал оставаться почти неизвестным на земле.

Глава двадцатая
Продолжение рассказа

Новое суеверие распространилось сначала в Сирии и Африке; потом оно захватило морские порты, где кишел человеческий сброд, проникло в Италию, где в первую очередь заразило куртизанок и рабов, а затем быстро завоевало успех среди городской черни. Но сельские местности еще долгое время оставались нетронутыми этой заразой. Как и прежде, земледельцы посвящали Диане сосну, которую они каждый год орошали кровью молодого кабана, приносили свинью в жертву ларам, чтобы умиловить их, а благодетелю людей, Вакху, дарили козленка ослепительной белизны; и даже если это были совсем неимущие люди, у них всегда находилось немного вина и муки для покровителей очага, виноградника и поля. Мы учили их, что достаточно коснуться алтаря чистой рукою, что боги радуются и скромному приношению. Между тем безумства, вспыхивавшие во многих местах, возвещали царство Ягве. Христиане жгли книги, разрушали храмы, поджигали города, несли с собой уничтожение всюду, даже в пустыню. Там тысячи этих несчастных, обратив свою ярость против самих себя, раздирали себе тело железными остриями; и со всех концов земли вопли добровольных жертв возносились к богу, как хвала. Мое тенистое убежище ненадолго избегло бешенства этих одержимых.

На вершине холма, возвышающегося над оливковой рощей, которая каждый день оглашалась звуками моей флейты, стоял с первых дней римского мира маленький мраморный храм, круглый, как хижины предков. У него не было стен. На цоколе высотой в семь ступеней были расположены по кругу шестнадцать колонн с завитками аканта на капителях, поддерживающих купол из белой черепицы. Этот купол прикрывал статую Амура, натягивающего лук, — работу афинского скульптора. Дитя, казалось, дышало; радость сияла на его устах; все части его тела были гармоничны и гибки. Я чтил это изображение могущественнейшего из богов

и научил поселян приносить ему в жертву чашу, увитую вербеной и наполненную двухлетним вином.

Однажды, когда я сидел, по обыкновению, у ног божества, обдумывая поучения и песни, к храму приблизился незнакомый человек свирепого вида, с всклокоченной бородой; одним прыжком он перескочил все мраморные ступени и с диким злорадством воскликнул:

— Погибни, отравитель душ, и да погибнут с тобой радость и красота!

С этими словами он выхватил из-за пояса топор и занес его над богом. Я схватил его за руку, повалил на землю и стал топтать своими копытами.

— Демон, — крикнул он мне с злобным бесстрашием, — дай мне сокрушить этого идола и тогда можешь меня убить!

Я не внял его ужасной мольбе, я надавил всей своей тяжестью ему на грудь, которая затрещала под моим коленом, и, схватив его обеими руками за горло, задушил нечестивца.

Потом, оставив его валяться с почерневшим лицом и высунутым языком у ног улыбающегося бога, я пошел омыться в священном источнике. Вслед за тем я покинул эту страну, сделавшуюся добычей христиан. Я прошел всю Галлию и достиг берегов Соны, куда Дионис некогда принес виноградную лозу. Христианский бог еще не был известен этим счастливым народам. Они поклонялись густому буку за его красоту и украшали полосками шерстяной ткани его заповедные ветви, ниспадавшие до самой земли. Они поклонялись также священному источнику и ставили во влажные гроты глиняных божков. Они приносили в дар нимфам лесов и гор маленькие сыры и кувшины молока. Но вскоре новый бог и к ним послал апостола скорби *. Он был суше копченой рыбы, но, даже изможденный постами и бдениями, с неиссякаемым жаром проповедовал какие-то темные таинства. Он любил страдание, считал его благом и с яростью преследовал все светлое, прекрасное и радостное. Священное древо пало под его топором. Он ненавидел нимф за то, что они прекрасны, и осыпал их проклятиями, когда по вечерам их округлые бедра сверкали сквозь листву. Такое

же отвращение питал он и к моей певучей флейте. Несчастный верил, что существуют заклинания, с помощью которых можно изгнать бессмертных духов, обитающих в прохладных гротах, в чаще лесов и на вершинах гор. Он думал, что может победить нас несколькими каплями воды, над которыми он произносил какие-то слова, сопровождая их странными движениями. Нимфы в отместку являлись ему по ночам и будили в нем пламенное желание, которое этот глупец считал греховным, а потом убегали, оглашая поля своим звонким смехом, в то время как распаленное тело их жертвы корчилось на ложе из листьев. Так смеются божественные нимфы над заклинателями, так издеваются они над злыми и над их нечистым целомудрием.

Апостолу не удалось наделать столько зла, сколько ему хотелось, потому что он поучал души простые, послушные природе, а такова уж ограниченность большинства людей, что они не склонны делать выводы из правил, которые им внушают. Маленькая роща, где я жил, принадлежала одному галлу из сенаторского рода, еще сохранившему остатки латинской утонченности. Он любил молодую вольноотпущенницу и делил с нею свое пурпурное ложе, расшитое нарциссами. Рабы обрабатывали его виноградник и сад, а сам он был поэтом и, по примеру Авзония *, воспевал Венеру, секущую розами своего сына. Оставаясь христианином, он приносил мне как духу-покровителю здешних мест молоко, плоды и овощи. А я в благодарность услаждал его досуг звуками моей флейты и посылал ему блаженные сны. В сущности мирные галлы очень мало знали о Ягве и его сыне.

Но вот горизонт запылал заревом пожара, и пепел, гонимый ветром, посыпался на полянки нашего леса. По дорогам потянулись длинные вереницы возов, крестьяне шли толпами, гоня перед собою скот. Деревни огласились испуганными воплями: «Бургунды!» * И вот показался первый всадник с копьем в руке, весь закованный в сверкающую бронзу, с длинными

рыжими волосами, спадающими на плечи двумя ко-сами... А за ним еще два, и еще двадцать, — сотни, ты-сячи всадников, свирепых, забрызганных кровью. Они убивали стариков и детей, насиловали всех женщин, даже старух, чьи седые волосы прилипали к их подош-вам вместе с мозгами новорожденных младенцев. Мой молодой галл и его вольноотпущенница обагрили своей кровью ложе, расшитое нарциссами. Варвары поджи-гали базилики, чтобы жарить в них целых быков, раз-бивали амфоры и напивались тут же, в жидкой грязи затопленных подвалов. За ними следом, набившись в походные телеги, ехали их полуголые жены.

После того как сенат, горожане и священники по-гибли в огне, охмелевшие бургунды повалились спать под аркадами форума. А две недели спустя уже можно было видеть, как один из них улыбался в густую бо-роду, глядя на ребенка, которого белокурая супруга баюкала на пороге дома, другой разводил огонь в горне и мерно колотил молотом по железу, тот, усевшись под дубом, пел обступившим его товарищам про богов и героев своего народа, иные же раскладывали для про-дажи камни, упавшие с неба, рога зубров, амулеты. И прежние обитатели страны, мало-помалу успокаи-ваясь, выходили из лесов, куда они попрятались, от-страивали свои сожженные жилища и принимались снова возделывать поля и подрезать виноградные лозы. Жизнь вступала в свои права. Но все же это была са-мая тяжелая пора из всех, какие когда-либо выпадали на долю человечества. Варвары завладели Империей *. У них были грубые нравы, и, будучи, кроме того, мсти-тельными и жадными, они твердо верили, что можно откупиться от грехов. Басня о Ягве и его сыне при-шла им по вкусу, и они охотно поверили в нее, тем более что она перешла к ним от римлян, которых они считали учение себя и втайне восхищались их искус-ством и обычаями. Увы, Греция и Рим достались в наследство глупцам. Знание было утрачено, петь в цер-ковном хоре почиталось доблестью, а люди, которые помнили наизусть несколько изречений из библии, слыли великими умами. Конечно, и в то время тоже водились поэты, как водятся птицы, но стихи их хро-

мали на каждой стопе. Древние демоны, добрые гении человечества, лишенные почестей, изгнанные, преследуемые, затравленные, укрылись в лесах. Если они иной раз и показывались людям, то, чтобы держать их в страхе, принимали ужасные обличья, — красная, зеленая или черная кожа, огненные глаза, огромная пасть с кабаньими клыками, рога, хвост, иногда человеческое лицо на животе. Нимфы по-прежнему оставались прекрасными. Не зная ни одного из нежных имен, которые они носили раньше, варвары называли их феями, приписывали им капризный нрав, коварные замашки, боялись их и любили.

Мы были унижены, мы потеряли свою власть, но не потеряли мужества, и, сохранив неизменную веселость и доброе расположение к людям, мы в эти жестокие времена остались их верными друзьями. Заметив, что варвары мало-помалу становятся менее угрюмыми и свирепыми, мы пускались на разные хитрости, чтобы под той или другой личиной вступить с ними в общение. Со всяческими предосторожностями и уловками мы подстрекали их не считать старого Ягве непогрешимым владыкой, не подчиняться слепо его приказаниям, не страшиться его угроз. Иной раз нам случалось прибегать к искусству магии. Мы беспрестанно побуждали варваров изучать природу и искать следы античной мудрости. Эти северные воины, несмотря на все их невежество, знали кое-какие ремесла. Они верили, что на небе происходят битвы; звуки арфы вызывали у них слезы, и возможно даже, что они были более способны духом на великие деяния, чем выродившиеся галлы и римляне, земли которых они захватили. Они не умели ни обтесывать камень, ни шлифовать мрамор; но они привозили порфир и колонны из Рима и Равенны, а правители их употребляли в качестве печатей геммы, вырезанные греками в эпоху расцвета красоты. Они воздвигали стены из кирпичей, искусно расположенных зубцами, и им удавалось строить не лишенные приятности церкви с карнизами, опирающимися на страшные каменные головы, и с тяжелыми капителями, на которых они изображали пожирающих друг друга чудовищ.

Мы обучали их письменности и наукам. Один из наместников их бога, Герберт *, брал у нас уроки физики, арифметики и музыки, и про него говорили, что он продал нам душу. Века шли, а нравы оставались дикими. Мир содрогался в огне и крови. Преемники любознательного Герберта, не довольствуясь тем, что владеют душами, — ибо корысть от этого легковеснее воздуха, — пожелали владеть и телами. Они жаждали установить свое господство над всем миром, опираясь на право, которое они будто бы унаследовали от какого-то рыбака с Тивериадского озера *. Один из них возомнил на мгновение, что одержал верх над тупым германцем, преемником Августа *. Но в конце концов духовным владыкам пришлось поделить свое господство со светскими, и народы были обречены терпеть гнет двух властей-соперниц. Народы эти ковали свою судьбу в непрерывной чудовищной смуте. Сплошные войны, голод, резня. И все бесконечные бедствия, сыпавшиеся на них, люди приписывали своему богу и за это называли его всеблагим, и отнюдь не иносказательно, а потому, что лучшим для них был тот, кто сильнее наносил удары. В этот век насилия я, чтобы разумно употребить свой досуг, принял решение, которое может показаться странным, но на самом деле отличалось глубокой мудростью.

Между Соной и Шарольскими горами, где пасутся быки, есть лесистый холм, пологие склоны которого переходят в луга, орошаемые свежим ручьем. Там стоял монастырь, который славился во всем христианском мире *. Я спрятал свои козлиные копыта под рясу, сделался монахом в этом аббатстве, где и жил спокойно, вдали от всяких воителей, одинаково несносных, будь они друзья или враги. Человечеству, впавшему в детство, приходилось всему учиться заново. Брат Лука, мой сосед по келье, изучавший нравы животных, утверждал, что ласка зачинает своих детенышей через ухо. Я собирал в полях целебные травы, чтобы облегчать страдания больных, которых до тех пор лечили прикосновением к святым мощам. В аббатстве было еще несколько подобных мне демонов, которых я узнал по копытам и по тому, как приветливо они

меня встретили. Мы соединили наши усилия, чтобы просветить закоснелые умы монахов.

В то время как под стенами монастыря дети играли в камешки, наши монахи предавались другой такой же пустой игре, которой, впрочем, и я забавлялся вместе с ними, потому что в конце концов надо же как-нибудь убить время, — и, если подумать, это единственное назначение жизни. Наша игра была игрою в слова; * она тешила наши изворотливые и в то же время грубые умы, она зажигала споры и сеяла смуту во всем христианском мире. Мы разделились на два лагеря. Одни утверждали, что прежде, чем появились яблоки, существовало некое изначальное Яблоко, прежде чем были попугаи, был изначальный Попугай, прежде чем развелись распутные чревоугодники-монахи — был Монах, было Распутство, было Чревоугодие, прежде чем появились в этом мире ноги и зады — Пинок коленом в зад уже существовал предвечно в лоне божием.

Другой лагерь, напротив, утверждал, что яблоки внушили человеку идею яблока, попугаи — идею попугая, монахи — идею монаха, чревоугодия и распутства, и что пинок в зад начал существовать только после того, как его надлежащим образом дали и получили. Спорщики распаялись, и дело доходило до рукопашной. Я принадлежал ко второму лагерю, ибо он более соответствовал складу моего ума, и впоследствии не случайно был осужден на Суассонском соборе.

Тем временем, не довольствуясь драками между собой, — вассал против сюзерена и сюзерен против вассала, — сеньоры задумали идти воевать на восток. Они говорили, насколько мне помнится, что идут освобождать гроб сына господня *. Так они говорили; но на самом деле алчность и жажда приключений влекли их в далекие края на поиски новых земель, женщин, рабов, золота, мирры и ладана. Эти походы, — стоит ли говорить, — были весьма неудачны, но наши тупоумные соотечественники вынесли из них знакомство с восточными ремеслами и искусствами и вкус к роскоши. С этих пор нам стало легче приучать их к труду и вести их по пути творчества. Мы начали строить храмы чудесной красоты * с дерзко изогнутыми

арками, стрельчатыми окнами, высокими башнями, тысячами колоколен и острыми шпилями, которые поднимались к небу Ягве, вознося к нему одновременно и мольбы смиренных и угрозы возгордившихся, ибо все это было созданием наших рук столько же, сколько и рук человеческих. Странное это было зрелище, когда над постройкой собора бок о бок трудились люди и демоны, — обтесывали, шлифовали, укладывали камни, украшали капители и карнизы рельефами крапивы, терновника, чертополоха, жимолости, земляничных листьев, высекали фигуры дев и святых или причудливые изображения змей, рыб с ослиной головой, обезьян, чешущих себе зад, — словом, каждый творил в своем собственном духе, строгом или шаловливом, величественном или причудливом, смиренном или дерзком, и все вместе создавало гармоническую какофонию, чудесный гимн радости и скорби, торжествующую Вавилонскую башню. Вдохновляемые нами резчики, ювелиры, мастера эмали творили настоящие чудеса; расцвели все ремесла, служащие роскоши, появились лионские шелка, arrasские ковры, реймские полотна, руанские сукна. Солидные купцы отправлялись на ярмарку, везя на своей кобыле куски бархата и парчи, вышивки, златотканые шелка, драгоценные украшения, серебряную утварь, книги с миниатюрами. Веселые подмастерья устанавливали подмостки в храмах или на людных площадях и представляли по своему разумению действия, происходившие на небесах, на земле или в аду. Женщины носили роскошные уборы и рассуждали о любви. Весной, когда небо одевалось в лазурь, у всех людей, знатных и простых, пробуждалось желание порезвиться на лужке, пестреющем цветами. Скрипач настраивал свой инструмент. Дамы, рыцари и девицы, горожане и горожанки, поселяне и деревенские красотки, взявшись за руки, водили хороводы. Но внезапно Война, Голод и Чума вступали в круг, и Смерть, вырвав скрипку из рук музыканта, заводила свой собственный танец. Пожары уничтожали села и монастыри, солдаты вешали крестьян на дубе у околицы за то, что те не могли заплатить выкуп, а беременных женщин привязывали к стволу, и волки приходили

ночью и пожирали их плод во чреве. Бедные люди ото всего этого теряли рассудок. И нередко, когда в стране уже царил мир и жизнь спокойно шла своим чередом, они вдруг безо всякой причины, объятые каким-то безумным страхом, покидали свои дома и куда-то бежали толпами, полунагие, раздирая себе тело железными крючьями и распевая гимны... Я не виню Ягве и его сына во всем этом зле. Много дурного совершалось помимо него и даже против него, но в чем узнаю я руку милосердного бога (как они называли его) — это в обычае, введенном его наместниками и установленном во всем христианском мире: сжигать с колокольным звоном и пением псалмов мужчин и женщин *, которые по наущению демонов мыслили об этом боге не так, как подобало.

Глава двадцать первая

Продолжение и конец рассказа

Казалось, что знание и мысль погибли навсегда и что земле уже никогда не видеть мира, радости и красоты.

Но однажды под стенами Рима рабочие, копавшие землю у края древней дороги, нашли мраморный саркофаг; на стенках его были изваяны игры Амура и триумфы Вакха. Когда подняли крышку, взорам предстала дева *. Лицо ее сияло ослепительной свежестью, длинные волосы рассыпались по плечам, она улыбалась, словно во сне. Несколько горожан, трепеща от восторга, подняли погребальное ложе и отнесли его в Капитолий. Народ стекался толпами полюбоваться неувядаемой красотой римской девы и стоял притихнув, ожидая, не пробудится ли божественная душа, заключенная в этом прекрасном теле. Весь город был до того взволнован этим зрелищем, что папа, опасаясь не без основания, как бы это дивное тело не стало предметом языческого культа, приказал ночью унести его и тайно похоронить. Напрасная предосторожность! Тщетные старания! Античная красота после стольких

лет варварства на мгновение явилась очам людей, и этого было достаточно, чтобы образ ее, запечатлевшись в их сердцах, внушил им пламенное стремление любить и знать. С тех пор звезда христианского бога стала меркнуть и клониться к закату. Отважные мореплаватели открывали новые земли, населенные многочисленными народами, не знавшими старого Ягве, и тогда возникло подозрение, что он и сам их не знал, ибо не возвестил им ни себя, ни своего сына-искупителя. Некий польский каноник доказал вращение земли *, и люди обнаружили, что старый демиург Израиля не только не создал вселенной, но даже не имел понятия о ее истинном устройстве. Творения древних философов, ораторов, юристов и поэтов были извлечены из пыли монастырских библиотек и, переходя из рук в руки, вдохновляли умы любовью к мудрости. Даже наместник ревнивого бога, сам папа, больше не верил в того, чьим представителем он был на земле. Он любил искусство *, и у него не было иных забот, как только собирать античные статуи и возводить великолепные строения, где оживало мастерство Витрувия, возрожденное Браманте *. Нам стало легче дышать. Истинные боги, вызванные из столь длительного изгнания, возвращались на землю. И они вновь обретали здесь свои храмы и алтари. Папа Лев, сложив к их ногам свой пастырский перстень, тройной венец и ключи, втайне воскурял им жертвенный фимиам. Уже Полигимния *, опершись на локоть, вновь стала прясть золотую нить своих раздумий; уже целомудренные грации, сатиры и нимфы водили хороводы в тенистых садах; наконец-то на землю возвращалась радость. Но вот — о, горе, о, напасть, о, злосчастье! — некий немецкий монах *, накачавшись пивом и богословием, восстает против этого возрождающегося язычества, грозит ему, мечет громы и молнии, один одолевает князей церкви и, увлекая за собой народы, ведет их к реформе, спасающей то, что уже было обречено на гибель. Тщетно наиболее искусные из нас пытались отвести его от этой затеи. Один изворотливый демон, которого на земле зовут Вельзевулом, неотступно пре-

следовал его, то смущая противоречивыми учеными доводами, то дразня коварными шутками.

Упрямый монах запустил в него чернильницей и продолжал свою унылую реформацию. Да что говорить? Этот дюжий корабельщик починил, законопатил и вновь спустил на воду потрепанный бурями корабль церкви. Иисус Христос обязан этому рясоносцу тем, что кораблекрушение оказалось отсроченным, может быть, более чем на десять веков. С тех пор дела пошли все хуже и хуже. После этого толстяка в монашеском капюшоне, пьяницы и забияки, явился, весь проникнутый духом древнего Ягве, длинный и тощий доктор из Женевы *, холодный в своем неистовстве маньяк, еретик, сжигавший на кострах других еретиков, самый лютей враг граций, изо всех сил старавшийся вернуть мир к гнусным временам Иисуса Навина * и Судей израильских.

Эти иступленные проповедники и их иступленные ученики заставили даже демонов, подобных мне, даже рогатых дьяволов пожалеть о временах, когда сын со своей девственной матерью царили над народами, очарованными великолепием каменного кружева соборов, сияющими розами витражей, яркими красками фресок, изображавших тысячи чудесных историй, пышной парчой, блистающей эмалью рак и дароносиц, золотом крестов и ковчегов, созвездиями свечей в тени церковные сводов, гармоничным гулом органов. Конечно, все это нельзя было сравнить с Парфеноном, нельзя было сравнить с Панафинейми; но и это радовало глаз и сердце, ибо и здесь обитала красота. А проклятые реформаторы не терпели ничего, что пленяет взор и дарит отраду. Поглядели бы вы, как они черными стаями карабкались на порталы, цоколи, островерхие крыши и колокольни, разбивая своим бессмысленным молотком каменные изображения, изваянные некогда руками демонов и искусных мастеров: добродушных святых мужей, милостивых праведниц или же трогательных богородиц, прижимающих к груди своего младенца. Ибо, по правде сказать, в культ ревнивого бога проникло кое-что из сладостного язычества, а эти чудовища-еретики искореняли идолопоклонство. Я и мои

товарищи делали все, что было в наших силах, чтобы помешать их мерзкой работе, и я, например, не без удовольствия столкнул несколько дюжин этих извергов с высоты порталов и галерей на паперть, по которой грязными лужами растеклись их мозги.

Но хуже всего было то, что сама католическая церковь тоже подверглась реформации и от этого стала злее, чем когда-либо. В милой Франции сорбонские богословы и монахи с неслыханной яростью ополчились против изобретательных демонов и ученых мужей. Настоятель моего монастыря оказался одним из величайших противников науки. С некоторого времени его стали беспокоить мои ученые бдения, а, может быть, он заметил на моей ноге раздвоенное копыто. Ханжа обыскал мою келью и обнаружил в вей бумагу, чернила, несколько недавно отпечатанных греческих книг и флейту Пана, висевшую на стене. По этим приметам он признал во мне адского духа и велел бросить меня в темницу, где мне пришлось бы питаться хлебом отчаяния и водою горечи, если бы я не поспешил ускользнуть через окно и найти себе приют в лесах, среди нимф и фавнов.

Повсюду пылали костры и распространялся запах горелого мяса. Повсюду пытали, казнили, ломали кости, вырывали языки. Никогда еще дух Ягве не внушал столь зверской жестокости. И все же не напрасно подняли люди крышку античного саркофага, не напрасно лицезрели они Римскую Деву. Среди неслыханных ужасов, когда паписты и реформаторы соперничали в насилиях и злодеяниях, среди пыток и казней разум человеческий вновь обретал силу и мужество. Он дерзал смотреть в небеса и видел там не старого семита, опьяненного жаждой мести, а спокойную и сияющую Венеру Уранию*.

И тогда зародился новый порядок вещей, тогда занялась заря великой эпохи. Не отрекаясь открыто и явно от бога своих предков, умы предались двум его смертельным врагам — Науке и Разуму, и аббат Гассенди* незаметно оттеснил бога в отдаленную пропасть первопричин. Благодетельные демоны, которые прощещают и утешают несчастных смертных, вдохновили

самых даровитых людей того времени на создание всякого рода рассуждений, комедий и сказок, совершенных по мастерству. Женщины постигли искусство беседы, дружеской переписки и утонченной вежливости. Нравы приобрели мягкость и благородство, неведомые минувшим временам. В этот век Разума один из его лучших умов, любезный Бернье *, написал однажды Сент-Эвремону: * «Лишать себя удовольствия — великий грех». По одному лишь этому изречению можно судить, насколько подвинулось вперед умственное развитие в европейских странах. Разумеется, эпикурейцы существовали и раньше, но им не хватало сознания своего дара, какое было у Бернье, Шапеля * и Мольера, Теперь даже святоши научились понимать природу. И Расин, при всем своем ханжестве, умел не хуже безбожного физика-атеиста, вроде Ги-Патэна *, разбираться, в какой связи страсти, волнующие людей, находятся с тем или иным состоянием органов человеческого тела.

Даже в моем аббатстве, куда я вернулся после того, как миновали смутные времена, и где ютились только невежды и тупицы, один юный монах, менее невежественный, чем другие, высказал мне мысль, что дух святой изъясняется на плохом греческом языке, наверно, для того, чтобы унижить ученых.

И все же богословие и казуистика по-прежнему свирепствовали в этом обществе разумных людей. Недалеко от Парижа, в тенистой долине, появились отшельники *, которых называли «господа». Они считали себя учениками блаженного Августина и с достойным уважением упорством утверждали, что бог Священного писания разит того, кто его страшится, милует того, кто бросает ему вызов, не принимает во внимание никаких добрых дел и предаст гибели, если ему это угодно, самых верных своих слуг; ибо правосудие его не имеет ничего общего с нашим правосудием, и пути его неисповедимы. Однажды вечером я встретил одного из этих «господ» в его садике, где он размышлял, прогуливаясь между грядками капусты и салата. Я склонил перед ним свой рогатый лоб и прошептал ему слова приветия:

— Да хранит вас старый Иегова, сударь мой! Вы его хорошо знаете! О, как хорошо вы его знаете, как вы поняли его нрав!

Святой человек распознал во мне падшего ангела, счел себя обреченным и скоростижно умер от страха.

Следующий век был веком философии. Развился дух пытливости, исчезло благоговение перед авторитетами. Телесная мощь ослабела, а разум обрел новую силу. Появилась неведомая ранее галантность. Монахи моего ордена, напротив, становились все невежественнее и грязнее, и теперь, когда в городах царила учтивость, пребывание в монастыре потеряло для меня всякий смысл. Я больше не мог терпеть. Забросив рясу подальше, я надел на свой рогатый лоб пудренный парик, запрятал козлиные ноги в белые чулки и с тростью в руке, набив карманы газетами, пустился в свет: я посещал все модные гулянья и сделался завсегда-таем кофеен, в которых собирались литераторы. Я бывал в салонах, где в качестве удобного новшества стояли теперь кресла, податливо принимавшие форму человеческого зада, и где собирались мужчины и женщины для рассудительной беседы. Даже метафизики и те изъяснялись вполне понятным языком. Я приобрел в городе большой авторитет по части экзегетики и, не хвастаясь, могу сказать, что «Завещание» патера Мелье * и «Толковая библия» капелланов прусского короля составлены были при моем деятельном участии.

В это время со стариком Ягве случилась забавная, но пренеприятная история. Один американский квакер с помощью бумажного змея похитил у него молнию *.

Я жил в Париже и присутствовал на том ужине, где говорили, что надо задушить последнего попа кишками последнего короля. Вся Франция кипела. И вот разразилась сокрушительная революция. Недолговечные вожди перевернутого вверх дном государства правили посредством террора среди неслыханных опасностей. По большей части они были менее жестоки и беспощадны, чем властители и судьи, которых Ягве насадил в земных царствах. Однако они казались более свирепыми, потому что судили во имя человечности. К не-

счастью, они склонны были умиляться и отличались большой чувствительностью. А люди чувствительные легко раздражаются и подвержены припадкам ярости. Они были добродетельны, добронравны, то есть весьма узко понимали моральные обязательства и судили человеческие поступки не по их естественным следствиям, а согласно отвлеченным принципам. Из всех пороков, опасных для государственного деятеля, самый пагубный — добродетель: она толкает на преступление. Чтобы с пользой трудиться для блага людей, надо быть выше всякой морали, подобно божественному Юлию *. Бог, которому так доставалось с некоторого времени, в общем не слишком пострадал от этих новых людей. Он нашел среди них покровителей, и ему стали поклоняться, именуя его Верховным существом *. Можно даже сказать, что террор несколько отвлек людей от философии и послужил на пользу старому демиургу, который казался теперь защитником порядка, общественного спокойствия, безопасности личности и имущества.

В то время как в бурях рождалась свобода, я жил в Отейле и бывал у г-жи Гельвециус *, где собирались люди, свободно мыслящие обо всем. А это было большой редкостью даже после Вольтера. Иной человек не знает страха перед лицом смерти и в то же время не находит в себе мужества высказать необычное суждение о нравах. То же чувство человеческого достоинства, которое заставляет его идти на смерть, принуждает его склонять голову перед общественным мнением. Я наслаждался тогда беседой с Вольнеем, с Кабанисом и Траси. Ученики великого Кондильяка *, они считали ощущение источником всех наших знаний. Они называли себя идеологами, были достойнейшими в мире людьми, но раздражали неотесанные умы тем, что отказывали им в бессмертии. Ибо большинство людей, не умея как следует пользоваться земной своей жизнью, жаждут еще и другой жизни, которая не имела бы конца. В это бурное время наше маленькое общество философов порою тревожили под мирной сенью Отейля патрули патриотов. Кондорсе *, великий человек нашего кружка, попал в проскрипционные списки.

Даже я, несмотря на свой деревенский вид и канифасовый кафтан, показался подозрительным друзьям народа, которые сочли меня аристократом, и в самой деле, независимость мысли, по-моему, — самый благородный вид аристократизма.

Однажды вечером, когда я следил за дриадами Булонского леса, сверкавшими среди листвы, подобно луне, когда она восходит над горизонтом, меня задержали как подозрительное лицо и бросили в тюрьму. Это было простое недоразумение. Но якобинцы по примеру монахов, чью обитель они захватили, очень высоко ценили беспрекословное повиновение. После смерти г-жи Гельвечиус наше общество стало встречаться в салоне г-жи де Кондорсе. И Бонапарт иной раз не пренебрегал разговором с нами.

Признав его великим человеком, мы решили, что он, подобно нам, тоже идеолог. Наше влияние в стране было довольно велико. Мы употребляли это влияние на пользу Бонапарта и возвели его на императорский трон, дабы явить миру нового Марка Аврелия *. Мы рассчитывали, что он умиротворит вселенную: он не оправдал наших надежд, и мы напрасно винили его в своей же ошибке.

Спору нет, он намного превосходил прочих людей живостью ума, тонким искусством притворства и способностью действовать. Непревзойденным властителем делало его то, что он весь жил настоящей минутой, не думая ни о чем, кроме непосредственной действительности с ее настоятельными нуждами. Гений его был обширен и легковесен. Его ум, огромный по объему, но грубый и посредственный, охватывал все человечество, но не возвышался над ним. Он думал то, что думал любой гренадер его армии, но сила его мысли была неимоверна. Он любил игру случая, и ему нравилось искушать судьбу, сталкивая друг с другом сотни тысяч пигмеев, — забава ребенка, великого, как мир. Он был слишком умен, чтобы не вовлечь в эту игру старого Ягве, все еще могущественного на земле и походившего на него своим духом насилия и властолюбия. Он грозил и льстил ему, ласкал его и запугивал. Он посадил под замок его наместника * и, приста-

вив ему нож к горлу, потребовал от него помазания *, которое со времен Саула дает силу царям. Он восставил культ демиурга, пел ему славословия и добился, чтобы бог небесный объявил его богом земным в маленьких катехизисах, распространяемых по всей Империи. Они соединили свои громы, и от этого на земле поднялся невообразимый шум.

В то время как забавы Наполеона переворачивали вверх дном всю Европу, мы радовались своей мудрости, хотя нам и было немного грустно сознавать, что эра философии начинается резней, казнями и войнами. Но хуже всего было то, что дети века, впавшие в самое прискорбное распутство, изобрели какое-то живописное и литературное христианство *, свидетельствовавшее о слабости ума поистине невероятной, и в конце концов докатились до романтизма. Война и романтизм — чудовищные бичи человечества! И какое жалостное зрелище представляют эти люди, одержимые иступленной ребяческой любовью к ружьям и барабанам! Им непонятно, что война, некогда укрепившая сердца и воздвигнувшая города невежественных варваров, приносит даже победителям только разорение и горе, а теперь, когда народы связаны между собою общностью искусств, наук и торговли, война стала страшным и бессмысленным преступлением. О, неразумные сыны Европы, замышляющие взаимную резню, когда их охватывает и объединяет общая цивилизация!

Я отказался от споров с безумцами. Я удалился в это селение и занялся садоводством. Персики моего сада напоминают мне позолоченную солнцем кожу менад. Я сохранил к людям прежнее дружеское чувство, малую толику восхищения и великую жалость, и, возделывая свой клочок земли, я дожидаюсь того пока еще далекого дня, когда великий Дионис в сопровождении фавнов и вакханок придет, чтобы вновь научить смертных радости и красоте и вернуть им золотой век. Ликующий, пойду я за его колесницей. Но кто знает, увидим ли мы людей в час этого грядущего торжества? Кто знает, не исполнятся ли к тому времени судьбы их иссякшей породы, не возникнут ли новые существа из праха и останков того, что было человеком и его

гением? Кто знает, не завладеют ли царством земным крылатые существа? В таком случае труд добрых демонов еще пригодится: они станут учить искусствам и наслаждению породе пернатых.

Глава двадцать вторая,

*где мы узнаем, как в антикварной лавке ревностью
многовозлюбившей жены было нарушено преступное
счастье папаша Гинардона*

Папаша Гинардон (как совершенно правильно сообщила Зефирина г-ну Сарьетту) потихоньку вывез картины, мебель и редкости, накопленные на том чердаке дома по улице Принцессы, который он именовал своей мастерской, и обставил ими лавку, снятую на улице Курсель. Он и сам туда перебрался, оставив Зефирину после пятидесяти лет совместной жизни без матраца, без посуды, без гроша денег, если из считать одного франка и семидесяти сантимов, которые находились в кошельке несчастной женщины. Папаша Гинардон открыл магазин старинных картин и редкостей и посадил в нем юную Октавию.

Витрина имела весьма достойный вид: там были фламандские ангелы в зеленых мантиях, написанные в манере Жерара Давида, Саломея школы Луини, раскрашенная деревянная статуэтка святой Варвары — французская работа, лиможские эмали, богемское и венецианское стекло, урбинские блюда; было там и английское кружево, которое, если верить Зефирине, преподнес ей в дни ее блистательного расцвета сам император Наполеон III. В полусумраке лавки мерцало золото, повсюду виднелись Христы, апостолы, патрицианки и нимфы. Одна картина повернута была к стене — ее показывали только настоящим знатокам, а они встречаются редко. Это была авторская копия «Колечка» Фрагонара, — краски на ней были столь свежи, что казалось, она еще не успела высохнуть. Так говорил сам папаша Гинардон. В глубине лавки стоял комод фиалкового дерева, и в ящиках его хранились различ-

ные редкости — гуаши Бодуэна, книги с рисунками XVIII века, миниатюры.

На мольберте покоился занавешенный шедевр, чудо, драгоценность, жемчужина: нежнейший Фра Анджелико, весь золотой, голубой и розовый — «Венчание пресвятой девы»; папаша Гинардон просил за него сто тысяч франков. На стуле эпохи Людовика XV, перед рабочим столиком в стиле ампир, на котором красовалась ваза с цветами, сидела с вышиванием в руках юная Октавия. Оставив в чердачном помещении на улице Принцессы свои сверкающие лохмотья, она являла восхищенным взорам знатоков, посещавших лавку папаша Гинардона, уже не образ возрожденного Рембрандта, но сладостное сияние и прозрачность Вермеера Дельфтского. Спокойная, целомудренная, целыми днями сидела она в лавке совсем одна, меж тем как старик мастерил в каморке под крышей бог весть какие картины. Около пяти часов он спускался в лавку и беседовал с завсегдатаями.

Наиболее усердным из них был граф Демэзон, высокий, тощий, сутулый человек. На его глубоко запавших щеках из-под самых скул выбивались две узкие прядки волос, которые, постепенно расширяясь, снежной лавиной затопляли подбородок и грудь. Он то и дело погружал в нее длинную костлявую руку с золотыми перстнями. Оплакивая в течение двадцати лет свою жену, погибшую в расцвете юности и красоты от чахотки, он всю жизнь проводил в том, что изыскивал способы общения с мертвыми и заполнял скверной мазней свой одинокий особняк. Его доверие к Гинардону не имело границ. Столь же часто появлялся в лавке г-н Бланмениль, управляющий крупным кредитным банком. Это был цветущий, плотный мужчина лет пятидесяти; он мало интересовался искусством и вряд ли хорошо разбирался в нем, но его привлекала юная Октавия, сидевшая посреди лавки, как певчая птичка в клетке.

Господин Бланмениль не замедлил установить с ней некое дружественное взаимопонимание, чего по неопытности не замечал только один папаша Гинардон, ибо старик был еще молод в своей любви к Октавии.

Г-н Гаэтан д'Эспарвье заходил иногда к папаше Гинардону из любопытства, потому что угадал в нем истиннейшего фальсификатора.

Господин Ле Трюк де Рюффек, этот великий рубака, явился однажды к старому антиквару и поделился с ним своими планами. Г-н Ле Трюк де Рюффек устраивал в Малом дворце историческую выставку холодного оружия в пользу воспитательного дома для малолетних марокканцев и просил папашу Гинардона одолжить ему несколько наиболее ценных экземпляров из его коллекции.

— Мы думали сначала, — говорил он, — устроить выставку, которая называлась бы «Крест и Шпага». Сочетание этих двух слов дает вам ясное представление о том, каким духом было бы проникнуто наше предприятие. Мысль высокопатриотическая и христианская побудила нас соединить шпагу — символ чести, и крест — символ спасения. Мы заручились в этом деле высоким покровительством военного министра и монсеньера Кашпо. К несчастью, осуществление нашего плана натолкнулось на некоторые препятствия, и его пришлось отложить. Сейчас мы устраиваем выставку Шпаги. Я уже составил заметку, в которой разъясняется смысл и значение этой выставки.

С этими словами г-н Ле Трюк де Рюффек достал из кармана туго набитый бумажник и разыскал среди всевозможных повесток и судебных решений о дуэлях и о несостоятельности грязную, сплошь исписанную бумажку.

— Вот, — сказал он, — «Шпага — суровая девственница. Это оружие французское по преимуществу. В эпоху, когда национальное чувство после очень длительного упадка разгорается ярче, чем когда-либо...» и так далее. Понимаете?

И он повторил свою просьбу — одолжить какой-нибудь редкий экземпляр старинного оружия, чтобы его можно было поместить на самом видном месте этой выставки, которая устраивается в пользу воспитательного дома для малолетних марокканцев, под почетным председательством генерала д'Эспарвье.

Папаша Гинардон почти не занимался старинным оружием. Он торговал преимущественно картинами, рисунками и книгами. Но его трудно было застигнуть врасплох. Он снял со стены рапиру с ажурной чашкой эфеса в ярко выраженном стиле Людовика XIII времен Наполеона III и протянул ее организатору выставки. Тот созерцал рапиру не без уважения, но хранил осторожное молчание.

— Есть у меня кое-что и получше, — сказал антиквар. И он вынес из чулана валявшийся там среди тростей и зонтов длиннейший меч, украшенный геральдическими лилиями. Меч был поистине королевский: его носил актер Одеона, изображавший Филиппа-Августа на представлениях «Агнессы де Мерани» * в 1846 году. Гинардон держал его клинком вниз, благоговейно сложив руки на крестообразной рукоятке, и весь облик старика дышал такой же верностью престолу, как и самый меч.

— Возьмите его для вашей выставки, — сказал он. — Благородный красавец стоит того. Имя его — Бувин.

— Если мне удастся продать его для вас, — спросил Ле Трюк де Рюффек, крутя свои огромные усы, — вы мне что-нибудь дадите за комиссию?..

Через несколько дней папаша Гинардон с таинственным видом показал графу Демэзону и г-ну Бланменилю вновь найденного Греко *, изумительнейшего Греко, последней манеры художника. На картине изображен был Франциск Ассизский; стоя на Альвернской скале, он поднимался к небу, как столб дыма, и чудовищно узкая голова его, уменьшенная расстоянием, тонула в облаках. Словом, это был подлинный, самый подлинный, даже слишком подлинный Греко. Оба любителя внимательно созерцали это творение, а папаша Гинардон восхвалял глубокие черные тона картины и возвышенную выразительность образа. Он поднимал руки вверх, чтобы нагляднее показать, как Теотокопули, выросший из Тинторетто, стал выше своего учителя на сто локтей.

— Это был целомудренный, чистый, могучий, мистический, апокалипсический гений.

Граф Демэзон заявил, что Греко его любимый художник. Что касается Бланмениля, то в глубине души он не так уж восхищался.

Открылась дверь, и появился г-н Гаэтан, которого не ждали.

Он взглянул на святого Франциска и сказал:

— Черт возьми!

Господин Бланмениль, стремясь поучиться, спросил у него, что он думает об этом художнике, которым теперь так восторгаются. Гаэтан с готовностью ответил, что он не считает Греко безумцем или сумасбродом, как это полагали раньше. По его мнению, Теотокпули искажал свои образы из-за того, что у него был какой-то дефект зрения.

— Он страдал астигматизмом и страбизмом, — продолжал Гаэтан, — и рисовал то, что он видел и как видел.

Граф Демэзон неохотно принял столь естественное объяснение. Наоборот, г-ну Бланменилю оно очень понравилось своей простотой.

Гинардон с негодованием воскликнул:

— Уж не скажете ли вы, господин д'Эспарвье, что апостол Иоанн тоже страдал астигматизмом, потому что он увидел Жену, облаченную в солнце, венчанную звездами и попирающую ногами луну, увидел зверя о семи головах и десяти рогах и семь ангелов в льняных одеждах, несущих семь чаш, наполненных гневом бога живого?

— В конце концов, — заметил в заключение г-н Гаэтан, — искусством Греко восхищаются с полным основанием, раз у него хватило таланта заразить своим больным видением других. Кроме того, терзания, которым он подвергает человеческий облик, доставляют радость душам, любящим страдание, а таких гораздо больше, чем принято думать.

— Сударь, — заметил граф Демэзон, поглаживая длинной рукой свою пышную бороду, — нужно любить то, что нас любит. А страдание любит нас и привязывается к нам. Его надо любить, чтобы вынести бремя жизни. Сила и благодеяние христианства в том и со-

стоит, что оно это поняло... Увы! Я утратил веру, и это приводит меня в отчаяние.

Старик подумал о той, кого он оплакивал уже двадцать лет, и тотчас же разум его помутился и мысль без сопротивления подчинилась бреду кроткого и грустного безумия.

Он принялся рассказывать, что, изучая науки о душе и проделав при содействии необыкновенно чуткого медиума ряд опытов над природой и посмертной жизнью души, он добился изумительных результатов, которые, однако, не удовлетворили его. Ему удалось увидеть душу умершей жены в виде студенистой прозрачной массы, ничем не напоминавшей тело, которое он так обожал. Самое мучительное в этих сотни раз повторявшихся опытах было то, что студенистая масса, снабженная исключительно тонкими щупальцами, все время двигала ими в определенном ритме, рассчитанном, по-видимому, на передачу знаков, но смысл этих движений невозможно было разгадать.

Пока он рассказывал, г-н Бланмениль все свое внимание уделял юной Октавии, которая сидела тихо, безмолвно, с потупленными глазами.

Зефирина не хотела добровольно уступить своего возлюбленного недостойной сопернице. Она бродила зачастую по утрам, с корзинкой на руке, вокруг антикварной лавки, полная гнева и отчаяния, раздираемая противоречивыми замыслами: то ей хотелось плеснуть в изменника серной кислотой, то броситься к его ногам, обливая слезами и покрывая поцелуями обожаемые руки. Однажды, подстерегая таким образом своего Мишеля, столь любимого и столь виновного, Зефирина увидела сквозь стекло витрины юную Октавию, вышивавшую у стола, на котором в хрустальном бокале увядала роза. Тогда, вне себя от ярости, онахватила зонтиком по белокурой голове своей соперницы и обозвала ее шлюхой и тварью. Октавия в ужасе побежала за полицией, а Зефирина, обезумев от горя и от любви, принялась колотить железным концом своего растрепанного старого зонта «Колечко» Фрагонара, черного, как сажа, св. Франциска Греко, пресвятых дев, нимф

и апостолов и, сбивая позолоту с Фра Анджелико, вопила:

— Все эти картины — всех этих Греко, Беато Анджелико и Фрагонаров, и Жерара Давида и Бодуэнов, да, да, и Бодуэнов, — все, все, все нарисовал Гинардон, мошенник, негодяй Гинардон. Этого Фра Анджелико я сама видела, он писал на моей гладильной доске, а Жерара Давида состряпал на старой вывеске акушерки. Ах, свинья! Подожди, я разделаюсь с твоей потаскухой и с тобой, как разделалась с твоими мерзкими полотнами.

И, вытащив за фалды какого-то старого любителя искусства, со страху забывшегося в самый темный угол чулана, она призывала его в свидетели злодеяний мошенника и клятвопреступника Гинардона. Полицейским пришлось силою вывести ее из разгромленной лавки. Когда, в сопровождении огромной толпы народа, ее вели в полицию, она поднимала к небу горящие глаза и выкрикивала сквозь рыдания:

— Да ведь вы не знаете Мишеля! Если бы вы только знали его, вы бы поняли, что без него жить нельзя. Мишель! Красавец мой, такой добрый, такой чудесный! Божество мое, любовь моя! Я люблю его, люблю, люблю! Я знала всяких высоких особ, герцогов, министров, даже еще повыше... Ни один из них и в подметки не годится Мишелю. Люди добрые, верните мне Мишеля!

Глава двадцать третья,

в которой обнаруживается, изумительный характер Бушотты, сопротивляющейся насилию, но уступающей любви. И пусть после этого не говорят, что автор — женоненавистник

Выйдя от барона Макса Эвердингена, князь Истар зашел в кабачок на Центральном рынке поесть устриц и выпить бутылку белого вина. А так как сила в нем соединялась с осторожностью, он отправился затем к своему другу Теофилю Белэ, чтобы спрятать у музы-

канта в шкафу бомбы, которыми были наполнены его карманы. Автора «Алины, королевы Голконды» не было дома. Керуб застал Бушотту изображающей девочку Зигуль перед зеркальным шкафом. Ибо молодая артистка должна была играть главную роль в оперетте «Апаши», которую тогда репетировали в одном большом мюзик-холле. Это была роль проститутки из предместья, непристойными жестами завлекающей прохожего в западню и затем с садистской жестокостью повторяющей перед несчастным, пока его связывают и затыкают ему рот, сладострастные призывы, на которые он поддался. В этой роли Бушотта должна была показать и голос и мимику, и она была в полном восторге.

Акомпаниатор только что ушел. Князь Истар сел за рояль, и Бушотта снова принялась работать. Ее движения были бесстыдны и пленительны. На ней была только короткая юбка и сорочка, которая, соскользнув с правого плеча, открывала подмышку, тенистую и заросшую, как священный грот Аркадии; волосы ее выбивались во все стороны буйными темно-рыжими прядями, влажная кожа издавала запах фиалок и щелочи, от которого невольно раздувались ноздри и который опьянял даже ее самое. И внезапно, потеряв голову от аромата этой жаркой плоти, князь Истар поднялся с места и, ничего не сказав даже взглядом, схватил Бушотту в охапку и бросил ее на диванчик, на маленький диван в цветочках, который был приобретен Теофилом в одном известном магазине в рассрочку с выплатой по десяти франков ежемесячно в течение долгих лет. Керуб, словно каменная глыба, навалился на хрупкое тело Бушотты; дыхание его вырывалось шумно, как из кузнечного меха, его огромные руки кровесосными банками впились в ее тело. Если бы Истар привлек Бушотту в свои объятия хотя бы на минуту, но по взаимному согласию, — у нее не хватило бы сил отказать ему, ибо и сама она была в сильном смятении и возбуждении. Но Бушотта была самолюбива: неприступная гордость пробуждалась в ней при первой же угрозе оскорбления. Она готова была отдаваться, но не допускала, чтобы ее брали против

воли. Она легко уступала из любви, из любопытства, из жалости, даже и по менее значительным поводам, но скорее умерла бы, чем уступила силе. Растерянность ее тотчас же превратилась в ярость. Все ее существо возмутилось против насилия. Ногтями, словно заострившимися от бешенства, она исцарапала щеки и веки керуба и, задыхаясь под громадой его тела, так сильно напрягла бедра, так напружинила локти и колени, что отшвырнула этого быка с человеческой головой, ослепленного кровью и болью, прямо на рояль, который издал долгий жалобный стон, в то время как бомбы, вывалившиеся из карманов керуба, с грохотом покатались по полу. А Бушотта, растрепанная, с обнаженной грудью, прекрасная и грозная, кричала, потрясая кочергой над поверженным колоссом:

— Проваливай без разговоров, не то глаза тебе выколю!

Князь Истар отправился на кухню умыться и погрузил окровавленное лицо в миску, где мокла суасонская фасоль. Затем он удалился без гнева и обиды, ибо душа его была полна благородства.

Едва он вышел на улицу, как у двери раздался звонок. Бушотта тщетно звала отсутствующую служанку, затем надела халатик и пошла открывать сама. Весьма корректный и довольно красивый молодой человек вежливо поздоровался с нею, попросил извинения за то, что вынужден сам представиться, и назвал свое имя. Это был Морис д'Эспарвье.

Морис без усталости искал своего ангела-хранителя. Поддерживаемый надеждой отчаяния, он разыскивал его в самых необычайных местах. Он спрашивал о нем у колдунов, у магов, у кудесников, которые в зловонных лачугах открывают тайны грядущего и, будучи хозяевами всех сокровищ земли, ходят в протертых штанах и питаются колбасой. В этот день он побывал в одном из переулков Монмартра, у некоего жреца Сатаны, занимавшегося черной магией и ворожбой. А после этого отправился к Бушотте по поручению г-жи де ла Вердельер, которая собиралась устроить благотворительный вечер в пользу общества охраны деревенских церквей и хотела, чтобы на нем выступила Бу-

шотта, внезапно и неизвестно почему ставшая модной артисткой. Бушотта усадила посетителя на диван в цветочках. По просьбе Мориса, она села рядом с ним, и отпрыск благородного рода изложил певице просьбу графини де ла Вердельер. Графиня желала, чтобы Бушотта спела одну из тех апашских песен, которые так восхищают светских людей. К сожалению, г-жа де ла Вердельер могла предложить лишь весьма скромный гонорар, отнюдь не соответствующий дарованию артистки. Но ведь речь шла о благотворительности.

Бушотта согласилась участвовать в концерте и не возражала против урезанного гонорара с щедростью, обычной для бедняков по отношению к богачам и артистов по отношению к людям светского общества. Бушотта способна была на бескорыстие и сочувствовала делу охраны сельских церквей. Со слезами и рыданиями вспоминала она всегда день своего первого причастия и все еще хранила веру детских лет. Когда она проходила мимо церкви, ей хотелось зайти туда, особенно по вечерам. Поэтому она не любила республики, прилагавшей все старания к тому, чтобы уничтожить церковь и армию. Пробуждение национального чувства радовало ее сердце. Франция возрождалась, и в мюзик-холлах больше всего аплодировали песенкам о наших солдатах и сестрах милосердия. Морис тем временем вдыхал запах темно-рыжих волос Бушотты, острый и тонкий аромат ее тела, всех солей ее плоти, и в нем возникало желание. Он ощущал ее такой нежной, такой горячей, здесь рядом, на маленьком диванчике. Он стал превозносить ее дарование. Она спросила, что из ее репертуара ему больше всего нравится. Он понятия не имел о ее репертуаре, но сумел ответить так, что она осталась довольна: сама того не заметив, она под-сказала ему ответ. Тщеславная актриса говорила о своем таланте, о своих успехах так, как ей хотелось бы, чтобы о них говорили другие, и воз время, не умолкая, болтала о своих триумфах, с полным, впрочем, простодушием. Морис совершенно искренне расхваливал красоту Бушотты, изящество ее фигуры, свежесть лица.

Она сказала, что сохранила хороший цвет лица потому, что никогда не мажется. Что касается сложения, она признавала, что у нее все в меру и ничего лишнего, а в доказательство провела обеими руками по всем контурам своей прелестной фигуры, слегка приподнявшись, чтобы очертить изящные округлости, на которых она сидела. Мориса это крайне взволновало.

Наступали сумерки. Она предложила зажечь свет, но Морис попросил ее не делать этого. Беседа продолжалась, сперва веселая и шутливая, затем она стала более интимной, очень нежной и слегка томной. Бушотте казалось теперь, что она уже давно знает г-на Мориса д'Эспарвье, и, считая его вполне порядочным человеком, она разоткровенничалась. Она сказала ему, что родилась с задатками честной женщины, но мать ее была жадная и бессовестная. Морис вернул Бушотту к разговору о ее собственной красоте и искусной лестью раздул ее восхищение самой собой. Терпеливо и с расчетом, несмотря на разгоревшуюся в нем страсть, возбуждал он и поощрял в предмете своего желания стремление нравиться еще больше. Халатик распахнулся, соскользнул сам собою, и живой атлас плеч блеснул в таинственном вечернем полумраке. Морис оказался так осторожен, так ловок, так искусен, что она упала в его объятия пылающая и оьяненная, даже не заметив, что в сущности не успела еще дать согласие. Их дыхание и шепот слились воедино. И маленький диванчик замирал вместе с ними.

Когда они снова обрели способность выражать свои чувства в словах, она прошептала, прижимаясь к его груди, что кожа у него, пожалуй, нежнее, чем у нее самой.

А он, не выпуская ее из объятий, сказал:

— Как приятно прижимать тебя так. Можно подумать, что у тебя совсем нет костей.

Она ответила, закрыв глаза:

— Это потому, что я тебя полюбила. От любви кости у меня словно тают, я становлюсь совсем мягкой и растворяюсь, как телячьи ножки в желе.

Не успела она договорить, как вошел Теофиль, и Бушотта велела ему поблагодарить г-на Мориса д'Эспа-

рвье, который так любезно передал ей лестное предложение графини де ла Вердельер.

Музыкант был счастлив, что обрел домашний мир и тишину после целого дня напрасных хлопот, нудных уроков, неудач и унижений. Ему навязывали трех новых соавторов, которые поставят свои имена под его опереттой и будут пользоваться авторскими правами наравне с ним. От него требовали также, чтобы он ввел танго при голкондском дворе. Он пожал руку молодому д'Эспарвье и в изнеможении опустился на маленький диванчик, который на этот раз не выдержал — все четыре ножки его подломились, и он внезапно рухнул. И ангел, в ужасе полетев на пол, свалился на часы, зажималку и портсигар, выскользнувшие из карманов Мориса, и на бомбы, принесенные князем Истаром.

Глава двадцать четвертая,
*повествующая о злключениях, которые пришлось
испытать «Лукрецию» приора Вандомского*

Леже-Массье, преемник Леже-старшего, переплетчик с улицы Аббатства, чья мастерская помещалась напротив старинного обиталища аббатов Сен-Жермен-де-Пре, в районе, кишевшем детскими садами и учеными обществами, держал немногих, но зато превосходных мастеров и довольно медленно выполнял заказы своих старых клиентов, приученных к терпению. Прошло шесть недель с того дня, как он принял партию книг, присланных Сарьеттом, а они еще не были пущены в работу. Лишь по истечении пятидесяти трех дней, поверив книги по списку, составленному Сарьеттом, переплетчик роздал их своим рабочим. Так как маленького «Лукреция» с гербом приора Вандомского в этом списке не было, решили, что он принадлежит другому заказчику. А ввиду того, что книжка эта вообще не упоминалась ни в одном из полученных перечней, она так и осталась лежать в шкафу, откуда сын Леже-Массье, юный Эрнест, в один прекрасный день поти-

хоньку извлек ее и положил себе в карман. Эрнест был влюблен в жившую по соседству белошвейку по имени Роза. А Роза любила природу, ей нравилось слушать щебетание птиц в рощах. В поисках средств для того, чтобы угостить ее воскресным обедом в Шату, Эрнест за десять франков спустил «Лукреция» дядюшке Моранже, старьевщику с улицы Сент, который не проявлял излишнего любопытства насчет происхождения приобретаемых им вещей. Дядюшка Моранже в тот же день уступил книгу за шестьдесят франков г-ну Пуссару, книгопродавцу без вывески в Сен-Жерменском предместье. Последний стер с титульного листа штамп, указывающий, кому принадлежит этот единственный в своем роде экземпляр, и продал его за пятьсот франков г-ну Жозефу Мейеру, хорошо известному знатоку, который тут же уступил его за три тысячи франков г-ну Ардону, книгопродавцу, а тот сейчас же предложил эту книгу парижскому библиофилу г-ну Р..., который заплатил за нее шесть тысяч и через две недели перепродал с приличным барышом графине де Горс. Дама эта, известная в парижском высшем обществе, была, как говорили в XVII веке, любопытна до картин, книг и фарфора. В ее особняке на улице Иены хранятся коллекции предметов искусства, свидетельствующие о разнородных ее познаниях и отличном вкусе. В июле графиня де Горс уехала в свое нормандское поместье Сарвиль, и в ее опустевший особняк на улице Иены как-то ночью проник вор, явно принадлежавший к банде «коллекционеров», которая занимается специально кражей предметов искусства.

Согласно заключению полицейских властей злоумышленник взобрался по водосточной трубе на второй этаж, прыгнул на балкон и клещами открыл ставень, затем разбил стекло, поднял шпингалет и проник в большую галерею. Там, взломав ряд шкафов, он взял приглянувшиеся ему предметы, преимущественно мелкие и ценные — золотые коробочки, несколько вещей из слоновой кости XIV столетия, два роскошных манускрипта XV столетия и одну книгу, которую секретарь графини кратко обозначил как «сафьян с гербом», — это и был «Лукреций» из библиотеки д'Эспарвье.

Преступника, — как подозревали, повара англичанина, — разыскать не удалось. Но месяца через два после кражи какой-то элегантный, гладко выбритый молодой человек, проходя в сумерки по улице Курсель, заглянул к папаше Гинардону и предложил ему «Лукреция» приора Вандомского. Антиквар заплатил ему сто су, рассмотрел книгу и, убедившись, что экземпляр этот редкий и красивый, спрятал ее в комод фиалкового дерева, где держал самые ценные вещи.

Таковы были злоключения, которые в течение одного лета претерпела эта прелестная книжка.

Глава двадцать пятая,
в которой Морис находит свою ангела

Представление кончилось, и Бушотта снимала грим у себя в уборной. Ее пожилой покровитель г-н Сандрак вошел потихоньку, а за ним проникла целая толпа поклонников. Не оборачиваясь, Бушотта спросила, что им здесь надо, чего они все уставились на нее, как дураки, и не воображают ли они, будто находятся на ярмарке в Нельи, в балагане, где показывают разные диковинки: «Милостивые государины и милостивые государи, опустите десять сантимов в копилку на приданое этой барышне, и вы можете пощупать ее икры: чистый мрамор!»

И, окинув кучку посетителей гневным взглядом, Бушотта крикнула:

— Ну, живо, проваливайте!

Она выставила всех, даже друга сердца Теофиля, который находился тут же, бледный, растрепанный, кроткий, грустный, близорукий, рассеянный. Но, увидев своего милого Мориса, она улыбнулась. Он подошел к ней, склонился над спинкой ее стула, расхвалил ее игру и голос, заключая каждый комплимент звучным поцелуем. Но этого ей было мало, она возобновляла все те же вопросы, настаивала, притворялась, что не верит, и вынуждала его по два, по три, по четыре раза повторять все те же слова восхищения, а когда

он замолкал, казалась такой огорченной, что ему приходилось начинать все сызнова. Он не был знатоком в театральном искусстве, и комплименты давались ему нелегко. Но зато он испытывал удовольствие, любуясь ее круглыми полными плечами, позлащенными отблеском света, и глядя на отражение его хорошенького личика в туалетном зеркале.

— Вы были очаровательны.

— Правда?.. Вы не шутите?

— Пленительны, божест...

Внезапно он громко вскрикнул. Перед его глазами возникла в зеркале знакомая фигура, появившаяся в глубине уборной. Он круто повернулся, с распростертыми объятиями бросился к Аркадию и увлек его в коридор.

— Ну, и нравы! — вскричала ошеломленная Бушотта.

Но молодой д'Эспарвье уже тащил своего ангела к выходу мимо труппы дрессированных собачек и семейства американских акробатов.

Они очутились в прохладной тени бульвара.

— Вот и вы, вот и вы! — повторял Морис, обезумев от радости и все еще не веря своему счастью. — Я вас так долго искал, Аркадий, Абдиил, — как вам больше нравится, — и наконец-то нашел! Аркадий, вы отняли у меня моего ангела-хранителя, верните же мне его, Аркадий, вы меня не разлюбили?

Аркадий ответил, что ради осуществления сверхангельского замысла, которому он себя посвятил, ему пришлось попать дружбу, жалость, любовь и все чувства, размягчающие душу, но что, с другой стороны, будучи подвержен в своем новом положении страданиям и лишениям, он склонен к человеческой нежности и по инерции испытывает дружеское расположение к своему бедному Морису.

— Ну что же, — вскричал Морис, — раз вы меня все-таки любите, вернитесь ко мне, останьтесь со мной. Я не могу без вас обойтись. Пока вы были подле меня, я не замечал вашего присутствия. Но как только вы ушли, я ощутил ужасную пустоту. Без вас я словно тело без души. Поверите ли, в моей квартирке на ули-

це Рима, подле Жильберты, я чувствую себя одиноким скучаю по вас, хочу вас видеть и слышать, как в тот день, когда вы привели меня в такую ярость... Согласитесь, что я был прав и что вы вели себя не так, как подобает человеку из хорошего общества. Как подумаешь, так просто не верится, что вы, вы, существо столь высокого происхождения, столь благородной души, могли совершить такой неприличный поступок. Госпожа дез Обель до сих пор не простила вас. Она сердится на вас за то, что вы напугали ее, появившись так некстати, и за то, что вели себя так дерзко, нескромно, когда застегивали ей платье и шнуровали ботинки. А я все забыл. Я помню только, что вы мой небесный брат, святой спутник моих детских лет. Нет, Аркадий, вы не должны, не можете расстаться со мною. Вы мой ангел, вы мне принадлежите.

Аркадий стал убеждать молодого д'Эспарвье, что уже не может быть ангелом-хранителем христианина, ибо сам устремился в бездну. И он изобразил себя страшилищем, полным ненависти и злобы, словом — адским духом.

— Ерунда, — сказал Морис, улыбаясь и глядя на него полными слез глазами.

— Увы, милый Морис, все разъединяет нас — наши судьбы, наши взгляды. Но я не могу убить в себе нежное чувство к вам и люблю вас за ваше простодушие.

— Нет! — вздохнул Морис. — Вы меня не любите. И никогда не любили. Со стороны брата или сестры это равнодушие было бы естественно, со стороны друга — это была бы самая обычная вещь. Но со стороны ангела-хранителя это чудовищно. Аркадий, вы гнусное существо. Я вас ненавижу.

— Я вас горячо любил, Морис, и все еще люблю. Вы смущаете мое сердце, а я считал, что оно укрыто тройной броней; вы показали мне, насколько я слаб. Когда вы были невинным мальчуганом, я любил вас такой же нежной и гораздо более чистой любовью, чем ваша английская бонна мисс Кэт, которая целовала вас с отвратительным вождением. В деревне, в то время года, когда тонкая кора платанов начинает

сходить длинными полосами, обнажая нежно-зеленый ствол, после дождей, покрывающих скаты дорог тонким песком, я учил вас строить из этого песка, из полосок коры, полевых цветов и стеблей папоротника деревенские мостики, хижины дикарей, недолговечные террасы и садики Адониса. В мае месяце, в Париже, мы воздвигали алтарь пресвятой деве и жгли на нем ладан, запах которого, распространяясь по всему дому, напоминал кухарке Марселине церковь в родной деревне, утраченную девственность, и она проливала обильные слезы, а у вашей матушки, изнемогавшей посреди роскоши от обычного недуга всех богачей — скуки, началась головная боль. Когда вы поступили в коллеж, я следил за вашими успехами, разделял ваши труды и забавы, решал вместе с вами сложные арифметические задачи, старался проникнуть в смысл какой-нибудь трудной фразы из Юлия Цезаря. Сколько раз мы вместе играли в мяч и бегали взапуски! Не раз познавали мы опьянение победой, и наши юные лавры не были орошены ни слезами, ни кровью. Морис, я сделал все возможное, чтобы охранить вашу невинность, но мне не удалось воспрепятствовать вам потерять ее в возрасте четырнадцати лет в объятиях горничной вашей матушки. Затем я с огорчением наблюдал, как вы любили женщин самого разнообразного общественного положения, различных возрастов и отнюдь не всегда прекрасных, по крайней мере на взгляд ангела. Опечаленный этим зрелищем, я стал увлекаться наукой. Богатейшая библиотека вашего дома предоставляла мне такие возможности, какие редко где встретишь, Я углубился в изучение истории религий. Остальное вам известно.

— Но теперь, дорогой Аркадий, — сделал вывод молодой д'Эспарвье, — у вас нет ни положения в обществе, ни должности, ни средств к существованию. Вы деклассированный субъект, вы, попросту говоря, бродяга и нищий.

На это ангел не без ехидства возразил, что сейчас он, во всяком случае, одет немного лучше, чем тогда, когда ему пришлось облечься в отрепья самоубийцы.

В свое оправдание Морис заметил, что он одел своего обнаженного ангела в отрепья самоубийцы потому, что был тогда раздражен против этого ангела-изменника. Но зачем вспоминать старое и упрекать друг друга? Сейчас надо прежде всего подумать о том, как быть дальше.

— Аркадий, чем вы намерены заняться?

— Да ведь я уже говорил вам, Морис! Начать борьбу с тем, кто царит в небесах, свергнуть его и посадить на его место Сатану.

— Вы этого не сделаете. Во-первых, момент сейчас неподходящий. Общественное мнение против вас. Вы, как говорит папаша, «не идете в ногу с веком». Теперь все — консерваторы, все — за твердую власть. Люди хотят, чтобы ими управляли, и президент республики ведет переговоры с папой римским*. Не упрячьтесь, Аркадий, вы не такой дурной, каким себя изображаете. В глубине души вы такой же, как все, и любите господа бога.

— Я ведь уже разъяснял вам, милый Морис, что тот, кого вы считаете богом, на самом деле только демиург. Он даже и понятия не имеет о божественном мире, который выше его, и искренне считает себя единым истинным богом. В «Истории церкви» монсеньера Дюшена, том первый, страница сто шестьдесят вторая, вы прочтете, что настоящее имя этого тщеславного и ограниченного демиурга Иалдаваоф. И, может быть, знаменитому историку церкви вы поверите больше, чем своему ангелу. Но теперь мне пора уходить, прощайте!

— Останьтесь!

— Не могу.

— Я не отпущу вас так. Вы лишили меня ангела-хранителя. И вы обязаны возместить мне такой ущерб. Дайте мне другого ангела!

Аркадий возразил, что он не имеет никакой возможности удовлетворить это требование. Он порвал все отношения с владыкой, наделяющим людей духами-хранителями, и тут ему ничего не удастся добиться.

— Итак, дорогой Морис, — добавил он с улыбкой, — придется вам самому просить себе ангела у Иалдаваофа.

— Нет, нет, нет! — вскричал Морис. — Никакого Иалдаваофа не существует! Вы отняли у меня ангела-хранителя, так верните его мне.

— Увы, не могу!

— Не можете, Аркадий, потому что вы бунтовщик?

— Да.

— Враг бога?

— Да.

— Сатанинский дух?

— Да.

— Хорошо! — вскричал юный Морис. — Тогда я буду вашим ангелом-хранителем. Отныне я вас не покину.

— Морис д'Эспарвье повел Аркадия в ресторан ест устрицы.

Глава двадцать шестая

Совещание

Наступил день, когда мятежные ангелы, созванные Аркадием и Зитой на совещание, собрались на берегу Сены в Жоншере, в заброшенном и обветшалом театральном зале, который был снят князем Истаром у трактирщика по имени Баратан. Триста ангелов теснились на скамьях и в ложах. На сцене, где висели лохмотья декорации, изображавшей сельскую местность, поставлены были стол, кресло и несколько стульев. Стены, на которых темперой намалеваны были цветы и плоды, отсырели, потрескались, и штукатурка вместе со всей живописью обвалилась кусками. Но жалкое убожество этого места только подчеркивало величие бушевавших в нем страстей. Когда князь Истар обратился к собранию с предложением избрать комитет и прежде всего назначить почетного председателя, каждому тотчас же пришло на ум одно имя, звучащее во всем мире. Но благоговейное почтение сомкнуло все уста.

И после минутного молчания единогласно избран был отсутствующий Нектарий. Аркадию предложили занять место в кресле между Зитой и одним японским ангелом, и он тотчас же взял слово:

— Сыны неба! Сотоварищи! Вы освободились от небесного рабства; вы сбросили иго того, кто именуется Ягве, но кого мы здесь должны назвать его настоящим именем Иалдаваофа, ибо он не создатель миров, а всего-навсего невежественный и грубый демиург, который завладел ничтожной частицей вселенной и посеял на ней страдание и смерть. Сыны неба! Я ставлю перед вами вопрос: хотите ли вы бороться с Иалдаваофом и уничтожить его?

Прозвучал дружный ответ, в котором слились все голоса:

— Да, хотим!

И многие из присутствующих, перебивая друг друга, уже клялись взять приступом гору Иалдаваофа, сокрушить стены из яшмы и порфира и повергнуть небесного тирана во мрак вечной ночи.

Но тут чей-то кристально чистый голос прорвался сквозь мрачный гул:

— Нечестивцы, святотатцы, безумцы, трепещите! Господь уже простер над вами карающую десницу!

Это был ангел, не изменивший богу. В порыве любви и веры, ревнуя к славе исповедников и мучеников, стремясь, подобно господину, которому служил, сравняться с человеком в красоте самопожертвования, он проник в толпу богохульников, чтобы бросить им вызов, обличить их и пасть под их ударами.

Единодушный гнев собрания тотчас же обратился против него. Стоявшие рядом набросились на него с побоями.

А он повторял ясным и звонким голосом:

— Хвала богу! Хвала богу! Хвала богу!

Один из мятежников схватил ангела за ворот и задушил в его горле хваления богу. Его повалили на пол, затоптали ногами.

Князь Истар подобрал его, взял двумя пальцами за крылья, затем, выпрямившись, словно столб дыма, открыл форточку, до которой никто другой не дотянулся

бы, и выбросил в нее верного ангела. Тотчас же восстановился порядок.

— Братья, — продолжал Аркадий, — теперь, когда мы подтвердили свое решение, нам следует изыскать способы действия и выбрать из них наилучшие. Поэтому вам придется обсудить вопрос — должны ли мы напасть на врага вооруженной силой, или же будет лучше, если мы поведем длительную и энергичную пропаганду и этим привлечем на свою сторону население небес.

— Война! Война! — раздался единодушный возглас.

И казалось, уже слышатся звуки труб и бой барабанов. Теофиль, которого князь Истар насильно пригласил на это собрание, поднялся, бледный, растерянный, и дрожащим от волнения голосом произнес:

— Братья мои, не поймите дурно моих слов. Их внушает мне дружеское чувство ко всем вам. Я только бедный музыкант. Но поверьте мне: замыслы ваши снова разобьются о божественную мудрость, которая все предвидит.

Теофиль Белэ сел под шиканье собравшихся. И Аркадий продолжал:

— Иалдаваоф все предвидит, — не стану этого отрицать. Он все предвидит. Но, чтобы оставить нам свободу воли, он поступает в отношении нас так, как если бы ничего не предвидел. Он поминутно бывает удивлен, растерян. Даже самые вероятные события застают его врасплох. Он сам взял на себя обязательство согласовать свое предвидение со свободой воли людей и ангелов, и это постоянно причиняет ему ужасные затруднения и ставит его в безвыходное положение. Он никогда не видит дальше своего носа. Он не ожидал ослушания со стороны Адама и настолько не был подготовлен к злонаправлению людей, что раскаялся в их создании и утопил весь род человеческий в водах всемирного потопа вместе с ни в чем не повинными животными. По слепоте его можно сравнить только с королем Карлом Десятым, его любимцем. Если мы будем мало-мальски осторожны, его легко будет провести. Думаю, что соображения эти успокоят моего брата.

Теофиль не отвечал. Он любил бога, но боялся разделить участь верного ангела.

Одного из наиболее ученых духов, участвовавших в собрании, Маммону, не вполне удовлетворили рассуждения брата Аркадия.

— Вот о чем надо бы подумать, — оказал этот дух. — Иалдаваоф невысоко стоит в смысле умственного развития, но это солдат до мозга костей. Организация рая — чисто военная, основанная на иерархии и дисциплине. Беспрекословное повиновение является там непоколебимым законом. Ангелы представляют собою настоящее войско. Сравните райскую обитель с Елисейскими полями, как изображает их Вергилий. В Елисейских полях царят свобода, разум, мудрость; блаженные тени беседуют между собой в миртовых рощах. На небе Иалдаваофа совершенно отсутствует гражданское население; все мобилизованы, занумерованы, внесены в списки. Это казарма и учебный плац. Подумайте-ка об этом.

Аркадий возразил, что противника надо знать по настоящему и что военная организация рая гораздо больше напоминает деревушки короля Глегла *, чем Пруссию Фридриха Великого.

— Уже во время первого восстания, до начала времен, битва продолжалась два дня, и престол Иалдаваофа поколебался. Правда, демиург победил. Но чему он обязан своей победой? Тому, что во время битвы случайно разразилась гроза. Молния, упав на Люцифера и его ангелов, повергла их, обугленных и разбитых, Иалдаваоф обязан своей победой молнии. Молния — его единственное оружие. И он им злоупотребляет. Законы свои он провозгласил среди блеска молнии и раскатов грома. «Пламя шествует перед ним», — сказал пророк. Между тем философ Сенека отметил, что молния, падая на землю, приносит гибель немногим, но всех повергает в страх. Это было правильно по отношению к людям первого века христианской эры, но неверно в отношении ангелов двадцатого века. Что демиург, несмотря на все свои громы, не слишком силен, доказывает тот безумный страх, который овладел им, когда люди начали строить башню * из необожженного

кирпича и горной смолы. А если мириады небесных духов, снабженные орудиями, какие может предоставить в их распоряжение современная наука, начнут штурмовать небо, неужели вы думаете, что старый владыка солнечной системы, со своими ангелами, вооруженными, как во времена Авраама, будет в силах долго сопротивляться? Воины демиурга еще и сейчас носят золотые шлемы и алмазные щиты. Михаил, его лучший полководец, не знает иной тактики, кроме поединков. Он по-прежнему пользуется колесницами фараонов и понятия не имеет даже о македонской фаланге.

И юный Аркадий еще долго проводил параллель между вооруженным стадом Иалдаваофа и сознательными воинами революции. Затем перешли к обсуждению финансовых вопросов.

Зита заявила, что для начала денег хватит, что электрофоры уже заказаны и что первая же победа откроет возможность получить кредит.

Горячие и беспорядочные прения продолжались долго. В этом парламенте ангелов, как и на совещаниях людей, праздные слова лились в изобилии. По мере того как дело подходило к голосованию, расхождения, все более резкие, возникали все чаще. Никаких споров не вызвало решение о передаче верховного командования тому, кто первый поднял знамя восстания. Но всем хотелось быть ближайшими помощниками Люцифера, и поэтому, рисуя тот тип военачальника, которому следовало отдать предпочтение, каждый из выступавших изображал себя самого. Так, например, Алькор, самый юный из восставших ангелов, поспешил сказать следующее:

— На наше счастье, в армии Иалдаваофа высшие командные должности раздаются по старшинству. Ввиду этого мало шансов, чтобы верховное командование вручено было настоящим большим военачальникам. Не длительным послушанием можно воспитать способность к командованию, и не мелочная практика учит руководству большим делом. И древняя и новая история показывают нам, что величайшими полководцами были либо монархи, вроде Александра и Фридриха Второго, либо аристократы, как Цезарь или Тюренн,

либо плохие офицеры, каким был Бонапарт. Профессионал же всегда окажется ничтожеством или посредственностью. Товарищи, выберем себе вождей одаренных и во цвете лет. Старик может сохранять привычку к победам, но, чтобы приобрести ее, нужна молодость.

Алькора сменил на трибуне склонный к философствованию серафим.

— Война, — сказал он, — никогда не была точной наукой или определенным искусством. Тем не менее в ней проявлялся гений народа или замысел одного человека. Но как определить качества, которые понадобятся главнокомандующему в будущей войне, когда придется иметь дело с такими грандиозными массами и сложными движениями, каких не может охватить ум одного человека? Все возрастающее обилие технических средств истребления, умножая до бесконечности причины возможных ошибок, парализует гений вождей. На известном уровне военного развития, которого почти достигли наши учителя — европейцы, и самый умный полководец и самый невежественный становятся равно бессильными. Другим результатом современных гигантских вооружений является то, что закон больших чисел начинает действовать здесь с непреклонной силой. В самом деле, можно с уверенностью сказать, что десять мятежных ангелов стоят больше десяти ангелов Иалдаваофа. Но мы не можем быть уверены в том, что миллион мятежных ангелов стоит больше миллиона ангелов Иалдаваофа. Большие числа в военном деле, как и повсюду, сводят к нулю ум и всякое личное превосходство в пользу того, что может быть названо коллективной душой, весьма примитивной по своим свойствам.

Шум разговоров покрыл голос ангела-философа; когда он заканчивал свою речь, его уже никто не слушал.

Затем трибуна огласилась призывами к оружию и клятвами одержать победу. Раздавались хвалы мечу, защищающему правое дело, и десятки раз под рукоплескания иступленной толпы заранее прославлялось торжество восставших ангелов. Крики: «Да здравствует война!» — возносились к немym небесам.

В разгар возбуждения князь Истар взобрался на эстраду, и подмостки застонали под его тяжестью.

— Товарищи, — сказал он, — вы жаждете победы, и желание ваше вполне естественно. Но ясно, что вы отравлены литературой и поэзией, если надеетесь добиться победы, объявив войну. Мысль затеять войну может теперь прийти в голову только отупевшим буржуа или же запоздалым романтикам. Что такое война? Нелепый маскарад, перед которым изливаются в глупейших восторгах гитаристы-патриоты. Если бы Наполеон обладал практическим умом, он не стал бы воевать, но это был мечтатель, опьяненный Оссианом *. Вы кричите: «Да здравствует война!» Вы фантазеры! Когда же вы станете умственно развитыми существами? Существа умственно развитые не добиваются могущества и силы посредством пустых выдумок, из которых состоит военное искусство, — то есть тактики, стратегии, фортификации, артиллерии и прочего вздора. Они не верят в войну, ибо это просто фантазия. Они верят в химию, потому что это наука. Они овладели искусством заключать победу в алгебраическую формулу.

Вытащив из кармана бутылочку, князь Истар показал ее собравшимся и воскликнул с торжествующей улыбкой:

— Вот она, победа!

Глава двадцать седьмая,

где раскрывается тайная и глубокая причина, весьма часто толкающая одно государство против другого и ведущая к разорению как победителей, так и побежденных, и где мудрый читатель (если таковой найдется, в чем я сомневаюсь) призадумается над метким изречением: «Война — это афера»

Ангелы разошлись. Сидя в траве у подножия Медонских холмов, Аркадий и Зита смотрели на текущую между ивами Сену.

— На этом свете, — сказал Аркадий, — на этом свете, как принято говорить, хотя в нем гораздо больше

несусветного, чем светлого, ни одно мыслящее существо не вообразит себе, что оно способно уничтожить хотя бы один атом. Самое большее, на что мы можем рассчитывать, — это изменить кое-где движение отдельных групп атомов или же расположение отдельных клеточек. И, если вдуматься, то к этому сводится все наше великое предприятие. Даже посадив Духа Противоречия на место Иалдаваофа, мы не достигнем большего. Скажите, Зита, в чем же зло — в природе вещей или в их устройстве? Вот что следовало бы знать. Зита, я в полном смятении.

— Друг мой, — ответила Зита, — если бы для того, чтобы действовать, надо было познать тайну природы, никто никогда бы не действовал. И никто не жил бы, ибо жить — значит действовать. Неужели, Аркадий, решимость уже изменила вам?

Аркадий стал уверять прекрасную архангелицу, что его намерение низвергнуть демиурга во мрак вечной ночи непреклонно.

По дороге в облаке пыли ехал автомобиль. Он остановился перед двумя ангелами, из дверцы высунулся крючковатый нос барона Эвердингена.

— Здравствуйте, небесные друзья, добрый день! — сказал капиталист, сын неба. — Очень рад встретиться с вами. Я должен дать вам полезный совет. Не будьте инертны, не мешкайте, вооружайтесь, вооружайтесь! Не то Иалдаваоф опередит вас. У вас имеется военный фонд, — расходуйте его не считая. Только что я узнал, что архангел Михаил сделал на небе крупные заказы на молнии и громовые стрелы. Послушайте меня, приобретите еще пятьдесят тысяч электрофоров. Я принимаю заказ. До свидания, ангелы! Да здравствует небесная родина!

И барон Эвердинген умчался к цветущим берегам Лувесена в сопровождении хорошенькой актрисы.

— Правда ли, что демиург вооружается? — спросил Аркадий.

— Возможно, — ответила Зита, — что там, наверху, другой барон Эвердинген хлопочет о вооружениях.

Некоторое время ангел-хранитель юного Мориса задумчиво молчал, затем он прошептал:

— Неужели мы игрушки в руках финансистов?

— Ах, не все ли равно! — воскликнула прекрасная архангелица. — Война — это афера. И всегда была аферой!

Затем они долго обсуждали, какими способами лучше осуществить их грандиозное предприятие. С презрением отвергнув анархические приемы князя Истара, они задумали силами своих отлично обученных и полных энтузиазма отрядов предпринять внезапное и грозное вторжение в царство небесное.

Между тем оказалось, что Баратан, жонглерский трактирщик, сдавший мятежным ангелам театральный зал, был агентом полиции. В своем донесении префектуре он указал на участников этого тайного собрания как на заговорщиков, подготовляющих покушение на некое лицо, которое они изображали весьма тупым и жестоким и называли «Алабалотом». Агент высказывал предположение, что под этим псевдонимом подразумевался либо президент республики, либо сама республика. Все заговорщики единодушно произносили угрозы по адресу «Алабалота», а один из них, называющий себя князем Истаром, или «Кверубом», человек очень опасный, хорошо известный в анархистских кругах и неоднократно судившийся за свои мятежные писания и речи, потрясал бомбой очень небольшого калибра, но, по-видимому, чрезвычайно мощной. Остальные заговорщики не были известны Баратану, хотя он и вращался среди революционеров. Многие из них были очень молоды, совсем безбородые юнцы. Он специально проследил за двумя произносившими особенно зажигательные речи, — за неким Аркадием, проживающим по улице св. Иакова, и женщиной, по имени Зита, особой своеобразных нравов, проживающей на Монмартре. Оба они не имеют определенных средств к существованию.

Префекту полиции дело это показалось настолько серьезным, что он решил прежде всего снести с председателем совета министров.

Это был как раз один из тех климактерических периодов в истории Третьей республики; когда французский народ, исполненный любви к твердой власти и преклонения перед силой, считал, что он погибнет, если им не будет управлять более энергично, и громкими криками призывал спасителя. Председатель совета министров, занимавший пост министра юстиции, не желал ничего лучшего, как явиться этим вождленным спасителем. Но для того, чтобы стать им, надо было обнаружить какую-нибудь опасность и предотвратить ее. Поэтому известие о заговоре было ему в высшей степени приятно. Он расспросил префекта полиции о характере дела и степени его серьезности. Префект полиции доложил, что заговорщики, по-видимому, обладают средствами, умом и энергией, но они слишком много болтают и вообще слишком многочисленны, чтобы действовать тайно и согласно. Откинувшись на спинку кресла, министр стал размышлять. Письменный стол в стиле ампир, за которым он сидел, стены, затянутые старинными гобеленами, большие часы и канделябры эпохи Реставрации — все в этом традиционном кабинете, казалось, внушало ему великие принципы управления государством, остающиеся неизменными при любой перемене режима, — хитрость и смелость. После краткого раздумья он решил, что следует дать заговору разрастись и принять более четкие формы, что, пожалуй, полезно даже поддержать его, раздуть, приукрасить — и задушить лишь после того, как из него будет извлечена максимальная выгода.

Он велел префекту полиции внимательно следить за этим делом и каждый день представлять подробный отчет о ходе событий, ограничиваясь ролью информатора.

— Полагаюсь на ваше всем известное благоразумие: наблюдайте, но не вмешивайтесь.

И министр закурил папиросу. С помощью этого заговора он рассчитывал ослабить оппозицию, упрочить свою власть, опередить коллег, посрамить президента республики и стать долгожданным спасителем.

Префект полиции обещал следовать во всем указаниям министра, но про себя решил действовать по

своему усмотрению. Он устроил слежку за лицами, названными Баратаном, и велел агентам ни под каким видом не вмешиваться. Заметив, что за ним следят, князь Истар, у которого сила сочеталась с осторожностью, вынул из водосточной трубы скрытые там бомбы и, перепрыгивая с автобуса в метро и из метро опять в автобус, ловкими обходными маневрами пробрался к ангелу-музыканту и спрятал у него свои смертоносные снаряды.

Аркадий, выходя из своего дома на улице св. Иакова, неизменно встречал у дверей какого-то преувеличенно элегантного господина в желтых перчатках и с бриллиантом в галстук, более крупным, чем «Регент» *. Чуждый земным делам, мятежный ангел не придавал этой встрече никакого значения. Но юный Морис д'Эспарвье, взявший на себя обязанность охранять своего ангела-хранителя, с беспокойством смотрел на этого джентльмена, не менее упорного и еще более бдительного, чем г-н Миньон, который в свое время озирали испытующим взглядом улицу Гарансьер — от бараньих голов, украшавших особняк де ла Сордьер, до абсиды церкви св. Сульпиция. Два или три раза в день Морис заходил к Аркадию в меблированные комнаты, предупреждал об опасности и торопил переменить квартиру.

Каждый вечер он водил своего ангела в ночные кабачки, где они ужинали с девицами. Там юный д'Эспарвье делился своими прогнозами относительно исхода предстоящего состязания боксеров, затем силился доказать Аркадию бытие бога, необходимость религии и красоту христианской веры, заклиная его отказаться от нечестивых и преступных замыслов, которые не принесут ему ничего, кроме самого горького разочарования.

— Ибо в конце-то концов, — говорил юный апологет, — если бы христианство было ложно, все бы уже давно знали об этом.

Девицы одобряли религиозные чувства Мориса, и когда прекрасный Аркадий высказывал какие-нибудь богохульные мысли на понятном им языке, они затыкали уши и требовали, чтобы он замолчал, из страха,

как бы гнев божий не поразил их вместе с Аркадием. Ибо они полагали, что бог, всемогущий и всеблагий, молниеносно карая за оскорбление, способен безо всякого дурного умысла обрушить громы свои на невинного наравне с грешником.

Иногда ангел в сопровождении своего хранителя отправлялся ужинать к ангелу-музыканту. Морис, время от времени вспоминая, что он любовник Бушотты, с неудовольствием наблюдал крайне вольное обхождение Аркадия с танцовщицей. Бушотта разрешала Аркадию эти вольности с тех пор, как они соединились на маленьком диване в цветочках, едва только ангел-музыкант починил его. Морис, очень любивший г-жу дез Обель, слегка любил и Бушотту и немного ревновал ее к Аркадию. А ревность — чувство, естественное и для людей и для животных, даже будучи легкой, причиняет им жгучую боль. Поэтому, угадывая истину, что было нетрудно, если принять во внимание темперамент Бушотты и характер ангела, Морис осыпал Аркадия насмешками и упреками и уличал его в безнравственности. Аркадий спокойно возражал, что физиологические потребности трудно подчинить строго определенным правилам и что моралисты всегда наталкивались на большие затруднения в вопросе о некоторых видах внутренней секреции.

— Кстати, — сказал Аркадий, — я охотно признаю, что построить систему естественной морали почти невозможно. Природа не знает нравственных принципов. Она не дает нам никаких оснований считать, что человеческая жизнь достойна уважения. Равнодушная природа не делает разницы между добром и злом.

— Вы сами видите, — ответил на это Морис, — что религия необходима.

— Заповеди морали, данные людям якобы путем откровения, на самом деле основаны на грубейшем эмпиризме. Нравами управляет только обычай. То, что предписывает небо, есть лишь освящение старых привычек. Божественный закон, возвещенный среди фейерверков на каком-нибудь Синае, представляет собою только официальный свод человеческих предрассудков. А так как нравы меняются, то и долго существующие

религии, вроде иудео-христианства, меняют свою мораль.

— Ну, хорошо, — сказал Морис, чье умственное развитие заметно продвинулось вперед, — должны же вы согласиться, что религия предохраняет от распушенности и преступлений?

— Кроме тех случаев, когда она подстрекает к ним, как, например, к убийству Ифигении.

— Аркадий, — вскричал Морис, — слушая ваши рассуждения, я просто радуюсь, что я не ученый человек.

Теофиль тем временем сидел, склонясь над роялем, и лица его не было видно под завесой белокурых волос. Высоко поднимая над клавишами свои вдохновенные руки, он разыгрывал и пел подряд все партии из своей «Алины, королевы Голконды».

Князь Истар приходил на эти дружеские собрания с карманами, набитыми бомбами и бутылками шампанского, — тем и другим он обязан был щедрости барона Эвердингена. Бушотта с удовольствием встречала керуба, с тех пор как он стал в ее глазах свидетелем и вместе с тем трофеем победы, одержанной ею на маленьком диване в цветочках. Он был для нее тем, чем была голова Голиафа в руке юного Давида *. Кроме того, ее восхищало в князе искусство аккомпаниатора, сила, которую она одолела, и изумительная способность пить.

Однажды ночью молодой д'Эспарвье провожал ангела в автомобиле от Бушотты в меблированные комнаты на улице св. Иакова. Небо было совсем черное; у дверей бриллиант сыщика сиял, как маяк. Три велосипедиста, собравшиеся под его лучами, исчезли в различных направлениях, как только показался автомобиль. Ангел не обратил на это никакого внимания, но Морис понял, что каждый шаг Аркадия интересует разных влиятельных государственных лиц. Отсюда он заключил, что опасность стала вполне реальной, и тотчас же принял решение.

На следующее же утро он явился к своему поднадзорному, чтобы отвезти его на улицу Рима. Ангел еще лежал в постели. Морис потребовал, чтобы он поскорее оделся и поехал вместе с ним.

— Едемте, — сказал он. — В этом доме вы уже не можете считать себя в безопасности. За вами следят. Рано или поздно вас заберут. Хотите жить в тюрьме? Нет? Так поедemте. Я отвезу вас в надежное место.

Дух с легкой жалостью улыбнулся своему наивному спасителю.

— Разве вы не знаете, — сказал он, — что ангел разбил двери темницы, куда был брошен Петр, и освободил апостола? Или вы думаете, юный Морис, что я слабее своего небесного собрата и не сумею сделать для себя то, что он сделал для рыбака с Тивериадского озера?

— Нельзя на это рассчитывать, Аркадий. Он совершил это с помощью чуда.

— Или «чудом», как говорит одни современный нам историк церкви. Но все равно. Поедемте. Только дайте мне сжечь несколько писем и собрать нужные книги.

Он бросил в камин какие-то бумаги, рассовал по карманам несколько книг и пошел за своим провожатым к автомобилю, который ожидал их неподалеку, у здания Французского коллежа. Морис сел за руль. Подражая осторожности керуба, он сделал столько зигзагов, объездов и внезапных поворотов, что сбил бы со следа любое количество самых проворных велосипедистов, посланных ему вдогонку. Наконец, исколесив город по всем направлениям, он остановился на улице Рима перед квартирой в первом этаже, где в свое время произошло явление ангела.

Войдя в комнаты, из которых он вышел полтора года тому назад, чтобы осуществить свою миссию, Аркадий вспомнил невозвратное прошлое, вдохнул аромат Жильберты, и ноздри его задрожали. Он спросил, как поживает г-жа дез Обель.

— Отлично, — ответил Морис, — она немного пополнила и очень похорошела. Она еще сердится на вас за вашу нескромность. Надеюсь, что когда-нибудь она вам простит, как простил я, и забудет ваше оскорбительное поведение. Но сейчас она еще очень раздражена.

Молодой д'Эспарвье предоставил квартиру в распоряжение своего ангела с любезностью хорошо воспитанного человека и нежной заботливостью друга.

Он показал ему складную кровать, которую нужно будет каждый вечер расставлять в первой комнате, а по утрам убирать в чулан, показал ему туалетный столик со всеми принадлежностями, ванну, бельевой шкаф, комод, дал все необходимые указания на счет освещения и отопления, предупредил, что швейцар будет приносить еду и убирать помещение, и указал кнопку, которую нужно нажимать, чтобы вызвать этого служителя. Наконец он добавил, что Аркадий может считать себя полным хозяином квартиры и принимать кого ему заблагорассудится.

Глава двадцать восьмая,
посвященная тяжелой семейной сцене

Пока у Мориса были любовницы из круга порядочных женщин, его поведение не давало повода для упреков. Все пошло иначе, когда он стал посещать Бушотту. Мать его, которая закрывала глаза на связи, хотя и греховные, но не выходившие за пределы светского круга и не вызывавшие никаких толков, была возмущена, узнав, что сын ее открыто показывается с какой-то певичкой. Юная сестра Мориса, Берта, знала на зубок, как катехизис, любовные похождения брата и безо всякого негодования рассказывала о них своим подружкам. Малютка Леон, которому только что исполнилось семь лет, заявил однажды матери в присутствии нескольких дам, что он, когда вырастет, будет кутить так же, как Морис. Материнское сердце г-жи д'Эспарвье было глубоко уязвлено.

В то же самое время одно серьезное домашнее происшествие сильно встревожило г-на Ренэ д'Эспарвье. Ему были переданы векселя, которые сын подписал его именем. Почерк не был подделан, но намерение сына выдать свою подпись за подпись отца не оставляло сомнений. Это был моральный подлог. Случай этот явно свидетельствовал о том, что Морис кутит, влезает в долги и способен не сегодня-завтра совершить какой-нибудь неблагоприятный поступок. Отец семейства посо-

ветовался по этому поводу с женой. Решено было, что он сделает сыну суровое внушение, пригрозит строгими мерами, а через несколько минут после этого явится огорченная и нежная мать, чтобы склонить к милосердию справедливо негодующего отца. Договорившись с женой, г-н Ренэ д'Эспарвье на другой день утром велел позвать сына к себе в кабинет. Для вящей торжественности он облачился в сюртук. По этому признаку Морис понял, что разговор будет серьезный. Глава семьи, немного бледный, заявил неуверенным голосом (он был застенчив), что не может больше терпеть распутный образ жизни, который ведет его сын, и требует немедленного и полного исправления. Довольно кутежей, долгов, дурной компании. Пора начать работать, вести правильную жизнь и встречаться только с порядочными людьми.

Морис с радостью ответил бы почтительно, потому что отец в сущности имел все основания упрекать его. К несчастью, Морис тоже был застенчив, а сюртук, который надел г-н д'Эспарвье, чтобы с надлежащим достоинством осуществить домашнее правосудие, не допускал, по-видимому, никакой сердечности. Поэтому Морис хранил неловкое молчание, и оно могло показаться дерзким. Это вынудило г-на д'Эспарвье повторить свои упреки, но еще более строгим тоном. Он открыл один из ящиков своего исторического письменного стола (на нем Александр д'Эспарвье написал свой «Трактат о гражданских и религиозных установлениях народов») и вынул оттуда векселя, подписанные Морисом.

— Ты понимаешь, дитя мое, что это самый настоящий подлог? Чтобы искупить столь тяжкую провинность...

В этот момент, как и было условлено, появилась г-жа д'Эспарвье в визитном платье. Она должна была олицетворять ангела прощения. Но ни внешность ее, ни характер этому не соответствовали. Она была особа мрачная и черствая. У Мориса имелись задатки всех обиходных и обязательных добродетелей. Он любил и уважал свою мать. Любил больше по долгу, чем по непосредственному влечению, а в его уважении было

больше дани обычаю, чем чувства. У г-жи д'Эспарвье лицо было в красных пятнах, а так как она сильно напудрилась, чтобы с достоинством предстать на домашнем судилище, цвет лица ее напоминал малину в сахаре. Морис, обладавший вкусом, поневоле нашел ее безобразной и даже несколько отталкивающей. Он уже настроен против нее, а когда она возобновила упреки, которыми ее супруг только что осыпал его, и еще усилила их, блудный сын отвернулся, чтобы не показать своего раздражения.

Она продолжала:

— Твоя тетя де Сен-Фэн встретила тебя на улице в такой дурной компании, что даже была благодарна тебе за то, что ты с ней не поздоровался.

При этих словах Мориса прорвало:

— Тетя де Сен-Фэн! Подумайте! Она шокирована! Кто не знает, что она в свое время пускалась во все тяжкие, а теперь эта старая ханжа хочет...

Он остановился. Его взгляд упал на лицо г-на д'Эспарвье, и на лице этом Морис прочел больше печали, чем негодования. Теперь он уже упрекал себя за свои слова, как за преступление, и не понимал, как они могли у него вырваться. Он готов был разрыдаться, упасть на колени, вымаливать себе прощение, но в этот миг мать его, возведя взоры к потолку, со вздохом воскликнула:

— И чем только я прогневила господа бога, за что он дал мне такого испорченного сына!

Эти слова показались Морису деланными и смешными и словно все перевернули в нем; от горького раскаяния он сразу же перешел к гордому упоению своей преступностью. Он целиком отдался неистовому порыву дерзкого возмущения и залпом выпалил слова, которых ни одна мать не должна была бы слышать:

— Если хотите знать правду, мама, так, вместо того чтобы запрещать мне видеться с талантливой и бескорыстной певицей, вы бы лучше не допускали, чтобы моя старшая сестрица, госпожа де Маржи, показывалась каждый вечер и в театре и в обществе с презренным и гнусным субъектом, о котором всем известно,

что он ее любовник. Вам бы следовало также присматривать за моей младшей сестрой, которая сама себе пишет похабные письма, делает вид, будто находит их в своем молитвеннике, и передает вам с невинным видом, чтобы позабавиться вашим огорчением и тревогой. Не вредно было бы вам обратить внимание и на моего братца Леона, который — даром что ему всего семь лет — буквально истязает мадемуазель Капораль. И можно было бы заметить вашей горничной...

— Вон отсюда, сударь, я выгоняю вас из своего дома, — вскричал г-н Ренэ д'Эспарвь, бледный от гнева, указывая дрожащим пальцем на дверь.

Глава двадцать девятая,

из которой видно, что ангел, став человеком, ведет себя по-человечески, то есть желает жены ближнего своего и предаёт друга. Эта же глава покажет безупречность поведения молодого д'Эспарвь

Ангелу понравилось новое жилище. По утрам он работал, днем уходил по делам, невзирая на сыщиков, и возвращался домой ночевать. Как и раньше, два-три раза в неделю Морис принимал г-жу дез Обель в комнате, где имело место чудесное явление.

Все шло отлично до одного прекрасного утра, когда Жильберта, забывшая накануне вечером на столе в голубой комнате свою бархатную сумочку, явилась за ней и застала Аркадия, который лежал на диване в пижаме, курил папиросу и размышлял о завоевании неба. Она громко вскрикнула:

— Это вы, сударь!.. Поверьте, если бы я знала, что застану вас здесь... Я пришла за своей сумочкой, она в соседней комнате... Позвольте...

И она проскользнула мимо ангела испуганно и то-ропливо, словно мимо пылающей головни.

В это утро г-жа дез Обель была неподражаемо обаятельна в строгом костюме цвета резеды. Узкая юбка не скрывала ее движений, и каждый шаг ее был одним из

тех чудес природы, которые повергают в изумление сердца мужчин.

Она появилась вновь, держа в руках сумочку.

— Еще раз прошу извинить. Я совершенно не подзревала...

Аркадий предложил ей присесть на минутку.

— Никак не ожидала, сударь, что вы будете принимать меня в этой квартире. Я знала, как сильно любит вас господин д'Эспарвье, но все же я не предполагала...

Небо внезапно нахмурилось. Рыжеватый полумрак заполнил комнату. Г-жа дез Обель сказала, что для моциона она пришла пешком, а сейчас собирается гроза. И она попросила послать за экипажем.

Аркадий бросился к ногам Жильберты, заключил ее в объятия, словно драгоценный сосуд, и принялся бормотать слова, которые сами по себе не имеют никакого смысла, но выражают желание. Она закрывала ему руками глаза и рот, выкрикивая:

— Я вас ненавижу!

Вздрагивая от рыданий, она попросила стакан воды. Она задыхалась. Ангел помог ей расстегнуть платье. В эту минуту крайней опасности она защищалась от-важно.

Она говорила:

— Нет, нет!.. Я не хочу вас любить. Я бы полюбила вас слишком сильно.

Но тем не менее она уступила.

После взаимного сладостного удивления, в минуту нежной близости, она сказала:

— Я часто спрашивала о вас. Я знала, что вы бываете в монмартрских кабаках, что вас часто видят с мадемуазель Бушоттой, хотя она ведь совсем некрасивая, что вы стали очень элегантно одеваться и зарабатывать много денег. Меня это не удивило... Вы были созданы для успеха... В день вашего...

Она указала пальцем на угол между окном и зеркальным шкафом.

— ...явления я рассердилась на Мориса за то, что он дал вам отрепья какого-то самоубийцы. Вы мне нравились... О, не за красоту. Напрасно говорят, что

женщины так уж чувствительны к внешним достоинствам. В любви мы ищем другого. Не знаю, как это определить... Словом, я полюбила вас с первого взгляда.

Сумрак становился все гуще.

Она спросила:

— Вы ведь не ангел, правда? Морис этому верит, но он всему готов поверить...

Она спрашивала ангела взглядом, и глаза ее лукаво улыбались.

— Признайтесь, что вы не ангел, вы просто посмеялись над ним?

Аркадий ответил:

— Я хочу только одного: нравиться вам; я всегда буду тем, кого вы захотите видеть во мне.

Жильберта решила, что он не ангел, во-первых, потому, что нельзя же в самом деле быть ангелом, во-вторых, по причинам особого рода, которые вернули ее к вопросам любви. Он не стал возражать, и еще раз оказалось, что им уже недостает слов, чтобы выразить свои чувства.

На улице лил частый, крупный дождь, вода стекала по окнам, молния осветила кисейные занавески, стекла задребезжали от громового раската. Жильберта перекрестилась и прижалась к груди своего любовника.

Она сказала ему:

— У вас кожа белее моей.

В то самое мгновение, когда г-жа дез Обель произносила эти слова, в комнату вошел Морис. Весь мокрый, улыбающийся, доверчивый, спокойный и счастливый, он явился сообщить Аркадию, что их вчерашняя общая ставка в Лоншане * принесла им двенадцатикратный выигрыш.

Увидев женщину и ангела в любовном беспорядке, он рассвирепел. От ярости мускулы на шее у него напряглись, лицо побагровело, жилы на лбу вздулись. Сжав кулаки, он бросился на Жильберту, но внезапно остановился.

Заторможенная энергия этого движения перешла в теплоту. Морис весь кипел. Но гнев не вооружил его, как Архилоха, мстительным лиризмом *. Он только обозвал изменницу похотливой дрянью.

Тем временем, приведя в порядок свой костюм, Жильберта обрела и прежнее достоинство. Она встала, полная грации и стыдливости, и устремила на обвинителя взор, выражавший и оскорбленную добродетель, и всепрощающую любовь.

Но так как молодой д'Эспарвье упорно продолжал осыпать ее грубой бранью, она тоже рассердилась:

— А сами-то вы, нечего сказать, хороши! Что я, ловила его, что ли, вашего Аркадия? Вы сами привели его сюда, да еще в каком виде!.. У вас была только одна мысль: сбить меня вашему другу. Так знайте же, милостивый государь, я вам этого удовольствия не доставлю.

Морис д'Эспарвье ответил на это просто:

— Вон отсюда, тварь.

И он сделал вид, что выталкивает ее пинком за дверь.

Аркадию было тяжело видеть, как недостойно обращаются с его возлюбленной, но он не чувствовал твердой почвы под ногами, чтобы удержать Мориса. Г-жа дез Обель, сохраняя все свое достоинство, обратила на молодого д'Эспарвье повелительный взгляд и сказала:

— Сходите за экипажем.

И такова власть женщины над душой светского человека, принадлежащего к галантной нации, что этот молодой француз тотчас же пошел к швейцару и велел ему достать такси. Г-жа дез Обель окинула Мориса презрительным взглядом, каким женщина дарит обманутого ею мужчину, и удалилась, стараясь придать всем своим движениям чарующую прелесть. Морис проводил ее взглядом, полным равнодушия, от которого он был весьма далек. Затем он повернулся к Аркадию, облаченному в пижаму с цветочками, ту самую, в которой Морис был в день явления ангела. И это обстоятельство, пустячное само по себе, еще усилило обиду столь гнусно обманутого хозяина.

— Ну, вы поистине презренный субъект, — начал он. — Вы поступили как подлец, и, между прочим, совершенно напрасно. Если эта женщина вам нравилась, сказали бы мне — и все. Мне она надоела. Я ее уже не хотел. Я с удовольствием уступил бы ее вам.

Он говорил так, чтобы скрыть свою боль, ибо любил Жильберту сильнее, чем когда-либо, и ужасно страдал от ее измены. Он продолжал:

— Я даже собирался просить вас, чтобы вы меня от нее избавили. Но вы поддались своей подлой натуре и поступили по-свински.

Если бы в эту торжественную минуту Аркадий произнес хоть одно сердечное слово, юный Морис, разрыдавшись, простил бы другу и любовнице, и все трое снова стали бы счастливы и довольны. Но Аркадий не был вскормлен молоком человеческой нежности. Он никогда не страдал и не был способен к состраданию. Поэтому в его ответе звучала только холодная мудрость.

— Мой милый Морис, необходимость, определяющая и связующая поступки одушевленных существ, приводит к последствиям часто непредвиденным и порой нелепым. Так и получилось, что я доставил вам огорчение. Вы бы не стали меня упрекать, если бы усвоили себе философию природы. Вы бы знали, что воля — всего-навсего иллюзия, что физиологическое сродство определяется с той же точностью, что и способность к химическим соединениям, и может быть выражено в таких же формулах. Думаю, что в конце концов удалось бы внушить вам эти истины, но это был бы долгий и трудный процесс, и возможно, что вы все равно не обрели бы утраченного вами духовного равновесия. Поэтому мне лучше удалиться отсюда и...

— Оставайтесь, — сказал Морис.

Он обладал твердым сознанием общественных обязанностей. В сущности он ставил честь выше всего. И в этот миг он с необычайной силой ощутил, что нанесенное ему оскорбление может быть смыто только кровью. Овладев им, эта традиционная мысль придала его поведению и речи неожиданное благородство.

— Нет, милостивый государь, не вам, а мне пододбает уйти из этой квартиры, чтобы больше никогда в нее не возвращаться. Вы же останетесь здесь, раз вы принуждены скрываться от властей. И здесь же вы примете моих секундантов.

Ангел улыбнулся.

— Я приму их, чтобы доставить вам удовольствие, но не забывайте, милый Морис, что я неуязвим. Небесных духов, даже когда они материализованы, невозможно ранить острием шпаги или пистолетной пулей. Представьте себе, Морис, каково будет мое положение на дуэли из-за этого рокового неравенства, и подумайте о том, что, отказываясь в свою очередь выставить секундантов, я не могу сослаться на свое небесное происхождение, — этот случай не имел бы прецедентов.

— Милостивый государь, — ответил наследник Бюсаров д'Эспарвье, — об этом нужно было думать до того, как вы нанесли мне оскорбление.

И он вышел с надменным видом. Но, очутившись на улице, он зашатался, как пьяный. Дождь все еще лил. Он шел, ничего не видя и не слыша, шел наугад, спотыкаясь, попадая в канавы, лужи и в кучи грязи. Он долго блуждал по внешним бульварам и наконец, усталый, повалился на краю какого-то пустыря. Он был по уши в грязи, лицо измазано грязью, смешанной со слезами, с полей шляпы стекала вода. Какой-то прохожий принял его за нищего и бросил ему два су. Он поднял медную монету, заботливо спрятал ее в жилетный карман и пошел искать себе секундантов.

Глава тридцатая,

повествующая об одном поединке и позволяющая судить, делаемся ли мы лучше, как это утверждает Аркадий, когда осознаем совершенные нами ошибки

Местом поединка избран был сад полковника Маншона на бульваре Королевы, в Версале. Секундантами Мориса были господа де ла Вердельер и Ле Трюк де Рюффек, которые имели постоянную практику в делах чести и знали все соответствующие правила. В католическом мире ни одна дуэль не обходилась без участия г-на де ла Вердельера, и, обратившись к этому воину, Морис поступил согласно обычаю, хотя и не без неприятного чувства, ибо все знали, что он был любовником г-жи де ла Вердельер. Впрочем, на г-на де ла

Вердельера не смотрели, как на мужа: это был не человек, а догмат. Что касается г-на Ле Трюк де Рюф-фек, то честь была его единственной официальной профессией и единственным признанным средством к существованию; и когда злые языки упоминали об этом в свете, их спрашивали, мог ли г-н Ле Трюк де Рюф-фек сделать карьеру лучшую, чем карьера чести. Секундантами Аркадия были князь Истар и Теофиль. Ангел-музыкант скрепя сердце и вопреки своему желанию принял участие в такого рода деле. Всякое насилие было ему противно, и он не одобрял поединков. Он не выносил звука пистолетных выстрелов и лязга шпага, а от вида пролитой крови падал в обморок. Этот кроткий сын небес упорно отказывался быть секундантом своего брата Аркадия, и, чтобы заставить его решиться, керуб вынужден был пригрозить, что разобьет о его голову бутылку со взрывчатым веществом. Кроме противников, их секундантов и врачей, в саду присутствовало лишь несколько офицеров версальского гарнизона и довольно много журналистов. Хотя молодого д'Эспарвье знали только как сына почтенных родителей, а Аркадия вообще никто не знал, дуэль привлекла порядочное количество любопытных, и все окна соседних домов были заняты фотоаппаратами, репортерами и людьми из общества. Особенное возбуждение вызвало то обстоятельство, что причиной ссоры, как выяснилось, была женщина. Многие называли Бушотту, большинство же указывало на г-жу дез Обель. Впрочем, давно уже было отмечено, что дуэли, в которых принимал участие г-н де ла Вердельер, привлекали внимание всего Парижа.

Небо было нежно-голубое, сад — полон цветущих роз. Дрозд свистел на дереве. Г-н де ла Вердельер, который с тростью в руках руководил поединком, соединил кончики клинков и произнес:

— Начинайте!

Морис д'Эспарвье атаковал дублетами и батманами. Аркадий парировал, не отводя шпаги. Первая схватка не дала результатов. У секундантов создалось впечатление, что г-н д'Эспарвье находится в прискорбном состоянии повышенной нервозности, противник же его покажет себя неутомимым. Начинается вторая схватка,

Морис усиливает нападение, разводит руки и открывает грудь. Он атакует, наступая, наносят прямой удар и острием шпаги касается плеча Аркадия. Все полагают, что тот ранен. Но секунданты с удивлением констатируют, что у Мориса царапина на кисти руки. Морис утверждает, что ему не больно, и доктор Киль после осмотра заявляет, что его клиент может продолжать поединок.

Когда истекает обязательный пятнадцатиминутный перерыв, дуэль возобновляется. Морис нападает все яростнее. Противник явно щадит его и, видимо, защищается небрежно, что беспокоит г-на де ла Вердельера. В начале пятой схватки черный пудель *, неизвестно как попавший в сад, выскакивает из-за розового куста, проникает на площадку, отведенную для сражающихся, и, несмотря на поби и крики, бросается под ноги Мориса. У последнего как будто онемела рука, и он делает выпады против неуязвимого противника только плечом. Он наносит прямой удар, и сам натывается на шпагу Аркадия, которая глубоко ранит его у сгиба локтя.

Господин де ла Вердельер прекращает поединок, продолжавшийся полтора часа. Морис испытывает ощущение тяжелого шока. Его сажают на зеленую скамейку у стены, увитой глициниями. В то время как хирурги перевязывают ему рану, он подзывает к себе Аркадия и протягивает раненую руку. Когда победитель, опечаленный своей победой, подошел к нему, Морис нежно обнял его и произнес:

— Будь великодушен, Аркадий, прости мне твою измену. После того как мы дрались, я могу просить тебя о примирении.

Со слезами поцеловал он друга и шепнул ему на ухо:

— Приходи проведать меня и приведи Жильберту.

Так как Морис все еще был в ссоре с родителями, он велел отвезти себя в маленькую квартирку на улице Рима.

Едва только он лег в постель в той самой спальне, где шторы были спущены, как в день, когда явился ангел, к нему вошли Аркадий и Жильберта. Рана уже

начала сильно мучить Мориса, температура повышалась, но он был спокоен, доволен, счастлив. Ангел и женщина в слезах упали на колени перед его ложем. Он соединил их руки в своей левой руке, улыбнулся им и нежно поцеловал обоих.

— Теперь я могу быть уверен, что не поссорюсь с вами: больше вы меня не проведете. Я знаю, что вы способны на все.

Жильберта, плача, стала уверять Мориса, что его ввели в заблуждение внешние признаки измены, но что она его не обманула с Аркадием и никогда вообще не обманывала, и, охваченная могучим порывом искренности, она пыталась уверить в этом себя самое.

— Не надо, Жильберта, ты на себя клеветешь, — ответил ей раненый, — это было. И пусть было. Это хорошо, Жильберта, ты правильно поступила, когда низко обманула меня с моим лучшим другом здесь, в этой комнате. Если бы ты этого не сделала, мы бы не собрались здесь втроем, и я не испытал бы этой великой радости, которую испытываю впервые за всю мою жизнь. О Жильберта, как ты не права, отрицая то, что было и что хорошо кончилось.

— Если тебе так хочется, друг мой, — с легкой горечью ответила Жильберта, — я не буду отрицать. Но только чтобы доставить тебе удовольствие.

Морис усадил ее на кровать и попросил Аркадия сесть в кресло.

— Друг мой, — сказал Аркадий. — Я был непорочен. Я превратился в человека и тотчас же содеял зло. И от этого я стал лучше.

— Не будем ничего преувеличивать, — сказал Морис, — лучше сыграем в бридж.

Но едва больной увидел у себя на руках три туза и обьявил без козырей, как глаза его затуманились; карты выскользнули у него из рук, отяжелевшая голова упала на подушку и он стал жаловаться на нестерпимую головную боль. Тотчас вслед за этим г-жа дез Обель уехала делать визиты. Ей было важно показаться в свете, чтобы своим уверенным и спокойным видом опровергнуть ходившие о ней слухи. Аркадий проводил ее до дверей и вместе с поцелуем вдохнул ее духи,

аромат которых он принес в комнату, где дремал Морис.

— Я очень рад, — прошептал тот, — что все произошло именно так.

— Случилось то, что должно было случиться, — ответил дух. — Все ангелы, восставшие, подобно мне, поступили бы с Жильбертой, как я. «Женщины, — говорит апостол, — во время молитвы должны закрывать лица из-за ангелов». И апостол говорит так, потому что он знает, что женская прелесть волнует ангелов. Едва коснувшись земли, они уже жаждут соединения со смертными и соединяются с ними. Их объятие страшно и упоительно; они знают тайну неповторимых ласк, которые погружают дочерей человеческих в бездны сладострастия. Вливая в уста своих счастливых жертв пылающий мед, зажигая в их крови неиссякаемый освежающий пламень, они оставляют их в полном изнеможении и восторге.

— Да перестань ты, грязное животное! — вскричал раненый.

— Еще одно слово, — сказал ангел, — только одно слово, милый Морис, в мое оправдание, и потом ты можешь спокойно отдыхать. Точные ссылки — самая убедительная вещь. Дабы увериться в том, что я тебя не обманываю, Морис, прочти о любовной близости между ангелами и женщинами в следующих трудах: Юстин, «Апологии», I и II; Иосиф Флавий, «Иудейская археология», книга I, глава III; Афинагор, «О воскресении мертвых»; Лактанций, книга II, глава XV; Тертуллиан, «О покрывале девственниц»; Марк Эфесский, «Пселла»; Евсевий, «Евангельские назидания», книга V, глава IV; святой Амвросий, в книге «О Ное и ковчеге», глава V; блаженный Августин, «Град божий», книга XV, глава XXIII; отец Мельдонат, иезуит, «Трактат о демонах», страница 218; Пьер Лебие, королевский советник...

— Да замолчи ты, Аркадий, сжался! Замолчи! Замолчи! И прогони эту собаку, — вскричал Морис. Лицо его побагровело, глаза вылезали из орбит, в бреду ему казалось, что у него на кровати сидит черный пудель.

Госпожа де ла Вердельер, занимавшаяся всеми модными делами, как светскими, так и патриотическими, слыла одной из самых очаровательных сиделок французского высшего общества. Она захотела узнать о здоровье Мориса и предложила сама ухаживать за больным. Но, подчиняясь решительному запрещению г-жи дез Обель, Аркадий захлопнул перед ее носом дверь. Мориса засыпали выражениями сочувствия. Груда наваленных на поднос визитных карточек красовалась перед ним бесчисленными загнутыми уголками. Одним из первых явился на улицу Рима засвидетельствовать свою мужскую симпатию г-н Ле Трюк де Рюффек. Протянув молодому д'Эспарвьё свою благородную руку, он попросил у него, как человек чести у человека чести, двадцать пять луидоров, чтобы заплатить долг чести.

— Черт возьми, дорогой Морис, о такой услуге не всякого попросишь!

В тот же день г-н Гаэтан зашел навестить племянника. Тот представил ему Аркадия.

— Это мой ангел-хранитель, дядя. Вам очень понравилась форма его ступни, когда вы увидели следы его шагов на предательском порошке. Он явился мне в прошлом году здесь, в этой самой комнате... Не верите? А ведь это чистая правда!

И он обернулся к небесному духу:

— Как тебе нравится, Аркадий? Аббат Патуйль, великий богослов и хороший священник, не верит, что ты ангел, и дядя Гаэтан, который не знает катехизиса и не признает религии, тоже этому не верит. Оба они тебя отрицают: один — потому что он верующий, другой — потому что он лишен веры. На этом основании можно с полной уверенностью утверждать, что твоя история кому угодно покажется неправдоподобной. И вдобавок того, кто вздумал бы ее рассказывать, сочли бы человеком без вкуса и никак не одобрили бы. Потому что, говоря по правде, это довольно некрасивая история. Я тебя люблю, но сужу вполне трезво. С тех пор как ты впал в безбожие, ты превратился в ужасного негодяя. Плохой ангел, плохой друг, предатель, убийца. Я думаю,

что во время дуэли ты сам выпустил мне под ноги черного пуделя, чтобы меня прикончить.

Ангел пожал плечами и сказал, обращаясь к Гаэтану.

— Увы, сударь, я не удивляюсь тому, что вы так недоверчиво ко мне относитесь; я слышал, что вы не в ладах с иудео-христианским небом, откуда я родом.

— Я недостаточно верю в Иегову, — ответил Гаэтан, — чтобы верить в его ангелов.

— Тот, кого вы называете Иеговой, на самом деле всего-навсего невежественный и грубый демиург по имени Иалдаваоф.

— В таком случае я готов в него уверовать. Раз он невежествен и ограничен, я легко могу допустить его существование. Как он поживает?

— Плохо! В будущем месяце мы его свергнем.

— Не обольщайтесь надеждой. Вы напоминаете мне моего шурина Кюиссара, который в течение тридцати лет каждое утро ожидает падения республики...

— Вот видишь, Аркадий! — вскричал Морис. — Дядя Гаэтан со мной согласен. Он знает, что ты потерпишь неудачу.

— А почему, скажите на милость, господин Гаэтан, вы думаете, что меня ждет неудача?

— Ваш Иалдаваоф еще очень силен в этом мире, если не в том. В былые времена его поддерживали священнослужители — те, что верили в него. А в наше время он опирается на тех, кто в него не верит, на философов. Не так давно нашелся тупой педант, но имени Пикрохол *, который пытался доказать банкротство науки, чтобы улучшить дела церкви. И в наши дни выдумали прагматизм специально для того, чтобы поднять авторитет религии среди людей, любящих рассуждать.

— Вы изучали прагматизм?

— И не подумал! В молодости я отличался легкомыслием и занимался метафизикой. Читал Гегеля и Канта. Но с возрастом я стал серьезнее, и меня занимает теперь только то, что поддается чувственному восприятию, что доступно зрению или слуху. Вся сущ-

ность человека — в искусстве. Остальное — пустые мечтания.

В том же духе разговор продолжался до вечера, и при этом говорились такие непристойности, которые могли бы заставить покраснеть не то что кирасира — это пустяки, ибо кирасиры часто отличаются целомудрием, — но даже парижанку.

Навестил своего бывшего ученика и г-н Сарьетт. Когда библиотекарь появился в комнате, бюст Александра д'Эспарвьез возник над его лысым черепом. Сарьетт подошел к кровати. Вместо голубых занавесок, зеркального шкафа, камина комнату тотчас же заполнили набитые книгами шкафы из залы Сфер и Бюстов, а воздух стал душным от карточек, каталогов и папок. Г-н Сарьетт был настолько неотделим от своей библиотеки, что его невозможно было ни представить себе, ни увидеть вне ее. И сам он, пожалуй, был более бледен, неясен, расплывчат и воображаем, чем образы, возникавшие при виде его.

Морис, который очень подобрел, был растроган этим проявлением дружбы.

— Садитесь, господин Сарьетт, с госпожой дез Обель вы знакомы. Позвольте представить вам Аркадия, моего ангела-хранителя. Это он, будучи незримым, в течение двух лет опустошал вашу библиотеку, лишил вас аппетита и чуть не свел с ума. Это он перетащил из залы Сфер в мой павильон целую кучу старых книг. Однажды он унес у вас из-под носа какую-то ценную книжицу, и вы по его вине упали на лестнице. А в другой раз он взял у вас брошюру Саломона Рейнака, и, так как ему пришлось выйти из дому вместе со мной (потом я узнал, что он не покидал меня ни на мгновение), он уронил ее в канаву на улице Принцессы. Вы уж простите его, господин Сарьетт, карманов у него не было. Он был невидим. Я горько сожалею, господин Сарьетт, что все ваши книжонки не были уничтожены пожаром или наводнением. Из-за них мой ангел потерял голову, превратился в человека, утратил веру и совесть. Теперь я стал его ангелом-хранителем. Один бог знает, чем все это кончится.

Господин Сарьетт слушал эти речи, и лицо его выражало безграничную скорбь, безысходную, вечную, скорбь мумии. Поднявшись, чтобы проститься, огорченный библиотекарь шепнул на ухо Аркадию:

— Бедный мальчик очень плох... Он бредит.

Морис снова подозвал старика:

— Останьтесь, господин Сарьетт. Сыграйте с нами в бридж. Господин Сарьетт, послушайте моего совета. Не поступайте, как я, не бывайте в дурной компании. Это вас погубит. Не уходите, господин Сарьетт, у меня к вам большая просьба: когда вы опять ко мне придете, захватите с собой какую-нибудь книжку об истинности религии, я хочу проштудировать ее. Я должен вернуть своему ангелу веру, которую он утратил.

Глава тридцать первая,

из которой мы с изумлением узнаем, как легко человек честный, робкий и кроткий может совершить ужасное преступление

Глубоко расстроенный непонятными речами юного Мориса, г-н Сарьетт сел в автобус и поехал к папаше Гинардону, своему другу, своему единственному другу, единственному в мире человеку, которого ему приятно было видеть и слышать. Когда г-н Сарьетт вошел в лавку на улице Курсель, Гинардон был совсем один и дремал в глубоком старинном кресле. У него были вьющиеся волосы, пышная борода и багровое лицо; лиловые прожилки испещрили крылья его носа, покрасневшего от бургундского вина. Ибо — теперь уже этого нельзя было скрыть — папаша Гинардон пил. В двух шагах от него, на рабочем столике юной Октавии, засыхала роза в пустом стакане, а в корзинке валялось недоконченное вышивание. Юная Октавия все чаще и чаще уходила из магазина, а г-н Бланмениль никогда не появлялся там, когда ее не было. Это имело свою причину: три раза в неделю в пять часов они встречались в доме свиданий у Елисейских полей. Папаша Гинардон ничего об этом не знал. Он не подозре-

вал, как велико постигшее его несчастье, но все же страдал от него.

Господин Сарьетт пожал руку старому другу и не спросил его, как поживает юная Октавия, ибо не призывал тех уз, которые их соединяли. Он охотно поговорил бы о безжалостно брошенной Зефирине, потому что ему хотелось, чтобы старик сделал ее своей законной супругой. Но г-н Сарьетт был осторожен и удовольствовался тем, что спросил у Гинардона, как он поживает.

— Отлично, — заявил Гинардон, который чувствовал себя больным, но прикидывался сильным и здоровым с тех пор, как сила и здоровье начали изменять ему. — Я, слава богу, сохранил крепость тела и духа. Я живу целомудренно. Будь целомудрен, Сарьетт. Целомудрие дает силу.

В этот вечер папаша Гинардон извлек из комода фиалкового дерева несколько ценных книг, чтобы показать их известному библиофилу, г-ну Виктору Мейеру, а после того как этот клиент удалился, он заснул и не успел уложить их обратно. Г-н Сарьетт, которого всегда влекло к книгам, увидел эти экземпляры на мраморной доске комода и стал с любопытством рассматривать их. Первая книга, которую он перелистал, была «Орлеанская девственница» в сафьяновом переплете, с английскими гравюрами. Конечно, его сердцу француза и христианина претило видеть этот текст и рисунки, по хорошая книга всегда казалась ему целомудренной и чистой. Продолжая вести с Гинардоном задушевную беседу, он одну за другой брал в руки книги, которые антиквар ценил за переплет, за эстампы, за происхождение или редкость; вдруг он испустил восторженный крик радости и любви. Он нашел «Лукреция» приора Вандомского, своего «Лукреция», и теперь прижимал его к сердцу.

— Наконец-то я нашел его, — вздыхал он, поднося книгу к губам.

Папаша Гинардон сперва не понял, что хочет сказать его старый друг. Но когда тот заявил, что книга эта из библиотеки д'Эспарвье, что она принадлежит ему, Сарьетту, что он заберет ее без всяких разгово-

ров, антиквар, окончательно пробудившись, поднялся и твердо заявил, что книга эта его, Гинардона, собственность, что он купил ее самым законным образом и не отдаст иначе, как за пять тысяч франков — ни больше, ни меньше.

— Да вы не поняли, что я вам говорю, — ответил Сарьетт. — Эта книга из библиотеки д'Эспарвье. Я должен вернуть ее туда.

— Ну, нет, дружок...

— Это моя книга.

— Вы сошли с ума, милый Сарьетт!

Заметив, что у библиотекаря действительно какой-то безумный вид, он взял у него из рук книгу и попытался переменить разговор.

— Вы обратили внимание, Сарьетт, что эти свиньи собираются распотрошить дворец Мазарини и покрыть невесть какими произведениями искусства остров Ситэ, самое величественное, самое красивое место в Париже! Да они хуже вандалов, потому что вандалы уничтожали памятники древности, но не заменяли их омерзительными строениями и мостами дурного стиля, вроде моста Александра Третьего. И ваша бедная улица Гарансьер тоже стала добычен варваров. Что они сделали с красивым бронзовым маскаронном на дворцовом фонтане?

Но Сарьетт ничего не слушал.

— Гинардон, вы меня не поняли. Послушайте. Эта книга из библиотеки д'Эспарвье. Она оттуда похищена. Как? Кем? Не имею понятия. В этой библиотеке произошли необъяснимые и страшные события. Словом, книгу украли. Мне незачем звать к вашей безупречной честности, мой дорогой друг. Вы не захотите прослыть укрывателем краденого. Отдайте мне книгу. Я верну ее господину д'Эспарвье, который возместит вам ее стоимость, можете в этом не сомневаться. Доверьтесь его щедрости, и вы поступите со свойственным вам благородством.

Антиквар горько улыбнулся.

— Чтобы я доверился щедрости этого старого скряги д'Эспарвье, который даже с блохи способен содрать шкуру? Поглядите на меня, милый Сарьетт, и

скажите, похож ли я на простака? Вы отлично знаете, что д'Эспарвье не пожелал заплатить пятьдесят франков старьевщику за портрет Александра д'Эспарвье, своего великого предка, работы Эрсана, и великий предок так и остался на бульваре Монпарнас против кладбища, у входа в лавку торговца-еврея, где на него мочатся все собаки... Довериться щедрости господина д'Эспарвье! Как бы не так!

— Хорошо, Гинардон, в таком случае я сам возьму вам ту сумму, которую установят специалисты. Вы слышите?

— Да бросьте вы разыгрывать благородство с такими неблагородными людьми, дорогой мой Сарьетт. Этот д'Эспарвье высосал из вас все знания, всю энергию, всю вашу жизнь за жалованье, от которого отказался бы лакей. Оставьте вы это... К тому же вы опоздали. Книга уже продана...

— Продана?.. Кому? — спросил Сарьетт в ужасе.

— Да не все ли вам равно? Вы ее больше не увидите и ничего о ней не услышите. Она поедет в Америку.

— В Америку? «Лукреций» с гербом Филиппа Вандомского, с собственноручными пометками Вольтера! Мой «Лукреций»! В Америку!

Папаша Гинардон расхохотался.

— Милый Сарьетт, вы мне напоминаете кавалера де Грие * в тот момент, когда он узнает, что его возлюбленную отправят на Миссисипи. «Мою возлюбленную на Миссисипи?!»

— Нет, — произнес побледневший Сарьетт, — нет, эта книга не уедет в Америку. Она вернется, как должно, в библиотеку д'Эспарвье. Отдайте мне ее, Гинардон!

Антиквар сделал еще раз попытку оборвать разговор, который угрожал плохо кончиться.

— Дорогой Сарьетт, вы еще ничего не сказали о моем Греко. Вы на него даже не взглянули. А ведь он просто замечателен.

И Гинардон повернул картину так, чтобы на нее падал свет.

— Взгляните на этого святого Франциска, нищего во Христе, брата Иисусова. Его черное тело поднимается к небу, как дым угодной богу жертвы, как жертва Авеля...

— Книгу, Гинардон! — оказал Сарьетт, даже не повернув головы. — Отдайте мне книгу!

Кровь бросилась в голову папаше Гинардону. Лицо его побагровело, жилы на лбу вздулись.

— Хватит об этом! — сказал он.

И спрятал «Луcreция» в карман пиджака.

Тут Сарьетт бросился на антиквара, толкнул его с неожиданной яростью и, несмотря на свою тщедушность, опрокинул крепкого старика в кресло юной Октавии.

Ошеломленный и взбешенный Гинардон осыпал старого маньяка ужасающей руганью и ударом кулака отбросил его на четыре шага назад, прямо на «Венчание Пресвятой девы», произведение Фра Анджелико, которое с грохотом повалилось. Сарьетт снова кинулся на врага, пытаясь вытащить книгу у него из кармана. На этот раз папаша Гинардон пришиб бы его на месте, но, ничего не видя перед собой от ярости, угодил кулаком мимо, в стоявший рядом рабочий столик Октавии. Сарьетт вцепился в своего изумленного противника, вдавил его в кресло и своими маленькими иссохшими руками стиснул ему шею, которая из красной стала темно-багровой. Гинардон силился освободиться, но худенькие пальцы Сарьетта, почувствовав мягкое и теплое тело, с каким-то наслаждением впивались в него. Неведомая сила словно приковала их к добыче. Гинардон хрипел, слюна текла из уголка его рта. Его огромное тело прерывисто вздрагивало в этих страшных объятиях. Но движения становились все судорожнее и реже. Наконец они прекратились. А руки, совершившие убийство, не разжимались. Сарьетту пришлось сделать огромное усилие, чтобы их отнять. В висках у него стучало. И все же он слышал шум дождя, приглушенные шаги на тротуаре, отдаленные крики газетчиков, видел двигавшиеся в полумраке зонтики. Он вынул книгу из кармана мертвеца и убежал.

В тот вечер юная Октавия не вернулась в лавку. Она провела ночь в маленькой комнате на антресолях другой антикварной лавки, только что купленной для нее г-ном Бланменилем на той же улице Курсель. Сторож, который должен был закрывать магазин, обнаружил еще не остывшее тело антиквара. Он позвал привратницу г-жу Ленэн, та уложила Гинардона на диван, зажгла две свечи, сунула веточку букса в блюдце со святой водой и закрыла умершему глаза. Позвали врача; он констатировал смерть, приписав ее удару.

Зефирина, извещенная г-жой Ленэн, тотчас же прибежала и провела ночь возле покойника. Казалось, что он спит. При дрожащем свете двух свечей Франциск на картине Греко поднимался к небу, как дым. Золото примитивов поблескивало в темноте. У смертного ложа ясно выделялся рисунок Бодуэна — женщина, принимающая лекарство. Всю ночь за пятьдесят шагов от лавки слышны были причитания Зефирины. Она твердила:

— Он умер, он умер, мой друг, божество мое, любовь моя, жизнь моя!.. Нет, он не умер, он шевелится. Мишель, это я, твоя Зефирина: проснись, услышь меня. Ответь же мне, я люблю тебя. Прости мне, если я тебя огорчала... Умер! Умер! О боже мой, поглядите, какой он красивый. Он был такой добрый, милый, умный! Боже мой, боже мой, боже мой! Если бы я была с ним, он бы не умер. Мишель! Мишель!

К утру она затихла. Думали, что она задремала, но она была мертва.

Глава тридцать вторая,

*где мы услышим в кабачке Хлодомира флейту
Нектария*

Госпоже де ла Вердельер не удалось ворваться к Морису в качестве сиделки; через несколько дней она явилась в отсутствие г-жи дез Обель — получить от него лепту на сохранение французских церквей. Аркадий провел ее к постели выздоравливающего.

Морис шепнул ангелу на ухо:

— Предатель, немедленно избавь меня от этой лю-
доедки, или на тебя падет ответственность за все беды,
которые здесь неминуемо произойдут.

— Не беспокойся, — уверенно ответил Аркадий.

После обычных приветствий г-жа де ла Вердельер
знаками попросила Мориса удалить ангела. Морис
представился, будто не понимает ее. Тогда г-жа де
ла Вердельер изложила официальную причину своего
визита:

— Наши церкви, наши милые деревенские церкви,
что с ними будет?

Аркадий взглянул на нее с ангельским видом, го-
рестно вздыхая.

— Они разрушатся, сударыня, они превратятся в
развалины. Какая жалость! Я буду просто в отчаянии.
Ведь церковь посреди деревенских домов — все равно
что насадка среди цыплят.

— Ах, как это верно! — сказала г-жа де ла Вер-
дельер с восхищенной улыбкой. — Это именно так!

— А колокольни, сударыня!

— Да, да, колокольни!

— Колокольни, сударыня, вздымаются к небу, как
гигантские клистирные трубки к голым задам херу-
вимов.

Госпожа де ла Вердельер немедленно удалилась.

В тот же день аббат Патуйль явился к раненому со
своими наставлениями и утешениями. Он убеждал Мо-
риса прекратить дурные знакомства и помириться с
семьей. Нарисовал ему заплаканную мать, готовую с
распростертыми объятиями принять вновь обретенного
сына. Мужественным усилием воли отвергнув жизнь
беспутную, полную обманчивых наслаждений, Морис
обрел бы душевный мир, утраченную силу духа, осво-
бодился бы от пагубных мечтаний, от козней лукавого.

Молодой д'Эспарвье поблагодарил аббата Патуйля
за его доброту и заверил в прочности своих религиоз-
ных чувств.

— Никогда еще, — сказал он, — у меня не было та-
кой твердой веры, и никогда я так не нуждался в ней.
Представьте себе, господин аббат, мне приходится

вновь обучать катехизису моего ангела-хранителя. Представьте, он забыл катехизис!..

Аббат Патуйль сокрушенно вздохнул и стал убеждать свое дорогое дитя молиться, ибо молитва — единственная помощь против опасностей, грозящих душе, которую искушает дьявол.

— Господин аббат, — спросил Морис, — хотите, я познакомлю вас с моим ангелом-хранителем? Подождите минутку, он пошел за папиросами.

— Бедное дитя!

И круглые щеки аббата Патуйля опустились в знак скорби. Но почти тотчас же они снова поднялись, как свидетельство радости. Ибо многое радовало сердце аббата Патуйля.

Общественное настроение явно улучшалось. Якобинцев, франкмасонов и блокистов * поносили повсеместно. Пример подавало избранное общество. Французская академия стала вполне благомыслящей. Христианские школы множилось. Молодежь Латинского квартала склонялась перед церковью, а от Нормальной школы * шел семинарский дух. Крест торжествовал всюду. Но нужны были деньги, деньги и деньги.

После полутора месяцев постельного режима Морис д'Эспарвье получил от врача разрешение совершить прогулку в экипаже. Рука у него была на перевязи. Возлюбленная и друг сопровождали его. Они отправились в Булонский лес и с тихой радостью созерцали траву и деревья. Они улыбались всему, и им все улыбалось. Как сказал Аркадий, от совершенных ими ошибок они стали лучше. Ревность и гнев Мориса самым неожиданным образом привели к тому, что к нему вернулось спокойствие и благодушие. Он еще любил Жильберту, но любовью снисходительной. Ангел желал эту женщину по-прежнему, но после обладания вождедение его утратило жало любопытства. Жильберта отдыхала от стремления нравиться и от этого нравилась еще больше. У каскада они напились молока, показавшегося им восхитительным. Все трое обрели невинность. И Аркадий позабыл несправедливости старого тирана, царящего над миром. Но вскоре ему о них напомнили.

Возвратясь на квартиру своего друга, он застал там Зиту, которая поджидала его, подобная статуе из слоновой кости и золота.

— Мне вас просто жаль, — сказала она. — Близится день, какого еще не было с начала времен и который, может быть, не повторится раньше, чем солнце со своими спутниками не вступит в созвездие Геркулеса. Не сегодня-завтра мы обрушимся на Иалдаваофа в его порфирином дворце, а вы, горевший желанием освободить небеса и победоносно возвратиться на освобожденную родину, вы забываете все свои великодушные намерения и дремлете в объятиях дочерей человеческих. Какое удовольствие получаете вы от общения с этими нечистоплотными зверьками, созданными из таких неустойчивых элементов, что, кажется, они беспрерывно распадаются? Ах, Аркадий, я была права, не доверяя вам. Вы типичный интеллигент, в вас говорит одно лишь любопытство. Вы неспособны действовать.

— Вы неправильно судите обо мне, Зита, — ответил ангел. — Любовь к дочерям человеческим заложена в природе сынов неба. Конечно, телесная субстанция женщин, как и цветов, тленна, тем не менее она чарует чувства. Но ни один из этих зверьков не заставит меня забыть мою ненависть и мою любовь, и я готов выступить против Иалдаваофа.

Зита, вполне удовлетворенная его решимостью, потребовала, чтобы он и впредь неуклонно трудился над осуществлением их грандиозного замысла; спешить не надо, но и откладывать не следует.

— Большое дело, Аркадий, состоит из множества мелких. Самое величественное целое складывается из тысячи ничтожных частиц. Не будем пренебрегать ничем.

Она пришла за ним, чтобы вместе отправиться на собрание, где его присутствие необходимо. Там будут подсчитаны силы восставших.

Она добавила только одно:

— Нектарий тоже придет.

Когда Морис увидел Зиту, он нашел ее непривлекательной. Она не понравилась ему, потому что красота ее была совершенной, а подлинная красота всегда вы-

звала в нем какое-то тягостное удивление. Узнав, что она тоже восставший ангел и собирается вести Аркадия к заговорщикам, он почувствовал к Зите неприязнь. Бедный юноша пытался удержать своего товарища всеми способами, какие подсказывали ему ум и обстоятельства. Он умолял своего ангела-хранителя остаться с ним, обещал за это повести его на замечательное состязание боксеров, на обозрение, где они увидят апофеоз Пуанкаре, наконец, в одно место, где имеются женщины, необычайные по красоте, таланту, порокам или уродству. Но ангел не поддавался никаким искушениям и заявил, что уходит с Зитой.

— Зачем?

— Чтобы подготовить завоевание небес.

— Опять это безумие! Завоевание не... Но ведь я же доказал тебе, что это и невозможно и нежелательно.

— До свидания, Морис...

— Ты все-таки идешь? Ну, что ж, тогда и я пойду с тобой.

И Морис, с рукой на перевязи, последовал за Аркадием и Зитой в кабачок Хлодомира, где стол был накрыт в саду, под навесом из зелени.

Там уже находились князь Истар и Теофиль, а с ними маленькая желтая фигурка, похожая на ребенка: это был ангел из Японии.

— Мы ждем только Нектария, — оказала Зита.

В эту минуту бесшумно появился старый садовник. Он сел, и собака легла у его ног. Французская кухня — первая в мире. Ее слава затмит всякую другую, когда человечество, сделавшись мудрым, поставит вертел выше шпаги. Хлодомир подал ангелам и смертному, который был с ними, жирную похлебку, свиное филе и почки в мадере, доказавшие, что этот Монмартрский повар еще не развращен американцами, которые портят лучших поваров города-гостиницы.

Хлодомир откупорил бутылку бордо, и хотя оно и не значилось среди лучших вин Медока, но ароматичностью и букетом выдавало свое благородное происхождение. Следует отметить, что после этого вина и многих других хозяин погребка торжественно принес романю, крепкую и вместо с тем легкую, пряную и нежную,

настоящей бургундской закваски, огненную и хмельную, истинную усладу для ума и чувств.

Старый Нектарий поднял стакан и произнес:

— Тебе, Дионис, величайший из богов, кто вместе с золотым веком вернет смертным, ставшим героями, гроздья, которые Лесбос срывал некогда с кустов в Метимне, лозы Фазоса, белый виноград озера Марео-тидского, и погребца Фалерно, и виноградники Тмола и царя вин — Фанея. И сок этих гроздий будет божественным, и, как во времена древнего Силена, люди будут опьяняться мудростью и любовью.

Когда подали кофе, Зита, князь Истар, Аркадий и японский ангел сделали поочередно сообщения о состоянии сил, собранных против Иалдаваофа. Отрешаясь от вечного блаженства для страданий земного бытия, ангелы развиваются умственно и приобретают способность ошибаться и впадать в противоречия. Поэтому и собрания их, подобно человеческим, бывают беспорядочными и шумными. Не успевал один из заговорщиков назвать какую-нибудь цифру, как другой тотчас же опровергал ее. Они не могли сложить двух чисел без спора, и даже сама арифметика заражалась страстностью и утрачивала свою точность. Керуб, насильно притаивший благочестивого Теофиля, возмутился, услышав, как музыкант славит господу, и надавал ему по голове тумачков, которыми можно было бы свалить быка. Но у музыкантов головы покрепче бычьих. И удары, сыпавшиеся на Теофиля, не изменили понятий этого ангела о божественном провидении. Аркадий долго противопоставлял свой научный идеализм прагматизму Зиты, и прекрасная архангелица заявила ему, что он рассуждает неверно.

— Вы еще удивляетесь! — воскликнул ангел-хранитель юного Мориса. — Я, как и вы, рассуждаю на человеческом языке. А что такое человеческий язык, как не крик лесного или горного зверя, только усложненный и испорченный возгордившимися приматами? Разве можно, о Зита, построить правильное рассуждение, применяя этот набор гневных или жалобных звуков? Ангелы вообще не рассуждают. Люди, стоящие выше ангелов, рассуждают плохо. Я уже не говорю о

профессорах, которые надеются определить абсолют при помощи криков, унаследованных ими от человекообразных обезьян, двуутробок и пресмыкающихся — их предков. Это величайший фарс! Как бы забавлялся этим демиург, если бы у него было достаточно ума!

В ночном небе сверкали крупные звезды. Садовник молчал.

— Нектарий, — сказала прекрасная архангелица, — сыграйте на флейте, если не боитесь взволновать небо и землю.

Нектарий взял флейту. Юный Морис зажег папиросу. Пламя, вспыхнув, погрузило во мрак небо и звезды, а затем погасло. И Нектарий воспел это пламя на своей вдохновенной флейте. Ее серебряный голос, говорил:

«Это пламя — вселенная, исполнившая свое назначение менее чем за минуту. В ней возникли солнца и планеты. Венера Урания измерила орбиты тел, блуждающих в ее бесконечных пространствах. От дыхания Эроса, перворожденного из богов, родились растения, животные, мысли. За двадцать секунд, протекших между возникновением и смертью этого мира, развились цивилизация, и империи пережили долгий период своего упадка. Плакали матери, и к безмолвным небесам поднимались песни любви, вопли ненависти и стоны жертв. В малых своих размерах этот мир жил столько же, сколько жил и проживет тот, другой мир, сколько атомов которого сияют у нас над головой. И тот и другой — лишь искры света в бесконечности».

И по мере того как в зачарованном воздухе разносились чистые и светлые звуки, земля превращалась в зыбкую туманность, а звезды описывали все более быстрые круги. Большая Медведица распалась, и части ее тела рассыпались в разные стороны. Пояс Ориона разорвался. Полярная звезда покинула свою магнитную ось. Сириус, сиявший на горизонте раскаленным светом, поглубел, покраснел, замерцал и потух в одно мгновение. Созвездия задвигались, образовали новые знаки, которые в свою очередь исчезли. Волшебными своими звуками магическая флейта заключила в одном мгновении всю жизнь и все движения этого мира,

неизменного и вечного в представлении людей и ангелов. Она замолкла, и небо приняло свое древнее обличье. Нектарий исчез. Хлодомир спрашивает у своих гостей, довольны ли они похлебкой, которую сутки держали на огне, чтобы она уварилась, и хвалит выпитое ими божолезское вино.

Ночь была теплая. Аркадий в сопровождении своего ангела-хранителя, Теофиль, князь Истар и японский ангел проводили Зиту до ее дома.

Глава тридцать третья

о том, как чудовищное злодеяние повергло в ужас весь Париж

Весь город спал. Шаги гулко звучали на опустелых тротуарах. Дойдя до середины монмартрского холма, ангелы и их спутник остановились на углу улицы Фэтрие, у дверей дома, где жила прекрасная архангелица. Аркадий обсуждал вопрос о Престолах и Господствах с Зитой, которая уже держала палец на кнопке звонка, но все еще медлила звонить. Князь Истар концом трости рисовал на тротуаре чертежи новых снарядов и по временам издавал мычание, от которого просыпались спящие обыватели и трепетали чресла живших по соседству Пасифай*. Теофиль Белэ во весь голос распевал баркаролу из второго действия «Алины, королевы Голконды». Морис, у которого правая рука была на перевязи, пытался левой фехтовать с японским ангелом и выбивал искры из мостовой, пронзительным голосом выкрикивая: «Задет!»

Между тем на углу соседней улицы стоял, погруженный в свои думы, бригадир Гролло. Он был сложен точно римский легионер и обладал всеми чертами, свойственными этой величаво-раболепной породе, которая, с тех пор как человечество начало строить города, охраняет государства и поддерживает династии. Бригадир Гролло был полон сил, но вместе с тем очень утомлен. Он был изнурен тяжелой службой и скудной пищей. Человек долга, но все же только человек, он не

мог устоять перед чарами, соблазнами и прелестями девиц легкого поведения, которые целыми стаями встречались ему во мраке безлюдных бульваров, у пустырей. Он их любил. Он любил их, как солдат, не покидая своего поста, и от этого испытывал утомление, превосходившее его стойкость. Еще не достигнув середины странствия земного, он уже мечтал о сладостном отдыхе и мирном сельском труде. Стоя этой тихой ночью на углу улицы Мюллера, он думал — думал о родном доме, об оливковой рощице, об отцовской усадьбе, о согнувшейся под бременем долгой тяжелой работы старухе матери, с которой ему уже не придется свидеться. Пробужденный от своих грез ночным шумом, бригадир Грольль подошел к перекрестку улиц Мюллера и Фэтрие и стал неодобрительно наблюдать за кучкой праздношатающихся, в которой его социальный инстинкт почуял врагов порядка. Бригадир Грольль был терпелив и решителен. После длительного молчания он с грозным спокойствием молвил:

— Проходите.

Но Морис и японский ангел продолжали фехтовать и ничего не слышали. Музыкант внимал только своим собственным мелодиям, князь Истар был весь погружен в формулы взрывчатых веществ. Зита обсуждала с Аркадием величайшее предприятие, какое только было задумано, с тех пор как солнечная система сформировалась из первобытной туманности, и все они не замечали окружающего.

— Сказано вам — проходите, — повторил бригадир Грольль.

На этот раз ангелы расслышали торжественное приказание, но, то ли из равнодушия, то ли из презрения, они не подчинились и продолжали кричать, петь и разговаривать.

— Так вы хотите, чтобы я вас забрал! — возопил бригадир Грольль и опустил свою широкую руку на плечо князя Истара.

Керуб, возмущенный прикосновением столь низменного существа, мощным ударом кулака отшвырнул бригадира в канаву. Но полицейский Фэзанде уже мчался на помощь своему начальнику, и оба они на-

бросились на князя. Они колотили его с яростью автоматов и, может быть, несмотря на силу и вес керна, потащили бы его, окровавленного, в участок, если бы японский ангел без всякого усилия не сбил их обоих с ног, так что они, рыча и корчась, покатались в грязь, прежде чем Аркадий и Зита успели вмешаться. Что касается ангела-музыканта, то он дрожал от страха в сторонке, взывая к небесам.

В эту минуту два булочника, которые месили тесто в соседнем подвале, выбежали на шум, голые по пояс, в белых фартуках. Повинуясь инстинкту общественной солидарности, они стали на сторону поверженных полицейских. При виде их Теофиль, охваченный вполне естественным ужасом, обратился в бегство. Но они поймали его и уже намеревались передать в руки блюстителей порядка, когда Аркадий и Зита вырвали его у них. Завязалась неравная и жестокая борьба между двумя ангелами и двумя пекарями. По красоте и силе подобный лисипповскому атлету *, Аркадий сдавил в своих объятиях тучного противника. Прекрасная архангелица кинжалом ударила булочника, пытавшегося ее схватить. Черная кровь потекла по волосатой груди, и оба пекаря, защитники порядка, повалились на мостовую.

Полицейский Фэзанде без сознания лежал ничком в канаве. Но бригадир Грольль поднялся, дал свисток, который должны были услышать ближайшие постовые, и ринулся на юного Мориса; тот, имея возможность обороняться только одной рукою, левой разрядил свой револьвер прямо в агента, который схватился за сердце, пошатнулся и рухнул на землю. Он испустил долгий вздох, и вечная тьма застлала его взор.

Между тем окна открывались одно за другим, и из них высовывались головы. Приближались тяжелые шаги. Два полицейских на велосипедах мчались по улице Фэтрие. Тогда князь Истар бросил бомбу, от которой сотряслась земля, потухли газовые фонари и разрушилось несколько домов. Густая завеса дыма скрыла бегство ангелов и юного Мориса.

Аркадий и Морис решили, что после подобного приключения безопаснее всего в конце концов будет

укрыться в квартире на улице Рима. Несомненно, сразу их не разыщут, а возможно, и вообще не сумеют разыскать, так как бомба керуба, по счастью, уничтожила всех свидетелей происшествия. Они заснули на рассвете и спали еще в десять часов утра, когда швейцар принес им чай. Хрустя гренками с маслом, молодой д'Эспарвье сказал своему ангелу:

— Я думал, что преступление — это нечто необычайное. Оказывается, я ошибался. Это самое простое, самое естественное дело.

— И самое традиционное, — добавил ангел. — В течение многих веков для человека самым обычным и необходимым занятием было грабить и убивать других людей. На войне это предписывается и поныне. При некоторых определенных обстоятельствах покушаться на человеческую жизнь считается даже почтенным, и вы заслужили всеобщее одобрение, Морис, когда хотели меня убить, потому что вам показалось, будто я позволил себе некоторые вольности в отношении вашей любовницы. Но убить полицейского неприлично для человека из общества.

— Замолчи, — вскричал Морис, — замолчи, негодай! Я убил этого бедного бригадира без всякого умысла, не отдавая себе отчета в том, что делаю. Я сам теперь в отчаянии. Но истинный виновник и убийца не я, а ты. Ты увлек меня на этот путь мятежа и насилия, который ведет в адскую бездну. Ты погубил меня, ты принес в жертву своей гордыне и злобе мой покой и счастье. И совершенно напрасно. Ибо, предупреждаю тебя, Аркадий, из вашей затеи ничего не получится!

Швейцар принес газеты. Заглянув в них, Морис побледнел. Крупными буквами сообщалось там о злодеянии на улице Фэтрие. Убиты полицейский бригадир и два агента-велосипедиста. Тяжело ранены два подмастерья из булочной. Разрушены три жилых дома, имеется большое количество жертв.

Морис выронил газету и произнес слабым, жалобным голосом:

— Аркадий, почему ты не убил меня в маленьком версальском садике, где цвели розы и свистел дрозд?

Между тем Париж был объят ужасом. На площадях и людных улицах хозяйки с сумкой для провизии в руках слушали, бледнея, рассказ о совершенном преступлении и призывали на головы виновных самые жестокие кары. Торговцы на порогах своих лавок обвиняли в этом злодеянии анархистов, синдикалистов, социалистов, радикалов и зывали к закону. Люди глубокомысленные полагали, что это дело рук евреев и немцев, и настаивали на изгнании всех иностранцев. Кое-кто расхваливал американские обычаи и упоминал о линчевании. К газетным новостям прибавлялись зловещие слухи. Во множестве мест слышали взрывы, то здесь, то там находили бомбы. Повсюду гнев толпы обрушивался на разных лиц, которых принимали за злоумышленников и в растерзанном виде передавали правосудию. На площади Республики толпа разорвала на части пьяницу, кричавшего: «Долой шпиков!»

Председатель совета министров, он же министр юстиции, долго совещался с префектом полиции, и они решили, в целях успокоения возбужденных парижан, немедленно арестовать пять или шесть апашей из числа тридцати тысяч, обитавших в столице. Начальник русской полиции, признав в совершенном злодеянии руку нигилистов, попросил о выдаче его правительству дюжины политических эмигрантов, что и было немедленно выполнено. Равным образом изъяли несколько лиц ради безопасности испанского короля.

Узнав об этих энергичных мероприятиях, Париж облегченно вздохнул, и вечерние газеты выразили одобрение правительству.

О состоянии здоровья раненых поступали превосходные вести. Они были вне опасности и опознавали напавших на них преступников в каждом, кого к ним приводили.

Правда, бригадир Гроль умер, но две монахини — сестры милосердия — дежурили у его тела, и сам председатель совета министров явился возложить крест Почетного легиона на грудь этой жертвы долга.

Ночью поднялся переполох. В Аллее Восстания полицейские заметили на пустыре фургон бродячих фокусников, который показался им весьма похожим на

притон бандитов. Они вызвали подкрепление и, когда их набралось достаточное количество, напали на повозку. К ним присоединились благомыслящие граждане, произведено было пятнадцать тысяч револьверных выстрелов, фургон взорвали динамитом и среди его обломков нашли труп обезьяны.

Глава тридцать четвертая,

из которой читатель узнает об аресте Бушотты и Мориса, о разгроме библиотеки, д'Эспарвье и отбытии ангелов

Морис д'Эспарвье провел ужасную ночь. При малейшем шуме он хватался за револьвер, чтобы не сдаться живым в руки правосудия. Утром он буквально выхватил газеты у привратницы, жадно пробежал их глазами и вскрикнул от радости: он прочел, что на теле бригадира Гролля, перевезенном в морг для вскрытия, врачи нашли только синяки и ссадины, то есть поверхностные ранения, и что смерть произошла от разрыва аорты.

— Видишь, Аркадий, — вскричал он с торжествующим видом, — видишь, я не убийца! Я невинен! Я и представить себе не мог, до какой степени приятно быть невинным.

Потом он задумался, и, как это обычно бывает, размышление рассеяло его радость.

— Я невинен. Но нечего себя обманывать, — сказал он, покачав головой, — я причастен к шайке злодеев и живу с бандитами. Ты среди них на своем месте, Аркадий, ибо ты субъект подозрительный, жестокий и порочный. Но я человек из хорошей семьи, получил превосходное воспитание — и мне стыдно.

— Я тоже, — сказал Аркадий, — получил превосходное воспитание,

— Где это?

— На небесах.

— Нет, Аркадий, нет, ты не получил никакого воспитания. Если бы в тебе заложены были твердые принципы, ты бы их сохранил. Принципы никогда не утрачиваются. Я с раннего детства научился уважать

семью, родину и религию. Этого я не забыл и никогда не забуду. Знаешь, что меня больше всего в тебе возмущает? Совсем не твоя испорченность, жестокость, черная неблагодарность, не твой агностицизм, с которым, на худой конец, можно примириться, не твой скептицизм, хотя он очень устарел (ведь после национального пробуждения во Франции не принято быть скептиком), нет, — противнее всего в тебе отсутствие вкуса, дурной тон твоих идей, полное отсутствие изящества в твоих доктринах. Ты мыслишь как интеллигент, рассуждаешь как свободомыслящий, от твоих теорий несет плебейским радикализмом, комбизмом * и тому подобной мерзостью. Убирайся! Ты мне гадок! Аркадий, мой единственный друг, Аркадий, мой славный ангел, Аркадий, мой мальчик, послушайся своего ангела-хранителя: уступи моим мольбам, откажись от своих безумных идей, сделайся снова добрым, простым, невинным и счастливым. Надевай шляпу, пойдем вместе к Парижской Богоматери. Там мы помолимся и поставим свечку.

Между тем общественное мнение все еще было возбуждено. Большая пресса — этот рупор национального пробуждения — с настоящим подъемом, с подлинной глубиной вскрывала в своих статьях философию, лежащую в основе чудовищного деяния, возмущившего все умы. Его истинные корни, его косвенные, но весьма действенные причины усматривались в безнаказанном распространении революционных доктрин, в ослаблении социальной узды, в расшатанности внутренней дисциплины, в непрерывном поощрении всяческих притязаний и вожделений. Чтобы вырвать зло с корнем, необходимо как можно скорее отвергнуть такие химеры и утопии, как синдикализм, подоходный налог, и т. д. и т. и. Многие газеты, и притом из числа влиятельных, видели в участвовавших преступлениях плоды безверия и делали вывод, что спасение общества в единодушном и искреннем возвращении к религии.

В воскресенье, следовавшее за злодеянием, в церквях наблюдался необычайный наплыв народа.

Следователь Сальнэв, которому поручено было вести дело, сперва допросил лиц, арестованных полицией, и пошел по следам соблазнительным, но ложным. Переданное ему донесение осведомителя Монтремэна направило его внимание на верный путь и помогло ему признать в преступниках с улицы Фэтрие жоншерских бандитов. Он велел разыскать Аркадия и Зиту и выдал ордер на арест князя Истара, который и был схвачен двумя агентами, когда выходил от Бушотты, где спрятал две бомбы нового типа. Осведомившись о намерениях агентов, керуб широко улыбнулся и спросил, хороший ли у них автомобиль. Когда они ответили, что автомобиль хороший и ждет у подъезда, он уверил их, что ему больше ничего не требуется. Тут же на лестнице он уложил обоих агентов, спустился к ожидавшему его автомобилю, бросил шофера под автобус, который очень кстати проходил мимо, и взялся за руль на глазах у потрясенной толпы.

В тот же вечер г-н Жанкур, полицейский комиссар по судебным делам, проник в квартиру Теофиля в тот момент, когда Бушотта глотала сырое яйцо, чтобы прочистить голос, так как вечером ей предстояло исполнять в «Национальном эльдорадо» новую песенку: «Так у немцев не бывает». Музыканта не было дома. Бушотта приняла чиновника с гордым достоинством, испувавшим простоту ее наряда: она была в одной рубашке. Почтенный полицейский чин забрал партитуру «Алины, королевы Голконды» и любовные письма, которые певица заботливо хранила в ящике ночного столика, ибо она уважала порядок. Он уже собирался уходить, когда заметил стеной шкаф. Он небрежно открыл его и обнаружил в нем бомбы, которыми можно было бы взорвать пол-Парижа, а также пару больших белых крыльев, происхождение и назначение которых он не мог себе объяснить. Бушотте предложено было закончить свой туалет, и, невзирая на крики, ее проводили в полицию.

Господин Сальнэв был неутомим. Рассмотрев бумаги, захваченные при обыске на квартире Бушотты, и руководствуясь указаниями Монтремэна, он отдал приказ арестовать молодого д'Эспарвье, что и было испол-

нено в среду 27 мая в семь часов утра с величайшей корректностью. Морис уже трое суток не спал, не ел, не занимался любовью, — словом, не жил. Ни на миг не усомнился он в истинной причине этого утреннего посещения. При виде полицейского комиссара на него снизошло неожиданное спокойствие. Аркадий не приходил домой ночевать. Морис попросил комиссара подождать и тщательно оделся, затем проследовал за полицейским чином в стоявшее у подъезда такси. Он был преисполнен душевной ясности, которая почти не омрачилась, когда за ним захлопнулась дверь Консьержери *. Оставшись один в камере, он взобрался на стол и выглянул в окошко. Он увидел кусочек голубого неба и улыбнулся. Источниками его спокойствия были умственная усталость, оцепенение чувств и сознание, что ему больше нечего бояться ареста. Несчастья, которые с ним произошли, наделили его высшей мудростью. На него как будто снизошла благодать. Он не переоценивал, но и не презирал себя, а просто положился на волю божью. Не стремясь затушевать свои ошибки, которых он от себя не скрывал, он мысленно обращался к провидению с просьбой принять во внимание, что он вступил на путь порока и мятежа с одной лишь целью — вернуть на путь истинный своего заблудшего ангела. Он улегся на койку и мирно заснул.

Узнав об аресте певички и сына почтенных родителей, Париж и провинция ощутили тягостное недоумение. Взволнованные трагическими картинами, которые рисовала ему большая пресса, общественное мнение требовало, чтобы закон привлек к ответственности свирепых анархистов, погрязших в убийствах и поджогах, и не могло понять, зачем власти ищут виновников в мире искусства и в высшем свете. Узнав эту новость одним из последних, председатель совета министров и министр юстиции подскочил в своем кресле, украшенном сфинксами, менее грозными, чем он сам, и в яростном возбуждении, обдумывая случившееся, изрезал перочинным ножиком, по примеру Наполеона, красное дерево императорского письменного стола. А когда вызванный им следователь Сальнэв предстал перед ним, председатель совета министров бросил ножик в камин,

подобно тому как Людовик XIV выбросил в окно свою гротость перед Лозеном *. Невероятным усилием воли он сдержал себя и сказал сдавленным голосом:

— Вы что, с ума сошли?.. Я ведь ясно указал, что заговор должен быть анархистский, антиобщественный, глубоко антиобщественный и антиправительственный с синдикалистским оттенком. Я достаточно определенно выразил желание, чтобы он был ограничен этими пределами. А вы что из него сделали? Реванш для анархистов и революционеров. Кого вы арестовали? Певицу, обожаемую националистической публикой, и сына одного из наиболее чтимых католической партией деятелей, господина Ренэ д'Эспарвье, который принимает у себя епископов, имеет доступ в Ватикан и не сегодня-завтра может сделаться посланником при папе. Из-за вас против меня сразу ополчатся его шестьдесят депутатов и сорок сенаторов правой, и это накануне запроса по поводу религиозного примирения. Вы ссорите меня с моими сегодняшними и завтрашними друзьями. Может быть, вы взяли любовные письма Мориса д'Эспарвье, чтобы узнать, не рогоносец ли вы, как этот болван дез Обель? На этот счет не сомневайтесь: вы рогоносец, и это известно всему Парижу. Но вы служите в суде не для того, чтобы вымещать свои личные обиды.

— Господин министр, — пробормотал, задыхаясь, следователь, которому вся кровь бросилась в голову, — я честный человек.

— Вы болван... и вдобавок провинциал. Слушайте: если Морис д'Эспарвье и мадемуазель Бушотта через полчаса не будут на свободе, я сотру вас в порошок. Можете идти.

Господин д'Эспарвье сам поехал за своим сыном в Консьержери и отвез его в старый дом на улице Гарансьер. Возвращение было триумфальное: пустили слух, будто юный Морис с благородной опрометчивостью отдал свои силы попытке восстановить монархию и будто судья Сальнэв, гнусный франкмасон, креатура Комба и Андре *, пытался опорочить мужественного юношу, связав его имя с бандитами. Именно так думал, по-видимому, аббат Патуйль, ручавшийся за

Мориса, как за себя самого, К тому же было известно, что, порвав со своим отцом, в свое время признавшим республику, молодой д'Эспарвье стал на путь непримиримого роялизма. Хорошо осведомленные лица усматривали в его аресте месть евреям. Ведь Морис был признанный антисемит. Католическая молодежь устроила враждебную демонстрацию следователю Сальнэву под окнами его квартиры на улице Генего, против Монетного двора.

На бульваре, у здания суда, группа студентов вручила Морису пальмовую ветвь.

Морис растрогался, увидев старый особняк, в котором жил с детства, и, рыдая, упал в объятия матери. Это был чудесный день, но, к несчастью, его омрачило тягостное событие. Г-н Сарьетт, потерявший рассудок после трагедии на улице Курсель, внезапно впал в буйство. Он заперся в библиотеке, сидел там уже целые сутки, издавая дикие крики, и отказывался оттуда выйти, невзирая ни на какие просьбы и угрозы. Ночь он провел в состоянии крайнего возбуждения, так как замечено было, что огонь лампы непрерывно двигался туда и сюда за спущенными занавесками. Утром, услышав голос Ипполита, звавшего его со двора, г-н Сарьетт открыл окно залы Сфер и Философов и запустил несколькими весьма увесистыми томами в голову старого лакея. Все слуги — мужчины, женщины, подростки — высыпали на двор, и библиотекарь принялся швырять в них целыми охапками книг. Положение обострилось настолько, что сам г-н д'Эспарвье снизошел до вмешательства в это дело. Он появился в ночном колпаке и халате и попытался образумить несчастного безумца, но тот вместо ответа изверг целый поток ругательств на человека, которого доселе почитал как своего благодетеля, и стал яростно забрасывать его всеми библиями, всеми талмудами, всеми священными книгами Индии и Персии, всеми отцами греческой и римской церкви — святым Иоанном Златоустом, святым Григорием Назианзином, святым Иеронимом, блаженным Августином, всеми апологетами и «Историей изменений» с собственноручными пометками Боссюэ. Тома in octavo, in quarto, in folio самым недостойным

образом шлепались о плиты двора. Письма Гассенди, отца Мерсенна, Паскаля разлетались по ветру. Горничной, которая нагнулась, чтобы подобрать в канаве листки писем, угодил в голову громадный голландский атлас. Г-жа д'Эспарвье, испуганная зловещим шумом, появилась во дворе, не успев накраситься. При виде ее ярость старого Сарьетта еще усилилась. Один за другим полетели бюсты древних поэтов, философов, историков. Гомер, Эсхил, Софокл, Еврипид, Геродот, Фукидид, Сократ, Платон, Аристотель, Демосфен, Цицерон, Вергилий, Гораций, Сенека, Эпиктет — превратились в осколки, а за ними с грохотом обрушились земной шар и небесная сфера, вслед за чем воцарилась жуткая тишина, которую нарушал только звонкий смех маленького Леона, созерцавшего все это представление из окна. Наконец слесарь отпер дверь библиотеки, все обитатели дома ринулись туда и увидели старого Сарьетта, который, укрывшись за горами книг, разрывал в клочья «Лукреция» приора Вандомского с собственноручными пометками Вольтера. Пришлось пробивать дорогу сквозь эти баррикады. Но когда сумасшедший увидел, что в его убежище проникли, он бросился через чердак на крышу. Целых два часа его вопли разносились по всему кварталу. Все прибывавшая толпа теснилась на улице Гарансьер, наблюдала за несчастным и испускала крик ужаса всякий раз, как он спотыкался о черепицы, ломавшиеся под его ногами. Аббат Патуйль стоял среди толпы и, ожидая, что сумасшедший с минуты на минуту сверзнется вниз, читал по нем отходную и готовился дать ему отпущение грехов *in extremis*¹. Полицейские охраняли дом и следили за порядком. Вызвали пожарных, вскоре посылались их сигналы. Они приставили лестницу к стене особняка и после жестокой борьбы схватили безумца, который оказал такое отчаянное сопротивление, что вывихнул себе руку. Его тотчас же отвезли в больницу для умалишенных*.

Морис пообедал в домашнем кругу, и у всех на лицах мелькнула растроганная улыбка, когда Виктор,

¹ В смертный час (*лат.*).

старый метрдотель, подал жареную телятину *. Аббат Патуйль, сидя по правую руку матери-христианки, умиленно созерцал эту благословенную господом семью. Но г-жа д'Эспарвье все еще была озабочена. Она каждый день получала анонимные письма, полные всяческих грубых и оскорбительных ругательств, и сначала была уверена, что это дело рук недавно уволенного лакея, а теперь узнала, что их пишет ее младшая дочь Берта, почти ребенок! Маленький Леон тоже доставлял ей немало забот и огорчений. Он плохо учился и отличался дурными наклонностями. В нем проявлялась жестокость. Он ощипал живьем канареек своей сестры, постоянно втыкал булавки в стул мадемуазель Капораль и украл четырнадцать франков у этой бедной девушки, которая с утра до вечера плакала и сморкалась.

Едва закончился обед, Морис побежал на улицу Рима, чтобы поскорее увидеться со своим ангелом. Еще за дверью он услышал громкие голоса и в комнате, где произошло явление ангела, увидел Аркадия, Зиту, ангела-музыканта и керуба, который, растянувшись на кровати, курил огромную трубку и небрежно прожигал подушки, простыни и одеяла. Они обняли Мориса и сообщили ему, что готовы к отбытию. Лица их сияли радостью и отвагой. Лишь вдохновенный автор «Алины, королевы Голконды» проливал слезы и возводил к небу испуганные взоры. Керуб насильно втянул его в партию мятежа, предоставив ему на выбор — либо томиться в тюрьмах земли, либо идти с огнем и мечом на твердьню Иалдаваофа.

Морис с болью в сердце убедился, что земля стала им почти совсем безразлична. Они покидали ее, полные великой надежды, для которой имели все основания. Конечно, их отряды были невелики по сравнению с бесчисленным воинством султана небес. Но они рассчитывали, что малочисленность их будет возмещена сокрушительной силой внезапного нападения. Они знали, что Иалдаваофа, который мнит себя всеведущим, иногда можно застигнуть врасплох. Это, несомненно, произошло бы при первом восстании, если бы он не внял сове-

там архангела Михаила. Небесное воинство ничуть не усовершенствовалось после своей победы над мятежниками, одержанной до начала времен. По вооружению и технике оно было таким же отсталым, как марокканская армия. Его военачальники погрязли в изнеженности и невежестве. Осыпанные почестями и богатствами, они предпочитали веселье пиров тяготам войны. Михаил, их главнокомандующий, по-прежнему храбрый и верный, с веками утратил пыл и отвагу. Наоборот, заговорщики 1914 года знакомы были с новейшими и совершеннейшими способами применения науки к искусству уничтожения. Наконец все было решено, все было готово. Армия восставших, собранная в корпуса по сто тысяч ангелов, во всех пустынях земли — в степях, пампасах, песках, льдах, снегах, — готова была устремиться в небо.

Ангелы, изменяя ритм движения составляющих их атомов, могут проникать сквозь самую разнообразную среду. Духи, сошедшие на землю и с момента воплощения состоящие из слишком плотной субстанции, сами уже не могут летать. Чтобы подняться в области эфира и там мало-помалу утратить плотность, они должны прибегнуть к помощи своих братьев, таких же мятежников, но пребывающих в Эмпирее и поэтому оставшихся если не вполне имматериальными (ибо все в мире материально), то, во всяком случае, чудесно легкими и прозрачными. Конечно, Аркадий, Истар и Зита не без томительного страха готовились перейти из густой земной атмосферы в лучезарные бездны неба. Чтобы окунуться в эфир, ангелам приходится употребить такие усилия, что даже самые смелые из них не вдруг решаются оторваться от земли. Проникая в эту тончайшую среду, их субстанция сама должна утончиться, испариться, перейти от человеческих размеров к объему самых больших облаков, когда-либо окутывавших земной шар. Вскоре они превзойдут по величине видимые в телескоп планеты, через орбиты которых им предстоит пройти незримыми и невесомыми, не нарушая течения этих планет. В напряжении всех сил, величайшем, на какое способны ангелы, их субстанция будет становиться то горячее огня, то холоднее

льда, и они будут испытывать страдания страшнее смерти.

По глазам Аркадия Морис понял, какая смелость нужна для подобного предприятия и какие муки оно сулит.

— Ты уходишь, — сказал он, рыдая.

— Вместе с Нектарием мы отправимся за великим архангелом, чтобы он повел нас к победе.

— Кого ты так называешь?

— Священнослужители демиурга говорили тебе о нем, клевета на него.

— Несчастный! — вздохнул Морис.

И, уронив голову на руки, залился слезами.

**Глава тридцать пятая и последняя,
в которой разворачивается величественный
сон Сатаны**

Поднявшись на семь высоких террас, идущих от крутых берегов Ганга к храмам, скрытым в зарослях лиан, пятеро ангелов добрались по едва заметным тропинкам до заброшенного сада, полного благоухающих гроздий и шаловливых обезьян, и там, в глубине, они увидели того, за кем пришли. Архангел покоился, облокотившись на черные подушки, вышитые золотыми языками пламени. У ног его мирно лежали львы и газели. Обвиваясь вокруг деревьев, ручные змеи смотрели на него дружелюбным взглядом. При виде ангелов лик его подернулся грустью. Уже в те дни, когда, увенчав чело гроздьями и держа в руках скипетр из виноградной лозы, он обучал и утешал людей, сердце его зачастую наполнялось печалью. Но никогда еще со времен его славного падения на прекрасном лице архангела не было такой скорби и тревоги.

Зита рассказала ему, что сонмы небесных мятежников собраны под черными знаменами во всех пустынях земного шара, что освободительная борьба задумана и подготовлена в тех областях неба, где разгоралась и первое восстание. И она добавила:

— Повелитель, твое воинство ждет тебя. Возглавь его и поведи к победе.

— Друзья мои, — ответил великий архангел, — мне была известна цель вашего посещения. Под сенью того высокого дерева для вас приготовлены корзины с фруктами и медовые соты. Солнце уже опускается в порозовевшие воды священной реки. Подкрепитесь пищей, а затем усните сладко в этом саду, где царят разум и наслаждение с тех пор, как я изгнал отсюда дух старого демиурга. Завтра вы услышите мой ответ.

Ночь простерла над садом свои синие покровы. И Сатана уснул, и был ему сон, и во сне этом, витая над землею, он увидел, что вся она покрыта прекрасными, как боги, мятежными ангелами, чьи глаза метали молнии. И от одного полюса до другого возносился к нему единый клич, слитый из сотен тысяч возгласов и преисполненный надежды и любви. И Сатана молвил:

— Пойдем же! Сразимся с нашим исконным врагом в его горнем жилище.

И он повел по равнинам неба бесчисленное воинство ангелов. И Сатане стало известно то, что происходило тогда в небесной твердыне. Когда весть о втором восстании проникла туда, отец сказал сыну:

— Непримирым враг снова поднялся против нас. Подумаем об опасности и позаботимся о защите, дабы не лишиться нам нашей горней обители.

И сын, единосущный отцу, ответил:

— Мы восторжествуем под знаменем, которое принесло победу Константину*.

Негодование охватило Гору господню. Верные серафимы сперва стали сулить мятежникам страшные муки, затем принялись размышлять о том, как одолеть восставших. Гнев, вспыхнувший в сердцах небожителей, воспламенил их лики. Никто не сомневался в победе, но опасались измены и уже требовали для вражеских соглядатаев и распространителей тревожных слухов заключения в недрах вечного мрака. Раздавались воинственные клики, пение древних гимнов, хвалы господе. Пили небесные вина. Чрезмерно раздутая отвага, казалось, не выдержит напряжения, и тайное беспокойство уже закрадывалось в темные глубины душ. Архан-

гел Михаил принял верховное командование. Своим спокойствием он во всех вселял уверенность. Лик архангела, отражавший все движения души, светился полным презрением к опасности. По его приказу начальники громов, керубы, разжиревшие от долгих веков мирной жизни, обходили тяжелым шагом укрепления священной Горы и, обводя громоносные тучи господни медленным взором своих воловьих очей, старались выдвинуть на позиции небесные батареи. Завершив обследование оборонительных сооружений, они уверили всевышнего, что все готово. Начали обсуждать план действий. Михаил высказался в пользу наступления. Это, — утверждал он, как настоящий военный, — первое правило: либо нападение, либо защита, середины нет.

— Кроме того, — добавил он, — тактика нападения особенно соответствует пылкости Престолов в Господств.

Обо всем остальном у доблестного вождя невозможно было вырвать ни слова, и молчание это было сочтено признаком уверенности в себе гениального стратега.

Как только неприятель был замечен, Михаил выслал ему навстречу три армии под начальством архангелов Уриила, Рафаила и Гавриила. Знамена цветов зари развернулись над эфирными полями, и молнии посыпались на звездную мостовую. Три дня и три ночи на Горе господней ничего не знали об участии возлюбленного и грозного воинства. На рассвете четвертого дня стали поступать известия, еще неопределенные и смутные. Говорили о недостоверных победах, о сомнительных успехах. Слухи о славных деяниях возникали и рассеивались в течение нескольких часов. Передавали, будто молнии Рафаила, направленные на мятежников, уничтожали их целыми эскадронами. Лица, хорошо осведомленные, утверждали, что войска, которыми командовала нечестивая Зита, были сметены вихрями огненной бури. Рассказывали, что яростный Истар был сброшен в бездну и при этом перевернулся задом вверх так внезапно, что изрыгаемые его устами богохульства закончились громким позорным звуком. Всем хотелось

верить, что Сатана закован в алмазные цепи и снова низринут в пропасти ада. А между тем от начальников трех небесных армий не поступало никаких сообщений. К слухам о победе стали примешиваться теперь другие, заставлявшие опасаться неопределенного исхода битвы и даже поспешного отступления. Дерзкие голоса утверждали, будто один ангел самой низшей категории, ангел-хранитель, какой-то ничтожный Аркадий, привел в замешательство и обратил в бегство блистательное воинство трех великих архангелов.

Говорили также о массовом переходе на сторону врага ангелов, обитавших в северной части неба, где когда-то, до начала времен, разразилось первое восстание. Некоторые будто бы даже видели черные тучи нечестивых ангелов, присоединявшихся к мятежным войскам, собранным на земле. Но добрые граждане отказывались верить этим гнусным слухам и цеплялись за вести о победе, которые передавались из уст в уста, подкрепляя и подтверждая одна другую. В горних областях зазвучали радостные гимны; на арфах и гусях серафимы восхваляли Саваофа, бога громов. Голоса святых слились с голосами ангелов, славя незримого. При мысли об избиении, учиненном посланцами гнева божия, вздохи ликования поднимались из Небесного Иерусалима к престолу всевышнего. Но радость блаженных, заранее достигшая предела, уже не могла возрастать, и от избытка счастья они стали совершенно бесчувственны.

Песнопения еще не умолкли, когда стража, стоявшая на стенах, заметила первых беглецов божественного воинства — ошипанных, летевших в полном беспорядке серафимов, искалеченных керубов, ковылявших на костылях. Князь воинства Михаил обозревал размеры бедствия невозмутимым взглядом, и его светлый разум постигал причины поражения. Воины бога живого пошли в наступление. Но по одной из тех случайностей, которые на войне расстраивают планы величайших полководцев, противник тоже перешел в наступление, и последствия были налицо. Едва лишь ворота крепости распахнулись, чтобы принять славные и изувеченные остатки трех армий, как огненный дождь

излился на Гору господню. Воинства Сатаны еще не было видно, а уже топазовые стены, изумрудные купола, алмазные кровли с ужасающим грохотом рушились под разрядами электрофоров. Устаревшие грозовые тучи пытались отвечать, но они действовали на слишком короткое расстояние, и молнии их бесцельно терялись в пустынных просторах неба.

Пораженные невидимым противником, верные ангелы покинули крепостные стены. Михаил отправился к своему господу доложить, что не пройдет и суток, как священная Гора окажется во власти демонов, и что единственное спасение для владыки мира — это бегство. Серафимы собрали в сундуки драгоценности небесной короны. Михаил предложил руку царице небесной, и божественное семейство покинуло дворец через порфирные подземелья. А на твердыню небесную низвергался огненный потоп. Заняв снова свой боевой пост, доблестный архангел заявил, что не сдастся никогда, но тотчас же велел спустить знамена бога живого. В тот же вечер воинство мятежников вошло в трижды святой град. Впереди своих демонов ехал на огненном коне Сатана. За ним шли Аркадий, Истар и Зита. Как во время Дионисовых празднеств, старый Нектарий ехал на осле. За ним вдалеке развевались черные знамена. Гарнизон сложил оружие перед Сатаной. Михаил опустил к ногам архангела-победителя свой пылающий меч.

— Возьми свой меч, Михаил, — молвил Сатана. — Люцифер возвращает его тебе. Носи его в защиту мира и законности.

Затем, обратив свой взор к начальникам небесных фаланг, он воскликнул звучным голосом:

— Архангел Михаил и вы, Власти, Престоли и Господства, клянитесь верно служить своему богу.

— Клянемся, — ответили все в один голос.

И Сатана молвил:

— Власти, Престоли и Господства, из того, что было во всех прошлых войнах, я хочу помнить одно лишь непоколебимое мужество, проявленное вами, и вашу верность власти предержавшей; пусть будут они залогом той верности, в которой вы только что поклялись мне.

На другой день Сатана велел раздать войскам, собранным на эфирных равнинах, черные знамена; и крылатые воины лобзали их и орошали слезами.

И Сатана провозгласил себя богом. Толпясь на блистающих стенах Небесного Иерусалима, апостолы, папы, девственницы, мученики, исповедники, все избранные, пребывавшие во время грозной битвы в блаженном спокойствии, наслаждались с безграничной радостью зрелищем священного венчания. С восторгом увидели избранные низвержение Всевышнего в ад и восшествие Сатаны на божий престол. В соответствии с волею бога, сделавшего для них скорбь запретной, они на старый лад воспели хвалу новому владыке.

И Сатана, устремив пронзительный взгляд в пространство, стал смотреть на маленький шар из земли и воды, где он некогда насадил виноград и создал первые трагические хоры. Он обратил взор свой на Рим, где низвергнутый бог обманом и хитростью основал некогда свое могущество. Церковью управлял в то время некий святой муж. Сатана увидел, что он молится и плачет. И сказал ему:

— Поручаю тебе супругу мою. Служи ей верно. Утверждаю за тобой право и власть устанавливать догматы, определять, как и когда должны совершаться таинства, издавать законы для сохранения чистоты нравов. И да повинуется им каждый верующий. Церковь моя вечна, и врата ада не одолеют ее. Ты непогрешим. Ничто не изменилось.

И преемник апостолов почувствовал безграничное блаженство. Он пал ниц и, уронив голову на плиты, ответил:

— Господи боже мой, узнаю голос твой. Дыхание твое, как бальзам, разлилось в моем сердце. Да святится имя твое. Да будет воля твоя на небесах и на земле. Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.

И Сатана упивался хвалами и поклонением. Ему нравились славословия его мудрости и могуществу. Он с удовольствием слушал песнопения херувимов, превоз-

носивших его благодать, а флейта Нектария перестала радовать его, потому что она воспевала природу, признавая за всяким насекомым, всякой травинкой их долю силы и любви, говорила о радости и свободе. Сатана, некогда содрогавшийся всем телом при мысли, что миром владеет скорбь, стал теперь недоступен жалости. Он смотрел на страдание и смерть как на отрадное следствие своего всемогущества и великого милосердия. И кровь жертв курилась перед ним, возносясь, как сладостный фимиам. Он осуждал разум и ненавидел любознательность. Сам он отказывался познавать что-либо из опасения, как бы приобретение нового знания не показало, что он не был с самого начала всеведущим. Теперь он любил окружать себя тайной и, считая, что потеряет часть своего величия, если будет понят, старался избразить себя непостижимым. Мозг его туманили сложные богословские построения. В один прекрасный день он задумал, по примеру своего предшественника, провозгласить себя единым божеством в трех лицах. На торжестве провозглашения он заметил, что Аркадий улыбается, и прогнал его с глаз долой. Истар и Зита уже давно вернулись на землю. Века проходили как мгновения. И вот однажды с высоты своего престола он пронику взором в самую глубину бездны и увидел Иалдаваофа в геенне, куда низвергнул его и где сам был долгое время заточен. Иалдаваоф и в вечной тьме сохранил свою гордость. Почерневший, сломленный, грозный, величественный, он возвел ко дворцу небесного царя полный презрения взор — и отвернулся. И новый бог, наблюдая за своим противником, увидел, как скорбное лицо его озарилось разумом и добротой. Теперь Иалдаваоф созерцал землю и, видя, что на ней царят страдание и зло, питал в сердце своем благие помыслы. Вдруг он поднялся и, рассекая эфир своими необъятными руками, словно веслами, устремился на землю, чтобы просвещать и утешать людей. Вот уже огромная тень его окутала несчастную планету сумраком, нежным, как ночь любви.

И Сатана проснулся, весь в холодном поту.

Нектарий, Истар, Аркадий и Зита стояли подле него. Пели жар-птицы.

— Друзья, — сказал великий архангел, — не станем завоевывать небо. Довольно того, что это в наших силах. Война порождает войну, а победа — поражение.

Побежденный бог обратится в Сатану, победоносный Сатана станет богом. Да избавит меня судьба от такой страшной участи! Я люблю ад, взрастивший мой дух, люблю землю, которой мне удалось принести немного добра, если только это возможно в ужасном мире, где все живет убийством. Ныне благодаря нам старый бог лишился земного владычества, и все мыслящее на земном шаре не хочет знать его или же презирает. Но какой смысл в том, чтобы люди не подчинялись Иалдаваофу, если дух его все еще живет в них, если они, подобно ему, завистливы, склонны к насилию и раздорам, алчны, враждебны искусству и красоте? Какой смысл в том, чтобы они отвергли свирепого демиурга, раз они отказываются слушать дружественных демонов, несущих им познание истины, — Диониса, Аполлона и Муз? Что же касается нас, небесных духов, горних демонов, то мы уже уничтожили Иалдаваофа, нашего тирана, если победили в себе невежество и страх.

И Сатана обратился к садовнику:

— Нектарий, ты сражался вместе со мной до рождения мира. Тогда мы были побеждены, ибо мы не понимали, что победа — это дух и что в нас, и только в нас самих, должны мы побороть и уничтожить Иалдаваофа.

МАЛЕНЬКИЙ

ПЬЕР

*Моему старому другу
Леопольду Кану **

*в память о его сыне, лейтенанте
Жаке Кане, тяжело раненном в сра-
жении при Шавонн-Супир 30 октяб-
ря 1914 года и пропавшем без вести.*

А. Ф.

Перевод *Д. Г. Лившиц*
под редакцией *М. В. Вахтеровой*

I

*Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem*¹

Матушка часто рассказывала мне о различных обстоятельствах, связанных с моим рождением, но они не казались мне такими значительными, какими казались ей, я не обратил на них должного внимания, и они изгладилась из моей памяти.

Когда в семье родится чадо,
Бежать за повитухой надо
В всех соседок в дом скликать...²

Однако, основываясь на слухах, я берусь утверждать, что в конце царствования Луи-Филиппа обычай, о котором говорится в стихах старого парижанина, был еще не совсем утрачен. Ибо в ожидании моего появления на свет в спальне г-жи Нозьер собралось множество почтенных дам. Дело происходило в апреле. Было свежо. Четыре или пять кумушек из нашего квартала, в том числе г-жа Комон — жена книгопродавца, вдова Шанделье и г-жа Данкен, подкладывали поленья в камин и пили подогретое вино, меж тем как матушка моя уже мучилась сильными болями/

¹ Мальчик, с младенческих дней ты мать узнавай по улыбке (лат.). — Вергилий, Буколики, 4 эклога, стих 60. (Перевод Л. Гроссмана.)

² Все переводы стихов с французского в книге «Маленький Пьер» и в книге «Жизнь в цвету», кроме особо оговоренных случаев, сделаны Ю. Б. Корнеевым.

— Кричите, госпожа Нозьер, кричите вволю, — говорила г-жа Комон. — Вам станет легче.

Госпожа Шанделье, не зная, куда девать свою двенадцатилетнюю дочь Эльвиру, привела ее с собой, но то и дело высылала из комнаты, опасаясь, как бы я вдруг не увидел свет в присутствии столь юной девицы, что было бы неприлично.

Все эти дамы были не из молчаливых и, как я потом узнал, трещали без умолку, словно в доброе старое время. Г-жа Комон, к великому неудовольствию моей матушки, без конца рассказывала страшные истории о «сглазе». Одна ее знакомая, находясь в интересном положении, встретила как-то безногого калеку, который просил милостыню, опираясь руками на утюги, — и родила ребенка без ног. Она сама, будучи беременна своей дочерью Нозми, испугалась бросившегося ей под ноги зайца, и Нозми родилась с острыми ушами, которые шевелились.

В полночь боли и схватки прекратились. Это внушало тем более серьезные опасения, что матушка уже однажды родила мертвого ребенка и едва не умерла сама. Все женщины наперебой давали советы. Г-жа Матиас, старуха служанка, не знала, кого и слушать. Отец мой, очень бледный, каждые пять минут входил в спальню и выходил, не сказав ни слова. Сам искусный врач, а в случае надобности и акушер, он не решался вмешиваться, когда дело шло о родах его жены, и заранее пригласил своего коллегу, старика Фурнье, ученика Кабаниса *. Ночью схватки возобновились.

Я появился на свет в пять часов утра.

— Мальчик, — сказал старик Фурнье.

И все кумушки воскликнули хором, что они это предсказывали.

Госпожа Морен вымыла меня большой губкой в медной миске. Это приводит на ум старинные картины, изображающие рождество богородицы, но если говорить правду, то меня попросту выкупали в тазу для варки варенья. Г-жа Морен объявила, что у меня есть на левом бедре красное родимое пятнышко, которое, по ее словам, появилось вследствие того, что матушку,

носившую меня, потянуло на вишни, когда она гуляла в саду тети Шоссон.

Старик Фурнье, глубоко презиравший народные предрассудки, возразил на это, что счастье еще, что г-жа Нозьер ограничилась во время беременности столь скромным желанием, ибо, если бы ей вздумалось пожелать перья, драгоценности, кашемировую шаль, коляску четверкой, особняк, замок или парк, то на всем моем тщедушном тельце не хватило бы кожи, чтобы запечатлеть все эти обширные вожеления.

— Говорите что хотите, доктор, — сказала г-жа Ко-мон, — но в ночь под рождество сестре моей Мальвине, которая была тогда в интересном положении, не терпелось сесть за праздничный стол, и ее дочь...

— Родилась с колбасой на кончике носа, не так ли? — перебил ее доктор.

И он велел г-же Морен пеленать меня не слишком туго.

Между тем я так кричал, что все испугались, как бы я не задохнулся.

Я был красен, как помидор, и, по общему признанию, представлял собой довольно гадкого маленького зверька. Матушка попросила, чтобы ей показали меня, немного приподнялась, протянула руки, улыбнулась мне и снова в изнеможении уронила голову на подушку. Так я получил, в знак приветствия, улыбку ее нежных и чистых уст, ту улыбку, без которой, по выражению поэта, человек недостоин ни трапезы богов, ни ложа богинь*.

Наиболее интересным обстоятельством, связанным с моим рождением, на мой взгляд, было то, что Пук, впоследствии названный Кэрм, родился в соседней комнате на старом ковре одновременно со мною. Финетта, его мать, хотя и низкого происхождения, была очень смышленной. Г-н Адельстан Брику — старый друг моего отца, человек либеральных взглядов, требовавший избирательной реформы, — превозносил, основываясь на примере Финетты, ум простого народа. Пук не был похож на свою темную курчавую мать. У него была рыжая шерсть, короткая и жесткая, но он унаследовал от Финетты вульгарные манеры и тонкий ум. Мы

выросли вместе, и отец мой вынужден был признать, что сообразительность у щенка развивалась быстрее, чем у его сына, и что по прошествии пяти-шести лет Пук лучше знал жизнь и природу, чем маленький Пьер Нозьер. Установление этого факта было ему неприятно, потому что он был отцом и еще потому, что согласно своей теории он весьма неохотно признавал за животными долю той мудрости, которую считал достоянием человека.

Наполеон на острове св. Елены очень удивился, узнав, что О'Меара *, который был врачом, не был атеистом. Если бы ему случилось встретиться с моим отцом, он увидел бы врача-спиритуалиста, который в качестве такового верил в бога, существующего отдельно от мира, и в душу, существующую отдельно от тела.

— Душа, — говаривал он, — это сущность. Тело — видимость. Значение этих слов лежит в них самих: видимость — есть то, что можно видеть, а говоря — сущность, мы подразумеваем нечто сокровенное.

К сожалению, я никогда не мог заинтересоваться метафизикой. Мой ум сформировался по образцу ума моего отца, подобно той чаше, которую скульптор изваял по форме груди своей возлюбленной: самые пленительные ее округлости воспроизводились углублением. Отец мой имел о душе человека и о его судьбе весьма возвышенное представление. Он верил, что она предназначена для небес, и эта вера делала его оптимистом. Но в повседневной жизни он бывал серьезен, а порой и мрачен. Подобно Ламартину, он редко смеялся *, был совершенно лишен чувства юмора, терпеть не мог карикатуру и не любил ни Рабле, ни Лафонтена. Окутанный дымкой какой-то поэтической меланхолии, он был истинным сыном века и по своему умонастроению и по привычкам. Его прическа, его платье были в полном соответствии с духом той романтической эпохи. Мужчины его поколения причесывались так, словно их растрепал порыв ветра. Разумеется, этот поэтический беспорядок придавала их шевелюре искусно применяемая головная щетка, но у них всегда был такой вид, словно они вышли из схватки с бурями и аквилонами.

И как ни скромнен был мой отец, он отдал свою дань аквилонам и меланхолии.

Он был оптимистом, но меланхоликом. Взяв его за образец, я стал пессимистом, но жизнерадостным. Во всем решительно я инстинктивно противился ему. Он, вместе с романтиками, любил все неясное и неопределенное. Мне стали нравиться блистательный разум и великолепная стройность классического искусства. С течением времени эти противоречия, все обостряясь, сделали наши беседы несколько затруднительными, но взаимная наша привязанность не ослабела. Таким образом, я обязан моему превосходному отцу кое-какими достоинствами и многими недостатками.

Матушка, у которой было мало молока, пожелала, однако, во что бы то ни стало, кормить меня сама. Старый Фурнье, последователь Жан-Жака *, разрешил ей это, и, очень довольная, она начала давать мне грудь. Это пошло на пользу моему здоровью, и если душевные качества впитываются с молоком матери, — а многие утверждают, что это так, — то мне было с чем поздравить себя.

Матушка обладала чарующим умом, прекрасной, благородной душой и трудным характером. Слишком чувствительная, слишком любящая, слишком впечатлительная, чтобы найти мир в самой себе, она, по ее словам, обрела радостное спокойствие в религии. Не особенно усердная ко внешней стороне обрядов, она была глубоко благочестива. Из любви к истине я должен сказать, что она не верила в ад. Но это неверие не было у нее ни упорным, ни злостным, — иначе аббат Муанье, ее духовник, не допускал бы ее к святому причастию. От природы она была весела, но безрадостное детство, а потом домашние заботы и тревоги материнской любви, превратившейся в страсть, сделали ее печальной и подорвали крепкое прежде здоровье. Она омрачила мое детство припадками меланхолии и внезапными слезами. Ее страстная привязанность ко мне доходила до того, что она буквально теряла рассудок, такой ясный и твердый во всем остальном. Она, кажется, была бы довольна, если бы я перестал расти, лишь бы только иметь возможность вечно держать меня около своей юбки.

И, желая видеть меня гением, она в то же время радовалась, что я еще глуп и нуждаюсь в ее уме. Все, что обещало мне хоть немного независимости и свободы, внушало ей тревогу. Ей мерещились ужасные опасности, которым я подвергался вдали от нее, и если случалось, что моя прогулка хоть немного затягивалась, она встречала меня в страшном возбуждении, с безумными глазами. Она непомерно преувеличивала мои достоинства и бурно восторгалась мною по самому ничтожному поводу, что очень тяготило меня, так как всякие незаслуженные похвалы были для меня настоящей пыткой. Но хуже всего было то, что бедная моя матушка в такой же степени преувеличивала мои вины и мои проступки. Она никогда не наказывала меня за них, но упрекала таким горестным тоном, что раздирала мне сердце. Сколько раз из-за горьких сетований матушки я готов был счесть себя величайшим преступником, и она непременно сделала бы меня болезненно мнительным, если бы с ранних лет я не запасся для себя некоей моральной индульгенцией. И я не только не раскаиваюсь, но до сих пор не перестаю хвалить себя за это, ибо только тот снисходителен к своему ближнему, кто снисходителен к самому себе.

Меня окрестили в церкви Сен-Жермен-де-Пре, а моей крестной матерью была фея. Люди называли ее Марсель *, она была прекрасна как день и в свое время вышла замуж за уроды по имени Дюпон, в которого безумно влюбилась, так как феи всегда влюбляются в уроды. Она заколдовала мою колыбель и сейчас же уехала в какие-то заморские края. Я увидел ее, когда начиналась моя юность, и она промелькнула как тоскующая тень Дидоны в миртовой роще *, как лунный луч, блеснувший на лесной прогалине. Эта встреча была короче вспышки молнии, но память до сих пор хранит ее аромат, ее краски. Мой крестный, Пьер Данкен, оставил во мне не столь изысканные воспоминания. Вот он стоит передо мной, тучный, низенький, с курчавыми седыми волосами, с круглыми отвислыми щеками, с добрым и проникательным взглядом из-под золотых очков. На животе, толстом, как у Гримо де ла Реньера *, — красивый атласный жилет с разводами, вышитый ру-

ками г-жи Данкен. Длинный черный шелковый галстук семь раз обернут вокруг шеи, а высокий воротник рубашки веером окружает цветущее лицо. В 1815 году он видел в Лионе Бонапарта *. Принадлежал к либеральной партии и занимался геологией.

На одной из улиц, выходящих на набережную Сены, где родился ребенок, который до сих пор еще, после стольких лет, не знает, хорошо или плохо он сделал, что явился на свет, — среди множества человеческих существ, живущих своей безвестной жизнью, некий человек с крупным черепом, жестким и голым, как глыба бретонского гранита, человек, чьи глаза, глубоко сидящие в продолговатых орбитах, некогда метали пламя, а ныне едва хранят слабую искру света, некий старик, угрюмый, немощный и надменный, — Шатобриан, прославивший свое столетие *, — угасал в тоске и унынии.

Иногда, по тем же набережным, прогуливался, спустившись с холмов Пасси, старичок с облысевшим лбом, с длинными седыми волосами, с угреватым лицом, с улыбкой на губах, с розой в петлице, — старичок столь же плебейского вида, сколь тот, другой, казался аристократом. И прохожие останавливались, чтобы взглянуть на знаменитого сочинителя песен.

Шатобриан — католик и монархист, Беранже — приверженец Наполеона, республиканец и вольнодумец, — вот те две звезды, под которыми я родился.

II

Первобытные времена

Самое старинное мое воспоминание — цилиндр с длинным ворсом, с широкими полями, с зеленой шелковой подкладкой и бурой кожаной подшивкой, в верхней своей части вырезанной язычками, подобно зубцам короны, с той разницей, что зубцы эти не совсем сходились и между ними сквозь круглое отверстие виднелся красный фуляровый платок, засунутый между кожаной подшивкой и дном шляпы, украшенным монограммой

фирмы. Старый, совершенно седой господин входил в гостиную с этим цилиндром в руке и, вынув из него фуляровый носовой платок, запачканный нюхательным табаком, разворачивал его, обнаруживая Наполеона в сером сюртуке, стоящего на Вандомской колонне. Затем старый господин извлекал из глубины цилиндра маленький сухой пряник и медленно поднимал его над головой — маленький, круглый и плоский пряник, блестящий и полосатый с одной стороны. Я протягивал руки, чтобы схватить его, но старый господин не отдавал мне пряника, пока не успевал вдоволь насладиться моими напрасными усилиями и стонами — следствием обманутых надежд. Словом, он забавлялся мною, точно собачонкой. И, кажется, как только я заметил это, я взбунтовался, уязвленный в своем достоинстве царя природы, господствующего над всеми животными.

Пряники эти, когда вы откусывали от них кусочек, вначале наполняли вам рот как будто песком, но вскоре этот песок превращался в сладкое тесто, довольно вкусное, несмотря на терпкий привкус табака, который неожиданно напоминал о себе. Я их любил или думал, что люблю, пока не обнаружил, что они продаются в старой булочной на улице Сены, где их хранят в мутной зеленоватой банке. Тогда меня охватило отвращение, я плохо скрыл его от старого господина, и тот был огорчен.

Впоследствии я узнал, что фамилия старого господина была Мориссон и что в 1815 году он служил военным врачом в английской армии.

После битвы при Ватерлоо, обедая как-то за офицерским столом, где все оплакивали погибших героев, г-н Мориссон сказал:

— Вы забыли одного покойника, господа, того, чья смерть является для нас самой прискорбной и кого мы должны оплакивать самыми горькими слезами.

Все стали спрашивать, кто же этот покойник, и он ответил:

— Продвижение по службе, господа. Наша победа, поставившая предел карьере Бонапарта, положила конец войнам, а на войне мы быстро добивались чинов.

При Ватерлоо было убито и Продвижение. Давайте же помянем его, господа.

Господин Мориссон вышел в отставку и поселился в Париже, где женился и стал практикующим врачом. В 1848 году он умер здесь от холеры вместе с женой.

Мне помнится также, что приблизительно в это же время, когда я еще ковылял, уцепившись за передник г-жи Матиас, мне довелось однажды увидеть в гостиной человека с большими бакенбардами (то был г-н Деба, прозванный Симоном из Нантуи *), который, вооружившись кисточкой, заклеивал зеленые с разводами обои. Разорванные и вздыбившиеся, они образовывали дыру пальца в два, и в эту дыру виднелась дерюга, вся рваная, а за ней — какие-то темные глубины. Все эти детали предстали передо мной с удивительной рельефностью, и память моя все еще хранит их, хотя многие другие картины, прошедшие передо мною в те первобытные времена, совершенно исчезли. Разумеется, тогда я не стал задумываться над ними, так как был еще слишком мал, чтобы мыслить, но несколько позже, лет около четырех, когда ум мой достаточно окреп, чтобы заблуждаться, и когда благодаря полученному воспитанию я уже умел превратно толковать явления, мне пришло в голову, что за этой дерюгой, прикрытой зелеными обоями, витают во мраке какие-то неведомые создания, отличающиеся от людей, птиц, рыб и насекомых, — создания таинственные, неуловимые, полные недобрых замыслов. И я не без любопытства и не без страха подходил всегда к тому месту в гостиной, где г-н Деба заклеивал щель, которая, однако, оставалась заметной: края зеленых обоев соединились не совсем плотно, и в промежутке виднелся кусок подклеенной снизу газеты — вещь некрасивая, но драгоценная, ибо она преграждала доступ к нам в комнату духам тьмы, существам двух измерений, загадочным и враждебным.

В один день среди других дней (как выражаются сказочники Востока, которые, подобно мне, плохо знают хронологию), итак, в один день среди других дней, на четвертом году моей жизни, я заметил, что зеленые обои около фортепьяно разорвались и через звездооб-

разное отверстие видны нитки грубого холста, скрестившиеся над черной дырой еще более страшной, чем щель, некогда заделанная г-ном Деба. С нечестивым любопытством, достойным потомка дерзкого племени Иапета *, я приблизил к этому отверстию глаз и увидел кишащий мрак, от которого волосы встали у меня дыбом. Затем я приложил к нему ухо, услышал зловещий шум, и какое-то леденящее дуновение коснулось моей щеки. Все это подтвердило мою уверенность в том, что за обоями существует другой мир.

Я жил в это время двойной жизнью. Естественная и обыденная, порой скучная днем, она становилась ночью сверхъестественной и страшной. Вокруг моей кровати, постеленной красивыми руками моей матушки, двигались странной и пугающей походкой, в которой, однако, был и свой ритм и своя гармония, маленькие уродливые фигурки, горбатые, скрюченные, одетые по очень странной моде, — словом, такие, какими я снова увидел их много лет спустя на гравюрах Калло *. Разумеется, я не придумал их сам. Соседство г-жи Лектор, торговавшей эстампами и выставлявшей свои гравюры на том пустыре, где ныне возвышается здание Школы изящных искусств, отлично объясняет их появление. Но мое воображение добавляло к ним кое-что и от себя. Оно вооружало моих ночных преследователей вертелами, клистирными трубками, метлами и другими домашними орудиями. От этого они шествовали не менее важно — в круглых очках, с бородавками на носу, точно торопясь куда-то и как будто даже не замечая меня.

Как-то вечером, когда лампа еще горела, к моей кровати подошел отец и посмотрел на меня, улыбаясь чудесной улыбкой грустных людей — людей, улыбающихся редко. Я уже засыпал. Он начал щекотать мне ладонку и быстро говорить какой-то шуточный стишок, из которого я разобрал только несколько слов: «Продаю тебе коровку». Не видя никакой коровы, я, естественно, спросил у него:

— Папа, где же коровка, которую ты мне продал?
Я заснул и во сне снова увидел отца. На этот раз у

него на ладони стояла маленькая рыжая с белыми пятнами корова, совсем живая, такая живая, что я ощутил теплоту ее дыхания и запах стойла. И потом, много ночей подряд, мне все снилась коровка, рыжая с белыми пятнами.

III

Альфонсина

Альфонсина Дюзюэль была худенькая болезненная девочка, на семь лет старше меня. У нее были сальные волосы и лицо в веснушках. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что именно эти ее недостатки оказались в дальнейшем самыми непростительными в глазах окружающих. Я знал за ней и другие, менее крупные, как, например, лицемерие и злость, которые проявлялись у нее с такой естественностью, что в них была своя прелесть.

Однажды, когда моя дорогая матушка гуляла со мной по набережной, мы встретили г-жу Дюзюэль с дочерью, и дамы остановились, чтобы немного поболтать.

— Ах, какой он душка! Какой хорошенький мальчик! — вскричала юная Альфонсина, целуя меня.

Еще не обладая умом собаки или кошки, я был, подобно им, ручным зверьком и, подобно им, любил лесть, которую хищные звери презирают. В порыве нежности, растрогавшей обеих матерей, юная Альфонсина схватила меня на руки, прижала к груди и осыпала градом поцелуев, громко восторгаясь моей миловидностью. И в то же самое время она булавкой колола мне икры.

Я, разумеется, начал отбиваться, колотить Альфонсину кулаками, ногами, вопить и реветь.

При этом зрелище во взгляде г-жи Дюзюэль и в ее молчании выразились изумление и гнев. Матушка горестно смотрела на меня, спрашивая себя, как могла она произвести на свет этого маленького изверга, и то обвиняла в этом незаслуженном несчастье небо, то упрекала себя самое, решив, что, очевидно, заслужила

его своими прегрешениями. Словом, она стояла смущенная, теряясь перед тайной моей испорченности. Но как мог я разъяснить ей эту тайну, если еще не умел говорить? Те немногие слова, которые мне удалось пролепетать, ни капельки не помогли при данных обстоятельствах. Когда меня опустили на землю, я стоял, задыхаясь, обливаясь слезами, а юная Альфонсина, нагнувшись ко мне, вытирала мне щеки, жалела, оправдывала меня:

— Ведь он еще такой маленький! Не браните его; госпожа Нозьер. Я так его люблю!

И это было не один раз. Нет, раз двадцать Альфонсина бурно целовала меня и при этом всаживала булавку мне в икры.

Впоследствии, научившись говорить, я раскрыл ее коварство матушке и г-же Матиас, которая присматривала за мной. Но мне не поверили. И упрекнули в том, что я клевету на невинную, чтобы прикрыть этим собственные проступки.

Я давно уже простил юной Альфонсине ее коварную жестокость и даже ее сальные волосы. Скажу больше — я признателен ей за то, что, когда мне было около двух лет, она сильно подвинула меня в познании человеческой природы.

IV

Маленький Пьер попадает в газеты

Пока я не выучился читать, газета имела для меня какую-то таинственную привлекательность. Когда отец разворачивал огромные, покрытые маленькими черными значками листы, когда он читал отдельные места вслух и из этих значков возникали мысли, мне казалось, что у меня на глазах совершается чудо. С этого тоненького листка, покрытого такими узенькими, не имевшими в моих глазах никакого смысла строчками, слетали преступления, катастрофы, празднества, приключения: Наполеон Бонапарт убегал из крепости Гам *, Мальчик-с-пальчик наряжался генералом *, ма-

сляничный бык Дагобер разгуливал по Парижу *, герцогиню де Прален убивали *. Все это было на листе бумаги и тысяча других вещей, менее важных, более привычных, но возбуждавших мое любопытство: все эти «некие» господа, которые получали или наносили удары шпагой, попадали под колеса экипажей, падали с крыш или относили полицейскому комиссару найденный ими кошелек с деньгами. Откуда бралось столько «неких» господ, если я не видел ни одного из них? И я тщетно пытался представить себе этих «неких» господ. Я расспрашивал о них, но мне отвечали весьма невразумительно.

В те далекие времена г-жа Матиас приходила к нам в дом помогать Мелани, с которой, впрочем, она совсем не ладила. Г-жа Матиас, женщина неуживчивая, резкая и вспыльчивая, уделяла много внимания моей особе. Она придумала множество поучительных и назидательных уловок, имеющих целью меня исправить. Например, она притворялась, будто в газете, в отделе хроники, среди заметок о пожаре, «приписываемом злому умыслу», или о несчастном случае, происшедшем «с неким поденщиком Дюшеном», она находила отчеты о том, как я вел себя накануне. Она читала. «Юный Пьер Нозьер плохо вел себя вчера в Тюильрийском саду. Он не слушался и капризничал, но дал слово исправиться от этих серьезных недостатков».

В двухлетнем возрасте у меня уже хватало здравого смысла, чтобы не так-то легко поверить, будто обо мне пишут в газетах, как о г-не Гизо или о «некоем» поденщике Дюшене. Я замечал, что г-жа Матиас, которая разбирала, слегка запинаясь, но без особых обмолвок, другие сообщения, начинала как-то странно путаться, когда доходила до мест, касавшихся меня, из чего я заключал, что они вовсе не были напечатаны в газете, а она просто придумывала их, и притом не слишком искусно. Словом, я отнюдь не заблуждался на сей счет. Но мне так не хотелось отказаться от славы человека, о котором пишут в газетах, что я предпочитал сомневаться в истинности этого факта, нежели удостовериться в том, что он ложен.

Вот что еще я нахожу во мраке первобытных времен. Это пустяк, но все истоки имеют для нас особый интерес, интерес тайны, и, не имея возможности познать начала человеческой мысли, мы рады, когда можем проследить пробуждение разума хотя бы у ребенка. А если этот ребенок не является каким-нибудь исключительным или необыкновенным, то он представляет собой еще более драгоценный объект для наблюдений, ибо в нем одном отражены свойства множества детей. Поэтому, а также потому, что это доставит мне большое удовольствие, я и расскажу сейчас мое маленькое приключение.

В один прекрасный день... я не могу выразиться точнее, ибо место этого дня в ряду времен давно потеряно и его уже не восстановишь, — итак, в один прекрасный день, вернувшись с прогулки с Меланж, моей старой няней, я, как обычно, вошел в комнату матушки и почувствовал какой-то незнакомый запах, который, как я узнал впоследствии, был запахом угара, — не едкий и удушливый, а скорее тонкий, коварный, приторный. Меня-то он ничуть не встревожил, потому что по части обоняния я больше походил тогда на щенка Кэра, чем на Робера де Монтестью *, певца ароматов. И вот в то самое время, когда этот неизвестный, или, вернее сказать, неузнанный мною, запах щекотал мои неискушенные ноздри, дорогая моя матушка, предварительно спросив у меня, хорошо ли я себя вел на прогулке, вложила мне в руку какой-то стебель изумрудного цвета длиною с десертный нож, но значительно толще, весь сверкающий от сахара и исполненный прелести неведомого, ибо я никогда еще не видел такого лакомства.

— Попробуй, — сказала матушка, — это очень вкусно.

Действительно, это было очень вкусно. Когда я откусил от стебелька кусочек, он весь рассыпался на сахаренные, очень приятные на вкус волокна, которые понравились мне больше, чем все лакомства, какие я ел до сих пор.

И это сладкое растение навело меня на мысль о полях той страны, где молочные реки текли меж кисельных берегов. Хотя, говоря откровенно, я так же мало верил в эти блаженные края, как Вергилий верил в Елисейские поля, которыми восторгались греки,

Quamvis elysios miretur Græcia campos¹.

Однако, как и Вергилий, я любил волшебный вымысел и восхищался, не ведая, каким способом кондитеры готовят ствол дягиля, чтобы сделать его приятным для неба. Ибо эта чудесная изумрудная палочка была всего лишь кусочком дягиля, преподнесенного матушке г-жой Комон, которой прислали его из Ниора целый ящик.

Через несколько дней после этого события, точно так же возвратившись с прогулки с моей няней Мелани, я почувствовал в комнате матушки своеобразный запах угара, сладковатый и коварный, — тот самый запах, который я принял в прошлый раз за запах дягиля.

Я поцеловал мою дорогую матушку, соблюдая неизменный ритуал. Она спросила, весело ли мне гулялось, и я ответил утвердительно. Спросила, не очень ли я замучил Мелани, и я ответил отрицательно. Затем, выполнив свои сыновние обязанности, я стал ждать, чтобы матушка дала мне кусок дягиля. Так как она снова взялась за вышивание и, по-видимому, не собиралась доставить мне ту радость, которой я от нее ждал, мне пришлось самому попросить у нее кусочек дягиля, что я сделал довольно неохотно, — столь велика была тонкость моих чувств. Матушка подняла глаза от своего рукоделия, посмотрела на меня с легким удивлением и сказала, что у нее нет дягиля.

Не смея заподозрить ее во лжи, даже и в самой невинной, я решил, что она шутит и нарочно не исполняет моего желания, — либо желая разжечь его, либо уступая дурной привычке, свойственной даже и серьезным людям, — привычке забавляться нетерпением детей и собак.

¹ Хотя и приводят в восторг поля Елисейские греков (лат.). — Вергилий, Георгики, 1, 38.

Я стал просить ее поскорее дать мне мой дягиль. Она повторила, что у нее нет дягиля, и явно говорила искренне. Однако, убежденный в обратном свидетельством моих чувств и доводами рассудка, я уверенно возразил, что в комнате есть дягиль, раз я ощущаю его запах.

Увы! История науки изобилует примерами подобных заблуждений, и величайшие гении человечества нередко ошибались так же, как ошибся маленький Пьер Нозьер. Маленький Пьер приписал одному телу некое свойство, принадлежащее другому телу. В физике и в химии существуют законы, которые обоснованы так же плохо, но пользуются и будут пользоваться всеобщим признанием вплоть до того дня, когда, хотя и с опозданием, их наконец отменят.

Эти соображения не пришли в голову моей дорогой матушке, и, пожав плечами, она назвала меня дурачком. Я обиделся и заявил, что я не дурачок, что в доме есть дягиль, раз я чувствую его запах, и что хорошо маме лгать своему мальчику. Услышав этот упрек, матушка взглянула на меня с глубоким удивлением и с глубокой грустью. Этот взгляд внезапно убедил меня в том, что моя дорогая мама не обманывает меня и что, вопреки всякой очевидности, в доме действительно нет дягиля.

Таким образом, на этот раз мое сердце просветило мой разум. Мне хотелось бы сделать отсюда вывод, что нужно всегда руководиться велениями сердца. Такова была бы мораль этого рассказа, и нежные души насладились бы ею. Однако надо говорить правду — даже и рискуя не угодить. Сердце так же ошибается, как и разум. Его заблуждения не менее пагубны, и избавляться от них еще труднее, потому что им сопутствует радость.

VI

Гений обречен на несправедливость

Гений обречен на несправедливость и на презрение — я рано убедился в этом на собственном опыте. В четырехлетнем возрасте я очень любил рисовать. Но

я изображал далеко не все предметы, попадавшие в поле моего зрения, — я рисовал только солдат. Признаться, я рисовал их не с натуры: натура сложна, и подражать ей не так-то легко. Не рисовал я их и с лубочных картинок, которые покупал по одному су за штуку. Там тоже было слишком много линий, и я мог бы запутаться в них. Я брал за образец упрощенное воспоминание об этих картинках. Мои солдаты состояли из кружка — вместо головы, палочки — вместо туловища, и, кроме того, я отпускал по палочке на каждую руку и каждую ногу. Ломаная линия, похожая на зигзаг молнии, изображала ружье с штыком, и это было очень выразительно. Кивер я не надевал им на голову, а рисовал его над головой, чтобы щегольнуть своим искусством и одновременно показать и форму головы и форму головного убора. Я сделал множество набросков в таком же стиле, свойственном всем детским рисункам. Если хотите, это были просто скелеты, и даже как скелеты они были очень элементарны. Как бы там ни было, а мои солдатiki казались мне выполненными весьма недурно. Я рисовал их карандашом и все время слюнявил графит, чтобы рисунок получился более четким. Конечно, я предпочел бы рисовать их пером, но во избежание пятен чернила были мне запрещены. Тем не менее я был доволен своей работой и считал, что у меня есть талант. Однако вскоре мне предстояло превзойти самого себя.

Как-то вечером (то был памятный вечер) я рисовал за обеденным столом, с которого Мелани только что убрала посуду. Дело было зимой, лампа с китайским зеленым абажуром ярко освещала бумагу. Я уже начертил пять или шесть солдатиков в своей обычной манере, которую я отлично усвоил. И вдруг, в каком-то гениальном прозрении, я придумал изобразить руки и ноги не одной палочкой, как до сих пор, а с помощью двух параллельных линий. Таким образом, между ними появилось пространство, создававшее иллюзию реальности. Это была сама жизнь. Я застыл в немом восторге. Дедал*, впервые изваявший статуи в движении, не мог быть более счастлив созданием своих рук. Мне бы следовало спросить себя, я ли первый изобрел этот пре-

красный прием и не приходилось ли мне уже видеть что-нибудь похожее. Но я не стал спрашивать себя об этом. Я ни о чем себя не спрашивал. Оцепенев, вытаращив глаза, высунув язык, я созерцал свое творение. Однако через некоторое время, повинаясь потребности выставлять свои произведения перед восторженным взором зрителей, — потребности, заложенной в художнике самой природой, — я подошел к матушке, читавшей книгу, и, протянув ей свой исчерканный листок, закричал:

— Посмотри!

Видя, что она не обращает на меня никакого внимания, я положил своего солдата прямо на книгу, которую она читала.

Она была воплощенное терпение.

— Это очень хорошо, — сказала она ласково, но по ее тону я понял, что она недостаточно оценила переворот, только что произведенный мною в искусстве рисованья.

Я повторил несколько раз:

— Мама, посмотри!

— Ну да, я вижу. Оставь меня в покое.

— Нет, мама, ты не видишь!

И я хотел вырвать у нее книгу, отвлекавшую ее от моего шедевра.

Но она запретила мне трогать книгу грязными руками.

В отчаянии я крикнул ей:

— Но ты же не видишь!

Она не соизволила что-нибудь увидеть и велела мне замолчать.

Оскорбленный ее слепотой, ее несправедливостью, я топнул ногой, разрыдался и разорвал свое творенье.

— Какой нервный ребенок! — вздохнула матушка.

И повела меня спать.

Мною овладело безнадежное отчаянье. Подумайте только: продвинуть изобразительные искусства на огромный шаг вперед, открыть изумительный способ отображения жизни, и за все это, вместо вознаграждения, вместо славы, получить приказание ложиться спать!

Вскоре после этого несчастья со мной произошло другое, причинившее мне не меньше страданий. И вот

при каких обстоятельствах. Матушка довольно быстро научила меня сносно выводить буквы. Немного выучившись писать, я решил, что теперь ничто не мешает мне сочинить книгу. Под наблюдением моей дорогой мамы я взялся за небольшой морально-богословский трактат. Я начал его такими словами: «Что такое бог...» И сейчас же понес показывать листок матушке, чтобы спросить, правильно ли я написал. Матушка ответила, что все правильно, но что в конце фразы следует поставить вопросительный знак. Я спросил, что это такое — вопросительный знак.

— Это, — сказала матушка, — такой знак, который обозначает, что мы задаем вопрос, что мы спрашиваем о чем-либо. Он ставится после всякого вопросительного предложения. И раз ты спрашиваешь «Что такое бог?» значит ты должен поставить вопросительный знак.

Ответ мой был великолепен:

— Я не спрашиваю. Я это знаю.

— Да нет же! Ты спрашиваешь, мой мальчик.

Я двадцать раз повторил, что не спрашиваю об этом, потому что знаю, и наотрез отказался поставить вопросительный знак, казавшийся мне знаком невежества.

Матушка горячо упрекнула меня за упрямство и сказала, что я просто маленький дурачок-

Авторское самолюбие мое было задето, и я ответил какой-то дерзостью, за которую и был наказан.

С тех пор я сильно переменялся. Я больше не отказываюсь ставить вопросительные знаки во всех местах, где полагается их ставить. Я даже был бы не прочь ставить такие знаки — и притом очень большие — в конце всего, что я пишу, что говорю и что думаю. Бедная моя матушка, будь она еще жива, пожалуй, сказала бы, что теперь я их ставлю слишком много.

VII

Наварин

Я с незапамятных времен знал г-жу Ларок, которая жила с дочерью в нашем доме и занимала маленькую квартирку в глубине двора. Это была старушка родом

из Нормандии, вдова капитана императорской гвардии. Она уже давно лишилась зубов, и ее мягкие губы уходили под десны, но щеки у нее были круглые в румяные, как яблоки ее родины. Не имея ни малейшего представления о бренности природы и о недолговечности всего земного, я считал ее современницей первых дней мироздания и обладательницей нетленной старости. Из матушкиной комнаты видно было увитое настурциями окно, на котором попугай г-жи Ларок распевал игривые и патриотические куплеты. В 1827 году его привезли из Ост-Индии и назвали Наварином * в честь морской победы, одержанной над турками соединенными усилиями французского и английского флота, — победы, весть о которой пришла в Париж в тот самый день, когда туда попал попугай. Предполагалось, что, когда Наварин прибыл в Европу, он был уже не первой молодости. Тщательно заботясь о нем, г-жа Ларок каждое утро выносила его на окно, чтобы старик мог насладиться оживлением, царившим на нашем дворе. Трудно понять, что за удовольствие мог получить этот американец, глядя, как Огюст моет экипаж г-на Беллаге или как дядюшка Александр выдергивает траву, растущую между камнями мостовой, но он отнюдь не казался опечаленным своим длительным изгнанием. Не знаю, точно ли я угадал его мысли, но он как будто радовался своей силе, и действительно это была необыкновенно мощная птица. Стоило Наварину схватить серыми лапками какую-нибудь деревяшку, как он немедленно расщеплял ее своим крепким клювом.

Я всегда любил животных. Но в ту пору они внушали мне почтение и какой-то благоговейный страх. Я угадывал в них более здравый ум, чем мой, и более глубокое чувство природы. Пудель Зербино, казалось мне, знал множество вещей, для меня недоступных, а нашему ангорскому коту — красавцу Султану Махмуду, понимавшему язык птиц, — я приписывал какие-то таинственные свойства и дар предвидеть будущее. Однажды матушка повела меня в музей Лувра и показала в египетских залах мумии домашних животных, спеленатые в полосы материи и пропитанные ароматическими веществами.

— Египтяне, — сказала она мне, — обожествляли животных, а когда они умирали, тщательно бальзамировали их.

Не знаю, что думали древние египтяне об ибисах и о кошках, не знаю, были ли животные первыми богами человека, как это принято утверждать сейчас, но сам я был очень близок к тому, чтобы приписать Султану Махмуду и пуделю Зербино сверхъестественное могущество. И особенно чудесными в моих глазах их делало то, что они являлись мне во сне и беседовали со мной. Однажды мне приснился Зербино: он рыл лапами землю и выкопал луковицу гиацинта.

— Вот так же и маленькие дети, — сказал он мне. — До своего рождения они находятся в земле, а потом распускаются как цветы.

Итак, несомненно, что я любил животных; я восхищался их мудростью и с некоторой тревогой вопрошал их о разных вещах в течение дня, а ночью они приходили и обучали меня натурфилософии. Птицы не являлись исключением и тоже пользовались моей любовью и глубоким уважением. Я почитал бы Наварина, как отца, я осыпал бы этого старого кацика знаками внимания и преклонения, я стал бы его покорным учеником, если бы... если бы он позволил. Но он не позволял мне даже смотреть на себя. При моем приближении он начинал раздраженно раскачиваться на своем насекомом, взъерошивал перья на шее, смотрел на меня горящими глазами, угрожающе раскрывал клюв и высовывал черный язык, толщиной со стручок. Мне очень хотелось узнать причину этой враждебности. Г-жа Ларок считала, что она возникла в те далекие времена, когда я, еще несмышленный младенец, не умеющий ходить, заставлял подносить меня к попугаю, протягивал пальчики к его голове, стремясь потрогать его сверкавшие, как рубины, глаза, и пронзительно кричал оттого, что не мог схватить их. Она любила Наварина и старалась найти для него оправдание. Но можно ли было поверить в такое глубокое, такое упорное злопамятство?

Так или иначе, каковы бы ни были причины враждебности Наварина, она казалась мне несправедливой

и жестокой. Стремясь завоевать расположение этого страшного и могущественного существа, я подумал, что, пожалуй, его могли бы умиловить подарки и что сахар явился бы для него приятным подношением. Невзирая на запрещение матушки, я открыл буфет в столовой и выбрал самый большой, самый красивый кусок сахара из тех, что лежали в сахарнице. Ибо надо сказать, что в те времена сахар еще не пилили механическим способом; хозяйки покупали целые головы сахара, и у нас старая Мелани, вооружившись молотком и старым зазубренным ножом без черенка, разбивала эту голову на куски неравной величины, причем, подобно геологам, отделяющим от скалы образец горной породы, она разбрызгивала вокруг себя бесчисленные осколки. Следует также добавить, что сахар тогда стоил очень дорого. Полный благих намерений, с подарком, спрятанным в кармане передничка, я отправился к г-же Ларок и застал Наварина на его обычном месте у окна. Он лениво лущил клювом зернышки конопляного семени.

Сочтя момент благоприятным, я протянул сахар старому кацику, но он не принял моего подношения. Стоя ко мне боком, он долго молча смотрел на меня неподвижным взглядом и вдруг, ринувшись на мой палец, укусил его. Пошла кровь.

Впоследствии г-жа Ларок неоднократно рассказывала мне, будто, увидав свою кровь, я страшно закричал, залился слезами и спросил, не умру ли я. Мне никогда не хотелось этому верить, но возможно, что в ее словах и была доля правды. Она успокоила меня и завязала палец тряпочкой.

Я ушел в негодовании, с сердцем, преисполненным гнева и злобы. С этого дня между мной и Наварином началась война не на жизнь, а на смерть. При каждой встрече я ругал и дразнил его, а он приходил в ярость: в этом удовольствии он мне никогда не отказывал. То я щекотал ему соломинкой шею, то кидал в него хлебные шарики, и он, широко разевая клюв, выкрикивал хриплым голосом невнятные угрозы. Г-жа Ларок, как всегда занятая вязаньем шерстяной юбки, наблюдала

за мной поверх очков и говорила, грозя деревянной спицей:

— Пьер, оставь попугая в покое. Ты ведь помнишь, что он тебе сделал. Поверь, если ты не перестанешь, он сделает что-нибудь и похуже.

Я не обратил внимания на ее мудрые предостережения, и мне пришлось раскаяться в этом. Как-то раз, когда я опустошал кормушку старого кацика, нагло разбрасывая по ветру маисовые зерна, он вдруг ринулся на меня, запустил лапы мне в волосы и стал царапать мне голову своими острыми когтями. Если мальчик Ганимед * испугался, когда похититель орел нежно схватил его в свои бархатные объятия, то каков же был мой ужас, когда Наварин начал терзать меня своими железными пальцами. Я кричал так, что мои крики слышны были на берегах Сены. Г-жа Ларок, отложив свое вечное вязанье, оторвала американца от его жертвы и, посадив на плечо, отнесла обратно на насест. Там, с раздувшейся от гордости шеей, с ключьями моих волос, зажатými в когтях, он бросил на меня торжествующий взгляд своих сверкающих глаз. Поражение мое было полным, унижение — глубоким.

Вскоре после этого случая, забравшись как-то на кухню, манившую меня тысячью соблазнов, я застал там старую Мелани, которая ножом рубила на доске петрушку. Острый запах этой травы защекотал мне ноздри, и я стал задавать по поводу нее разные вопросы. Мелани отвечала мне весьма пространно: она сообщила, что петрушка употребляется при приготовлении рагу, служит приправой к жареному мясу и наконец является смертельным ядом для попугаев. Услышав это, я схватил стебелек пахучей травы, уцелевший от удара ножа, и унес его в гостиную с розами, где долго размышлял в одиночестве и в молчании. Я держал в руках смерть Наварина. После долгого совещания с самим собой я вышел во двор и отправился к г-же Ларок. Здесь я показал Наварину ядовитое растение.

— Смотри, — сказал я, — это петрушка. Если бы я подмешал эти маленькие, зеленые, кудрявые листочки

к твоему коноплянному семени, ты бы умер и я был бы отмщен. Но я хочу отомстить иначе. Я отомщу тебе тем, что оставлю в живых.

И, сказав это, я выбросил в окно роковую травку.

С этого времени я перестал мучить Наварина. Мне хотелось остаться великодушным до конца. Мы сделались друзьями.

VIII

*Каким образом уже в раннем возрасте
обнаружилось, что я лишен практической
жилки*

Это произошло до революции 1848 года, мне еще не было четырех лет, это несомненно, но сколько мне тогда было — три или три с половиной? Этот пункт для меня неясен, и вот уже много лет как на земле не существует ни одного человека, который мог бы его уточнить. Приходится мириться с этой неопределенностью и утешать себя тем, что в анналах истории народов встречаются еще более крупные и более досадные неточности. Кто-то сказал, что хронология и география — глаза истории. Если это так, то есть все основания полагать, что, несмотря на бенедиктинцев из братства св. Мавра, которые изобрели способ проверять даты *, история по меньшей мере одноглаза. И я добавлю, что это самый незначительный ее недостаток. Клио *, муза Клио, — особа с важной, порой даже суровой осанкой, и ее речи (как принято утверждать) просвещают, возбуждают интерес, волнуют, развлекают. Ее не устанешь слушать целыми днями. Однако, постоянно с нею общаясь, я заметил, что она слишком уж часто бывает забывчивой, суетной, пристрастной, невежественной и лживой. Несмотря на ее недостатки, я очень любил ее и люблю до сих пор. Но это единственные узы, связывающие меня с музою Клио. Ей нет дела ни до моего детства, ни до прочих периодов моей жизни. К счастью, я личность не историческая, и надменная Клио никогда не станет доискиваться, когда именно — в начале, в середине или в конце третьего года моей жизни — у меня

обнаружилась черта характера, так глубоко поразившая мою мать.

В то время я был самым обыкновенным маленьким мальчиком, единственное своеобразие которого заключалось, если не ошибаюсь, в склонности не всему верить, что ему говорили. И эта склонность, предвещавшая пытливым ум, нередко вызывала осуждение со стороны окружающих, так как способность мыслить критически обычно не особенно ценится в ребенке трех или трех с половиной лет.

Я мог бы обойтись здесь без этих замечаний, которые так же, как и хронология, как искусство проверять даты или муза Клио, не имеют никакого отношения к тому, что я хочу рассказать. Делая столько отступлений и забираясь в такие дебри, я никогда не дойду до конца. Но если я не буду отвлекаться, если пойду напрямик, то не успею оглянуться, как путь будет окончен, а это было бы досадно, по крайней мере мне самому, — ведь я так люблю побродить вволю. По-моему, ничего нет более приятного, а заодно и более полезного. Из всех занятий, какие мне когда-либо надо было посещать, самыми интересными и плодотворными казались мне те, которые я прогуливал. Что может быть лучше, чем глазеть по сторонам, друзья мои? Ведь при этом всегда увидишь что-нибудь нужное. Если бы маленькая Красная Шапочка прошла лес, не собирая орехов, волк не съел бы ее, а для маленькой Красной Шапочки, по всем законам морали, нет большего счастья, чем быть съеденной волком.

К счастью, эта мысль возвращает нас к сюжету моего повествования. Ибо я собирался вам сообщить, что на третьем году моей жизни и на восемнадцатом и последнем году царствования Луи-Филиппа Первого, короля французов, самым большим моим удовольствием были прогулки. Меня не посылали в лес, как Красную Шапочку. Я был — увы! — менее близок к природе. Родившись и выросши в самом сердце Парижа, на прекрасной набережной Малакэ, я не изведal деревенских радостей. Но и у города есть своя прелесть. Моя дорогая мама водила меня за руку по улицам, наполненным многоголосым шумом, яркими красками, веселым

движением прохожих, а когда ей надо было что-нибудь купить, она брала меня с собой в магазины. Мы были небогаты, она тратила немного, но магазины, в которых мы бывали, казались мне огромными и великолепными. В то время «Бон-Марше», «Лувр», «Весна», «Галереи» * еще не существовали. В последние годы конституционной монархии клиентура самых крупных торговых заведений состояла исключительно из жителей ближних кварталов. Матушка, жившая в Сен-Жерменском предместье, ходила к «Китайским болванчикам» и в лавку у церкви св. Фомы.

Из этих двух магазинов, находившихся — один на улице Сены, а другой на улице Бак, — сейчас остался только последний, но он так разросся, львиные морды так изуродовали его прежний изящный, новый фасад, что его просто не узнать. «Китайские болванчики» исчезли, и, может быть, только я один во всем мире еще помню большую, писанную масляными красками и служившую вывеской картину, на которой была изображена молодая китаянка, сидящая меж двух своих соотечественников. Уже тогда я живо чувствовал женскую красоту и находил, что эта молодая китаянка с волосами, зачесанными кверху, с большим гребнем и с завитками на висках прелестна. Что же касается двух ее обожателей, их поз, их жестов, их намерений, их взглядов, то тут я ничего не могу сказать. В искусстве обольщения я был полнейшим невеждой.

Магазин этот казался мне огромным и полным сокровищ. Быть может, именно там я впервые почувствовал влечение к пышности в искусстве, влечение, ставшее впоследствии очень сильным и не покинувшее меня до сих пор. Зрелище тканей, ковров, вышивок, перьев, цветов приводило меня в какой-то экстаз, и я от всей души восхищался любезными мужчинами и изящными барышнями, которые с улыбкой предлагали все эти чудесные вещи нерешительным покупателям. А когда приказчик, занимавшийся с моей матерью, отмерял материю с помощью метра, прикрепленного горизонтально к медному пруту, свисавшему с потолка, его жребий казался мне великолепным и достославным.

Я восхищался также г-ном Огри, портным с улицы Бак, который примерял мне курточки и короткие штанишки. Я предпочел бы, чтобы он сшил мне брюки и сюртук, как у взрослых мужчин, и это желание особенно усилилось у меня несколько позже, когда я прочитал рассказ Буйи * о бедном маленьком мальчике, которого один добрый и почтенный ученый взял к себе, сделал своим секретарем и стал одевать в свои старые платья. Из-за этого рассказа славного Буйи я совершил однажды большую глупость, о которой расскажу в другой раз. Исполненный глубокого уважения к искусству и ремеслам, я восхищался г-ном Огри, портным с улицы Бак, хотя он вовсе не был достоин восхищения, так как кромсал попадавшую ему в руки материю вкривь и вкось. И если говорить откровенно, то в его изделиях я был очень похож на обезьяну.

Моя дорогая мама, как подобало хорошей хозяйке, сама делала покупки. Бакалею она покупала у Курселя на улице Бонапарта, кофе — у Корселе в Пале-Рояле, а шоколад у Дебова и Галле на улице Святых отцов. Потому ли, что г-н Курсель щедро давал пробовать чернослив, или потому, что кристаллики сахарных голов так весело блестели у него на солнце, а может быть оттого, что он таким изящным и смелым жестом опрокидывал банку со смородиновым желе, демонстрируя, как оно густо, — но этот человек очаровывал меня своей вкрадчивой любезностью и решительными утверждениями. Я готов был рассердиться на маму за то, что она с каким-то недоверчивым и подозрительным видом выслушивала убедительные, всегда подкрепленные примерами доводы этого красноречивого бакалейщика. Впоследствии я узнал, что скептицизм моей дорогой матушки имел некоторые основания.

Я как сейчас вижу лавочку Корселе, маленькую, низкую, под вывеской «Гурман» — золотые буквы на красном фоне. Оттуда доносился восхитительный запах кофе, а на стене висела картина, которая уже устарела даже для тех лет и изображала гурмана, одетого так, как одевался мой дедушка. Он сидел за уставленным бутылками столом, ломившимся под тяжестью огромного пирога и украшенным великолепным ананасом.

Благодаря сведениям, полученным значительно позже, я могу сказать, что то был портрет Гримо де ла Реньера, писанный Буальи *. С почтением входил я в этот дом, казавшийся мне каким-то старомодным и переносивший меня во времена Директории. Приказчик г-на Корселе отвешивал и отпускал в молчании. Его простота, являвшая такой контраст с напыщенными манерами г-на Курселя, импонировала мне, и, пожалуй, этот старый бакалейщик был первым, кто дал мне представление о хорошем вкусе и чувстве меры.

Я никогда не уходил от Корселе, не захватив с собой зернышка кофе, которое жевал дорогой. Я уверял себя, что это очень вкусно, и наполовину верил себе. В душе я чувствовал, что это отвратительно, но еще не был способен извлекать на свет божий истины, зарытые в глубине моего «я». Как ни восхищал меня магазин Корселе под вывеской «Гурман», все же магазин Дебова и Галле, королевских поставщиков, нравился мне больше всех остальных. Он казался мне таким прекрасным, что я считал себя недостойным войти туда в будничной одежде и на пороге внимательно осматривал туалет моей дорогой матушки, желая удостовериться, достаточно ли у нее элегантный вид. И, оказывается, у меня был не такой уж дурной вкус! Шоколадный магазин господ Дебова и Галле, королевских поставщиков, существует и поныне, и убранство его не очень изменилось. Стало быть, я могу смело говорить о нем, основываясь не только на обманчивых воспоминаниях. Он очень красив. Его отделка восходит к первым годам Реставрации, а в эту эпоху стиль еще не был так тяжеловесен. Отделка эта напоминает манеру Персье и Фонтена *. Глядя на линии, суховатые, но тонкие, чистые и строгие, я с грустью думаю о том, как сильно понизился уровень вкуса во Франции за одно столетие. Как далеки мы сегодня от декоративного искусства Империи, которое, однако, значительно уступает стилю эпохи Людовика XVI и Директории! В этом старинном магазине все радует глаз — вывеска, написанная квадратными, приятных пропорций буквами, сводчатые окна с веерообразной аркой наверху, сам магазин, закругленный внутри, точно небольшой храм, и полу-

круглая стойка, повторяющая форму зала. Может быть, это только приснилось мне, но, кажется, я видел там простенки с фигурами богини Молвы, которая могла бы столь же успешно прославлять битвы при Арколе и при Лоди *, как крем-какао и шоколад-пralине. Словом, все здесь носило отпечаток определенного стиля, характера, все имело определенное значение. А что делают сейчас? Гениальные художники существуют и в наше время, но декоративное искусство пришло в постыдный упадок. Стиль Третьей республики заставляет пожалеть о Наполеоне III, который в свою очередь заставлял пожалеть о Луи-Филиппе; тот — о Карле X, Карл X — об Империи, Империя — о Директории, и последняя — о Людовике XVI. Чувство линий и пропорций совершенно утрачено. Поэтому я с радостью приветствую приход нового искусства, — правда, не столько из-за того, что оно создает, сколько из-за того, что оно разрушает.

Надо ли говорить, что в три или четыре года я еще не размышлял о декоративном искусстве? Но когда я входил в магазин Дебова и Галле, мне казалось, что я вхожу во дворец фей. Эту иллюзию еще усиливали красивые барышни в черных платьях, с блестящими волосами, сидевшие за полукруглой стойкой с приветливым и вместе с тем серьезным видом. В центре восседала за высокой конторкой пожилая дама, любезная и важная, которая записывала что-то в толстую книгу и орудовала монетами и кредитками. Очень скоро обнаружится, что я не вполне ясно отдавал себе отчет, какие именно операции производила эта почтенная дама. Белокурые или темноволосые девушки, сидевшие по обе стороны от дамы, занимались разными делами. Одни заворачивали плитки шоколада в тонкие металлические, блестящие, как серебро, бумажки; другие заворачивали сразу по две таких плитки в белую бумагу с картинками, а потом запечатывали их сургучом, предварительно разогрев его на маленькой жестяной лампе. Они проделывали все это так ловко и так быстро, что их труд казался забавой. Теперь я понимаю, что эти девушки работали далеко не для собственного удовольствия. Тогда же я склонен был считать всякую работу

за развлечение, а потому мог ошибиться. Достоверно одно — что на легкие движения их тонких пальчиков было приятно смотреть.

Когда мама заканчивала свои покупки, матрона, возглавлявшая это собрание разумных дев, брала из стоявшей у нее под рукой хрустальной вазы шоколадную лепешечку и протягивала ее мне с равнодушной улыбкой. И этот торжественный подарок больше, чем все остальное, внушал мне любовь и почтение к торговому дому господ Дебова и Галле, королевских поставщиков.

Я очень любил ходить по магазинам, а потому вполне естественно, что, придя домой, я пытался воспроизвести в своих играх те сцены, которые наблюдал, пока матушка делала покупки. Таким образом, не выходя из дома, я попеременно бывал — для себя самого и втайне от всего мира — портным, бакалейщиком, приказчиком модного магазина, и даже — с немалым успехом — модисткой и барышней из шоколадного магазина. И вот как-то вечером, в маленькой гостиной с розовыми бутонами, где матушка, как всегда, сидела со своим вышиваньем, я с особенным усердием пытался подражать красивым барышням из магазина Дебова и Галле. Раздобыв достаточное количество кусочков шоколада, бумажек и даже обрывков тех металлических листочков, которые я торжественно называл серебряной бумагой, причем все это, говоря по правде, было далеко не первой свежести, я устроился на своем маленьком стульчике — подарке тети Шоссон, а перед собой поставил обитый черным трипом табурет. Это изображало в моих глазах изящную полукруглую стойку магазина на улице Святых отцов. Как все единственные дети, я привык играть один, вечно был погружен в какие-то мечтания, словом, постоянно жил в мире грез, и мне нетрудно было представить себе этот далекий магазин, его панели, витрины, простенки, украшенные фигурами «Молвы», и даже толпившихся там покупателей — женщин, детей, стариков. Способность в мгновение ока вызывать в своем воображении людей и целые сцены была развита во мне очень сильно. Мне ничего не стоило превратиться в барышень, всех бары-

шень из шоколадного магазина, и даже в почтенную даму, которая вела книги и заведовала деньгами. Моя чудодейственная сила не знала границ и превосходила все, что я прочитал впоследствии в «Золотом осле» * о фессалийских колдуньях. Я мог как угодно менять свою сущность. Я способен был принимать самые странные, самые необыкновенные обличья и чудесным образом преображаться в короля, в дракона, в черта, в фею... — да что я говорю? — в целое войско, в реку, в лес, в гору. Поэтому то, что я делал в этот вечер, было сущим пустяком и не представляло ни малейших затруднений. Итак, я заворачивал, запечатывал, обслуживал бесчисленных клиентов — женщин, детей, стариков. И проникнувшись сознанием собственной важности (приходится в этом признаться), я весьма сухо разговаривал с моими воображаемыми подчиненными, подгоняя их и строго ставя им на вид их промахи. Однако, когда дело дошло до того, чтобы изобразить почтенную пожилую даму, восседавшую за кассой, я вдруг оказался в затруднительном положении. Это обстоятельство заставило меня выйти из магазина и отправиться к моей дорогой маме за разъяснением одного пункта, оставшегося для меня неясным. Я отлично видел, как пожилая дама открывала ящик и перебирала золотые и серебряные монеты, но смысл производимых ею операций был мне не совсем понятен. Опустившись на колени у ног моей дорогой мамы, которая, сидя в глубоком кресле, вышивала платочек, я спросил у нее:

— Мама, кто в магазине платит деньги? Тот, кто продает, или тот, кто покупает?

Матушка взглянула на меня с таким удивлением, что глаза у нее округлились, а брови поднялись вверх, и улыбнулась, ничего мне не ответив. Потом она задумалась. В эту минуту в комнату вошел отец.

— Знаешь, друг мой, о чем меня только что спросил Пьер? — сказала она ему. — Тебе ни за что не угадать... Он спросил, кто платит деньги — тот, кто продает, или тот, кто покупает.

— Вот глупыш! — сказал отец.

Но матушка продолжала серьезным тоном, причем лицо ее выражало беспокойство:

— Нет, друг мой, это не просто детская глупость. Это — черта характера. Пьер никогда не будет знать цену деньгам.

Моя добрая матушка разгадала мою сущность и предсказала мою судьбу — она оказалась пророчицей. Мне так и не суждено было узнать цену деньгам. Таким я был трех или трех с половиной лет в гостиной с розовыми бутонами. Таким я остался до старости, которая легка для меня, как она легка для всех душ, свободных от скупости и гордыни. Нет, мама, я никогда не знал цены деньгам. Я и до сих пор не знаю ее, или, вернее, знаю слишком хорошо. Я знаю, что деньги — причина всех зол, терзающих наше общество, и всех его жестоких установлений, которыми мы так гордимся. Тот маленький мальчик, каким я был когда-то, мальчик, не знавший в своих играх, кто должен платить — продавец или покупатель, вдруг привел мне на память трубочного мастера — героя прекрасной пророческой сказки Уильяма Морриса *. Этот простодушный резчик из города будущего потому делает трубки такой несравненной красоты, что он делает их с любовью и не продает, а отдает их даром.

IX

Барабан

Жить — значит желать. И в зависимости от того, каким вы считаете свое желание — сладостным или мучительным, — вы сможете судить и о том, хороша жизнь или она дурна. Каждому из нас надлежит самому решить этот вопрос, основываясь на собственном чувстве. Рассуждать тут бесполезно, это дело метафизиков. Когда мне было пять лет, я хотел иметь барабан. Каким было это желание — сладостным или мучительным? Не знаю. Допустим, что оно было мучительным, поскольку являлось результатом лишения, и сладостным, поскольку вызывало в моем воображении желанный предмет.

Во избежание недоразумений сообщаю, что я хотел иметь барабан, но не имел ни малейшего желания стать барабанщиком. Меня не влекла ни слава, ни опасности, связанные с этим ремеслом. Хотя для своего возраста я был достаточно осведомлен о военных событиях во Франции, мне еще не приходилось слышать ни о юном Бара *, который умер, прижимая к сердцу барабанные палочки, ни о том пятнадцатилетнем барабанщике, который в битве при Цюрихе, раненный пулею в руку, все же продолжал бить наступление, получил затем из рук первого консула на одном из смотров, в десятый день декады, почетную палочку и, чтобы оправдать эту награду, пошел на смерть при первом представившемся случае. Выросши в мирные времена, я знал только двух барабанщиков — барабанщиков национальной гвардии, которые каждое первое января подносили моему отцу, полковому врачу 2-го полка, и его супруге поздравление с цветной виньеткой. На этой виньетке были изображены оба барабанщика, сильно приукрашенные, приветствующие в раззолоченном салоне какого-то господина в зеленом сюртуке и даму в кринолине с кружевными оборками. В действительности же у них были веселые глаза, длинные усы и красный нос. Отец давал им монету в сто су и предлагал выпить по стакану вина, которое им и подавала на кухне старая Мелани. Они залпом выпивали вино, прищелкивали языком и вытирали рукавом рот. Мне нравился их жизнерадостный вид, но все-таки у меня не было никакого желания сделаться такими, как они.

Нет, я не хотел быть барабанщиком. Скорее мне хотелось стать генералом, и если я страстно желал иметь барабан с черными палочками, то это из-за тысячи воинственных картин, которые были связаны у меня с этими предметами.

Тогда меня нельзя было упрекнуть в том, что я предпочитаю ложе Кассандры копыю Ахилла. Я бредил оружием и битвами, я мечтал о резне, я непременно стал бы героем, если бы судьба, которая «стесняет наши мысли», позволила это. Она не позволила. Уже на следующий год она заставила меня свернуть с этого славного пути и внушила любовь к куклам. Несмотря на

позор, павший на мою голову, я купил несколько штук на собственные сбережения. Они все нравились мне, но я оказывал предпочтение одной, по словам моей дорогой матушки, не самой красивой. Но зачем торопиться омрачать блеск славы четвертого года моей жизни, когда барабан был единственной вещью, о которой я мечтал?

Не будучи стойким, я часто поверял свое желание лицам, способным его удовлетворить. Либо они делали вид, что ничего не понимают, либо отвечали так, что я приходил в отчаяние.

— Ты отлично знаешь, — говорила мне моя дорогая мама, — что папа не любит шумных игрушек.

Получив от нее отказ, в основе которого лежало чувство супружеской любви, я обратился с той же просьбой к тете Шоссон, которая отнюдь не опасалась причинить какую-нибудь неприятность моему отцу. Я отлично заметил это и именно поэтому рассчитывал получить то, о чем мечтал. К несчастью, тетя Шоссон была скуповата и дарила редко и мало.

— Что ты будешь делать с барабаном? — говорила она мне. — Разве мало у тебя игрушек? Полные шкафы. В мое время детей так не баловали, как сейчас, и мои маленькие подружки мастерили себе кукол из листьев... Ведь у тебя же есть прекрасный Ноев ковчег.

Она имела в виду Ноев ковчег, который подарила мне к прошлому Новому году и который сначала, должен сознаться, показался мне чем-то сверхъестественным.

В нем находились патриарх со своим семейством и по паре всех животных, какие только существуют в мире. Но бабочки там были крупнее слонов, что с течением времени стало оскорблять во мне чувство пропорций, и теперь, когда, по моей вине, четвероногие держались только на трех ногах, а Ной потерял свой посох, ковчег утратил для меня всю прелесть.

Как-то раз, когда я был простужен и сидел дома в ночном чепчике, завязанном под подбородком, мне пришлось в голову сделать барабан и палочки из фаянсового горшка и деревянной ложки. Думаю, что получилось нечто в голландском стиле, в духе Броувера и

Яна Стена *. Однако я обладал более изысканным вкусом, и к тому времени, когда старушка Мелани с негодованием отняла у меня горшок из-под масла и разливательную ложку, они уже успели мне надоесть.

Как-то вечером отец принес мне маленькую раскрашенную фигурку из неглазурованного фарфора, изображавшую Пьеро, который бил в большой барабан. Не знаю — быть может, он думал, что картинка заменит мне реальность, а быть может, просто хотел подшутить надо мною. Он улыбался своей обычной, немного грустной улыбкой. Так или иначе, но я принял его подарок без всякого удовольствия, и эта фигурка, очень неприятная на ощупь, внушила мне внезапное отвращение.

Я уже потерял надежду получить предмет моих желаний, как вдруг ясным летним днем, после завтрака, матушка нежно поцеловала меня, велела быть умницей и, протянув мне какую-то вещь цилиндрической формы, завернутую в серую бумагу, велела идти гулять со старушкой Мелани.

Я развернул сверток. Это был барабан. Матушка уже успела выйти из комнаты. С помощью шнурка, заменявшего ремень, я повесил этот долгожданный инструмент через плечо, не спрашивая себя, чего потребует судьба взамен: я полагал тогда, что фортуна посылает нам свои дары безвозмездно. Я еще ничего не знал о богине Немезиде Геродота *, и мне было неизвестно изречение поэта, над которым я так много размышлял впоследствии:

Гласит закон богов, от века нерушимый,
Что дорого платить за их дары должны мы.

Счастливый и гордый, с барабаном на боку и с палочками в руках, я выбежал на улицу и зашагал впереди Мелани, колотя в барабан. Я шел, как в атаку, уверенный, что увлекаю войска к победе. Правда, у меня было чувство, в котором я не хотел признаваться и самому себе, — чувство, что барабан мой звучит не очень громко и что его, пожалуй, будет уже не слышно на расстоянии мили. И действительно, ослиная кожа (если только это была кожа, в чем я теперь сильно сомневаюсь), была плохо натянута и почти не давала

звука под ударами палочек, до того маленьких и до того легких, что они совсем не чувствовались в пальцах. Я узнал в этом миролюбивый и бдительный характер моей матери и ее постоянное стремление изгонять из дому шумные игрушки. Она уже удалила оттуда ружья, пистолеты и карабины, о чем я очень сожалел, так как упивался всякой трескотней, и при звуке выстрелов душа моя таяла от восторга. Ясно, что барабан не должен быть немым, но вдохновение восполняет все. Громкие удары сердца звучали у меня в ушах, как гул славы. Я ощущал ритм, который заставлял идти в ногу тысячи людей, я слышал барабанную дробь, наполняющую души трепетом и героизмом. Я видел в цветущем Люксембургском саду бесчисленные колонны, шагающие по бесконечной равнине. Я видел лошадей, пушки, зарядные ящики, глубоко вспахивающие дорожку, сверкающие каски с черными султанами, медвежьи шапки, развевающиеся перья, копыта, штыки.

Да, я видел, я ощущал, я создавал все это. И, присутствуя сам в творениях моей фантазии, я и сам был солдатами, лошадьми, пушками, пороховыми погребами, пылающим небом и окровавленной землей. Вот что я извлекал из моего барабана! А тетя Шоссон еще спрашивала меня, что я буду с ним делать!

Когда я вернулся домой, там царила тишина. Я стал звать маму, но она не ответила мне. Я побежал в ее комнату, потом в гостиную с розовыми бутонами, но никого не нашел. Я вошел в кабинет отца — он был пуст. Только «Спартак» работы Фуаятье, стоявший на каминных часах, жестом извечного негодования ответил на мой взволнованный взгляд.

Я крикнул:

— Мама! Где ты, мама?

И заплакал.

Тогда старая Мелани рассказала мне, что отец с матерью вместе с г-ном и г-жой Данкен сели на улице Булуа в дилижанс и уехали в Гавр, где пробудут неделю.

Это известие повергло меня в отчаянье, и я узнал, какой дорогой ценой достался мне барабан. Я понял, что матушка подарила мне игрушку, чтобы скрыть свой

отъезд и развлечь меня на время ее отсутствия. И, вспоминая, каким серьезным, немного грустным тоном она, целуя меня, сказала: «Будь умницей», — я спрашивал себя, как я мог ни о чем не догадаться.

И я думал: «Если б я знал, я бы не дал ей уехать».

Мне было горько и вместе с тем стыдно, что я позволил обмануть себя. И ведь сколько разных признаков могли бы меня предостеречь! В течение нескольких дней отец и мать шептались между собою, дверцы шкафов скрипели, груды белья лежали на кроватях, чемоданы и саквояжи стояли в комнатах. Выпуклая крышка одного из чемоданов была покрыта пузырчатой, облупившейся кожей, а поперек ее шли грязные черные деревянные полосы отвратительного вида. Да, было столько разных указаний, что даже самая жалкая собачонка встревожилась бы, увидев их. Отец как-то говорил, что Финетта всегда предчувствовала отъезд хозяев.

Квартира казалась огромной и пустынной. Жуткая тишина, царившая в ней, леденила мне сердце. Право же, Мелани была слишком мала, чтобы заполнить все это пустое пространство: ее гофрированный чепчик был совсем не намного выше моей головы. Я любил Мелани, я любил ее со всей силой своего детского эгоизма, но она недостаточно заполняла мой ум. То, что она говорила, не представляло для меня никакого интереса. У нее были седые волосы и согнутая спина, но она казалась мне большим ребенком, чем я сам. Перспектива провести вдвоем с ней целую неделю ужасала меня.

Она пыталась меня утешить. Говорила, что неделя пройдет быстро, что мама привезет мне хорошенький пароходик и я смогу пускать его в пруду Люксембургского сада, что отец и мать будут рассказывать мне о своих дорожных приключениях и так хорошо опишут прекрасный порт Гавр, что мне покажется, будто я и сам побывал там.

Надо признать, что последний довод был недурен, если уж голубок из басни тоже прибегнул к нему*, чтобы утешить в разлуке свою нежную подругу. Но я не желал быть утешенным. Я полагал, что это невозможно и что горе будет выглядеть куда благороднее,

Тетя Шоссон пришла пообедать со мною. Я не испытывал ни малейшего удовольствия, видя перед собой ее свиную физиономию. Она тоже начала преподносить мне утешения, но они были так же черствы, как те пряники, которыми она угощала. Она была слишком скупа от природы, чтобы дарить щедрые, свежие, чистые утешения. За столом она заняла место моей дорогой мамы и таким образом отогнала от него ту неосязаемую тень, тот незримый свет, тот неуловимый отпечаток — словом, все то, что остается от дорогих отсутствующих на вещах, связанных с ними.

Нелепость ее присутствия выводила меня из себя. В полном отчаянье я отказался от супа и был очень горд своим отказом. Не помню, подумал ли я тогда, что Финетта в подобных обстоятельствах поступила бы, должно быть, точно так же, но если бы и так, то это вовсе не могло меня унижить, ибо я признавал, что по части инстинкта и чутья животные стоят намного выше меня. Матушка перед отъездом распорядилась приготовить слоеный пирог и крем, надеясь, что это немного облегчит мое горе. Я отказался от супа, но съел слоеный пирог и крем, и действительно нашел в этом некоторое утешение.

После обеда тетя Шоссон посоветовала мне поиграть с Ноевым ковчегом. Этот совет привел меня в ярость. Я ответил ей самым дерзким образом и вдобавок без всякой причины осыпал оскорблениями также и Мелани, которая за всю свою святую жизнь не заслужила ничего, кроме похвалы.

Бедное создание! С нежной заботливостью она уложила меня в постель, утерла мне слезы и перенесла ко мне в комнату свою складную кровать. Тем не менее я очень скоро ощутил страшные последствия того, что моя дорогая матушка бросила меня. Однако, чтобы понять дальнейшее, необходимо припомнить, что каждую ночь, в этой самой комнате, перед тем как заснуть, я видел со своей постели целый отряд маленьких человечков с большими головами, горбатых, кривоногих, странно уродливых, в войлочных шляпах с перьями и в огромных круглых очках. В руках у них были самые разнообразные предметы, как, например, вертелы, ман-

долины, кастрюли, бубны, пилы, трубы, костыли, и, привлекая из этих инструментов нестройные звуки, они отплясывали причудливые танцы. Их появление в комнате в столь поздний час уже не удивляло меня: я был недостаточно хорошо знаком с законами природы и не знал, что оно им противоречит. Поскольку человечки аккуратно приходили каждую ночь, я не видел в этом ничего особенного, и если они все-таки пугали меня, то страх мой был не так велик, чтобы я стал кричать. Меня в значительной степени успокаивало то, что маленькие человечки всегда маршировали вдоль стены и никогда не приближались к моей кровати. Таков был их обычай. Они как будто даже не видели меня, а я едва дышал, стараясь не обратить на себя их внимания. Разумеется, только доброе влияние матушки удерживало их на расстоянии, и, как видно, старая Мелани не имела над этими злыми духами такой же власти, ибо в ту ужасную ночь, когда дилижанс с улицы Булуа унесил моих дорогих родителей в далекие страны, маленькие музыканты впервые заметили мое присутствие. Один из них, с деревянной ногой и с пластырем на глазу, показал на меня пальцем своему соседу, и вот все они, нацепив огромные круглые очки, обернулись в мою сторону и начали с любопытством разглядывать меня далеко не дружелюбным взором. Я весь затрясся. Когда же, приплясывая и потрясая вертелами, пилами, кастрюлями, они подошли к моей кровати и один из них, с похожим на кларнет носом, направил на меня огромную, величину с подзорную трубу, клистирную трубку, я весь похолодел от ужаса и закричал:

— Мама!

Старая Мелани прибежала на мой зов. Увидев ее, я залился слезами. А потом все-таки уснул.

Проснувшись под чириканье воробьев, я уже все забыл — и печальное отсутствие родителей и мое одиночество. Увы! Светлое лицо моей дорогой мамы не склонилось над моей постелькой, ее черные локоны не коснулись моих щек, я не вдохнул аромат ирисы, которым всегда Пахло от ее пеньюара. Зато похожие на мороженые яблоки щеки старой Мелани, в обрамлении огромного чепца с лентами, появились передо мной, и я

увидел на коффе этого доброго создания изображения храмов и амуров. Они были вытиснены розовой краской по желтоватому полю, и она носила их в простоте душевной. Это зрелище снова пробудило мою скорбь. Все утро я уныло блуждал по безмолвной квартире. И, обнаружив на одном из стульев в столовой мой барабан, я с яростью швырнул его на пол, а потом продавил ударом каблука.

Впоследствии, когда я стал мужчиной, мне, может быть, и случилось иногда пожелать чего-нибудь вроде того звучного и пустого инструмента, о котором я так мечтал в раннем детстве, — тимпанов славы, цимбал общественной похвалы. Но, лишь только я замечал, что это желание зарождается и начинает шевелиться в моей душе, я вспоминал мой детский барабан и цену, которую мне пришлось за него уплатить. И я тотчас переставал желать благ, которые судьба никогда не уступает нам даром.

Жан Расин, читая латинскую библию, подчеркнул в ней такое место: «Et tribuit eis petitionem eorum»¹. Он вспомнил его, вложив в уста Арисии следующие слова, заставившие побледнеть неосторожного Тезея: *

Страшись, о государь, чтобы твоей мольбе
Не вняли небеса из-за вражды к тебе.
Принесший жертву им не избежит их мщенья!
Порой их дар есть казнь за наши прегрешенья.

Х

Дружная театральная труппа

В эти далекие времена, когда я, бывало, лежал в постельке, — оттого ли, что был не совсем здоров, или просто потому, что проснулся раньше обыкновенного, — на меня смотрело чье-то угрюмое серое лицо, огромное и бесформенное, передо мной вставал призрак, более страшный, чем скорбь или страх, — Скука. И не та скука, какую воспевают поэты, — скука, расцвеченная

¹ «И внял он молениям их» (лат.).

ненавистью или любовью, прекрасная и надменная. Нет, то была глубокая, однообразная скука, внутренний туман, пустота, ставшая ощутимой. Чтобы предотвратить посещение этого призрака, я звал матушку или Мелани. Увы! Они не приходили, а если и приходили, то оставались со мной одну минутку и говорили мне то же, что говорила пчелка маленькому мальчику в стихке г-жи Деборд-Вальмор: *

...Я очень тороплюсь...

...Нельзя смеяться вечно.

А матушка добавляла:

— Знаешь, детка, чтобы не скучать, повторй таблицу умножения.

Но это уж была крайняя мера, и я не мог на нее решиться. Я предпочитал придумывать кругосветные путешествия и необыкновенные приключения. Мой корабль шел ко дну, и я вплавь добирался до берега, кишевшего тиграми и львами. Будь у меня более богатое воображение, оно могло бы спасти меня от скуки. К несчастью, вызванные мною картины были так бледны, так бесцветны, что сквозь них проступали и обои моей комнаты и туманный лик, которого я так боялся. С течением времени я нашел лучшее средство и ухитрился устраивать себе в своей кровати приятное и остроумное развлечение, пользующееся большим успехом у всех цивилизованных народов, — я ставил для себя спектакли. Надо ли говорить, что мой театр не сразу достиг совершенства? Греческая трагедия вышла из повозки Феспиды *. Я напевал вполголоса, отбивая такт движением руки, — так возник мой Одеон *. Он родился очень жалким. Безобидная корь весьма кстати продержала меня в постели, чтобы дать мне возможность заняться его усовершенствованием. Я управлял пятью актерами, или, вернее, пятью характерами, как в итальянской комедии: это были пять пальцев моей правой руки. Каждый имел свое имя и свой облик. И подобно маскам итальянского театра, с которыми я не могу не сравнить их, мои актеры сохраняли свои имена во всех исполняемых ими ролях, если только пьеса не требовала других имен, как это бывало,

например, в исторических драмах. Однако свой индивидуальный характер они сохраняли во всех случаях, и, скажу без лести, в этом отношении они ни разу себе не изменили.

Большой палец назывался Раппар. Почему? Не знаю сам. Нечего и надеяться объяснить все. Не всему можно найти причину. Раппар, низкорослый, широкий, коренастый, необычайно сильный, был субъект невоспитанный, резкий, драчун, пьяница, настоящий Калибан *. Кузнец, посыльный, носильщик, разбойник, солдат, в зависимости от исполняемой роли, он постоянно совершал жестокие и грубые поступки. В случае надобности он играл хищных зверей, — например, волка в «Красной Шапочке» и медведя в довольно милой комедии, где некая юная пастушка застигает врасплох спящего белого медведя, продает ему в нос кольцо, а потом ведет пленника во дворец и заставляет плясать перед королем, который немедленно женится на девице.

Указательный палец по имени Митуфль являлся полной противоположностью Раппару как в нравственном, так и в физическом отношении. Митуфль не был ни самым рослым, ни самым красивым в труппе. Он даже казался чуточку искривленным и изуродованным в результате какой-то работы, непосильной для юного возраста. Но по живости движений и по остроумию реплик это был мой лучший актер. Великодушный от природы, он без размышлений бросался на защиту угнетенных. Его смелость доходила до безрассудства, и драматург предоставлял ему многочисленные возможности ее проявить. Никто не мог сравниться с ним во время пожара, когда надо было вытащить из огня ребенка и принести его матери. Единственным его недостатком была чрезмерная живость, но ему прощали ее или, вернее, еще больше любили его за это.

Ахилл бы не пленял, не будь он скор и пылок.

Средний палец, изящный, прямой, высокий, великолепный, обладал при этой счастливой внешности еще и рыцарской душой. Происходя от знаменитейших предков, он носил славное имя Дюнуа. Боюсь, что на

этот раз я знаю, откуда взялось это имя, и не сомневаюсь, что родоначальницей его была моя дорогая матушка. Матушка пела не очень хорошо и притом лишь тогда, когда ее слушал я один. Она пела:

В сирийские владенья
Дюнуа собрался плыть.
Идет благословенья
У девы он просить.

Она пела также: «Отдохните, прекрасные рыцари». И пела еще: «Вздыхая, я зрю увидел». Моя дорогая матушка восторгалась романсами королевы Гортензии*, которые были очаровательны в свое время.

Простите мне эти отступления — ведь я излагаю основы целого искусства. Безымянный палец, на котором обычно носят обручальное кольцо, но на котором никакого кольца не было, отождествлялся с дамою замечательной красоты, названной Бланкой Кастильской. Возможно, что это был псевдоним. Будучи единственной женщиной в труппе, она играла матерей, супруг, возлюбленных. Молодой красавец Дюнуа при содействии усердного и бескорыстного Митуфля тысячу раз спасал эту добродетельную и угнетенную особу от величайших опасностей. Она часто выходила замуж за Дюнуа, реже — за Митуфля. Еще один характер, и с моей труппой будет покончено. Жанно, мизинец, был маленький, совсем глупенький мальчик, которого в случае надобности превращали в девочку, например, когда представляли «Красную Шапочку». И мне кажется, что девочкой он был немного умнее.

Пьесы, которые сочинялись для перечисленных выше исполнителей, напоминали *commedia dell'arte** в том отношении, что я придумывал только канву, а диалог импровизировали сами актеры, соответственно своему характеру и положению. Однако это вовсе не значит, что они были похожи на итальянские фарсы и на те пьесы ярмарочных балаганов, в которых Арлекин, Коломбина и Доктор дерутся друг с другом из-за низменных интересов и пошлых страстей. Мои творения,

¹ Комедию масок (*итал.*).

более благородные, принадлежали к героическому жанру, и в самом деле он более всех других близок существам простодушным и невинным. Я бывал мрачным, возвышенным, трагичным и даже жестоко трагичным. Когда страсти поднимались до таких высот, что слов уже не хватало, начиналось пение. В этих драмах были и комические сцены. Сам того не зная, я работал в шекспировской манере *. Мне было бы гораздо труднее работать в манере Расина. И не потому, чтобы, подобно Ламартину, я питал отвращение к буффонаде, отнюдь нет! Но мои шутки были очень просты, к ним не примешивалась ирония. В моем театре часто повторялись одни и те же положения, но у меня не хватало мужества упрекать себя за это — они были так трогательны! Плененные принцессы, которых освобождал мужественный рыцарь, похищенные дети, возвращаемые матерям, — таковы были излюбленные мои сюжеты.

Впрочем, я отваживался выступать и в других жанрах. Я сочинял любовные драмы, где было рассыпано много перлов, но недоставало действия, а главное — развязки. Эти недостатки объяснялись чистотой моей души: полагая, что любовь является самоцелью и сама по себе дает высшее блаженство, я не побуждал ее искать какого-нибудь иного удовлетворения. Получалось очень возвышенно, но однообразно.

Я разрабатывал также и военные сюжеты, смело затрагивая наполеоновскую эпопею, о которой слышал из уст современников этой великой эпохи, еще столь многочисленных в годы моего младенчества. Дюнуа играл Наполеона, Бланка Кастильская — Жозефину * (я ничего не знал о Марии-Луизе), Митуфль — гренадера, Жанно — флейтиста; Раппар изображал англичан, пруссаков, австрийцев и русских — словом, неприятеля. И с такими силами я ухитрялся одерживать победы при Аустерлице, Иене, Фриденде, Ваграме, вступать в Вену и в Берлин. Я редко ставил одну и ту же пьесу дважды, у меня всегда была наготове новая. По плодовитости я был настоящий Кальдерон *.

Понятно, что благодаря постановкам этого театра, где я был одновременно и директором, и автором, и труппой, и зрителем, я перестал скучать в постели. На-

против, я старался лежать как можно дольше и придумывал себе разные болезни, лишь бы не вставать. Моя дорогая мама просто не узнавала меня и спрашивала, отчего я вдруг стал таким ленивым. Не имея понятия о моем искусстве и не в силах постичь мою гениальность, она называла леностью то, что было воплощением активности и движения.

Достигнув к моим шести годам высшей точки своего развития, театр вскоре пришел в упадок, причины которого следует изложить.

Так вот, в возрасте шести лет мне пришлось из-за какого-то легкого недомогания, связанного с процессом роста, провести несколько дней в постели. Так как на столике у моей кровати стоял ящик с красками и лежали ленты, я решил воспользоваться этими имевшимися у меня под рукой материалами, чтобы украсить мой театр и довести его до небывалой степени совершенства. Немедленно, с пламенным рвением, взялся я за осуществление своих замыслов. До сих пор я никогда не замечал, что у моих актеров нет лиц, как их нет, например, у яйца. Внезапно обратив на это внимание, я сделал им глаза, нос, рот и, видя, что они голые, разодел их в золото и шелка. Затем мне показалось, что им нужны головные уборы, и я сделал им шляпы или колпачки разных фасонов, но преимущественно остроконечные. В своих поисках живописных эффектов я не остановился на этом — я соорудил сцену, нарисовал декорации, смастерил реквизит. И, очень взволнованный, я поставил пьесу под названием: «Бароны гроба господня», которая должна была объединить в одном грандиозном действе Восток и Запад. Увы! Я не смог закончить и первой сцены. Вдохновение остыло — душа, движение, все исчезло. Не стало ни страсти, ни жизни. Мой театр, пока в нем не было ухищрений, расцветивался всеми красками, облакался во все образы, создаваемые иллюзией. Когда появилась роскошь, иллюзия рассеялась. Музы улетели. И более не вернулись. Какой урок! Надо оставить искусству его благородную наготу. Богатство костюмов и блеск декораций душит драму — ей не нужно иных украшений, кроме величия действия и правды характеров.

XI

Корпия

Мне еще не было четырех лет. Однажды утром матушка подняла меня с постели, и мой дорогой папа, вновь надевший мундир национального гвардейца, нежно меня поцеловал. Кивер у него был украшен золотым султаном и красной шишечкой. На набережной трубили сбор. Лошадиный галоп отдавался на мостовой. Время от времени доносились песни и дикие возгласы, а вдаль слышалась ружейная трескотня. Отец вышел из дому. Матушка подошла к окну, подняла кисейную занавеску и зарыдала. Это была революция*.

От февральских дней у меня сохранилось мало воспоминаний. Во время уличных боев мне ни разу не позволили выйти из дому. Окна наши выходили во двор, и события, совершавшиеся на улицах, были для меня бесконечно таинственны. Все жильцы нашего дома подружились. Г-жа Комон — жена книгоиздателя, мадемуазель Матильда — уже немолодая дочь г-жи Ларок, мадемуазель Сесиль — портниха, элегантная г-жа Петипа, красивая г-жа Мозер, с которой в обычное время неохотно водили знакомство, — все собирались после обеда у моей матушки и щипали корпию для раненых, число которых возрастало с каждой минутой. В то время во всех больницах было принято прикладывать к ранам нити полотна, и ни один человек не сомневался в превосходстве этого способа, пока в медицине не произошел переворот, отменивший влажные перевязки. Каждая из дам приносила с собой сверток белья; они усаживались в столовой за круглый стол и рвали материю на узкие полоски, из которых потом выдергивали нитки. Просто удивительно, когда вспомнишь, сколько старого белья было у этих хозяек. Г-жа Петипа нашла на принесенном с собой обрывке простыни вензель своей прабабушки с материнской стороны и дату 1745. Матушка работала вместе со своими гостьями. Мы — я и маленький Октав Комон — принимали участие в этой благотворительной деятельности под наблюдением старой Мелани, которая из почтительности сидела поодаль от стола и своими заскоруз-

лыми пальцами выдергивала нитки из какой-то тряпки. Я выполнял порученную мне работу с величайшим усердием, и моя гордость росла с каждой выдернутой ниткой. Но когда я увидел, что кучка Октава больше моей, самолюбие мое было уязвлено, и радость от сознания, что я помогаю раненым, значительно уменьшилась.

Время от времени наши добрые знакомые — г-н Деба, прозванный Симоном из Нантуи, и г-н Комон, книгоиздатель, — приходили к нам с новостями.

Господин Комон тоже был в форме солдата национальной гвардии, но он носил ее далеко не с таким изяществом, как мой дорогой отец. У папы было бледное лицо и стройная фигура. У г-на Комона лицо было угреватое, с тремя подбородками, свисавшими на мундир, который был ему тесен и позорно расходился на животе.

— Положение ужасное, — сказал он. — Париж в огне. На улицах высятся семьсот баррикад. Народ осаждает дворец, и маршал Бюжо* защищает его с четырьмя тысячами солдат и шестью пушками.

Это сообщение было встречено возгласами ужаса и сострадания. Старая Мелани, стоя в сторонке, крестилась и безмолвно шевелила губами.

Матушка велела подать мадеру и печенье. (В те времена никто не пил чай, и дамы не испытывали такого страха перед вином, как теперь.) После глотка мадеры взгляды оживились, на губах появились улыбки. Это были уже другие лица, другие души.

Во время закуски к нам пришел г-н Клеро, стекольщик с набережной Малакэ. Это был очень толстый человек, гораздо толще г-на Комона, а белая блуза делала его еще более тучным. Поклонившись всему обществу, он попросил, чтобы доктор Нозьер оказал помощь раненым, лежавшим в Пале-Рояле и лишенным самого необходимого. Матушка ответила, что доктор Нозьер находится в больнице Шарите. Г-н Клеро нарисовал нам страшную картину того, что он видел на подступах к Тюильри. Повсюду убитые, раненые. Лошади с перебитыми ногами и распоротым брюхом пытаются встать и снова падают на землю. И наряду с этим кафе

переполнены любопытными, ватага мальчишек потешается над псом, воющим над трупом. Он рассказал также, что защитники Шато д'О на площади Пале-Рояля, осажденной крупным отрядом вооруженных до зубов повстанцев, сложили оружие лишь тогда, когда здание было охвачено пламенем.

И господин Клеро продолжал приблизительно в таких выражениях:

— После сдачи поста были вызваны добровольцы гасить пожар. В их числе оказался и я. Раздобыли ведра, и все мы встали цепью. Я стоял шагах в пятидесяти от пламени, между почтенным пожилым гражданином и каким-то юнцом, у которого висел через плечо солдатский ранец. Ведра ходили взад и вперед. И я повторял: «Осторожней, граждане, осторожней!» Мне было что-то не по себе. Ветер гнал на нас огонь и дым. Ноги у меня замерзли, а по временам ледянищий холод пробегал вдоль бедра. Тщетно я пытался разгадать его причину. Я даже спрашивал себя, уж не ранило ли меня ненароком в сражение и не исхожу ли я кровью. Продолжая стоять в цепи, я думал про себя: «То, что я испытываю, очень странно». И вот, желая понять, что же такое со мной происходит, я стал смотреть вперед, назад, вправо и влево. И что же? Вдруг я вижу, что мой сосед слева, этот самый мальчишка, преспокойно выливает мне в карман то ведро, которое я только что ему передал... Ну, сударыни, шалопай получил от меня хорошую оплеуху. Все пять пальцев так и опечатались. Пускай покажет своей подружке.

— Вот почему, — сказал в заключение г-н Клеро, — если вы позволите, госпожа Нозьер, я охотно погрелся бы немного у вашей печки. Этот сопляк заморозил меня до костей. Ну и молодежь! Потерять всякое уважение к старшим. Просто страшно становится, как подумаешь.

И толстяк, вынув складную метр, алмаз для резки стекла и совершенно размокшую газету, вывернул карман, из которого полилась вода. Потом он приподнял полы своей блузы, и вскоре его одежда задымилась у теплой печки.

Матушка налила ему рюмку водки, и он выпил за здоровье всей компании, так как был человек учтивый.

Я был в восторге от всего, что слышал, и отлично заметил, что г-жа Комон еле удерживается от смеха.

В эту минуту г-н Деба, прозванный Симоном из Нантуи, вошел в комнату в кожаной амуниции поверх сюртука и с ружьем в руке. Происходящие события придали ему неимоверную важность, и он торжественным тоном объявил г-же Нозьер, что доктор задержался в больнице и не придет обедать. Он доложил нам обо всем, что видел и слышал, особенно подробно распространяясь о тех сценах, в которых принимал участие сам: шесть солдат муниципальной гвардии спасались от преследования восставших, и он спрятал их в подвале на улице Бон; королевский доезжачий, которого выдавала его красная ливрея, мог из-за этого испытать на себе ярость толпы, и он, Деба, передел его в блузу, взятую у виноторговца на углу улицы Вернейль. Он сообщил также, что Фирмен, камердинер г-на Беллаге, только что убит на набережной шальной пулей. И так как нас больше всего трогают те события, которые происходят поблизости, известие об этой смерти было принято с глубоким волнением.

Помню еще, что немного позднее, когда было уже темно, мы зашли с моей дорогой матушкой к г-же Комон, жившей в нижнем этаже, и из окна, выходившего на набережную, я увидел, как из ворот Лувра выехала очень высокая, настежь распахнутая карета, вся в огне. Группа людей вкатила ее меж двух сидящих статуй на мост Святых отцов и, не доезжая до середины моста, начала раскачивать ее. Карета дважды подпрыгнула на рессорах, потом рухнула в Сену, унося с собой чугунные перила. И это зрелище, за которым вдруг последовал глубокий мрак, показалось мне таинственным и великолепным.

Вот мои воспоминания о 24 февраля 1848 года. Такими они запечатлелись в моем детском восприятии и потом много раз освежались в памяти рассказами матушки. Вот они, скудные и бесхитростные. Я очень старался не приукрашивать их и не дополнять.

В такой вот обстановке я знакомился с современными событиями, и это оказало длительное влияние на мое понимание общественной жизни, а также в большой

степени способствовало формированию моей философии истории. В дни моего раннего детства французы обладали чувством юмора, но потом утратили его по причинам, которые мне было бы трудно определить. Памфлет, гравюра и песня выражали их насмешливый дух. Я родился в золотой век карикатуры, и мое представление о жизни нации создано благодаря литографиям «Шаривари» * да ироническим замечаниям моего крестного Пьера Данкена, парижского буржуа. Несмотря на смуты и революции, среди которых я рос, все казалось мне забавным. Мой крестный отец называл Луи-Наполеона Бонапарта унылым попугаем. Мне нравилось представлять себе, как эта птица сражается с красным призраком, который изображался в виде огородного пугала, сидящего верхом на метле. А вокруг них метались орлеанисты с грушами вместо голов, * — г-н Тьер * в образе карлика, Жирарден *, одетый шутком, и президент Дюпен * с ситом вместо лица и в огромных, как корабли, башмаках. Но особенно интересовал меня Виктор Консидеран *, который, как я знал, жил на набережной Вольтера, недалеко от нас, и представлялся мне подвешенным к дереву за длинный хвост с огромным глазом на конце.

XII

Две сестры

В тот год мама часто водила меня на улицу Бак. Приближалась зима. Она покупала на этой торговой улице разные вязаные и шерстяные материи и заказывала мне теплое платье у г-на Огри, необыкновенно вежливого и необыкновенно неаккуратного портного, жившего напротив особняка, где за год до того умер Шатобриан. Это воспоминание несколько меня не трогало, и я равнодушно смотрел на дверь с медальонами благородного и строгого стиля, которая однажды раскрылась, чтобы пропустить его в последний раз. Что восхищало меня на прекрасной улице Бак, так это лавки, полные разных вещей, изумительных по форме

и окраске, — множество вышивок, почтовая бумага с вензелями, нарисованными золотом и лазурью, львы и пантеры на ковриках, предназначенных лежать на полу у кровати, восковые фигурки с искусными прическами, савойские фарфоровые безделушки, шершавые на ощупь, с куполом, похожим на купол Пантеона и завершившимся распутившейся розой. Там были, наконец, изумительные крошечные пирожные в виде треуголок, домино или мандолины. И, показывая мне все эти чудеса, матушка умела одним метким словом сделать их для меня еще чудеснее. У нее был редкий дар одушевлять вещи и создавать символы.

На углу улицы Бак и Университетской улицы существовал тогда магазин, где торговали картинами. Узкая желтая дверь его была богато разукрашена в стиле того времени. Не могу ничего сказать о венчавшем ее карнизе, так как совершенно не запомнил его, но зато отлично помню, что возле двух консолей, поддерживавших карниз, стояли, прислонясь к ним, две маленькие фигурки, не больше локтя в высоту, причудливая смесь человека, четвероногого и птицы. Строго говоря, это были не химеры, поскольку у них не было ничего ни от льва, ни от козы. Не были это и грифоны, раз у них была женская грудь. Головы с длинными ушами напоминали головы летучей мыши; тонкие туловища напоминали борзых. На фонарных столбах Сюренского моста еще и сейчас можно видеть фантастических маленьких зверьков, немного похожих на эти, а также на того уродца, который поддерживает фонарь на фасаде палаццо Риккарди во Флоренции. Словом, это были маленькие декоративные фигурки, созданные около 1840 года каким-нибудь скульптором вроде Фешера, но выражение их мордочек было так своеобразно и они занимали так много места в моей жизни, что я не спутаю их ни с какой другой фигуркой подобного рода.

Это моя дорогая матушка указала мне на них как-то раз, когда мы проходили мимо.

— Пьер, — сказала она, — посмотри на этих маленьких зверюшек. Они очень выразительны. Какие хитрые и веселые мордочки! На них можно смотреть целыми

часами — до того у них осмысленный взгляд. Так и кажется, что они живые. Взгляни, как они смеются.

Я спросил, как они называются. Матушка ответила мне, что у них нет названия в естественной истории, потому что в природе таких не существует.

Я сказал:

— Это две сестры.

На следующий день нам опять пришлось идти к г-ну Огри, чтобы примерить еще раз мой зимний костюм. Когда мы проходили мимо двух сестер, матушка с серьезным видом показала на них пальцем,

— Посмотри, они больше не смеются.

И матушка говорила правду. У сестер изменилось выражение, они больше не смеялись и смотрели на меня угрожающе и сурово.

Я спросил, почему они перестали смеяться.

— Потому что ты дурно вел себя сегодня.

На этот счет не могло быть никаких сомнений. Я дурно вел себя в тот день. Я пришел на кухню, куда всегда влекло меня сердце, и застал там старую Мелани, которая чистила брюкву. Мне тоже захотелось чистить, или, вернее, резать брюкву, ибо я задумал сделать из нее фигурки людей и животных. Мелани воспротивилась моей затее. Рассерженный отказом, я сорвал с нее гофрированный чепец с кружевными лентами. Возможно, что это была вспышка моего необузданного нрава, но уж никак не акт благоумия. Я внимательно всматривался в двух сестер, и оттого ли, что они показались мне действительно наделенными сверхъестественной силой, или потому, что мой ум, жадно тянувшийся ко всему чудесному, охотно поддавался иллюзии, но легкая мучительно-сладостная дрожь испуга пробежала у меня по спине.

— Они не знают, в чем ты провинился, — продолжала матушка, — но ты читаешь свои проступки в их глазах. Будь хорошим мальчиком, и они улыбнутся тебе, как будет улыбаться вся природа.

С тех пор, всякий раз, что мы с матушкой проходили мимо двух сестер, мы с беспокойством смотрели, какой у них вид — сердитый или безмятежный, и этот вид всегда в точности соответствовал состоянию моей

совести. Я вопрошал их с полным доверием, и в выражении их лиц, то улыбающихся, то мрачных, находил либо награду за хорошее поведение, либо кару за проступки.

Прошло много лет. Став взрослым и приобретя полную независимость суждений, я все еще вопрошал двух сестер в минуты нерешительности и тревоги. И вот однажды, чувствуя особенно острую потребность разобраться в самом себе, я пошел к ним за ответом. Но их уже не было: они исчезли вместе с дверью, которую некогда украшали. Я вернулся домой, полный неуверенности и колебаний, — и принял неправильное решение.

ХIII

Кэтрин и Марианна

Моро, когда я увидел его впервые, показалось мне необъятным из-за той безграничной грусти, которую я испытал, глядя на него и дыша им. Это было дикое море. Мы поехали летом провести месяц в маленькой бретонской деревушке. Один прибрежный пейзаж запечатлелся в моей памяти с четкостью гравюры — низко нависшее пасмурное небо, ряд деревьев, безжалостно бичуемых ветром с моря и склоняющих к плоской голой земле свои жалкие ветки и кривые стволы. Это зрелище растерзало мне сердце. Оно до сих пор живет во мне, как символ ни с чем не сравнимого бедствия.

Морские шумы, морские запахи волновали меня. Каждый день, каждый час я видел море другим. То оно было гладким и синим, то, покрывалось маленькими спокойными волнами, лазурными с одной стороны, посеребрёнными — с другой, то казалось закрытым зеленой клеенкой, то тяжелым и мрачным, несущим на своих волнующихся гребнях разъяренных баранов Неря; * вчера оно отступало с улыбкой, сегодня — в смятении бежало вперед. Несмотря на то, что я был ребенком, а может быть, именно потому, что я был всего лишь слабым ребенком, эта коварная изменчивость сильно подорвала любовь и доверие, которые мне вну-

шала природа. Морская фауна — рыбы, моллюски и особенно ракообразные, эти животные, внушавшие мне большой страх, чем чудовища из «Искушений св. Антония» *, которых я с любопытством разглядывал в окне лавочки г-жи Летор на моей милой набережной Малакэ, — все эти лангусты, осьминоги, морские звезды и крабы знакомили меня со слишком уж необычными формами жизни и с живыми существами, которые, право же, были куда менее дружелюбны, чем мой щенок Кэр, чем пони г-жи Комон, чем ослы Робинзона, чем парижские воробьи, чем даже лев из моей «Библии с картинками» и пары из моего Ноева ковчега. Эти морские чудища преследовали меня во сне и являлись по ночам огромные, в черно-голубых панцирях, колючие, волосатые, вооруженные клешнями, жалами, пилами и не имеющие лица, причем отсутствие лица и было страшнее всего остального.

На следующий же день после моего приезда я был завербован одним большим мальчиком в детскую команду, которая, запасшись лопатами и кирками, соорудила на берегу крепость из песка, водрузила на ней французский флаг и стала защищать ее от морского прибоя. Мы потерпели славное поражение. Я покинул разрушенный форт одним из последних, выполнив свой долг, но приняв поражение с легкостью, не избличавшей во мне великого полководца.

Однажды я ездил на лодке ловить моллюсков с Жаном Эло, у которого были светло-голубые глаза, смуглое обветренное лицо и до того жесткие руки, что они царапали мне кожу, когда он пожимал мои в знак расположения. Он выезжал в открытое море, чинил сети, конопатил лодку, а в часы досуга сооружал в графине крошечную шхуну с полной оснасткой. Говорил он мало, но все же рассказал мне историю своей жизни, которая сводилась к тому, что все его близкие погибли в море. Прошлой зимой три его брата и отец утонули все вместе на расстоянии одного кабельтова от порта, и в этом событии, как в любом другом, он видел только хорошее. Та малая доля религиозности, которая во мне была, помогла мне открыть в Жане Эло небесную мудрость. В один воскресный вечер мы нашли его посреди

дороги мертвецки пьяным. Нам пришлось перешагнуть через него, но и после этого случая он остался для меня существом совершенным. Возможно, что в моем чувстве было что-то от квиетизма *. Пусть об этом судят другие — я в то время отнюдь не был богословом, а сейчас и подавно.

Самым любимым моим развлечением была ловля креветок в обществе двух девочек, внушивших мне восторженную, но оказавшуюся недолговечной симпатию. Одна из них, Марианна Ле Геррек, была дочерью дамы из Кинпера, с которой матушка познакомилась на морском купанье. Другая, Кэтрин О'Бриен, была ирландкой. У обеих — белокурые волосы и голубые глаза. Они были очень похожи друг на друга, в чем нет ничего удивительного, ибо

Ведь золотым плодам от яблони единой
Подобны девушки Армора и Эрина.

Инстинктивно сознавая, что они как-то дополняют друг друга, кокетки все время держались вместе и постоянно ходили обнявшись. Грациозно переступая своими тоненькими голыми ножками, потемневшими от солнца и морской воды, они бегали по песку, извиваясь и изгибаясь, словно выполняя фигуры какого-то танца. Кэтрин О'Бриен была красивее, но она неправильно говорила по-французски, чем я возмущался в своем невежестве. Я находил для девочек самые хорошенькие ракушки, но они с презрением их отвергали. Я изо всех сил старался услужить им, но они делали вид, что не замечают моего ухаживания или что им наскучила моя назойливость. Когда я смотрел на них, они отворачивались; когда же я в свою очередь притворялся, что не замечаю их, они привлекали мое внимание каким-нибудь поддразниванием. Я смущался в их присутствии и сразу терял все приготовленные слова. Если же иной раз я грубо разговаривал с ними, то причиной тому были страх, досада или какое-то сложное, противоречивое чувство. Марианна и Кэтрин дружно злословили и подшучивали по адресу маленьких купальщиц — девочек одного возраста с ними. По всем остальным

поводам они чаще ссорились, чем сходились во мнениях. Они очень сердились друг на друга за то, что родились в разных странах. Марианна горячо упрекала Кэтрин в том, что она англичанка. Кэтрин, враждебно относившаяся к Англии, возмущалась этим оскорблением, топала ногами, скрипела зубами и кричала, что она ирландка. Но Марианна не видела в этом никакой разницы. Однажды на даче у г-жи О'Бриен их спор о родине кончился дракой. Марианна подошла к нам на берегу с расцарапанными щеками. Увидев ее, мать вскричала:

— Боже милостивый! Что с тобой случилось?

Марианна бесхитростно ответила:

— Кэтрин расцарапала мне лицо за то, что я французка. Тогда я назвала ее дрянной англичанкой и ударила кулаком в нос — пошла кровь. Г-жа О'Бриен послала нас умыться в комнату Кэтрин. И там мы помирились, потому что на нас обоих был только один тазик.

XIV

Неведомый мир

Каждый день после завтрака старая Мелани надевала в своей каморке под крышей старомодные, начищенные до блеска башмаки, завязывала перед зеркалом ленты белого с кружевной отделкой чепца и накидывала на плечи маленькую черную шаль, перекрещивая концы ее на груди и закалывая булавкой. Она проделывала все это с величайшей тщательностью, ибо всякое искусство трудно, а Мелани, никогда не полагалась на случай в том, что, по ее мнению, способно было придать человеческому существу почтенный и благообразный вид, достойный его божественного происхождения. Удостоверившись наконец, что отвечает всем требованиям своего пола, возраста и положения, она запирала дверь на ключ, спускалась со мною с лестницы, с растерянным видом останавливалась в передней и с воплем взбегала обратно в мансарду, чтобы взять кошелку, которую постоянно забывала по своей

старинной привычке. Она ни за что не согласилась бы выйти на улицу без этой бархатной, гранатового цвета кошелки, в которой держала свое вечное вязанье, ножницы, нитки, иголки и откуда извлекла однажды квадратик английского пластыря, когда я порезал себе палец. В этой сумке она хранила также монетку с дырочкой, один из моих молочных зубов и клочок бумаги со своим адресом — для того, говорила она, чтобы ее не свезли в морг, случись ей скоропостижно умереть на улице. Выйдя на набережную, мы сворачивали влево и здоровались с г-жой Пти, торговавшей очками возле особняка Шимэ. Сидя под открытым небом на высоком деревянном стуле возле своего ящика, прямая, неподвижная, с лицом, опаленным солнцем и стужей, она всегда хранила какую-то суровую печаль. Женщины перекидывались несколькими фразами, почти не изменявшимися от встречи к встрече, — потому, должно быть, что речь шла о неизменной сущности природы. Они беседовали о детях, больных коклюшем, крупом или изнурительной лихорадкой, о женщинах, подверженных каким-то таинственным расстройствам, о повседневных жертвах несчастных случаев. Они говорили о вредоносном действии разных времен года на организм человека, о вздорожании съестных припасов, о все возрастающей жадности людей, которые с каждым днем становятся хуже и хуже, и о все учащавшихся преступлениях, приводящих в ужас весь мир. Впоследствии, читая Гесиода *, я заметил, что торговка очками с набережной Малакэ мыслила и говорила так же, как гномические поэты древней Греции. Однако ее мудрость отнюдь не трогала моего сердца. Она лишь наводила на меня тоску, и я дергал няню за юбку, чтобы уйти подальше. Когда же, выйдя на набережную, мы сворачивали вправо, меня, напротив, так и тянуло остановиться перед гравюрами г-жи Лектор, выставленными вдоль дощатого забора, окружавшего пустырь, на котором возвышается ныне Дворец изящных искусств. Эти картинки * преисполняли меня восторгом и изумлением. «Прощание в Фонтенебло» и «Сотворение Евы», «Гора, имеющая форму человеческой головы», «Смерть Виргинии» вызывали во мне

особое волнение, не вполне остывшее даже и сейчас, после стольких лет. Однако старая Мелани тащила меня вперед, быть может считая, что мне еще рано рассматривать такие гравюры, а быть может, и это вернее, просто ничего в них не понимая. Несомненно одно — что она уделяла им не больше внимания, чем наш шенок Кэр.

Мы ходили то в Тюильри, то в Люксембург. В ясную теплую погоду мы добирались даже до Ботанического сада или до Трокадеро, цветущего зеленого холма, одиноко вздымавшегося в те времена на берегу Сены. В особенно счастливые дни меня водили в сад г-на де ла Б..., который разрешил мне гулять там в его отсутствие. Этот прохладный и пустынный сад с высокими деревьями простирался за красивым особняком на улице св. Доминика. Я приносил с собой деревянную лопатку шириной с мою ладонь, и если это бывало в то время года, когда стволы платанов теряют свою тонкую гладкую кору, а дождь, размягчив землю, прокладывает у их подножья неглубокие извилистые борозды, превращавшиеся в моих глазах в пропасти и рвы, я перебрасывал через них деревянные мосты, по краям их сооружал из тонкой коры целые деревни, крепостные валы и церкви, втыкал травинки и ветки, изображавшие деревья, сады, бульвары, леса, — и радовался своему творенью.

Эти прогулки по городу и предместьям казались мне то чересчур медленными и однообразными, то полными движения, иногда утомительными, а иногда приятными и веселыми. Нам случалось забрести очень далеко, и тогда мы проходили вдоль длинной нарядной улицы, по обеим сторонам которой тянутся ряды с пряниками и с яблочной пастилой, с дудками и с бумажными змеями, вдоль Елисейских полей, где проезжали колясочки, запряженные козами, где под звуки шарманки вертелись деревянные лошадки, где Гиньоль * в своем театре дрался с чертом. Потом мы спускались к пыльному речным откосам, где подъемные краны выгружали камни, а могучие першероны тащили баржи бечевою. Владения шли за владениями, края за краями. Мы проходили по местам многолюдным и пустынным, бес-

плодным и цветущим. Но была страна, куда я мечтал проникнуть более страстно, чем в любую другую, страна, к которой, как мне иногда казалось, я был совсем близок и где, однако, мне так и не пришлось побывать. У меня не было об этой стране ни малейшего представления, но я был уверен, что узнаю ее, как только увижу. Я не думал, что она красивее или чем-нибудь лучше тех, что были мне знакомы, вовсе нет, — просто она была совсем другой, и я горячо желал открыть ее. Эта страна, этот мир, недоступный и в то же время близкий, был вовсе не тот мир религии, о котором мне говорила матушка. Ведь тот мир, мир духовный, являлся для меня миром ощутимым. Бог отец, Иисус Христос, Дева Мария, ангелы, святые, блаженные, души чистилища, дьяволы, грешники, осужденные на вечные муки, — все они вовсе не казались мне таинственными. Я знал их историю, я повсюду видел их изображения. На одной только улице св. Сульпиция были тысячи таких картинок. Нет! Мир, внушавший мне безумное любопытство, мир моих грез, был неведомый, мрачный, безмолвный мир, одна мысль о котором внушала мне сладостный испуг. У меня были слишком маленькие ножки, чтобы добраться до него, а моя старая Мелани, как я пи тянул ее за юбку, семенила слишком мелкими шажками. И все-таки я не отчаивался, все-таки я надеялся, что когда-нибудь проникну в тот край, к которому я так стремился и которого так боялся. В иные минуты, в иных местах, мне казалось, что еще несколько шагов, и я буду у цели. Чтобы увлечь за собой Мелани, я прибежал к хитрости или к силе, и когда это простодушное существо уже собиралось идти домой, я насильно, рискуя разодрать ей платье, поворачивал ее назад, к таинственным рубежам. А она, не понимая моей священной ярости, начиная сомневаться и в сердце моем и в рассудке, поднимала к небу глаза, полные слез. Однако не мог же я объяснить ей мое поведение. Не мог же я крикнуть ей: «Еще шаг, и мы проникнем в безымянную страну». Увы! Сколько раз с тех пор приходилось мне хранить в душе сокровенную тайну своих желаний!

Разумеется, я не пытался начертить в своем воображении географическую карту страны Неведомого, мне было неизвестно, где она расположена, но мне казалось, что порой я узнаю некоторые точки, в которых она соприкасается с нашим миром. И эти предполагаемые границы находились не так уж далеко от того места, где я жил. Не знаю, по каким признакам я их узнавал, — пожалуй, по их необычности, по их тревожному очарованию и по тому смешанному со страхом любопытству, какое они во мне возбуждали. Один из таких рубежей, который мне так и не дано было преодолеть, был отмечен двумя домами, обнесенными общей железной решеткой и не похожими ни на какие другие, — двумя домами из тесаного камня — тяжело-весными, мрачными, с красивым фризом, который изображал женщин, державшихся за руки меж больших безмолвных геральдических щитов. И если это место и не было границей осязательного мира, то уж во всяком случае это была одна из прежних границ Парижа — застава Анфер¹, сооруженная в царствование Людовика XVI архитектором Леду*. В сыром Тюильрийском саду, недалеко от мраморного вепря, притаившегося в тени каштанов, под каменной площадкой у самой воды есть холодный грот, где спит бледная женщина со змеей, обвитой вокруг руки. Я подозревал, что этот грот сообщается с неведомым миром и что надо лишь поднять тяжелый камень, чтобы в него проникнуть. В подвале нашего дома тоже была одна дверь, на которую я всегда смотрел с тревогой. Она почти ничем не отличалась от дверей других подвалов — замок в ней был заржавлен, на пороге и в щелях гниющего дерева блестели мокрицы, но, в отличие от других дверей, никто никогда не открывал ее. Так бывает со всеми дверьми, ведущими к тайне, — они никогда не открываются. И, наконец, в той комнате, где я спал, из щелей паркета иногда поднимались какие-то видения, нет, даже не видения, — тени, нет, даже не тени, а ка-

¹ Площадь Анфер, превратившаяся в 1879 году в площадь Данфер-Рошере. Жалкая игра слов в духе маркиза до Биевра. (Прим. автора.) [Enfer — по-французски — ад.]

кие-то веяния, которые преисполняли меня ужасом и могли исходить только из этого мира, такого близкого и все же недоступного. Быть может, то, о чем я говорю, покажется не совсем ясным. Сейчас я разговариваю только с самим собой и на этот раз слушаю себя с любопытством, с волнением.

Иногда, теряя надежду открыть этот неведомый мир, я делал попытку что-нибудь узнать о нем хотя бы по рассказам. Как-то раз я спросил у Мелани, сидевшей со своим вязаньем на скамье Люксембургского сада, не знает ли она, что скрывается в гроте, где лежит бледная женщина со змеей вокруг руки, и за дверью, которая никогда не открывалась.

Мелани, видимо, не поняла меня.

Я настаивал на своем:

— А те два дома с каменными женщинами? Что там такое, дальше, за ними?

Не добившись ответа, я поставил свои вопросы по-иному.

— Мелани, расскажи мне сказку про неведомую страну.

Мелани улыбнулась.

— Мой маленький господин Пьер, я не знаю сказок о неведомой стране.

И так как я продолжал ей надоедать, она сказала:

— Мой маленький господин Пьер, послушай, что я тебе спую.

И она тихонько запела:

Кум Гильери, мой друг,
Ужель умрешь ты вдруг?

Увы! Жизнь, эта царица превращений, не изменила мальчика, который спрашивал у своей няни о том, чего не знает никто. Я влачу длинную цепь дней, но еще не отказался от надежды отыскать неведомую страну. Я искал ее во время всех прогулок. Сколько раз, бродя по берегу серебристой Жиронды, вдоль волнующегося океана виноградников, с моим спутником, другом, с маленьким рыжим щенком Мицци, — сколько раз я трепетал на повороте новой дороги, неисследованной тропинки! Ты видел, Мицци, как на всех перекрестках,

на перепутье всех дорог, на изгибе каждой тропинки я выслеживал грозное, бесформенное, не похожее ни на что виденье, которое могло бы хоть на миг облегчить мою душевную тоску. А ты, мой друг, мой брат, ты ведь тоже искал что-то такое, чего так и не нашел. Мне не удалось проникнуть во все тайники твоей души, но я открыл в ней слишком большое сходство со своей собственной, чтобы не считать ее мятущейся и неугомонной. Подобно мне, ты искал тщетно. Сколько ни ищи, всегда найдешь только самого себя. Мир для каждого из нас есть лишь то, что содержится в нас самих. Бедняга Мицци, тебе не помогал в твоих поисках человеческий мозг со множеством извилин, искусство речи, сложные машины и все сокровища наблюдения, собранные в наших книгах. Твой взор погас, и с ним погас тот мир, о котором ты почти ничего не знал. О, если бы твоя милая маленькая тень могла услышать меня, я сказал бы ей: «Скоро и мои глаза закроются навек, а я все еще знаю о жизни и о смерти немногим больше тебя». Что же касается того неведомого мира, который я искал, то тогда, будучи ребенком, я был вполне прав, думая, что он где-то здесь, рядом со мной. Неведомый мир окружает нас со всех сторон, это все то, что лежит вне нас. И раз мы не можем выйти из самих себя, значит мы никогда его не достигнем.

XV

Господин Менаж

Находясь под присмотром самого домовладельца, г-на Беллаге, дом наш на набережной был почтенным, спокойным и был населен, как говорится, приличными жильцами. Несмотря на то, что г-н Беллаге считался одним из крупнейших финансистов Реставрации и Июльского правительства, он сам занимался сдачей квартир, сам составлял арендные договоры, бережливо руководил ремонтом и наблюдал за работами всякий раз, как квартира переделывалась заново, что бывало редко. В принадлежащей ему недвижимости невоз-

можно было оклеить без него и двадцати метров, хотя бы обои стоили по восемь су за кусок. Впрочем, он был благодушен, приветлив и старался угодить жильцам, если это ничего ему не стоило. Он жил среди нас, как отец меж своих детей, и из моего окна видны были ярко-голубые занавески его спальни. На него не сердились за то, что он так бережет свое добро, а может быть, даже больше уважали его за это. Богачей уважают за то, что они богаты. Скупость, увеличивая их богатство, вместе с тем увеличивает и их влияние, тогда как расточительность, уменьшая их сокровища, в то же самое время умалывает их вес и престиж.

В молодости, во времена Революции, г-н Беллаге занимался самыми разнообразными вещами. Он был немножко аптекарем, как и его король *. В случае необходимости он сам оказывал первую помощь раненым и угоревшим, и добрые люди были признательны ему за это. Трудно представить себе более благообразного, более почтенного старца, более благородную осанку. Он умел быть простодушным. Рассказывали о некоторых его поступках, достойных самого Наполеона. Однажды вечером, чтобы не будить привратника, он сам пошел открывать парадную дверь. Он был хороший семьянин. Веселый и счастливый вид его двух дочерей свидетельствовал о нежной любви к ним отца. Словом, г-н Беллаге пользовался в своем доме всеобщим уважением, и на него с почтением взирали на всем том пространстве, откуда можно было видеть его греческий колпак и пестрый халат. В остальной же части вселенной его называли не иначе, как «Старый плут Беллаге».

Эту печальную известность он приобрел благодаря участию в одном громком деле, связанном с мошенничеством и взятками, деле, покрывшем Июльское правительство позором и бесчестием. Г-н Беллаге заботился о доброй славе дома, коего он был владельцем, и пускал туда лишь безупречных жильцов. А если репутация одной из его обитательниц, прекрасной г-жи Мозер, была слегка подмочена, то ведь за нее отвечал

некий посланник, и вела она себя вполне прилично. Дом был обширен и разделен на множество квартир, по большей части маленьких, низких и темных. Мансарды, которых насчитывалось значительно больше, чем требовалось для размещения прислуги, были тесные, неудобные, со щелями в стенах, слишком жаркие летом и холодные зимой. Мудрый г-н Беллаге приобрел маленькие квартирki, чуланы и мансарды для людей вроде г-на и г-жи Деба или г-жи Пти, продавщицы очков, людей незначительных, которые платили недорого, но платили каждый квартал.

Господин Беллаге, человек изобретательный, додумался даже устроить на чердаке маленькую мастерскую для г-на Менажа, занимавшегося живописью. Эта мастерская находилась дверь в дверь с каморкой моей няни Мелани и отделялась от нее только узеньким коридорчиком с липкими стенами, где водились пауки и всегда витал запах помоев. Лестница здесь, наверху, становилась круче. Первая дверь, перед которой вы оказывались, поднявшись, и была дверью комнатки моей няни Мелани. Эта комнатка, вся обшитая досками, освещалась проделанным в крыше окошечком с зеленоватыми стеклами, во многих местах разбитыми, заклеенными бумагой и такими пыльными, что они загрозяли небо. Кровать Мелани была застелена стеганым одеялом, крытым жуисским полотном, на котором была изображена красной краской юная девица, получающая в награду за добродетель венок из роз, причем рисунок этот повторялся много раз. Это одеяло да ореховый шкаф составляли все имущество моей дорогой няни. Напротив ее комнаты находилась мастерская художника. Визитная карточка с фамилией г-на Менажа была приколотая к двери. Если встать лицом к этой двери, то по правую руку, под затканным паутинной слуховым окном, едва пропускавшим слабый свет, можно было различить помойное ведро, от которого вечно несло капустой. С этой стороны, обращенной к набережной, было до слухового окна не больше десяти шагов. Другая же сторона освещалась лишь поднимавшимся с лестницы тусклым мерцанием. Поэтому ко-

ридор терялся в темноте, казался мне бесконечным, и мое воображение населяло его чудовищами.

Изредка, когда моя няня Мелани шла разбирать белье в своем шкафу, она брала меня с собой. Но мне не разрешалось подниматься наверх одному и было положительно запрещено входить в мастерскую художника или даже приближаться к ней. Мелани утверждала, что я не смог бы вынести зрелище того, что было внутри. Она и сама не могла без ужаса видеть висевший там скелет и прикрепленные к стенам части человеческого тела, бледные как смерть. Такое описание породило в моей душе любопытство и страх, и я горел желанием проникнуть в мастерскую г-на Менажа. Как-то раз, поднявшись с моей старой няней в ее мансарду, где она стала разбирать целую кучу рваных чулок, я решил, что надо воспользоваться удобным случаем. Я незаметно вышел из комнаты и сделал те два шага, которые отделяли меня от мастерской. Сквозь замочную скважину проникал свет. Я уже хотел было припасть к ней глазом, но страшный шум, который вдруг подняли крысы над моей головой, так меня напугал, что я отпрянул и бросился обратно в комнату Мелани. Тем не менее я рассказал своей старой няне все, что видел в замочную скважину.

— Я видел, — сказал я ей, — части человеческого тела, бледные как смерть... их были миллионы... это было ужасно. Я видел скелеты, которые вели хоровод, и обезьяну, игравшую на трубе... Это было ужасно. Я видел семь прекрасных женщин в золотых и серебряных платьях и в плащах цвета солнца, цвета луны и цвета всех времен года. Они висели на стене с перерезанным горлом, и кровь их ручьями стекала на белый мраморный пол.

Я придумывал, что бы такое еще я мог видеть, но тут Мелани насмешливо спросила меня, каким это образом я мог увидеть столько вещей за такой короткий срок. Я уступил ей в отношении дам и скелетов, которые я, пожалуй, разглядел не совсем ясно, но поклялся, что части человеческого тела, бледные как смерть, я видел отлично. И возможно, что я и сам этому верил.

XVI

Она положила руку мне на голову

У господина Морена была широкая физиономия с толстыми губами, приподнятые углы которых доходили до бакенбард, черных с проседью. Глаза, нос, рот, все его открытое лицо дышало простосердечием. Одевался он скромно, необыкновенно опрятно, и от него всегда пахло марсельским мылом. Г-н Морен был человек средних лет, и если бы, подобно герою басни, он находился еще и посреди двух женщин, желавших подогнать его каждая к своему возрасту, то одной из них, несомненно, явилась бы г-жа Морен, его супруга, которая постоянно выдергивала у него черные волосы, ибо казалась намного старше, чем он. Манеры у нее были лучше, чем у мужа, и для своего положения она была весьма элегантна. Но я не любил ее, потому что она была печальна.

Служа привратницей дома, находившегося по соседству с тем, в котором жил я и который принадлежал г-ну Беллаге, г-жа Морен восседала в своей каморке с видом грустным и полным достоинства. Ее бледное увядшее лицо словно говорило о какой-то величественной скорби, и мама утверждала, что она похожа на королеву Марию-Амалию *. Г-н Морен тоже имел отношение к привратничке и отворял парадную дверь, когда в том была необходимость, но он считал это наименее важной из своих обязанностей. Две более значительные должности занимали его время — он состоял доверенным лицом при г-не Беллаге и служил в палате депутатов. Отец мой относился к нему с таким доверием, что нередко оставлял меня с ним на целое утро. Г-н Морен пользовался всеобщим уважением, его знал весь квартал. Он был личностью исторической, ибо 24 февраля 1848 года ему довелось носить на руках графа Парижского.

Известно, что после отречения Луи-Филиппа в пользу своего внука и бегства королевской семьи герцогиня Орлеанская покинула захваченный дворец и в сопровождении нескольких приближенных явилась со своими малолетними детьми — графом Парижским и

герцогом Шартрским — в палату депутатов, где объявила себя матерью нового короля и регентшей королевства. Группа республиканцев шумно вошла в зал одновременно с ней. Стоя у подножия трибуны и держа мальчиков за руки, герцогиня ждала, чтобы собрание признало ее права. Рукоплескания, раздавшиеся при ее появлении, быстро утихли. Большинство неодобрительно смотрело на регентство. Председатель Созе приказал посторонним лицам удалиться из зала. Принцесса медленно отошла от трибуны, но то ли движимая честолюбием, то ли решившись, под влиянием материнской любви, защищать, несмотря на опасность, права своего сына, она отказалась выйти из зала, поднялась по центральной лестнице на самый верх амфитеатра и здесь, развернув какую-то бумагу, сделала попытку говорить. Эта маленькая женщина, такая бледная под длинной вдовьей вуалью, могла тронуть сердца, но не обладала теми качествами, которые дали бы ей власть над толпой. Ее не слышали, ее почти не видели среди беспорядочных групп людей, теснившихся вокруг нее. Внезапно страшный шум, доносящийся снаружи, усиливается, приближается. Через двери, высаженные ударами прикладов, в полукруглый зал врываются простолюдины, студенты, солдаты национальной гвардии. Они кричат:

— Хватит с нас Бурбонов! Хватит с нас королей!
Да здравствует Республика!

В коридорах раздаются выстрелы. И сквозь гущу криков и ружейной пальбы испуганное ухо различает отдаленный, глухой, еще слабый, но еще более грозный шум — шум валов огромного человеческого океана, бьющихся о стены дворца. Вскоре вливается новый поток — на этот раз через трибуну для посетителей — и наводняет зал. Вооруженные пиками, длинными ножами и пистолетами, люди кричат, угрожая смертью. На трибуне Ламартин *, подозреваемый (и совершенно напрасно) в том, будто он только что произнес речь в защиту регентства. На него направляются ружейные дула и окровавленные острия сабель. Испуганные депутаты устремляются к выходам. Герцогиня Орлеанская с детьми, подхваченная лавиной беглецов,

оттесненная к маленькой двери, что слева от стола председателя, выброшена в узкий коридор. Здесь, стиснутая между убегающими депутатами и толпой, ринувшейся им навстречу, прижатая к стене, оторванная от детей, она в полуобмороке падает у подножия лестницы. Морен, находившийся в это время в коридоре, слышит детский крик и видит, что маленький граф Парижский сбит с ног, что сейчас его растопчет толпа. Он берет его на руки, проносит по залам и вестибюлям и через низкое окно, выходящее в сад, передает одному из адъютантов, искавшему своих принцев. Между тем герцогиня, укрывшаяся в одной из приемных председателя палаты, громкими криками призывает своих сыновей. Ей приводят графа Парижского и сообщают, что герцог Шартрский в безопасности: переодетый девочкой, он спрятан на чердаке дворца.

Таков был рассказ г-на Морена. Он часто повторял его и всегда заканчивал следующим рассуждением:

— Герцогиня Орлеанская проявила при этих обстоятельствах невиданное мужество и такую силу духа, на какую способны немногие мужчины. Будь она на восемнадцать дюймов выше ростом, сын ее стал бы королем. Но она была слишком мала. Ее совсем не видно было в этой толпе.

Лучшим доказательством уважения, с каким мои родители относились к чете Морен, служил тот факт, что они позволяли мне бывать в их обществе сколько вздумается, хотя вообще были очень строги в выборе моих знакомств. Их разборчивость в этом отношении очень меня тяготила. Так, например, этажом выше нас жила некая г-жа Мозер, на чей счет ходило немало сплетен. В розовом капоте, в голубых раззолоченных туфельках без задников, надушенная, она по целым дням сидела одна, ничего не делая, в своей квартире, обставленной в турецком стиле. Как только представлялся удобный случай, она затаскивала меня к себе, чтобы немного развлечься. Лениво растянувшись на диване, она любила брать меня на руки, играя. Я готов был бы поклясться, что, поставив меня к себе на ногу, она подбрасывала меня в воздух, как собачонку, если бы не понимал, что был в то время недостаточно мини-

тюрен и что мысль об этом, вероятно, подсказана мне «Пирожком» Фрагонара *, который я впервые увидел тогда, когда красивые ножки г-жи Мозер уже давно обрели вечный покой. Бывает, что воспоминания разных лет наслаиваются в памяти друг на друга и, смешиваясь, создают одну общую картину. Я особенно стараюсь избежать этого в данной книге, ибо единственным ее достоинством, очевидно, будет точность. Г-жа Мозер угощала меня круглыми конфетками, рассказывала истории про разбойников и пела романсы. К несчастью, родители запретили мне отвечать на авансы этой дамы и грозили самой суровой карой в случае, если я когда-либо переступлю порог квартиры в турецком стиле, полной ярких красок и приятных запахов. Точно так же мне строго запрещалось подниматься на чердак, в мастерскую г-на Менажа. Запрет этот Мелани объясняла тем, что г-н Менаж развешивал в своей мастерской иссиня-бледные части тела и скелеты. Но, разумеется, это было не единственное злодеяние, в котором моя няня обвиняла своего соседа-живописца. Однажды она пожаловалась г-ну Данкену, что этот бессовестный Менаж всю ночь не давал ей спать, занимаясь какой-то дикой музыкой в обществе своих приятелей. И мой крестный по секрету сообщил этому простодушному созданию, над которым ему не стыдно было подшучивать, будто господа художники не только пели и плясали всю ночь, но еще и пили огненный пунш из человеческих черепов. Мелани была слишком правдива сама, чтобы усомниться хоть в одном слове моего крестного. К тому же живописец очернил себя в глазах почтенной служанки еще более ужасным поступком. Как-то вечером, поднимаясь со свечой в руке к себе наверх, Мелани увидела на дверях своей каморки нарисованного мелом Амура; лук и колчан висели у него между крылышек, и он с умоляющим видом стучал кулаком в запертую дверь. Сильно подозревая, что автором этого оскорбительного рисунка был г-н Менаж, она обозвала его шалопаем, повесой и еще раз запретила мне дружить с таким невежей.

Словом, мало кто считался достойным водиться с моей особой.

Мне не разрешалось играть во дворе с сыном кухарки г-на Беллаге — юным Альфонсом *. Наделенный богатым воображением и смелым нравом, он, однако, отличался дурными манерами, был груб на язык, пускал в ход кулаки, как мужлан, и любил бродяжничать. Альфонс повел меня однажды к своему знакомому булочнику на улице Дофина, торговавшему просвиринами обрезками, и велел отпустить их нам на одно су, которое я и заплатил, ибо из нас двоих богачом был я. Мы разделили их на две части и унесли в своих передниках, но по дороге Альфонс съел все. Эта проделка навлекла на меня строгий выговор, и мне пришлось порвать знакомство с Альфонсом. Точно так же мне было запрещено какое бы то ни было общение с Оноре Дюмоном. Сын государственного советника, Оноре принадлежал к хорошей семье и был необыкновенно красив, но он жестоко обращался с животными и отличался извращенными наклонностями. Даже с семейством Комон, которое вечно торчало на кухне и в котором все — отец, мать, сын, дочь, собака и кошка — заплыли жиром и с бессмысленной радостью взирали на мир, даже и с ним мне не позволяли водиться после того, как я тайком от задремавших Комонов вымыл под краном их чернильницы и пришел домой весь мокрый от воды и чернил. Зато мне была предоставлена полная свобода домогаться общества супругов Морен.

Я не слишком широко пользовался этой льготой в отношении г-жи Морен: с седыми волосами, взбитыми, как у королевы Марии-Амалии, с длинным скорбным, желтым, как лимон, лицом, она распространяла вокруг себя уныние и тоску. Если бы еще г-жа Морен производила на окружающих впечатление глубокой, мрачной грусти, жуткого, красивого отчаяния, я, может быть, испытал бы возле нее то своеобразное удовольствие, какое мне доставляло в то время все чрезмерное, все выходящее за рамки обыденного и привычного. Но грусть г-жи Морен была ровной, сдержанной, монотонной, посредственной. Она пронизывала меня, как мелкий дождь, она замораживала меня. Г-жа Мо-

рен никогда не покидала своей привратницей у ворот, тесной, низкой, сырой и не заключающей в себе ничего примечательного, кроме кровати, на которой было столько тюфяков, матрацев, покрывал, стеганых одеял, валиков, подушек и перин, что я не понимал, как можно на нее лечь и тут же не задохнуться. Я полагал, что г-н и г-жа Морен, спавшие на ней каждую ночь, обязаны были своим чудесным спасением самшитовой ветке, прибитой под распятием с фарфоровой кропильницей и осенявшей это смертоносное ложе. Венок из флердоранжа под стеклянным колпаком украшал ореховый комод. На черном мраморном камине, тоже под стеклом, стояли часы не то турецкого, не то готического стиля, и эти часы служили основанием позолоченной группе, изображавшей, как мне сообщила г-жа Морен, «Матильду, обращающую в свою веру Малек-Аделя среди урагана пустыни» *. Я ни о чем больше не спросил и не потому, чтобы я был такой уж нелюбопытный и нелюбознательный мальчик. Просто эта невыясненная история пленяла меня своей таинственностью. Она не совсем прояснилась для меня и в дальнейшем, и имена Малек-Аделя и Матильды все еще связаны в моей памяти с запахом вареного порея, подгоревшего лука и угольного дыма, царившим в привратничкой г-жи Морен. Сия почтенная особа меланхолически занималась стиркой на низенькой печурке, труба от которой выходила в камин и беспрестанно дымила. Наиболее интересное развлечение, какое я мог найти в ее обществе, состояло в том, что я смотрел, как она снимает накипь с бульона или чистит морковь, стараясь срезать как можно меньше и изобличая этим мелочную душу скряги. Общество Морена, напротив, было мне очень приятно.

Когда, вооружившись щетками, метелками из перьев и вениками, он готовился навести в помещении столь любимую им чистоту, радостный смех растягивал ему рот до ушей, круглые глаза блестели, широкое лицо сияло. Нечто от хозяйственного пыла Геркулеса в Элиде * вдруг проявлялось в нем. И если счастливый случай сталкивал меня с ним как раз в такую минуту его трудового дня, я цеплялся за его жесткую волоса-

тую руку, пахнувшую марсельским мылом, мы вместе поднимались по лестнице и входили в одну из квартир, доверенную его попечениям в отсутствие хозяев и слуг. Две из них я помню до сих пор.

Как сейчас вижу просторную гостиную графини Мишо с зеркалами, полными призраков, с мебелью, погребенной под белыми чехлами, и с портретом генерала в полной парадной форме, стоящего среди порохового дыма и под дождем картечи. Морен сообщил мне, что эта картина изображает генерала, графа Мишо, под Ваграмом, при всех орденах. Четвертый этаж нравился мне еще больше. Там находилась холостая квартира графа Колонна Валевского. В ней было множество странных и прелестных вещей — китайские болванчики, шелковые экраны, лакированные ширмы, наргиле, турецкие трубки, щиты со старинным оружием, страусовые яйца, гитары, испанские веера, женские портреты, глубокие диваны, тяжелые портьеры. Я восхищался всеми этими загадочными предметами, а Морен, выпячивая грудь, говорил мне, что граф Валевский — известный шеголь и сердцеед. Он долго жил в Англии, в Париже находится проездом и собирается в Италию, куда назначен послом. Так, с помощью Морена, я познавал мир.

И вот однажды, когда я поднимался вместе с Мореном по довольно узкой лестнице, которая вела к графине Мишо, графу Валевскому и еще кое к кому из жильцов, имена которых я забыл (Я часто смотрю на этот дом. Внешний вид его не изменился. Почему же, по какой неизвестной и мне самому причине я ни разу не вошел внутрь? Какое тайное чувство помешало мне пойти взглянуть, осталась ли лестница такой же, какую она была в дни моего детства?), — итак, однажды, когда я и Морен находились между вторым и третьим этажом, мы вдруг увидели наверху молодую даму, спускавшуюся по ступенькам вниз. Морен, образец учтивости, во всех случаях жизни внушавший мне правила бесхитростной и наивной вежливости, велел мне снять шапку, посторониться и, посторонившись сам, приподнял свой греческий колпак.

На молодой даме было светло-коричневое бархатное

платье и кашемировая шаль с узором из больших пальмовых ветвей. Изогнутая шляпка в виде капора обрамляла ее тонкое бледное лицо. Она грациозно спускалась по ступенькам. Поравнявшись с нами, она взглянула на меня большими черными огненными глазами, и из ее маленького, очень маленького ротика, похожего на гранат, раздался низкий глуховатый голос. Такого тембра и такой выразительности я уже никогда более не слышал.

Она спросила:

— Морен, это ваш мальчик?.. Он очень мил.

Она положила мне на голову руку в белой перчатке, и когда Морен ответил ей, что я ребенок соседей, повторила:

— Он очень мил. Но пусть родители поберегут его: у него красные пятна на скулах, а сам он бледненький.

Эти глаза, так ласково смотревшие на меня, загорались на сцене «черным пламенем», сжигавшим Федру. Эта тонкая рука, так нежно опустившаяся мне на голову, одним жестом повергала зрителя в смятение, повелевая убить Пирра. Снедаемая недугом, от которого ей предстояло умереть, Рашель * искала его признаки на лице бедного ребенка, которого случайно встретила в обществе привратника. Я был слишком мал, когда она бросила театр, и ни разу не видел ее на сцене, но все еще чувствую на своей голове прикосновение ее маленькой, затянутой в перчатку ручки.

XVII

Брат — это верный друг, дарованный природой

Моя тетя Шоссон жила в Анжере, где она родилась и вышла замуж. Овдовев, она стала со строгой экономией управлять своим скромным имением и выделять некрепкое шипучее вино, которым очень гордилась и которым угощала весьма скупно. Когда она приезжала в Париж, — а это считалось в то время дальним путешествием, — то останавливалась у моих родителей. Известие о ее приезде без особой радости встречалось матушкой и старой Мелани, боявшейся сварливого

нрава этой провинциальной жительницы. Отец говорил о ней:

— Как это ни странно, сестра моя Ренэ, которая овдовела после восьми лет замужней жизни, является законченным типом старой девы во всем его мрачном совершенстве.

Тетя Шоссон была намного старше своего брата, а благодаря худому желтому лицу, узким и вышедшим из моды платьям казалась еще старше своих лет. Мне она представлялась древней старухой, но мое почтение к ней от этого отнюдь не увеличивалось. Признаюсь в этом без всякого раскаяния — уважение к старости не свойственно детям, оно приходит к ним как следствие воспитания и никогда не бывает врожденным. Я не любил тетю Шоссон, но так как я вовсе и не хотел любить ее, то чувствовал себя в ее обществе вполне непринужденно. Ее приезд доставлял мне живейшее удовольствие, потому что вносил некоторые перемены в наш домашний уклад, а всякая перемена приводила меня в восторг. Мою кровать перекатывали в маленькую гостиную с розами, и я ликовал.

Гостя у нас в третий раз со времени моего рождения, она стала присматриваться ко мне более внимательно, чем прежде, и ее наблюдения оказались для меня неблагоприятными. Она нашла во мне многочисленные и противоречивые недостатки: раздражающую непоседливость, которую, по ее мнению, моя матушка недостаточно строго подавляла, и привычку сидеть неподвижно, не свойственную моему возрасту и не предвещающую, по ее словам, ничего хорошего, непреодолимую лень и бешеную энергию; запоздалое развитие и чересчур рано созревший ум. Все эти дурные и разнообразные свойства она объясняла одной общей причиной. По глубокому убеждению моей тетки, все зло (а оно было велико) происходило от того, что я был единственным сыном.

Когда моя дорогая мама беспокоилась, видя, что я становлюсь вял и бледен, тетя Шоссон говорила ей:

— Он не может быть весел и здоров — ему не с кем играть, — у него нет брата.

Если я не знал таблицы умножения, если опрокидывал чернильницу на свою синюю бархатную куртку, если обедался леденцами и яблочным муссом, если упорно отказывался продекламировать г-же Комон басню о «Зверях, больных чумой» *, если падал и набивал на лоб шишку, если Султан Махмуд царапал меня, если я плакал утром над своей канарейкой, неподвижно лежащей в клетке с закрытыми глазами и лапками кверху, если шел дождь, если дул ветер — все это происходило потому, что у меня не было брата. Как-то вечером мне взбрело в голову потихоньку посыпать перцем кусок торта, отложенный для старой Мелани, страшно любившей сладкое. Моя дорогая матушка застала меня на месте преступления и стала выговаривать мне за этот поступок, который, по ее мнению, не делал чести ни моему сердцу, ни уму. Тетя Шоссон, которая еще строже осудила меня, увидев в этой шалости свидетельство глубокой испорченности, все же нашла для меня оправдание в том, что у меня не было ни брата, ни сестры.

— Он живет один. Одиночество вредно. Оно развивает в этом ребенке порочные инстинкты, начатки которых заложены в его натуре. Он невыносим. Мало того, что он хотел отравить этим пирожным старую служанку, — он еще дует мне в затылок и прячет мои очки. Если я подольше поживу у вас, милая Антуанетта, я просто очумею.

Так как я чувствовал себя совершенно неповинным в попытке отравления и ничего не имел бы против того, чтобы тетя Шоссон очумела, то эти обвинения не особенно меня огорчали. Отнюдь не доверяя старой даме, я был склонен оспаривать все ее утверждения, и поскольку ей хотелось, чтобы у меня были брат или сестра, я потерял всякую охоту их иметь. К тому же я отлично играл и один. Правда, часы не казались мне такими короткими, какими они кажутся мне сейчас, но скучал я редко по той причине, что уже тогда моя внутренняя жизнь была очень бурной и я остро чувствовал и переживал все явления внешнего мира, впитывая те из них, какие были доступны моему неокрепшему разуму. Кроме того, я знал, что братья

обыкновенно появляются совсем маленькими, не умеющими ходить, неспособными поддержать разговор и что от них нет никакой пользы. У меня не было уверенности в том, что мой брат, когда он вырастет, будет любить меня, а я буду любить его. Величественный и хорошо знакомый мне пример Каина и Авеля отнюдь меня не успокаивал. Правда, я часто видел в окно двух маленьких, похожих на два грибка близнецов — Альфреда и Клемана Комон, которые всегда шагали рядышком в добром согласии. Зато я не раз наблюдал, как ученик кровельщика Жан нещадно колотил во дворе своего брата Альфонса, показывавшего ему язык и всячески его дразнившего. Итак, мне трудно было опираться на примеры, по, в общем, положение единственного ребенка предоставляло мне, на мой взгляд, неоценимые преимущества и в числе прочих то, что никто мне не досаждал, не отнимал у меня долю родительской любви и не мешал той склонности, той потребности беседовать с самим собой, которая была заложена во мне с самого раннего детства. И в то же время мне хотелось иметь маленького брата, чтобы любить его. Ибо душа моя была полна колебаний и противоречий.

Как-то раз я попросил мою дорогую маму сообщить мне по секрету, собирается ли она подарить мне маленького брата. Она засмеялась и ответила, что нет, так как боится, как бы он не оказался таким же дурным мальчиком, как я. Ответ этот показался мне несерьезным. Между тем тетя Шоссон уехала к себе в Анжер, и я перестал думать о том, что так занимало меня, пока она жила у нас.

Но вот через несколько дней после ее отъезда, — через несколько дней или через несколько месяцев (ибо хронология — это самое трудное для меня в моем повествовании), — однажды утром к нам пришел завтракать мой крестный — г-н Данкен. День был прекрасный. Воробьи чирикали на крышах. И вдруг я почувствовал непреодолимое желание совершить что-нибудь удивительное, чудесное, что-нибудь такое, что нарушило бы однообразный ход вещей. Средства, которыми я располагал для осуществления такого предприятия, были крайне ограничены. Надеюсь разыскать что-ни-

будь подходящее для этой цели, я отправился на кухню: она дышала жаром плиты, вкусными запахами и была пуста. Перед тем как подавать на стол, Мелани, по своей неизменной привычке, убежала к бакалейщику или к зеленщику за какой-то забытой травкой, крупой или приправой. На плите шипело рагу из зайца. При этом зрелище меня осенило внезапное вдохновение. Повинуясь ему, я снял с огня рагу и спрятал его в шкафу для половых щеток. Эта операция прошла благополучно, если не считать того, что я обжег четыре пальца правой руки, левый локоть и оба колена, ошпарил лицо, испачкал передник, чулки, башмаки и пролил на пол почти весь соус вместе с ломтиками сала и кусочками лука. Затем я немедленно побежал за Ноевым ковчегом, подаренным мне к Новому году, и, высыпав всех зверей, которые в нем были, в красивую медную кастрюлю, поставил ее на плиту, на то место, где прежде стояло рагу из зайца. Это фрикасе с успехом заменяло в моих глазах одно из яств, подававшихся на пиршестве Гаргантюа, о котором мне рассказывали и которое я видел на раскрашенной картинке. Ибо если этот великан насаживал на свою вилку о двух зубьях целых быков, то я готовил кушанье из всех существующих в мире животных, начиная от слона и жирафа и кончая бабочкой и кузнечиком. Я заранее радовался, предвкушая, в каком восторге будет Мелани, когда вместо своего зайца это простодушное создание увидит льва и львицу, осла и ослицу, слона со своей подругой, — словом, всех животных, уцелевших после потопа, не считая Ноя и его семейства, которых я по недосмотру тоже бросил жариться в кастрюлю. Однако события развернулись совершенно иначе. Из кухни, быстро распространяясь по всей квартире, начал доноситься невыносимый чад, совершенно для меня неожиданный, а для других и вовсе непонятный. Матушка, задыхаясь, прибежала на кухню, чтобы выяснить его источник, и застала там старушку Мелани: запыхавшись, все еще держа на сгибе руки корзинку, она снимала с огня кастрюлю, где отвратительно дымились почерневшие останки животных из Ноева ковчега.

— Моя «кастрюля»! Моя любимая «кастрюля»! — с глубоким отчаяньем в голосе восклицала Мелани.

Придя на кухню, чтобы насладиться успехом моей выдумки, я вместо этого почувствовал себя совсем удрученным от стыда и раскаянья. И голос мой прозвучал очень неуверенно, когда на вопрос Мелани я ответил, что рагу находится в шкафу для половых щеток.

Мне не сделали ни одного упрека. Отец, бывший бледнее обыкновенного, делал вид, что не замечает меня. Матушка с пылающими щеками украдкой поглядывала на меня, словно ища на моем лице следы преступности или безумия. Но самый плачевный вид был у моего крестного. Уголки его губ, так красиво обрамленные круглыми щеками и жирным подбородком, уныло опустились. А глаза, обычно такие живые, уже не блестели за золотыми очками.

Когда Мелани подала рагу, у нее были красные глаза, а по щекам катились слезы. Не в силах выдержать больше, я выскочил из-за стола, бросился на грудь моей доброй старой подруге, крепко обнял ее и залился слезами.

Она вынула из кармана своего передника клетчатый носовой платок, нежно вытерла мне глаза узловатой, пахнущей петрушкой рукой и, всхлипывая, сказала мне:

— Не плачьте, господин Пьер, не плачьте.

Крестный обратился к матушке.

— У Пьера не злое сердце, — сказал он, — но это единственный ребенок. Он один, он не знает, чем заняться. Отдайте его в пансион: там он будет подчиняться благотворному воздействию дисциплины и сможет играть со своими сверстниками.

Услышав эти слова, я вспомнил совет, данный маме тетушкой Шоссон, и пожелал иметь брата, чтобы избавиться от пансиона, а также чтобы любить его и быть им любимым.

Я знал, что брат даруется природой, но, не имея понятия об условиях, при которых этот дар преподносится семьям, избранным небом, был убежден, что его может создать лишь та сила, благодаря которой произрастают растения и расцветает жизнь на земле. Во мне

жило смутное и глубокое ощущение какой-то таинственной и властной стихии, которая произвела меня на свет, а теперь питала меня, и, еще не зная ее имени, я поклонялся этой Кибеле *, легко отличая ее творения от самых чудесных созданий человеческих рук. Я готов был поверить, что волшебник способен сотворить человека, который движется, говорит, ест, но никогда не смог бы допустить, будто этот человек сделан из того же вещества, что и настоящие люди. Иначе говоря, я отказался от мысли получить брата по крови и решил попытаться восполнить то, в чем мне отказывала природа, то есть поискать себе приемного брата.

Разумеется, я не знал, что император Адриан, усыновив Антонина Пия, а потом Антонин, усыновив Марка Аврелия, дали миру сорок два года безмятежного счастья *. Я даже не подозревал об этом. Однако усыновление казалось мне превосходным обычаем. Я не рассматривал его со строго юридической точки зрения, ибо был совершенным невеждой в области права. Тем не менее этот обряд представлялся мне окутаным известной торжественностью, что нравилось мне, и почему-то я предполагал, что мои родители, усыновляя ребенка, которого бы я к ним привел, очевидно, нарядились бы по-праздничному. Трудность заключалась в том, чтобы найти этого ребенка. Поле моих изысканий было ограничено очень узкими рамками. Я видел мало людей, а в тех семьях, где мне приходилось бывать, навряд ли уступили бы сына без уважительной причины, вроде той, например, которая заставила мать Моисея доверить свое дитя водам Нила *. И, разумеется, г-жа Комон ни за что не согласилась бы расстаться с одним из своих близнецов. Я подумал, что, может быть, было бы легче получить ребенка из бедной семьи, и затронул этот вопрос в разговоре с моим другом Мореном, но тот почесал за ухом и ответил, что взять в семью найденыша — дело весьма рискованное и что, кроме того, моим родителям нельзя усыновить ребенка, поскольку у них уже есть сын. Этот мотив, юридическое значение которого ускользнуло от меня, несколько меня не испугал, и, гуляя с моей няней Мелани в Люксембургском, Тюильрийском

и Ботаническом садах, я продолжал поиски приемного брата. Несмотря на запрещение бедной старушки, я заводил знакомство с маленькими мальчиками, которых мы там встречали. Застенчивый, неловкий, тщедушный, я чаще всего получал от них в ответ насмешки и презрение. Или, если мне случалось найти мальчика, такого же застенчивого, как я сам, мы расставались молча, с опущенной головой, с тяжелым сердцем, не сумев выразить друг другу нашу взаимную нежность. В ту пору я убедился, что, не будучи совершенством, я все-таки лучше большинства других людей.

Спустя некоторое время, в один осенний день, сидя в одиночестве в гостиной, я вдруг увидел, как из камина вылезает маленький, черный, как бесенок, савояр. Его появление заинтересовало меня и не особенно испугало.

Таких вот маленьких савояров, чистивших трубы, было довольно много в Париже. В старых домах, вроде нашего, дымоходы прокладывались во всю толщину стены и были достаточно широки, чтобы в них мог пролезть ребенок. Чаще всего работу трубочиста выполняли маленькие савояры. Говорили, что они научились лазить у своих сурков. Но все-таки они прибегали к помощи веревки с узлами. Мальчик, вылезший из нашего камина, весь замазанный сажей, в нахлобученном до ушей колпачке, похожем на фригийский и таком же черном, как он сам, улыбался, показывая ослепительно белые зубы и красные губы, которые он облизывал, чтобы смыть грязь. На плече у него висела веревка и лопаточка, и он казался очень маленьким в своей курточке и коротких штанишках. Он понравился мне, и я спросил, как его зовут. Немного гнусавым, но приятным голосом он ответил, что его зовут Адеодат и что он родился в Жерве, близ Бонвиля.

Я подошел к нему и в порыве дружеского чувства воскликнул:

— Хотите быть моим братом?

На его лице, похожем на маску арлекина, выразилось удивление, глаза округлились, он раскрыл рот до ушей и кивнул головой в знак согласия.

Тогда, в приступе иступленной братской любви, я попросил его немного подождать и побежал на кухню. Обшарив кладовку, шкаф и буфет, я нашел головку сыра, которым и завладел. Это был один из тех невзательских сыров, которые своей формой напоминают деревянные затычки для бочек и поэтому называются «втулками». Сыр уже дошел; маленькие красные пятнышки усеивали его синеватую бархатистую корку. Я отнес его моему брату, который продолжал стоять, не шевелясь, и изумленно таращить глаза. Он и не подумал отказываться, вытащил из кармана нож и начал выкраивать из головки сыра громадные куски, поднося их на лезвии ко рту. Он жевал неторопливо — эта неторопливость, как видно, была ему свойственна во всем, — серьезно, сосредоточенно, не теряя ни секунды на передышки. И тут в комнату вошла матушка. От сыра оставалась к этому времени одна корка. Я счел своим долгом объяснить положение вещей:

— Мама, это мой брат: я его усыновил.

— Очень хорошо, — сказала матушка улыбаясь, — но ведь он сейчас задохнется. Дай ему попить.

Мелани, которую я очень кстати застал в кухне, принесла моему брату стакан подкрашенной вином воды. Выпив ее залпом, он вытер рукавом рот и вздохнул от удовольствия.

Матушка стала расспрашивать его о его родине, семье, о его работе, и, как видно, он отвечал хорошо, потому что, когда он ушел, моя дорогая мама сказала:

— А знаешь, твой брат очень мил.

Она решила, что надо будет попросить его хозяина, жившего на улице Булочников, чтобы как-нибудь в воскресенье он отпустил мальчика к нам.

Должен сознаться, что Адеодат, умытый и в праздничной одежде, понравился мне меньше, чем в своем черном колпаке и в маске из сажки. Он завтракал на кухне, куда мы с матушкой пришли на него посмотреть, немного стесняясь своего любопытства. Старая Мелани сделала нам знак, чтобы мы не подходили слишком близко — она опасалась насекомых. Он оказался очень вежлив, но решительно не желал есть до тех пор, пока ему не вернули шапку, которую отобрали

по приходе. Такие манеры показались нам немного простонародными, но если вдуматься глубже, то они, напротив, были очень благородны. В XVII веке мужчина знатного происхождения никогда не сел бы за стол с обнаженной головой. И то, что во время трапезы на голове у него красовалась шляпа, было вполне благопристойно, поскольку законы учтивости требовали, чтобы он ежеминутно снимал ее, принимая какую-нибудь услугу от своего соседа или передавая что-нибудь соседке. В новом «Трактате о правилах учтивости, принятых во Франции», опубликованном в 1702 году в Париже, г-н де Куртен вполне определенно говорит в главе, касающейся поведения за столом, что, «если знатная особа поднимает тост за здоровье кого-нибудь из присутствующих или за ваше здоровье, вам надлежит оставаться без шляпы, слегка наклонившись над столом, до тех пор пока означенная особа не кончит пить... Если она обратится к вам, вы опять-таки должны снять шляпу и следить за тем, чтобы рот у вас не был полон. Так надлежит поступать всякий раз, как такая особа заговорит с вами, до тех пор пока она не запретит вам снимать шляпу, после чего следует сидеть с покрытой головой, дабы не утомлять ее чрезмерной церемонностью». Адеодат во время еды все время сидел в шапке, словно старый дворянин двора Людовика XIV, но, по правде говоря, кланялся он не так часто. Мясо он клал на хлеб и отправлял в рот на кончике ножа. При этом он был очень серьезен. После завтрака, по просьбе матушки, он спел нам едва слышным голосом песенку своей родины:

Послушай, Жаннето,
Тебе не нужно ль платье?
Не это — то.

На вопросы моей дорогой матушки он отвечал кратко, но весьма разумно. Мы узнали, что зимой он работает в Париже, а весной возвращается пешком в свою деревню. Мать его, слишком бедная, чтобы купить корову, нанимается на сыроварни. Он работает вместе с ней или собирает в горах чернику для городских

кондитеров. Они живут на то, что заработают, и никогда не едят досыта.

Я решил копить деньги на корову для матери Адеодата, но вскоре забыл об этом решении. Весной маленький трубочист уехал к себе на родину. Моя дорогая матушка послала его матери шерстяные вещи и немного денег. А кроме того, убедившись, что он серьезный и умный мальчик, она написала школьному учителю его деревни, чтобы он научил Адеодата читать, писать и считать, обещая все расходы по его образованию взять на себя. В письме, написанном печатными буквами, Адеодат выразил ей свою благодарность.

Я много раз опрашивал, как поживает мой маленький брат, спросил я о нем и в начале зимы.

— Твой брат остался у себя на родине, — ответила мне мама, которая боялась, что огорчит меня, если скажет правду.

Моему брату не суждено было вернуться. Он спал на маленьком кладбище своей деревни. Матушка получила письмо от школьного учителя из Жерве, но не показала мне его. В письме этом говорилось, что маленький Адеодат умер от менингита, даже не заметив, что он болен и успев только спросить, почему у него стала такая тяжелая голова. За несколько часов до смерти он еще говорил о доброй г-же Нозьер и пел свою песенку:

Послушай, Жаннето...

XVIII

Тетка Коиле

Однажды утром, поднявшись вместе с Мелани в ее мансарду, я стал более внимательно, чем обычно, рассматривать крытое жуисским полотном одеяло, которым она застилала свою кровать и на котором была изображена, — кажется, я уже говорил об этом? — юная девица, получающая в награду за благонравие венок из роз. Эта сцена была вытиснена красной краской и повторялась несколько раз. Она казалась мне прелестной, будоражила мое воображение и возбуждала

любопытство. Мелани поворчала на меня за то, что я занимаюсь пустяками.

— Ну что тебе может нравиться в этом тряпье, Пьеро? Оно все в штопках. Покойница госпожа де Сент-Люси, у которой я служила в горничных, была покрыта этим одеялом, когда лежала на смертном одре. Оно было тогда совсем еще чистенькое. Молодые господа де Сент-Люси разделили вещи своей матери между женской прислугой, вот оно мне и досталось.

Однако я продолжал восторгаться и задавать вопросы.

— Кто это красивая барышня? Та, которой знатный господин надевает венок из роз? А зачем здесь бабабашники и трубачи? Что это за процессия девушек и почему крестьяне складывают руки как для молитвы?

— Да где ты видишь все это, мой маленький Пьеро? Быть не может, чтобы на таком крохотном местечке уместилось столько вещей. Надо мне надеть очки, тогда, может, и я что-нибудь увижу.

Она убедилась, что я ничего не выдумал.

— А ведь и вправду! Тут нарисованы и девушки, и знатные господа, и крестьяне. Ну и ну! Вот уже пятьдесят лет как это одеяло лежит на моей постели, а я ничего и не замечала. Да спроси у меня кто-нибудь, какого оно цвета, я и то не смогла бы ответить. А ведь сколько раз принималась его штопать.

Выходя вместе с Мелани из ее комнаты, я услышал стук костылей и чьих-то шагов, гулко отдававшихся в темной глубине коридора и медленно приближавшихся к нам. Я остановился и с ужасом увидел постепенно выходящую из мрака страшную, скрюченную старуху, у которой на месте головы был горб, а землистое лицо с правым глазом, закрытым огромной шишкой, свисало на грудь. Я ухватился за фаргук Мелани. Когда привидение прошло мимо, няня сказала, что это тетка Кошле и что больше она ничего не знает о ней, потому что никогда с ней не разговаривает, так же как не разговаривает и ни с кем другим. Моя бедная подруга часто повторяла это утверждение, но его следовало понимать не буквально, а только как свидетельство скромности,

выданное ею самой себе. Тетка Кошле занимала в конце коридора какую-то отвратительную конуру. Тем не менее ее не считали такой уж бедной, потому что она держала трех кошек, которым каждое утро покупала на два су потрохов. Г-н Беллаге неоднократно вызывался поместить ее в дом призрения, но она отказывалась так решительно, что ему пришлось бросить эту мысль.

— Она гордая, — сказала Мелани.

Потом понизила голос:

— Она роялистка. (Мелани произносила «руялистка»). И говорят, что на своем чердаке, где все уже сгнило, она хранит шикарное одеяло, расшитое лилиями *.

Вот все, что я узнал о тетке Кошле. Но некоторое время спустя, когда я гулял с моей няней Мелани по Тюильрийскому саду, мы увидели эту старуху. Она сидела на скамейке и угощала табаком какого-то инвалида. Поверх гофрированного чепца на ней была сильно поношенная соломенная шляпа, какие носили в 1820 году, а плечи были закутаны грязной, желтой, узорчатой шалью. Подбородок, которым она оперлась на свой костыль, тряся, а шишка, закрывавшая глаз, дрожала.

У инвалида нос и подбородок сходились вместе, как клешни омара. Они беседовали.

— Уйдем отсюда, — сказала мне Мелани.

И она встала. Но мне хотелось услышать, о чем говорит тетка Кошле, и я подошел поближе к той скамейке, где она сидела.

Она не говорила, она пела. Она пела или, вернее, напевала:

Будь я папоротник стройный...

XIX

*Госпожа Ларок и осада Гранвиля **

Госпожа Ларок с дочерью Терезой и попугаем Наварином занимала квартиру в том же доме, что и мы, в глубине двора. Из своей комнаты, а иногда даже из

кроватки, я мог видеть ее румяное морщинистое лицо, напоминавшее яблоко, долго пролежавшее в погребке. Оно появлялось в оббитом настурциями окне, между горшком с гвоздикой и похожей на пагоду клеткой попугая, подобно тем изображениям добрых хозяек в амбразуре из камня и цветов, какие рисовали старые фламандские мастера. Каждую субботу, после обеда, который заканчивался тогда около шести часов, матушка надевала капор, чтобы перейти через двор, и брала меня с собой провести вечер у дам Ларок. Она приносила туда в мешочке рукоделие, чтобы заниматься шитьем или вышиванием в обществе соседок. Другие дамы, бывавшие в этом доме, поступали так же. Этот давний обычай, наследие старого порядка, не считался мешанским и был распространен не только среди людей несостоятельных, как это могли бы подумать в наши дни, — нет, его придерживались во времена Людовика XVI самые аристократические слои общества, вовсе не отличавшиеся такой уж строгостью нравов. При Людовике XVI самые высокопоставленные дамы рукодельничали, сидя в гостях. Г-жа Виже-Лебрен* рассказывает в своих мемуарах, что в Вене, во время эмиграции, на приемах у графини Тунской, ее усаживали за большой стол, вокруг которого сидели, вышивая по канве, принцессы и придворные дамы. Но я говорю все это вовсе не для того, чтобы кто-нибудь подумал, будто мы с мамой ходили каждую неделю в гости к принцессам.

Госпожа Ларок была совсем простая старушка, но в ней было истинное величие — величие трудолюбия, терпения, любви и житейской мудрости, выдержавших испытание удач и невзгод. Она олицетворяла собой почти целое столетие французской истории, и два порядка, старый и новый, соединились и слились в ее сердце и уме, как и у других подобных ей женщин, которые, словно Сабинянки Давида, бросались разъединять сражающихся*.

Мари Ролин, богатая и миловидная крестьянка из Нормандии, принадлежавшая к семье «синих»*, была уже на выданье, когда началась вандейская война. Когда я познакомился с ней, ей было уже больше вось-

мидесяти лет, и, сидя в кресле, она вязала чулки и рассказывала истории из времен своей молодости, которых уже никто не слушал, так как она рассказывала их ежедневно, а иногда и по нескольку раз на дню. Такова была, например, история о претенденте на ее руку, ростом не выше сапога, которого при всеобщем наборе признали негодным к военной службе и которому Мари Ролин тоже отказала, раз ему отказала Республика. Обычно она заканчивала рассказ милой песенкой:

Жил однажды человек
По прозванью Гильери
Тирири.

Но самая любимая история г-жи Ларок, та, которую я слушал охотнее всего, была история об осаде Гранвиля.

В IV году * Мари Ролин вышла замуж за солдата Республики Эжена Ларока, который при Империи сделался капитаном, участвовал в испанском походе и в стычке с гверильясами Хулио Санчеса * был убит. Оставшись вдовой с двумя дочерьми, г-жа Ларок открыла в Париже небольшую галантерейную лавку. Старшая дочь постриглась в монахини и сделалась настоятельницей монастыря сестер крови Иисусовой в Серси. Ее звали мать Серафима. Вторая дочь скопила небольшое состояние, работая в модном магазине. Когда я познакомился с ними, обе были уже старенькими. Мать Серафима, которую я видел редко, внушала мне уважение своей благородной простотой. Мадемуазель Тереза, младшая сестра, нравилась мне своим ровным и веселым характером. Она отлично приготавливала «пустячки». Так назывались особые леденцы, которые подавались в маленькой бумажной коробочке, что казалось мне верхом искусства. Кроме того, она хорошо играла на фортепьяно.

Мы неизменно заставляли у дам Ларок мадемуазель Жюли, верившую в духов. Хотя она была черствой и сварливой, я очень старался поддерживать с ней дружбу, потому что она рассказывала истории о привидениях, о страшных, неизменно сбывавшихся пророчествах, о чудесах, а я с пятилетнего возраста

нуждался в подкреплении моей веры во всякую чертовщину.

Увы! Я нашел у дам Ларок змею, притаившуюся в траве. То была мадемуазель Альфонсина Дюзюэль, которая некогда колола мне булавками икры, называя «душкой» и «сокровищем». Я все еще жаловался матушке на жестокие выходки Альфонсины, но в сущности теперь она не столько мучила меня, сколько пугала, и если уж говорить всю правду, то она не делала ни того, ни другого. Альфонсина просто не замечала меня. Она становилась взрослой барышней, и ее коварство, уже менее простодушное, обращалось теперь на другие объекты — ее уже не занимали маленькие мальчики вроде меня. Я отлично видел, что теперь ей нравилось дразнить племянника мадемуазель Терезы — Фюльжанса Ролина, который играл на скрипке, готовясь к поступлению в консерваторию, и хотя от природы я не ревнив, хотя Альфонсина была некрасива и вся в веснушках, все-таки я бы предпочел, чтобы она по-прежнему вонзала мне булавки в икры. Нет, я не ревновал, а если бы и стал ревновать, то уж во всяком случае не к избраннику Альфонсины. Но я был эгоистом, я жаждал внимания, любви и хотел, чтобы вся вселенная занималась мною — пусть даже причиняя страдания. Пяти лет от роду я уже не был чужд многих человеческих недостатков.

Когда дамам и девицам надоедало работать, они складывали свое рукоделие и начинали играть в гусек * или в лото. Лото мне не нравилось. Я вовсе не хочу сказать, что уже тогда понимал унылую бессмысленность этой игры. Нет, она просто не отвечала запросам моего юного ума. Сплошь состоящая из цифр, она ничего не говорила моему воображению. И, по-видимому, мои партнеры тоже находили ее чересчур абстрактной, так как они изо всех сил старались оживить ее забавными выдумками, извлеченными, правда, не из собственной головы, а полученными в наследство от старших поколений. Так, например, они приписывали арабским цифрам сходство с каким-нибудь реальным предметом: 7 — заступ, 8 — бутылка, 11 — две ноги, 22 — две курочки, 33 — два горбуна. Или же к холод-

ному перечислению цифр они добавляли какое-нибудь поэтическое украшение: пять — вышел зайчик погулять, и т. д. Кроме того, были еще какие-то очень древние прибаутки, которые знала только г-жа Ларок, как, например: один волос — в поле растет колос, два завета — новый и ветхий. Разумеется, эти забавные добавления немного освобождали лото от его сухости, но на мой вкус оно все еще было слишком абстрактно. Зато благородная игра в гусек, заимствованная у греков, приводила меня в восторг. В игре в гусек все живет, все говорит, это сама природа и сама судьба. Все здесь волшебное и все истинно, все упорядочено и все случайно. Вещие гуси, размещенные в каждой девятой клетке, казались мне тогда некими божествами, и так как в те времена я вообще склонен был поклоняться животным, эти большие белые птицы преисполняли меня благоговением и ужасом. Гуси олицетворяли в этой игре то, что было в ней таинственного. Остальное принадлежало царству разума. Застряв в «гостинице», я ощущал запах жаркого. Я падал в колодец, возле которого стояла, чтобы спасти меня или погубить, хорошенькая крестьянка в красном корсаже и белом переднике. Я плутал в лабиринте, причем несколько не удивлялся, находя там китайскую беседку, ибо был полным невеждой в критском искусстве. Я падал с моста в реку, попадал в тюрьму, спасался от смерти и наконец достигал роши, которую охранял небесный гусь, раздающий всяческие блага.

Но по временам, пресытившись приключениями как Синдбад-мореход, я переставал испытывать судьбу, мне надоедало попадать в колодец, в лабиринт, в тюрьму, надоедало прыгать с моста. Я садился на красную маленькую скамеечку у ног г-жи Ларок, и здесь, вдали от освещенного лампой стола, просил ее рассказать мне об осаде Гранвиля.

И госпожа Ларок, продолжая вязать, рассказывала мне историю, которую я привожу здесь слово в слово.

«Оставив Фужер, господин де Ларошжаклен, предводитель разбойников, хотел идти на Ренн, но переломленные крестьянами эмигранты привезли ему из

Англии в палках с выдолбленной сердцевиной золото и письма. И господин Анри, как они называли его между собой, тотчас же велел разбойникам идти на Гранвиль, потому что англичане обещали, что пришлют этим господам военные суда и нападут на город с моря, меж тем как разбойники будут атаковать его с суши. Но никогда не следует полагаться на обещания англичан. Так говорил мне потом один человек из Бресюира. А вот что я слышала собственными ушами и видела собственными глазами. Тысячи разбойников подошли к Гранвиллю так близко, что с городского вала видно было, как они кишмя кишат на берегу. Генерал, комендант города, выступил против них с волонтерами Манша и с парижскими канонирами, у которых были нарисованы на руке синий фригийский колпак и слова: «Свобода или смерть». Но число разбойников все росло, их было теперь видимо-невидимо, и господин Анри, который лицом смахивал на красную девицу, командовал ими очень храбро. И вот генерал увидел, что их было слишком уж много. Его звали Пейр. О нем болтали и хорошее и плохое, как о всех тогдашних главарях, но человек он был честный и неглупый. Так вот, видя, что разбойников такое множество, он велел трубить атаку, чтобы напугать их, а сам подал сигнал к отступлению.

В этот день моя мать лежала больная, и я понесла в общину старое белье, которое велено было сдать. Громыхали пушки, густой дым застилал предместья. Мужчины кричали: «Нас предали! Они подходят. Спасайся кто может!» Женщины так вопили, что могли разбудить и мертвых. Тут гражданин Демезон выбегает на вал в своей шляпе с перьями и с трехцветной перевязью через плечо, и вдруг я вижу, как совсем почти рядом со мной он спотыкается, точно пьяный, хватается за грудь и падает головой вперед. Он был убит — пуля попала ему в самое сердце. И, несмотря на весь мой страх, я успела подумать, что умереть — дело недолгое. Но тут уж никто не обращал внимания на такие вещи, и еще две женщины упали на валу. Прижимаясь к стенам, я кое-как добралась до дому и застала у наших дверей парижского канонира, который

пришел попросить у нас дров, чтобы накаливать пушечные ядра. «Ну и жара», — сказал он мне. Он шутил — ведь ветер дул как перед бурей и мороз начинал крепчать.

Я сказала ему: «Что ж, зайдите, возьмите дров». Но тут прибегают Шапделенова дочка и кричит: «Не давай ему дров, Мари. Разве мало сгорело в предместье домов? И разве мало христиан зажарили, словно поросят? Даже отсюда слышно, как пахнет горелым. Если ты дашь ему дров, тебе достанется по заслугам. Когда придут вандейцы, не быть тебе живой». Она говорила так из страха и из корысти — ведь у нас в городе были богачи, которые платили людям деньги, чтобы помочь разбойникам войти. Я ответила ей: «Вот что, Матильда, имей в виду, что, если эти господа займут город, они восстановят десятину и посадят нам на шею англичан. Если ты хочешь гнуть спину, как прежде, и заделаться англичанкой, это твое дело. А я хочу быть свободной и остаться француженкой. Да здравствует Республика!» Тут этот парижанин хотел было поцеловать меня, но для приличия я дала ему оплеуху. В это время кругом закричали: «Вот они! Идут на приступ!» Мне было страшно, но любопытства во мне было еще больше, чем страха. Кое-как я добралась до вала и увидела, что вандейцы втыкают в стену штыки, чтобы по ним взобраться наверх. Но синие стреляли сверху, с крепостного вала, и бедняги, падая вниз, разбивались о скалы. Наконец, видя, что море разыгралось, а англичан все нет, разбойники побежали что есть духу. Берег был устлан мертвецами. Они лежали, не выпуская четок из скрюченных пальцев. Шапделенова дочка грозила им кулаком и говорила, что это для них еще слишком легкая смерть. И все те, кто только что собирался сдать им город, теперь поносили их, так как боялись, что их могут обвинить в измене Республике».*

Так говорила г-жа Ларок, и таким образом рассказ о событии, которое, если считать от сегодняшнего дня, произошло более ста двадцати лет назад, мне довелось слышать из уст очевидца.

XX

«Тогда зацелкали клыки чудовищ гнусных...»

(Ронсар)

В нашем доме настали тяжелые времена. Отец был мрачен, мать — взволнована, старая Мелани то и дело плакала. Гнетущее молчание за столом прерывалось лишь отрывистыми фразами.

— Гомбу доставил деньги в срок?

— Гомбу так и не явился.

— Ты видел судебного пристава?

— Рампон достал ссуду. Но какие проценты!.. Этот человек губит нас.

Воцарялось молчание. У всех были унылые лица. Нуждаясь в радости, как растение нуждается в солнце, я хирел в этой атмосфере печали.

То были тяжелые времена. Отец мой, самый неделовой в мире человек, принял участие в каком-то деловом предприятии. Не знаю, чего ради он поступил так — из слепого ли доверия к предложившему это другу, из чрезмерного ли желания оказать услугу, в надежде ли обеспечить легкое, безбедное существование своей жене и дать широкое разностороннее образование сыну, из соображений ли филантропии, или, может быть, просто по рассеянности, сам того не заметив. Вместе со своим другом Гомбу он учредил компанию по разработке Сен-Фирменской воды, которая после исследования, произведенного крупнейшими химиками, была признана несколькими членами медицинского факультета весьма полезной для лечения болезней желудка, печени и почек.

Это предприятие, обещавшее принести огромные барыши, быстро кончилось крахом. Я не могу сказать, какого рода общество было основано для разработки этой самой минеральной воды или какова была доля участия в нем моего отца. Это тема для Бальзака, а не для Пьеро. Поэтому я охотно ограничиваюсь воспоминаниями о том немногом, что уловил тогда мой детский ум.

Адельстан Гомбу, владелец Сен-Фирменских источников в Верхних Пиренеях, представлял собой длинное

парализованное тело, в котором, можно сказать, не было ничего живого. Неподвижные веки прикрывали ввалившиеся глаза, иссохшие губы обнажали два белых зуба, лицо было мертвым, а изо рта этой мумии исходил чарующе-нежный голос, свежий и мелодичный, как звук серебряной флейты. Появляясь в сопровождении мальчика-поводыря, опираясь на костыли, или на два столба виселицы (как выражалась моя старая няня), он казался зловещим и холодным как лед.

Завидев его, Мелани вздохнула:

— Вот в дом идет беда!

Не то забывая его фамилию, не то — и это вернее — считая ее зловещей, она никогда не произносила ее и докладывала шепотом:

— Господин с провалившимися глазами.

Мне случилось оставаться в гостиниой наедине с этим безжизненным телом. Оно внушало мне страх, я не смел на него взглянуть. Но стоило этому человеку раскрыть рот, и свершалось чудо. Гомбу учил меня оснащать кораблик, запускать бумажного змея, устраивать героновы фонтаны*, и как ни мало я был способен оценить искусство красноречия, все же очарование его речи, последовательность мыслей, точность выражений приводили меня в восторг. Этот человек, лишенный взгляда, лишенный жеста, был воплощенным даром убеждения. Я только что пытался понять, почему мой отец, такой благоразумный, такой бескорыстный, вступил в общество Сен-Фирменских вод. Но ведь причина ясна: это произошло оттого, что он слушал речи Гомбу. Слова Гомбу оказывали на моих родителей такое же действие, как на меня. И вот доказательство.

Это было вечером, в один из самых мрачных вечеров тех безотрадных времен. Г-н Полен — адвокат, человек добродушный, г-н Бурисс — юрисконсульт, человек еще более добродушный, чем г-н Полен, г-н Фелипо — судебный пристав, человек еще более добродушный, чем г-н Бурисс, г-н Рампон — ростовщик, дававший ссуды на небольшой срок, но за большие проценты и еще более добродушный, чем г-н Фелипо, — незаметно наполнили страхом робкую и чистую душу моего отца. Единственным виновником нашего разорения

матушка считала Гомбу, и когда Мелани сообщила ей, что «человек с провалившимися глазами» желает ее видеть, она холодно приняла его в передней, где я прятался под скамейкой, воображая, что это грот нимфы Эвхариды и что сам я — Телемак *. Я продолжал тихонько сидеть там, слушая, как матушка осыпает упреками безжизненного Гомбу. Сердце мое сжалось, когда она сказала ему:

— Сударь, вы обманули нас, вы бесчестный человек.

После долгого молчания Гомбу заговорил дрожащим голосом, сделавшимся от волнения еще более мелодичным, чем обычно. Я не понимал его слов. Он говорил долго. Матушка слушала его, не перебивая, и я наблюдал из своего тайника, как лицо ее постепенно успокаивалось, взгляд смягчался. Чары оказывали свое действие. На следующее утро, за завтраком, отец протянул ей какую-то бумагу. Она пробежала ее глазами и воскликнула:

— Это новая подлость Гомбу!

Я и поныне почти ничего не знаю об обществе Сен-Фирменских вод. Я так и не полюбопытствовал прочитать касавшиеся этого дела документы, которые остались после покойного отца и потом были украдены вместе с прочими семейными бумагами. Однако я вполне убежден, что матушка отнюдь не напрасно считала Гомбу скупым, алчным, недобросовестным — словом, бесчестным человеком, и я никак не могу понять, почему это полуслепое, почти неспособное двигаться и, можно сказать, вычеркнутое из жизни существо, ставшее в тягость и другим и самому себе, почему этот несчастный, чья телесная оболочка скорее походила на гроб, облакающий живые мощи, почему он так любил деньги, что готов был ради них на предательство и на жестокость. Скажите мне бога ради, что мог он делать со своими деньгами?

По некоторым признакам я подозреваю, что мои родители из-за неопытности и чрезмерной щепетильности преувеличивали свою долю ответственности в деле Сен-Фирменских вод.

Они стали добычей законников и дельцов. Рампон, услужливый Рампон, счел своим долгом прийти на помощь известному врачу, примерному семьянину, — и мы оказались начисто обобраны. Размеры катастрофы были, правда, не так уж велики, но у нас не осталось решительно ничего. Жалкие драгоценности моей матери, где было мало золота и почти не было бриллиантов и жемчуга, старинное столовое серебро, все продавленное и разрозненное, сахарница с ручками в виде лебедей, кофейник с монограммой моего деда Сатюрнена Пармантье, тяжелая разливательная ложка — все было отдано в залог да так и осталось у служителей закона.

Однажды, придя домой, отец сказал:

— Кончено, Мимер продан.

Мимер, маленькая ферма близ Шартра, была единственным богатством, доставшимся моей матери от ее родителей. Когда я был совсем маленьким, меня возили в Мимер, и мне запомнилась только белая бабочка на терновой изгороди, шуршащий полет стрекоз вокруг колеблемого ветром тростника, испуганная полевая мышь, бежавшая вдоль стены, и маленький серо-голубой цветочек, похожий на львиный зев, который мне показала матушка, сказав при этом:

— Посмотри, Пьеро, какой он хорошенький¹.

В этом заключался для меня весь Мимер, и мне казалось странным и жестоким — продавать изгородь, тростник, серо-голубые цветы, полевую мышь и стрекоз. Я плохо представлял себе, каким образом могла совершиться такая продажа. Но отец сказал, что она совершилась. И я обдумывал в своем сердце эту горестную тайну.

Мимер, как и все остальное, ушел к Рампону, который не унес его с собой на тот свет. Все мертвецы бедны — и Гомбу с Рампоном тоже. Если бы я знал, на каком кладбище находится могила Гомбу, я шепнул бы растущей на ней траве: «Где теперь сокровище твое?»

Таким образом, с самого раннего детства я научился

¹ Должно быть, цветок льнянки или дикого льна. (Прим. автора.)

распознавать породу законников и дельцов, неистребимую породу: все меняется вокруг них, а они остаются неизменны. Они и сейчас таковы, какими изобразил их Рабле *, — тот же хищный клюв, те же когти. Они сохранили все, вплоть до своего ужасного чернокнижия.

Лет через пять после этих тяжелых дней, которые сменились для нас более светлыми временами, — я учился тогда в коллеже, — г-н Триэр, наш учитель, велел нам изложить эпизод с гарпиями из «Энеиды». Эти зловещие птицы, эти грифы с человеческими головами, которые, обрушившись на стол благочестивого Энея и его сотрапезников, хватали мясо, оскверняли кушанья и распространяли зловоние, — они были мне знакомы. Обладая большим опытом, чем мои сверстники, я узнал в них дельцов и законников, разных Гомбу и Рампонов. Но какой чистой и уютной кажется мне пещера гарпий, которую, однако, Вергилий описывает загаженной пометом и гниющим мясом, если сравнить ее с канцелярией и зелеными папками судебного пристава!

Полный ненависти к этим вредоносным бумажным крысам, я никогда не хотел обзаводиться ни папками, ни конторками. А потому всегда терял все бумаги, все свои невинные бумаги.

XXI

Какаду

Старая Мелани сообщила нам, подавая кофе, что попугай графини Мишо улетел. По слухам, его видели на крыше дома, где жил г-н Беллаге. Я вскочил из-за стола и подбежал к окну. На дворе стояла группа людей, состоявшая из привратника и нескольких служанок. Все они смотрели вверх и, подняв руки, указывали на водосточный желоб. Мой крестный с чашкой кофе в руке тоже подошел к окну и, встав рядом со мной, спросил, где попугай.

— Там, — ответил я, подняв руку, как люди во дворе.

Но крестный ничего не видел, а я не мог ничего ему показать, поскольку и сам не видел попугая и ссылаясь на чужое утверждение.

— А вы, госпожа Нозьер, видите какаду? — спросил крестный.

— Какаду?

— Да, какаду, — смеясь, повторил крестный.

От этого звонкого, как колокольчик, смеха у него тряся живот, а на зеленом шелковом жилете звякали брелоки. Заразившись его веселостью, я тоже стал хохотать, бессмысленно повторяя:

— Какаду, какаду.

Но моя дорогая матушка, как всегда осторожная, удостоила улыбнуться лишь тогда, когда папа объяснил ей, что попугаев иногда называют какаду. А крестный иллюстрировал это примером:

— Весел, как какаду, сказал Рабле.

Услыхав впервые имя Рабле, я начал громко смеяться по недомыслию, по наивности, по ребячеству, но отнюдь не потому, чтобы я предчувствовал, предвкусил или предвидел возвышенное шутовство, жизне-радостный юмор и безумие, более мудрое, чем сама мудрость, скрывающиеся под этим именем. И все же это был наилучший способ приветствовать автора «Гаргантюа». Моя дорогая мама знаком велела мне замолчать и спросила, есть ли основание утверждать, что попугаи всегда веселы.

— Госпожа Нозьер, — ответил крестный, — такова поговорка, а для большинства людей этого вполне достаточно, ибо они больше прислушиваются к звучанию слов, чем к их смыслу. Кроме того, можно предположить, что попугаам правится их зеленый наряд. Ведь изумрудный цвет их оперения так и называют веселым зеленым цветом.

На пятом году моей жизни у меня с Наварином, попугаем г-жи Ларок, были кое-какие столкновения, которые еще не забылись. Он укусил меня за палец, а я собирался отравить его. Потом мы помирились, но я не любил попугаев. Об их нравах я узнал из маленькой книжки под названием «Птичник Эрнестины», которую

мне подарили к Новому году и в которой на нескольких страничках говорилось о всех существующих птицах. Желание блеснуть в разговоре побудило меня обнародовать сведения, почерпнутые из книжки, и я заявил, что дикари в Америке питаются попугаями.

— Мясо этой птицы, — возразил мой крестный, — должно быть черным и жестким. Я не слышал, чтобы оно было съедобно.

— Как, Данкен, — вмешался папа, — разве вы не помните, что принцесса де Жуанвиль *, не успела она приехать из своих пампасов в Тюильри, схватила простуду и, отказавшись от куриного бульона, потребовала бульон из попугая?

Мой отец, враждебно относившийся к Июльской монархии и сохранивший после революции сорок восьмого года некоторую неприязнь к семейству Луи-Филиппа, выпустил эту стрелу, лукаво поглядывая на матушку, склонную умиляться по поводу судьбы принцесс-изгнанниц.

— Бедные принцессы! — вздохнула она. — Дорого же им обходятся почести, которые им воздают.

Неожиданно заметив сидящего в желобе попугая, я испустил торжествующий крик, такой дикий, что матушка сначала испугалась, а потом побранила меня.

— Вот он, мама, вон там! Вон там!

И я сердился на тех, кто не видел попугая.

— Читали ли вы «Вер-Вер» *, госпожа Нозьер? — спросил крестный.

Матушка покачала головой.

— Как! Вы не читали «Вер-Вер»? Это большой пробел.

— Право, господин Данкен, мать ребенка, который так быстро изнашивает штанишки, не успевает читать. А что это такое — стихотворенье?

— Стихотворенье, госпожа Нозьер, и притом очаровательное.

Жил-был однажды у визитандинок
В Невере знаменитый попугай,
Блестящий, дерзкий, ветреный, красивый,
Как все мы в пору юности счастливой.

Монахины безумно любили его. Он был
Как попугай придворный избалован.

По ночам

На ящике для ладанок он спал.

У него был ангельский голос. Но...

Крестный умолк.

— Но что? — спросил я.

Тут мой отец весьма кстати заметил, что у меня голос далеко не ангельский.

— Но, — продолжал крестный, — он поехал кататься по Луаре с лодочниками и мушкетерами и в их обществе приобрел дурные манеры.

— Вот видишь, Пьер, — сделала вывод матушка, — как опасно заводить дурные знакомства.

— Крестный, а что, Вер-Вер умер? — спросил я.

Крестный мрачно посмотрел на меня и произнес замогильным голосом:

— Он умер оттого, что объелся конфетами. Да послужит его участь уроком всем лакомкам!

И, глядя в окно на позолоченный солнцем двор, крестный задумчиво улыбнулся.

— Какая чудесная погода! Последние хорошие деньки мы всегда особенно ценим.

— Это подарок небес, — сказала матушка. — Скоро наступят холодные и мрачные дни. Сегодня после обеда дядюшка Деба придет прочищать дымоход в столовой.

И она ушла к себе в комнату.

Я запомнил мельчайшие подробности знаменательных событий, которыми был отмечен этот день.

Матушка появилась вновь в своей бархатной шляпке с лентами, завязанными под подбородком, и в красновато-коричневой шелковой накидке. В руках у нее был зонтик со складной ручкой.

По ее сосредоточенному и вдумчивому взгляду я догадался, что она идет покупать зимние вещи и обдумывает, как бы с наибольшей пользой истратить деньги, которые были дороги ей не сами по себе, а из-за того труда, какого они стоили ее мужу. Она приблизила ко мне свое милое лицо, обрамленное бархатом шляпки,

поцеловала меня в лоб, велела учить уроки, напомнила Мелани, чтобы та откупила бутылку вина для г-на Деба, и ушла. Отец и крестный ушли куда-то почти тотчас же после нее.

Оставшись один, я и не подумал учить уроки, — я еще не привык работать. Я повиновался голосу инстинкта, могучему внутреннему голосу, управлявшему моими мыслями, а этот голос настойчиво убеждал меня не делать уроков и отнимал все мое время, то и дело взваливая на мои плечи трудные и поразительно разнообразные задачи.

В тот день он повелел мне стоять у окна и высматривать беглого попугая. Однако взгляд мой тщетно обшаривал крыши, желобы и трубы — попугай не показывался. Я уже начал зевать от скуки, как вдруг за моей спиной раздался шум, я оглянулся и увидел г-на Деба с творилом на голове, с лестницей, кружкой, крюком, веревками и с множеством разных других вещей.

Из этого не следует, что г-н Деба был каменщиком или печником. Он был букинистом и расставлял ящики с книгами вдоль решетки на набережной Вольтера. Матушка прозвала его Симоном из Нантуи — по имени одного странствующего торговца, чью историю я, по ее рекомендации, вычитал в одной книжечке, ныне преданной забвению.

Симон из Нантуи разъезжал по ярмаркам с тюком холста за спиной и без передышки читал нравоучения. Он всегда и во всем был прав. Его история страшно мне надоела, и я до сих пор вспоминаю ее с тоской и унынием. Однако я извлек из нее одну великую истину, которая гласит, что не следует всегда быть правым. Г-н Деба, так же как и Симон из Нантуи, с утра до вечера читал нравоучения и занимался всем на свете, за исключением своего прямого дела. Услужливый сосед, готовый каждому помочь, он складывал и разбираал печи, склеивал разбитую посуду, приделывал черенки к ножам, прибывал дверные колокольчики, смазывал замки, выверял часы, руководил переездами на другую квартиру, подавал первую помощь утопленникам, обивал двери и окна, вел в винной лавке пропаганду в пользу кандидатов правительственной партии и пел по

воскресеньям в церковном хоре сестер-благотворительниц. Матушка считала его прекрасным человеком, стоявшим благодаря своим душевным качествам значительно выше людей своего круга, и уважала его. Что касается меня, то я не стал бы терпеть вечных, страшно мне надоедавших наставлений г-на Деба по части приличий и нравственности, если бы не его необыкновенное рвение ко всякой работе, — рвение, которое очень меня забавляло и весь комизм которого понимал во всем мире только я один. Увидев г-на Деба, я всегда ждал какого-нибудь волнующего развлечения. И на этот раз я тоже не обманулся в своих ожиданиях.

Белая изразцовая печка у нас в столовой, сильно потрескавшаяся, стояла в углу, в нише, а над ней возвышалась такая же белая труба, увенчанная бородатой головой, принадлежавшей, если верить г-ну Дюбуа, Юпитеру Трофонии. Борода столь великого божества внушала мне глубокое почтение. Надев белый балахон, г-н Деба взобрался на лестницу, и вот Юпитер Трофоний уже валялся на полу, отделенный от своего поста-мента, из которого вырывались потоки сажи, меж тем как сама печка, раздробленная, расколотая на куски, покрывала обломками всю комнату, и тучи холодной золы носились в потемневшем воздухе. Мрак еще более сгустился из-за тонкой пыли, которая поднялась к потолку, а затем, медленно спустившись вниз, толстым слоем осела на мебели и коврах. Г-н Деба растворял известь в переполненном твориле, откуда капала вода. Он явно наслаждался, трудясь по способу бога, создавшего вселенную из бездны хаоса. В эту минуту старушка Мелани со своей кошелкой на руке вошла в комнату. Бросив горестный взгляд по сторонам, она издала протяжный стон и спросила:

— Так где же я смогу подать господам обедать?

Потом, не надеясь получить благоприятный ответ, ушла покупать провизию.

В комнате царил все тот же хаос, как вдруг со двора снова послышался сильный шум. Кучер г-на Беллаге, дядюшка Александр, привратник нашего дома, нянька Комонов, юный Альфонс — все кричали хором:

— Вот он! Вот он!

На этот раз я отчетливо увидел на коньке крыши попугая графини Мишо. Он был зеленый с красными пятнами на крыльях. Но, не успев показаться, он снова исчез.

Люди во дворе спорили между собой о том, в каком направлении он скрылся. Одни говорили, что он полетел к саду г-на Беллаге, быть может напоминавшему ему бразильские леса, где прошло его детство. Другие утверждала, что он улетел на набережную и хочет броситься в реку. Привратник видел, как он взлетел на колокольню церкви Сен-Жермен-де-Пре. Но воображение этого старого солдата, преследуемого воспоминаниями о наполеоновских орлах *, обмануло его. Попугай графини Мишо и не думал перелетать с колокольни на колокольню. Приказчик г-на Комона высказал более правдоподобное предположение, а именно, что, подогняемый голодом, беглец вернулся на ту крышу, под которой приютилась его кормушка. Симон из Нантуи задумчиво слушал все это, облокотившись на подоконник. Чтобы показать свою ученость, я сказал ему, что этот попугай не так красив, как Вер-Вер.

— Кто такой этот Вер-Вер?

Я с гордостью сообщил ему, что это был попугай монахинь-визитандинок в Невере, что у него был ангельский голос, но, что, путешествуя с лодочниками и мушкетерами по Луаре, он приобрел дурные манеры. И тут я сразу же понял, как вредно высказывать свой познания перед невеждами. Ибо Симон из Нантуи, сурово взглянув на меня своими круглыми, столь же выразительными, как два ламповых шара, глазами, упрекнул меня за то, что я болтаю чепуху.

Между тем в уме его зрели великие замыслы.

Из всех бесчисленных забот, которые он добровольно брал на себя ради блага ближнего, пожалуй, самым любимым его делом была поимка улетевших из клеток птиц. Никто как он неоднократно возвращал г-же Комон ее ручных чижей. Он решил, что вернуть графине Мишо попугая было его прямой обязанностью, и более не колебался. Поспешно сменив белый балахон на старый, пожелтевший, как осенние листья, сюртук,

он возвестил мне о своем намерении и, оставив в столовой царивший там беспорядок, устранить который у него уже не было времени, вышел, всецело поглощенный своим замыслом. Я кинулся вслед за ним. Сбежав по лестнице, мы вмиг преодолели короткое пространство, отделявшее нас от хорошо знакомого мне дома, — дома привратника Морена, где жила графиня Мишо. Мы вихрем взлетели по ступенькам до площадки третьего этажа и через широко распахнутую дверь вошли в квартиру, где все дышало глубокой скорбью. Мы увидели в столовой покинутый насест. Матильда, горничная графини, изложила нам обстоятельства, предшествовавшие бегству Жако и послужившие его причиной. Накануне, в пять часов вечера, серый короткошерстый кот, огромный зверь, давно уже завоевавший дурную славу, вспрыгнул в столовую. При его приближении испуганный Жако спрятался на лестнице и вылетел через слуховое окно. Матильда повторила этот рассказ два раза. Так как она собиралась повторить его в третий раз, я потихоньку сбежал в гостиную и стал рассматривать портрет генерала Мишо, занимавший самый широкий простенок. Генерал был изображен (как я уже говорил) во весь рост, в полной парадной форме, в белых панталонах и в лакированных сапогах, на поле битвы при Ваграме. У ног его валялись осколки снарядов, пушечное ядро, дымящаяся граната. На заднем плане, вдали, крошечные солдатики шли в атаку. На широкой груди генерала виднелась командорская лента ордена Почетного легиона и крест св. Людовика *. Я ничуть не удивился тому, что на нем был орден св. Людовика во времена битвы при Ваграме. Я мог бы удивиться этому впоследствии, когда увидел этот портрет у одного антиквара, если бы мне не сказали, что генерал Мишо, осыпанный милостями и почестями Бурбонов, сам велел в 1816 году присовокупить этот крест к своему портрету. Симон из Нантуи прервал мое созерцание и пояснил, что в гостиную можно входить, лишь получив соответственное приглашение и вытерев ноги. Выговор был краток, ибо он торопился.

— Идем! — сказал он.

И, вооружившись толстой веревкой, по-видимому, предназначенной для того, чтобы повиснуть на ней где-то в пространстве, он начал подниматься по лестнице. Я следовал за ним, неся стакан, который он мне доверил и в котором был намоченный в воде хлеб — приманка для Жако. Сердце мое неистово колотилось при мысли об опасностях, ожидающих меня в этой экспедиции. Никогда, ни в одном из самых рискованных своих военных или охотничьих приключений, трапперы Арканзаса, флибустьеры * Южной Америки или охотники на буйволов с Сан-Доминго не ощущали такого упоительного восторга перед возможной гибелью, какой ощущал я. Мы поднимались по ступенькам до тех пор, пока они не кончились, затем по приставной, необычайно крутой лесенке добрались до слухового окна, в которое Симон из Нантуи просунул половину своего тела. Теперь я видел лишь его ноги и огромный зад. Он звал Жако то ласково и нежно, то хриплым резким криком, подражая самому Жако, — полагая, быть может, что птица предпочтет человеческой речи собственный голос. То вдруг он начинал свистеть, то пел голосом сирены, прерывая по временам свои заклинания, чтобы обратиться ко мне с наставлениями из области, так сказать, науки человеческого поведения, этики, а также поучая меня искусству сморкаться в обществе и моим обязанностям по отношению к богу.

Часы уходили, заходящее солнце отбрасывало на крыши длинные тени дымовых труб. Мы были близки к отчаянью, как вдруг Жако появился. Предположения приказчика г-на Комона подтвердились. Я просунул голову в слуховое окно и увидел попугая; тяжело ступая, раскачивая свое толстое туловище, он медленно спускался по скату крыши. Это был он! Он шел к нам. Я затрепетал от радости. Он был уже совсем близко. Я затаил дыхание. Симон из Нантуи испустил громкий призывный возглас и, зажав в кулаке кусок хлеба, пропитанного вином, протянул руку. Жако остановился, бросил недоверчивый взгляд в нашу сторону, отошел, забил крыльями и поднялся в воздух. Сначала он летел медленно, тяжело взмахивая крыльями-

ми, но постепенно полет его делался быстрее, ровнее, и вскоре попугай оказался на крыше соседнего дома, а потом и вовсе исчез из поля нашего зрения. Мы оба испытали глубокое разочарование, но Симон из Нантуи не дал неудаче сломить себя. Он протянул руку к океану крыш и сказал:

— Туда!

Этот энергичный жест, это краткое восклицание преисполнили меня восторгом.

Я уцепился за его старый сюртук, и если приводить факты такими, какими они сохранились в моих воспоминаниях, то я вместе с ним врезался в воздух и спустился с высоты облаков в какое-то незнакомое место, где возвышались строения из резного камня. Я увидел множество голых людей, огромных, страшных, парящих в небе, лишенном света. Одни подпирали своими могучими телами небесный свод, другие, полные отчаяния, группами спускались к мрачному берегу, где их поджидали уродливые демоны. Это видение вызвало во мне священный ужас; в глазах у меня потемнело, ноги подкосились. Вот факты в том виде, в каком они поразили мои чувства и мой разум, в каком они навсегда запечатлелись в моей памяти, — я привожу их совершенно правдиво. Но если уж необходимо подвергнуть их строгому критическому анализу, то я скажу, что, по-видимому, мы — Симон из Нантуи и я — с головокружительной быстротой спустились с лестницы, выбежали на набережную, свернули на улицу Бонапарта и подошли к Академии Художеств, где сквозь полуоткрытую дверь я увидел копию «Страшного суда» Микеланджело работы Сигалона. Это только гипотеза, но она вполне правдоподобна. Не высказываясь более положительно на этот счет, продолжим наше повествование. Не успел я рассмотреть летающих колоссов, как вдруг оказался в просторном дворе рядом с Симоном из Нантуи, которого окружили сторожа в треуголках и длинноволосые молодые люди в мягких широкополых шляпах а ля Рубенс и с папками под мышкой. Сторожа уверяли, что не видели птицы генеральши Мишо. Молодые люди со смехом советовали Симону из Нантуи насыпать ей соли на хвост или почесать головку,

говоря, что это лучшее средство ее поймать. Для попугаев нет ничего приятнее, — уверяли они.

И молодые люди откланялись, прося засвидетельствовать их почтение графине Мишо.

— Грубияны! — проворчал Симон из Нантуи.

И ушел, полный негодованья.

Возвратясь к графине Мишо, мы застали там... кого бы вы думали?.. Попугая на его насесте. Он сидел на нем в спокойной и привычной позе и, казалось, никогда его не покидал. Несколько конопляных семечек, рассыпанных по паркету, свидетельствовали о том, что он только что отужинал. При нашем приближении он обратил на нас свой гордый и круглый, как кокарда, глаз, закачался, взъерошил перья и широко раскрыл клюв, занимавший чуть не всю его голову.

Сидевшая возле Жако пожилая дама в черном кружевном чепце, с седыми буклями, обрамлявшими худые щеки, — очевидно, сама графиня Мишо, — отвернулась, увидев нас. Горничная ходила взад и вперед, не разжимая губ. Симон из Нантуи перекладывал из руки в руку свою шапку, неестественно улыбался и стоял совершенно ошалелый. Наконец Матильда, не удостоивая нас взглядом, сообщила, что Жако сам, по собственному почину, влетел через слуховое окно в ее комнатку на чердаке, комнатку, которую эта драгоценная птичка отлично знала, ибо часто являлась туда посидеть на плече у своей Матильды.

— Он вернулся бы и раньше, — язвительно добавила служанка, — если б вы его не спугнули.

Нас не стали удерживать. И, как мне с грустью заметил на лестнице Симон из Нантуи, нам даже не предложили выпить по стаканчику.

Когда, поздно вечером, я вернулся домой, там был полный переполох. Матушка была вне себя от волнения, Мелани плакала, отец хранил деланное спокойствие. Они думали, что меня украли цыгане или бродячие циркачи, что меня раздавил экипаж, что, остановившись перед витриной какой-нибудь лавки, я попал в облаву на жуликов и меня арестовали или, в лучшем случае, что я заблудился на отдаленных улицах. Меня искали у г-жи Комон, у дам Ларок, у тор-

говки гравюрами — г-жи Летор и даже у географа — г-на Клеро, к которому меня иногда приводило желание получше рассмотреть на глобусе очертания нашей планеты, где, по моему убеждению, я занимал немало-важное место. В ту самую минуту, когда я позвонил у дверей, родители мои собирались уже идти в полицию и просить предпринять розыски. Матушка внимательно меня осмотрела, потрогала мой лоб — он был влажен, — провела рукой по моим спутанным волосам, в которых было полно паутины, и спросила:

— Откуда ты явился в таком виде, без шапки, с дырой на колене?

Я рассказал о своих приключениях и о том, каким образом получилось, что я отправился с Симоном из Нантуи на поиски попугая.

Она вскричала:

— Никогда бы не подумала, что господин Деба способен увести ребенка на весь день, не спросив у меня разрешения и никого не предупредив.

— Как люди невоспитанны... — добавила, качая головой, моя няня Мелани, добрейшая старушка, которая, однако, будучи смиренной и обездоленной, проявляла суровость по отношению к смиренным и обездоленным.

Обед подали в гостиной, ибо в столовую было невозможно войти.

— Пьер, — сказал мне отец, когда я съел свой суп, — как ты мог не подумать, что твое длительное отсутствие причинит матушке смертельное беспокойство?

Я выслушал еще несколько упреков, но ясно было, что главное обвинение падает на Симона из Нантуи.

Матушка стала расспрашивать меня о моих похождениях и, кажется, все еще тревожилась, думая об опасностях, которым я подвергался.

Я уверял ее, что никаких опасностей не было, я старался успокоить ее, но в то же время мне хотелось показать ей свою силу, свою храбрость, и, повторяя, что ничто не угрожало моей жизни, я описывал ей, как взбирался на лестницы, висевшие над пустым пространством, как лазил по стенам, карабкался по островерхим

крышам, залезал в кровельные желоба. Слушая меня, она вначале не могла сдержать легкое дрожание губ, выдававшее ее волнение. Но, постепенно успокоившись, она стала покачивать головой и в конце концов рассмеялась мне в лицо. Я перехватил через край. Когда же я начал рассказывать об огромных, висевших в воздухе голых людях, мне крикнули: «Довольно!» — и отправили спать.

Приключение с попугаем приобрело известность в нашей семье и среди наших друзей. Моя дорогая мама, пожалуй, не без доли материнской гордости рассказывала о том, как я путешествовал по кровельным желобам в обществе г-на Деба, которому она так никогда и не простила. Крестный иронически называл меня «охотником на попугаев». Сам г-н Дюбуа¹, при всей его важности, слегка улыбался, слушая повесть об этом странном приключении, и добавлял, что зеленое оперение, крупная голова, толстая и короткая шея, широкая грудь, коренастое туловище и высокомерный вид придают попугаю, сидящему на насесте, сходство с Наполеоном на борту Нортумберленда*. И наконец, выслушав этот рассказ, г-н Марк Рибер, длинноволосый романтик, постоянно ходивший в бархате и подражавший Ронсару, сразу же начинал бормотать:

Когда весной травка молодая
Была ярка, как перья попугая,
И, зелена, желта, сера, ала,
С ним в красоте соперничать могла...*

XXII

Дядя Гиацинт

Как-то раз, войдя в гостиную, я был очень удивлен, застав там матушку за разговором с почтенного вида стариком, которого я видел впервые. Его розовый голый череп был обрамлен венчиком седых волос. У него

¹ О г-не Дюбуа и г-не Рибере будет рассказано — о первом подробно, а о втором коротко — в книге «Воспоминания», которая послужит продолжением данной книги. (*Прим. автора.*)

было свежее лицо, голубые глаза, улыбающийся рот; маленькие бачки окаймляли его круглые, чисто выбритые щеки. В петлице сюртука торчал букетик фиалок.

— Это твой малыш, Антуанетта? — спросил он, увидев меня. — Можно подумать, что это девочка — такой он застенчивый и тихий. Надо давать ему побольше супу, чтобы он стал мужчиной.

Сделав мне знак подойти ближе, он положил руку на мое плечо.

— Дитя, ты в том возрасте, когда все мы верим, что жизнь состоит из одних лишь улыбок и ласк. Но приходит день, и вдруг мы замечаем, что она бывает сурова, а подчас — несправедлива и жестока. Желаю тебе, чтобы обстоятельства, при которых ты в этом убедишься, были не слишком тягостны. Но запомни хорошенько и никогда не забывай, что мужество и честность преодолевают все испытания.

На лице его отражались искренность и доброта. Голос проникал в самую душу. Невозможно было выдержать без волнения взгляд его увлажнившихся глаз.

— Дитя мое, судьба подарила тебе прекрасных родителей, которые направят тебя, когда придет трудный час выбора жизненного поприща. Нет ли у тебя желания стать солдатом?

Матушка ответила за меня, что едва ли.

— А ведь это прекрасное ремесло, — возразил старик. — Сегодня у солдата нет ни пищи, ни крова, и он спит на соломе, как нищий, а завтра он обедает во дворце, где самые знатные дамы почитают за честь прислуживать ему. Ему знакомы все превратности судьбы, он живет тысячью жизней. Но если когда-нибудь тебе выпадет честь носить мундир, помни, дитя, что долг солдата — защищать вдов и сирот и щадить поверженного врага. Тот, кто сейчас говорит с тобой, служил при Наполеоне Великом. Увы! Вот уже более тридцати лет как этот бог войны покинул нас, и после него никто не способен двинуть наши знамена на завоевание мира. Дитя, не будь солдатом!

Он мягко отстранил меня и, оборотясь к матушке, возобновил прерванный разговор.

— Да, скромное помещение. Что-нибудь вроде сторожки лесника. Итак, это дело решенное, и я смогу благодаря тебе, дорогая Антуанетта, осуществить самые заветные свои мечты. На исходе бурной, полной невзгод жизни я смогу насладиться покоем. Мне так мало нужно! Я всегда желал окончить свои дни в тиши полей.

Он встал, галантно поцеловал у матушки руку, ласково кивнул мне головой и вышел. Его осанка была благородна, походка — уверенна.

Я очень удивился, узнав, что этот привлекательный старик был не кто иной, как дядя Гиацинт, о котором у нас всегда говорили с ужасом и осуждением, который повсюду вносил разорение и отчаяние, — словом, дядя Гиацинт, гроза и позор нашей семьи. Мои родители давно отказали ему от дома. Но после десятилетнего молчания Гиацинт в трогательном письме сообщил матушке, что хотел бы навсегда поселиться в глухой деревне, в родных краях, и просил у нее денег на переезд и самое скромное устройство. Он заверял, что вполне сможет просуществовать там, управляя фермой своего молочного брата, с которым сохранил прекрасные отношения. И моя матушка, чересчур доверчивая, не слушая советов мужа, согласилась одолжить ему нужную сумму.

Спустя некоторое время после этого визита она узнала, что дядя Гиацинт, растратив на кутежи деньги, одолженные ему совсем для другого употребления, поступил счетоводом к «поставщику пушечного мяса» на улице св. Гонория. Так называли вербовщиков, которые за известную плату поставляли заместителей богатым молодым людям, не имевшим большого желания идти в солдаты. «Поставщики пушечного мяса» имели обширную клиентуру, но не пользовались особенным уважением, а их письмоводители и подавно. Почти все вербовщики жили в одном большом доме на углу улицы св. Гонория и улицы Петуха, сверху донизу увешанном вывесками с изображением орденов Почетного легиона и трехцветных знамен. В нижнем этаже был магазин старых нашивок и эполет, а также пивная, где бывали солдаты, которые, отслужив положен-

ный государством семилетний срок, желали снова за-вербоваться. Вместо вывески там висела картина на жести, изображавшая двух гренадеров: сидя за столом в оббитой зеленью беседке, они одновременно откупоривали по пивной бутылке таким широким и ловким жестом, что струя пенистой жидкости, вырывавшаяся из бутылки одного солдата, описав высокую кривую, попадала прямо в стакан другого. Боюсь, что именно там, за грязными занавесками, дядя Гиацинт и исполнял свои обязанности, заключавшиеся в том, что он подстрекал отслуживших солдат играть и пить до тех пор, пока они не становились покладистей в отношении суммы, за которую соглашались вновь поступить на военную службу. И, быть может, только веселая вывеска помогала мне, когда я проходил мимо дома на улице св. Гонория, стойко выносить вид кабачка, где свершалось посрамление моей семьи.

Гиацинт не получил образования, но умел отлично считать и высчитывать и обладал тем, что в то время называли «искусной рукой», — другими словами, он был каллиграфом. Рассказывали, будто он микроскопическими буквами переписал обращение Бонапарта к итальянской армии, причем так расположил строчки, что из них получился портрет первого консула. Будучи призван на военную службу в 1813 году, он уже через год, во время французской кампании *, дослужился до чина унтер-офицера и похвалялся, будто как-то ночью, на бивуаке близ Кранна, у него произошел с императором следующий разговор.

— Государь, — сказал ему Гиацинт, — мы будем сражаться под вашими знаменами до последней капли крови, потому что вы воплощаете для нас Родину и Свободу.

— Гиацинт, вы поняли меня, — ответил император.

Спешу добавить, что разговор этот известен нам исключительно со слов самого Гиацинта, который на следующий день, по его собственному признанию, покрыл себя славой при Кранне. А так как самые прекрасные деяния иногда влекут за собой самые дурные последствия, то Гиацинт, на несколько минут превратившийся в героя, счел себя на весь остаток жизни

свободным от всех обязательств, какие возлагают на себя обыкновенные люди, и потерял всякую совесть и всякий стыд. Всю свою добродетель он израсходовал за один день. Сомнительно, был ли он при Ватерлоо, и, по-видимому, этот вопрос навсегда останется невыясненным. Уже и тогда он охотно посещал кабачки и больше любил рассказывать о своих подвигах, нежели их повторять. В 1815 году, когда он был уволен с военной службы, ему только что минуло двадцать два года. Красивый, сильный, веселый, любимец женщин, покоритель сердец, он влюбил в себя одну из теток моей матушки, богатую крестьянку, и, согласившись жениться на ней, быстро разбазарил ее денежки. Изменяя ей, дурно с ней обращаясь, неоднократно ее бросая, он тысячу раз доставлял ей возможность доказать весь пыл ее обожания и все безумие ее любви. Осыпав ее оскорблениями, он же сам и прощал ее, и чем больше она ей изменяла, тем больше она его любила. Бережливая и даже скупая по натуре, она проявляла безрассудную расточительность, когда дело касалось мужа. В этот период он, говорят, частенько разъезжал между Парижем и Понтуазом. В сером, расширявшемся кверху цилиндре со стальной пряжкой, в зеленом сюртуке с золотыми пуговицами, в светло-желтых брюках и лаковых сапогах, он гордо восседал в английской двуколке — фигура, достойная карандаша Карла Берне *. Посещая с девицами кабачки «Модный бык» и «Канкальская скала» и проводя ночи в игорных домах, он в несколько лет промотал поля, луга, леса и мельницу своей несчастной, все еще влюбленной в него жены. Сделав ее нищей, он бросил ее и стал вести жизнь, полную приключений, в обществе бывшего начальника почтовой станции, по имени Гюге, тощего, низенького, кривоногого, неряшливого человека, которого он превращал, смотря по надобности, то в своего слугу, то в компаньона, а иногда, если дело было сопряжено с риском, даже и в своего начальника. Гюге, мошенник и плут по отношению ко всем остальным, оказался для Гиацинта самым верным, самым преданным, самым самоотверженным другом. Роялист и даже, по слухам, отчасти «поджариватель» *, один из зачинщиков бе-

лого террора в своем родном Авейроне, Гюге сделался бонапартистом из преданности своему дорогому Гиацинту, который был бонапартистом по профессии и даже носил соответствующий костюм: длиннополый, застегнутый до подбородка сюртук, букетик фиалок в петлице, дубинка в руке. На Гентском бульваре, окруженный несколькими старыми товарищами по оружию, в сопровождении Гюге, который ходил за ним, как верный пес, он поносил англичан за то, что они держали в заточении Наполеона, и у дверей кабачка мстительно указывал перстом на северо-запад, в сторону коварного Альбиона, громко требуя восшествия на престол сына великого человека *. Встречая какого-нибудь верноподданного, награжденного королем серебряной лилий, он глухо ворчал про себя: «Еще один спутник Улисса!» * Поймав собаку, он потихоньку привязывал ей к хвосту белую кокарду. Однако он не вмешивался ни в какие заговоры, не вступал в тайные общества и даже избегал поединков. Мой дядя Гиацинт, подобно Панургу *, от природы боялся ударов. Гюге был храбр за двоих и всегда готов вступить в драку. Вынужденный пустить в ход свои таланты, Гиацинт сделался учителем каллиграфии и счетоводства на улице Монмартр, и пока Гюге мыл полы и жарил колбасу, учитель в ожидании учеников мастерски чинил гусиные перья, пристраивая их на ногте большого пальца левой руки и расщепляя надвое решительным ударом перочинного ножа. Но напрасно чинил он гусиные перья, напрасно прибитая к двери табличка, написанная круглым, наклонным, готическим и средним почерком, перечисляла все звания искусного каллиграфа и дипломированного счетовода. Учеников не было. Гиацинт сделался агентом по страхованию жизни. Его величественная осанка и убедительное красноречие могли бы доставить ему многочисленных клиентов. Но вино и любовь поглотили его первые заработки и помешали получению новых, несмотря на все рвение Гюге, который пытался заменять своего друга, но не пользовался успехом, потому что страшно косил, пахнул вином, заикался и совершенно не обладал даром слова. После этой неудачи приятели открыли в Монруже, в мастер-

ской одного лепщика, фехтовальный зал, где Гиацинт стал учителем фехтования, а Гюге — его помощником. Ввиду того, что лепщик по-прежнему работал в свои часы в этом помещении, гипс, заполнявший все щели в полу, при каждом выпаде фехтующих подымался кверху и окутывал их едким облаком, которое забивалось под маски и заставляло чихать и лить слезы. Однако вино и любовь положили конец и этому благородному занятию. После нескольких опытов, давно канувших в Лету, Гиацинт решил извлекать доход из «Эликсира горного старца», — по рецепту доктора Жибе. Гюге занимался перегонкой жидкости, а Гиацинт сбывал ее в лавочки и аптеки. Однако это содружество оказалось недолговечным и чуть было не кончилось плохо, ибо правосудие заподозрило почтенного Жибе в том, что он незаконно присвоил себе звание доктора медицины. Поговаривали даже, будто с перегонщиком жидкости Гюге дело не обошлось без нескольких месяцев тюрьмы. Тогда Гиацинт предложил свои услуги государству и занял пост инспектора Рынка. Обязанности свои он исполнял по ночам, но его чаще видели в кабачках, чем на рыночной площади, и, несмотря на то, что верный Гюге пытался ему помогать, он несколько раз получал выговоры и в конце концов был отстранен от должности. Это ужасное наказание Гиацинт стал выдавать за политическую репрессию. Его якобы преследовали как старого наполеоновского солдата. Это преследование обеспечило ему помощь нескольких либералов, устроивших ему место переписчика, и он стал с гордостью переписывать «Сутяги без тяжбы» — трехактную комедию в стихах г-на Этьенна *, того Этьенна, который, по словам Гиацинта, «был особенно велик не тем, что попал в Академию за свои заслуги, а тем, что был изгнан оттуда королем». Известно, что в 1816 году Этьенн был исключен из преобразованной Академии. Между тем, по наущению Гиацинта, Гюге открыл торговлю вином, уклоняясь от уплаты акциза, что принесло ему около пяти тысяч прибыли и шесть месяцев тюрьмы. «Это не худшая моя операция», — поразмыслив, говаривал Гюге. Такой цинизм возмущал героя Кранна, человека принципиального, проповедовавшего

мораль Савойского викария*, — мораль, подкрепленную чувством чести, и, сидя за бутылкой со своим другом, он читал ему нравоучения о требованиях долга и святости закона. Идти по прямой дороге или вернуться на нее, если с нее сошел; невинность или раскаяние — таков был девиз старого солдата. Гюге внимал ему с восхищением и лил слезы в свой стакан. Убедившись таким образом, что честь друга восстановлена раскаянием, Гиацинт основал совместно с ним Общество по распространению брошюр в городе Париже, которое успеха не имело. Вот, кажется, именно после провала этого самого общества дядя Гиацинт, как я уже рассказывал, явился к моей матушке и поступил затем на службу к «поставщику пушечного мяса».

Все его предприятия имели то достоинство, что были непродолжительны. Недолго занимался он и вербовкой солдат под вывеской «Два гренадера». И трудно сказать, какие профессии перепробовал он потом. Семье стало известно лишь последнее его занятие. Уже глубоким стариком Гиацинт открыл в задней комнате кабачка на улице Рамбюто контору, где, сидя за бутылкой белого вина и мешочком жареных каштанов, он поучал мелких лавочников своего квартала, как уклониться от уплаты долга или избежать судебного преследования. Да, говорил ли я, что дядя Гиацинт был одержим великой страстью к сутяжничеству? Этот штрих завершает его портрет. Хитрый, лукавый, изворотливый, он был настоящий крючкотвор и мог бы дать сто очков вперед самому Шикано*. Один вид гербовой бумаги доставлял ему наслаждение. Сидя в своей камерке, он, кроме того, исполнял обязанности писмоводителя у всех местных служанок. Гюге, совсем отощавший, совсем охромевший, но все еще бодрый, не покинул своего друга. Они жили вместе в каком-то чуланчике, в недрах кабака. Гюге ухитрялся доставать табак для трубки компаньона. Однажды ночью, во время уличной драки, кто-то всадил ему нож в спину, и его отправили в больницу. Гиацинт пришел его проведать. Гюге улыбнулся ему и умер. Гиацинт снова взялся за составление арендных договоров, заменяя

адвоката разорившимся лавочникам и отличного писмоводителя — влюбленным кухаркам. Но рука его начинала дрожать, взгляд — туманился, голова отяжелела. Он просиживал целые часы без движения, без мысли. Через полтора месяца после смерти Гюге его поразил апоплексический удар. Его перевезли на улицу Деревянного Башмака, где жила его бедная жена, которая не виделась с ним сорок лет и любила, как в день свадьбы. Она окружила его самыми нежными заботами. У него отнялась левая рука, он волочил ногу, еле двигался и совсем не мог говорить. Каждое утро она переносила его с кровати к окну, и он проводил там весь день, глядя на улицу, освещенную солнцем. Она набивала ему трубку и не сводила с него глаз. Через полгода с ним случился второй удар, и он прожил, не двигаясь, еще шесть дней. С его одеревеневшего языка срывались лишь нечленораздельные звуки, но, когда он умирал, присутствовавшим показалось, что он позвал Гюге.

Отец мой никогда не произносил имени дяди Гиацинта. Матушка избегала говорить о нем. И все же она часто рассказывала одну историю, которую я привожу ниже и в которой, по ее мнению, отразилась вся сущность этого легкомысленного и лживого человека.

Во время революции 1830 года Гиацинт, который, несмотря на свои сорок с лишком лет, все еще любил поволочиться за женщинами, сидел дома и скучал. Все Три Славных Дня* он вел себя чрезвычайно смиренно и слагал молитвы за победу народа. Тридцатого июля, после перехода королевских войск на сторону восставших, когда пальба прекратилась и над Тюильри взвилось трехцветное знамя, наш герой высунул нос на улицу и, пожелал, — по причинам, известным ему одному, — отправиться к площади Бастилии, на одну из улиц Сент-Антуанского предместья. Сам он жил неподалеку от заставы Звезды, а эти края были в то время дико и пустынно. Чтобы исполнить свое желание, ему пришлось бы шагать под палящим солнцем по развороченным мостовым и перебраться по меньшей мере через тридцать охраняемых народом баррикад или же сделать крюк и пройти по небезопасным квар-

талам. Чтобы выйти из этого положения, Гиацинт придумал остроумную уловку. Он явился в соседний трактир, обмотал себе лоб тряпкой, намоченной в крови кролика, и попросил трактирщика и его подручного донести его до первой баррикады, находившейся совсем близко, в предместье Руль. Как он и предвидел, защитники баррикады решили, что он ранен, и, приняв его с рук на руки у тех, кто его принес, с величайшими предосторожностями переправили Гиацинта на другую сторону баррикады. Затем, угостив раненого стаканом вина, назначили из своей среды двух человек, чтобы нести его дальше на носилках. Образовалось целое шествие, которое дорогой все увеличивалось. Какой-то воспитанник Политехнической школы возглавил его с обнаженной шпагой в руках. Мужчины из простонародья в одних рубашках, с засученными рукавами, с зелеными ветками в ружейных дулах, шли по обеим сторонам носилок и кричали;

— Слава храбrecу!

Типографские ученики, которых легко было узнать по бумажным колпакам, подручные из пекарен в белых балахонах, школьники, нацепившие эполеты и кожаную амуницию гвардейцев, десятилетний мальчуган в кивере, спускавшемся ему до плеч, — все шли за носилками, повторяя:

— Слава храбrecу!

Женщины, попадавшие им навстречу, становились на колени. Некоторые бросали цветы герою и жертве и возлагали на носилки трехцветные ленты и лавровые ветви. На углу улицы св. Флорентина какой-то бакалейщик-либерал произнес речь в его честь и преподнес ему бронзовую медаль с изображением Лафайета *. По мере приближения шествия защитники баррикад убирали камни, бочки, телеги, чтобы освободить раненому дорогу. На всем пути следования носилок посты восставших брали на караул, били в барабаны, трубили в трубы, Возгласы: «Да здравствует защитник народа! Да здравствует опора Хартии! * Да здравствует герой Свободы!» — прорезали позолоченные солнцем столбы пыли и поднимались к раскаленному небу. Стаканы с алой влагой взлетали из всех

кабаков прямо к губам незнакомца, распростертого на ложе славы; полные бутылки утоляли жажду носильщиков, которые дымилась, подобно курильницам.

Таким вот образом дядя Гиацинт был торжественно доставлен в заведение прачки Констанс, что близ площади Бастилии, на одной из улиц Сент-Антуанского предместья.

XXIII

Бара

— И хуже всего то, — заметила матушка, рассказав этот случай из дурно прожитой жизни, — что Гиацинт прикинулся жертвой и с помощью этого обмана присвоил себе чужие права — права, даруемые страданием.

— Он сильно рисковал, — сказал крестный. — Откройся его хитрость, и восторг народа, который он вызвал, тотчас же обратился бы в ярость. Те самые люди, которые воздавали ему гражданские почести, покрыли бы его позором, а мегеры, поившие его вином, пожалуй, растерзали бы его на части. Вооруженная толпа способна на любое насилие. Однако следует признать, что во время Трех Славных Дней парижское население проявило добродушие и не злоупотребило победой. Богачи и ученые сражались вместе с рабочими. Во многих пунктах города благоприятный исход борьбы определили воспитанники Политехнической школы. И большинство из них прославили себя героическими и гуманными поступками.

Предводительствуя отрядом горожан, один из этих юношей ворвался во дворец и предложил королевской страже сдаться. Солдаты повернули ружья прикладами вверх, но пожилой капитан, их командир, яростно бросился со шпагой в руке на воспитанника Политехнической школы. Когда шпага уже прикоснулась к груди молодого человека, он отвел ее и сумел завладеть ею, а потом вернул офицеру со словами: «Сударь, возьмите обратно свою шпагу. Вы с честью носили ее на полях сражений и больше не направите ее против

народа». Полный восхищения и благодарности, капитан снял с мундира крест Почетного легиона и, протянув его своему юному противнику, сказал: «Родина, без сомнения, даст вам когда-нибудь эту награду. Позвольте же мне предложить вам ее эмблему». Чувство чести и любовь к родине сблизили воинов в этой междоусобной схватке.

Не успел крестный закончить свой рассказ, как Марк Рибер начал другой.

— Двадцать восьмого июля, — сказал он, — когда на площади Ратуши отряды парижан дрогнули под сильным огнем, какой-то юноша — на пике его развевалось трехцветное знамя — подбежал к рядам королевской гвардии и остановился шагах в десяти от нее. «Смотрите, граждане, как сладостно умереть за Свободу!» — вскричал он и упал, пронзенный пулями.

Растроганная этими проявлениями героизма, матушка спросила, почему все они остаются неизвестными и никто их не прославляет.

Крестный привел несколько причин:

— Войны монархии, Революции и Империи насытили героическими подвигами историю Франции — для новых в ней не осталось места. К тому же слава июльских победителей заглушена убожеством их успехов: с их помощью восторжествовал режим посредственности, и королевская власть — результат их преданности — неохотно вспоминает о своем происхождении. В конце концов у героев тоже есть своя судьба.

— Может быть, это и так, — сказала матушка, — но очень жаль, что память о прекрасном поступке исчезает так быстро.

При этих словах старик Дюбуа, который, слушая разговор, все время вертел в руках табакерку, обратил к матушке свое длинное спокойное лицо:

— Не спешите обвинять судьбу в несправедливости, дорогая госпожа Нозьер. Все эти красивые жесты, все эти громкие олова — басни и небылицы. Если нельзя точно передать то, что было сказано или сделано в присутствии спокойной и внимательной ауди-

тории, так мыслимое ли дело, сударыня, чтобы можно было запомнить жест или фразу среди смятения битвы. Мне не то важно, господа, что ваши две истории — сплошной вымысел и не имеют под собой реальной почвы. Дело в том, что они неестественны, что они придуманы неискусно, без той благородной простоты, которая одна только и живет вечно. Пусть же они остаются в календарях и покрываются плесенью. Историческая правда не имеет ничего общего с теми прекрасными примерами героизма, которые переходят из уст в уста и из века в век: они принадлежат исключительно искусству и поэзии. Я не знаю, правда ли, будто юный Бара, которому шуаны обещали сохранить жизнь при условии, если он крикнет: «Да здравствует король», — правда ли, что он крикнул вместо этого: «Да здравствует Республика!» — и упал, проколотый двадцатью штыками. Я не знаю этого и никогда не смогу узнать. Но я знаю, что образ этого мальчика, принесшего в дар свободе свою молодую жизнь, вызывает слезы на глазах и пламя в сердце и что невозможно представить себе более совершенный символ самопожертвования. Я знаю также, да, я знаю, что когда скульптор Давид* показывает мне этого мальчика, и я вижу, как в прелестной и чистой своей наготе он умирает с безмятежностью раненой амазонки Ватикана, прижимая к сердцу кокарду и зажав в холодеющей руке палочку барабана, — чудо совершилось: юный герой создан, Бара живет, Бара никогда не умрет.

XXIV

Мелани

Примерно в этот период я испытал сильное горе. Мелани старилась. До сих пор я рассматривал возрасты людей лишь с точки зрения их забавного разнообразия. Старость нравилась мне тем, что было в ней живописного, иногда немного чудаковатого и чаще всего — смешного. Теперь мне довелось узнать, что она

тягостна и печальна. Мелани старилась. Кошелка оттягивала ей руку, и когда она возвращалась с базара, ее тяжелое дыхание доносилось от подножия лестницы до задних комнат нашей квартиры. Ее глаза, более мутные, чем вечно мутные стекла ее очков, тускнели. Слабеющее зрение заставляло ее совершать ошибки, которые вначале смешили меня, а потом начали пугать — так их стало много и так они были нелепы. Кусок воска для натирания паркета она принимала за корку хлеба, а грязную тряпку — за только что ошпанный ею же самой цыпленок. Однажды, думая, что садится на табурет, она села на театр марионеток, который мне подарил крестный и который она с грохотом раздавила, смертельно перепугавшись и даже забыв извиниться. Она теряла память, путала годы, как о недавнем событии говорила об устроенном в честь коронации императора * сельском бале, где она танцевала с мэром, и о поцелуе, в котором она не без риска для себя отказала одному казаку, квартировавшему у них на ферме во время вторжения неприятеля. Она часто возвращалась к одним и тем же событиям и без конца вспоминала о морозе, стоявшем 15 декабря 1840 года, когда императора снова привезли в Париж *. На его гроб положили тогда его треуголку и шпагу. Она сама видела все это и все-таки не верила, что он умер. В голове у нее мутилось. Стоило ей на минутку выйти из кухни, как она пугалась, что забыла закрыть водопроводный кран, и этот страх перед наводнением отравлял все наши прогулки, прежде такие веселые и спокойные.

Состояние моей старой няни удивляло меня, но не тревожило, так как я не понимал, что оно может ухудшиться. Но однажды вечером я услышал, как мои родители тихо разговаривали между собой.

— Друг мой, Мелани с каждым днем дряхлеет.

— Да, это лампада, в которой больше нет масла.

— Безопасно ли отпускать с ней Пьеро?

— Ах, дорогая Антуанетта, она слишком любит ребенка и найдет в своем старом сердце силу и умение уберечь его.

Эти слова открыли мне глаза. Я понял и заплакал. Мысль, что жизнь течет и убегает, как вода, впервые проникла в мой разум.

После этого я с любовью цеплялся за узловатые, за натруженные руки моей няни Мелани, я целовал ее, но она была уже потеряна для меня.

В течение лета, чудесного лета, она стала бодрее, к ней вернулась память. Она снова сияла у своей плиты и своих кастрюль, а я снова начал ее дразнить. Как и прежде, она ежедневно ходила на базар и возвращалась оттуда, не слишком запыхавшись, не слишком ощущая тяжесть своей корзины. Но когда наступила дождливая пора, она стала жаловаться на головокружения. «Я будто пьяная», — говорила она. Однажды утром, после того как она ушла за покупками, как обычно, кто-то позвонил у наших дверей. Это был г-н Менаж. Он нашел Мелани лежащей без чувств у подножия лестницы и на руках принес ее домой. Вскоре она пришла в сознание, и отец сказал, что на этот раз она спасена. Я разглядывал г-на Менажа с любопытством и с большим вниманием, чем это полагалось бы в моем возрасте, ибо в науке познания мира я был более силен, чем в науке поведения. Г-н Менаж действительно носил раздвоенную рыжую бороду и ходил в мягкой войлочной шляпе а ля Рубенс и в панталонах по-гусарски, но он был совершенно не похож на человека, который пьет огненный пунш из черепа мертвеца. Уложив Мелани на диван, он поддерживал ей голову и был воплощением милосердного самаритянина *. Он казался умным и добрым. Его красивые, немного усталые глаза, печальные и нежные, дружелюбно смотрели на окружающее, и мне показалось, что они с улыбкой задержались на прекрасных волосах матушки. Ко мне он отнесся со всей доброжелательностью, какую мог ему внушить некрасивый ребенок, и посоветовал моим родителям не мешать мне свободно развиваться в соответствии с законами природы — источником всяческой энергии.

Все горячо благодарили г-на Менажа. Матушка была тронута тем, что он не забыл принести и корзинку. Только сама Мелани не выразила художнику никакой

признательности. Когда-то он серьезно обидел ее, нарисовав на дверях ее каморки Амура, просящего гостеприимства, и она не могла простить ему эту дерзость. Вот как сильно развито у порядочной женщины чувство чести.

Как и предсказал доктор, наша старая няня оправилась, но было очевидно, что ей пора уходить на покой.

От меня все скрывали. Шушукались, подавляли вздохи, вытирали слезы, паковали вещи. Говорили обняками о племяннице Мелани, которая вышла замуж за земледельца по имени Денизо и вместе с ним хозяйничала на ферме в Жуи-ан-Жоза.

Однажды утром эта племянница появилась у нас в доме, смиренная и страшная. Это была высокая, черная, сухопарая женщина с огромными зубами, которых зато было у нее очень немного. Она пришла за своей теткой Мелани, чтобы увезти ее в Жуи, под свой кров. Я почувствовал, что всякое сопротивление бесполезно, и заплакал. Мы поцеловались. Чтобы утешить меня, матушка пообещала, что в скором времени свезет меня в Жуи. Моя старая Мелани была убита горем, но, глядя на нее, я испытал странное и неуловимое ощущение. Я увидел, что, отвязав свой фартук, она разорвала узы, привязывавшие ее к городской жизни, и что отныне это другая женщина, с которой у меня нет уже ничего общего, — что это крестьянка. Я понял, что потерял мою няню Мелани и потерял безвозвратно.

Мы проводили ее до тележки, на которую она уселась рядом с племянницей. Кнут слегка коснулся ушей кобылы. Мелани уехала. Я увидел, как удаляется ее белый, круглый, похожий на сыр деревенский чепчик. То было мое первое горе. Я ощущаю его до сих пор.

Теряя Мелани, я терял больше, нежели думал: я терял прелесть и радость моего раннего детства. Матушка, с уважением относившаяся к Мелани, была достаточно великодушна, чтобы не ревновать к той любви, которую я отдавал моей старой няне, и если эта любовь была не так сильна и не так возвышенна,

как моя любовь к матушке, то, пожалуй, она была более нежной и уж конечно более задушевной.

Сердце у Мелани было так же бесхитростно, как у меня, и благодаря ограниченности наших понятий мы были очень близки друг другу. Мелани было уже много лет, когда я родился, и она не была веселой. Она и не могла быть веселой, потому что прожила тяжелую жизнь, но ее сияющее простодушие заменяло ей и молодость и веселость.

В равной и, может быть, даже в большей степени, чем сама матушка, Мелани сформировала склад моей речи. И мне не приходится жалеть об этом — при всей своей невежественности она говорила хорошо.

Она говорила хорошо, поскольку ее слова убеждали и утешали. Когда, упав на песок, я обдирал себе колени или кончик носа, она произносила слова, от которых делалось легче. Если мне случилось немного приврать ей, проявить в ее присутствии эгоистическое чувство или вспылить, она произносила слова, которые исправляют, укрепляют, умиротворяют сердце. Я обязан ей основой моих нравственных убеждений, и то, что добавилось к ним впоследствии, менее прочно, чем эта старая основа.

Из уст моей старой служанки я перенял хорошую французскую речь. Мелани говорила языком просто-народья, по-крестьянски. Она говорила: «каструля», «оде́жа», «колидор»¹. За этим исключением, она могла

¹ Не следует нам, образованным людям, пренебрежительно относиться к народному говору, если мы сами говорим *le liege* вместо *l'iege* и *le lendemain* вместо *l'en demain*, Мелани говорила *une légume* и *saçon* вместо *caçon*. Но не шумите, пожалуйста. *Une légume* вы найдете у Лабрюйера, а *saçon* — в «Государстве французском» за 1692 год. Мне вспоминается одна история, рассказанная Мелани, и я не могу удержаться, чтобы не привести ее здесь. В один из дней того прекрасного лета, которое было последним, проведенным нами вместе, она сидела на скамейке Люксембургского сада, а я осыпал поцелуями ее морщинистые щеки. Притворяясь испуганной, добрая старушка вскричала:

— Да ты хочешь съесть меня, маленький мой сударик? Уж не превратился ли ты в оборотня?

Я спросил у нее, что значит оборотень. Она не ответила мне на вопрос, но вот что она рассказала:

бы давать уроки правильной речи многим профессорам и академикам. В ее устах возрождалась плавная и непринужденная речь наших прадедов. Она не умела читать и произносила слова так, как их произносили во времена ее детства, а люди, от которых она слышала их, были людьми необразованными, черпавшими язык из его природных истоков. Поэтому Мелани говорила естественно и правильно. Она без труда находила выражения красочные и сочные, как плоды наших садов. Она знала множество забавных поговорок, мудрых пословиц и народных, крестьянских образных сравнений.

XXV

Радегунда

— Друг мой, — сказала матушка доктору Нозьеру, — к нам пришла та молоденькая служанка, которую рекомендует госпожа Комон. Она из Турени. Мне бы хотелось, чтобы ты взглянул на нее. До сих пор она служила только у одной пожилой барышни в предместье Тура. Говорят, она честная.

Нам давно пора было, для пользы нашего хозяйства, завести наконец честную служанку. С тех пор как больше года назад уехала наша старая Мелани, у нас перебивала дюжина служанок, причем лучшие из них бросали место, как только убеждались, что здесь нечем поживиться. У нас была Сикоракса *, у которой росла борода и которая готовила нам какие-то страшные,

«Когда я была еще совсем молоденькой, жил в наших местах один парень, которому бездельники в кабаке сказали, будто он волк и должен съесть свою мать. Парень-то был простоват и поверил им. Ночью, придя домой, он подошел к своей матери, уже лежавшей в постели, и сказал ей:

— Матушка, бедная моя матушка, я должен тебя съесть. Дай мне твое благословение — сейчас я проглочу тебя».

На этом месте Мелани остановилась. И сколько я ни упрасивал ее, она ничего больше не сказала. Истории Мелани были особенно хороши тем, что в них никогда не было конца. (Прим. автора.)

колдовские снадобья. Была восемнадцатилетняя девушка, очень хорошенькая, ничего не понимавшая в хозяйстве; матушка начала было ее обучать, но через три дня девица исчезла, прихватив с собой полдюжины серебряных ложек и вилок. Была особа, сбежавшая из сумасшедшего дома; она называла себя дочерью Луи-Филиппа и носила ожерелье из графинных пробок, но мой дорогой папа, будучи врачом, последний заметил, что она не в своем уме. У нас была Сова, которая весь день дремала на ходу, а по ночам, когда все думали, что она спит у себя в мансарде, стояла за стойкой своего кабака — в глубине одного двора на улице Муфтар — и пила разный сброд нашим вином; впрочем, это была искусная кулинарка и повариха, если верить моему крестному, знавшему толк в таких вещах. Последней была Гортензия Персепье, ожидавшая, подобно Пенелопе, своего супруга, уехавшего с Кабэ в Икарию *, и, как Пенелопа, привлекавшая большое количество женихов, которые приходили поесть у нас на кухне.

Тогдашние хозяева так же роптали на свою судьбу, как и нынешние: «Как трудно стало нынче с прислугой. Не то что прежде. Вот когда были преданные слуги. Все переменялось!» Некоторые винили в этом Революцию, разбудившую народные аппетиты. Но разве когда-нибудь они спали? Достоверно одно — что хорошие господа и хорошие слуги во все времена были редки. Эпиктеты и Марки Аврелии * встречаются не каждый день.

Моя дорогая матушка ждала эту новую служанку не то, чтобы со слепым доверием, — оно было уже невозможно, — но все-таки с каким-то благоприятным предчувствием, которого она не скрывала. Чем оно объяснялось? Да тем, что девушка, как говорили, была скромна, воспитывалась в честной крестьянской семье и кое-чему научилась, служа у одной старой барышни из провинциальной семьи военных и судейских. А кроме того, матушка знала от аббата Муанье, своего духовника, что отчаянье — большой грех.

— Как ее зовут? — спросил отец.

— Мы будем называть ее так, как ты захочешь, мой друг. Но ее крестное имя — Радегунда.

— Я не особенно люблю менять имена слуг, как это теперь принято, — возразил отец. — Мне кажется, что отнять у человеческого существа, члена общества, его имя — все равно, что отнять что-то у его индивидуальности. Однако я должен сознаться, что слово Радегунда неблагозвучно.

Когда доложили о приходе девушки, матушка не выслала меня из комнаты — не то по рассеянности (ибо самая бдительная осторожность мило сочеталась в ней с очаровательным легкомыслием), не то потому, что мое присутствие при этом невинном семейном разговоре считалось вполне допустимым.

Радегунда вошла широкими звонкими шагами и остановилась посреди гостиной, прямая, неподвижная, безмолвная, сложив руки на фартуке с робким и вместе с тем храбрым видом. Очень юная, почти ребенок, не брюнетка и не блондинка, не красивая и не безобразная, с румяными щеками, с глуповатым и в то же время хитрым выражением лица, что производило очень забавное впечатление, она была одета, как самая бедная крестьянка, и вместе с тем с некоторой парадностью: волосы зачесаны кверху и собраны под бант кружевного чепца с широкой плоской тульей, на плечах — ярко-красная косынка в цветах. Очень серьезная и очень смешная, она сразу мне понравилась, и я заметил, что родители мои тоже смотрят на нее с симпатией.

Матушка спросила, умеет ли она шить. Она ответила: «Да, сударыня». — «Готовить?» — «Да, сударыня». — «Гладить?» — «Да, сударыня». — «Убирать комнату?» — «Да, сударыня». — «Чинить белье?» — «Да, сударыня».

Если бы моя добрая матушка спросила, умеет ли она лить пушки, строить соборы, сочинять стихи, править народами, она все равно ответила бы: «Да, сударыня», — потому что явно говорила «да» совершенно независимо от смысла задаваемых ей вопросов, исключительно из вежливости, благодаря хорошему воспи-

танию и уменью держать себя в обществе, памятуя наставления родителей о том, что неучтиво отвечать «нет» значительным особам.

Как без видимых причин
«Нет» сказать решиться?
Так с богами обходиться
Не заведено у нас.

Так говорит Лафонтен, который не посмел бы ответить «нет» мадемуазель де Силлери*.

Но матушка больше не расспрашивала юную крестьянку о ее познаниях. Она ласково и твердо сказала ей, что требует приличных манер, безупречного поведения, пообещала написать ей сразу, как только вопрос будет решен, и отпустила ее, неприметно улыбаясь.

Уходя, юная Радегунда каким-то образом зацепилась карманом передника за дверную ручку. Никто не заметил этого мелкого происшествия, кроме меня. Я же проследил его во всех подробностях и был восхищен удивленным и укоризненным взглядом, который бросила Радегунда на злокозненную ручку: она смотрела на нее словно на какого-то враждебного духа из волшебной сказки.

— Ну, как она тебе понравилась, Франсуа? — спросила матушка.

— Она очень молода, * ответил доктор. — И потом...

Быть может, в это мгновение у него возникло смутное и мимолетное предчувствие относительно характера Радегунды. Но оно рассеялось, не успев выразиться в словах. Он не закончил фразы. Я же, будучи мал и находясь на одном уровне с вещами и явлениями небольшого масштаба, сразу понял, что эта юная крестьянка превратит наше мирное жилище в дом, где хозяйничают духи.

— Кажется, это честная девушка, — сказала матушка. — Может быть, мне удастся приучить ее. Если ты ничего не имеешь против, друг мой, мы будем звать ее Жюстиной.

XXVI

Кэр

Родившись в один и тот же день, в один и тот же час, мы росли вместе. Кличка Пук, которую ему дал отец и на которую он отзывался сначала, была впоследствии заменена именем Кэр, и эта замена была не к его чести, если считать, что честь — это честность. Видя, как искусно он обманывает, как умело ворует, как неутомимо мошенничает, нельзя было не восхищаться изобретательностью и ловкостью его проделок, и вот ему дали имя Робер Макэр * — имя того изумительного разбойника, которого Фредерик Леметр создал на сцене лет за пятнадцать перед тем и которого могучий талант Оноре Домье превращал на страницах сатирических журналов то в финансиста, то в депутата, то в пэра Франции, то в министра. Но это имя — Робер Макэр — показалось всем чересчур длинным, и его сократили до простой клички Кэр. Это был маленький рыжий щенок, не породистый, но очень смышленный. И было в кого: Финетта, его мать, сама ходила за требухой, платила наличными мяснику и приносила свою порцию г-же Матиас, чтобы та сварила ее.

Ум развивался у Кэра гораздо быстрее, чем у меня, и он давно уже владел навыками, необходимыми в искусстве жизни, когда я не имел еще ни малейшего понятия ни о мире, ни о самом себе. Пока меня носили на руках, он ревновал ко мне. Он никогда не пытался меня укусить, потому ли, что считал это опасным, или же по той причине, что он скорее презирал, чем ненавидел меня. Так или иначе, но он смотрел на ходивших за мной матушку и старую няню с мрачным и жалким видом, изобличившим зависть. Благодаря доле благоразумия, еще остававшейся в нем, несмотря на эту злосчастную страсть, он избегал их, насколько возможно избегать тех, с кем живешь. Он находил убежище возле моего отца и по целым дням лежал под столом доктора, свернувшись в клубок на ужасной старой овчине. Как только я начал ходить, его отношение ко мне изменилось. Он стал смотреть

на меня более дружелюбно и теперь охотно играл с этим маленьким существом, неуверенным и хилым. А я, достигнув того возраста, когда начинают кое-что понимать, восхищался Кэром, чувствуя, что он стоит ближе меня к природе, хотя во многих других областях я и догнал его.

Если Декарту вздумалось, вопреки очевидности, заявить, что животные — это машины*, приходится простить ему, поскольку его вынудила к этому философия и поскольку философ всегда готов подчинить чуждую ему природу своему собственному учению. Картезианцев больше нет, но, может быть, еще найдутся люди, утверждающие, что у животных — инстинкт, а у людей ум. Когда я был ребенком, эта теория была очень распространена. Однако это вздор. Животные обладают умом, однородным с нашим. Он отличается от нашего только в силу различия наших органов и, как и наш, объемлет мир. А у нас, как и у них, есть та таинственная способность, та бессознательная мудрость, которая зовется инстинктом и гораздо более драгоценна, чем разум, ибо без нее ни клещ, ни человек не могли бы прожить ни одного мгновения.

Вместе с Лафонтеном, философом более мудрым, нежели Декарт, я полагаю, что животные, особенно в естественном своем состоянии, изобретательны и необыкновенно находчивы. Приручая их, мы принимаем, мы развращаем их сердце и ум. Какие умственные способности уцелели бы у людей, если бы поставить их в такие условия, в какие мы ставим собак, лошадей, не говоря уже о домашней птице? «Обращая человека в рабство, Зевс отнимает у него половину его достоинств».

Словом, все животные, — домашние и дикие, жители воздуха, земли и воды, — наравне с нами сочетают в глубине своей души непогрешимый инстинкт и заблуждающийся ум. Подобно людям, они тоже способны обманываться. Иногда ошибался и Кэр.

Он нежно любил Зербино, пуделя г-на Комона, книготорговца. И Зербино, честный и добрый от природы, еще нежнее любил Кэра. Они были всем друг

для друга. Дурная репутация Кэра набросила тень и на Зербино, которого стали звать уже не Зербино, а Бертраном — по имени товарища Робера Макэра. Кэр совратил Зербино и быстро превратил его в шалопая. Когда им удавалось вырваться, они убегали вместе бог весть куда и возвращались грязные, охромевшие, усталые, порой с ободранным ухом, с блестящими глазами, счастливые.

Господин Комон запрещал своему пуделю водить знакомство с нашей собакой. Мелани, во избежание унижений и упреков, следила за тем, чтобы Кэр не встречался с соседом более высокого происхождения и более привлекательной наружности. Но дружба находчива и смеется над препятствиями. Несмотря на бдительный надзор и на замки, приятели находили тысячу способов, чтобы отыскать друг друга. Заняв пост на выступе окна в столовой, выходящей во двор, Кэр подстергал момент, когда друг его выйдет из книжной лавки. Бертран появлялся во дворе и поднимал свои кроткие глаза к окну, откуда на него с нежностью глядел Кэр.

Вопреки всем помехам, через пять минут они были вместе. И начинались бесконечные игры и таинственные прогулки. Но однажды Бертран в свой обычный час появился во дворе, преображенный в маленького льва, очень смешного. Его отдал так один из тех стригальщиков, которые в ясные летние дни стригут собак на берегу Сены близ Нового моста. Шерсть, оставленная на плечах, висела на нем, как грива; выбритые зад и живот, жалкие и голые, показывали всем свою тонкую, грязно-розовую кожу с темно-синими пятнами; на лапах сохранились клочки курчавой шерсти в виде манжет, а на хвосте красовалась унылая шутовская кисточка. Кэр некоторое время внимательно разглядывал его, потом отвернулся: он не узнавал его. Тщетно Бертран звал друга, просил, умолял, неотступно смотрел на него своими красивыми, полными слез глазами. Кэр больше не глядел на него и продолжал его ждать.

Говорят, что собаки никогда не смеются. Я видел, как наш Кэр смеялся, и смеялся злорадным смехом.

Он смеялся беззвучно, но линия его сжатых губ и складка на щеке выражали насмешку и сарказм. Как-то утром я пошел за провизией с моей старой няней. Мутон, собака бакалейщика, г-на Курселя, Мутон, водолаз, который мог бы проглотить Кэра, как муху, красавец Мутон, развалясь у дверей хозяйской лавки, небрежно держал в лапах баранью кость. Кэр долго смотрел на него, не делая никакой попытки подойти к нему ближе, что свидетельствует об отсутствии у собаки хороших манер. Но Кэр не слишком заботился о соблюдении приличий. Мутон, увидев знакомую лошадь, привезшую, как обычно, голландские сыры, оставил кость и поднялся, чтобы поздороваться со своей подругой лошадью. Кэр немедленно подкрался, схватил кость в зубы и, стараясь быть незамеченным, побежал спрятать ее в лавке зеленщика Симонно на улице Изыщных искусств, где он был частым гостем. Потом он с самым невинным видом вернулся к Мутону, внимательно посмотрел на него и, увидев, что тот ищет свою кость, засмеялся.

Мы с Кэром любили друг друга, сами того не сознавая, а это удобный и надежный способ любить. Вот уже восемь лет мы оба существовали на этой планете (причем ни один из нас не знал хорошенько, зачем, собственно, мы на ней появились), как вдруг мой бедный сверстник, который успел уже растолстеть и страдал одышкой, тяжело заболел, — у него оказались камни в печени. Он страдал, не жалуясь, шерсть его становилась тусклой и сухой, он скучал и ничего не ел. Ветеринар сделал ему операцию, но она оказалась неудачной, и к вечеру больной перестал мучиться. Лежа в своей корзинке, он взглянул на меня своими ласковыми, уже тускнеющими глазами, приподнялся, в последний раз взмахнул хвостом и опять упал. Его не стало. И тогда я понял, каким живым он был, как много он бегал, думал, любил, ненавидел, как много места занимал в нашем доме и в наших мыслях. Я горько заплакал и уснул. Наутро я спросил, появилось ли в газете объявление о смерти Кэра, как это было, когда умер маршал Сульт*.

XXVII

Юная наследница троглодитов

Мои предчувствия оправдались. Радегунда, или, вернее, Жюстина, ибо моя дорогая матушка без долгих размышлений лишила ее покровительства благородной уроженки Тюрингии и перевела под защиту святой с более благозвучным именем, — итак, Жюстина, благополучно водворившись у нас в доме, превратила нашу мирную обитель в какое-то заколдованное жилище. Прошу понять меня должным образом: я вовсе не хочу сказать, что эта простая крестьянка получила от своей крестной матери феи дар покрывать порфиром, золотом и драгоценными камнями стены тех комнат, которые она прибирала. Во все нет, но со времени ее вступления в должность в нашей квартире беспрерывно раздавались какие-то страшные звуки: страшный грохот, крики отчаянья, скрежет зубонный и пронзительный хохот. По всему дому разносился отвратительный запах кипящего жира и подгоревшего мяса; грязная вода вдруг растекалась по комнатам, внезапный дым застилал дневной свет и спирал дыхание, паркет трещал, двери стучали, оконные рамы хлопали, занавески надувались, ветер гулял в доме как перед бурей, непонятные зловещие знамения пугали моего отца: чернильница на его столе опрокидывалась, кончики перьев ломались, лампы стекла лопались каждый вечер. Ну разве это было не колдовство? Матушка говорила, что Жюстина неплохая девушка и что со временем, приложив терпение, можно будет ее обтесать, но что пока она, пожалуй, бьет слишком много посуды. А между тем Жюстина вовсе не была неловкой и неуклюжей. Напротив, она часто удивляла моих родителей своей расторопностью. Но она была дика, порывиста и всегда готова к бою, а так как в ее первобытной душе косная материя оживала, приобретая человеческие чувства и страсти, то эта Дочь троглодитов с Луары вступала в борьбу с предметами кухонной и домашней утвари, словно то были враждебные духи.

Она обрушивалась на самые стойкие металлы. Оконные шпингалеты и водопроводные краны не раз оставались у нее в руках. Словом, возродившаяся в ней душа ее отдаленных предков отдавала ее во власть самого свирепого фетишизма. Впрочем, кому из нас не случалось иногда почувствовать раздражение против неодушевленного предмета, причинившего нам боль или хотя бы оказавшего сопротивление, — против камня, колючки, ветки?

Я следил за ежедневной работой Жюстины с неослабевающим любопытством. Моя милая мама упрекала меня за это, говоря, что я попусту трачу время. Она была неправа: Жюстина интересовала меня своими воинственными замашками и тем, что все ее хозяйственные затеи носили характер опасной и грозной борьбы. Когда, вооружившись половой щеткой и метелкой из перьев, она решительно заявляла: «Пойти прибрать гостиную!» — я шел за ней и наблюдал.

В гостиной стояли диван и широкие кресла красного дерева, предназначенные принимать на своих старых, обитых алым бархатом сидениях пациентов доктора. Обои там были зеленые, с разводами, и на стенах висели две гравюры «Танцующие Оры» * и «Сон Наполеона», а также две продырявленные во многих местах картины — два фамильных портрета. Один изображал моего двоюродного деда, очень смуглого, в очень высоком стоячем воротничке, в белом галстуке, закрывавшем подбородок, и с запонками на тоненьких золотых цепочках, а другой — двоюродную бабушку с высокой взбитой прической, затянутую в строгое черное платье с узким лифом. Оба портрета, как мне потом рассказывали, были написаны в царствование Карла X *, незадолго до преждевременной кончины их оригиналов, и эти фигуры прошлого навевали на меня глубокую грусть. Но главной роскошью гостиной были бронзовые статуэтки — подарки исцеленных и признательных больных. Каждое из этих произведений искусства изобличало характер дарителя. Одни были приветливы, другие — суровы. Они совершенно не

гармонировали друг с другом — ни по размеру, ни по духу. По одну сторону двери, на столике в стиле Буль, стояла маленькая Венера Милосская, отлитая из металла шоколадного цвета. По другую сторону — Флора из дешевой бронзы с улыбкой рассыпала золоченые цинковые цветы. В простенке между окнами восседал «Моисей» Микеланджело, бородатый и неуклюжий. На столах там и сям были расставлены: молодой неаполитанский рыбак, держащий за клешню краба; ангел-хранитель, уносящий на небо маленького ребенка; Миньона, тоскующая по родине; * Мефистофель с крыльями летучей мыши; молящаяся Жанна д'Арк. И, наконец, Спартак, разорвавший свои цепи, грозно сжимал кулаки на каминных часах.

Вытирая пыль, Жюстина яростно колотила тощей метелкой по картинам и бронзе. Это избиение не приносило особого вреда моему двоюродному деду и моей бабке, выдавшим виды; оно не оказывало особого действия и на безыскусственные, округлые формы Венеры и Моисея. Но современной скульптуре приходилось туго. Перья, насильственно вырванные из метелки, находили приют под крыльями ангела-хранителя, между клешнями краба, под мечом Жанны д'Арк, в волосах Миньоны, в гирлянде Флоры, в цепях Спартака. Жюстина терпеть не могла этих «петрушек», как она их называла, и больше всего ненавидела Спартака. Его она била особенно жестоко, так что он даже шатался на своей подставке. Он раскачивался, он страшно кренился, он угрожал упасть на дерзкую и раздавить ее в своем падении. Тогда брови ее хмурились, жилы на лбу надувались, она кричала ему: «Но! Но!» — как, бывало, кричала, загоня в хлев скотину на ночь, и рассчитанным ударом водворяла его на место.

В этих ежедневных схватках метелка быстро потеряла все свои перья. Теперь Жюстина стирала пыль лишь кожаной ручкой и голый деревяшкой. От такого обращения ангел-хранитель утратил крылья, Жанна д'Арк — меч, молодой рыбак — краба, Миньона — локон волос, а Флора перестала разбрасывать цветы. Жюстину это нисколько не смущало, но иногда, при

виде обломков, юная уроженка Турени, крепко держа ручку своей метелки, впадала в задумчивость и бормотала с грустной улыбкой:

— Экие они неженки, эти петрушки!

XXVIII

Жить тысячью жизней

Общество Жюстины доставляло мне большое удовольствие, а по мнению матушки, даже и чрезмерное. Задумываясь над тем, почему мне нравилось проводить время с Жюстиной, я нахожу тому много причин, свидетельствующих о моей невинности и бесхитростности. Детская доверчивость, потребность в дружбе, веселый и смешливый нрав, природная доброта — все это влекло меня к Дочери троглодитов. Но она привлекала меня и по менее похвальным мотивам. Я считал ее глуповатой, или, как выражалась Мелани, придурковатой, тупой и уж, конечно, менее сообразительной, чем я сам. Поэтому в ее присутствии самолюбие мое получало живейшее удовлетворение. Я охотно поправлял и наставлял ее и, пожалуй, не выказывал при этом чрезмерной снисходительности. Кроме того, я был большим насмешником, а она доставляла мне немало поводов для насмешки. Словом, жадно стремясь к славе, я рисовался перед ней своим превосходством и давал ей возможность восхищаться моей особой.

Я силился блистать перед ней до тех пор, пока не заметил, что она и не думает восхищаться мною, а, напротив, считает меня глупым, бестолковым, непонятливым мальчишкой, некрасивым и слабым. Но каким же образом мне стали известны чувства, столь непохожие на те, какие я в ней предполагал? Ах, боже мой, да очень просто — она сама высказала мне их. Жюстина отличалась суровой откровенностью. Она сумела дать мне понять, — и я вынужден был примириться с этим, — что она отнюдь не восхищается мною. В похвалу себе я должен сказать, что это ничуть меня не рассердило и я вовсе не стал меньше любить Жю-

стину. Я усердно искал объяснения такой странной характеристики, и мне удалось его обнаружить, ибо, что бы там ни думала обо мне Дочь троглодитов, я все-таки не был глуп. Сейчас я расскажу, в чем тут было дело на мой взгляд. Прежде всего Жюстина видела, что я худ, тщедушен, бледен и далеко не так красив и не так крепок, как ее брат Сенфорьен, который был на год моложе меня, но более развит физически. Она же полагала, что ум мальчика заключается в его силе, крепости, ловкости и смелости. И я не собираюсь с ней спорить. Далее, — и это может с первого взгляда показаться удивительным со стороны девушки, не знающей даже грамоты, — Жюстина считала меня невеждой. Я отлично видел, хоть она мне ничего не говорила, что ее удивляет, как это я в мои годы не имею понятия о нравах животных и о таких явлениях природы, которые были уже давно известны ее брату Сенфорьену. Мое неведение в некоторых вопросах казалось ей смешным, потому что, будучи невинной девушкой, она вовсе не была наивной и не слишком почитала наивность. И, наконец, несмотря на то, что ей случалось иногда «надирать животики со смеху», употребляя ее собственное выражение, она считала, что только дурачок может смеяться без причины, как это делал я. По ее мнению, это доказывало, что я плохо знаю жизнь, которая далеко не смешна, и что у меня «сердце как камень». Вот те доводы, на основании которых Жюстина сделала свое заключение, начисто отказав мне в уме. И право же, они не так уж несостоятельны, хотя, в общем, я был мальчиком, способным многое понять. Однако некоторые мои поступки действительно могли озадачить кого угодно.

Я мог бы привести немало тому примеров. Вот один, который, если не ошибаюсь, восходит к первым дням пребывания Жюстины в нашем доме.

В гостиной с розовыми бутонами стояли на этажерке маленькие иллюстрированные книжечки в зеленых переплетках, которые моя дорогая матушка иногда давала мне читать. Это был «Друг детей». Рассказы Беркена * переносили меня в старую Францию и знакомили с нравами и обычаями, совсем не похо-

жими на наши. Так, например, там была повесть о десятилетнем дворянине, который носил шпагу и слишком часто обнажал ее, поссорившись с деревенскими мальчишками. Но однажды вместо шпаги он вынул из ножен павлинье перо, которое вложил туда его мудрый наставник. Вообразите его смущение и неловкость. Урок пошел ему на пользу. Он перестал быть заносчивым и сердитым. Эти старые истории казались мне вечно новыми и трогали до слез. Помнится, как-то утром я прочитал рассказ о двух жандармах, умиливших меня своей самоотверженностью и добрыми делами. Они принесли какое-то радостное известие, не помню какое именно, в семью бедных крестьян, и те предложили им поужинать с ними. Так как в лачуге не было тарелок, добрые жандармы ели мясо прямо на ломтях хлеба. Этот поступок показался мне таким благородным, что за завтраком я решил последовать их примеру. И, несмотря на справедливые возражения матушки, я упорно ел баранье рагу на куске хлеба. Я весь перемазался в соусе, матушка побранила меня, а Жюстина смотрела на меня с состраданием.

Этот случай незначителен. Он напоминает мне другой случай, в таком же роде и не более значительный, который, однако, я приведу здесь, ибо в моем повествовании мне важна не пышность, а правда.

Я читал Беркена, читал и Буйи*. Буйи, не такой старинный, как Беркен, был не менее трогателен. Он познакомил меня с юной Лизой, которая через своего ручного воробья посылала г-же Гельвециус записочки, прося о помощи для одного несчастного семейства. Юная Лиза возбудила во мне нежную и даже пылкую симпатию. Я спросил у моей милой мамы, жива ли еще Лиза. Мама ответила, что сейчас она была бы уже очень стара. Потом я увлекся маленьким сиротой, которого Буйи изображает в самом привлекательном виде. Он был очень несчастен, не имел пристанища и ходил в лохмотьях. Некий старый ученый приютил его и дал работу в своей библиотеке. Он отдавал ему свою старую теплую одежду, которую приходилось лишь немного переделывать. Вот это последнее об-

стоятельство поразило меня больше всего! Мне страстно захотелось одеться в старое мужское платье, подобно маленькому сиротке из рассказа Буйи. Я просил его у отца, просил у крестного, но они только смеялись надо мной. Однажды, оставшись один в квартире, я раскопал в шкафу сюртук, показавшийся мне достаточно старым. Я надел его и подошел посмотреть на себя в зеркало. Он волочился по полу, а рукава совершенно закрывали мне руки. Пока что беда была невелика. Но, помнится, для большего соответствия с рассказом я сделал в сюртуке кое-какие переделки с помощью ножниц. Эти переделки дорого обошлись мне. Тетя Шоссон, не долго думая, приписала мне по этому случаю извращенные наклонности. Моя дорогая матушка упрекнула меня за «вредную склонность к обезьянничанию», как она неправильно это называла. Люди не понимали меня. Я хотел поочередно быть жандармом, как у Беркена, сиротой, как у Буйи, хотел преобразиться в разных людей, жить тысячу жизней. Я не мог противиться горячему желанию выйти из своей оболочки, стать другим, многими другими, всеми другими, — если возможно, всем человечеством, всей природой. От всего этого у меня до сих пор осталась довольно редкая способность легко перевоплощаться, проникать в чужую душу, хорошо, порой даже слишком хорошо понимать чувства и доводы противника.

Этот последний случай окончательно убедил Жю-стину в том, что я идиот. А вскоре молодая уроженка Турени начала смотреть на меня как на опасного идиота.

Когда я познакомился с историей крестовых походов, высокие подвиги христианских баронов воспламенили мою душу восторгом. Ведь это похвально — желать подражать тому, чем восхищаешься. Чтобы как можно более походить на Годфрида Бульонского *, я соорудил себе воинские доспехи и каску из картона, на которые наклеил «серебряную» бумагу от плиток шоколада. И если мне возразят, что такое одеяние больше похоже на гладкие доспехи XV века, нежели на кольчугу XII и XIII веков, то я смело отвечу, что

многие знаменитые художники позволяли себе в этом отношении еще и не такие вольности. Впрочем, главной составной частью моего вооружения, как это, увы, станет ясно из дальнейшего, являлась обоюдоострая секира, вырезанная из картона и прикрепленная к палке от старого зонта. Снарядившись таким образом, я взял приступом кухню, представлявшую мне Иерусалимом, и нанес несколько сильных ударов секирой Жюстине, которая растапливала плиту и, сама того не зная, олицетворяла в моих глазах «нечестивых». Воспламенявшая меня вера удвоила мои силы. Жюстина, девица не из слабеньких и даже «дюжая», как она сама о себе говорила, преспокойно выдержала бы нападение, если бы мое обоюдоострое оружие не зацепило ее за чепец. Между тем этот чепец являлся для молодой крестьянки вещью бесконечно драгоценной, и не только из-за его изящного фасона и богатой кружевной отделки, но по причинам таинственным и глубоким, — быть может, как эмблема ее деревни, как символ родины, как отличительный знак девушек родного края. Она считала его священным; она считала его неприкосновенным. И вот он святотатственно сорван с ее головы! Она слышит треск рвущейся материй. И тем же ударом я совершил нечто еще более ужасное: я растрепал прическу Жюстины. Для Жюстины же порядок, в котором были уложены волосы на ее голове, являлся ненарушимым. Она со свирепой стыдливостью следила за тем, чтобы ничто, даже рука матери, даже дуновение ветерка, не потревожили строгой симметрии, кстати сказать, довольно безобразной, ее прилизанных прядей и куцых косичек. Никогда, ни при каких обстоятельствах, никто не заставлял ее непричесанной — ни во время болезни, когда она полтора месяца пролежала в постели и матушка ежедневно приходила ухаживать за ней, ни в ту страшную ночь, когда закричали «пожар!» и когда при свете луны, на глазах у привратника, она выбежала во двор босая и в одной рубашке, но причесанная так же гладко, как обычно. В сохранении незыблемости своей прически она видела залог своей чести, славы и добродетели. Один выбившийся волосок означал позор. Под

яростным ударом, обрушившимся на ее чепец и волосы, Жюстина задрожала и обеими руками схватилась за голову. Она не хотела верить своему несчастью. Трижды ощупала она затылок, прежде чем убедилась, что чепец разорван, а прическа осквернена. Приходилось сдаться перед очевидностью. В кружеве зияла дыра, в которую можно было просунуть палец, а из пучка выбилась прядь волос длиной и толщиной с крысиный хвост. Тогда мрачная скорбь охватила душу Жюстины. Несчастливая крикнула:

— Я ухожу!

И, не требуя удовлетворения за невозместимую обиду, не делая бесплодных упреков, не удостоив меня ни взглядом, она вышла из кухни.

Матушке стоило невероятных усилий уговорить ее отменить свое решение. И, конечно, Дочь троглодитов ни за что не надела бы вновь свой фартук, если бы, поразмыслив, не пришла к выводу, что ее юный хозяин поступил так скорее по глупости, чем по злобе.

XXIX

Мадемуазель Мерэль

В те времена на прекрасной набережной Малакэ царила, как мне кажется, какая-то особая радость жизни, какая-то задушевная интимность между живыми существами и вещами, тот особый изящный уют, какого теперь уже не существует. Тогда, если я не ошибаюсь, люди были как-то ближе друг к другу, а может быть, это моя детская доброжелательность сближала их между собой. Как бы там ни было, но по утрам во дворе моего родного дома можно было видеть, как его владелец, г-н Беллаге, в греческом колпаке и в клетчатом халате, мирно беседует с г-ном Мореном, привратником соседнего дома и служителем палаты депутатов. И тот, кто не видел их, пропустил прекрасное зрелище, ибо эта пара олицетворяла весь государственный порядок, торжественно открывшийся Тремя Славными Днями, Впрочем, беда поправима: можно

сотни раз найти эти два персонажа на литографиях Домье. Итак, все были знакомы друг с другом, и в три часа дня матушка, сидя за своим шитьем у окна, украшенного горшком резеды, говорила, поглядывая на застекленный подъезд:

— Вот мадемуазель Мерэль идет давать урок грамматики внучке господина Беллаге. Мадемуазель Мерэль очень мила, и у нее отличные манеры.

И все сходились на том, что мадемуазель Мерэль умеет себя держать и что она всегда хорошо одета. Если я не поспежу за собой, описывая ее туалет, то невольно нарисую теперешние платья. Пожалуй, все мы таковы: по мере того как время уходит, мы начинаем мысленно одевать в современные костюмы тех молодых женщин, которых видели давным-давно. То же происходит и на сцене. Когда даются в новой постановке пьесы десяти, пятнадцати или двадцатилетней давности, костюмы героини подгоняют к моде сегодняшнего дня. Но у меня есть чувство истории и любовь к старине. Поэтому я воздержусь от этого омолаживания, искажающего лицо эпохи, и скажу, что мадемуазель Мерэль, которой тогда было лет двадцать шесть — двадцать семь, носила рукава с буфами и что юбка у нее, в отличие от нынешних, шла расширяясь книзу. Она стягивала на груди кашемировый шарф, а талия у нее была, как говорится, осиная. Забыл сказать, что длинные локоны золотыми завитками обрамляли ее щеки и что на голове она в зависимости от времени года носила либо бархатную, либо итальянской соломы шляпку, которая была похожа на капор и выдавалась вперед, совершенно скрывая ее профиль. Словом, она одевалась по моде.

Итак, мне было в то время восемь лет. Познания мои были невелики, но усвоены твердо — я получил их от матушки. Они заключались в умение читать, писать и считать. Говорят, что для своего возраста я был довольно силен в правописании, за исключением тех мест, где встречались причастия. Моя матушка с детства питала такой страх перед причастиями, что так никогда и не смогла избавиться от него. Поэтому она тщательно избегала водить меня по тем стезям грам-

матики, где сама опасалась заблудиться. Моя дорогая матушка, только она одна, по своей доброте, считала, что я не глуп. В глазах всех остальных людей, включая моего отца и няню, я был довольно ограниченным ребенком. В действительности же я обладал известным умом, но только ум этот сильно отличался от ума других детей. Он был более отвлеченным и, обращаясь на более разнообразные и более разнородные предметы, казался менее устойчивым, менее твердым. Мои родители находили, что я еще слишком мал и слишком слаб здоровьем для поступления в пансион, и справедливо считали начальные школы нашего квартала грязными и неудобными. Особенно неприятное впечатление произвело на моего отца то, что он увидел в училище на улице Марэ-Сен-Жермен: в темной от чернил и пыли комнате, грязной и зловонной, перед кафедрой учителя стояли на коленях с дюжину ребятишек в ослиных колпаках, а сам учитель, толстяк апоплексического сложения, задыхаясь от ярости и жира, грозил розгами остальным детям — тридцати маленьким сорванцам, которые, смеясь, плача и вопя одновременно, швырялись чернильницами, ранцами и учебниками.

При таком положении дел матушка задумала пригласить мне в преподавательницы мадемуазель Мерэль, самое мадемуазель Полину Мерэль. План этот был грандиозен и труден. Мадемуазель Мерэль давала уроки лишь в знатных семьях или в семьях купающихся в золоте буржуа. Она посещала только богатые или аристократические дома. Ей покровительствовал старик Беллаге, владелец нашего дома, богатый финансист, выдававший своих дочерей за Виллерагов и за Монсеглей, и было сомнительно, чтобы она согласилась заниматься с сыном скромного врача этого квартала. Ибо отец мой был беден, а его нелюбовь получать плату за визиты отнюдь не способствовала его обогащению. Не говоря уже о том, что от природы он был мечтателем, склонным к размышлению и созерцанию, и в думах о судьбах человечества проводил то время, которое, при меньшей одаренности, мог бы употребить на заботы о собственном благосостоянии. Словом, доктор Нозьер был богат лишь мыслями да чувствами. Тем

не менее матушка, непременно желавшая добиться для меня уроков мадемуазель Мерэль, попросила поговорить с ней г-жу Монте, кассиршу из лавки у церкви св. Фомы; она лечилась у моего отца и считалась близкой подругой г-жи Мерэль-матери. Эта благочестивая вдова постоянно ходила с плетеной волосяной сумкой и казалась служанкой своей дочери. Говорю о ней только понаслышке, так как никогда ее не видел. По ходатайству г-жи Монте молодая учительница согласилась ежедневно заниматься со мной от часа до двух.

— Пьер, завтра мадемуазель Мерэль даст тебе первый урок, — сказала мне матушка с затаенной радостью, в которой сквозила некоторая гордость.

Услышав эту новость, я лег спать в таком возбужденном состоянии, что минут десять по меньшей мере не мог заснуть и, кажется, видел во сне мадемуазель Мерэль.

Наутро матушка заставила меня одеться тщательно обычного, причесала и напмадила мне волосы, а потом я еще и сам добавил помады. Я даже вымыл бы еще раз руки, не зная я по опыту, что это бесполезно и что руки у маленьких мальчиков, как ни старайся, всегда бывают грязные.

Мадемуазель Мерэль пришла в назначенный час. Она пришла, и вся квартира сразу наполнилась ароматом гелиотропа. Матушка провела нас обоих в маленькую гостиную с розовыми бутонами, смежную с ее спальней. Она усадила нас за круглый столик красного дерева и, сказав, что никто нам мешать не будет, удалилась.

Мадемуазель Мерэль немедленно открыла крошечный портфель из русской кожи, вынула оттуда почтовую бумагу, ручку, сделанную из иглы дикобраза, с серебряным шариком на конце, и принялась писать. Она писала очень быстро, лишь изредка отрываясь, чтобы с улыбкой посмотреть на потолок или чтобы приказать мне читать басни Лафонтена, случайно оказавшиеся на столе. Так прошел первый урок, и когда матушка спросила у меня, хорошо ли я поработал с мадемуазель Мерэль, я ответил, что хорошо, не вполне ясно сознавая, что солгал.

На следующий день, заняв свое место у столика, моя учительница снова порекомендовала мне заняться изучением одной из басен, а сама опять принялась писать, словно в каком-то экстазе. По временам она останавливалась, как бы ожидая вдохновения, и когда ее прекрасные глаза случайно задерживались на мне, лицо ее выражало спокойное и ласковое безразличие. Так прошел и третий урок, так же и все последующие. Я пожирал ее взглядом. В продолжение тех трех четвертей часа, что длился урок, я упивался светом ее глаз. Эти глаза казались мне поразительным чудом. И даже теперь, после стольких лет, я думаю, что это и в самом деле было чудо. Они напоминали пармские фиалки, и длинные ресницы прикрывали их своей тенью. Я не забыл ни одной черты этого хорошенького личика. У мадемуазель Мерэль были слегка открытые ноздри, розовые внутри, как у котенка. Углы рта немного загибались кверху, и на верхней губе виднелся тонкий пушок, в котором мои детские глаза, увеличивавшие, как лупа, различали даже крошечные, едва заметные волоски. Досуг, предоставляемый мне моей учительницей, я употреблял вовсе не на то, чтобы читать басни Лафонтена, как она мне советовала, а на то, чтобы созерцать ее и пытаться угадать, какого рода письма она могла писать. И я приходил к выводу, что то были любовные письма. Я не ошибался, если не считать того обстоятельства, что у меня и у мадемуазель Мерэль было в то время неодинаковое представление о любви. Затем я спрашивал себя, какого рода лицам она их пишет, и воображал, что она писала их ангелам, живущим в раю. Это предположение казалось не слишком правдоподобным даже и мне самому, зато оно избавляло меня от мук ревности.

Никогда мадемуазель Мерэль не обращалась ко мне ни с одним словом. Звук ее голоса я слышал только тогда, когда она перечитывала вслух, порой с тихой грустью, а порой с бурной веселостью, некоторые из только что набросанных ею фраз. Я не мог уловить их смысла. Однако мне помнится, что в них говорилось о цветах и птицах, о звездах и о плюще, который умирает у того дерева, вокруг которого обовьется. И ее

гармоничный голос затрагивал самые глубокие струны моего сердца.

Моя дорогая мама, относившаяся к причастиям с каким-то поистине суеверным страхом, время от времени спрашивала меня, дошел ли уже я с моей учительницей до этого места грамматики, бывшего, по ее мнению, самым запутанным и самым трудным, особенно в части, касавшейся различия между отглагольным прилагательным и причастием настоящего времени. Я отвечал уклончиво, и мои ответы ее огорчали, вызывая сомнение в моей сообразительности. Но могли я сказать ей, что все, чему учила меня мадемуазель Мерэль, были ее глаза, губы, ее белокурые волосы, ее аромат, ее дыхание, легкий шелест ее платья и шуршание пера, бегающего по бумаге?

Я не мог вдоволь наглядеться на свою учительницу. Я особенно восхищался ею, когда, перестав писать, задумавшись, она подносила к губам серебряный шарик своей ручки. Впоследствии, увидев в неаполитанском музее помпейский медальон, изображавший поэтессу или музу, которая точно так же держит у губ стилос, я весь затрепетал при воспоминании о восторгах моего детства¹.

Да, я любил мадемуазель Мерэль, и что привлекало меня в ней почти так же сильно, как ее красота, это ее равнодушие. Это равнодушие было безграничным и божественным. Моя учительница никогда не говорила со мною, не улыбалась мне. Ни разу я не слышал от нее ни одного слова похвалы и ни одного слова укоризны. Возможно, что, получи я от нее хоть малейший знак благоволения, очарование было бы нарушено. Но за все десять месяцев, что продолжались ее уроки, она не проявила и тени интереса к моей особе. Иногда, с невинной смелостью своего возраста, я пытался поцеловать ее, я гладил рукой ее золотистое, блестящее, как птичьи перья, платье, я пробовал взобраться к ней на колени. Она отстраняла меня, как отстраняют ма-

¹ Очевидно, музу. Однако в этом самом музее есть другая помпейская картина, изображающая жену булочника Прокула, которая точно так же держит свой стилос и расходную книгу. (Прим. автора.)

ленькую собачонку, не устаивая ни упреком, ни выговором. И, чувствуя ее недоступность, я редко давал волю таким порывам. Почти все то время, какое я проводил вблизи нее, я пребывал в состоянии блаженного и почти полного отупения. Восьми лет от роду я познал, что счастлив тот, кто, перестав мыслить и понимать, углубляется в созерцание прекрасного, и мне открылось, что безграничное желание, не знающее ни страха, ни надежды, и притом бессознательное, дарит душе и чувствам совершенную радость, ибо в нем самом заключается полное довольство и полное удовлетворение. Но все это я совсем забыл в восемнадцать лет и так никогда и не смог полностью восстановить в себе это чувство. Итак, я неподвижно сидел перед ней, подперев кулаками щеки и широко раскрыв глаза. А когда наконец я выходил из своего экстаза (ибо все-таки я иногда выходил из него), это пробуждение души и тела выражалось у меня в том, что я начинал толкать ногой стол или мазал чернилами басни Лафонтена. Одного взгляда мадемуазель Мерэль было довольно, чтобы вновь погрузить меня в блаженное оцепенение. Этот взгляд без ненависти и без любви умирал меня в одну секунду.

После ее ухода я становился на колени перед ее стулом. То был маленький палисандровый стул в стиле Луи-Филиппа, с претензией на готику. Спинка у него была стрельчатая, а мелкая вышивка сиденья изображала болонку на красной подушке, и этот стул казался мне, когда на нем сидела мадемуазель Мерэль, чудеснейшей вещью в мире. Но, говоря откровенно, мое созерцательное настроение длилось недолго, и я выходил из комнаты с розовыми бутонами вприпрыжку, крича во все горло. Впоследствии матушка рассказывала мне, что никогда я не был таким буяном, как в тот период, и, судя по семейным преданиям, я соперничал с Жюстиной по части разрушений. В то время как юная служанка разливала на кухне потоки воды, я поджигал зеленый абажур с китайцами, который так любил мой отец и который был у нас в доме с незапамятных времен. Иногда нас с Жюстиной объединяло какое-нибудь общее бедствие, как, например, в тот день, когда мы

вместе, с бутылками в руках, кубарем скатились с лестницы, ведущей в винный погреб, или в то трагическое утро, когда, дружно поливая цветы на выступе окна, мы уронили лейку на голову г-на Беллаге. И как раз в этот период я с наибольшим пылом расставлял на столе в столовой армии оловянных солдатиков и посылал их в самые кровопролитные сражения, невзирая на протесты торопившейся накрывать к обеду Жюстины, которая, после моих упорных отказов убрать воинов в ящик, сгребала побежденных и победителей в одну кучу и уносила их в фартуке, не обращая внимания на мои вопли. В отместку я прятал рабочую шкатулку Жюстины в кухонную печь и изошрялся в способах заставить это бесхитrostное создание «побеситься». Словом, я был ребенок как ребенок, мальчик как мальчик, живой и жизнерадостный маленький зверек. И тем не менее мадемуазель Мерэль имела надо мной непреодолимую власть, и в ее присутствии я подпадал под ее чары совсем так, как это описано в арабских сказках.

И вот однажды, после десяти месяцев этого колдовства, матушка сообщила мне во время обеда, что моя учительница больше не будет ходить к нам.

— Мадемуазель Мерэль сегодня сказала мне, — продолжала матушка, — что ты уже сделал достаточные успехи и сможешь поступить в коллеж к началу занятий.

Странная вещь! Я выслушал эту новость без удивления, без отчаяния, почти без сожаления. Она не поразила меня. Напротив, мне показалось вполне естественным, что видение исчезло. Так по крайней мере я объясняю себе душевное спокойствие, в котором я тогда пребывал. Мадемуазель Мерэль была уже настолько далека от меня, будучи со мною, что я был в силах вынести мысль о ее исчезновении. К тому же в восемь лет мы не умеем так уж сильно страдать и тосковать.

— Благодаря урокам твоей учительницы, — сказала далее матушка, — ты теперь достаточно хорошо знаешь французскую грамматику, чтобы немедленно перейти к латыни. Я очень признательна этой очаровательной девушке за то, что она объяснила тебе правила обра-

зования причастий. Это самое трудное, что есть в нашем языке, и я, к сожалению, так и не смогла преодолеть эту трудность, потому что еще в детстве неправильно взялась за дело.

Моя дорогая мама заблуждалась. Нет! Мадемуазель Мерэль не объяснила мне правила образования причастий. Зато она открыла мне более драгоценные истины и более полезные тайны. Она приобщила меня к культуре изящества и женственной прелести. Она научила меня своим равнодушием наслаждаться красотой, даже холодной и далекой, научила любить ее бескорыстно, а это искусство подчас необходимо в жизни.

Мне бы следовало закончить на этом историю мадемуазель Мерэль. Не знаю, какой злой дух подталкивает меня испортить ее развязкой. По крайней мере постараюсь сделать это в двух словах. Мадемуазель Мерэль не осталась учительницей. Она уехала на озеро Комо с молодым Виллерагом, который и не подумал жениться на ней. Он выдал ее замуж за своего дядю Монсегля, так что ее судьба несколько напоминает судьбу леди Гамильтон *. Но ее жизнь протекала более незаметно и более спокойно. Мне несколько раз представлялся случай увидеться с мадемуазель Мерэль, но я всегда старательно от этого уклонялся.

XXX

Священное неистовство

Около этого времени, на склоне чудесного летнего дня, я перелистывал, сидя у окна, старую, всю растрепанную «Библию в картинках». Эти гравюры своим торжественным и суровым стилем иногда возбуждали во мне любопытство, но не пленяли меня, потому что им недоставало той мягкости, без которой ничто и никогда не радовало моего сердца. Мне нравилась лишь одна из них, изображавшая даму в крошечной шапочке, с гладко зачесанными волосами, спускавшимися на уши и собранными в круглый шиньон на затылке. Она была разодета по моде времен Людо-

вика XIII, в кружевном воротничке, и, стоя на итальянской террасе, протягивала Иисусу Христу бокал на высокой ножке, наполненный водой. Я любовался дамой, казавшейся мне очень красивой, размышлял над этой таинственной сценой и, главное, восхищался бокалом, прельстившим меня своей изящной формой и узорчатой граненой ножкой. Мне очень хотелось иметь такой бокал, и я был погружен в мечты о нем, как вдруг моя добрая матушка окликнула меня и сказала:

— Пьер, завтра мы едем навестить Мелани... Надеюсь, ты рад?

Да, я был рад. Прошло уже более двух лет с тех пор, как Мелани ушла от нас и поселилась у своей племянницы, которая была фермершей в Жуи-ан-Жоза. В первое время я горел желанием повидать мою старую няню. Я умолял маму свезти меня к ней. Но с течением времени это желание постепенно остывало, а теперь я уже привык не видеть ее, и воспоминание о ней, уже далекое, понемногу изглаживалось из моего сердца. Да, я был рад, но, сказать правду, больше всего меня радовала мысль о поездке. Держа на коленях мою старую библию, оставшуюся раскрытой, я думал о Мелани и, упрекая себя в неблагодарности, силился любить ее как прежде. Я извлекал воспоминание о ней из глубины своей души, где оно было погребено, я чистил, я тер его до блеска, и наконец мне удалось придать ему вид вещи, немного, правда, потрепанной, но чистой.

За обедом, видя, что матушка пьет из самого обыкновенного стакана, я сказал ей:

— Мама, когда я вырасту большой, я подарю тебе красивый высокий стакан на ножке, вроде бокала для цветов. Я видел такой на старинной картинке, где одна дама дает напиток Иисусу Христу.

— Заранее благодарю тебя, Пьер, — ответила мне матушка, — но сейчас лучше подумаем о пироге, который нам надо будет отвезти нашей бедной старушке Мелани, — ведь она так любит всякое печенье.

Мы поехали по железной дороге до Версаля. Возле станции нас ожидала хромая лошадь, запряженная в повозку, и какой-то парень с деревянной ногой повез

нас в Жуи. Мы ехали долиной, где меж лугов и фруктовых садов струились ручейки, а вдалеке виднелись темные купы деревьев.

— Как красива эта дорога! — сказала матушка. — А весной она, вероятно, была еще красивее. Ведь яблоны, вишни, персики в цвету похожи на большие букеты, белые с розовым. Зато в траве виднелись тогда лишь робкие бледные цветочки, вроде лютиков или полевых маргариток. Летние цветы ярче. Посмотри, какими красками блестят на солнце эти васильки, чернушки, кавалерийские шпоры, маки.

Я был в восторге от всего, что видел. Мы приехали на ферму и застали на дворе г-жу Денизо, которая стояла у кучи навоза с вилами в руках.

Она провела нас в закопченную комнату, где у очага, в высоком некрашеном кресле с грубым соломенным сиденьем, сидела Мелани и что-то вязала из синей шерсти. Целый рой мух вился вокруг нее. На очаге пел свою песенку котелок. Когда мы вошли, Мелани стала с трудом приподниматься с кресла, но матушка ласково удержала ее. Мы поцеловались. Мой рот утонул в ее мягких щеках. Она шевелила губами, но с них не слетало ни звука.

— Бедная старуха отвыкла разговаривать, — сказала г-жа Денизо. — Оно и не удивительно: с кем ей тут говорить?

Мелани отерла кончиком передника потускневшие глаза. Она улыбнулась нам, и язык у нее развязался.

— Ах ты господи, да неужто это вы, госпожа Нозьер? Вы нисколько не переменились. А до чего вырос ваш маленький Пьер. Просто не узнать... Дорогой малыш! Он растет вверх, а мы — вниз.

Она справилась о моем отце — красивый мужчина и такой жалостливый к бедным. О тете Шоссон — она и булавку с земли подымет, и это очень даже похвально, ничто не должно пропадать даром. О доброй г-же Ларок, той, что кормила меня булкой с вареньем, и о ее попугае Наварине, который однажды до крови укусил меня за палец. Спросила, по-прежнему ли мой крестный, г-н Данкен, любит форель, отваренную в вине, и выдала ли замуж старшую дочку г-жа Комон.

Задавая все эти вопросы и не ожидая ответа, добрая Мелани снова взялась за свое вязанье.

— Что это вы вяжете, Мелани? — опросила матушка.

— Шерстяную юбку племяннице.

Племянница тут же громко сказала, пожимая плечами:

— Она спускает петли и даже не замечает. Полотнище делается все уже да уже. Только даром шерсть переводит.

Сняв у порога деревянные башмаки, в комнату вошел г-н Денизо и поклонился гостям.

— Вы можете убедиться, госпожа Нозьер, — сказал он, — что старуха ни в чем недостатка не терпит.

— Она недешево нам обходится, — добавила г-жа Денизо.

Я смотрел, как Мелани вяжет свою юбку, и мне было немного грустно за нее при мысли, что она даром шерсть переводит. В очках у нее было только одно стекло, да и оно состояло из трех кусочков, но Мелани, как видно, это не огорчало.

Мы начали беседовать, как хорошие друзья, но говорить нам, собственно, было не о чем. Она без конца читала мне нравоучения, повторяла, что надо почитать родителей, что нельзя бросать на пол ни крошки хлеба, что надо хорошенько учиться, чтобы впоследствии выйти в люди. Мне было скучно ее слушать. Чтобы переменить разговор, я сообщил ей, что слон умер, а в Ботанический сад привезли носорога.

Тут она засмеялась и сказала:

— Просто смех берет, как вспомню госпожу де Сент-Люси, у которой я в молодости служила в прислугах. Как-то пошла она на ярмарку смотреть носорога, да и спросила у одного толстого мужчины, одетого по-турецки, не он ли и есть носорог. «Нет, сударыня, — ответил толстяк, — я только его показываю».

Потом, не помню уж, по какому поводу, она заговорила о казаках, которые пришли во Францию в 1815 году. И рассказала мне то, что уже тысячу раз рассказывала во время наших прогулок.

— Один из этих бессовестных казаков вздумал было меня поцеловать. Я не хотела, и ничто на свете не заставило бы меня согласиться. Сестра моя, Селестина, сказала мне, чтобы я не забывала, что теперь мы не хозяева у себя дома и что если я буду так отталкивать казаков, то они со зла могут спалить все село. Они и вправду были очень мстительны. Но все-таки я не дала ему поцеловать себя.

— Мелани, а если бы ты была уверена, что казак спалит за это все село, ты бы все равно его оттолкнула?

— Оттолкнула бы — пусть даже мой отец и мать, дядья, тетки, племянники, племянницы, братья и сестры, господин мэ́р, господин кюре и все жители сгорели бы в своих домах вместе со скотом и со всем добром.

— А что, Мелани, они очень безобразны, эти казаки?

— Еще бы! Носы приплюснутые, глаза как щелки, бороды как у козла. Но все они были рослые и крепкие. А тот, что хотел меня поцеловать, был вообще-то красивый мужчина и статный. Он у них был начальником.

— И злые же они, наверно, казаки?

— Еще бы! Когда с кем-нибудь из ихних случалась беда, они разоряли всю округу. Наши прятались от них в лесах. А они чуть что — «капут!» — и прикладывают руку к шее — дескать, сейчас голову вам отрубим. Когда, бывало, выпьют водки, тут уж им не прекословь. Сделаются как бешеные и крушат всех, кто под руку попадет, — даже женщин и детей. А когда трезвые, частенько плакали — по родине тосковали, и некоторые играли на маленькой гитаре такие грустные песни, что просто сердце разрывалось, их слушая. Никлос, мой двоюродный брат, убил одного и спустил в колодец. Так никто и не узнал... У нас их стояло на ферме человек двенадцать. Ходили за водой, носили дрова, присматривали за детьми.

Я слышал эти рассказы много раз, но они все еще занимали меня.

Улучив момент, когда мы остались с Мелани одни, матушка незаметно вложила ей в руку золотой. Бедная

старушка схватила его, задрожав, и спрятала под передник с выражением жадности и страха. Мне стало грустно. Неужели это была та самая Мелани, которая прежде, потихоньку от матушки, каждый день вынимала из кармана медяки и покупала мне какое-нибудь лакомство?

Между тем добрая старушка, обретя свою прежнюю доверчивость и болтливость, с улыбкой вспоминала мои проказы. Рассказывала, как я ее изводил: то спрячу от нее метлу, то положу что-нибудь тяжелое в ее корзинку, когда она собирается идти на рынок. Она развеселилась и словно помолодела. И вдруг мне вздумалось спросить у нее:

— А помнишь, Мелани, твои «каструли», твои красивые блестящие «каструли»? Ты так их любила!

Услышав это, Мелани вздохнула, и крупные слезы покатились по ее морщинистым щекам.

Для меня и для матушки накрыли на стол в спальне, где пахло щелоком. Стены были выбелены известью, а на камине, у зеркала, стояли дагерротипы г-на и г-жи Денизо и старый диплом учителя фехтования, разукрашенный трехцветными флажками. Я попросил, чтобы мою старую няню позвали завтракать вместе с нами. Но фермерша возразила, что у ее тетки уже нет зубов, что жует она медленно, привыкла есть одна и что если посадить ее за стол рядом с нами, то она будет стесняться.

Я отлично позавтракал яичницей с приправой из зелени, крылышком цыпленка в бульоне и куском сыра, выпил немного дешевого вина, и матушка посоветовала мне пойти погулять вблизи фермы.

Солнце начинало садиться, и его огненные стрелы дробились о спокойную листву деревьев. Легкие белые облачка неподвижно стояли в небе. Жаворонки пели, низко летая над полями. Какая-то неизведанная радость овладела моей душой. Я впитывал природу всем существом, и она воспламеняла меня упоительным жаром. Я кричал, я носился под деревьями, опьяненный, во власти того исступленного восторга, который вновь обрел потом у греческих поэтов, прославлявших пляски менад, и, подобно менадам, припля-

сывая, я размахивал жезлом-прутом, сорванным с куста молодого орешника. Топча траву и цветы, одурманенный воздухом и запахами, исхлестанный гибкими ветками, я бегал, как безумный.

Матушка окликнула меня, прижала к груди.

— Пьер, — сказала она, слегка встревожившись, — ты весь потный. Какой у тебя горячий лоб и как сильно бьется сердце!

XXXI

Первая встреча с римской волчицей

— Не может же он вечно сидеть дома и по целым дням бездельничать с Жюстиной, — сказала матушка.

— И читать все книги, какие попадутся ему под руку, — добавил отец. — Вчера я застал его погруженным в чтение руководства по акушерству.

Было решено отдать меня в пансион.

После долгих поисков отец нашел нечто подходящее: учебное заведение, которыми руководили священники и которое посещалось детьми из хороших семей. Эти два пункта имели большое значение для моих родителей, людей религиозных и питавших слабость ко всему аристократическому. Не желая расставаться со своим единственным ребенком, они не отдали меня на полный пансион, за что я буду благодарен им до конца жизни. Посылать же меня в школу приходящим — на два часа утром и на два вечером — они и не могли и не хотели. Матушка страдала в то время болезнью сердца, а Жюстине, занятой стряпней и уборкой, действительно некогда было провожать меня по два раза в день в такую даль и потом приходить за мной туда два раза. К тому же родители опасались, что дома, без должного надзора, я не буду аккуратно выполнять заданные уроки. Опасение весьма основательное, ибо мне не так-то легко было бы усидеть за письменным столом, зная, что Жюстина в это время подготавливает на кухне наводнения и пожары или сражается в гостиной с Моисеем и Спартаком. Чтобы не отрывать меня от родных и все-таки приучить к стро-

гой школьной дисциплине, меня отдали полупансионером. Жюстине было поручено отводить меня в восемь часов утра в училище св. Иосифа * и заходить за мной туда в четыре часа пополудни.

Училище св. Иосифа помещалось на улице Бонапарта, в старом особняке, имевшем весьма внушительный вид.

Не скажу, чтобы я восхищался его стилем или мог по достоинству оценить благородную каменную лестницу с перилами из кованого железа и большие белые комнаты с зеленоватым отсветом деревьев из сада, где г-н Грепине занимался с нами. Вкус у меня был еще не развит, и мне больше нравилась часовня с ее раскрашенной мадонной, с бумажными цветами в вазах под стеклянными колпаками и золотой лампадой, спускавшейся с синего, усеянного звездами неба.

Училище св. Иосифа служило подготовительной школой для коллежа Х..., и малыши здесь не были, словно пескари жукам, отданы на съедение своим старшим товарищам, как это бывает в других учебных заведениях. Все мы были здесь одинаково маленькие, одинаково слабые, еще не успели стать злыми, а потому не слишком мучили друг друга. Учителя относились к нам снисходительно. Надзиратели были ребячливы, и это уничтожало расстояние между нами. Словом, если училище и не казалось мне таким уж приятным, то во всяком случае я не испытал в нем тех горестей, которым впоследствии предстояло омрачить мою школьную жизнь.

Решив, что мадемуазель Мерэль достаточно хорошо подготовила меня по французскому языку, меня посадили за латынь, и мне так и не удалось выяснить, по какой причине я оказался среди учеников, уже немножко знакомых с грамматикой и переводивших из «Краткой священной истории» *. Впрочем, разве мы можем когда-нибудь уразуметь мотивы деяний правительственных и частных учреждений? В те дни, когда меня определили в класс г-на Грепине, некий мыслитель с кротким взглядом и галльскими усами, по имени Виктор Консидеран *, которого я не раз видел уходящим рыбу под Королевским мостом, объявил,

ссылаясь на своего учителя Фурье, что люди тогда лишь будут пользоваться благами хорошего управления, когда они достигнут полной взаимной гармонии, то есть состояния, строго урегулированного самим Виктором Консидераном. Тогда маленький невежественный зверек вроде меня не попадет в класс г-на Грепине, и условия человеческой жизни улучшатся также во многих других отношениях. Мы будем делать лишь то, что нам нравится. У нас, как у мартышек, вырастет хвост, чтобы зацепляться за ветки деревьев, а на конце хвоста будет глаз. По крайней мере именно так мой крестный излагал учение о фаланстерах *. Но пока что все идет так же, как шло в моем детстве, и участь нынешних школьников, в сущности говоря, не изменилась ни к лучшему, ни к худшему по сравнению с участью маленького Пьера. И так, моего учителя звали Грепине. Как сейчас вижу его перед собой. Он обладал толстым носом, отвислой нижней губой и походил на Лоренцо Медичи * — если не широтой своих взглядов, то безобразием лица. Я убедился в этом, когда увидел медали с изображением Великолепного. Если бы появились медали г-на Грепине, их можно было бы отличить от медалей Лоренцо только по надписи: оба профиля были бы совершенно одинаковы. По-моему, г-н Грепине был очень добрым человеком и прекрасно вел свой класс. Не его вина, если я так мало вынес из его уроков. Первый из них привел меня в восторг. На голос г-на Грепине из книги «De Viris»¹, более непонятной для меня, чем китайская грамота, словно по волшебству выходили чудеснейшие видения. Пастух находит в камышах Тибра двух новорожденных младенцев, которых волчица вскармливает своим молоком *. Он приносит их в свою хижину, и его жена начинает заботиться о них. Она воспитывает их, как пастухов, не зная, что в жилах этих близнецов течет кровь богов и царей. По мере того как голос учителя извлекал из мрака латинского текста героев этой чудесной истории, я видел их, я видел Нумитора и Амулия, королей Альбалонги, Рею Сильвию, Фаустула,

¹ «О [знаменитых] мужах» (лат.).

Акку Лауренцию, Рема и Ромула. Их приключения совершенно заполнили мою душу, красота их имен делала их еще красивее в моих глазах. Когда Жюстина повела меня домой, я описал ей двух близнецов и волчицу, выкормившую их, — словом, рассказал всю повесть, которую только что узнал и которую она выслушала бы с большим интересом, если бы мысли ее не были так заняты фальшивой двухфранковой монетой, коварно подsunутой ей угольщиком в этот самый день.

Книга «De Viris» доставила мне и другие радости. Я полюбил нимфу Эгерью, которая в гроте у ручья давала мудрые советы царю Нуме *. Но вскоре все эти сабиняне, этруски, латиняне, вольски, свалившиеся мне на голову, до смерти мне надоели. Кроме того, если я плохо знал французский, то уж и вовсе не знал латыни. Однажды г-н Гренине предложил мне перевести одно место из этой непонятной книги. Речь шла там о самнитах. Я оказался совершенно беспомощным и получил публичное порицание. После этого я невзлюбил «De Viris» и самнитов. И все-таки душа моя трепетала при воспоминании о Рее Сильвии, которой один из богов дал двух сыновей, а те были потом отняты у нее и вскормлены волчицей в камышах Тибра.

Директор школы, аббат Мейер, нравился всем своей мягкостью и изысканностью манер. У меня и поныне сохранилось о нем представление, как о человеке благоразумном, ласковом и по-матерински заботливым.

В одиннадцать часов он завтракал вместе с нами в школьной столовой и пальцами подносил ко рту листики салата. То, что я говорю, не должно опорочить его память. В дни его молодости это было принято в лучшем обществе. Тетя Шоссон уверяла меня, что дядя Шоссон никогда не ел салат из латука иначе как пальцами.

Директор часто заходил к нам во время уроков г-на Гренине. Войдя, он делал нам знак оставаться на местах и, проходя между партами, просматривал работы каждого. Я не замечал, чтобы он уделял мне меньше внимания, чем моим более богатым и более

знатным товарищам. Он со всеми разговаривал дружелюбно, и это особенно чувствовалось, когда он журил кого-нибудь из нас. Его выговоры никогда не приводили в отчаяние, потому что он не преувеличивал наших проступков, не чернил наших намерений, и упреки его были так же легки и невинны, как наши преступления. Г-н директор сказал мне однажды, что почерк у меня, как у курицы, и это новое для меня сравнение очень меня рассмешило. Когда же, желая показать мне, как надо выводить буквы, он взял мое перо, у которого был сломан кончик, и начал писать хуже всякой курицы, я стал хохотать еще громче.

С тех пор директор ни разу не прошел мимо моей парты без того, чтобы не посоветовать мне бережно обращаться с перьями, не опускать их в чернильницу до самого дна и всякий раз вытирать после употребления.

— Перо должно служить долго, — добавил он однажды. — Я знаю ученого, который одним-единственным пером написал целую книгу величиной с...

Тут он окинул взглядом пустую комнату и, широко расставив руки, показал на большой камин красного мрамора.

Я был восхищен.

Вскоре после этого случая, проходя с Жюстиной по улице Старой Голубятни, я увидел во дворе, перед антикварным магазином, каменную статую какого-то святого, такую огромную, что голова ее доходила до окон второго этажа. Так как этот святой писал что-то в книге величиной с камин и пером соответствующей длины, я выдал его моей няне за приятеля нашего директора, и она несколько этому не удивилась.

Не испытывая в училище особого счастья, я испытывал иногда минуты опьянения. Помню, как охмелел я однажды от движения и шума на школьном дворе во время большой перемены. Как в работе, так и в развлечениях я не выносил порядка, установленного заранее. Я не любил игр с четкими правилами, вроде горелок, где все сводится к самым простым комбинациям. Их точность наводила на меня скуку, я не находил в них сходства с жизнью. Я любил те игры,

которые терпеть не могут матери, а надзиратели рано или поздно запрещают за вносимый ими беспорядок, игры без правил и без узды, буйные, неистовые, полные ужасов.

Так вот, в этот день, как только после привычного звонка мы рассыпались по двору, наш товарищ Ангар, который благодаря своему высокому росту, громкому голосу и повелительному нраву верховодил нами, вскочил на каменную скамью и обратился к нам с речью.

Ангар был заикой, но отличался красноречием. Это был оратор, трибун. В нем было что-то от Камиля Демулена*.

— Малыши! — сказал он. — Разве вам не надоело играть в кошки-мышки и в чехарду? Нам нужно что-то новое. Давайте сыграем в нападение на дилижанс. Я научу вас, как за это взяться. Вот увидите — будет очень весело.

Он умолк. Мы ответили ему восторженными криками. Ангар, не мешкая, берется за дело. Его гений предусматривает все. Одно мгновение — и лошади запряжены, возницы щелкают бичами, разбойники вооружаются ножами и мушкетами, пассажиры увязывают свою поклажу и наполняют золотом мешки и карманы. Камешки со школьного двора и кусты сирени, окаймлявшие директорский сад, заменили нам все необходимое. Дилижанс тронулся. Я изображал пассажира — одного из самых незаметных, — но красоты пути и предвкушение опасности наполняли мое сердце восторгом. Разбойники поджидали нас в ущельях грозной горы, образованной застекленным подъездом, который вел в приемную. Нападение было неожиданно и ужасно. Возницы упали. Я был сброшен на землю, истоптан конскими копытами, осыпан ударами, погребен под грудой мертвецов. Взобравшись на эту гору человеческих тел, Ангар превратил ее в неприступную крепость. Разбойники штурмовали ее десятки раз и десятки раз были отброшены. Меня здорово отделали. Локти и колени были расцарапаны, кончик носа ободран множеством острых мелких камешков, губы рассечены, уши горели, — никогда еще я не испытал такого удовольствия. Звон колокольчика оторвал

меня от упоительных грез и растерзал мне сердце. Во время урока г-на Грепине я сидел в каком-то отупении, ничего не сознавая. Царапина на носу и ссадина на коленях были мне приятны, напоминая о чаше, прожитом так ярко. Г-н Грепине задал мне несколько вопросов, на которые я не смог ответить, и он обозвал меня ослом. Это показалось мне обидным: я еще не читал тогда «Золотого осла» и не знал, что достаточно поесть лепестков розы, чтобы снова сделаться человеком. Узнав об этом уже в цвете лет, я стал беспечно водить свое ослиное невежество по садам Мудрости и кормить его розами науки и размышления. Оно пожирало их целыми кустами вместе с их ароматом и с шипами, но на его очеловеченной голове всегда торчали острые кончики ослиных ушей.

XXXII

Крылья мотылька

Всякий раз, как я прохожу по парку Нельи, мне вспоминается Клеман Сибиль, самая кроткая душа, какая когда-либо спускалась на нашу землю. Кажется, когда я познакомился с ним, ему было около десяти лет. Будучи старше его на год, я имел перед ним известные преимущества, которые потерял по своей собственной вине. Мне суждено было видеть его лишь очень короткое время, но прошло много лет, а он все еще как живой стоит передо мной в высокой траве и смотрит через решетку, когда я вхожу в парк Нельи.

Господин и госпожа Сибиль жили там в собственном доме, и летом мы с родителями иногда ездили к ним по воскресеньям провести послеобеденные часы. Г-жа Эрманс Сибиль, беленькая, миниатюрная, гибкая, зеленоглазая, с острыми скулами и коротким подбородком, недурно воспроизводила тип кошки, превратившейся в женщину* и сохранившей некоторые черты своего первоначального естества. Исидор Сибиль, ее муж, долговязый и унылый, принадлежал к породе голенастых. Такою представлялась эта чета моему

отцу, который, подражая Лафатеру *, любил искать в человеческих лицах сходство с животными и извлекал из него признаки характера и темперамента. Однако выводы его были так неясны и так смелы, что я не мог бы с точностью изложить, что именно говорила ему эта птичья и кошачья наружность. Все, что мне известно о г-не Сибиле, это — что он управлял большой фабрикой французского кашемира. Я слышал, как кто-то рассказывал матушке, будто императрица Евгения *, в целях поощрения национальной промышленности, носила иногда кашемировые шали, но что это была одна из тягчайших обязанностей, какие выпадают на долю правительницам государств, — настолько резали глаз яркие цвета этих тканей. Что до Эрманс, то никто никогда не видел на ней французских шалей.

Дом г-на и г-жи Сибиль в парке Нельи был белый, с боковой башенкой и с крыльцом, выходящим на красивую лужайку, посреди которой в каменном бассейне бил фонтан. Именно здесь, на усыпанных песком дорожках, хрупкий и словно готовый улететь, появлялся передо мной Клеман Сибиль. У него были прозрачные голубые глаза, ослепительно белая кожа и необычайно тонкие черты лица. Белокурые, очень короткие волосы вились на его круглой головке, но уши не были у него прижаты к вискам, а торчали перпендикулярно, широко разворачивая по обе стороны головы свои раковины, которые по странной игре природы были непомерно велики и имели форму крыльев бабочки. Совсем прозрачные, они делались на свету розовыми или красными и привлекали внимание своей необыкновенной расцветкой. Казалось, то были не большие уши, а скорее маленькие крылья. По крайней мере именно такими рисует их мне память. Клеман был красивый мальчик, но странный.

Я говорил матушке:

— У Клемана — мотыльковые крылья.

И матушка отвечала:

— Художники и скульпторы изображают Психею тоже с крыльями мотылька. А ведь Психея вышла замуж за Амура и была причислена к сонму богов и богинь.

Человек, более меня сведущий в образах мифологии, мог бы возразить моей дорогой матушке, что у Психеи крылья не росли по обе стороны головы, вместо ушей, как это было у Клемана.

Клеман был существом воздушным. Он не умел ходить. Он продвигался вперед вприпрыжку, мелкими баковыми скачками, и, казалось, мог упасть от малейшего ветерка. Простодушие его игр, ребячливость поступков и детская неловкость движений составляли трогательный контраст с его добротой, которая как бы принадлежала человеку более зрелого возраста, — столько в ней чувствовалось силы и мужественного постоянства. Душа его была чиста и прозрачна, как его лицо, ясна, как его взгляд. Говорил он мало, но всегда был ласков. Никогда не жаловался, хотя имел бесконечные поводы для жалоб. Болезни охотно ютились в его тщедушном теле и без перерыва сменяли одна другую: скарлатина, корь, брюшной тиф, коклюш, воспаление слизистых оболочек. И возможно, что еще один недуг, в то время еще мало исследованный — туберкулез, — захватил его узкую грудь. А когда болезнь давала ему передышку, судьба все еще считала его своим должником. С ним случались такие необыкновенные, такие частые беды, что, казалось, какая-то невидимая сила неустанно преследует его. Однако все эти невзгоды обращались в его пользу, ибо давали ему возможность проявить свою непоколебимую кротость. Он ушибался, спотыкался, оступался, падал всеми возможными и невозможными способами, стучался о все стены, прищемлял пальцы во всех дверях, а потом у него вечно сходили ногти и на их месте вырастали новые. Он резал себе руки, чиня карандаши, он засаживал себе поперек горла косточку каждой рыбы, которую ему предназначали в пищу озера, пруды, ручьи, реки, речки и моря и которую приготавливала Мальвина, кухарка семейства Сибиль. У него начинала идти кровь носом как раз тогда, когда он собирался смотреть Робер Удена * или ехать кататься на ослике в Булонский лес, и, что бы с ним ни делали, он все-таки успевал запачкать новый жилет и красивые белые штанишки. Однажды, на моих глазах, порхая, как

обычно, по лужайке, он свалился в бассейн. Опасаясь насморка или воспаления легких, родители всеми силами постарались его согреть. Он лежал в постели, под огромной пуховой периной, в цветном чепчике, и был очень доволен. Когда я подошел, он извинился, что оставил меня одного, без развлечений.

У меня не было ни брата, ни товарища, с которым бы я мог сравнивать себя. Глядя на Клемана, я понимал, что природа наделила меня бурной, беспокойной и пылкой душой, полной суетных желаний и ненужных огорчений. Ничто не смущало покоя его души. Мне так легко было бы, общаясь с ним, уразуметь, что наше счастье или несчастье зависит не столько от обстоятельств, сколько от нас самих. Но я был глух к голосу мудрости. Мало того — характеру доброго маленького Клемана я противопоставил характер другого мальчика, буйного в играх, безрассудного и злобного. Этим другим мальчиком был я, да, я оказался им в глазах всех. Должен ли я в свое оправдание сослаться на необходимость, повелительницу людей и богов, необходимость, управлявшую мною, как она правит всей вселенной? Должен ли я сослаться на любовь к красоте, вдохновившую меня на этот поступок, как она вдохновляла меня в течение всей моей жизни, принося мне и муки и отраду? К чему? Разве принято судить о человеке на основании принципов натурфилософии и законов эстетики? Впрочем, изложим голые факты.

В один осенний день, после обеда, Клеману и мне было разрешено погулять одним по бульвару, пролежавшему перед домом Сибилей. В то время бульвар этот не был, как теперь, огорожен однообразными решетками, охраняющими сады. Более безыскусственный, таинственный и прекрасный, он на большом пространстве простирался вдоль обнесенного стенами Королевского парка. Желтые листья в солнечной дымке падали с высоких деревьев, усыпая золотом землю, по которой мы ступали. Клеман, подпрыгивая, забежал на несколько шагов перед, и я увидел, что черная, отделанная толстым гранатовым галуном суконная фуражка унылого цвета и уродливого фасона скрывает краси-

вые белокурые завитки его волос и давит на его чудесные уши. Эта фуражка мне не понравилась. Мне бы следовало отвести от нее взгляд, но я не сделал этого и испытывал все возрастающее неприятное чувство. Наконец, не в силах более выносить вид этой фуражки, я попросил моего спутника снять ее. Эта просьба, видимо, показалась ему настолько необоснованной, что он даже не ответил мне и спокойно продолжал порхать. Я вторично и довольно резко потребовал, чтобы он снял фуражку.

Моя настойчивость удивила его.

— Зачем? — спросил он кротко.

— Затем, что она безобразна.

Он решил, что я шучу, но тем не менее насторожился, и когда я попробовал сорвать с него фуражку, он оттолкнул меня и надвинул ее поглубже осторожной и заботливой рукой, ибо он любил свою фуражку и считал ее красивой. Еще два раза пытался я завладеть этой отвратительной шапкой. Оба раза он нахлобучивал ее поглубже на лоб, что делало ее еще отвратительнее. Раздосадованный, я прекратил свои нападения, но не без задней мысли. Выражение горестного недоумения вскоре исчезло с хорошенького личика Клемана, и оно сделалось таким, как всегда, — спокойным и наивным. Почему не тронула меня чистота его доверчивого взгляда? Но дух насилия завладел мною. Внимательно следя за моим другом, я уловил момент и, быстрым движением сорвав с него фуражку, перебросил ее через стену в парк Луи-Филлиппа.

Клеман не произнес ни одного слова, не вскрикнул. Он посмотрел на меня с выражением удивления и упрека, пронзившим мне сердце. В глазах его блеснули слезы. Я стоял в оцепенении, сам не веря тому, что совершил этот преступный акт, и все еще искал глазами на крылатой и кудрявой головке Клемана роковую фуражку. Ее там не было, она уже не могла вернуться. Стена была очень высока, парк огромен и безлюден. Солнце садилось. Из страха, как бы Клеман не простудился, или, вернее, от смутного беспокойства, в которое меня повергал вид его обнаженной головы, я

надел на него мою тирольскую шляпу, закрывшую ему глаза и уныло приплюснувшую уши. И мы молча вернулись в дом Сибилей. Нетрудно себе представить, как меня там приняли.

Родители перестали водить меня к своим друзьям в Нельи. Я больше никогда не видел Клемана. Бедный мальчик вскоре покинул этот мир. Его мотыльковые крылья выросли, и когда они стали достаточно крепки, чтобы поднять его, он улетел. Полная отчаяния, его мать сделала попытку последовать за ним, но тщетно. Милостью небес превращенная в кошку, она поджидает его, мяукая на крышах.

XXXIII

Отступление

Измарав воспоминаниями детства изрядное количество бумаги, я нахожу в уголке своей памяти одно суждение, вынесенное обо мне матушкой в ту пору, когда я был еще совсем маленьким. Однажды, собираясь взять меня с собой на прогулку, она потратила на свой туалет много времени, и мне пришлось долго ее ждать. Когда наконец она появилась, улыбающаяся и нарядная, я, говорят, метнул на нее мрачный взгляд и объявил, что отказываюсь от этой прогулки, от всех прогулок, от всех развлечений, от всех благ в мире, отныне и вовеки.

— Какой необузданный ребенок! — вздохнула матушка.

Суждение это, несмотря на вызвавшие его обстоятельства, кажется мне несправедливым. Правда, сравнивая себя с моим милым другом, которого боги превратили в мотылька, я неожиданно заметил, что, в отличие от него, не был ни нежен, ни кроток, но если говорить все без утайки, то хотя мои желания и были более пылки, нежели у большинства детей, однако я быстрее, чем они, сдавался перед необходимостью. С самых ранних лет рассудок имел надо мной огромную власть, из чего следует, что я был существом

странным, ибо у большинства моих ближних дело обстоит далеко не так. Из всех определений человека самым неприятным кажется мне то, которое называет его разумным животным. Следовательно, я не слишком льщу себе, когда говорю, что был наделен большим благоразумием, чем большинство моих сверстников из числа тех, с кем я близко соприкасался или о ком мне рассказывали. Разум редко присущ душам заурядным, но еще реже — людям выдающимся. Я говорю — разум, и если вы спросите, в каком смысле я употребляю этот термин, я отвечу, что употребляю его в самом обыденном смысле. Если бы я вздумал придать ему метафизическое значение, то перестал бы понимать его. Я толкую это слово так, как его толковала старая Мелани, которая «никогда грамоты не разумела». Я называю разумным того, кто, согласуя свой личный разум с разумом мировым, не слишком удивляется тому, что происходит, и, худо ли, хорошо ли, умеет ко всему принориться. Я называю разумным того, кто, наблюдая беспорядок, царящий в природе, и человеческое безумие, не упорствует в желании видеть порядок и мудрость. И, наконец, я называю разумным того, кто не старается им быть.

Мне кажется, что я был разумен. Но, право же, думая об этом, я уже ничего не знаю, да и не хочу знать. Не веря Дельфийскому оракулу, я вовсе не стремлюсь познать самого себя * и, напротив, всегда старался поменьше знать о себе. Я считаю знание собственной природы источником забот, тревог и мучений, а потому заглядываю в себя как можно реже. Мне всегда казалось, что мудрость в том, чтобы отвернуться от себя, забыть себя или вообразить себя другим, не таким, каков ты есть по воле природы и случая. Не знай самого себя — такова первая заповедь мудрости.

Если правда, что Монтень * сочинил свои «Опыты» для того, чтобы изучить собственное «я», то это изучение должно было оказаться для него более мучительным, чем камни, раздиравшие ему почки. Но я думаю совсем другое — я думаю, что он написал свою книгу вовсе не для того, чтобы познать самого себя, а

наоборот — чтобы отрешиться от себя, чтобы рас-
сеяться и развлечься.

И пусть не говорят, что этот совет — уйти от себя — неуместен в книге, где человек ни на минуту не растает с самим собой. Я уже не тот мальчик, о котором рассказываю. Между нами нет ничего общего — ни одной частицы материи, ни одной крупинки мысли. И теперь, когда он сделался совершенно чужд мне, я могу в его обществе отвлечься от своего собственного. Я не люблю себя и не ненавижу, но его я люблю. Мне приятно мысленно пожить его жизнью, и я страдаю, дыша воздухом наших дней.

XXXIV

Школьник

Это произошло в первый день занятий. Походив некоторое время в училище св. Иосифа, где под чириканье воробьев мы переводили «Краткую священную историю», я был принят в коллеж приходящим*.

Сделавшись учеником коллежа, я ощутил эту честь с некоторым беспокойством, опасаясь, как бы бремя ее не оказалось для меня чересчур тяжелым. У меня не было ни малейшего желания блистать на этих измазанных чернилами партах, ибо десяти лет от роду я был лишен честолюбия. К тому же у меня не было на это никакой надежды. В подготовительной школе я обращал на себя внимание главным образом тем, что лицо мое постоянно выражало удивление, а это, правильно или нет, отнюдь, не считается признаком большого ума и создало мнение обо мне, как о мальчике недалеко: ошибочное мнение. Я был не менее умен, чем большинство моих товарищей, но умен по-другому. Их ум служил им в обыденной жизни. Мой же приходил мне на помощь лишь при самых редких и неожиданных обстоятельствах. Он внезапно проявлялся во время далеких прогулок или при чтении сложных книг. Я заранее примирился с тем, что не буду бле-

стящим учеником, и собирался с первого же дня моей новой жизни отыскать в ней хоть какое-нибудь развлечение. Таков был мой характер, моя сущность, и я все еще не переменялся. Я всегда умел развлекаться. В этом заключалось все мое жизненное искусство. Ребенком и взрослым, юношей и стариком, я всегда жил как можно дальше от самого себя и вне печальной действительности. В этот день — день начала занятий — я испытывал тем более горячее желание уйти от окружающей обстановки, что обстановка эта казалась мне особенно неприглядной. Коллеж был некрасив, грязен, в нем дурно пахло. Товарищи были грубы, преподаватели — унылы. Наш учитель смотрел на нас без радости и без любви и, видимо, был не настолько тонок и не настолько испорчен, чтобы изображать на своем лице нежность, которой не чувствовал. Он не обратился к нам с речью, а только посмотрел на нас с минутку и стал спрашивать наши фамилии, заноса их, по мере того как мы их называли, в толстую тетрадь, лежавшую перед ним на кафедре. Он показался мне старым и бездушным. Возможно, что он вовсе не был так уж стар. Собрав все фамилии, он некоторое время молча пережевывал их, чтобы лучше усвоить, и, кажется, тут же запомнил все до одной. Он по опыту знал, что учитель держит в руках своих учеников лишь тогда, когда держит в памяти их фамилии и их лица.

— Сейчас, — сказал он наконец, — я продиктую вам список книг, которые вам надо будет приобрести как можно скорее.

И медленным, монотонным голосом он начал перечислять какие-то отталкивающие названия вроде «лексиконов» или «элементарных основ» (неужели нельзя было назвать их как-нибудь менее сухо для таких малышей?), басни Федра *, арифметику, географию, «*Selectae e profanis*»¹ и не помню уж что еще. Он закончил список совершенно новым для меня названием «*Эсфирь и Гофолия*» *.

¹ «Избранные отрывки...» (точнее «Избранные отрывки из ирских писателей») * (лат.).

И я тотчас увидел перед собой окутанных очаровательной дымкой двух прелестных женщин, раздетых как на картинке, которые обнимали друг друга за талию и шептали друг другу что-то, чего я не слышал, но что, без сомнения, было трогательно и прекрасно. Кафедра и учитель, черная доска, серые стены — все исчезло. Две женщины медленно шли по узкой тропинке меж ржаных полей, пестревших васильками и маками, и в моих ушах звучали их имена: Эсфирь и Гофолия.

Я уже знал, что Эсфирь — это старшая. Она была добрая. У младшей, Гофолии, были белокурые косы, если только я хорошенько рассмотрел ее. Они жили в деревне. Я представлял себе поселок, дымок, вьющийся из труб, пастуха, пляски поселян, но детали этой картины оставались неясными, и я горел желанием познакомиться с приключениями Эсфири и Гофолии. Учитель нарушил мою задумчивость, назвав мою фамилию.

— Вы что — заснули? О чем вы думаете? Будьте внимательней и записывайте.

Он продиктовал нам уроки на завтра: сделать перевод с латинского и выучить наизусть басню Фенелона *.

Придя домой, я передал отцу список книг, которые надо было купить в кратчайший срок. Отец спокойно просмотрел список и сказал, что надо было попросить все эти книги у эконома коллежа.

— Таким образом, — сказал он, — у тебя будут те же издания, что у твоего учителя и большинства товарищей: тот же текст, те же примечания. Так будет гораздо удобнее.

И он вернул мне список.

— А как же «Эсфирь и Гофолия»? — спросил я.

— Эконом коллежа даст тебе «Эсфирь и Гофолию» вместе с остальными учебниками — вот и все.

Я был разочарован. Мне хотелось немедленно получить «Эсфирь и Гофолию». Я ожидал большой радости от этой книги. Все время вертясь вокруг стола, где отец что-то писал, я спросил:

— Папа, так как же быть с «Эсфирью и Гофолией»?..

— Не трать время даром. Иди заниматься и оставь меня в покое.

Я наспех сделал латинский перевод, сделал его без всякой охоты, а потому плохо.

Во время обеда матушка много расспрашивала меня о моих учителях, о товарищах, о занятиях.

Я ответил, что наш учитель стар, неопрятен, громко сморкается, что он строг, а иногда и несправедлив. Что касается товарищей, то одних я неумеренно расхвалил, а других страшно унизил. Я еще не умел пользоваться полутонами и не мог решиться признать всеобщую посредственность людей и явлений.

Внезапно я спросил у мамы:

— А что — «Эсфирь и Гофолия» — это красиво, да?

— Конечно, сыночек. Но только это две разные пьесы.

При этих словах у меня сделался такой озадаченный вид, что моя чудесная матушка сочла нужным дать мне подробные объяснения.

— Это две пьесы для театра, дитя мое, — две трагедии. «Эсфирь» — это одна пьеса, а «Гофолия» — другая.

И тогда серьезно, спокойной решительно я ответил:

— Нет.

Вне себя от изумления, матушка спросила меня, как могу я возражать так бессмысленно и так невежливо.

Я повторил, что нет, это не две пьесы. Что «Эсфирь и Гофолия» — это рассказ, я знаю его, и что Эсфирь — пастушка.

— Что ж, — ответила матушка. — В таком случае, это другая «Эсфирь и Гофолия», и мне она неизвестна. Ты покажешь мне книжку, где прочитал этот рассказ.

Несколько минут я хранил мрачное молчание, потом, преисполненный горечи и печали, повторил:

— Говорю тебе, что «Эсфирь и Гофолия» — это вовсе не две пьесы для театра.

Матушка начала было снова убеждать меня, но тут вмешался отец и с раздражением попросил ее перестать возиться с таким дерзким и глупым мальчишкой.

— Он просто тупица, — добавил он.

И матушка вздохнула. Я увидел, я все еще вижу, как поднялась и опустила ее грудь в черном шелковом лифе, заколотом у ворота маленькой золотой брошью в виде бантика с двумя кисточками, дрожавшими на концах.

На другой день, в восемь часов утра, моя няня Жюстина повела меня в коллеж. У меня были некоторые основания для беспокойства. Мой латинский перевод не удовлетворял меня и вряд ли способен был удовлетворить кого бы то ни было. Один его вид изобличал несовершенную и полную ошибок работу. По черк, вначале довольно аккуратный и мелкий, быстро изменялся и становился все крупнее, а последние строчки были совершенно неудобочитаемы. Однако я погрузил это беспокойство в самые темные глубины моей души — я утопил его. Десяти лет от роду я уже был мудр, по крайней мере в одном отношении: я понимал, что не надо жалеть о непоправимом, что не следует, как говорит Малерб *, искать лекарства от неизлечимой болезни и что раскаиваться в дурном поступке — значит прибавлять к злу еще большее зло. Надо многое прощать себе, чтобы привыкнуть многое прощать и другим. Я простил себе свой перевод. Проходя мимо бакалейной лавки, я увидел засахаренные фрукты, блестящие в коробках, словно драгоценные камни на белом бархате футляров. Вишни походили на рубины, дягиль на изумруды, сливы на крупные топазы, и так как из всех пяти чувств самые сильные и самые глубокие впечатления мне доставляет зрение, то я был пленен и горько пожалел о том, что не располагаю средствами для покупки одной из таких коробок. Но у меня не хватало денег. Самые маленькие коробки стоили франк двадцать пять сантимов. Если сожаление никогда не имело надо мной власти, то желание направляло всю мою жизнь. Могу оказать, что все мое существование было длительным желанием. Я люблю желать, люблю и радости и муки, связанные с желанием. Сильно желать — это почти что обладать. Да что я говорю? Это и значит обладать, но обладать без отвращения и без пресыщения. Однако вполне ли

я уверен, что в десять лет я уже исповедовал эту философию желания и что мой рассудок облекал ее в такую именно форму? Пожалуй, я не мог бы в этом поклясться. Я не мог бы поклясться и в том, что много лет спустя чрезмерная острота моих желаний никогда не причиняла мне боли. Хорошо бы еще, если бы мои желания всегда ограничивались коробками засахаренных фруктов!

С Жюстиной мы жили в большой дружбе. Я был ласков, она — резка. Я любил ее, не чувствуя себя любимым, хотя это, надо сказать, было вовсе не в моем характере.

В то утро мы шли вдвоем по дороге к коллежу, держась за ремни моего ранца, и дергали его в разные стороны, рискуя свалить друг друга с ног. Однако этого не случилось, мы оба держали крепко. Обычно я пересказывал Жюстине все неприятное и даже обидное, что выслушивал за день от учителей. Я задавал ей разные трудные вопросы — те, которые задавались мне самому. Она не отвечала на них или отвечала неверно, и я говорил ей то, что было сказано мне: «Вы осел. Я ставлю вам дурной балл. Как вам не стыдно так лентяйничать?» И вот в это утро я спросил у Жюстины, знает ли она, что такое «Эсфирь и Гофолия».

— Сударик мой, — ответила она, — Эсфирь и Наталия — это имена.

— Жюстина, такой ответ заслуживает наказания.

— Мой маленький хозяин, это имена. Мою младшую сестру зовут Наталия.

— Возможно. Но ведь ты не читала в книге повесть про Эсфирь и Гофолию. Нет? Ты не читала ее? Так вот! Сейчас я расскажу ее тебе.

И я рассказал ее Жюстине.

— Эсфирь была фермершей в Жуи-ан-Жоза. Однажды, гуляя по полю, она увидела маленькую девочку, которая упала от усталости у самой дороги. Она привела ее в чувство, дала ей хлеба, молока и спросила, как ее зовут.

Я продолжал рассказывать, пока мы не дошли до дверей коллежа, и был уверен, что эта история именно

такова и что я найду ее в своей книжке. Каким образом я вбил это себе в голову? Не знаю. Но я был совершенно в этом убежден.

Тот день не стал достопамятным днем. Перевод мой прошел незамеченным и канул в Лету подобно множеству других человеческих поступков, исчезающих во мраке забвения. А на следующий день во мне вдруг родилось восторженное преклонение перед Бинэ. Бинэ был маленький, худенький мальчик с впалыми глазами, большим ртом и резким голосом. На нем были сапоги, черные, лаковые сапожки с белой строчкой. Он меня ослепил. Вселенная исчезла для меня, я видел одного Бинэ. Теперь я не могу найти никакого объяснения своему восторгу, помимо этих сапог, напоминавших о славном прошлом, полном блестящих подвигов и красоты. И если вы скажете, что этого мало, значит вам никогда не понять одной фразы из всемирной истории. Разве греки не являются для нас прежде всего «пышнопоножными» греками? * На следующий день была среда — день свободный от занятий. Эконом выдал нам книги лишь в четверг. Он велел нам расписаться в получении, что очень подняло в наших глазах значение нашей гражданской личности. Мы с удовольствием вдыхали запах книг. От них пахло клеем и бумагой. Они были совсем новенькие. Мы написали на заглавном листе свои фамилии. Некоторые из нас посадили кляксу на обложке грамматики или словаря и очень огорчались. А ведь этим учебникам предстояло получить большее количество чернильных пятен, чем витрина бакалейной лавки на улице Святых отцов получала за зиму брызг грязи. Но в отчаянье приводит лишь первое пятно, следующие принимаются гораздо легче. Не стоит продолжать эти рассуждения, они могут увести нас очень далеко от грамматик и словарей. Что до меня, то я сразу бросился искать в моей книжной пачке «Эсфирь и Гофолию». И по воле жестокой судьбы именно этой книги там не оказалось. Эконом, к которому я обратился, сказал, что я получу ее своевременно и что мне нечего беспокоиться.

Только через две недели, в день Всех Усопших, мне выдали наконец «Эсфирь и Гофолию». Маленький

томик с синим коленкорovým корешком, на котором была наклейка с таким заглавием: «Расин «Эсфирь» и «Гофолия», трагедии на сюжеты, заимствованные из Священного писания. Издание для школьников». Это заглавие не предвещало мне ничего доброго. Я раскрыл книгу: дело обстояло еще хуже, чем я опасался. «Эсфирь» и «Гофолия» были в стихах, а ведь каждый знает, что все написанное стихами воспринимается туго и никому не интересно. «Эсфирь» и «Гофолия» представляли собой две разные пьесы и сплошь состояли из стихов. Из длинных стихов. Матушка — увы! — оказалась права. Значит, Эсфирь не была фермершей, Гофолия не была маленькой нищенкой, Эсфирь не подобрала Гофолию на краю дороги. Значит, все это приснилось мне. Чудесный сон! Какой унылой и скучной казалась действительность по сравнению с моими грезами! Я закрыл книгу и дал себе слово никогда не раскрывать ее. Я не сдержал этого слова.

О нежный и великий Расин! Лучший, любимейший из поэтов! Такова была моя первая встреча с тобой. Теперь ты — моя любовь и моя радость, мое наслаждение и моя отрада. Лишь постепенно, продвигаясь вперед по дороге жизни, лучше узнавая людей и явления, научился я понимать тебя и любить. Корнель рядом с тобой — всего лишь искусный фразер, и, пожалуй, сам Мольер не так верен истине, как ты, совершеннейший мастер, воплощающий в себе правду и красоту! В дни моей юности, развращенный уроками и примером варваров-романтиков, я не сразу понял, что ты был самым глубоким и самым целомудренным из трагических авторов. Глаза мои были слишком слабы, чтобы созерцать твой блеск. Я не всегда отзывался о тебе с достаточным восхищением. Я ни разу не сказал, что ты создал самые правдивые образы, какие когда-либо были созданы поэтом. Я ни разу не сказал, что ты был самой жизнью и самой природой. Ты один показал нам настоящих женщин. Что такое женщины Софокла и Шекспира рядом с теми, которых вызвал к жизни ты? Куклы! Только твои обладают истинными чувствами и тем внутренним жаром, который мы зовем душою. Только твои любят и желают.

Прочие только говорят. Я не хочу умереть, не написав нескольких строк у подножья твоего памятника в знак моей любви и моего поклонения, о Жан Расин! И если я не успею выполнить свой священный долг, пусть эти беспорядочные, но искренние строки послужат моим завещанием.

Однако я еще не сказал, что за отказ выучить молитву Эсфири: «О мой великий царь» (а это прекраснейшие французские стихи) — учитель восьмого класса заставил меня пятьдесят раз переписать фразу: «Я не выучил урока». Этот учитель восьмого класса был невежда. Не так надо мстить за поруганную славу поэта. Теперь я знаю Расина наизусть, и он всегда кажется мне новым. Что касается вас, старый Ришу (так звали моего учителя в восьмом классе), то я ненавижу вашу память. Вы оскверняли стихи Расина, пропуская их через ваш толстый черный рот. У вас не было чувства гармонии. Вы заслуживали участи Марсия *. И я рад, что отказывался учить «Эсфирь», пока моим преподавателем были вы. Но ты, Мария Фавар, ты, Сарра, ты, Барте, ты, Вебер *, будьте благословенны за то, что из ваших божественных уст изливались, подобно меду и амброзии, стихи Эсфири, Федры и Ифигении.

XXXV

Моя комната

Господин Беллаге до последнего своего часа пользовался глубоким уважением, обычно выпадающим на долю благоденствующих мошенников. Признательное семейство устроило ему торжественные похороны. Несколько финансовых тузов поддерживали кисти от покрова. Распорядитель нес за катафалком подушку с орденами, крестами, лентами, медалями и звездами.

На пути следования похоронной процессии встречные женщины крестились, простолюдины обнажали голову и вполголоса бормотали «мошенник», «плут», «старый негодяй», сочетая таким образом почтение к смерти с чувством справедливости.

Вступив во владение имуществом покойного, наследники распорядились произвести в доме кое-какие изменения, и матушка добилась, чтобы в нашей квартире была сделана перестройка и ремонт. Благодаря более удачной распланировке, а также благодаря тому, что были упразднены темные чуланы и стенные шкафы, у нас оказалась еще одна комнатка, и она стала моею. До того времени я спал то в маленькой комнатке рядом с гостиной, такой узкой, что на ночь в ней нельзя было затворять двери, то в гардеробной, уже и без того заставленной разной мебелью, а уроки делал за обеденным столом в столовой. Жюстина бесцеремонно прерывала мои занятия, чтобы накрыть на стол, и замена блюд, тарелок и столового серебра книгами, тетрадами и чернильницей никогда не протекала мирно. Как только у меня оказалась собственная комната, я сам перестал себя узнавать. Из ребенка, каким я был еще накануне, я превратился в молодого человека. У меня внезапно сложились свои понятия, свои вкусы. У меня появилось собственное существование, собственный образ жизни.

Вид из моей комнаты не отличался ни красотой, ни широким горизонтом. Она выходила на задний двор. Обои были в голубых букетах на кремовом фоне. Кровать, два стула и стол составляли почти всю ее обстановку. Чугунная кровать заслуживает особого описания. Цвет ее невозможно было определить, не догадавшись, что он претендует на сходство с цветом палисандрового дерева. Кровать эта, изобиловавшая виньетками в стиле Возрождения (как его понимали при Луи-Филиппе), была спереди украшена бисерным медальоном, из которого выглядывала женская головка, увенчанная фероньеркой *. В изголовье и в ногах птички резвились среди листьев. Надо иметь в виду, что все это — головки, птички, листва — было отлито из чугуна фиолетового оттенка. Как могла моя бедная мама купить подобную вещь? Это мучительная тайна, и у меня не хватает мужества в нее проникнуть. Коврик у кровати радовал взор изображением маленьких детей, играющих с собакой. По стенам были развешаны акварели — швейцарские девушки в национальных

костюмах. Из мебели была еще этажерка, где лежали мои книги, ореховый шкаф и маленький столик розового дерева в стиле Людовика XVI, который я охотно обменял бы на большой, красного дерева, письменный стол с колонками, принадлежавший моему крестному: мне казалось, что этот стол придал бы мне больше весу.

Как только у меня появилась своя комната, у меня появилась и внутренняя жизнь. Я получил возможность думать, размышлять. Я не считал эту комнату красивой — мне и в голову не приходило, что она должна быть такой. Я не считал ее и некрасивой. Она была для меня единственной, несравнимой. Она отделяла меня от вселенной, и в ней я обретал вселенную.

Именно там мой ум сформировался, расширился и стал населяться видениями. Моя милая детская комната, именно в твоих четырех стенах стали понемногу навещать и мучить меня расцвеченные тени науки — иллюзии, которые скрыли от меня природу и которых становилось тем больше между ней и мною, чем усерднее я старался ее найти. Именно в твоих тесных четырех стенах, усеянных голубыми цветами, явились мне — пока еще неясные и далекие — грозные призраки любви и красоты.

ЖИЗНЬ В ЦВЕТУ

Перевод *М. В. Вахтеровой*
под редакцией *Е. А. Гунста*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга служит продолжением «Маленького Пьера», изданного два года назад. «Жизнь в цвету» доводит моего друга вплоть до его вступления в жизнь. Эти два тома, к которым можно присоединить «Книгу моего друга» и «Пьера Нозьера», содержат под вымышленными именами и с несколько измененными обстоятельствами воспоминания моего детства. В конце книги я скажу, что побудило меня прибегать иногда к вымыслу в этих правдивых воспоминаниях¹. Мне захотелось записать их, когда мне стал совершенно чуждым тот ребенок, каким я был в минувшие годы и когда в его обществе я получил возможность отвлечься от самого себя. В этих воспоминаниях нет ни порядка, ни последовательности. Память моя своенравна. Когда-то госпожа Келюс *, уже старая и удрученная заботами, сокрушалась, что ей недостает ясности мысли, чтобы диктовать мемуары. «Ну, что ж, — сказал ей сын, берясь за перо, — назовем это «Воспоминания», и вы не будете связаны ни точной хронологией, ни последовательностью изложения». Увы, в воспоминаниях Маленького Пьера вы не найдете ни Расина, ни Сен-Сира * и двора Людовика XIV,

¹ См. Послесловие. (*Прим. автора.*)

ни изящного слога племянницы госпожи де Ментенон. В ее время язык был чист и безупречен; с тех пор он сильно испортился. Но лучше уж говорить, как все. Многие мелкие подробности изображены на этих страницах с большой точностью. И меня уверяют, что эти безделицы, написанные бесхитростно и правдиво, могут понравиться читателю.

А. Ф.

I

Мы жертвуем слишком мало

В тот день мы с Фонтанэ, ученики пятого класса, где надзирателем был г-н Брар, вышли из коллежа, как обычно, ровно в половине пятого, по звонку, и зашагали по улице Шерш-Миди в сопровождении мадам Туртур — гувернантки семейства Фонтанэ — и нашей Жюстины, которую мой отец окрестил Катастрофой, так как вокруг нее вечно бушевали стихии огня, воздуха и воды, а все предметы валялись у нее из рук и летели во все стороны. Мы направлялись домой, и нам предстояло довольно далеко идти вместе. Фонтанэ жил в начале улицы Святых отцов. Стоял декабрьский вечер. Уже стемнело, и над мокрыми тротуарами в желтоватом тумане горели газовые рожки. По дороге мы развлекались оживленным уличным шумом, ежеминутно прерываемым пронзительными криками и громким смехом Жюстины, которая то петлями вязаной косынки, то карманом фартука зацеплялась за прохожих.

— Мы жертвуем слишком мало, — сказал я вдруг, обращаясь к Фонтанэ.

Я изрек эту мысль тоном глубочайшей убежденности, как плод долгих размышлений. Я думал, что почерпнул столь редкостную истину в сокровенных

глубинах своего сознания и как таковую преподнес ее Фонтанэ. Более вероятно, однако, что я где-нибудь слышал или прочел эту фразу и просто повторил ее. В те времена мне было свойственно принимать чужие идеи за свои. С тех пор я исправился и теперь прекрасно сознаю, скольким я обязан моим ближним, как древним, так и новым, как согражданам, так и чужеземцам, в особенности грекам, которым я обязан всем, ибо все истинные знания о вселенной и человеке исходят от них. Но не об этом речь.

Услышав от меня необычайное изречение, что мы жертвуем слишком мало, низенький не по возрасту Фонтанэ склонил набок свою острую лисью мордочку и вопросительно поднял на меня глаза. Фонтанэ обычно склонен был рассматривать все идеи с точки зрения практической пользы. Он не сразу мог постичь выгоды и преимущества высказанной мною мысли и потому ожидал разъяснений.

Я повторил с еще большей торжественностью:

— Мы жертвуем слишком мало.

И пояснил:

— Мы мало подаем милостыню. Это нехорошо: надо, чтобы каждый отдавал беднякам все излишки.

— Пожалуй, — ответил Фонтанэ после некоторого размышления.

Ободренный этой краткой репликой, я предложил своему дорогому однокласснику совместно образовать благотворительное общество. Я знал предприимчивость Фонтанэ, его изобретательный ум и был уверен, что мы с ним совершим великие дела.

После недолгого спора мы пришли к соглашению.

— Сколько у тебя денег для нищих? — спросил Фонтанэ.

Я ответил, что готов вложить в дело сорок девять су, и если Фонтанэ внесет столько же, мы можем сразу же приступить к раздаче милостыни.

Оказалось, что у Фонтанэ, единственного сына богатой вдовы, получившего в подарок ко дню рождения пони со всей сбруей, сейчас в наличии только восемь су. Но, как он справедливо заметил, нет никакой на-

добности, чтобы мы с самого начала вложили равные доли. Остальное он добавит потом.

Поразмыслив, я обнаружил, что главной помехой нашего предприятия являлась именно его простота. Не было ничего легче как отдать наши пятьдесят су первому встречному слепцу. Однако, должен признаться, что мне по крайней мере показался бы недостаточной наградой за мою щедрость благодарный взгляд собачонки, сидящей на тротуаре с миской в зубах. Я жаждал иного воздаяния за свое великодушие. В двенадцать лет я был немножко фарисеем. Да простят мне это. С тех пор я в значительной мере исправился.

Простившись с Фонтанэ у порога его дома, я повис на руке моей любимой Жюстины и, все еще увлеченный благотворительными планами, спросил ее:

— А ты как думаешь, мы жертвуем достаточно?

По ее молчанию я заметил, что она ничего не поняла, и нисколько этому не удивился: она никогда меня не слушала и очень редко понимала. Несмотря на это, мы отлично с ней ладили. Я начал объяснять. Изо всех сил вцепившись в ее крепкую свежую руку, чтобы привлечь ее внимание, я повторил:

— Жюстина, неужели ты находишь, что беднякам достаточно подают милостыню? По-моему, недостаточно.

— Попрошкам зря подают так много, — отвечала она, — это лодыри и бездельники, но бывают бедняки стыдливые, вот их надо пожалеть. Их всюду много: они прячутся, им совестно. Скорее с голоду помрут, чем будут милостыню просить.

Я все понял; я решился. Отныне мы с Фонтанэ посвятим себя поискам стыдливых бедняков.

В тот же вечер, по счастливой случайности, я получил в подарок от деда, бедного, но великодушного старика, монету в сто су. На следующее утро, на уроке г-на Брава, я знаками сообщил Фонтанэ, что теперь мы располагаем суммой в семь франков восемьдесят пять сантимов для нужд стыдливых бедняков. Г-н Брав, заметив мои жесты, решил, что я невнимателен, и поставил мне плохую отметку за поведение. Ах, с какой горькой усмешкой, с каким презрением глядел

я на бестолкового учителя, когда он заносил дурное поведение в длинный список моих проступков. К чему скрывать? В глазах г-на Брара грехи мои были неисчислимы.

На большой перемене Фонтанэ, шелкнув пальцами от радости, сообщил, что его богатая тетка на днях подарит ему вдвое или втрое больше моего взноса, а пока я должен отдать ему целиком все семь франков восемьдесят пять сантимов. По его словам, это было необходимо для строгой отчетности нашего предприятия.

И мы решили в тот же вечер, по выходе из коллежа, непременно разыскать стыдливого бедняка. Обстоятельства благоприятствовали нашим планам. Тетка Туртур, схватив простуду, слегла, и нас с Фонтанэ провожала домой одна только моя Жюстина. А Жюстина с ее пунцовыми щеками, вот-вот готовыми лопнуть, не могла уследить за нами, — она едва успевала справиться со всевозможными бедами, которые сыпались на нее беспрестанно; вдобавок мы несколько ее не боялись. Несмотря на это, нам все же было не так-то легко распознать стыдливых бедняков по тому единственному признаку, что они страдают молча. Один из них как будто попался нам в руки. Он тащился, прихрамывая, в грязной рабочей блузе.

Мы уставились на него во все глаза.

— Вот он, — шепнул я на ухо Фонтанэ.

— Он и есть, — отвечал тот.

Но на углу улицы Вавен прохожий завернул в кабачок с крашеной решеткой и виноградной лозой кованого железа на вывеске. Мы видели, как он взял стакан вина с ослепительно сверкавшей цинковой стойки и выпил его залпом.

— Должно быть, это пьяница, — сказал я.

— Еще бы, я сразу угадал, — заявил Фонтанэ, поразив меня своей проницательностью.

Подобная неудача несколько нас не обескуражила, и мы продолжали поиски; Жюстина, совсем запыхавшись, едва поспевала за нами по бесчисленным поворотам нашего странного маршрута. На перекрестке Красного Креста мы заметили молоденькую крестьянку

с корзиной под мышкой, которая с жалким и растерянным видом читала вывески по складам. Решив, что мы нашли именно то, что искали, я вежливо подошел к ней и снял фуражку.

— Не могу ли я вам чем-нибудь помочь?

Она сердито оглянулась на меня, ничего не ответив. Я снова предложил свои услуги. Должно быть, в деревне ее слишком запугали рассказами об опасностях, грозящих девушке в Париже, и о городских подростках, развратных с малых лет. Правда, для своих лет я был довольно высок, но не так уж страшен на вид. С перепугу ей, верно, почудилось, что у меня усы; она назвала меня нахалом и закатила пощечину. По тогдашней своей наивности я не оценил, сколько лестного было в этой пощечине. Фонтанэ, с любопытством наблюдавший эту сцену, загоготал от восторга. Вмешалась Жюстина. Она обозвала девушку срамницей или, кажется, даже «страмницей» и пригрозила отколотить. Потом накинулась на меня:

— Теперь будете знать, как приставать к девушкам, господин Пьер. Вы дурно себя ведете, вы негодный мальчик.

— Ничего бы не случилось, если бы ты дал мне поговорить с этой крестьянкой, — заявил Фонтанэ. — Но ты вечно всюду суешься сам, ни с кем не советуясь.

Это был упрек незаслуженный. Я призываю в свидетели всех, кто меня знает.

Мы убедились, что розыски стыдливого бедняка дело трудное, сложное, рискованное, и предались ему с еще большим рвением. Мы уже завернули на улицу Святых отцов, — нельзя было терять ни минуты. Там мы погнались за человеком явно и несомненно несчастным: спина, сгорбленная под бременем забот, обтрепанные брюки, засаленная шляпа, нос, свисающий к самым губам, — все обличало в нем стыдливого бедняка. Мы бросились было к нему, как вдруг Фонтанэ дернул меня за рукав.

— Берегись, у него орден.

И действительно в петлице его сюртука виднелась красная ленточка *. Это доказывало, что прохожий

отнюдь не бедняк, но, напротив, принадлежит к числу самых уважаемых членов общества. Быть может, мы тут и преувеличивали, но нас с детства учили относиться с почтением к орденам.

Пройдя несколько шагов, неумолимый Фонтанэ воскликнул:

— Вот он! Вот он! — и указал на небрежно одетого старика, который на ходу шарил у себя в карманах и, по-видимому, безуспешно, так как продолжал розыски. Чего он искал? Табак или монету? Неизвестно. Но для Фонтанэ это являлось несомненной уликой, обличительным признаком стыдливого бедняка: он не решается просить милостыню и упорно роется в пустых карманах, — ищет давно истраченные гроши.

— Заговори с ним ты, — сказал Фонтанэ.

— Нет, ты, — возразил я. — Ты сам только что сказал, что я не умею разговаривать. К тому же деньги у тебя, ты ему и подай.

Этот довод убедил Фонтанэ, он бросился к старику, который шарил в кармане, забежал вперед, стал перед ним на узком тротуаре и приподнял фуражку:

— Сударь...

Но тут Фонтанэ, обычно такой бойкий и даже нахальный, вдруг запнулся. Вблизи старик показался ему богачом: на нем была золотая цепочка и золотая булавка. Я устремился на помощь Фонтанэ и, сняв фуражку, учтиво произнес дрожащим голосом:

— Сударь...

Тут мужество мое иссякло, и я замолк.

Видя наше замешательство, старик ласково спросил, что нам нужно, назвав нас «голубчиками».

Фонтанэ отличался необычайной находчивостью.

— Скажите пожалуйста, сударь, как пройти на улицу Турнон? — протянул он лицемерным тоном.

— Улица Турнон?.. Да вы прошли ее, мои голубчики. Первая улица налево, потом опять налево, затем...

Запинаясь, он шарил в жилетном кармане, как бы надеясь там найти забытые названия улиц. Фонтанэ лукаво смотрел на него, подняв свою лисью мордочку, я кусал губы; вдруг я прыснул со смеху, мой приятель тоже, и мы пустились удирать со всех ног, бросив оза-

даченного старика, который вдогонку называл нас бездельниками и шалунами.

Жюстина, сбита с толку нашим поспешным бегством, испугалась, что потеряет нас, может быть, навсегда; не смея показаться на глаза моей матушке без меня, она погналась за нами по темной запруженной улице сквозь все препятствия, натываясь по пути на людей и предметы, и чуть не попала под ручную тележку.

Она догнала нас на углу Университетской улицы возле жаровни овернца. Фонтанэ покупал жареные каштаны на два су, взятые заимообразно из капитала стыдливых бедняков. Жюстина осыпала нас упреками. Мы угостили ее каштаном. Плоть немощна: она съела его, продолжая ворчать.

Домой мы явились с запозданием, грязные и рас-трепанные. Жюстина испачкалась до неприличия.

— Ну и вид у вас, голубушка! — сказала мама.

Жюстина бросилась на кухню и, чтобы наверстать потерянное время, опрокинула в печку целое ведро угля. Она плакала. Отблески пламени румянили ее пылающее лицо, и слезы сверкали огнями, точно те слезы, что проливала любимая Аполлоном дочь Приама * во время пожара Трои:

*Ab coelum tendens ardentia lumina frustra*¹.

Я потерял надежду разыскать стыдливого бедняка. Но Фонтанэ несколько дней спустя, как-то на большой перемене, рассказал о наших планах и неудачах Ла Шенэ, необыкновенно ловко выставив меня в смешном виде, и спросил, не знает ли Ла Шенэ какого-нибудь стыдливого бедняка, нищего, который не просит милостыню. Мы относились к Ла Шенэ с величайшим уважением.

Он ответил, что его мать оказывала помощь одному бедняку подобного рода.

— Он уже умер, но у него осталась вдова с двумя детьми. Мама отдает им мои старые вещи. Вдова

¹ К небу напрасно она возводит горящие очи (лат.). — Вергилий, Энеида, 2, 405. (Перевод А. А. Фета.)

Баргуйе, — прибавил Ла Шенэ, — живет в переулке Дракона.

И он назвал номер дома, не помню уж какой. Мы с Фонтанэ решили отнести вдове Баргуйе сумму, ассигнованную на помощь совестливым нищим, или, вернее, то, что осталось от этой суммы, ибо, по наущению Фонтанэ, мы каждый день расходовали из нее понемногу то на пирожные, то на плитку шоколада. Подстрекая меня на эти траты, Фонтанэ горячо уверял, что сам он на днях внесет огромную сумму в общую кассу.

По средам, день свободный от уроков, матушка отпускала нас гулять одних, так как Фонтанэ внушал ей полное доверие. До некоторой степени она была права: Фонтанэ никогда не делал глупостей сам, зато подзуживал на глупости других. Матушка не могла постичь характера Фонтанэ, который всегда умел выставить себя в выгодном свете и пускал в ход всю свою хитрость, чтобы снискать уважение общества. Мы воспользовались доверием матушки и пошли навестить вдову Баргуйе. В те годы Ренская улица не была еще проложена, и в переулок Дракона вел узкий крытый проход со сводом, на котором извивался страшный дракон. Он существует и до сих пор; это обломок прекрасного архитектурного стиля Людовика XV. Теперь он выкрашен в зеленый цвет, хотя был бы красивее в сером камне¹. В те далекие времена он был ярко-красным, и это делало его еще ужаснее. Казалось, его огненная пасть изрыгает грозный рев, так как, подойдя ближе, мы услышали оглушительный шум, в сравнении с которым шум сукновальных мельниц, так напугавший Санчо Пансу, показался бы нежным воркованьем. На самом же деле это был стук сотен молотков, дружно ударявших по наковальням. Переулок, населенный циклопами, ошетинился решетками, окрашенными, как и дракон на своде, в ярко-красный цвет. Мы шли вперед под гулкий звон железа. Приключение становилось интересным. Наконец, в конце переулка, в доме под но-

¹ Недавно один парижанин, знаток старины и достопримечательностей родного города, уверил меня, что не стоит особенно восторгаться этим драконом, что он из простого гипса и совсем не такой древний, как кажется. (*Прим. автора.*)

мером, указанным Ла Шенэ, мы толкнули входную дверь и очутились в потемках, среди сырости и вони; мы вдыхаем запах плесени и натываемся на старые бочки, лесенки, гнилые доски. Стук бесчисленных молотков, испугавший нас еще под сводом, доносится сюда заглушенным и придает нам бодрости. Через несколько секунд, привыкнув к темноте, мы замечаем очень крутую винтовую лестницу, вдоль которой вместо перил болтается толстая грязная веревка. Поднявшись в полумраке ступенек на двадцать, мы нащупываем запертую дверь; не найдя звонка, я тихонько стучусь. Фонтанэ стучит громче.

— Кто там? — спрашивает грубый голос.

— Мы.

— Кого вам надо?

— Госпожу Баргуйе.

Слышатся неторопливые шаги, щелкает ключ, дверь открывается. На пороге показывается г-жа Баргуйе, багровая, с растрепанными космами, похожими на клубок змей, в пестрой расстегнутой кофте, едва прикрывающей грудь.

Комната с плиточным полом служила и кухней и спальней; вся обстановка состояла из большой кровати, маленькой кроватки, шкафчика да нескольких соломенных стульев. Один был сломанный, трехногий. На стенах висела кухонная утварь и благочестивые картины. Камин был заставлен бутылками и грязными стаканами.

Сладким голосом вдова спросила, что нам угодно.

— Вы ведь бедная, сударыня, не правда ли? — осведомился Фонтанэ.

— Увы, это так! — вздохнула вдова.

Она пригласила нас сесть. Фонтанэ, хоть он и был ниже ростом, она оказала больше внимания, усадив его в кресло с дырявыми подушками, а мне предложила трехногий стул. Она охала и жаловалась на свои несчастья; все беды начались с тех пор, как она овдовела. У мужа ее было хорошее место в Берси, но он долго болел, а после его смерти ей пришлось все продать. Сама она работает матрацницей, но за последнее время растеряла всех заказчиков. Она много рассказывала о своих

детях, Алисе и Фирмене, — какие они душечки и как их трудно воспитывать. Сейчас они как раз ушли искать работы.

С восхитившей меня ловкостью и непринужденностью Фонтанэ вручил ей наше пособие, вовсе не упомянув о моем участии в доле, так как знал мою скромность. Вдова назвала его маленьким виконтом и со слезами принялась благодарить, восхваляя милосердного бога, что он послал ей на помощь ангела небесного.

Она спросила, не найдется ли у нас старого белья и ношеной обуви, — ведь она нуждается во всем. Она умоляла отдать ей ненужное тряпье, — ей пригодится всякая малость.

Она осведомилась, кто нас к ней направил, но узнав, что адрес дал нам сын г-жи Ла Шенэ, смущенно промолчала; я подумал, что она, должно быть, не в ладах с этой благотворительницей.

Она подробно расспрашивала о наших именах, о положении наших родителей и несколько раз просила повторить, где мы живем, как бы стараясь запомнить это хорошенько. Наконец мы встали и распроцались.

На пороге двери вдова еще раз напомнила, что ей нужно старое платье и белье, как для нее, так и для Алисы с Фирменом, и настойчиво просила навестить ее поскорее; она обещала неустанно молить за нас бога и сокрушалась, что на лестнице темновато и легко споткнуться.

Я вышел из этого мерзкого жилища холодный и равнодушный, не испытывая никакой жалости к вдове Баргуйе. Зато на лице Фонтанэ так ярко отражалось благочестивое рвение, высокая радость благодеяния, пылкость милосердной души, что, сравнив себя с ним, я устыдился своей черствости.

— Мы жертвуем слишком мало! — вздохнул мой друг. — Какого удовольствия мы себя лишаем!

И его острая мордочка сияла небесным восторгом.

Его слова, выражение лица, проникновенный вид произвели на меня впечатление, и я всячески старался возбудить в себе столь же возвышенные чувства.

— Чем это от тебя пахнет, Пьер? — спросила ма-тушка.

Благодаря тонкому обонянию она всегда умела угадать, в какой компании ее близкие проводили время без нее. Но она питала такое доверие к Фонтанэ, что тут же успокоилась и не стала допытываться.

Хоть я и не чувствовал симпатии к вдове Баргуйе, я, однако, решил не оставлять ее своими благодеяниями. Это было не так-то легко. За всю неделю мне удалось скопить только двадцать пять сантимов — жалкая сумма для матери с двумя детьми. Фонтанэ до сих пор ничего еще не получил от своей тетки. Томимый эгоистическим желанием благодарить и помня, что вдова Баргуйе настойчиво просила принести ей старого белья, я поглядывал украдкой на шкаф, где матушка хранила мои сорочки и штанишки, и мучился искушением стащить несколько штук, чтобы удовлетворить свою страсть к добрым делам. Когда в положенный срок наступила среда, искушение стало непреодолимым. Я не обманывался и прекрасно сознавал всю незаконность этого дерзкого поступка. В ту пору я придерживался традиционных, гораздо более строгих, чем теперь, взглядов на право собственности. Я понимал, что мое носильное платье мне не принадлежит, поскольку я за него не платил. Теперь для меня это более сложная проблема: я смотрю на происхождение и природу собственности совершенно иначе, чем большинство моих современников. А в те далекие времена я отнюдь не был последователем Прудона* и совершенно четко различал чужое имущество от своего. Итак, внутреннее чувство, принципы, наконец нравственные правила не позволяли мне распоряжаться своим бельем. Совесть решительно запрещала мне это. Но я не внял голосу совести, я прокрался в спальню и поспешно отворил шкаф (помнится, это был простенький английский шкафчик красного дерева, казавшийся мне безобразным, но на самом деле, вероятно, очаровательный; впрочем, тогда никто не ценил его красоты). Я выхватил из ящика без разбору, почти наугад, стопку белья, спрятал под пальто и тут же удрал вместе с Фонтанэ. Если хотите знать, я утащил с собой, насколько помню, две-три ночных рубашки, фуфайку — не то шерстяную, не то бумажную, да с полдюжины уродливых ночных

колпаков с кисточкой — типичных головных уборов мирного буржуа. Конечно, я выбирал вещи наспех, но, говоря, что действовал наугад, я грешу против истины. Я люто ненавидел ночные колпаки, избавиться от них путем благотворительности было мне вдвойне приятно, и я вполне сознательно запихал их как можно больше в свой сверток.

Ночной колпак еще и теперь казался бы мне отвратительным, если бы я не знал, что Жаннета увенчала им некогда доброго Короля Ивето *. Но не об этом речь. Фонтанэ, который неделю назад так пылко восхвалял радость благодеяния, теперь потерял всякий интерес к вдове Баргуйе. Он отказался сопровождать меня к ней. Он предлагал лучше пострелять из ружья в недавно открытом тире на бульваре Обсерватории. Я напомнил ему, что у меня под полой сверток старого белья для детей бедной вдовы. Он посоветовал отнести пакет домой или просто бросить в сточную канаву. Единственное, на что он согласился, это подождать меня у переулка Дракона, пока я свершу одно из семи деяний милосердия, одев тех, кто наг. Г-жа Баргуйе встретила меня еще более багровая и разгоряченная, чем в первый раз, с еще более растрепанной прической, похожей на клубок змей. Она спросила, как поживает маленький виконт (она называла так Фонтанэ), и, узнав, что он не придет, явно расстроилась.

— Он такой миленький, — сказала она. — Сразу видно, что из барской семьи.

Алисы и Фирмена не было дома, — они опять ушли искать работы. Мать приняла принесенный для них подарок, поблагодарив меня, как мне показалось, довольно сухо. Просьбами и даже угрозами она заклинала меня не говорить дома, кому я отнес белье; по ее словам, на меня обрушатся ужасные беды, если я открою эту тайну. Не добившись никакого обещания, она переменила тон, начала хныкать, плакаться, призывая бога в свидетели своих несчастий и добродетелей. Потом она налила в рюмку какой-то красной жидкости и протянула мне.

— Это наливка, это вас подкрепит, мой голубчик, — сказала она.

Я отказался, она настаивала. Змеи в ее прическе шевелились и извивались. Со страху я выпил рюмку залпом. Она спросила, не могу ли я дать ей немного денег, чтобы расплатиться с булочником. Я смущенно ответил, что у меня ничего нет. Затем я, по выражению поэта, «поспешно обратился в бегство».

В конце переулка, под Красным Драконом, я нашел Фонтанэ, который под стук молотков уплетал пирожок со сливами, купленный у кондитера на углу. Рассеянно выслушав рассказ о разговоре с вдовой Баргуйе, он заявил, что не одобряет моего поведения и знать ничего не хочет об этой дурацкой истории. Мы отправились в тир. Фонтанэ убеждал меня, что он хороший стрелок. Но мне пришлось поверить ему на слово, ибо глаза мои свидетельствовали об обратном.

На душе у меня было беспокойно; подымаясь домой по лестнице, я с каждой ступенькой ощущал все большую тревогу. Я строго осуждал себя, полагая не без оснований, что мой проступок уже обнаружен. Дверь мне отперла Жюстина. Ее голубые глаза распухли от слез, пунцовые щеки пылали. Она молча, с испугом воззрилась на меня.

Матушка встретила меня холодно.

— От тебя пахнет водкой, — сказала она. — Куда ты ходил? Кому ты отдал белье, которое утащил с собой?

— Бедной вдове в переулке Дракона, госпоже Баргуйе.

— Я ее знаю, — заметила матушка и добавила, обротившись к отцу: — Это та самая матрацница, которая украла у меня волос из матраца; ее отовсюду выгнали за пьянство.

Досадуя, что меня одурачили, я резко возразил, что г-жа Баргуйе женщина очень честная и набожная.

— К тому же, — добавил я, — ей приходится воспитывать двоих детей.

— Допустим, что это так, — сказал отец, — и бедных детей очень жалко. Но объясни, Пьер, почему же ты не спросил совета у родителей, прежде чем подавать милостыню? Нет ничего труднее, чем помогать бедным. Вопрос о частной благотворительности, признаюсь, крайне меня волнует. Ты слишком самонадеян, Пьер,

думая, будто в твоём возрасте ты можешь один, ни с кем не советуясь, сделать то, что требует большого опыта и долгих размышлений. Мой друг Амедей Эннекен осуждает благотворительность, как частную, так и общественную, хоть это и очень добрая душа. Он коммунист и убежден, что в деле помощи неимущим ничего не достигнешь без социальной революции. Я же склонен предполагать, что социальной революции недостаточно и нужна еще революция нравов...

Матушка прервала его речь, которая, видимо, казалась ей неуместной и не относящейся к делу.

— Пьер, почему ты не спросил у меня разрешения взять белье? — сказала она. — Ты унес его без спросу потому, что знал, что я не позволю. Это белье не твое. Идеи господина Эннекена и господина Прудона еще не проведены в жизнь. Ты распорядился тем, что тебе не принадлежит. Я согласна простить тебя за доброе намерение, хотя ты и поступил так скорее из тщеславия, чем из сострадания, а главное, по легкомыслию. Бот Фонтанэ никогда бы не сделал такой глупости. Я уверена, что он не пошел с тобой к этой женщине, когда ты понес ей свои рубашки и ночные колпаки.

Я не мог не возмутиться этой незаслуженной похвалой. Я знал, что Фонтанэ несколько не лучше меня, и если я не уверен в этом теперь, то только потому, что научился сомневаться во всем.

— Послушай, сынок, — продолжала выговаривать мне матушка еще более строгим тоном, чем прежде. — Я расскажу тебе, какие последствия имела твоя глупая выходка. Вскоре после твоего ухода Жюстина обнаружил пропажу белья. Жюстина очень честная девушка, но, как всякая служанка, всегда боится быть подозреваемой. Она испугалась, что ее обвинят в краже белья, и страшно разволновалась. Она прямо голову потеряла. Напрасно я старалась ее успокоить, уверяя, что несколько ее не подозреваю. Она кричала, что ее схватят жандармы, что ее посадят в тюрьму, хотя она ни в чем не виновата.

Слова матушки произвели на меня сильнейшее впечатление, Я был недавно в театре Конт на пьесе «Со-

рока-воровка, или Служанка Палезо» *. Я понял, какие ужасные душевные муки претерпела моя дорогая Жюстина.

Я бросился на кухню и нашел там Жюстину, погруженную в безысходное отчаянье. Я порывисто обнял ее, прося прощения, что своей необдуманной выходкой невольно доставил ей столько неприятностей.

— Ах, господин Пьер! — воскликнула она сквозь слезы, — будь вы поумнее, никогда бы вы не сделали такой глупости.

Жюстина была права. Я никогда не сделал бы такой глупости, будь я поумнее.

II

Горести и печали Дочери троглодитов

С некоторых пор я уже не замечал у Жюстены той жажды разрушения, которая в первое время ее службы у нас обрушивалась на порученную ее заботам посуду и на бронзовые статуэтки, подаренные доктору Нозьеру благодарными пациентами. Кухня реже оглашалась звоном разбитых тарелок и неистовыми криками юной служанки, которая, разрубая говядину, вечно резала себе пальцы. Пожары в печной трубе и наводнения случались реже, люстры не падали внезапно, сами собой, на пол, и хотя отец все еще называл ее первопричиной катастроф, все еще отмечал в этом наивном существе разрушительный дух бога Шивы и возмущался тем, что она беспрестанно нарушает тишину, необходимую для научных занятий, — это объяснялось тем, что он, подобно большинству людей, был не способен перестраивать свои суждения в зависимости от новых данных и держался установленных мнений и предвзятых идей. Матушка, более справедливая и разумная, не могла не признать, что после первоначального хаоса в темном рассудке служанки стали появляться первые проблески порядка и признаки гармонии.

Жюстина примирилась со Спартаксом на каминных часах. Она больше не колотила его палкой от облезлой

метлы, и герой больше не угрожал раздавить ее своею тяжестью. Но она упорно отказывалась верить, что его зовут Спартак. Напрасно, потрясая словарем и учебником, я пытался ей доказать это с глупым, упрямым педантизмом тринадцатилетнего историка. На все мои доводы она, спокойно улыбаясь, неизменно отвечала:

— Нет, нет, молодой хозяин, его не так зовут, как вы говорите. Быть этого не может.

— Да почему же?

— Много будете знать — скоро состаритесь!

— Но как же его зовут, Жюстина, если не Спартаком?

— Никак; вы сами выдумали этому петрушке такое гадкое имя.

— Знайте же, Жюстина, что Спартак во главе отряда рабов разбил четыре армии преторианцев, три консульские армии, а когда сенат послал против него легионы Красса и Помпея и он был вынужден принять бой, он убил своего коня...

Жюстина перебила меня:

— У меня там чечевица варится, пойду помешаю; нет хуже чечевицы: чуть упустишь — она и пригорит.

Я вцепился в ее передник.

— Жюстина, эта статуя Спартака — работа господина Фуаятье, папиного друга, он теперь уже совсем старый. В детстве он был пастухом и, гоня стада, вырезал ножом из дерева разных зверюшек...

— Точь-в-точь мой братец Форьен, — сказала Жюстина. — Когда он пас скотину, еще совсем малышом, он мастерил силки для птиц и всякие капканы. Сызмальства такой был ловкач! Ну, мне надо помешать чечевицу.

И Жюстина убежала на кухню, откуда доносился едкий запах горелого.

Я невзлюбил статуэтку Спартака работы славного Фуаятье, оригинал которой в саду Тюильри когда-то обращал к дворцу гневные взоры и грозно сжатые кулаки, невзлюбил потому, что слишком часто смотрел на нее в детстве и еще потому, что это безвкусное произведение. «Это напыщенный болван», — говорил про статую г-н Менаж. Отец любил ее. Не думаю, между нами

говоря, что он когда-нибудь видел ее, то есть рассмотрел как следует. Он ничего не замечал, что не относилось к его профессии, кроме особенно пленительных и величественных картин природы. В «Спартаке» его друга Фуаятье его восхищала самая идея, символ. Он видел в этой могучей фигуре освободителя угнетенных и восхищался им, так как он любил справедливость и ненавидел тиранию.

— Будь я республиканцем, — говорил он, — я мог бы в крайнем случае допустить принуждение во имя основных принципов или высших интересов. Но я роялист и считаю первой обязанностью короля, я сказал бы даже единственным оправданием его власти, — гарантию свободы народа. Королевская власть, основанная на угнетении, — нелепость.

На это мой крестный возражал:

— К сожалению, властелин обыкновенно лишает народ самых необходимых свобод и гарантирует ему лишь второстепенные.

— Это случается, когда властелином становится народ.

— Разве необходимо, чтобы один человек владел нашим достоянием и охранял его, неужели мы не можем охранять его сами?

— Владая всем, король как отдельный человек на деле не владеет ничем, а народ пользуется всеми благами. При демократии, наоборот, правящие партии, состоящие из множества лиц, действительно владеют общественным достоянием; они грабят народ, и он не пользуется никакими благами.

— Самое драгоценное из благ — свобода!

— В тех случаях, когда ее теряешь. Мы отрекаемся от свободы всякий раз, как пользуемся ею.

— Республиканец никогда не отрекается от идеи свободы. Вот в чем разница!

Так спорили между собой эти достойные люди, родившиеся вскоре после бурь, потрясших до основания весь общественный строй, спорили, никогда не убеждая один другого и не замечая явной бесполезности своих рассуждений. Оба они были французами и любили красноречие.

Между тем у Жюстины завелся обожатель, и она влюбилась. Я сразу угадал это. По каким признакам? По тревожному нетерпению, с каким она подстерегала почтальона? По радостному блеску в глазах и румянцу на похорошевшем лице, когда она получала письмо? По тому, как она прятала его за корсаж? По сиянию, исходившему от всего ее существа? По странным и непонятным сменам настроения? По внезапным взрывам веселости, по неожиданным тихим слезам? Сам не знаю. Но все в ней выдавало мне ее чувства.

И вдруг Жюстина стала грустной и мрачной. Румянец ее поблек. Под глазами легли темные тени. Она похудела. Слова от нее нельзя было добиться. Она плотно сжимала побледневшие губы, словно стараясь сдерживать жалобы и упреки. По вечерам она раскладывала на кухонном столе засаленные карты, гадала по ним, потом сердито смешивала всю колоду. Мало-помалу она впала в подавленное состояние. Не глядела на свои кастрюли, забывала пить и есть. Ее движения стали вялыми и неловкими, и хотя она изредка еще и била посуду, то не как прежде, в порыве неистового рвения, а потому, что от слабости у нее опускались руки и немели пальцы. Я не сомневался, что страдания Жюстины вызваны несчастной любовью и что обожатель покинул ее. Да и нельзя было в этом сомневаться. В лавке г-жи Летор я видел гравюру «Покинутая», на которой была изображена молодая женщина в черном бархатном платье, сидящая на каменной скамье в осеннем лесу, под облетевшими ветвями. Жюстина на кухне, неподвижно застывшая на соломенном стуле, была похожа на покинутую, хотя и далеко не так красива. То же скорбное, унылое выражение, тот же взгляд, устремленный вдаль, те же поникшие руки, безжизненно лежащие на коленях. Состояние Жюстины вызывало во мне глубокий интерес. Догадываясь о причине ее горя, я жаждал, чтобы она доверилась мне и позволила утешить себя, но не надеялся на это. Я знал, что она не поделится со мной своими невзгодами, считая неудобным говорить о таких делах с мальчишкой, и к тому же она была уверена, что я ничего не пойму: ее мнение

обо мне установилось раз и навсегда. Я мог только безмолвно сочувствовать ей.

Как-то утром она долго, больше часу, беседовала с матушкой наедине, в комнате с розами на обоях. Она вышла оттуда в слезах, но с просветленным лицом, и я уже не сомневался, что она поведала свое горе хозяйке и получила утешение. Не боясь показаться нескромным, я сказал матушке:

— Жюстину покинул жених. Как это грустно!

Матушка взглянула на меня с удивлением.

— Она сказала тебе?

— Нет, мама, но я сам знаю.

И я объяснил, что благодаря своей проницательности разгадал тайну Жюстины, но из деликатности ни разу об этом не намекнул.

— Очень хорошо быть деликатным, — ответила моя дорогая матушка, — но было бы еще лучше не пытаться раскрыть чужую тайну, которая ни в коей мере тебя не касается.

Она говорила строго, но мне показалось, что она невольно восхищается моей прозорливостью.

III

Прогул

Готов поклясться головой милого невинного ребенка, каким я был в те годы, что школьные занятия в классе г-на Кротю были сплошной цепью несправедливостей. Этот человек оплетал нас незаслуженными придирками, как паук паутиной. И могу утверждать, несколько не хвастаясь, что из тридцати мальчишек, которым он преподавал, именно мне чаще и больше всех доставалось от его злого нрава. Привыкнув с детства сталкиваться с людской жестокостью и несправедливостью, я бы, пожалуй, не питал к нему злобы за это. Но я не мог ему простить его безобразия. Надо полагать, я уже в столь юном возрасте предчувствовал высокие моральные истины, усвоенные мною впоследствии, и уже тогда некий бесенок подсказывал мне, что самый непрости-

тельный из грехов — это грех против красоты. Я стал на сторону муз и харит против г-на Кротю, который тяжело оскорблял их всей своей особой. Жалкое существо! Его грубые толстокожие руки способны были смять и раздавить все, к чему прикасались; красивые, изящные вещи не доставляли ему удовольствия. Его хмурый подозрительный взор не замечал ничего прекрасного. Лицо его было угрюмо; оно принимало довольное выражение лишь в те минуты, когда, высунув мокрый язык, учитель заносил в грязную тетрадь перечень несправедливых наказаний. Подобно мужлану, о котором, не помню где, пишет Непомюсен Лемерсье *, он плевался во все стороны и сморкался оглушительно, как труба. Вот за все это я его и невлюбил. Я ненавижу его не столько за его поступки, сколько за него самого; то была ненависть упорная, направленная не на преходящие факты, но на неизменные природные свойства. Не, быть может, эта лютая глубокая ненависть никогда бы и не проявилась; быть может, я навеки застал бы ее в душе, если бы один случай, по вине самого г-на Кротю, не вызвал ее вспышку.

Однажды, не помню уж, по какому поводу, он рассказал нам историю сатира Марсия, который дерзнул состязаться с Аполлоном в игре на флейте; он был побежден, и бог музыки заживо содрал с него кожу.

— У Марсия, — сказал нам г-н Кротю, — была звериная морда, курносый нос, нечесаные космы, рога на лбу, длинные мохнатые уши, лошадиный хвост и козлиные ноги.

Описание сатира точь-в-точь походило на самого г-на Кротю, это был вылитый его портрет, за исключением разве рогов, козлиных копыт и лошадиного хвоста, наличия которых мы не имели оснований заподозрить у нашего преподавателя. Все же остальное полностью совпадало, даже большие волосатые уши. Судя по приглушенным смешкам, шушуканью и возгласам, которыми было встречено описание Марсия, это сходство поразило весь класс. Весьма возможно, что и я вскрикнул вместе с другими и присоединился к общему смеху; но я тут же погрузился в размышления. Хотя и признавая виновность Марсия, я не мог всецело одобрить по-

ступок Аполлона с его соперником и, по правде говоря, находил наказание чересчур жестоким. Однако, отождествив сатира с г-ном Кротю, я под конец открыл в этой каре глубокий смысл и высшую справедливость. Я набросал в тетрадке портрет Марсия и пытался неумелой рукой сочетать черты сатира и ученого педанта. Рисунок уже начал приобретать выразительность и становился довольно-таки уродливым, как вдруг г-н Кротю заметил его, выхватил у меня листок, разорвал в клочки и в награду за мое искусство наложил на меня какое-то нелепое и обидное наказание. Все было кончено. Я почувал в нем заклятого врага и ответил на его нападки презрительным смехом. Впоследствии я понял, что мне не следовало выражать свою ненависть так откровенно.

С тех пор в его присутствии я держался с презрительным высокомерием, обольщаясь надеждой, будто это больно его задевает. Я выказывал антипатию и отвращение к нему всеми способами, какие подсказывала мне мальчишеская фантазия. По правде говоря, он, вероятно, кое о чем догадывался, и его неприязнь ко мне еще более возросла. С желчной злобой и яростью обрушивался он на мои ошибки и промахи, но в особенности не мог переносить моих успехов. Я не отличался никакими особыми способностями или заслугами, но все же не был лишен сообразительности и порою проявлял признаки ума. Это-то и приводило в бешенство г-на Кротю. Если мне случалось дать верный ответ или в моем сочинении попадалась удачная фраза, — его физиономия злобно кривилась и губы дрожали от гнева. Я изнемогал под тяжестью незаслуженных наказаний. В справедливом негодовании я попытался возмутить против угнетателя весь класс. На переменах я громко бранил и поносил его. Я напоминал товарищам о его придириках, о его безобразии, о его длинных мохнатых ушах. Мальчишки не противоречили мне, никто за него не заступался, но страх перед учителем сковывал им языки: они молчали. Дома, за обедом, я не раз пытался раскрыть перед матушкой всю гнусность г-на Кротю. Увы! На всем свете не было человека, менее способного понять подобные разоблачения. Эта чистая душа, воспи-

танная на «Телемаке» *, представляла себе моих учителей в облике древнегреческих мудрецов и наделяла г-на Кротю чертами Ментора. Изгнать из ее воображения этот почтенный образ и заменить его звероподобным рогатым чудовищем было бы не под силу даже самому искусному оратору. Я же взялся за дело крайне неловко, с явным пристрастием, все преувеличивая, приводя неправдоподобные случаи и бездоказательно утверждая, будто г-н Кротю прячет в своих широких коричневых брюках конский хвост. Что касается отца, то ничто не могло поколебать ни глубокого его уважения к ученой иерархии, ни слепого доверия, которое ему внушали люди даже всего менее этого достойные. Не удавалось мне также опорочить г-на Кротю в глазах моей доброй Жюстины. Слушая с недоверием мои жалобы на несправедливость учителя, она обычно говорила:

— Эх, молодой хозяин, кабы вы хорошо учили уроки да не выводили из себя бедного господина учителя, вам и плакаться было бы не на что. Вы бы нахвалиться им не могли.

И она приводила в пример своего брата Сенфорьена, дельного малого и старательного ученика. За это школьный учитель назначил его своим помощником, а господин кюре брал прислуживать во время мессы.

— А вот из-за вашего озорства добрый учитель погубит свою душу, и вы ответите за это перед богом.

Тщетно я приводил самые убедительные доводы. Жюстина ничему не хотела верить, даже тому, что наставника звали Кротю; она говорила, что такого имени и на свете-то нет.

Как-то раз я поведал свои обиды г-же Ларок ¹, которая, сидя в штофном кресле, положив ноги на грелку, прилежно вязала синие чулки. Она сочувственно приняла мои жалобы. Но бедная дама начала дряхлеть; она путала прошедшее с настоящим, слегка заговаривалась и странным образом смешивала г-на Кротю с неким старым профессором красноречия в Гранвиле, который в 1793 году избил линейкой Флоримона Шапделена за

¹ См. «Маленький Пьер». (Прим. автора.)

то, что тот не хотел кричать: «Да здравствует народ!» И так, кипевшая во мне ненависть, не находя исхода, душила меня.

Я не считал себя побежденным. Однако нечего и говорить, что в этой борьбе сила была на стороне г-на Кротю.

Как-то весенним утром я проснулся под пение птиц; утренние лучи, прорываясь сквозь щели ставень, ложились узорами на мою постель; я обожал солнечный свет, и мысль о г-не Кротю показалось мне горше смерти. В то утро моя дорогая матушка проверила, как всегда, чисто ли вымыты у меня уши и шея и повторил ли я уроки. Я сохранил совершенно невозмутимый вид, но решение мое было принято. В семь часов тридцать пять минут, как обычно позавтракав хлебом и молоком, зажав под мышкой клеенчатый портфель, на этот раз нарочно не слишком набитый книгами, я спустился с лестницы, направился по берегу серебристой Сены и вышел на улицу, ведущую к коллежу. Потом я вдруг повернул направо и пустился в путь по длинной, до той поры мне неизвестной улице, которая, я был уверен, ведет в неведомые и прекрасные края. Я ощущал такую живую и буйную радость, что даже поделился ею с осликом, впряженным в тележку с овощами, который стоял у тротуара. Напрасно голос, благоразумия рисовал мне всю тяжесть моей вины и все грозящие мне опасности в случае разоблачения, конечно, неминуемого, ибо пропущенные уроки в коллеже отмечались и ставились на вид. Я надеялся выпутаться из беды, рассчитывая на счастливую случайность и на тот благодетельный беспорядок, который, управляя людскими делами, смягчает суровость правосудия.

К тому же я готов был оплатить любой ценой такое огромное и редкостное удовольствие. Словом, я твердо решил прогулять школьные занятия. Эта проделка избавляла меня от Кротю всего лишь на один день; но бывают дни, которые кажутся вечностью и не без основания, потому что забываешь и прошедшее и будущее. На этой старой улице, просыпающейся под солнечными лучами, все улыбалось мне и развлекало меня. Вероятно, окружающие предметы только отражали и

излучали мою собственную бурную радость. Однако, не боясь быть обвиненным в восхвалении прошлого в ущерб настоящему, можно с полным правом утверждать, что Париж тех дней был привлекательнее, чем сейчас. Строения были не так высоки, сады встречались чаще. На каждом шагу развесистые деревья склонялись над старыми стенами свои пышные кроны. Дома были очень разные, и каждый имел характерный облик в зависимости от возраста и назначения. Старинные особняки, некогда прекрасные, хранили печальное изящество. В многолюдных кварталах лошади всевозможных пород и мастей катили коляски, дрожки, фургоны, кабриолеты, оживляя вид улицы, а на бульвоник стаями слетались воробьи клевать конский навоз. Время от времени желтый омнибус, запряженный серыми в яблоках першеронами, с грохотом проезжал по горбатой мостовой. Границы города в то время еще не расширились до линии укреплений; Париж не стал еще столицей мира; по воле знаменитого префекта еще только начали прокладывать новые широкие магистрали *, на которых пышным цветом выросли посредственность, однообразие, уродство и скука. Если судить только по центральному кварталам, легко можно подумать, что за два века, считая от регентства Анны Австрийской до середины Второй империи, Париж, несмотря на столько революций, изменился меньше, чем за последние шестьдесят лет, отделяющие нас от того времени, которое мне так приятно вспомнить.

Я, пишущий эти строки, еще помню почти тот же шумный, неблагоустроенный старый Париж, какой описывал Буало * в 1660 году со своего чердака в здании суда. Подобно ему я слышал, как поют петухи в центре города на утренней заре. Я вдыхал запах конюшен в Сен-Жерменском предместье; я видел кварталы, сохранявшие деревенский вид и обаяние прошлого. Было бы заблуждением думать, что двенадцатилетний мальчик не мог чувствовать прелести великого города. Он вдыхал ее вместе с родимым воздухом, он впитывал ее безотчетно. Конечно, слишком смело утверждать, будто он мог оценить прекрасные пропорции какого-нибудь особняка с классическими колоннами, портиками и

фронтами, возвышавшегося между двором и садом; но мимоходом он усваивал все виденное по мере сил и потребностей, а если чего-либо не понимал, то был уверен, что непременно поймет впоследствии. Разве надо быть взрослым, чтобы грезить о таинственном заповедном саде, заметив за приоткрытой калиткой зеленые ветви и цветы? Разве в детские годы нельзя расстрогаться при виде древней стены? Любовь к прошлому — врожденное свойство человека. Прошлое одинаково волнует и младенца и старика; достаточно привести в доказательство сказки Матушки Гусыни, сказки времен Берты-пряжи *, басни времен говорящих животных. И если мы станем доискиваться, почему воображение человека, юного или дряхлого, печального или веселого, всегда обращается к прошлому, то, несомненно, пойдем, что прошлое — единственная дорога для прогулки, единственное убежище, куда мы можем укрыться от повседневных забот, от горестей, от самих себя. Настоящее бесплодно и смутно, будущее — скрыто. Все богатство, все великолепие, вся прелесть мира — в прошедшем. И дети знают это так же хорошо, как старики. Вот почему, должно быть, с раннего возраста я с волнением слушал то, что старые камни родного города рассказывали мне о былых временах. Увы! Старые камни уступили место новым, а те состарятся в свою очередь. И, вероятно, тогда они тоже приведут в умиление мечтательные души.

По мере того как я брел все дальше по длинной улице, дома приобретали все более скромный деревенский вид; я наблюдал там ремесла и обычаи, каких никогда не встречал в чинных красивых кварталах, где протекало мое детство. Здесь я впервые увидел, как огородники в больших соломенных шляпах поливают гряды, как загорелые девушки доят коров, как продавцы на дровяных складах укладывают поленья в виде триумфальной арки, а на пороге кузницы, откуда доносится резкий запах паленого копыта, кузнец подковывает лошадь, которую держит его помощник. У кузнеца было страшное лицо с короткими бачками и бравыми усами. На левой руке под засученным рукавом красо-

валась синяя татуировка в виде солдатского креста с надписью: «Честь и Родина». Вскоре я снова встретил этого кузнеца за стойкой в винной лавочке по соседству; он был навеселе и, вытирая усы ладонью, громко хлопал по плечу старика возчика.

Наблюдая этих ремесленников и мастеровых, я получил за короткое время больше полезных знаний, чем за три месяца занятий в коллеже, и, вероятно, именно в тот день зародилась во мне горячая любовь к физическому труду и ремесленному люду, которую я сохранил на всю жизнь.

Я твердо надеялся за этот день, казавшийся мне нескончаемым, досыта насладиться всеми утехами жизни, всеми радостями лесов и полей. На берегу Сены, возле моста, я увидел старуху, сидящую на складном стуле у прилавка, на котором были навалены нантерские пирожки и стоял графин с лакричной водой, закупоренный лимоном. Это кушанье и питье показались мне восхитительным завтраком. Набравшись новых сил, я прибавил шагу, чтобы успеть погулять в Булонском лесу. Я вошел туда через Отейль, казавшийся в ту эпоху большой деревней с красивыми загородными домиками, хранящими под зыбкой сенью листвы изысканные и очаровательные воспоминания, которых я тогда еще не был способен оценить.

Домики эти уже начали ломать и сносить, а на месте вырубленных садов там и сям выросли высокие каменные строения. Булонский лес тоже изменял свой вид. Его портили новые аллеи и искусственные водопады, он потерял свою естественность и свежесть. Я уже не испытывал в его тенистых зарослях священного ужаса. Лесная чаща с раннего детства внушала мне сладостную грусть. Однако справедливость требует признать, что, забравшись в самую глушь, где солнце едва пробивалось золотыми бликами сквозь густую листву, я поспешно выбежал оттуда, боясь встретить в этом уединенном месте какого-нибудь бродягу. Я замедлил шаг только на лужайке, возле охотничьего павильона, где на траве играли дети, а в тени каштанов на скамейках и складных стульчиках сидели матери, старшие сестры и кормилицы в пестрых лентах. На одной из

скамеек оказалось свободное место рядом с мальчиком приблизительно моих лет, который показался мне юношей; он был очень хорош собою и одет, как я всегда мечтал быть одетым, — с небрежной элегантностью. Его синий с белым горошком галстук развевался на ветру. В жилетном кармане виднелись часы на золотой цепочке. Рыжевато-золотистые волосы мальчика вились короткими кудрями, светлые глаза блестели, лицо было бледное и нежное, с румянцем на щеках. В тонких нервных пальцах он держал записную книжку и карандаш, но ничего не писал. Я сразу почувствовал к нему симпатию и, несмотря на свою робость, заговорил с ним первый. Он ответил мне немного вяло, но с охотой, и разговор завязался. Я узнал, что он сирота, что давно болеет и живет в особняке на Ренлаге с бабушкой, которая происходит из старинной ирландской фамилии, давно уже обосновавшейся во Франции; его бабушка через покойного мужа состоит в родстве с самыми прославленными семьями наполеоновской знати.

Ему бы хотелось поступить в лицей, учиться и играть с товарищами, бегать взапуски, кидаться мячом, получать призы на состязаниях. Но он учился дома у аббата, о котором отзывался без любви и без неприязни, возмущаясь только тем, что вместо аббатской шляпы его воспитатель предпочитает носить шелковый колпак непомерной высоты. В этот день аббат, как всегда, повел его в Булонский лес. Мальчик был удивлен, но насколько не огорчен, что его, против обыкновения, так долго оставляют одного. Он с восторгом говорил со мной о победах в Крыму *. Из окна на Вандомской площади он видел, как маршировали возвратившиеся с востока войска в изодранных и простреленных мундирах. Во главе полков шли раненые, женщины бросали им цветы, толпа приветствовала громкими криками боевые знамена и штандарты. От одного воспоминания у него начинало колотиться сердце. Он описывал мне, словно сам был очевидцем, обеда и балы во дворце Тюильри, куда часто приглашали его кузину Клер, супругу шталмейстера императрицы. Спектакли, выставки, празднества чрезвычайно его интересовали.

Ему очень хотелось попасть на фехтовальное состязание между Гризье и Гатшером в зале св. Варфоломея. Он собирался, когда вырастет, усердно посещать Французскую Комедию, Лирический театр * и Оперу. Он и сейчас, по рассказам дяди Жерара, знал все досконально об этих трех театрах и усердно читал театральную хронику. Он сообщил, что госпожа Миолан-Карвало очень удачно дебютировала в Лирическом театре, и осведомился, нравится ли мне Мадлена Броан? * Вытащив из кармана курточки фотографию прехорошенькой блондинки с обнаженными руками, облокотившейся на спинку кресла, он сказал:

— Вот она; посмотрите, какая красавица!

Я восхищался его близким знакомством с неведомым мне театральным миром, который так сильно меня привлекал. Чего только он не знал о большом свете, об искусстве и литературе! Он видел Понсара *, он говорил с ним о Французской Академии. Он знал подлинную историю и даже настоящее имя Дамы с камелиями *. Он был коротко знаком с проповедником, который служил мессы в Тюильри во время поста.

Он задавал мне вопросы, не дожидаясь ответа.

— Что вы думаете о вертящихся столах? Я сам видел, как двигался круглый столик. Хотели бы вы быть таким, как Шэ д'Эст-Анж? * Я бы хотел. Я мечтаю стать знаменитым оратором. Но я слишком часто болел и не мог заниматься регулярно. Врачи говорят, что мне еще нужно очень беречься. Они посылают меня на всю зиму в Ниццу.

Помолчав немного, он раскрыл тетрадку и, неумело начертив на пустой странице нечто вроде равнобедренного треугольника, с улыбкой показал мне рисунок.

— Вы видите, что это?

— Да, это треугольник.

— Это треугольник, и это моя жизнь.

Медленно и как бы нехотя мальчик стал чертить между двумя равными сторонами треугольника линии, параллельные основанию, которые, приближаясь к вершине треугольника, естественно становились все короче, и шептал при этом:

— Пять лет... десять лет... двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать лет... Видите, как это убывает и идет к концу?

После некоторого колебания он ткнул карандашом в вершину треугольника.

— Семнадцать лет! Наступает удушье, и всему конец.

Тут он захлопнул тетрадь, поднял голову и твердо сказал:

— Но я поправлюсь. Я уверен, что поправлюсь. Врачи думают, что у меня затронуты легкие. Они ошибаются, это сердце. У меня бывают сердцебиения. Это сердце.

Помолчав, он спросил, не хочется ли мне быть морским офицером?

— Вот кем бы я хотел стать! — добавил он, мечтательно глядя вдаль.

К нам подошла величественная старая дама и платье цвета осенних листьев с воланами на кринолине.

— Это моя бабушка, — прошептал он.

Она села рядом с ним, сняла перчатки, пощупала ему руки и приложила ладонь к щеке.

— Сириль, у тебя руки горячие, лоб влажный, ты, наверное, устал, тебе вредно много говорить.

И, понизив голос, но не настолько, чтобы я не мог услышать, прибавила:

— Сириль, не надо разговаривать с мальчиком, которого ты не знаешь, особенно когда он гуляет без провожатого.

Я уже считал Сириля своим другом и потому был горько обижен, что меня оттолкнули с таким презрением. От меня не укрылось, что мальчик молчал и избегал смотреть в мою сторону. Я встал и ушел прочь со стесненным сердцем, ни разу не оглянувшись.

После того как я пробродил довольно долго, думая о Сириле и сожалея, что эта быстро завязавшаяся дружба так скоро оборвалась, я увидел возле уединенной тропинки сидящих рядом на траве девушку и подростка, похожих как брат и сестра; у них были живые круглые глазки под смешно изогнутыми бровями, густо

усеянные веснушками лица, рот до ушей, вид озорной и до того веселый, что, глядя на них, нельзя было удержаться от улыбки. На девице было ситцевое платьице в цветочках, на мальчишке новенькая синяя куртка. Они жадно уплетали пирог с виноградным вареньем и отхлебывали по очереди из большой бутылки.

Увидев, что я уставился на них во все глаза, малый похлопал себя по животу и крикнул, протянув мне бутылку:

— Вот вкусно-то! Хотите отведать?

Скорее от смущения, чем из гордости, я удалился, ничего не ответив, и мне даже не пришло в голову, что я подчеркнул свое превосходство маленького буржуа над деревенской четой еще более грубо, чем та старая дама в кринолине, которая дала мне понять расстояние между ее внуком и неизвестным бродящим по парку мальчиком.

Тем временем я почувствовал голод и с тревогой заметил, что тени от деревьев стали длиннее. Я вынул часы и обнаружил, что мне остается всего тридцать пять минут, чтобы успеть вернуться домой к обычному часу. Прибыв туда с некоторым опозданием, совсем запыхавшись, благоухая свежей травой, я застал у нас тетю Шоссон, которая спросила меня, хорошо ли я учусь и что я делал сегодня.

Она пришла очень кстати и задала весьма удачный вопрос. Совесть не позволила бы мне солгать матушке, но обмануть тетю Шоссон я считал даже похвальным. Поэтому я ответил, что за сегодняшний день узнал больше, чем за целых полгода, и не потерял времени даром.

Тетя Шоссон пришла в восхищение от моего цветущего вида и наставительно заметила, что ученье не приносит вреда здоровью.

Я надеялся, что благодаря беспорядку, царящему у нас в коллеже, мое отсутствие пройдет незамеченным. Так и случилось. А в числе других счастливых последствий этого преступного и восхитительного дня я должен отметить одно очень странное.

Наутро я увидел г-на Кротю без всякого отвращения: моя ненависть к нему прошла,

IV

Госпожа Ларок

Я уже кончал одеваться, когда матушка сказала мне:

— Госпожа Ларок очень больна. Она умирает. Рано утром ее дочери посылали за тобой. Они дежурят у ее постели. Поторопись, сынок.

Я удивился. На днях говорили, что у нее простуда, и я не обратил на это внимания.

— Ночь она провела ужасно, — добавила матушка. — В свои девяносто три года она на редкость упорно борется с болезнью. Только к утру она успокоилась.

Я пустился бегом. На пороге спальни я словно почувствовал некую невидимую преграду и остановился. Глубокая тишина прерывалась только хрипом умирающей. Старшая из дочерей, мать Серафима, в монашеской одежде, с лицом желтоватым, как у старинных восковых фигур, стояла у кровати, помешивая серебряной ложечкой лекарство; степенная и скромная, как бы отрешившись от всего, она ухаживала за больной с аскетическим спокойствием, подобающим этой интимной и торжественной обстановке. Младшая дочь Тереза, опухшая от слез и бессонницы, с растрепанными седыми волосами, сидела, положив локти на колени и подперши щеку рукой, удрученная, растерянная и кроткая, и неотступно глядела на мать. Я не узнавал комнаты, хотя ничто в ней не изменилось, не считая склянок, пузырьков и стаканов, загромождавших ночной столик и мраморную доску камина. Налево — кровать с высокой спинкой, которая загораживала от меня умирающую. Над изголовьем — кропильница, поддерживаемая двумя восковыми раскрашенными ангелами, распятие и рядом портрет Терезы, еще юной и тоненькой, с темными, высоко взбитыми локонами, в шелковом платье с пышными рукавами, и с талией сильфиды.

На окне — старые занавески из красной ткани. Направо, на комод красной дерева, — кофейный сервиз, белый с широким золотым ободком; над ним, на стене, дагерротип г-жи Ларок и голова Ромула, карандашная копия с картины Давида*, сделанная матерью

Серафиной в детстве. Но теперь на всей этой заурядной обстановке лежал отпечаток величия.

— Входи, Пьер, — сказала монахиня.

Я подошел к кровати. Лицо г-жи Ларок не изменилось. Над вздутым животом высоко поднималось одеяло. Умиравшая обиралась землисто-бледными руками. Она лежала, полузакрыв глаза, и никого не узнавала. Должно быть, она ощущала мучительный голод, потому что то и дело просила есть и спрашивала резким голосом, уж не в харчевне ли она, что ее так плохо кормят. Она продолжала хрипеть, но лежала спокойно. Я пробыл при ней уже около получаса, когда она вдруг начала метаться. Лицо ее пылало, редкие седые волосы, выбившись из-под чепца, прилипали к вискам.

Она заговорила прерывисто, но совершенно отчетливо:

— Эй!.. Жаннета. Эй!.. Погодите немного, матушка, вот только загоню корову в хлев... Совсем стемнело... Матушка, я им подала гороховый суп и яичницу... Браконьеры, браконьеры!

Она мысленно видела себя ребенком в родной деревне.

— Матушка, ночь на дворе! Ни зги не видать. Я зажгу горелку.

Она произносила «гурелку», называя так лампу старинной формы, какие висят над очагом в нормандских деревнях.

— Матушка, я напеку для маленького Пьера гречневых блинов, он так их любит.

При этих словах ее дочери вздрогнули. А я испытал странное и жуткое чувство, услышав, как умирающая смешивает меня с людьми и вещами прошлого поколения.

Тереза по-прежнему сидела в изнеможении на своем низеньком кресле. Мать Серафина проводила меня в переднюю и заговорила спокойным голосом:

— Она была в полном сознании, когда причащалась. Ее соборовал аббат Муанье. Врач с самого начала считал ее положение безнадежным, и при таком преклонном возрасте мы не могли тешить себя иллю-

зиями. В пятницу у нее началось старческое воспаление легких, и почти сразу наступил паралич кишечника. Тереза плохо переносит бессонные ночи и потому очень устала.

И мать Серафима, засунув руки в карманы, слегка кивнула мне головой на прощанье. В ней было что-то величавое и безыскусственное, как в ее монашеской одежде; от ее скорби веяло миром и спокойствием. За кухонной дверью слышался голос попугая Наварина, который кричал:

Славный табачок
В моей таба...
В чем дело? В чем дело?

Когда я вернулся туда вечером, занавески были задернуты. С ночного столика убрали стаканы, пузырьки и склянки. Горели две свечи, в блюде со святой водой лежала ветка самшита. Г-жа Ларок, вся в белом, мирно спала вечным сном, скрестив руки, с распятием на груди.

— Простись с ней, Пьер, — сказала монахиня, — она любила тебя как сына. В последние минуты, пока была еще в сознании, она думала о тебе. Она сказала: «Дайте Пьеру от меня на память золотые часы. И велите вырезать на крышке число моей...» Она не докончила. И с той минуты уже никого не узнавала.

V

Господин Дюбуа

За последнюю неделю у меня были плохие отметки. Вел я себя отвратительно, уроков не учил. Моя бедная матушка, огорченная и расстроенная, призвала на помощь г-на Дюбуа¹.

— Вы так участливы к этому ребенку, — сказала она, — так побраните же его! Он вас послушается лучше, чем меня. Разъясните ему, какой вред он себе наносит, забросив ученье.

¹ См. «Маленький Пьер». (Прим. автора.)

— Ах, сударыня, как я могу убедить его в том, в чем сам далеко не убежден, — возразил г-н Дюбуа.

И, вынув из кармана книжку, он прочел:

— «Гомеру не пришлось торчать десять лет в коллеже, чтобы под розгами заучить несколько слов, которые дома он прекрасно усвоил бы за полгода».

И знаете, кто это сказал, госпожа Нозьер? Вы думаете, мужлан, невежда, враг науки? Совсем напротив: это был тонкий ум, большой ученый, лучший писатель своей эпохи, — а он был современник Шатобриана, — остроумнейший памфлетист, знаток греческого языка, превосходный переводчик пасторали «Дафнис и Хлоя», автор прелестнейших в мире писем, словом — Поль-Луи Курье *.

Матушка смотрела на г-на Дюбуа с удивлением и досадой. А старик, тихонько дергая меня за ухо, продолжал:

— Друг мой, будь глухим к поучениям этих педантов, врагов природы; надо уметь слушать природу, она одна поможет тебе понять Вергилия и постичь законы чисел. Не теряй ни одной свободной минуты, чтобы наверстать время, потерянное в коллеже.

Господин Дюбуа, старик лет семидесяти, семидесяти двух, в ту пору обладал величественной осанкой, высоко носил голову, изящно кланялся и держался приветливо, но с большим достоинством. Взбитая прическа по моде его юности и короткие бачки удлиняли его бритую физиономию. Лицо его было сурово, а улыбка очаровательна. Носил он обычно длинный зеленый сюртук, нюхал табак из черепаховой табакерки с медальоном и сморкался в большой красный платок.

Он познакомился с нашей семьей через свою сестру, пациентку и приятельницу моего отца. После смерти сестры г-н Дюбуа продолжал посещать наш дом. Он был у нас частым гостем. Если бы мне не довелось наблюдать, как г-н Дюбуа беседовал с моим отцом, чьих убеждений он решительно ни в чем не разделял, и как почтительно обращался к матушке, которая была слишком проста и скромна, чтобы поощрять его любезности, я и представления бы не имел, до какой степени совершенства светский человек

может довести прекрасные манеры, сдержанность и галантность. Происходя из рода крупных парижских буржуа, адвокатов и судей дореволюционной Франции, г-н Дюбуа по воспитанию принадлежал к старому светскому обществу. Его считали эгоистичным и скупым. Я думаю, что он действительно больше всего заботился о своих удобствах и что, ведя самый скромный образ жизни, не имел особой охоты быть щедрым. Это был человек постоянный в своих привычках, который любил простоту и, соблюдая ее в угоду собственным вкусам, ставил себе это в заслугу. Он жил одиноко, со старой домоправительницей Клориндой, очень ему преданной. Но она, к сожалению, «любила выпить», что создавало большие неудобства, и г-н Дюбуа, должно быть, потому так часто нас навещал, что избегал бывать дома.

Господин Дюбуа выказывал мне благосклонность, тем более лестную, что вообще терпеть не мог мальчишек. Ко мне он благоволил, надо думать, за то, что я слушал его с большим вниманием; он любил поговорить, и все, что он рассказывал, несмотря на мой юный возраст, почти всегда меня интересовало. К четырнадцати годам я окончательно завоевал его расположение. Скажу, не хвалясь, что он беседовал со мной охотнее, чем с отцом. У меня до сих пор звучит в ушах его голос, так давно уже умолкнувший навеки. Старик говорил тихо и никогда не повышал голоса. Его произношение, как и у его сверстников, несколько отличалось от теперешнего произношения: оно было легче и мягче. Г-н Дюбуа говорил *madame* вместо *madame*, *Sèves* вместо *Sèvres*, *Luciennes* вместо *Louvécien-nés*. Он говорил *segret* вместо *secret*, никогда не произносил двойных согласных, так что *commentaire* звучало у него как *comment* и проглатывал последние согласные в словах: *fil*, *ours*, *dot*, *legs*, *lacs*.

Об его жизни я мало что знал, да и не старался узнать больше; тогда я еще не так интересовался прошлым, как теперь. Двадцати лет от роду, на закате Наполеоновской империи, он вступил в армию и в качестве адъютанта генерала Д... участвовал в кампании 1812 года. Под Смоленском он отморозил себе уши.

Г-н Дюбуа не любил Наполеона, в равной мере возмущаясь тем, что он загубил пятьсот тысяч солдат в снегах России, и тем, что во время похода он носил польскую ушастую шапку, которая, вероятно, вполне подходила польским магнатам, но ему придавала вид старой бабы.

— Да он и в самом деле был любопытен и болтлив, как баба, — добавлял г-н Дюбуа. — Когда я его видел, он был толстый и желтый. Нельзя судить о нем по бюстам и портретам. Художники по его приказу прихорашивали его под античного героя. Он был вульгарен в манерах, невежлив с женщинами, неряшлив, вечно обсыпал себя табаком и ел прямо руками.

Мой крестный, г-н Данкен, который боготворил императора, при этих словах подскакивал от негодования.

— Я тоже его видел! — восклицал он. — В тысяча восемьсот пятнадцатом году восьмилетним мальчиком я сидел верхом на плечах отца. Император въезжал в Лион; у него было царственно прекрасное лицо. Не я один, огромная толпа была потрясена величием его облика, все окаменели, словно увидели голову Медузы. Никто не мог вынести его взгляда. А руки его, которые переворошили весь мир, были малы, как у женщины, и безупречны по форме.

В те годы Наполеон занимал в умах людей огромное место. Еще и двух поколений не сменилось после дней его славы. Не прошло и двадцати лет с тех пор, как его прах перевезли на погребальной колеснице к берегам Сены. Две его сестры, три брата, сын, его маршалы один за другим сходили в могилу, и каждая смерть, точно эхо, вызывала отзвук его имени. Один из его братьев, несколько генералов, множество солдат и соратников были еще живы. Некоторые старые простодушные люди, вроде моей няни Мелани, верили, что и сам он жив до сих пор.

При разговорах о нем неизменно разгорались страсти.

— Это был величайший из полководцев, — говорил г-н Данкен.

— Охотно верю, если измерять его величие колоссальными поражениями, — возражал г-н Дюбуа.

Завязавшись, спор развивался всегда по тому же направлению.

Г-н Данкен. Он был гениален в войне, так же как и в других областях. Его орлиный взор охватывал все сразу. Он обладал хладнокровием, поразительной памятью, знанием людей, умением увлекать толпу, исключительной трудоспособностью. Он вникал во все мелочи, подчиняя их главной цели. Его деятельность перешла границы, доступные силам человеческим.

Г-н Дюбуа. Он знал людей, но ненавидел людей выдающихся. Он терпел около себя только посредственность, предпочитая ничтожных лейтенантов и чиновников. И когда в час испытания ему понадобились сильные люди, вокруг него никого не оказалось. Бесспорно, он обладал большим умом; взгляд его был пронизательным, когда его не ослепляло честолюбие. Но это был низменный ум. Он смотрел на людей и на явления не как философ, а как администратор. Равнодушный к теориям, чуждый всякой философии, он не интересуется ничем, что не служит его непосредственным планам. Даже в его собственной сфере, в механике, он отвергает то, из чего нельзя немедленно извлечь практическую пользу, как, например, пароходы и паровозы. Ему совершенно недоступны бескорыстные идеи и отвлеченное мышление. Он никогда не понимал гения Лавуазье, Биша или Лапласа. Он питал отвращение к мысли.

Г-н Данкен. Значит, ему претили пустые рассуждения и бесплодные идеи. Это был человек действия.

Г-н Дюбуа. Он был лишен чувства меры. В нем можно найти поразительные контрасты. Он деятелен, энергичен, но подчас впадает в романтизм. Это великий человек и вместе с тем ребенок. Взгляните на эскизы, которые набросал е него Жироде в театре Сен-Клу: * его круглая голова — это голова ребенка, если хотите, сына Титана, но настоящего ребенка. В нравственном отношении он сохраняет детскую силу иллюзии, любовь к грандиозному, необычайному и чудесному,

неуменьше обуздывать свои желания, легкомыслие даже в самые опасные минуты и способность легко забывать; эту способность люди теряют в отрочестве, а он сберег ее до зрелых лет.

Г-н Данкен. Надо же было дать отдых уму, напряженному до предела: ведь он вмещал в себе целый мир.

Г-н Дюбуа. Это был игрок, и, как все игроки, он кончил плачевно. Он сказал однажды: «Ничего нельзя совершить, если ждать, пока все шансы будут на твоей стороне». Слова эти обличают игрока. Игроки жаждут сильных ощущений. Для азарта им необходимо чувство неуверенности. Они не получали бы удовольствия, если бы играли наверняка. Наполеон миру предпочитал войну, ибо на войне больше риску и больше шансов на выигрыш. И когда он проиграл на поле битвы, он вновь прибегнул к военной игре, чтобы вернуть потери.

А что оставил после себя ваш герой? В чем состоит дело его жизни? Он сам сурово осудил себя в Мюнхене не то в тысяча восемьсот пятом, не то в тысяча восемьсот девятом году, когда, увидев в отведенных ему покоех портрет Карла Двенадцатого, сказал с глубоким презрением: «Уберите отсюда портрет. Этот человек — неудачник». В тот день он сам произнес свой приговор в трибунале истории, он, кому среди великих людей было суждено стать великим неудачником.

Г-н Данкен. Как неудачником?.. Он спас Францию от анархии, он закрепил завоевания Революции; растопив в горниле своего гения старый общественный строй и новый, он получил сплав небывалой прочности, мощи и красоты, непроницаемый для огня и железа, для факелов гражданской войны и вражеских душек! Он создал новую Францию и даровал отчизне то, что ей дороже золота, насущнее хлеба — Славу.

При этом брелоки на животе г-на Данкена воинственно гремели, а г-н Дюбуа вертел в руках табакерку, словно желая вдохновиться и придать своей мысли четкость ее геометрических линий. В этот миг оба они составляли группу, достойную занять место на картине Рафаэля «Афинская школа»*.

Мой крестный любил сражения, хотя видел их

только в живописи. Г-н Дюбуа, переживший отступление через Березину, навсегда сохранил отвращение к войнам. Выйдя в отставку в 1814 году, он не вернулся на военную службу и при Реставрации, которую ненавидел не меньше, чем Наполеоновскую империю. Он вздыхал о временах Марка Аврелия*.

VI

На перепутье

В тот год, за неделю до начала занятий, я повидался с Фонтанэ, который вернулся из Этрета коричневым от загара, с голосом еще более густым и важным, чем прежде. Он оставался таким же щедедушным, но восполнял низенький рост возвышенностью мыслей. Поведав мне о морском купанье, играх, катанье на лодке и опасных приключениях, он нахмурил брови и сказал суровым тоном:

— Нозьер, мы переходим в старшие классы; мы на перепутье. В этом году тебе предстоит принять важное решение; думал ли ты об этом?

Я ответил, что еще не думал, но, вероятно, выберу литературу.

— А ты как? — спросил я.

Фонтанэ ответил, мрачно нахмутив лоб, что это слишком серьезный вопрос, что его нельзя решать необдуманно.

И удалился, оставив меня смущенным, уничтоженным, полным зависти к юному мудрецу.

Чтобы понять наш разговор, надо знать, что в те годы ученикам французского коллежа, одолевшим классы грамматики, вменяли в обязанность при вступлении в третий класс делать выбор между филологическими и точными науками, и подростки четырнадцати—пятнадцати лет, оказавшиеся «на перепутье», как тогда говорили, принуждены были по собственному разумению или по совету родителей избрать ту или иную отрасль знаний, ни мало не смущаясь необходимостью отвергать словесность ради алгебры и не

следовать отныне за хором всех девяти муз, которых г-н Фортуль счел нужным разъединить *.

Между тем, какое бы решение мы ни приняли, оно наносило нашему развитию большой ущерб: ведь точные науки, отторгнутые от филологии, становятся сухими и механическими, а филология, лишенная науки, бесплодна, ибо наука есть сущность филологии. Должен признаться, однако, что тогда подобные соображения еще не приходили мне в голову.

Самое удивительное то, что родители в разговорах со мной никогда не затрагивали этой темы. Стараясь вникнуть в причины их молчания, я могу объяснить это отчасти робостью отца, который никогда не настаивал на своих мнениях, отчасти тревогой матушки, чьи взгляды на этот счет еще не установились. Но вот в чем была главная причина их сдержанности: матушка не сомневалась, что, какую бы дорогу я ни избрал, всюду проявятся моя еще смутные, но блестящие дарования, отец же полагал, что как в филологии, так и в точных науках я никогда ничего путного не добьюсь. Что касается отца, у него был еще один повод не высказываться передо мной об этой реформе: она была проведена после государственного переворота *, по постановлению г-на Ипполита Фортуля, министра народного просвещения, в 1852 году и была связана с самыми жгучими политическими вопросами. Как ревностный католик, отец одобрял мероприятие, как будто идущее на пользу церкви за счет учебного ведомства, но как противник Империи он относился подозрительно к дарам врага и сам не знал, что думать. Его молчание мешало мне составить собственное мнение обычным способом, то есть попросту занять противоположную позицию. Но я твердо стоял за филологические науки; они казались мне легкими, изящными и близкими, и я преувеличивал трудность решения лишь для того, чтобы придать себе весу и не показаться менее серьезным, чем Фонтанэ. Ночью я спал безмятежным сном. Наутро, встретив Жюстину, которая подметала пол в столовой, я напустил на себя мрачный вид и сказал с важностью:

— Жюстина, в этом году мы переходим в старшие

классы. Мы на перепутье. Мне предстоит принять важное решение, от которого зависит вся моя жизнь. Подумай только, Жюстина: на перепутье!

При этих словах Дочь троглодитов оперлась на щетку, точно Минерва-законодательница на копье, замерла и, вперив в меня полный ужаса взгляд, вскрикнула:

— Господи, да неужто правда!

Она первый раз услышала слово «перепутье», совершенно для нее непонятное; но не спросила, что оно значит, потому что сразу придала ему свой особый смысл, и, должно быть, самый зловещий. Я догадываюсь, что перепутье она сочла неким бедствием, исходящим от властей, вроде рекрутского набора, налогов, контрибуции, и, хотя обычно она не отличалась чувствительностью, на этот раз пожалела меня от всей души.

Утреннее солнце освещало голубые глаза и румяные щеки Дочери троглодитов; она засучила рукава, и ее белые руки, покрытые красными царапинами, впервые показались мне красивыми. Вспомнив древних поэтов, я вообразил ее юной и величественной жрицей Аполлона, а себя молодым пастухом из Орхомена, пришедшим в Дельфы спросить оракула, какой путь знания ему следует избрать. Столовая доктора Нозьера не слишком походила на святилище Пифии, зато изразцовая печь с венчающим ее бюстом Юпитера Трофония вполне заменяла священный жертвенник, а мое юное воображение, в те годы готовое на все, тут же нарисовало мне пейзаж Пуссена*.

— Я на перепутье, — повторил я важно, — я должен сделать выбор между литературой и наукой.

Жрица Аполлона трижды покачала головой и изрекла:

— Вот мой брат Сенфорьен, тот собаку съел в науках: он получил награду за счет и награду по катехизису... Ну, мне надо полы подметать!

И она удалилась, волоча за собой щетку.

Я попросил ее ответить, не избрать ли мне науку.

— Конечно, нет, молодой хозяин, — ответила она в простоте сердечной, — у вас ума не хватит, где уж вам!

И прибавила в утешение:

— Ведь ум-то не всякому дается. Это дар божий.

Допуская вероятность, что я до такой степени глуп, как полагала Дочь троглодитов, я все же не был в этом вполне убежден, и этот вопрос, как и множество других, оставался для меня нерешенным. Однако я вовсе не стремился расширять свои знания и развивать ум. Выбирая дорогу на перепутье, я искал только покоя и удовольствия и, как уже говорил, оказал предпочтение филологии, потому что считал ее наукой более живой и легкой. Самый вид геометрических фигур, не возбуждая никакого интереса, погружал меня в уныние и оскорблял мою детскую чувствительную душу. Круг — еще куда ни шло, но угол, конус — какой ужас! Разве можно замкнуться в этом тоскливом, сухом, угловатом, колотчем миреке, разве хватит мужества на столь суровый путь, когда литература по крайней мере дарует тебе формы и цвета, когда она являет тебе порою образы фавнов, нимф, пастухов, деревья, милые сердцу поэта, и вечерние тени у подножия гор?

Теперь я со стыдом отрекаюсь от этого глупого презрения к геометрии, я смиренно склоняюсь у ваших ног, о старец Фалес, Пифагор — легендарный властелин чисел, Гиппарх — впервые отважившийся измерить миры, Виетт, Галилей — слишком мудрые, чтобы любить страдание, но все же пострадавшие за истину, Ферма, Гюйгенс, пытливые исследователи Лейбниц, Эйлер, Монж и Анри Пуанкаре *, чье непроницаемое, отягченное гением чело я сам созерцал, — о великие мужи, герои, полубоги, перед вашим алтарем я воздаю запоздалые хвалы Венере Урании, щедро наделившей вас своими бесценными дарами.

Но бедный глупый осленок, каким я был в те далекие дни, кричал безрассудно и необдуманно: «Я избираю литературу!»

Помню, как-то раз, когда я поносил геометрию и алгебру, за мной зашел мой крестный, румяный и цветущий г-н Данкен. Он пригласил меня на одно из своих любимых развлечений,

— Пьеро, ты, верно, соскучился за полтора месяца каникул, — сказал он, — пойдем послушаем лекцию господина Вернье об управлении воздушным шаром.

Господин Жозеф Вернье еще в юности прославился несколькими смелыми полетами. Его рвение и неустранимость приводили в восторг крестного, который горячо интересовался успехами воздухоплавания.

По дороге, сидя на империале омнибуса, мой добрый крестный с увлечением расписывал мне великое будущее аэростатов. Не сомневаясь, что проблема управляемых воздушных шаров будет вскоре разрешена, он предсказывал наступление дня, когда по воздушным дорогам станут путешествовать бесчисленные пассажиры.

— Тогда между государствами не будет больше границ, — говорил он. — Все народы сольются в один народ. И на земле воцарится мир.

Доклад Жозефа Вернье должен был состояться в одном из помещений огромного завода в Гренеле. В зал проходили через ангар, где находился воздушный шар, на котором юный аэронавт совершил один из своих опасных полетов. Сморщенная, опавшая оболочка шара лежала на полу, словно безжизненная туша сказочного чудовища, и огромный разрез, похожий на зияющую рану, привлекал всеобщее внимание. Возле шара помещался воздушный винт, который, как говорили, в течение нескольких минут управлял движением аэростата. Войдя в соседнее помещение, мы увидели ряды стульев, уже заполненных многочисленной публикой; в толпе пестрели дамские шляпки и слышался гул голосов. В глубине, напротив аудитории, возвышалась эстрада со столом и пустыми креслами. Я жадно осматривался вокруг. После десятиминутного ожидания на эстраду по трем ступенькам, под громкие аплодисменты, поднялся молодой аэронавт в сопровождении пышной свиты. Его безбородое, матовое, худое лицо, бледное и суровое, как у Бонапарта, было неподвижно, точно застывшая маска. По бокам уселись два старых академика, оба невероятно уродливые, вроде тех двух павианов, которых древние египтяне, изображая погребальные обряды, помещали справа и слева от покойника. Среди важных особ, позади оратора, выделялась очень красивая высокая дама в зеленом платье, похожая на женскую фигуру, олицетворяющую

христианское искусство на фреске Поля Делароша * в амфитеатре Академии Изящных искусств. Сердце мое бурно колотилось. Жозеф Вернье заговорил глухим монотонным голосом, вполне гармонирующим с его неподвижным лицом. Он сразу же высказал свои основные положения.

— Для воздухоплавания, — заявил он, — необходима паровая машина, которая приводит в действие винтовой двигатель, созданный на основе математических расчетов, наподобие тех, что позволили создать лопасти турбины и гребной винт морских судов.

Затем он долго распространялся о форме воздушных шаров, которые должны быть насколько возможно удлиненными для большего удобства управления при полете.

Один из павианов одобрительно кивал и первым начал аплодировать, другой оставался невозмутимым.

Потом докладчик сделал сообщение об своих опасных перелетах и рассказал об одном неудачном спуске, при котором якорь оборвался и шар, пронесясь с неимоверной скоростью низко над землей, ломал по пути деревья, изгороди, заборы, беспощадно подбрасывая среди обломков гондолу с экипажем. Мы содрогались, слушая его простую повесть о том, как в другом полете, когда клапан испортился, шар взвился на такую высоту, где трудно было дышать, и так раздулся, что мог бы вот-вот лопнуть, если бы Вернье не сделал разрез в оболочке. Однако материя при этом разорвалась доверху, шар начал спускаться с ужасающей быстротой, и аэронавты неминуемо разбились бы, не упави гондола в пруд. В виде заключения оратор объявил, что открывает подписку на постройку аппаратов, необходимых для воздухоплавания.

Ему бурно аплодировали. Оба павиана пожали ему руку. Дама в зеленом преподнесла букет цветов. А я с бьющимся сердцем, с глазами полными слез, весь во власти возвышенных чувств, говорил себе:

— Я тоже буду аэронавтом!

Ночью я не мог заснуть от волнения, восхищаясь подвигами Жозефа Вернье и заранее гордясь воздушными путешествиями, которым я намеревался себя по-

святить. Мне стало ясно, что для того, чтобы соорудить летательные аппараты и управлять ими, необходимы глубокие технические знания. И я решил избрать точные науки.

В то же утро я сообщил Жюстине о своем решении и о причинах, которыми оно вызвано. Она оказалась, что ее брат Сенфорьен еще мальчишкой мастерил воздушные шары из бумаги и, подержав их над огнем, запускал высоко в воздух. Но это просто одно баловство. Она не одобряла моего намерения живьем взлетать на небо и сурово осуждала путешествия на луну, потому что туда в наказание сослали Каина. Как-то в ясную ночь ей его показали, и она своими глазами видела, как он нес на спине вязанку колючего хвоста.

Целых три дня я оставался тверд в своем решении. Но на четвертый день меня вновь соблазнили мирты Вергилия и тайные тропинки в лесу, где бродят тени умерших. Я отказался от славы завоевателя воздушных пространств и беспечно вступил на стезю, которая вела в класс г-на Лерона. Приняв это решение, я несколько возгордился и стал презирать своих товарищей, избравших другую отрасль знаний. Таков был обычный результат разделения по дисциплинам на перепутье. Как и должно было случиться, как того требовал принцип корпорации, столь распространенный и присутствующий тем, у кого нет собственных принципов, ученики классов точных наук и наук филологических взаимно презирали друг друга. Как приверженец филологии, я разделял предрассудки моих собратьев и любил высмеивать тяжеловесный и неуклюжий ум математиков. Может быть, им и в самом деле недоставало изящества мысли и классического образования. Зато какими болванами были мы, филологи!

Я не могу судить по собственному опыту о преимуществах разделения по специальностям, так как вообще не способен от природы обучаться совместно с другими. Как в классе точных наук, так и в классе филологии одинаково проявился бы мой замкнутый ум и строптивый дух. Тому немногому, чему я научился, я научился сам.

Думаю, что реформа ускорила упадок классических наук, которые уже не отвечали нуждам буржуазного общества, целикам поглощенного интересами промышленности и финансов. Как тогда говорили, министр народного просвещения в 1852 году употребил свой опыт и энергию на то, чтобы преобразовать постановку школьного преподавания, признанного в высших сферах опасным для общества. Урезывая в программах наиболее возвышенные предметы, он откровенно заявлял: «Исторические и философские рассуждения — неподходящее занятие для детей; подобные несвоевременные изыскания порождают в юных умах лишь сомнения и тщеславие». Не так, разумеется, должен мыслить педагог, заинтересованный в просвещении юношества! Фортуль похвалялся тем, что воспитает благонамеренное поколение, и ставил себе целью дать буржуазным сыновьям, выросшим в годы либеральной монархии, образование, подходящее для деловой деятельности, к которой они предназначены. В то время один педагог, человек буржуазных взглядов, оставшийся верным Июльской монархии, точно сформулировал это направление в следующих строках: «Наши сыновья не предназначены стать учеными. Мы не собираемся делать из них поэтов или литераторов: поэзия и литература — слишком ненадежные профессии; не готовим мы их и в адвокаты: адвокатов у нас и так достаточно. Мы хотим, чтобы из них вышли хорошие коммерсанты, хорошие землевладельцы. А для этих сословий, составляющих основу общества, совершенно не нужно, чтобы вы преподавали нашим сыновьям латинский и греческий языки, которые они все равно быстро забудут. Не могут же все на свете писать, говорить речи, преподавать! Громадное большинство не принадлежит к ученым профессиям. А что делают ваши педагоги для этого громадного большинства? Ничего, вернее ничего хорошего».

Во всякой благородной душе эти грубые, низкие слова вызовут возмущение. Я напомнил о них потому, что подобные умонастроения держатся еще и в наше время. За полвека система среднего образования ухуд-

шила. Она обречена. В современном обществе нельзя мириться с тем, что детям из народа доступна лишь начальная школа, а лицей предназначен для богатых детей, которые к тому же ничему там не научаются. После пяти лет ужасной войны *, когда все прежние установления оказались устаревшими, необходимо перестроить систему народного просвещения по новому плану, величественному в своей простоте. Обучение должно быть одинаковым для детей богатых и бедных. В начальную школу пойдут все. Те из них, кто выкажет наибольшие способности, будут приняты в среднюю школу, бесплатную, где рядом, за партами, соединятся вместе лучшие из буржуазной молодежи и лучшие из молодежи пролетарской. А эта отборная молодежь в свою очередь выделит самых достойных в высшие школы наук и искусств. Таким образом, демократией будут управлять лучшие из лучших.

Возвращаясь к баснословным временам моего детства, я должен сказать, что инстинкт, приведший меня к изучению литературы, не обманул меня. В этих мрачных залах передо мной предстали Греция и Рим, — Греция, открывшая людям знание и красоту, и Рим, который умиротворил мир.

VII

*Мурон Воробьиное Просо **

В эпоху, когда я учился в школе, существовал обычай ежегодно 28 января, в день Карла Великого *, устраивать банкет, куда приглашались все ученики, занявшие первое место по какому-нибудь предмету. В третьем классе у меня было мало надежды попасть когда-либо на этот пир богов. Я был далеко не первым в классе, вполне довольствуясь скромным местом среднего ученика. Нельзя сказать, чтобы я ленился; напротив, я занимался не меньше других, а иногда и больше. Но чем больше я старался, тем ниже скатывался. Причина в том, что я занимался исследованиями, совершенно чуждыми школьному преподаванию, и с таким усер-

дием, что это поглощало все мои силы. Я безраздельно увлекался то одной, то другой темой, предаваясь ей всем существом. В ту осень, например, в первые три недели после начала занятий я был околдован царицей Нитокридой *. Я думал только о ней, видел ее одну, дышал только ею. Мне не было никакого дела до предметов, входящих в программу, до сочинений, переводов, вольных изложений, ни до басен Эзопа, ни до жизнеописаний Корнелия Непота *, ни до Пунических войн *. Все, что не касалось царицы Нитокриды, было мне чуждым. На свете не встречалось еще такой всепоглощающей любви! Когда это чувство начало угасать (ибо ничто не вечно), матушка как-то подарила мне веточку омелы, сказав, что это священное растение друидов *, и я на многие недели погрузился в мечты о дремучих лесах, о жрицах в белых одеждах, о золотых серпах и корзинах с омелой. Потом я начал увлекаться пчелами Аристия и золотыми яблоками в саду Гесперид *. Поглощенный своими грезами, я не проявлял никаких признаков ума и, понятно, не мог внушить особого доверия нашему учителю, г-ну Босье; это был человек справедливый, серьезный и даже чуточку угрюмый, с ясным, но довольно ограниченным умом, насколько я могу судить по воспоминаниям. Ко мне он относился с непреклонной суровостью, безо всякой жалости, так как совершенно искренне считал меня дурной, испорченной натурой. Между тем в то время, вопреки своему созерцательному нраву, я отличался одним свойством, которое утратил впоследствии: я был тщеславен. Да, несмотря на слабую сообразительность, которая вызывала презрение г-на Босье и навсегда лишала меня надежды занять место среди первых учеников, я жаждал блистать в классе и пожинать лавры, как античный герой. Да, я любил славу! Восприняв все же кое-что из школьной науки, я одинаково восхищался победителями при Саламине * и учениками, удостоенными высших наград. Я любил славу! При школьном режиме Второй империи, которому я был подчинен, я вздыхал о бумажном зеленом венке, как позже стал бы мечтать о крестах, орденских лентах и вышитых мундирах *, если бы не сбился с пути.

Я любил славу; я завидовал нашим школьным светилам.

Из них особенно блистали трое; важные, серьезные, величественные, может быть несколько тяжеловесные, но солидные и основательные, они пожинали все лавры и всегда занимали первые места, — Радель, Лаперльер и Мориссе. Все трое были пансионерами и, заразившись полувоенными правами интерната, презирали приходящих учеников, вроде меня, как штафинок и чужаков. Их объединял дух корпорации, совершенно мне чуждый и которым я, на свою беду, никогда не мог проникнуться. Они верховодили на переменах так же, как и на уроках, и показывали в игре в чехарду или в горелки то же высокое мастерство, которое было за ними признано в греческих переводах и латинских сочинениях. Такое обилие талантов больше поражало меня, чем восхищало, и я относился к этим светилам скорее с недоверием, нежели с симпатией.

Каждую неделю, в субботу вечером, г-н Босье объявлял отметки по сочинению на заданную тему, изложению, устной речи, переводу с латинского и на латинский; при этом он признавался, что даже после самого тщательного рассмотрения письменных работ этих трех отличных учеников ему было чрезвычайно трудно отдать предпочтение одному из них перед двумя другими. По его словам, Радель, Лаперльер и Мориссе были равны во всем: пожалуй, можно было отметить лишь то, что у Лаперльера язык более изящен, у Радоля — более точен, у Мориссе — более лаконичен. Лаконизм г-н Босье считал главным достоинством Мориссе. Я же был чужд всему, что говорилось и делалось в классе, пренебрегал самыми полезными предписаниями, не знал самых необходимых правил, и мои сочинения и переводы далеко не отличались ни точностью, ни изяществом, ни лаконизмом. Все, что выходило из-под моего пера, полно было неправильных оборотов и варваризмов, неточностей и противоречий. От одного вида моих письменных работ г-н Босье впадал в уныние, и лицо его выражало суровую укоризну. Тонкие, изогнутые губы учителя искажала страдальческая гримаса, когда он горько упрекал меня за мно-

гочисленные ошибки, а в особенности за дурной вкус. Мое безвкусие приводило в отчаянье г-на Босье, и это тем более меня угнетало, что я понятия не имел, как развить в себе хороший вкус. Даже теперь, после стольких лет, я все еще не понимаю, почему, собственно, г-н Босье находил мой вкус таким дурным. Но его отвращение было явным, судя по тому, с какой зловещей усмешкой он перелистывал одним пальцем мои письменные работы. Немилость учителя удручала меня. Я чувствовал, что придется навсегда отказаться от славы; лишь бы удалось укрыться среди серой посредственности, — и то хорошо.

Меня обнадеживало только одно: я никогда не спускался до трех последних мест, — это вообще было невозможно. Эти три места навеки закрепили за собой Морло, Лаборьет и Шазаль. На любом классном испытании, в любой письменной работе по любому предмету — математике или литературе, родному языку или иностранному — Морло, Лаборьет и Шазаль неизменно оставались последними. Это повторялось каждую неделю, изо дня в день, с постоянством мировых законов, управляющих движением светил и сменой времен года. Предпоследнее место не было столь неизбежно, оно доставалось поочередно то Лаборьету, то Морло. Зато самым последним неминуемо был Шазаль, и можно было только восхищаться непоколебимой твердостью, с какой он удерживал за собой это место. Г-н Босье не противился этому явлению, столь безукоризненно точному и закономерному. Он склонялся перед Необходимостью, владычицей людей и богов, и, оглашая список отметок, заканчивал его именами Морло, Лаборьета и Шазалья, не вдаваясь в излишние комментарии. Итак, в случае поражения, Морло, Лаборьет и Шазаль, если можно так выразиться, прикрывали мой тыл. Подобная гарантия была далеко не бесполезна, наоборот, она с каждым днем становилась мне все более необходимой. Я скатывался все ниже, некие тайные коварные силы толкали меня к последним рядам. Как я мог сомневаться, если г-н Босье заявлял об этом с жестокой прямоотой своей суровой и справедливой натуры; если матушка, уязвленная в материнской гор-

дости, сокрушенно упрекала меня за обедом, отчего блюда казались мне горькими; если отец укоризненно молчал; если даже моя славная Жюстина, потеряв всякое уважение к «молодому хозяину», ставила мне в пример своего брата Сенфорьена, который сызмальства получал в сельской школе все награды! Я огорчался постоянными неудачами и тщетно старался отыскать причину, не догадываясь приписать ее своему полному невниманию к тому, что говорилось и делалось в классе. И я падал все ниже. В одну из суббот, в декабре, по переводу на греческий язык я оказался в числе последних (о бессмертные музы, непорочные девы, о Мнемозина *, изгладьте из памяти этот позор!), оказался рядом с Морло, Лаборьетом и Шазалем, поместившись между Морло, которого я превосходил в силу обстоятельств, и Муромом, ненавистным Муромом, который по воле рока, к моему крайнему удивлению, превзошел меня. Я глубоко презирал Мурона, Жака Мурона, малыша Мурона, которого мы называли Мурон Воробьиное Просо, так как любили острить. Я считал его глупым, и читатель увидит в конце этой повести, был ли я прав. Он казался мне еще более ограниченным, чем Морло, Лаборьет и Шазаль. Шазаль был простоват и восхищал нас иногда забавной наивностью своих ответов; косоглазый, порывистый, горластый Лаборьет казался сумасшедшим; Морло, вечно сонный, с длинными шелковистыми ресницами походил на заколдованного принца из арабских сказок. В каждом из них было кое-что интересное. Но Мурон не представлял для меня решительно никакого интереса, и мои товарищи, по-видимому, относились к нему так же, как я. Худенький, небольшого роста, хилый, постоянно хворавший, Мурон пропускал много уроков, и частые заболевания пробили глубокие бреши в его школьных познаниях. У него был медлительный ум, неважная память, и, по свойственному ему простодушию, он даже не старался скрывать своих недостатков. Словом, он казался нам уродливым, потому что был слаб, глупым, потому что был робок, достойным презрения, потому что был миролюбив. Правда, в натуре Мурона чувствовалось что-то особенное —

таинственное, сокровенное и глубокое, и поэтому нам следовало бы взвесить и обдумать наш приговор. Но нас увлекал глупый мальчишеский задор, и в классе вошло в обычай дразнить и высмеивать Мурона. Я тоже издевался над Муроном, ибо в те годы слепо подчинялся обычаям. Если бы так продолжалось дальше, я перестал бы себя уважать, но зато преуспел бы в свете. Мурона я презирал, всячески старался его унижить и очернить и вел себя с ним хуже и глупее всех, хотя в сущности не испытывал к нему той невольной антипатии, которую он внушал другим ученикам и преподавателям. Я-то по крайней мере был искренен. Я чистосердечно считал Мурона ниже себя, жалким существом, полным ничтожеством и выражал свое презрение в едких насмешках, насколько мне позволяли моя врожденная мягкость и легкомыслие.

Господин Босье, подтверждаю, — а его поступки доказывают это лучше меня, — г-н Босье был справедлив. Его Фемиде, может быть, недоставало прозорливости и милосердия, но она ровно держала чашки весов. Странный случай, о котором я сейчас расскажу, доказывает, что г-н Босье судил без ненависти и пристрастия и что его приговор подчас стоил ему самому больших мучений. Вот факты: в одну из суббот, удивительную субботу, г-н Босье объявил, что я первый в переводе с латинского. Он провозгласил это суровым тоном, с грустью, с глубоким огорчением. Он дал понять, что это весьма досадно, прискорбно, даже безнравственно. Но все же он объявил об этом во всеуслышание и, хотя с неохотой, с досадой, но сам присудил мне эту честь. Оказалось, что перевод был трудным. Даже самые искусные запутались во многих местах. Они старались преодолеть трудности, но не преодолели их. Меня же выручило мое легкомыслие: я, по обыкновению, ни над чем не задумывался, не заметив трудностей, легко с ними справился. По крайней мере такое объяснение пытался дать г-н Босье этому необъяснимому случаю. Так или иначе, я был первым; я превзошел Раделя, Лаперльера и Мориссе.

Я был первым. Я любил славу, но не был создан для славы и плохо ее переносил. Первый луч успеха, ослепивший меня столь неожиданно, вскружил мне голову. Я зазнался; по странному заблуждению я находил вполне естественным быть первым в классе, тогда как на самом деле это случилось против всяких правил и ожиданий. Вдруг мне пришла в голову мысль, наполнившая меня радостью и гордостью. Я подумал, что меня пригласят на банкет в день Карла Великого, и я буду восседать там среди великих и славных, в рядах первых учеников, начиная с третьего класса, где я учился, и вплоть до классов риторики и высшей математики. Какой триумф! Какое упоение! На банкете Карла Великого бывало не только торжественно, но и восхитительно. Мне говорил один из старших школьничков, что там подают взбитые сливки и мороженое, там пьют шампанское из хрустальных бокалов.

Я принял глупо-высокомерный вид, чем поставил себя гораздо ниже Морло, Лаборьета и Шазалья. А когда Мурон, малыш Мурон, бросив рисовать розетки в тетради, повернулся ко мне с насмешливой и добродушной улыбкой, обнажившей его желтые зубы, я притворился, будто не замечаю столь ничтожное существо. И шепнул на ухо своему соседу Нуфлару:

— Ну и балда этот Мурон!

После звонка, выходя из класса, я старался подражать тяжелой бычьей походке и неторопливым движениям моих соперников, хотя и побежденных, но все еще надменных и грозных, — Раделя, Лаперльера и Мориссе.

Увы! Мне больше ни разу не удалось добиться победы. На следующей неделе г-н Босье с явным удовлетворением объявил о моем провале. Из-за ошибок в переводе, который пестрел неправильными оборотами и варваризмами, я снова оказался в последних рядах, неподалеку от Морло, Лаборьета и Шазалья. Эти трое обладали дивным даром стойкости и постоянства. В конечном счете, на мою беду, первое место, занятое мною один-единственный раз, только подчеркнуло мною посредственность и уронило меня в

глазах класса. Зато оно обеспечило мне кресло на банкете Карла Великого.

В моих мечтах этот банкет становился с каждым днем все великолепнее. Не скажу, чтобы он представлялся мне в виде пира богов, изображенного Рафаэлем на плафоне виллы Фарнезе*, — это само собой понятно и не требует объяснений. Но мысленно я украшал его всей пышностью и торжественностью, какие могла изобрести моя юная и неопытная, но живая фантазия. Банкет был главным предметом моих размышлений. Он стал бы и главной темой разговора, но я не смел беседовать об этом ни с отцом, опасаясь его холодной рассудительности, ни с матушкой, которая, конечно, возразила бы, что я недостойн такой чести, ибо занять первое место всего один раз — значит занять его по чистой случайности. Я говорил о предстоящем торжестве только на кухне с Жюстиной и однажды, когда она с остервенением мешала на сковородке картошку, сообщил ей, что на пиру Карла Великого подают павлинов с распущенным хвостом, оленей с рогами и кабанов в шкуре. Это не было выдумкой: об этих чудесах кулинарного искусства я прочитал в книжке старинных сказок и вообразил, что столы будут так же пышно сервированы на банкете 28 января. Но Жюстина меня не слушала и мешала уголь с таким грохотом, что отец на другом конце квартиры вздрагивал от испуга.

Между тем Мурон, малыш Мурон, тихий и скромный, всегда робкий и медлительный, делал успехи и возвышался с каждой неделей; однажды он даже занял место между Лаперльером и Мориссе, к удивлению учеников и самого г-на Босье. Эта удача предвещала еще более высокие и значительные успехи. На второй неделе января Мурон оказался первым в переводе на греческий язык. Он превзошел Лаперльера и Раделя в правилах употребления подписной йоты и лучше знал глаголы на *тi*, чем сам Мориссе. Весь класс веселым чириканьем приветствовал успех Мутона, носившего имя Воробьиного Проса, и на этот птичий щебет, прославлявший победителя глаголов на *тi*, улыбнулся скривив губы, сам г-н Босье и стал при

этом похож на старого фавна. Говорили, — представьте себе, — говорили, что даже воробьи на деревьях, запорошенных снегом, радостно зачирикали, вторя своим подражателям. Ну, а меня, признаюсь к стыду моему, ужасно расстроила мысль, что теперь и Мурона пригласят на банкет Карла Великого. Слава, разделенная с Муроном, мне претила, и все почести и удовольствия на пиру, где я буду сидеть рядом с ним, перестали меня привлекать. Признаваясь в этих чувствах, я спрашиваю, по примеру Жан-Жака Руссо, может ли хоть один из читателей поклясться, что он лучше меня *. Этот день, когда я показал себя таким мелочным и тщеславным, стал для меня днем величайшего унижения. Г-н Босье громогласно заявил, что в употреблении аориста я обнаружил грубейшее невежество, а в переводе допустил множество ошибок, уступая в этом лишь Морло, Лаборьету и Шазалою.

Я вернулся домой мрачный и тут же побежал на кухню к Жюстине, которая в это время чистила морковь огромным ножом. Ее голые руки были до самых локтей испещрены царапинами, порезами, ссадинами и всевозможными шрамами. Румянец ее щек соперничал с жаром горящих угольев. Я сообщил ей, что праздник Карла Великого — это сборище лентяев, дураков и ничтожеств, что за столом там не подают ни павлинов, ни оленей, ни кабанов, а только треску да фасоль. Я начал ей доказывать, что Мурон Воробьиное Просо глуп как пень. Пока я говорил, Жюстина сняла крышку с кастрюли, потом, ослепленная горячим паром, схватила щепотку соли на полке, опрокинула себе на голову бутылку с маслом, наткнулась на стол, уронила лампу и растянулась во весь рост на гулком каменном полу. Подобные несчастья случались с ней так часто, что она не обратила на это внимания. Но мне было трудно вести серьезную беседу с такой неуравновешенной особой.

День Карла Великого выдался хмурый и дождливый. Банкет состоялся в школьной столовой, где я ни разу еще не был, но часто, проходя мимо дверей, воротил нос от противного запаха сала. Жюстина говорила, что у меня чересчур тонкий нюх. Длинный зал

с черными мраморными столами был пестро разукрашен простенькими бумажными гирляндами, напоминающая казарму или ризницу. Скатертей не было, но на тарелках белели салфетки, сложенные в виде птичек, и это восхитило меня, словно в моих мечтах уже порхали голубки Афродиты *. Меня поместили в конце стола, между Лаперльером по левую руку и Муроном по правую, у подножия эстрады, где восседал г-н директор, почтенный, улыбающийся аббат Делалоб, блистая как алмаз в черном венце педагогов. Я презирал Мурона; Лаперльер презирал меня. Никто из нас не обменялся ни словом. Лаперльер еще мог разговаривать с Раделем, своим соседом слева, но мы с Муромом были обречены на молчание. За столом не подавали ни павлинов, ни оленей, ни кабанов. После долгого ожидания появилась редиска и нарезанная кружками колбаса. Я созерцал созвездие преподавателей. Среди них красовался г-н Босье. Я узнал его изогнутые губы, пышные бакенбарды цвета перца с солью, свежесбривший подбородок. Он держался менее самоуверенно, чем в классе. Заткнув за галстук салфетку, он принялся закусывать. Я был поражен, — мне не приходило в голову, что он ест, хотя это было нетрудно предположить. При виде некоторых важных особ мы забываем о жизненных функциях организма, и этот дар абстракции немало способствует возвеличению человека. Блюда медленно сменялись одно другим. Шум голосов разрастался. Я слышал, как мой сосед слева, Лаперльер, объяснял Раделю устройство револьверов и карабинов, подаренных ему на Новый год, — ведь эти школьные светила даже в своих играх и развлечениях были героями. Слова Раделя я плохо различал, но он что-то говорил о верховой езде и чуть ли не о псовой охоте. Разве мог я, сын скромного городского врача, рассуждать на подобные темы? К тому же ко мне никто и не обращался. Мурон, напротив, время от времени оказывал мне робкие знаки внимания, но я сурово отвергал их, держась с ним так же высокомерно, как держались со мной Радель и Лаперльер. Взглядывая украдкой на его худенькое личико, такое тонкое и кроткое, я еще более укреплялся

в решении не водиться с этой ничтожной личностью. Однако некий таинственный, сокровенный голос предвещал мне, что мое презрение скоро пройдет, уступив место совсем новым, противоположным чувствам. Я сопротивлялся этому неведомому внушению, которое древние приняли бы за пророчество богов. После жаркого, когда мы, как говорит Гомер, «питием и пищею глад утолили», хохот и шум голосов стали оглушительными. Тут я заметил краем глаза, как Мурон обернул салфеткой правый кулак, которому он придал некоторое подобие человеческого лица, просунув большой палец между средним и указательным, и, глядя на эту живую куклу с комической и вместе с тем искренней грустью, обратился к ней со следующими словами:

— Как ты себя чувствуешь, бедный малыш Мурон? Тебе не с кем поговорить. Это очень грустно, но не огорчайся. Мы с тобой поболтаем вдвоем, и нам будет весело; я расскажу тебе, какое странное приключение произошло с учеником Пьером Нозьером. Ученик Пьер Нозьер явился на банкет Карла Великого без души, — ведь если бы душа была при нем, он бы разговаривал. Но он молчит, потому что здесь только его тело, без души. Где же она? В каком краю? На земле или на луне? Не знаю. А пока она гуляет бог знает где, тебе очень тоскливо, бедняга Мурон, сидеть за столом рядом с безжизненным телом, с восковым истуканом: он не говорит и не смеется, — это всего лишь истукан. Что ты скажешь на это, бедный малыш Мурон, бедняга Мурон Воробьиное Просо?

При первых словах этой маленькой сценки я вооружился презрением, чтобы оградить себя от навязчивости соседа, но вскоре поддался обаянию его милого голоса, его нежной и печальной души, и сердце мое растаяло. Я вдруг почувствовал, что Мурон покорила меня редкостными, бесценными качествами своего ума и характера, и я воспылил к нему горячей любовью. Я не мог вымолвить ни слова, но он все угадал, и его тонкое личико озарилось радостной улыбкой. В один миг мы стали закадычными друзьями. Мы все расска-

зали друг другу. Теперь я знал Мурона так хорошо, как будто никогда с ним не расставался.

Мурон Воробьиное Просо, Жак Мурон, мой дорогой Мурон жил с матерью и сестрой на улице Сены, в уютной квартирке, обставленной розовой и голубой плюшевой мебелью. Его отец Филипп Мурон, профессор химии в Высшей Нормальной школе, умер молодым, не успев завершить своих важных научных открытий. Жак Мурон тоже собирался изучать точные науки.

— Некоторые из них очень интересны, уверяю тебя, — сказал он. — Только боюсь, что мне трудно будет их одолеть. У меня слабое здоровье. Я вот и в этом году сильно болел.

— Это не опасно, — возразил я.

— Конечно, не опасно, — согласился он, улыбнувшись бледными губами. — Сестра тоже долго болела. Она пропустила три месяца ученья. По грамматике она пропустила причастия, а по истории — феодализм. Подумай только!

— Я люблю историю, — сказал я, — особенно разные необыкновенные события.

— Я тоже люблю. Но я всегда путаюсь в империях и династиях. Потому, может быть, что я такой маленький.

— Ты вовсе не маленький.

— Я становлюсь все меньше. Правда, правда, — я уменьшаюсь. Скоро я буду совсем, совсем крошечный.

Пиршество было в разгаре. Подали взбитые с сахаром белки в больших мисках и роздали по бокалам шампанское. Все развеселились. Даже Лаперльер снизошел до того, что чокнулся со мной, а мы с дорогим Муроном чокались раз двадцать. Я рассказал ему потешную историю, как привратница, желая проучить мальчишек, которые дергали звонок у подъезда, по ошибке выплеснула ведро воды прямо в лицо домовладельцу. А Мурон, смеясь и покашливая, рассказал о приключении продавца каштанов, у которого жаровня зацепилась за колесо проезжавшего экипажа и укатила на глазах хозяина. Потом мы дружно прославляли подвиги Спартака, Эпаминонда и генерала

Гоша *. Что касается Карла Великого, он казался нам немного смешным из-за огромной бороды.

— Знаешь, — сказал Мурон, — ведь, отправляясь в поход на норманнов, он взял с собой всего лишь двадцать тысяч франков¹.

Вероятно, мы слегка захмелели. Во всяком случае, несомненно, что, уходя с банкета, я унес салфетку, нечаянно сунув ее в карман. Я проводил Муруна до самого дома. И у дверей, сжимая в руке его худенькую горячую руку, поклялся ему в вечной дружбе.

Я был верен этой дружбе до самой его смерти. Он умер, когда ему исполнилось двадцать лет.

VIII

Романтизм

Одним из самых своеобразных людей, посещавших наш дом, когда мне шел тринадцатый год, был г-н Марк Рибер, черноволосый низенький человечек лет пятидесяти — пятидесяти пяти, взъерошенный, с крутым лбом и впалыми щеками, который довольно удачно напускал на себя зловещий и разочарованный вид. Правда, этому способствовали жизненные обстоятельства: говорили, что по его собственной вине дела его пришли в самое плачевное состояние. Сын крупного вино торговца в Берси, он в юности связался с группой «Молодая Франция»*, попал в общество кокоток и актеров бульварных театров, задавал роскошные пиры, построил в Клараре замок в готическом стиле и в постоянных кутежах промотал отцовское наследство. Его жена умерла молодой от болезни, которую в те времена еще называли сухоткой, и оставила ему дочь, по слухам, очень красивую, но хрупкого здоровья. Г-н Рибер слишком поздно сократил свои расходы и, кажется, разорился дотла. Таким образом, у него было достаточно причин быть печальным и удрученным; но люди,

¹ Игра слов: франки — германское племя, и франки — деньги.

близко его знавшие, вроде моего отца, считали его пустым, легкомысленным, беззаботным и были уверены, что, не замечая действительных жизненных невзгод, он предается скорби лишь по врожденной склонности, для собственного удовольствия. Это был чистокровный романтик, отъявленный романтик. Таких в то время больше не встречалось. Поэтому г-н Рибер вызывал во мне глубокое восхищение. В его словах, взглядах, жестах я угадывал гениальность и силу фантазии. Вокруг него мне мерещились сальфы, гномы, домовые, ангелы, демоны, феи. Надо было слышать, как он рассказывал какую-нибудь таинственную легенду или фантастическую балладу. Он утверждал, что безобразное прекрасно, а прекрасное безобразно, и я верил ему слепо. Теперь я в этом далеко не убежден. Г-н Рибер учил меня, что Расин просто рухлядь, старая калоша. Я всецело присоединялся к его мнению, ибо оно противоречило мнению нашего учителя, г-на Бонома: для меня это был решающий довод. Ах, с каким пылом старый романтик призывал меня, повергнув в ужас обывателей и филистеров, сокрушить гидру устаревших предрассудков, и с какой горячностью я рвался в бой, мечтая провозгласить свободу искусства над распростертым трупом г-на Бонома!

Моя милая матушка очень огорчалась, что я подпал под влияние г-на Рибера. Иногда она говорила со вздохом: «Он превратит Пьера в такого же безумца, как он сам!..» И рассчитывала, что мой крестный, г-н Данкен, восторжествует над этим вредным воздействием. Однако у г-на Данкена было мало надежды завоевать авторитет в моих глазах: он был благоразумен. Этот достойный человек считал г-на Рибера помешанным, буйным помешанным. Между нами говоря, он думал, по примеру г-на Дювержье де Орана *, что романтизм — просто болезнь, вроде лунатизма или эпилепсии, и благодарил небеса, что это поветрие теперь уже проходит.

Марк Рибер со своей стороны испытывал к моему крестному врожденную и, следовательно, непреодолимую антипатию. В его глазах крестный был буржуа. Буржуа — этим все сказано! Чтобы как можно больше

отличаться от этого презренного сословия, Марк Рибер носил черный бархатный камзол и широкие штаны старомодного покроя. Свои длинные волосы он зачесывал назад, оставляя на лбу сатанинский вихор, и подстригал бородку под Мефистофеля. В таком наряде он едко высмеивал моего крестного, одетого в длинный сюртук, приземистого и тучного, который носил золотые очки, как Жозеф Прюдом *, такой же высокий воротничок, подпиравший щеки, и галстук из черной тафты, трижды обернутый вокруг шеи; на щеках крестного играл яркий румянец, и это давало Марку Риберу повод сравнивать его лицо с букетом роз, обернутым в белую бумагу. Всякий раз, как я видел крестного, это меткое сравнение приходило мне в голову, и я еле удерживался от смеха.

Крестный обидчиво пожимал плечами, называл меня глупым верзилой и советовал лучше идти учиться уроки, чем дурачиться. Марк Рибер, наперекор ему, отговаривал меня слушать учителей.

— Это высохшие мумии, — восклицал он. — Это господа Фонтаны *.

И добавлял, играя словами, по-моему, очень удачно:

— Фонтаны рождают болванов.

Много раз в маленькой гостиной моих родителей мне доводилось слушать опоры между крестным и г-ном Рибером. Мой крестный казался живым Жеромом Патюро *. Я еще не был способен следить за ходом их рассуждений и тем менее судить о справедливости доводов той и другой стороны, если вообще эти доводы приводились. Я был мал и глуп, да к тому же слишком пристрастен. Мне всегда казалось, что крестный не прав. Дело в том, что он не старался блеснуть красивыми фразами, как его противник. Тот просто оглушал меня, пересыпая свою речь громкими словами: кольчуги, шарфы, шлем, великаны, драконы, оруженосцы, карлики, владелицы замка, пажы, часовни, отшельники. При звуках его голоса маленькая гостиная г-жи Нозьер превращалась в заколдованный мирок, и среди этой волшебной феерии раздавались проклятия, сарказмы, горланый хохот старого романтика.

Каким слабым казался мне тогда скрипучий голос крестного, который, играя брелоками на толстом животе, козырял цитатами из «Короля Ивето» и «Мельника из Сан-Суси»! *

Я не в состоянии передать точными словами их споры. И, вероятно, самое существенное от меня ускользнуло. Но когда я стараюсь теперь припомнить их рассуждения, мне кажется, что г-н Данкен не всегда бывал неправ. Он сетовал, что многие оттенки значений, некогда различных и строго разграниченных, смешались в современном языке и что прежде писали лучше и яснее, чем теперь. Он сокрушался также, что в наше время разум утратил свое владычество над людьми. Но у г-на Рибера было перед ним неоспоримое преимущество: он высказывал туманные, трудные для понимания мысли. И чем его тирады были непонятнее, тем прекраснее казались они мне. Нас никогда не восхищает то, что ясно. Чтобы вызвать восхищение, надо поразить. А потому я замирал от восторга, слушая определение романтизма.

— Это творческая мысль, порожденная мятежом и страданием, — вещал Марк Рибер, — это глубокая скорбь в сочетании с иступленным стремлением к бесконечному; это отчаянье, скрытое под самой язвительной иронией.

Что тут еще сказать? Я содрогался от ужаса и восхищения.

Политические споры между этими двумя противниками, столь разными по уму и характеру, проходили так же бурно, как споры литературные, но бывали гораздо короче. В политике мой крестный признавал только Наполеона. А г-н Рибер восхвалял Людовика Сварливого *. Призывая в свидетели всех святых, он клялся, что хотел бы жить только в царствование Людовика Сварливого. Крестный принимал это за шутку, но он глубоко заблуждался. Марк Рибер никогда не шутил, и серьезный вид, который он сохранял при самых диких своих изречениях, производил огромное впечатление на мой детский ум. Мысль, что хорошо бы родиться в царствование Людовика Сварливого, так крепко засела у меня в мозгу, что я постоянно

делился ею с матушкой, Жюстиной и товарищами по классу.

Однажды, на большой перемене, я сообщил об этом Фонтанэ, но тот, как натура рассудительная и возвышенная, возразил, что он предпочел бы жить в царствование Людовика Святого *.

Хотя я знал г-на Рибера уже давно, я никогда у него не бывал, пока однажды утром отец, навещавший его как врач и старый приятель, не взял меня с собой. Марк Рибер жил на правом берегу Сены, на улице Дюфо, возле церкви св. Магдалины. Ни эта улица, ни самый дом не представляли собой ничего романтического. Дом был построен отнюдь не в эпоху Людовика Сварливого, а скорее при Луи-Филиппе. Лестница с порыжелым ковром и чугунными перилами, выкрашенными белой краской, никак не вязалась со стилем г-на Рибера; прихожая с вешалками и стойкой для зонтов также не соответствовала его вкусам. Но погодите! Отец скрылся в коридоре, ведущем, вероятно, в спальню г-на Рибера, и жирная, грязная служанка, отворившая нам дверь, провела меня в небольшую гостиную, где стояли диваны с вышитыми подушками и восточными коврами. На стене гостиной висела огромная картина, которая дала мне познать всю прелесть страдания. Страдание сильнее потрясает сердца, когда оно прекрасно. Я был глубоко взволнован при виде этой картины, где изображена была очаровательная белокурая Офелия, которая тонула с улыбкой на устах. Она плыла, доверившись волнам, поддерживаемая раздувшимся платьем. Ее головка, увенчанная цветами и травами, покоилась на воде, как на подушке. От речных струй и прибрежных деревьев на лицо девушки падал бледный зеленоватый отсвет. Глаза бедной помешанной выражали наивное изумление. Созерцая эту прелестную и жалостную картину, я вдруг услышал, как юный голос запел за стеной со странными интонациями и паузами: «Прощай, кораблик милый!..» Эта песенка, которая в другое время, вероятно, нисколько бы меня не тронула, схватила меня за сердце, и я разрыдался. Песня оборвалась. Все еще всхлипывая, я

обернулся на стук отворившейся двери и увидел на пороге девушку, одетую в белое, как Офелия, такую же белокурую и тоже с цветами в руках. При виде меня она слегка вскрикнула и убежала.

Много дней, сам не помню сколько, я видел в мечтах Офелию и эту девушку, похожую на нее. Я перечитывал, пока не запомнил наизусть, рассказ королевы из драмы Шекспира:

Есть ива над потоком, что склоняет
Седые листья к зеркалу волны;
Туда она пришла, сплетя в гирлянды
Крапиву, лютик, ирис, орхидеи,

Для скромных дев они — версты умерших;
Она старалась по ветвям развесить
Свои венки; коварный сук сломался,
И травы и она сама упали
В рыдающий поток. Ее одежды,
Раскинувшись, несли ее, как нимфу;
Она меж тем обрывки песен пела,
Как если бы не чужала беды...¹

Через несколько дней, а может быть и недель, после посещения дома на улице Дюфо, где я испытал такое глубокое волнение, я узнал из разговора родителей за обедом, что г-н Рибер окончательно покинул Париж, где ему не на что было жить, и поселился в деревне на берегу Жиронды у родственников, которые возделывали виноградники; дочку свою Беранжеру он увез с собой, так как ее здоровье внушало опасения. Эта новость огорчила меня, но не удивила. Я ожидал, что услышу о ней самые печальные вести.

Время шло. Воспоминание о девушке с цветами исчезло из моей памяти так же незаметно, как скрылось под водой тело очаровательной возлюбленной Гамлета. Я вспомнил о ней случайно, осенним утром, услышав, как матушка напевала: «Прощай, кораблик милый!..»

¹ Перевод М. Лозинского.

Я спросил:

— Матушка, что случилось с господином Рибером? Уже лет пять я ничего не слышу ни о нем, ни о его дочери.

— Господин Рибер скончался, сынок. Разве ты не знаешь?.. А дочка его сошла с ума, но у нее тихое помешательство. Она бережно хранит в шкатулке простые камушки, принимая их за жемчуга и бриллианты. Она показывает их и дарит всем, кто к ней приходит. Ее безумие выражается шорою еще более странно. Она говорит, что не может читать, что стоит ей раскрыть книгу и взглянуть на страницу, как буквы разлетаются по комнате, точно мухи, и жужжат над ее головой. Поэтому она читает только букеты; она хорошо разбирает их смысл, так как понимает язык цветов. Но в последнее время цветы тоже стали разлетаться, как бабочки, от одного ее взгляда.

— А известно, отчего она сошла с ума?

— От несчастной любви. Она была невестой. Жених ее, узнав, что господин Рибер разорился и промотал даже приданое дочери, отказался от брака.

Я возмутился.

Матушка грустно улыбнулась.

— Дитя мое, далеко не все люди способны на верность и благородство.

Эта мысль поразила меня.

Хоть и не редкая сама по себе, она была удивительна в устах матушки, которая верила в человеческую доброту.

IX

Очарование

Вскоре после этого произошло событие, имевшее решающее значение в моей жизни. Я присутствовал на театральном представлении. Мои родители никогда не ходили в театр, и понадобилось исключительное стечение обстоятельств, чтобы они повели меня туда: случайно совпало, что мой отец своим искусством и заботливым уходом спас жизнь супруги одного

драматурга; что его историческая драма вскоре после счастливого выздоровления жены была поставлена в театре Порт-Сен-Мартен; что благодарный автор предложил отцу ложу на спектакль; что билеты были действительны на субботу — единственный вечер в неделе, когда я мог лечь поздно и когда театральная дирекция неохотно дает пропуска и, наконец, что в самой пьесе не было ничего предосудительного, ничего вредного для невинных ушей.

Целые сутки напролет я изнывал от страха и надежды, дрожал как в лихорадке в ожидании неизяснимого блаженства, которому любой пустяк мог внезапно помешать. До последней минуты я опасался, как бы доктора не вызвали к какому-нибудь больному. В день спектакля мне казалось, что солнце никогда не закатится. За обедом, который тянулся невыносимо долго, я не проглотил ни кусочка и смертельно боялся опоздать. Матушка все еще не была готова. Она боялась обидеть автора, пропустив первые сцены, и все же теряла драгоценное время, прикалывая цветы к корсажу и волосам. Моя дорогая матушка, стоя перед зеркальным шкафом, долго и внимательно рассматривала свое белое кисейное платье с накиннутой сверху прозрачной туникой, усеянной зеленым горошком, и, казалось, придавала огромное значение изяществу прически, складкам пелеринки на корсаже, вышивке на коротких рукавах и прочим мелочам своего наряда, которые казались мне совершенно излишними. Впоследствии я изменил свое суждение. Извозчик, нанятый Жюстиной, ожидал у подъезда. Но вот, надушив лавандой носовой платок, матушка начала спускаться. Уже на лестнице она спохватилась, что забыла на туалетном столике флакон с нюхательной солью, и послала меня вверх. Наконец мы приехали. Капельдинерша провела нас в красную бархатную ложу, выходящую в огромный зал, откуда доносился гул голосов и резкие звуки инструментов, которые настраивали музыканты. Три торжественных удара, прозвучавших со сцены и сменившихся глубокой тишиной, потрясли меня. Занавес поднялся, и это поистине явилось для меня переходом из одного мира в другой. И в

какой же волшебный мир я проник! Там обитали рыцари, пажы, благородные дамы и девицы, жизнь протекала более бурно и пышно, чем в мире, где я родился, страсти были неистовее, красота — прекраснее. Костюмы, жесты, голоса в этих высоких готических залах волновали чувства, поражали ум, восхищали душу. Отныне ничто для меня не существовало, кроме заколдованного царства, которое внезапно открылось моим жадным взорам, моей пламенной любви. Я всецело поддался иллюзии, и все театральные условности, которые, казалось бы, должны были ее разрушить, — подмостки, кулисы, раскрашенные полотнища, изображавшие небо, занавеси, обрамлявшие сцену, — только крепче замыкали магический круг. Драма переносила нас к последним годам царствования Карла VII *. И каждое действующее лицо на сцене, будь то ночной стражник или караульный офицер, глубоко запечатлевалось в моей памяти. Но когда появилась Маргарита Шотландская, мною овладел неизъяснимый трепет, меня бросало то в жар, то в холод, я едва не лишился чувств. Я влюбился в нее. Она была прекрасна. Я и не представлял себе, что женщина может быть так прекрасна. Она явилась из ночного мрака, бледная и печальная. Луна, в которой сразу можно было признать средневековую луну по окружавшим ее зловещим облакам и по явному ее пристрастию к готическим колокольням, озаряла юную дофину серебристым светом. Мои воспоминания так смутны, что я, право, не знаю, в какой последовательности их излагать и как закончить мой рассказ. Я восхищался белизной Маргариты, а ее подведенные синеватые веки принимал за признак аристократизма. Маргарита — жена дофина Людовика, но любит она неизвестного стрелка Рауля, молодого и красивого, который не знал ни отца, ни матери и потому всегда печален. Дофину нельзя осуждать за любовь к стрелку Раулю, так как вскоре выясняется, что он родной сын Карла VII. Король, узнав из предсказаний астрологов, что он умрет от руки сына, велел бросить где-нибудь в лесу новорожденного младенца и воспитал вместо него приемыша, который женился на Маргарите Шотландской и стал дофином; так что

в сущности Маргарита была предназначена именно Раулю. Она этого не знает, Рауль — тоже, но их влечет друг к другу неведомая сила.

Обыденная жизнь, к которой я возвращался в антрактах, казалась мне грубой и отвратительной, а крики продавцов: «Сироп, лимонад, пиво!» — хоть и были новы, непривычны для моего слуха, — оскорбляли меня своей пошлостью.

Я прочел в программе, что роль Маргариты Шотландской исполняет мадемуазель Изабелла Констан, и это имя огненными волшебными письменами запечатлелось в моем сердце. Я еще не настолько лишился рассудка, чтобы спутать действующее лицо с исполнительницей; но я мысленно приписал мадемуазель Констан черты характера Маргариты Шотландской, как ее изобразил в пьесе драматург, — любовь к искусству, благородное сердце, романтическую грусть.

В последнем антракте к нам в ложу зашел автор, высокий прыщеватый человек с проседью, и почтительно склонился перед матушкой. Напрасно он гладил меня по голове, как некогда делала Рашель, напрасно ласково расспрашивал об успехах в ученье, хваля за раннюю любовь к литературе, напрасно советовал хорошенько изучить латынь, утверждая, что знанию латыни он обязан красотой своего слога, чем выгодно отличается от литературных собратьев, которые пишут как сапожники. Я отвечал невпопад и даже не глядел на него. Знай он причину моего безразличия, он был бы польщен, но, должно быть, он просто счел меня дураком, не догадываясь, что я совершенно ошеломлен его пьесой. Занавес поднялся. Я снова ожил. Я вновь обрел Маргариту Шотландскую. Увы! Я нашел ее, чтобы тут же потерять навеки. Она погибла от злодейской руки дофина Людовика в ту минуту, как стрелок Рауль бросился перед ней на колени. Стрелка Рауля сразил тот же кинжал, и, умирая, он узнал, что был любим. Как я завидовал его участи!

С каким надменным презрением смотрел я на утреннем уроке в понедельник на учителя, который

втолковывал нам, как важно научиться различать три залога греческих глаголов, словно что-либо на свете было важно, кроме мадемуазель Изабеллы Констан, ее славы и красоты. Созерцая обворожительный образ, запечатленный в глубине моего сердца, я не слышал ни слова из объяснений г-на Босье относительно среднего залога, который неупотребителен при возвратном глаголе, как очень многие ошибочно предполагают. Из-за невнимательности я не мог ответить на вопрос учителя, означает ли глагол *παρεσχησθαι* — представлять себе или представлять кого-то, хотя разница значений была для меня очевидна. Вместо того чтобы ответить наугад, что давало мне один шанс из двух на правильный ответ, я молчал как дурак, и меня обозвали тупицей, чем я был жестоко оскорблен, так как любовь делает людей гордыми.

На большой перемене я рассказал о вечере, решившем мою судьбу, малышу Мурону, уверенный, что он, с его тонкой душой, достоин выслушать мои признания. Но Мурон, к великому моему разочарованию, слушал меня с насмешливой улыбкой, без всякого восхищения и сочувствия, а когда я описывал красоту Изабеллы, бесцеремонно ответил дурацким каламбуром, типичным для скороспелого полиглота:

— Изабелла *bella donna*¹, короче говоря, Изабелла-донна.

Остроты Мурона не всегда бывали удачны.

Вечером, когда мы с Фонтанэ, с ранцами под мышкой, как обычно возвращались вместе домой по улицам Шерш-Миди и Святых отцов, я не мог удержаться и заговорил с ним на единственную тему, которая меня занимала. Зная насмешливый нрав приятеля, я опасался, что он будет издеваться над моей восторженностью. Но Фонтанэ, напротив, слушал меня с серьезным видом и своим молчанием как бы поощрял меня излить ему всю душу. Найдя так неожиданно родственную натуру, способную меня понять, я с жаром описал своему дороговому однокашнику,

¹ Красавица (*итал.*).

в какой трепет привела меня Маргарита Шотландская, вся белая в бледных лучах луны.

Фонтанэ мрачно взглянул на меня и сказал:

— Берегись, Нозьер, берегись: женщины коварны.

И прибавил с неожиданной горячностью:

— Если ты любил женщину, гулял с нею по мшистым лесным полянам, вплетал в ее кудри цветы шиповника, слушал ее клятвы под сенью липы и вдруг узнал, что эта женщина неверна, — поверь мне, это ужасно! Жизнь теряет всякий смысл, не стоит дальше жить, ты всего лишь тень и труп.

Слова эти, конечно, не вполне соответствовали моим чувствам, но они дышали любовью, и мы, чередуясь, вторили друг другу, как сицилийские пастухи *. Это доставляло мне большое удовольствие, смешанное с некоторым удивлением.

Никогда до этого дня я не слышал от Фонтанэ о коварстве женщин, и никогда еще он не говорил с таким жаром. Обычно он проявлял в беседе ум деловой и практический, и я восхищался им больше всего как будущим государственным мужем. Но на этот раз Фонтанэ не думал об общественных делах. Весь поглощенный роковой страстью, он выкрикивал свирепые угрозы.

— Ах! как хотел бы я вкусить сладость мести! — восклицал он.

— Я хотел бы увидеть ее еще хоть на миг, — говорил я, вздыхая, — следить за ней украдкой, когда она пройдет мимо.

Фонтанэ шептал имя Мадлены и, казалось, испытывал невыразимые муки.

— Кто такая Мадлена, — спросил я растроганно, — где ты с ней встретился?

Фонтанэ ответил с важностью:

— Мадлена — героиня романа, где описана подлинная история. Я прочел эту книжку в воскресенье в Люксембургском саду, на скамейке перед статуей Велледы *. Роман называется «Под липами». Его необходимо прочесть, чтобы понять всю глубину страстей. Я тебе принесу.

Дни шли за днями, а я не мог забыть Изабеллы; мне хотелось узнать, в каком дворце она обитает, в каком саду гуляет среди цветов. Но я не знал никого, кто ответил бы мне на это. У меня не было связей с театральным миром. Не имея ее адреса, я мысленно выбрал ей жилище по своему вкусу — замок XV века, украшенный и обставленный с восточной роскошью.

В один из четвергов я встретил на улице Турнон нашего соседа Менажа¹, возвращавшегося из Люксембургского музея, где он копировал ради заработка «Призыв осужденных»*, большую сентиментальную картину, по его словам, омерзительную. Он сетовал на упадок искусства, громил обывателей, заклятых врагов таланта, долго поносил художочную живопись Ари Шеффера* и, кипя от ненависти и отвращения к нашему гнусному времени, изрыгал проклятия на мещанскую поэзию, прозу и драматургию. При помощи хитрости и терпения мне удалось навести разговор на театр, и я спросил, как бы между прочим, не знает ли он мадемуазель Изабеллу Констан.

— Аа! Малютка Констан? — воскликнул он, сразу расплываясь в улыбке. — Это дочка Констан, парикмахера с улицы Вавен; смотри, вон видна голубая стена его лавочки и над дверью золотой шар, с которого свисает конский хвост. На антресолях, в клетке, подвешенной к окну, распевают канарейки малютки Констан, такие же хорошенькие, такие милые щечетуны, как она сама... А вот кого стоит посмотреть — это мамашу Констан, ее шляпку с маками, букли, привязанные к ушам красными тесемками, банты, желтую шаль и кошелку! Она не отпускает дочку ни на шаг, провожает ее в театр, заставляет глотать сырые яйца, чтобы смягчить голос, усаживается в артистической уборной, принимает газетчиков и воздыхателей, болтает с капельдинершами о прелестях Изабеллы, о прописанных ей микстурах и притираниях, а потом увозит девочку домой на последней omnibusе... Если ты хочешь повидать малютку Констан,

¹ См. «Маленький Пьер». (Прим. автора.)

это нетрудно. Каждый понедельник, аккуратно, па-аша Констан моет ей голову хинным мылом, а к четырем часам, если погода хорошая, ведет ее в Люксембургский сад, усаживает на складной стул и, поместившись рядом, покуривает трубку, пока волосы инфанты сохнут на солнышке...

X

Недолговечная дружба

На большой перемене мы с Муроном и Фонтанэ, возрождая школу перипатетиков*, прогуливались по двору взад и вперед, рассуждая о всевозможных предметах, познаваемых и непознаваемых. И я несколько не удивлю философов, если скажу, что чем сложнее была проблема, тем легче мы ее разрешали.

Мы не ведали никаких трудностей в метафизических понятиях и без малейших усилий выносили суждения относительно времени и пространства, духа и материи, конечного и бесконечного. Пожалуй, я несколько больше других затруднялся в разрешении сложных вопросов, которые ставят перед нами подобные темы, и потому Фонтанэ склонен был сомневаться в моих умственных способностях.

Мы часто рассуждали о выборе профессии, и чем дольше мы учились, тем серьезнее этот вопрос привлекал наше внимание. Чувствуя, что он унаследовал болезнь, которая так рано свела в могилу его отца, Мурон, чтобы обмануть себя, строил одни планы за другими. Врожденная склонность к лингвистике влекла его к кропотливым, усидчивым занятиям в высшей школе; однако, боясь, что кабинетная профессия повредит его здоровью, он готовился стать моряком. Его интересовала также энтомология, и он просто поражал нас глубокими познаниями в области жизни и нравов муравьев.

У Фонтанэ было меньше колебаний в выборе карьеры. Он мечтал выступать в суде и намеревался вступить в адвокатское сословие, как только достиг-

нет совершеннолетия. Мечтая стать вторым Берье *, наш красноречивый приятель уже теперь выискивал какой-нибудь проигранный процесс, чтобы взять на себя защиту. Он говорил, что, только выступая на стороне побежденных, можно показать величие души.

Я же, не чувствуя в себе никакого призвания, заранее мирился с самой скромной деятельностью и в соответствии со своей заурядной натурой готовился к судьбе серой посредственности. Однако посредственность в жизни не распространялась на идеи; я стремился все видеть, все знать, все испытать, вместить в себе целый мир, — мечта, которой так и не суждено было вполне осуществиться.

К нам часто присоединялся Шазаль. Презирая его за неотесанный ум, мы отдавали должное его простой, грубоватой доброте. Хотя учителя и товарищи беспощадно насмеялись над ним за старомодную речь, провинциальный выговор, невежество в искусстве и литературе и за непогрешимый здравый смысл, хотя его частенько колотили, несмотря на физическую силу, которой он не злоупотреблял, — Шазаль, веселый от природы, неизменно сохранял спокойствие, самообладание и ясное благодушие. Шазаль любил только деревню; происходя из семьи крупных землевладельцев, он собирался извлекать доходы из фамильных имений. Я любил деревню не меньше его, но совсем по-другому. Он любил землю как трудолюбивый, рачительный крестьянин. Он искал в ней труда и барышей. Я же стремился к природе, чтобы вкусить на ее лоне сладостную негу, которой она облекает смерть. Я стремился овладеть ее губительной красотой. Как мало мы меняемся! Теперь, когда я пишу эти строки, меня объемлет тот же трепет, что и в отрочестве.

Я знал, что способен на дружбу, и испытывал пылкую дружбу к Мурону. После долгой неприязни мое чувство к нему вспыхнуло с бурной силой и благодаря обаянию Мурона перешло в глубокую привязанность. Меня привлекал его ясный, отточенный ум, его мягкий и вместе с тем сильный характер. Единственным, что угрожало нашему доброму

согласию, была моя склонность к преувеличению, которая нередко вредила самым лучшим моим побуждениям. Я так долго отвергал Мурона, что теперь, из раскаянья, восхищался им с неумеренной горячностью, утомительной как для него, так и для меня. Это оскорбляло не только его скромность, но и чувство меры, составлявшее самую сущность его ума и характера.

Я не подозревал, что люблю Шазалья, хотя этому трудно поверить: стоило мне увидеть и услышать его, как я весь сиял от радости. Я угадывал грубоватую красоту его души, ценил его сочный деревенский язык. Но рабски подчиняясь общепринятому мнению о нем как о тупице, я имел глупость приписывать самому себе все остроумие его забавных шуток. Вдобавок от него исходил крепкий запах пота, а я бы предпочел, чтобы он благоухал фиалками.

Что касается Фонтанэ, то я знал его очень давно и уже не доискивался причин нашей старой дружбы, считая ее навеки нерушимой. Меня восхищал его изобретательный ум, а ему доставляла еще большее удовольствие моя доверчивая простота, поэтому связывавшие нас узы с каждым днем становились все крепче. Фонтанэ, профилем напоминавший лисицу, походил на нее и нравом. И не будь у него пристрастия к надувательству и постоянного зуда околпачивать ближнего, он, вероятно, выбрал бы товарища, менее простодушного, чем я.

Кроме нас, в школе перипатетиков подвизался еще Совиньи, маленький, как карлик, но гордый, как индеек; он собирался служить во флоте и потому упорно не желал учить географию, ссылаясь на то, что отлично изучит ее во время кругосветных путешествий; примыкал к нам и Максим Дени, сочинивший латинскую поэму, вольное подражание Овидию, на тему о превращении г-на Мезанжа в птицу. Для тех, кто этого не знает, необходимо пояснить, что нашего учителя математики, г-на Мезанжа, судьба наградила в брэнной земной жизни огромным, тучным, неповоротливым туловищем, под тяжестью которого он изнемогал. Эта бесформенная громада вечно обливалась потом, и от нее исходил теплый пар, весьма привле-

кательный для мух. Между тем безрассудная природа наделила его чудовищный торс коротенькими ручками, так что г-ну Мезанжу стоило большого труда отгонять мошек, которые тучами слетались на его потный череп.

Объясняя нам общие свойства чисел, он с завистью смотрел в окно на птичек, клевавших крошки хлеба во дворе. Поэтому Максим Дени воспевал метаморфозу толстого учителя в истребителя пчел — в синицу, имя которой он носил¹, во вполне благожелательном духе. Из этой поэмы я запомнил всего лишь один стих, классическое изящество которого нельзя не оценить:

Versicolorque merops, apibus cortissima fessis
Pernicies...

Так, прогуливаясь под бдительным оком надзирающего Пелисье, мы делились мыслями, то шутивными, то возвышенными. Но вскоре я отошел от этого содружества избранных умов, внезапно захваченный новой привязанностью, которой предался с необычайным жаром. Началось это с самого незначительного обстоятельства. Отец мой, случайно обнаружив, что я не способен решить геометрическую задачу, не представляющую никакой особенной сложности, приписал мою беспомощность незнанию самых основ математической науки, в которой все истины логически вытекают одна из другой. Чтобы помочь беде, отец попросил г-на Мезанжа давать мне добавочные уроки по геометрии. Г-н Мезанж согласился и два раза в неделю, от половины пятого до половины шестого, начал заниматься со мной и моим товарищем Тристаном Дерэ, которого я знал очень мало, хотя он уже полгода учился в одном классе со мной. Мы лишь изредка обменивались несколькими словами на уроках рисования, где он вел себя крайне невнимательно, между тем как я усердно копировал голову Эрсилии *. Дерэ был того

¹ Mésange — синица (франц.).

² Пестрая птица синица, несущая верную гибель Пчелам усталым... (лат. — Перевод Ф. А. Петровского.)

же роста и того же возраста, что и я, но казался моложе. Прежде я не замечал черт его лица, хотя его свежие, точно накрашенные губы невольно привлекали внимание. У него были темно-русые волосы, местами золотистые и слегка вьющиеся, длинные ресницы, матовый цвет лица и оттопыренные уши. Он казался бы холодным и суровым, если бы не тонкая улыбка, обычно игравшая на его губах. Он грыз ногти до крови, что портило его руки. При его стройной фигуре с тонкой талией трудно было заметить его крепкие мускулы. Все его движения отличались изяществом, которого я, с детских лет привыкший к античной скульптуре, не мог не оценить. К тому же все признавали его превосходство в физических упражнениях, и среди нас он казался юным англичанином. В те времена школьная молодежь совсем не занималась спортом. О физическом воспитании никто не слышал; только немногие посещали уроки гимнастики, которую преподавал нам капрал из пожарных. Мы презирали гимнастические снаряды, установленные на одном из школьных дворов. Однако некоторые игры, вроде горелок или лапты, давали возможность наиболее ловким из нас блеснуть своим искусством. Тут-то и отличался Дерэ, деля славу с Ла Бертельером. Я избегал атлетических игр, не имея к ним склонности и не надеясь добиться успеха, а потому Дерэнисколько меня не интересовал. Но на первом же уроке геометрии, где мы оказались вместе, я сразу с ним подружился.

Сами по себе занятия по геометрии нельзя было признать удачными. Г-н Мезанж обучал одновременно и Дерэ, который готовился к экзаменам в Сен-Сирское военное училище, и такого новичка в геометрии, как я, не разбирающегося без посторонней помощи в самых простых вещах. Занятия происходили в одном из классов коллежа во время полдника; стараясь

В сплетении кругов представить шар себе
И разгадать пути докучных А плюс Б,

мы чертили фигуры на черной доске и закусывали хлебом и шоколадом вместе с крупинками мела, а в соседнем зале лауреат консерватории г-н Ренье обучал

Ла Бертельера и Морло игре на скрипке, что сильно напоминало кошачий концерт; пронзительные звуки скрипки мгновенно погружали г-на Мезанжа в глубокий сон, и он начинал звонко храпеть. Охраня покой учителя, Дерэ тихонько перекидывался со мною замечаниями, которые, сам не знаю почему, восхищали меня. Он говорил о своих галстуках, расхваливал их расцветку и покрой, хвастался успехами в верховой езде и высказывал надежду, что на каникулах мать подарит ему лошадь. Когда Дерэ находил, что урок слишком затянулся, он встряхивал пыльную тряпку над головой учителя, храпевшего с разинутым ртом, и тот просыпался в испуге, задыхаясь в меловом облаке.

Я мало что усвоил из геометрии на этих занятиях, зато вкусил радости дружбы. Мне было необычайно приятно видеть Дерэ, болтать и смеяться вместе с ним. С этих пор я искал его общества и принимал участие в его играх. Когда вошли в моду ходули, Дерэ, как всегда следуя моде, достал себе пару. Я тут же последовал его примеру и взгромоздился на такие же высокие ходули, хотя ужасно боялся упасть, зная свою неловкость. Я, который прежде не выносил никакой беготни, теперь не пропускал ни одной игры в горелки или в лапту. Скажу, не хвляясь, что у меня всегда была склонность делать подарки, — не хватало только повода ее удовлетворить. Теперь я постоянно доставлял себе это удовольствие. Заметив, что Дерэ любит писчебумажные принадлежности, я дарил ему самые красивые тетради, какие только мог найти в лавочке г-жи Фюзелье, — тетради в переплетах из белого полотна, черного шагрены, сафьяна Лавальер, и записные книжки с золотым обрезом. Я преподнес ему ручку для перьев, сделанную из иглы дикобраза, с серебряной шишечкой на конце, и карманную чернильницу из кожи ската. Я совсем разорялся; матушка была поражена расстройством моих финансов и назойливыми просьбами дать еще денег.

Дерэ не отличался ни глубоким умом, ни трудолюбием, но ему все давалось легко, и, обладая искусством нравиться, он умел втереться в компанию избранных, в ряды тех, кого мой крестный, палеонтолог, называл

«приматами». Дружба к нему возбудила во мне дух соревнования, и я на некоторое время поднялся в те же сферы, но это стоило мне огромных усилий, так как мне не хватало его обаяния.

Я искал его общества гораздо больше, чем он моего, и после уроков геометрии провожал его до самого дома, на улицу св. Доминика, хотя это было мне не по дороге. Однажды вечером на перекрестке Красного Креста мы встретили капрала-пожарного Дюлюка, нашего преподавателя гимнастики.

— Давай-ка напомним его пьяным, — шепнул мне Дерэ.

И, остановив молодого солдата, застенчивого и красневшего, как девушка, он затащил его в табачную лавочку на перекрестке и угостил водкой и табаком. Мы подняли бокалы за его здоровье. Нам не удалось напоить пьяным пожарного, зато у меня страшно разболелась голова. В другой раз Дерэ заставил меня выкурить мэрилендскую папиросу, после чего меня затошнило. Словом, каждый день я открывал в своем друге все новые достоинства и все больше им восхищался.

Дерэ происходил из офицерской семьи и сам готовился вступить в армию. Я тоже стал мечтать о военной карьере, которая до сих пор несколько меня не привлекала. Я уже воображал себя лейтенантом, капитаном, доблестным, кротким и меланхоличным, как офицеры Альфреда де Виньи *... В ожидании я тщетно искал случая каким-нибудь славным подвигом доказать Дерэ мою привязанность.

Однажды в каком-то сборнике греческой поэзии я прочел надгробную надпись на могиле юного Аминтора, сына Филиппа, который погиб во время битвы, прикрыв друга своим щитом. Я затрепетал и ощутил непреодолимое желание умереть за Дерэ.

Эта героическая дружба оборвалась мгновенно. Как-то осенью, на большой перемене, капитаны команд Дерэ и Ла Бертельер затеяли сыграть в лапту и стали набирать себе игроков. Сославшись на то, что я очень плохо играю, в чем он был совершенно прав, Дерэ не принял меня в свою команду. В досаде я тут

же с ним порвал, без сожалений и раскаянья, чувствуя, что мы никогда уже не помиримся.

И друг, за которого накануне я готов был умереть, сразу стал мне безразличен.

XI

Эгле

Sanguineis frontem moris et tempora pingit¹.

— Пьера узнать нельзя, — сказала матушка, — характер у него стал странный, неровный. То он веселится без воякой причины, то вдруг начинает хандрить.

— Ему нужен свежий воздух и побольше движения, — решил отец.

В половине августа мои родители, считая, что деревня принесет мне пользу, но не имея возможности покинуть Париж, отправили меня на время к Исидору Гонзу, внучатному племяннику г-жи Ларок, земледельцу в поселке Сен-Пьер, около Гранвиля.

В те годы железная дорога доходила до Карантана. Из этого портового городка, где на кривых улочках, прислонясь к стенам старых домов, сидели с работой загорелые кружевницы, дилижанс довез меня до Гранвиля.

Там поджидал меня папаша Гонз. Выпив в местном кабачке по две кружки крепкого сидра, от которого у меня разболелась голова, мы уселись в двуколку и покатали в деревню Сен-Пьер, где папаша Гонз был мэром и владел тучными землями, приносившими ему большой доход.

Он был крепкого сложения, краснолицый, молодец выпить, мастер наживаться, едва умел читать, но знал законы лучше нотариуса и на своем простонародном языке рассказывал забавные истории не хуже

¹ Лоб ему и виски кровяной шелковицею красит (лат.). — Вергилий, Эклоги, VI, ст. 22.

Бероальда де Вервиля*. Его сухонькая старообразная жена держалась с достоинством и одеждой и манерами чуть походила на монахиню, как многие зажиточные крестьянки в ту пору. Дочка их, Матильда, крепостью и здоровьем пошла в отца; несмотря на пунцовый румянец и безвкусовые наряды, она, пожалуй, была хороша собой и, как и ее родители, вовсе не глупа. Но я не обращал на нее внимания; робкий и застенчивый, И виделся с хозяевами только за завтраком и обедом, где они, на мой взгляд, слишком долго засиживались. Они медленно, не торопясь, как любят сельские жители, распивали кофей с ликером, и эти трапезы были для меня нестерпимы. Я спешил убежать в поля, вернуться к одиночеству, населенному видениями моих грез.

Деревня простиралась к югу до большой дороги, а с северной стороны выходила на пруд, где летали парами белые бабочки, и на рожицу с остатками высокого строевого леса, который приводил меня в восхищение. В пятистах шагах от леса, окруженный глубокими рвами, над которыми в вечернем воздухе плясали рои мошек, возвышался заброшенный замок Сен-Пьер, где жили теперь одни галки. Потолки обвалились, и только длинные дымовые трубы, еще державшиеся в стенах, указывали на высоту этажей. Я постоянно бродил вокруг замка и карабкался по развалинам, в которых гудел ветер.

Я сильно переменялся и сам себя не узнавал. Я много гулял, бегал, с наслаждением продираясь сквозь колючий кустарник. Прежде такой неловкий, теперь я лазал по деревьям, как кошка, а порою проводил целые дни, не шевелясь, ни о чем не думая, сидя на ветвях дуба-великана, который вздымал к небу свои козявые могучие руки. А иногда, забравшись в самую чашу леса, я ложился на мох и дремал, слушая таинственный шелест листьев.

Однажды утром я отправился пешком в Гранвиль, находившийся на расстоянии всего двух лье от деревни Сен-Пьер. Под низким ненастным небом, вдыхая запах моря, занесенный соленым бризом, я прогуливался по тем местам, где почти сто лет назад расцве-

тала, как яблонька, юная и прелестная г-жа Ларок. Я смотрел на старые крепостные стены, в которые шараны втыкали штыки, чтобы, взобравшись по ним, как по лестнице, идти на приступ¹. Облокотясь на ограду, я долго глядел на рыжеватые скалы, на длинный, покрытый водорослями берег, где волны оставляли пену, вздымаемую ветром, на широкое море, еще более мрачное и угрюмое, чем море у побережья Киммерии, о котором рассказывает нам старый Гомер*.

Сердце у меня разрывалось, исполненное тоски и тревоги. Я рыдал, я жаждал умереть, не от усталости или разочарования, но от невыразимой красоты и прелести жизни, от влечения к смерти, ее сестре и подруге, навеки слитой с нею воедино; я так страстно любил природу, что мечтал раствориться в ней, забыть на ее лоне. Никогда еще она не казалась мне такой пленительной. Теплый благоуханный воздух проникал мне в грудь, вечерние дуновения нежно ласкали меня, вызывая неведомый трепет.

Думая, что я скучаю, папаша Гонз дал мне старое ружье и посоветовал ради развлечения поохотиться на дичь. Я пошел стрелять галок, гнездившихся на стенах старого замка. В одну из них я попал. Я видел, как она падала с подстреленным крылом; одно из перьев еще парило в воздухе и медленно опускалось вслед за ней. А в это время стаи птиц, которых я потревожил в развалинах, кружили над моей головой и испускали пронзительные крики, звучавшие в моих ушах как проклятия. Я в ужасе убежал. Мое преступление казалось мне отвратительным. Я дал себе клятву никогда больше не убивать ни птиц, ни животных.

Я вынул Вергилия, которого захватил с собой в чемодане, и начал читать, перечитывать, напевать про себя его стихи, обливаясь слезами и трепеща от восторга. После беготни и прогулок наступили дни сонного оцепенения.

В одно жаркое утро, когда я дремал в лесу под густой листвой, пронизанной золотыми стрелами солнца, меня разбудило прикосновение чьей-то руки к моему

¹ См. «Маленький Пьер». (Прим. автора.)

лицу. Это Матильда, хозяйская дочка, давила шелковичные ягоды на моей щеке и висках, не подозревая, что подражает в этом Эгле, прекраснейшей из наяд, которая вымазала пурпурным соком лицо спящего Силена. Но Матильда Гонз, зная мою бесталанность, не попросила меня, как Эгле — божественного Силена, исполнить одну из тех песен, что очаровывали пастухов, фавнов и диких зверей. Не дожидаясь моего пробуждения, она поспешно убежала с веселым смехом.

XII

Экзамен на бакалавра

С ранней юности г-н Дюбуа посвятил себя искусству и литературе. Он выучил греческий язык, чтобы читать Гомера в подлиннике, и брал уроки у самого Клавье *. В годы нашего знакомства он пламенно любил античное искусство и поэзию и старался привить мне эту любовь. Порою, склонясь над книгой, которую я перелистывал, он давал мне ценнейшие указания, и, думая об этом, я каждый раз вспоминаю знаменитую статую сатира-музыканта, обучающего юного фавна играть на свирели.

Он научил мои неопытные руки
Из букса исторгать пленительные звуки.

Воспитанный на Винкельмане *, г-н Дюбуа дал мне прочесть труды прославленного археолога к большому беспокойству матушки, которая не без оснований опасалась, что, засиживаясь до поздней ночи за этими толстыми томами *in quarto*, я заброшу школьные занятия.

Я действительно совсем их забросил. Сравнивая г-на Дюбуа, одаренного столь тонким, непогрешимым вкусом и обширным умом, с моим учителем философии, человеком знающим, очень достойным, но лишенным поэтической жилки и художественного чутья, я пренебрегал скучными, сухими уроками, не видя в них пользы, чем нанес большой вред самому себе. Впро-

чем, из-за порядков в коллеже ученье было мне ненавистно и жизнь нестерпима. Я никак не мог привыкнуть к притупляющей системе наград и наказаний, которая унижает достоинство и извращает верность суждений. Я всегда считал, что побуждать к соперничеству — значит натравливать детей друг на друга. Но сильнее всего угнетали меня в коллеже отвратительно грязные парты и стены, кучи мусора, пятна мела и чернил, превращавшие класс в гнусную трущобу. А зимой, когда чугунная печка раскалялась, распространяя тяжелый запах чада, все мои чувства были оскорблены, и, лишь преодолев мучительное отвращение, я мог увидеть красоту и славу — Кассандру, воздвигшую к небесам горящие очи, или триумф Павла Эмилия*. Поэтому мне пришлось впоследствии снова засесть за книги и по мере сил изучить самостоятельно то, чему меня плохо учили в школе. В оправдание моим преподавателям должен сказать, что я не умел учиться на людях, совместно с другими. Я был не глупее своих товарищей, пожалуй, даже умнее некоторых из них, но мой ум был иного склада. Многие сложные идеи я постигал с удивительной для моего возраста ясностью и глубиной, зато некоторые самые простые вещи никак не укладывались у меня в голове. Подобное несоответствие ничем нельзя было уравновесить. Наконец, при всей своей мягкости, я был нелюдим и с детских лет любил одиночество. Сидя за партой, я мечтал о тропинке в лесу, о ручейке среди лугов и изнывал от желания, любви и сожаления, доходившего до отчаянья.

Я, чего доброго, заболел бы с горя в этом ужасном коллеже, если бы меня не спас чудесный дар, который я сохранил на всю жизнь, дар находить во всем смешную сторону. Своих учителей, Кротю, Брара и Босье, с их чудачествами и недостатками, я воспринимал как персонажей из комедии. Сами того не подозревая, они разыгрывали для меня пьесы Мольера; они спасли меня от смертельной скуки, и я приношу им за это глубокую благодарность.

Своеобразная особенность моей памяти делала меня неспособным учиться наравне с другими. В противопо-

ложность товарищам, которые быстро запоминали и так же быстро забывали, я усваивал медленно, но то, что усвоил, запоминал надолго, так что становился ученым всегда слишком поздно. В сущности говоря, такая память была мне даже полезна, раз она мешала подготовке к экзаменам, к пресловутым конкурсам, развращающим ум. Я обязан ей тем, что, за неимением прочих достоинств, сохранил свежесть мысли. Разумеется, я не был создан для обучения в школе, где требовалась лишь механическая память, а не память эстетическая, не божественная Мнемозина, дарующая жизнь музам. Однако будем справедливы: может быть, говоря так, я все еще таю в душе старую вражду к Фонтанэ, чья блестящая память, быстрая, как победы Цезаря, торжествующая, наглая, вызывала во мне восхищение и зависть.

К шестнадцати годам я сдал кое-как дурацкий экзамен на бакалавра*, рассчитанный на то, чтобы одинаково унижить и ученика и экзаменатора. В то время сдавали на бакалавра по точным наукам или по филологии. Я сдавал по второй специальности, что было гораздо хуже: вполне допустимо спросить у бедного малого, что такое пневматическая машина и что он знает о квадрате гипотенузы; но допрашивать юношей об их сношениях с геликонскими музами — возмутительная профанация. Нам требовалось два дня, чтобы показать свои знания. В первый день происходило письменное испытание, на второй — испытание устное.

Утром второго дня матушка дала мне монету в сто су, чтобы я позавтракал на площади Сорбонны и сразу явился на экзамен. Но я, как прирожденный романтик, спрятал в карман монету в сто су, купил хлебец из крупчатки и забрался на башни собора Парижской богоматери, чтобы позавтракать наверху. Там я был властелином Парижа. Внизу текла Сена между крышами, куполами и колокольнями и, извиваясь серебряной лентой, исчезала в синеватой дали среди зеленых холмов. У моих ног лежали пятнадцать веков славы, доблести, преступлений, нищеты — обширная тема для размышлений, особенно для моего еще слабого, не-

опытного ума. Не помню, о чем я мечтал, но, когда я явился в древнюю Сорбонну, очередь моя уже прошла. Служитель заявил, что на его памяти еще не было подобного случая. Я повинился во всем, но мне не поверили. Правда показалась неправдоподобной, и мое имя перенесли в самый конец описки. Экзаменаторы сидели усталые и хмурые. Несмотря на это, все сошло гладко. Мне предложили доказать существование бога; я доказал это в одну минуту. Один из экзаменаторов, ученый господин по имени Аз, оказался остроумнее своих коллег. Развалясь в кресле, заложив ногу за ногу и поглаживая свои жирные икры, он спросил, впадает ли Рона в озеро Онтарио. Из опасения быть неучтывым, я не смел сказать «нет» и молчал, а потому он упрекнул меня за слабые познания в географии.

И я отряхнул прах от ног своих на пороге старой Сорбонны.

ХIII

Как я стал академиком

Учебный год подходил к концу. Для нас, учеников класса философии, это был последний год в коллеже. Наиболее разумные, радуясь будущей свободе, все же грустили о разлуке с товарищами и о милых старых привычках. Максим Дени, мастак но латинским стихам и славный малый, собрал нас как-то на большой перемене под кустами акаций и сказал:

— Друзья, скоро все мы вступим в широкий мир и разойдемся в разные стороны, каждый своей дорогой. В коллеже мы обрели друзей, которых не следует терять. Дружба, завязанная в юности, должна длиться всю жизнь. Оставить ее в стенах коллежа, покидая его навсегда, значило бы оставить там самое драгоценное наше сокровище. Мы не совершим этой ошибки. Немедленно по окончании коллежа мы должны создать центр, где все могли бы встречаться. Что будет представлять собой этот центр? Клуб, кружок, общество, академию? Товарищи, вы сами должны это решить.

Это предложение всем понравилось. Его тут же обсудили, и сразу выяснилось, что для учреждения общества, кружка или клуба требуется значительный капитал, огромная организационная работа и знание законов — все это было не по силам риторам и философам. Правда, Фонтанэ брался за три месяца организовать первоклассный клуб, но его соблазнительные предложения были отвергнуты. Подавляющее большинство высказалось за академию, не зная хорошенько, что это такое. Но самое название нам льстило.

После долгих и беспорядочных споров ученик дополнительного философского класса Изамбар предложил выработать устав. Это вызвало одобрение, но никто не пожелал взяться за такую неблагодарную задачу; в конце концов решили, что академики будут избираться из среды риториков и философов, а заседания будут происходить нерегулярно, в разные сроки, и будут посвящены чтениям и докладам, занимательным, но серьезным.

Мы избрали двадцать академиков, оставив за собой право по мере надобности увеличить их число. Мне трудно припомнить имена этих двадцати. Но не удивляйтесь, ибо, как говорят, существует на свете некая знаменитая академия, сорок членов* которой никто не в состоянии назвать.

Нам не терпелось выбрать для нашей академии подходящее наименование. Все предлагали наперебой:

— Академия друзей.

— Академия Мольера. И пускай там будут играть комедии.

— Академия Фенелона.

— Академия риторики и философии.

— Академия Шатобриана.

Фонтанэ заявил проникновенным голосом:

— Друзья, есть человек, одаренный блестящим красноречием, который всю свою долгую жизнь посвятил защите угнетенных. Прославим же его благородную деятельность и присвоим нашей академии имя Берье.

Это выступление было встречено насмешками и громким шиканьем, — не потому, что знаменитый ад-

вokat казался нам недостойным такой чести, но потому, что Фонтанэ, как известно, готовился выступать в суде и хвастливо уверял, что заменит там Берье.

Максим Дени крикнул:

— Давайте уже сразу назовем академию именем Фонтанэ.

Лаборьет неожиданно выпалил:

— Я предлагаю: Французская академия.

Раздался взрыв хохота. Он ничего не понял и страшно рассердился, так как был вспыльчивого нрава.

Ла Бертельер, пользовавшийся среди нас авторитетом, сказал твердым голосом:

— Поверьте мне, лучше всего присвоить академии имя Блэза Паскаля*.

Предложение было принято восторженно и единогласно.

У нашей академии теперь было название. Только тут мы спохватились, что у нее нет помещения.

Простодушный Шазаль предложил нам проводить заседания в сарае торговца фуражом, на улице Ретар.

— Мы отлично там устроимся, — сказал он, — только не надо зажигать огня, чтобы не случился пожар.

Это пристанище, более подходящее для крыс, чем для академиков, никому не понравилось. Фонтанэ высказал мнение, что можно собираться в моей спальне, заявив, что она просторная, хорошо проветривается и расположена на самой красивой парижской набережной. Испугавшись, что мне придется разместить у себя целую академию, я клятвенно уверял, что это не комната, а просто чулан, что там негде и повернуться.

Мурон предложил мастерскую кружевниц, Изамбар — склад книжной лавки, Совиньи — квартиру своего дяди Мориса. Им оставалось только удостовериться, не заняты ли эти помещения. Но на другой день квартира дяди Мориса, склад книжной лавки и мастерская кружевниц исчезли как по волшебству. Они растаяли, словно дворец Аладина от взмаха жезла злого чародея. Мы уже отчаялись отыскать помещение, как вдруг Совиньи поручился, что достанет для нас комнату Тристана Дерэ. Тристан Дерэ был тот самый ученик, которого я целых три месяца пылко любил за его

изящество и с которым вскоре поссорился, потому что он не принял меня в свою команду во время игры в лапту. Его комната на третьем этаже старинного особняка, на улице св. Доминика, была отделена от комнат родителей длинным коридором. Совиньи, видевший эту комнату, говорил, что она великолепна. Как раз в это время Дерэ пригласили играть в горелки, и к нему трудно было подступить. Но Совиньи дерзнул с ним заговорить. Если Дерэ, можно считать, уже почти вступил в Сен-Сирское училище, то Совиньи был без пяти минут членом экипажа «Борда» *. Слова, которыми обменялись по этому случаю, в лице своих юных представителей, армия и флот, не сохранились для потомства. Но Совиньи, маленький, как карлик, и гордый, как индюк, объявил, что хотя Тристану наплевать на академию Блэза Паскаля, он все же охотно предоставит свою комнату академикам. Как только этот ответ стал известен, товарищи уполномочили Совиньи передать Дерэ благодарность от имени академии. Я не принимал в этом участия; я не мог простить Дерэ, что так его любил; я даже имел низость потребовать, чтобы его не принимали в академию. Но мои собратья возразили в один голос, что невозможно изгнать из академии того, кто ее приютил. Я предсказал, что водворение академии на улице св. Доминика погубит наше благородное дело. Это пророчество было мне внушено глубоким знанием характера моего бывшего друга. Наконец утвердили список членов академии и во главе поставили имя Тристана Дерэ.

Нуфлару и Фонтанэ было поручено сразу после окончания занятий купить бюст Блэза Паскаля, чтобы украсить им зал наших заседаний.

Президентом выбрали Мурона. Вступительное слово решили поручить мне. Столь почетная задача польстила моему тайному тщеславию и дала мне познать все радости славы, которые с тех пор мне уже не суждено было вкусить. Я был на седьмом небе. В тот же вечер я начал сочинять торжественную речь в серьезном и витиеватом стиле. Я включил туда перлы красноречия; в последующие дни добавил еще новые. И добавлял до последней минуты. Никогда ни одна речь не

изобиловала столькими красотоми; там не было ничего непосредственного, искреннего, непринужденного, ничего естественного, — одно красноречие!

В назначенный день двое наших уполномоченных, купив на улице Расина гипсовый бюст Блэза Паскаля, больше натуральной величины (лицо философа отличалось необычайно глубокомысленным и скорбным выражением), велели отправить его г-ну Тристану Дерэ на улицу св. Доминика. Наше ученое общество приобрело характер серьезный, суровый и даже мрачный.

В вечер, назначенный для торжественного открытия академии, разразился страшный ливень; дождевые потоки затопили улицу и тротуары; сточные воды, выйдя из берегов, хлынули на мостовую; яростные порывы ветра выворачивали зонты наизнанку. Стояла такая темень, что идти приходилось ощупью. Общими руками я прижимал к груди свою вступительную речь, чтобы снасти ее от потопа. Наконец я добрался до улицы св. Доминика. На третьем этаже старый слуга, отворив мне дверь, молча проводил меня по длинному коридору, в конце которого находился зал заседания академии. Пока еще собралось только трое академиков. Однако, будь их больше, где бы они разместились?! В комнате было только два стула и кровать, на которой уселись Совиньи и Шазаль рядом с нашим хозяином Дерэ. На высоком зеркальном шкафу возвышался бюст Паскаля; в комнате, увешанной по стенам рапирами, шпагами, охотничьими ружьями, лишь это изваяние что-то говорило уму и сердцу.

Дерэ обратился ко мне сердитым тоном, показывая пальцем на бюст Паскаля.

— Ты думаешь, очень приятно ложиться спать, когда на тебя вот-вот грохнется эта дурацкая башка?!

За три четверти часа явились еще два академика, потом еще один, — Изамбар, Дени и Фонтанэ. И все решили, что больше никто не придет.

— А Мурон, наш президент?! — воскликнул я с отчаянием оратора, который видит, что аудитория почти пуста.

— Да ты спятил! — возмутился Изамбар. — Разве можно в такой дождь, в такой ветер пустить на улицу Мурона? Ведь он же чахоточный. Он простудится на- смерть.

Не дожидаясь больше президента, который предоставил бы мне слово, я решил выступить сам и начал чтение своей речи, уверенный в ее великолепии, однако сознавая, что по стилю она не вполне соответствует обстановке.

Я прочел:

— Господа академики и дорогие собратья! Вы удостоили меня высокой чести, поручив предать гласности благородные задачи, которыми вы руководились, учреждая эту литературную и философскую академию, находящуюся под покровительством великого Паскаля, чей образ благосклонно нам улыбается. Две возвышенных задачи, проистекая, словно две полноводных реки, из ваших сердец и ваших умов, вдохновили вас...

Тут Дерэ, который вначале приветствовал мое выступление насмешливыми аплодисментами, перебил меня:

— Слушай-ка, Нозьер, долго ты будешь бубнить эту ерунду?..

Кое-кто поднял голос в мою защиту. Увы! Как слабы были их протесты! На Дерэ это не произвело ни малейшего впечатления, и он крикнул мне:

— Выкинь к чертям эту чушь и заткни глотку. К тому же вот и чай несут.

Действительно, в комнату вошла старая экономка и поставила на стол поднос с чаем. Дерэ сказал с презрительной гримасой:

— Эту бурду прислали родители.

И добавил с лукавым смехом:

— А у меня есть кое-что получше!

Вынув из шкафа бутылку рома, он объявил, что сделает пунш и что, за неимением миски, зажжет его в умывальном тазу.

Сразу приступив к делу, он смешал в тазу ром с сахаром; потом потушил лампу и зажег пунш.

Тут я понял, что придется отказаться от чтения моей речи, тем более что никто не требует продолжения; я чувствовал себя жестоко оскорбленным.

Между тем академики, взявшись за руки, отплясывали вокруг таза с пуншем, и в этом хороводе особенно отличались Фонтанэ и Совиньи — они скакали с каким-то ужасающим неистовством, точно страшные карлики или чертенята. Вдруг чей-то голос крикнул:

— Смотрите, смотрите! Бюст Паскаля!

Весь позеленев в мертвенном свете пунша, бюст на шафу казался жутким и отвратительным. Он был похож на покойника, вставшего из гроба. Лампу снова зажгли, и мы стали пить пунш, черпая прямо из таза.

Дерэ, спокойный и невозмутимый, снял со стены рапиры и спросил, кто хочет с ним фехтовать.

— Я! — закричал Шазаль.

Первый раз держа в руках рапиру, он яростно бросился в атаку, испуская дикие вопли, и больно ткнул клинком Дерэ, который обозвал его дикарем, скотиной и косолапым медведем. Но этот малый ему нравился. Он предложил ему на спор поднять стул за спинку на вытянутой руке и подержать его так целую минуту. Шазаль принял вызов и выиграл пари. Дерэ почувствовал к нему уважение. Оба они любили щеголять своей силой.

— Давай бороться, — предложил Дерэ.

— Давай! — охотно согласился Шазаль.

Они разделись до пояса и схватились в поединке. Костистый, черный, нескладный Шазаль представлял полную противоположность с Дерэ, который был сложен, как атлет Мирона * или как fellow¹ из Итона или Кембриджа. Дерэ, как всегда хладнокровный, боролся корректно, по всем правилам, тогда как славный Шазаль, не зная приемов и не замечая уловок противника, простодушно наносил удары, которые считаются недоуловленными.

Наконец он схватил Дерэ за голову обеими руками и повалил на пол, несмотря на его возмущенные протесты.

¹ Юноша (англ.).

— Ты исключен из игры! — кричал Дерэ. — Ошейник — это запрещенный прием!

— Может, и так, — возразил с усмешкой простоватый Шазаль, — а все-таки я тебя поборол.

Дерэ непрерывно подливал всем пунша. Он достал карты и начал играть с Совиньи партию в экарте. Между тем академики в порыве дикого иступления ругали и поносили того самого Паскаля, которого еще недавно избрали своим покровителем. Они осыпали оскорблениями его гипсовый бюст. Фонтанэ нашел где-то в шкафу башмаки и швырял ими в изваяние великого философа. Дерэ, продолжая играть в карты и притом сильно проигрывая, заметил это и велел Фонтанэ оставить в покое его башмаки.

— А что касается этого чертова бюста, — сделай одолжение, избавь меня от него! — крикнул он.

Расходившийся Фонтанэ не заставил себя просить. Он взобрался на стул, с трудом дотянулся до подставки бюста, схватил Блэза Паскаля и швырнул его на пол, где тот разлетелся на куски с ужасным грохотом. Вся академия дружными криками «ура» приветствовала это кощунство. Шум и гам достигли апогея, как вдруг в комнате появилась экономка, которая приносила поднос с чаем, и сказала молодому хозяину:

— Батюшка велит вам передать, чтобы вы сию же минуту отправили по домам ваших приятелей. Разве можно так шуметь в ночное время?!

Несмотря на свою храбрость, Дерэ ничего не возразил на этот приказ, и его молчание нас испугало. Мы поспешно ретировались и вышли на улицу, где по-прежнему бушевал ветер и шел проливной дождь.

Академия Блэза Паскаля больше никогда не собиралась.

XIV

Последний день коллежа

Наконец наступил последний день коллежа.

Мои родители из самых лучших побуждений не освободили меня от дополнительного философского класса, но я воспользовался этой наукой совсем не так,

как они ожидали. Не считая себя особенно умным, я все же находил преподанную нам философию настолько глупой, нелепой, вздорной, бессмысленной, что совершенно не верил истинам, которые она провозглашала и которые необходимо исповедовать и применять в жизни, если хочешь прослыть порядочным человеком и благонамеренным гражданином.

Был последний день учебного года. Большинство учеников разъезжалось на два месяца; некоторые счастливы, вроде меня, уходили навсегда. Все связывали учебники в пачки и уносили с собой; я же бросил свои книги в помещении коллежа.

Наш преподаватель не стал давать урока. Он прочел нам главу о раздаче наград полкам из книги г-на Тьера «Консульство и Империя» *. Итак, чтобы завершить мое обучение, меня ознакомили с автором, который писал на самом скверном французском языке.

Я испытывал глубокую печаль при мысли, что уже не буду видеться с Муроном каждый день. Я пожал его худенькую горячую руку, скрывая волнение. Ведь я был в том возрасте, когда самые трогательные чувства кажутся постыдной слабостью, недостойной мужчины. Уже больше не рассчитывая встретиться на заседаниях академии, мы дали слово навещать друг друга на дому.

В коллеже я почти всегда чувствовал себя несчастным и потому предвкушал, что, покинув его навсегда, испытаю огромную радость. Однако, когда мы вышли из коллежа, чтобы больше туда не возвращаться, я был разочарован. Радость моя была не такой бурной и не такой искренней, как я ожидал. Тому виною моя слабая и робкая натура; тому причиной также ненавистная дисциплина, которая, руководя всеми мыслями и поступками учеников с детских лет до юности, делает их неспособными наслаждаться свободой и непригодными для самостоятельной жизни. Даже я испытал это на себе, хотя я каждый вечер ускользал от надзора воспитателей. Каково же было пансионерам, никогда не покидавшим своей тюрьмы! Школьное воспитание, как оно поставлено еще и теперь, не только не готовит ученика к деятельности, для которой он предназначен,

но делает его беспомощным в жизни, особенно если он от природы покорен и кроток. Дисциплина, полезная для сорванцов-школьников, становится невыносимой и унижительной, когда ей принуждены подчиняться юноши семнадцати—восемнадцати лет. Однообразие занятий делает их скучными и бесполезными. Ум при-тупляется. Система наказаний и наград лишь сбивает с толку, ибо не соответствует тому, что ждет вас в жизни, где в самих поступках заключены их дурные или хорошие последствия. Поэтому, покидая коллеж, юноша не приспособлен к деятельности и боится свободы. Все это я смутно чувствовал, и это отравляло мою радость.

XV

Выбор профессии

Мне надо было не медля выбрать какое-нибудь занятие. Родители мои были не так богаты, чтобы я мог долго жить на их средства. Думы о будущем беспокоили и тревожили меня. Я предчувствовал, что мне нелегко будет найти место в жизни, где надо пробивать себе дорогу локтями; это искусство было мне совершенно чуждо.

Я замечал, что не похож на других, сам не зная, дурно это или хорошо, и это меня пугало. Кроме того, я был удивлен и обижен, что родители оставляют меня без совета и руководства, как будто считая меня не пригодным ни для какого дела. Я обратился к Фонтанэ, который уже записался на юридический факультет. Он рекомендовал мне посвятить себя адвокатуре, так как был убежден, что на этом поприще я меньше преуспею, чем он. И действительно, Фонтанэ, с его трескучими фразами, с его редкой способностью держать в голове всякий вздор из газет, вполне мог рассчитывать, что станет адвокатом не хуже других. На первых порах профессия защитника пришлась мне по душе. Я любил красноречие. Я думал: мне поручат защищать молодую вдову, я прославлюсь, и она в меня влюбится. Я все на свете сводил к любви.

Чтобы нащупать почву, я пошел с Фонтанэ в здание юридического факультета. Любя древности и достопримечательности родного города, я с почтением вдыхал пыль ученого квартала.

Пройдя до конца улицы Суфло, мы вступили на красивую площадь, обрамленную справа и слева массивными фасадами мэрии и юридического факультета, над которыми возвышался величественный Пантеон с куполом безупречной формы. Слева от нас помещалась библиотека св. Женевьевы с толстыми стенами, покрытыми надписями*, похожая скорее на огромный мавзолей в античном стиле, чем на здание для научных занятий. В глубине красовался пышный узорный фасад королевской церкви св. Стефана и монастырь св. Женевьевы с тянущимися к небу древними стрельчатыми окнами. О столетия! о воспоминания! о величественные памятники прежних поколений!

Но Фонтанэ не был расположен глазеть на старые камни; он потащил меня в обширную аудиторию, где профессор Деманжа читал лекцию по римскому праву. Многочисленные студенты слушали его в глубоком молчании и писали конспекты с такой быстротой, точно не пропускали ни одного слова.

— Папаша Бюнье читает тот же курс, но у него мало слушателей, — шепнул мне Фонтанэ. — Это гнусный старикашка. У него вечно течет из носа, и он сморкается в красный платок величиной с простыню. А на лекциях Деманжа, как видишь, всегда полно, — его очень высоко ценят.

Деманжа мне вовсе не понравился. Я нашел, что голос у него монотонный и говорит он вяло; так оно и было, но, будь я поумнее, я бы понял, что студенты ценят в его лекциях ясность и четкость изложения.

Фонтанэ, который не давал передохнуть ни себе, ни другим, мигом увлек меня из большой аудитории в зал, где шли экзамены на лиценциата. Экзаменаторы держались с большой торжественностью, явно стремясь поразить воображение. Они восседали в мантиях вокруг стола, покрытого зеленым сукном; их было трое, как судей в преисподней, и восседали они на возвышении, взирая с высоты своего величия на съездившегося,

перепуганного кандидата. Судья, сидевший посредине, был тучный, напыщенный и грязный. Именно он вел экзамен, когда мы вошли в зал. Его главной заботой было поразить своим могуществом и грозным видом. Он задавал вопросы внушительно и торжественно, иногда, по примеру Сфинкса, этой жестокой девы, коварно затемнял их смысл и своим глубоким низким голосом, напоминающим рев быка, устрашал кандидата, который отвечал слабым, дрожащим шепотком. После него взял слово судья, сидевший справа. Этот был маленький, тощий, зеленый, как попугай, и говорил в нос пискливым голосом. Судя по всему, во время экзамена он не столько стремился проверить знания кандидата, сколько побольше уязвить сарказмами своего дородного собрата, на которого намекал, не называя по имени, но обмениваясь с ним колючими ядовитыми взглядами. Трое судей так ненавидели друг друга, что для остальных у них ненависти уже не хватало. Довольные тем, что привели в трепет кандидата, они присудили ему степень, и все обошлось без слез и зубового скрежета.

Напоследок мы зашли посмотреть экзамен на медицинском факультете. Там было все по-другому. Кандидат, расплывшийся и плешивый, казался уже немолодым. Осторожно и нерешительно он резал скальпелем распростертый перед ним труп сухонького старичка, который, казалось, насмешливо ухмылялся. Профессор с длинными татарскими усами, удобно развалясь в кресле, спрашивал у студента:

— Ну, а железа? Где же она? Вы что, до завтра ее не найдете?

Ответа не последовало. Двое ассистентов что-то писали или исправляли письменные работы. На одном из них была надета шапка с меховой опушкой, нелепой формы и непомерной величины, более похожая на кивер, чем на шапку. Фонтанэ объяснил, что это музейный образец головного убора, сделанный в 1792 году по рисунку Давида, что шапка хранилась в музейной витрине факультета, а этот профессор чуть ли не насильно вытребовал ее у служителя. Тут экзаменатор, задрав ноги на ручку кресла, снова спросил:

— Ну, а железа?

На этот раз он получил ответ:

— Она атрофирована.

Тогда профессор заявил, что это вина покойника и что мертвецу надо поставить плохую отметку.

И вот, несмотря на непринужденность обстановки и бесцеремонность профессоров, мне стало ясно, что этот экзамен по существу гораздо значительнее, чем экзамен у юристов, на котором мы недавно присутствовали, и что высокопарность ученых только подчеркивает смешные стороны науки.

Я покинул экзаменационный зал с искренним желанием учиться медицине. Правда, это желание не было настолько твердым, чтобы побудить меня к долгим и трудным занятиям в совершенно незнакомой мне области. Опасаясь, что уже в зрелых годах, как тот толстый плешивый студент, я вдруг не сумею найти железу на шее ухмыляющегося трупа, я отказался от этого еле зародившегося намерения.

Впоследствии я часто жалел, что не выбрал медицины. Я не знаю ничего прекраснее жизни какого-нибудь Клода Бернара * и часто завидую плодотворной гуманной деятельности деревенских врачей. Отец отдавался своей профессии с ревностным усердием, но не советовал мне за нее браться.

За обедом я твердо решил стать юристом, но в ночной тишине, оставшись один в спальне, одумался, рассудив, что жестокая природа лишила меня драгоценного дара красноречия, что за всю жизнь я не мог и двух слов сказать без подготовки и что произнести защитительную речь — вещь для меня совершенно немыслимая. Не надеясь, по многим причинам, стать поверенным, судьей или нотариусом и считая, что изучение права потребует от моих родителей ненужных жертв, я отказался от мысли изучать свод законов Юстиниана и Кодекс Наполеона *. Тут я пожалел, что не готовился в Сен-Сирское училище. Меня привлекала мысль стать офицером, при неременном условии быть похожим на офицера Альфреда де Виньи, великодушного и меланхоличного. Я прочел со страстным увлечением «Рабство и величие солдата» и уже видел в

мечтах, как я иду медленным шагом по двору казармы, в изыщном доломане, стройный, молчаливый, готовый на вечную преданность и величайшие подвиги. Потом я узнавал в офицерской столовой, что объявлена война. Мы готовились к походу с таким же спокойным достоинством и решимостью, какие начертаны на лицах Леонида и трехсот спартанцев на картине Давида *. Мы выступали в поход. Я ехал верхом во главе отряда. Мы скакали по бесконечным дорогам, мимо полей, деревень, лесов, скал, широких рек. Вдруг нам встречался неприятель. Я дрался храбро, но без ненависти. Мы брали много пленных. Я обращался с ними хорошо и следил, чтобы за вражескими ранеными ухаживали так же заботливо, как за нашими. При втором столкновении, кровавом и страшном, я был награжден на поле боя. Надо признать, я был образцовым офицером. Вместе с товарищами мы стояли на постое в старинном замке среди лесов, где обитала в одиночестве красавица графиня, супруга генерала; но ее муж был груб и жесток, и она его не любила. Мы полюбили друг друга иступленной и упоительной любовью. Враги были побеждены и с тех пор стали моими друзьями.

Проснувшись утром, я стал сомневаться, верно ли я представляю себе жизнь военного.

Фонтанэ явился спозаранку и сразу перешел к делу с тем видом превосходства, который он вечно на себя напускал. Он объявил, что я должен немедленно записаться на лекции, и взялся в тот же день лично проводить меня в канцелярию факультета, где его уже знают. Я просил его ничего не предпринимать; сказал, что решил не поступать на юридический факультет, и объяснил причины. Фонтанэ и слышать ничего не хотел. Он уверял, что, немного поупражнявшись, я стану адвокатом не хуже других, что тут отнюдь не требуется особенных талантов. Посещая палату, он встречал защитника, страдавшего полной потерей памяти, который отлично выступал в суде при помощи шпаргалки величиной с ладонь. А другой адвокат — заика, то и дело запинаясь да вдобавок еще ни с того ни с сего лалял по-собачьи, и все-таки сносно провел трудный процесс, и выиграл его.

— Я не утверждаю, что у тебя особенно яркое дарование, — прибавил Фонтанэ, — но при помощи упорной работы можно сделать чудеса. Labor improbus¹, как говаривал Кротю, упрекая тебя за леность. Надо упражняться, в этом все дело. Давай-ка начнем упражнения сейчас. Я буду давать тебе советы, и ты сам изумишься своим успехам.

К несчастью, я отказался слишком резко и тем самым дал ему понять, что эти упражнения мне неприятны. Он подозревал это с самого начала и пришел в ярость. Чтобы изобразить зал суда, он перевернул вверх ногами стол, стулья, передвинул кровать, стряхнул на пол книги, перепутал бумаги, опрокинул чернильницу, вылил на ковер кувшин воды и, затолкав меня в угол между стеной и умывальником, крикнул повелительным голосом:

— Стой здесь! Это трибуна. Ты защитник. Я судья. Ты выступишь, когда я дам тебе слово.

Он был страшен.

Я сам удивлялся, с какой легкостью я выбираю каждый день новые профессии, совсем для меня не подходящие. В этом я достиг высокого совершенства. Так, меня вдруг прельстила мысль стать инженером, возводить с помощью математических расчетов прекрасные сооружения, мосты, дороги, машины, стать душою и руководителем многих тысяч рабочих. В то время инженеры занимали в обществе блестящее положение, которого отчасти теперь уже лишились. Они были тогда не так многочисленны и зарабатывали больше. В театре Одеон в комедиях часто изображался молодой инженер, который дирижировал котильоном на балу, покорял молодых девиц и женился на богатой невесте. Увы! Избрав на перепутье в коллеже филологию, я навсегда закрыл себе дорогу к профессиям точных наук. Прощайте, дороги, мосты, шахты и богатая невеста!

Надо было искать другой путь.

Дипломатическая карьера мне нравилась из-за того почета, которым она окружена; перспектива стать посланником и представлять свою страну при

¹ Упорный труд (*лат.*).

иностранных дворах мне весьма улыбалась. Я лелеял эти честолюбивые мечты, но для того лишь, чтобы посмеяться над своей жалкой особой; ибо надо вам сказать, что, хотя я был насмешником во все периоды моей жизни, ни над кем я не смеялся так жестоко и с таким наслаждением, как над самим собой. Однако, придерживаясь правила, что хорошая шутка должна быть короткой, я примирился на ранге консула, решив выбрать Неаполь и снять там виллу, увитую виноградом, на берегу синего моря.

Вскоре после этого я пошел навестить Мурона, Мурона Воробьиное Просо, который занимал с матерью и сестрами уютную квартиру на улице Святых отцов. Я встретил у него простодушного Шазалья, у которого уже выросла неровная лохматая бородка. Я с удовольствием пожал худенькую горячую ручку Мурона и громадную лапу Шазалья. Шазаль был в Париже проездом я торопился обратно в Солонь, где он управлял хозяйством в своем поместье. Я поделился с этими добрыми друзьями своими затруднениями в выборе профессии.

Мурон спросил, не думал ли я о государственной службе, например, в министерстве финансов, где, вероятно, можно при способностях или по протекции получить место инспектора. Он советовал туда толкнуться, а когда я согласился, предупредил, что мне придется держать приемные испытания. Экзамен там легкий, один родственник выдержал его без труда: кажется, там требуется немножко математики, знание языка и красивый почерк.

— Советую тебе, — добавил он, — подготовиться у учителя-специалиста, Дюплуайе; это еще молодой, честный и прямой малый. Все, кто собирается поступить в министерство финансов, обращаются к нему. Он живет на Алжирской улице, номер семь или девять.

Шазаль считал, что не стоит корпеть в канцелярии.

— Чего ради тебе сидеть взаперти? — сказал он. — Делай, как я: обрабатывай землю. Жизнь хороша только в деревне. Работа трудная, зато для здоровья полезна. Послушайся меня, займись скотоводством. Что может быть увлекательнее? Там ты будешь у самых истоков

жизни. Да в деревне всякая работа увлекательна. Мне пришлось изучать изменения растительных пород. Ты и представить себе не можешь, что я открыл. Я наблюдал как вдруг выводится новый сорт растений и потом закрепляется из поколения в поколение. Поверишь ли? Я видел, как у боярышника пропали колючки, а цветов при пересадке на тучную почву появилось в сто раз больше. Что скажешь, старина? Честное слово, правда!

Он был в восторге. Я нашел его еще более могучим и неотесанным, чем прежде. Он вырос и возмужал, зато Мурон все худел и уменьшался; но я был в том возрасте, когда не предвидят несчастий.

На другой день я отправился к Дюплуайе, который давал уроки в нижнем этаже дома на Алжирской улице. Он принял меня приветливо, хотя несколько холодно, осведомился о моих родителях и сказал, что я буду заниматься вместе с юным Фабио Фальконе, сыном крупного чиновника, который тоже готовится к приемным экзаменам в министерство финансов. Дюплуайе только тем и занимался, что натаскивал к экзаменам, и напоминал скорее делового посредника, чем учителя. Я брал уроки недели две, причем Дюплуайе не подавал мне ни малейшей надежды на успех, но был, по видимому, совершенно уверен в удаче Фальконе, хотя тот вычислял не лучше моего, излагал свои мысли гораздо хуже и писал, как курица. Поняв, по здравом размышлении, на чем основаны предсказания Дюплуайе, я поблагодарил его за откровенность и отказался от бесполезных уроков. Позже я узнал, что поступил правильно, не явившись на экзамен, на котором кандидатов, не имеющих достаточно сильной протекции, проваливали без всяких разговоров.

Я продолжал, подобно Жерому Патюро *, искать «положения в обществе». Решиться последовать совету славного Шазала я не мог. Я любил деревню, любил ее с трепетом, томлением, сладостным волнением. Я был создан, чтобы любить только ее. Мне суждено было провести в деревне лучшие годы моей жизни. Но время еще не пришло. Я не хотел покидать навсегда город искусств и красоты, камни, поющие о старине. К тому

же у меня была веская причина не возделывать моих земель: у меня их не было. Не имея возможности стать землевладельцем и привыкнув ограничивать свои честолюбивые мечты, я замыслил стать купцом. Меня привлекало то, что в английских романах XVIII века встречаются купцы очень внушительного вида, в красных или коричневых щегольских кафтанах, с амбарами, набитыми сундуками и тюками товаров. Во Французском театре я видел пьесу Седена *, где герой, весьма почтенный негоциант, жил на широкую ногу и носил дома великолепный халат. Мне приходилось и в жизни встречать коммерсантов вполне достойных. Решив сделаться купцом, или, вернее, продавцом, так как у меня не было ни товаров, ни денег на их покупку, я стал раздумывать, какой же торговлей мне заняться. И тут-то начались затруднения. Как сделать выбор между столькими отраслями коммерции, не зная ни их преимуществ, ни теневых сторон? Со справочником в руках я задавался вопросом, торговать ли мне домами, драгоценностями, картинами, котлами, лекарствами, машинами, мрамором, обувью, оптическими приборами, оружием, пивом, посудой, столярными инструментами, углем или цементом, — и не находил ответа. Говоря между нами, меня несколько успокаивало только предчувствие, что я так же мало способен продавать драгоценности, оружие, пиво, как и башмаки, котлы, уголь, цемент или подзорные трубки. Эта мысль облегчала мне трудность выбора, но приводила меня в отчаяние.

Случай выручил меня из беды, когда я меньше всего этого ожидал. Это произошло в субботу в четыре часа двадцать минут. В знаменательный день, прогуливаясь по набережной Конферанс, в те времена более пустынной, простой и живописной, чем теперь, я повстречал г-на Луи де Роншо *, который возвращался из Терн, где занимал небольшую квартирку, наполненную книгами и гравюрами. Я горячо любил его, но мало с ним общался, опасаясь наскучить ему своей беседой. Может быть, кто-нибудь из моих современников, оставшихся в живых, еще помнит этого превосходного человека! Я чувствую с ними крепкую связь, не зная их

лично. Луи де Роншо оставил после себя стихотворения, отражающие его прекрасную душу, и несколько ценных трудов по греческому искусству, которое он восторженно любил и много изучал. Ламартин, друживший с ним, посвятил ему один из выпусков своего курса литературы *. В эпоху, куда возвращают меня воспоминания, г-н де Роншо был уже пожилым, но еще не старым. Те, кто его знал, могут подтвердить, что за всю свою долгую жизнь он никогда не был стариком, ибо никогда не переставал любить. Среди выцветших прядей его волос еще блестели золотые нити, тонкая кожа на лбу отливала розоватыми оттенками, усы прикрывали по-прежнему яркие губы. Он с большим изяществом носил старомодный сюртук, весь потертый и покрытый пятнами. В его голосе теплого тембра и несколько тяжеловесной манере было что-то необычайно привлекательное. Он с восторгом рассказал мне о недавно найденной в Ламбезе римской мозаике, с которой ему прислали акварельную копию. Заговорил о Второй империи, предсказывая и призывая ее скорую гибель, с интересом отозвался о какой-то новой книге, наделавшей шуму, и, протрившись со мной, уже собирался уходить, как вдруг спохватился.

— А я как раз хотел пригласить вас к себе, — сказал он, — мне нужно с вами поговорить. Мы с несколькими друзьями издаем у крупного издателя биографии художников отдельными выпусками, чтобы заменить сборники Шарля Блана *, которые уже устарили. Как видите, мы взялись за огромное предприятие. Вы нас очень обяжете, если согласитесь объединять отдельные части, держать корректуру, сотрудничать в случае надобности, — словом, если займете в нашем издании место, какое в журнале занимает секретарь редакции. Вам придется много работать, работать целыми днями, но это вам будет интересно. Вопрос о жалованье уже согласован с издателем, он же предоставит вам рабочий кабинет.

Три дня спустя я приступил к очень интересной работе, которая, хотя и не должна была длиться всю жизнь, но могла подготовить меня к другим, подобным

же занятиям в моем вкусе, и получил в свое распоряжение у солидного издателя в Сен-Жерменском предместье рабочий кабинет, украшенный фотографиями «Саский», «Лавинии» и «Мужчины с разорванной перчаткой» *.

XVI

*Господин Энгр **

Я страстно любил искусство. Так как мне надо было только перейти Сену, чтобы добраться до Лувра, я ходил туда почти каждый день, и могу сказать, что моя юность протекала в великолепном дворце. Отдавая должное моим учителям, следует признать, что они научили меня понимать греческое искусство, которого сами не понимали. Я проводил долгие часы в музее Кампана, недавно открытом в Лувре, и в зале греческих ваз, большая часть которых называлась тогда этрусскими. Изучая украшающую их живопись, я научился любить красоту формы и так, сам того не подозревая, пришел к пониманию творчества Энгра.

Нельзя сказать, что Энгр возродил рисунок древних. Он к этому и не стремился. Его манера вполне современна, но есть в греческом искусстве некое неуловимое изящество, которое мы вновь обретаем у Энгра. В двадцать лет душа щедра на восторги. Я восхищался также и Делакруа *. Меня пленяла часовня ангелов в церкви св. Сульпиция *, и, когда знатоки говорили, что стенная живопись должна быть менее яркой и более спокойной по тону, я думал, что лишь вдохновение безумца могло воздвигнуть на пространстве двадцати квадратных футов великолепные колонны, коней, ангелов, горные вершины, раскидистые деревья, сияющие дали, лучезарные небеса. Благодарение богам, я признавал гений Делакруа! Но Энгр внушал мне более сильное чувство: любовь. Я сознавал, что его искусство слишком высоко, чтобы стать доступным толпе, и гордился, что постиг его. Только любовь творит подобные чудеса. Я понимал его рисунок, достигающий безупречной красоты при соблюдении полного сходства с натурой, я любил

его живопись, столь чувственную и сладострастную и вместе с тем величественную. Энгр жил в двухстах шагах от нашего дома, на набережной Вольтера. Я знал его по виду. Ему было больше восьмидесяти лет. Старость, унижительная для обыкновенных людей, становится апофеозом для гениев. Когда я встречал его, он казался мне окруженным свитой своих шедевров, и я приходил в трепет.

Однажды я пошел на спектакль в театре Шатле, где в первый раз давали «Волшебную флейту» * с Христиной Нильсон. У меня было кресло в партере. Зал был полон задолго до поднятия занавеса. Я увидел, что ко мне приближается г-н Энгр. Это был он — его массивная бычья голова, черные, все еще пронзительные глаза, низенький рост, крепкое сложение. Все знали, что он любит музыку. Подшучивали над его игрой на скрипке. Я понял, что, имея доступ в театр, он прошел в зал, но не мог найти места. Я собирался предложить ему свое, но он опередил меня.

— Молодой человек, — сказал он, — уступите мне место, я Энгр.

Я вскочил обрадованный. Великий старец удостоил выбрать именно меня, чтобы сесть на мое место.

Еще один художник французской школы сумел отчасти уловить красоту античного искусства. Это Пуссен. Он классик по композиции картины, по стилю и расположению фигур. Но только один Энгр возродил в своем рисунке языческую чувственность. Он приближался к античности не с помощью ненадежных изыскааний археологии, но силою своего гения.

XVII

Квартира господина Дюбуа

Глубокие познания г-на Дюбуа в грамматике просто пугали меня. В вопросах смыслового значения и сочетания слов ничто не могло сравниться с верностью его суждений; зато к орфографии он был равнодушен и даже сам писал не вполне правильно. Он говорил, что

не понимает, как можно тратить драгоценное время на такие пустяки. Он называл грамматику Ноэля и Шапсаля учебником для казарм и объяснял ее появление ненасытной тиранией Наполеона, который, контролируя не только поступки, но и идеи, преследовал всякую независимость мысли. И когда матушка говорила при нем о правилах употребления причастий, всегда ее затруднявших, старик отвечал, к ее большому огорчению, что не желает знать о причастных формах больше Паскаля и Расина, которые не знали о них ничего.

Литературные вкусы г-на Дюбуа вызывали во мне почтение и благоговейный страх.

Он любил классицизм, но критиковал классиков, руководствуясь во всех суждениях своей особой философией. Он считал Сент-Эвремона * более глубоким мыслителем, чем Паскаль. Боссюэ, по его мнению, излагает тяжеловесным слогом весьма скудные мысли; его «Рассуждение о всеобщей истории» так же глупо, как «История» Павла Орозия *, с которой оно списано.

— Разумному человеку не может нравиться Корнель, именно потому что им восхищался Наполеон, — говорил г-н Дюбуа. — В самом деле, от его трагедии «Гораций» пахнет живодерней.

Господин Дюбуа считал «Дух законов» и «Опыт о нравах» * самыми прекрасными памятниками человеческой мысли. Ему нравились трагедии Вольтера, несмотря на дурной слог. Что касается поэтов, он признавал только греков и римлян. Он упивался ими и всегда носил в кармане томик Феокрита или Катуллы в превосходном издании, так как был библиофилом.

Вергилия он знал наизусть и рассказывал, что как-то они с генералом Миолли, читая вслух четвертую книгу «Энеиды», оба залились слезами. Современные стихи он не выносил из-за рифмы. Он называл рифму варварством, считал ее годной лишь на то, чтобы привлечь внимание грубых натур и невежд, а также угождать людям с неразвитым слухом, которым нравится, когда назойливо отбивают размер. Он утверждал, что в старину это равномерное повторение одинаковых звуков было просто мнемоническим приемом для тех, кто, не имея навыка, с трудом запоминал наизусть. Все это не

мешало ему, однако, любить поэзию Лафонтена, Вольтера и Парни *. Дальше он не шел и не имел никакого понятия о романтических поэтах. Из современной прозы он знал лишь то, что относилось к политике и истории. «Замогильные записки», вообще не имевшие успеха у публики, крайне возмутили г-на Дюбуа; он упрекал Шатобриана в вычурности языка и скудости мысли.

Он не мог привить мне своего строгого вкуса. К тому же вкус у людей заурядных развивается поздно, лишь после долгого, порою мучительного опыта. Вкус — это стремление к приятному; лишь страдания делают его изощренным. Почтенный старец, так участливо относившийся ко мне в пору моего отрочества, не научил меня своему прекрасному языку, но внушил интерес к изобразительным искусствам и восторженную любовь к пластической красоте.

Господин Дюбуа, как и все археологи его времени, был знаком с греческой скульптурой главным образом по произведениям римской эпохи. Ему не было чуждо чувство величия и простоты, но он слишком поздно увидел статуи Парфенона, и потому Лаокоон * оставался для него совершеннейшим воплощением прекрасного. Тем не менее это был большой знаток.

Путешествуя по Италии в ту эпоху, когда туда ни кто еще не ездил, и общаясь с художниками своего поколения, он без особенных расходов собрал коллекцию редкостей, которой наслаждался в тишине и одиночестве. Но так как в нашем брэнном мире полагается, чтобы всякая радость была испорчена, то его экономка нарушала покой этого уютного красивого жилища. Клоринда «выпивала». И г-н Дюбуа, обычно такой скрытный, рассказал матушке, что как-то вечером нашел мертвецки пьяную Клоринду на кухне, где уже начался пожар. Я не мог понять, почему он ее не прогонит; но матушку это почему-то не удивляло.

Время от времени, когда г-н Дюбуа бывал доволен моими успехами, он говорил:

— Дитя мое, я покажу тебе свои древности и несколько образцов живописи, каких теперь уже не найти. В наши дни все заполонили варвары. Теперь разучились рисовать.

Варварами он называл Кутюра, Кюнье, Девериа и в особенности Делакруа, которого не выносил. Он его не понимал. Он не все мог понять. Но кто из нас может похвалиться, что понимает все?

Приглашая меня к себе, г-н Дюбуа оказывал мне большую и редкую честь. Он жил один со старой экономкой, без родных, без друзей, и не принимал ни одной живой души. Поэтому об его квартире, куда никто не мог проникнуть, ходили странные слухи. Она помещалась на третьем этаже во дворе старинного особняка на улице св. Анны. Г-н Дюбуа жил там с детства.

Родиться, жить и смерть найти все в том же доме! *

У господина Дюбуа была очаровательная мать, которую он боготворил. Она была красавица, играла на арфе, как г-жа де Жанлис, рисовала цветы, как Ван Спандонк. Рассказывали, что, когда она внезапно скончалась, в 1815 году, сын велел ничего не трогать в ее комнате; он оставил на месте арфу, раскрытые ноты на клавишине, ящик с акварельными красками и вазу с букетом цветов, которые она начала писать и которые за сорок лет покрылись, как саваном, слоем пыли. Рассказывали, что в гостиной г-на Дюбуа висит портрет напудренной дамы, чья правая рука скрыта букетом цветов, и что это портрет прабабушки г-на Дюбуа, которая на смертном одре написала своему сыну, что проклинает его. Но через полтора месяца после того, как ее похоронили, родные вдруг обнаружили, что правая рука на портрете стерта и на ее месте свежими красками написан букет роз. Все решили, что приходила покойница и сделала эту замену сама, желая показать, что берет обратно свои слова. Говорили еще, что многие жившие в этом доме погибли во время террора и что их негодующие тени бродят по коридорам и лестницам. Время от времени г-н Дюбуа повторял;

— Дитя мое, как-нибудь на днях приходи посмотреть мои древности.

Крестный, лучший и добродушнейший из людей, поддразнивал иногда г-на Дюбуа за его любовь к древностям. Крестный находил античное искусство величественным, но холодным и ничего не говорящим душе.

Он любил, по примеру Готье *, старых мастеров немецкой школы и итальянские примитивы.

Однажды, когда он расхваливал художников Кватроченто *, г-н Дюбуа согласился с ним.

— Я считаю Мантенью * великим мастером, — сказал он. — Лет тридцать назад я отыскал в Вероне картину этого художника «Христос во гробе», весьма замечательную и сильную по рисунку. Это великолепное произведение.

И, повернувшись ко мне, добавил:

— Дитя мое, надо тебе его показать.

На этот раз мы условились окончательно; назначили день, — насколько помню, четверг на святой неделе. Я надел самое лучшее платье и взял цилиндр, так как в те годы котелков не носили даже юноши. В половине второго я вышел из дому сильно взволнованный.

На площадке лестницы я услышал, как кто-то хрипло кашляет и сопит, как кашляла, бывало, моя няня Мелани, и увидел тетку Кошле ¹, которая сидела на ступеньке, уткнув голову в колени и задыхаясь от хрипа. Она стала чудовищно безобразной; шишка над правым глазом разрослась чуть ли не в кулак, и из закрытого глаза текли на землистую щеку мутные липкие слезы. Из-под засаленной черной повязки и чепца, сбившегося набок, виднелась грязная плешивая голова. Крупные золотые серьги в ушах еще более подчеркивали ее уродливость. Проходя мимо, я малодушно ускорил шаг и отвернулся. Еле переводя дыхание, она окликнула меня хриплым голосом.

Я подошел. Она злобно взглянула на меня своим единственным глазом.

— Не правда ли, дружок, услышав мой хрип, вы подумали: «Это тюлень пыхтит!» Ведь если бы вы взглядели, что я женщина, вы бы сняли шляпу.

Она снова опустила голову на колени и закашлялась.

Я покраснел, бормоча извинения, и предложил ей руку, чтобы помочь взойти по лестнице. Она сердито отказалась. Я ушел расстроенный и смущенный.

¹ См. «Маленький Пьер». (Прим. автора.)

Но, едва очутившись на улице, я развеселился, ободренный свежим ветром, легким воздухом, ясным небом, и все забыл. Я любил свой великий город, я бережно хранил и лелеял в сердце его изображение в миниатюре; любил царственную реку Сену, мудрую и спокойную в уборе каменных оград; любил длинные набережные, величественные и родные, обрамленные стройными рядами платанов, старинными особняками и дворцами. Тогда на этих прекрасных набережных царили тишина и спокойствие. Их величие не нарушалось еще шумной сутолокой трамваев. Я перешел чугунный мост, охраняемый четырьмя каменными девами, которые никогда не улыбались, пересек площадь Лувра, где возвышался дворец Тюильри, в котором каждый камень повествовал об истории Франции, дворец, безжалостно сожженный побежденными * десять лет спустя, а затем скрытый до основания озлобленными буржуа. Миновав воротца и спустившись по лестнице, я пересек улицу Риволи, углубился в запутанный лабиринт узких извилистых переулков, впоследствии разрушенных, и дошел до угла улицы св. Анны и улицы Терезы. Там, в третьем этаже старинного особняка времен Людовика XV, г-н Дюбуа прожил всю жизнь, с самого детства. Мне открыла Клоринда. Если она и вправду «выпивала», то умела это тщательно скрывать. В жизни не встречал я такой степенной, достойной, чистенькой и молчаливой старушки. Уже с самого порога чувствовалось, что это квартира знатока и собирателя редкостей. Прихожая была полна обломков скульптуры и фрагментов римских саркофагов. В столовой стояли мраморные статуэтки и чернофигурные вазы прекрасного греческого стиля, которые в ту эпоху еще назывались этрусскими вазами. Г-н Дюбуа показал мне, как самое редкое сокровище своей коллекции, мраморный торс юного фавна с оленьей шкурой на плече; он восхвалял его изящество, чистоту линий и простоту.

— Разбить подобную статую — тягчайшее преступление, — сказал он. — Но когда произведение искусства достигает такой степени совершенства, его несравненная красота полностью проявляется в любой из его частей. А попробуйте-ка у современных портретов от-

нять выражение лица, или, вернее, гримасу, — и от них ничего не останется.

Господин Дюбуа говорил с жаром:

— В поэзии, искусстве, философии следует вернуться к древним. Почему? Потому что немудрено создать что-нибудь прекраснее, благороднее и мудрее. Грекам было предназначено судьбою довести искусство до совершенства. Этой привилегии удостоился одаренный народ, который пользовался свободой и обитал в прекрасном климате, под ясным небом, среди холмов гармоничных очертаний, на берегу лазурного моря. У Геродота, дитя мое, есть слова, достойные запечатлеться в памяти. Древний историк вложил их в уста спартамца Демарата, который говорит Ксерксу: «Знай, о царь, что бедность — верная подруга Греции и ей сопутствует добродетель, дочь мудрости и разумного образа правления». Греки (и в этом драгоценнейшее свойство их гения) считали человека мерою всех вещей и верили в справедливость или хотя бы в благоразумие богов.

С лестной для меня предупредительностью г-н Дюбуа показывал живопись и рисунки, вывезенные им из Италии или собранные за долгие годы в Париже. Он в особенности старался обратить мое внимание на своих любимых мастеров — Гвидо, Карраччи, Спальоетто, Батони и Рафаэля Мэнгса *. Но все эти косматые евангелисты и мученики, выступавшие из мрака, удручали меня. Этюды обнаженного тела работы Давида тоже мне не нравились. Да и сам г-н Дюбуа находил Давида грубоватым, вместе с тем ставя ему в заслугу, что он отошел от безвкусия Буше, Пьера и Фрагонара *.

Хозяин ввел меня в спальню, где на трюмо, над потускневшими зеркалами, целовались голубки. Должно быть, в таинственных слухах, ходивших про его жилище, было что-то верное; в этой комнате я увидел арфу с повисшими струнами и развернутые ноты на клавишине; я увидел на стене портрет напудренной дамы с белой косынкой на груди, причем ее правая рука была действительно скрыта букетом роз, написанным, видимо, наскоро и несколько позже. Но г-н Дюбуа сказал только, что мебель этой комнаты досталась ему от родителей.

Потом, указывая на комод в стиле Людовика XV с инкрустацией и бронзовыми золочеными украшениями, на золоченые штофные кресла с вытканными на них пасторальными сценами, на бовзэские драпировки, он сказал с легкой улыбкой:

— Это мебель моей прабабки. В былое время эти вещи доставили мне много огорчений. Как тебе известно, в эпоху Директории и Консульства в искусстве произошел переворот. Вкусы, уже несколько облагороженные на закате монархии, вдруг обратились к античности, и старомодная китайщина всем показалась нелепой. Я жил тогда с родителями; я был молод, самолюбив, и мне претило жить среди старой рухляди, а в особенности принимать здесь друзей, многие из которых были художниками, учениками Давида, влюбленными, подобно ему, в греческое и римское искусство. Помнится, однажды я был представлен госпоже де Ноай *, которая вернулась из эмиграции и жила на Шоссе д'Антен, в особняке, расписанном Давидом и меблированном по рисункам Персье и Фонтена *. На стенах красовались расписанные под бронзу дикторские связки, шлемы, щиты и фризы с изображениями героев — Ромул и Рем, сосущие волчицу, Брут, осуждающий своих сыновей, и Виргиний, закалывающий дочь *... Чего там только не было! Гости сидели на курительных креслах *. Будуар украшала стенная живопись на красном фоне в стиле фресок Геркуланума. Подобное убранство и меблировка показались мне восхитительными. Возможно, что красота самой хозяйки, ее великолепные светлые кудри и белые, как мрамор, руки немало способствовали моему восторгу перед стенами, которые она обводила небесным взором, и перед креслами, где покоилось ее божественное тело; как бы там ни было, я ушел из особняка Ноай вне себя от восторга. И когда, вернувшись домой, я снова увидел наши пузатые комоды, кресла с гнутыми ножками, стенные ковры с пастушками и барашками, я чуть не заплакал от досады и стыда; я пытался доказать отцу, что эта старомодная ветошь смешна, что даже сами китайцы не создали ничего нелепее и уродливее. Батюшка согласился со мной. «Я знаю, что мебель теперь де-

лают лучше и с большим вкусом, — сказал он. — Если бы мне предложили поменять наше старье на новую обстановку по рисункам господ Персье и Фонтена, я бы охотно согласился; но такого дурака едва ли найдешь, а я недостаточно молод и недостаточно богат, чтобы обставить дом по новой моде; поэтому я довольствуюсь обстановкой, которой довольствовались мои родители».

— Слова батюшки огорчили меня, — прибавил г-н Дюбуа, — однако, как видишь, дружок, я и сам сохранил мебель предков, не то из скупости, не то из сыновнего почтения, не то просто из лени; говорят, впрочем, что я поступил разумно и даже выгадал на этом, ибо мебель, которую так поносили в старину, теперь опять вошла в моду и чрезвычайно возросла в цене.

Пока он говорил, я не мог оторвать глаз от небольшого полотна, висящего на стене за кроватью. До сих пор я видел у г-на Дюбуа только стариков Гвидо Рени и Карраччи, мучеников Рибейры, страшного Елиазара, окруженного причудливыми верблюдами, работы Батони, «Христа во гробе» Мантеньи, написанного с жестоким совершенством. Должен признаться, что для моего возраста это было слишком тяжелое зрелище. Тем более очаровательным показался мне портрет, висящий за кроватью. Это была прелестная головка с безупречным овалом лица, золотистыми волосами, нежным взглядом фиалковых глаз и юными, обворожительными плечами.

— Какая красавица! — воскликнул я.

— А ты не узнаешь ее?.. Это «Психея» Жерара *. Картина была выставлена в Салоне в тысяча семьсот девяносто шестом году; теперь она в Лувре. Это шедевр Жерара, но мой этюд гораздо лучше, чем та же головка на самой картине. Какая разница между этим первым, таким удачным замыслом и окончательным воплощением! Голова Психеи в законченном виде, разумеется, превосходна по рисунку и тщательно выполнена, но она суше и холоднее, слишком вылощена, прилизана, заморожена. В моем наброске более широкая манера, больше свободы вдохновения, больше чувства и огня, здесь есть свежесть колорита, нежность,

женственность, которые утрачены в большой луврской картине. Тут есть, правда, верно схваченное сходство, жизненность. Художника вдохновила натурщица.

— Что вы, сударь, — воскликнул я, — модель не могла быть так хороша!..

— Нет, она именно была так хороша. Жерар прекрасный портретист, его талант ярче всего проявляется в портретах. То, что ты видишь, дружок, это подлинный портрет, не вполне законченный, но как раз доведенный до разумного предела; работая над ним дальше, художник мог бы лишь испортить его. Право же, этот эскиз, очень верно, без всяких прикрас передает натуру... Знай, дитя мое, что, стараясь приукрасить, живописец всегда искажает природу, и это оскорбление для красоты. Натурщица, которая позировала для Психеи, долгое время была знаменита среди художников. Ее звали Селина... Ты узнаешь Селину во многих картинах эпохи Империи. Она позировала Давиду, но поссорилась с ним; он был груб, а Селина горда и отличалась прескверным характером. Она позировала для Герена, Жироде, барона Реньо, а позже для Эрсана *. Наряду с Маргаритой Прюдон она была самой красивой натурщицей того времени. От Маргариты веяло сладострастием, но Селина была стройнее, тоньше, изысканнее, с роскошными волосами и ослепительным цветом лица. В тысяча восемьсот пятнадцатом году, будучи уже не первой молодости, Селина еще пользовалась такой славой в среде художников, что император Александр во время пребывания в Париже пожелал ее видеть и подарил ей на булавки пачку русских ассигнаций. Говорят, что герцогиня Ангулемская тоже захотела взглянуть на Селину и сделала ей подарок. Мне однажды довелось встретить ее в мастерской господина де Форбена, — она была еще хороша, но сильно располнела. С тех пор прошло лет сорок. Теперь она уже совсем старенькая... если еще жива.

Когда я вышел от г-на Дюбуа, в моей душе странно путались видения разных эпох и меня неотступно преследовал образ Селины. Многие дни и недели ее тень заслоняла от меня весь мир. Я влюбился, как сумасшедший, вернее, как дурак.

XVIII

Все розы увядают...

Гуляя по Люксембургскому саду, я рассказывал о г-не Дюбуа, о Жераре, о картине «Амур и Психея» моим друзьям Фонтанэ и Мурону, но они слушали меня равнодушно. Фонтанэ, поступивший на юридический факультет, думал только о Берье, которого на закате его карьеры он считал себя призванным заменить. Мурон не отводил своих красивых влажных глаз от финикийского алфавита, который он теперь изучал. Я поведал о красоте Селины статуе Велледы. Она возвышалась тогда, бледная и задумчивая, среди лабиринта, где жужжали пчелы на цветущих кустах раkitника. В прекрасном парке слышался нежный нескончаемый шелест платанов, воздух был напоен коварным ароматом жасмина, и все говорило о быстролетном времени и о бренности всего земного.

Некоторое время спустя я пошел посмотреть на Селину в императорский зал Лувра, где все картины, — женщины в красных шаях, раненые кирасиры, большие чумой, войска на поле битвы, изгнанник, возвратившийся к разрушенному очагу, божественное правосудие, карающее преступника, Леонид, похищение сабинянок, герои и боги, — все прославляет Наполеона и его век. Отыскав Селину среди этих знаменитых полотен, я нашел, что она очень красива; но глаза ее утратили свой таинственный оттенок и уже не казались мне дивными цветами; несколько удлиненный овал лица не был так прелестен; менее гибкая шея не напоминала о Венере и ее голубках. И я решил, что Селина на первом наброске, подлинная Селина, гораздо обворожительнее. Простившись с Психеей, я отправился в Квадратный зал, где перед каждой знаменитой картиной примостились на табуретах художники. Среди них было много женщин. У одной копиистки были золотистые локоны, яркий румянец и некрасивый рот, который она, как бы в задумчивости, прикрывала рукой, когда кто-нибудь к ней приближался. За этой музой, наполовину скрытый в ее тени, сидел мой сосед и

приятель, г-н Менаж, копировавший в двадцатый раз «Прекрасную садовницу» Рафаэля.

Я сомневаюсь, что он когда-нибудь пил пылающий пунш из человеческого черепа, как уверял мой крестный. Но в начале карьеры он мечтал о славе и богатстве. Он мнил, что к его «Гедвиге, обнимающей лебедя» будут стекаться восторженные толпы. В те годы он был хвастун и романтик. Романтизм его, впрочем, объяснялся скорее духом подражания, свойственным многим людям, чем его собственным характером, весьма рассудочным.

Он терпеть не мог Давида и его школу. Одно имя Жироде приводило его в ярость. Рафаэль и Энгр были ему ненавистны. За исключением этого он обладал широким умом и верным вкусом.

— Не следует думать, будто в рисовании и живописи только одна манера хороша, — говорил он, — все манеры допустимы, если они достигают желаемого эффекта.

Он говорил также:

— Прежде чем судить о картине, старайтесь понять, что хотел выразить художник, и не осуждайте его за жертвы, неизбежные для воплощения его замысла. Талант в том и заключается, чтобы во имя главного смело приносить жертвы, как бы велики они ни были.

От его фанфаронства у него осталась только фетровая шляпа а ля Рубенс да гусарские панталоны. Теперь, распростившись с юностью, потеряв все иллюзии, он жил в нужде и страдал от необходимости зарабатывать на хлеб плохо написанными и плохо оплачиваемыми копиями. Однако в нем еще осталось что-то веселое и беззаботное, присущее всем, кто причастен к искусству, даже самым обездоленным.

Господин Менаж посмотрел на меня с обычной горькой усмешкой и сказал:

— Так как же, Нозьер, голубчик, твоя матушка все еще не хочет, чтобы я писал с нее портрет? Ты бы ее уговорил.

Несколько минут он работал молча. Потом кистью показал на картину, с которой писал копию.

— Эта жаба (так он называл Рафаэля!) из кожи вон лезет, чтобы скрыть свою технику. Нигде не видишь мазка, нигде не чувствуешь руки. Это не живопись. Это залакировано, вылощено, отшлифовано, только не написано кистью. В живописи можно наводить лоск. Тициан и даже Рубенс часто наводят лоск, но у них есть выразительность. А здесь не заметно ни воли, ни замысла. Настоящая китайщина, право!.. Энгр тоже китаец. И подумать, что публика находит это прекрасным. Скоты!

При первом удобном случае я сообщил г-ну Менажу, рассмешив его своим важным тоном знатока, что пришел в Лувр посмотреть «Психею» Жерара и сравнить картину с эскизом, который мне показывали.

И прибавил довольно развязно:

— Для «Психеи» позировала известная натурщица Селина, знаете?

— Возможно, — равнодушно ответил г-н Менаж.

— Она была очень красива?

— Говорят... Я не видал ее в молодости.

— Она служила моделью для Герена, Жироде, а в последнее время для Эрсана.

— Как, для всех этих сапожников? Вот бедняжка!

— А она еще жива?

— Да ты же ее знаешь. Она живет в нашем доме, в конце коридора, где моя мастерская.

— Селина?

— Ну да, Селина, Селина Кашле.

— Что вы говорите?.. Такая красавица... золотые кудри, фиалковые глаза!..

— Что подделаешь, черт подери!.. Все розы увядают...

XIX

Господин Дюбуа поддразнивает

Господин Дюбуа любил поддразнить мою матушку. Однажды он застал ее с книжкой в руках; это был трактат Николая *, с которым она никогда не расставалась, как будто постоянно читая его, а на деле не читая

никогда; высоко ценя этот труд, она, может быть, надеялась набраться мудрости, держа его в руках, вроде того как лечатся от колик, прикладывая к животу молитву святой Екатерины. В связи с этой книгой зашел разговор о морали, которую г-н Дюбуа назвал наукой о законах природы или о том, что считается в человеческом обществе хорошим или дурным.

— Мораль всегда одинакова, ибо природа не меняется, — добавил он. — У животных и даже у растений тоже есть своя мораль, раз они чувствительны к соблюдению или нарушению законов природы, а следовательно к добру и злу. Мораль волка состоит в том, чтобы есть овец, а мораль овец — есть траву.

Матушка, полагавшая, что мораль существует только у людей, рассердилась.

Господин Дюбуа упрекнул ее в гордыне и спросил, почему она не считает животных и растения способными, подобно ей, различать добро и зло. В ответ она предложила ему сочинить трактат о морали для волков и правила поведения для крапивы.

Видя, что матушка благочестива и привержена религии, г-н Дюбуа с особенным удовольствием читал ей монолог нежной Заиры *, когда она в иерусалимском серале обращается к своей наперснице Фатиме:

Зависят чувства, нрав и даже наша вера
От поданного нам в младенчестве примера.
Я б чтила лжебогов на Ганге, где их чтут,
Христа во Франции и чту Аллаха — тут.

Он порицал Заиру лишь за то, что она противоречит самой себе, называя индийских богов ложными и в то же время считая их не менее истинными, чем другие.

Как-то, во время эпидемии холеры, по поводу смерти нескольких знакомых, матушка с отцом и г-н Данкен завели разговор о смерти. Мои родители рассуждали как истые христиане, — вот все, что я могу о них сказать. В речах моего крестного выражалась надежда, что его встретит на том свете «бог добрых людей» из песни Беранже, и он верил в этого боженьку чистосердечно и простодушно.

Присутствовавший при этом г-н Дюбуа хранил молчание, как будто вовсе не интересуясь разговором. Но когда тема была исчерпана, он подошел к матушке и сказал:

— Послушайте, что сказал по поводу смерти самый глубокий из римских поэтов в строках, красоты и гармонии которых я, к несчастью, не сумею вам передать. Слушайте: «Разве тревожили нас бедствия Рима * в минувшие века, когда, задолго до нашего рождения, вся Африка напала на римскую державу, когда в потрясенном воздухе далеко разносился грохот сражений? Так и после нашей кончины мы также будем в стороне от событий».

Однажды г-н Дюбуа спросил у г-жи Нозьер, какой день был самым роковым в истории.

Госпожа Нозьер этого не знала.

— Это день битвы при Пуатье в семьсот тридцать втором году, — сказал г-н Дюбуа, — когда наука, искусство и цивилизация арабов были побеждены варварами-франками.

Господин Дюбуа нисколько не походил на фанатика. Он не стремился никому навязывать своих убеждений. Скорее он склонен был хранить их для себя одного, как почетное отличие. Но он любил поддразнивать. Питая дружеское расположение к моей матушке, он особенно охотно, из духа противоречия, говорил ей все наперекор. Дразнят только тех, кого любят. Меня удивляло, что такой старый человек находит удовольствие в этой забаве. Я еще не знал тогда, что наши склонности не меняются с годами.

XX

Восхваление войны

— Мои родители жили в Лионе, там я и родился, — сказал г-н Данкен. — Я был еще ребенком, когда однажды, холодным утром, отец повел меня на набережную, куда стекались громадные толпы ремесленников, женщин, горожан, и посадил меня к себе на плечи, чтобы

я мог увидеть императора, который возвращался из Гренобля. Он переходил мост через Рону пешком, совсем один. Больше чем в ста шагах впереди ехал отряд кавалерии; офицеры его штаба шагали позади, на далеком расстоянии. Я увидел его большую голову и бледное лицо, серый сюртук, застегнутый наглухо на широкой груди. Он шел без оружия, без орденов и держал в руке ветку орешника, еще покрытую листьями. При его приближении тысячи приветственных кликов слились в один оглушительный рев. Я никогда не забуду этого зрелища.

Господин Дюбуа, который был старше г-на Данкена, тоже помнил Наполеона. Он тут же поделился одним из своих воспоминаний:

— Я видел и слышал этого необыкновенного человека на закате его славы, в тысяча восемьсот двенадцатом году, на следующий день после мрачной победы под Москвой. В сопровождении нескольких генералов он обходил поле сражения, усеянное телами убитых и раненых, и, казалось, еще не оправился от оцепенения, которое парализовало его накануне, во время битвы. Я был легко ранен и искал свой где-то затерявшийся походный сундучок, как вдруг увидел неподалеку от себя Наполеона со свитой. В эту минуту какой-то гвардейский полковник сказал ему:

«Государь, вон за тем оврагом больше всего неприятельских трупов».

При этих словах лицо императора исказилось от негодования и стало страшным; он крикнул громовым голосом:

«Что вы говорите, сударь? На поле битвы нет неприятеля, есть только люди».

Я много размышлял о его словах и о тоне, каким он их произнес. Не думаю, чтобы они указывали на порыв великодушия у Наполеона, но он хотел дисциплинировать все чувства и подчинить их требованиям политики.

В 1855 году в Италии столкнулись интересы Франции и Австрии *. Кровавые бои в Ломбардии очень тревожили матушку. С самого моего детства она боялась, что война может отнять у нее сына.

В тот год г-н Дюбуа однажды обратился к матушке со следующими словами, которые я записываю так, как они сохранились в моей памяти:

— Когда я был молод, вопросы мира и войны решал один человек, Наполеон. К несчастью для Европы, он предпочитал войны мирному правлению, хотя в государственных делах также проявлял большой талант. Но война приносила ему славу. Во все времена, до него, короли тоже любили войны. По их примеру и деятели революции воевали с неистовой яростью. Я сильно опасаюсь, что финансисты и крупные промышленники, которые мало-помалу становятся властителями Европы, окажутся столь же воинственными, как короли и Наполеон. Ведь им чрезвычайно выгодно вести войны, как из-за барышей, которые они наживают на военных поставках, так и из-за оживления и процветания их дел в случае победы. А ведь в победу верят все: с точки зрения патриотизма сомневаться в ней — преступление. Большой частью решение начать войну принимает небольшая горстка людей. Просто удивительно, с какой легкостью эти люди увлекают за собой народ. Способы, которые они при этом применяют, давно известны и всегда удаются. Сначала кричат об оскорблениях, якобы нанесенных нации иностранным государством, оскорблениях, которые можно смыть только кровью, хотя, говоря по совести, присущие войнам жестокость и вероломство не только не делают чести народу, но навеки покрывают его позором. Затем вбивают в головы, что интересы родины требуют взяться за оружие, тогда как родина всегда выходит из войны разоренной, а обогащаются лишь очень немногие лица. Да в сущности даже нет необходимости в словах: достаточно забить в барабаны, помахать знаменами, — и восторженная толпа ринется в бой, полетит на смерть. По правде сказать, во всех странах многие охотно и с удовольствием идут на войну, где они спасаются от невыносимой скуки обычной жизни, где им обеспечено вино и приключения. Получать жалованье, видеть новые страны, покрыть себя славой — вот что побуждает пренебрегать опасностью. Скажем больше, люди обожают войну. Она доставляет им самое большое удовольствие, доступное в

этой жизни, удовольствие убивать. Разумеется, они и сами рискуют быть убитыми, но в юности не верится, что можешь умереть, и упоение убийством заставляет забывать о риске. Я сам воевал, и поверьте мне: ударить, сразить врага — это для девяти человек из десяти наслаждение, в сравнении с которым самые пылкие объятия кажутся скучными. Сравните войну с миром. Мирные занятия однообразны, медленны, часто тяжелы и по большей части не приносят славы. На войне все быстро, легко и доступно для самых заурядных умов. Даже от командиров там не требуется особой сообразительности, а солдатам она и вовсе не нужна. Воевать сумеет каждый. Это врожденное свойство человека.

Как я уже говорил, не было случая, чтобы матушка в чем-нибудь согласилась с г-ном Дюбуа. Она боялась войны как самого ужасного бедствия, ненавистного всем матерям. И все же ей бы хотелось, чтобы о войне говорили иначе. Она предпочитала, пожалуй, образ мыслей г-на Данкена, который гордился тем, что французы на острие своих штыков несут в мир свободу, и внушал мне, что умереть за родину — самый прекрасный и почетный жребий.

Матушка задумалась на минуту. Потом, вспомнив песенку, которой убаюкивала меня когда-то в колыбели, она едва слышно запела:

...Вот он уже генерал.
Мчится, сражается, маршалом стал,

Но пока не грянул бой,
Спи спокойно, маршал мой.

XXI

Размышления о счастье

Однажды утром Фонтанэ пришел ко мне и сообщил, что одна знатная и богатая дама, его короткая знакомая, которая устраивает в своем особняке великолепные приемы, где бывают первые красавицы Парижа, просила его привести к ней на бал хороших танцоров, и

он тотчас подумал обо мне. Я ответил, что не умею танцевать. Это была правда, и Фонтанэ отлично это знал, но он нарочно передал мне приглашение, ради удовольствия заставить меня в этом признаться.

Несколько дней спустя Фонтанэ объявил, что он берет в манеже уроки верховой езды и собирается на днях с компанией приятелей покататься верхом в Булонском лесу. Он пригласил меня присоединиться к ним, взяв лошадь напрокат. Я любил лошадей, но денег у меня не было, и я отказался. Фонтанэ, делая вид, будто не понимает истинной причины моего отказа, сказал:

— Это ты напрасно, в манеже тебе выбрали бы самую смирную лошадь, — тебе нечего бояться.

Около того времени я увидел на бульваре Капуцинок, в знаменитом магазине Вердые, камышовую трость с набалдашником из ляпис-лазури, которая возбудила во мне чувство, почти столь же пылкое и нежное, как влюбленность. Трость действительно была очень хороша! Но мне было суждено любоваться ею только через витрину. В те годы бульвар Капуцинок считался модным великосветским проспектом, а магазин Вердые был так роскошен, что я не решался туда войти.

Я далеко не был красивым юношей, а главное, мне не хватало смелости. И это мешало мне иметь успех у женщин. Я без памяти влюблялся во всех красивых или хотя бы привлекательных женщин, но от смущения совершенно терялся в их присутствии, так что обычно имел дело только с дурнушками, которые внушали мне отвращение. Ибо я считал величайшим грехом для женщины быть некрасивой. Мне часто приходилось замечать, что многие молодые люди, гораздо хуже меня, нравились и пользовались большим успехом в обществе, чем я. Это меня удручало, но я уже достаточно поумнел, чтобы не удивляться.

Все эти обстоятельства привели меня к мысли, что природа и судьба не были ко мне благосклонны. И сначала это открытие вызвало у меня ропот. Я всегда был убежден, что единственная разумная цель — искать наслаждения, и если мне действительно, как я полагал, не суждено добиться в этом успеха, я имел вескую причину,

подобно тростнику Лафонтена, во всем обвинять природу *. Но вскоре я сделал очень важное открытие: ведь совсем не трудно распознать, счастлив ли человек, или несчастлив. Радость и горе меньше всего стараются скрыть, особенно в молодости. И вот после недолгих наблюдений я заметил, что мои более красивые и богатые товарищи отнюдь не счастливее меня, и даже обнаружил при ближайшем рассмотрении, что жизнь приносит мне радости, которых они лишены. В этом убеждали меня их скучные, мрачные разговоры, их беспокойный и озабоченный вид. Я радовался жизни, они — нет; мои мысли порхали свободно и легко, их мысли были тяжелы и неповоротливы. Из этого я заключил, что если я и обездолен судьбой, зато в моей натуре или положении должно быть нечто хорошее, что уравнивает дурное. Стараясь понять, в чем различие наших характеров, я увидел, что бурные страсти моих товарищей доставляют им страдания, а мои пылкие увлечения приносят мне радость. Мои сверстники были завистливы, злобны, честолюбивы. Я был снисходителен, миролюбив; честолюбие было мне чуждо. Не думайте, что я считал себя лучше, чем они. Люди, одержимые бурными страстями, становятся иногда людьми выдающимися, а я был совершенно к этому не способен. Но не об этом речь. Мне хочется только показать, каким образом я узнал, что мои страсти дают мне, в отличие от большинства людей, умиротворение и некое подобие счастья. Мне понадобилось гораздо больше времени, чтобы понять, что в моем скромном положении, при всех его явных неудобствах, имеются свои преимущества, которыми возмещаются эти неудобства. Я говорю о среднем, скромном положении нашей семьи, а не о той тяжелой нужде, что может сломить даже самых мужественных людей. Недостаток денег лишал меня множества приятных, волнующих мои чувства вещей, которых часто не ценят те, кому они легко достаются. Конечно, неотступное желание — чувство назойливое и порою мучительное. Это я понял сразу. Но лишь после долгих наблюдений я заметил, что желание украшает все предметы, которых оно коснется своим огненным крылом, и что, удовлетворив его, человек боль-

шей частью испытывает разочарование; достигнутая цель губит иллюзии, единственное истинное благо; она убивает желание, единственную прелесть жизни. Все мои желания были устремлены к красоте, и я понял, что эта восторженная любовь к прекрасному, свойственная далеко не всем, является неистощимым источником радости и наслаждения. Подобные открытия, сделанные постепенно, имели для меня неоценимое значение. Они убедили меня, что мой характер и мое положение во все не мешают мне надеяться на счастье.

Одного я, по молодости лет, по неопытности и в силу замкнутой жизни еще не был в состоянии постигнуть — это обманов судьбы и ее ударов; судьбы, которая сокрушает самые непреклонные характеры и в одно мгновение меняет коренным образом всю жизнь человека.

Фиванцы! Никому завидовать не стоит *
До дня, когда земля его навеки скроет.
Что нам несет судьба — кто может угадать?
Счастливец никого нельзя до смерти звать.

Первый пример превратности судьбы, который я наблюдал, нельзя назвать трагическим, но я все же приведу его, ибо он произвел на меня огромное впечатление. Вот как я получил этот урок.

Однажды, поджидая Фонтанэ в кафе на улице Суффло, я узнал в сидящем за соседним столиком посетителе Жозефа Вернье, молодого воздухоплователя, который шесть лет назад, под аплодисменты многочисленной публики, читал доклад в Гренеле. На эстраде по правую и левую руку лектора сидели два академика; дама в зеленом платье поднесла ему букет цветов. Он был бледен, как Бонапарт, и я восторгался им и завидовал его славе и почестям. Теперь Жозеф Вернье писал письмо на столике кафе, жуя грошовую сигару. Меня поразили его грязное белье, поношенная куртка, обтрепанные брюки, стоптанные башмаки, воспаленное лицо, трясущиеся руки. Как, неужели это тот юный герой, на которого я мечтал быть похожим? Увы! Куда девались два члена Французской Академии, дама в зеленом, восторженная толпа, цветы, рукоплескания?

Когда появился Фонтанэ, я шепотом сообщил ему, кто наш сосед и какими полетами он прославился.

— Жозеф Вернье? Я его знаю, — самоуверенно ответил Фонтанэ.

Для меня было ясно, что он даже имени его не слышал и видит его в первый раз в жизни. Однако, лишь только Вернье перестал писать, Фонтанэ повернулся к нему, отвесил поклон и спросил, когда он собирается совершить новый полет.

— Я больше не поднимаюсь на воздушном шаре, — ответил аэронавт усталым голосом. — Мне не удается собрать средства на сооружение летательного аппарата. Никто не понимает, какие громадные преимущества представляет форма моего аэростата; мой воздушный винт они раскритиковали, находят его слишком слабым. Но ведь важнее всего, чтобы он был легким. Меня отстранили. Все теперь носятся с Тиссандье и Надаром *. Я еще раз попытаюсь обратиться к министру; но письмо, вероятно, останется без ответа, как и все предыдущие.

Он махнул рукой, как бы отгоняя угнетавшие его заботы, поник головой и замолчал.

Я не мог судить о том, обладает ли Жозеф Вернье талантом и характером, необходимым для успеха в его деле, но я видел в нем несчастного, обманутого судьбой человека, и это новое для меня зрелище вызвало во мне горечь и смятение.

XXII

Мой крестный

Данкены снимали помещение в старом доме на улице св. Андрея, где обитал во времена Лиги Пьер Летуаль *. Они жили в достатке и не имели детей. Около 1858 года эта превосходная чета приютила у себя сына и дочку несчастного брата г-жи Данкен, Марту и Клодин Бондуа, родившихся и выросших в Лионе, славных детишек с удивленными личиками. Г-жа Данкен, лучшая из женщин, полная материнских чувств, лю-

била маленьких Бондуа, как родных детей. Однако брат и сестра все еще жались друг к другу, точно сиротки, брошенные на чужбине. Г-жа Данкен была тучная и болезненная, но веселого нрава и всю свою неистощимую энергию вкладывала в семейные заботы. Чтобы оживить свой дом, она приглашала к себе всю знакомую молодежь. Меня, как крестника г-на Данкена, часто звали туда пообедать и провести вечер. Г-н Данкен любил пожить в свое удовольствие и умел приятно проводить часы, свободные от занятий палеонтологией. Он держал в памяти гастрономическую карту всей Франции, не забывая ни шартрских, амьенских и питивьерских пирогов, ни страсбургского паштета, ни сосисок из Труа, ни манских каплунов, ни турецкой гусятини, ни котантенской баранины.

Как у всех парижских буржуа того времени, у него был прекрасный винный погреб, и он заботливо хранил и пополнял свои винные запасы. Этот славный человек не считал ниже своего достоинства самому покупать дыни, утверждая, что ни одна женщина не способна отличить спелую, сочную, только что созревшую канталупу от еще зеленой или уже перезрелой. Поэтому обеды на улице св. Андрея всегда были превосходны. Туда были часто званы мои родители, госпожи Жирэ и Деларш с прехорошенькими дочками, мадемуазель Герье, окончившая консерваторию, доктор Реноден, веселый и в то же время мрачный субъект, пожилая г-жа Гоблен, замечательная миниатюристка, ученица госпожи де Мирбель *, и ее дочь Филиппина; у этой тощей, нескладной, добродушной девицы были тусклые волосы, глазки как щелочки, длинный изогнутый нос с овальной, или, вернее, яйцевидной, нашлепкой на конце, большой рот, бесцветная кожа, плоская фигура и острые колени. Руки у нее были некрасивые, зато невероятной длины, причем она еще оголяла их до самых плеч, неизвестно почему; во всяком случае, вряд ли это было кокетство, так как она сама говорила, смеясь, что природа, по недосмотру или неумению, наградила ее руками, которые у плеч тоньше, чем в кистях. Это была славная девушка, веселая и мечтательная, наmeshливая и нежная, непосредственная и до такой

степени живая, порывистая, меняющаяся, что вместо нее одной перед вашими глазами мелькала целая толпа длинноногих девиц, бешеный хоровод барышень Гоблен, то уродливых, то почти хорошеньких, симпатичных и забавных донельзя. Мадемуазель Гоблен, чтобы помочь матери и заработать на жизнь, писала портреты детей, безропотно наблюдая, как грязный фотограф, приمو- стившийся в застекленной мастерской на крыше их дома, отбивает у нее всех заказчиц. Она была трудо- любива до невероятия, знала четыре или пять языков, прочла бесконечное множество книг и недурно играла на фортепьяно.

Крестный сам резал жаркое и сам раскладывал его по тарелкам, соблюдая старинный обычай, приня- тый некогда в лучших домах. Князь Талейран, про- славившийся как самый гостеприимный хозяин, посту- пал точно так же. Он всегда сам резал жаркое и посылал каждому особые куски, соразмеряя любезность угоще- ния с рангом приглашенных. Г-н Амедий Пишо, изда- тель «Британского обозрения», вспоминает, как вели- кий канцлер посылал блюда сначала принцам и герцо- гам, прося оказать ему величайшую честь отведать угощения, потом почетным гостям, предлагая откусать жаркого, и наконец сотрапезникам, сидящим на послед- них местах, стуча по столу рукояткой ножа и коротко спрашивая: «Говядины?» Г-н Данкен, сын революции, и не подозревал, что, самолично разрезая жаркое, под- ражает в этом знатным вельможам былых времен.

Распределяя куски жаркого, он сообразовался не с рангом гостей, а с их аппетитом. Проголодавшимся он накладывал двойные порции и заботливо подливал кро- вяного соуса в тарелки слабых и выздоравливающих. Радужный и щедрый ко всем, он выбирал лучшие ку- ски для мадемуазель Элизы Герье, которой оказывал давнишнее, еле заметное предпочтение. В задней нож- ке телятины он вырезал для нее почку, в жареной сви- нине — самый поджарившийся ломоть, и глаза его за золотой оправой очков щурились от удовольствия.

Чтобы пояснить всю любезность и предупредитель- ность крестного по отношению к мадемуазель Элизе Герье, окончившей консерваторию с медалью, я вы-

пишу здесь отрывок из книги г-на де Куртена, написанной в Париже в начале XVIII века и озаглавленной «Новейший трактат о правилах учтивости, принятых во Франции в светском обществе».

Там сказано: «Поелику филейная часть говядины нежнее всего, ее и следует почитать самым лакомым куском. Что же до задней части телятины, то резать ее полагается посредине, в самой мясистой части, и здесь лучшим куском почитается почка».

Господин де Куртен добавляет еще, что «в молочном поросенке люди понимающие превыше всего ценят кожу и уши».

Говоря о лакомых кусках, которыми мой крестный любил угощать мадемуазель Элизу Герье, я вспоминаю об этом без всякой обиды; зависть была бы с моей стороны неприличием и черной неблагодарностью, потому что крестный, справедливо подозревая меня в неумеренном пристрастии к сладкому, посылал мне огромные порции торта или пирожного.

Если по поводу этих обедов, дорогих моему детскому сердцу, я вспоминаю о роскошной сервировке какого-нибудь Камбасереса или Талейрана и о пирах герцога де Шеврёза, на которых г-н де Куртен почерпнул свои замечательные познания, то лишь из пристрастия к традиции и из стремления отыскать преемственность в быстрой смене поколений. На самом же деле обеды г-на Данкена были весьма скромными и свидетельствовали о благоразумной умеренности буржуазных обычаев последних лет конституционной монархии и начала Второй империи. Добрая г-жа Данкен вела хозяйство экономно. Она держала только одну служанку. Однако обеды были обильны и тянулись долго¹. Иногда на них

¹ В наши дни в богатых домах демократической Европы хозяйка держат себя на званных обедах более церемонно и менее учтиво, чем аристократы старого режима. Мой крестный, недостаточно состоятельный, чтобы подражать тузам своего времени, разбогатевшим после Революции и Империи, угощая нас обедами, возрождал старинные обычаи и притом с такой тонкостью и обходительностью, которая гораздо больше напоминала былое время, чем могло показаться на первый взгляд. Прочтите страничку из воспоминаний, написанных после эмиграции госпожой Жанлис *, которая долгие годы была частой

присутствовал и дядюшка Данкен, девяностолетний старик. За десертом его просили спеть. Он поднимался с места и еле слышным шепотком затягивал вакхическую песню Дезожье: *

Налей еще бокал...

После обеда гости переходили в гостиную, просторную комнату, уставленную по стенам шкафами с окаменелостями, скелетами рыб и пресмыкающихся, отпечатками ракообразных, зоофитов, насекомых и растений, клыками мамонта. Крестный увлекался палеонтологией с таким жаром, какой трудно было предположить в этом низеньком, кругленьком, жизнерадостном человечке в красивых жилетах, со множеством брелоков, позвякивающих на брюшке.

Однажды вечером, когда молодежь собиралась танцевать кадрили, он с гордостью показал мадемуазель Гоблен и мне, самым образованным в нашей компании, слепок человеческой челюсти, который его приятель Буше де Перт * недавно прислал ему из Аббевиля. Когда он разглядывал этот памятник далекого прошлого, его глаза сверкали. И вдруг крестный, всегда такой спокойный, разразился гневом:

— А какие-то невежды еще утверждают: «Ископаемого человека не существует». Вы им показываете наконечники кремневых стрел и куски сланца или мамон-

гостей в Пале-Рояле. Из ее слов видно, что старая знать была во многих отношениях менее чванной, чем нынешняя буржуазия.

Жанлис, V, 101: «Когда приглашали к столу, хозяин дома не бросался со всех ног к «самой важной гостье», чтобы вывести ее на середину зала, торжественно проследовать с ней вперед, оставив позади всех остальных дам и с почетом посадить за стол рядом с собой. Прочие кавалеры тоже не торопились предложить руку дамам... В те времена подобный обычай существовал только в провинции. Сначала из гостиной выходили женщины; те, кто был ближе к дверям, проходили первыми; на пороге, уступая дорогу, они коротко обменивались любезностями, отнюдь не задерживая шествия... Вслед за ними шли мужчины. Собравшись в столовой, гости рассаживались за столом, занимая места по собственному выбору». (Прим. автора.)

товых бивней, на которых вырезаны изображения животных, а они, ничего не слушая, ничего не видя, твердят свое: «Ископаемого человека не существует». Нет, господа, он существует, и вот он перед вами!

Эти выпады были обращены против учеников Кювье *, которые господствовали в Академии. Мой крестный претерпел много оскорблений от ученых мужей и жестоко страдал, не ведая, что всякий пробивает путь к славе сквозь несправедливость и унижения, что для человека мыслящего и деятельного дурной знак, если его никто не тратит, не поносит и не преследует. Опыт не подсказывал г-ну Данкену, что во все века людям, прославившим родину своим талантом или доблестью, приходилось выносить обиды, преследования, тюремное заключение, изгнание, а иногда и смерть. Подобные выводы не вмещались в его сознании.

— Ископаемый человек существует, — повторял он, — и вот он перед вами!

И крестный с торжеством потрясал челюстью, найденной Буше де Пертом в Мулен-Киньоне, думая, что достаточно ее показать, чтобы посрамить врагов. Ибо в простоте душевной он верил в могущество истины, тогда как могуществом обладает только ложь, покоряющая людские умы своим очарованием, разнообразием, своим искусством развлекать, льстить и утешать. Г-н Данкен внимательно рассматривал и ощупывал челюсть.

— Она еще носит характерные признаки звероподобного существа, но это несомненно челюсть человека, — сказал он.

— Крестный, когда жил этот человек?

— Как знать? Он жил... двести... триста тысяч лет тому назад... а может быть и раньше. А земля и тогда уже была очень древней.

Оглядывая сквозь золотые очки ряды шкафов, г-н Данкен указывал на них широким жестом:

— Земля!.. Когда жил этот человек, она уже породила бесчисленные поколения растений и животных. В ее недрах исчезли многие виды полипов, моллюсков, рыб, пресмыкающихся, земноводных, птиц, сумчатых, млекопитающих. Да, она была уже очень стара! Эпоха огромных ящеров уже миновала много веков назад.

Мастодонты, остатки костей которых вы здесь видите, исчезли давным-давно.

Филиппина Гоблен взяла из рук крестного окаменелый конец бивня и стала декламировать проникновенным голосом стихи из «Каина» лорда Байрона, которые воскрешают в памяти древние породы животного царства, вымершие целиком и поглощенные пучиной смерти задолго до рождения человека:

...And those enormous creatures...
And tusks projecting like the trees stripped of
Their bark and branches...

.....А вот эти твари,
Чудовищные призраки, что с виду
Глупее прочих, как они похожи
На существа свирепые земных
Дремучих дебрей, на гигантов ночью
Ревущих; но они страшней и больше
Раз в десять;
.....их клыки
Торчат нагие, как стволы деревьев
Без веток и коры. Кто это? — Это
Подобье мамонтов, что в недрах
Мириадами лежат. — А на земле исчезли...¹

Когда я слушал стихи поэта, ныне забытого, но в те времена еще не потерявшего власти над сердцами, меня охватило безнадежное и сладостное чувство при мысли о бездонных пучинах, которые, поглотив бесчисленные поколения чудовищ, столько видов флоры и фауны, теперь готовы сомкнуться над нашими цветами и над нами самими; мне показалось, что краткость человеческой жизни, делая тщетными наши желания, надежды и усилия, освобождает нас от всякого страха и избавляет от всех страданий.

Тут нас позвала г-жа Данкен.

— Идите сюда, Пьер, потанцуйте с Мартой.

Доктор Реноден пригласил мадемуазель Гоблен, которая, быстро сунув в витрину окаменелый обломок бивня, воскликнула, надевая перчатки:

— Что ж, блеснем своей грацией!

¹ Перевод Г. Шенгели.

XXIII

Праздные размышления

Как-то раз я читал Вергилия у себя в комнате. Я любил его еще в коллеже; но с тех пор, как учителя перестали мне его объяснять, я понимал его лучше и без помехи наслаждался его красотой. Я с упоением читал шестую эклогу. Моя бедная маленькая комната исчезла; я перенесся в грот, где уснувший Силен уронил с головы венки. Вместе с юным Хромидом, юным Мнасилом и Эгле, прекраснейшей из наяд, я слушал дивного старца, вымазанного соком шелковицы, под пение которого прыгали в такт фавны и дикие звери, а высокие дубы мерно покачивали горделивыми вершинами. Он пел, как в великом хаосе соединились семена земли, воздуха и моря, как жидкий шар мироздания начал затвердевать, как океан сомкнулся над Нереем, как возникли постепенно формы вещей; он рассказывал, как над изумленной землей засверкало юное солнце, а из высоких облаков полились дожди. Тогда впервые начали расти леса и еще редкие звери стали бродить по неведомым горам. Потом он пел * о камнях, которые бросала Пирра, о царстве Сатурна, о кавказских птицах, о похищении огня Прометеем.

В тот день я не стал следить дальше за рассказом Силены. Я задумался, восхищаясь этой мудрой философией природы, вознесенной на радужных крылах поэзии. После созерцания столь глубокой, проникновенной картины образования вселенной восточные космогонии и их варварские басни просто невыносимы. Вергилий наделяет своего Силену языком Лукреция и александрийских греков. И он создает представление о происхождении земли, которое неожиданным образом согласуется с современной наукой. Теперь охотно допускают гипотезу, что огромная сфера солнца, раскаленная до чрезвычайно высоких температур, простиралась за пределы нынешней орбиты Нептуна и затем, сокращаясь при постепенном охлаждении, время от времени оставляла в пространстве кольца своего вещества, которые, разрываясь и сокращаясь в свою очередь, образовали планеты солнечной системы. Так же

образовалась и земля, которая была вначале газообразная и жидкая, а потом мало-помалу стала остывать. После тяжелых ливней расплавленного металла, насыщавших ее раскаленную атмосферу, с высоких облаков выпали животворные дожди. Именно так и говорит старый Силен. Земной шар вначале был весь покрыт горячими и неглубокими морями. Потом из океана поднялись материки. Наконец, когда воздух стал свежим и чистым, выглянуло солнце. Гигантские папоротники и травы увенчали вершины гор. Появляются разные породы животных, и последним из них рождается человек. Так в те незапамятные времена исполнилось предназначение земли стать извечной ареной преступлений. Растения, высасывая корнями соки земли, насыщались ими; из всего сущего они одни были невинны; они создавали органическое вещество, с безошибочным инстинктом перерабатывая вещество безжизненное или по крайней мере неорганическое, ибо ни о чем на свете нельзя сказать, что оно безжизненно. Растения родились, теперь могли родиться животные.

*Rara per ignotos errant ammalia montes*¹.

Первые животные, жалкие существа без позвоночника и без мозга, жили тем, что пожирали траву в лесах. Таким образом животная жизнь на земле началась с убийства. Ах, я прекрасно знаю, — когда рубят дерево, никто не говорит, что его убивают; однако нужно сказать именно так, потому что оно было живое. Чувствует ли оно? Говорят, что нет; утверждают, что у него нет органов чувств, что оно не является отдельной особью и лишено сознания. Однако деревья в цвету торжественно справляют браки, ни с чем не сравнимые по великолепию и плодовитости. И если, вопреки моему убеждению, они ничего не чувствуют, они тем не менее живые, и уничтожение деревьев такое же посягательство на жизнь, как убийство животного.

Между тем виды животных, развиваясь одни из

¹ Редкие звери уже по горам неведомым бродят (*лат.*). — Вергилий, Эклоги, VI, 40.

других, мало-помалу становились все умнее и все сильнее; они приобрели мозг и нервы, осознали себя как особь и вступили в общение с внешним миром. Некоторые питались травами; но большинство пожирало мясо других животных, принадлежащих к породам более слабым или менее быстро двигающимся. Страдания несчастных обитателей лесов и гор состояли не только в том, что их существованию вечно угрожали голод, болезни и неизбежная смерть, но их еще непрерывно преследовал страх перед врагами и перед смертными муками, ужас которых они ясно представляли себе при всей своей тупости. Последним из всех животных явился человек, родственный всем и похожий на некоторых из них. Слова, которыми его определяют еще и теперь, указывают на его происхождение: его называют сыном земли и смертным. Эти же имена приложимы и к диким зверям, которые, подобно ему, живут на земле и подвластны смерти. Человек несравненно умнее своих собратьев, но природа его ума такая же. Человек неизмеримо выше всех животных, но не обладает ничем, что не было бы заложено и в них. Его равняет с ними потребность ради сохранения своей жизни поедать живые существа; закон убийства тяготеет над ним, как и над другими, и обращает его в хищника. Он плотоядный зверь; чтобы, не стыдясь, убивать своих собратьев, он отрекается от них; он хвалится своим божественным происхождением, но родство его с животными доказывается всем: он рождается, как они, питается, как они, размножается, как они, умирает, как они. Подобно им, он становится жертвой закона убийства, которому подвластны все обитатели земли. Он пользуется своим несравненным умом, чтобы подчинить себе животных, которые ему полезны. Но хотя у него много скота в хлеву, охота по-прежнему его излюбленное занятие. Охота была любимым удовольствием царей; такой она остается и теперь. Человек предается убийству и резне с упоением, не свойственным другим животным. Подобно хищным зверям, которые не едят друг друга, он воздерживается от употребления в пищу человеческого мяса; но, в противоположность остальным животным, он убивает себе подоб-

ных, правда, не для еды, но для того, чтобы отнять у них богатство, которому завидует, чтобы помешать им наслаждаться их собственным добром или просто ради удовольствия. Это называется войной, и люди предаются ей с упоением. Они бы и не подумали совершать это чудовищное преступление, если бы не были подготовлены к нему жизненной необходимостью убивать животных. Так предредила судьба: от истоков жизни и до сих пор земля обречена быть ареной убийства, и она будет следовать своему предназначению, пока жизнь на ней не угаснет. Убивать, чтобы жить, — вот вечный закон земли.

Я размышлял об этой роковой необходимости, которой никто из нас не может избежать. Солнце закатилось, я растворил окно и смотрел, как загораются первые звезды; и я думал с ужасом, что жестокая судьба нашего мира, быть может, не единична и является судьбой неисчислимого множества миров, что в безграничных пространствах, всюду, где есть живые существа, они подвластны, вероятно, тому же неумолимому закону, что и мы. Обитаемы ли другие миры? Единственные планеты, которые мы видим и будем видеть всегда, принадлежат к нашей солнечной системе. Они наши сестры; они дочери солнца, подобно нам. Но родились они не одновременно с нами и расположены на разных расстояниях от светила, дающего жизнь. Иные слишком юны, чтобы на них зародилась жизнь, другие слишком стары. Одни окружены атмосферой слишком густой и удушливой; на других воздух слишком разрежен и непригоден для дыхания подобных нам существ; те, что отстоят далеко от солнца, движутся в сфере холода и мрака. И все же мы не можем утверждать, что на поверхности этих светил не было, нет и никогда не будет живых существ; мы слишком мало знаем, при каких именно условиях может возникнуть жизнь. Пусть же эти сестры земли породят существа менее несчастные, чем мы! Окружено ли свитой планет каждое из далеких солнц, которые сияют яркими звездами в глубине небесных просторов, и обитаемы ли эти планеты? Мы можем это предполагать, зная, что все солнца состоят приближи-

тельно из того же вещества, и можем судить о далеких светилах, сравнивая их с тем, которое светит нам.

Если мы рассуждаем правильно, если все миры, подобные нашей солнечной системе, обитаемы, были или будут обитаемы, и если их обитатели подчинены тем же законам, которые управляют нами, — тогда зло достигло предела, тогда оно объемлет всю вселенную, и разумному человеку остается только уйти из жизни или смеяться над такой забавной шуткой.

Rara per ignotos errant animalia montes.

Вот, мой старый Силен, вымазанный кровавым соком шелковицы по капризу прекраснейшей из наяд, вот куда завели меня стихи, что ты пел Мнасилу, юной Эгле, фавнам и лесным дубам! Спой еще, божественный пьяница, воспой Пасифаю и помоги мне забыть мои мрачные бредни.

XXIV

Филиппина Гоблен

В долгие месяцы парижской зимы, когда после темных, сырых и холодных улиц так приятно войти в теплую, залитую светом гостиную, мы проводили чудесные вечера у Данкенов на старой улице св. Андрея. В гостиной четы Данкен, обставленной глубокими шкафами, полными минералов и ископаемых, оставалось еще достаточно места для резвящейся молодежи, которая кружилась в танце среди этих свидетелей баснословного прошлого, столь же мало помышляя о бренности всего земного, как ночные бабочки, водящие хороводы летними вечерами.

Завсегдатаи этого гостеприимного дома принадлежали большей частью к семьям скромных ученых или художников. Мужчины приходили в визитках, женщины в закрытых платьях. Никакой роскоши, никакой изысканности, зато много радушия и веселья.

Каждую субботу здесь встречалось все то же общество: Марта и Клодий Бондуа, Эдмея Жирэ и Мадлена Деларш, две кузины, — одна тонкая, бледная, с

глазами, возведенными к небу, другая свежая, крепкая, кругленькая и смешливая — «любовь небесная» и «любовь земная». Ходили слухи, что «любовь небесная» получит отличное приданое. Там бывало еще несколько племянников и племянниц, внучатных племянников и внучатных племянниц г-жи Данкен, которая, хоть и бездетная, была истая Матушка Жигонь; * мой друг Фонтанэ, только что введенный мною в дом и уже мечтавший там верховодить; доктор Реноден, молодой врач, недавно обосновавшийся по соседству и искавший практики, — смуглый человечек лет тридцати пяти, которого я считал слишком старым, хоть он и был самым отчаянным сумасбродом в нашей компании. Немножко педант, немножко представитель богемы, он был пропитан запахами общественных балов и анатомического театра и поражал своим пронизательным умом; его нарочито грубые речи и привлекали и коробили меня. Я был еще очень несведущ и очень заинтересован тайнами природы, но и недостаточно невинен, чтобы не смущаться от грубых разоблачений, которые развевали мои мечты и разрушали иллюзии.

Я сам не знал, люблю ли я, или ненавижу этого смуглого человечка с синеватыми бритыми щеками, ученого и чудаковатого. Будь я лет на двадцать старше, я оценил бы его как веселого собутыльника и охотно обедал бы с ним в обществе Анатоля де Монтеглона *. Но в те давние времена я был очень щепетилен.

Частой гостьей этого славного дома была Элиза Герье, пианистка, получившая премию Консерватории. Не знаю, за что мой крестный предпочитал Элизу Герье всем барышням, которые блистали за его обедами и украшали его дом. Нельзя было обнаружить ни малейшего духовного сродства между румяным буржуа, неповоротливым увальнем с несколько бабьей наружностью, и юной музыкантшей с прекрасными крупными чертами лица, сумрачной и стройной, как мальчик.

Совсем иначе обстояло дело со мной. Благодаря глубокой, так сказать, врожденной страсти к античному искусству я, конечно, не мог не оценить кра-

соту Элизы Герье, где гармонично сочетались черты двух полов, но этой юной особе, будь она даже хоть немного благосклонна ко мне, трудно было бы победить мою робость; в ее присутствии я невольно испытывал священный трепет, еще усугублявшийся тем уничтожающим равнодушием, которое она мне выказывала или, вернее, не скрывала его от меня.

По воле судеб она стала первой из прекрасных смертных, которую я принял за богиню.

Единственной барышней, с кем я нисколько не робел, с кем охотно беседовал, удовлетворяя свою жажду знаний и веселясь от всей души, была мадемуазель Филиппина Гоблен, весьма начитанная девица с широким умом, отличная хозяйка, благоразумная и вместе с тем сумасбродная, смешливая и печальная, которая все читала и все помнила; отлично зная, но как бы не замечая, что она некрасива, она сама подшучивала над своим длинным носом с яйцевидным кончиком, пуская в ход редкую эрудицию и выдумывая прихотливые космогонические сравнения с мистическим животворным яйцом Орфея и яйцом Озириса *.

— В один прекрасный день, — говорила она с серьезным видом, — когда я чихну, из яйца вылупится множество крохотных человечков, веселых и печальных, которые рассеются по всему свету и, проникнув в мозг людей, внушат им безрассудные мысли, но зато избавят от глупости.

Она весело смеялась, но, вероятно, охотно отдала бы весь свой ум в обмен на личико Эдмеи Жирэ или фигурку Мадлены Деларш.

Я замечал это много раз, но один случай в особенности навел меня на размышления и впервые открыл передо мной глубины женского сердца. Как-то, на званом вечере у г-на Данкена, мадемуазель Гоблен, по обыкновению, блистала остроумием и танцевала с большим комическим талантом какой-то испанский танец. Я выразил ей свое искреннее восхищение; я сказал, что ее тонкий ум проявляется не только в разговоре, но и в пении, в смехе, в танце. Она слушала меня с несколько хмурым видом. Я говорил, что совершенно очарован ее живым воображением, долго и пространно

расписывая все сокровища ума, которыми она обладает. Когда я умолк, Филиппина окинула меня презрительным взглядом и отвернулась. Тут к ней подошел доктор Реноден и воскликнул:

— Мадемуазель, вы всегда очаровательны, но, когда танцуете фанданго, вы еще больше хорошеете, если это только возможно.

Я счел комплимент довольно глупым, но Филиппина обратила к Ренодену такой счастливый и нежный взгляд, что, подтверждая его лесть, действительно похорошела от радости.

На вечерах у крестного много танцевали, и я до сих пор вспоминаю, каким прелестным румянцем заливалось личико Марты Бондуа после вальса. Доктор Реноден в самых чинных танцах иногда лихо откалывал коленца, выученные им в студенческие годы на общественных балах Латинского квартала, но г-жа Данкен была слишком простодушна, чтобы это заметить. Сам я танцевал очень плохо. Мадемуазель Гоблен, которая часто оказывалась моей партнершей, потому что ее реже приглашали кавалеры, очень досадовала на мою неловкость и не раз предлагала давать мне уроки танцев.

Танцам я предпочитал разные шуточные игры и шарады, которые были в большом ходу в доме крестного. Мне вспоминаются поцелуи по жребью через спинку стула с Эдмеей Жирэ или Мадленой Деларш, — хотя и дозволенные, они не были лишены приятности. Но больше всего мне нравились шарады. Они включали все театральные зрелища — драму, комедию, пантомиму, балет и оперу. Для декораций, костюмов и реквизита мы завладевали всем гардеробом, мебелью, посудой и кухонной утварью наших хозяев. Поэтому наши представления были довольно пышно обставлены. Иногда к Филиппине и ко мне обращались с просьбой сочинить сценарий. В таких случаях действие шарады, вопреки строгим правилам Буало*, превращалось в самую бесшабашную и веселую буффонаду. Филиппина Гоблен отличалась необыкновенным талантом. Свои шутовские выдумки она играла с блестящим юмором, как настоящая комедиантка.

Ее лучшим номером (и моим также, ибо я с ней сотрудничал) была шарада, «первое» и «целое» которой я, к сожалению, совершенно забыл, так что этот драматический шедевр сохранился для потомства в том же состоянии, в каком дошли до нас почти все трилогии греческого театра. Согласен признать, что с утраченной шарადы потомство потерпело несколько меньший ущерб. Я помню по крайней мере, что «второе» означало «танец» и действующим лицом был царь Давид, который плясал вокруг священного ковчега господня, аккомпанируя себе на арфе. Давида изображала мадемузель Гоблен; длинная синяя борода из вязальной шерсти, подвешенная к ушам, и нелепый нос Филиппины придавали Давиду уморительный вид. Намотав на голову кашемировый тюрбан, увенчанный чайником красной меди, завернувшись в турецкую шаль, она перебирала струны, за неимением арфы, на плетеном позолоченном стуле и торжественно отплясывала священный танец, который особенно подчеркивал ее непомерно длинные руки и ноги, ее угловатые худые локти и колени. Позади нее, аккомпанируя себе на шумовке, пела священные песнопения Элиза Герье. Что касается ковчега господня,

Который Иордан потечь принудил вспять
И столько гордых стен сумел с землей сравнять,

то ковчегом служил рабочий столик г-жи Данкен, и она, увидев, как он, в соответствии с текстом песнопений, кренился набок, вскрикнула из глубины гостиной «Боже! моя вышивка!..», ибо в ковчеге находились туфли, которые она вышивала для г-на Данкена.

Но наибольший успех выпал на долю доктора Ренодена, который, мастерски соорудив себе неизвестно из чего очень похожий костюм полицейского, внезапно выскочил на сцену, стал потрясать огромными кулаками и с криком: «Проходи! Проходи!» — разогнал весь народ Израиля.

Господин Данкен так хохотал, что звенели все брелоки на его животе, и бешено аплодировал доктору Ренодену, который, высмеивая полицейских, мстил им

за грубое обращение с парижанами, якобы поощряемое императором и его министрами.

— Bravo! — кричал мой славный крестный, который настолько же ненавидел Бонапарта-племянника, насколько боготворил дядю.

XXV

Дорога в Багдад

Я читал запоем все без разбора и вскоре обнаружил с крайне глупым удивлением, что ничего не знаю, что даже не научился учиться и что мои блестящие познания всего лишь легкая завеса, прикрывающая полнейшее невежество. Наконец-то я понял роковые последствия разделения по специальностям в коллеже и горько пожалел, что хлопал ушами на уроках геометрии, которые мне давал г-н Мезанж, похрапывая под звуки скрипки. Я несколько поздно убедился, что одни лишь точные науки могут развивать и дисциплинировать ум и что наши преподаватели словесности вырастили из нас напыщенных, пустых болтунов, людей бесполезных, не способных ни к какой серьезной деятельности. Я открылся во всем отцу и под его руководством, с помощью выбранных им опытных учителей, начал заниматься математикой, химией и естествознанием не для того, чтобы изучить эти науки, но чтобы быть в состоянии постигать науки вообще. Я научился более правильно рассуждать, и мои мыслительные способности развились. К сожалению, в меньшей мере развилась и моя самонадеянность. Я был слишком робок, чтобы выказывать ее на людях, зато дома стал совершенно невыносим. Заметив благодаря своей злощастной проницательности, которая впоследствии так часто вредила мне в жизни, что отец не всегда логично рассуждает, я старался опровергнуть его суждения, что было с моей стороны до крайности дерзко и глупо.

Явно возросшие и развившиеся способности все же не сулили мне занять в обществе какое-либо прочное положение. Я до сих пор не представлял себе, какая

же карьера может мне подойти. Отец и матушка нисколько не помогали мне в трудном выборе профессии, потому что матушка находила меня способным к любой деятельности, а отец считал не способным ни к одной.

Между тем Фонтанэ вертелся мелким бесом. Он уже вращался в светских кругах, презирал Данкенов и признавал лишь богатство и знатное происхождение. Однажды он ввел меня, Мурона и Максима Дени, в один из салонов Сен-Жерменского предместья, втайне известный своей оппозицией правительству и очень замкнутый. Но церковь, высокомерная демократка, пользовавшаяся влиянием в этом старинном особняке, вводила туда юношей из народа, в надежде открыть и вырастить нового Вейо *. Салон посещали бывшие пэры Франции, бывшие депутаты Национального собрания, академики, вельможи, которые, несмотря на врожденную величавость и надменность, проявляли в манерах и обхождении сдержанную любезность, свойственную сторонникам побежденной партии. Я пил там чай стоя, держа цилиндр в руке, и, несмотря на яростные толчки Фонтанэ, слушал без улыбки дряхлого знаменитого полемиста, который, подобно Лузиньяну *, шестьдесят лет ломал копья во славу божию, а теперь, все еще полный юношеского задора и красноречия, разоблачал перед молодым поколением преступления якобинцев и злодейства Бонапарта, причем с таким жаром, что опрокинул чашку чая в свой цилиндр и даже не заметил этого. Дамы сидели в одной из гостиных, разместившись рядами, точно в театре. Насколько я мог судить, большинство из них, должно быть благодаря жизни в поместьях, отличалось свежим румянцем, непринужденностью манер и несколько громким голосом. Но ни в одном обществе мне больше не доводилось встречать женщин, которые бы держались и разговаривали так просто, как эти знатные дамы, носящие самые славные имена Франции. Это общество внушило мне большое почтение. Нельзя сказать, что оно мне не понравилось, — совсем напротив! Зато я сам себе не понравился в этой обстановке и перестал туда ходить.

Фонтанэ представил меня еще в двух-трех домах деловых людей, где всякий танцор был желанным гостем. К несчастью, я вальсировал очень плохо. И сам это сознавал. Фонтанэ тоже танцевал дурно, но так как он этого не замечал, то не замечали и другие. Я держал себя наиболее непринужденно и потому чувствовал себя лучше всего в доме инженера Эрио, в то время еще неизвестного, еще только начинающего свою блестящую карьеру. Он тогда заново обставил, весьма роскошно и богато, прекрасную квартиру на Вандомской площади. В те годы во французском обществе непрерывно устраивались празднества. Хотя я и не большой знаток в этом деле, все же могу сказать, что балы и вечера в доме Эрио были великолепны. Во всяком случае, первый бал, на котором я присутствовал, совершенно ослепил меня.

Сверкая драгоценностями и жемчугами, искрящимися под огнем бесчисленных свечей и хрустальных люстр, отражаясь в громадных сен-гобенских зеркалах, пленявших тогда даже самых серьезных людей, окруженные тепличными растениями, букетами и гирляндами, в которых природа соревновалась с искусством, женщины, с перьями в волосах, отливающих блеском, как птичьи крылья, все как одна стремились подражать императрице Евгении * в манерах, в наряде, в глубоком вырезе лифа, вплоть до изящной линии покатых плеч; они плавно выступали в огромных кринолинах, которые теперь кажутся смешными, а тогда настолько прочно вошли в моду, что церковные проповедники обличали их как чудовищный соблазн, изобретенный дьяволом в аду, обмахивались веерами из перьев, колебля теплый ароматный воздух, говорили вполголоса, кротко улыбались и своими движениями, полными неги, очаровывали зрелых мужчин и стариков и опьяняли юнцов вроде меня, которые чувствовали себя словно в каком-то волшебном царстве.

Госпожа Эрио, которой я нанес визит в ее приемный день, держалась далеко не так просто, как аристократки в старинных холодных особняках предместья, но умела быть приветливой и приятной. Тонкая и бледная, она очень напоминала героинь Октава Фейе *.

Женщины сетовали, что у нее дурной цвет лица. Но она искусно подкрашивалась, и я замечал только ее красивые фиалковые глаза, тонкий нос и меланхолическую улыбку. Ее подчеркнутая, но подлинная грусть очень к ней шла. Г-жа Эрио не была счастлива. Она увлекалась литературой и говорила о Мирели * с глазами полными слез. Я ей понравился, и у меня нет причин это скрывать; склонность ко мне только делала честь этой милой даме, ибо свойственные мне неловкость, робость, растерянность и неуверенность в себе придавали мне самый добродетельный и невинный вид.

Госпожа Эрио дала мне как-то почитать «Vita Nuova»¹, которой она восхищалась; я тоже пришел в восторг, хотя почти ничего там не понял. Но трудно даже представить себе, до какой степени излишне понимать литературу, чтобы восхищаться ею. Мы обменялись впечатлениями, и они во многом совпадали. Таким образом Данте Алигьери сблизил нас чисто духовно, на почве вполне его достойной. Далее, как принято в благовоспитанном обществе, завоевывая одновременно благосклонность жены и симпатии мужа, я стал получать приглашения на интимные вечера и даже на холостяцкие обеды.

В доме бывали финансисты, дельцы, инженеры, оперный певец, турецкий государственный деятель, персидский дипломат. После обеда, когда мужчины удалялись в курительную, наш хозяин, отперев золотым ключиком палисандровый шкафчик со множеством плоских ящиков, доставал оттуда сигары, темные и золотистые, длинные и короткие, различные по форме и аромату, и угощал гостей с расчетливой щедростью, соразмеряя достоинство сигары с общественным положением приглашенного, но так ловко, что это замечали только те, кому он преподносил «Цветок Гаваны». Наученный этим примером, я постепенно открыл, какая скупость скрывалась за его широким гостеприимством.

Эрио затевал тогда колоссальное предприятие, до сих пор еще не осуществленное, которому суждено

¹ «Новая жизнь» * (итал.).

совершить переворот в истории цивилизации, — багдадскую железную дорогу. Он слыл человеком предприимчивым, с весьма практическим умом. При этом он умел казаться филантропом и гуманистом. Воспитанный на учении сен-симонистов *, он сохранил некий индустриальный идеализм, своеобразный экономический мистицизм и поэтическое чувство в коммерции, что придавало даже его наиболее расчетливым операциям характер благородного великодушия и могло бы даже самое шарлатанство облечь в ризы апостольских деяний.

Уверяя, что его вдохновляет общий порыв народов к объединению, он считал промышленность и банковский капитал двумя благотворными движущими силами, которые, объединяя нации, приведут когда-нибудь к установлению всеобщего мира. Но, как француз и патриот, в вопросе о мире он придерживался наполеоновской концепции и полагал, что высокая миссия объединения народов предназначена исключительно Франции, что именно Франция должна возглавить будущие Всемирные Соединенные Штаты.

Когда этот энергичный смуглый человечек путешествовал по Малой Азии, подымался на Таврский и Аманский хребты, пересекал Евфрат, плыл по течению Тигра, я испытывал перед ним истинное восхищение. Он ворочал миллионами и высчитывал каждый грош. Он напоминал Наполеона своей способностью вникать во все мелочи, не упуская из виду главного.

Романтически настроенный и невежественный, он, подобно Наполеону, любил при случае призывать великие исторические имена — Вавилон, Ниневию, Александра, султана Гарун-аль-Рашида. Этот маленький брюнет с нафабранными лейтенантскими усиками был поистине великолепен, когда, мечтая вслух, предсказывал, что свистки его паровозов разбудят крылатых быков у дворца Саргона *. Он был похож на Наполеона также и верой в свою звезду, заразительным оптимизмом и глубокой убежденностью, что дело окончательно проиграно только тогда, когда считаешь его проигранным.

Его речь становилась возвышенной, когда он обращался за поддержкой ко всем партиям, — легитимистам, орлеанистам, бонапартистам, республиканцам, ко всем выдающимся специалистам — ученым, инженерам, художникам, промышленникам, банкирам и поэтам, или когда созывал на великое пиршество цивилизации всех рабочих и всех крестьян.

Однажды, когда я пришел их навестить, г-жа Эрио сообщила мне, что через три месяца ее муж собирается в научную экспедицию на берега Тигра и был бы очень рад взять меня с собой в качестве личного секретаря.

— В этом путешествии, — добавила она, — вы можете пополнить свое образование и обеспечить себе будущую карьеру. Не давайте мне ответа сейчас. Подумайте, посоветуйтесь с родителями. После этого вы сообщите о своем решении моему мужу.

XXVI

Горе Филиппины Гоблен

Солнце термидора заливало огненными потоками реку, набережные и сады. Я вошел в Лувр с привычно почтительным чувством. В пустынных залах античной скульптуры веяло влажной прохладой.

Перед памятниками этого несравненного искусства, после которого все кажется жалким и уродливым, меня охватил восторг и отчаянье. Опустившись на скамью возле статуи Ареса Лудовизи *, я изнемогал от пламенного желания жить и умереть, от сладостной боли, бесконечной грусти, от опьянения ужасом и красотой; я чувствовал безумную жажду все видеть, все узнать, все понять, всего достигнуть и в то же время соблазн изведать радость дремоты, покой забвения, блаженство небытия.

Потом я снова принялся бродить по галереям среди мраморных изваяний, среди прекрасных пластических форм, исполненных естественности и мудрого мастерства, которые воплощают не только гармонию тела, но и мировую гармонию, и открывают нам все тайны миро-

здания, которые мы способны постичь. Мало-помалу, под воздействием дивного искусства, олицетворения разума и красоты, мои мысли просветлели и понятия прояснились. Я дал себе слово созерцать спокойным взором жизнь и смерть, которые являются лишь двумя разными ликами природы и похожи друг на друга, как двое детей, Эрос и Антэрос *, изваянные на античных саркофагах.

Затем я прошел в ассирийские залы. И стоя перед крылатыми быками с человеческими лицами из дворца Саргона, я принял решение поехать с инженером Эрио в далекие страны, куда влекла меня надежда сделать карьеру, благородное любопытство и множество разных причин, среди которых не последнее место занимала надежда увидеть гробницу Зобеиды *.

Я предполагаю, хотя и не вполне в этом уверен, что главную роль в моем решении сыграла г-жа Эрио. Ведь это она предложила мне принять участие в поездке. Ее фиалковые глаза, ее изысканная красота, изящная головка не могли не очаровать мою юную душу. Меня влекло к ней. Уезжая из Парижа, где она жила, я удалялся от нее и зачем-то отправлялся в путешествие ради ее прекрасных глаз, тем самым лишая себя удовольствия ими любоваться. В этом проявлялась одна из странных черт моего характера.

Мои родители беспокоились за меня, их пугало такое долгое путешествие, утомительное и опасное. Но они понимали, как трудно сделать карьеру, и уважали мою свободу, а потому не противились этой затее, хотя и считали ее рискованной. Когда матушка говорила со мной о предстоящем путешествии, она улыбалась мне с глазами полными слез.

Перед Новым годом парижские улицы были похожи на ряды огромных коробок с конфетами, игрушками, засахаренными фруктами, безделушками и галантереей, покрытых, точно ватой или оберточной бумагой, пеленой туманов и изморози.

Я зашел проститься перед отъездом с бедным крестным, которого за последний год навещал очень редко. Он сидел в большом кресле, похудевший, с маленькой головкой, с опухшими ногами, непривычно

грустный, уже серьезно больной грудной жабой, которая вскоре свела его в могилу. Потрясая журналом по палеонтологии, он сказал сокрушенно:

— Они не верят в ископаемого человека!

И брелоки на его опавшем животе затряслись от горького смеха.

Госпожа Данкен, совсем уже немощная, но сохранившая природную веселость, сидела в кресле на другом конце комнаты, держа при себе костыли. Она заговорила со мной о молодежи из нашей компании, в которой принимала такое участие, — о юных Бондуа, Эдмее Жирэ, Элизе Герье, — и жаловалась, что больше не видит их. Она сообщила мне важную новость: Мадлена Деларш выходит замуж за доктора Ренодена, который, правда, немного стар для нее, без состояния, живет своим трудом, но которому прочат славную будущность.

— Мадлена очень красива и изящна, — сказала она. — Вы еще называли ее «любовью небесной» за ее мечтательные глаза и стройную талию. За ней дают отличное приданое.

Немного помолчав, г-жа Данкен продолжала с живостью:

— Мы с мужем расходимся во мнениях насчет свадебного подарка для Мадлены; он хочет подарить ей серебряный кофейный сервиз. А я считаю, что больше всего им подходит пара красивых канделябров — для докторской приемной. Надо чем-нибудь ослепить пациентов... Госпожа Деларш надеялась на лучшую партию для дочери, но в конце концов примирилась и как-то на днях сказала мне очень рассудительно: «Дети должны жениться не для родителей, а для самих себя...»

Мы обнялись на прощанье.

— Пьер, — сказал мне с прежним пылом бедный крестный, — если тебе попадутся на берегах Евфрата доисторические окаменелости, вспомни обо мне.

Через несколько дней после новогодних праздников я пошел проститься с г-жой Гоблен и ее дочерью, которые жили в верхнем этаже высокого дома на улице Бак, под застекленной синей мастерской, которую при-

строил на крыше фотограф. Огромный дом был заполнен магазинами и мастерскими. Чайные лавки, лавки китайских ваз и восточных материй занимали два нижних этажа. На каждом этаже медные дощечки на дверях указывали, каким искусством или ремеслом занимаются в данном помещении. На втором этаже вы видели надпись: «Мадемуазель Эжени, шляпки»; на третьем — «Эрикур, дантист»; на четвертом — «Госпожа Юбер, корсетница»; на пятом висела карточка, приколотая четырьмя кнопками, с надписью «Младенец Марии», еженедельный журнал». Гоблены жили еще выше. Меня встретила Филиппина, такая же длинная и нескладная, как всегда, с такими же бесцветными волосами, узкими, как щелочки, глазами и большим ртом, хмурая и унылая. Ее мать, седая, с выцветшими глазками и сморщенными, как китайская бумага, щеками, уже совсем состарилась. Обе женщины раскрашивали детские фотографии. Я сообщил о своем скором отъезде. Г-жа Гоблен сказала, что уже слышала об этом от Данкенов. Филиппина поджала губы, не проронив ни слова; она, как мне показалось, была обижена, что не ей первой я об этом сообщил, и, смотрела на меня как будто с упреком, чем меня очень тронула.

Чтобы сгладить это впечатление, я с подчеркнутым интересом спросил, не собирается ли она выставить в Салоне свои миниатюры, и обещал прислать ей из Багдада несколько ее любимых персидских акварелей.

Она оживилась, чтобы скрыть свою грусть под шумной веселостью.

Старушка показала мне вазу с азалией, стоявшую на фортепьяно.

— Посмотрите, — сказала она, — какую прелесть прислал ей ко дню рождения наш добрый господин Данкен, хотя он и не признает подобных праздников.

Она взглянула на дочь с нежной тревогой и добавила:

— Филиппина родилась двадцатого января и не так еще давно, чтобы не праздновать день ее рождения.

— Да! Я родилась двадцатого января, под злополучным знаком Водолея, — воскликнула Филиппина.

И продолжала, передразнивая говор гадалки:

— Рожденные под знаком Водолея забывают захватить зонтик, когда должен хлынуть дождь. Всякий раз как они надевают новую шляпку и проходят по улице под окном с горшками цветов, им на голову выливают лейку воды. А когда дует ветер, на них сваливается и горшок с цветами. У них постоянно бывает насморк...

— Проказница! — вздохнула г-жа Гоблен.

Филиппина шутила и смеялась, но видно было, что она чуть не плачет. «Весть о моем отъезде, — подумал я, — причиняет ей столь глубокое горе, что она даже не может его скрыть», и тут же я волей-неволей пришел к заключению, что она в меня влюблена. До сих пор я этого не замечал; напротив, мне казалось, что она никак не выделяет меня среди прочих приятелей, к которым относится просто и дружелюбно. Как ни неожиданно было это открытие, оно нисколько меня не удивило. Эта любовь сразу же показалась мне вполне правдоподобной, естественной, закономерной. Мне стало ясно, что живой ум Филиппины, ее утонченный вкус, ее образ мыслей неизбежно должны были привести ее к этому.

Теперь она казалась мне если и не хорошенькой, то по крайней мере более привлекательной. Разговор замер, и я стал воображать себе, как в минуту прощанья она шепнет мне на ухо: «Не уезжайте», как я отвечу: «Хорошо, Филиппина, я остаюсь!» — и как я буду счастлив, увидев ее просиявшее от радости лицо. И кто знает? Может быть, от счастья эта славная девушка даже похорошеет. «Ведь ее лицо часто меняется», — думал я.

Я поднялся с места, чтобы откланяться. Увидев, что печка готова погаснуть, Филиппина, ворча и бранясь, бросилась разжигать огонь. Когда я прощался с ней, она держала в одной руке ведро с углями, в другой — кочергу.

— Я вам завидую, — сказала она, — вы увидите чудесные страны... Если бы я могла, я бы тоже отправилась путешествовать!.. До свиданья, господин Пьер.

С площадки лестницы я слышал, как она кричала, размешивая угли:

— Экая проклятая печка!

Я медленно спускался по лестнице и думал, проходя мимо двери «Младенца Марии»:

«Она ничего мне не сказала, ни о чем не намекнула. Разумеется, ей помешало присутствие матери, скромность, деликатность... Однако не могу же я подняться обратно и крикнуть: «Филиппина, я остаюсь!»

Навстречу мне попалась какая-то толстая дама, направлявшаяся к г-же Юбер, корсетнице.

«Она меня интересуется, она внушает мне симпатию, уважение, нечто вроде восхищения, — говорил я себе, — но я не люблю ее и никогда не полюблю. Я не могу жениться на ней. Не могу посвятить ей жизнь...»

Тут мои глаза упали на вывеску зубного врача Эрикура; это произвело на меня тягостное впечатление, и я поспешно стал спускаться дальше. На площадке, где обитала мадемуазель Эжени, веяло нежным запахом ириса. Я задержался на минуту и подумал:

«Нет, я не допущу, чтобы эта девушка страдала из-за меня, она еще заболит с горя, может быть, умрет. Завтра я непременно зайду к ней; я постараюсь остаться с ней наедине, вызову ее на признание или лучше угадаю все сам... Я скажу: «Филиппина, я остаюсь!» Я спасу ее и поэтому буду крепко любить».

Заранее предвкушая сладость самопожертвования, я уже спустился на площадку второго этажа, как вдруг встретился с мадемуазель Элизой Герье, еще более прекрасной и странной, чем когда-либо, с побледневшим от холода мраморным челом. Не то бессмертная богиня, не то дикая лань, только не женщина. И далекая и загадочная. Как всегда, я стоял перед ней в ослеплении, оцепев, не находя слов от робости.

— Вы идете от Гоблен?.. Как чувствует себя Филиппина?

— Да... как будто хорошо...

— Она ничего вам не сказала, вы ничего не заметили?

— Нет...

— У нее такая сила воли!

Я пробормотал:

— Да, у нее...

— Ей нужно много сил, чтобы перенести этот ужасный удар.

— Удар? Какой удар?

— Ну да, женитьбу доктора Ренодена на этой дурочке Деларш.

— Ах, женитьба доктора Ренодена...

— Бедная Филиппина! В сущности Реноден никогда ее не любил, но он вскружил ей голову. Она была без памяти влюблена. Реноден женился на Мадлене Деларш из-за приданого. Он будет с ней несчастен. Но Филиппина умрет с горя.

И мадемуазель Герье мрачно расхохоталась, негодуя на безрассудство женщин.

XXVII

Мария Багратион

Ἦριτο δ'οὐ μάλατι, οὐδὲ ροδὴ . οἱ δὲ
κικλῶναι

ΦΕΟΚΡΙΤΟΥ Κικλῶ

Я был некрасив; я плохо танцевал; в разговоре я то вдавался в серьезные рассуждения, то увлекался шутовскими выдумками, но никогда не умел поддерживать легкой беседы, приятной в обществе; вечно впадая в крайность, я оказывался то глупее других, то учнее и умнее и в обоих случаях был несносен; женщинами я увлекался пылко, но скрывал это и робел перед ними. По всем этим причинам я не имел успеха в обществе. Я не раз замечал, что во многие дома, где я был представлен, меня больше не приглашали. Был, однако, один салон, где меня принимали как будто охотно: салон г-жи Эрио, жены инженера, которого я должен был сопровождать в одном из его путешествий по Малой Азии. В роскошной квартире на Ван-

¹ Он выражал свою страсть не в яблоках, локонах, розах... * (греч.). — Феокрит, Киклоп, XI, 10.

домской площади г-жа Эрио принимала художников, ученых, деловых людей и дам из разных слоев общества, одинаково блистательных в величавых кринолинах и в сверкании драгоценностей. Кажется, там бывало много евреев, но на это не обращали внимания, — в то время во Франции не был развит антисемитизм. Мало того, наряду с Фульдом и Перейром * евреи занимали высшие должности в Июльском правительстве и в министерствах начала Второй империи. В салоне Эрио принимали многих иностранцев, турок, австрийцев, немцев, англичан, испанцев, итальянцев, и это не вызывало порицания. При Наполеоне III Париж был гостиницей для всего мира. Там принимали с щедрым радушием гостей, стекавшихся со всех концов света. Ничто не предвещало той ненависти к чужестранцам, которая позднее омрачила Третью республику, той враждебности, подозрительности, — ядовитых плодов военного поражения, которые через пятьдесят лет после победы еще более разрослись и теперь уже не погибнут никогда. Больше всего меня привлекала в доме Эрио сама хозяйка, изысканно красивая, тонкая, изящная, прекрасная собеседница и дружески ко мне расположенная. Но вот однажды вечером у нее в доме, среди обычных гостей, большей частью турок, я встретил незнакомую даму, которой г-жа Эрио меня тут же представила, княгиню Марию Багратион. Я был так ослеплен, что даже не мог рассмотреть ее как следует и не мог вымолвить ни слова. Я вдруг почувствовал себя ничтожнейшим из людей. В один миг я перестал владеть своими чувствами и способностями, потерял рассудок, самообладание, — из-за женщины, более далекой и недоступной для меня, чем любая другая на свете. Обычно такой наблюдательный, подмечавший все мелочи туалета, здесь я увидел только белое платье, жемчужное ожерелье и обнаженные руки, да и в том еще не был вполне уверен. Некое мягкое сияние точно дымкой затмевало ее от меня. Мало-помалу я рассмотрел, что волосы у нее темно-каштановые, глаза черные с золотыми искрами, цвет лица матовый, что она высокого роста, стройная и полная. Я трепетал, внимая ее го-

лосу, который ласкал и мучительно волновал меня, слушая ее странный, певучий, с чужеземным акцентом говор. Не знаю, на сколько времени я лишился дара речи. Я не заметил, как зал наполнился гостями. Придя в себя, я оказался рядом с г-ном Мильсаном, к которому всегда относился с симпатией и доверием. Не помню, о чем мы беседовали вначале и почему заговорили о княгине Багратион; зато конец разговора врезался мне в память. Он выразил удивление, узнав, что я ничего о ней не слыхал. Сам он мог сообщить только то, что говорили о ней в свете.

— Это русская княгиня, разведенная с мужем, который всегда путешествует, — сказал он мне. — Она живет в Париже с больной матерью-эфироманкой; старухи никто никогда не видал. Их считают очень богатыми, но есть подозрение, что они не настоящие Багратионы. Княгиня занимается скульптурой. В жизни ее много загадочного. Как вы ее находите?

Я не мог ничего ответить. Г-н Мильсан продолжал:

— Что же, раз вы уже представлены, нанесите ей визит. Она принимает каждый день, начиная с пяти часов, в мастерской на улице Бас-дю-Рампар. Там бывают интересные люди: Тургенев, чета Виардо *, пианист Александр Макс и весьма занятные женщины.

Я дал себе слово не ходить туда, даже поклялся в этом; но я отлично знал, что пойду, и вскоре улица Бас-дю-Рампар стала для меня заветной целью.

Во время чая я приблизился к княгине; я видел ее по-прежнему как бы в сияющей дымке, но вместе с тем различал четкие и твердые черты лица, составлявшие ее главную особенность; у нее были широкие свободные движения, более ритмичные и музыкальные, чем у других женщин. Меня поразило каким-то испугом равнодушное выражение ее прекрасного лица, замкнутого, как могила. Если бы тогда понадобилось определить чувство, которое внушала мне эта женщина, я, пожалуй, сказал бы: это ненависть, но ненависть обезоруженная, спокойная и прекрасная, как она сама. Княгиня уехала рано. После ее ухода я испытал ощущение, что не расстался с ней и что

отныне, где бы она ни находилась, она всегда будет со мной.

И действительно, теперь я видел ее яснее, чем мог видеть в ее присутствии. Я восстановил в памяти все ее черты: низкий лоб, соединенный почти прямой линией с переносицей, глаза цвета расплавленного золота с черным ободком, горделивый носик с трепещущими ноздрями, полураскрытые изогнутые алые губы, как бы соединяющиеся в поцелуе, белая полная шея, высокая грудь и широкие плечи. Да, я ненавидел ее за то, что, сама того не зная, она завладела моей жизнью, за то, что ничего не даст мне взамен, кроме призрака, ибо я ни на минуту не обольщался надеждой понравиться ей; в те годы все женщины внушали мне робость, от которой я долго еще не мог излечиться; но перед этой я испытывал не робость, а страх, трепет, священный ужас. Г-жа Эрио, когда я прощался с ней, язвительно сказала:

— До свиданья, сударь. И, пожалуйста, в следующий раз приходите с другой физиономией.

Тут я понял, что мой недуг тяжелее, чем я думал, раз я не в силах его скрыть, раз даже посторонним заметны признаки моего смятения. Я был подавлен. И еще более огорчился, когда, войдя в свою комнату, невзрачную, но знакомую и любимую, почувствовал отвращение. Все, что не было «ею», стало для меня ничтожным и постылым, и я не знал, где поместить видение, которым был одержим.

На другое утро призрак снова предстал передо мною.

Я отправился в Национальную библиотеку и написал нужные мне книги. Мне предстояло написать заметку о Паоло Учелло *. Не способный ни о чем думать, не владея своими мыслями, я все же справился с задачей довольно сносно и таким образом убедился, что для умственной работы, при некоторых врожденных способностях, достаточно простого прилежания и что мы ждем вдохновения большей частью только из презренной лени. Было шестое мая; я назначил на четырнадцатое свой визит в мастерскую на улице Бас-дю-Рампар. За это время наваж-

дение со дня на день ослабевало, и муки мои смягчались. Я чувствовал, что напрасно хочу увидеть ту, которая оставила мне свою тень, но все же не отступился от своего намерения. Четырнадцатого мая я нарядился особенно тщательно и надел самый новый галстук. У меня было две булавки: одна с полураскрытым эмалевым цветком между двумя золотыми листочками, другая, сделанная из серебряной медали эпохи Александра с изображением головы Юпитера-Аммона. Я выбрал медаль как изделие более строгого стиля. Припоминая, как я был молчалив и неловок, когда меня представили княгине Багратион, я думал, что она откажется меня принять. Но не все ли равно? Мне нечего было бояться, ибо не на что было надеяться.

Дом был низенький; в мастерскую вела лесенка с тремя ступеньками. Я вошел. Княгиня приняла меня, как старого знакомого, и, не выпуская из пальцев стеки, извинилась, что у нее руки в глине. Она была одета в простую серую свободную ниспадающую блузу. Эта блуза казалась удивительным и необычным откровением, потому что женщины не носили тогда платьев по фигуре, а скрывали свою природную стройность под разными ухищрениями портних. Теперь нельзя и представить себе, какое величие придавало женщине, сложенной, как Мария Багратион, это грубое одеяние, переносившее ее из пошлого мира светских мод в блаженные сферы нимф и богинь. Кожа ее не была такой золотистой, как показалось мне в сиянии свечей и люстр; зато дневной свет, падавший сверху, из застекленного потолка мастерской, освещая ровную прямую линию профиля, придавал чертам ее лица божественную чистоту. Скульпторша заканчивала бюст г-на Виардо, уже совсем старика, который, позируя, все время дремал. Мелкими шагами она то отступала от скульптуры, чтобы судить о ней на расстоянии, то снова подходила лепить, и было заметно, что она слегка близорука. Ее работа показалась мне выразительной, сильной и грубоватой. Мастерская была заполнена гипсами, старинными иконами, небрежно брошенными персид-

скими тканями. Г-н Виардо, которого мне случилось видеть и прежде, был там не единственным посетителем. На диванах, среди разбросанных подушек, сидело трое мужчин, молодой и два старика. Я не знал, кто они такие, потому что хозяйка дома не знакомила никого. Они курили папироски и изредка перекидывались словами. Минут через двадцать после моего прихода Мария Багратион сказала, обратившись к высокому молодому блондину:

— Кирилл, сыграйте что-нибудь.

Тот сел за фортепьяно и заиграл с поразительным мастерством. К стыду моему, я не знал, что он исполняет. На нотной тетради я прочел: «Шопен. Скерцо». Я любовался движениями женщины, которые казались мне лучшей музыкой в мире.

Получив позволение переменить позу, пока Мария Багратион покрывала бюст мокрой простыней, г-н Виардо встряхнулся и вышел из сонного оцепенения. Это был большой знаток искусства, автор нескольких ценных трудов об испанской живописи и к тому же прекрасный человек. Он с большой добротой поздравил меня с тем, что я сотрудничаю в крупном издании биографий художников. Супруг самой замечательной певицы того времени и любитель музыки, он похвалил Кирилла Балашова за вдохновенную и блестящую игру. От него я и узнал имя юного виртуоза. Я находился в совершенно новом неведомом мире. Я распростился, не сказав и двух слов с Марией Багратион.

Я так и не познакомился с нею ближе, да, пожалуй, и не хотел этого. Я оказался мудрее, чем могут думать читатели этих строк, мудрее, чем думал я сам: я проник в тайну Эроса, я понял, что истинная любовь не нуждается ни в симпатии, ни в уважении, ни в дружбе; она живет желанием и питается обманом. Истинно любят только то, чего не знают. Каким путем я постиг эту недоступную разуму истину? Я обладал всем, чего можно достигнуть в любви: призраком. Я водил с собой любимый образ по Медонским лесам и по паркам Сен-Клу. И был счастлив.

Я нанес визит г-же Эрио, которая приняла меня почти так же дружески, как всегда, но ни словом не упомянула о княгине Багратион. Г-н Мильсан, которого я там встретил, улучил минуту, когда мы оказались одни, и спросил, бываю ли я в мастерской на улице Бас-дю-Рампар. Я ответил, что бываю, но редко.

— Она не умеет принимать гостей, — заметил он, — это дикарка...

Мои посещения дома на улице Бас-дю-Рампар продолжались по-прежнему. Каждый раз, переступив порог мастерской, я переносился на другую планету. Однажды я застал Марию Багратион одну; она стояла за рабочим столом, поглаживая статуэтку ногой женщины. Мне захотелось поговорить об ее искусстве, и, стараясь избегать банальных комплиментов, я похвалил ее твердую резкую манеру, необычную для женщины. Она как будто была довольна моими словами, но не поддерживала разговора. Я попробовал оживить беседу, превознося греческое пластическое искусство, которое возбуждало во мне пламенный восторг. Но она не последовала за мной в эти далекие сферы, и разговор заглох окончательно. Чтобы не мешать ей работать, я умолк. Минут через двадцать она указала мне на книжку без переплета, валявшуюся на диване, и попросила прочесть вслух отмеченное ею место. Это был томик дешевого издания Платона во французском переводе какого-то профессора. Страница была заложена на отрывке из «Пира» *, и я прочел вслух.

«Из числа людей, совершивших много прекрасных дел, боги только немногим даровали почетный дар, вернув из подземного царства их души; подвиг же Алкесты * был признан столь прекрасным и людьми и богами, что боги, восхищенные ее мужеством, вернули ее к жизни. Итак, благородную и доблестную любовь чтут даже боги!

Не так почтили они Орфея * сына Ээгра. Они прогнали его из преисподней, не дав ему того, о чем он просил. Вместо того чтобы вернуть ему жену, они показали ему лишь ее призрак, в наказание за то, что у него, изнеженного кифареда, не хватило мужества.

Вместо того чтобы, подобно Алкесте, умереть за ту, кого любил, он, призвав на помощь свое искусство, ухитрился живым проникнуть в преисподнюю. Поэтому разгневанные боги покарали его за малодушие и послали ему смерть от руки женщин».

Мария Багратион слушала чтение с тем же бесстрашием, какое проявляла во всем. Но на последней фразе она прервала меня и сказала задумчиво:

— Значит, Платон понимал, что женщины отважнее мужчин. Тогда почему же в «Пире» он строит теорию любви на противоположной идее?

Она просила меня читать дальше. Через четверть часа пришла русская дама — Наталия Шерер, как я позже узнал. Они обнялись и дружески разговорились. Наталии могло быть лет тридцать пять; это была крепкая, великолепно сложенная, статная женщина; вздернутый нос и широкие скулы придавали ей дикую красоту фавна.

Я посещал дом Марии Багратион около полугода, но мне не удалось ни познакомиться с ней покороче, ни даже привыкнуть к ее красоте, самый блеск которой заслонял ее от меня. Зато эта женщина, такая чужая и далекая, когда я смотрел на нее, становилась мне близкой, едва лишь я с ней расставался. Если мне удавалось вырваться из города и уехать в лесистые окрестности Версаля, я увозил с собой ее образ. Я говорю так, потому что это правда. В моих мечтах мы бродили вдвоем по уединенным тропинкам, опьяненные счастьем и мукой.

Однажды утром я прочел в газете:

«Вчера в полночь у себя в доме, на улице Бас-дю-Рампар, скончалась княгиня Мария Багратион».

В газете больше ничего не было сказано. Я слишком мало знал покойную, чтобы оплакивать ее потерю, но я был потрясен. Это была катастрофа, — земля разверзлась, чтобы поглотить мое сокровище, чтобы уничтожить ту, в ком заключалась для меня вся красота мира.

Я бросился к г-ну Виардо. У него находился Кирилл Балашов, пианист.

— Какая ужасная смерть! — вскричал я.

— Какая ужасная смерть! — повторил Кирилл, точно эхо.

— Мария Багратион покончила с собой, — сказал Виардо, — и притом способом, необычным для женщин. Утром ее нашли распростертой на постели в белом платье, с жемчужным ожерельем на шее и с револьвером в руке; у нее был прострелен висок.

Я спросил, известна ли причина самоубийства.

— Ее мать сумасшедшая, отец, генерал Багратион, застрелился, — ответил Виардо. — Вероятно, есть и более важная причина, но я ее не знаю.

Кирилл в волнении ломал руки. Потом сказал:

— Молва приписывала ей множество любовных связей. Но странно, — те, кто вроде меня виделся с ней постоянно, не знали ни одного ее любовника. Правда, это еще ничего не доказывает. Пойдем простимся с ней.

Мастерская скульпторши была обращена в часовню. Мария Багратион покоилась на кровати; на ее виске отчетливо выделялось маленькое круглое пятнышко. Колеблющееся пламя свечей оживляло ее лицо. Лишь по трагической бледности можно было угадать, что она мертва. Черты ее были отмечены тем же бесстрашием, какое она неизменно сохраняла в жизни, быть может, считая, по примеру древних, что выразительность — враг красоты. Ее одели в белое закрытое платье. Мать сидела рядом с ней, худая, растрепанная, страшная, как колдунья, и исподлобья косилась на нас. Друзья Марии Багратион подходили по двое, по трое и медленно удалялись.

XXVIII

«Не нишу!»

Вот уже около двух лет г-н Дюбуа лишь изредка, через долгие промежутки, посещал наш дом, где так часто бывал прежде; казалось, ему перестало у нас нравиться. Во время своих коротких визитов он уже не поддразнивал матушку, затевая спор о морали и

религии. Он скупился на полные строгого изящества рассуждения, на глубокие содержательные речи, которые в былые дни так охотно расточал ребенку, хотя теперь я мог бы лучше их оценить. Может быть, ему уже было утомительно мыслить и говорить? Может быть, бремя старости начинало тяготить его? Но этого не было заметно; он не дряхлел и, казалось, нисколько не менялся. Возможно, он обнаружил, что я уже перестал быть мягким воском в его руках, и его не прельщало делиться мыслями с самоуверенным верзилой, который иногда бестактно и недостаточно почтительно противоречил ему. Но вот в один осенний день, после полудня, раздался его короткий, повелительный звонок. Г-н Дюбуа вошел. Глаза его были скрыты за большими синими очками. Он уселся в кресло, расправил полы длинного зеленого сюртука и заговорил с таким же блеском, как в доброе старое время; из уст его полились «потоки дивных слов, блестящих, как в горах их снеговой покров».

«Я полагаю, — сказал он среди прочего, что стоило сохранить в памяти, — я полагаю, друг мой, что идея прогресса должна быть тебе близка. Она широко распространена ныне, и можно только удивляться, что она господствует в выродившемся поколении, которое, в силу своих низких качеств, менее всякого другого способно доказать ее справедливость. Но религиозное чувство в наши дни угасает, и догматическая идея незыблемости незаметно подменяется идеей свободного, неуклонного, бесконечного прогресса. Подобная идея льстит людям, и этого достаточно, чтобы они верили в ее истинность. Люди единодушно принимают на веру все, что потакает их тщеславию и отвечает их чаяньям, — всякую утешительную идею, и им нет дела, обоснована она или нет. Посмотрим же, что это за прогресс, которым современники прожужжали нам уши. Что следует понимать под этим словом? Если мы попробуем определить его как добросовестные грамматики, мы скажем, что это есть преуспевание в добре и зле (насколько мы можем различать добро от зла), то есть не что иное, как продвижение человечества вперед. Но если, как выражаются в наш век, когда не

умеют ни мыслить, ни говорить, мы скажем, что прогресс — неуклонное движение человечества к совершенству, то эти слова не будут соответствовать истине. Мы не наблюдаем подобного процесса в истории, являющейся нам череду катастроф, периоды расцвета, неизбежно сменяющиеся периодами упадка. Первобытные люди, без сомнения, были жалки и беспомощны, но успехи их потомков в технике и промышленности принесли не меньше зла, чем добра, и умножили нужду и страдания человеческого рода в той же мере, что его могущество и благосостояние. Взгляните на древнейшие народы, оставившие величественные памятники своего гения, и сравните их с нами. Разве мы строим здания лучше египтян? Разве мы в чем-нибудь превосходим греков? Я не собираюсь утаивать их пороков и недостатков. Они были зачастую несправедливы и жестоки. Они губили свои народы в братоубийственных войнах. Ну, а мы?.. Разве наши философы мудрее древних? Найдется ли во Франции или в Германии более глубокий мыслитель, чем Гераклит Эфесский? * Создаем ли мы статуи прекраснее и храмы совершеннее, нежели они? Кто осмелится утверждать, будто в новые времена появилась поэма прекраснее «Илиады»? Мы жадны до зрелищ; но разве могут наши спектакли сравниться с трилогией Софокла *, представленной на афинском театре? Поговорим о нравственных, духовных идеях. Чтобы постичь глубочайшую концепцию смерти, когда-либо достигнутую человеческим родом, необходимо вернуться к Элевсинским мистериям *. Перейдем к государственному устройству и управлению народами. В этом вопросе некогда было предпринято гигантское усилие. Это произошло, когда Август запер двери храма Януса * и воздвиг в Риме алтарь мира и когда грандиозное величие римского мира распространилось на земле. Но Рим погиб. После его падения Европу захватили варвары, которые не только не думают продолжать дело Цезаря и Августа, но даже отвергают самую идею мира, чтобы беспрепятственно удовлетворять свою жажду убийства и грабежа. И ни один человек из этих враждующих стран не помышляет о создании органа, который гарантировал бы

всеобщее спокойствие, об установлении могущественного верховного союза, который, господствуя над государствами, обуздывал бы их беззакония; а если бы и нашелся гражданин, способный осуществить эту великую идею, сулящую спасение человечеству, то и соотечественники и иностранцы покрыли бы его позором за то, что он лишил патриотов их важнейшей привилегии — убийства ради захвата добычи. И подобное единодушие народов во вражде и зависти достаточно ясно доказывает, к какого рода прогрессу они стремятся.

В науке мы намного превосходим древних, это я охотно готов признать. Наши познания развиваются с каждым поколением. Правда, заложить основы науки, как это сделали греки, — большая заслуга человеческого гения, чем довести ее до нынешней изумительной степени совершенства, как это сделали мы. Однако история учит, что развитие науки не идет непрерывно, из поколения в поколение. Нам известны эпохи, когда культура погибала на обширных пространствах. Но даже в счастливые периоды, когда каждое поколение последовательно вносило свой вклад в науку, все же незаметно, чтобы благодаря обширным познаниям и многочисленным изобретениям нравы изменялись к лучшему. И прискорбнее всего, по моему мнению, то, что, когда наука, совершенствуясь, устанавливает новую непреложную истину, когда астрономия, например, открывает новое строение вселенной, образованные люди не в силах расширить свой умственный горизонт и расстаться с прежними верованиями, которые уже не соответствуют новой, преподанной им, идее мироздания. Напротив, они цепляются за старые, явно ложные заблуждения и доказывают тем самым свою непроходимую глупость. Так восхваляйте же прогресс, господа, кичитесь все возрастающей способностью к совершенствованию, превозносите себя, идите вперед, распевая себе славословия, пока не полетите кувырком!»

Тут г-н Дюбуа, покончив с этой темой, вынул из кармана книжку небольшого формата, томик собрания греческих поэтов, изящно изданного Буассонадом в начале XIX века. Это был томик Еврипида. Он открыл

одну из сцен трагедии «Ипполит» и прочел вслух слова кормилицы. Он прочел их по-французски, не то из внимания к моей матушке, присутствовавшей при разговоре, не то из глубокого недоверия к преподаванию греческого языка, как оно было поставлено в учебных заведениях Второй империи.

Жизнь людей — бесконечная мука и боль,
Нет предела страданиям нашим.
Но другое, что лучше, милей бытия,
Непроглядным туманом сокрыто от нас,
И поэтому мы влюблены на беду
В то, что видим, что блещет у нас на земле.
Мы не знаем, не ведаем жизни иной,
Не проникли мы в тайны подземных глубин,
И смущают нас глупые сказки¹.

Господин Дюбуа прочел еще раз этот отрывок:

И поэтому мы влюблены на беду
В то, что видим, что блещет у нас на земле.
Мы не знаем, не ведаем жизни иной,
Не проникли мы в тайны подземных глубин,
И смущают нас глупые сказки.

«Еврипид, который был глубоким философом, — сказал он далее, — может быть, слишком щедро наделил своей мудростью старую кормилицу царицы. Он справедливо говорит, что люди привязаны к этой жизни, как бы тяжела она ни была, и он прав, что нас запугивают сказками о том свете. Но хотя я не боюсь загробного мира и не даю глупым басням сбить себя с толку, тем не менее я, пожалуй, сохранил еще привязанность к этой жизни, что блещет у нас на земле, хотя более чем за три четверти века я не пережил ни единого счастливого дня. Пойми меня, дружок: хотя судьба избавила меня от больших несчастий, которыми она так щедро одаряет смертных, хотя я не испытал ни тяжкой болезни, ни потери близких, ни горестей, посылаемых природой, я не хотел бы вернуть ни одного дня своей жизни. И, однако, признаюсь тебе, я не могу поручиться, что не жду, вопреки рассудку, какого-нибудь блага или удовольствия от жизни, хотя уже давно

¹ Перевод С. Апта.

пережил положенный мне срок. Я такой же человек, как и все. Мы любим жизнь. И я должен признать, если не по личному опыту, то путем умозаключений, что в нашей «собачьей жизни» (выражение госпожи де Севинье) есть что-то хорошее, хотя сам я этого и не заметил. В ней есть что-то хорошее, раз, зная только ее одну, мы почерпнули в ней идею добра, как и идею зла. Но способность к счастью дана не всем в равной мере. Люди посредственные, как я полагаю, одарены этой способностью в большей степени, нежели люди выдающиеся или глупцы. Пожелаем же тем, кого мы любим, посредственности ума и сердца, общественной положения и состояния, посредственности во всем».

Произнеся это изречение с обычным невозмутимым видом, г-н Дюбуа вытащил из кармана красный фуляровый платок, обсыпанный табаком, и поднес к губам; затем, закусив уголок зубами, он принялся обеими руками скручивать и раскручивать платок, как делал старик Шатобриан в Лесном Аббатстве, когда от него хотели добиться похвал одному юному поэту: об этом рассказывает г-н Эррио в своей истории госпожи Рекамье *. Довольно долго просидев в этой позе, г-н Дюбуа сунул платок в карман и спросил, как подвигается издание биографий художников, где я, кажется, сотрудничаю, и почему о нем ничего не слышно.

Я ответил правду, а именно, что на издание всеобщей истории художников не удалось собрать средств, на которые рассчитывали, и что пришлось прервать работы в самом начале. Я прибавил, что потерял из-за этого приятную и чрезвычайно полезную должность, а теперь сотрудничаю в большом словаре древностей *, но там работа гораздо труднее и хуже оплачивается.

— Все подобные занятия, вроде составления заметок о древних художниках и статей по археологии, весьма похвальны, — заметил г-н Дюбуа. — Такая работа, правда, не прокормит, но при наличии способностей она вполне почтенна и полезна. Добросовестная компиляция не порочит человека, если он хорошо с ней справляется, и даже может принести ему известность, не подвергая никакому риску. Иное дело, друг мой, ли-

тературное произведение, на котором автор ставит печать своего ума, где он себя проявляет, раскрывает, выражает, когда, одним словом, он стремится запечатлеть свои мысли в поэзии, романе, философии или истории. Это рискованная затея, не отваживайся на нее, если тебе дороги спокойствие и независимость. Обнародовать свое произведение — значит подвергнуть себя страшной опасности. Поверь мне, друг мой: скрывай свои мысли. Не пиши! Если ты выпустишь книгу слабую, которая пройдет незамеченной и оставит тебя в неизвестности, что всего вероятнее, ибо талант вещь редкостная, — благодари богов: ты избежал беды; самое большее, чем ты рискуешь, это стать посмешищем в кругу знакомых. Это не страшно. Но если, паче чаяния, у тебя окажется довольно таланта, чтобы выдвинуться, завоевать известность (я уж не говорю о славе), получить признание, — тогда прощай покой, безмятежность, мир, тишина, прощай душевное спокойствие, драгоценнейшее из благ. Свора завистников будет неустанно лаять и травить тебя; неисчислимая армия бездарностей, наводняющая театры и редакции газет, станет подстергать малейшие твои промахи, чтобы раздуть их в преступления; тебя осыплют оскорблениями; о тебе напечатают целые тома клеветы. И толпа всему поверит. Злословию доверяют не всегда, как не всегда доверяют и правде; но клевете верят все, потому что она эффектна. Газетчики, призванные создавать общественное мнение, напишут, что ты изнасиловал свою мать и убил отца, они будут вопить, что у тебя нет таланта. Твои книги, правда, завоюют тебе друзей, но эти друзья будут далеки от тебя, разрознены, немые; они ничего не скажут и ничем не помогут. Да и они принесут тебе много горя. Читателям понравятся больше всего самые посредственные из твоих книг. Если же тебе случится написать смелые, глубокие строки, возвышающиеся над общим уровнем, читатели не последуют за тобой. А завистники всегда будут настороже, чтобы тебя прикончить.

«Не пиши!»

Это был г-н Дюбуа былых времен. Это воскрес прежний г-н Дюбуа. Он даже подразнил мою матушку,

доказывая ей достоинства и преимущества молитвенных мельниц *.

Когда он ушел, матушка, наблюдая за ним через окно, сказала, что у него более твердая походка и статная осанка, чем у нынешних молодых людей. Она поцеловала меня в шею и шепнула мне на ухо: «Пиши, сынок, у тебя окажется талант, и завистникам придется умолкнуть».

* * *

На другое утро мы узнали от рассыльного, которого отправила к нам старуха экономка Клоринда, что г-н Дюбуа скончался. Через двадцать минут я уже вошел в квартиру на улице св. Анны, оставившую во мне такое чудесное воспоминание, хотя я был там только раз. В прихожей Клоринда рассказывала посетителям, что нынче утром, когда она принесла завтрак, барин не проснулся; она окликнула его, тронула за плечо, но он не подавал признаков жизни; тогда она побежала за доктором, и тот, придя вместе с нею, установил, что смерть наступила уже несколько часов тому назад.

Она плакала навзрыд, и от нее разлило водкой.

Я увидел г-на Дюбуа на смертном одре. Его лицо, багровое при жизни, а теперь словно выточенное из белого мрамора, казалось, принадлежит человеку еще крепкому и во цвете лет. Над изголовьем я заметил его любимые прекрасные этюды обнаженного тела итальянской школы и ту самую «Селину», которая смутила покой моей юности.

Я перевел взгляд на лицо покойника, лицо необычайной, пугающей красоты. Это был человек самый выдающийся по уму, какого я только встречал и какого мне суждено было встретить за всю мою долгую жизнь, хотя я знал людей, прославившихся своими сочинениями. Но пример г-на Дюбуа и некоторых других, подобно ему не оставивших потомству никаких произведений, навел меня на мысль, что, возможно, самые замечательные из людей умерли, не оставив следа. Впрочем, следует ли удивляться, что те, кто презирает славу, неизмеримо выше тех, кто домогается ее лъстивыми речами.

XXIX

Театр Муз

Путешествие в Багдад откладывалось со дня на день.

У госпожи Эрио я познакомился с сыном богатого промышленника, Виктором Пеллереном, страстным любителем театра; это был здоровенный толстый молодой человек, вечно пыхтящий и потный, с глазами навыкате, вспыльчивый и добродушный. Он получил в пользование от крупной газовой компании, не знаю на каких условиях, обширный зал в Берси, устроил там театр и давал спектакли. В театре были настоящие подмостки, декорации, кулисы и артистические уборные. Он назывался «Театром Муз», и если там мало применяли искусство Евтерпы и Терпсихоры, зато усердно развивали мастерство Талии и Мельпомены. Таким образом, театр оправдывал свое название; правда, оно казалось слишком классическим для той эпохи, когда еще в моде был романтизм, и не могло привлечь публику. Но это не наносило заметного ущерба театру, в который ходили даром и только по особым приглашениям. Что касается меня, я находил это название очень красивым. Актерами труппы были светские молодые люди, любители, приятели Виктора Пеллерена. Женские роли исполняли профессиональные актрисы из Одеона и других парижских театров, среди них две статистки из Французской Комедии. За самую незначительную плату Пеллерен ухитрялся находить совсем недурных актрис, которые отлично справлялись с порученными им ролями. Этот толстый увалень сочетал в себе все достоинства хорошего театрального директора, а в особенности отличался самым главным из них — расчетливостью. Да и то сказать, она была ему крайне необходима, ибо его театр, не принося никаких доходов, стоил ему очень дорого. На это едва хватало содержания, которое выдавали ему богатые родители. Зато какое другое искусство, спрашивается, при сравнительно скромных расходах, могло бы принести ему такой успех?

Благодаря одному особому обстоятельству мне довелось присутствовать на репетициях Театра Муз. Как я уже говорил, Виктор Пеллерен был превосходным директором. Он прекрасно умел выбирать пьесы. Так как каждый спектакль шел всего три раза, Пеллерен мог не гоняться за успехом у широкой публики; он стремился понравиться только знатокам, и это ему отлично удавалось. Ко дню нашего знакомства он уже успел показать, среди прочих нигде не исполнявшихся произведений, «Алхимика» Бен Джонсона *, первый вариант «Фауста» Гёте *, «Искренность» Мариво *. Потом он задумал поставить «Лизистрату» *, что тогда было совсем новой идеей. Не забывайте, что я говорю об очень давнишних временах. Зная о моем страстном увлечении искусством и литературой древней Греции, он решил, что я помогу ему обработать Аристофана для парижской сцены, и пригласил меня на вечерние спектакли. Я стал усердно посещать театр не потому, что надеялся принести там хоть малейшую пользу, но потому, что мне там нравилось. Гёте, влюбленный в театр, говорил, что даже посредственная и к тому же плохо разыгранная пьеса все-таки являет собой восхитительное зрелище. Я разделял мнение этого великого человека. И я наслаждался даже на репетициях, глядя, как беспорядочный сумбур движений и речей постепенно превращается в стройную последовательность увлекательных сцен. Как прекрасно, когда мужчины и женщины, — не лучше и не хуже, — такие же эгоистичные, жадные, завистливые, ревнивые, втайне желающие друг другу всяческого зла, — несмотря на это, усердно работают вместе ради общей цели и после дружных упорных усилий, подчиняясь одни другим, создают прекрасное целое. Лизистрату играла Мария Невё из театра Одеон, наша лучшая и самая красивая актриса, крашеная блондинка с черными бархатными глазами. Она всем заправляла в Театре Муз.

— Я не оказываю предпочтения ни одной из моих девиц. Иначе я не мог бы ими управлять, — говорил Пеллерен.

Эти слова были недостойны такого отличного театрального директора, как он. Истина состоит в том, что он оказывал явное предпочтение Марии Невё и с большим трудом управлял своей маленькой труппой. Этим и объяснялся его сердитый, недовольный вид, его вечно нахмуренный лоб и выпученные глаза. Впрочем, если бы он и не заводил фавориток, на него все равно сыпались бы всевозможные затруднения, так как в театральном ремесле они возникают на каждом шагу и по любому поводу; но он в сущности любил свое дело именно за это, а также за возможность «оказывать предпочтение». У его приятелей актеров тоже были свои любимицы. Порою предпочтения одних мешали вкусам других, но в конце концов все улаживалось. У меня тоже с первых же дней появилась своя «слабость». То была Лампито, лакедемонянка, роль которой исполняла Жанна Лефюель * из Одеона. Это коротенькая роль. Жанна Лефюель попросила меня сделать там какие-нибудь «вставочки», и ее просьба не была напрасной. Мое любовное увлечение имело самые роковые последствия: я внес интерполяции в текст Аристофана! Могу сказать в свое оправдание только одно: в Театре Муз «Лизистрата» претерпела столько искажений, что если бы Аристофан чудом явился ее послушать, он сам не узнал бы своего детища. Но где же мне искать оправданий, как не в глазах Жанны Лефюель? Глаза у нее были серые, невиданного, небывалого серого цвета, легкого, зыбкого, неуловимого, воздушного, эфирного, и в глубине этих глаз играли еле заметные искры, то появляясь, то исчезая, то вспыхивая вновь. Жанна Лефюель не обладала ни блеском, ни свежестью, ни цветущей юностью Марии Невё; но она была лучше сложена, что, правда, для большинства мужчин не является важным достоинством. Ведь обычно они пленяются сначала красотой лица, а к остальному относятся снисходительно. Кто это сказал? Большой знаток в этом деле: Казанова *. Он мог бы еще добавить, что мало кто умеет ценить стройность фигуры. Что касается меня, я был в восхищении, что Жанна Лефюель так идеально сложена.

Роль Лампито, несмотря на мои «вставочки», все

же осталась короткой. Поэтому Жанна Лефюель часто могла бездельничать, и она бездельничала со мной. Мы беседовали. Для этого надо было держаться подальше от сцены, ибо при малейшем шорохе в зале Виктор Пеллерен багровел от гнева и начинал яростно вопить. Каждое слово Жанны Лефюель приводило меня в восторг. Она была неглупа от природы и, пожалуй, немного более начитана, чем другие наши актрисы; но я ценил в ней не то. Обыкновенно тема разговора имеет для меня мало значения; я охотно поддерживаю и легкие и серьезные темы, но люблю, чтобы беседа протекала в моем вкусе, который, впрочем, не отличается особой возвышенностью; самые ничтожные умы могут удовлетворить моему вкусу, самые выдающиеся — жестоко оскорбить его. Женщины, большей частью, не умеют мне угодить. Мне очень редко нравится их беседа, зато если уж нравится, то до безумия. Говоря откровенно, я не выношу, когда в своем кругу говорят слишком правильно. Это надо предоставить ораторам. Публичную речь, если хотите, можно сравнить с картиной; она — законченное художественное произведение. А беседа — лишь ряд набросков. Так вот, в беседе мои вкусы те же, что и в живописи. Я люблю, чтобы набросок был легким, быстрым, резким, язвительным, причудливым. Я требую не соблюдать меры и преувеличивать правду, чтобы лучше дать ее почувствовать. Того же я требую и от беседы; она очаровывает меня, если представляет ряд живых, выразительных сенок. В беседе светских женщин этого не найдешь. А в болтовне Жанны Лефюель, легкой и непосредственной, это случалось сплошь и рядом. Каждый раз мне казалось, будто я перелистываю альбом карикатур Домье *, и это в ту эпоху, когда светские женщины в салонах перепевали на все лады статьи из «Ревю де Дё Монд» *. Правда, темы, которых касалась Жанна Лефюель, были самые ничтожные, но в ее меткой образной речи все разрасталось и казалось значительным. Она рассказывала большей частью о закулисных происшествиях, о соперничестве на сцене и в любви, о ярости ревнивых жен, о мимолетной дружбе между актрисами, которые бранятся, мирятся и вновь

ссорятся за один вечер или даже за час, о забавных проделках актеров, о том, как Пирр сунул на сцене в руку Андромахе * куриное яйцо, а вдова Гектора перекладывала яйцо то в правую, то в левую ладонь и с мольбой простирала руки к царю Эпира.

И ты произнесешь столь грозный приговор!..

У Жанны Лефюель был несравненный талант красочно изобразить любой пустяк; это даровала ей природа, это ей принесла ее профессия, которая учит видеть и чувствовать, развивает привычку замечать формы и характерные признаки явлений. Сколько пленительных часов я провел благодаря ей в пустом полутемном зале Театра Муз!

Репетиции кончались около полуночи, и самые благоразумные расходились по домам. Тогда мы вызывали духов. Все женщины были спиритами. Я не знаю, действительно ли верила в духов Жанна Лефюель, которая без зазрения совести вертела столик собственными руками. Стол иногда уступал нам медленно и неохотно, но в конце концов начинал приподниматься. Да и как мог бы он противиться давлению стольких нетерпеливых рук? Мы общались с духами при помощи стуков, то есть условились с ними об особом значении и алфавитном порядке ударов ножкой стола. Один удар означал А, два удара В, три удара С и так далее. Кроме того, одним ударом столик отвечал ДА, двумя ударами НЕТ. Таким способом духи давали нам ответы, причем некоторые из них не имели никакого смысла, отчего они вовсе не были хуже других. Когда я выразил удивление, что духи говорят такие глупости, наша дуэнья, Тереза Дюфлон, возразила весьма рассудительно:

— Это духи умерших, но ведь недостаточно умереть, чтобы сразу стать умным.

Так, например, мы тщетно выспрашивали о ее загробном существовании чесальщицу шерсти, недавно скончавшуюся в Амьене. Покойница мало что понимала в жизни, бедняжка, и еще того меньше знала о смерти. Так же глупо отвечало и большинство духов, которые беседовали с нами с помощью стола. Среди

духов у нас появились короткие знакомые, один по имени Шарло, ужасный сквернослов, и некий Гонзальв, в котором мадемуазель Берже признала своего обожателя, горячо любимого и горько оплакиваемого. Мы с большим волнением присутствовали на этих трогательных свиданиях живой женщины с мертвецом. Но удары ножкой стола — недостаточно красноречивый язык для выражения любовной страсти, и Гонзальв нам скоро надоел. Одна из самых хорошеньких актрис, Роземонда, предавалась некромантии с еще большим жаром и любопытством, чем даже сама мадемуазель Берже и чем все другие, особенно с тех пор как она вызвала дух девочки по имени Люс, которая семи лет от роду выступала в Одеоне и умерла, так же как некогда младенец Септентрион протанцевал два раза в театре Антиполиса и всех пленил. *Viduo saltavit et placuit*¹. Роземонда засыпала Люс вопросами о ее коротенькой земной жизни и о нынешнем ее состоянии. Люс отвечала неохотно и вскоре исчезала. Следует отметить, что она отвечала более легкими ударами, чем прочие духи, и что ее мимолетные посещения были вполне в характере ребенка. После долгих стараний Роземонда вступила в общение, через посредство стуков, с родной теткой Люс. И среди прочих вопросов, обращенных к покойной даме, спросила, от кого родилась Люс. Не удовлетворившись ответами тетки, любопытная Роземонда, связавшись со многими усопшими родственниками Люс, затеяла долгое и запутанное расследование, безуспешно пытаясь отличить мать девочки от ее бабушки. Но ей так же мало удалось удовлетворить свое любопытство, как и тем ученым исследователям, которые непременно хотели выяснить, чьей же дочерью была малютка Мену из труппы Мольера.

Несмотря на самые вольные шутки, на непрерывное грубое мошенничество и явные плутни, все женщины, хотя многие из них были неглупы, слепо верили, что мертвецы действительно присутствуют в этом огромном зале, освещенном тремя свечами, где, как Одиссей в стране киммерийцев, мы совершали Некию и

¹ Дважды протанцевал и понравился (лат.).

вызывали тени умерших * среди длинных, ниспадавших до полу темных занавесей. Иногда, вдруг испугавшись без всякой причины, женщины разбежались, обезумев от ужаса, кричали и кружились, как большие птицы; они искали друг друга и отталкивали, падали, путаясь в юбках, громко призывали своих мамаш и крестились. А через пять минут вокруг вертящегося стола снова раздавались радостные крики, удивленные возгласы и взрывы хохота. И так продолжалось до двух, до трех часов ночи.

После этого мне оставалось проводить Жанну Лефюель на улицу Ассас, где она жила. Это было не так-то просто. Сначала надо было найти экипаж, задача тяжелая и трудно выполнимая, в особенности когда шел дождь. В случае удачи через пятнадцать — двадцать минут мы останавливали извозчичью карету с красными занавесками, со старым кучером в пелерине, и нас тащила хромая лошаденка или, вернее сказать, облезлая кляча. Чтобы в таком экипаже добраться до Люксембургского парка, требовалось не меньше часу. Но я не жаловался. Мы были одни, и разговор становился более задушевным. Я изливался ей с полным доверием, с самозабвением, испытывая неодолимую потребность открыть ей всю душу. Она же говорила о своих делах непринужденно, без всякого стеснения, но далеко не была со мной откровенна и во время самых искренних признаний утаивала, как я догадывался, очень многое из своей жизни, чувств и поступков. Это объяснялось отчасти осторожностью, отчасти, как мне кажется, ее редкой, невероятной способностью отрешаться от прошлого и будущего, ибо она, как ни одна из женщин, умела жить настоящей минутой. Этому свойству она была обязана своим душевным спокойствием. Она не ведала сожалений и не знала тревог. Это была душа ясная, как морская гладь.

Карета останавливалась перед домом № 18 на улице Ассас. Когда нам хотелось поговорить еще, я отпустил извозчика и поднялся на четвертый этаж в маленькую квартиру Жанны. У подъезда мы звонили, но заставить привратника отпереть двери — «Вот в чем

задача, вот в чем труд» *, как говорит Вергилий. После упорных усилий, дергая за звонок и колотя в дверь кулаком и ногами, мы наконец будили привратника. Сезам отворился — и нас ждала награда за все мучения. Комнатка актрисы была очень скромной; обстановка состояла из железной кровати, орехового комода и зеркального шкафа; но все было идеально чисто и аккуратно. По странной прихоти Жанна развешивала на дверях, чтобы их украсить, стишки собственного сочинения в рамке из цветов, написанных акварелью. Стихи не были лишены изящества, но просодические ошибки, которые я в них находил, коробили меня. Теперь бы их и не заметили. Я рассказываю вам о давно минувших временах.

Как-то утром, зайдя навестить Жанну, я застал ее за шитьем. Большие круглые очки в черепаховой оправе смешно сидели на ее носике. Вокруг нее лежало множество стареньких шкатулочек, стареньких игольников — принадлежностей заботливой хозяйки. И такой я больше всего люблю ее вспоминать.

Через год после нашей встречи Жанна Лефюель преспокойно забыла меня. Но я помню ее до сих пор.

XXX

Как хорошо родиться в бедности

Во все годы моей жизни мне часто приходили на память слова Геродота, которые повторил однажды г-н Дюбуа: «Знай, что бедность — верная подруга Греции. Ей сопутствует добродетель, дочь мудрости и разумного образа правления». Я благодарен судьбе, что она предназначила мне родиться в бедности. Бедность была мне благодетельной подругой; она научила меня знать истинную цену необходимых жизненных благ, которых я не ценил бы без нее; избавив меня от тяжелого ярма роскоши, она посвятила меня искусству и красоте. Она помогла мне сохранить скромность и мужество. Бедность — это ангел, встреченный Иаковом; она принуждает тех, кого любит, сражаться с ней

во мраке ночи, и к рассвету они выходят из этого единоробства истерзанные, но с обновленной кровью, гибкими мускулами и могучими руками.

Мало избалованный благами земными, я любил жизнь за нее самое, любил ее без прикрас, во всей ее наготе, порою страшной, порою очаровательной.

Бедность хранит для тех, кого любит, единственное истинное благо на земле, бесценный дар, который облакает красотой все вещи и живые существа, который распространяет очарование и аромат на всю природу, — Желание.

Жизнь людей — бесконечная мука и боль,
Нет предела страданиям нашим.

Так говорит кормилица Федры, и никто еще не опроверг ее слов, не ответил на ее тяжкие вздохи. Но старая критянка продолжает:

И поэтому мы влюблены на беду
В то, что видим, что блещет у нас на земле.
Мы не знаем, не ведаем жизни иной,
Не проникли мы в тайны подземных глубин,
И смущают нас глупые сказки.

Мы любим эту жизнь, эту горестную жизнь, и еще потому, что любим страдание. Да и как не любить его? Оно похоже на радость и по временам сливается с нею в одно.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Эти воспоминания, служащие продолжением книги «Маленький Пьер», правдивы во всем, что касается основных фактов, характеров и нравов. Когда я начал писать воспоминания, не соблюдая ни порядка, ни последовательности (в «Книге моего друга» и в «Пьере Нозьере»), многие из свидетелей моего детства, выведенные в этих книгах, были еще живы; мне пришлось изменить их имена и общественное положение, чтобы не оскорбить их гордости или же их скромности. Оба эти чувства чрезвычайно остро развиты у тех, кто имел счастье прожить в неизвестности. Увидев свои имена в печати, они бы возмутились; похвала или порицание одинаково нестерпимы для них, когда они становятся достоянием гласности. Родители мои в то время еще здравствовали. Я мог воздать им только хвалу, только великую благодарность, но тоже должен был прибегнуть к иносказанию и вымыслу, чтобы быть им приятным.

Оба они уже давно покоятся рядом, под камнем, поросшим мхом, на опушке леса, который осенял своей тенью их мирную старость. И теперь, когда разрушительные годы бурным потоком пронесли над моим детством, унося все с собой, я по-прежнему не хотел бы, по неловкости, нарушить хоть чем-нибудь свое сыновнее почтение, заложенное в далеком прошлом.

Следовательно, я должен был поступить именно так, как я поступил, или же вовсе не опубликовывать этих рассказов до самой смерти, по обычаю тех, кто описывает свою жизнь или отдельные ее периоды. Я осмелился бы сказать, заимствуя блистательно неправильное выражение, что почти все наши воспоминания и записки являются записками замогильными*. Но я не решился ни завещать своих детских воспоминаний потомству, ни предположить хоть на миг, что эти бездельницы могут заинтересовать будущие поколения. Я думаю теперь, что все мы, — сколько бы нас ни было, великие и малые, — не будем иметь последователей, так же как не имели их последние писатели древней латинской культуры, и что новая Европа будет настолько непохожей на ту Европу, которая рушится сейчас на наших глазах, что не станет интересоваться нашим искусством и нашими мыслями. Я не пророк и потому не предвидел ужасающей грядущей гибели нашей цивилизации, когда в тридцать семь лет, на середине жизненного пути, переименовал маленького Анатоля в маленького Пьера. Изменить на бумаге свое имя и положение было в моих интересах. Так мне легче было говорить о себе, обвинять себя, хвалить, жалеть, смеяться или бранить, смотря по желанию. Когда в былое время жители Венеции не хотели, чтобы к ним подходили на улице, они вешали на пуговицу платья маску в ладонь величиной, тем самым предупреждая прохожих, что не желают быть узванными. Совершенно так же это вымышленное имя, хоть и не могло меня скрыть, указывало на мое намерение оставаться в тени.

Подобная маскировка имела еще и то преимущество, что позволяла мне скрыть недостатки моей очень плохой памяти и восполнить пробелы воспоминаний, пользуясь правом вымысла. Я мог сопоставлять различные обстоятельства, заменяя те, что ускользнули от меня. Но такие сопоставления всегда имели целью показать истинные черты какого-нибудь характера; словом, я убежден, что никто еще не глал более правдиво. В одном месте своей «Исповеди» Жан-Жак, кажется, делает признание почти такого же рода. Я сказал, что память у меня очень плохая. Необходимо пояснить: боль-

шую часть жизненных картин и образов я позабыл совершенно, — но те, что запечатлелись в памяти, очень точны и четки, так что мои воспоминания представляют собою великолепный музей.

Такой способ описывать детство дает еще одно преимущество, — на мой взгляд самое ценное из всех: возможность сочетать, пусть в самой малой степени, действительность с вымыслом. Повторяю: в этом повествовании я очень мало лгал и никогда не менял ничего существенного; но, возможно, я лгал достаточно, чтобы поучать и нравиться. Истина никогда не бывает привлекательна в своей наготе. Вымысел, басня, сказка, миф — вот в каких одеяниях ее всегда знали и любили люди. Я склонен думать, что без некоторой доли вымысла «Маленький Пьер» не мог бы понравиться; и это было бы жаль, если не для меня, — я уже ни о чем не жалею, — то для тех, кому эта книжка внушила светлые мысли и кого она научила скромным добродетелям, дарующим счастье. Не будь здесь известной доли вымысла, маленький Пьер никого бы не радовал.

Однако я не утверждаю, будто подобная маскировка совершенно лишена неудобств. Какой бы путь мы ни избрали, всегда следует ожидать неприятных последствий. Мой собрат Люсьен Декав *, анализируя «Маленького Пьера», показал однажды, со свойственным ему тонким умом и глубокой проницательностью, как много потерял мой отец, превратившись по моей прихоти во врача. Я согласен, что он действительно потерял при этом книжную лавку, — утрата немалая в глазах такого библиофила, как Люсьен Декав. Но мне лучше других известно, что отец не питал ни малейшей привязанности к книжной лавке, которую я у него отнял. Он был лишен коммерческих талантов и гораздо лучше умел читать свои книги, чем их продавать. Его ум, чисто отвлеченный, не интересовался формой вещей; внешний вид книги не имел для него значения, и он терпеть не мог библиофилов. Я даже скажу, и это не будет парадоксом, что доктор Нозьер в кабинете в сущности больше похож на моего отца, чем сам отец в своей книжной лавке. Я отнял у него то, что досталось

ему от судьбы, и даровал взамен то, что соответствовало его природе. Правда, лавку букиниста я действительно уничтожил. Да прости мне это Люсьен Декав, приняв во внимание, что я открыл книготорговлю в другом месте, — для Жака Турнеброша. Декав отметил, насколько мне известно, самую тяжкую из моих ошибок. Надеюсь, никто не поставит мне в упрек, что я переселил своего крестного на расстояние ста шагов, с улицы Великих Августинцев на улицу св. Андрея, где некогда жил Пьер де Л'Этуаль. Зато многих современников моего детства я не потревожил и не внес никаких изменений в их привычный уклад; некоторым, например г-ну Дюбуа, я даже сохранил подлинное имя, отняв только дворянский титул, которым он, впрочем, и не дорожил.

Как я уже говорил, мне хотелось бы, по примеру Жан-Жака, предостеречь всякого, кто скажет, что он лучше меня. Спешу добавить, — это отнюдь не значит, что я ценю себя высоко. Я считаю, что люди в большинстве своем злее, чем кажутся. Они не показывают своего истинного лица; они скрывают поступки, которые возбудили бы к ним ненависть или презрение, и, напротив, выставляют напоказ дела, могущие снискать одобрение и похвалу. Если мне случалось нечаянно распахнуть чужую дверь, предо мной почти всегда открывались такие зрелища, что я не мог не испытывать к человечеству жалости, ужаса и омерзения. Что поделаешь! Тяжело говорить об этом, но я не могу удержаться.

Был ли я всегда верен правде, которую люблю так страстно? Я только что этим хвалился. Но по зрелом размышлении я не могу в этом поклясться. В этих рассказах искусства не много; но все же оно чуть-чуть туда просочилось; а кто говорит искусство, тот говорит обработка, иносказание, ложь.

Еще большой вопрос, вполне ли приспособлен человеческий язык для выражения истины; он возник из криков животных и сохраняет их особенности; он выражает чувства, страсти, потребности, радость и страдание, ненависть и любовь. Он не создан для того, чтобы говорить правду. Правда несвойственна натуре диких

зверей; она несвойственна и нашей природе, а метафизики, которые утверждают обратное, — просто маньяки.

Единственное, что я могу сказать, — это то, что я был искренен. Повторяю: я люблю правду. Я думаю, что человечество в ней нуждается; но, конечно, оно еще гораздо больше нуждается во лжи, которая улаживает, утешает и непрестанно обольщает его надеждами. Не будь лжи, человечество погибло бы с отчаянья и тоски.

НОВЕЛЛЫ

Переводы

*Е. А. Гунста, Е. А. Корнеевой, Ю. Б. Корнеева,
В. Я. Парнаха, Н. А. Сигал, В. Е. Шора*
под редакцией *А. А. Смирнова и Ю. Б. Корнеева*

МАРГАРИТА

5 июля

Выйдя в пять часов из Бурбонского дворца *, я наслаждался воздухом и светом. Небо было прозрачно, вода сверкала, листва на деревьях дышала свежестью; все располагало к блаженной праздности. По мосту Согласия, устремляясь к Елисейским полям, катились ландо и пролетки, уносившие с собой женщин, чьи лица можно было ясно разглядеть, потому что сегодня у каждой коляски был откинут верх. Мне доставляло удовольствие смотреть, как они проносятся мимо, словно исчезающие и тут же возрождающиеся вновь надежды. Каждая из них оставляла после себя впечатление ослепительной вспышки и особый аромат. Мне кажется, что рассудительный человек не должен требовать большего от красивых женщин. Ослепительная вспышка и аромат! Как часто минувшая любовь не оставляет по себе и такого воспоминания. Впрочем, в этот день, если бы даже сама Фортуна катила передо мной свое быстрое колесо по проезжей части моста Согласия, я бы не протянул руки, чтобы схватить богиню за ее золотые волосы. Я не желал ничего; я обладал всем. Было пять часов дня, и до обеда я был свободен. Да, свободен. Я мог в течение двух часов гулять, дышать воздухом,

смотреть по сторонам, ни с кем не разговаривать и вволю мечтать. Я говорю, что обладал всем. Счастье сделало меня эгоистом. Я воспринимал все, что меня окружало, как великолепную живую картину, созданную специально для того, чтобы радовать мой взгляд. Мне казалось, что и солнце светит только для меня и что для меня оно льет на реку потоки своих пламенных лучей. Мне казалось, что вся эта веселая и пестрая толпа кишит здесь лишь для того, чтобы как-то скрасить мое одиночество, не выводя меня из него. Я также склонен был полагать, что все эти люди мелки, что у них нет ничего, кроме внешней представительности, что все они марионетки. Вот какие мысли приходят на ум, когда не думаешь ни о чем. Можно извинить их человеку, чья голова вот уже десять лет забита политикой и законодательством и который растрчивает свою жизнь на ничтожные делишки, называемые государственными делами.

Для широкой публики закон есть нечто абстрактное, не имеющее ни формы, ни цвета. Для меня закон — это стол с зеленым сукном, сургучные печати, бумага, перья, чернильные кляксы, свечи под зелеными колпачками, фолианты, переплетенные в телячью кожу; официальные бумаги, только что вышедшие из-под печатного станка, еще влажные и пахнущие типографской краской; совещания в зеленых кабинетах, папки, дела, спертый воздух, газеты, речи; закон наконец, — это уйма всевозможных вопросов, бесчисленное множество забот, которые завладевают всем вашим временем, отнимают у вас и утренние часы, подернутые легкой дымкой, и яркие дневные часы, и обагранные закатом вечерние часы, и тихие ночные часы, полные молчаливых раздумий. Эти заботы лишают вас обладания собственным «я» и доводят до того, что вы перестаете себя узнавать.

Вот и у меня так получилось. Я оставил там свое «я». Оно рассеялось по служебным запискам и докладам. Исполнительные молодые чиновники подшили частичку его в каждую из своих прекрасных зеленых папок. После этого я стал жить без своего «я», как, впрочем, живут все политические деятели. Но это самое

«я» — удивительно тонкая штучка. О, чудо! Оно внезапно вернулось ко мне на мосту Согласия. Да, это было оно. И оно даже не особенно пострадало от своего пребывания среди заплесневелого бумажного хлама. Как только оно пришло ко мне, я вновь обрел себя, осознал, что существую на свете, а ведь я не замечал этого целых десять лет. «Ну, что ж! — сказал я самому себе. — Раз я существую, не так уж плохо знать об этом. Я даже немедленно извлеку для себя пользу из этого знания и прогуляюсь для души по Елисейским полям».

И вот я оказываюсь у пьедестала коней Марли * исполненный большей ретивости, чем эти благородные животные, и вступаю на широкий проспект, начало которого отмечено их вечно поднятыми каменными копытами. Экипажи движутся один за другим бесконечной лентой, похожей на темный, искрящийся поток горной смолы и лавы; дамские шляпки в этом потоке кажутся какими-то цветами. Как все, что видишь в Париже, это одновременно и грандиозно и мило. Я зажигаю сигару и, не глядя ни на что в особенности, вижу все. Наслаждение, испытываемое мной, настолько остро, что это меня даже пугает. Я курю первую сигару за десять лет. У себя в кабинете я обычно зажигал по десятку сигар на дню, но я давал им сгорать, обкусывал, изжевывал, тратил попусту; я их не курил. А сейчас я на самом деле курю, и дым, который идет от моей сигары, — это дымок поэзии: он распространяет вокруг себя очарование и прелесть.

Каким занятым кажется мне все, что я вижу вокруг! Пестрые выставки товаров в лавчонках, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, восхищают меня. Вот, например, лавка, перед которой я не могу не остановиться. С особенным вниманием я разглядываю лакричную настойку в графине. В полированных стенках графина отражаются уменьшенные до крошечных размеров деревья, женщины, небо. Графин увенчан лимоном, и благодаря этому украшению в нем чудится что-то восточное. Однако привлекает он меня не формой своей и не цветом. Я не могу оторвать от него глаз, потому что он напоминает мне детство. При виде его множество чарующих образов всплывает

в моей памяти. Я мысленно переношусь в ту божественную пору, когда я был чистым и невинным ребенком. Ах, чего бы я только не отдал, чтобы снова стать маленьким и выпить стаканчик лакричной настойки!

В лавочке рядом с графинам, наполненным лакричной настойкой, и бутылью смородинового сиропа я нахожу все, что восхищало меня в детстве. Вот они — кнутики, трубы, сабли, ружья, патронташи, пояса, гусарские сумки. Эти волшебные игрушки дали мне возможность испытать, между пятью и девятью годами, судьбу Наполеона. Увешанный своим воинским снаряжением стоимостью в тринадцать су, я познал ее, эту чудесную судьбу, познал ее всю целиком, — за исключением Ватерлоо и ссылки, ибо я всегда был победителем. А вот эпинальские картинки *, по которым я впервые начал разбираться в знаках, открывающих ученым обрывки вселенской тайны. И впрямь, разве самая скверная картинка, раскрашенная по шаблону в одной из вогезских деревень, не является сочетанием рисунков с подписями к ним? А что такое вся наука, как не рисунки с подписями?

Я обязан эпинальским картинкам наиболее ценными, наиболее полезными знаниями. Таких знаний мне не довелось почерпнуть в книжонках по истории и по грамматике, которые меня заставили выучить мои школьные учителя. Дело в том, что эпинальские картинки — это сказки, а сказки — это судьба. Благословенно детство, питающееся сказками! Оно предвещает зрелость, отмеченную воображением и мудростью. Вот как раз и Синяя птица! * Та самая, моя! Я узнаю ее по хвосту, вздымающемуся султаном. Она, она! Я едва удерживаюсь от желания броситься на шею продавщице и расцеловать ее в обе щеки, хотя щеки у нее дряблые и размалеваны красной и желтой краской. Синяя птица! Чем только я ей не обязан! Если я сделал что-либо хорошее на свете, то лишь благодаря ей.

Когда мы вместе с министром подготавливали какой-нибудь закон, в моем мозгу внезапно проносилось воспоминание о Синей птице, врываясь в самую гущу законодательных и парламентских текстов.

В подобные минуты я думал о том, что душе чело-

веческой присущи безграничные желания, невероятные метаморфозы и возвышенная печаль, и под влиянием этих размышлений я придавал тому или иному параграфу законопроекта более широкий, более человеческий смысл, вкладывая в него больше уважения к правам души и законам естества. Такой параграф неизменно наталкивался в палате на энергичную оппозицию. Рекомендации Синей птицы редко находили поддержку в комиссиях. Все же парламент принял некоторые из них.

Вдруг я замечаю, что не один я разглядываю лавку, стоя на улице, под открытым небом. Перед выставкой великолепных вещей застыла маленькая девочка. Она стоит ко мне спиной; я вижу ее длинные светлые волосы, покрытые темно-красной бархатной шапочкой; они ниспадают волнами и рассыпаются по большому гипюровому воротнику и по платью того же цвета, что и шапочка.

Нельзя описать словами их цвет (я не знаю более прекрасного цвета), но можно сказать, каков их свет: от них струится свет яркий, чистый и переливчатый, золотистый, как солнечные лучи, и бледный, как мерцание звезды. Даже более того! Они не только сияют: они еще и текут; им присуще великолепие света; но им присуща также и прелесть кристально чистой воды. Мне даже кажется, что, будь я поэтом, я бы написал об этих волосах столько же сонетов, сколько их написал Хосе-Мария де Эредиа * о завоевателях из Золотой Кастилии. Мои сонеты были бы не менее красивы; но зато в них было бы больше теплоты. Насколько я могу судить, девочке годика четыре, может быть, пять. Личика ее мне не видно: моему взору доступны только кончик ушка, более тонко выточенный, чем самая изысканная драгоценность, и чистая линия щеки. Девочка не шевелится. В левой руке она держит серсо. Другую ручку она подняла к губам, и мне кажется даже, что от чрезмерной сосредоточенности она кусает себе ногти. Что разглядывает она с таким вожделением? В лавке продается не только оружие и лакричная настойка для храбрых вояк. Сверху, под навесом, укреплены мячи и скакалки. Среди выставленных товаров имеются куклы, изображающие младенцев; их полые тела сделаны из

папье-маше. Они улыбаются, как идола, на которых весьма походят своей нелепой формой и своей безмятежностью. Куколки стоимостью в тринадцать су, одетые служанками, смотрят на нас, широко расставив свои короткие ручки, настолько легкие, что они дрожат от малейшего дуновения. Но девочка, волосы которой сделаны из текучего света, не глядит ни на куколок, ни на младенцев. Всем своим существом она тянется к прелестному малышу, чей ротик словно произносит обращенное к ней слово «мама». Он привешен к одному из столбов барака и висит там один. Он подавляет собой, затмевает все остальное. Увидев его однажды, видишь затем уже только его. Он предстает перед нами в полный рост, одетый в плотное трико, с белым чепчиком на голове и фланелевой слюнявкой, повязанной вокруг шеи; протягивая свои пухлые ручонки, он словно просит, чтобы его взяли на руки. Малыш влечет к себе сердце девочки, властно пробуждает в ней материнский инстинкт. Он восхитителен. Его лицо — это три маленьких пятнышка: два черных и одно красное — глаза и рот. Но глаза его выразительны, а от уст исходит призыв. Он совсем как живой.

Философы совершенно ни о чем не думают. Они равнодушно проходят мимо кукол. А между тем кукла есть нечто более значительное, чем статуя и чем идол. Женщина отдает кукле всю свою душу задолго до того, как становится женщиной в полном смысле слова; кукла вызывает в ней первый трепет материнства. Кукла — священна. Почему бы какому-нибудь большому скульптору не стать очень добрым и не заняться созданием образцов кукол, чьи лица одухотворялись бы под его пальцами и начинали светиться умом и красотой?

Наконец девочка выходит из своего молчаливого созерцания. Она оборачивается, и я вижу ее большие синие глаза, широко раскрытые от восхищения, нос, на который нельзя смотреть без улыбки, — беленький носик, очень напоминающий черные носики щенят, — строго сложенные губы, нежный, удивительно изящный подбородок, немного бледные щеки. Я узнаю ее, конечно же узнаю, — с той инстинктивной уверенностью

в своей правоте, которая бывает сильнее всяких убеждений, подкрепленных всевозможными доказательствами. Конечно же, передо мной она, передо мной то, что осталось от самой обаятельной из женщин.

Я хочу бежать и не могу оторваться от девочки. Ее волосы из живого золота — это волосы ее матери, а синие глаза — глаза матери. О, дитя той, с кем связаны все мои мечты и все мои страдания! Я хочу сжать тебя в своих объятиях, украсть, унести...

Но вот приближается гувернантка; она подзывает ребенка, берет его за руку и тянет за собой.

— Пойдем, Маргарита, пойдем, домой пора.

И Маргарита, бросив прощальный, полный грусти взгляд на малыша, протягивающего к ней ручки, нехотя тащится за долговязой, одетой в черное женщиной, чья голова увенчана страусовыми перьями.

* * *

10 июля

— Жан, дайте мне папку номер сто семнадцать... Итак, господин Бошрон, закончим циркуляр. Пишите: «Я особо обращаю Ваше внимание на нижеследующее, г-н префект. Необходимо в кратчайший срок пресечь известные злоупотребления, которые, в том, в том случае, если они будут продолжаться, поведут... поведут... Я особо обращаю Ваше внимание на нижеследующее, г-н префект. Необходимо в кратчайший срок пресечь известные злоупотребления...» Пишите, господин Бошрон.

Но Бошрон, мой секретарь, весьма вежливо замечает мне, что я все время диктую одну и ту же фразу. Жан почтительно кладет на мой стол папку.

— Что это такое, Жан?

— Господин начальник, это папка номер сто семнадцать, которую вы просили.

— Я просил папку номер сто семнадцать?

— Да, господин начальник.

(Жан смотрит на меня с тревогой и удаляется.)

— На чем мы остановились, господин Бошрон?

— «Необходимо в кратчайший срок пресечь известные злоупотребления...»

— Вот именно... «...злоупотребления, которые поведут ко все большему падению престижа должностных лиц в глазах населения и к их превращению...» Превращение... Сколько тайн сокрыто в этом слове! Стоит мне произнести его, как я погружаюсь всем своим существом в мир каких-то спутанных мыслей и чувств.

— Прошу прощения, господин начальник...

— Что вы сказали, господин Бошрон?

— Будьте любезны повторить, господин начальник; я не совсем уловил смысл того, что вы продиктовали.

— В самом деле, господин Бошрон? Может быть, я выразил свои мысли не вполне ясно. Что ж, остановимся на этом, пожалуйста. Дайте мне то, что я продиктовал. Я окончу сам.

Бошрон передает мне записанное им под мою диктовку, собирает свои бумаги, откланивается и уходит. Оставшись в кабинете один, я с тупым вниманием изучаю обои — это какой-то войлок зеленого цвета, местами пожелтевший; рисую человечков на листе бумаги; хочу писать; ведь в конце концов министр уже трижды требовал этот циркуляр и дал обещание депутатам большинства немедленно разослать его префектам. Надо, чтобы он его получил. Я перечитываю написанное: «...ко все большему падению престижа должностных лиц в глазах населения и к их превращению...» Я сажаю кляксу, затем пририсовываю ей волосы и превращаю ее в комету. Я думаю о волосах Маргариты. В тот день, на Елисейских полях, золотистые нити, свернувшиеся изящными кольцами, сверкали удивительно ярко, выбиваясь из легких локонов. Такие волоски можно увидеть на миниатюрах XV века и даже на более старинных. Данте говорит в «Новой жизни»: «Однажды, когда я был занят тем, что рисовал ангельские головки...» Вот и я тоже пытаюсь рисовать на министерском циркуляре ангельские головки... К делу. К делу! «...должностных лиц в глазах населения и к их превращению... к их превращению...» Почему я больше ничего не в силах написать после этого слова? Почему я мечтаю сейчас, почему я все время мечтаю после того,

как в закатный час одного погожего дня на мосту Со-
гласия ко мне вернулось мое «я»? Превращение?
О боже, владыка тайн, о природы, о истина! Если бы
та, чье имя я уже четыре года не смею произнести,
умерла сразу же, как только дала жизнь Марга-
рите, я верил бы, я знал бы, — с единственной убежден-
ностью в своей правоте, — что душа матери вселилась
в дочь и что обе они одно и то же существо.

* * *

1 ноября

Все обстоит прекрасно. Я снова утратил свое «я». Оно вернулось в зеленые папки. Папка номер 117 содержит в себе немалую его часть. Я закончил мой циркуляр. Он написан в хорошем административном стиле. У нас есть недурной закон, который мы быстро проведем еще до каникул. Мой министр каждый день выступает в палате. По ночам я правлю гранки с его речами.

Если Синяя птица и навещает меня порой в одном из кабинетов Бурбонского дворца, то лишь с целью дать мне совет смягчить какое-нибудь слишком резкое выражение; она никак не будит моей фантазии. Я не знаю, живу я счастливой или несчастливой жизнью, потому что вовсе не знаю о том, что живу на свете. Я не отличаю своих вещей от чужих; я взял по ошибке и носил три дня шляпу достопочтенного графа де Меродака, ничуть о том не подозревая. А между тем подобную шляпу — что-то вроде романтического боливара * — никто, кроме этого старого дворянина, в наши дни не наденет. Выглядел я в ней преуморительно, как мне сказали потом, но сам я себя не видел. А если бы случайно и увидел, то не обратил бы никакого внимания на то, что вижу, так как это не относится к политике. Я больше не личность; я часть административной машины. Сегодня мне не нужно править какую-либо речь или отправляться на официальный прием. Я надел домашние туфли. В домашних туфлях всегда находишь кое-что от своего «я». Вот я сижу в своей комнате, у своего

камина и замечаю, что сижу именно здесь. Право же, было бы любопытно взглянуть, узнаю ли я себя в зеркале. Посмотрим... Гм! Не очень-то... Не думал, что у меня такой важный и благопристойный вид.

Вижу, вижу, что должен принимать себя всерьез. Правда, я с этим изрядно запоздал, но ведь и не мне же следовало начинать.

Я — лицо почтенное и отношусь к себе с почтением. Но что делать — я себя не узнаю! И меня не тянет возобновить это знакомство: оно, должно быть, окажется скучным. Нет, мне совсем не хочется вступать в беседу с этим важным и холодным господином, который подражает всем моим движениям.

Зато если бы я только осмелился, то охотно свел бы дружбу вот с этим мальчишкой, которого я вижу на миниатюре в овальной рамке, прислоненной к зеркалу. Он строит замок из костяшек домино. Какой славный мальчик! Мне очень хочется позвать его и сказать: «Давай поиграем вместе, ладно?» Ио, увы! Он далеко, очень далеко от меня. Это я сам, — такой, каким я был сорок лет тому назад. Он мертв, мертв так же безнадежно, как если бы я лежал засыпанный землей в запечатанном свинцовом гробу. Ибо что общего между ним и мною? В чем продолжаю я его сегодня? Чем напоминают мои карточные домики его башню из костяшек домино?

Мы, несчастные, говорим, что живем, тогда как в действительности мы умираем тысячу раз.

Правда, я вспоминаю, как я играл вечерами, в то время как моя мать вышивала, сидя тут же рядом у стола и порою бросая на меня простой и ясный взгляд — один из таких взглядов, которые заставляют горячо любить жизнь и благословлять бога, вселяют мужество, достаточное более чем для двадцати битв. Священные воспоминания, я храню вас в душе как драгоценный бальзам, который до самого конца будет смягчать мне горечь жизни и страх смерти. Но продолжает ли жить во мне тот ребенок, каким я был тогда? Нет, Он мне чужд; я чувствую, что могу любить его без всякого эгоизма и оплакивать без отчаяния. Он умер, унеся с собой мое блаженное неведение и мои беспредельные

надежды. Мы все умираем на заре. И маленькая Маргарита, — это прелестное воплощение расцветающей жизни, — сколько уж раз она умерла, какая глубокая пропасть безвозвратного забвения, заполненная остатками мыслей и чувств, разверзлась в ее пятилетней душе! Я чужой для нее человек, случайный прохожий, лучше знаю ее жизнь, чем она сама. Чего стоят после этого речи о чувстве собственного «я» и о самосознания личности!

О боже, боже! Что мы собой представляем! В какую ужасную бездну мы бы неудержимо погружались, если бы у нас было время думать вместо того, чтобы сочинять законы или сажать капусту! Я хочу сбросить с ног домашние туфли и выкинуть их в окно, ибо они снова вызвали у меня ощущение того, что я существую. Жизнь выносима только при условии, что о ней не думаешь.

* * *

5 июля

Сегодня ровно год, как я встретил перед лавочкой на Елисейских полях дочь той, которая открыла мне красоту мира.

Я был счастлив, пока не увидел ее. Но я не знал поэзии, разлитой во вселенной, мне была неведома печальная радость любви. Я впервые увидел Мари в страстную пятницу, в концерте духовной музыки; она пришла сюда, сопровождая своего отца, старого дипломата-меломана, завсегдатая концертов при всех европейских дворах. На ней было строгое черное платье, и эта траурная одежда * символ отрешенности от мира — лишь еще больше подчеркивала живой трепет и земное очарование ее сверкающей красоты. Увидев ее, я испытал чувство, по-видимому весьма похожее на религиозный восторг. Я был уже не очень молод; неустойчивость моего жизненного положения, все еще зависевшего от политических превратностей, а также моя природная робость лишали меня всякой надежды. Я часто встречался с Мари в доме ее отца; она проявляла ко мне искреннее

дружеское расположение, но в нем не было ничего, что могло бы поощрить искания. Несомненно, ей и в голову не приходило, что меня можно полюбить.

А я... видя ее и слыша звуки ее голоса, я ощущал сладостное волнение, одного воспоминания о котором, хотя от него щемит сердце, достаточно, чтобы вдохнуть в меня любовь к жизни.

И все же — не странно ли? — я мечтал слышать и видеть ее постоянно, я был бы счастлив умереть у ее ног, но я не мечтал о браке с ней. Нет, какая-то безотчетная тяга к гармонии не допускала, чтобы к моей любви примешалось желание. Люди скажут: то была не любовь. Не знаю, что это было, знаю лишь, что это заполняло всю мою душу.

Тем не менее чувство, которое жило во мне, было, по-видимому, человеческим чувством, потому что я порой нахожу в произведениях поэтов — у Вергилия, Расина, Ламартина — пламенные и нежные слова, правильно выражающие его.

Поэты говорили, я чувствовал. Я мог только молчать: никто никогда не узнает, какие чудеса совершила в моей душе эта девушка. Очарование длилось два года; потом она объявила мне, что выходит замуж. Я уже сказал, что моя любовь очень похожа на религиозное чувство. Она грустна, но грусть не лишает ее сладости. Горе не подтачивает ее. В страдании она черпает живительную горечь, которая ее укрепляет. Сообщенное мне известие я принял с кроткой стойкостью, обычно порождаемой самоотречением. Мари вышла замуж за человека старше меня, вдовца, почти старика; происхождение и богатство предопределили его участие в общественной деятельности, в которой он проявил надменный ум и бестактность, свойственную отважным людям. Несмотря на то, что я подвизался в кругу не столь высокопоставленных лиц, у меня было с ним несколько встреч делового характера. Партии, к которым я и он принадлежали, были очень близки одна к другой, но когда мы встречались, между нами неизменно возникали довольно резкие столкновения; и, хотя газеты объединяли нас в своих симпатиях или, еще чаще, в своей ненависти, мы отнюдь не были друзьями — далеко

нет! — и избегали друг друга тщательнейшим образом.

Я присутствовал на свадьбе. Я увидел Мари, — и всегда она будет являться мне такой — в белом платье и кружевной фате. Она была немного бледна и очень красива. Без явной причины ее вид внезапно поразил меня; таким хрупким показалось мне это прекрасное, высоко одухотворенное создание. Она как будто ни на кого, кроме меня, не произвела подобного впечатления, но, к несчастью, оно соответствовало действительности. Больше мне не пришлось увидеть Мари.

Она умерла через три года после замужества, оставив десятимесячную девочку. Какое-то чувство умиленной взволнованности всегда привлекало меня к этому ребенку, к Маргарите, дочери Мари. Неудержимое желание видеть ее овладело мной.

Девочка росла в***, близ Мелена, где ее отцу принадлежал дом, окруженный великолепным парком.

Однажды я отправился в***; я долго бродил вокруг паркового рва, подобно вору; наконец я увидел Маргариту в просвете между деревьями на руках кормилицы, одетой в черное.

На девочке была шапочка с белыми перьями и шубка с вышивкой. Я не смог бы объяснить, чем она отличалась от других детей, но мне она показалась самым красивым ребенком в мире. Была осень. Ветер раскачивал ветки деревьев и кружил над землей сухие листья. Сухие листья покрывали длинную аллею, по которой пронесли одетого во все белое ребенка. И я был охвачен безграничной тоской. Возле клумбы с цветами такой же нежной белизны, как младенчество Маргариты, старый садовник, который собирал опавшие листья, приветствовал с улыбкой свою маленькую госпожу. Держа в одной руке грабли, в другой шапку, он заговорил с девочкой весело и непринужденно, как обычно говорят уже ни о чем не думающие старики. Но она не слушала его; протягивая маленькую ручонку, похожую на звезду, она искала грудь кормилицы. Душевно разбитый, я поспешил уйти, а кормилица тем временем продолжала свой путь по аллее, и я слышал, как жалобно шуршат при каждом ее шаге сухие листья.

10 июля

Председатель палаты депутатов встает и говорит: «Ставлю на голосование порядок дня, предложенный господами *** и ***».

Премьер-министр говорит со своей скамьи: «Правительство не принимает этого порядка дня».

Председатель звонит в колокольчик и говорит: «Поступило требование произвести всеобщий опрос. Переходим к голосованию. Депутаты, согласные с порядком дня, предложенным господами *** и ***, благоволят опустить в урну бюллетень белого цвета, несогласные — бюллетень синего цвета».

В зале возникает сильное оживление. Депутаты с шумом устремляются в кулуары, а приставы тем временем проносят между скамьями жестяные урны. Кулуары заполняются спящей, кричащей, жестикулирующей толпой. Мелькают степенные молодые люди и взбудораженные старички. Выкликают имена, в воздухе летают цифры.

— Одиннадцать голосов.

— Нет, девять,

— Отмечают присутствующих,

— Восемь голосов против.

— Да нет же, нет! Восемь за!

— Как? Поправка принята?

— Да.

— Министерство свергнуто?

— Да.

— Ого!

В кулуарах слышится колокольчик председателя. Зал снова заполняется людьми.

Председатель, стоя у своего стола с бумагой в руке, в последний раз звонит в колокольчик и произносит:

— Оглашаются результаты голосования по предложенному господами *** и *** порядку дня. Число депутатов, участвовавших в голосовании, — четыреста семьдесят, абсолютное большинство — двести тридцать шесть голосов; за принятие порядка дня подано двести

тридцать девять бюллетеней; против — двести тридцать один. Порядок дня палатой принял

Поднимается невообразимый шум. Министры встают со своих мест и направляются к выходу. Их немногочисленные друзья украдкойжимают им руки. Свершилось: они низвергнуты. Они пали. Вместе с ними исчезаю и я. Отныне я — ничто. Я смиряюсь со своей участью, но сказать, что я ей очень рад, было бы слишком. Конец моим тревоблениям и утомительным обязанностям! Я снова свободен; но не по своей доброй воле. Поражение — вот что возвращает мне свободу и покой. Поражение почетное, но весьма огорчительное, ибо удар нанесен не только нам, но и нашим идеям. Сколь многое рушится, увы, вследствие нашего падения: и благосостояние страны, и общественная безопасность, и спокойствие в умах; с нами уходят тот дух предусмотрительности, та верность принципам, благодаря которым народы становятся могущественными. Я тороплюсь позжать руку моему министру, гордый тем, что добросовестно служил такому выдающемуся начальнику. Затем, прорвавшись сквозь толпу, которая скопилась перед Бурбонским дворцом, перехожу через Сену и медленно иду по направлению к церкви святой Магдалины.

В начале бульвара я увидел тележку с цветами, остановившуюся у края мостовой. Молодая цветочница, стоя между оглоблями тележки, составляла букетики фиалок. Подойдя к ней, я попросил дать мне один букетик. Тут я заметил, что в тележке, среди цветов, сидит четырехлетняя девочка. Она пыталась своими маленькими пальчиками делать такие же букеты, как и ее мать. Когда я приблизился, девочка подняла голову и протянула мне, улыбаясь, все цветы, которые держала в ручках. И отдав их мне — все, до единого, — она наградила меня еще и воздушными поцелуями.

Я был чрезвычайно польщен. «Должно быть, — сказал я себе, — у меня довольно симпатичный вид, если при моем появлении в глазах ребенка светится такая радость».

— Как тебя зовут? — спросил я девочку.

— Маргарита, — ответила мне ее мать.

Часы показывали половину седьмого. Рядом был газетный киоск. Я купил газету. Едва взглянув на нее, я сразу же увидел, что меня взяли в оборот. Политический обозреватель, оценив моего министра как личность вредоносную, тут же, на первой полосе, меня самого называл зловещей фигурой.

Но после воздушных поцелуев цветочницы Маргариты я не мог ему поверить. На душе у меня было легко, но вместе с тем я ощущал какую-то пустоту; я радовался и грустил одновременно.

Неделю спустя я отправился в ***, под Меленом, где незадолго перед тем снял домик поблизости от усадьбы, в которой росла Маргарита. Для меня эти места — лучшие в мире.

Подъезжая к станции, я высунул голову в окошко. Серебристая река текла между ивами и, прихотливо изгибаясь, терялась вдаль. Но еще долго можно было угадывать ее повороты, следя за линией окаймлявших ее тополей. Город обнаруживал себя церковным шпилем и двумя колокольнями, выступавшими из зелени. И я воскликнул:

— Здесь место моего отдохновения, здесь тот камень, на котором я преклоню свою голову!

* * *

25 июля

Я с особенным удовольствием гуляю в Сен-Жане. Там, в ста шагах от города, находится лесок, или, вернее, полудикая поросль буков, кленов, ясеней, лип и сирени, небольшая рощица, нежно шелестящая при дуновении ветерка. Обнаружив ее, я был ею восхищен. Я в нее влюбился и пообещал себе изучить ее, дерево за деревом, найти в ней самые скромные растеньица — вязель и бадан, рассмотреть, не растет ли в тени больших деревьев соломонова печать. Я одержал слово и сегодня решил приступить к изучению флоры и фауны моего лесочка.

Около часа я пролежал в траве с книгой и вдруг услышал тихий плач. Подняв глаза, я увидел плачущую

девочку и рядом с ней старика. Это был именно старик: у него было длинное, очень бледное лицо, потухшие глаза, отвислая челюсть. Он держал в руке детскую скакалку и сосредоточенно смотрел на ребенка. Потом он отвернулся, чтобы отереть со щеки слезу.

Тогда я смог разглядеть его черты и сразу же узнал его: это был Х***, отец Маргариты. Мне стало жутко: настолько болезнь и горе исказили его некогда гордый облик. На его лице было написано неподдельное отчаяние: казалось, он молит о помощи.

Я подошел к нему, и в ответ на мое предложение оказать ему содействие, если это только будет в моих силах, он объяснил мне, что произошло: мяч, которым играла девочка, застрял на дереве; тогда он подбросил свою палку, чтобы сбить мяч, но палка тоже не вернулась. Он был просто убит.

Несколько лет тому назад этот человек нанес тяжелое поражение английской дипломатии и энергично способствовал усилению французского влияния в Европе. Затем он с честью пал и удалился в отставку, сопровождаемый широкой и почетной непопулярностью. А сейчас его выдающийся ум был бессилен перед таким обстоятельством, как детский мяч, залетевший на дерево. Вот она, непрочность человеческой природы! Какое-то предчувствие мешало мне посмотреть прямо в лицо его дочери, дочери Мари. Но, посмотрев, я уже не мог выйти из тягостного созерцания. Это не был больше тот беленький и свежий ребенок, которого я видел на Елисейских полях. Маргарита выросла и похудела, лицо ее стало желтым, как воск. Печальные глаза очерчивала густая синева. А виски... Чья незримая рука запечатлела на обоих ее висках зловещие пятна, похожие на темные фиалки?

— Там, там, там! — повторял старик, вытягивая руку, которая не слушалась его и ходила во все стороны.

Прежде всего надо было ему помочь.

Забросив на дерево камень, я без труда сбил мяч; Х*** радовался, как ребенок, когда мяч упал на землю. Меня он не узнал. И я ушел прочь, чтобы избавить его от необходимости благодарить за услугу и

чтобы самому избавиться от тоски, охватившей меня при виде дочери Мари, Маргариты, — такой, какой она стала сейчас.

* * *

10 августа

Я редко выхожу из дома. Я не ощущаю больше красоты мира. Вернее, роскошные и упоительные зрелища природы доставляют мне страдание. Целыми днями я мараю бумагу и пытаюсь рассеять скуку, вызывая в памяти полустершиеся образы, связанные с моим детством. Все написанное мной будет сожжено. Я был бы весьма смущен, если бы эти страницы, впитавшие в себя мои мечты и слезы, попались на глаза людям серьезным. Что увидели бы на них серьезные люди? Какие-то детские личики?..

* * *

20 августа

Сегодня я пошел погулять вдоль реки, голубые воды которой отражают растущие над ней ивы и раскинутые по ее берегам белые домики. Бегущая вода имеет свою особую прелесть. Ее светлая лента увлекает за собой праздных мечтателей.

Речка привела меня к замку де ***, где состоялось обручение Мари, где она скончалась и где родилась Маргарита. Сердце мое замерло, когда я увидел знакомую мне мирную обитель; кто сказал бы, глядя на белый, украшенный колоннами фасад, свидетельствовавший лишь о благополучии и достатке, что еще так недавно этот дом был погружен в глубокий траур!

Чтобы не упасть, я схватился за железные прутья парковой ограды и стал смотреть на широкие газоны, простирившиеся вплоть до ступенек крыльца, которого касалось платье Мари. Я простоял несколько минут; потом в ограде отворилась калитка, появился Х ***.

С ним и на этот раз была его дочь, но теперь она уже не могла передвигаться самостоятельно. Она ле-

жала в маленькой коляске, которую катила перед собой гувернантка. Голова ее покоилась на вышитой подушке в тени полуспущенного верха коляски; девочка походила на украшенные филигранным серебром восковые фигурки мучениц, язвы и драгоценности которых созерцают в своих кельях испанские монахи. Отец ее был одет изысканным образом; на его нарумяненном и напудренном лице были заметны следы слез. Он приблизился ко мне нетвердой походкой, взял меня за руку и подвел к девочке.

— Ведь правда, сударь, — сказал он умоляющим тоном ребенка, — ведь правда, она совсем не изменилась с тех пор, как вы ее видели. Помните, в тот день, когда она закинула свой... свой мячик на... на дерево.

Коляска, которую мы молча сопровождали, остановилась в лесу Сен-Жан. Гувернантка опустила верх. Маргарита лежала откинувшись навзничь; в ее широко раскрытых глазах был ужас; вытягивая руку, она словно старалась отстранить от себя нечто такое, чего мы не видели. О, я догадался, чья незримая рука, отметившая некогда мать, касалась теперь дочери. Я упал на колени. Но призрак удалился. Маргарита приподняла головку и снова тихонько опустила ее на подушку. Я набрал цветов и благоговейно положил их на колени девочке. Она улыбнулась. Видя, что она оживает, я попытался развеселить ее с помощью цветов и песен. Свежий воздух и удовольствие вернули девочке утраченный ею вкус к жизни. Через час ее щеки чуть-чуть порозовели. Когда в воздухе стало свежо и пришло время расставаться, так как больной девочке пора было возвращаться домой, ее отец пожал мне руку и сказал с мольбой в голосе:

— Приходите завтра.

* * *

21 августа

Назавтра я пришел снова. У крыльца дома, построенного в стиле ампир, я встретил ***, домашнего врача г-на Х***. Я с ним немного знаком. Это сухонький старичок из числа тех, кого встречаешь всюду.

где можно послушать хорошую музыку. Кажется, что он постоянно прислушивается к какому-то концерту, звучащему у него внутри. Он всегда во власти звуков, и над всеми чувствами у него господствует слух. Врач этот известен как специалист по нервным болезням. Некоторые утверждают, что он гениален, другие считают его сумасшедшим.

Во всяком случае, бесспорно, что он человек странный. Я увидел его, когда он спускался с крыльца, приотпывая ногой и выводя движениями указательного пальца и губ замысловатую ритмическую фигуру.

— Ну, доктор, — сказал я, и голос мой невольно задрожал, — как ваша маленькая больная?

— Она хочет жить, — ответил он.

Я продолжал настойчиво спрашивать:

— Вы ее спасете, не правда ли?

— Говорю вам, она хочет жить.

— Вы полагаете, доктор, что мы живем, пока хотим жить, и что смерть не приходит к нам без нашего согласия?

— Именно так.

Я пошел вместе с ним вдоль посыпанной гравием аллеи. Он на минуту задержался у калитки, задумчиво опустив голову, и повторил:

— Именно так. Но нужно действительно хотеть, а не только думать, будто хочешь.

Сознательная воля — это иллюзия, обманывающая только невежд. Те, кто полагает, что они хотят, лишь потому, что говорят себе — «я хочу», — просто глупцы. Настоящая воля — та, которую создают тайные силы, действующие внутри нас. Эта воля бессознательна, в ней сокрыто божественное начало. Она творит мир. Мы существуем благодаря ей. Когда она ослабевает, мы перестаем существовать. Мир *хочет быть*. Иначе его бы не было.

Мы прошли еще несколько шагов.

— Поглядите, — добавил он, ткнув концом своей палки в ствол дуба, чья большая голова, круглая и седая, возвышалась над нами. — Если бы этот молодец не *хотел* вырасти, то, скажите на милость, какая сила могла бы его к этому принудить?

Я больше не слушал его.

— Итак, вы надеетесь, — сказал я, — что Маргарита...

Но врач был упрямый старичок. Он удалился, бормоча: «Победа воли — это любовь».

Я посмотрел ему вслед: он шел мелкими семенящими шажками по крутому берегу реки, на ходу отбивая рукой такт.

Я быстро возвратился в дом и прошел к маленькой Маргарите. Увидев ее, я сразу же понял, что она хочет жить. Она была еще очень бледна и худая. Но глаза ее не казались уже такими большими, а веки такими бескровными, как прежде. Губы ее, еще недавно неподвижные, застывшие в немом молчании, теперь двигались, и с них слетала оживленная речь.

— Как вы поздно! — сказала мне она. — Идите сюда. У меня есть театр и артисты. Сыграйте мне хорошую пьесу. Говорят, что «Мальчик-с-пальчик» — это очень интересно. Сыграйте мне «Мальчика-с-пальчик».

Нетрудно догадаться, что я не отказал ей. Однако с самого начала этой затеи я столкнулся с большими трудностями. Я обратил внимание Маргариты на то, что артисты у нее — сплошь принцы и принцессы, а нам нужны дровосеки, повара и еще люди всякого звания.

Подумав минутку, она произнесла:

— Скажи, ведь принц, одетый поваром, будет очень похож на повара?

— Согласен.

— Ну вот, — оказала она, — мы сделаем дровосеков и поваров из принцев; их у меня слишком много.

Так мы и поступили. Это было мудро!

Какой дивный день мы провели вместе! За ним последовало много других таких же. На моих глазах Маргарита день ото дня все больше возвращалась к жизни. Сейчас она уже совсем здорова. Я тоже сыграл свою

роль в этом чуде. Я обрел в себе частицу того дара, которым в изобилии обладали апостолы, излечивавшие больных возложением рук.

Примечание издателя. Я нашел эту рукопись в вагоне Северной железной дороги. Она публикуется без всяких изменений. Я только убрал некоторые имена, пользующиеся весьма широкой известностью.

ГРАФ МОРЕН

Я был еще только взрослым школьником, когда Фонтанэ внезапно стал важной персоной благодаря своему диплому лиценциата прав, рано выросшей бороде и передовым убеждениям. Это было в 1868 году; он держал речи в собраниях молодых адвокатов и даже пописывал сатирические статьи в газетках Латинского квартала. Он приобретал известность, а его отец становился знаменитостью. Этим преимуществом мой друг пользовался с пленительной легкостью, свойственной ему во всех делах. Он бывал у меня уже не так часто, как раньше, но относился ко мне с прежней симпатией. Я был ему за это очень признателен. Однажды утром я имел удовольствие гулять с ним в Люксембургском саду. Это было весной; небо сияло; свет, проникавший сквозь листву, нежно касался глаз. В воздухе чувствовалась радость, и мне хотелось поговорить о любви. Но хотя в листве чирикали воробьи и на плече статуи сидел голубь, Фонтанэ сказал:

— Сообщаю тебе приятное известие. Господин Веле вступает на политическое поприще. Мы его наконец убедили. На предстоящих выборах в ...ом избирательном округе Сены-и-Марны он выставит свою кандидатуру как независимый. На время выборов ему нужен

личный секретарь. Я решил, что эта должность тебе подойдет.

— Не знаю, — ответил я, — гожусь ли я на это.

— О, — сказал Фонтанэ с той живостью и непри-
нужденностью, которые придавали ему такое обая-
ние, — о, если бы для этой должности требовались ре-
шительность, инициатива, энергия, я бы не подумал
о тебе. Я тебя хорошо знаю, ты в сущности не глуп; но
у тебя нет порыва, нет непосредственности.

— Да, у меня этого нет.

Он прибавил:

— Тебе не хватает находчивости.

Я ответил:

— Правда! Мне ее не хватает.

Он прибавил:

— Ты несколько тяжеловесен, ты соня. Но о тебе
нельзя судить по внешности, как обычно судят о лю-
дях. Не бойся. У господина Веле работать надо только
по указке, и от тебя потребуется лишь немного приле-
жания.

Несмотря на его усилия убедить меня, я еще ко-
лебался; тогда он сказал:

— Положись на меня! Поработаешь три месяца
с господином Веле; это тебя расшевелит.

Я никогда не испытывал ни малейшего желания
расшевелиться, но полагаться на других мне всегда
нравилось. Я положился на Фонтанэ. Было решено,
что вечером я пойду в театр Французской Комедии,
в ложу г-жи Фонтанэ-матери, и встречу там с этой
почтенной дамой и с г-ном Фонтанэ-отцом, старшиной
сословия адвокатов, а он представит меня самому
г-ну Веле.

— Значит, — спросил я у Фонтанэ, желая узнать
о том, что интересовало меня больше всего, — господин
Веле действительно выдающийся человек?

— Да, Веле — это сила, — уверенно ответил Фонтанэ.

— Охотно верю; я слышал это от многих. Но в чем
именно его сила?

Фонтанэ пожал плечами и объявил, что я задаю не-
лепые вопросы. Я поверил ему без труда. Я всегда до-
веряю людям, которые считают, что я не прав.

Все-таки Фонтанэ соблаговолил прибавить, что г-н Веле отдал свою молодость делу освобождения народов.

Он служил добровольцем в Старом и Новом свете. Он сражался в Перу под начальством генерала Песета * против испанцев; в Питтсбурге и при осаде Коринфа пол начальством генерала Шермана * — против сторонников рабовладения; в Либерии под начальством Стефена Аллена Бенсона — против чернокожих с Мыса Пальм; в Варшаве под начальством Лянгевича * — рядом с мадемуазель Пустовойтовой; на Кавказе под начальством Шамиля — против русских и, наконец, на борту невольничьего судна — один против всех.

— Что может быть прекрасней! — воскликнул я.

— Только Слово, — ответил Фонтанэ.

Вечером я, конечно, отправился в театр Французской Комедии. Я встретился там с г-ном Фонтанэ-отцом, и в антракте, перед статуей Вольтера, он представил меня г-ну Веле. Г-н Веле был окружен друзьями. Услышав мою фамилию, он мне кивнул. Он обошелся со мной благосклонно, но меня подавило его величие. Я так смутился, что спрятался за спиной его собеседников и стал его рассматривать. Он был похож на могучий поток, и я решил, что ему больше полувека. Он был довольно большого роста и высоко держал голову. Эта голова свидетельствовала о дарованиях и добродетелях, и нельзя было сразу решить, что именно преобладало. Его череп поражал не величиной; напротив, он был довольно маленький и узкий, но такой голый, такой желтый и гладкий, что, глядя на него, я представлял себе войны, открытия, далекие странствия, в которых он так щедро расточал свои силы. Этот череп отражал свет так ярко, что весь сиял, и нельзя уж было понять, озаряют ли его газовые рожки или солнца путешествий и сражений оставшие на нем отблеск славы. Морщины, избородившие лоб, не такие красивые, как хотелось бы, терялись в этом сиянии. Глаза были маленькие и серые, но зато необыкновенное величие придавал всему лицу нос. Своей невероятной длиной он вызывал какие-то глубокие мысли. Этот нос спускался отвесно между впалых щек до длинной

седой бороды, которая украшала все лицо и ниспадала в мирном великолепии, как у сказочных царей и у миссурийских бизонов.

Как видите, у этого человека была почтенная внешность. Его большое сухощавое и крепкое тело покоилось на ногах, которые у другого человека показались бы плоскими, но они были обуты в отличные воинственные сапоги, настоящие сапоги героя.

Я услышал его голос:

— Я получаю газеты из всех стран земного шара, я читаю албанские, герцеговинские, хорватские, боснийские, трансильванские, цейлонские, аргентинские, сандомингские, берберийские, эскимосские, махратские газеты, и когда из хроники происшествий я узнаю, что мельник из Марбурга утонул в Драве или что бедного шудру из Катманду сожрал тигр, на моих глазах выступают слезы, и я чувствую себя одновременно отцом, матерью и детьми этих несчастных.

Его прервал звонок. Я вернулся в ложу, думая: «Как он великолепен!»

На следующий день я уже был секретарем г-на Веле. Однажды, когда я выписывал адреса из справочника Боттена «Весь Париж», дорогой патрон вызвал меня к себе в кабинет. Едва я вошел, как он принялся испускать глухие стоны, причем все его лицо судорожно подергивалось. Я испугался. Он это заметил и мягко сказал:

— Пустяки, просто ревматизм, я им заболел, проведя четырнадцать часов в болоте на Украине. Теперь он осложнился невралгическими болями; их причиняет пуля, которая попала мне в голову, когда я шел один через лес в Техасе. Но, прошу вас, не обращайтесь на это внимания.

И, правда, он, казалось, уже совсем не чувствовал боли, которая еще за минуту до этого исторгала у него страшные вопли.

— Юный друг мой, — сказал он, — скоро вы сможете быть мне полезным. Я еще не говорил с вами о вознаграждении. Справедливо и необходимо, чтобы каждый труд оплачивался. Стоит вам сказать только слово, одно только слово, и я вручу вам сумму, которую

вы назначите сами. Но, если позволите дать вам совет, положитесь на меня и предоставьте это мне. Ручаюсь вам, что вы не пожалеете.

Тут мне стало до очевидности ясно, что, если только не быть врагом самому себе, самым несообразительным и ограниченным человеком, короче говоря, дубиной, я должен отказаться от всякой мысли о жаловании. В знак согласия я кивнул головой. Сейчас же я мог поздравить себя с удачей: г-н Веле ответил на мой кивок многообещающей улыбкой, которая убедила меня, что моя карьера сделана. Он медленно расстегнул сюртук, положил руку на сердце, вынул из кармана сигару и предложил ее мне. Это была обыкновенная дешевая сигара. Но недаром говорится, что все дело в том, как дать! Г-н Веле протянул мне сигару таким широким, щедрым, величественным жестом, что я понял: он присудил мне почетную сигару.

С этого дня мы обратили все наше внимание на ...ий избирательный округ Сены-и-Марны. По правде сказать, мы не имели о нем ни малейшего понятия. Когда-то г-н Веле пил воду из рек всего мира, но никогда не останавливался на берегах Марны. Он поручил мне изучить потребности населения, у которого нам предстояло собирать голоса. Я справился в географических словарях и узнал, что местное население занимается промышленностью и земледелием. Из этого я заключил, что оно нуждается в дожде и солнце и хочет мира. Мой патрон не повелевал ветрами, приносящими и уносящими тучи, но он был из числа тех благословенных людей, которые вручают благодарным народам символическую оливковую ветвь. Он часто говорил о братстве народов. Он изрекал: «Возьмите флейту и заиграйте на ней в лесах: послушать вас сбегутся все звери; есть гармония, которая сближает народы: эта гармония и должна зазвучать». Я любовался этим старым храбрецом, покрытым ранами и стремящимся к всеобщему миру. В свою программу он включил отмену воинской повинности и упразднение постоянных армий. Недоверчивые люди, может быть, спросят, как же г-н Веле надеялся разоружить не

только нас самих, но и наших соседей. Но я не был недоверчивым человеком, меня охватил восторг и окрылила надежда.

Пока я изучал потребности ...го округа Сены-и-Марны, г-н Веле совещался с адвокатами, составлявшими нечто вроде избирательного комитета и государственного совета оппозиции. Я познакомился с дюжиной адвокатов, которые давали г-ну Веле консультации по государственному праву. Ведь нам приходилось бороться с правительственным кандидатом, сильным благодаря уже много раз возобновленному мандату и личному положению, — с графом Мореном.

Среди этих юристов я имел удовольствие встретить г-на Фонтанэ-отца; его можно было принять за римлянина: густые брови, отвислые щеки и квадратный подбородок. На ходу он дружески помахал мне кончиками пальцев, и я был польщен этим знаком внимания, тем более что вокруг него теснились коллеги и слушали его одного. Он не злоупотреблял успехом своих речей: на заседании он произносил не больше четырех-пяти фраз и одну из них посвящал сожалениям о славном прошлом театра Французской Комедии и восхвалениям пленительной г-жи Аллан.

— Вы, молодежь, ее не знали, — говорил он юным собратьям.

Они расходились, повторяя:

— Фонтанэ — артист до кончиков пальцев!

Я взглянул на его руки. У него были короткие толстые пальцы и квадратные ногти. Довольно часто его сопровождал сын. И каждый раз спрашивал меня, расшевелился ли я; это меня несколько раздражало; но у него была милая привычка называть меня «мой дружок», и я был вполне счастлив. При этом он мне общал:

— Ну, и выкинул же штуку ваш граф Морен! Он подарил знамя союзу садовников. Какой цинизм!

Пришлось попросить у Фонтанэ объяснений, и я возмутился только тогда, когда понял, что этот подарок является неслыханно бесчестным трюком в избирательной кампании.

Между тем наши дела шли хорошо. Группа избирателей в лестных выражениях предложила г-ну Веле выставить свою кандидатуру.

Господин Веле ответил:

— Моим живейшим желанием было жить среди книг, вдали от мирской суеты. Вы решили по-другому. Спешу ответить на призыв доблестного населения, оказавшего мне честь своим доверием. В политической жизни страны бывают роковые минуты, когда отказ был бы дезертирством. Можете на меня рассчитывать.

Борьба началась. Надо было в ней участвовать. Г-н Веле направил меня в главный город округа в качестве секретаря редакции газеты «Независимый», редактором которой был г-н Сен-Флорантен.

Входя в вагон, я мысленно воскликнул:

«О, если бы я мог быть полезным моему дорогому патрону и узнать потребности населения ...го округа Сены-и-Марны!»

Подъезжая к станции, я высунулся в окно. Среди ив протекала серебристая река, исчезая вдали пленительными извилинами, но еще долго по линиям прибрежных тополей можно было угадывать ее повороты. Шпиль и две колокольни, возносившиеся над листвою, обозначали городскую площадь.

Скоро я увидел бульвары и первые дома. Приветливый городок дышал покоем. Маленький и светлый, он лежал под синим небом, где застыли легкие белые облака. Этот вид склонял к отдыху и семейным радостям. А я нес туда общественные распри.

Мне указали на редакцию «Независимого». Она помещалась у вокзала, в низком доме, увитом глициниями. Г-н Сен-Флорантен сидел в своем кабинете. Он писал, сняв пиджак и жилет. Это был великан и самый волосатый человек, какого мне приходилось встречать. Он был черный-пречерный; при каждом его движении слышался шелест спутанных жестких волос и запах дикого зверя.

При моем появлении он не бросил писать. Потев, тяжело дыша голой грудью, он закончил статью. Только тогда он спросил, что мне угодно; я ответил,

что г-н Веле назначил меня секретарем редакции; г-н Сен-Флорантен вытер лоб и сказал:

— Отлично!

Я спросил, в чем будут заключаться мои обязанности.

— Да как везде, — ответил он.

Мне пришлось признаться, что я совершенно чужд журналистике. Вопреки моим опасениям, это мне не только не повредило, но вызвало в нем внезапную благосклонность. Он улыбнулся, протянул мне руку и пригласил отобедать у него дома.

Он дал мне свой адрес и прибавил:

— При входе спросите г-на Планшоне: это моя настоящая фамилия. Вне этого кабинета больше нет Сен-Флорантена, есть Планшоне!

Я пытался расспросить его о кандидатуре г-на Веле, которой я так интересовался. Но он отнесся к этому холодно.

Зато его статья не была холодной. В тот же вечер я ее прочел. Какой огонь! Темой было знамя, преподнесенное официальным кандидатом союзу садовников. С какой силой редактор восставал против развращающих подарков! Он переходил от гнева к иронии и от иронии к гневу. Он метил прямо в графа Морена. В статье граф изображался опасным, лукавым, вероломным человеком: граф занимается темными проделками, строит козни, проявляет в борьбе неукротимую энергию, честолюбие и фанатизм.

— Ну, — сказал я, складывая газету, — не мешает знать своего противника!

До обеда оставался целый час, и я пошел погулять в лесок, в двухстах метрах от города. Это были полудикие заросли белых буков, кленов, ясеней, лип и сирени — листва, поющая под ветром. Лесок оказался прелестным, я полюбил его и дал себе слово узнать каждое дерево, отыскать скромнейшие растения, стручковые кусты и разрыв-траву и взглянуть, не цветет ли под тенью самых больших деревьев соломонова печать. Я уже обошел весь лес, как вдруг увидел старика и рядом с ним на скамье шляпу, перчатки, платок и несколько склянок с лекарствами.

У него было длинное бледное лицо, узкий череп с несколькими седыми прядями, мертвенные глаза, отвислые губы. Он держал в руке скакалку и пристально смотрел на пятилетнюю девочку, которая сажала хворостинки в песчаное дно высохшего ручья. Ее платье было отделано кружевами; время от времени она поднимала на старика большие глаза, окруженные синевой. Она была бледной и худенькой. Закончив свой садик, она улыбнулась бесцветными губами. Тогда старик отвернулся и вытер со щеки слезу. Я спрятался, чтобы понаблюдать за ним, и обнаружил, что это был человек скорее больной, чем старый. Он был одет изящно, но двигался неуклюже и с трудом. Наверно, его разбил паралич и усыпил в его душе все, кроме любви к больной девочке, игравшей в песке.

Эта встреча не отличалась ничем необыкновенным, но она оставила во мне глубокое, мучительное воспоминание. Выражение этого печального, страдальческого лица, казалось, говорило, что все наши распри и честолюбивые помыслы — только суета перед лицом неизбежности. «Этот человек, — решил я, — чужд наших раздоров. Он-то не занимается выборами, он избег наших мелких бед по грозной милости страдания, которое возвышает его над нами».

С этими мыслями я подошел к дому редактора. Он сидел в гостиной и держал двух или трех детей на коленях, а других — на плечах. Дети торчали даже из его карманов. Все они называли его «папа» и тянули за бороду. Он казался другим человеком. Он был в новом сюртуке, чистом белье и весь благоухал лавандой; у него было такое доброе, довольное выражение лица, что нельзя было его узнать. Комната, полная цветов, казалась веселой, как он сам.

Он протянул мне огромную мягкую руку.

Вошла женщина, бледная, хрупкая, слегка увядшая, но приятная, с тусклыми золотистыми волосами и глазами цвета барвинка, изящная, несмотря на располневшую талию.

— Позвольте представить вас госпоже Планшоне, — сказал хозяин.

Казалось, он ею гордился, и, правда, она была очаровательна; я бы никогда не поверил, что человек, сложенный, как мой редактор, может похвастать такой прелестной женой!

Ее наряд меня восхитил: он был светлым и легким — вот все, что я могу о нем сказать. В те времена я еще не умел ни разбираться в женском наряде, ни даже отделять его от женщины. Теперь я умею, но это умение не доставляет мне никакого удовольствия. От г-жи Планшоне исходило очарование, и жилище отражало гармонию и прелесть ее души. Я бы не сказал, что квартира была прекрасна сама по себе: холодный плиточный пол, тяжелая деревянная отделка и огромные балки потолка. Она была небогато обставлена: у такого бродячего журналиста, как мой редактор, не могло быть роскошной мебели. Но со вкусом повешенные драпировки, красиво смятые ткани, раскрашенный фаянс, зелень, цветы являли взору приятное и занимательное зрелище. Дети (их оказалось всего пятеро) были толстые, крепкие, кровь с молоком, по-своему красивые; голорукие и голоногие, они теснились во круг отца грудой розовых тел, покрытых легким золотистым пушком, и все вместе молчаливо смотрели на меня пугливыми глазами. Г-жа Планшоне извинилась за их невежливость.

— Мы так часто переезжаем из города в город, — сказала она. — Дети даже не успевают ни с кем познакомиться. Это маленькие дикари. Они ничего не знают. Да и как им научиться чему-нибудь, когда они меняют школу каждые полгода? Старшему, Анри, уже двенадцатый год, а он еще не знает ни одного слова из катехизиса. Я, право, не представляю себе, как мы поведем его к первому причастию. Вашу руку, сударь.

Обед был обильный.

Молодая крестьянка, с которой г-жа Планшоне не сводила глаз, подавала все новые и новые блюда, дичь и домашнюю птицу, а хозяин, повязав шею салфеткой, вооружившись трехзубой вилкой и ножом с черенком в виде сапожной лапы, ставил эти блюда перед собой, оскаливая все зубы и вращая белками, сверкавшими на бородатом лице.

От запаха мясного ноздри его раздувались. Расставив локти, он легко разрезал белое или черное мясо, накладывал щедрые куски детям, гостю и жене и обнаруживал истинную страсть к еде. Он казался грозным, счастливым и добрым. Но в особенности проявлял он всю свою благожелательность, благожелательность добродушного людоеда, наливая вино. Огромными ручищами он вытаскивал за горлышко, не нагибаясь, бутылку за бутылкой, тесно стоявшие у его ног, и наливал до краев жене, которая тщетно отказывалась, детям, которые уже заснули, прижавшись щекой к тарелке, и мне, несчастному; а я без разбора глотал красные, розовые, белые, янтарные, золотые вина, и он весело объявлял их возраст и происхождение. Так мы опорожнили уйму по-разному запечатанных бутылок. После этого я стал выражать хозяйке благородные и нежные чувства. Все героическое и нежное, что было в моей душе, подступало к губам.

Я завел разговор на возвышенные темы; но это было нелегко; хотя хозяин одобрительно покачивал головой в ответ на мои самые глубокомысленные рассуждения, он их совсем не развивал и немедленно принимался разглагольствовать об отборе и приготовлении съедобных грибов или еще на какую-нибудь кулинарную тему. У него в голове была целая поваренная книга и наилучшая гастрономическая география Франции. Иногда он пересказывал забавные словечки своих детей.

За сладким я почувствовал, что люблю г-жу Планшоне. И эта любовь была так чиста и возвышенна, что я не только не подавлял ее в сердце, но еще расточал ее в долгих взглядах и философских замечаниях. Я высказал свои мысли о жизни и смерти. Я хотел сказать еще многое, но г-жа Планшоне вышла, чтобы уложить детей, которые спали глубоким сном на стульях, задрав ноги. После ее ухода я сидел мрачный и сосредоточенный напротив Планшоне, а он наливал ликеры. Я втайне пожелал, чтоб у него была прекрасная душа, а у меня — еще прекрасней, для того чтобы г-жу Планшоне любили два достойных ее человека. Я решил испытать сердце Планшоне и спросил:

— Господин Планшоне, вы написали резкую статью, чтобы разоблачить проделки графа Морена?

— А-а! Сегодняшняя утка!..

Сегодняшняя утка!.. «Это, — решил я, — техническое, профессиональное выражение». Я продолжал:

— Господин Планшоне, а что за человек граф Морен?

— Я его не знаю; я его никогда не видел. Говорят, что болван, но довольно славный малый.

Я удивился; он прибавил:

— Я здесь никого не знаю. Три месяца тому назад я был еще в Гапе. Это комитет Веле запросил, хочу ли я приехать, чтоб убрать Морена. Я и приехал. Немного анисовой, а?

Во мне росла огромная потребность в нежности. Я почувствовал дружескую привязанность к Планшоне. Я заговорил с ним задушевным тоном, я проявил к нему внимание и, в особенности, доверие.

Но все-таки, заметив, что он дремлет, я встал, пожелал ему спокойной ночи и выразил желание засвидетельствовать почтение г-же Планшоне. Он возразил, что это невозможно: она легла спать. Я об этом пожалел, стал искать свою шляпу и только с большим трудом нашел ее. Планшоне проводил меня до площадки и дал мне необычные советы: как держаться за перила и спускаться по ступенькам. Но эта лестница была явно крутой лестницей: я споткнулся по крайней мере два раза. Планшоне спросил, найду ли я свою гостиницу. Этот вопрос меня обидел; я обещал найти ее без труда, но слишком понадеялся на свои силы: часть ночи я провел в поисках, хотя эта гостиница находилась на той же улице, где жили мои хозяева. Во время этих поисков я понял, как трудно не попадать обеими ногами в лужу. В моей голове сменялись самые странные мысли; я решил безотлагательно совершить на глазах у г-жи Планшоне блистательный подвиг, но никак не мог решить, какой именно. На следующий день я проснулся при ярком свете солнца; во рту у меня пересохло, в желудке была тяжесть, лицо горело. По этим признакам, к моему великому удивлению и смущению, я понял, что накануне мерзко напился. Особенно я

страдал оттого, что не мог вспомнить, что я наговорил г-же Планшоне за обедом. Наверно, глупости. Я не смел появиться в редакции «Независимого»,

Пристыженный и грустный, я укрылся в моем леске и там, один, лежа на спине в траве лицом к небу, где сверкали серебристые листья молодого тополя, обрел немые утешения природы и простил себе свои грехи.

У меня возникла надежда, что г-жа Планшоне отнесется снисходительно к моей молодости и что я не навсегда потерял благосклонность этой души, угаданную в глазах, таких глубоких и синих! Эта надежда явилась для меня большим облегчением, и я стал бы настоящим оптимистом, если бы у г-жи Планшоне была такая же красивая талия, как и глаза.

Лежа в зарослях бука, я старался примириться с жизнью, как вдруг послышались детские крики. Я вышел на дорогу и увидел больную девочку, ту, что встретил накануне. Она плакала, а сопровождавший ее старик огорченно всматривался в вершину большого вяза. Лицо старика выражало подлинное отчаяние; слабые руки хватали воздух, колени дрожали. Он явно стал жертвой рока, перед которым был бессилён.

— Там!.. Там!.. Там!.. — повторял он.

И в ответ на мое предложение помочь ему, если это возможно, он заплетающимся языком объяснил, что мяч, которым играла его дочка, застрял на дереве, что он бросил вверх трость, чтобы сбить мяч, но трость тоже застряла. Он был в отчаянии.

Девочка перестала плакать и повернулась ко мне. Я гляделся в них обоих. Они были похожи друг на друга. В крупных, но тонких чертах их лиц, искаженных страданием, все-таки светилось что-то привлекательное и своеобразное.

Прежде всего надо было им помочь. Я принялся искать, на каких ветках застряли палка и мяч.

— Там!.. Там!.. Там!.. — твердил старик, поднимая непокорную руку, которая блуждала во всех направлениях. От этого усилия он весь вспотел.

Я нашел сам то, что искал, бросил в дерево камень и сразу освободил мяч. Увидя, что мяч упал, старик обрадовался, как дитя.

Трости не было видно снизу, и потому нельзя было успешно атаковать ее камнями. Я решил взобраться на дерево. Бедный старик заплетающимся языком путано умолял меня не делать этого. «Довольно, — говорил он, — девочка получила свой мяч и больше не плачет». Но я чувствовал прилив неукротимой энергии: это было первое следствие моей любви к г-же Планшоне. Я взбирался с ветки на ветку с проворством, какого раньше за собой не знал, и наконец схватил трость.

Тут я заметил ее золотой набалдашник и бирюзовый ободок.

Я протянул трость незнакомцу и скрылся, чтоб ему не пришлось благодарить меня снова. Мои мысли приняли другой оборот. Я охотно отправился в редакцию; там сидел Планшоне, полуголый, потный, пыхтя, вытаращив глаза, высунув язык; с бороды еще стекало пенное пиво, вокруг стояли три опорожненные бутылки. Он держал перо в кулаке и писал новую статью о проделках графа Морена; глядя на Планшоне, можно было понять, какая это трудная работа. Я сам отнес в набор свеженеписанные страницы.

Действительно, работа была трудная. На этот раз дело шло о зонтах, подаренных графом Мореном рыночным торговкам.

Уже один этот поступок вызвал в Планшоне такое негодование, что прежняя статья, которую я считал такой резкой, казалась теперь робкой и слабой.

Я его поздравил. Он был польщен и ответил:

— Я вам расскажу, в чем дело. Сегодня утром я пошел на рынок купить дыню (вы ведь знаете, для того чтобы купить дыню или фазана, женщины никуда не годятся: только мужчина умеет покупать фрукты и дичь); проходя мимо лотков, я заметил, что у всех крестьянок новенькие красные зонты. Я спросил об этом торговку маслом; она ответила, что с незапамятных времен в эту пору «замок» даром раздает зонты всем рыночным торговкам. А замок — это граф Морен. Графу Морену, знаете, принадлежит здесь семьдесят

четыре гектара родовой земли. Тогда я подумал: «Ну, тетушка, ты и не подозреваешь, что приготовила для меня статью».

Он потянул меня за рукав и прибавил:

— Приходите ко мне обедать! Будем доедать остатки.

Я отказался, не желая слишком сближаться с моим редактором. Я только нанес визит г-же Планшоне; она сидела перед букетом полевых цветов и чинила штаны старшего сына. Мы оба держали себя чрезвычайно скромно, и с тех пор, если я еще и любил г-жу Планшоне, это чувство пробуждалось во мне только при лунном свете и было таким же бледным и холодным, как луна.

Я довольно скоро обучился своему ремеслу и выполнял работу добросовестно. По целым дням я вырезывал сообщения из газет, правил гранки и писал заметки во славу г-на Веле.

Что до графа Морена, я не щадил ни его убеждений, ни его самого.

Я выходил мало. Но однажды я пошел погулять по берегу реки, которая отражала в своих голубых водах ивы и белые дома. В этот день я забрел дальше, чем обычно, и, выйдя за город, очутился у ограды парка; его широкие лужайки поднимались по откосу до самого фасада замка в стиле ампир с фронтоном и колоннами. Калитка открылась, и показался мой неизвестный друг, паралитик, которого я встретил в лесу. Он опять сопровождал девочку; но на этот раз она не шла рядом с ним. Она лежала в колясочке, которую катила гувернантка, и было мучительно смотреть на побледневшее детское личико. Девочка лежала на вышитой подушке под тенью поднятого верха.

Она была похожа на украшенных филигранным серебром восковых мучениц, чьи язвы и драгоценности созерцают в своих кельях испанские монахини.

Отец был одет элегантно, но от слез на его лице размазались румяна. Он подошел ко мне неровным шагом, взял меня за руку, подвел к девочке и тоном умоляющего ребенка спросил:

— Сударь, правда, она вовсе не изменилась с тех пор, как вы ее видели? Это было в тот день, когда она забросила свой... как бы это оказать?.. свой мяч на... как бы это оказать?.. на дерево. Это моя дочка; правда, ей лучше?..

Мы шли рядом; я изо всех сил старался успокоить бедного старика. Но и сам я был очень огорчен. Мы молчали, как вдруг больная девочка вскрикнула:

— Мама! Мама!.. Хочу к маме!..

Отец задрожал всем телом и ничего не ответил.

— Хочу к маме! — плача, твердила девочка.

Тогда отец простер руки и возвел глаза к небу, словно призывая его в свидетели незаслуженного несчастья.

Мы молча шли за коляской; она остановилась в еловом леске. Гуввернантка опустила верх, и мы заметили, что девочка испугалась чего-то, невидимого для нас. Я пытался развлечь ее цветами и песнями. Мне это удалось. От свежего воздуха она слегка оживилась. Она приподняла голову. Через час ее щеки стали почти розовыми.

Когда стало свежо и надо было отвезти девочку обратно в замок, отец пожал мне руку и пробормотал:

— Благодарю вас, сударь. Мне бы хотелось... быть вам полезным. Я — граф Морен.

Граф Морен! Я остолбенел.

В свою очередь я пробормотал:

— Граф Морен? Кандидат в депутаты?

— Тс-с... тс-с... тс-с, этот... как бы сказать?.. префект выдвигает мою кандидатуру. Он говорит, что я единственный... как бы это сказать?.. кандидат, угодный правительству, имеющий... как бы это сказать?.. шансы на... успех. Но я категорически... отказываюсь от всякой... кандидатуры. Я не хочу, не могу оставить этого ребенка. Наш... как бы это сказать?.. император поймет, что я не могу. Эта девочка одинока... понимаете?.. одинока... ее... как бы это сказать?.. ее мать...

Я бы охотно признался в моих ошибках и проступках по отношению к нему, но решил, что у него не хватит сил выслушать такое признание.

* * * * *

Господин Веле был избран; он получил на триста шестьдесят два голоса больше, чем граф Морен. После выборов я вернулся в Париж. Я жил там уже около трех месяцев, как вдруг ко мне явился Фонтанэ.

— Ну, дружок, — сказал он, — значит, ты опять наделал глупостей? Хорошенькие рассказывают о тебе истории; но я знаю, с тобой ничего не поделаешь. Я тебя знаю; я твой старый товарищ, я понимаю, ты скорее слабовольный, чем злой. Но, между нами, ты виноват, очень виноват. Так не начинают карьеру.

Я спросил у него, в чем дело. Он пожал плечами так уверенно, что я оробел.

— Ты отлично знаешь, о чем я говорю. Нельзя быть слабовольным до такой степени, мой дружок! Как! Тебя послали в ***, чтобы поддерживать кандидатуру г-на Веле, а ты заигрываешь с его противником!

Я вскрикнул от удивления, я запротестовал.

— О, Веле рассказал мне все, — объявил Фонтанэ. — Ты человек неловкий... Я понимаю, на худой конец, что можно перейти из одной партии в другую. (Мой друг Фонтанэ понимал все.) Да и то надо это делать пристойно и добиваться при этом определенной цели. Ты человек неловкий. Значит, ты не видишь, что империя выдохлась, кончилась, ты не видишь ничего: ты не видел, что твой граф Морен — только старый интриган. (Повторяю, мой друг Фонтанэ видел все.) Лучшее, что есть у Морена, мой дружок, это его жена. Когда я говорю, что у него есть жена, это только слова. Она все лето разъезжает без него по курортам и модным пляжам. Меня представили ей в Трувиле. Я танцевал с ней на благотворительном балу. Не скажу о ней ничего дурного, это было бы нехорошо с моей стороны, но, между нами, она распутная бабенка.

При этом он расправлял бакенбарды, строил умильные глазки, кокетливо вихлял всем телом. Уверяю вас, мой друг Фонтанэ был очарователен.

Как вы думаете, что я сделал, выслушав его? Я расхохотался; мой смех вызвал новые упрёки.

— Ты ведешь себя несерьезно! — объявил Фонтанэ.

Я веду себя несерьезно! Да, я думал о веселых делах, поистине веселых! Я думал о бедной умирающей

девочке, которая на берегу реки, в отчаянии обманутой любви, звала мать, а мать в это время отплясывала в казино с моим другом Фонтанэ. При этой мысли я и вел себя несерьезно.

Но Фонтанэ напомнил мне, что существуют лучшие чувства.

— Ты бы должен был, в своих же интересах, вести себя лучше с господином Веле, — сказал он. — Ты не сумел его оценить. Это человек значительный, он сам выбился в люди; подумай: еще в сорок лет он был учителем пансиона на Монмартре, потом пустился в финансовые операции, трижды обанкротился, а в пятьдесят два года достиг известности и стал депутатом; этот человек обладает бешеной энергией, и вести себя с ним так, как ты себя повел, — неблагоприятно.

— Как! — воскликнул я. — Господин Веле был в сорок лет учителем пансиона на Монмартре?

— Разве ты этого не знал? — невозмутимо спросил Фонтанэ,

— Я знал, что он служил добровольцем в Старом и Новом свете. Что он сражался в Перу под начальством генерала Песета против испанцев; в Питтсбурге и при осаде Коринфа под начальством генерала Шермана — против рабовладельцев; в Либерии под начальством Стефена Аллена Бенсона — против чернокожих с Мыса Пальм; в Варшаве под начальством Лянговича — рядом с мадемуазель Пустовойтовой; на Кавказе под начальством Шамиля — против русских, и, наконец, на борту невольничьего судна — один против всех. Вот что я знал!

— Кто тебе рассказал эти басни? — пренебрежительно спросил Фонтанэ.

— Кто? Да ты сам, весенним утром, в Люксембургском саду.

Но Фонтанэ искренним тоном ответил, что мне это приснилось и что он не способен на такие глупости. Я больше не спорил. У Фонтанэ и у меня были разные представления о точности. Философское сомнение, которое так смущало мою душу, не закрадывалось в душу Фонтанэ.

Уходя, он протянул мне руку. Это был превосходный товарищ.

Прошло несколько месяцев. Однажды весенним утром, когда я работал за письменным столом, пол страшно затрещал; я обернулся, и мне показалось, что вошел медведь. В моей комнате стоял Планшоне. Он меня поразил. Я все-таки не думал, что он такой огромный и дикий. В нем появилась некоторая эlegantность: шляпа была надета набекрень, в зубах торчала сигара, пальцами — да еще какими! — он вертел легкую тросточку.

Мы позавтракали вместе.

— Госпожа Планшоне, — сказал он за десертом, — на днях подарила мне шестого ребенка. Прошу вас быть его крестным. Празднества по случаю крещения состоятся в Реймсе и будут продолжаться неделю.

— В Реймсе?

— Я редактирую в Реймсе правительственный листок.

Тут он заговорил о «моем крестнике». Мальчик родился с зубом во рту, это огромный, великолепный ребенок.

Мы пошли погулять по авеню Елисейских полей. Деревья уже зеленели; мелькали светлые наряды. В веренице экипажей, которые катили к Триумфальной арке, я заметил прекрасную коляску; в глубине ее, подобно льву, раскинулся во всей своей славе г-н Веле. Уже издали можно было любоваться его внушительным носом и величественной бородой. Покровитель сильных, он посылал проезжающим в ландо и тильбюри модным финансистам улыбки, в которых так пленительно растворялась его гордость.

Я имел несчастье указать на него моему спутнику. Внезапно Планшоне оставил мою руку и бросился влечь за коляской, размахивая тростью и крича:

— Приставная борода, вор, прохвост! Я тебе устроил выборы, а ты мне не заплатил! Я сломаю трость о твою морду!

К счастью, коляска быстро укатила.

ПАСХА, ИЛИ ОСВОБОЖДЕНИЕ

Жил в те времена человек, который называл себя братцем Жаном и ходил по городам и селам. Он проповедовал на перекрестках в часы, когда ремесленники, выходя из мастерской, видят, как удлиняются их синеватые тени в золотых лучах заката. Он говорил с женщинами и детьми, стоявшими у дверей домов, обвитых диким виноградом. В своих бесхитростных речах он только повторял слова евангелия, не прибавляя к ним толкований, придуманных учеными, и потому эти слова казались новыми и опасными. Уже не раз прославленный богослов доминиканец Брутто указывал на их предосудительную вольность господину епископу Рабану Лингельбахскому. Но господин епископ, хоть он и стремился очистить свое епископство и лен от всяческих плевел, сначала не удостоил внимания благочестивый донос фра Брутто, потому что его отвлекли иные заботы: он должен был защищать престольный город и окрестные земли от своего соперника герцога Адемара Роттенхаммерского. Дело в том, что Рабан Лингельбахский получил свое епископство от одного из двух пап*, правивших тогда единой и святой католической церковью. Но антипапа пожаловал это же епископство герцогу Адемару Роттенхаммерскому, который, намереваясь вступить во владение им,

явился туда в сопровождении капитана Федерико с тысячью восьмьюстами наемных солдат и сжег тридцать деревень в подтверждение своих духовных и светских прав. Господин епископ Рабан отлучил от церкви господина епископа Адемара, капитана Федерико и тысячу восьмьсот его солдат, третью часть которых составляли турки. Мало того: с помощью шестисот швейцарцев он принялся отважно оборонять свой город. Он приказал спешно возвести на стенах вышки, с которых на осаждающих, когда те карабкались по лестницам, лились потоки раскаленной смолы. Самолично надев шлем и латы, он предпринимал смелые вылазки. Однако ему не удалось помешать врагам соорудить под самой стеной деревянную осадную башню, к которой большой печатью из красного воска они прикрепили буллу, в свою очередь отлучавшую Рабана от церкви. Эта башня была так высока, что господствовала над всеми городскими укреплениями. Но в первый воскресный день после крещения стрела арбалетчика угодила в глаз капитану Федерико, который забрался на самый верх этого отменного сооружения, чтобы заглянуть оттуда в город. Капитан Федерико умер от раны, к великому огорчению своих солдат, которые никому, кроме него, не доверяли. Они сняли осаду и отступили с такой быстротой, что герцог-епископ Адемар Роттенхаммерский еле успевал за ними на старом отнятом у крестьян муле. Теперь господин епископ Рабан Лингельбахский был избавлен от врагов. Желая возблагодарить бога, он устроил пышный крестный ход. Но фра Брутто сказал ему:

— Господь попустил, чтобы на вас ополчились столь многие треволения за то, что вы не пресекали ересь и вольномыслие.

Вот почему господин епископ Рабан призвал братца Жана к себе на суд. Люди думали, что несчастный ужаснется и скроется в лесах. Но, когда наступил назначенный час, он вошел в зал суда. Голова его была непокрыта, волосы космами падали на иссохшие щеки. Зрачки его запавших глаз сверкали, как цветы в раселинах скал. На нем был саван, подпоясанный пеньковой веревкой. Ноги его были босы.

Господин епископ Рабан Лингельбахский сказал ему:

— Братец Жан, мне донесли о твоих дерзостных речах. Приказываю тебе: отвечай на мои вопросы. Что ты говоришь в городе и в деревнях мужчинам и женщинам, которыми я правлю?

И монах, скрестив руки на груди, ответил:

— Рабан, я говорю им, что ты — человекоубийца, прелюбодей и бесноватый.

Услышав эти слова, господин епископ рассмеялся так звонко, что показалось, будто в зал капитула дождем посыпались просяные зерна. Затем он спросил брата Жана, не говорит ли тот чего-нибудь еще. И братец Жан ответил:

— Я говорю им: «Любите друг друга. Не презирайте ни Рабана, ни Мантеллу — и вы уподобитесь тому, кто спас Магдалину и не отринул распятого разбойника».

Господину епископу было известно, что Мантелла славится по всему городу своей бедностью и дурной жизнью. Поэтому он решил, что братец Жан безумен.

— На первый раз довольно! — воскликнул он. — Иди с миром. Но если снова примешься за свое, я прикажу тебя повесить.

Когда фра Брутто узнал, чем кончился суд, он отправился к господину епископу и сказал ему:

— Вы думаете, что поступили хорошо, оставив безнаказанным оскорбление, нанесенное епископу?

— Совсем не думаю этого, — ответил господин Рабан. — Но тот, в кого турецкие и польские солдаты капитана Федерико пустили шесть тысяч арбалетных стрел и семьдесят три каменных ядра, не может оскорбиться речами нищего простака.

— Но разве не известно вам, — возразил фра Брутто, — что этот человек бродит повсюду, утверждая, что спасение — в чистоте и смирении сердечном, что каждый может и сам уразуметь писание, что у епископов надо отнять все блага мирские, чтоб они вновь стали нищими духом и телом, как в те времена, когда Симон Петр владел лишь своей лодкой* и кольцом? Подобными речами братец Жан тяжело оскорбляет упам

sanctam¹ и единого главу ее, ибо есть лишь один папа, хоть их сейчас двое.

— Ладно, — ответил господин епископ, — пусть этого брата Жана посадят в тюрьму и чтоб я больше о нем не слышал. Мне пора на охоту.

Стража епископа тут же отправилась разыскивать брата Жана. Его нашли у колодца; он сидел на каменной закраине и разговаривал с Мантеллой, которая слушала его, присев на корточки прямо на пыльной дороге. Он говорил ей:

— Смири и очисти сердце свое, и будешь спасена!

Не успел он вымолвить эти слова, как стража схватила его и, связав ему руки, отвела в тюрьму господина епископа. Его посадили в темницу, сводчатые ворота которой выходили на площадь святого Георгия. Они никогда не запирались, и под ними, около столба, на котором висел ключ от темницы, безотлучно находился священник. На головке ключа, чтобы внушать к нему почтение, был вырезан герб господина епископа.

Братец Жан просидел в тюрьме всю страстную неделю. В городе говорили, что он пробудет там в ожидании суда еще неделю, после чего, как предполагалось, его на глазах всего народа сожгут на костре, но из милости предварительно удавят.

В ночь со страстной субботы на светлое воскресенье, когда празднество горестное сменяется празднеством радостным, сторожить узника пришлось юному священнику по имени Каликст. Он был очень благочестив, но те, у кого он обучался богословию, считали его человеком дерзостным, ибо он был склонен верить, что всякое дело, совершаемое из любви к господу, есть благо. Его упрекали также в том, что он слишком редко называет вторым Валаамом лжепапу, отлучившего от церкви господина епископа Рабана Лингельбахского. Фра Брутто приставил Каликста к воротам в страстную субботу после всенощной, чтобы остальные священники могли на свободе отпраздновать пасху; он сослался на то, что Каликст самый молодой из всех священников в городе. Действительно, Каликст не достиг еще возраста,

¹ Единую святую [церковь] (лат.).

когда годы начинаются с цифры 2, и лицо его хранило выражение невинности, которой цвели щеки того, чья голова покоилась на груди учителя*.

С наступлением ночи Каликст уселся на подворотную тумбу; над ним горел смоляной факел, воткнутый в каменное кольцо на стене. И вот, вытащив из-под рясы книгу, он стал вслух читать повествование о преславной пасхе:

— «На третий день после пятницы Мария Магдалина, и Мария Иаковлева, и Мария Саломея вышли на рассвете из Иерусалима, взявши с собой благовония и ароматы, и отправились туда, где был погребен Иисус. При восходе солнца они пришли ко гробу и стали говорить между собой: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?»»

Но они нашли камень отваленным и, вошедши, не нашли тела и увидели одни пелены, лежащие там, и плат, который был на голове Иисуса, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. И женщины подумали, что тело украли, ибо они еще не знали, что Иисусу надлежало воскреснуть из мертвых.

А Магдалина стояла поодаль и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Она говорит им: «Унесли господу моего, и не знаю, где положили его». Сказавши это, обратилась назад и увидела Иисуса, стоящего в саду. Он воскрес на рассвете в первый день недели и восхотел, чтобы Магдалина первая увидела его. Но она не узнала, что это Иисус: он стоял в саду, и она подумала, что это садовник. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она же говорит ему: «Если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария!» Тогда она узнала его и говорит: «Учитель!» И он сказал ей: «Не прикасайся ко мне». И послал ее к братьям своим сказать, что он воскрес.

Она побежала и возвестила ученикам, что Иисус жив и что она видела его. Но они не поверили ей».

Кончив читать, Каликст обернулся и увидел женщину, которая стояла на коленях в сточной канаве, протекавшей мимо ворот и наполненной нечистотами. Он узнал Мантеллу, потому что ему случалось подавать ей милостыню.

Ему было известно что она дурная женщина, но он жалел ее. Видя, что она по-прежнему стоит на коленях в грязи, он подумал, что Мантелла пьяна, и сказал:

— Мантелла, ступай домой, запишись и никого не впускай, — и господь, быть может, посетит тебя в день славы своей, когда он восхотел, чтобы Магдалина первой увидела его.

Но женщина не двинулась в места и спросила:

— Каликст, верно ли, что сегодняшний праздник — первый меж праздниками?

— Воистину так, — ответил Каликст.

Тогда женщина сказала:

— Каликст, как должно называть этот несравненный праздник, если то, что ты прочитал, — правда?

Священник снисходительно ответил:

— Мантелла, из твоих слов я вижу, что душа твоя проста и бесхитростна. Поэтому скажу тебе: этот праздник должно называть Исходом, потому что сегодня Иисус изошел из мертвых; и еще его должно называть Освобождением, потому что в этот день мы были освобождены из-под власти греха.

Услышав эти слова, Мантелла встала, поднялась по ступеням, которые вели к воротам, и сказала:

— Каликст, раз этот праздник есть праздник освобождения, нужно освободить узника.

Священник спросил:

— Что ты хочешь сказать? Уж не предлагаешь ли ты мне освободить братца Жана, которого я стерегу?

— Ты должен это сделать, — сказала Мантелла, — если хочешь стать угодным господу, потому что это человек божий.

Юный священник возразил:

— Мой долг — держать этого человека в тюрьме.

Мантелла улыбнулась:

— Ты хочешь угодить людям и не повинешься богу.

Каликст поник головой и задумался; потом сказал:
— Я верю, что этот человек невиновен. Но если я отпущу его, то сам попаду в тюрьму вместо него.

Тогда женщина указала ему рукой на ключ:

— Возьми ключ и отпри.

Каликст пробормотал:

— Я не смею: на ключе знак герба господина епископа.

— Осени его знаком креста, — ответила женщина.

Каликст встал, снял ключ со столба, осенил его знаком креста и отпер двери темницы, мрак которой озарился сиянием. И в этом сиянии Каликст увидел Иисуса Христа. Иисус сказал ему:

— Это я. Не бойся!

Я был в плену, и ты освободил меня. Только ты один между людьми воистину отпраздновал пасху.

Я — узник, пока есть узники, и пребуду в цепях до скончания века, чтобы праведники и невинные могли вечно освобождать меня. Знай, мой сын, что ты будешь ввергнут в оковы, и возрадуйся этому, ибо ты пострадаешь за меня. Я возлюбил тебя и потому не награжу тебя в этом мире.

И, выйдя из темницы, Иисус приблизился к колено-преклоненной женщине и сказал:

— Жена, не бойся! Взгляни и узнай меня. Я — тот, кого Магдалина увидела первая.

ЗЕМЛЯ

*(Навеяно Гесиодом *, поэтом «Трудов и дней»)*

Лангуаран (Жиронда)

Все в этом краю мне привычно и близко. Я знаю его вдоль и поперек. Я наслаждаюсь им во время долгих прогулок, когда брожу, ни к чему не приглядываясь, и, вверяя себя прихоти знакомых тропинок, лениво наблюдаю за игрой облаков и собственных раздумий. Это страна виноградников. Мне по душе ее могучая суровость, здоровый и степенный вид, однообразные линии ее холмов, облик которых беспрестанно меняется, отражая игру света и тени.

Мне довелось видеть восход солнца на обоих морях у Коринфа, а в Нижнем Египте — предзакатное фосфорическое мерцание горячих озер. Я ощутил красоту мира до печали, до ужаса. Но нигде, пожалуй, земля не внушает такой глубокой любви, как там, где ее никак не назовешь красивой. В земледельческих краях ее ласка, приветливость, доброта, — столь осязательные, что их чувствует даже ребенок, — присущи ей потому, что она покрыта плодами трудов человеческих. От этого она сама становится человеческой.

У всей французской земли — облик, который долго и терпеливо придавали ей земледельцы, и она поныне хранит его, доброжелательная и благосклонная. Наши холмы, наши долины, смиряемые плугом в течение веков, стали приветливыми и послушными. У них трудолюбивый вид. Их одеяние из злаков или люцерны,

заплатанное, как блуза бедняка Жака, говорит о тяжелом и плодотворном труде. Да и леса наши, прорезанные прекрасными дорогами и величественными просеками, свидетельствуют о давнем союзе многих поколений с природой и о торжестве геометрического рассудка над древним буйством растительного мира, первоначального властелина земли.

Нашим холмам, сухим и каменистым, исчерченным прямыми линиями покорной лозы, не сравниться в очаровании с мягкими долинами Умбрии, где виноград привольно вьется вокруг молодых вязов, подстриженных в виде корзин. Зато в наших виноградниках есть та особая прелесть, какую веет от всего уютного и домашнего. Вот потому-то я и взираю на них с такой безмятежной радостью, потому-то мне так приятно брести меж них по дорожке, обсаженной яблонями и кустами диких роз.

Особенно по вечерам, когда сумрак окутывает все миром и тайной, в час молчания, когда воздух напоен благоуханием диких растений, во мне просыпается сыновняя любовь к земле. Частицу все той же земли, преобразенной человеком, я нахожу и у себя в комнате, когда в камине пылают сухие побеги виноградной лозы. Здесь, на маленьком пространстве, среди четырех стен, мне снова является природа во всей своей полноте. Эта каминная решетка — не что иное, как кусок железа, вырванного из чрева нашей матери — планеты; этот стол выточен из сердцевины дуба. В камнях очага кроется множество невидимых ракушек. Пламя, освещающее мою комнату, питается пчелиным воском. Занавески сотканы из овечьей шерсти, а простыни — из волокон конопли, цветущей серебристыми цветами. На этом скромном пространстве я вновь обретаю не только окружающий меня небольшой край виноградников; я обретаю здесь уже всю землю, и она предстает предо мною во всех просторах своих и глубинах, с морями и сушей, со своими гигантскими памятниками древности и давно забытыми царствами. И в убогой деревенской комнатке я созерцаю всю ее целиком, люблюсь ею, поклоняюсь ей — божеству человечества, Земле, царственной дочери Солнца.

ЧУДО СО СКУПЫМ

I

В славном городе Падуе, основанном еще Антенором, братом троянского царя Приама, проживал около 1220 года от рождества Спасителя нашего некий горожанин по имени Николо Беккино, владевший немалым состоянием. От своего отца он унаследовал палатцо на улице святой Агаты, а также поместья с обширными угодьями в окрестностях города. Вопреки обычаю, принятому среди богатых падуанцев, он не употреблял серебряной посуды, а довольствовался, подобно простым людям, оловянными мисками и чашами, да и те он заказал себе такие маленькие, что в них могло поместиться лишь совсем немного вина и мяса. Сделал же он это для того, чтобы служанка не вводила его в слишком большие расходы на еду. Хотя дрова в Падуе были недороги, Николо топил свой камин одним мусором и проводил всю зиму без огня, считая, что топить печь поленьями — значит пускать свое добро на ветер.

Он охотно давал деньги взаймы тем, кто в них нуждался, если ему оставляли залог и платили изрядные проценты. При этом условии он был столь услужлив, что его большой кованый сундук был доверху наполнен векселями, в которых на добром пергаменте черным по белому стояло, что должники его отлично знают свои

обязательства по отношению к нему. Не будь он христианином, его, пожалуй, назвали бы ростовщиком. Действительно, платежи он взимал с величайшей строгостью, в соответствии с законом. А закон Падуи отличался крайней суровостью по отношению к несостоятельным должникам. Их заключали в тюрьму, где им оставалось только одно — умереть с голоду. Ибо подеста отнюдь не намерен был кормить их на средства города, а наиболее почтенные граждане, если даже и рассматривали посещение узников как один из семи актов милосердия, не считали нужным обременять себя им более одного раза за всю свою жизнь. Тем не менее около 1210 года от рождества Спасителя законы Падуи были несколько смягчены. Отныне должники, разоренные войнами, терзавшими Ломбардию, изгонялись из города.

Один только сер Николо Беккино отправил в изгнание немалое число их. Тягостно было видеть, как эти несчастные плелись по большим дорогам, таща на себе свои жалкие пожитки. А в предместьях города показывали их заброшенные лачуги, где гнездились теперь змеи и воронье.

В лето 1222-е сер Николо потребовал от маэстро Дзеноне Минуту, аптекаря, чтобы тот уплатил ему пятьсот золотых скудо. Маэстро Дзеноне держал лекарственную лавку на улице святой Агаты, как раз напротив палаццо Беккино. Он был молод, но под его густыми черными волосами скрывалась ученая голова. Он знал все растения, описанные Диоскоридом *, от одного испанского еврея он узнал самые драгоценные тайны, содержащиеся в книгах арабских врачей, и был даже обладателем рукописей, уцелевших от разорения античных библиотек; он читал труды Галена *. Все эти занятия заставляли его пренебрегать торговлей, и ему более пристало бы преподавать естественные науки в недавно открытом Падуанском университете, нежели продавать порошки и мази. До глубокой ночи сидел он при свете смоляной свечи, а порой и при лунном свете, неподвижно склоняясь над толстым фолиантом, как говорили — трактатом по магии, а на плече у него торжественно восседал кот, черный, как Эреб *.

II

Этого кота звали Плутон. Ученые люди не преминули заметить, что он носил имя языческого божества. Ну, а всякому известно, что язычники поклонялись демонам. По этой причине и по множеству других этого кота считали дьяволом. Кое-кто об этом поговаривал. Нужно сказать, что маэстро Дзеноне не обращал внимания на эти толки и не делал ничего, чтобы изменить мнение своих сограждан на этот счет.

Однажды ночью мимо лавки аптекаря проходил фра Мазо, из нового ордена братьев проповедников, усердно выслеживавшего еретиков. Он остановился, увидев зеленые искры, сверкавшие в зрачках Плутона, который внимательно следил глазами за страницами старинной книги, по мере того как его хозяин перелистывал их.

Фра Мазо нахмурился и сказал:

— Берегитесь, Дзеноне. Похоже, что этот кот знает слишком много.

Маэстро Дзеноне Минуту отвечал:

— Можно было бы долго спорить о том, что такое слишком много и слишком мало. По правде сказать, фра Мазо, он не знает всего того, что знаем мы. А мы не знаем всего, что знает он.

В самом деле, Плутону, чтобы прожить, нужен был разум. Не всякий день в доме находилось ему что поест, и он раздобывал себе еду мелкими кражами. Особо ловко таскал он обрезки с полок в соседней лавке колбасника Лотто Галленди. Поговаривали даже, что порой он делился украденными кусками со своим хозяином. На эту тему сочинили стишок, который знают все ребятишки в Падуе. Он начинается со слов:

Жил-был кот зеленоглазый,
Был он вором и пролазой...

Вся эта история — сплошной вымысел. Но одно не подлежит сомнению — что дела маэстро Дзеноне шли неважно. Ведь он так мало обращал на них внимания. Он слишком много времени уделял занятиям, слишком много читал и предавался мечтам, К тому же

занятия наукой не были его единственным пороком. Он недостаточно скромно взирал на красивых женщин, посещавших его лавку, вел с ними нежные речи и всякой мало-мальски хорошенькой женщине отпускал даром шалфей и ангелику. Будь он аптекарем в Пизе, где все женщины уродливы, эта привычка обошлась бы ему недорого, но в Падуе это означало разорение.

На беду свою Дзеноне задолжал Николо Беккино пятьсот золотых скудо. И вот в пятницу 23 апреля, в день святого Георгия, сер Николо явился к аптекарю в лавку. На нем была солдатская одежда, куртка из буйволового кожи, на голове немецкий островерхий шлем, хотя он никогда в своей жизни не воевал. Но чтобы не изнашивать свое подбитое мехом платье, он надел доспехи, которые заложил ему какой-то солдат.

— Маэстро Дзеноне, — сказал он, — предупреждаю вас, что, если в течение пятнадцати дней вы не вернете пятьсот золотых скудо, которые вы мне должны, вы будете изгнаны из города приказом подесты, в соответствии с законом Падуи, а ваша аптека будет конфискована в мою пользу со всеми колбами, ретортами, книгами и прочим имуществом.

— Сер Николо, — отвечал аптекарь, — благодарю вас за предупреждение. Будет так, как угодно господу или кое-кому другому.

— Кому же это — другому? — спросил сер Николо. — Что вы хотите этим сказать?

— Эта книга объяснила бы вам, будь вы поумнее, — отвечал Дзеноне, показывая свой трактат по магии.

В это самое время на книге восседал Плутон, и сер Николо, усомнившись, не дьявол ли сей кот, перекрестился поверх своего панциря. Старик, так хорошо разбиравшийся во всем, что касалось барыша и наживы, был в прочих вещах столь наивен и легковерен, что верил самым смехотворным басням, словно это были евангельские истины. Он верил всему, что говорили колдуны, и был убежден, что можно в любое время увидеть, как рыцарей превращают в свиней, скудо — в сухие листья, а дьявол вселяется в тело животного.

III

Вскоре распространился слух, что не пройдет и пятнадцати дней, как маэстро Дзеноне будет выдворен из своей аптеки и осужден за долги на вечное изгнание. В народе были весьма опечалены этим. Дзеноне любили ремесленники, а в особенности женщины из простонародья. Господу богу угодно было создать женщину более красивой, нежной и изящной, нежели мужчину, но одновременно и более хрупкой, слабой, более подверженной всяческим недомоганиям. Вот женщинам и приходится чаще иметь дело с аптекарями, чем мужчинам. Поэтому аптеку Дзеноне частенько посещали бедные девушки Падуи. Они весьма сочувствовали его беде. И так как денег у них не было, они дарили ему слезы своих очей. Больше всех горевала Барбара, служанка сера Николо Беккино. Она одна страдала от несчастья Дзеноне больше, чем все прочие женщины вместе взятые. Падуанские хроники умалчивают о причине этого участия, и приходится думать, что Барбара сочувствовала Дзеноне потому, что была сердобольной и милосердной и что в груди ее обитала Жалость, дочь небес. Жалость могла бы выбрать и менее привлекательное жилище. Барбаре едва минуло тридцать, она была свежа лицом, хорошо сложена и слыла, не без оснований, толковой и смышленной; ум ее был неистощим на всякие выдумки и уловки, и она умела обманывать своего хозяина, как ей заблагорассудится. Тем не менее в этом случае она не знала, что придумать.

Терзаемая тревогой и заботами, она сперва и не думала, что можно спасти Дзеноне от нищеты и изгнания. Она даже не пыталась смягчить своего хозяина, зная его бессердечие. Всю ночь она проплакала в постели.

Наутро же, когда заря коснулась своим розовым сиянием высоких стен и башен города, она решила, что не следует отчаиваться и что, быть может, с божьей помощью она найдет средство воздействовать на сердце Николо Беккино.

IV

В то самое время жил в Италии некий францисканский монах, сменивший имя своих знатных родителей на скромное имя Антонио. Это прозвание подсказала ему не просто людская мудрость. Его ниспослало ему само небо как предзнаменование. Действительно, «Антонио» значит «гром свыше»; и когда фра Антонио открывал людям тайны божественной премудрости, голос его гремел, как гром с горы Синай. Он много занимался теологией, был знатоком обоих прав, но забросил свою науку, не желая знать ничего, кроме распятого Спасителя. Народ впивал речи монаха, как иссохшая земля небесную влагу. Чтобы жаждущие мира и правосудия могли слушать его сразу в большом числе, он говорил не в церквах, а под открытым небом. Он торопился свершить свои святые дела, зная, что жить ему осталось недолго. Жестокий недуг медленно пожирал его плоть. Но это не смущало его сильную душу. Врачи сравнивали его с боевым слонем, шествующим навстречу копьям и стрелам. «Так же точно, — говорили они, — и брат Антонио обрушивается на людские пороки и преступления».

Когда он выступал с проповедью в каком-нибудь городе, не только горожане приходили его слушать, но и жители окрестных сел стекались толпами, чтобы услышать его.

Он боролся с ересью. Но не в пример инквизиторам, стремившимся огнем и мечом искоренить доктрины катаров и патаренов *, он прилагал все усилия к тому, чтобы кротостью и убеждением вернуть в лоно церкви отвратившихся от нее христиан. Он не мог выносить, когда их карали смертью за грех ереси. «Подобно тому, — говорил он, — как мы не сжигаем дом, где есть покойник, траур, похороны, так же не должны вы разрушать обиталище, где господь испускает дух под ударами, особенно если вы можете уповать, что он воскреснет в сиянии славы. Но если даже вы уверены, что еретик будет упорствовать в своем заблуждении, терпите это зло, как его терпит сам господь. И, памятуя о самих себе, не разите — да не разимы будете...»

Вот каким образом фра Антонио противился жестокостям инквизиторов. Он учил людей миру и милосердию. Нередко слово его проникало в самые сердца, и враги обнимались, военачальники отпускали на волю своих пленников и приходили на помощь несчастным, чьи города и села они разграбили и опустошили, богачи же отказывались от своего несправедно нажитого добра. Особенно страстно проповедовал фра Антонио против ростовщиков, и говорят, что он способствовал прекращению ростовщичества во многих городах Ломбардии.

В пятницу 23 апреля, в день святого Георгия, в Падуе было объявлено, что Святой (так падуанцы называли фра Антонио) произнесет на следующий день проповедь на открытом лугу, расположенном к западу от города. Дороги уже были покрыты толпами крестьян, которые, неся в котомках хлеб и фиги, шли, чтобы послушать фра Антонио и, если возможно, коснуться его рясы.

Барбара возлагала большие надежды на появление Святого. Она убедила себя, что, выслушав его, ее хозяин станет менее суров к беднякам и не станет более требовать от судей изгнания маэстро Дзеноне. Рано утром она пришла к хозяину в спальню и стала доказывать ему, сколь приятно и спасительно будет для него выслушать проповедь на лугу. Он дал себя убедить и надел в честь фра Антонио свое лучшее платье, которое было далеко не таким уж хорошим. Выходя из дому, он увидел Плутона, который карабкался по прутьям оконной решетки, и велел служанке закрыть ставни.

— Смотри, Барбара, — сказал он, — чтобы это скверное животное чего-нибудь не стянуло у нас.

Но она успокоила его:

— Не бойтесь, мессер Николо. У нас ведь никогда не бывает провизии. Коту нечего стянуть у вас, — он скорее еще вам притащит.

Старик и служанка отправились вслед за толпой на луг, где уже собралось множество народу. Женщины, усевшись, по обыкновению, на траве, окружали высокую кафедру, с которой должен был говорить Святой.

Мужчины стояли позади, их было тысяч тридцать. С большим трудом, с помощью городской стражи, сер Николо и Барбара пробились сквозь толпу богомольцев до скамей, где помещались наиболее видные граждане и почтенные женщины. Толпа пела псалмы и читала молитвы. Когда же показался Святой, единый вздох любви вырвался из уст собравшихся, как из одной огромной груди.

Это был еще молодой человек, но тело его распухло от водянки, и он с трудом носил его тяжесть. Изнуренный аскетическим образом жизни и святыми делами, терзаемый жестоким недугом, раздувшим его тело, так что оно, казалось, готово было лопнуть, он, если и чувствовал боль, не страдал от нее, напротив — упивался ею. Глаза его сверкали, как свечи, на желтом, как воск, лице. Он начал говорить. Голос его, подобно грому небесному, разносился по холмам и долинам. Для своей проповеди он избрал слова евангелия: «Там, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Сперва со священным гневом стал он упрекать богачей в суровости души и жестокости нравов.

— С глубокой скорбью, — сказал он, —зираем мы на великих мира сего, когда, сидя за трапезой, они в изобилии пьют вино своих виноградников и пожирают мясо животных, между тем как бедняки слабым голосом просят милостыню у их порога. Но богачи не внемлют им и, только напившись и наевшись вволю, бросают своим братьям во Христе крохи со своего стола.

Затем он обрушился на ростовщиков, которые доводят бедных ремесленников до нищеты и, обобрав, изгоняют их из родного города. Он потряс всех собравшихся картиной Страшного суда господня, нависшего над головой злых богачей. Он пояснил слова Писания: «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет».

— Горе скупому! — воскликнул он. — У того, кто любит деньги превыше господя, сердце выскочит из груди и окажется среди его золота и драгоценностей. Горе такому человеку! Бросятся искать его сердце — и найдут его в сундуке.

При звуке этих слов богачи побледнели, как будто над ними грянул гром, а бедняки почувствовали, как на них изливается небесная роса. Даже сер Николо был взволнован. Он кусал губы, чесал за ухом, как человек чем-то озабоченный. Он решил покаяться, чтобы не лишиться своего сердца в этом и в ином мире.

V

Но подобно тому, как дождь стекает по отвесной скале, так слова Святого скользнули по иссохшей душе скупца. Сер Николо снова стал прежним жестоким человеком с черствым сердцем. И вот уже он опять думал лишь о своих процентах и о преследованиях несчастных должников.

Барбара сказала ему со слезами:

— Как хорошо говорил Святой! Я и сейчас еще не могу удержаться от слез при мысли об этих несчастных богачах, чье сердце угодит в их ларец!

— Это действительно большая беда, — отвечал сер Николо. — Господи, помилуй и спаси нас от этого! Но человеку, который знает себе цену, нечего бояться. Святой произнес хорошую проповедь, не спорю. Но, конечно, он мог бы произнести другую, ничуть не хуже, на слова: «Кесарю кесарево». Он мог бы вызвать ею слезы, растрогать сердца, изложив права заимодавцев, как-то: святейшее и августейшее право передачи векселя, вступления во владение, удержания залога и прочих благ мира сего в руках законных владельцев. Это тоже евангельское слово и весьма поучительный предмет.

В отчаянии от того, что ее хозяин так мало извлек из увещеваний Святого, Барбара, вздыхая, отправилась стряпать постный ужин.

Настала ночь. Сер Николо зажег смоляную свечу и открыл свой сундук, доверху наполненный золотыми монетами и драгоценностями, отданными в залог. Здесь были обручальные кольца и епископские перстни, браслеты, ожерелья, пряжки, кресты, оружие. Здесь же было спрятано множество векселей. Таким образом,

сундук этот как бы заключал в себе усадьбы и поля, виноградники и леса, пруды и мраморные карьеры, кареты, корабли, ослов, коней, стада коров и овец, свиней и гусей, ткацкие мастерские со станками и ткачами, кожевенные и оружейные мастерские, кузницы, дворцы, башни. Ибо на этих векселях стояла печать должников, заложивших свое имущество серу Николо.

Держа свечу в левой руке, старик шарил правой среди бумаг, разыскивая расписку маэстро Дзеноне, аптекаря, — прежде чем передать ее судьям, он хотел снять с нее копию, а уж судьи должны были вынести решение об изгнании должников и конфискации их имущества в пользу кредиторов.

В то время, как он был занят этим делом, в самую минуту, когда рука его нащупала расписку, какое-то черное тело мелькнуло в окне, дугой пересекло комнату и, упав на смоляную свечу, погасило ее. В полном мраке сер Николо почувствовал, как что-то маленькое, мохнатое вцепилось в его одежду и вонзило острые когти ему в грудь. Решив, что это сам дьявол, он стал изо всех сил отбиваться, насколько позволяя ему охвативший его ужас. Животное страшно мяукало, фыркало и цепко держалось за него, царапая ему руки и раздирая кожу под одеждой. Удвоив усилия и призвав на помощь пречистую деву и святых, сер Николо сбросил наконец с себя врага, который упал в сундук, испуская страшные проклятья на каком-то нечеловеческом наречии, сопровождавшиеся звоном монет и драгоценностей. Больше всего на свете боясь быть обворованным, сер Николо смело сунул в сундук руки и голову. Но тут же с ужасом отпрянул, унося в этом бегстве своего врага, вцепившегося ему зубами в нос. Старик завыл от боли и испуга и едва не потерял сознание.

Услышав из кухни его крики, Барбара прибежала со свечой. Враг уже успел исчезнуть.

— Скорей давай подсвечник, — сказал сер Николо, — скорее, я должен взглянуть, не утащил ли у меня что-нибудь дьявол.

И, засунув голову в драгоценный ковчег, он окинул испытующим взором свои сокровища. Он убедился, что

все было на месте; но появился и новый предмет, на-
полнивший его ужасом. Это было сердце, алое и окро-
вавленное.

— Мое сердце! — воскликнул он. — Святой сказал
правду! Мое сердце в моем сундуке! Вот оно! И все
сосуды перерезаны! Оно уже не бьется! Неужели оно
никогда не забьется вновь! Сердце должно биться,
иначе это уже не сердце! Барбара! Увы, это правда!
Дьявол бросил его в сундук!

— Мессер Николо, — возразила служанка, — вы
уверены, что это дьявол? А не был ли это ангел госпо-
день?

— Нет, я почувствовал, что дьявол! Он был мохна-
тый и с когтями.

— А может быть, вы приняли за шерсть перья на
крыльях?

— Я не заметил у него никаких крыльев. А между
тем он пролетел по комнате. Это был дьявол, Барбара.
Он изрыгал проклятья и пыхтел, как одержимый. Он
изодрал на мне все платье, впился мне в грудь, вы-
рвал оттуда сердце и бросил его в сундук! Этот дьявол
унес в пасти бог знает куда кончик моего носа. А сер-
дце мое — вот оно среди моего золота и векселей. Ка-
кая жалость! Взгляни, какое оно крупное и красивое,
какое алое! Оно легко могло бы сойти за львиное
сердце! Нет у меня более сердца в груди. Это все равно,
как если бы я был мертв...

— Не отчаивайтесь, — промолвила Барбара. — Ко-
нечно, беда ваша велика. Но, может быть, найдется
средство. Маэстро Дзеноне, аптекарь, человек ученый.
Он знает все внутренности человеческого тела. В на-
ших краях он один умеет поставить сердце на прежнее
место. Он услужлив. Если вы вернете ему его расписку,
он поставит вам на место ваше сердце.

При этих словах сер Николо возмутился:

— Разве ты не знаешь, Барбара, что он должен мне
пятьсот золотых скудо и что расписка — единственный
его залог?

— Ваша правда, — сказала служанка, — Значит,
придется вам оставаться без сердца.

— Но не буду ли я испытывать этого неудобства? — спросил скупой.

— Боюсь, что будете, — отвечала Барбара.

После долгих пререканий сер Николо согласился принять аптекаря.

Барбара побежала за ним и рассказала ему о случившемся. Он уже кое-что знал об этом, ибо видел, как его кот Плутон удирал из лавки колбасника Лотто Галенди с воловьим сердцем в зубах, а Лотто, нагнав его, воткнул ему в зад шпиговальную иглу. Продолжая держать в зубах сердце, кот подпрыгнул от испуга и боли на высоту шести футов, прямо в окно сера Николо. Из рассказа своей подруги маэстро Дзеноне без труда понял, что упрямый и хищный Плутон расстался со своей добычей лишь на дне сундука, чтобы вцепиться зубами в нос противника.

Захватив с собой баночку с мазью и маленькие щипчики, маэстро Дзеноне отправился к серу Николо, который при виде его вновь обрел силы и закричал:

— Не подходите! Не нужно! Я чувствую, что мое сердце возвращается ко мне. Оно уже начинает биться. Я слышу, как оно бьется.

Барбара постаралась разуверить его:

— То, что бьется сейчас у вас в груди, мессер Николо, это совсем не сердце (оно в сундуке); это волнение.

Аптекарь подтвердил ее слова:

— Это волнение, мессер Николо Беккино, это не сердце, это волнение.

Сер Николо дал себя убедить и позволил своему должнику подойти поближе. Он даже согласился раскрыть по требованию Дзеноне одежду и обнажить грудь.

Аптекарь долго ощупывал ее и наконец сказал:

— Вот здесь оно было, мессер Николо. Здесь было как бы его естественное и законное жилище. В промежутке между вашим пятым и шестым ребром можно было заметить легкое колебание кожи в знак его благодетельного присутствия.

— А теперь разве не заметно? — спросил сер Николо.

— Ни тени, — отвечал Дзеноне. — Колебания не заметно, потому что нет более сердца. Ваше сердце, мессер Николо, находилось в вашей груди, как птица в клетке. Теперь клетка пуста. Пощупайте решетку — то есть ребра.

И Дзеноне добавил, вздыхая:

— Тело без сердца — это клетка без птицы, мельница без жернова, монастырь без колокола, лампа без фитиля, песочница без песка, кошелек без денег, колокол без языка, арфа без струн, орган без труб.

— Не можете ли вы поставить его на место, сосед? — спросил сер Николо жалобным голосом.

— Охотно, — ответил аптекарь. — Готов прозакладывать душу, что это мне удастся. Но это обойдется мне в пятьсот золотых скудо — на сердечный порошок. Я как раз дал вам расписку на эту сумму. Вам достаточно только вернуть ее мне, и больше это вам ничего не будет стоить, разве лишь какое-нибудь скудо, чтобы я выпил за ваше здоровье.

Сер Николо отказался от предложенной сделки, крича, что его грабят и что он отлично проживет и без сердца.

— Я убедился на опыте, — сказал он, — что множество вещей, которые считаются необходимыми, совсем не являются таковыми, и, обходясь без них, видишь, что они были излишними.

Но, ощущая большую слабость, которую он приписывал отсутствию сердца, он предложил своему исцелителю пятьдесят скудо.

Маэстро Дзеноне стал божиться, что при такой цене ему пришлось бы еще и свои деньги доложить...

Тут скупому пришло в голову другое средство.

— Как я глуп, что хочу воспользоваться вашими услугами, сосед! — воскликнул он. — Святой поставит мне сердце на место, не спрашивая за это денег. Завтра же пойду к фра Антонио.

— Конечно, он ничего не потребует от вас для себя, — возразила Барбара. — Но он заставит вас сжечь все ваши векселя. Этого он требует от всех заимодавцев, прежде чем выслушать их.

Долго еще спорил сер Николо. Наконец он заключил сделку с аптекарем. Маэстро Дзеноне получил обратно свою расписку и поставил на место сердце скупого. Он произвел это с помощью мази, в полной темноте, произнося магические слова.

Как только сер Николо Беккино заснул в своей постели с сердцем в груди, его служанка Барбара побежала в аптеку к маэстро Дзеноне Минуто, который отблагодарил ее должным и ощутимым образом. Плутон взирал на них, спокойный и невозмутимый. Маэстро Дзеноне сказал ему:

— Всякий знает, что ты дьявол, а между тем здесь ты помог совершиться чуду, возвещенному Святым. Над этим стоит поразмыслить. Что до меня, то я уверен, что в конце концов господь бог и кое-кто другой помиряется. Но пока об этом лучше не говорить.

ШТУРМ

(11 декабря 1602 года)

Герцог Карл-Эммануил потерял Бюже, Бресс, округ Же — словом, все свои земли, где говорили по-французски, кроме Савойи. Оттесненный в горы, он больше не помышлял расширить свои владения за счет Прованса и Дофине, но все еще надеялся прибрать к рукам Женеву. Распространялся ли на эту республику мирный договор 1598 года, который Франция и Испания заключили между собой в Вервене? Король Французский, верный друг женевцев, отвечал утвердительно. Король же Испанский, тесть Карла-Эммануила, хранил молчание, из чего герцог Савойский заключил, что Женеву, к тому же державшуюся протестантства, он вправе почесть неприятельским государством.

Этот город не был ни слишком велик, ни слишком богат, ни слишком надежно укреплен, хотя его местоположение на берегу озера было весьма выгодным. В нем едва насчитывалось двенадцать тысяч жителей и не стояло иноземного гарнизона. Окруженный рвами и стенами с тремя хорошо защищенными воротами, он охранялся горожанами и обитателями предместий, по большей части торговцами-суконщиками, людьми простыми и горячо преданными своему городу и своей вере. В истории П. Матьё * говорится: «Этот город

больше всего желает сохранить свободу. Исконная ненависть большинства его жителей к герцогу укоренилась в них так прочно, что, если бы тот, осадив Женеву, довел горожан до крайности, они, подобно карфагенянам, предпочли бы погибнуть * под развалинами ими самими подожженных жилищ, но не сдаться».

Наместником герцога Савойского «в его землях по сю сторону гор» был некий сеньор д'Альбиньи из Дофине, старый лигер, покинувший Францию после вступления на престол короля Генриха *. Этот вельможа жестоко ненавидел женевцев, хотя порою заискивал перед ними, чтобы ввести их в заблуждение насчет своих замыслов. Но это ему удавалось плохо. Весной 1600 года членам городского совета стало известно, что сеньор д'Альбиньи собирает войско в Савойе, и они, предосторожности ради, приказали осмотреть опускные решетки ворот, валы и бойницы. В декабре месяце 1602 года совет получил еще более надежные известия о замышляемом на город нападении. Однако как раз в эти дни герцог Карл-Эммануил прислал к женевцам президента де Шамбери, дабы уверениями в дружбе усыпить их осторожность. А тем временем сеньор д'Альбиньи готовил давно задуманный удар.

* * *

Одиннадцатого декабря, в субботний день, он стянул свои отряды к маленькой крепости Бонн и в шесть часов пополудни выступил на Женеву. Как известно, ночь с 11 на 12 декабря — самая длинная в году. Поэтому было уже темным-темно.

В войске д'Альбиньи, состоявшем из перебежчиков-французов, бывших лигеров, испанцев и итальянцев, насчитывалось тысячи две человек. В голове колонны шла вооруженная до зубов рота телохранителей сеньора д'Альбиньи. За ней следовал полк барона де ла Валь д'Изер и четыре эскадрона кавалерии. Помощником сеньора д'Альбиньи был комендант Боннского замка, пикардиец по имени Брюнолье или Бриньоле. Говорят, что перед выступлением он соборовался, а многие даже

слышали, как он клялся умереть, если не ворвется в Женеву.

Войска шли медленно, потому что солдаты несли на себе тяжелое осадное снаряжение: топоры, кувалды, фашины для переправы через рвы и штурмовые лестницы. Эти лестницы, выкрашенные в черный цвет, оканчивались снизу шипами, которые втыкают в землю, а сверху — железными крючьями, которыми зацепляют за стену. Каждая из них состояла из нескольких частей, вставлявшихся одна в другую, что позволяло по мере необходимости то удлинять лестницу, то укорачивать ее.

Савойцы уводили с собой всех встречных крестьян, чтобы те не могли поднять в Женеве тревогу. Когда солдаты подошли к Шампе, им почудилось, что они видят на небе пламя и столбы дыма. Они струхнули, но герцогские астрологи, сопровождавшие войско, поспешили их уверить, что эти знамения предвещают победу.

Отряды шли по извилистому берегу Арвы под прикрытием росшего вдоль нее леса; шум воды заглушал бряцание оружия. У самой реки дорогу им перебежал испуганный заяц. Ряды смешались, — то ли потому, что многим из солдат захотелось его изловить, то ли потому, что встреча с зайцем считается дурным предзнаменованием.

После шестичасового перехода войско приблизилось к Женеве. На расстоянии пяти-шести сот шагов от рва головные шеренги заметили ряды кольев, на которые ткачи, забив их в землю, натягивают веревки для сушки сукна. Савойцы, приняв эти колья за сошки аркебуз, решили, что попали в засаду; они круто повернули назад и смяли своих же соратников. Наконец, распознав ошибку, они снова двинулись вперед и берегом Роны дошли до луга Пленпале, подступавшего к самым городским стенам. Здесь колонна остановилась. Главные силы савойцев расположились на лугу, а капитан Брюнольс с самыми отчаянными из солдат, числом около трехсот, приблизился к контрэскарпу между воротами Меньял и Новыми воротами. Сделал он это отнюдь не наугад. Ему уже приходилось раньше разведывать по ночам подступы к городу; тогда-то он и обна-

ружил, что в этом месте стены не охранялись. Итак, в сопровождении своих офицеров и солдат он спустился в ров. Несколько уток, испугнутые их шагами, поднялись в воздух, оглушительно крича и отчаянно хлопая крыльями. Эта встреча по вполне понятным причинам не могла пробудить в савойцах воспоминание о гусях, спасших Рим; тем не менее они испугались, что эти пернатые своим криком привлекут внимание часовых, и на мгновение замерли. Однако, видя, что в городе по-прежнему царит тишина, савойцы забросали ров фашинами и перебрались через него. Затем они установили три лестницы. Чтобы уговорить солдат лезть на валы, Брюнолье объявил, что не раз по ночам бросал здесь камнями в стену, но никого на ней не видел. В подтверждение своих слов он тут же повторил этот опыт. Люди герцога устремились к лестницам, но, добравшись до верхних ступенек, опять встревожились, ибо оказалось, что на стене их никто не ожидает. А их уверяли, чтобы поддержать в них мужество, что в городе они встретят друзей. В эту минуту у капитана по имени де Сонна пошла кровь носом; к тому же кусок песчаника, оторвавшийся от стены, попал ему в грудь, оглушил его и принудил повернуть назад, вследствие чего пришлось спускаться и всем, кто следовал за ним.

Тем временем у подножья стены сеньор д'Альбиньи держал перед солдатами речь, убеждая их, что в Женеве их ждут и слава и добыча. Он обещал отдать им все, потому что сам твердо намеревался оставаться вне города. Стоявший рядом с ним иезуит отец Александр увещевал их еще более медоточиво. Он убеждал солдат, что по этим лестницам они взойдут прямо в рай — не сейчас, а позже, конечно, так как в столь славный день провидение не даст им погибнуть ни от воды, ни от огня, ни от меча.

Наконец солдаты снова полезли на стены. Брюнолье, капитаны д'Аттиньяк и де Сонна, а с ними еще пять человек, первыми добрались до парапета, скатились с вала и даже отважились пробежать по близлежащим улицам. Удостоверившись, что жители спокойно спят, они дали знак остальным, и тогда более двухсот человек в касках, с пистолетами за поясом, с

тесаками, пиками, полупиками и аркебузами в руках, друг за другом проникли в город. Часть их выстроилась около домов, прилегающих к куртине; другие залегли под деревьями, которые росли на валу. Брюнолье не начинал атаки, выжидая, пока наступит рассвет и подтянется арьберггард. Но около половины третьего часовой на башне Менял, заслышав шум во рву, подождал капрала, который отправил на разведку одного из караульных. Прихватив фонарь и аркебузу, тот пошел по стене и, увидев, что к нему приближаются какие-то люди, успел крикнуть: «Кто идет?» — и дать выстрел. Он тут же упал, пораженный насмерть. Однако часовой на башне Менял услышал стрельбу, в свою очередь подхватил: «Кто идет?» — и, разрядив аркебузу, поднял на ноги стражу у ворот.

Видя, что их обнаружили, и решив, что савойцев теперь в городе уже достаточно, Брюнолье и его люди, не теряя ни минуты, принялись действовать. Они разделились на небольшие отряды, один из которых кинулся к Новым воротам. Солдат по имени Пико тащил петарду, чтобы взорвать их и впустить в город главные силы савойцев, стоявшие на лугу Пленпале. Часовой на башне был убит. Но остальные тринадцать караульных дали по нападающим залп из аркебуз и, бросившись к ратуше, а также в соседние с ней кварталы, повсюду подняли тревогу.

Савойцы гнались за ними до самого арсенала, что было весьма неосторожно, так как, прежде чем они успели вернуться к Новым воротам, кто-то из женеvцев, взобравшись на башню, опустил решетку под носом у запальщика и помешал ему заложить петарду.

Человек пять герцогских солдат пробежали через весь город и выскочили на Террасу, холм, возвышающийся над самым озером. Некий горожанин, дом которого находился как раз в этом месте и который проснулся одним из первых, принял их за женеvцев и спросил:

— Где враг?

Они закричали в ответ:

— Молчи, трус! Иди сюда! Переходи к нам! Да здравствует Савойя!

Но ему удалось скрыться и поднять тревогу в своем квартале.

По всей Женеве из домов выбегали вооруженные горожане. Одни спешили на заранее указанные им посты, другие устремлялись навстречу врагу. Загудел набат. Солдаты герцога орали: «Да здравствует Испания! Да здравствует Савойя! Город наш! Бей, бей! Смерть им, смерть!» Савойцы, рассыпавшись по улицам, громко подражали кваканью лягушек — сигналу сбора у женевцев. И когда те выкрикивали: «Кто идет?», солдаты отвечали: «Друзья!» А некоторые из них, чтобы сбить с толку обороняющихся, зывали: «К оружию!» — и уверяли, что враг находится у Озерных ворот, то есть в стороне прямо противоположной той, где на самом деле шел штурм.

Тем временем горсточка отважных женевцев очертя голову бросилась на солдат, занявших Новые ворота. Двое или трое горожан пали на первом же пролете цепного моста, зато другим удалось продвинуться вперед, и савойцы немало от них пострадали. Запальщик был убит, а его соратники отброшены ко второму пролету. Они упорно защищались, но все же были вынуждены отойти туда, где стоял отряд Брюнолье. Некоторым из них пришлось в голову спрятаться в домах, но там их сразу же переловили.

Женевцы повернули одну из пушек, стоявших на валу, и навели ее вдоль рва. Перебежчики-французы барона де ла Валь д'Изер, а равно и остальные солдаты, спокойно ожидавшие на лугу Пленпале и в мыслях уже перемерявшие пиками сукна женевских торговцев, приняли первый пушечный выстрел за взрыв петарды, который должен был открыть им Новые ворота. Они схватились за оружие и с барабанным боем двинулись вперед, рассчитывая ворваться в город через пролом. Но не тут-то было! Второй выстрел из пушки, заряженной теперь картечью, причинил осаждающим изрядный урон.

Савойцам, проникшим в город, стало больше не под силу держаться. Теснимые со всех сторон горожанами, расстреливаемые из окон, они кинулись к лестницам, но не смогли ими воспользоваться, потому что те были

повреждены картечью. Тогда они стали прыгать со стены в ров, калечась и даже разбиваясь насмерть. Один из них свалился прямо на отца Александра и сильно зашиб его. Осаждающие оставили в городе и во рву пятьдесят четыре убитых и тринадцать пленных.

Сеньор д'Альбиньи, взбешенный тем, что его побили лавочники, был вынужден дать сигнал к отступлению и отправился к герцогу Савойскому, который, скрытно подъехав к Женеве, ожидал на холме Пенша известий об исходе штурма. Когда сеньор д'Альбиньи доложил о постигшей его неудаче, повелитель Савойи ответил только: «Изрядно же вы наложили в штаны!»

* * *

На другой день девять пленных капитанов, в числе которых были д'Аттиньяк и де Сонна, предстали перед советом, приговорившим их к повешению как воров и разбойников. Их немедленно отвели на виселицу, сооруженную на Гусином валу. Они уже отправились на тот свет, когда к месту казни приволокли еще четырех пленных, подобранных во рву. Один из них, капрал Лалим, раненный аркебузной пулей, так обессилел, что не смог даже сам подняться по ступеням эшафота. Но, сохранив веселость и здесь, он воскликнул: «Смотри-ка, до чего высоко вздернули моих начальников! Не беда, если мне придется болтаться чуть пониже».

В этом деле женеvцы потеряли шестнадцать человек убитыми и двадцать четыре ранеными, один из которых дожил только до рождества. Погибших похоронили на кладбище Сен-Жерве, у самой церковной ограды, и в память их совет постановил воздвигнуть надгробный памятник.

ДИАЛОГ В АДУ

Аббат Дуйе и Тень в аду.

Аббат Дуйе

Сударь, вот уже два столетия, молча и не поднимая глаз, вы прогуливаетесь под этими миртами. Почему вы избегаете общества теней?

Тень

Что вам до того?

Аббат Дуйе

Меня привлекают умы необычного склада, и мне было бы любопытно познакомиться с вами.

Тень

Сударь, у меня нет ни малейшей охоты к такому знакомству.

Аббат Дуйе

Что ж, весьма сожалею. Впрочем, я научился обходиться без общения с людьми.

Тень

Не мудрый ли бы Менипп *, автор столь злых сатир?

Аббат Дуйе

Менипп больше не существует. Даже тени не вечны. Но я похож на него лицом, сложением и духом. Многие, подобно вам, путают меня с ним. То, что вы приняли за короткий плащ греческого философа, — всего лишь моя пелерина, которая, увы, уже теряет форму и цвет. Я — аббат Дуйе, наставник Наваррского коллежа в Париже, философ-циник и ваш покорный слуга. Я понимаю, с каким почтением обязан вы отнестись к вам, сударь, ибо по вашему парикю, расшитому камзолу, лентам и пряжкам на туфлях вижу, что вы состояли при французском дворе лет за семьдесят до того, как мне пришлось обучать риторике с кафедры и философии на улицах.

Тень

Вы правы, сударь, я — дворянин. Мне было двадцать пять лет, когда Мольеру исполнилось сорок. Я — прообраз его «Мизантропа» *. Говорят, что Мольер списал Альцеста с себя самого и с господина де Монтюзье. Но как не схожа копия с оригиналом! Депрео * гордился тем, что послужил моделью для некоторых черт этого характера, которым он восхищался. Конечно, Депрео гневался порой на скверного поэта, как Альцест гневается на Оронта. Но можно ли узнать Депрео в поклоннике Селимены? Подлинный Альцест — только я; я — Альцест до кончика ногтей. Не знаю, искал ли Мольер такого сходства намеренно, или оно объясняется странной игрою случая. Могу лишь уверить вас, что оно полное, ибо между Альцестом и мной нет ни малейшего различия. Как и он, я имел удовольствие проиграть тяжбу, хотя на моей стороне были честь, неподкупность, совесть и законы; как и он, я любил юную кокетку; как и он, я счел плохим сонет, прочитанный мне Оронтом, и не скрыл своего мнения от последнего. Все, что Альцест говорит в бессмертных

стихах, я высказал в прозе, которая обладала лишь одним достоинством — искренностью. Вы еще, наверно, можете увидеть, сударь, тени зеленых лент на моем бархатном камзоле. Итак, живой Альцест — это я.

Аббат Дуйе,

В таком случае вы смешны.

Тень

Что вы хотите сказать?

Аббат Дуйе

Я хочу сказать, что, глядя на вас, хочется смеяться.

Тень

Никогда не думал, что я столь забавен.

Аббат Дуйе

Вы заблуждались. Вы — забавны, и даже в высшей степени.

Тень

Нельзя ли узнать, сударь, из чего вы это заключили?

Аббат Дуйе

Из только что сказанных вами слов. Вы ведь сами признались, что Мольер перенес вас в комедию таким, какой вы есть.

Тень

Да, и притом ничего во мне не изменив.

Аббат Дуйе

Значит, вы во всем походите на героя комедии. А герои комедий — смешны. Следовательно, вы тоже смешны. Согласен, вы относитесь к жанру высокой комедии и по этой причине смешны в возвышенном смысле слова. Готов также признать, что на сцене вы больше не смешите французов, И все-таки вы комичны.

Мольер держался правил: в комедиях он выводил только комические фигуры.

Тень

Вы весьма обяжете меня, объяснив, чем же именно я смешон.

Аббат Дуйе

Разве вы не мизантроп?

Тень

А разве человек благородной души может не быть им?

Аббат Дуйе

Так вот, вы смешны своей мизантропией.

Тень

Что же вы находите в ней смешного?

Аббат Дуйе

Мизантроп питает странное расположение к людям. Он приписывает им всяческие достоинства, которыми никогда не обладали ни они, ни он сам, потому что он такой же человек, как они; увидев же наконец свою ошибку, он винит в ней не себя, а других. Ну, разве это не забавно? Мизантропом вас сделало разочарование. Вы слишком высоко ценили себе подобных, вы представляли их себе лучшими, чем они есть; будь это не так, ни проигранная вами тяжба с подлецом, ни измена кокетки не оказались бы для вас неожиданностью. Вот чем вы смешны. А если к этому прибавить гнев, в который вас привел простой сонет, то можно заключить, что вы человек скорее изысканного вкуса, нежели широкого ума. Так ли уж бесспорно, что сонет Оронта плох? Вы ведь сами сделали такой вывод. Истинный гассендист * и настоящий физик не отважился бы на это.

Тень

Не сомневайтесь, господин аббат, сонет Орон-та — отвратителен. Вы были бы неправы, утверждая противное. Неужели вам нравится напыщенный слог?

Аббат Дуйе

Вы забавны даже в аду. Ваша горячность вызывает смех у теней, окружающих вас.

Тень

Если смешон я, то смешна и добродетель.

Аббат Дуйе

Добродетель здесь ни при чем. Конечно, в вас нет ничего, что заставило бы ее покраснеть. Но я уже доказал вам, что ваша мизантропия — плод неполного и ложного представления о людях. Сейчас вы увидите, что само зло внушает вам ненависть лишь тогда, когда оно затрагивает вас и начинает причинять вам вред. Сколько правых дел, на защиту которых выступали честь, неподкупность, совесть и законы, было проиграно задолго до того, как вы проиграли вашу тяжбу; сколько кокеток обманывали своих поклонников до того, как вам изменила Селимена; сколько плохих поэтов читали свои стихи до того, как Оронт утомил ваш слух сонетом! Вы это знали и тем не менее пришли в негодование. Мизантроп вообще слишком занят самим собой и не свободен от эгоизма. Он смешон отчасти и поэтому. Но это еще не все. Не бывает мизантропии без чрезмерного самомнения. Чтобы питать вражду к людям, вы должны верить, что вы лучше их. Последнее возможно, но с вашей стороны было бы учтивее этого не знать. А я вижу, что вы пребываете в этом до крайности смешном убеждении.

Тень

Итак, мой маленький аббат, вы полагаете, что я — человек ограниченного ума и эгоистичной души, не умеющий разбираться в людях и ослепленный самомнением?

Аббат Дуйе

Бесспорно. И, однако, человека при таких качествах можно все-таки считать порядочным. Друг мой, почему ты сердишься, когда я говорю, что ты смешон? Комические герои менее вредны и опасны для рода людского, нежели трагические. Что до меня, то я бы меньше стыдился и раскаивался, будь я Сганарелем или Созием *, а не Цезарем или Александром. Боюсь, что человека всегда ждет одно из двух: он либо преступен, либо смешон.

Тень

Я понял, аббат: как и я, ты ненавидишь людей.

Аббат Дуйе

Нет, я их презираю.

ОДНО ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ ОТКРЫТИЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Леокадия Байель, служанка супругов Леалер, девушка из Гонии близ Сен-Ло, не слыла безупречной. Она охотно посещала гулянья и вечеринки, и хоть и не была бесстыжей или, скажем, чересчур смелой, все же, когда она, бывало, выпьет наливки и пропляшет до полуночи, с нею случалось то самое, чего и следовало ожидать. Не одна она в лунные ночи забиралась под орешник Фошарского леса. Как известно, мудрость приходит только с опытом, и от девушки, предоставленной самой себе, нельзя требовать того, что мы вправе требовать от замужней женщины. Но дело в том, что Леокадия ходила в лес и не в очередь, и вскоре оказалось, что она перебывала там со всеми местными парнями. Тогда они стали сурово осуждать ее. Некоторые не прочь были повторить прогулку; большинство же смеялось ей в глаза, а кое-кто даже срамил ее при всем народе. Никогда, однако, не бывало из-за нее ни ссор, ни потасовок. К ней относились так, как она того заслуживала, и никто не помышлял на ней жениться, да, по правде сказать, ничто к этому и не побуждало. Она была рыжая, а рыжие не в чести в деревне: крестьяне считают, что таким женщинам присущ изъян, который

сразу дает себя знать, как только к ним приблизишься. У нее не было и полдюжины сорочек, не было даже пары простынь. Одевалась она неопрятно, и работающей ее никто бы не назвал. Она исполняла, что ей приказывали, была довольно ласкова и милостива, от работы не увиливала, но и рвения не выказывала. Вредило ей и то, что сколько она ни ходила к колодцу, а все возвращалась оттуда с порожним ведром, так что ее можно было считать неплодной. А ведь раз уж человек решит жениться, так всякому, как он ни беден, хочется, чтобы было чем похвастаться, чтобы жена была с приданым, работала не хуже мужика и наградила мужа детьми, ибо дети — богатство крестьянина. Леокадия Байель могла не сомневаться, что останется старой девицей и всю жизнь проживет в работницах. А в деревне это участь незавидная. Пока человек молод, жизнь у чужих людей — это еще куда ни шло, а как состаришься — так непременно свой угол нужен.

Леокадия умела читать, знала счет и могла написать письмо лучше многих девушек, но она была так нерасторопна, так не речиста, а большие голубые глаза ее смотрели так удивленно, что ее легко было принять за дурочку. Однажды, среди бела дня, мимо дома Леалер шел паренек по имени Модест; увидев, что девушка стоит как вкопанная и словно обалдевшая, он залез ей рукою под юбку, — так, смеха ради. А она даже не шелохнулась — не рассердилась и не засмеялась. И паренек пошел своей дорогой, раздумывая: «Ничего-то она не смыслит, все равно что скотина без понятия».

Еще придурковатее девушка становилась от того, что хозяйева с утра до ночи ее поедом ели. Леалер, хворый, вечно кашляющий, сопящий старикашка, у которого всегда першило в горле и было неладно в мочевом пузыре, то и дело хватался за кувшин с сидром, как бы собираясь запустить его ей в голову. Но еще больше боялась Леокадия мамыши Леалер, женщины низенькой и круглой, словно кочан капусты, которая с утра до вечера таякала и бросалась на нее, как злая собачонка. Они не давали ей вволю даже черного хлеба и сидра, в стужу девушка обходилась без шерстяной

юбки, никогда не высыпалась и вдобавок вовремя не получала жалованья. И все же она почти любила их и жила, не помышляя о перемене места. Да, по правде, нелегко ей было бы найти другое.

Как-то летом хозяйский сын Нарцисс, двадцатипятилетний малый, служивший в Париже у обойщика, узнав, что отцу стало хуже, приехал на несколько дней к родителям в надежде вытянуть у старика немного денег, так как собирался обзавестись собственной мастерской. В первую же ночь, поднимаясь в мезонин, где ему отвели комнату, он заметил над головой полосу света, забрался на чердак и застал там девушку в одной сорочке; в трепещущем свете огарка, поставленного на пол, она казалась позолоченной. Он сразу же повалил ее на прелую солому шаткой складной кровати и наслаждался юным крестьянским телом, которое никогда не омывалось ничем иным, кроме собственной испарины, и тем не менее было свежее, нежное и шелковистое. Он знал в этом толк, потому что постоянно околачивался в разных мастерских и у девок. Леокадия впервые попала в опытные руки. Впечатление у нее осталось смутное, но упоительное.

На другой день после завтрака, когда Нарцисс сидел с родителями за чашкой кофе с водкой, а Леокадия стояла у очага и, бессмысленно поводя глазами, лениво жевала корку черного хлеба с кусочком прогорклого сала, — ему пришла в голову мысль, что ей живется несладко. Немного погодя он застал ее одну в коровнике.

— Знаешь что, — сказал он, — тебе бы в Париж поехать. Там тебе будет лучше. Там можно найти выгодное местечко, скажем, наняться в прислуги к какому-нибудь торговцу на окраине. Помнишь толстуху Мари, Мари Фужре из Сен-Пьер-Ле-Во? Я намерен встретил ее на бульваре Вольтера. Она в услужении у часовщика с площади Республики. Она на хозяйских харчах, два раза в день мясо, тридцать франков жалованья, стирка тоже хозяйская.

И он дал ей адрес посреднической конторы на улице Триумфальной арки; пусть туда и направится, прямо с вокзала, с пожитками.

— Запишите мне все это на бумажку, — сказала она.

Мысль поступить в услужение к буржуа, в городе, пришлось ей по душе. Но она никак не могла решиться и, быть может, так навсегда и осталась бы у своих старых скупых хозяев, если бы они сами не довели ее до исступления и не положили конец ею многолетней покорности.

Как-то в один из самых холодных зимних дней, когда она, оставшись одна в доме, чистила на кухне кастрюли, у крыльца остановился нищий. Леалеры имели обыкновение угощать знакомых бродяг стаканом сидра и куском хлеба, когда те в определенные дни проходили мимо их дома. Человека, остановившегося у крыльца, Леокадия видела впервые; все же она отрезала ему ломоть хлеба и налила кружку сидра. Бродяга уже вытирал рукавом губы и прилаживал на спине суму, а тут как раз вернулся старик хозяин. Он решил, что Леокадия заманила незнакомца для того, чтобы с ним побаловаться, и стал обзывать ее шлюхой, мерзавкой, сукой, мразью.

— Мерзавка! Мерзавка! Собираешь по дорогам воров и приводишь их в дом, чтобы они нас со старухой зарезали! Я тебя в тюрьму упеку, дерьмо этакое!

Он так бушевал, что совсем выбился из сил, и под конец даже захрипел. Когда жена вернулась из погреба, он был еле жив, хотя все еще грозился кулаком.

— Что она опять натворила, зараза? — спросила старуха.

— Не орите, мамаша. Я от вас уйду. Так-то оно лучше будет, — ответила Леокадия.

Сначала старики не соглашались отпустить ее, ссылаясь на контракт, срок которому истечет только в день евангелиста Иоанна. Но когда выяснилось, что девушка не требует жалованья за минувшие девять месяцев, они перестали спорить.

В день ухода Леокадия сошла вниз в праздничном платье, с узелком под мышкой и взволнованно оказала:

— Благодарю вас за все ваши милости, папаша Леалер, и вас тоже, мамаша Леалер, и желаю вам обоим доброго здоровья.

— Я ведь не гоню тебя, Кади, — сказала старуха. Старик, перестав кашлять и плевать, добавил:

— Ты, видно, не знаешь, Кади, что тебя ждет в Париже. Так я окажу тебе. Ты станешь шлюхой. Этого не миновать.

И Леокадия, вся в слезах, ушла.

Вечером она уже брела по вокзалу Сен-Лазар, натываясь на тележки, нагруженные багажом, и на людей, которые толпами устремлялись во все стороны. Два драгуна, бежавшие опрометью, на мгновение ошеломили ее звоном сабель, винными парами, икотой и смехом и на ходу послали ей воздушные поцелуи. Как ей и советовали, она подозвала извозчика. Но тут какой-то молодой человек с черненькими усиками, показавшийся ей очень приличным, спросил ее, куда это она так торопится.

Девушка растерялась, а он уже схватил ее поклажу и повел ее в соседний кабачок, искрившийся зеркалами, огнями и хрусталем; тут он угостил ее вишневой наливкой.

Леокадия была не в силах отказать в чем-либо столь обязательному молодому человеку, поэтому последовала за ним сначала в дешевый ресторанчик, а потом в меблированные комнаты на Амстердамской улице, где они и провели ночь. Он сказал, что его зовут Альфред и что он драматический артист; на самом же деле он был парикмахер.

Когда она проснулась, его уже не было. Он ушел, не заплатив по счету. Весь день она просидела, плача и уставившись в небо, клочок которого виднелся в крошечное окошко, потом легла, не поужинав; ночью она слышала, как хлопают двери и раздаются шаги, и ее охватил такой ужас, что она спряталась с головой под одеяло, молилась пресвятой деве и дрожала как в лихорадке. На другой день она расплатилась за комнату, взяла свои пожитки и на извозчике поехала в посредническую контору на улице Триумфальной арки.

Владелица конторы потребовала с нее пять франков, оставила у себя в залог ее вещи и протянула ей

листочек, на котором были написаны фамилия и адрес: Госпожа Лежи, улица Боррего, дом № 38.

О том, как туда пройти, Леокадия спросила у полицейского, — она знала, что именно к полицейским надо обращаться за такого рода услугами.

Но блюститель порядка оказался в затруднении: — Вы говорите — Боррего? Боррего?

Она показала ему листочек посредницы. Тогда он вынул из кармана справочник в клеенчатом переплете, послунывил большой палец и стал неловко перелистывать страницы. Дул резкий ветер. Полицейский спрятался за ларек торговца требухой, где на белом мраморном прилавке красовались куски кровавой печенки. Бараньи сердца, подвешенные на крюк, касались его уха.

— Боррего?.. Да это в Менильмонтане. В двадцатом округе... Вам надо сесть в омнибус на площади Этуаль. А там опросите, где пересесть.

Она уже истратила свой последний пятифранковик, поэтому сказала:

— Объясните мне, как пройти пешком,

— Этого не объяснишь, да если вам и скажут, вы все равно не найдете.

Она попросила, чтобы он по крайней мере указал ей направление. Через два часа, после того как она расспросила об улице Боррего человек десять полицейских и человек двадцать рабочих, чиновников и мастеровых и получила от них неопределенные, а то и противоречивые указания, после того как выслушала несколько предложений выпить рюмочку, угоститься дюжиной устриц, получить пару сережек или позавтракать в ресторанчике у фортов, — плутая и колеся, она оказалась на холме Мучеников и тут обратилась к стекольщику, тащившему на спине большое каминное зеркало.

— Улица Боррего? — переспросил он и приложил к губам указательный палец левой руки. — Улица Боррего?

Он окликнул разносчика, который остановился с тележкой возле тротуара:

— Не знаешь ли, где тут улица Боррего?

Они втроем совсем перегородили тротуар, так что прохожему — старику с крупными чертами лица и шелковистой бородой, величественному и улыбающемуся, — пришлось на мгновение задержаться; он бросил наметанный и благожелательный взгляд на юную крестьянку, загорелая и влажная кожа которой, вся в веснушках, сияла под копной буйных рыжеватых волос; он заметил ее отсутствующий, нездешний взгляд, взгляд пророчицы и жертвы, угадал под жалкой суконной жакеткой молодое, гибкое тело и, как художник, привыкший превращать замарашек в бессмертных нимф, сразу же представил ее себе в священной роще, окутанную золотистым светом и голубыми тенями, с головой, увитой лавром, и с черепаховой лирой у серебряного бедра. То был Пювис де Шаван *. И он продолжал свой путь.

Благодаря любезности парижан, всегда готовых услужить приезжим и оказать внимание женщине, Леокадия наконец добралась до злополучной улицы Боррего; уже совсем стемнело, вокруг фонарей висел густой туман. Она остановилась у дома № 38 и, с непривычки не зная, что надо обратиться к привратнику, вошла в коридор; тут она сразу же заметила справа дверь со стеклами, замазанными белой краской, и отворила ее. Она очутилась в лавке, залитой ослепительным газовым светом, где, распевая песни, работало несколько маляров.

— Скажите, пожалуйста, здесь живет госпожа Лежи?

Низенький человек с седой бородкой, в очках и бумажном колпаке, не отрываясь от работы, ответил ей целым потоком прибауток:

— Госпожа Лежи сегодня лежит, лежала вчера, лежит всегда. Берегитесь — лежат по-разному. Не всякое лежание полезно, а то полежишь да пожалеешь. Что же вам от нее надо, от вашей Лежебоки?

— Я к госпоже Лежи. Насчет места.

С другого конца комнаты, заглушая песню, раздались два голоса — один густой, другой пронзительный:

— Госпожа Лежи сейчас в одной рубашке.

— Лежит под прессом.

Тут какой-то великан с черной бородой, которая спускалась на белую блузу, облекавшую его мощную грудь, слез по лесенке из-под самого потолка, где он распевал оперную арию, и с кистями в руках подошел к Леокадии; он приподнял берет, прикрывавший его лысую голову, и сказал серьезно и вместе с тем ласково:

— Госпожа Лежи? Я знаю, где она! Минуточку! Только помою лапы да натяну шкуру попрличнее — и мигом вас к ней отведу.

Леокадия не обманывалась насчет того, что сказал ей этот человек; она отлично поняла, что он не отведет ее к госпоже Лежи; однако она рассудила, что вежливее будет подождать его, а когда он появился, весь в черном, в котелке и с синим шелковым кашне на шее, он показался ей таким большим, таким обворожительным и любезным, ее так пленили его карие глаза, белые зубы, длинная борода и широкая грудь, что она последовала за ним, задыхаясь от восторга и онемев от любви; сердце у нее замирало, ноги подкашивались.

Он накормил ее в закуской, потом повел на публичный бал, а оттуда — к товарищу, человеку женотому, с четырьмя детьми. Звали его Мишель Редельсперже, и славился он как самый отчаянный кутила и шалопай. Трое суток они пили, танцевали и предавались любовным утехам. Леокадия даже не подозревала, что человек может так бесподобно озорничать, смеяться и быть столь очаровательным во всех отношениях. На четвертый день она заметила в нем перемену. От беспросветного безденежья веселость сменилась у него хандрой. А так как у нее не осталось денег и, следовательно, она не могла их ему дать, он стал с нею груб. По тому, как он толкал ее в объятия приятеля, у которого они жили, девушка поняла, что он уже не дорожит ею. Как-то утром он послал ее с поручением. Вернувшись, она нашла дверь запертой: приятели съехали с квартиры. Она снова отправилась к посреднице, но теперь у нее уже не было денег, и ей отказались дать новый адрес. Тогда она пошла бродить по улицам.

На другое утро двое полицейских, совершавших обход, нашли ее без сознания на площади Обсерватории, в снегу.

В больнице св. Мавра на бульваре Пор-Рояль, куда ее доставили, у нее были констатированы ссадины на груди, животе и бедрах, а кроме того воспаление легких, вызванное сильной простудой. На расспросы она ответила, что какие-то незнакомые черные люди повели ее в кабачок и дали ей «чего-то» выпить, но она отказалась идти с ними дальше, потому что ей стало страшно. Остального она не помнит.

Дни выздоровления были счастливейшими в ее жизни. Просторная палата казалась ей и торжественной и веселой, постель — восхитительной. Она не узнавала своих собственных рук — такими они стали белыми и мягкими; они были словно чужие, а прикосновения их к телу она ощущала как ласку; это удивляло и забавляло ее.

Порою она высовывала их из-под одеяла и разглядывала ногти, которые теперь кончались, как у важных дам, изящным прозрачным полукругом. Или, повернув к себе ладони, она сгибала пальцы и шевелила ими, воображая, будто это марионетки, которые делают реверансы и разыгрывают перед ней комедию. Она надеялась, что сама знала по части поэзии и музыки. Большой палец был Полишинелем, мизинец — Мальчиком-с-пальчиком, у других не было имен; каждый по очереди напевал какой-нибудь танец.

Иногда она читала книгу, которую взяла у соседки, — описание путешествия на Кавказ. С непривычки и от слабости она читала очень медленно, по слогам, и шевелила при этом губами. Многих слов она не понимала. Это казалось ей вполне естественным и ничуть не раздражало ее. До сего времени единственной пищей ее ума были молитвы да песни. Каждая прочитанная фраза представлялась Леокадии загадочной и прекрасной, как то, что произносят и поют в церкви. Девушка воспринимала в ней только разрозненные, смутные образы.

Она была счастлива, а счастье располагало ее к нежности; поэтому Леокадия искренне полюбила со-

седок по койкам, старика повара с повадками, каких не встретишь в деревне, а также молодого каменщика из Крезы, неопытного и неуклюжего. В сердце ее вновь оживала набожность детских лет; она крестилась и шептала: «Благодарю тебя, владычица!»

Уже несколько раз доктор Бод, главный врач больницы, проходил мимо ее койки, не взглянув на нее. Однажды, уже пройдя, он почувствовал на себе взгляд этой красивой девушки, — ясный и томный взгляд, полный любвеобильной и спокойной чувственности, которым она дарила всех мужчин — красивых и безобразных, молодых и старых, простодушно признаваясь в желании, не ведающем предпочтений.

Доктор вернулся и спросил у дежурного практиканта:

— Что с этой девочкой, Мильсан?

— Мы ее приняли с воспалением легких вазомоторного характера, доктор; оно вызвано простудой, — ответил практикант.

Он описал ход болезни, лечение и сказал, что она вскоре совсем поправится.

— А наследственность?

— Отец — алкоголик, страдал артритом, умер от несчастного случая — он был плотником и сорвался с крыши. О матери сведений нет; она умерла молодой, в нищете.

— Это та девушка, которую подобрали на площади Обсерватории?

— Та самая, доктор. Тут ее так и зовут, сокращенно, — Ватория.

— Она ведь была ранена?

— Да, доктор, но совсем легко.

Доктору Боду она показалась весьма миловидной, и он сказал ей несколько ласковых слов.

— Ну, дитя мое, вот вы и выпутались из беды. Завтра мы позволим вам встать, а на днях совсем отпустим на волю.

При мысли, что ее скоро выставят за дверь, она обратила на него взгляд, преисполненный бесконечного отчаяния, и крупные слезы покатались по ее щекам.

Доктор сказал властно и вместе с тем ласково:

— Извольте не плакать!

И, уходя, опросил у практиканта:

— Истеричка?

— Кажется, нет, доктор. Я не заметил никаких признаков...

Бод его перебил:

— Ее нетрудно будет усыпить. Она, вероятно, превосходный объект.

Недели полторы спустя доктор Бод перед обходом больных остановился в своего рода застекленной прихожей, где он имел обыкновение заниматься гипнотическими опытами, отгородившись большими ширмами из зеленого репса. В то время он работал над вопросом о терапевтическом действии внушения. Он гипнотизировал работницу обувной мастерской, по имени Роза, внушал ей, что у нее гемиплегия и с помощью огромного магнита переводил паралич с правой стороны на левую и обратно. Опыт этот неизменно удавался. Он делал и другие опыты в том же роде. Он предлагал Розе брать в рот каплю воды и внушал ей, что это валерианка или эфир. К несчастью, во время опыта в присутствии делегации Медицинской академии девушка от смущения спутала валерианку с эфиром и тем самым омрачила его славу смелого экспериментатора, чего он так ей и не простил.

— Мильсан, нет ли у вас чего-нибудь от невралгии? — обратился он к практиканту. — Сегодня у меня в голове с самого утра орудует целый отряд чертей с пилами, буравами, молотами и фуганками.

Мильсан понял, что патрон говорит это из презрения к старой терапии и в виде предисловия к очередному анекдоту, — и как можно почтительнее отрицательно покачал головой.

— Несколько лет назад, в дни буланжизма *, — продолжал доктор Бод, — у Шарко * был приступ лумбаго; он лежал в постели и велел никого не принимать. Однако к нему вскоре ворвались двое здоровенных решительных мужчин — депутатов от южных департаментов. Они вошли в комнату, волоча под руки ослабленного старца. «Почтеннейший профессор, — начал один из них, господин Сен-Жюльен, — вот наш вели-

кий Наке; у него малокровие, неврастения. Мы пришли, чтобы попросить у вас во имя Франции, во имя спасения республики какого-нибудь хорошего лекарства, которое вернуло бы Наке силы и дало бы ему возможность продолжать борьбу за освобождение, за справедливость. Речь идет о чести республики и о спасении родины». Шарко, лежа на своей железной кровати, ответил: «Господа! Вы составили себе превратное понятие о медицине. У вас, господин Наке, несомненно есть старуха служанка. К ней-то, а вовсе не ко мне, и следует вам обратиться. Видите, я прикован к постели прострелом и терплю адскую боль. Но я не вызвал к себе никого из моих коллег. Моя старая служанка подложила мне под поясницу мешочек с горячим ячменем. Последуйте моему примеру, господин Наке, попросите лекарства у своей прислуги».

Выслушав этот обстоятельный рассказ, практикант улыбнулся.

— У нас в деревне, — сказал он, — когда у крестьянина случится прострел, он велит нагреть большую бочку, залезет в нее и принимает как бы паровую ванну.

— А парижане, — возразил доктор, — предпочитают, чтобы им сильно растирали поясницу шкуркой дикой кошки. Однако займемся делом.

Он распорядился вызвать Леокадию Байель, потом усадил ее за ширмой в просторное кресло с подголовниками. Она сидела, положив руки на колени, и улыбалась, удивленная и счастливая тем, что видит и слышит вокруг себя только благожелательные взгляды и ласковые слова. Она взирала на доктора Бода в каком-то экстазе, что было ему и приятно и лестно, хоть он и не отдавал себе в этом отчета. Он сел против нее, колени к колену, коснулся пальцем ее век и сказал:

— Спите.

Она замерла.

Тогда доктор обратился к практиканту:

— Я так и знал. Она превосходный медиум. Мне сразу же удалось ее усыпить, несмотря на то, что от усталости у меня голова трещит.

Он несколько раз провел рукой по лбу. Потом положил руку на голову Леокадии.

— Спите.

После продолжительной паузы он спросил:

— Что вы ощущаете?

Она не ответила, потому что совсем оробела перед столь почтенным господином и боялась, как бы не сказать чего-нибудь такого, что ему не понравится. Тогда он прогонит ее.

— Что у вас болит?

Вопрос этот еще больше смутил Леокадию. Она решительно не знала, что отвечать. Доктор пришел ей на помощь:

— У вас болит... Скажите, где у вас болит.

Тут она немного схитрила, вдобавок ей сильно повезло. Рассчитывая угодить бедному господину, который жаловался и прижимал руку ко лбу, она сказала:

— Голова.

А он продолжал — повелительно, властно, настойчиво:

— Боль усиливается?

— Да, сударь, — проговорила она; теперь она знала, как отвечать, к тому же ей вспомнилось правило, не раз слышанное в детстве, что вежливее ответить «да», чем «нет».

— И еще усиливается?

— Да, сударь.

Тут доктор обратил внимание на самого себя и, будучи опытным и непредвзятым наблюдателем, отметил, что невралгическая боль у него сразу стала затихать.

И он решил:

— Я на пороге величайшего открытия: передачи болезней.

После некоторых дополнительных исследований он сделал над новым медиумом опыт в присутствии избранных гостей: ирландского иезуита отца О'Конора, чернокожего доктора-гаитянина Фенелона Кока, корреспондентки феминистских газет мадемуазель Коний

и испанского художника Берругеты, который приехал специально затем, чтобы изучить выражение лица при экстаических состояниях. По обыкновению, доктор Бод прежде всего предупредил об опасности неумеренно смелых экспериментов.

— При внушениях следует соблюдать величайшую осторожность, — поучал он. — Однажды я сказал некоей чрезвычайно восприимчивой пациентке: «Мадемуазель Роза, вы — птица». Она настолько уверовала в это, что бросилась к окну, чтобы вылететь. Я ее схватил в тот момент, когда она уже повернула шпингалет.

Он слегка потер опущенные веки Леокадии и приказал ей уснуть, потом чуть нажал рукой на ее голову и тут же убедился, что она уже прошла две первые стадии гипноза и теперь находится в состоянии сомнамбулизма.

— Глаза закрыты, — отметил он. — Кожа и мускулы совершенно утратили чувствительность.

И он объяснил, как будет протекать опыт. Присутствующие увидят, что загипнотизированная, войдя в соприкосновение с больным, тотчас же почувствует и проявит симптомы его заболевания. В данном случае это будет паралич с дрожью.

— Паркинсонова болезнь, — поддакнул чернокожий врач.

— Вот именно, — продолжал Бод. — Пациент — бывший торговец фуражом, живет на свои сбережения в пригороде Парижа; это субъект с нормальным, умеренно развитым интеллектом. Болезнь, начавшаяся года три тому назад, сначала протекала в скрытой форме. Ритмическое дрожание незначительной амплитуды долгое время было локализовано в одной руке. Теперь, как вы изволите увидеть, заболевание распространилось на всю половину тела, а также на нижние конечности.

Старик появился и с трудом прошел несколько шагов, склонив туловище вперед и понурив голову; атлетическое тело его исхудало и захирело, весь облик свидетельствовал о тоске и отчаянии. Это был господин Матюффа.

Леокадия знала его. Опыт, который Бод показывал

сегодня, он уже три раза производил без свидетелей, и добрая Ватория, тронутая физическим убожеством старика, всем сердцем старалась облегчить его страдания; она была очень расположена к нему и считала его красавцем мужчиной, хоть он и был старый, плешивый, немощный и голова его блестела, как начищенная кастрюля. Старик сел против нее и стал трястись.

Леокадия взяла его за руки, как ей наказывал доктор, прижалась к нему коленями и тоже стала трястись.

— Обратите, господа, внимание, — говорил доктор. — Ритмическая дрожь небольшой амплитуды, которую воспроизводит загипнотизированная, очень характерна для данного заболевания. Даже при желании девушка не могла бы его сознательно имитировать: здесь передача заболевания совершенно очевидна.

Четверть часа спустя г-н Матюффа с трудом встал и неуверенным шагом направился к двери.

— Ну, что ж, вы дрожите меньше. Явное улучшение, — сказал ему Бод.

Господин Матюффа, подобно всем, кто страдает паралитической дрожью, всегда трясся меньше непосредственно после того, как мускулы его приходили в движение. На самом же деле он не ощущал ни малейшей перемены, и в желудке у него все так же жгло.

Тем не менее он дрожащим, прерывистым голосом ответил:

— Теперь лучше, господин доктор, теперь лучше.

Он сам почти верил в это и охотно это подтверждал, потому что возлагал большие надежды на все новые способы лечения, а этот способ особенно пришелся ему по душе: его радовало прикосновение девичьих колен, их тепло было ему приятно, от них словно веяло какой-то свежестью.

— Куда лучше, господин доктор!

Чернокожий врач, ирландский иезуит и барышня репортер что-то записывали.

Тут Бода вызвали в кабинет, чтобы подписать какой-то документ, и он предупредил собравшихся, что

обращаться к спящей бесполезно, что она все равно ничего не услышит, ибо состоит в общении только с ним, экспериментатором.

Бод долго не возвращался, и художник Берругета, чуждый, как все люди искусства, науке и ее методам, рискнул, несмотря на указание доктора, обратиться к спящей Ватории и шепнул ей на ухо:

— Какая ты прелесть! Приходи ко мне в мастерскую, я тебя нарисую.

Слабым, как дуновение, но все же внятными голосом она прошептала:

— С удовольствием.

Минуту спустя доктор Бод вернулся; он слегка дунул на веки усыпленной, и она потянулась, как бы пробуждаясь.

— Теперь, господа, вы можете поговорить с девушкой и расспросить ее, — сказал он.

Полтора месяца Ватория перенимала различные болезни. Заминка вышла только с хроническим энтеритом да двумя-тремя опухолями, после чего Бод благоразумно определил ее по части нервных заболеваний, симптомы которых воспроизводились у нее безошибочно.

Практикант Мильсан, с которым она очень подружилась, однажды спросил ее строго:

— Зачем ты плетешь Боду такие небылицы?

— Я не плету небылиц.

— Ты ведь вовсе не чувствуешь, что болезни переходят в тебя.

— Так ведь это он говорит, что я чувствую. А уж кому и знать как не ему. Он пообразованнее меня.

— Ты его дурачишь: это нечестно.

— Он очень добр ко мне. Он велел давать мне все, что мне нужно. Не мне ему перечить. Да и правда, стоит ему только сказать: «У вас болит», как у меня начинается что-то твориться в животе. Только иной раз случается, что я еле сдерживаюсь, как бы не прыснуть со смеху, — это когда он прикладывает палец к своему длинному носу, чтобы сподручнее было думать.

Доктор Бод сделал в Медицинской академии доклад, который привлек всеобщее внимание и вызвал в печати ожесточенную полемику. Доктор был человек светский, он стал демонстрировать опыты в салонах. Ватория, выступавшая в белом платье, всем нравилась своей кротостью и миловидностью. Некий американский миллиардер предоставил в распоряжение Бода пятьсот тысяч франков для организации лечебницы, предназначенной специально для передачи болезней.

Так произошло одно из величайших открытий нашего времени.

РАБЛЕ

Госпоже РУСЕЛЬ

Милостивая государыня?

Так как Вы проявляете интерес к этим моим писаниям, я рад представить их на Ваш суд. Предлагаемая Вашему вниманию рукопись содержит в себе никогда не издававшийся краткий курс лекций о Рабле. Точность биографических сведений и обилие цитат — вот каковы его достоинства.

Примите уверения, милостивая государыня, в моем неизменном уважении и преданности.

Анатоль Франс

Париж, 10 декабря 1909 г.

Перевод *Н. М. Любимова*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Милостивые государыни и
милостивые государи!

Прежде всего позвольте выразить вам свою признательность и сказать, что я в восторге, что я горжусь тем приемом, какой был мне оказан в вашей прекрасной стране. Те знаки особого внимания, которыми вы осыпаете меня с момента моего приезда к вам, я принимаю единственно потому, что отношу их не к себе, ибо я — ничто, а к тому, кого я собой представляю. В моем лице вы чувствуете дух Франции, родственный вашему духу, чувствуете язык, литературу и традиции, которые в старой Европе, той Европе, что и вам и мне — мать, давным-давно сблизилась, сроднились, срослись с вашим языком, с вашей литературой, с вашими традициями; вы чувствуете латинский гений, духовный союз детей Мольера с наследниками Сервантеса. Мои латинские друзья и братья, вы, чьи предки совершили в Европе столько великих и прекрасных подвигов, вы, которые в этом Новом свете, столь обширном и столь плодородном, ныне закладываете основы цивилизации будущего, — примите привет от гостя, взволнованного и восхищенного величием вашей юности! Великодушие славных предков, старая

Кастильская гордость в сочетании с благородством и прелестью ваших нынешних нравов — таков ваш вклад в духовную жизнь человеколюбивого нового времени. Я приветствую в вашем лице не только великое прошлое, но и великое будущее.

А вам, дорогие соотечественники, прибывшие в эту дружественную страну, чтобы под ее бело-голубым флагом применить свои силы, знания и способности, и нашедшие самый радушный прием, — вам, французам, собравшиеся здесь послушать своего земляка, я любовью плачу за любовь.

Милостивые государыни и
милостивые государи!

Лишь после долгих размышлений, все тщательно взвесив, выбрал я предмет для нашей беседы, и если я в конце концов остановился на Рабле, то у меня есть для этого свои основания. Я решил, если только вы ничего не имеете против, изучать вместе с вами творца Пантагрюэля, во-первых, потому, что я его немного знаю; во-вторых, потому, что это очень большой писатель и среди других великих писателей один из наименее известных и наиболее трудных для понимания; в-третьих, потому, что история его жизни и творчества за последние годы полностью восстановлена учеными, и я могу познакомить вас с новейшими любопытными открытиями в этой старой области; наконец, главным образом потому, что творчество этого великого человека прекрасно: оно учит нас мудрости, терпимости, благодетельной веселости, тешит и питает наш ум, помогает нам овладеть драгоценным искусством смеяться над врагами, не испытывая ни ненависти, ни злости. Все это, на мой взгляд, достаточно веские соображения. Кроме того, меня, быть может, невольно соблазнила самая трудность задачи. Познакомить вас с Рабле, с великим Рабле, с подлинным Рабле, никого при этом не задев, не покоробив, не возмутив, ни разу не оскорбив самый целомудренный слух, — предприятие рискованное. Однако я уверен, что вполне достиг своей цели. Я ручаюсь, что не про-

изнесу ни единого слова, которое могло бы оскорбить самую нежную стыдливость. Но и это еще не все. Жизнь Рабле тесно связана с великой эпохой Возрождения и Реформации — той эпохой, когда возникла современная человеческая мысль. Это обстоятельство также повлияло на мой выбор. Я надеюсь, что широта темы придаст силу моим словам. Я буду говорить совершенно свободно, как и надлежит говорить с вами. Именно потому, что я глубоко уважаю вас, я не утаю от вас всего, что, с моей точки зрения, соответствует истине. Но ведь вы же сами — поборники истины! Я знаю, я чувствую, что ступил на свободную землю, где мысль свободна от оков. Не говорить с вами откровенно и прямо — значит обидеть вас. Вы меня позвали. И вот я весь перед вами — с открытой душой и чистым сердцем. Но, само собой разумеется, я нарушил бы священные законы гостеприимства, если бы выказал малейшее неуважение к вашей совести, убеждениям, вере, к вашему внутреннему миру.

Я тоже что-то исповедую, во что-то верю. И если бы, паче чаяния, моя вера и мои убеждения подверглись в этой гостеприимной стране ожесточенным нападкам, я бы на это ответил спокойным молчанием, ибо я держусь того мнения, что человеку на то и дан разум, чтобы не выходить из равновесия, и что человек, духовно независимый, не должен на такие выпады обращать внимание. Но к чему искать облаков на ясном небе? По вашему приглашению я вместе с вами нахожусь в тихом краю, в краю литературы, где царят согласие, мир, дружба, благоволение.

Милостивые государыни и
милостивые государи!

Чтобы вы отчетливо представили себе жизнь и творчество великого писателя, лучше, мне думается, расположить факты в хронологическом порядке. Поэтому я буду рассказывать вам все, что известно о Рабле, начиная со дня его рождения и кончая его смертью; книги же его мы будем изучать по мере их выхода в свет.

Я сознаю, что для такой аудитории я не подхожу. Впрочем, во всем надо соблюдать меру, даже в скромности.

В одном из благословенных уголков Франции, возле леса, у подножья крутой горы, увенчанной старинным замком Плантагенетов и Валуа, на правом берегу Вьенны, стоит первый город в мире, как отозвался о нем его достославный питомец, во всяком случае — знаменитый город. Надпись на его гербе удостоверяет это:

Шинон, Шинон, Шинон, Шинон!
Хоть мал, но всюду славен он.
Его старинной кладки стены
Глядят с холма на воды Вьенны¹.

Город весьма древний, названный Григорием Турским — Каино, на основании чего шинонец, с которым нам предстоит познакомиться, приписывал его постройку первому строителю городов — Каину, Шинон в конце XV — начале XVI столетия весело подставлял ласковому солнцу Турени свои кривые улицы и возносил к нему колокольни и башни. В ту пору Антуан Рабле, съёр де Ладевильер, лицензиат прав, занимался адвокатурой, а в 1527 году его, как старейшего местного адвоката, облекли на время отсутствия наместника и его помощника по судебной части высшей юридической властью, простиравшейся на весь Шинонский округ. Отец его умер молодым; мать, Андреа Павен, сочетавшись вторым браком с неким съёром Фрапеном, родила ему шесть человек детей, причем один из ее отпрысков, впоследствии — анжерский каноник и сеньор де Сен-Жорж, написал на пуатевинском наречии несколько прелестных и забавных ноэлей*.

От матери, скончавшейся в 1505 году, к Антуану Рабле перешли по наследству поместье, замок и дворянский титул де Шавиньи, а также все феодальные права: судебные, административные, имущественно-цензовые, права на взимание податей и установление

¹ Перевод Ю. Корнеева.

повинностей, на сенные покосы, рыбные ловли и пастбища, принадлежавшие покойной.

В городе у него был обширный дом, позднее получивший название «Дома пирожника Иннокентия»; в конце XVI века его превратили в кабачок, на вывеске которого красовалась минога. При доме имелся погреб. Чтобы проникнуть туда, надо было в противоположность тому, что делают обычно, когда идут в погреб, подняться на столько ступенек вверх, сколько дней в году, так как погреб находился значительно выше жилого помещения — на уровне замка, господствовавшего над городом. Затем, взобравшись на верхнюю ступеньку, вы, прежде чем войти, должны были еще спуститься по сводчатому переходу, расписанному фресками. Вот почему этот погреб именовался «Разрисованным погребком».

Антуану Рабле принадлежала также в Сейийском приходе, в доброй миле от Шинона, напротив Рош-Клермо, мыза Девиньера, от которой происходит один из его титулов. Земельный участок при усадьбе был засажен так называемым «сосняком». «Сосняк» — это черный мелкий виноград, гроздь которого напоминают сосновые шишки. Сказать, что девиньерский виноград был восхитителен, — значит, еще ничего не сказать. Послушайте лучше речь, которую, растянувшись на густой траве, произнес в Соле некий пьяница, местный уроженец, в то самое время, когда появлялся на свет Гаргантюа: «О лакрима кристи! Это из Девиньеры! Славное белое винцо! Бархат, да и только, честное слово! Ах, что за вино! Корноухое, чисто сработанное, из лучшей шерсти!» «Сработанное из лучшей шерсти!» — наш пьянчуга пользуется выражением одного из персонажей фарса о Патлене * — торговца сукном, расхваливающего свой товар. В слове же «корноухое» содержится намек на обычай шинонцев разливать хорошее вино по кувшинам «с одним ухом», иначе говоря — с одной ручкой. Знатоки утверждают, что, при всей своей доброкачественности, местное вино было вино простое, мужицкое и что рядить его в столь пышные одежды нет никаких оснований. Но мы не станем их слушать. Лучше поверим на слово солейскому

пьянчуге. Раблезианцам не пристало сомневаться в качестве девиньерского вина.

Супруга Антуана Рабле, из семьи Дюзуль, подарив ему уже троих детей, Антуана, Жаме и Франсуазу, примерно в 1495 году произвела на свет последнего своего ребенка, Франсуа, и вот ему-то и суждено было сравняться в познаниях с ученышими людьми своего века и рассказать самые забавные и самые поучительные истории, какие когда-либо рассказывались на свете. Полагают, что Франсуа родился не в Шиноне, а в Девиньере, о которой у него навсегда сохранились столь приятные воспоминания, что мы и сейчас еще из боязни прогневать дух кого-нибудь из его веселых предков не осмеливаемся умалять достоинства местных виноградников.

В возрасте от трех до пяти лет он проводил время, как все дети в том краю: «...а именно: пил, ел и спал; ел, спал и пил; спал, пил и ел. Вечно валялся в грязи, пачкал нос, мазал лицо, стаптывал башмаки, ловил мух и с увлечением гонялся за мотыльками... Шлепал по всем лужам... Отцовы щенки лакали из его миски». Это я вам рассказываю о детстве Гаргантюа. Смею вас уверить, что такое же детство было и у Франсуа Рабле.

Лет десяти Франсуа был отправлен в расположенное неподалеку от Девиньеры местечко Сейи: там находилось аббатство, настоятелем которого полвека назад был некий Гильом Рабле и которое поддерживало отношения с семьей малолетнего Франсуа. Отправили ли его туда родители для того, чтобы он стал монахом, и желали ли они, чтобы их младший сын посвятил свою жизнь богу, — этого мы не знаем. Может быть даже, его мать умерла от родов, подобно Бадбек, которая, произведя на свет Пантагрюэля, тут же преставилась. Тем не менее мы не можем удержаться, чтобы не привести здесь той речи, что, уже в старости, произнес сейийский монашек о матерях, спешащих упрятать своих малышек в монастырь. «Я поражаюсь, — говорит он, — как это они еще носят их девять месяцев во чреве: ведь в своем доме они неспособны выносить их и терпеть дольше девяти, а чаще всего и семи лет, — они накидывают им поверх дет-

ского платья какую ни на есть рубашонку, срезают сколько-то там волосков с их макушек и, произнеся соответствующие молитвы, превращают их в птиц». Под птицами он понимает монахов. И далее он объясняет, почему родители чаще всего отдают детей в монастырь. Дело в том, что человек, принявший постриг, умирает для остального мира и теряет права наследия. «И вот, — продолжает Рабле, — когда в каком-нибудь знатном доме народится слишком много детей, все равно — мужского или женского пола, — так что если бы каждый из них получил свою долю наследства, как того хочет разум, требует природа и велит господь бог, то дом был бы разорен, — родители сбывают их с рук, и из них выходят клирцы». Слово «клирец» Рабле выдумал, но смысл его ясен.

В Сейи Франсуа Рабле познакомился, как говорят, с молодым послушником Бюинаром, который поразил его своей честностью и прямодушием, твердостью характера и мощными кулаками и которого он впоследствии, — разумеется, многое прибавив от себя, — вывел в своей книге под именем брата Жана Зубодробителя. Если верно, что брат Бюинар ненавидел живопись, то это можно объяснить его исключительной неразвитостью или тем, что он судил о ней понаслышке, основываясь на мнении противников.

По выходе из Сейи Франсуа был принят послушником в Бометскую обитель, построенную королем Ренэ *. Там он познакомился с юным отпрыском старинного туреньского рода Жофруа д'Этисаком, который в двадцать три года стал уже епископом Майзейским, и двумя братьями дю Белле, один из которых впоследствии сделался епископом, а другой — полководцем. На всех троих он произвел прекрасное впечатление и сумел расположить их в свою пользу.

Свое послушание Рабле окончил в Фонтене-ле-Конт, у францисканцев; в 1520 году он постригся. Среди прочих монахов, которые, как рассказывают, выполняли обет невежества * усерднее, чем все иные обеты, он один с жаром отдавался наукам, и если справедливо предположение, что, создавая много лет спустя образ любознательного человека, он имел в виду самого себя,

то, следовательно, у нас не может быть сомнения, что в молодости он вел добродетельный, отнюдь не рассеянный, безупречный образ жизни. И мы, в самом деле, с радостью узнаём юного брата Франсуа на картине, написанной яркими и сочными красками, — картине, украшающей собою одну из глав третьей книги «Пантагрюэля»: «...взгляните на человека, прилежно что-либо изучающего: вы увидите, что все артерии его мозга натянуты как тетива... все естественные отправления у такого любознательного человека приостанавливаются, все внешние ощущения притупляются, — словом, у вас создается впечатление, что жизнь в нем замерла, что он находится в состоянии экстаза... Оттого-то хранит свою девственность Паллада, богиня мудрости и покровительница ученых. Оттого девственны Музы, оттого же вечно невинны Хариты. И, помнится мне, я читал, что мать Купидона, Венера, допытывалась у него, отчего он не трогает Муз, и он ей ответил, что они до того прекрасны, до того чисты, до того честны, до того целомудренны и так всегда заняты: одна — над небесными светилами наблюдениями, другая — всевозможными вычислениями, третья — геометрических тел измерениями, четвертая — риторическими украшениями, пятая — поэтическими своими творениями, шестая — музыкальными упражнениями, что, когда он к ним приближается, то, стыдясь и боясь их обидеть, он опускает свой лук, закрывает колчан и гасит факел, а потом снимает с глаз повязку, чтобы получше рассмотреть их лица, и слушает их приятное пение и стихи. И получает он от этого величайшее наслаждение и так бывает порой очарован их красотой и прелестью, что засыпает под музыку, а не то чтобы на них нападать или же отвлекать от занятий» (III, XXXI).

В Фонтене-ле-Конт Рабле охватила та неутолимая жажда знаний, какую томились тогда все самые пытливые умы и благороднейшие сердца. Мощный ветер, пронесившийся в ту пору над миром, теплые веяния весны человеческого разума коснулись и его чела.

Античный гений воскресил человечество. Первой восстала от сна Италия и устремилась к знанию и кра-

соте. В отечестве Данте и Петрарки античная мудрость не могла погибнуть окончательно. Необычайное происшествие, о котором рассказывает папский летописец Стефано Инфессура, есть как бы символ этого пробуждения.

Это было 18 апреля 1485 года. В столице Италии прошел слух, что ломбардские рабочие, производя раскопки вдоль Аппиевой дороги, нашли римский саркофаг, на котором по белому мрамору было выгравировано: «Юлия дочь Клавдия». Когда подняли крышку, то увидели девушку лет пятнадцати — шестнадцати, сохранившую благодаря каким-то неведомым мазям или волшебным чарам всю ослепительную свежесть своей красоты. Длинные светлые волосы рассыпались по ее белоснежным плечам, и сквозь сон она улыбалась. Римские воины в порыве восторга отнесли мраморное ложе Юлии в Капитолий, и сейчас же туда длинной вереницей потянулся весь город, чтобы взглянуть на несказанную красоту этой девушки *. Люди созерцали ее молча и долго, ибо, по словам летописцев, она была несравненно прекрасней всех живших в то время женщин. Наконец папа Иннокентий заметил то неопишемое волнение, какое вызывало в народе это зрелище; боясь, как бы радующее взор тело девушки не пробудило нечестивый языческий культ, он велел ночью похитить его и тайно похоронить. Но римский народ навсегда сохранил воспоминание об античной красоте, прошедшей перед его глазами.

Вот что такое итальянское и всеевропейское Возрождение. Это — вновь обретенный дух античности, это — воскрешенная античная словесность и науки. И как животворны, как жизнеспособны греческие и римские шедевры! Они восстают из тлена, и человеческая мысль мгновенно разрывает их саваны. Из этих раскиданных по всему свету обломков, пролежавших под спудом более тысячи лет, вдруг выбивается вечный источник обновления. Умы, вскормленные схоластикой, приспособленные для усвоения узкого круга школьных истин, в общении с древними обретают освобождающее начало. Над этим стоит призадуматься! В греческих и латинских фрагментах, извлеченных из

монастырского мрака, оживали две великие цивилизации, управляемые мудрыми законами, защищаемые гражданскими доблестями, перевозимые ораторским красноречием, украшаемые искусствами и поэзией. Постараемся глубже понять, постараемся понять до конца воскресение человечества, погибавшего от варварства, невежества и страха. Греческий гений сам по себе обладал способностью избавлять и спасать, но довершили раскрепощение человеческих душ те усилия, которые затрачивались для того, чтобы воспринять его. Идеи Платона и Цицерона были, без сомнения, благотворны; работа и дисциплина ума, старавшегося воспринять их, были еще благотворнее. Люди осмелились наконец мыслить! Полагая, что учатся мыслить у древних, они начинали мыслить по-своему. Вот что такое Возрождение.

Книгопечатня, изобретенная, как выражается Рабле, «по внушению ангелов», в середине XV века *, во многом способствовала этому возрождению наук, которое, в силу своей исключительности, было названо просто «Возрождением». Скромная подражательница каллиграфии, влачившая на первых порах тайное, подпольное существование и всецело занятая перепечаткой библий, книгопечатня постепенно растет, ширится и распространяет по всему миру духовную и светскую литературу. Печатный станок размножает тексты; выражаясь языком Пантагрюэля, это огромная давяльня, откуда для всех брызжет вино знания.

В Париже первый печатный станок появился при Людовике XI, найдя приют в одном из сорбонских подвалов, — вскоре там уже насчитывалось около тридцати таких станков. В ученном городе Лионе в начале XVI столетия их было уже пятьдесят. В Германии количество печатных станков к этому времени перешло за тысячу. Для Франкфурта книжный базар представлял неиссякаемый источник обогащения. Сокровища античного мира, еще недавно хранившиеся в сундуках у немногочисленных гуманистов, становятся общим достоянием. В 1470 году напечатан Вергилий, в 1488 — Гомер, в 1498 — Аристотель, в 1512 — Платон. Между литературами разных стран происходит обмен идеями

и открытиями. Из глубины одной из базельских книжных лавок маленький, хилый и слабый старик твердой рукой ведет человечество вое дальше и дальше по пути к знанию и сознанию: имя ему — Эразм Роттердамский *.

В то время как во всей своей классической красоте и славе воскресает прошлое, экспедиции Васко де Гама, Колумба и Магеллана выявляют подлинный лик земли, а система Коперника, разорвав узкие круги астрологического неба, внезапно открывает бесконечность вселенной.

Во Франции возрождаются науки. По всей стране учреждаются школы, и епископы охраняют их от ленивых и невежественных монахов. Сухая и бесплодная схоластика умирает: в области духа ее смерть — это смерть самой смерти. Схоластика мертва: все оживает, все расцветает, все радуется.

Брату Рабле, находившемуся в Фонтенейской обители, передалось это страстное желание все узнать и постичь, которое воспламеняло тогда лучшие умы человечества. Среди окружавших его монахов, ничему не учившихся из боязни заразиться свинкой, были все же трое или четверо пристрастившихся, как и он, к изучению древних языков. Один из них известен нам не под своим настоящим именем: до нас дошло его греческое прозвище «Финетос». Другой — это тот самый Пьер Лами, который к тому времени, когда более юный брат Франсуа только еще начинал заниматься греческим языком, сделал в этой области большие успехи и своею начитанностью заслужил уважение наиболее известных гуманистов.

В те времена люди науки, живя в разных странах, знали друг друга, старались поближе познакомиться, между ними создавались как бы некие тайные братства. Они ездили друг к другу и вели ученые беседы, отличавшиеся такой свободой, какой и не снилась нынешним академикам. Если же нельзя было видаться, обменивались письмами. В наши дни этой переписке тогдашних ученых соответствует сотрудничество в специальных журналах и академические заседания. Количество писем, которыми обменивались по интересо-

вавшим их вопросам ученые гуманисты, огромно. «Я завален письмами из Италии, Франции, Англии и Германии», — сообщает Анри Эстьен *. Эразм признается, что он получал ежедневно двадцать писем, а сам отправлял сорок.

Фонтенейские монахи-эллинисты посещали местных светочей ума: королевского адвоката Жана Бриссона и его родственников, уговаривавших брата Франсуа, в надежде, что это развяжет ему язык, зашвырнуть свой клобук в крапиву; первого заместителя наместника — Артюса Кайе; Андре Тирако, фонтенейского судью и зятя Кайе, и председателя сентского суда — Эмери Бушара. Все это были гуманисты и большие поклонники античности, находившие в «Пандектах» * неисчислимыя достоинства, подобно Пантагрюэлю, знавшие наизусть лучшие места из римского права и дававшие им философское истолкование. По всей вероятности, они рассчитывали, и не без основания, найти в старинных текстах твердые правила и справедливые законы. В обществе этих людей Рабле сделался неплохим законоведом и горячим поклонником Папиниана *.

Пьер Лами состоял в переписке с Гильомом Бюде * — знаменитым комментатором «Пандект», знавшим греческий язык и латынь, как никто во Франции, и совмещавшим ученые занятия с высокими обязанностями королевского секретаря. Этот великий человек писал фонтенейскому инок на греческом и латинском языках письма, свидетельствующие о его блестящей эрудиции, и в каждом письме неукоснительно посылал привет юному Рабле: «Кланяйтесь от меня Вашему брату во Христе и в науке... До свидания, передайте от меня тысячу приветов милому и ученому Рабле — устно, если он с Вами, или письменно, если он в отсуствии».

Милый и ученый Рабле тоже добивался чести получить письмо от великого человека. Пьер Лами обещал ему в этом помочь, но в течение довольно долгого времени старания его оставались безуспешными. Отчаявшись получить письмо, брат Франсуа послал Гильому Бюде шуточный донос на своего товарища:

он изобличал Лами в том, что тот, мол, кичится своим мнимым влиянием. Бюде ответил ему столь же насыщенной римским правом и оттого достаточно тяжеловесной шуткой. Эти столпы учености играли с «Дигестами», как Гаргантюа с большим колоколом Собора Парижской богородицы.

Судья Тирако в 1512 году, двадцати четырех лет от роду, женился на одиннадцатилетней Мари Кайе, и теперь он изыскивал наилучшие методы воспитания, образования и развития своей юной супруги. С этой целью он обратился к древним писателям и, перечитав великое множество текстов, спешно написал трактат «De legibus connubialibus»;¹ предполагают, что над этим трактатом, вышедшим в 1513 году, он заставил трудиться молодых ученых из Фонтенейского монастыря. Вот к чему в основном сводится учение Тирако о правах и обязанностях супругов.

Женщина, по сравнению с мужчиной, существо низшее; ее дело — повиноваться, его — повелевать. Так устроила природа.

Физическая сила и ум — вот преимущества мужчины.

Надо выбирать такую жену, которая была бы не слишком красива, но и не слишком уродлива, и принадлежала к тому же кругу, что и жених, хотя найти себе девушку знатного рода не возбраняется. Вдов и перезрелых девиц следует остерегаться. Мужчины должны вступать в брак тридцати шести лет, девушки — восемнадцати. (Сам Тирако, как мы видели, женился двадцати четырех лет на одиннадцатилетней.) Весьма рекомендуется навести справки о том, из какой семьи невеста, откуда она родом и каков у нее нрав.

Помолвка. Женщине разрешается наряжаться только для мужа или для жениха. Каждый из вступающих обязан открыть будущему спутнику жизни свои недостатки; впрочем, это не означает, что девушка должна раздеться в присутствии жениха.

¹ «О брачных законах» (лат.).

Муж не должен позволять жене смотреть на себя как на ровню. В его интересах, однако, не бить ее и не наносить ей каких бы то ни было обид, ибо в ее распоряжении всегда имеются два способа мести. Один из них достаточно известен; другой — это яд.

Полновластной хозяйкой женщина может быть только в саду; ее рабочий инструмент — прялка. Муж волен воспользоваться советом жены, но горе ему, если он поверит ей свои тайны.

Кто хочет, чтобы жена его любила, тот должен платить ей тем же и никогда не изменять ей. Да остерегутся супруги прибегать к заклинаниям, приворотным зельям и прочим видам колдовства, с помощью которых обычно надеются приворожить любимое существо. Пусть лучше они посредством взаимной привязанности и другими честными путями добиваются прочности семейного счастья.

Разумеется, наш ученый судья расценивает женщин иначе, чем их расценивали во всех современных ему галльских сказках и фарсах. Тон у него иной, чем у автора «Пятнадцати радостей брачной жизни» *. Он хочет быть справедливым. И в этом его ошибка. Проявлять по отношению к женщине высшую справедливость — значит наносить ей высшее оскорбление. Какие бы похвалы ни расточал ему Рабле, Тирако все же не хватало душевной мягкости и благожелательности. Он утверждал, что хороших женщин так мало, что для них не стоит создавать особые законы. Он заставлял их расплачиваться за грехи дурных. Наконец, не будучи женоненавистником, он не был и другом женщин, ибо не чувствовал женской прелести. Книга его звала толки. Председатель сентского суда Эмери Бушар, близкий друг францисканцев-эллинистов из Фонтенейского монастыря и друг самого Тирако, задался целью опровергнуть основные положения его трактата «De legibus connubialibus» в особой книге, написанной на латыни, но из желания шегольнуть своей ученостью, озаглавленной им по-гречески — Τῆς γυναικείας φύσεως («О природе женщин») и представляющей собой апологию прекрасного пола, с которым так сурово обошелся фонтенейский судья.

Рабле был другом Эмери Бушара; по-видимому, он был еще ближе с Андре Тирако. И хотя этот спор законоведов не имел отношения к богословию, Тирако обратился за разъяснениями к юному францисканцу.

Во всем этом деле для Тирако был один неясный пункт. Эмери Бушар указывал в своей книге, что женщины избрали его своим адвокатом, прося защитить их от автора «*De legibus connubialibus*». Фонтенейскому судье было невдомек, как это женщины додумались взять себе адвоката в процессе из-за книги, которую они не читали, потому что она написана на латыни. «Как они узнали, что книга написана против них?» — допытывался озадаченный судья. Брат Франсуа разгадал ему эту мудреную загадку, и Тирако был удовлетворен.

«С Эмери, этого женолюбца (в подлиннике — *mulieragius*), — высказал предположение юный монах, — вполне могло случиться, что, сидя где-нибудь за столом или у камелька, он перевел им по-своему те места, где о прекрасном поле говорится без особого уважения. Он хотел вас очернить, дабы самому возвыситься в их глазах».

Как видим, юный брат Франсуа уже тогда знал и наблюдал людей. Но, будучи слишком большим эрудитом для того, чтобы пренебрегать советами древних, он тут же сослался на авторитет Лукиана*, который в своем *Ῥητορων διδάσκαλος* предупреждает оратора, что тот непременно должен нравиться женщинам, если желает преуспевать в жизни.

Итак, Франсуа Рабле в самом юном возрасте принял участие в ученом споре о выгодах и неудобствах брачной жизни, в которых позднее придется разбираться его двойнику — Панургу.

В 1520 году Пьер Лами отправился в Сент к председателю суда Эмери Бушару, защитнику женщин. Оттуда он написал по-латыни письмо противнику женщин, судье Тирако; это дошедшее до нас письмо показывает, что спор не отразился на дружбе оппонентов. В нем Лами отзывался о Рабле как о юноше весьма образованном, хотя только еще начинающем писать на греческом языке.

«Меня раздирают противоречивые чувства, — признается Пьер Лами, — с одной стороны, если ради Эмери я вынужден буду здесь задержаться, то меня загрызет тоска по Вас и по нашему дорогому Рабле, самому просвещенному из братьев-францисканцев; с другой стороны, вернуться к Вам, что я, к великой своей радости, сделать не замедлю, это значит лишиться удовольствия быть с Эмери. Однако я нахожу огромное утешение в том, что, наслаждаясь обществом одного из Вас, я наслаждаюсь обществом и другого, — так похоже Вы друг на друга характером и ученостью, — и что присутствии Рабле, столь ревностного в исполнении обязанностей дружбы, мы тоже будем постоянно ощущать благодаря его письмам, как латинским, которые он пишет свободно, так и греческим, которые он начал писать совсем недавно... Не стану долго распространяться на эту тему, так как скоро мы возобновим на досуге наши сборища в лавровой роще и наши прогулки в садике».

Нас не должно удивлять, что Рабле, в 1520 году только еще упражнявшийся в писании на греческом языке писем друзьям, четыре года спустя уже смог сочинить в подражание Мелеагру * греческие стихи. Он почтил «*De legibus connubialibus*» эпиграммой *, которую Тирако, по обычаю того времени, воспроизвел в издании 1524 года на титульном листе своей книги. Вот ее буквальный перевод:

«Увидев эту книгу в Элизиуме, мужчины и женщины хором воскликнут: «Если бы те законы, при помощи которых наш знаменитый Андре научил галлов хранить супружескую верность и уважать святость семейного очага, установил Платон, — был ли бы тогда на земле кто-нибудь выше Платона?»

Между тем труд, который так расхвалил Рабле, — это всего лишь неудобочитаемая компиляция, ворох текстов, нагроможденных как попало, без всякого отбора. Тирако выше Платона!.. Неумеренность похвалы лишает ее всякого смысла. Повинен тут не столько сам Рабле, сколько дух времени, не соблюдавший меры ни в славословии, ни в порицании.

Из всего вышесказанного никак нельзя заключить, что устав Фонтенейской обители был очень суров и что он не допускал общения с внешним миром. Но капитул и большинство монахов все же косо посматривали на кучку эллинистов. Они боялись, как бы знание не погубило души, в особенности — знание греческого языка. Не они одни испытывали эту боязнь — ею были охвачены все монастыри. В каждом изучающем греческий язык видели будущего еретика. Если судить по тому отвращению, какое внушал Рабле некий брат Артус Культан — предмет его вечной ненависти, то надо думать, что среди фонтенейской братии именно он особенно враждебно настроен был к эллинистам. Наушник и доносчик, он делал любознательным монахам всякие пакости. На это и намекает Рабле, когда, в шуточной форме выражая свой гнев, именует его *frère articulant*, что значит — «с любопытством подглядывающий», и *frère diaboliculant*, что значит — «клеветущий».

В конце концов капитул распорядился произвести обыск в кельях Пьера Лами и Франсуа Рабле. У них нашли греческие книги, немецкие и итальянские рукописи и произведения Эразма. Все это было отобрано. Кроме того, обоим ученым предъявили тяжкое обвинение. Им ставилось в вину, что вместо того чтобы отдавать в монастырскую казну те деньги, которые они получали за проповедование слова божия, они тратили их на приобретение огромной библиотеки. О справедливости этого обвинения нам судить трудно, но всю его серьезность мы сознаем отчетливо.

Ввергнутые в узилище, лишенные книг и бумаги, Пьер Лами и Франсуа Рабле терпели великие бедствия и ожидали еще горших. Да и чего еще могли они ждать от презренных монахов, невежественных, напуганных и именно поэтому особенно легковверных и озлобленных? Осторожный и дальновидный брат Франсуа опасался мести «нечистой силы» — так называл он брата Артуса и всех прочих *frères diaboliculants*. Пьер Лами чувствовал себя столь же неудобно. Этот весьма сведущий человек припомнил, что древние римляне имели обыкновение гадать на книге, читая в ней

отроки, которые они не глядя отмечали ногтем, а так как для этого пользовались преимущественно стихами Вергилия, то и самый способ угадывания будущего именовался «гаданием по Вергилию». Лами взял том Вергилия, просунул палец между страницами, потом открыл книгу и прочел отмеченную строку:

Neu! fuge crudeles terras, fuge littum avarum!

О, беги из жестоких краев, покинь скупой берег!

Пьер Лами и Франсуа Рабле не пренебрегли советом оракула. Обманув тюремщиков, они пустились в бегство и, вырвавшись из свирепых когтей «нечистой силы», нашли в окрестностях Фонтене надежное убежище, ибо здесь у них были друзья. Однако положение беглого монаха было не менее опасным и шатким. Скрывшись у кого-то из друзей, измученные постоянной тревогой за свою судьбу, они прибегли к заступничеству всемогущих людей и нашли покровителей даже среди придворных.

Знаменитый Гильом Бюде, которому они написали оба, ответил им с искренним и красноречивым возмущением эллиниста, видящего, что других эллинистов постигла кара за благородную страсть к наукам, — страсть, которой он сам предавался с таким наслаждением. Его негодующе торжественное письмо написано тем характерным для переписки тогдашних ученых высокопарным слогом, недурные образцы которого вскоре даст нам Рабле, — ведь он тоже цитировал по мере надобности. Вот достаточно пространственный отрывок из письма Гильома Бюде в переводе с латинского:

«Бессмертный боже, покровитель Вашей священной конгрегации, равно как и моей дружбы с Вами! Что за весть дошла до меня! Оказывается, Вас и Вашего Пилада — Рабле за усердие в изучении греческого языка всячески донимают и притесняют в Вашей обители заклятые враги печатного слова и всего изящного. О, пагубные бредни! О, чудовищное заблуждение! Итак, тупые и грубые монахи в духовной слепоте своей осмеливаются преследовать клеветой тех, чьи познания, приобретенные в столь краткий срок, должны

бы составлять гордость всей братии!.. Нам тоже пришлось столкнуться с проявлениями их бессмысленной злобы; мы сами подвергались их нападениям, ибо они видели в нас вождя тех, кого, по их выражению, «охватило бешенство эллинизма» и кто поддерживает недавно восстановленный, к вечной славе нашего времени, культ греческой словесности — культ, который они поклялись уничтожить...

Все друзья науки были готовы по мере сил и возможностей помочь Вам в беде — Вам и тем немногим монахам, которые вместе с Вами стремятся познать всеобъемлющую науку... Однако мне сообщили, что всем этим невзгодам пришел конец с тех пор, как Ваши преследователи поняли, что навлекают на себя гнев влиятельных лиц и самого короля. Итак, Вы с честью выдержали испытание и теперь, надеюсь, с еще большим рвением приметесь за дело».

Рабле получил от великого гуманиста письмо приблизительно такого же содержания. Бюде особенно радовалось то, что молодой ученый получил обратно книги и что насилие теперь уже невластно над ним:

«Один из наиболее просвещенных и гуманных Ваших братьев сообщил мне новость, которую я заставил его подтвердить под клятвой, а именно, что Вам вернули незаконно отобранные у Вас книги, усладу Ваших дней, и что Вы вновь обрели свободу и покой».

Гильом Бюде не ошибался. Оба францисканца находились вне опасности. Положение Рабле значительно улучшилось: брат Франсуа получил от папы Климента VII разрешение перейти в бенедиктинский орден и поступить иеромонахом в Майзейское аббатство с правом пользования его доходами. Эти льготы все же не удовлетворили Рабле, из которого, между прочим, если бы не «нечистая сила», возможно, вышел бы примерный монах: дело в том, что он терпеть не мог колокольного звона и не любил прерывать свои занятия ради хождения к утрени. И он повел бродячий образ жизни, служа в церкви от случая к случаю.

Епископ Майзейский смотрел сквозь пальцы на те вольности, какие позволял себе Рабле; он знал брата

Франсуа еще по Бометской обители и считал его человеком выдающимся.

Жофруа д'Этисак — юный прелат, который в 1518 году, когда ему еще не исполнилось двадцати пяти лет, в виде особого исключения был посвящен в епископы, — вел в Майезе красивую и привольную жизнь феодала. Майезе стоит среди вандейских болот, на высоком берегу одного из тех двух рукавов, что образует Олиза, приток Ньортской Севры. Там возвышалось старинное аббатство, возведенное в ранг епископства папой Иоанном XXII. Жофруа д'Этисак, любивший, как все феодальные сеньоры эпохи Возрождения, окружать себя роскошью, украсил заново отстроенную монастырскую церковь порталом, являвшим собою чудо новой архитектуры, а кельи превратил в дворец итальянского стиля, с широкими изящными лестницами и с прелестным внутренним двориком, где сверкал на солнце фонтан. Вокруг своих дивных палат Жофруа д'Этисак разбил сады, полные цветов и редкостных растений. Обосновавшись в Лигюже, — быть может, в той самой круглой башне, где и сейчас еще показывают его комнату, — Рабле завязал знакомства с местными учеными. Особенно подружился он со своим земляком, пуатьерским прокурором Жаном Буше, автором «Аквитанских летописей» и множества других прозаических и стихотворных произведений. Говорят, что Лигюже славился хорошими фруктами и хорошими винами, а главное — хорошими книгами и учеными беседами. Рабле хвалил местное вино. Быть может, он делал это из любезности. Я лично подозреваю, что Франсуа ничего не понимал в винах. Слово «бутылка» не сходит у него с языка, но не бутылка, а книга была спутницей его дней, и упивался он лишь мудростью и благами мыслями.

Жофруа д'Этисак любил гуманистов и не питал ненависти к деятелям Реформации. В то время во Франции многие епископы и кардиналы покровительствовали ученым и поощряли распространение светской и духовной литературы. Двор до 1524 года тоже благожелательно относился к нововведениям. У Реформации, зародившейся во Франции еще до Лютера, не было

лучших друзей, чем кроткая и набожная сестра короля Маргарита Ангулемская *, герцогиня Алансонская, впоследствии — королева Наваррская. Сам король сочувствовал этому движению. Французские короли вечно враждовали с панами, и, конечно, Франциск I до конца продолжал бы оказывать покровительство деятелям Реформации, если б не необходимость обратиться за поддержкой к Ватикану в борьбе против Карла V * и сторонников Империи.

Сорбонна, монашество и простонародье, напротив, крепко держались за старинные обычаи и за старую веру. Дальше мы увидим, с каким пылом, с какой горячностью отстаивал их и защищал мелкий городской люд. Таким образом, нет ничего удивительного, что к брату Франсуа, бывшему на подозрении у фонтенейских монахов, прекрасно относился епископ Майзейский. Брат Франсуа был человек на редкость любознательный. Мы знаем от него самого, что в Лигюже, в своей маленькой комнатке, он работал в постели. И это отнюдь не изнеженность: просто его комната не отапливалась. В то время люди защищались от холода лишь при помощи пологов и каминных заслонок. Франсуа Рабле приобрел столь обширные познания, что им дивились образованнейшие из его современников. Он был философом, богословом, математиком, юристом, музыкантом, астрономом, художником, стихотворцем. В этом отношении он стоит наравне с Эразмом и Бюде. Но необыкновенным, во всяком случае исключительно редким для своего времени явлением делает Рабле то, что его ученость питалась не только книгами, но и непосредственными наблюдениями; это была ученость не буквоеда, а мыслителя; за словами он видел предметы, видел живую жизнь.

После всего сказанного нас не должно удивлять его намерение изучить медицину, способную глубже, чем какая-либо другая наука, проникнуть в тайну бытия, — по крайней мере такие она возбуждала надежды в ту эпоху великих надежд. В Монпелье медицинский факультет существовал с давних пор. Методы преподавания были туда завезены арабами и евреями. Факультет славился своими профессорами, своими привилегиями

и своими идеями. Рабле отправился в Монпелье; при этом он избрал не самый прямой и не самый короткий путь. Таков был его обычай. Он любил интересные путешествия и, как говорит Гомер об Одиссее, долгие блуждания. Так же как Жану де Лафонтену, который, видимо, подражал ему в этом, как и в искусстве рассказа, Рабле доставляло удовольствие делать крюк. По всей вероятности, в города и университеты он заходил по дороге, — так именно он посетил Париж, Пуатье, Тулузу, Бурж, Орлеан, Анже. Наконец, 17 сентября 1530 года, в регистрационной книге Монпельерского медицинского факультета он написал следующее: «Я, Франсуа Рабле, уроженец города Шинона Турской епархии, прибыл сюда с целью изучить медицину и наставником своим избрал знаменитого учителя Жана Широно, доктора и преподавателя этого университета. Обязуюсь соблюдать все правила вышеназванного медицинского факультета по примеру всех, кто добровольно зачисляется в студенты и приносит установленную присягу, в чем и подписуюсь. Лето от рождества Христова 1530-е, сентября 17 дня».

Что на медицинском факультете Франсуа Рабле учился блестяще — это не подлежит сомнению. Нам известно, что наиболее глубокие познания он приобрел в анатомии и ботанике. Его любознательность и прилежание были безграничны. Но в нем обнаружился также большой охотник до развлечений. В Монпелье он попал в веселую компанию и принял живейшее участие в забавах студенческой молодежи. Рабле сам рассказывал нам о том, с каким увлечением он и его коллеги — Антуан Сапорта, Ги Бугье, Бальтазар Нуайе, Толе, Жан Кентен, Франсуа Робине и Жан Пердрие — разыгрывали одну комедию или, вернее, фарс. Это был один из тех полных живости и остроумия фарсов типа «Адвоката Патлена», которые так любил французский народ в эпоху Людовика XII. Рабле называет его «Нравоучительной комедией о человеке, женившемся на немой», и достаточно подробно излагает его содержание. Жена нема от рождения. Любящий супруг хочет, чтобы она заговорила. Она и точно заговорила благодаря искусству лекаря и хирурга, которые подрезали ей

подязычную связку. Но, едва обретя дар речи, она принялась болтать без умолку, так что доведенный до отчаяния муж опять побежал к лекарю просить помочь этому горю и заставить ее замолчать.

«В моем распоряжении имеется немало средств, которые могут заставить женщину заговорить, — ответил лекарь, — и нет ни одного, которое заставило бы ее замолчать. Единственное средство от женской болтовни — это глухота мужа».

Несчастный муж соглашается прибегнуть к этому средству за неимением других. Врачи как-то там поворожили, и он оглох. Жена, обнаружив, что он ничего не слышит и что она бросает слова на ветер, приходит в ярость. Лекарь требует вознаграждения. Муж говорит, что он его не слышит. Тогда лекарь незаметно подсыпает мужу какого-то порошка, от которого муж сходит с ума. Сумасшедший муж и разъяренная жена дружно бросаются с кулаками на лекаря и хирурга и избивают их до полусмерти. На этом кончается комедия. Рабле уверяет, что он ни над чем так не смеялся, как над этой патленщиной. Нас это не должно удивлять. Рабле вообще любил фарс, а тут перед нами превосходный его образец. В нем чувствуется Теренций *, что в глазах гуманиста являлось, конечно, достоинством. Развязка взята у автора изумительного фарса о Патлене. Мольер, создавая своего «Лекаря поневоле», много заимствовал из пересказа Рабле *. Как видите, в этом любительском спектакле пересеклись блестящие эпохи в истории театра.

Среди тех удовольствий, какие позволял себе в студенческие годы Рабле, следует отметить прогулки на Золотые, или, как у нас принято называть их, Иерские острова, а еще иначе — Стехады, находящиеся в пяти милях от Тулона, омываемые синим морем и сплошь покрытые апельсинными и оливковыми деревьями, виноградниками, пробковыми дубами, соснами, пальмами и олеандрами. Рабле здесь так понравилось, что позднее он решил стать калогером этих островов (калогер — духовное звание у восточных христиан).

Получив звание бакалавра, он, по обычаю того времени, прочитал публичный курс лекций, на которых

занимался толкованием «Афоризмов» Гиппократа * и «Ars Parva»¹ Галена, а затем, не дожидаясь докторской степени, вышел из университета. Рабле не сиделось на одном месте.

Его привлекал Лион. Этот город в еще большей мере, чем Париж, был городом книгоиздателей. Ученые в твердой уверенности, что найдут здесь работу и родственную среду, стекались в Лион со всех концов. Рабле отправился туда в начале 1532 года. В ноябре того же года он поступил врачом в городскую больницу на сорок ливров в год.

В медицине в то время сталкивались два различных течения, и Рабле еще не сделал между ними решительного выбора: авторитет древних был тогда непогрешим (на Гиппократа молились); с другой стороны, природная склонность побуждала Рабле к практическим занятиям. В отличие от других ученых, он делал вскрытия, несмотря на то, что их осуждала церковь и не допускали тогдашние нравы. Юный Андре Везаль * пока еще не охотился за трупами на кладбищах и под виселицами. Рабле однажды публично вскрыл в лионской городской больнице труп повешенного. Этьен Доле *, уже составивший себе имя среди гуманистов, запечатлел это из ряда вон выходящее событие в написанной латинскими стихами похвальной речи, которую он по прихоти своей фантазии вложил в уста казненного. Он заставил его произнести следующую тираду:

«Сдавленный роковой петлей, я позорно висел на перекладине. И вдруг — о, нечаянное блаженство, коего я никогда не осмелился бы просить у великого Юпитера! Я привлек к себе внимание многолюдного собрания: меня вскрывает ученейший из докторов, желающий показать на примере моего организма ту несравненную гармонию, ту божественную красоту, какую создатель наделил венец своего творения — человеческое тело. Толпа глядит не отрываясь... Какая высокая честь, какая незаслуженная слава! А ведь я мог стать игрой ветров, добычей жадного и крикливого во-

¹ «Малое искусство» (лат.).

ронья! О, ярись же, завистливый рок! Я купаюсь в лучах славы».

Рабле подружился с Этьеном Доле, хотя тот был на четыре года моложе его. Как-то, во время своих научных занятий, он обратил внимание на маленькую рыбку и принял ее за *garum* — род анчоуса, служивший древним весьма изысканной закуской. Произведя различные опыты и восстановив старинный рецепт ее за-сола, Рабле, в восторге от своего открытия, написал на этот случай латинские стихи и вместе с банкой *garum*'а отослал Доле. Трогательно это стремление гуманистов распространить свою универсальную любознательность на древнюю гастрономию и кулинарию! У себя за письменным столом эти добросовестные ученые воссоздавали меню Лукулловых пиршеств, а сами пробавлялись в харчевне дешевой колбасой. Чаще же всего довольствовались селедкой.

В Лионе Франсуа Рабле делил свое время между больницей и книжной лавкой Себастьяна Грифа. Другие интересы отвлекали его от медицины. И — по крайней мере на время — они взяли верх. Как-то раз он самовольно отлучился из больницы и в тот же день лишился места. Тогда, ради заработка, он начал издавать книги, и они нашли себе сбыт в книжной лавке с изображением грифа вместо вывески на улице Мерсьер. Эмблема заменяла фамилию владельца книгопечатни и книгопродавца Себастьяна Грифа, в 1524 году приехавшего из Швабии в Лион, а четыре года спустя прославившегося великолепными изданиями греческих и латинских текстов. В 1532 году Рабле напечатал у Себастьяна Грифа «*Epistolae medicinales Manardi*»¹, посвятив это издание судье Тирако, и «Афоризмы» Гиппократовы с посвящением епископу Жофруа д'Этисаку. Дни Фонтене-ле-Конт и Лигюже были ему памяты. Хотя «Афоризмы» выдержали уже несколько изданий, Рабле счел долгом предпринять новое, так как в его распоряжении находился превосходный старинный список, содержавший подробный комментарий. Этот комментарий он принял на веру и

¹ «Медицинские послания Манарди» (лат.).

не постеснялся разъяснить то, что было достаточно ясно само по себе. Жан Платар, большой специалист в этих вопросах, утверждает, что Франсуа предстояло еще пройти хорошую школу, прежде чем занять место в ряду великих гуманистов своей эпохи.

Одновременно Рабле напечатал два отрывка из римского права, завещание Луция Куспидия и купчую крепость, с посвящением, написанным наполовину на греческом, наполовину на латинском языке, защитнику женщин Эмери Бушару, ставшему советником короля и членом государственного совета. Увы, Франсуа и тут не повезло. Оба текста представляли собой подделку, чистейшую, сплошную подделку. Завещание Куспидия было сфабриковано в предыдущем столетии Помпеем Лактом, а купчая крепость вышла из-под пера Иовиана Понтана, который сделал из нее вступление к комическому диалогу, озаглавленному им «Actius». Как же такой сведущий человек мог попасть впросак? Он любил древность, а любовь слепа, восторг мешает критике. Но все же своим знанием древних мы обязаны великим людям Возрождения. Поэтому нам не следует обращать против них то, чему они же нас научили. И поскольку современники Рабле не слишком дружно оспаривали подлинность этих двух текстов, то не будем же и мы строго судить его за ошибку, которую в его эпоху трудно было установить. Наконец, если великий туренец чересчур доверчиво отнесся к соотечественникам Поджо *, то нам не следует впадать в другую крайность: излишнее недоверие может привести к тому, что произведения Тацита мы станем приписывать Поджо.

В XVI веке гуманисты составляли подобие некоего государства, особую литературную республику. Выражение это появилось тогда же. И президентом этой республики духа был старый Эразм Роттердамский. Нашему Франсуа, который когда-то с таким нетерпением ждал письма от знаменитого Гильома Бюде, в 1532 году, в Лионе, представился случай завязать переписку с самим Эразмом. Жорж д'Арманьяк, епископ Родесский и один из многочисленных в ту пору друзей словесности, познакомившись с Рабле, попросил

его в ноябре месяце переслать Эразму труды Иосифа Флавия *. Рабле приложил к посылке написанное им на латыни письмо великому человеку, доживавшему свою славную трудовую жизнь в Базеле. По неизвестной мне причине письмо это адресовано какому-то Бернару де Салиньяку. Но не подлежит сомнению, что подлинным адресатом является Дезидерий Эразм.

Приведу в буквальном переводе наиболее интересный отрывок:

«Я не преминул воспользоваться случаем, о наиученейший отец мой, выразить тебе через посредство благодарственного письма свое глубокое уважение и сыновнюю преданность. «Отец мой», — сказал я? Я назвал бы тебя и матью, будь на то твое соизволение. Ибо что делает для своего ребенка мать, вскармливающая плод своего чрева, еще ни разу не видев его, не зная даже, каким он будет, охраняющая его, укрывающая от свирепых бурь, то сделал ты для меня, хотя лицо мое тебе незнакомо, а мое безвестное имя не скажет тебе ничего. Ты меня воспитал; ты вспоил меня чистым молоком божественного своего знания; одному тебе обязан я всем, что есть во мне ценного, всем, чего я достиг. Не скажи я об этом во всеуслышание, я был бы неблагодарнейшим из людей. Еще раз низко кланяюсь тебе, дорогой отец, гордость своей отчизны, столп литературы, неутомимый поборник истины».

Письмо это, при всей своей напыщенности, какой требовал тогда эпистолярный жанр, выражает, однако, подлинные, искренние чувства. Рабле тщательно изучал труды Эразма; особенно часто перечитывал он «Апофтегмы» и «Пословицы», и ему не раз случалось вводить цитаты из них в собственные сочинения. Он делал это тем охотнее, что подражать и проявлять свою начитанность считалось тогда похвальным и почтенным занятием.

Продолжая свои научные изыскания, способствовавшие его популярности в мире ученых, Рабле находил время и для другого рода творчества, которым пренебрегали его собратья и который, однако, заслуживает нашего пристального внимания. Пользуясь вульгарным наречием, он составлял для простонародья

гадательные книги и альманахи, носящие на себе гораздо более резкую печать своеобразия, нежели его ученые труды. Балагурство и грубые шутки перемежаются здесь с исполненными глубокой мудрости афоризмами. Каждое его предсказание — это насмешка над астрологами и прорицателями, это камешек в их огород. Он издевается над составителями гороскопов, в высшей степени остроумно обосновывая свое недоверие к ним. «Нет ничего глупее людей, — утверждает он, — воображающих, что цари, папы и вельможи имеют больше прав на небесные светила, чем страждущие и обездоленные: как будто со времени потопа или со времен Ромула и Фарамона * нарочно для царей появлялись новые звезды!»

В этих лубочных книжках он настойчиво проводит идею вседержителя бога. Возвещая в альманахе на 1533 год крушение царств и религий, он спешит добавить:

«Это суть тайны высшего совета при царе небесном, от чьего благоусмотрения и произволения зависит все сущее и происходящее в мире; нам же остается пасть перед ними ниц и хранить молчание».

В 1532 году Рабле взял на себя еще более скромную задачу, которая, однако, привела его к созданию необыкновенной, изумительной, чудеснейшей книги в мире. Чтобы позабавить невежественных простолудинов, он пересказал своими словами известную историю одного великана и выпустил ее под названием «Великие и неоценимые хроники Гаргантюа». Гаргантюа не был созданием Рабле. Слава его терялась во тьме веков. Особой известностью он пользовался в деревнях: во всех французских провинциях крестьяне рассказывали чудеса о его невероятной силе и аппетите. Всюду показывали огромные камни и обломки скал, которые он притащил, холмы и пригорки, выпавшие из его корзин. Книга Рабле «Великие и неоценимые хроники» — это всего лишь обработка старинных народных сказок. И отнес он ее не к ученому издателю Грифу, а к другому лионскому книгопродавцу, Франсуа Жюсту, и в один месяц она разошлась в таком количестве экземпляров, в каком библия не расходилась за девять лет.

Как же Рабле пришел к мысли написать вот об этом Гаргантюа и его сыне Пантагрюэле самый причудливый, самый веселый, самый оригинальный из романов, не похожий ни на какой другой, — произведение, которое нельзя сопоставить ни с «Сатириконом» Петрония, * ни с «Великим пройдохой» Франсиско де Кеведо *, ни с «Дон Кихотом» Сервантеса, ни с «Гулливвером» Свифта, ни с повестями Вольтера? На этот вопрос мы не можем ответить с достаточной точностью и определенностью. Как в свое время источники Нила, происхождение Гаргантюа и Пантагрюэля составляет для нас загадку. Мне остается привести осторожные слова самого сведущего издателя Рабле — незабвенного Марти-Лаво: *

«Мы можем только догадываться, что сначала Рабле переделал для лионского книгоиздателя Франсуа Жюста старинную народную сказку, которую он озаглавил «Великие и неоценимые хроники огромного и громадного великана Гаргантюа», что затем, увлеченный этим сюжетом и ободренный успехом книжки, он написал «Пантагрюэля», служащего ее продолжением, и что в конце концов он заменил свой первый слабый опыт новым и окончательным вариантом «Гаргантюа», каковой и составил первую часть романа, «Пантагрюэль» же составил вторую».

Таковы более или менее правдоподобные предположения. Не поднимая по этому поводу бесплодных и туманных споров, которые все равно ни к чему определенному нас бы не привели, мы сразу приступим к изучению этих первых двух книг и, воздерживаясь от суждения о том, какая из них, по нашему мнению, написана раньше, начнем именно с первой. Хотя порядок расположения частей у нашего автора и не имеет существенного значения, мы все же обязаны его придерживаться. Мы знаем наверно, что Пантагрюэль — сын Гаргантюа. Эта их родственная связь несомненна. Сейчас мы познакомимся с этими двумя страшными великанами, которые на поверку окажутся добрейшими существами, и будем наблюдать их благородное, я бы даже сказал, примерное поведение. Вместе с ними мы ежеминутно будем переходить от веселого к мрачному

и от смешного к возвышенному. Мы отведаем и аттической и поваренной соли. Я уверен, что вам придется по вкусу и та и другая, но при этом я ручаюсь, что, находясь в обществе великанов и их родственников, вы не услышите ничего такого (уж я за этим слежу!), что могло бы оскорбить самый целомудренный, самый стыдливый, деликатнейший вкус. Я буду осторожен, я буду... Впрочем, умолкаю. Иначе вам может показаться, сударыни, что я слишком много наобещал.

ПЕРВАЯ КНИГА

Для выяснения родословной Гаргантюа автор отсылает нас к великой Пантагрюэльской хронике. Сам же он по этому поводу пускается в рассуждения о величии и упадке королевских династий. «Я полагаю, — говорит он, — что многие из нынешних императоров, королей, герцогов, князей и пап произошли от каких-нибудь мелких торговцев реликвиями или же корзинщиков. И наоборот, немало жалких и убогих побирушек из богаделен являются прямыми потомками великих королей и императоров... Что касается меня, — прибавляет он, — то я, уж верно, происхожу от какого-нибудь богатого короля или владетельного князя, жившего в незапамятные времена, ибо не родился еще на свет такой человек, который сильнее меня желал бы стать королем и разбогатеть, — для того чтобы пировать, ничего не делать, ни о чем не заботиться и щедрой рукой одарять своих приятелей и всех порядочных и просвещенных людей». Пожалуй, иные подумают, что здесь-то и сказался дух Рабле, что этот великий насмешник не признает ни князей, ни королей, ни пап, что он опередил свою эпоху — эпоху Возрождения и Реформации, что взгляд его обращен непосредственно к нашим дням. Нет ничего ошибочней подобного заключения. Такой образ мыслей как нельзя более чужд подлинному Рабле. Все его рассуждение состоит из

ходячих, общепринятых, прописных истин (впрочем, от этого они не перестают быть истинами). Рабле лишь повторяет в шутливой форме то, что говорили до него все благонамеренные проповедники, такие же монахи, как он. Это проповедь в евангельском духе. Меньше всего входило в расчеты нашего автора подрывать устой королевской власти. У короля Франциска не было более покорного и почтительного подданного, чем брат Франсуа. Все это я говорю для того, чтобы впредь мы не принимали общих мест за нечто оригинальное и сошлись на том, что общие места порой отличаются большой смелостью.

Обратимся к нашей книге. Отца Гаргантюа звали Грангузье, мать — Гаргамелла; отец ее был королем мотылькотов. Мы узнаем, что Грангузье был большой шутник, пил непременно до дна и любил закусить соленьким, на каковой предмет постоянно держал основательный запас майнцской и байоннской ветчины и копченых языков.

В один из праздничных дней, когда гости Грангузье * съев триста шестьдесят семь тысяч четырнадцать волов, плясали на лужайке, из уха Гаргамеллы вылез Гаргантюа. Семнадцать тысяч девятьсот тринадцать коров должны были поить его своим молоком, однако он куда охотней посасывал вино.

Когда он попрос, отец велел одеть его в платье фамильного цвета, белого с голубым; на его рубашку пошло девятьсот локтей полотна, на куртку — восемьсот тринадцать локтей белого атласа, а на шнуровку — тысяча пятьсот девять с половиной собачьих шкур: «Тогда как раз начали привязывать штаны к куртке, а не куртку к штанам, что, как доказал Оккам в комментариях к «*Exponibilia*»¹ магистра Шаровара, противостоительно». Оккам был относительно передовым по тому времени богословом, мало приемлемым для папы, но он занимался схоластикой: для Рабле этого было достаточно, чтобы поднять его на смех. Схоластика являлась предметом его вечной ненависти.

¹ «Описуемое» (*лат.*) — один из разделов средневековой логики.

Когда настала пора учить Гаргантюа, отец взял ему в наставники великого богослова, магистра Тубала Олоферна, и магистр так хорошо сумел преподать ребенку азбуку, что тот выучил ее наизусть в обратном порядке, и познакомил его с древними схоластами. Но великий богослов скончался, и его сменил старый хрен Жобелен Бриде; применяя те же методы, что и Олоферн, он сводил все ученье к упражнениям памяти. Гаргантюа оказался старательным учеником, хорошо усваивал, но с каждым днем становился все глупее, рассеянее и бестолковее. Отец пожаловался на это своему другу, вице-королю Папелигосскому, и тот сказал ему напрямик:

— Лучше совсем ничему не учиться, чем учиться по таким книгам под руководством таких наставников, ибо их наука — бредни, а их мудрость — напыщенный вздор, сбивающий с толку лучших, благороднейшие умы и губящий цвет юношества.

Вечером, явившись к ужину, вице-король привел с собой одного из своих пажей по имени Эвдемон, аккуратно причесанного, нарядного, чистенького, вежливого, скорее похожего на ангелочка, чем на мальчика, и обратился к Грангузье:

— Посмотрите на этого отрока. Ему еще нет шестнадцати. Давайте удостоверимся, кто больше знает: старые празднословы или же современные молодые люди. (Это поединок Средневековья и Возрождения, или, точнее, схоластики и гуманизма).

Грангузье согласился произвести этот опыт. Эвдемон, держа шляпу в руках, устремив на Гаргантюа свой честный и уверенный взгляд и раскрыв румяные уста, с юношеской скромностью принялся его славить; воздав ему достойную и высокую хвалу, он предоставил себя в его полное распоряжение. Вся эта речь была произнесена внятно и громогласно на прекрасном латинском языке и сопровождалась подобающими движениями. Гаргантюа же вместо ответа заревел, как корова, и уткнулся носом в шляпу. Из него нельзя было вытянуть ни слова.

Этой сцене из старинного романа соответствует исторический факт, имевший место во Франции при

Людовике XIV. Их стоит сравнить. Напомню, что юный герцог Беррийский, которого пичкали знаниями какие-нибудь Тубалы Олоферны и Жобелены Бриде XVII века, однажды в присутствии членов парижского парламента повел себя не лучше, чем юный Гаргантюа после речи Эвдемона. Вот как об этом заседании, на котором наследный принц отказался от испанской короны, рассказывает Сен-Симон: *

«Первый председатель приветствовал его светлость герцога Беррийского. С ответной речью должен был выступить наследный принц. Он приподнял шляпу, снова надел ее, взглянул на первого председателя и сказал: «Господин...» После некоторого молчания он повторил: «Господин...» Оглядел собравшихся и еще раз повторил: «Господин...» Повернулся к его светлости герцогу Орлеанскому, сгоравшему, как и он, со стыда, потом к первому председателю и больше не произнес ни звука, так что одно только это слово «господин» от него и услышали... Наконец первый председатель, поняв, что другого выхода нет, решил прекратить эту мучительную сцену: сделав вид, как будто бы ответная речь произнесена, он снял перед его светлостью герцогом Беррийским шляпу, отвесил ему низкий поклон и сейчас же передал слово представителям короля.

Когда герцог Беррийский возвращался в Версаль, ничего не подозревавшая принцесса Монтобанская выбежала к нему навстречу и, едва завидев его, принялась восхищаться тем, как обворожительно держал он себя в парламенте, и его красноречием. Герцог, багровый от злости, молча слушал ее, а затем, потеряв самообладание, увел Сен-Симона к себе и начал плакать, кричать и жаловаться на короля и на своего наставника.

— Они сделали из меня дурака! — воскликнул он, плача от бешенства. — Они заглушили во мне все природные способности. Меня учили только играть да охотиться, — вот я и вышел оболтусом, болваном, ни к чему не способным и ни на что не годным...»

Обе сцены имеют много общего. И к чести Рабле надо сказать, что сцена Гаргантюа и Эвдемона не менее жива и не менее правдива.

Грангузье, взбешенный тем, что его сына так плохо учили, хотел тут же убить магистра Жобелена. Но так как по натуре он был человек незлобивый, то гнев его скоро утих, и он велел уплатить старому хрену его жалованье, напоить его по-богословски, а затем отправить ко всем чертям.

Когда магистр Жобелен покинул его дом, Грангузье по совету вице-короля поручил воспитание Гаргантюа молодому ученому Понократу, воспитателю этого милого Эвдемона. Лучшего выбора он сделать не мог. Тут же было решено отправить двух юных принцев вместе с Понократом в Париж, дабы они воспользовались преимуществами, какими обладает этот город для всех желающих учиться.

Во время путешествия Гаргантюа вновь приобрел черты преужасного великана из народной сказки. Он ехал на нумидийской кобыле, у которой был такой длинный хвост, что, несколько раз взмахнув им, она валила целый лес. Босская провинция была тогда покрыта лесами. Но стоило нумидийской кобыле отмахнуться от оводов, как Босская провинция мгновенно превратилась в знакомую нам теперь голую равнину.

Далее автор сообщает, что Гаргантюа осмотрел город и что все глазели на него с великим изумлением. Должно заметить, что в Париже живут такие олухи, тупицы и зеваки, что любой фигляр, торговец реликвиями, мул с бубенцами или же уличный музыкант соберут здесь больше народа, нежели хороший евангелический проповедник.

Гаргантюа уселся на башни Собора Парижской богоматери. Осмотрев большие колокола, он весьма мелодично в них зазвонил. Тут ему пришло в голову, что они с успехом могли бы заменить бубенцы на шее у его кобылы. И он унес их к себе. Парижане, взволнованные исчезновением колоколов, собрались у Вельской башни и после долгих и шумных споров решили послать к Гаргантюа старейшего и достойнейшего магистра богословского факультета Ианотуса де Брагардо, дабы вытребовать их обратно.

Магистр Ианотус в сопровождении трех приставов отправился к Гаргантюа. Понократ, увидев их, подумал

сначала, что это ряженные, но, узнав, кто они такие и зачем пришли, поспешил предупредить Гаргантюа; тот велел провести их в буфетную, и там они начали выпивать по-богословски. Тем временем Гаргантюа вернул колокола, не уведолив о том магистра Ианотуса, который произнес в буфетной блестящую речь:

— Как бы это было хорошо, если б вы вернули нам колокола, ибо мы испытываем в них крайнюю необходимость... Если вы исполните мою просьбу, то я заработаю десять пядей сосисок и отличные штаны, в которых будет очень удобно моим ногам, в противном же случае пославшие меня окажутся обманщиками... Ах! Ах! Не у всякого есть штаны, — это я хорошо знаю по себе!

К этому аргументу он присоединил другие, более общего характера:

— Город без колоколов — все равно что слепец без клюки, осел без пахвей, корова без бубенчиков... и т. д.

Речь эта вызвала дружный хохот присутствующих, причем громче всех хохотал сам магистр Ианотус. Поистине блаженны чистые сердцем: все им доставляет радость. Гаргантюа велел дать блестящему оратору дров, вина, перину, миску и семь локтей черного сукна на штаны. После этого магистр Ианотус отправился в университет требовать обещанного вознаграждения. Но ему было в этом отказано на том основании, что он уже все получил.

Понократ, представлявший собой превосходного воспитателя, прежде всего заставил своего ученика забыть все, чему его научили старые сорбоннисты Тубал Олоферн и Жобелен Бриде. Для этого он дал ему чемерицы. Затем он составил план занятий таким образом, что тот не терял зря ни часу. Гаргантюа вставал в четыре часа утра. В то время как его растирали, юный паж читал ему Священное писание. Пока он занимался туалетом, наставник разъяснял ему непонятные и трудные места в ранее прочитанном. Затем они наблюдали, в каком состоянии находится небесная сфера, и определяли, под каким знаком зодиака восходит сегодня солнце и под каким — луна. После этого Гаргантюа одевали, причесывали, наряжали, опрыскивали духами и повторяли с ним заданные накануне уроки, причем старались, чтобы

он извлек из них практическую пользу. Когда он был совсем одет, он три часа подряд слушал чтение. Затем ученики шли играть в мяч, в лапту и бросали партию, чуть только утомятся или же вспотеют. Сухо-насухо обтерев все тело, они в ожидании обеда принимались рассказывать наизусть что-нибудь из сегодняшнего урока.

В начале обеда им читали рыцарский роман. Иногда чтение продолжалось и после того, как подавали вино; иногда завязывался веселый общий разговор. Несмотря на шуточный тон, это были поучительные беседы, ибо речь шла о свойствах и особенностях всего, что подавалось на стол: хлеба, вина, воды, соли, мяса, рыбы, плодов, трав, корнеплодов, и при этом цитировали древних: Плиния, Элиана, Аристотеля, Афиней * и того самого Диоскорида *, которого позднее, с комментариями доктора Лагуны, будет читать Дон Кихот. Далее разговор возвращался к утреннему уроку, а затем все вставали из-за стола и молились богу.

После обеда приносились карты, но не для игры, а для всякого рода математических забав; потом чертили геометрические фигуры, занимались астрономией, пели, разбившись на четыре или пять голосов, играли на лютне, на спинете, на арфе, на флейте, на виоле и на тромбоне. Эта перемена длилась час. Затем три часа посвящалось чтению и письму. Гаргантюа и Эвдемон учились красиво писать античные буквы, то есть итальянские литеры, которые ввел знаменитый венецианский печатник — эллинист Альд Мануций; готическим шрифтом пользовались теперь одни сорбонщики да схоласты.

По окончании занятий юные принцы выходили из дому. Молодой туреньский дворянин по имени Гимнаст давал Эвдемону и Гаргантюа уроки верховой езды. Гаргантюа ездил уже не на той страшной кобыле, что, отмахиваясь от оводов, повалила босские леса, а на берберийском или же на испанском скакуне, на тяжеловозе. Что же, значит, Гаргантюа больше уже не великан? Когда-то он садился на башни Собора Парижской богоматери — теперь он садится на школьную скамью и ест, как все добрые люди. Пусть это вас не удивляет.

Мудрый не должен ничему удивляться. Гаргантюа мeнeяется в росте каждую минуту. Рабле, не задумываясь, то увеличивает, то уменьшает его рост в зависимости от обстоятельств: Гаргантюа — великан, когда он действует как герой старинных народных сказок; когда же он погружается в гущу жизни, когда глубочайший из юмористов превращает его в персонаж человеческой комедии, перед нами — нормальных размеров миловидный принц.

Покончив с верховой ездой, сын Грангузье обучался всему, что необходимо для воина: охотился, плавал, кричал во всю мочь, чтобы развить грудную клетку и легкие, упражнялся с гирями. Или собирал растения.

Придя домой, молодые люди садились за уроки, а затем подавался обильный ужин, и за столом возобновлялась ученая и полезная беседа. Прочтя благодарственную молитву, устраивали домашний концерт, играли в кости, а иной раз отправлялись к какому-нибудь ученому или путешественнику.

Перед сном наблюдали положение небесных светил, в кратких словах рассказывали обо всем, что прочли, увидели, узнали, сделали и услышали за день, а затем, помолвившись богу и предав себя его милосердию, ложились спать.

В дождливую погоду занимались физическим трудом в помещении: убирали сено, кололи и пилили дрова, молотили хлеб в риге, гербарий в такие дни не составляли, но зато ходили к ремесленникам, москательщикам, аптекарям, даже к фокусникам и торговцам опиумом, ибо Рабле считал, что и у шарлатанов и обманщиков можно чему-нибудь научиться.

Вот вам наполненные и непохожие один на другой трудовые, но не утомительные дни Гаргантюа. Лучшей, более мудрой системы воспитания не придумаешь. Французский государственный деятель Франсуа Гизо *, который в силу своего строгого и возвышенного образа мыслей не мог, конечно, особенно любить и тем более безоговорочно принимать полное безудержного веселья творчество нашего автора, но который в молодости отдавал силы своего недюжинного ума вопросам педагогики, — Франсуа Гизо оценил Рабле как наставника и

воспитателя. В 1812 году он поместил в одном педагогическом журнале статью, которая потом перепечатывалась в собраниях его сочинений, и в ней мы находим следующие отроки:

«Рабле понял недостатки педагогической теории и практики своего времени и указал на них; вначале XVI столетия он предвосхитил почти все, что есть разумного и ценного в трудах новейших ученых, в том числе Локка и Руссо» *.

Жан Флери в своей работе о Рабле весьма удачно сопоставляет магистра Жобелена и Понократа с двумя видными прелатами XVII века, придворными наставниками. Это сравнение, обидное для одного из них и лестное для другого, представляется на первый взгляд довольно неожиданным. Тем не менее я приведу его целиком, потому что оно любопытно и по существу верно, если откинуть допущенные автором смягчения и оговорки.

Вот этот образец остроумной педагогической критики:

«В семье Людовика XIV мы видим двух принцев, которые очень напоминают нам героев Рабле, при всем существующем между ними различии: одного из них, как Гаргантюа, воспитывали по старой системе, другого, как Эвдемона, по системе более рациональной. Дофин, воспитанник Боссюэ *, остался на уровне жалкой посредственности; из воспитанника Фенелона *, герцога Бургундского, вышел человек выдающийся. Конечно, в первую очередь это объясняется способностями самих учеников, но еще большее значение имели методы преподавания. Боссюэ применяет систему Жобелена — заставлять помногу учить наизусть. Фенелон приближается к системе Понократа: он стремится к тому, чтобы герцог находился в непосредственном общении с внешним миром, и, желая поднять своего ученика до себя, сам поначалу становится невежественным юнцом. Обе системы изложены в книгах, которые эти два епископа написали для своих учеников. Под пером Боссюэ наука превращается в нечто крайне суровое и сухое. Прочтите его «Всеобщую историю», «Уроки политики, извлеченные из Священного писания», «Познание

бога и самого себя». Есть ли там хоть одно слово, рассчитанное на юного и неискущенного читателя? Сходит ли знаменитый писатель хоть когда-нибудь со своих вершин, чтобы стать доступным пониманию своего ученика? Никогда. Он подавляет его своим авторитетом, он требует, чтобы ему верили слепо: сперва извольте запомнить, а поймете потом. Ученик принимал на веру каждое его слово и не давал себе труда понять то, что учитель считал ниже своего достоинства объяснять ему; его ум так и не вышел из пелен, навсегда остался неразвитым.

Фенелон, напротив, приноравливается к своему ученику. Он сочиняет для него забавные и вместе с тем поучительные басни, — сюжеты для них он берет преимущественно из жизни самого принца. На уроках истории он, отказавшись на первых порах от сухого учебника, рассказывает ему о великих людях и по временам, читая, например, свои «Диалоги мертвых», как бы заставляет его присутствовать при их разговорах. Душа ребенка расцветает под таким благотворным воздействием. Его непрерывный умственный и нравственный рост совершается в атмосфере терпения и любви, и, если бы ему суждено было царствовать, из него вышел бы замечательный правитель, быть может, менее блестящий, чем Людовик XIV, но зато более разумный. Дофин же, займи он престол, оказался бы бездарней Людовика XV.

Боссюэ достиг большего, чем магистр Жобелен. Фенелон достиг меньшего, чем Понократ, но так или иначе обе системы нашли себе применение. Ими пользовались люди в равной степени одаренные, и привели они, правда, в уменьшенном масштабе, к тем самым результатам, которые предугадал автор «Гаргантюа» (Флери, т. I, стр. 188 и след.).

Еще и теперь воспитатели нашей молодежи могли бы многому научиться у старого шута.

В то время как Гаргантюа, живя в Париже, продолжал заниматься под руководством столь мудрого наставника, в Шиноне возникло дело о лепешках. Вот что там произошло: в начале осени местные пастухи, сторожившие уже созревший виноград, заметили на дороге

лернейских пекарей, которые не то на десяти, не то на двенадцати подводах везли в город лепешки, пользовавшиеся большой любовью жителей Турена и Пуату. Пастухи вежливо попросили пекарей продать им по рыночной цене лепешек. Пекари ответили на эту просьбу руганью, наградили их оскорбительными эпитетами и обозвали мужланами и беззубыми поганцами.

Один из пастухов, по имени Фрожье, попытался их усостыжить.

— Поди сюда, — сказал ему пекарь Марке, — я тебе дам лепешку.

Фрожье, полагая, что тот в самом деле продаст ему лепешку, протянул серебряную монету. Однако вместо лепешек наш пастух получил кнутом по ногам. Тогда он, крикнув: «Караул!», запустил в Марке дубиной и угодил ему прямо в голову, так что тот свалился с кобылы. На крик сбежались крестьяне Грангузье, сбивавшие поблизости орехи, и начали молотить пекарей, как недоспелую рожь. Те бросились наутек, крестьяне и крестьянки, пастухи и пастушки погнались за ними, остановили их и отняли штук шестьдесят лепешек, заплатив им, однако ж, по обычной цене. Затем, не чувствуя ни малейших угрызений совести, досыта наелись этих лепешек и пошли танцевать под волынку.

Пекари, не долго думая, повернули обратно в Лерне и принесли жалобу на пастухов и крестьян Грангузье королю Пикрохолу. Пылая мщением, Пикрохол тотчас же собрал войско и вторгся во владения Грангузье. Так вспыхнула ужасная война. Солдаты Пикрохола ломали и крушили все на своем пути. Они не щадили ни бедного, ни богатого, ни храмов, ни жилищ. Так, например, они разграбили Сейейское, или Сейийское, аббатство, то самое, куда родители некогда отправили десятилетнего Франсуа Рабле, желая сделать из него птицу, то бишь монаха. Бедняги монахи, не зная, какому святому молиться, решили устроить торжественную процессию, дабы отвратить от себя ярость врагов. Это было почтенное средство, но не очень верное, ибо кто может угадать волю всевышнего? Кто может поручиться, что его молитва услышана? В то время в аббатстве находился молодой монах, прыткий и разбитной, по прозвищу

Жан Зубодробитель. Услышав шум, производимый неприятелем на монастырских виноградниках, он вышел узнать, в чем дело, и, обнаружив, что враги обрывают виноград, побегал на клирос, где монахи, дабы умиловать господу, пели молитвы.

— Славные вы певуны, накажи меня бог! — молвил он. — Только не лучше ли вам спеть «Прощай, корзины, кончен сбор»?

Но тут раздался гневный голос настоятеля:

— Что здесь нужно этому пьянчуге? Отведите его в темницу! Как он смеет мешать нам воспевать богу?

— Не должно мешать ни воспеванию, ни воспиванию, — возразил брат Жан. — Ведь вы сами, отец настоятель, любите хорошее вино, как и всякий порядочный человек.

С этими словами он скинул рясу, схватил перекладину от ясеняного креста и, внезапно ринувшись на врагов, перебил их всех до одного, а их тут было тринадцать тысяч шестьсот двадцать два человека, не считая женщин и детей.

Грангузье, узнав о нашествии врагов и об опустошении своих земель, преисполнился изумления и скорби. Это был добрый король.

— Увы! Увы! — воскликнул он. — Что же это такое? Пикрохол, мой старый и неизменный друг, связанный со мною узами родства и свойства, напал на меня! Кто подвигнул его на это? Кто его подстрекнул? Кто его подбил? Боже, спаситель мой, помоги мне, просвети меня, научи! Клятвенно уверяю тебя, что никогда я никаких огорчений ему не доставлял, подданным его не досаждал. Напротив того, я никогда не отказывал ему ни в войске, ни в деньгах, ни в поддержке, ни в совете. Нет, верно, лукавый его попутал, коли мог он так меня избидеть... Ох, добрые люди, друзья мои и верные слуги! Неужели я вынужден буду докучать вам просьбами о помощи? Видно, придется и мне облечь панцирем мои несчастные плечи, слабые и усталые, и взять в дрожащие руки булаву и копье, дабы защитить и оградить несчастных моих подданных. Так мне подсказывает здравый смысл, ибо их трудом я живу, их потом кормлюсь я сам, мои дети и вся моя семья. И все

же я не пойду на Пикрохола войной до тех пор, пока не испробую всех мирных средств.

Золотые слова! Счастливы, были б народы, если бы так рассуждали все их повелители!

Добрый король послал к Пикрохолу своего советника Ульриха Галле узнать о причинах войны и написал письмо сыну: он извещал его, что отечество в опасности, и звал домой.

Ульрих Галле обратился к Пикрохолу с речью, достойной Цицерона. Ответ лернейского короля был краток и оскорбителен: «Наделают вам лепешек!»

На угрозы гневливого государя святой король Грангузье отвечает новыми мирными предложениями. Таков Идоменей из Девятой книги «Телемака»: * «Идоменей готов погибнуть или победить, но он предпочитает мир самой блестящей победе. Он не боится быть побежденным — он боится быть несправедливым».

Пикрохол отказывается принять послов Грангузье.

— Нагнали мы на мужичье страху! — докладывает Пикрохолу его военачальник Фанфарон. — У Грангузье зуб на зуб не попадает.

Советники Пикрохола напевают ему, что он завоеует вселенную. Им без труда удастся убедить в этом своего безрассудного монарха. Эта сцена заслуживает того, чтобы выписать ее почти целиком.

— Ваше величество, сегодня вы у нас будете самым счастливым, самым непобедимым государем после Александра Македонского.

— Наденьте шляпы, — сказал Пикрохол.

— Весьма признательны, ваше величество, — мы знаем свое место... Вот наш совет: оставьте здесь небольшой отряд во главе с каким-нибудь военачальником, — этот гарнизон будет охранять крепость, которая, впрочем, представляется нам и так достаточно защищенной благодаря естественным укреплениям, а также благодаря крепостным стенам, возведенным по вашему почину. Армию свою разделите на две части, как вам заблагорассудится. Одна часть обрушится на Грангузье с его войском. В первом же бою она без труда разобьет его наголову. Там вы сможете огрести кучу денег, — у этого мужлана денег уйма. У мужлана, говорим мы,

ибо у благородного государя гроша за душой никогда не бывает. Копить — это мужицкое дело. Тем временем другая часть двинется на Они, Сентонж, Ангума и Гасконь, а также на Перигор, Медок и Ланды и, не встречая сопротивления, займет города, замки и крепости. В Байонне, в Сен-Жан-де-Люс и в Фуэнтеррабии вы захватите все суда и, держась берегов Галисии и Португалии, разграбите все побережье до самого Лиссабона, а там вы запасетесь всем, что необходимо завоевателю. Испанцы, черт их деря, сдадутся, — это известные ротозеи! Вы переплывете Сивиллин пролив и там, на вечную о себе память, воздвигнете два столпа, еще более величественных, чем Геркулесовы *, и пролив этот будет впредь именоваться Пикрохоловым морем. А как пройдет Пикрохолово море, тут вам и Барбаросса * покорится.

— Я его помилую, — сказал Пикрохол.

— Пожалуй, но только он должен креститься, — согласились советники и продолжали: — Вы смело вторгнетесь в Барбарю. Вы приберете к рукам Майорку, Минорку, Сардинию и Корсику. Держась левого берега, вы завладеете всей Норбоннской Галлией, Провансом, Генуей, Флоренцией, Луккой, а там уже и до Рима рукой подать. Бедный господин папа умрет от страха.

— Клянусь честью, я не стану целовать ему туфлю, — сказал Пикрохол.

— Завоевав Италию, вы предаете разграблению Неаполь, Калабрию, Апулию, Сицилию, а заодно и Мальту. Желал бы я видеть, как эти несчастные родосские рыцаришки станут с вами сражаться!

— Я бы с удовольствием проехал оттуда в Лорето, — сказал Пикрохол.

— Нет, нет, — сказали они, — это на обратном пути. Мы лучше возьмем Крит, Кипр, Родос, Кикладские острова и ударим на Морею. Вот мы ее уже, слава тебе господи, заняли. И тогда берегись, Иерусалим, ибо могуществу султана далеко до вашего!

— Я тогда вновь построю храм Соломона, — сказал Пикрохол.

— Нет, погодите немного, — возразили они. — Не будьте столь поспешны в своих решениях. Вам пред-

стоит сперва занять Малую Азию, Карию, Ликию, Памфилию, Киликию, Лидию, Фригию, Мизию, — до самого Евфрата.

— А Вавилон и гору Синай мы увидим? — спросил Пикрохол.

— Пока нет, — отвечали они. — Мало вам разве переплыть Гирканское море и промчаться по двум Армениям и трем Аравиям?

— Честное слово, мы спятили! — воскликнул Пикрохол. — Горе нам, горе!

— Что такое? — спросили они.

— А что мы будем пить в этих пустынях?

— Мы все предусмотрели, ваше величество, — сказали они. — На Сирийском море у вас девять тысяч четырнадцать больших кораблей с грузом лучшего в мире вина. Все они приплывают в Яффу. Туда же согнано два миллиона двести тысяч верблюдов и тысяча шестьсот слонов, которых вы захватите на охоте, как скоро войдете в Ливию, а кроме того, все караваны, идущие в Мекку, будут ваши. Неужели они не снабдят вас вином в достаточном количестве?

— Пожалуй, — сказал Пикрохол, — но только у нас не будет холодного вина.

— Тьфу, пропасть! — вскричали они. — Герой, завоеватель, претендент и кандидат на мировое владичество не может постоянно пользоваться всеми удобствами. Скажите спасибо, что вы и ваши солдаты целыми и невредимыми добрались до Тигра!

— А что делает в это время та наша армия, которая разбила этого поганого забулдыгу Грангузье? — спросил Пикрохол.

— Она тоже не дремлет, — отвечали они, — сейчас мы ее догоним. Она завоевала для вас Бретань, Нормандию, Фландрию, Эно, Брабант, Артуа, Голландию и Зеландию. Она перешла Рейн по трупам швейцарцев и ландскнехтов, а часть ее покорила Люксембург, Лотарингию, Шампань и Савойю — вплоть до Лиона. Здесь она встретилась с вашими легионами, возвращавшимися домой после побед на Средиземном море. Обе армии воссоединились в Богемии, опустошив предварительно Швабию, Вюртемберг, Баварию, Австрию,

Моравию и Штирию. Затем они сообща нанесли сокрушительный удар Любеку, Норвегии, Швеции и Гренландии — до самого Ледовитого моря. Вслед за тем они заняли Оркадские острова и подчинили себе Шотландию, Англию и Ирландию. Далее, переплыв Песчаное море и пройдя Сарматию, они разгромили и покорили Пруссию, Польшу, Литву, Россию, Валахию, Трансильванию, Венгрию, Болгарию, Турцию и теперь находятся в Константинополе.

— Скорей и мы туда! — воскликнул Пикрохол. — Я хочу быть также императором Трапезундским. И не перебить ли нам всех этих собак — турок и магометан?

— А почему бы, черт возьми, нам этого не сделать? — оказали они. — Имуущество же их и земли вы раздадите тем, кто вам честно служил.

— Так подсказывает здравый смысл и так должно быть по справедливости, — заметил Пикрохол. — Жалую вам Карманию, Сирию и всю Палестину.

— Ах, ваше величество, как вы щедры! — сказали они. — Премного вам благодарны! Дай бог вам благоденствовать вечно!

На этом совете присутствовал старый дворянин, по имени Эхефрон, человек многоопытный, закаленный в боях; послушав такие речи, он сказал:

— Я очень боюсь, что все это предприятие кончится так же, как известный рассказ о кувшине с молоком, при помощи которого один сапожник мечтал разбогатеть. Кувшин разбился, и он остался голодным. Чего вы добьетесь этими славными победами? Каков будет конец ваших трудов и походов?

— Конец будет таков, — отвечал Пикрохол, — что по возвращении мы как следует отдохнем.

Эхефрон же ему на это сказал:

— Ну, а если почему-нибудь не вернетесь?.. Ведь путь опасен и долг, Не лучше ли нам отдохнуть теперь же?

Эта изумительная сцена, отличающаяся смелым и вместе с тем тонким юмором, этот диалог, что течет полноводной и быстрой рекой, представляет собою одно из великолепных проявлений многообразного гения Рабле. Между тем идея и композиция сцены ему не

принадлежат. Он позаимствовал и то и другое у Плутарха *, который приводит в жизнеописании Пирра беседу эпирского тирана с Кинеасом.

Нужно прочитать оригинал, чтобы оценить многочисленные достоинства копии, чтобы почувствовать, если можно так выразиться, все своеобразие подражания. Позвольте, я вам прочту этот сам по себе превосходный отрывок из Плутарха. Если вы ничего не имеете против, мы возьмем французский перевод Жака Амио *, — во-первых, потому что он очень хорош, а во-вторых, потому что это даст вам возможность сравнить слог Рабле со слогом писателя, который пережил его ненамного и который, как и он, способствовал кристаллизации французского языка. Вот этот отрывок из Плутарха. Не бойтесь — отрывок небольшой. Прошу вас обратить внимание прежде всего на его сжатость и сравнить с отрывком из Рабле:

«Кинеас, которого Пирр посвящал во все свои самые важные замыслы, заметил, что государю не терпится начать войну с Италией, и однажды на досуге повел с ним такую речь:

— Ваше величество! Говорят, что римляне — отличные вояки и что им подчиняются многие храбрые и воинственные народы. Если, однако, по милости богов мы возьмем над ними верх, то что нам даст эта победа?

— Что ты спрашиваешь? — сказал Пирр. — Ведь это и так ясно. Когда мы поработим римлян, ни греки, ни варвары нам будут уже не страшны, но это еще не все: мы, нимало не медля, без труда завоюем всю остальную Италию, а ты знаешь лучше, чем кто-либо другой, какая это большая, красивая, богатая, могучая страна.

Немного помолчав, Кинеас спросил:

— А что мы будем делать после того, как захватим Италию?

Пирр, все еще не понимая, к чему тот клонит, сказал:

— Как тебе известно, Сицилия совсем рядом с Италией, — она, если можно так выразиться, сама плывет нам в руки. Это богатый, обильный, густо населенный остров, и захватить нам его будет очень легко, потому что все его города между собой враждуют; с тех пор

как Агафокл скончался, над ними нет начальника, одни только ораторы поучают народ, а их ничего не стоит склонить на нашу сторону.

— В ваших словах есть большая доля правды, — заметил Кинеас. — А все-таки, когда мы завладеем Сицилией, война кончится?

— Нет, это только начало, — возразил Пирр, — если бог поможет нам одержать эту победу и достигнуть своей цели, то мы тотчас же приступим к осуществлению еще более широких замыслов. В самом деле, кто бы на нашем месте удержался потом от похода в Африку и в Карфаген? Мы приберем их к рукам в мгновение ока. Ведь Агафокл, тайно покинув Сиракузы и с малочисленным флотом перейдя море, чуть было не захватил ее. Когда же мы все это завоюем и покорим, то, разумеется, никто из наших врагов, которые так нам теперь досаждают и так нас теснят, не посмеет поднять голову.

— Конечно, нет, — согласился Кинеас. — Не подлежит сомнению, что, настолько усилив свою мощь, мы без труда отвоюем Македонию и будем беспрепятственно повелевать всюю Грецией. Ну, а когда все это наконец будет нам подвластно, что мы будем делать?

Тут Пирр засмеялся и сказал:

— Мы как следует отдохнем, друг мой. Вот каково будет наше времяпрепровождение: что ни день, то праздник, приятные беседы, бурное веселье, пир горой.

Кинеасу только этого и надо было.

— А кто вам мешает, ваше величество, отдохнуть теперь же? — спросил он. — Давайте попируем на славу, благо мы все здесь налицо, а столь кровопролитный и столь опасный поход раз навсегда выкинем из головы. Иначе мы и себя и других обречем на неисчислимые мытарства и злоключения, а добьемся ли чего-нибудь — это еще неизвестно» (Плутарх, «Жизнь Пирра»).

Вот та прозрачная, тонкая струйка, которую поглотил бурный поток вдохновения Рабле. Лучшие стихи из «Послания королю» Буало также навеяны Плутархом:

«К чему стянул ты в порт войска, обоз, слонов
И почему твой флот к отплытию готов?» —

Так Пирру говорил слуга и друг надежный,
 Монарха пылкого советник осторожный.
 «На Рим, — ответил царь, — в поход собрался я».
 «Зачем?» — «Чтоб взять его». — «Прекрасна цель твоя.
 Лишь ты да Александр могли такой задаться.
 Но, Римом овладев, чем нам потом заняться?»
 «Латинян победить несложно будет нам».
 «Да, можно их разбить. И это все?» — «А там
 Сицилия совсем недалеко, и вскоре
 Захватим без труда мы Сиракузы с моря».
 «И путь окончим там?» — «С попутным ветром флот
 Я в Африку пошлю, и Карфаген падет,
 А уж тогда вперед я двинусь невозбранно».
 «Я понял, государь, — мы покорим все страны:
 Ливийские пески шутя пересечем;
 Египтян подчиним; арабов разобьем;
 В краях, где плещет Ганг, взвоются наше знамя;
 На Танаисе скиф разгромлен будет нами.
 Все полушарие склонится пред тобой.
 Но что же делать нам, придя с войны домой?»
 «Когда, довольные, с победой мы вернемся,
 То попируем власть и вдоволь посмеемся».
 «Не покидай Эпир! — воскликнул Кинеас. —
 Кто нам мешает здесь смеяться хоть сейчас?»¹

Это добросовестно сделанные, гладкие стихи. Но насколько же ярче и полнее картина Рабле, насколько в ней больше движения, жизни! Словом, насколько в этой прозе больше поэзии! Но обратимся к рассказу о великой пикрохольской войне.

Юный Гаргантюа, которого автор вновь и весьма кстати наделил гигантским ростом и посадил на нумидийскую кобылу, в кровопролитном бою разбил войско Пикрохола, причем павший в этом бою Пикрохолов военачальник Трипе испустил из себя более четырех горшков супу, а вместе с супом и дух. Так буквально сказано у автора. Подобные обороты речи могли сходиться с рук шуту. Философа же, который позволил бы себе в столь непочтительных выражениях говорить о бессмертной душе, поджарили бы как цыпленка. Рабле имел возможность сойти за дурачка. И он пользовался этим огромным преимуществом. Но — к делу.

Гаргантюа, приводя в порядок волосы после сражения, вычесал пушечные ядра, которыми в него стрелял неприятель, а за ужином проглотил вместе с салатом

¹ Перевод Ю. Корнеева.

целых шесть паломников. Добрый король Грангузье прославился в этой войне не столько победами, сколько своей гуманностью. Пикрохол в отчаянии бросился бежать по направлению к Иль-Бушару. Всеми покинутый, лишившийся своего коня, он решил было увести осла, стоявшего возле мельницы. Но мукомолы за себя постояли. Они избили его как собаку и раздели догола, а взамен дали какую-то ветошь. В таком виде поганый злюка зашагал дальше и, перейдя реку у Ланже, повстречал старую цыганку, поведал ей свои злоключения, и та предсказала, что королевство будет ему возвращено, когда рак свистнет. «С тех пор о Пикрохроле ни слуху ни духу, — замечает автор. — Слышал я, однако ж, что он теперь в Лионе, простым поденщиком и все такой же злюка, и кто ни приедет в Лион, он сейчас же с вопросом: не слышать ли, чтоб где-нибудь свистнул рак? Видно, не забыл он, что нагадала ему старуха, и все надеется вернуть свое королевство».

Так кончилась пикрохольская война. И представьте себе, что эта распря королей, эта жестокая борьба, в которой приняли участие и сказочные великаны, и прославленные полководцы, и невиданной храбрости монах, стоящий целого войска, ведется в одном из райских уголков Шинонского округа, в том уголке, где протекли детские годы Рабле. Но если полем битвы является родина автора, то не из этих ли краев и герои войны? Из этих самых, можете не сомневаться. Злой Пикрохол и добрый Гаргантюа — земляки брата Франсуа. Прообразом войны между Гаргантюа и Пикрохолом послужила вражда двух именитых шинонцев. Туреньский Пирр, гневливый и ненасытный король Пикрохол — это шинонский врач, которого на самом деле звали Гоше-де-Сент-Март. Его сын Шарль, впоследствии — один из приближенных королевы Наваррской, был человек умный и добрый, однако он не мог простить Рабле Пикрохола. А незлобивый и добродушный великан Грангузье, который греется после ужина у весело и ярко пылающего огня, чертит на стенках очага обгоревшим концом палки, коей размешивают угли, и, пока жарятся каштаны, рассказывает жене и всем домочадцам про доброе старое время, — это, вне

всякого сомнения, родной отец нашего автора, Антуан Рабле, шинонский адвокат и лицензиат прав. Вначале Франсуа задумал рассказать в шутливой форме о том, как Гоше повздорил с его отцом, но эта ссора соседней, эта история похищенных лепешек выросла у него в комическую эпопею, огромную, как «Илиада». Таково свойство Рабле — все, к чему бы он ни прикоснулся, приобретает исполинские размеры. Говорят, что точно таким же образом Мигель Сервантес задумал высмеять в «Дон Кихоте» одного идальго, на которого у него был зуб, а вместо этого создал целый мир, жизне-радостный и просторный. Итак, первая книга «Гаргантюа и Пантагрюэля» — это комическая поэма в духе «Налоя»*, в которой мелкие события и маленькие люди возведены шутки ради на высоту эпоса. Нужно ли ставить это автору в вину? Что в этом мире считать великим? И что считать малым? Все зависит от настроения наблюдателя и от тона рассказчика. Вы можете встретиться с утверждением, что Рабле дал в этой первой книге комическую историю своего времени, что Пикрохол — это Карл V, Гаргантюа — Франциск I, а нумидийская кобыла, — прошу прощения, — герцогиня д'Этамп. Не верьте. Все это чепуха. Несчастье великих писателей заключается в том, что они плодят тьму комментаторов, и те городят о них всякий вздор. Рассказывая о пикрохольской войне, Рабле делился с читателем воспоминаниями своего детства. Он рисовал только с натуры. Оттого-то его картины так правдивы и так интересны.

Брат Жан Зубодробитель — это, как мы уже говорили, тот юный монах из Сейе, с которым Рабле познакомился еще в детстве. Сделавшись одним из героев хроники, он оказал большую помощь Грангузье при защите его владений. Чтобы вознаградить монаха, добрый король выстроил на свой счет аббатство и назвал его не в честь какого-нибудь святого, а просто Телемским аббатством*, так как там каждый делал что хотел.

Этот эпизод дает возможность Рабле проявить свою любовь к искусству и свои познания в архитектуре. В противовес другим гуманистам той эпохи, в большинстве своем равнодушным к красоте форм и очаро-

ванию красок, он отличался не только острым умом, но и острым глазом, и его особенно интересовало зодчество, воскрешенное итальянским Возрождением, которое вдохновлялось Витрувием * и древними руинами. В Сенте он, наверно, любовался римским амфитеатром. В Телемском аббатстве с его шестью башнями по углам есть все же нечто готическое. Его архитектура описана подробно, его размеры указаны точно, так что можно было попытаться начертить его план. Этот опыт проделывался дважды: впервые — в 1840 году, Франсуа Ленорманом, и совсем недавно — Артюром Эларом. Между планами, поперечными разрезами и фасадами, которые были представлены этими двумя археологами, нет, разумеется, полного тождества, но есть несомненное сходство. Это доказывает, что слог Рабле ясен и точен, что он в совершенстве владел искусством описания. Таким образом, читая его книгу, мы можем довольно отчетливо представить себе Телемское аббатство. Это красивое здание во вкусе раннего французского Возрождения. Посреди двора мы видим фонтан, украшенный изображением трех Граций. Над главным входом — надпись: *Делай что хочешь*. Брат Франсуа, ненавидевший всякое принуждение, завел в этой выдуманной им обители устав, в котором все противоречит обычному укладу монастырской жизни, всему, что он видел и испытал в Фонтене. Женщины допускаются в Телемскую обитель наравне с мужчинами. Там все свободны, учтивы и богаты. Это три основных пункта. Выполнение первых двух зависит от характера самих телемитов. Выполнение третьего пункта обеспечено благодаря щедрости Грангузье. Он создал телемитам привольную жизнь, чтобы они могли заниматься свободными науками, изощряться в различных искусствах, весело и приятно беседовать. Рабле не нашел нужным указать, в какую сумму исчислялись богатства обители и как их расходовали. Если бы мы теперь вздумали представить план фаланстеры *, от нас бы потребовалась большая точность.

Считаем не лишним заметить, что монах, которого автор изобразил обжорой и пьяницей, — этот монах, составляя подробный план аббатства, забыл про кухни.

ВТОРАЯ КНИГА

Вторая книга, написанная, как полагают, раньше первой, начинается с рассказа о родословной и о рождении Пантагрюэля, сына Гаргантюа и Бадбек. Бадбек умерла от родов. Вот почему добрый Гаргантюа в промежутке между этими двумя событиями — рождением и смертью — ржал как жеребец и ревел коровой. Так выражается наш автор, — простим ему это. Он еще и не то себе позволял, милостивые государыни, — можете мне поверить.

Когда Пантагрюэлю пришло время учиться, он отправился в Пуатье и там оказал большие успехи. Однажды он отломил от скалы огромный камень, длинной, шириной и толщиной примерно в двенадцать туаз, и установил его среди поля на четырех столбах — «дабы школяры, когда им нечего делать, забирались туда с изрядным количеством бутылок, ветчины и пирожков, устраивали себе пир и ножичком вырезали на камне свои имена».

Здесь Рабле погружает нас в мир народных преданий. Народ приписывал прихоти великанов переноску этих неотесанных глыб; позднее их стали именовать друидическими, кельтскими, доисторическими, но так и не смогли объяснить их происхождение более убедительно, чем это сделал, пользуясь народным поверьем, Рабле по отношению к пуатьерскому камню, на котором в его времена пировали школяры.

Пантагрюэль в данный момент — великан, способный, как и его отец, проглотить вместе с салатом паломников. Дайте срок — и он станет человеком нормального роста, таким же, как мы с вами. Но дай бог, чтобы мы сравнялись с ним в мудрости! Ибо Пантагрюэль во всех случаях жизни проявляет одинаковое благоразумие и доброту.

Как-то раз после ужина, прогуливаясь со своими приятелями в Орлеане у городских ворот, Пантагрюэль повстречал студента, шедшего по парижской дороге, и, поздоровавшись с ним, спросил:

— Откуда это ты, братец, в такой час?

Студент же ему на это ответил:

— Из альмаматеринской, достославной и достохвальной академии города, нарицаемого Лютецией*.

На следующий вопрос Пантагрюэля студент ответил так:

— Мы трансфретируем Секвану поутру и ввечеру, деамбулируем по урбаническому перекресткусам.

Продолжая латинизировать, он так поясняет, из какой французской провинции он родом:

— Отцы и праотцы мои из регионов Лимузинских.

— Понимаю, — сказал Пантагрюэль, — ты всегoнавсего лимузинец, а туда же, суешься перенимать у парижан.

С этими словами добрый великан схватил его за горло и чуть не задушил.

Эпизод с лимузинским студентом — эпизод знаменитый. Канцлер Пакье упоминает о нем в своей книге «Исследования о Франции»:

«Мы должны прибегать к помощи греческого и латинского языка, но не для того чтобы без всякого смысла сдирать с них кожу, как это делал во дни нашей юности Элизен, которого наш славный Рабле так остроумно высмеял в лице лимузинского студента».

Очень может быть, что Рабле, как утверждает Пакье, высмеял некоего Элизена; возможно, что он попал в цель, но большого труда это ему не стоило. Речь лимузинского студента можно найти в книге, которую издатель Жофруа Тори напечатал по крайней мере за четыре года до выхода в свет второй книги «Панта-

грюэля». Среди студентов Парижского университета такие шутки, вне всякого сомнения, были очень распространены. Но мы уже знаем: Рабле, как и Мольер, черпал отовсюду. Великие сочинители в то же время великие похитители. По-видимому, без кражи в большого писателя не вырастешь. К сказанному необходимо добавить, что, взяв у Жофруа Тори эти *лациальные вербоцинации*, Рабле сам себя отхлестал, ибо в иных случаях он латинизирует не менее чудовищно, чем юный лимузинец. И у студента было еще то оправдание, что он — лимузинец: он знал только местный говор и школьную латынь. Мог ли он хорошо говорить по-французски?

Как-то раз, в Орлеане, местные жители обратились к Пантагрюэлю с просьбой поднять на колокольню громадный колокол, который они никак не могли сдвинуть. Юный великан шутя пронес его по улицам, позванивая как в колокольчик. Горожане, очарованные любезностью юного принца, улыбались ему. Но как же вытянулись у них лица на другой день, когда они обнаружили, что от этого звона прокисло все их вино! А ведь в те времена местное вино считалось божественным напитком. Здесь кстати будет вспомнить ненависть Рабле к колоколам. Он не мог простить им, что от них зависел распорядок его жизни в Фонтене и что они мешали ему читать греческих авторов. Можно сказать с уверенностью, что его антипатию разделяли тогда многие духовные лица. Философы XVIII века тоже без особого удовольствия слушали сердитое гуденье соборных колоколов. Андре Шенье, атеист по своим убеждениям, высказал в прекрасных стихах пожелание, чтобы над его гробом не раздавался заунывный звон колокольной меди. Его мольба была услышана*. Если не ошибаюсь, поэзию воздушных голосов колоколен и звонниц впервые открыли романтики. Шатобриан прославил поэзию колоколов. Его любовь к ним значительно уменьшилась бы, если б они его, как Рабле, будили по ночам.

Пантагрюэль, прибыв в Париж, не замедлил посетить библиотеку монастыря св. Виктора. Там он увидел книги, которым наш автор дает вымышленные,

смешные названия. Было потрачено немало труда на то, чтобы найти за ними подлинные произведения, но это не всегда удавалось. По-видимому, Рабле мегил главным образом в схоластов. Он был гуманистом; гуманизму же следовало убить схоластику, чтобы не быть убитым ею. Воздержимся, однако, приписывать Рабле те или иные добрые намерения, которых у него, возможно, не было вовсе. Он сам заранее посмеялся над своими комментаторами, которые захотят выставить его чересчур большим умником. Впрочем, он же говорил, что для того, чтобы добраться до костного мозга, нужно сперва разгрызть кость. Сколько поводов для сомнений! Начнешь их все разбирать — никогда не кончишь, а времени у нас мало. Некий голос взывает к нам, как в поэме Данте: «Взгляни — и мимо!» *

В Париже Пантагрюэль получил от своего отца Гаргантюа прекрасное письмо, которое дает возможность судить об успехах просвещения во Франции при Франциске I и живо представить себе отцов и детей, какими они были в то бурное время, когда возрождался человеческий разум:

«...Хотя блаженной памяти мой покойный отец Грангузье приложил все старания, чтобы я усовершенствовался во всех государственных науках, и хотя мое прилежание и успехи не только не обманули, а, пожалуй, даже и превзошли его ожидания, все же, как ты сам отлично понимаешь, время тогда было не такое благоприятное для процветания наук, как ныне, и не мог я похвастать таким обилием мудрых наставников, как ты. То было темное время, тогда еще чувствовалось пагубное и зловерное влияние готов, истреблявших всю изящную словесность. Однако, по милости божией, с наук на моих глазах сняли запрет, они окружены почетом, и произошли столь благодетельные перемены, что теперь я едва ли годился бы в младший класс, тогда как в зрелом возрасте я не без основания считался ученым из людей своего времени...

Ныне науки восстановлены, возрождены языки: греческий, не зная которого человек не имеет права считать себя ученым, еврейский, халдейский, латинский. Ныне в ходу изящное и исправное тиснение,

изобретенное в мое время по внушению бога, тогда как пушки были выдуманы по наущению дьявола. Всюду мы видим ученых людей, образованнейших наставников, обширнейшие книгохранилища, так что, на мой взгляд, даже во времена Платона, Цицерона и Папиниана было труднее учиться, нежели теперь, и скоро для тех, кто не понаторел в Минервиной школе мудрости, все дороги будут закрыты. Ныне разбойники, палачи, проходимцы и конюхи более образованны, нежели в мое время доктора наук и проповедники.

Да что говорить! Женщины и девушки — и те стремятся к знанию, этому источнику славы, этой манне небесной...

Вот почему, сын мой, я заклинаю тебя употребить свою молодость на усовершенствование в науках и добродетелях. Ты — в Париже, с тобою наставник твой Эпистемон; Эпистемон просветит тебя при помощи устных и живых поучений, Париж послужит тебе достойным примером. Моя цель и желание, чтобы ты превосходно знал языки: во-первых, греческий, как то заповедал Квинтилиан *, во-вторых, латинский, затем еврейский, ради Священного писания, и, наконец, халдейский и арабский, и чтобы в греческих своих сочинениях ты подражал слогу Платона, а в латинских — слогу Цицерона. Ни одно историческое событие да не изгладится из твоей памяти, — тут тебе пригодится любая космография. К свободным наукам, как-то: геометрии, арифметике и музыке, я привил тебе некоторую склонность, когда ты был еще маленький, когда тебе было лет пять-шесть, — развивай ее в себе, а также изучи все законы астрономии; астрологические же гадания и искусство Луллия (Раймонда Люллия) пусть тебя не занимают, ибо все это вздор и обман.

Затверди на память прекрасные тексты гражданского права и изложи мне их с толкованиями.

Что касается явлений природы, то я хочу, чтобы ты выказал к ним должную любознательность; чтобы ты мог перечислить, в каких морях, реках и источниках какие водятся рыбы; чтобы все птицы небесные, чтобы все деревья, кусты и кустики, какие можно встретить в лесах, все травы, растущие на земле, все металлы,

сокрытые в ее недрах, и все драгоценные камни Востока и Юга были тебе известны.

Затем внимательно перечти книги греческих, арабских и латинских медиков, не пренебрегая и талмудистами и кабалистами и с помощью постоянно производимых анатомий (вскрытий) приобрети совершенное познание мира, именуемого микрокосмом, то есть человека. Несколько часов в день отводи для чтения Священного писания: сперва прочти на греческом языке Новый завет и Послания апостолов, потом, на еврейском, Ветхий. Словом, тебя ожидает бездна премудрости. Впоследствии же, когда ты станешь зрелым мужем, тебе придется прервать свои спокойные и мирные занятия и научиться ездить верхом и владеть оружием, дабы защищать мой дом и оказывать всемерную помощь нашим друзьям, в случае если на них нападут злодеи. Я хочу, чтобы ты в ближайшее время испытал себя, насколько ты преуспел в науках, а для этого лучший способ — публичные диспуты со всеми и по всем вопросам, а также беседы с учеными людьми, которых в Париже больше, чем где бы то ни было.

Но, как сказал премудрый Соломон, мудрость в порочную душу не входит, и знание, если не иметь совета, способно лишь погубить душу, а потому ты должен почитать, любить и бояться бога, устремлять к нему все свои помыслы и надежды и, памятуя о том, что вера без добрых дел мертва, прилепиться к нему и жить так, чтобы грех никогда не разъединял тебя с ним.

Беги от соблазнов мира сего. Не дай проникнуть в сердце свое суете, ибо земная наша жизнь преходяща, а слово божие пребудет вечно. Помогай ближним своим и возлюби их, как самого себя. Почитай наставников своих. Избегай общества людей, на которых ты не желал бы походить, и не зарывай в землю талантов, коими одарил тебя господь. Когда же ты убедишься, что извлек все, что только можно было извлечь из пребывания в тех краях, то возвращайся сюда, дабы мне увидеть тебя перед смертью и благословить.

Гаргантюа».

Но вот появляется новый персонаж, любопытный тем, что это как бы человечество в миниатюре. Потребности у него большие, душа — мятущаяся, он изворотлив, общителен, испорчен от природы. Это — Панург. Пантагрюэль случайно увидел его, одетого в рубище и полумертвого от голода, на Шарентонском мосту. Панург попросил у него милостыни на арабском, итальянском, английском, баскском, нижнебретонском, староголландском, испанском, датском, еврейском, греческом, латинском и нижегерманском языках, и только потом — на французском. Это можно расценить как глупую выходку одного из тех умников, которые любят все усложнять. Нет, это просто милая шутка Рабле, без всякой задней мысли. Следует признать, что он не свел здесь концов с концами: любознательный и образованный Пантагрюэль не понимает у него Панурговой латыни, кстати оказать, вполне приличной. Но Рабле непременно надо было заставить Панурга изъясниться на всех существующих и несуществующих языках, прежде чем перевести его на родной, которым Панург владел превосходно, ибо вырос он в зеленом саду Франции. То есть — в Турени!

Приемы Панурга не оттолкнули Пантагрюэля, — напротив: проникшись внезапной симпатией к незнакомцу, он несколько поспешно предложил ему:

— Честное слово, если вы ничего не имеете против, я не отпущу вас от себя ни на шаг, и отныне мы с вами составим такую же неразлучную пару, как Эней и Ахат *.

Однажды Пантагрюэль, который, к счастью, был теперь уже не так велик, чтобы не пройти в любую дверь (мы знаем, что Рабле произвольно удлиняет и укорачивает его), объявил, что готов вступить в спор со всяким, кто пожелает. Этот род вызова на поединок был принят среди ученых. Пико де ла Мирандола * двадцати трех лет от роду диспутировал *de omni re scibili*¹. Столь же юный и не менее образованный Пантагрюэль вывесил девять тысяч семьсот шестьдесят четыре тезиса, которые он намеревался защищать.

¹ Обо всем доступном познанию (*лат.*).

И в течение полутора месяцев он с четырех часов утра и до шести вечера вел в Сорбонне ежедневные диспуты и тем приобрел широкую известность. В то время в парламенте разбиралось до того трудное и темное дело, что никто в нем ничего не мог понять. Судьи, окончательно сбитые с толку, решили обратиться за советом к ученому сорбоннику.

— Позовите сюда тяжущихся, — сказал Пантагрюэль.

Когда они явились, арбитр предоставил слово истцу, и тот начал следующим образом:

— Милостивый государь! Что одна из моих служанок отправилась на рынок продавать яйца — это сушая правда...

— Наденьте шляпу, — сказал Пантагрюэль.

— Покорно благодарю! — сказал истец.

Затем он продолжал:

— Так вот, она должна была пройти расстояние между тропиками до зенита на шесть серебряных монет и несколько медяков, поелику Рифейские горы обнаружили в текущем году полнейшее бесплодие и не дали ни одного фальшивого камня, и т. д. и т. д.

Уже по этому небольшому отрывку можно судить о запутанности дела.

Истец говорил еще долго, но так и не пролил света.

Ответчик проявил большую запальчивость, но дело от этого ясней не стало.

— Должен ли я терпеть, — с негодованием воскликнул он, — чтобы в то время, когда я спокойно ем суп, не замышляя и не говоря ничего худого, в мой дом являлись морочить и забивать мне голову всякими танцами-плясами, да еще приговаривали:

Кто суп кларетом запивает,
Тот слеп и глух, как труп, бывает¹.

Это было действительно сложное дело. Пантагрюэль, невзирая на те трудности, какие оно представляло,

¹ Перевод Ю. Корнеева.

разрешил его своей властью и вынес следующий до-
стопамятный приговор:

— Имея в виду, приняв в соображение и всесто-
ронне рассмотрев возникшее между двумя присутст-
вующими здесь сеньорами несогласие, суд постанов-
ляет: учитывая мелкую дрожь летучей мыши, храбро
отклонившейся от летнего солнцестояния, дабы поуха-
живать за небылицами, и т. д.

Приговор был столь же неясен, как и само дело.
Потому-то, конечно, он и показался справедливым
обеим сторонам, потому-то они и сочли себя вполне
удовлетворенными. Пантагрюэль же благодаря этому
стяжал себе заслуженную славу новоявленного Соло-
мона. Но обратимся к Панургу.

Когда Пантагрюэль повстречал его на Шарентон-
ском мосту, он возвращался из Турции, где неверные
посадили его на вертел, предварительно нашпиговав
салом, как кролика. По крайней мере так он уверял.
Еще он клялся, что своим чудесным избавлением он
обязан скорому помощнику и великому заступнику —
святому Лаврентию, хотя, как полагается, он и сам
немало способствовал совершению чуда своей собствен-
ной ловкостью. Он схватил зубами головешку и поджег
дом того паши, который его поджаривал и который те-
перь, почуяв гибель, стал призывать к себе на по-
мощь всех чертей и между прочим — Грильгота, Аста-
рота, Раппала и Грибуйля. Сидевшего на вертеле Па-
нурга объял великий страх: ведь он был нашпигован
салом, а черти рады схватить любого, от кого пахнет
салом, — особенно если дело происходит в пятницу или
сорокадневным постом, — кроме успевших получить
отпущение. Панург воспроизводит еще целый ряд сцен
из турецкой жизни. XVI век был менее учтив, чем
XVII. У Рабле турецкие сцены отдают более грубым
балаганом, чем у Мольера *. В наши дни, когда в Кон-
стантинополе заседает парламент, все эти турки из ста-
рой комедии перекочевали в музей вымысла. И каким
холодом веет от этого застекленного и снабженного
ярлычком вымысла!

Панург был мужчина лет тридцати пяти, среднего
роста, не высокий, не низенький, с крючковатым,

напоминавшим ручку от бритвы носом, в высшей степени обходительный, впрочем подверженный одной болезни, о которой в те времена говорили так: «Бездежье — недуг невыносимый». Со всем тем он знал шестьдесят три способа добывания денег, из которых самым честным и самым обычным являлась незаметная кража, и был он озорник, шулер, кутила, гуляка и жулик, каких и в Париже немного.

А в сущности чудеснейший из смертных. Словом, человек как человек.

Вечно он строил каверзы полицейским и ночному дозору. Если он видел в церкви сидящих рядом мужчину и женщину, он их пришивал друг к другу. Однажды он пришил ризу священника к его же сорочке, и тот, после службы, стащил с себя и то и другое, к великому смущению присутствующих. В то время в церквях имели обыкновение ставить хорошо известные любителям древности большие медные блюда с вычеканенным на них орнаментом, с изображениями Адама и Евы или ханаанского винограда. Правоверные католики, при папе Льве X покупавшие индульгенции (известно, что Рим продавал их тогда в большом количестве), клали туда свою лепту. Если у Панурга с деньгами обстояло плохо, он покупал индульгенции. Это была для него сплошная выгода, ибо на блюдо он клал мелкую монету, а сдачи брал крупную.

— Вы обрекаете себя на вечные муки, как змея-искуситель, — говорил ему Рабле (в этом эпизоде с индульгенциями выступает сам автор). — Вы — вор и святотатец.

Но Панург, ссылаясь на божественные слова: «Сторицей воздастся вам», напротив, хвастал тем, что поступает по евангельскому завету. Честь изобретения этого хитроумного способа принадлежит, однако, не ему, ибо в одном из поучений Эразма мы читаем: «Есть люди, столь преданные Приснодеве, что, делая вид, будто кладут лепту, на самом деле они ловко тащат то, что положил другой».

Как и Пантагрюэль, Панург принял участие в сорбоннских диспутах. Диспутировал он с одним английским ученым; спор их отличался от обычных споров

тем, что велся молча, знаками. Панург разбил своего противника. Эта победа создала ему имя в Париже; ему открыто воздавали хвалу; он стал желанным гостем в обществе; успех вскружил ему голову, и он влюбился в одну знатную даму. Явившись к ней в дом, он обратился к ней с такими словами, которые я, право, не могу здесь привести. К счастью, в этом нет необходимости; достаточно вам сказать, что любовные речи Панурга сжаты и энергичны, что в них он прямо идет к намеченной цели. Даму возмутила подобная неделикатность.

— Наглец! — воскликнула она. — Как вы смаете обращаться ко мне с подобными предложениями? Да знаете ли вы, с кем разговариваете? Убирайтесь вон! Чтoб духу вашего здесь не было!

Панург не унимался, тогда дама сказала, что позoвет слуг и велит избить его до полусмерти.

— О нет! — возразил Панург. — Это вы на словах такая сердитая, или меня обманывает ваше лицо. Скорее земля вознесется на небо, а небо низринется в преисподнюю, и во всей природе произойдет полный переворот, чем в такой красивой и изящной женщине, как вы, найдется хоть капля желчи... Вы так ослепительно, так необыкновенно, так божественно красивы, что природа, должно думать, одарила вас подобною красотой как некий образец, желая показать нам, на что она способна, когда захочет обнаружить все свое могущество и уменье. Вы — мед, вы — сахар, вы — манна небесная. Это вам должен был присудить Парис золотое яблоко, а не Венере, не Юноне и не Минерве, ибо Юнона никогда не была столь величественна, Минерва — благоразумна, а Венера — столь изящна, как вы. О, небесные боги и богини! Блажен тот, кому вы позволите...

Тут Панург со свойственной ему точностью выразил свое истинное намерение, но дама бросилась к окну звать соседей.

— Я сам за ними сбегаяю, — сказал Панург.

На другой день он подошел к ней в церкви, стащил у нее четки и устроил так, что собаки испортили ей платье. Недостойная месть! Таковы любовные похождения

ния Панурга — их никак нельзя назвать благородными.

Тем временем Пантагрюэль получил известие, что отец его Гаргантюа унесен в страну фей, что в его королевство Утопию вторглись дипсоды и под предводительством своего короля Анарха осадили столицу. Юный принц тотчас же отправился в Дипсодию, отстоящую весьма далеко от Шинонского округа, ибо она находится в Южной Африке. Подобные странности у Рабле нередки, но мудрый не должен ничему удивляться.

Вам, конечно, известно, что название «Утопия» Рабле взял у Томаса Мора, назвавшего так выдуманный им остров и сделавшего его местопребыванием общества, лучшего, чем то, в котором он жил. Утопия Томаса Мора — это царство социализма; это осуществленный на практике коллективизм. Все блага являются там общим достоянием, — блага, но не жены: каждый ревниво охраняет свою. Истинная любовь — лишь в браке, прелюбодеяние карается смертью. Такова райская мечта советника короля Генриха VIII. Правда, чтобы избежать по возможности несчастных браков, сэр Томас Мор разрешает помолвленным осмотреть друг друга без покровов, в присутствии матроны или патриарха... Но нам незачем изучать здесь цивилизацию Утопии, поскольку Рабле перенес в свою книгу лишь название острова, а не его нравы, и поскольку нет ничего общего между Утопией английской и Утопией французской, представляющей собой шуточную Утопию. О, тут нам меньше всего придется заниматься социальными вопросами!

Пантагрюэль, высадившись в Утопии, собрал своих сподвижников, Панурга, Эпистемона, Эвсфена и Карпалима, и с присущей ему осмотрительностью предложил:

— Давайте обсудим, что нам делать, дабы не уподобиться афинянам, которые сперва действовали, а потом уже совещались.

Снова превратившись в сказочного великана, Пантагрюэль встретил в Утопия достойного противника в лице военачальника Вурдалака, чья палица весила девять тысяч семьсот квинталов два квартерона и

оканчивалась тринадцатью алмазными острями, из коих самое маленькое превосходило по величине самый большой колокол Собора Парижской богородицы. Прежде чем помериться силами с военачальником Вурдалаком, сын Гаргантюа поручил себя воле божией и дал обет, что если он выйдет с честью из этого ужасного положения, то велит проповедовать у себя в королевстве святое евангелие так, чтобы оно доходило во всей своей чистоте, простоте и подлинности, и искоренит ересь, посеянную в умах папеларами. Обычно великаны — язычники; Пантагрюэль — христианин. Он называет себя католиком, но он — за Реформацию, и еще неизвестно, кого он называет папеларами. Боюсь, что это правоверные католики, подчинившиеся папской власти. Вурдалак и его великаны были разбиты и уничтожены. Но Пантагрюэль понес тяжелую утрату: его верный Эпистемон был обезглавлен в бою. Как ни странно, оказалось, что это беда поправимая. Панург, в котором мы прежде не замечали способностей к хирургии, смазал голову и шею убитого какой-то мазью, приладил голову к туловищу — вена к вене, сухожилие к сухожилию, позвонок к позвонку, сделал стежков пятнадцать — шестнадцать и слегка смазал по шву воскресительной мазью. Вдруг Эпистемон вздохнул, потом открыл глаза, потом зевнул, потом чихнул.

— Он здоров, — объявил Панург, который, по-видимому, не так уж гордился этим чудесным исцелением.

Эпистемон заговорил слегка хриплым голосом. Он сказал, что видел чертей и запросто беседовал с Люцифером. Он уверял, что черти — славные ребята, и выразил сожаление, что Панург слишком рано вернул его к жизни.

— Мне было весьма любопытно глядеть в аду на грешников, — признался он.

— Да что вы говорите! — воскликнул Пантагрюэль.

— Обходятся с ними совсем не так плохо, как вы думаете, — продолжал Эпистемон, — но только в их положении произошла странная перемена: я видел, как Александр Великий чинил старые штаны, — этим он кое-как зарабатывал себе на хлеб. Ксеркс торгует на улице горчицей, Ромул — солью.

И далее наш автор продолжает наделять античных героев, бретонских и французских рыцарей и всех государей Европы каким-нибудь механическим или ручным ремеслом. Папа Юлий, «папа Джулио», который при жизни велел Микеланджело изобразить его с мечом в руке, в аду торгует с лотка пирожками. Он уже не носит своей длинной холеной бороды. Клеопатра торгует луком, а Ливия чистит овощи. Пизон крестьянствует, Кир превратился в скотника, Брут и Кассий — в землемеров, Демосфен — в винодела, Артаксеркс — в веревочника, Эней — в мельника, Фабий нанизывает бусы, Ахилл захирел, Агамемнон стал блюдолизом, Одиссей — косцом, Нестор — бродягой, Анк Марций — конопатчиком... Этот список тянется бесконечно, как голодный день. К несчастью, в большинстве случаев трудно уловить какую-нибудь связь между персонажем и его положением, а если случайно и удается, то тем хуже, ибо тогда замечаешь, что это всего лишь непристойная игра слов, комичное столкновение звуков. Наш Франсуа, у которого, вообще говоря, глубоких мыслей больше, чем у всех его современников вместе взятых, любит порой весь отдать в власть божественного дара — не думать ни о чем. Это находит на него внезапно, точно благодать. Тогда он нанизывает слова, как четки. О, блаженный автор! Как это хорошо, ах, как это хорошо!

— Я видел Эпиктета, одетого со вкусом, по французской моде, — продолжал Эпистемон, — под купой дерев он развлекался с компанией девиц — пил, танцевал, а возле него лежала грудка экию с изображением солнца... Увидев меня, он предложил мне выпить, я охотно согласился, и мы с ним хлопнули по-богословски. Я слышал, как мэтр Франсуа Вийон спрашивал Ксеркса, почему горчица. «Один денье», — отвечал Ксеркс. Вийон обозвал его негодяем и осыпал бранью за то, что он вздувает цены на продовольствие.

Помимо «Божественной Комедии» Данте, средние века оставили немало рассказов о путешествиях в иной мир. Некоторые из них Рабле, несомненно, знал, но из этих христианских легенд он не почерпнул ничего. Основные черты и самый дух своей маленькой поэмы о

загробном мире он позаимствовал у одного из древних писателей, своего любимца. Единственным образцом послужили ему «Разговоры мертвых» Лукиана. Вот где нашел он эти перемены в положении героев, ** перемены, которые так изумляют и восхищают Эпистемона. У Лукиана философ Менипп, отвечая на вопрос Филонида, рассказывает о своей прогулке в царство мертвых.

Филонид

Скажи, Менипп: тех, в честь кого на земле воздвигнуты дивные памятники, колонны, статуи с надписями, в аду тоже отличают от большинства мертвецов?

Менипп

Ты шутишь, дорогой мой. Если б ты увидел, что сам карийский царь Мавзол, знаменитый своей гробницей, бесславно лежит в углу вместе со всеми прочими, ты бы, наверное, хохотал до упаду. Но ты бы, конечно, лопнул от смеха, если б увидел, что цари и сатрапы там нищенствуют, торгуют по бедности солониной, что учителей там оскорбляют все, кому не лень, что их бьют как последних рабов. Я не мог удержаться от смеха при виде Филиппа Македонского: примостясь в уголке, он чинил за гроши старую обувь. Многие стоят на перекрестках и просят милостыню — разные там Ксерксы, Дарии, Поликраты...

Филонид

Ты рассказываешь о царях какие-то необыкновенные, невероятные вещи. А что подельывают Сократ, Диоген и другие мудрецы?

Менипп

Сократ прогуливается и со всеми беседует. С ним Паламед, Одиссей, Нестор и другие болтливые мертвецы. Ноги у Сократа опухшие — все еще действует яд. Отважный Диоген оказался соседом ассирийца Сарда-напала, фригийца Мидаса и некоторых других богачей. Когда они начинают стонать при воспоминании о былом благополучии, он хохочет, — он всегда в отличном расположении духа. Чаще всего он ложится на спину и поет громким, хриплым, диким голосом, заглушая

жалобы этих несчастных. Его пение наводит на них такую тоску, что они порешили переселиться подальше от Диогена, только чтобы избавиться от такого ужасного соседства.

Какая разница между оригиналом и копией, какой контраст! Рабле ничем себя не ограничивает, он забывает остановиться. Он забавляется. Он играет словами, как дети камешками: он складывает их в кучки. Его отличают роскошь, изобилие, по-детски звонкое веселье, не сознающая себя огромная сила. Изысканность, мера, порядок свойственны его образцу. Стиль Лукиана стремителен, строг, немногословен. В переводе, лишаящем его гармонии родного языка, он выглядит сухим. Но чувствуется, что он отполирован, как ноготь. Если бы обстояло иначе, греки не были бы греками.

Одно из самых неожиданных, парадоксальных и вместе с тем самых веских и убедительных доказательств гениальности Рабле как раз и заключается в том, что он, прекрасно зная, постоянно перечитывая Лукиана и подражая ему, так далеко отходит от своего излюбленного образца. Он черпал отовсюду — на это его толкала эпоха. Но он бессознательно переделывал на свой лад все, к чему бы ни прикоснулся.

У короля Анарха примерно та же судьба, что и у Пикрохола. Панург, взяв в Плен этого злосчастливого Анарха, женил его на старой фонарщице. Пантагрюэль подарил молодоженам домишко в глухом переулке и каменную ступку для приготовления соуса. Из Анарха получился один из самых бойких продавцов зеленого соуса, каких только знала Утопия.

После того как Анарх попал в плен, из всех народов Утопии одни лишь альмироды все еще не сдавались. Пантагрюэль во главе своего войска двинулся на них. В открытом поле войско застигла гроза, хлынул проливной дождь. Пантагрюэль высунул язык наполовину и накрыл им всех воинов. «Тем временем, — сообщает Рабле, — я, рассказчик правдивых этих историй, укрылся под листом лопуха. Когда же я увидел, как хорошо они защищены, я было направился к ним, но их столько набилось под языком, что я не нашел себе ме-

ста; тогда я вскарабкался наверх и, пройдя добрых две мили, в конце концов забрался в рот к Пантагрюэлю. Но боги и богини, что я там увидел! Я увидел высокие скалы, — по-видимому, это зубы, — обширные луга, дремучие леса и большие укрепленные города, вроде нашего Лиона или Пуатье. Первый, кого я там встретил, был один добрый человек, сажавший капусту. Я очень удивился и спросил: «Что ты, братец, делаешь?» «Сажая капусту», — отвечал он».

Это опять из Лукиана. Задолго до того как брат Франсуа исследовал рот великана, Лукиан открыл целый мир в чреве кита. Он сообщает, что путешественники, проглоченные чудищем, увидели в его утробе старика и юношу, насаждавших сад. «Старик, — читаем мы у греческого писателя, — взял нас за руки и привел в свое жилище, которое он сумел сделать довольно удобным. Здесь он угостил нас овощами, фруктами, рыбой, вином».

Вторая книга «Гаргантюа и Пантагрюэля», развивающая основные мотивы первой и, быть может, кое в чем ей уступающая, хотя и тут есть великолепные места, обрывается на том эпизоде, где Пантагрюэль очищает себе желудок. Судить о достоинствах примененного им метода предоставляется врачам. Сам эпизод, на мой взгляд, не очень забавен. Станем ли мы порицать за это Рабле? О нет! Пантагрюэль — это целый мир, со своими землями, океанами, растениями и животными. Немудрено, что отбросы и навоз встречаются здесь наряду с изобильем цветов и плодов.

ЖИЗНЬ РАБЛЕ (Продолжение)

«Гаргантюа» и «Пантагрюэль», вышедшие в виде лубочных книжонок с грубыми гравюрами на дереве, очень понравились и читались нарасхват: за короткий срок они выдержали несколько изданий. Но богословы метали громы и молнии. В ту пору они были весьма воинственно настроены. В 1533 году родная сестра короля, добрая королева Наваррская, была оклеветана, подвергнута оскорблениям, ей грозили виселицей и

костром, ее позорили на подмостках наваррского школьного театра. Принадлежащая ее перу книга «Зерцало грешной души», суровая, назидательная, проникнутая духом аскетизма книга, вызывала негодование. Тогда недостаточно было быть просто набожным — надо было быть набожным по-сорбонски. Сорбонна запретила «Пантагрюэля» заодно с «Рощей любви» — книгой, которую я, признаться, никогда не читал. Давно уже Франция не переживала таких подлых времен. В Париже и Руане беспощадно жгли еретиков. Простонародье находило, что их еще мало сжигают. Ветер жестокости и злобы дул снизу, он исходил от черни, рукоплескавшей пыткам и опьянявшейся запахом горелого мяса. Король не был злым по натуре. Он отнюдь не обнаруживал склонности к фанатизму. Это был ветреник, занятый исключительно амурными делами и смелыми похождениями, любивший искусство и словесность и оказывавший покровительство ученым и художникам, насколько это ему позволяли легкомыслие и эгоизм; перед бурной волной монашеской и народной ярости он чувствовал себя бессильным и робким. Но личный интерес — стремление защитить свою независимость от посягательств папы — толкал его к осторожной, умеренной, роялистской по духу реформе французской церкви. Внезапно, в октябре 1534 года, смелый выпад реформатов *, безрассудная дерзость так называемых сакраментариев отбросили его в лагерь палачей.

Восемнадцатого октября в Париже, а также в некоторых других городах и даже в королевском покое были развешены в высшей степени злобные пасквили на таинство евхаристии. Франциск I был возмущен и испуган. С этого дня он предоставил богословам полную свободу действий. Повсюду запылали костры. Одно время он думал даже запретить книгопечатание. Писать на религиозные темы было крайне опасно, а тогда всякая тема считалась религиозной или имеющей отношение к религии. Не следует думать, однако, что автору запрещенного «Пантагрюэля» грозила неминуемая смерть на костре. Напротив, среди подозрительных он подвергался наименьшей опасности. Подобно Бруту в Тарквиниевом Риме *, Франсуа Рабле в своих книгах

притворялся дурачком и мог позволить себе то, что человеку, слывшему здравомыслящим, безнаказанно никогда бы не прошло. Его «Гаргантюа» и «Пантагрюэль» сходили за отверженные истиной, но безобидные шутки, которые следовало запретить лишь в интересах приличия и хорошего тона. К тому же мэтр Франсуа состоял лекарем при епископе Парижском. Мы помним, что в Бометской обители наш юный монах свел знакомство с двумя весьма важными и весьма влиятельными особами, происходившими из родовитой анжуйской семьи, — братьями Гильомом и Жаном дю Белле. Так вот, в 1534 году Рабле состоял на службе у Жана дю Белле, епископа Парижского, которого король направлял теперь с посольством в Рим.

Необходимо сказать несколько слов об этом прелате, чье покровительство было столь ценным для нашего автора. Жан дю Белле еще в юности поразил Парижский университет обширностью своих духовных и светских познаний. Искушенный в диалектике, привыкший выступать публично, в спорах он не уступал самым упрямым богословам. Лучшие умы церкви охотно принимали участие в диспутах. На всех городских перекрестках они вывешивали тезисы, которые намеревались защищать, — совсем как юный Пантагрюэль, выставивший девять тысяч семьсот шестьдесят четыре тезиса сразу и «затронувший наиболее спорные вопросы в любой из наук». Мягкий, любезный, красноречивый, Жан дю Белле до сих пор с неизменным успехом выполнял поручения своего короля. Посланный в Англию к Генриху VIII, он сумел добиться его расположения, за что по приезде во Францию получил парижскую епархию. В 1533 году он присутствовал в Марселе при подписании соглашения между папой Климентом VII и королем Франциском I, — соглашения, направленного против французских реформатов. Он пользовался одинаковым доверием как папы, так и Генриха VIII, и потому, когда понадобилось выхлопотать развод для английского короля, выбор пал на него. Он выехал вместе со всеми своими домочадцами. Проезжая через Лион, он встретил там брата Франсуа Рабле, которого знал

когда-то бометским послушником, и из любви к греческому языку взял его к себе в лекари.

Радуясь возможности объехать землю Италии, взрастившую одну из прекраснейших цивилизаций в мире, страну, где античная культура восстала от долгого сна, Рабле заранее мечтал о том, как он будет беседовать с учеными, изучать топографию Рима и собирать растения, каких нет во Франции.

Епископ со своей свитой выехал в Италию в январе 1534 года, а так как дурная погода и неотложные дела заставляли его торопиться, то он лишь ненадолго останавливался в тех городах, через которые лежал его путь. Рабле начал изучать Рим вместе с двумя своими любознательными спутниками — поэтом и королевским библиотекарем Клодом Шапюи и юристом Никола Леруа, робким лютеранином. Вообще у него было немало приятелей с еретическим душком. Рабле предпринял подробное описание Вечного Города, который он изучил теперь до последнего vicolo¹, но потом оставил этот труд, узнав, что за него взялся миланский антикварий Марлиани и благополучно довел до конца.

Тем временем Жан дю Белле напрасно проявлял всю гибкость своего ума и рассыпал цветы красноречия. Заручиться поддержкой кардиналов в деле английского короля ему не удалось. Он говорил хорошо, если верить Рабле, — лучше самого Цицерона, тем не менее брак короля Генриха VIII консистория все-таки не признала законным. И это вызвало тот самый раскол, который длится донныне *. Не принимая непосредственного участия в переговорах, Рабле, однако, присутствовал на том совещании, когда папа и священная коллегия обсуждали этот сам по себе несложный, но чреватый важными последствиями вопрос. Он им живо заинтересовался: современные события возбуждали его любопытство не меньше, чем греческие, римские и еврейские древности.

Пятнадцатого апреля посольство было уже в Лионе. Рабле издал здесь топографический труд Марлиани с латинским посланием епископу Жану дю Белле, в ко-

¹ Переулочек (*итал.*).

тором он в самых изысканных выражениях благодарит своего хозяина и покровителя.

«Чего я больше всего желал с тех пор, как составил себе некоторое представление об успехах изящной словесности, — пишет он в своем достойном Цицерона послании, — это объехать Италию и посетить главу мира — Рим. Благодаря твоей несказанной доброте желание мое исполнилось, и мало того, что я был в Италии, что уже само по себе драгоценно, но я был там вместе с тобой, ученейшим из людей, когда-либо живших в подлунном мире, и самым великодушным, за что я еще не воздал тебе достойной хвалы. Да, мне дороже видеть тебя в Риме, чем видеть самый Рим.

Видеть Рим — это счастье, которое может выпасть на долю всякого состоятельного человека, если только он не лишен рук и ног. Но какая радость видеть в Риме тебя, приветствуемого громом неслыханных рукоплесканий! Какая честь быть причастным к делам благородного посольства, во главе которого наш непобедимый король Франциск поставил тебя! Какое блаженство находиться возле тебя, когда ты произносишь речь перед священной коллегией о деле королевы английской!»

Жан дю Белле снова отправился в Италию в июле 1535 года, а вместе с ним и Франсуа Рабле. 18 июля они были в Карманьоле, 22-го — в Ферраре. Здесь посол прибегнул к помощи своего лекаря; он чувствовал недомогание, и езда на почтовых, по его словам, сильно утомляла его. Во Флоренции, где им пришлось остановиться, мэтр Франсуа и премилая компания его любознательных спутников любовались живописным местоположением города, архитектурой собора, величественными храмами и дворцами. Они наперебой выражали свой восторг по поводу всего этого великолепия, так что амьенский монах Бернар Обжор в запальчивости и раздражении наконец воскликнул:

— Не понимаю, какого дьявола вы все здесь так хвалите! Я осмотрел город с не меньшим вниманием, чем вы, да и зрение у меня не хуже вашего. И что же? Красивые дома, только и всего! Но, да будут мне свидетелями сам бог и святой Бернар, мой покровитель, я еще

не видел ни одной харчевни, а ведь я все как есть вы-смотрел и выглядел... Ходим, ходим мы тут с вами, осматриваем, осматриваем, а в Амьене мы прошли бы втрое, вчетверо меньше, и я бы уже вам показал около пятнадцати старых, аппетитно пахнувших харчевен. Не понимаю, что за удовольствие глазеть возле башни на львов и тигров или на дикобразов и страусов во дворце Строщи. Честное слово, други мои, я предпочел бы увидеть хорошего, жирного гусенка на вертеле. Вы говорите, этот порфир и мрамор прекрасны? Не спорю, но, на мой вкус, амьенские пирожки лучше. Вы говорите, эти античные статуи изваяны превосходно? Верю вам на слово, но, клянусь святым Фереолем Аббевильским, наши девчонки в тысячу раз милее.

Стоит ли указывать, что это дословная цитата из Рабле? Не думайте, что брат Бернар Обжор толкует о мраморных львах и тиграх, — нет, он имеет в виду животных из княжеского зверинца. Итальянские вельможи держали диких зверей в своих дворцах. На рисунке Джованни Беллини, хранящемся в Лувре, изображены хищники, сидящие на цепи в подвалах роскошного дворца эпохи Возрождения.

К середине августа Жан дю Белле прибыл в Рим, и здесь его посвятили в кардиналы. Несмотря на обилие важных и трудных дел, он все же находил время для поисков древностей. Он купил виноградник близ Сан-Лоренцо ин Палисперна, между Виминальским и Эсквилинским холмами, чтобы произвести там раскопки. Один римский кардинал подарил ему прекрасный античный пест. Но этот подарок, сделанный иностранцу, вызвал в Риме такую бурю негодования, что дю Белле вынужден был вернуть пест смотрителю Капитолия.

В то время, как и теперь, дворцы Вечного Города были украшены обломками античного мрамора, бронзы, яшмы, порфира. Вельможи ставили их у себя во дворце, в саду, на крыльце, у входа в залы. Юный француз Андре Теве (впоследствии — известный космограф), приехавший в Рим, когда там находилось посольство Жана дю Белле, бродил по городу, жадным и восхищенным взором впиваясь в скульптуры. И вот однажды, когда любопытство завлекло его во двор, а потом и в

сады одного вельможи и он углубился в созерцание руин славного прошлого, слуги, дурно истолковав причину его появления в чужом доме, приняли его за шпиона. Дело могло принять для юного Теве дурной оборот, если бы в разговоре с хозяином он не сослался на Рабле. Тот обрисовал его вельможей как страстного путешественника и любителя древностей. С этого дня перед соотечественником Рабле открылись двери всех римских домов. Один этот факт показывает, каким влиянием пользовался лекарь кардинала дю Белле среди итальянской знати.

Рабле посещал в Вечном Городе духовных лиц, приезжавших с Востока. Епископ Керамский дал ему несколько уроков арабского языка; злоупотребляя доверчивостью своего ученика, не отличавшегося, впрочем, особой наивностью, он старался убедить его в том, что шум нильских водопадов слышен на расстоянии более чем трехдневного пути, то есть примерно на таком же расстоянии, как от Парижа до Тура.

В мире духовенства Рабле не занимал определенного положения. Из боязни «нечистой силы», как он выражался, а вернее, чтобы извлекать как можно больше пользы из своих знатных покровителей, он подал папе прошение *pro apostasia*¹. В нем он, признав, что оставил монастырь и скитался по свету, испрашивает у святейшего владыки полного и окончательного отпущения грехов, а также позволения вновь стать бенедиктинцем, вернуться в тот монастырь бенедиктинского ордена, где бы его охотно приняли, и с разрешения своих духовных начальников и единственно из любви к ближнему, а не ради наживы, заняться лечебной практикой, ибо, по его словам, он имеет степени бакалавра, лиценциата и доктора медицины; при этом заниматься медициной он намерен в пределах, предусмотренных для монахов канонами, то есть не применяя железа и огня.

Заметим между прочим, что в то время у Рабле была лишь степень лиценциата, но не доктора медицины, хотя по своим знаниям и способностям он имел на нее полное право.

¹ В извинение своего отступничества (*лат.*).

Просьба его была удовлетворена, о чем папа Павел III Фарнезе объявлял ему в своем послании от 17 января 1536 года — второго года его понтификата. Послание составлено в самых лестных для Рабле выражениях:

«Принимая в рассуждение твое усердие в религии, науке и литературе, твою примерную жизнь и поведение, все твои заслуги и добродетели, мы, тронутые твоими мольбами, отпускаем тебе грехи...» и т. д.

Этот текст ни в коем случае не следует рассматривать как выражение истинного отношения его святейшества к автору «Пантагрюэля». Это обычный канцелярский стиль. Более ощутительным, чем признание его заслуг и добродетелей, для брата Франсуа должно было быть то, что папа, против обыкновения, бесплатно и безвозмездно предоставил ему право составлять индульгенции. На его счет относилось лишь снятие и засвидетельствование копии, то есть, как непочтительно выражался сам Рабле, мзда референдариям, поверенным и прочим подобным бумагомааракам.

В Риме Рабле вел переписку с любезным епископом Майзейским, Жофруа д'Этисаком, — от нее сохранилось несколько писем. 29 ноября 1535 года он извещал епископа о том, что посылает ему для его сада в Лигюже лучших неаполитанских семян, какие его святейшество сажает в своем недоступном для посторонних саду в Бельведере. Он посылает ему также бедренца. Других лекарственных растений он не присоединяет к этому потому, что считает их слишком грубыми и менее полезными для желудка, чем те, которые можно найти в Лигюже. Трогательно это настойчивое желание мэтра Франсуа украсить сады, в которых он, бедный монах, гулял когда-то, и снабдить овощами того, за чьим столом он сидел и у кого он скрывался от преследования «нечистой силы». Он дает советы, когда лучше сажать посланные семена и как ухаживать за растениями. Он предлагает послать также александрийских гвоздик, особые виды фиалок и еще одной травы, при помощи которой итальянцы освежают летом свои комнаты и которая у них называется *belvedere*. «Но, — прибавляет он, — это скорей для госпожи д'Этисак». Он

имеет в виду юную Анну де Дайон, жену племянника епископа, Луи д'Этисака. За это он просит несколько экю. Посол французского короля жил очень бедно. Легко себе представить, что лекарь посла жил еще бедней. Рабле вечно сидел без денег — это был его недуг, и те чувства, какими он в связи с этим наделяет Панурга, он испытал сам. Он охотно обращается с денежными просьбами к сильным мира сего, считая, что этим он им же оказывает честь.

Однажды он написал епископу Майзеейскому: «Если с деньгами у меня будет туго, я обращусь к Вашей помощи». Что он и сделал спустя несколько дней: «Я принужден снова прибегнуть к Вашей помощи, ибо тридцать экю, которые Вам угодно было послать мне сюда, почти подходят к концу. А между тем я ничего из них не истратил ни на прихоти, ни на свою утробу, ибо столуюсь я у кардинала дю Белле или у г-на де Макона. Но на всякие депеши, на мебель и одежду уходит много денег, хотя я и так уж стараюсь расходовать их как можно экономнее. Если Вы соблагovolите прислать мне переводный вексель, то я надеюсь употребить его с пользой для Вас и не остаться в долгу. С Кипра, Крита и из Константинополя сюда привозят множество дешевых и редкостных вещей. Если вы ничего не имеете против, я пришлю Вам и вышеупомянутой г-же д'Этисак то, что мне покажется наиболее подходящим. Провоз отсюда до Лиона ничего не будет стоить».

Заметим тут же, что мэтр Франсуа щедро расплачивался с монсеньером д'Этисаком. Я уже не говорю о редкостных вещицах, под которыми, очевидно, надо разуметь янтарные четки, медные подносы, пестрые ткани и вышивки наших восточных базаров, о неаполитанских семенах, салате и овощах, но епископ Майзеейский давал ему еще ответственные поручения в римскую курию, и Рабле отлично с ними справлялся. Так утверждает один из первых биографов нашего автора, Кольте. Наконец Рабле держал своего корреспондента в курсе всего, что совершалось в Риме и во всем христианском мире, а в эпоху, когда о делах общественных узнавали не иначе, как из частных писем, это было осо-

бенно ценно. В христианском мире тогда как раз происходили важные события, и Рабле, не имея возможности распутать интриги, которые плелись в Италии, был, однако, довольно хорошо осведомлен о том, как эти события развивались. Что же касается французского короля, то тут у Рабле были свои особые источники информации, и, если верить слухам, он не всегда отличался необходимой в подобных делах скрытностью. Карл V, совершивший в этом году поход в Тунис и с победой вернувшийся в Сицилию, готовился к завоеванию Франции и строил Пикрохоловы планы. Его приверженцы, зная, что пророчества иной раз влекут за собой осуществление возвещаемого, наперебой предсказывали успех замысла императора, — книга, полная подобных прорицаний, вызвала сильное волнение в Риме. Один ее экземпляр Рабле послал епископу Майезейскому. «Я лично не придаю ей никакого значения, — пишет он ему, уведомляя о посылке. — Но в Риме только и разговору, что об этих хвастливых предсказаниях».

Карла V ждали в Риме, но он все сидел в Неаполе, заключая союзы, набирая войско и накапливая деньги. Рабле, сообщив епископу Майезейскому о том, что император отложил свой приезд до конца февраля, прибавляет:

«Будь у меня столько же экю, сколько дней отпущения папа соизволил бы дать тому, кто задержал бы этот приезд лет на пять, на шесть, я был бы богаче самого Жака Кера *».

Чувства, какие испытывал тогда святейший владыка, понять нетрудно. Рим был только что разграблен, лишен всех своих богатств. Казалось, если император и его рейтары ринутся сюда, от несчастного города не останется камня на камне.

«Рим готовит ему пышную встречу, — продолжает Рабле. — Папа распорядился провести новую дорогу, по которой тот войдет сюда. Чтобы проложить и выровнять эту дорогу, понадобилось разрушить и снести более двухсот домов и то ли три, то ли четыре церкви, что иные почитают за дурное предзнаменование».

Император тем временем подходил к Риму, и карди-

нал дю Белле уже не чувствовал себя здесь спокойно. Услужливые люди советовали ему остерегаться яда и кинжала. Считая, что его жизнь в опасности, он решил спастись бегством и распространил через врачей слух о том, что головная боль удерживает его в постели, а сам сел на коня и один — через Романью, Болонью, Монтекалиери — бежал во Францию. Слуги кардинала в течение двух дней не подозревали об его отъезде. Рабле, осведомленный, без сомнения, не лучше других, соединился со своим хозяином уже в Париже.

В это время Карл V, стремясь осуществить давно лелеемую мечту, перешел Вар и с пятидесятитысячным войском вторгся в Прованс, между тем как его сторонники, войдя во Францию с севера, захватили Гиз, осадили Перону и двигались на Париж. Епископ Парижский, кардинал Жан дю Белле, указом от 21 июля 1536 года назначенный наместником короля, трудился, как некогда епископ Синезий в Пентаполе *, над укреплением обороны своей резиденции. Это была трудная задача, так как крепостные стены Парижа никуда не годились. На этот счет мы имеем авторитетное указание в «Пантагрюэле». В XV главе второй книги сказано, что Панург, окинув эти стены презрительным взглядом, заговорил о них с насмешкой.

— О! — воскликнул он. — Это очень крепкие стены, — для защиты только что вылупившихся гусят лучше не придумаешь! Но, клянусь бородой, такому городу, как этот, они могут сослужить плохую службу. Корова хвостом махнет — и более шести брасов такой стены тотчас же рухнет наземь.

— Друг мой, — возразил Пантагрюэль, — знаешь ли ты, что ответил Агесилай, когда его спросили, почему великий лакедемонский город не обнесен стеною? Указав на его жителей и граждан, искусенных в ратном искусстве, сильных и хорошо вооруженных, он воскликнул: «Вот стены города!» Этим он хотел сказать, что самая крепкая стена — это рука воина и что нет у городов более надежного и крепкого оплота, чем доблесть их обитателей и граждан. Так же точно и этот город силен своим многочисленным и воинственным населением и в ином оплоте не нуждается, К тому же если б

кто и захотел обнести его стеной наподобие Страсбурга, Орлеана или же Феррары, то все равно не смог бы этого сделать, — так велики были бы издержки и расходы.

— Пожалуй, — согласился Панург, — а все-таки, когда враг подступает, не вредно надеть на себя этукую каменную личину, хотя бы для того, чтобы успеть спросить: «Кто там?»

Кардинал дю Белле, проводя в жизнь мудрые правила Панурга, старался надеть на Париж каменную личину, дабы достойно встретить имперцев. Он воздвиг земляной вал с валгангами и запасся провиантом.

Но угроза, нависшая над Парижем, отпала сама собой: имперская армия, подточенная голодом и дизентерией, рухнула. Осада Пероны была снята, и почти одновременно Монморанси вынудил Карла V отойти на противоположный берег Вара. Можно быть уверенным, что перед лицом этих событий Рабле не оставался безучастным: он горячо любил Францию и своего короля, военная слава отчизны будила в его душе могучий отзвук.

Епископ Парижский являлся настоятелем бенедиктинского аббатства Сен-Мор-де-Фосе. Мы знаем, что Рабле добился от папы разрешения вернуться в тот монастырь бенедиктинского ордена, где бы его охотно приняли. Сен-морские иноки пустили его к себе, и он поселился у них на положении простого монаха. Но Сен-Морское аббатство по ходатайству настоятеля-кардинала было только что возведено папой в ранг капитулярных, а монахи получили звание каноников. На Рабле это, по-видимому, не распространялось впредь до особого папского указа. Покинуть же Сен-Мор — это означало, по его собственному признанию, покинуть рай. Рай, целебный для здоровья, — утверждал он, — уютный, тихий, полный утех и невинных радостей земледельческого труда и деревенской жизни. Мы ничего не знаем о судьбе его прошения, да это нам и неинтересно. Подобно Еве, Рабле не мог долго продержаться в раю: он был для этого слишком любопытен.

Когда он опять приехал в Париж, книгоиздатель гуманист Этьен Доле, привлекавшийся к судебной ответственности по делу об убийстве, но помилованный ко-

ролем, желая отпраздновать это событие, устроил пир и созвал на него цвет ученых, литераторов и поэтов: его гостями были Гильом Бюде, Дане, Тусен, Макрен, Бурбон, Вульте, галльский Вергилий — Клеман Маро* и Франсуа Рабле, получивший приглашение как великодушный врач. Имена гостей и темы разговоров увековечены самим Этьеном Доле в латинских стихах. Беседа шла о знаменитых писателях, коими гордились иностранцы: об Эразме, Меланхтоне, Бембо, Садолетто, Вида, Джаккомо Саннадзаро, и каждое из этих имен встречалось шумными изъявлениями восторга. Если только античная муза Этьена Доле не преувеличивает возвышенного характера беседы, то этот пир можно назвать пиром мудрецов, а та оргия, в которой они приняли участие, была, выражаясь языком одного греческого поэта, бесстрастной оргией мысли.

Вскоре после этого празднества Рабле отправился в Монпелье и там 22 мая 1537 года получил степень доктора — степень, которую он присвоил себе еще раньше, хотя и по праву, ибо все нас убеждает в том, что он был очень хороший врач. Ботаник, анатом, кулинар, — словом, подлинный эрудит, он, как рассказывает его ученый друг Сюсано, одним своим веселым, спокойным, приветливым и открытым взглядом ободряюще действовал на больного, что являлось существенным моментом в учении Гиппократ и Галена.

В 1537 году он вновь поселился в своем любимом Лионе, но тут у него произошла неприятность, о которой нам почти ничего не известно. Его письмо к какому-то итальянскому другу попало в руки турнонского кардинала, и тот, усмотрев в нем почему-то предосудительную нескромность, переслал его канцлеру дю Буру с припиской, свидетельствующей о его недоброезательном отношении к лекарю Жана дю Белле.

«Милостивый государь, — доносит кардинал, — из при сем прилагаемого письма Раблезуса в Рим Вы увидите, какие новости сообщает он одному из самых мерзких распутников, каких только можно там встретить, Я велел ему никуда не выезжать из города (то есть из Лиона), пока не последует на то Вашего соизволения. И если бы в указанном письме не говорилось обо мне

и если бы он не ссылался на покровительство, оказываемое ему королем и королевой Наваррской, я посадил бы его в тюрьму — в назидание всем вестовщикам. Буду ждать Ваших предписаний, а Вас прошу представить это дело королю в том виде, в каком Вы найдете нужным».

Что бы ни говорил турнонский кардинал, Рабле все же находился на службе у кардинала Жана дю Белле, королевского посланника, а следовательно, у самого короля; он не был близок ко двору королевы Наваррской, но, возможно, что в своем письме он упоминает об этой отзывчивой государыне, щите и ограждении нуждающихся и преследуемых гуманистов. Один из ее приближенных отзывается о ней как о прибежище и оплоте всех страждущих. Мы не знаем, насколько основательна была жалоба турнонского кардинала; достоверно одно — печальных последствий для Рабле она не имела, и в 1538 году он уже сопровождает Франциска I в Эг-Морт и присутствует при переговорах императора с королем, в конце концов склонивших последнего на сторону испанской католической партии, что очень огорчило гуманистов, ибо все они в большей или меньшей степени были сторонниками Реформации и увлекались Лютером, внося в это увлечение чисто французскую легкость. Действиями же примирившихся Франциска I и Карла V руководила с тех пор беззаветная преданность римской ортодоксии.

В конце июля 1538 года Рабле со своим королем вернулся в Лион.

Теперь пора осветить один долгое время оставшийся неизвестным и тем не менее достоверный факт его личной жизни. У Франсуа Рабле от одной жительницы Лиона, о которой мы ничего не знаем, был сын, получивший при крещении имя Теодюля, что значит — боголюбивый. Надо думать, что это имя дал ему отец, — Рабле никогда не упускал случая выразить свою любовь к всемогущему богу. Он любил его как философ, как последователь Платона и наперекор священнослужителям. Он не видел ничего позорного в том, что у него есть ребенок, всем решительно показывая своего маленького Теодюля, и тот нередко сиживал на коле-

нях у кардиналов, на их пурпурной мантии. Князья церкви не могли сурово отнестись к монаху, который в конце концов покорствовал велениям плоти не больше, чем они. Достаточно назвать кардинала Жана дю Белле, связанного своего рода брачными узами с дважды овдовевшей сестрой того самого турнонского кардинала, чей ярый гнев навлек на себя мэтр Франсуа Теодюль, которого ласкали князья церкви, умер двух лет от роду. Друг Рабле Буасоне, юрист и поэт, посвятил этому рано оставившему свет младенцу целый веночек латинских элегий, дистихов, одиннадцатисложников и ямбов. Вот эти маленькие стихотворения, по форме являющиеся подражанием греческой антологии и вместе с тем проникнутые христианским настроением, Я привожу их в переводе Артюра Элара, кое-где чуть-чуть мною подправленным:

О ТЕОДУЛЕ РАБЛЕ, СКОНЧАВШЕМСЯ ДВУХ ЛЕТ ОТ РОДУ

Ты спрашиваешь, кто лежит в этой могилке? Маленький Теодюль. Он и в самом деле мал по годам, у него маленькая головка, глазки, ротик, и тельце совсем детское. Но он велик по отцу, ученому и просвещенному, искушенному во всех искусствах, которые надлежит знать доброму, благочестивому, порядочному человеку. Если бы рок продлил жизнь маленькому Теодюлю, он унаследовал бы дарования отца и в один прекрасный день из малого стал бы великим.

ТЕОДУЛЮ РАБЛЕ, СКОНЧАВШЕМСЯ ДВУХ ЛЕТ ОТ РОДУ

Зачем ты нас так рано покинул, Рабле? Зачем ты отказался от радостей жизни? Зачем ты так скоро увял, не дожив даже до ранней юности? Зачем ты предпочел безвременную кончину?

ОТВЕТ

Я ухожу из жизни, Буасоне, не потому, чтобы она была мне постыла; я умираю — чтобы не умереть никогда. Я верую, что только жизнью во Христе должны дорожить праведники.

ДИСТИХ

(Ему же)

Твой пример, Теодюль, показывает нам, что тех, кто, как ты, младенцем ушел от нас на небо, воистину возлюбил господь.

ДИСТИХ

Меня зовут Теодюль, что значит — раб божий, и я молюсь о том, чтобы у вас было такое же имя и такая же душевная сущность, как у меня.

ДИСТИХ

Тот, кто лежит в этой тесной могиле, при жизни был близко знаком с князьями римской церкви.

ДИСТИХ

Его родной город — Лион, его отец — Рабле. Кто не знает ни Лиона, ни Рабле, тот не знает двух самых необыкновенных в этом мире явлений.

ЯМЫ

Боясь стать рабом человека, желая быть послушным лишь всемилостивому и всемогущему богу, ибо от добра добра не ищут, я двух лет от роду покидаю смертных и улетаю на небо.

Христианский платонизм этих стихов может нам теперь показаться искусственным, но тогда он никого не задевал. Философия, не меньше чем одежда и прическа, подвластна моде; самая верная примета места и времени — это понятие об абсолютном и бесконечном. Ведь даже вечность мы рисуем себе каждый по-своему, в своем вкусе. У абстрактного, как и у конкретного, есть свои краски. Чтобы уловить дух времени и манеру того или иного автора, мы охотно прибегаем к сопоставлениям, к сравнениям. Вот почему после латинских стихов Буасоне я позволю себе привести небольшое стихотворение на ту же тему, появившееся двести

с лишним лет спустя, — элегию Андре Шенье на смерть младенца. Насколько латинская муза старого тулузского юриста чопорна и торжественна, настолько французская муза потомка Санти Ломмаки * гибка, грациозна и трогательна.

НА СМЕРЬ МЛАДЕНЦА

Как быстротечен был, дитя, твой век земной!
Ты жил одну весну, увидев свет весной,
И, словно сон, исчез; и памятью хранимы
Лишь имя милое да образ твой незримый.
Прощай, дитя! От нас пришлось тебе уйти
Туда, откуда нет обратного пути.
Не видеть нам тебя в те дни, когда желтеют
Колосья на полях, а города пустеют.
Нет, не увидим мы, как шаловливо ты
В родительских полях мнешь травы и цветы,
Которыми холмы на пажитях Люсьены *,
Чуть только стает снег, венчают нимфы Сены.
Коляска скромная, приют забав твоих,
Влекумая рукой заботливых родных,
Уже не исследит ни луг, ни склон прибрежный.
Твой взгляд и лепет твой, беспомощный и нежный,
Не будут нам дарить волнений и утех,
И не раздастся наш обрадованный смех
В ответ на то, как звук, произнесенный нами,
Ты тщишься повторить румянными устами.
Прощай до встречи там, где ждет покой всех нас,
Куда так рвется мать тебе вослед сейчас¹.

Андре Шенье

В 1537 году брату кардинала дю Белле, Гильому дю Белле, сеньору де Ланже, на время отсутствия маршала д'Анбо были переданы полномочия королевского наместника в Пьемонте. Французский король только что без труда покорил эту страну — трудность заключалась в том, чтобы удержать ее в своих руках. Ланже предстояло укрепить оборону Турина, которому угрожали имперцы; учредить в этом городе парламент, долженствовавший применять французские законы; оказать содействие судопроизводству, привести в порядок крепостные сооружения во всех замках и городах и

¹ Перевод Ю. Корнеева.

доставить из Франции масло, бакалейные товары, соленую рыбу на время поста, а также лекарства, которых был лишен Пьемонт.

Мэтр Франсуа, вызванный в 1540 году в Турин, был приставлен в качестве лекаря к вице-королю, испытывавшему острую необходимость в его помощи: Ланже в ту пору перевалило за пятьдесят, он был очень изнурен, а непосильный труд окончательно подорвал его расстроенное здоровье.

Наш пантагрюэлист, обладавший универсальными знаниями, оказывал своему хозяину и другого рода услуги. Он был его посредником в переговорах с учеными. В частности, он переписывался с законоводителем Жаном Буасоне, латинские стихи которого я только что вам цитировал, с Гильомом Бюде и Гильомом Пелисье, епископом Нарбоннским, позднее — епископом Монпельерским, а в данное время — послом французского короля в Венеции. Мы располагаем двумя письмами этого прелата к Рабле, от 23 июля и от 17 октября 1540 года, написанными в дружеском непринужденном тоне. Во втором письме речь идет о еврейских и сирийских манускриптах и греческих книгах, которые французский посол желал приобрести. Пелисье просил монаха-эллиниста употребить все свое влияние, чтобы эта сделка состоялась. Мы не знаем, какое содействие оказал ему Рабле, но переговоры закончились удачно для посла, и приобретенные им восточные манускрипты доныне составляют украшение наших государственных книгохранилищ.

Мэтр Франсуа, которого глубоко уважал сам епископ Монпельерский, по-видимому, из-за своей болтливости снова попал в беду. В ужасе от того, что он натворил, Рабле, как безумный, помчался через Альпы во Францию; его видели в Шамбери: он совсем потерял голову и не знал, куда направить путь. Нам неизвестно, в чем именно заключался проступок Рабле, но он безусловно был не таким тяжким, как это ему представлялось, ибо в марте 1541 года мэтр Франсуа уже вернулся в Турин, снова вошел в милость к вице-королю и по-прежнему стал получать деловые письма от посла французского короля в Венеции.

За три года неустанного труда Ланже укрепил оборону Пьемонта, но, измученный подагрой, обессиленный, усталый, способный, по его выражению, служить королю лишь мозгом и языком, он вышел в отставку и был перенесен на носилках к себе на родину. Этот одаренный и храбрый человек умер 9 января 1543 года в Сен-Симфорьене, у подножья горы Тарар, между Лионом и Роаном. Рабле, присутствовавший при его кончине, сообщает нам, что и перед смертью этот выдающийся полководец продолжал думать о будущем королевства: «Часа за три — за четыре до его кончины мы еще слушали его бодрые, спокойные, вразумительные речи, в которых он предсказывал то, что частично потом сбылось и чему еще суждено сбыться, хотя в то время его пророчества казались нам странными и совершенно невероятными, ибо тогда ничто еще не подтверждало правильности его предсказаний».

После смерти Ланже бумаги его не были обнаружены. Подозревают, что их похитил немец-слуга, хотя вряд ли он разбирался в их ценности. На вопрос о том, куда могли исчезнуть бумаги, Рабле ответил, что он и не думал их искать, будучи уверен, что они заперты в дорожных сундуках.

В завещании Ланже мы читаем:

«Item¹ вышеупомянутый съёр завещатель желает и приказывает, чтобы докторам съеру Рабле и мессиру Габриэлю Тафенону, помимо их жалованья и наградных, были выплачены следующие суммы: вышеупомянутому Рабле выдавать пятьдесят турецких ливров в год до тех пор, пока наследники завещателя не предоставят ему или не исхлопочут место священника с ежегодным доходом в триста турецких ливров; вышеупомянутому Тафенону выплатить пятьдесят эку одновременно».

Предполагаю, что именно во исполнение этого завещания Рене дю Белле, епископ Манский, брат Гильома и Жана дю Белле, пожаловал Рабле приход св. Христофора Манской епархии, однако бывший лекарь Ланже в нем не жил, хотя доходами с него пользовался.

Рабле навсегда сохранил о своем покровителе бла-

¹ А также (*лат.*).

годарную память. В своей четвертой книге, которую нам скоро предстоит изучать, он усматривает в кончине доброго рыцаря Гильома дю Белле все то великое, возвышенное, таинственное и страшное, что увидел Плутарх в смерти гениев, героев и самого Великого Пана. Один из самых мудрых героев Рабле произносит полную преувеличений речь, в которой он утверждает, что, пока Ланже был жив, Франция благоденствовала и все ей завидовали, а после его кончины в течение многих лет все смотрели на нее с презрением. Наконец Рабле написал на латинском языке книгу о великих деяниях Ланже, а другой приближенный этого сеньора, Клод Массюо, перевел ее на французский и выпустил под заглавием: «Стратagemы, то есть подвиги и военные хитрости отважного и достославного рыцаря Ланже в начале третьей имперской войны. Лион. Себ. Гриф 1542». Ни латинского оригинала, ни французского перевода не сохранилось.

К этому времени относится полный разрыв отношений между Этьеном Доле и Франсуа Рабле, причем, возможно, не Этьен был тут главным виновником. Когда этот издатель, весьма подозрительный по части ереси, вновь выпустил «Пантагрюэля», сохранив в нем все то, что могло вызвать раздражение сорбонщиков, становившихся все более неистовыми и свирепыми, Рабле испугался, да ему и было чего бояться: он подвергался реальной опасности. Этот сумасброд Доле дал повод упрекнуть его в том, что, будучи неосторожен по отношению к себе самому, он столь же неосторожно поступал по отношению к другим; дал повод обвинить его в том, что он задался целью скомпрометировать, разоблачить, подставить под удар своего друга. Не удивительно, что Рабле поспешил отмежеваться от опасного издателя. Рабле был осторожен, он боялся костра. «Меня подогревать не нужно, я достаточно горяч от природы», — говорил он. Кто же его за это осудит? Как раз в это время Рабле готовил новое сокращенное издание «Пантагрюэля», и он предпослал ему написанное от лица издателя письмо (хотя стиль его выдает), в котором прямо заявляет, что Доле «из корыстолюбия похитил один экземпляр этой книги, находившейся еще в

печати». Обвинение необоснованное. Доле мог воспользоваться любым из старых изданий, а если бы он обманным путем добыл себе листы нового, исправленного и сокращенного издания, чтобы снять с них копию, то и его издание оказалось бы исправленным и сокращенным. Рабле от имени издателя прибавил, что Доле — чудовище, «созданное, чтобы докучать и досаждать порядочным людям». Очевидно, Рабле не отличался особой пронизательностью, если ему пришлось потратить десять лет на то, чтобы в этом убедиться. Ссора мэтра Франсуа с Этьеном Доле — печальное, но обычное явление. Будь то гуманизм, интеллектуальная и нравственная свобода, справедливость или какое угодно другое благородное устремление — вначале единый мощный порыв охватывает всех. Защитники одного и того же дела, строители одного и того же здания объединяются, поддерживают, воодушевляют и вдохновляют друг друга; бремя великого начинания благодаря этому становится легче, и все дружно поднимают его на плечи. Потом — усталость, заминка. Настают тяжелые времена распрей, взаимных упреков, споров, смут. Не будем слишком строги к Рабле. Он был прежде всего человек, и оттого, что он обладал прекрасными душевными свойствами, он становился еще более восприимчивым, беспокойным и раздражительным. Неуклюжий Доле толкнул его к самой тюрьме, к костру; он поселил страх в его душе. Увы, мы становимся злыми от страха!

Милостивые государыни и
милостивые государи!

Сегодня мы с вами продолжим изучение самого великого человека из тех, кого выдвинула Франция в свой величайший век. Но прежде позвольте мне поблагодарить вас за ваше неизменное сочувствие к лектору, который заслужил его разве только своими намерениями и стараниями.

Среди вас находится человек, у которого больше прав на эту кафедру, чем у меня. Но он ее скоро займет. Чтобы послушать его, я с ним поменяюсь местами, и все будет в порядке. А пока что я низко кла-

няюсь писателю, который ныне поддерживает давнюю честь испанской литературы, который придал роману напряжение, свойственное драме, и широту эпопеи, который славится и как писатель, и как оратор, который распространяет по всему миру благие мысли.

Милостивые государыни и милостивые государи! Я думаю, что выражаю не только свои, но и ваши чувства, приветствуя в этом здании Бласко Ибаньеса *.

Мой друг Сеньобос, профессор истории в Сорбоннском университете, говоря об одной моей исторической работе, в самых мягких выражениях упрекнул меня в том, что пробелы, имеющиеся в документах, и недостаточную нашу осведомленность в некоторых областях я прикрываю сжатостью повествования и стройностью композиции. Такого лестного упрека моя книга не заслуживала; эти беседы не заслуживают его и недавно. Разрушительное действие времени и людская беспечность привели к тому, что в биографии Рабле образовалось множество дыр, и я не берусь их заштопать. На всем ее протяжении мы встречаем пробелы. Эти пробелы занимают почти все то пространство, которое нам осталось пройти.

После смерти доброго рыцаря мы теряем из виду мэтра Франсуа, а затем на короткое время снова встречаем его в Орлеане, в доме и за столом у Этьена Лорана, сеньора де Сент-Э, которого он знал, когда тот еще служил под командой Ланже и был одним из туринских военачальников. Сент-Э вел по поручению французского короля тайные переговоры, ревностно блюдя его интересы. В 1545 году он пригласил Рабле к себе в замок, возвышавшийся на покрытом виноградниками холме, на берегу Луары, между Меном и Орлеаном. У подножья холма протекал источник, возле которого наш автор, как говорят, любил работать. Показывали даже круглый каменный стол, за которым он сидел. Этьен Лоран, находившийся на службе у короля, видимо, охотно окружал себя учеными людьми, сторонниками Реформации. Таков был, например, Антуан Юле, которому Рабле послал из Сент-Э письмо, по счастливой случайности дошедшее до нас: в нем творец пантагрюэлизма на философическом языке приглашает

его в гости к бывшему сподвижнику Ланже. Он старается соблазнить его рыбой, политой превосходным местным вином. Рабле, без сомнения, любил покушать, но помните, что, когда он говорит о пиршествах, чаще всего он имеет в виду пиршество муз и что прославляемое им вино — это вино мудрости. В заключение, зовя Антуана Юле разделить трапезу Лорана и расхваливая рыбу, которой тот будет их потчевать, Рабле пишет: «Вы приедете не тогда, когда Вам захочется, а когда Вас приведет сюда сам всемогущий, праведный и милосердный бог, сотворивший отнюдь не пост, а уж, конечно, салат, селедку, треску, карпа, шуку, окуня, умбрину, уклеюку и т. д., item хорошие вина, в частности то, которое берегут к Вашему приезду как некий святой Грааль *», а также еще одну эссенцию, то есть квинтэссенцию. Ergo veni, domine, et noli tardare»¹.

В 1545 году Рабле получил от Франциска I разрешение на печатание третьей книги «Пантагрюэля», и в следующем году она вышла под названием: «Третья книга героических деяний и речений доброго Пантагрюэля, сочинение мэтра Франсуа Рабле, доктора медицины и калогера Иерских островов. Автор просит благосклонных читателей подождать смеяться до семьдесят восьмой книги».

Первая книга появилась в 1532 году, вторая — около 1534, одиннадцать лет назад. За этот долгий промежуток времени автор утерял тонкую нить своего повествования. Никакие узы, если можно так выразиться, не связывают этой третьей книги с предыдущими, и, однако, когда Рабле уже в зрелом возрасте снова берется за роман, он как бы вспоминает давно минувшие дни Фонтене-ле-Конт и охотно проводит те же идеи, какие он и судья Тирако развивали под сенью лавровой рощи, беседуя о женщинах и о браке. В самом деле, третья книга на три четверти заполнена весьма пространными и весьма забавными расспросами Панурга, может ли он удачно жениться.

Если вам угодно, мы будем вместе перелистывать эту чудесную третью книгу, самую разнообразную,

¹ Итак, гради, господи, не медли (лат.).

быть может, самую прекрасную, самую богатую комическими сценами во всем «Пантагрюэле». Но сперва мы должны вспомнить, что год 1546, ознаменовавшийся выходом в свет этого сверкающего и жизнеутверждающего творения, был годом тягостным и мрачным. Король Франциск I, запуганный и больной, уже не давал отпора жестоким притязаниям Сорбонны и парижского парламента. Преследователи мысли беспощадно расправлялись с гуманистами, философами, учеными, поэтами, со всеми, кто, признавая необходимость церковной реформы, хоть сколько-нибудь сочувствовал Лютеру. Клеман Маро бедствовал в изгнании; Бонавантюр Деперье * покончил с собой; Этьен Доле был повешен и сожжен на костре на площади Мобер в Париже; в Мо, колыбели наиболее умеренных реформатов, пылало четырнадцать костров. И вот в этой удушливой атмосфере, пропитанной отвратительным запахом горелого мяса, раздавался благодетельный голос мудрого шута. Откроем же эту третью книгу, заранее сожалея о том, что не сможем насладиться ею вполне.

ТРЕТЬЯ КНИГА

В самом начале третьей книги автор, возобновив после долгого перерыва свой рассказ о великих деяниях доброго Пантагрюэля, показывает нам, как сын Гаргантюа наводит порядок в только что покоренной им стране. Он переселяет в Дипсодию колонию утопийцев, а Панургу назначает во владение землю Рагу. Но Панург плохо справляется с делами; вскоре он уже наделал массу долгов, но это его ничуть не беспокоит. Как говорит Фантазио: * «Если не платить долгов, так это все равно что не иметь их вовсе». Панург гораздо умнее его: он не только мирится с положением должника, он им восторгается и гордится, он строит на собственном примере целую теорию общественного кредита, устанавливает свой особый философский взгляд на человека и природу.

— Долги — это как бы связующее звено между небесами и землей и между самими людьми, — утверждает он. — Представьте себе мир, где бы никто никому не был должен и никому ничего не давал. В подобном мире тотчас нарушится правильное течение небесных светил. Вместо этого полнейший беспорядок... Луна нальется кровью и потемнеет. С какой радости солнце будет делиться с ней своим светом? Оно же ей ничем теперь не обязано... В таком выбитом из колеи мире, где ничего не должны, ничего не дают взаймы, вы явитесь свидетелем более опасного бунта, нежели изображенный Эзопом в его притче... Возмущенная душа

отправится ко всем чертям... И наоборот: вообразите мир, где каждый дает займы, каждый берет в долг... Какая гармония воцарится в стройном движении небесных сфер! Какое согласие установится между стихиями! Как усладится природа всем, что она создала и взрастила! Церера предстанет отягченной хлебными злаками, Бахус — вином, Флора — цветами, Помона — плодами. Среди смертных — мир, любовь, благоволение, взаимная преданность, отдых, пиры, празднества, радость, веселье...

Пантагрюэль не проникся остроумными доводами Панурга.

— Если б вы проповедовали и разглагольствовали до самого троицына дня, — сказал он ему, — все равно вы, к своему изумлению, ни в чем бы меня не убедили... Ваши долги я беру на себя, но чтобы этого больше не было!

Пантагрюэль — щедрый, чудесный король, но он враг безрассудного мотовства.

Освобожденный от долгов, Панург, видя, что молодость уходит, задумал жениться и обратился за советом к своему повелителю Пантагрюэлю, так как без его согласия он действовать не решался.

— Согласие я свое даю и советую вам жениться, — сказал Пантагрюэль.

— Да, но если вы считаете, — возразил Панург, — что мне лучше остаться на прежнем положении, то я предпочел бы не вступать в брак.

— Коли так — не женитесь.

— Да, но разве вы хотите, чтобы я влачил свои дни один-одинешенек, без подруги жизни? Вы же знаете, что сказано в писании: «Veh soli»¹. У холостяка нет той отрады, что испытывает человек, нашедший себе жену,

— Ну, ну, женитесь с богом!

— Но если жена наставит мне... Сами знаете: нынче год урожайный.

— Ну так не женитесь, ибо изречение Сенеки спрavedливо и исключений не допускает: как сам ты поступал с другими, так, будь уверен, поступят и с тобой.

¹ «Горе одинокому» (лат.).

— Да, но если я все-таки не могу обойтись без жены, как слепой без палки, то не лучше ли мне связать свою судьбу с какой-нибудь честной и скромной женщиной?

— Ну так женитесь!

— Но если бог захочет, чтобы жена меня била, то мне придется быть смиреннее самого Иова *, разве только я тут же не взбешусь от злости.

— Ну так не женитесь.

— Да, но если я останусь одиноким, неженатым, то никто обо мне не позаботится и не создаст мне так называемого домашнего уюта. А случись заболеть, так мне всё станут делать шиворот-навыворот. Мудрец сказал: «Где нет женщины, — я разумею мать семейства, законную супругу, — там больной находится в весьма затруднительном положении...»

— Ну так женитесь себе с богом.

— Да, но если я заболею и не смогу исполнять супружеские обязанности, а жена не только не будет за мной ухаживать, но еще и посмеется над моей бедой и, что хуже всего, оберет меня, как это мне не раз приходилось наблюдать?

— Ну так не женитесь.

— Да, но в таком случае у меня никогда не будет законных сыновей и дочерей, которым я имел бы возможность передать мое имя, которым я мог бы завещать свое состояние и с которыми я мог бы развлечься, как ежедневно на моих глазах развлекается с вами ваш милый, добрый отец.

Прообраз этого забавного совещания мы находим уже в средневековой литературе, а впоследствии оно было воспроизведено Мольером в его комедии «Брак поневоле». Можно ли держаться умней, нежели мудрый Пантагрюэль? Бывают удачные браки, бывают неудачные. Какой же тут дать совет?

— Погадаем по Вергилию и Гомеру, — предложил Пантагрюэль.

Мы уже знаем, что для этого надо было взять томик Гомера или Вергилия, трижды просунуть в него булавку, а затем прочитать в отмеченных стихах свою судьбу. Панург прибегнул к этому способу гадания.

К несчастью, отмеченные таким образом стихи не сказали ему ничего вразумительного. Пантагрюэль посоветовал ему довериться снам.

— Во время сна душа преисполняется веселия и устремляется к своей отчизне, то есть на небо, — сказал добрый король. — Там душа вновь обретает отличительный знак своего первоначального божественного происхождения и, приобщившись к созерцанию этой бесконечной сферы, центр которой — повсюду, а окружность — нигде, сферы, где ничто не случается, ничто не проходит, ничто не гибнет, где все времена суть настоящие, отмечает не только те события, которые уже произошли в дольном мире, но и события грядущие, и, принеся о них весть своему телу и через посредство чувств и телесных органов поведав о них тем, к кому она благосклонна, душа становится вещей и пророческой.

Нет нужды напоминать, что это известное определение бога, замечательное тем, что оно содержит в себе полное отрицание бытия божия, мы снова встречаем у Паскаля *. Чтобы установить, кому оно принадлежит, нам следовало бы обратиться к александрийским философам, а может быть, даже к греческим эмпирикам. Это отняло бы у нас довольно много времени. Нам нельзя покидать Панурга.

Панург прибегнул к помощи снов, и ему приснилось, что он женат, что жена осыпала его ласками и приставляла к его лбу пару хорошеньких маленьких рожек. Еще ему приснилось, что он превратился в барабан, а его жена — в сову. Было ясно, что этот сон может иметь только одно верное толкование.

Пантагрюэль предложил посоветоваться с панзуйской сивиллой и тотчас же вместе с Эпистемоном и Панургом отправился в путь. За три дня они перенеслись из Утопии в Шинонский округ. Как же это так? Не скрою от вас истины, тем более что она принадлежит к числу приятных. А истина заключается в том, что Рабле забыл, что Пантагрюэль находится в Утопии, то есть в Северном Китае или где-то поблизости. Это выскочило у него из головы. Обворожительная рассеянность, забытье, еще более сладкое, чем забытье старца

Гомера! У Сервантеса Санчо едет на том самом осле, которого он только что потерял, и, обливаясь слезами, ищет его. Рабле не помнит, на каком материке оставил он своих героев. О прелестная забывчивость, о пленительное легкомыслие гения! Ваш образованнейший, выдающийся книжник Поль Крусак, человек высоко авторитетный, с тонким вкусом, наверное, уже говорил вам об очаровательном легкомыслии автора «Дон Кихота».

Итак, наши друзья — в Панзу, близ Шинона. Тем лучше! Туреньская тишина мне несравненно милее чудес Утопии.

Дом сивиллы стоял на горе, под большим раскидистым каштаном. Путники проникли в хижину и возле очага заметили бедно одетую, беззубую, с гноящимися глазами, сгорбленную, сопливую старуху: она варила суп из недозрелой капусты, положив в него ошметок пожелтевшего сала и старый саворадос. Старый саворадос — это, к вашему сведению, мозговая кость, которую кладут в суп для вкуса. Чтобы избежать лишних расходов, из нее варят несколько супов, от чего она теряет свою первоначальную свежесть и вкус. Очевидно, панзуйская старуха, как и фессалийские ведьмы *, останавливавшие луну, как и ведьмы, посулившие среди вереска Макбету шотландскую корону, как и гадалки, живущие в мансардах, как и ясновидцы, кочующие в фургонах по ярмаркам, как и все ей подобные, когда-либо жившие на свете, влачила жалкое существование, и можно лишь удивляться, что существа, приписывающие себе столь великие способности, извлекают из них столь малую пользу. Шинонская сивилла некоторое время хранила молчание, задумчиво жуя беззубым ртом, наконец уселась на опрокинутую вверх дном кадку, взяла свои веретена и мотовила и накрыла голову передником...

Не кажется ли вам, что Рабле непременно должен был видеть в Риме, в Сикстинской капелле, недавно открытых сивилл Микеланджело? * Куманская сивилла — горделивей, дельфийская — благородней панзуйской сивиллы, но та более живописна. Ее движения и слова напугали Панурга: приняв ее за одержимую,

вызывающую бесов, он думал теперь только о том, как бы унести ноги. Он боялся бесов главным образом потому, что бесы притягивали к себе богословов, внушавших ему вполне понятный страх. Наконец сивилла, начертав прорицание на восьми листьях смоковницы, пустила их по ветру. Панург и его спутники отыскивали их с превеликим трудом. К несчастью, смысл сивиллиных стихов был темен и допускал различные толкования. Пантагрюэль понял их так, что жена будет обманывать и колотить Панурга. Панург, не желавший, чтобы его обманывали и колотили, разумеется, не нашел в них ничего похожего. Черта истинно человеческая. Мы любим толковать явления так, как это нам выгодно. Словом, по выражению Пантагрюэля, одно было ясно, что смысл прорицания неясен. Добрый великан посоветовал обратиться к нему, ибо предсказания, выраженные движениями и знаками, он почитал за самые верные. Позвали него; он стал делать знаки, но их невозможно было понять. Тогда Пантагрюэль предложил поговорить с каким-нибудь дряхлым, стоящим одной ногой в гробу стариком. Мудрый государь приписывал умирающим пророческий дар. «Согласно учению платоников, — утверждал он, — ангелы, герои и добрые демоны, завидев людей, приближающихся к смерти, отрешившихся от земных тревог и волнений, приветствуют их, утешают, беседуют с ними и тут же начинают обучать искусству прорицания».

Пантагрюэль говорит об этом с полной убежденностью, да и сам Рабле, кажется, склонен был разделять его веру, ибо он явно взволнованным и серьезным тоном рассказывает в виде примера о том, как умирал в Сен-Симфорьене Гильом дю Белле, при кончине которого, как мы помним, ему довелось присутствовать. «Часа за три — за четыре до его кончины мы еще слушали его бодрые, спокойные, вразумительные речи, в коих он предсказывал то, что частично потом сбылось», — говорит Рабле.

Итак, Пантагрюэль, Эпистемон, Панург и брат Жан Зубодробитель, которого мы успели забыть, отправились к старому французскому поэту Котанмордану и застали доброго старика уже в агонии, хотя вид у него

был жизнерадостный и смотрел он на вошедших открытым и ясным взором.

Панург обратился к нему с просьбой разрешить его сомнения касательно задуманного им брака. Котанмордан велел принести чернила и бумагу и написал не⁷ большое стихотворение, начинающееся так:

Женись, вступать не вздумай в брак.
Женившись, угадаешь в рай...
Не торопись, но поспедай.
Беги стремглав, замедли шаг¹.

Так как эти стихи мы находим среди произведений Гильома Кретена, то есть некоторое основание полагать, что под именем Котанмордана Рабле вывел именно этого старого поэта.

Умиравший передал стихи посетителям и сказал:

— Ступайте, детки, храни вас царь небесный, и не приставайте ко мне больше ни с какими делами. Сегодня, в этот последний мой и последний майский день, я уж потратил немало трудов и усилий, чтобы выгнать отсюда целое стадо гнусных, поганых и зловонных тварей, черных, пестрых, бурых, белых, серых и пегих, не дававших мне спокойно умереть, наносивших мне исподтишка уколы, царапавших меня гарпийными своими когтями, досаждавших мне شمелиной своей назойливостью, ненасытной своей алчностью и отвлекавших меня от сладких дум, в какие я был погружен, созерцая, видя, уже осязая и предвкушая счастье и блаженство, уготованное господом богом для избранных и верных ему в иной, вечной жизни.

Что же это за гнусные твари, обступившие смертное ложе Котанмордана? Возмущенный Панург категорически утверждает, что это монахи разных орденов: кордельеры, наковиты и прочие нищенствующие иноки. Таких нищенствующих монахов, серых и бурых, было всего четыре ордена, почему и десерт из винных ягод, изюма, орехов и миндаля, который подают зимой во Франции, получил название «четверо нищих».

¹ Перевод Ю. Корнеева.

— Что же, однако, сделали капуцины и минориты этому старику, черти бы его взяли? — выйдя от Котанмордана, воскликнул искатель оракулов. — Уж они ли, черти, не бедные? Уж они ли, черти, не обездолены? Уж кто, как не эти рыбоеды, вдосталь хлебнули горя и знают, почему фунт лиха?.. Клянусь богом, этот проклятый змий угодит прямо к чертям в пекло. Так костить славных и неутомимых рачителей церкви! (Боюсь, что наш автор мысленно произносил: грабителей церкви.) Он совершил тяжкий грех. Его душа угодит прямо в крошечный ад.

В тексте вместо *âme*¹ стоит *âne*;² разумеется, это опечатка, но кажется, будто она сделана нарочно. В 1546 году за одну такую опечатку, оскорбительную для бессмертной души, могли сжечь и книгу и самого автора. В тот год Этьена Доле за менее тяжкое преступление, за каких-то три слова, переведенных из Платона, повесили и сожгли на костре на площади Мобер, в Париже. Но это был человек серьезный. Шутки Рабле казались безобидными. Он мог сказать все. Несмотря на эту скверную игру слов, я полагаю, что он все же верил в бессмертие души по крайней мере пять дней в неделю, а это уже много.

Панург кубарем скатился с лестницы. Ни за что на свете не вернется он к изголовью старого умирающего поэта. Он опасается «нечистой силы». Побаивается ее и Рабле. Он побаивается ее и дразнит; он дразнит ее, а в глубине души побаивается; он побаивается, а сам дразнит ее. Прежде чем отпустить какое-нибудь словцо, он прикидывается дурачком. Он облакает свои дерзости в шутовской наряд. Он нагромождает одну неясность на другую — так нимфа мутит воду в источнике, когда ее во время купанья застанут врасплох.

Затем Панург советуется по волнующему его вопросу с астрологом гер Триппой, которого по созвучию имен отождествляют с Корнелием Агриппой, астрологом и врачом, автором трактата о несовершенстве и бесплодности наук. Гер Триппа предрекает Панургу,

¹ Душа (франц.).

² Осел (франц.).

что жена обманет его. Это целая научная консультация: перечисляются все способы гадания, имена следуют за именами — в их нескончаемом потоке можно утонуть, и Панург клянет себя за то, что зря потратил время в берлоге у долгополого этого черта. По совету брата Жана, он прислушивается к звону колоколов. Но ему так и не удается установить, что именно они говорят: «Быть тебе муженьком, муженьком, муженьком», или: «В брак не вступай, в брак не вступай, в брак не вступай».

После того как все способы гадания оказались на поверку бесполезными и обманчивыми, доблестный Пантагрюэль, дабы вывести Панурга из затруднения, позвал на совет богослова, лекаря, законоведа и философа.

Богослов, отец Гиппофадей, будучи спрошен первым, говорил прекрасно. На вопрос Панурга: «Буду ли я обманут?» — он отвечал: «Если бог захочет, отнюдь нет, друг мой». Отсюда Панург делает вывод: «Но если бог захочет, чтобы я был обманут, то я буду обманут?» Тогда, желая пояснить свою мысль, досточтимый отец внушает Панургу, что он должен взять себе в жены девушку из хорошей семьи, воспитанную в духе строгой добродетели и непорочности, набожную и богобоязненную.

— Стало быть, вы хотите, чтобы я вступил в брак с той мудрой женой, которая описана у Соломона? — заключил Панург. — Да ведь ее давно нет в живых... Во всяком случае, я вам очень признателен, отец мой.

Лекарь Рондibiliс, великий знаток тайн природы, прямо заявил, что несчастье, коего заранее опасается Панург, представляет собой естественное приложение ее к браку. Он сравнил женщину с луной и обвинил ее в притворстве: «Под словом *женщина* я разумею в высшей степени слабый, изменчивый, ветреный, непостоянный и несовершенный пол (это говорю не я, а Рондibiliс), и мне невольно кажется, будто природа, не во гнев и не в обиду ей будь сказано, создавая женщину, утратила тот здравый смысл, коим отмечено все ею сотворенное и устроенное. Я сотни раз ломал себе над этим голову и так ни к чему и не пришел; полагаю,

однако ж, что природа, изобретая женщину, думала больше об удовлетворении потребности мужчины в общении и о продолжении человеческого рода, нежели о совершенстве женской натуры. Сам Платон не знал, куда отнести женщин: к разумным существам или же к скотам».

По этому поводу Понократ рассказывает сказку, которую рассказывали и до и после Рабле и которую вы, конечно, знаете. Вот она:

«Однажды к папе Иоанну Двадцать второму, посетившему обитель Фонтевро, настоятельница и старейшие инокини обратились с просьбой — в виде особого исключения разрешить им исповедоваться друг у друга, ибо, по их словам, нестерпимый стыд мешает им признаваться в кое-каких тайных своих пороках исповеднику-мужчине.

— Я охотно исполнил бы вашу просьбу, — отвечал папа, — но я предвижу одно неудобство. Видите ли, тайна исповеди не должна быть разглашаема, а вам, женщинам, весьма трудно будет ее хранить.

— Отлично сохраним, — объявили монахини, — еще лучше мужчин.

В тот же день святейший владыка передал им на хранение ларчик, в который он посадил маленькую коноплянку, и попросил спрятать его в надежном и укромном месте, заверив их своим папским словом, что если они сберегут ларчик, то он исполнит их просьбу, и в то же время строго-настрою, под страхом того, что они будут осуждены церковью и навеки отлучены от нее, воспретил его открывать. Едва папа произнес этот запрет, как монахини уже загорелись желанием посмотреть, что там такое, — они только и ждали, чтобы папа поскорей ушел. Благословив их, святейший владыка отправился восвояси. Не успел он и на три шага удалиться от обители, как добрые инокини всем скопом бросились открывать запретный ларчик и рассматривать, что там внутри. На другой день папа вновь пожаловал к ним, и они понадеялись, что прибыл он нарочно для того, чтобы выдать им письменное разрешение исповедоваться друг у друга. Папа велел, однако ж, принести сперва ларчик. Ларчик принесли,

но птички там не оказалось. Тогда папа заметил, что монахиням не под силу будет хранить тайну исповеди, коль скоро они так недолго хранили тайну ларчика».

Грекур *, изложив содержание этой сказки в прелестных стихах, добавил к ней не лишнюю лукавства черточку. В его варианте, после того как папа, обнаружив, что ларчик пуст, не дал монахиням позволения самим исповедовать друг друга,

— Вот хорошо! Я против всяких новшеств, —
Сказала тут монашка шепотком. —
Куда приятнее — с духовником!

Настала очередь философа Труйогана.

— Итак, ради бога, нужно ли мне жениться? — спросил Панург.

— По-видимому.

— А если я не женюсь?

— Никакой беды в том не вижу.

— Не видите?

— Нет, или меня обманывает зрение.

— А я вижу более пятисот.

— Перечислите.

— Говоря приблизительно, заменяя определенное число неопределенным... в общем, изрядно. Я не могу обойтись без жены, черти бы меня подрали!.. Ну как, жениться мне?

— Пожалуй.

— И мне будет хорошо?

— На какую нападете.

— А если, бог даст, нападу на хорошую, буду ли я счастлив?

— В известной мере.

— А если на плохую?

— Я за это не отвечаю,

— Но посоветуйте же мне, умоляю вас. Что мне делать?

— Все, что хотите.

— А, вражья сила!

Панург выходит из терпения, но продолжает спрашивать:

— Жениться мне? Если я не женюсь, то, значит, я никогда не буду обманут?

— Выходит так.

— А если женюсь, то буду?

— Говорят, случается.

— Ну, а если моя жена окажется скромной и целомудренной, то я не буду обманут?

— Как будто бы так.

— Но будет ли она скромной и целомудренной? Вот в чем вопрос.

— Сомневаюсь.

— Но ведь вы ее никогда не видели?

— Сколько мне известно.

— Как же вы можете сомневаться в том, чего не знаете?

— Имею основания.

— А если б вы ее знали?

— Я бы еще больше сомневался.

При этих словах Панург свирепеет. Он зовет своего пажа:

— Эй, паж, золотце мое, на, держи, — я дарю тебе мою шляпу, а ты пойди на задворки и поругайся там с полчасика за меня! Я тоже за тебя когда-нибудь поругаюсь.

Великий раблезианец Мольер перенес эту сцену в «Брак поневоле»: Сганарель. Я хочу жениться. Марфуриус. Мне об этом ничего неизвестно. — Ну, так я же вам говорю. — Все может быть. — Девушка, на которой я собираюсь жениться, молода и хороша собой. — Это не невозможно. — Если я на ней женюсь, это будет хорошо или дурно? — Одно из двух. — У меня к этой девушке особая сердечная склонность. — По-видимому. — Отец отдает ее за меня. — Это возможно. — Однако ж я боюсь, как бы она потом меня не обманула. — Явление обыкновенное. — Как бы вы сами поступили на моем месте? — Не знаю. — Как же вы мне советуете поступить? — Как вам заблагорассудится.

Судья Бридуа (немудрено, если вы о нем успели забыть) был также позван на совет, но не явился. Его срочно вызвали в мирленгский парламент для объяснений по поводу одного вынесенного им приговора.

Пантагрюэль, заинтересовавшись, в чем тут дело, отправился в Мирленг вместе со своими приближенными — Панургом, Эпистемоном, братом Жаном Зубодробителем и другими.

В тот момент, когда они входили в залу парламента, председатель суда Суеслов спрашивал Бридуа, как он мог вынести такой явно несправедливый приговор.

В виде оправдания Бридуа сослался на то, что он уже стар, что зрение у него притупилось, что он не так ясно различает число очков на костях, как прежде, и что при вынесении данного приговора он мог принять четыре за пять. За это он-де не отвечает, так как природные недостатки в вину не вменяются.

— О каких костях вы говорите, друг мой? — спросил председатель суда Суеслов.

— О костях судебных, коими и вы, господа, обыкновенно пользуетесь в вашем верховном суде, равно как и все прочие судьи пользуются ими при решении дел.

— Как же именно вы действуете, друг мой?

— Я действую так же, как и вы, господа, по всем правилам судопроизводства. Со вниманием рассмотрев, пересмотрев, прочитав, перечитав, перерыв и перелистав все бумаги, как-то: просьбы, свидетельские показания, первичные, вторичные и третичные объяснения сторон и т. д., и т. д., я, как полагается доброму судье, сидя у себя в кабинете, откладываю на край стола все мешки ответчика (прежде документы, которые теперь пришиваются к папкам, клали в мешки) и мечу жребий. Засим откладываю на другой край стола мешки истца и снова мечу жребий.

Далее Бридуа рассказывает о том, как он бросает кости. Для трудных дел у него имеются маленькие кости, а для более легких — большие, красивые и увеселяющие слух. Приговор Бридуа выносит в зависимости от того, как лягут кости, и, действуя таким образом, он несколько не сомневается в том, что поступает по всем правилам судопроизводства.

— Так, друг мой, — говорит Суеслов, — но коль скоро вы решаете дела бросанием костей, то почему же вы не мечете жребия, как только тяжущиеся стороны

предстанут перед вами, без лишней проволоочки? Для чего вам нужны все эти бумаги и вся эта переписка, содержащаяся в мешках?

— А вот для каких целей, — отвечает Бридуа. — Во-первых, для проформы; без соблюдения же проформы приговор не может быть признан действительным. Во-вторых, в качестве почтенного и полезного упражнения. В-третьих, я, так же как и вы, господа, нахожу, что время всему дает возможность созреть, с течением времени все проясняется: время — отец истины.

В связи с этим Бридуа рассказывает историю некоего Перена Бальбеса, совсем не похожего на Перена Бальбеса из «Сутяг»*. Перен Бальбес, о котором повествует Бридуа, не был судьей: это был старый пуатевинский хлебопашец, известный на три мили в округности как посредник, то есть как примиритель тяжущихся сторон. Где ни заколют свинью — сейчас ему тащат жареной свининки и колбас. Чуть не каждый день кто-нибудь да звал его на пирушку, и, прежде чем склонить тяжущихся на мировую, он непременно заставлял их выпить. Словом, он один кончил полюбовно больше тяжб, нежели пуатьерская судебная палата.

И вот его сын, Тено Бальбес, тоже пожелал заняться посредничеством, однако же ему так с этим не везло, что он не мог уладить самое пустяковое дело; вместо того чтобы смягчить и успокоить тяжущихся, он только еще сильнее раздражал и ожесточал их. Как-то раз он пожаловался отцу на свою незадачливость. Перен Бальбес открыл ему, в чем тут секрет.

— Тебе никогда не удастся покончить дело миром, — начал старик. — Почему? Потому что ты приступаешь к делу в первоначальную пору, когда оно еще зелено и незрело. Я улаживаю любое. Почему? Потому что я приступаю к нему под самый конец, когда оно уже как следует созрело и переварилось, когда у моих челобитчиков в кошельке пусто. Тут-то я им и подвертываюсь как раз вовремя.

— Вот почему, — заключил Бридуа, — я оттягиваю время и выжидаю, пока дело достигнет зрелости.

Когда Бридуа окончил свою защитительную речь, суд велел ему удалиться, а произнесение приговора возложил на Пантагрюэля. Мудрый государь, сославшись на то, что это единственное необоснованное решение из бесчисленного множества вынесенных судьей Бридуа, счел его заслуживающим снисхождения.

Вот вам одна из лучших сказок Рабле, одна из лучших сказок, рассказанных когда-либо и в какой угодно стране, даже в стране Лафонтена и в стране Кеведо.

Автор «Севильского цирюльника» * воспользовался образом Бридуа и сделал из него Бридуазона. Бридуазон — глуп. Бридуа был наивен, и он открыл нам великую истину. Нам следует задуматься над ней и навсегда ее запомнить. На чем бы ни основывались судебные решения — на законе или на том, как ложатся кости, — все они ничего не стоят. Таков ценный вывод из этой истории. А рассказал нам ее сын юриста. Мы уже знаем теперь, что колыбелью служили Рабле мешки ответчиков и истцов и что вырос он на тяжбах.

Панург, все еще озабоченный вопросом женитьбы, обратился за советом к дурачку Трибуле *. Что ж, истина порой говорит устами младенцев. Но Трибуле при всей своей глупости выражался не менее туманно, чем доктора и ученые, так что и эта последняя надежда рухнула. На этом кончилось великое совещание. Панург решил посетить оракул Божественной Бутылки.

— Один почтенный человек, мой приятель, знает тот край, область и местность, где находится ее храм и оракул, — сказал он Пантагрюэлю. — Он, без всякого сомнения, проведет нас туда. Отправимтесь вместе! Умоляю вас, не отказывайтесь! Мне давно известно, что вы страстный путешественник, жаждущий все видеть и все знать. Мы увидим много чудесного.

Пантагрюэль согласился сопровождать Панурга к оракулу Божественной Бутылки, но предварительно испросил позволения у своего отца, короля Гаргантюа, которому как-то удалось вернуться из царства фей. Почтительный сын заявил, между прочим, что без его родительского благословения он никогда не женится. Это дало повод Гаргантюа произнести блестящую, бла-

городную, полную негодования речь против тех, кто подбивает детей вступать в брак без ведома и согласия родителей.

— Можно ли с этим сравнить те жестокости и злодеяния, что совершались готами, скифами, массагетами во вражеском городе, который они после долговременной осады брали приступом? — восклицает он. — На глазах у несчастных родителей какой-нибудь чужой, неизвестный, грубый: человек вырывает из родного гнезда красавицу дочь, балованную, богатую, здоровую, а они так заботливо следили за ее благонравием и воспитывали в строгих правилах, надеясь со временем выдать ее замуж за сына своих соседей и старинных друзей, получившего такое же прекрасное воспитание и образование, и дожидаться от них потомства, которое вместе с движимым и недвижимым имуществом родителей унаследовало бы их нрав и обычай!

Против кого же обращает Рабле всю мощь своего гневного пафоса (ибо устами великана говорит, разумеется, сам автор)? Против мистов, — отвечает он. Дать более точный адрес он не решается. Но когда книга вышла, все сразу узнали в мистах тех монахов, что сманивали девушек и выдавали их замуж без ведома и соизволения родителей. Это был тогда страшный бич домашних очагов. Монахи основывали этот гнусный обычай на церковном праве. «Мне хорошо известно, — говорит в своих «Исследованиях о Франции» Пакье *, — что несколько сот лет назад монахи-начетчики стали прививать у нас это варварское и грубое понятие, будто по церковному праву согласие родителей на брак детей желательно, но не обязательно». Вот на этих-то монахов, совратителей и тайных устроителей браков, и обрушивается с такой силой Рабле. Обратите внимание кстати на богатство его интонаций, то необыкновенно торжественных, то в высшей степени непринужденных, а также на то, как легко переходит он по мере надобности от шутовского тона к патетическому.

Пантагрюэль, простившись с добрым королем Гаргантюа, вместе с Панургом, Эпистемоном, братом Жаном Зубодробителем и другими друзьями своего поч-

тенного дома отправился в гавань Талассу, близ Сен-Мало.

Там он принялся снаряжать суда и нагрузил их, между прочим, огромным количеством травы пантагрюэлион. Что это за трава? Судя по описанию, которое дает Рабле, это — конопля. На протяжении четырех глав автор перечисляет ее характерные особенности, излагает различные способы ее употребления, восхваляет ее свойства, указывает на ее целебную силу. В заключительных главах третьей книги он выступает как специалист в данной области и одновременно как ботаник-энтузиаст. Этот великий человек может быть назван одним из создателей ботаники, ибо он первый указал, что существуют двудомные растения.

Таков неожиданный и великолепный конец этой чудесной третьей книги, изобилующей превосходными комедийными сценами, — книги, из которой Мольер черпал пригоршнями. Во всей французской литературе я не знаю ничего равного ей по богатству языка и глубине мысли.

В самом начале 1546 года Рабле, передав издателю рукопись четвертой книги, выехал в имперский город Мец вместе с бывшим туринским военачальником, тем самым Этьеном Лораном, который несколько лет назад так радушно принимал его в замке Сент-Э на берегу Луары. Этьену Лорану, тайному агенту короля, предстояло вести переговоры в пользу своего повелителя. Говорят, что его друг Рабле спасался в стенах Меца от ярости «нечистой силы». Пантагрюэлистский дух действительно был ненавистен Сорбонне и парижскому парламенту, а король и его сестра королева Наваррская ничего уже не могли сделать для своих друзей, подозреваемых в ереси и безбожии. Судья Тирако, ставший членом парламента и ярым защитником ортодоксии, действительно вычеркивал из своих писаний имя Франсуа Рабле. Но у нашего автора еще оставались мощные покровители: епископы Парижский, Манский, Тюльский, Монпельерский и кардинал Шатильонский, так что «Пантагрюэля» по-прежнему, — хотя и

ошибочно, разумеется, — принимали за безобидное шутовство. После плодотворных исследований, произведенных Анри Клузо, можно считать, видимо, установленным, что мэтр Франсуа чувствовал себя в Меце, у сеньора де Сент-Э, в полной безопасности.

Он обратился оттуда к кардиналу дю Белле с весьма скромной денежной просьбой.

«Если Вы надо мной не сжалитесь, то я не знаю, что мне делать, — писал он ему. — На краю отчаяния мне останется лишь пойти в кабалу к кому-нибудь из местных жителей, что нанесет явный вред и ущерб моим занятиям».

Он клянется, что урезывает себя во всем. Он просит, чтобы ему дали возможность «перебиваться» и иметь приличный вид (что ему до сих пор удавалось), — дабы поддержать честь того дома, в котором он нашел приют с тех пор, как покинул Францию, — больше ему ничего не надо.

Крайне смиренный тон этого письма содержит в себе, однако, угрозу. Мэтр Франсуа, доктор медицины, вежливо предупреждает кардинала-епископа: «Если Вы по-прежнему будете мне помогать, то я останусь у Вас, если же нет, — перейду к другому, на что меня вынуждает мое положение и состояние». Дю Белле принадлежали к числу людей порядочных и честных, но с деньгами у них обстояло плохо. Мы помним, что Ланже после смерти остался должен своему лекарю крупную сумму. Рабле хорошо знал, что, для того чтобы тебя слышали сильные мира сего, к ним надо стучаться возможно чаще и сильнее, не боясь, что тебя сочтут назойливым. Сент-Э взялся переслать письмо кардиналу-епископу, но от себя не прибавил ни слова: кто-кто, а он-то знал, что у него в доме Рабле имел все необходимое.

В Меце у Рабле было тем меньше оснований для жалоб, что в апреле 1547 года он поступил врачом в городскую больницу. Целый год он пробыл на службе у городского самоуправления, получив за это сто двадцать ливров, и так сумел угодить жителям Меца, что местные власти постановили выдать ему наградные

в размере трехмесячного жалованья. Следовательно, «перебивался» он совсем не так плохо.

Тридцать первого марта 1547 года умер Франциск I. Вступивший после него на престол Генрих II не унаследовал от отца любви к словесности, искусствам и к тонкой игре ума. У этого человека был узкий кругозор и мелкая душонка; можно было легко предугадать, что при новом государе французские лютеране подвергнутся еще более жестоким преследованиям, чем в последние годы царствования покойного короля, и без того достаточно мрачные. Первый же акт нового монарха подтвердил опасения умеренных реформатов. Генрих II учредил при парижском парламенте «огненную палату» для скорого суда над еретиками.

Кардинал дю Белле, уже не пользовавшийся прежним влиянием при дворе, предпочел служить своему королю издалека и выехал с посольством в Рим — в почетную ссылку. Он и на этот раз вызвал к себе Рабле, и в феврале 1549 года, — когда у Генриха II и Екатерины Медичи родился второй сын, Людовик Орлеанский, — мэтр Франсуа находился уже в Вечном Городе. Мы знаем, с каким презрением относился этот великий ум к астрологам и как он издевался над теми, кто верил, что звезды небесные существуют для князей, а не для бедняков. Тем не менее, то ли для того, чтобы угодить послу, то ли для того, чтобы войти в милость к монарху, он составил гороскоп новорожденного и предсказал, что его ждет счастливая будущность, если только ему удастся избежать некоего печального предзнаменования в западном углу седьмого дома. Астролог поневоле, хорошо знавший Вергилия, Рабле помнил, конечно, прекрасные стихи из шестой книги «Энеиды»:

Heu, miserande puer, si quoe fata aspera rumpas!
Tu Marcellus eris!¹

Но Вергилий, предрекая устами старца Анхиза безвременную кончину сына Октавии, сообщал уже совер-

¹ «Горе тебе, несчастный юноша, если ты пойдешь наперекор тяжелой судьбе. Ты станешь Марцеллом» (лат.).

шившийся факт. Рабле отважился на более смелое предсказание. Королевский отпрыск не успел дойти до седьмого дома, и его смерть зачеркнула тот гороскоп, всю лживость которого лучше, чем кто-либо другой, сознавал сам мэтр Франсуа, назвавший искусство Раймонда Луллия и гадание по звездам обманом и тщетой.

По случаю рождения Людовика Орлеанского кардинал дю Белле и французский посол устроили в Риме увеселения, в частности, скиомахию, то есть инсценированную битву, описание которой Рабле послал кардиналу де Гизу, покоившему его старость, чему мы не должны удивляться, ибо гражданская война тогда еще не возгорелась, Гизы * еще не стали во главе испанских и римских католиков, а брат Франсуа если и не был папистом, то с еще меньшим правом мог быть отнесен к кальвинистам. Некогда прославлявший его реформат Теодор де Без смотрел на него теперь как на апокалипсического зверя, как на исчадье греха. Это не значит, что противоположный лагерь оставлял его в покое. Напротив, удары сыпались на него с двух сторон, ибо он был реформатом в глазах католиков и папистом в глазах реформатов. Пока он находился в Риме, при кардинале дю Белле, во Франции некий монах из обители Фонтевро, Габриэль де Пюи-Эрбо, по-латыни — Путербус, ополчился на него в своей книге «Theotimus»¹ — книге, имевшей успех у читателей. Быть может, как на это недавно указывалось, ненависть Пюи-Эрбо к пантагрюэлизму имела особые причины: быть может, ее вызвало то, что Рабле в своей великой пантагрюэльской комедии вывел под именем Пикрохола некоего Сент-Март, друга Пюи-Эрбо. Как бы то ни было, автор «Theotimus»¹ обвиняет мэтра Франсуа в злочестии, безверии и кальвинизме. Можно сказать, что он ведет широкое, генеральное наступление, поскольку в его книге задеты дю Белле и другие веротерпимые прелаты французской церкви.

¹ «Феотим» — приблизительно соответствует русскому «боголюб».

Разъяренный монах посылает Рабле к Кальвину и готов послать его к самому черту.

«Дай бог, чтобы его унесло со всем его пантагрюэлизмом в Женеву, если только он еще жив! — восклицает Пюи-Эрбо. — Ибо в начале этого царствования он последовал за толпой кардиналов, отправленных и высланных в Рим».

Он изображает Рабле пьяницей, обжорой, циником, и эту карикатуру долгое время принимали за портрет.

Но наряду с многочисленными врагами Рабле имел также мощных покровителей, и при дворе Генриха II у него их было столько же, а может быть, и больше, чем при покойном короле, читавшем и, как говорят, любившем «Пантагрюэля». Он пользовался расположением Гизов и шатильонского кардинала Оде. Когда он вернулся во Францию, ему не только не причинили ни малейшего беспокойства, но, уже числясь священником в церкви св. Христофора Манской епархии, 18 января 1550 года он получил назначение в Медонский приход близ Парижа. По воспоминаниям его современников, несомненно заслуживающим доверия, он исполнял свои пастырские обязанности с большим достоинством и усердием.

«Его дом (в Медоне), куда не имели доступа женщины, был открыт для ученых, с которыми он любил общаться, — рассказывает его первый биограф Антуан Леруа. — Ему ненавистно было всякое невежество, особенно в среде духовенства, и для характеристики безграмотных священников он снова находил в себе сатирический пыл автора «Пантагрюэля». Quos vocaret Isidis asellos¹. Впрочем, только по отношению к ним он и был беспощаден. Для бедных он всегда держал кошелек открытым. Отзывчивость его была такова, что у него для каждого находилось ласковое слово. Наконец благодаря своим познаниям в медицине он приносил своим прихожанам двоякую пользу».

Несколько позже Гильом Кольте также отметил добродетели медонского священника:

¹ Их он называл осликами Изиды (лат.).

«Служа в этом приходе, он выказывал такое чистосердечие, такую честность и такую доброту, на какие только способен человек, стремящийся исполнить свой долг до конца. Во всяком случае, ни через устное предание, ни каким-либо иным путем до нас не дошло ни одной жалобы на него как на духовного отца и на его образ жизни. Напротив, по всей вероятности, паства была им очень довольна, о чем можно судить по некоторым его письмам к друзьям; письма эти все еще находятся в руках любителей, но мне их довелось видеть, и в них он, между прочим, сообщает, что в числе его благочестивых и набожных прихожан находятся г-н и г-жа де Гиз (герцог и кардинал де Гиз тогда только что приобрели Медонский замок), а это показывает, как предан он был своему делу и как старался он заслужить любовь тех, кого епископ вверил его духовному началу».

Что Рабле был на высоте своего положения — в этом мы не сомневаемся. Но чтобы он мог принудить себя к сидению на одном месте — это опровергается всей его жизнью, жизнью странника, бродяги и следопыта, жаждущего все видеть и все знать. Что бы ни говорили Кольте и Леруа, мы не уверены в том, что этот добросовестный человек постоянно находился в своем приходе, — напротив, нам известно, что когда, в июне 1551 года, епископ Евстафий дю Белле, племянник кардинала Жана, посетил Медонский приход, то vikарий Пьер Ришар и его четыре помощника оказались на месте, а настоятель отсутствовал.

К тому же Рабле, который нигде не мог прочно обосноваться, не прожил в Медоне и двух лет. 9 января 1552 года он отказался от обоих приходов, почему — неизвестно. Мы подходим к концу его жизни, и он покрыт для нас непроницаемым мраком.

Через несколько дней после того как он заявил о своем уходе, впервые вышла целиком четвертая книга «Пантагрюэля». Первые ее главы были изданы в Гренобле, в 1547 году. Полностью же четвертая книга закончилась печатанием 28 января 1552 года у парижского книгоиздателя Мишеля Фезанда; ей были пред-

посланы разрешение короля и посвящение монсеньеру Оде, кардиналу Шатильонскому.

Эта книга, отдаленная от предыдущей очень небольшим промежутком времени, составляет ее продолжение и содержит в себе морское путешествие Пантагрюэля и его друзей, устремившихся на поиски Божественной Бутылки. Мы ее просмотрим, и, конечно, не без удовольствия, ибо в ней много чудесного и драгоценного. Мы еще найдем в ней чудесные сцены человеческой комедии, хотя бескрылая и холодная аллегория слишком часто заменяет теперь то кипение, тот шум жизни, что так радует нас в предыдущих книгах.

ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА

Четвертая книга целиком посвящена путешествию Пантагрюэля и его друзей к оракулу Божественной Бутылки. Что же это за путешествие? Профессор Французского коллежа Абель Лефран отвечает на этот вопрос уверенно: «Это то самое путешествие, что так занимало умы географов и мореходов со времен Возрождения до наших дней: это рейс из Европы к западному побережью Азии через знаменитый Северо-Западный путь, огибающий северное побережье Америки, — путь, который столько раз тщетно искали * и практическая невозможность которого была окончательно выяснена лишь несколько лет назад».

Добрый великан и его свита сели на корабль в Талассе, близ Сен-Мало. Сен-Мало — это та самая гавань, откуда вышел и куда вернулся Жак Картье, за время с 1534 по 1542 год исследовавший реку св. Лаврентия и составивший карту Ньюфаундленда. В Сен-Мало еще в XVII веке говорили, что именно у этого путешественника заимствовал Рабле терминологию корабельного и мореходного дела, а Абель Лефран полагает, что кормчий Ксеноман, ведущий Пантагрюэлю флотилию, — это не кто иной, как Жак Картье, королевский шкипер. Возможно, и так. Спорить мы не будем. Нам совершенно неинтересно, Картье ли это, или кто другой, поскольку Рабле не наделил Ксеномана ни одной характерной чертой, поскольку у Ксено-

мана нет своего лица. Точно так же не имеет смысла особенно внимательно следить по карте за продвижением Пантагрюэля, так как высаживался он лишь на островах аллегорических и путешествие его носит преимущественно сатирический характер.

Бесспорно, однако, что автор, всегда так гордившийся мощью и величием Франции и не упускавший случая прославить своего повелителя — короля, здесь, как и везде, проявляет большую заинтересованность в дальнейшем развитии морских сил французского королевства, и когда король Генрих II в 1547 году, в начале своего царствования, построил новые корабли, мэтр Франсуа во втором издании четвертой книги присоединил к флотилии доброго Пантагрюэля триремы, раубарджи, галлионы и либурны, хотя тот не испытывал в них ни малейшей нужды. Рабле предоставил в распоряжение путешественников, отправившихся на поиски Божественной Бутылки, новые, великолепные суда потому, что ему хотелось прославить флот своего короля именно в то время, когда французские мореходы стремились завладеть частью Нового Света. Рабле желал видеть Францию сильной морской державой. Не знаю, отдавал ли он себе отчет в том, чего это будет стоить, когда ратовал за строительство новых кораблей; одно можно сказать с уверенностью, что он не ставил своей целью создать синдикат строителей, поставщиков и финансистов. Тогда, как и теперь, существовали алчные поставщики, обкрадывавшие государство. Если же они слишком зарывались, король в свою очередь грабил их. Так велось тогда денежное хозяйство в сфере общественных работ.

На четвертый день наши путешественники подплыли к острову Медамоти, коему, по словам автора, «придавало особую привлекательность и живописность великое множество маяков и высоких мраморных башен, украшавших всю его береговую линию», но который, если принять во внимание, что *медамоти* по-гречески означает *нигде*, смело мог бы не существовать вовсе. Мы бы о нем не заговорили, если б Гимнаст не приобрел здесь на счет Пантагрюэля историю Ахилла, изображенную на семидесяти восьми вытканых из

шелка и расшитых золотом и серебром коврах, вместе образующих прелестную сюиту. Заметим, что автор показал нам ее не из пустого каприза: в ту пору король Генрих II, желая способствовать развитию текстильной промышленности в своем королевстве, заказал себе ковры особого тканья. И вот Рабле, которому вся эта роскошь обходится недорого, во славу отечественной промышленности развертывает перед нами историю Ахилла на семидесяти восьми коврах.

Дорогой Пантагрюэль вынул из корзинки «гозала». «Гозал» — это голубь, голубь из голубятни Гаргантюа. Привязав к его лапке белую шелковую ленту в знак того, что все обстоит благополучно, Пантагрюэль выпускает его на волю, и голубь с невиданной быстротой летит к своей далекой голубятне, унося вместе с белой лентой добрые вести о путешественниках. Как видите, голубь — вестник, почтовый голубь не является новейшим изобретением.

На пятый день путешественники видят корабль. Он идет из страны Фонарии, и его пассажиры — все до одного сентонжцы. Несутся приветственные крики, корабли пристают один к другому вплотную. Панург, перейдя на борт фонарского судна, затевает ссору с торговцем баранами Индюшонком, который обозвал его очкастым Антихристом. Я забыл вам сказать, что Панург носил очки на шляпе, а Индюшонку это показалось в высшей степени нелепым. Страсти разгорелись не на шутку. Но Пантагрюэлю все же удалось примирить враждующие стороны. Панург и Индюшонок протянули друг другу руку и выпили в знак примирения. Панург, злопамятный от природы и не принадлежавший к числу тех, у кого душа нараспашку, осушив второй бокал за здоровье купца, спросил, не соблаговолит ли тот продать ему одного барана. Индюшонок, не отличавшийся мягким и покладистым характером, дурно истолковал его намерение.

— Какой, подумаешь, покупатель нашелся! — сказал он Панургу. — Гуртовщик хоть куда! Право слово, вы больше смахиваете на карманника, чем на гуртовщика...

Панурга это не обескуражило; напротив, он сделался еще настойчивее.

— Умоляю, продайте мне одного барана! Сколько вам за него?

— Дружочек, да ведь это пища королей и принцев, — молвил купец. — Мясо у них нежное, сочное, вкусное — просто объеденье. Я везу их из такой страны, где даже хряков, прости господи, откармливают одними сливами. А супоросым свиньям, извините за выражение, дают один апельсинный цвет.

— Ну, так продайте же мне одного барана, — сказал Панург. — Я заплачу вам по-царски.

Индюшонок отвечает на это пространным, избыточным гиперболами славословием в честь своих баранов. Он расхваливает их лопатки, задние ножки, грудинку, печенку, селезенку, требуху, ребра, головы, рога.

Судовладелец внезапно прерывает его:

— Полно выхвалять! Хочешь — продай, а коли не хочешь, так не води его за нос.

— Хочу, — молвил купец, — но только из уважения к вам. Пусть заплатит три турецких ливра и выбирает любого.

— Дорого, — заметил Панург. — В наших краях мне бы за эти деньги наверняка продали пять, а то и шесть баранов.

— Остолоп! Дурак набитый! — воскликнул Индюшонок, не отличавшийся особой изысканностью выражений, но знавший толк в своем деле. — Самый мелкий из этих баранов стоит вчетверо дороже самого лучшего из тех, которых жители Колхиды продавали в старину по золотому таланту за штуку.

— Милостивый государь, — сказал Панург, — выхватили через край. Вот вам три ливра.

Расплатившись с купцом и выбрав красивого и крупного барана, Панург схватил его и понес, как он ни кричал и ни блеял. Все же остальные бараны тоже заблеяли и стали смотреть в ту сторону, куда потащили их товарища.

Индюшонок между тем говорил:

— А ведь этот покупатель сумел-таки выбрать! Стало быть, смекает!

Вдруг Панург, не говоря худого слова, швырнул кричавшего и блеявшего барана в море. Вслед за тем и другие бараны, крича и блея, начали бросаться за борт. Всякий норовил прыгнуть первым. Удержать их не было никакой возможности — вы же знаете баранью повадку: куда один, туда и все. Недаром Аристотель называет барана самым глупым и бестолковым животным.

Купец, в ужасе, что бараны тонут и гибнут у него на глазах, всеми силами старался остановить их и не пустить. Все было напрасно. Наконец он ухватил за шерсть крупного, жирного барана и втащил его на палубу, — он надеялся таким образом не только удержать его самого, но и спасти всех остальных. Баран, однако ж, оказался до того сильным, что увлек за собою в море купца... Когда же на корабле не стало больше ни купца, ни баранов, Панург вскричал:

— Хоть одна живая баранья душа здесь осталась? Где теперь стадо Тибо Ягненка? Или же стадо Реньо Барашка, любившее поспать, в то время как другие стада паслись? Не знаю. Старая военная хитрость. Что ты на это скажешь, брат Жан?

— Ловко это у тебя вышло, — отвечал брат Жан Зубодробитель. — Я ничего дурного в том не вижу. Тебе только следовало подождать расплачиваться, тогда денежки остались бы у тебя в кошельке.

— Я доставил себе удовольствие более чем на пятьдесят тысяч франков, клянусь богом! — сказал Панург. — А теперь, благо ветер попутный, можно и двинуться. Слушай, брат Жан: нет человека, сделавшего мне что-нибудь приятное, которого бы я не отблагодарил или, во всяком случае, не поблагодарил. Я добро помнил, помню и буду помнить. Но нет также человека, сделавшего мне что-нибудь неприятное, который бы впоследствии не раскаялся — не на этом, так на том свете.

Эпизод с Панурговым стадом, которое правильнее было бы назвать Индюшонковым, — это самый знаменитый эпизод во всей четвертой книге. Рабле не сам

его выдумал. Всю эту историю он заимствовал у одного итальянского монаха, Теофиля Фоленго*, весьма остроумно изложившего ее в макаронических стихах. Лафонтен в свою очередь заимствовал ее у Рабле, но я боюсь, что по сравнению с образцом его пересказ покажется суховатым.

После происшествия с баранами наши мореплаватели побывали на Острове безносых, жители которого имеют треугольную форму головы, на острове Шели, все жители которого необычайно жеманны, и в стране Прокурации, которая, как показывает ее название, представляет собой государство прокуроров, страну ябеды. Один из ее жителей объясняет Пантагрюэлю, что ябедники живут тем, что позволяют себя бить. Если бы они подолгу не получали таски, то непременно умерли бы с голоду вместе с женами и детьми.

«Если монах, священник, ростовщик или же адвокат таит злобу на дворянина, — продолжает наш автор, — то он натравливает на него кого-нибудь из этих ябедников. Ябедник затевает против дворянина дело, тащит его в суд, нагло поносит и оскорбляет, согласно полученным наставлениям и указаниям, пока наконец дворянин, если только он не расслабленный и не глупее головастика, не хватит его то ли палкой, то ли шпагой по голове или не вышвырнет в окно или же в одну из бойниц крепостной стены своего замка. Теперь ябедник несколько месяцев может жить припеваючи: палочные удары — это для него самый богатый урожай, ибо он с монаха, с ростовщика, с адвоката сдерет немалую мзду, и дворянин, со своей стороны, выдаст ему вознаграждение, иной раз столь великое и непомерное, что сам останется ни при чем, да еще боится, как бы не сгнить в тюрьме, словно он избил самого короля».

Расин в своих «Сутягах» сделал из этого блестящий комедийный диалог:

Шикано

Вы — славный человек. Подружимся легко мы.
Но удивлен я тем, что вы мне незнакомы:
В суде я знаю всех.

Интим

Спросите у судьи:
Ему известны все достоинства мои.

Шикано

И кто же вас прислал?

Интим

Я к вам по порученью
Особы некоей. Она свое почтение
Вам просит выразить и вас оповестить,
Что вы обязаны ей нечто возместить.

Шикано

Я? Разве я нанес кому-нибудь обиду?

Интим

Помилуйте! Вы так добросердечны с виду!

Шикано

Чего хотите вы?

Интим

Они от вас хотят,
Чтоб, сказанное там публично взяв назад,
Вы при свидетелях признали их отныне
В уме и памяти.

Шикано

Ну, это от графини!

Интим

Она вам шлет поклон.

Шикано

Я — также.

Интим

Рад весьма.

Шикано

Я от нее и ждал подобного письма!
Скажите, сударь, ей: я медлить не умею;
Она получит все желаемое ею
У пристава. И пусть не бьет тревогу зря.
Что ж пишут нам? Так, так! Седьмого января
Графиня де Пимбеш, беседея с Жеромом

Из рода Шикано, зловредностью влекомым,
Им незаслуженно была оскорблена.
Задета честь ее, и требует она,
Чтоб при свидетелях и при судейском чине
Вышеозначенный признался, что графиня —
Особа здравая, в рассудке и в уме,
И что причины нет держать ее в тюрьме.
Ле Бон. Вас так зовут?

Интим

Да, сударь, я не скрою,
Ле Бон и — ваш слуга.

Шикано

Но с подписью такою
Повесток никогда не присылал мне суд!
Как? Господин...

Интим

Ле Бон.

Шикано

Вы, сударь, просто плут.

Интим

Я — честный человек. Шумите вы напрасно!

Шикано

Разбойник! Негодяй! Теперь мне это ясно!

Интим

Бранитесь, в добрый час! Но завтра по суду
За оскорбленье с вас потребую я мзду.

Шикано

Мерзавец!

Интим

К доводам моим не будьте глухи!

Шикано

Я заплачу тебе две звонких... оплеухи!

(Бьет его.)

Интим

Пощечина! Ее мы в протокол внесем!

(Пишет.)

«Свидетельствую сим, что господин Жером

Из рода Шикано мне, приставу Ле Бону,
В законных действиях моих чинил препону
Посредством бранных слов...

Шикано

(Бьет его еще.)

Не только слов!

Интим

(Пишет.)

...Пинок

Он мне нанес такой, что был им сбит я с ног.
Означенный Жером, на том не успокоюсь,
Сорвал с меня парик и разорвал мне пояс.
За это отвечать он должен по суду».
Ну, сударь, что же вы? Я продолженья жду!
Возьмите палку! Вот моя спина.

Шикано

Мошеник!

Интим

Еще удар, — и он заплатит кучу денег!

Шикано

(Хватаясь за палку.)

Я погляжу, какой ты пристав!

Интим

Ну, смелей!

Лупите! У меня одиннадцать детей!

Шикано

Ах, господин Ле Бон! Прошу вас не сердиться!
Ведь даже и мудрец способен ошибиться!
Вы — пристав подлинный, и дорогой ценой
Готов я искупить поступок столь дурной.
Отец хоть не сумел оставить мне наследства,
Но жить меня учил, внушал мне с малолетства
Почтенье к господу, к мундиру и к чинам.
Возьмите!

(Протягивает ему деньги.)

Интим

Так легко не откупиться вам!

Шикано

Не подавайте в суд!

Интим

Ах, так! А как же палка,
Пощечина, пинок?..

Шикано

И вам меня не жалко?
Я все беру назад!

Интим

Покорный ваш слуга!
Нет, мне пощечина как память дорога! ¹

(Действие второе, явление четвертое.)

Панург рассказывает историю некоего сеньора де Баше, который колошматил ябедников, делая вид, будто он их развлекает. Этот сеньор, сидя в беседке, рассказывает в свою очередь историю Франсуа Вийона и ризничего из францисканской обители Сен-Максен. Вот этот отрывок, быть может, самый замечательный по своему слогу и по своей живости во всем изучаемом нами удивительном произведении:

«Мэтр Франсуа Вийон на склоне лет удалился в пуатевинскую обитель Сен-Максен, под крылышко к ее настоятелю, человеку добропорядочному. Чтобы развлечь окрестный люд, Вийон задумал разыграть на пуатевинском наречии мистерию Страстей господних. Набрав актеров, распределив роли и подыскав помещение, он уведомил мэра и городских старшин, что мистерия будет готова к концу Ниорской ярмарки; осталось-де только подобрать для действующих лиц подходящие костюмы. Собираясь нарядить одного старого крестьянина богом отцом, Вийон попросил брата Этьена Пошеям, ризничего францисканского монастыря, выдать ему ризу и епитрахиль. Пошеям отказал на том основании, что местный монастырский устав строжайше воспрещает что-либо выдавать или же предоставлять лицедеям. Вийон возразил, что устав имеет в виду лишь фарсы, пантомимы и всякого рода непристойные увеселения. Пошеям, однако ж, сказал напрямик: пусть Вийон соблаговолит-де обратиться

¹ Перевод И. Шафаренко.

еще куда-нибудь, а на его ризницу не рассчитывает, ибо здесь он все равно, мол, ничего не добьется.

Вийон, возмущенный до глубины души, сообщил об этом разговоре актерам, присовокупив, что бог воздаст Пошеям и в самом непродолжительном времени накажет его.

В субботу Вийон получил сведения, что Пошеям отправился на монастырской кобыле в Сен-Лигер собирать подаяние и что возвратится он часам к двум пополудни. Тогда Вийон устроил своей бесовщине смотр на городских улицах и на рынке. Черти вырядились в волчьи, телячьи и ягнячьи шкуры, напялили бараньи головы, нацепили на себя кто — бычьи рога, кто — здоровенные рогатки от ухвата и подпоясались толстыми ремнями, на которых висели огромные, снятые с коровьих ошейников бубенцы и снятые с мулов колокольчики, — звон стоял от них нестерпимый. У иных в руках были черные палки, набитые порохом, иные несли длинные горящие головешки и на каждом перекрестке целыми пригоршнями сыпали на них толченую смолу, отчего в тот же миг поднимался столб пламени и валил страшный дым.

Проведя чертей по всему городу, на потеху толпе и к великому ужасу малых ребят, Вийон под конец пригласил их закусить в харчевню, стоявшую за городской стеной, при дороге в Сен-Лигер. Подойдя к харчевне, Вийон и актеры издали увидели Пошеям, возвращавшегося со сбора подаяния.

— Ах он, такой, сякой! — воскликнули черти. — Не захотел дать на время богу отцу какую-то несчастную ризу! Ну, мы его сейчас пугнем!

— Отлично придумано, — заметил Вийон. — А пока что давайте спрячемся, шутихи же и головешки держите наготове.

Только Пошеям подъехал, как все эти страшилища выскочили на дорогу и принялись со всех сторон осыпать его и кобылу искрами, звенеть бубенцами и заывать, будто настоящие черти:

— Го-го-го-го! Улюлю, улюлю, улюлю! У-у-у! Го-го-го! Что, брат Этьен, хорошо мы играем чертей?

Кобыла в ужасе припустилась рысью, заскакала,

понеслась галопом, начала брыкаться, на дыбы взвиваться, из стороны в сторону метаться и, наконец, как ни цеплялся Пошеям за луку седла, сбросила его наземь. Стремена у него были веревочные; правую его сандалию так прочно опутали эти веревки, что он никак не мог ее высвободить. Кобыла поволокла его задом по земле, продолжая взбрыкивать всеми четырьмя ногами и со страху перемахивая через изгороди, кусты и канавы. Дело кончилось тем, что она размозжила ему голову, и у осанного креста из головы вывалился мозг; потом оторвала ему руки, и они разлетелись одна туда, другая сюда, потом оторвала ноги, потом выпустила ему кишки, и когда она примчалась в монастырь, то на ней висела лишь его правая нога в запутавшейся сандалиии.

Вийон, убедившись, что его пророчество сбылось, сказал чертям:

— Славно вы сыграете, господа черти, славно сыграете, уверяю вас! О, как славно вы сыграете! Бьюсь об заклад, что вы заткнете за пояс сомюрских, дуэйских, монморийонских, ланжейских, сент-эспенских, анжерских и даже — вот как бог свят! — пуатьерских чертей с их залом заседаний. О, как славно вы сыграете!»

Смерть скряги Пошеям, которого понесла лошадь, невольно напомнила мне смерть нечестивого Пентея*, растерзанного вакханками. Конец Пентея в греческой трагедии столь же ужасен, сколь комичен конец Пошеям в пантагрюэлической сказке. Но оба они — и сен-максенский чернец и фиванский царь — оскорбили святыню. Один не узнал бога, другой оскорбил поэта. Кара, постигшая и того и другого, была неизбежна, необходима, иначе нарушился бы мировой порядок, и шутовство Рабле в своем величии не уступает патетике Еврипида.

После того как флотилия вышла из Гавани ябедников, ее застигла страшная буря. Разбушевавшееся море вздулось; непрерывно гремел гром; воздух сделался мрачным; тьму озаряли лишь вспышки молний; кораблям трудно было устоять под напором чудовищных волн.

Панург, сидя на корточках, дрожал от страха, призывал на помощь всех святых и оглашал палубу горестными воплями:

— О, трижды, четырежды блаженны те, кто наслаждается прелестями деревенской жизни! О парки, зачем вы не выпряли из меня деревенского жителя! О, как ничтожно число тех, кому Юпитер уготовал счастливый удел наслаждаться прелестями деревенской жизни! У них всегда одна нога на земле, и другая тут же рядом. Прав был Пиррон, который, в минуту подобной опасности увидев на берегу свинью, подбиравшую рассыпанный ячмень, почел ее за наивысшую счастливую, во-первых, потому, что у нее вдоволь ячменя, а во-вторых, потому, что она — на земле. По мне суша лучше самой сладкой водицы!.. Боже, спасителю мой, эта волна нас снесет! Друзья, дайте капельку уксусу! Бу-бу-бу! Пришел мой конец. Брррррр! Тону!

Брат Жан, оставшись в одной куртке, направился на помощь к матросам; увидев Панурга, он окликнул его:

— Эй ты, теленок, плакса, хныкало, лучше бы помог нам, чем сидеть как мартышка и реветь королю, — ей-богу, право!

Но Панург еще громче застонал и заплакал:

— Брат Жан, друг мой, отец мой родной, тону! Погиб я! Тону! Вода просочилась через воротник в туфли.

— Иди помогать, тридцать легионов чертей!.. — крикнул брат Жан. — Пойдешь ты или нет?

— В такой час грешно ругаться! — молвил Панург. — Вот завтра — сколько вам будет угодно. Увы, увы! Мы уже на дне! В меня влилось восемнадцать с лишним ведер воды. Бу-бу-бу-бу! Какая же она горькая, соленая!

— Клянусь всем на свете, — сказал брат Жан, — если ты не перестанешь ныть, я угощу тобой морского волка... Эй вы, там, наверху, держитесь! Ого! Вот так полыхнуло, вот так гроыхнуло! Не то все черти сорвались нынче с цепи, не то Прозерпина собирается подарить мужу наследника. Весь ад танцует с погремушками.

— Вы грешите, брат Жан, — воскликнул Панург. — Мне неприятно вас останавливать: сдается мне, что от ругани вам становится легче... Как бы то ни было, вы грешите...

И он продолжает стелать:

— Не видать ни неба, ни земли. Ах, если б я был теперь в Сейи, на винограднике, или же в Шиноне, у пирожника Иннокентия, — я бы даже согласился, засучив рукава, печь пирожки!..

Когда буря утихла и впереди показалась земля, к Панургу вернулись его обычная отвага и самоуверенность.

— Хо, хо! — вскричал он. — Все прекрасно. Гроза прошла. Нельзя ли вам еще чем-нибудь помочь?

Рабле — великий юморист. Кроме Аристофана, Мольера и Сервантеса, он не имеет себе равных. Сцена бури — это изумительная сцена человеческой комедии, заканчивающаяся забываемым штрихом. Что касается описания моря и неба, то оно расплывчато; кажется, что оно сложилось не из непосредственных впечатлений, а из литературных реминисценций. Это у Пьера Лоти * или хотя бы даже у Бернардена де Сен-Пьера найдем мы бурю, ими самими виденную и пережитую.

После бури флотилия Пантагрюэля причаливает к Острову макреонов; прежде это был остров богатый, торговый, людный, ныне же, под действием времени, он оскудел и опустел. Здесь, в темном лесу, среди разрушенных храмов, древних обелисков и гробниц, обитают демоны и герои.

Некий старец рассказывает путешественникам о тех стихийных бедствиях, что влечет за собой смерть кого-либо из дивных обитателей леса, и попутно объясняет им причину бури, во время которой они чуть не погибли.

— Мы полагаем, — сказал добрый макреон, — что вчера один из героев умер и что эту свирепую бурю вызвала его кончина. Когда все они живы-здоровы, то здесь и на соседних островах все обстоит благополучно, на Море царят тишина и спокойствие. Когда же кто-нибудь из них скончается, то из лесу к нам обычно-

венно несутся громкие и жалобные вопли, на суше царят болезни и печали, в воздухе — вихрь и мрак, на море — буря и ураган.

Пантагрюэлю эта теория представляется убедительной, и он дает ей свое объяснение:

— Это все равно что факел или же свеча: пока в них еще теплится жизнь, они озаряют всех, все вокруг освещают, каждому доставляют радость, каждому оказывают услугу своим светом, никому не причиняют зла, ни в ком не вызывают неудовольствия, но, потухнув, они заражают дымом и чадом воздух, всем и каждому причиняют вред и внушают отвращение. Так и эти чистые и великие души: пока они не расстались с телом, их соседство мирно, полезно, отрадно, почетно. В час же, когда они отлетают, на островах и материках обыкновенно наблюдаются сильные сотрясения воздуха, мрак, гром, град, подземные толчки, удары, землетрясения, на море — буря и ураган, и все это сопровождается стенаниями народов, сменой религий, крушением царств и падением республик.

Тут берет слово Эпистемон, которого в данный момент можно отождествить с автором, и в подтверждение мысли Пантагрюэля ссылается на одно недавнее и памятное событие:

— Мы недавно уверились в том воочию на примере кончины доблестного и просвещенного рыцаря Гильома дю Белле. Пока он был жив, Франция благоденствовала, и все ей завидовали, все искали с ней союза, все ее опасались. А после его кончины в течение многих лет все смотрели на нее с презрением.

Нам уже приходилось цитировать эти слова. В сущности пример Эпистемона не имеет прямого отношения к тому, что говорят макреоны и Пантагрюэль о смерти демонов и героев. Те несчастья, что, по мнению Эпистемона, принесла с собой Франции смерть Гильома дю Белле, нельзя уподобить ни землетрясению, ни той буре, во время которой Панург готовился к смерти. Это неизбежные затруднения, испытываемые королевством, внезапно лишившимся одного из лучших своих полководцев. Эпистемон, или, вернее, Рабле, возможно, преувеличивает (нам уже приходилось на

это указывать) заслуги, оказанные Гильомом дю Белле своему королевству, у которого и после него были славные полководцы и искусные дипломаты. Но Рабле находился на службе у дю Белле. Вместе с отважным и мудрым Гильомом, сеньором де Ланже, он некогда отправился в Пьемонт, и тот не забыл его в своем завещании. В благодарность за это Рабле желает увековечить его имя на страницах своей книги.

Что касается фантазии Рабле на тему о душах героев, которые, отделившись от тела, будто бы колеблют воздух и сеют бурю, то она навеяна Плутархом, и добрый Пантагрюэль, рассуждая об этом, просто-напросто переводит отрывок из трактата «Об умолкших оракулах».

В заключение он выражает твердую уверенность в том, что душа бессмертна.

— Я полагаю, — говорит он, — что все разумные существа неподвластны ножницам Атропос *. Бессмертны все: ангелы, демоны, люди.

А затем этот неутомимый рассказчик вспоминает историю кормчего Тамуса; история эта хорошо всем известна, и, однако, мы не можем не привести ее, — до того она хороша, до того она увлекательна. Ее тоже можно найти в трактате «Об умолкших оракулах». Даю этот отрывок из «Моральных трактатов» Плутарха сначала в переводе Жака Амио, который появился всего лишь несколько лет спустя после выхода в свет четвертой книги «Пантагрюэля». Амио перевел Плутарха простым, приятным языком. Я только устранил в нем одну бессмыслицу — кстати сказать, Рабле гораздо лучше прочел и понял этот текст, чем Амио:

«Грамматик Эпитерс рассказывает, что, намереваясь плыть в Италию, он сел на корабль, груженный различными товарами, со множеством пассажиров на борту, и вот, — говорит он, — под вечер около Эхинских островов ветер утих, и корабль отнесло к Паксосским островам, а большинство пассажиров тогда еще не спало: многие пили, доедали ужин, как вдруг на одном из Паксосских островов послышался громовой

голос, до того громко произнесший имя Тамус, что все невольно оцепенели. Этот самый Тамус был кормчий, египтянин — на корабле его мало кто знал по имени. На первые два зова он не ответил, а на третий откликнулся. Тогда называвший его по имени, возвысив голос, крикнул, что когда он подойдет к Палодам, то пусть возвестит, что великий Пан * умер. Эпитерс рассказывал нам, что все слышавшие этот крик пришли в изумление и стали спорить, как лучше поступить; исполнить то, что велел голос, или же воздержаться, но в конце концов порешили вот на чем: если они будут проходить мимо Палод при благоприятном ветре, Тамус пройдет молча; если же будет тихо и безветренно, он громко крикнет о том, что слышал. И вот случилось так, что, когда они шли вблизи берега, не было ни малейшего дуновения ветра, на море была тишь и гладь; того ради Тамус, взглянув с носа корабля на сушу, громко сказал о том, что слышал, — о том, что великий Пан умер. Не успел он это вымолвить, как послышался великий шум, и то был не один голос, а многое множество, и все они стонали и выражали изумление, а как весть эту слышали многие, то и облетела она во мгновение ока весь город Рим, так что наконец сам император, Тиберий Цезарь, послал за Тамусом и, поверив его рассказу, велел дознаться, кто таков этот Пан».

А вот несколько вольный перевод Рабле:

«Эпитерс, отец Эмилиана-ритора, плыл вместе с другими путешественниками из Греции в Италию на корабле, груженном различными товарами, и вот однажды под вечер, около Эхинских островов, что между Мореей и Тунисом, ветер внезапно упал, и корабль отнесло к острову Паксосу. Когда он причалил, некоторые из путешественников уснули, иные продолжали бодрствовать, а третьи принялись выпивать и закусывать, как вдруг на острове Паксосу чей-то голос громко произнес имя Тамус. От этого крика на всех нашла оторопь. Хотя египтянин Тамус был кормчим их корабля, но, за исключением нескольких путешественников, никто не знал его имени. Вторично раздался душераздирающий крик: кто-то снова зывал к Та-

мусу. Никто, однако ж, не отвечал, все хранили молчание, все пребывали в трепете, — тогда в третий раз послышался тот же, только еще более страшный голос. Наконец Тамус ответил: «Я здесь. Что ты от меня хочешь? Чего тебе от меня надобно?» Тогда тот же голос еще громче воззвал к нему и велел, по прибытии в Палоды, объявить и сказать, что Пан, великий бог, умер. Эти слова, как рассказывал потом Эпитерс, повергли всех моряков и путешественников в великое изумление и ужас. И стали они между собой совещаться, что лучше: промолчать или же объявить то, что было велено, однако Тамус решил, что если будет дуть попутный ветер, то он пройдет мимо, ничего не сказав, если же море будет спокойно, то он огласит эту весть. И вот случилось так, что, когда они подплыли к Палодам, не было ни ветра, ни волн. Тогда Тамус, взойдя на нос корабля и повернувшись лицом к берегу, сказал, как ему было повелено, что умер великий Пан. Не успел он вымолвить последнее слово, как в ответ на суше послышались глубокие вздохи, громкие стенания и вопли ужаса, и то был не один голос, а многое множество. Весть эта быстро распространилась в Риме, ибо ее слышали многие. И вот Тиберий Цезарь, бывший в ту пору императором римским, послал за Тамусом. И, выслушав, поверил его словам».

Плутарх, как и Рабле, философы александрийской школы, точно так же, как гуманисты, верили, что Пан, великий Пан, представлял собой Все, великое Все: $\pi\alpha\upsilon$ по-гречески означает «всё». Отсюда становится понятным, тот неизъяснимый страх, какой внушали эти прозвучавшие над морем слова: «Умер великий Пан». И все же это совершенно неверная и даже нелепая этимология. Пан родился с рогами, с бородой, с курносым носом и козлиными ногами. Он жил в Аркадии, бродил по рощам и лугам и стерег стада; он смастерил себе свирель и извлекал из нее нехитрые звуки. Своими внезапными появлениями этот неказистый бог порой наводил на людей страх. Принимая во внимание его внешний облик и образ жизни, правильное было

бы производить его имя от глагола $\pi\acute{\alpha}\omega$, что значит «пастись», — ведь он, как известно, пас ягнят, — и отсюда, вероятно, и произошло его имя. Символом же вселенной этому получеловеку посчастливилось стать благодаря случайному созвучию двух разных понятий. Поэты чаще всего выражают свою мысль при помощи каламбура и игры слов. В этом смысле многие из нас тоже являются поэтами.

Не подвергая сомнению, что великий Пан — это великое Все, мысль Пантагрюэля приводит его к тому, что великое Все — это и есть вочеловечившийся бог и что голос, услышанный Тамусом, возвещал смерть Иисуса Христа.

— Я склонен отнести эти слова, — говорит он, — к великому спасителю верных, которого из низких побуждений предали смерти завистливые и несправедливые иудейские первосвященники, книжники, попы и монахи. По-гречески его вполне можно назвать Пан, ибо он — наше Все, — продолжает мягкосердечный великан, — все, что мы собой представляем, чем мы живем, все, что имеем, все, на что надеемся, — это он; все в нем, от него и через него. Это добрый Пан, великий пастырь, который всем сердцем возлюбил не только овец, но и пастухов, и в час его смерти вздохи и пени, вопли ужаса и стелания огласили всю неизмеримость вселенной: небо, землю, море, преисподнюю.

Наш правдивый автор прибавляет, что, когда Пантагрюэль произносил эту речь, из глаз его текли слезы величиной со страусово яйцо. Его интерпретация рассказа Плутарха не принадлежит ему целиком — ее можно найти уже у Евсевия; * от нее отказались лишь после того, как дух исторической критики, коснувшись первых лет христианства, развеял небылицы. Апокалипсис * кормчего из Египта стали тогда рассматривать как символ смерти античных богов.

«Умер великий Пан» — для новейших поэтов и философов это означает, что старый мир рухнул, а на его развалинах возникает новый. Старые храмы опустели — родился новый бог.

Именно так истолковал старый Плутархов миф в поэме «Рождество на море» провансальский поэт Поль Арен *, поэт чистой воды, поэт настоящий.

Я думаю, что после Плутарха и Рабле вы с удовольствием послушаете эти стихи как пример омоложения старой темы, как пример вечного движения легенд. Ах, если бы вы послушали их в исполнении законченного мастера живого слова, которому мы не раз аплодировали в этой самой зале! Актер Французской комедии Сильвен изумительно читает эти стихи. Я прочту вам только начало, поскольку оно имеет прямое отношение к моему предмету:

Когда старик Тамус, испугом обуян,
Встал к борту у Палод и крикнул: «Умер Пан!» —
Проснулись берега, и раздалось в молчанье
Над мертвой зыбью волн протяжное стенанье.
Наполнил воздух шум стихий и голосов,
Как будто к облакам из гор и из лесов
Взлетел предсмертный вопль богов, сраженных горем,
А ветер Ионии разнес его над морем.
Свирепый вихрь, как бич, поверхность вод рассек,
Смерч солнце заслонил, столбами взвив песок;
И обнажились в них утесы постепенно,
От чаек черные и белые от пены,
Где разлеглись стада Протеевых зверей,
Фонтаны звонких брызг пуская из ноздрей.
Затем, пока Тамус сжимал в руках кормило
И Парку заклинал, безмолвье наступило
И снова улеглось неистовство пучин.
Тогда на мачту влез Тамуса юный сын
И сверху, ухватясь за парус и за рею,
Внезапно закричал: «Отец, взгляни скорее!
Крылатых демонов неисчислимый рой
В закатном пламени несется над водой
Так близко, что корабль едва не задевает.
Их стая белая все небо закрывает.
Их голоса звенят, как в поле птичий крик.
Мне внятно пенье их, хоть незнаком язык.
Ты слышишь их, отец? Они поют «Осанна!»
И говорят они, что в мире невозбранно
Все расцветет, стряхнув нужды и скорби гнет,
Что снова для людей век золотой придет.
Нам это обещал какой-то бог-ребенок.
Укутан в грубый холст, а не в виссон пеленок,
Обшитых пурпуром, лежит на сене он...
Он в варварской стране меж бедняков рожден.
Но почему о нем разнесся слух далеко?»

Тут круто повернул Тамус корабль к востоку.
«Нет, демоны не лгут, мой сын. С тех самых пор,
Как Зевс огонь небес метнул в титанов с гор
И, серу изрыгнув, впервые взвыла Этна,
Страдает человек, который безответно
И в холод и в жару влачит ярмо труда,
Но нищету избыть не может никогда.
Так пусть он явится, тот бог-младенец хилый,
Приход которого предсказан нам Сивиллой,
И, свергнув случая несправедную власть,
Даст каждому из нас заслуженную часть,
Чтобы с лица земли исчезли зло и голод!
Бессмертные добры, покуда род их молод»¹.

Вот вам миф о старом Тамусе в истолковании современного поэта. Саломон Рейнак* в своей недавно вышедшей книге «Орфей» дает ему более буквальное и более точное объяснение: он связывает его с обрядами, творившимися в память Адониса. Адонис, которого во время охоты убил кабан, был оплакан своей возлюбленной Афродитой. В годовщину его смерти жительницы Библа каждый раз оплакивали юного бога и, причитая, называли его священным именем Тамус, которое полагалось приносить только во время этих скорбных мистерий. Этот культ, этот обряд получил распространение во всей Греции. Однажды пассажиры-греки, плывшие мимо берегов Эпира на египетском корабле, кормчий которого по случайному совпадению носил имя Тамус, услышали ночью крик: «Тамус, Тамус, Тамус панмегас тетнеке!», то есть: «Тамус великий умер». Кормчий решил, что кто-то его называет по имени и сообщает о смерти великого Пана — *Пан ме-гас*. Таков конец легенды. Кончается она, во всяком случае, красиво — хором плакальщиц и стенаниями женщин — участниц мистерии.

Мы загостились у макреонов. Но природа, рассказы, мысли, образы — все у них полно особой привлекательности и редкой красоты. Описание печального острова и его священной рощи проникнуто серьезным, благоговейным, торжественным настроением. Мы представляем себе этот остров наподобие того, омываемого водами Корфу, острова с темными соснами,

¹ Перевод Ю. Корнеева.

в изображение которого Бёклин вложил столько величественного, грустного и таинственного.

Пантагрюэль и его спутники снова отправляются на поиски Божественной Бутылки. Едва скрылся из виду Остров макреонов, как показался остров Жалкий, где жил Постник, то есть сам пост. Рабле никогда не посягал на догматы христианского вероучения; что же касается церковного устава, то тут он, напротив, держался крайне передовых взглядов. Олицетворением поста служит у него гнусное и нелепое чудовище, потребитель рыбы, пожиратель горчицы, отец и благодетель лекарей, впрочем, ревностный и вельми благочестивый католик, плачущий три четверти дня и никогда не бывающий на свадьбах.

Рабле устами Ксеномана описывает строение организма у Постника. Это длинейшее описание долгое время оставалось непонятым. В самом деле, попробуйте разобраться в таком, например, отрывке: «Перепонки у Постника что монашеские капюшоны, желудок что перевязь, плевра что долото, ногти что буравчики», и т. д.

Совсем недавно один ученый физиолог, соотечественник Рабле, доктор Ледубль, нашел смысл в этих сравнениях. По-видимому, мэтр Франсуа проявляет здесь солидные познания в анатомии. Я готов этому поверить. Это — забавы ученого. Но они скучны.

Отойдя от острова Жалкого, мореплаватели в виду острова Дикого заметили громадного кита. Как истый гуманист, охотно употребляющий греческие и латинские слова, Рабле называет его «физетер». Пантагрюэль вооружается гарпуном, и автор со свойственной ему точностью, — с точностью человека, знающего технику любого искусства, ремесла и производства, описывает охоту на кита. Впоследствии не раз ставился вопрос: что символизирует этот морской эпизод и не желал ли противник воздержания в пище поразить в лице этого чуда морского освященный канонами пост? Искать разгадку пришлось бы слишком долго. Как заметил Абель Лефран, «охота подобного рода являлась почти обязательной интермедией во время плавания в морях Северной Америки, куда

рыбаки из бухты Сен-Брие, из Рошели, Олоны, из Сен-Жан-де-Люс, из Сибуры каждый год в эту пору отправлялись на лов кита, уже редко когда заплывавшего в европейскую часть океана».

Но в конце концов мы вольны видеть в ките все, что угодно. Одна из главных прелестей изучаемой нами книги состоит в том, что она предоставляет нам вкладывать в нее любой смысл, в зависимости от круга наших интересов и склада ума.

Остров Дикий населен колбасами. Между ним и островом Постника такое же различие, как между жирным и тощим, или, если хотите, это кальвинист и папист. Что колбасы именно кальвинисты — это можно заключить из того, что они страшны. Панург боится их как огня. Брат Жан во главе отряда поваров стремительно атакует их и сажает на вертел. Что же это значит? Неужели реформаты были до такой степени ненавистны Рабле? Ведь он только что как будто склонялся на их сторону. Присмотримся к этому повнимательней. Он благоволил к французским деятелям Реформации; он терпеть не мог женеvских реформатов — этих бесноватых кальвинистов, а они платили ему тем же. Колбасы, об избииении и истреблении которых он так весело рассказывает нам, — очевидно, женеvского происхождения. Будь они из Труа, он почувствовал бы к ним жалость и не устроил бы им такой резни.

Воздержимся, однако, приписывать слишком символический смысл похождениям полководцев Колбасореза и Сосисокромса, королевы колбас Нифлесет, жителей острова Руах, живущих одним только ветром, и великана Бренгнарийля, того самого, что питался ветряными мельницами и умер, подавившись куском свежего масла, которое он по предписанию врачей ел у самого устья жарко пылавшей печки.

Но когда мы, причалив к острову Папифиге, узнаём, что его жители, не успев освободиться от лихоимства папоманов, тотчас подпали под иго феодальных сеньоров, нам невольно приходит на ум германская церковь, которую Лютер, не успев вырвать из хищных рук римских первосвященников,

немедленно отдал во власть германских государей. Здесь намек сам идет к нам навстречу, покров над ним полуприподнят.

Остров Папефига сохранился в галльских преданиях главным образом благодаря одному совсем еще невинному чертенку, не умевшему гроыхать и выбивать градом посевы, разве одну петрушку да капусту, и вдобавок не знавшему грамоте.

Увидев однажды на поле пахаря, чертенок спросил, что он здесь делает. Бедняк отвечал, что он сеет полбу (есть такой сорт пшеницы), чтоб было чем кормиться зимой.

— Да ведь поле-то не твое, а мое, — возразил чертенок, — оно принадлежит мне.

В самом деле, с тех пор как жители острова Папефига оскорбили папу, их страна перешла во владение к чертям.

— Впрочем, сеять пшеницу — это не мое дело, — продолжал чертенок. — Поэтому я не отнимаю у тебя поле, с условием, однако ж, что урожай мы с тобой поделим.

— Ладно, — молвил пахарь.

— Мы разделим будущий урожай на две части, — сказал чертенок. — Одна часть — это то, что вырастет сверху, а другая — то, что под землей. Выбираю я, потому что я черт, потомок знатного и древнего рода, а ты всего-навсего смерд. Я возьму себе все, что под землей, а ты — все, что сверху. Когда начинается жатва?

— В середине июля, — отвечал пахарь.

— Ну, вот тогда я и приду, — сказал чертенок. — делай свое дело, смерд, трудись, трудись! А я пойду искушать знатных монашек. В том, что они сами этого хотят, я больше чем уверен.

В середине июля черт вышел в поле с целой гурьбой чертенят. Приблизившись к пахарю, он сказал:

— Ну, смерд, как поживаешь? Пора делиться.

— И то правда, — молвил пахарь.

И вот пахарь со своими батраками начал жать рожь. Тем временем чертенята вырывали из земли солому. Пахарь обмолотил зерно, провеял, ссыпал в мешки и понес на базар продавать. Чертенята проде-

лали то же самое и, придя на базар, уселись со своей соломой возле пахаря. Пахарь продал хлеб весьма выгодно и доверху набил деньгами старый полусапожек, что висел у него за поясом. Черти ничего не продали, да еще вдобавок крестьяне на виду у всего базара подняли их на смех. Когда базар кончился, черт сказал пахарю:

— Надул ты меня, смерд, ну, да в другой раз не надуешь.

— Как же это я вас надул, господин черт? Ведь выбирали-то вы, — возразил пахарь. — Уж если на то пошло, так это вы хотели меня надуть: вы понадеялись, что на мою долю не взойдет ничего, а все, что я посеял, достанется вам... Но вы еще в этом деле неопытны. Зерно под землей гниет и умирает, но на этом перегное вырастает новое, которое я и продал на ваших глазах... Итак, вы, как всегда, выбрали худшее, оттого-то вы и прокляты богом.

— Ну, полно, полно, — сказал черт. — Скажи-ка лучше, чем ты засеешь наше поле на будущий год?

— Как хороший хозяин, я должен посадить здесь репу, — отвечал пахарь.

— Да ты неглупый смерд, как я погляжу, — сказал черт. — Посади же как можно больше репы, а я буду охранять ее от бурь и не выблю градом. Но только помни: что сверху — то мне, а что внизу — то тебе. Трудись, смерд, трудись! А я пойду искушать еретиков: души у них превкусные, ежели их поджарить на угольках.

Когда настало время снимать урожай, черт с гурьбой чертенят вышел в поле и принялся срезать и собирать ботву. А пахарь после него выкапывал и вытаскивал огромную репу и клал в мешок. Затем они все вместе отправились на базар. Пахарь весьма выгодно продал репу. Черт не продал ничего. Да все еще открыто над ним потешались.

Нужно ли напоминать, что Рабле не сам сочинил эту сказку? Он заимствовал ее у народа. Лафонтен в свою очередь заимствовал ее у Рабле и облек в стихотворную форму. Вот каким чудным языком пересказал эту сказку поэт:

...назван Палефигою тот остров,
Где жители не чтили папу, а
Его портрету фигу показали.
За это небеса их наказали,
Как сказано у мэтра Франсуа.
Был остров облюбован сатанюю
Для местопребыванья своего.
На горе беднякам за ним толпою
Нагрянул весь придворный люд его,
Рога и хвост имеющий обычно,
Коль роспись храмов не апокрифична.
Один такой вельможа майским днем
Заговорил со смердом-хитрецом,
Работавшим на пашне с самой зорьки
И в поте добывавшим хлеб свой горький
По той причине, что с большим трудом
Взрастало все в проклятом крае том,
Где знатный бес столкнулся с мужиком.
А был сей черт евангельски невинным
Невеждой и природным дворянином,
Который градом, если зол бывал,
Покуда лишь капусту выбивал,
А больший вред еще не мог содеять.
«Эй, смерд, — сказал он, — ни пахать, ни сеять
Мне не пристало, ибо я в аду
От благородных бесов род веду
И спину гнуть над плугом не умею.
Знай, смерд, что этим полем я владею.
Здесь все угодыя — наши с тех времен,
Как остров был от церкви отлучен;
Вы ж, мужики, — рабы чертей-сеньоров.
Поэтому я б мог без разговоров
Забрать себе плоды твоих трудов.
Но я не скуп и разделить готов
С тобою все, что здесь ты ни развел бы.
Какой ты, кстати, тут насадишь злак?»
«Я, ваша милость, — отвечал бедняк, —
Считаю, что нет злака лучше полбы.
Уж так земля родит его у нас!»
«Я это слово слышу в первый раз! —
Воскликнул бес. — Как говоришь ты? Полбы?
Вос злак такой на ум и не пришел бы.
А впрочем, как ни назови его,
Бог с ним! Что мне за дело до того!
Согласен я. А ты трудись до пота,
Трудись, мужик, да поспевай пахать.
У мужичья один удел — работа.
Но помощи моей не вздумай ждать.
Возись-ка с пашней сам — не до нее мне.
Я — дворянин, и ты себе запомни:
Не для меня учение и труд.

Мы урожай поделим на две доли:
 Все, что за лето над землею тут
 Повырастет, свезти ты можешь с поля;
 А все, что под землею на стерне
 Останется, сполна представишь мне».

Приходит август — время урожая.
 Наш пахарь поле жнет, не оставляя
 Ни зернышка на скошенных стеблях,
 Как черт распорядился, полагая,
 Что вся корысть заключена в корнях,
 Тогда как колос — лишь трава сухая.
 Набил крестьянин верхом закрома,
 На рынок бес отправился с половиной,
 Но там ее не взяли задарма,
 И черт удрал, повеситься готовый.
 К издольщику пошел он своему,
 А тот, хитрец, куда суд да дело,
 Не молотя, сбыл полбу с рук умело,
 Да и припрятал денежки в суму
 Так ловко, что в обман нечистый дался
 И молвил: «Ты надул меня, злодей.
 Ведь я — придворный бес и с юных дней,
 Как смерды, в плутовстве не изощрялся.
 Что ты посеять хочешь здесь весной?»
 «Хочу, — сказал крестьянин продувной, —
 Чтоб тут морковь или брюква уродилась.
 А если репу любит ваша милость,
 Так репа тоже даст большой доход.
 «По мне, — ответил дьявол, — все сойдет.
 Себе возьму я то, что над землею,
 А ты возьмешь то, что в земле. С тобою
 Я ссориться напрасно не хочу.
 Ну, я монашек соблазнять лечу.
 (Намек на них у автора туманен.)
 Едва лишь год условный пролетел,
 Как брюкву с грядок выкопал крестьянин,
 А всей ботвой нечистый завладел.
 Он с ней пошел на рынок торопливо,
 Но там торговцы, видя это диво,
 Над бесом посмеялись от души:
 «Где, сударь черт, такой товар нашли вы?
 Куда теперь девать вам барыши?»¹

* * * * *

Как точно Лафонтен, лучший лингвист своего века,
 воспроизводит формы языка, обороты речи, словарь
 своего образца!

Но продолжим наше путешествие к оракулу.

¹ Перевод Ю. Корнеева.

Покинув остров Папефигу, Пантагрюэль и его спутники пристают к Острову папоманов.

— Видели вы его? — кричат им с берега жители. — Видели вы его?

Панург, догадавшись, что речь идет о папе, ответил, что видел целых трех, но что проку ему от этого не было никакого.

— То есть как трех? — воскликнули папоманы. — В священных Декреталях, которые мы распоеваем, говорится, что живой папа может быть только один.

— Я хочу сказать, что видел их последовательно, одного за другим, а не то чтобы всех сразу, — пояснил Панург.

В данном случае устами этого негодника Панурга говорит сам Рабле. Ему действительно до сего времени пришлось видеть трех пап: Климента VII, Павла III и Юлия III.

Все население острова, целой процессией вышедшее к ним навстречу, — мужчины, женщины, дети, — сложив руки и воздев их горе, воскликнуло:

— О счастливые люди! О безмерно счастливые люди!

Гоменац, епископ Папоманский, облобызал им стопы.

Путешественники были приглашены на обед к этому прелату; он потчевал их каплунами, свиной, голубями, зайцами, индюками и проч.; кушанья эти подавали молоденькие красотки, милашки, очаровательные куколки со светлыми букольками, в белых туниках, дважды перетянутых поясом, с ленточками, шелковыми лиловыми бантиками, розами, гвоздиками и майораном в ничем не прикрытых волосах; время от времени с учтивыми и грациозными поклонами они обносили гостей вином. Добрый Гоменац в этом отношении является всего лишь последователем Валуа, охотно заменявших пажей, которым полагалось прислуживать у них за столом, молодыми красивыми девушками.

Во время роскошного пиршества Гоменац воздает хвалу священным Декреталиям: если их исполнять,

утверждает он, то они составили бы счастье рода человеческого и открыли эру всеобщего блаженства.

Декреталии — это, как вы знаете, послания, в которых папа, разрешая тот или иной вопрос, применительно к данному случаю указывает, как надлежит поступать во всех аналогичных случаях. Этот частный повод иногда выдумывался, чтобы потом можно было сослаться на соответствующее решение.

Итак, не случайно привел своих читателей Рабле к этому помешанному на Декреталиях папоману. Он цитирует их для того, чтобы с необычной для него едкостью вдоволь поиздеваться над всеми этими трактующими о действительных или выдуманных фактах постановлениями, на которых, по мнению святейшего владыки, основывалась его власть над народами и царями. Он заставляет друзей Пантагрюэля осыпать эти священные послания градом насмешек.

Понократ рассказывает, что у Жана Шуара из Монпелье, купившего несколько Декреталий для плющения золота, все листы получились с изъяном.

Эвдемон сообщает, что манский аптекарь Франсуа Корню наделал из Экстравагант, то есть из таких Декреталий, которые издавались отдельно, пакетов, и все, что он туда положил, в тот же миг загнило, испортилось, превратилось в отраву.

— Парижский портной Груанье употребил старые Декреталии на выкройку, — сказал Карпалим, — и все платье, сшитое по этим выкройкам, никуда не годилось.

Сестры Ризотома — Катрина и Рене — положили в книгу Декреталий только что выстиранные, тщательно выбеленные и накрахмаленные воротнички, а когда вынули их, то они были чернее мешка из-под угля.

Гоменац, выслушав эти лукавые речи и еще много других, ибо, когда речь заходит о Декреталиях, Рабле неистощим и на удачные и на дешевые остроты, заявляет:

— Понимаю! Это все непристойные шуточки ново-явленных еретиков.

Сказано слишком сильно. Рабле — несомненный сторонник церковной реформы, но он не схизматик и не еретик. Вера в нем не настолько сильна, чтобы он стал против нее грешить. Между нами говоря, я думаю, что он ни во что не верит. Но тут мы имеем дело не с какой-нибудь его тайной мыслью, а с тем, что он проповедует открыто. Вместе с французскими епископами и прелатами он борется против Сорбонны и монашества; он — приверженец галликанской церкви; он — горячий защитник прав французской церкви и французского престола; он — против папы и за его христианнейшее величество, короля. В сущности он восстает против римской политики, выраженной в Декреталях, потому что она узурпирует светскую власть королей и стремится выкачать золото из Франции в Рим. Догматы его не беспокоят: тут он как нельзя более сговорчив. Обряды и таинства его ничуть не волнуют. Напротив, интересы королевства и монарха ему бесконечно дороги. Мы не должны забывать об исконной вражде между французскими королями и папами, заполняющей собой историю старшей дочери католической церкви. Ну, а Рабле душой и телом был предан своей родине, своему государю — вот его политические, вот его религиозные убеждения!

Покинув Остров папоманов, Пантагрюэль и его спутники, приблизившись к безлюдным пределам ледовитого моря, неожиданно услышали сперва отдельные голоса, затем — шум целой толпы, стали различать слоги, слова, и эта человеческая речь, нарушившая тишину водной пустыни, удивила их и даже устрасила.

Лоцман их успокоил.

— В прошлом году здесь произошло великое сражение, — сказал он. — Слова мужчин, вопли женщин, ржанье коней и весь шум битвы замерзли. Теперь зима прошла, настала жара, вот слова и оттаяли.

Мы подходим к концу четвертой книги.

Пантагрюэль высадился в жилище мессера Гастера (мессера Чрево), первого в мире магистра наук и искусств. Путешествие аллегорическое, дающее Рабле великолепный повод проявить свою многостороннюю

ученость. Несравненный автор показывает, каким образом мессер Гастер стал отцом наук и искусств:

«Прежде всего он изобрел кузнечное искусство и земледелие, то есть искусство обрабатывать землю, дабы она производила зерно. Он изобрел военное искусство и оружие, дабы защищать зерно, изобрел медицину, астрологию и некоторые математические науки, дабы зерно могло сохраняться и дабы уберечь его от непогоды, от диких зверей и разбойников. Он изобрел водяные, ветряные и ручные мельницы, дабы молоть зерно и превращать его в муку, дрожжи — дабы тесто всходило, соль — дабы придавать ему вкус, огонь — дабы печь, часы и циферблаты — дабы знать время, в течение которого выпекается детище зерна — хлеб. Когда в одном государстве не хватило зерна, он изобрел искусство и способ перевозить его из одной страны в другую. Ему пришла счастливая мысль скрестить две породы животных — осла и лошадь, дабы создать третью породу, то есть мулов, животных более сильных, менее нежных, более выносливых, чем другие. Он изобрел повозки и тележки, дабы удобнее было перевозить зерно. Если море или реки препятствовали торговле, он изобретал, на удивление стихиям, баржи, галеры и корабли, дабы через моря доставлять зерно диким, неведомым, далеким народам».

Ах, если бы старый мэтр Франсуа воскрес, если бы он жил среди нас, сколько новых чудесных изобретений присоединил бы он к древним искусствам мессера Гастера! Паровые двигатели, телеграф, при помощи которого рыночные цены становятся известными на всем земном шаре, хранение мяса в холодильниках, химическое удобрение, интенсивное сельское хозяйство, последовательно проводимую селекцию, американскую лозу, оживляющую иссохшие черенки древней Европы, — этого Бахуса Нового Света, возвращающего жизнь нашему латинскому Бахусу, и столько еще разных чудес, сотворенных человеком, чья изобретательность обусловлена суровой необходимостью. Как восхищался бы старый мэтр тем высоким уровнем развития скотоводства и земледелия, благодаря которому

ваша страна, счастливые аргентинцы, стала самой цветущей страной в мире!

После жилища мессера Гастера нам остается отметить лишь остров Ханеф, населенный буквоедами, дармоедами, пустосвятами, бездельниками, хатками, отшельниками, все людьми бедными, живущими подаванием путешественников, и мы можем сказать, что просмотрели все написанное Рабле в вышедшей при его жизни четвертой книге о путешествии Пантагрюэля к оракулу Божественной Бутылки.

Добрый Рабле показал нам своим гигантским пальцем: вот корень вашей активности, ваших великих заслуг перед обществом. Это мессер Гастер, первый в мире магистр искусств, научил вас быстрому использованию богатств вашей почвы, заставил вас пуститься в торговые предприятия, и ему обязаны вы своими успехами в области экономики и финансов.

ЖИЗНЬ РАБЛЕ (Продолжение)

Сорбонна осудила четвертую книгу, и ее выход в свет был приостановлен решением парламента от 1 марта 1552 года. «Принимая в соображение, — гласит этот документ, — запрет, наложенный богословским факультетом на некую зловредную книгу, поступившую в продажу под названием «Четвертая книга Пантагрюэля» и вышедшую с дозволения короля, суд постановляет немедленно вызвать книгопродавца и воспретить ему продавать и выставлять вышеуказанную книгу в течение двух недель, в каковой срок королевский прокурор обязан поставить в известность сеньора короля о запрете, наложенном на вышеуказанную книгу вышеуказанным богословским факультетом, и послать ему один ее экземпляр на его усмотрение».

Книгоиздателя Мишеля Фезанда действительно вызвали в суд, и под страхом телесного наказания ему было воспрещено продавать книгу в продолжение двух недель. По прошествии некоторого времени — точный срок нам неизвестен — запрет был снят.

В ноябре 1552 года прошел слух, что Рабле посажен в тюрьму и закован в цепи. Слух оказался ложным. Автор «Пантагрюэля» был на свободе, но жить ему оставалось недолго. Где и когда он умер — мы не знаем. Эпитафия, которую написал Тауро, указывает на то, что в последние минуты жизни он был окружен друзьями и что он посмеивался над их скорбью.

Кольте утверждает, что умер он в Париже, в доме, находившемся на улице Садов, а погребен на кладбище св. Павла, под большим деревом, которое показывали еще в XVII веке.

В то время поэты и гуманисты охотно слагали эпитафии умершим знаменитостям. Ронсар * посвятил Рабле написанную в форме оды эпитафию, в которой он восхваляет его главным образом как любителя выпить:

Бывало, солнце не взойдет,
А уж покойный встал и пьет.
Бывало, ночь в окно глядится,
А он все пьет и не ложится.
Воспеты были им умело
Кобыла сына Гаргамеллы,
Дубина, коей дрался он,
Шутник Панург, Эпистемон,
Боец и ада посетитель,
Брат Жан, лихой зубодробитель,
И папоманская страна.
О путник, с легкою душою
Закусывая ветчиною,
Бочонок доброго вина
Над гробом сим распей сполна¹.

Нашей современной деликатности эти стихи покажутся оскорбительными: мы никак не могли ожидать, что царь поэтов будет говорить в таких выражениях о нашем несравненном мэтре, но, присмотревшись внимательно к этой эпитафии, мы убедимся, что она представляет собой подражание мелким стихотворениям из греческой антологии, посвященной памяти Анакреона. А такой человек, как Ронсар, должен был думать, что этим он оказывает Рабле честь.

¹ Перевод Ю. Корнеева.

Другой поэт Пляеды, Баиф, посвятил Рабле не лишнюю изящества надгробную надпись:

Плутон,пусти Рабле скорей,
Чтоб в первый раз,о царь теней,
Отученных тобой смеяться,
Ты вдоволь мог нахохотаться¹.

Но с особым удовольствием мы приведем здесь превосходную, написанную латинскими стихами эпиграфию автору «Пантагрюэля», которую сочинил один из знакомых Рабле, доктор Пьер Буланже. Даем ее в прозаическом переводе:

«Под сим камнем покоится лучший из шутников. Допытываться, какой он был человек, — это удел потомков, ибо все, кто жил в его время, понимали, что собой представлял этот шутник; все его знали, и всем он был дорог, как никто. Потомки, быть может, подумают, что это был шут, фигляр, за удачное словцо получавший лакомый кусочек. Нет, нет, он не был ни шутом, ни уличным фигляром. Но, обладая умом пронзительным и редким, он высмеивал род людской, его безрасудные прихоти и тщету его надежд. Будучи спокоен за свою судьбу, он наслаждался жизнью, и все ему благоприятствовало. Зато, когда он считал нужным, оставив шутливый тон, начать говорить серьезно, когда ему хотелось играть более важные роли, — тут уж более ученого человека вы бы не нашли. Ни один сенатор с наморщенным челом, с печальным и суровым взором не восседал так важно на своем возвышении. Если у вас возникал сложный и трудный вопрос, для разрешения которого нужно было обладать большими знаниями и сноровкой, вы тотчас же вспоминали, что только ему доступны высокие предметы и что тайны природы открыты только ему. Сколь красноречиво выражал он свои заветные мысли — на удивление тем, кто, основываясь на его язвительных шутках и острых словцах, полагал, что в этом шутнике нет ничего от ученого! Он знал все, что создали Греция

¹ Перевод Ю. Корнеева.

и Рим. Но — второй Демокрит * — он смеялся над нелепыми страхами и над прихотями простолюдинов и царей, над их суетными заботами, над их тяжкими трудами, в которых они проводят свой краткий век и которым они посвящают все то время, что нам отвело милосердное Провидение».

В этой прекрасной эпитафии пуатевинского врача нашли свое отражение ум, душа и гений Рабле.

Мы уже знаем, что Рабле умер, оставив «Пантагрюэля» незаконченным. Через девять лет после его смерти появился отрывок из пятой и последней книги, состоявший из шестнадцати глав. Полностью она вышла в 1564 году без указания места выхода в свет и имени издателя.

Принадлежность этой книги Рабле была поставлена под сомнение. Многие, пораженные ее кальвинистскими тенденциями, не решаются признать ее автором того, кто в глазах Кальвина был безбожником и кто в свою очередь смотрел на Кальвина как на бесноватого. Но кальвинизм пятой книги, в общем, не идет дальше нападок на монахов, а Рабле вечно потешался над бедными черноризцами. Читая эти страницы, я, как и Ленорман, порой узнаю львиные когти нашего автора.

Этим я не хочу сказать, что каждое слово в пятой книге принадлежит Рабле. Возможно, что автор не успел закончить свое произведение. В нем были пропуски и непонятные места. Издатель разъяснял и дополнял его по мере надобности, а иногда, может быть, и вовсе без надобности; он желал устранить его недостатки и заодно выказать свой талант. В те времена издатели понимали свои обязанности иначе, чем их понимают теперь. Они не считали нужным бережно относиться к текстам, они любили их украшать. Все посмертные произведения писателей XVI века наглядно свидетельствуют об издательском произволе. Не удивительно, что следы его мы находим и в пятой книге «Пантагрюэля», в дошедшем до нас тексте. Должен сознаться, что меня наводит на некоторые подозрения четверостишие, предпосланное ей анонимным издателем:

О нет, Рабле — не мертв. Он книгу издал снова.
Часть лучшая его по смерти в нас живет.
Сей том себе даря, мы дарим в свой черед
Бессмертье автору творения такого¹, —

то есть, насколько я могу понять: Рабле умер, но он ожил вновь, чтобы подарить нам эту книгу. Согласитесь, что только под таким соусом и можно было выпустить подделку. Однако приходится считаться и с неуклюжестью бездарного рифмача, и в таком случае это может значить вот что: Рабле не умер, поскольку он живет в своей книге. Если мы будем продолжать эту дискуссию, то наши сомнения лишь возрастут. Откроем же загадочную книгу.

¹ Перевод Ю. Корнеева.

ПЯТАЯ КНИГА

Эта посмертная книга содержит в себе продолжение и конец путешествия Пантагрюэля и его свиты к оракулу Божественной Бутылки. Мы не станем изучать ее столь же внимательно, как предыдущие, ибо если в целом она и представляется мне творением Рабле, то все же мы не можем сказать с уверенностью, что именно в ней принадлежит ему, а также по той причине, что аллегория, охладившая уже столько глав четвертой книги, занимает здесь очень большое место и наводит уныние и скуку, между тем как тон автора становится все более суровым, а нападки на «нечистую силу» и «Пушистых Котов» по своей ожесточенности превосходят все, что Рабле когда-либо о них писал.

Мореплаватели причаливают сперва к острову Звонкому, где стоит немолчный звон колоколов. Рабле не выносил колокольного звона, так что довольно мрачная картина этой страны, по всей видимости, нарисована им. Остров населен сидящими в клетках птицами из духовного сословия, на что указывают их названия: клирицы, иночки, священцы, аббатцы, епископцы, кардинцы и, единственный в своем роде, папец, а также клирицы, инокицы, священницы, аббатицы, епископицы, кардиницы и папицы. Все это перелетные птицы, прилетевшие из далеких стран. Некоторые прибыли сюда еще совсем молодыми по настоянию матерей, не потерпевших их присутствия у себя в доме. Большин-

ство явилось из чрезвычайно обширной страны, называемой «Голодный день». Иными словами: население монастырей увеличивают жестокий эгоизм родителей и нужда многосемейных.

На этом острове Панург рассказывает притчу о жеребце и осле. Она достойна нашего автора. Тех из вас, кто не убоится вольностей старинного языка, я отсылаю к ней.

Некоторое время спустя путешественники пристают к Острову железных изделий. На деревьях здесь растут вместо плодов рабочий инструмент и оружие: заступы, кирки, косы, серпы, скребки, топоры, косари, пилы, рубанки, садовые ножницы, клещи, ножи и кинжалы. Кто хочет обзавестись каким-нибудь инструментом или оружием, тому достаточно тряхнуть дерево, и железные плоды, падая, сами прикрепляются к рукояткам или попадают в ножны, растущие как раз под ними. Каждый волен истолковать этот миф, как ему заблагорассудится.

Затем мы попадаем на Остров плутней. Среди прочих достопримечательностей нам здесь показывают шестигранные утесы, вокруг которых произошло больше кораблекрушений и погибло больше человеческих жизней и ценного имущества, нежели вблизи всех Сиртов, Харибд, Сирен, Сцилл вместе взятых и во всех пучинах морских. Эти шестигранные утесы суть не что иное, как игральные кости. Тут Рабле в качестве правоверного католика выступает против азартных игр.

На Острове плутней мы сталкиваемся с той породой людей, что здравствует и ныне: это продавцы поддельных древностей. Один из них продает пантагрюэлистам кусочек скорлупки от двух яиц, снесенных Ледой. Как известно, во времена Рабле обладатели «реликвий» за особую мзду давали потрогать перо архангела Гавриила.

Затем корабли Пантагрюэля пристают к Острову осуждения, где заседает уголовный суд. Судьями являются здесь Пушистые Коты. Как у настоящих котов, у них есть и шерсть и когти. Вот как изображает их автор: «Они вешают, жгут, четвертуют, обезглавливают, умерщвляют, бросают в тюрьмы, разоряют и

губят все. Порок у них именуется добродетелью, злоба переименована в доброту, измена зовется верностью, кража — щедростью. Девизом им служит грабеж. Люди так же мало знают об их злобе, как о еврейской каббале, — вот почему Пушистых Котов ненавидят, борются с ними и карают их не так, как бы следовало. Но если их когда-нибудь выведут на чистую воду и изобличат перед всем светом, то не найдется такого красноречивого оратора, такого сурового закона и такого могущественного правителя, которые не дали бы сечь их живьем в их норе».

Затем мы причаливаем к Острову апедевтов: это — Остров казначейства. Апедевты заняты исключительно тем, что кладут под пресс дома, луга, поля и выдавливают из них деньги, причем к королю поступает лишь часть этих денег. Остальное исчезает.

Затем мы отправляемся на остров Раздутый. Описание этих толстяков, которые, наевшись до отвала, с ужасным треском лопаются от жира, вероятно, представляло нашим предкам не меньше удовольствия, чем какая-нибудь картина Брейгеля Старшего *. Нас влечет к ним теперь лишь интерес к старине и чисто археологическая любознательность.

Отойдя на раздутых парусах от острова Раздутого (к сожалению, игра слов имеется в тексте), мы попадаем в королевство Квинтэссенцию, страну изобретательных и хитроумных людей. Все здесь заняты делом: одни белят эфиопов, оттирая им живот корзинкой, другие пашут на лисицах; кто режет огонь ножом, кто черпает решетом воду; есть и такие, что измеряют скачки блох, есть и такие, что охраняют луну от волков.

Столь просвещенные люди не могут, однако, ничего сообщить пантагрюэльцам об оракуле; те продолжают свой путь и высаживаются на острове Годосе, где дороги ходят. Они сами собой приходят в движение и передвигаются как одушевленные существа.

На вопрос:

— Куда идет эта дорога?

Здесь отвечают:

— К такому-то приходу, к такому-то городу, к такой-то реке.

Ответ обычный. Но на Годосе его надо понимать буквально. Путники, выбрав нужную им дорогу, без особых трудов и усилий прибывают к месту своего назначения.

Отсюда был сделан вывод, что Рабле предвосхитил движущийся тротуар, показанный на выставке 1900 года. Вернее всего, наш автор, любивший позабавиться, играет на обиходном выражении: эта дорога идет от туда-то и туда-то.

Особого внимания заслуживают в этой главе следующие строки:

«Приглядевшись к побежке движущихся дорог, Селевк пришел на этом острове к заключению, что на самом деле движется и вращается вокруг своих полюсов земля, а не небо, хотя мы и склонны принимать за истину обратное: ведь когда мы плывем по Луаре, нам кажется, что деревья на берегу движутся, — между тем они неподвижны, а это нас движет бег лодки».

Итак, система Селевка — это та самая система, с которой в 1543 году выступил Коперник. Рабле утверждает, что земля вращается вокруг своих полюсов: для того времени это было очень ново и очень смело. Паскаль через сто с лишним лет знал в этой области меньше, и даже к концу века философов выходившие во Франции в виде тощих брошюрок учебники космографии все еще излагали систему Птолемея, система же Коперника рассматривалась как чистая гипотеза. Не думайте, что и в XX веке стадо ослов — ученая чернь — хорошо разбирается в этих вопросах. Совсем недавно достаточно было великому французскому математику Пуанкаре выступить с новой теоремой *, чтобы ничего в ней не понявшая толпа ученых невежд (такие у нас благоденствуют) тотчас вновь поместила землю в центре вселенной, — по крайней мере человечеству будет теперь чем гордиться. Но продолжим наше путешествие.

Покинув остров Годос, мы бросаем якорь на Острове деревянных башмаков, где находится монастырь, в котором живут весьма смиренные иноки; они сами себя

называют братьями распевами, потому что они все время распевают псалмы. При виде этих монахов брат Жан восклицает:

— Я теперь совершенно уверен, что мы находимся на земле антиподов. В Германии сносят монастыри и расстригают монахов, а здесь, наоборот, монастыри строят.

Это с полным основанием может быть воспринято, как одобрение реформе Лютера. Рабле всюду достаточно ясно дает понять, что монахи несчастны и что приносят они не пользу, а вред. Он не упускает случая посмеяться над ними, но ненависти к ним в сущности не испытывает, если только они не превращаются в «нечистую силу», не притесняют так жестоко лиц, изучающих греческий язык, и не требуют, чтобы людей сжигали за ум и знания. И если он упрекает бедных иноков в том, что они сломя голову несутся в трапезную, то делает он это больше из желания посмеяться, чем со злости. Не забудем, что самым смелым, самым добрым, — добрым не на словах, а на деле, — персонажем его всемирной комедии является монах, и при этом не беглый монах, не монах-расстрига, а монах настоящий, такой монах, «каким, — по выражению автора, — когда-либо монашествующий мир омонашивал монашество». И общественное учреждение, в устройство которого он вкладывает весь свой ум и всю свою душу, — это опять-таки аббатство; аббатство, где устав соответствует природе вещей, где все любят жизнь, где думают больше о земле, чем о небе, но все же аббатство, общежитие монастырского типа.

Последнюю остановку хорошие пантагрюэлисты делают в Атласной стране, где все деревья и цветы — из шелка и бархата, а животные и птицы — ковровые. Они не едят, не пьют, не кусаются. Наши путешественники встречают на этом острове горбатого старикашку, уродливого и безобразного, по имени Наслышка. Рот у него до ушей, а во рту — семь языков, и каждый язык рассечен на семь частей. Все семь языков болтают сразу. На голове и на всем теле у него столько ушей, сколько у Аргуса — глаз.

«Вокруг него, — продолжает автор, — я увидел великое множество мужчин и женщин, слушавших его со вниманием... Один из них, держа в руках карту мира, с помощью сжатых афоризмов растолковывал слушателям, что на ней обозначено, слушатели же в течение нескольких часов становились просвещенными и учеными и рассуждали о таких вещах, для ознакомления с сотой долей которых понадобилась бы целая жизнь: о пирамидах, о Ниле, о Вавилоне, о троглодитах, о пигмеях, о каннибалах, обо всех чертях — и все *по наслышке*. Я увидел там Геродота, Плиния, Солина, Бероза, Филострата, Мелу, Страбона и еще кое-кого из древних, Альберта Великого, Паоло Джовио, Жака Картье, Марко Поло и еще невесть сколько новейших историков, — они писали прекрасные книги и всё понаслышке».

Это место наводит на размышления. Рабле, если только весь этот отрывок принадлежит ему (а ведь в пятой книге каждая мелочь вызывает сомнения), причисляет к рассказчикам небылиц Жака Картье, королевского шкипера. Это несколько расходится с тем взглядом, согласно которому морское путешествие Пантагрюэля представляет собой своего рода литературную вариацию на географическую тему мореплавателя из Сен-Мало. Рабле как бы говорит, что реляции Жака Картье — сплошная ложь. Но тем, кому знаком дух Возрождения, особенно странным может показаться то, что такой гуманист, эллинист и латинист, как Рабле, подвергает сомнению авторитет Филострата, Страбона, Геродота и Плиния в области истории, что такой образованный, сверхобразованный человек, как Рабле, издевается над этими великими древними и утверждает, что они говорят понаслышке, так же как Марко Поло, Паоло Джовио и любой другой деятель нового времени. Это до того непохоже на всех тогдашних ученых, до того необычно, что мэтр Франсуа начинает казаться нам великим скептиком, ни во что не верящим, — ни во что, кроме человеческой беспомощности, которая вызывает сострадание и которую одна ирония способна утешить. В 1540 году он сомневается в правдивости рассказов Геродота! Но ведь еще

при Людовике XIV наш простодушный Ролен * принимал их на веру!

Покинув страну лжи, Пантагрюэль и его друзья вскоре достигли наконец цели своего путешествия. Они подплывают к Фонарной стране, описание которой Рабле заимствовал из «Истинной истории», широко использованной им в четвертой книге. Это добрый знак. Подражания Лукиану позволяют думать, что мы имеем дело с подлинным Рабле и что мы, пожалуй, проникнем в храм и услышим долгожданное слово оракула. Фонария населена живыми фонарями. Ее королева — это фонарь в платье из горного хрусталя, дамаскированного и усыпанного крупными алмазами. Фонари царской крови облечены в одежду из стразов, остальные — в роговую, бумажную, клеенчатую. Один из фонарей — глиняный и напоминает печной горшок. Это фонарь Эпиктета, который, если верить Лукиану, был продан любителю за три тысячи драхм.

Пантагрюэлисты отужинали у королевы. По всей вероятности, речь здесь идет о философическом пиршестве, а фонари, светильники олицетворяют собою мудрость и добродетель. По окончании пира королева предоставляет гостям выбрать себе в путеводители по фонарю. Здесь говорит сам Рабле, да и кто, кроме Рабле, мог бы сказать то, что вы сейчас услышите?

«Нами был выбран и предпочтен спутник великого учителя Пьера Лами. Некогда я был с ним близко знаком, он тоже узнал меня, и мы сочли его самым совершенным, самым подходящим, самым ученым, самым мудрым, самым красноречивым, самым добрым, самым благожелательным и наиболее способным вести нас, чем кто-либо другой в этом обществе. Выразив нашу чрезвычайную признательность ее величеству королеве, мы отправились на корабль, провожаемые семью молодыми фонарями, всю дорогу балагурившими, но не горевшими, так как уже сияла светлая Диана».

Кто, кроме Рабле, мог написать эти изумительные строки? Кто еще мог сорок лет спустя, создавая ученую аллегория, вспомнить о юном монахе из Фонтенейского аббатства, занимавшемся вместе с мэтром Франсуа, делившим с ним опасности и гадавшим на

Вергилии, дабы узнать, нужно ли бояться «нечистой силы»? Кто, кроме Рабле, мог принести этому другу юных лет столь щедрую дань благодарной памяти?

Но вот мы уже у оракула Божественной Бутылки, на расположенном по соседству с Фонарией острове, куда Пантагрюэля и его спутников привел мудрый фонарь. Сперва они попадают в обширный виноградник, засаженный всевозможными лозами, на которых круглый год можно видеть листья, цветы и ягоды. Ученый фонарь велит каждому съесть по три виноградины, наложить листья в башмаки и взять в левую руку по зеленой ветке.

В конце виноградника находилась украшенная трофеем кутилы античная арка, а за ней открывалась взору беседка, сплетенная из усыпанных виноградными лоз, — туда-то и вошли наши путники.

— В былое время под таким навесом не осмелился бы пройти ни один верховный жрец Юпитера, — заметил Пантагрюэль.

— Причина тому — мистического свойства, — сказал наш пресветлый фонарь. — Если б жрец бога богов здесь прошел, то виноград, сиречь вино, оказался бы у него над головой, и можно было бы подумать, что он находится во власти и в подчинении у вина, а между тем жрецам, а равно и всем лицам, предающимся и посвящающим себя созерцанию божественного, надлежит сохранять спокойствие духа и избегать всяческого расстройств чувств, каковое ни в одной страсти не проявляется с такой силой, как именно в страсти к вину. И вы равным образом, пройдя под этим навесом, не имели бы доступа в храм Божественной Бутылки, когда бы башмаки ваши не были полны виноградных листьев, а это в глазах почтенной жрицы Бакбук послужит доказательством обратного, а именно того, что вы презираете вино и попираете его ногами.

По сводчатому переходу, расписанному фресками, изображавшими пляску сатиров и женщин, и напоминавшему разрисованный погребок первого города в мире — Шинона (вот где снова чувствуется подлинный Рабле!), они спустились под землю. Там высился яшмовый портал, на котором золотыми буквами было

написано: Ἐν οἴνῳ ἀλήθεια, Истина — в вине. Тяжелые бронзовые дверные створки с лепными украшениями невольно заставляют вспомнить прекрасные двери флорентийского баптистерия Сан-Джованни, о которых Микеланджело сказал, что их можно поставить у входа в рай, и которыми любовался Рабле, в то время как брат Бернар Обжор искал харчевню.

Двери растворились. В глаза посетителям бросились две голубые плиты из индийского магнита.

На одной из них было написано:

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.

Автор переводит это так: «Покорного судьбы ведут, сопротивляющегося тащат».

На другой было начертано греческое изречение: «Все движется к своей цели».

На мозаичном полу храма были изображены виноградные ветви, ящерицы и улитки, — его описание свидетельствует о том, что автор видел римскую мозаику. Своды и стены также были украшены мозаичными изображениями победы Бахуса над индийцами и старого Силена, окруженного юными поселянами, рогатыми, как козлята, свирепыми, как львы, все время певшими и плясавшими. Описание этих картин обличает в авторе поклонника античного искусства и прежде всего усердного читателя Филострата* и Лукиана. Огромное и вместе с тем точно указанное число фигур, — семьдесят девять тысяч двести двадцать семь по одну сторону и восемьдесят пять тысяч сто тридцать три по другую, — это обычный статистический прием мэтра Франсуа. На лампе, освещавшей храм не менее ярко, чем солнце, было вырезано изображение детской драки. Масло и фитиль горели в ней непрерывно, так что не было необходимости ее заправлять.

Меж тем как путешественники любовались этими чудесами, перед ними предстала с веселым и смеющимся лицом жрица Божественной Бутылки Бакбук со своею свитою, подвела их к окруженному колоннами и увенчанному куполом фонтану, бившему посреди храма, велела принести чаши и бокалы и любезно пред-

ложила им выпить. И каждый нашел в воде этого фонтана букет своего любимого вина: кто — бонского, кто — гравского, веселого и искрящегося, кто — мирвосского, что холоднее льда; вкус воды менялся по их прихоти.

Затем жрица нарядила Панурга в одежду, которую надевают неофиты, допускаемые к священнодействиям, и, когда тот пропел напоминающую заклинание песню, бросила в фонтан какое-то снадобье, отчего вода забурлила и загудела, как пчелиный улей. И тогда послышалось слово:

ТРИНК

Бакбук, ласковым движением взяв Панурга под руку, сказала:

— Друг мой, возблагодарите небо — это ваш прямой долг: ведь вы сразу услышали слово Божественной Бутылки, да еще такое веселое, такое мудрое, такое определенное слово, какого я от нее не слышала за все время службы у пресвятого ее оракула.

Тут жрица вытащила толстую книгу в серебряном переплете и, опустив ее в фонтан, сказала:

— Ваши философы, проповедники, ученые кормят вас хорошими словами через уши, мы же вводим наши наставления непосредственно через рот. Вот почему я не говорю: «Прочтите эту главу, просмотрите эту глоссу», а говорю: «Отведайте этой главы, скушайте отменную эту глоссу». Некогда один древний иудейский пророк съел целую книгу и стал ученым до зубов — вы же, когда выпьете эту книгу, станете ученым до самой печенки. Ну, разожмите челюсти!

Как скоро Панург разинул пасть, Бакбук взяла серебряную свою книгу; мы думали, что это и в самом деле книга, так как по виду она напоминала служебник, однако же то была почтенная, самая настоящая и натуральная бутылка фалернского вина, и Бакбук велела Панургу осушить ее единым духом.

— Изрядная глава, поразительно верная глосса! — воскликнул Панург. — И это все, что хотела сказать Бутылка?

— Все, — отвечала Бакбук, — ибо слово *тринк*, коим руководствуются все оракулы, известно и понятно всем народам, и означает оно: *Пейте!*..

Не способность смеяться, а способность пить составляет отличительное свойство человека, и не просто пить, пить все подряд, — этак умеют и животные, — нет, я разумею доброе холодное вино. Заметьте, друзья: вино нам дано, чтобы мы становились, как боги, оно обладает самыми убедительными доводами и наиболее совершенным пророческим даром. Вино, по-гречески *οίνος*, означает силу, могущество, ибо вину дарована власть наполнять душу истиной, знанием и любомудрием. Если вы обратили внимание на то, что ионическими буквами начертано на дверях храма, то вам должно быть ясно, что истина сокрыта в вине. Божественная Бутылка вас к нему и отсылает, а уж вы теперь сами удостоверьтесь, насколько она права.

— Лучше этой досточтимой жрицы не скажешь, — заметил Пантагрюэль. — Ну что же, *тринк!*

— Тринкнем, — молвил Панург.

Что же это за вино, почерпаемое из священного фонтана и придающее человеку душевных сил и бодрости? Автор об этом умалчивает, но все же догадаться нетрудно: это не виноградный сок в прямом и буквальном смысле, это — знание, указывающее чистой душе ее истинное предназначение и делающее ее счастливой — по крайней мере настолько, насколько в этом мире можно быть счастливым. Речь идет уже не о том, чтобы узнать, стоит ли Панургу жениться и обманет ли его жена. Добрый Пантагрюэль и его ученая компания не совершили бы столь длительного путешествия ради того, чтобы разгадать загадку, которая в конце концов занимает одного Панурга. Пантагрюэлисты отправились совещаться с оракулом Божественной Бутылки о судьбах всего человечества, и оракул ответил им: ТРИНК, припадите к источнику знания! Познать ради того, чтобы полюбить, — вот тайна бытия. Бегите лицемеров, невежд, злодеев; освободитесь от ложного страха; изучайте человека и вселенную; познайте законы физического и духовного мира с тем, чтобы им

подчиниться, и с тем, чтобы, кроме них, не подчиняться ничему; пейте, пейте знание; пейте истину; пейте любовь!

Госпожа Ролан *, осужденная кровавым трибуналом, взывала на эшафоте к беспристрастным потомкам — счастливая иллюзия невинной жертвы! Потомки — такие же люди, и они не могут быть беспристрастными; их единодушный приговор есть плод невежества или равнодушия. Потомки бывают иногда одарены чувством эпического и легендарного, — чувством возвеличивающим и упрощающим; они никогда не бывают одарены ни чувством истории, ни постижением истины.

По воле предания, виновника самых невероятных превращений, герои, которых оно увлекает за собой, ведут посмертную жизнь, резко отличающуюся от той, какую они вели, когда были облечены в плоть и кровь. Примером этому служит Рабле. Он стал известен благодаря своей незаслуженной репутации бесшабашного кутилы. Предание создало ему биографию, совсем не похожую на ту, которую я попытался изложить, основываясь на достоверных фактах. После того как вы познакомились с подлинным Рабле, вам небезынтересно будет бросить взгляд на некоторые черты Рабле легендарного. Поэтому, выбрав две-три вздорные небылицы, которые можно найти во всех старых биографиях нашего автора, я вам расскажу их возможно короче, начав с наиболее баснословной, относящейся к последнему приезду мэтра Франсуа в Монпелье.

В то время, когда Рабле читал лекции по медицине, — гласит легенда, — канцлер дю Пра отменил привилегии Монпельерского медицинского факультета. Преподаватели прибегли к помощи своего уважаемого коллеги. Они послали его своим депутатом во дворец с тем, чтобы он добился отмены давно ударившего их постановления. Приехав в Париж, Рабле отправился к канцлеру на дом, но тот его не принял, — тогда он, в зеленом одеянии, с длинной, седой, свисавшей на грудь бородою, стал прогуливаться возле его дома. Прохожие при виде его в изумлении останавливались, и на их

вопросы он отвечал, что он занимается сдиранием шкур с телят и что если кто желает, чтобы с него первого содрали шкуру, то пусть поторопится. Канцлеру, который в это время сидел за трапезой, доложили, что говорит этот странный человек. Он велел его впустить. И Рабле обратился к нему с такой пылкой и ученой речью, что канцлер обещал восстановить и закрепить за Монпельерским университетом его привилегии.

Стоит ли доказывать, что этот рассказ неправдоподобен?

В старых биографиях нашего автора мы можем найти еще и такой эпизод, напоминающий приключение с лекарем Санчо Пансы на острове Баратария.

Однажды Рабле, состоявший в то время лекарем при Гильоме дю Белле, сидя за обедом, постучал палочкой по блюду, на котором лежала великолепная рыба, и заявил, что она несъедобна. Услышав такой приговор, слуги унесли рыбу на кухню, но мэтр Франсуа побежал за ними и принялся уплетать ее за обе щеки; когда же сеньор, застав своего лекаря за столом, осведомился, почему он ест кушанье, которое он только что признал вредным для желудка, Рабле отвечал: «Не на рыбу указывал я палочкой, как на нечто несъедобное, а на то блюдо, на котором ее подали».

Вот на что пускались наши предки, чтобы сделать раблезианской жизнь Рабле.

Придется привести еще один известный, хотя и нелепый и неостроумный анекдот, потому что отсюда ведет свое происхождение поговорка: «Четверть часа Рабле», — поговорка, вошедшая в наш речевой обиход. Вот эта история.

На пути из Рима наш автор вынужден был остановиться в одной лионской гостинице; в дороге он обнюхивался, поиздержался, так что ему нечем было заплатить за ночлег и не на что ехать в Париж, где его ждали дела. В таких-то стесненных обстоятельствах он выгреб из камина золу и, наполнив ею три мешочка, написал на них: «Яд для умерщвления короля», «Яд для умерщвления королевы», «Яд для умерщвления

герцога Орлеанского». Мешочки он положил у себя в комнате на видное место. Хозяйка, обнаружив их, в испуге бросилась к судье; обладатель мешочков был немедленно препровожден в Париж, и король от души посмеялся над его изобретением.

Странно, что подобным рассказням могли верить.

Наконец раньше приводились в качестве подлинных слова, якобы сказанные умирающим Рабле пажу, которого кардинал дю Белле послал узнать о здоровье больного: «Расскажи монсеньеру, в каком я состоянии. Я отправляюсь на поиски великого «быть может». Это очень важная вещь. Скажи ему, чтобы он за нее держался. Опустите занавес, фарс сыгран». Этот рассказ, в некоторой своей части представляющий подражание Светонию, — уже литература. Но он столь же неправдоподобен, как и все прочие.

Популярность Рабле основывается вот на таких трех или четырех историйках. Его произведения не проникли в темные массы, а лубок и «Голубая библиотека» *, распространяющие в наших деревнях портреты и жизнеописания Гаргантюа, ничего не позаимствовали у нашего автора, — это кажется почти невероятным, и, однако, это факт. Они вдохновляются народными сказками, существовавшими и до Рабле. Панурга и брата Жана они не знают. Что бы ни говорили, «Пантагрюэль» — это такая книга, которая рассчитана исключительно на людей образованных; пантагрюэлизм — это такая философия, которая доступна лишь избранным, это — почти эзотерическое, сокровенное, тайное учение. В XVI веке среди таких избранных выделяется кардинал дю Перон, называвший «Пантагрюэля» книгой из книг, второй библией, и отсылавший обедать в буфетную тех из своих гостей, кто сознавался, что не читал ее.

Монтень * только однажды упоминает Рабле в своих «Опытах». Мы приведем весь отрывок, хотя сам по себе он не представляет большой ценности. Но для нас представляет интерес все, что связано с Монтенем.

«...Длительное и слишком сильное умственное напряжение ослепляет, обременяет и утомляет мой рассудок. Взгляд мой становится блуждающим и рассеян-

ным... Если какая-нибудь книга меня раздражает, я принимаюсь за другую, и притом лишь тогда, когда начинаю скучать от безделья. Я почти не обращаюсь ни к новейшим авторам, так как произведения древних представляются мне более глубокими и более капитальными, ни к грекам, ибо рассудок мой отказывается следовать за их детским, ученическим мышлением. Из новых просто-напросто забавных книг, если только их можно поместить под этой рубрикой, я считаю хорошим развлечением «Декамерон» Боккаччо, Рабле и «Поцелуи» Яна Второго. Что касается всяких «Амадисов» и других подобного сорта писаний, то я не увлекался ими даже в детстве» («Опыты», книга II, гл. X).

Итак, Монтень причисляет «Пантагрюэля» к просто-напросто забавным книгам, которые служат ему развлечением. Это суждение представляется нам по меньшей мере поверхностным и легковесным; это — опрометчивость гения, который, вообще говоря, достоин того, чтобы вместе с Рабле занять одно из первых мест в ряду гениев XVI века. Но какая разница между здоровым, тучным, плотным, плечистым, грубоватым, ярким туренцем и гибким, изменчивым, многоликим гасконцем! Общение с Монтенем, без сомнения, приятно и полезно, но он неуловим: он ускользает от вас, он не дается вам в руки. Одни профессора убеждены, что понимают его, ибо такова их профессия — все понимать. Я его часто перечитываю, я его люблю, я восхищаюсь им, но я не уверен, что хорошо его знаю. Его настроение меняется от фразы к фразе, иногда на протяжении одной какой-нибудь фразы, даже не очень длинной. Если верно, что в «Опытах» он изобразил самого себя, то его образ дробится, как отражение луны в волнах. Все это не имеет прямого отношения к нашей теме, но великое имя Монтеня нельзя обойти молчанием.

Того самого Рабле, чьи книги Монтень относил к разряду легкого чтения, Этьен Пакье, весьма серьезный законовед, вдумчивый историк, мудрый философ, считал самым умным и образованным писателем того времени.

«По веселости нрава, какую он обнаруживает, по уменью все выставить в смешном виде он не имеет себе равных, — пишет Пакье в своих «Исследованиях». — Сознаюсь откровенно, что благодаря игривости моего ума мне лично никогда не было скучно его читать, причем каждый раз я находил новые поводы для смеха и вместе с тем извлекал для себя пользу».

Этьен Пакье был в то время не единственным строгим судьей, которого Рабле не только развлекал, но и поучал. Замечательный историк, президент де Ту ставит Рабле в заслугу именно то, что он с чисто Демокритовой свободой и шутовской веселостью написал очень умную книгу, в которой под вымышленными именами вывел на сцену все системы государственного устройства и все слои общества.

Жак де Ту, как и Этьен Пакье, не впал в ошибку Монтеня, видевшего в Рабле только шута. Тем не менее в своих латинских стихах, посвященных несравненному автору, он, следуя за народным преданием, сделал из него беспечного кутилу. Пьянство шинонского Силена представляло собой вполне подходящий сюжет для античных стихов. Свое стихотворение Жак де Ту написал в 1598 году при следующих обстоятельствах. Приехав в Шинон, он остановился в отчем доме Рабле, превращенном в кабачок. По просьбе своего спутника он написал стихи, в которых заставил тень Рабле произнести восторженную речь по поводу прошедшей перемены. Стихи очаровательны. Если вам угодно, я прочту их во французском переводе начала XVIII века:

Я то, что весь свой век смеялся,
Своим романом доказал:
Кому он в руки попался,
Тот до упаду хохотал.

Внимая нудному рассудку,
Мы губим лучшие года.
Не дай нам небо смех и шутку,
Вся жизнь не стоила б труда!

За шутки Бахус, бог веселья,
Кому я на земле служил,

Потустороннее похмелье
Мне облегчил по мере сил.

Любя меня, в кабаке отменный
Он превратил мой отчий дом.
Там бьет кларет струею пенной
И белое течет ручьем.

Там, что ни праздник, — пир горою,
Немолчный смех, стаканов звон.
В моей столовой за едою
Сидит едва ль не весь Шинон.

Там каждый песенку горланит,
Там нос утрет мудрец шуту,
Когда под звук волынки встанет
И спляшет жигу Пуату.

В моем рабочем кабинете
Устроен винный погребок,
Чтоб думать ни о чем на свете
Гость, кроме выпивки, не мог.

Когда б Плутон неумолимый
Внял убеждениям хоть раз
И тень мою в мой дом родимый
Из ада отпустил на час,

Я б этот дом по сходным ценам
Пустил с торгов или отдал так,
Ию с тем условием непременно¹
Чтобы и впредь в нем был кабак¹.

Итак, для муз, для латинской музыки де Ту, как и для французской музыки Ронсара, Рабле — пьянчуга. Музы — лгуньи, но они умеют очаровывать и заставляют верить своим сказкам.

Среди пантагрюэлистов XVII века следует отметить Бернье, философа-гассендиста, друга Нинон де Ланкло и г-жи де Ласаблиер, ученого Гюэ, епископа Авраншского, Менажа, г-жу де Севинье, Лафонтена, Расина, Мольера, Фонтенеля, — согласитесь, что это список достаточно ярких имен. Что касается Лабрюйера, то он отзывался о нашем авторе так: «Где он плох, там он переходит границы наихудшего: он старается угодить черни; где он хорош, там он доходит до пределов со-

¹ Перевод Ю. Корнеева.

вершенства и великолепия: он может быть лакомым блюдом для самых тонких ценителей». Конечно, «Пантагрюэль» представляет лакомое блюдо для самых тонких ценителей, таких как Лафонтен, Мольер, тот же Лабрюйер. Что касается угождения черни, под которой, очевидно, надо разуметь людей тупых, непросвещенных, лишенных чувства изящного, то мог ли ей угодить Рабле в эпоху, когда Лабрюйер писал эти строки, то есть около 1688 года, если язык его уже в ту пору доступен был лишь образованному кругу, а крестьянину, грузчику, конторщику, торговцу показался бы китайской грамотой?

Вольтер не скоро оценил Рабле, но, узнав его, пришел в неистовый восторг и выучил наизусть. XVIII век с его утонченностью порой должен был страдать от Рабле, но он не мог не плениться философией медонского священника, который, кстати сказать, нашел себе тогда довольно удачных подражателей, как, например, аббат Дюлоран.

Поэт и публицист Генгене в вышедшей в 1791 году книге «О влиянии Рабле на нашу революцию и на предоставление гражданских прав духовенству» рассматривает нашего автора как философа и политика и не без некоторой натяжки устанавливает связь между ним и новыми идеями. Рабле, вечно издевавшийся над пророками и прорицателями, там, в Элизиуме, * наверное, поднял на смех тех своих комментаторов, которые утверждали, что он предсказал французскую революцию. Однако мы не ошибемся, если скажем, что великие мыслители видят далеко вперед, что они готовят будущее и ставят перед государственными деятелями цель, к которой те идут с шорами, а иногда даже с повязкой на глазах, как лошади в манеже. Я имею в виду государственных деятелей старой Европы.

Критика XIX века, очень сведущая, очень любознательная и в большинстве случаев очень чуткая, способная понимать чувства, нравы, характеры и язык прошлого, была весьма благоприятна для Рабле: она признала его гений, она упрочила его славу. Но поскольку трудно, пожалуй, даже невозможно, выйти за

пределы своего времени, хотя бы в эпоху взываний к старине, в эпоху ее воссоздания и восстановления, в эпоху, когда под пером Мишле * история обрела дар воскрешать из мертвых; поскольку все мы устроены так, что ищем и видим в других лишь самих себя; поскольку мы не можем не переносить на людей прошлого своих собственных чувств, то естественно, что и большие и малые критики 30—50-х годов равно стремились романтизировать образ автора «Пантагрюэля» и наделить его если не меланхолией (что было явно невозможно), то во всяком случае степенностью и глубокомыслием, а если критик хоть в какой-то мере придерживался либеральных и независимых взглядов, то он приписывал ему еще и вольнодумство, несмотря на то, что оно не соответствует ни духу самого Рабле, ни духу его времени. Это чувствуется у Мишле, у Анри Мартена, у Эжена Нозля. Сент-Бев * с присущим ему тактом сумел исправить эту ошибку и вернул гиганту XVI века его своеобычный и независимый нрав.

Ламартин наговорил о Рабле много плохого. Виктор Гюго наговорил о нем много хорошего. Ни тот, ни другой его не читали, но оба они обладали своего рода интуицией. Ламартин ощущал Рабле глубоко чуждым, противоположным и враждебным себе по духу. Виктор Гюго, напротив, усматривал между творцом Гаргантюа и творцом Квазимодо нечто родственное, нечто общее. Вот чем обусловлены их суждения о Рабле. Каждый, говоря о нем, думал о себе. Гизо, как мы видели, посвятил большую содержательную статью педагогическим взглядам Рабле. Нет такого угла зрения, под которым не рассматривали бы творчество нашего автора в XIX и в XX веках. Были написаны замечательные работы о Рабле-медики, Рабле-ботанике, Рабле-гуманисте, Рабле-юристе, Рабле-архитекторе. Из новых работ о великом человеке назову интересные исследования Жана Флери, очень хороший литературно-критический очерк Поля Стапфера, заметки Ратри, Молана, труды Марти-Лаво и весьма ценные статьи, опубликованные в «Раблезианском вестнике», который с такой любовью и знанием дела ведет профессор Французского коллеги Лефран.

Итак, мы выполнили свою задачу, — благодаря вашей благосклонности она оказалась для меня приятной и легкой. Мы проделали весь путь нашего титана и, как пилигримы из сказки, бесстрашно приблизились к нему. Я почту себя счастливым, если вы найдете его столь же милым и добрым, сколь он разносторонен и велик. Прославить французский гений перед латинянами Нового Света, для которых уготован блистательный жребий, — это великая честь для меня. Я смогу удалиться с гордым и блаженным сознанием исполненного долга, если мне удалось в меру моих сил скрепить те духовные узы, что связывают аргентинский и французский народы.

Комментарии

ВОССТАНИЕ АНГЕЛОВ

Над романом «Восстание ангелов» А. Франс работал с перерывами около шести лет. Первый замысел произведения относится к 1908 г., когда, вскоре после окончания «Острова Пингвинов», писатель набрасывает несколько эпизодов «Самой удивительной истории на свете», которой он позже даст название — «Ангелы в Париже».

Поездка в 1909 г. в Южную Америку для чтения лекций, смерть в начале 1910 г. ближайшего друга Франса — госпожи де Кайаве надолго прерывают работу писателя над новым романом. Лишь в марте 1910 г., отправляясь по настоянию друзей в путешествие по Италии, Франс берет с собой рукопись «Ангелов в Париже». В своей записной книжке он отмечает 31 июля: «Хочу вновь приняться за «Ангелов». В течение лета 1910 г. в записях Франса постоянно встречаются упоминания о работе над романом, который стал называться просто «Ангелы». К осени было написано семнадцать глав. Однако, увлекшись другим замыслом — книгой о французской революции XVIII века, Франс прерывает работу над «Ангелами» и возвращается к этому произведению только в конце 1912 г., завершив роман «Боги жаждут». В январе 1913 г. писатель заканчивает последнюю главу нового романа — сон Сатаны; с 20 февраля по 19 июня 1913 г. «Ангелы» печатались в газете «Жиль Блаз» (Gil Blase); в этом первом варианте было двадцать пять глав; в том же 1913 г. газета выпустила «Ангелов» отдельным изданием. Франс был недоволен первым вариантом романа и полностью уничтожил весь тираж издания «Жиль Блаза». Случайно сохранился лишь один экземпляр. Затем

автор коренным образом переделывает свое произведение, значительно расширяет его, добавляет ряд эпизодов сатирического и бытового характера (злключения книжечки Лукреция с пометками Вольтера, главы о папаше Гинардоне и юной Октавии, эпизод сумасшествия библиотекаря Сарьетта) и дает роману новое название — «Восстание ангелов», — более точно выражающее замысел писателя. В марте 1914 г. книга, состоявшая теперь из тридцати пяти глав, вышла в свет.

Франс не считал свою работу над «Восстанием ангелов» полностью законченной. Из его записей и черновиков известно, что он думал вернуться еще раз к этому произведению и написать продолжение его. Сохранился следующий набросок плана второй части «Восстания ангелов»:

Что случилось с ангелами во время войны.

Их размышления.

Жалобы Сатаны.

Торжество архангела Михаила.

Но болезнь, а затем смерть помешали Франсу осуществить это намерение.

Роман «Восстание ангелов» — смелая антирелигиозная сатира. Уже и до этого Франс неоднократно наносил меткие удары по религии и церкви («Таис», «Прокуратор Иудеи», «Плуту», «На белом камне»). Он отрицал реальное историческое существование Иисуса Христа и его апостолов, отмечал общие черты между христианством и другими религиозными культурами, показал связь католического духовенства с политической реакцией в Третьей республике. Друг Франса, Леон Кариас пишет в своих воспоминаниях о писателе, что на вопрос о его религиозных взглядах Франс без колебания ответил: «Да, конечно, я атеист».

Антирелигиозная тенденция творчества Франса нашла наиболее полное и глубокое выражение в «Восстании ангелов». В этом романе писатель осмеивает самые основы христианской мифологии, нелепость христианской легенды о сотворении мира, подчеркивает противоречия в библии и в евангелии. Бог Иагве изображен Франсом как тупой, жестокий и ограниченный деспот, небесные порядки отождествляются с устройством военизированного самодержавного государства. Образы ангелов несут в романе двойную функцию: с одной стороны — это бунтари, восстающие против деспотии глупого и жестокого бога, их образы служат автору для осмеяния и дискредитации

библейских легенд; с другой стороны — сами ангелы являются созданием библейского мифа и в свою очередь подвергаются осмеянию и сатирическому развенчанию. Материализуя своих ангелов и низводя их на землю, Франс совершенно лишает их святости и какой-либо исключительности. Напротив, он в изобилии наделяет их всевозможными человеческими недостатками и пороками: они ничтожны, безнравственны, завистливы, трусливы. Все ангелы-хранители, действующие в романе, даны писателем в резко пародийном, комическом плане.

Некоторые буржуазные критики, пытаясь умалить антирелигиозное звучание «Восстания ангелов», утверждали, вопреки очевидности, будто бы писатель осмеивает в романе не христианство, а лишь иудейского бога Иагве. Гораздо прозорливее их был некий ученый кардинал, который в 1922 г., делая в Ватикане доклад о «богопротивных сочинениях Анатоля Франса», отметил, что основной метод творчества писателя-сатирика — «метод карикатурно-иронического освещения фактов». «Без колебаний и со всей откровенностью надо признать, — продолжал кардинал, — что для нашей церкви этот прием хуже и опаснее, чем «исторический анализ» Ренана».

Особое место в романе занимает величественный образ Сатаны. Этот образ давно интересовал писателя. В книге «Сад Эпикура» (1894), в сборнике «Колодезь святой Клары» (1895), в новеллах «Люцифер» и «Трагедия человека» Сатана выступает в роли носителя мудрости, защитника естественных законов жизни. Эта трактовка Сатаны находит свое завершение в романе «Восстание ангелов». В противоположность католическому толкованию Сатаны как олицетворения греха, как духа тьмы, Франс делает его в романе тираноборцем, носителем мысли, света, знания. В толковании образа Сатаны Франс опирается прежде всего на традицию английского поэта XVII в. Джона Мильтона, который в библейских образах отразил идеи английской буржуазной революции. Франс сам ссылается в романе на поэму Мильтона «Потерянный рай», приводя оттуда следующую строку: «Лучше свобода в аду, чем рабство в раю». Близкую к Мильтону трактовку образа Сатаны писатель мог найти и у Байрона («Каин»), и у Виктора Гюго (поэма «Сатир»), и у философа Ренана, называвшего Сатану «неудачливым революционером». Внешний облик франсовского Сатаны, исполненного мрачной и гордой красоты, навеян картиной бельгийского художника Антуана Виртца (1806—1865). Будучи

в 1912 г., в период работы над романом, в Брюсселе и еще раз любясь картиной Виртца, знакомой ему с детства, Франс писал: «Я был еще ребенком, когда в первый раз увидел это изумительное создание Виртца. Это самое высокое, самое прекрасное понимание образа Сатаны, какое только можно себе представить. Оно заключает в себе поэзию и философию, далеко превосходящие воображение Мильтона».

В отличие от всех своих предшественников, Франс отождествляет Сатану с богами дорогой его сердцу античности, и прежде всего с Дионисом — богом вина и веселья. Сатана-Дионис воплощает у Франса все, что противостоит христианству. Начиная с «Коринфской свадьбы» (1876), Франс постоянно противопоставляет антигуманистической христианской аскезе жизнерадостность античного язычества, показывает реакционную роль в истории человечества христианства с его фанатизмом и мертвящей схоластикой. Эта мысль лежит и в основе важнейшего эпизода романа «Восстание ангелов» — рассказа садовника Нектария. Рассказ Нектария — иносказательный обзор истории цивилизации. Франс рассматривает здесь историю односторонне, сводя ее лишь к борьбе жизнеутверждающего язычества и мрачного христианства, совершенно не затрагивая каких-либо социальных проблем. Для него важно доказать художественно осмысленными фактами истории то, что в публицистической форме он выразил в книге «К лучшим временам»; доказать, что церковь — «давняя истребительница всякой мысли, всякого знания, всякой радости». В рассказе садовника Нектария нашли выражение самые сокровенные мысли и взгляды писателя. Здесь весь Франс, с его преклонением перед античностью, с его ненавистью к христианству, с его гуманизмом, с его восхищением свободомыслием «века философов». Писатель особенно долго, тщательно и любовно работал над главами, посвященными Нектария; по совершенству стиля они относятся к числу лучших его страниц.

Отличительной особенностью зрелого творчества Франса было глубокое чувство современности. Роман «Восстание ангелов» сохраняет тесную связь с общественной и политической жизнью Франции накануне первой мировой войны. Франс вновь направляет стрелы своей сатиры против ненавистного ему «триумвирата священника, солдата и финансиста», высмеивает религиозное ханжество семьи д'Эспарвье; в образе барона Эвердингена, готового на выгодных условиях поста-

влять оружие одновременно и небу и аду, он создает сатирически обобщенный образ буржуазного дельца. Писатель обличает позорную и губительную для Франции власть финансовой олигархии, подвергает осмеянию тупых полицейских, глупых министров — верных и подобострастных слуг финансовых магнатов.

Роман «Восстание ангелов» был закончен в гнетущей предвоенной атмосфере, в нем чувствуется глубокая тревога писателя за судьбу людей. Как и в «Острове пингвинов», Франс негодует против капиталистов, для которых война — это коммерческое предприятие, и резко осуждает «неразумных европейцев, замышляющих взаимное истребление».

Во многих своих произведениях Франс противопоставлял буржуазной действительности образ ученого-гуманиста, хранителя величия и красоты человеческой мысли и культуры. Ученый книголюб появляется и на страницах романа «Восстание ангелов». Однако он претерпел разительные изменения и мало похож на своих предшественников. Писатель, придя к твердому убеждению о необходимости соединения мысли и действия, окунувшись в самую гущу общественной жизни и борьбы, далек теперь от идеализации мыслителя, живущего лишь среди старых книг и пожелтевших рукописей. Образ жалкого маньяка, библиотекаря Сарьетта — сатирическое развенчание такого духовного отшельничества. В противовес ему в романе ярко звучит тема активного вмешательства в жизнь, связанная по сюжету с восстанием ангелов против небесного самодержца, — тема бунта против несправедливости и ниспровержения ложных святынь. Этот бунтарский пафос — существенная черта произведения; здесь снова встает тема революции, уже возникавшая в романах «Остров пингвинов» и «Боги жаждут». Книга «Восстание ангелов» создавалась в годы реакции накануне первой мировой войны, в трудные для А. Франса годы тяжких раздумий, мучительных сомнений и горьких ошибок. Писатель сохраняет убежденность в неминуемой гибели буржуазного мира, но вопрос о революции рассматривается в романе не как практическая задача общественной борьбы, а вне конкретной социальной действительности, в некоем космическом плане, переносится в область фантастики. Вывод, к которому приходит в романе писатель, пессимистичен: революция не может привести к торжеству свободы и справедливости, в результате ее угнетенный становится тираном, а бывший

тиран — жертвой нового насилия. Таков мрачный аллегорический смысл сна Сатаны — одного из важнейших эпизодов романа, являющегося ключом к произведению. Трагический образ Сатаны возникает в творчестве Франса почти одновременно с таким же трагическим образом Эвариста Гамлена («Боги жаждут»). Однако следует помнить, что роман «Восстание ангелов» не закончен и финал первой части нельзя считать окончательным выводом из всего произведения. Немаловажно и то обстоятельство, что роман писался в период реакции; пессимизм Франса — автора «Восстания ангелов» — в значительной степени объясняется слабостью современного ему социалистического движения во Франции, а также его разочарованием в буржуазных революциях, которые, как он видел, привели лишь к победе ненавистного писателю буржуазного строя. Но ограниченность буржуазных революций, никогда не посягающих на основы частнобуржуазного общества, писатель ошибочно возводил в закон развития всякой революции вообще. Только Октябрьская социалистическая революция в России заставила А. Франса пересмотреть свои взгляды и решительно встать на ее сторону.

Таким образом, роман «Восстание ангелов» был в творчестве Франса не только одним из блестящих образцов сатирического мастерства, богатства фантазии, виртуозности стиля; он был выражением и тех мучительных сомнений, тех трагических противоречий, в которых билась мысль писателя и которые были в дальнейшем разрешены самой жизнью.

Художественное своеобразие романа «Восстание ангелов» определяется причудливым сочетанием двух планов: реального в фантастического, конкретного и символического. Эпизоды из жизни предвоенного буржуазного Парижа сменяются апокалиптическими картинами, парижский кабачок, по воле автора, соседствует с престолом бога и адской бездной; мудрый Нектарий, перед глазами которого прошли века истории, встречается на страницах книги с любимицей националистической публики, певицей Бушоттой. Так же как и в «Острове пингвинов», Франс обращается к приему аллегорического повествования; однако аллегория здесь лишена той конкретной основы, которая была присуща ей в «Острове пингвинов». Стремление к аллегорической фантастике характерно для последнего периода творчества Франса. Он думал написать еще один роман в таком плане — «Циклоп», где, рассказывая о судьбе Поли-

фема и других циклопов, переживших человеческий род, писатель хотел затронуть ряд философских и социальных проблем. «Это должна была бы быть, — писал Франс, — трагическая и шутовская сатира... в духе «Восстания ангелов» и «Острова пингвинов».

Разрабатывая жанр философско-сатирического аллегорического романа, Франс продолжал традиции Рабле и Вольтера. Не случайно свою большую работу о Рабле он пишет сейчас же после окончания «Острова пингвинов», одновременно с романом «Восстание ангелов». Глубина мысли, смелость и острота антиклерикальной сатиры, подчеркнутая эрудиция, гротескные образы, нарочито шутовской характер отдельных эпизодов — все это роднит роман «Восстание ангелов» с творчеством великого сатирика XVI в. И так же как некогда Франсуа Рабле просил читателя добраться до сути, до «мозга» его книги, так же и Франс писал одному из своих друзей и читателей — Жюлю Куэ: «Простите этой книжечке ее легкомысленный тон и некоторую вольность языка, это в ней не самое главное. Обратите внимание на философские и религиозные мысли, пронизывающие почти все ее страницы... Проблема зла, которая Вас так беспокоит и печалит... тайна всеобщего несчастья — вот серьезный смысл этой сказки».

Роман «Восстание ангелов» вышел в свет за несколько месяцев до начала первой империалистической войны. Книга имела большой успех. За полтора месяца было распродано шестьдесят тысяч экземпляров. Левая критика приветствовала новый роман Франса, подчеркивая его антибуржуазную и антиклерикальную направленность. С другой стороны, книга вызвала неистовую злобу служителей церкви; особо рьяные из них призывали запретить А. Франсу, «этому одержимому Вельзевулом», писать и печатать свои произведения. Папа Бенедикт XV в том же 1914 г. специальным распоряжением запретил католикам читать «Восстание ангелов». Это был шаг к полному запрещению сочинений Франса, что и было осуществлено Ватиканом несколько позднее, в 1922 г.

Цензура царской России отнеслась к роману весьма неодобрительно. В своем докладе Центральному Комитету иностранной цензуры в марте 1914 г. цензор Васенцович-Маркович указывал на «кошунственный характер всей книги». Роман был запрещен.

В первые годы советской власти роман «Восстание ангелов» привлек внимание ряда русских театров своей сатирической направленностью и был несколько раз инсценирован.

Стр. 7. *Вторая империя* — то есть империя Наполеона III (1852—1870).

Стр. 8. *...в применении декретов Ферри о конгрегациях...* — Конгрегация — объединение монастырей, принадлежащих к одному и тому же ордену. Декретами от 29 марта 1880 г., предложенными министром просвещения Ферри, французское правительство предписало иезуитам закрыть их учебные заведения; остальным конгрегациям был предоставлен трехмесячный срок для выяснения вопроса об их легализации.

...в правление президента Фальера возвратились времена Деция и Диоклетиана... — Римские императоры Деций (249—251) и Диоклетиан (284—305) преследовали христиан. Во время президентства Армана Фальера (1906—1913) во исполнение закона об отделении церкви от государства (1905) во Франции закрывались школы при монастырях, урезывались монастырские земельные владения, часть церковного имущества была передана благотворительным учреждениям.

Конкордат 1801 года — договор между Наполеоном I и папой Пием VII, действовавший во Франции до 1905 г. Согласно этому конкордату католицизм признавался государственной религией Франции.

«Сердце Иисусово». — Культ «Сердца Иисусова», введенный папой Пием IX во Франции в 1874 г., был направлен на восстановление во Франции светской власти папы и поддерживался реакционными кругами.

Третья республика — была провозглашена 4 сентября 1870 г. после низложения Наполеона III.

Стр. 9. *...верованиях эпохи Симмаха и Амвросия*. — Симмах (IV в.) — римский писатель и политический деятель, защищал античную религию; его противником был миланский епископ Амвросий, ожесточенно боровшийся против язычества и различных ересей в христианстве.

В годы ожесточенных дебатов об отделении церкви от государства... — Законопроект об отделении церкви от государства был внесен в парламент в октябре 1904 г. и утвержден после ожесточенных дебатов 9 декабря 1905 г.

«Девственница» — то есть сатирическая антиклерикальная поэма Вольтера «Орлеанская девственница» (1730—1735).

Стр. 10. *Екклезиаст* — одна из книг библии, приписываемая царю Соломону; в ней говорится о суетности земной жизни и о тщете мирских дел и забот.

...во время великого гонения на французскую церковь... — то есть в 80-е и 900-е годы, когда были приняты законы, ограничивающие деятельность и влияние католической церкви на общественную жизнь Франции.

Стр. 11. *Лурд* — город на юго-западе Франции, куда с середины XIX в. стекались богомольцы на поклонение «чудотворной» Лурдской богоматери; один из важнейших центров католической пропаганды. Разоблачению лурдских чудес посвящен роман Э. Золя «Лурд» (1894), Почти одновременно, в том же 1894 г., Франс опубликовал статью «По поводу Лурдской богоматери», включенную им затем под названием «О чуде» в книгу «Сад Эпикура».

Стр. 13. ...все, что лежит за пределами физики... — то есть философия (метафизика); согласно принятому в древности порядку философские сочинения Аристотеля следовали за (по-гречески — мета) трактатом, в котором излагалось его учение о природе — физика.

Прагматизм — реакционное субъективно-идеалистическое направление в буржуазной философии начала XX в. Прагматизм отрицал объективную истину, называя истиной лишь то, что удобно, полезно, был теоретическим обоснованием практики империалистической буржуазии.

Стр. 14. ...вскормить не одного Фому Аквинского и не одного Ария... — Фома Аквинский (1225—1274) — средневековый богослов, один из так называемых «отцов церкви». Арий (IV в.) — александрийский священник, основатель секты ариан, осужденной официальной церковью.

Гассенди, отец Мерсенн, Паскаль. — Гассенди Пьер (1592—1655) — философ-материалист, физик и астроном, в вопросах религии придерживался деизма; отец Мерсенн (1588—1648) — священник, друг философа Декарта, много занимался вопросами физики. Паскаль Блэз (1623—1662) — философ, физик и математик, известен также как автор памфлета, направленного против иезуитов, «Письма к провинциалу» (1656—1657).

Экзегетика — объяснение и толкование религиозных текстов.

Стр. 15. *Бодлер, Теодор де Банвиль, Шарль Асселино, Луи Менар* — французские поэты второй половины XIX в.

«*Тайны Парижа*» (1842—1843) — широко популярный в свое время роман Эжена Сю.

Стр. 16. *Шенавар* Поль-Жозеф (1808—1895) — французский художник, работавший в историческом жанре.

Стр. 17. *Даллоз* Виктор (1795—1869) — крупный французский юрист, автор книги «Основы общей юриспруденции».

Стр. 18. *...человеческие пары божественного Платона.* — В трудах древнегреческого философа-идеалиста Платона (427—347 гг. до н. э.) человеческая душа образно представлялась в виде колесницы, запряженной парой коней: конем пылкости, мужественности и конем вождения, чувственности; они тянут душу в разные стороны, а возница-разум пытается их сдержать.

Стр. 19. *...постигнуть душу Сима.* — То есть понять душу древнееврейского народа, который согласно библии относится к потомкам Сима, одного из трех сыновей Ноя.

Стр. 21. *...Докторам итальянской комедии...* — Имеются в виду постоянные персонажи итальянской народной комедии масок.

Стр. 23. *Елисейский дворец* — с 1870 г. резиденция президента Французской республики.

Сыны Хирама — то есть члены тайного религиозно-политического общества франкмасонов («вольных каменщиков»), которые возводили свою организацию к легендарному строителю храма Иеговы в Иерусалиме — каменщику Хираму.

Стр. 24. *Болландисты* — то есть книги, составленные болландистами — монахами, главным образом иезуитами, продолжавшими труд, начатый антверпенским иезуитом Болландом (XVII в.) по составлению «Житий святых».

Делакруа Эжен (1799—1863) — французский художник, глава романтической школы живописи.

Стр. 26. *...в духе Чимабуэ, Джотто, Беато Анжелико.* — То есть в традициях итальянской живописи раннего Возрождения; картины этих художников отличались простотой и строгостью композиции.

Стр. 28. *Андрогини* — двуполые существа.

Стр. 29. *Матисс или Метценже...* — Матисс Анри (род. в 1869 г.) — модный в 90-е годы французский художник, писал главным образом декоративные панно, отличавшиеся яркостью красок и крайне упрощенным рисунком. Метценже Леон-Фре-

дерик (1842—1914) — генерал, осуществлявший захват Францией Индокитая в 80-е годы XIX в.

Стр. 30. *Бодуэн* Пьер-Антуан (1723—1769) — французский художник, охотно выбирал фривольные сюжеты.

Стр. 31. *Ипполит Фландрен* (1809—1864) — французский художник, писавший картины на религиозные темы.

Стр. 32. *Боссюэ Жак-Бенинь* (1627—1704) — французский епископ, один из вдохновителей клерикальной реакции при Людовике XIV; в своих сочинениях, в частности в «Рассуждении о всемирной истории» (1681), защищал идею божественного происхождения королевской власти, видел в истории лишь проявление «божественного промысла».

Иосиф Флавий (I в.) — иудейский историк, автор книг «История иудейской войны» и «Иудейские древности».

«*Лукреций*» с гербом *Филлипа Вандомского*. — Имеется в виду томик сочинений римского поэта, философа-материалиста Лукреция Кара (98—55 гг. до н. э.); Филипп Вандомский (1655—1727) — французский военачальник, член Мальтийского ордена.

Ришар Симон (1638—1712) — проповедник и комментатор библии, автор «Критической истории Ветхого завета».

Габриэль Нодэ (1606—1653) — французский писатель и библиограф, хранитель библиотек Ришелье и Мазарини.

Стр. 37. ...брошюру *Саломона Рейнака о тождестве Вараввы и Иисуса*. — Рейнак Саломон (1858—1932) — филолог и историк искусства. Варавва, по евангельской легенде, разбойник, заключенный в одну темницу с Иисусом Христом; когда римский наместник в Иудее Понтий Пилат предложил освободить на выбор одного из заключенных, народ выбрал Варавву.

Стр. 40. *Виван-Денон* — Денон Доминик-Виван (1747—1825), художник-гравер, историк искусства; сопровождал Бонапарта в египетский поход; во время Империи — Генеральный директор французских художественных музеев. Франс посвятил ему статью «Барон Денон» («Temps») 20 октября 1899).

Стр. 51. ...*воображение Данте и Мильтона*. — То есть описание загробного мира в «Божественной Комедии» Данте и в поэме английского поэта XVII в. Джона Мильтона «Потерянный рай».

Стр. 53. ...*как это сделал Луций с помощью притираний юной Фотиды*. — Луций, герой романа римского писателя П в. Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел», превратился в осла

натершись волшебной мазью, которую он взял у своей возлюбленной Фотиды.

Стр. 54. *Ориген* (ок. 185—254) — александрийский философ, автор многочисленных богословских сочинений.

Стр. 58. *Демиург*. — У гностиков (представителей религиозно-философского течения первых веков христианства) демиург — творец вселенной, занимающий промежуточное место между «предвечным, всеблагим Первоотцом» и злым духом — Сатаной. Гностики утверждали, что демиургу ведомы высшие тайны мироздания.

Стр. 60. *...в доме Лота...* — По библейскому мифу, бог послал двух ангелов в дом праведника Лота, чтобы вывести его с семьей из города Содомы, обреченного за грехи на сожжение небесным огнем.

Ламарк Жан-Батист (1744—1820) — французский ученый натуралист, обосновавший эволюционную теорию в биологии; один из предшественников Дарвина.

Тератология — отрасль медицины, изучающая врожденные ненормальности и уродства у людей и животных.

Стр. 69. *«История Алины, королевы Голконды»* — популярная в XVIII в. сказка Жана Буффлера.

Стр. 72. *...боги Альдебарана, Бетельгейзе и Сириуса...* — то есть боги других миров. Альдебаран — звезда в созвездии Быка; Бетельгейзе — звезда в созвездии Ориона, Сириус находится в созвездии Большого Пса.

Стр. 73. *...диалогов Галилея... учебниками господина Олара.* — Имеются в виду труды Галилея «Диалог о двух главнейших системах мира, Птолемеевой и Коперниковой» (1632) и «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки» (1638). Олар Альфонс (1849—1928) — историк французской буржуазной революции конца XVIII в.; его книги вызвали недовольство клерикальных кругов.

Стр. 75. *Сакре-Кер* («Сердце Иисусово») — церковь, построенная в Париже, на холме Монмартр, в конце XIX в.

Стр. 77. *Скиния Иагве* — переносное святилище древних иудеев.

Стр. 80. *... прославленный науками холм...* — На склонах холма св. Женеьевы в Париже расположены здания Сорбонны и Французского коллежа.

Стр. 94. *Поль-Луи Курье* (1772—1825) — французский пуб-

лицист, автор острых памфлетов против режима Реставрации, написанных с буржуазно-либеральных позиций; знаток античной литературы. Франс очень ценил Курье и в 1918 г. выступил с речью, посвященной его памяти.

Стр. 99. *«История Грибуля»*. — Грибуль — популярный персонаж французских сказок, простака, который все делает невпопад. Две истории о Грибуле имеются в книге для детей Жорж Санд «Бабушкины сказки».

Стр. 101. *Маммон* (Маммона) — бог богатства у древних сирийцев и других восточных народов.

Стр. 102. *Квентин Массейс*, или Матсис (ок. 1465—1530) — нидерландский живописец; его работы отличаются правдивостью психологических характеристик и богатством бытовых деталей.

Стр. 104. *Песня песней* — одна из книг библии, в которой воспевается юная красавица Суламита (Суламифь) — возлюбленная царя Соломона.

Стр. 116. *Стимфал*, *Ольбий*, *Эриманф*, *Крафид*. — Эриманф, Ольбий, Крафид — реки, Стимфал — озеро в Греции.

Стр. 117. *...необтесанный камень, обгаренный кровью Ифигении*. — По греческому мифу, Ифигения, дочь греческого царя Агамемнона, была принесена отцом в жертву богине Артемиде, чтобы та ниспослала попутный ветер греческим судам, отправляющимся в Трою. Этот миф послужил сюжетом для трагедии Еврипида «Ифигения в Авлиде».

...под взглядом двух братьев Елены. — Братьев Елены Прекрасной, так называемых Диоскуров — близнецов Кастора и Поллукса, в древнем Риме чтили как воплощение воинской доблести и вестников победы.

Стр. 118. *Приап* (ант. миф.) — бог плодородия, полей и садов, покровитель чувственных наслаждений; изображался в виде вертикально поставленного столба.

Лары (рим. миф.) — божества, покровители домашнего очага.
Кротал — вид кастаньет.

Стр. 119. *Питомец волчицы*. — Римляне считали себя потомками легендарных основателей Рима, Ромула и Рема, вскормленных волчицей.

...жрецы Азии и чудовищной Африки... — Речь идет о распространении христианства, которое возникло в азиатских провинциях Римской империи в I в. Центром новой религии стали также города Северной Африки.

Стр. 122. *...апостола скорби.* — В Галлии христианство распространилось во второй половине II в.; одним из первых его проповедников был лионский епископ Потен, названный церковью «апостолом Галлии».

Стр. 123. *Авзоний* (IV в.) — латинский поэт, живший в Галлии, его поэзия еще полна мотивами античной мифологии.

Бургунды — германское племя, основавшее в восточной части Галлии в 457 г. Бургундское королевство.

Стр. 124. *Варвары завладели Империей.* — В 476 г. Римская империя пала и на ее территории образовался ряд варварских государств.

Стр. 126. *Герберт* — епископ Реймский, затем римский папа, принявший имя Сильвестра II (999—1008); отличался большой образованностью.

...от какого-то рыбака с Тивериадского озера. — В борьбе за подчинение себе светской власти римские папы ссылались на то, что они будто бы являются непосредственными преемниками апостола Петра, бывшего до встречи с Иисусом Христом рыбаком на Тивериадском озере.

Один из них возомнил на мгновение, что одержал верх над тупым германцем, преемником Августа. — Имеется в виду борьба за власть между папой Григорием VII и императором «Священной Римской империи Германской нации» Генрихом IV. В 1077 г. Генрих IV, отлученный папой от церкви, вынужден был пойти к нему на поклон в Каноссу и униженно вымаливать прощение.

...монастырь, который славился во всем христианском мире. — Имеется в виду аббатство Клуни ордена бенедиктинцев, основанное в 909 г.; в XI—XII вв. оно играло большую роль в политической и религиозной жизни Западной Европы.

Стр. 127. *Наша игра была игрою в слова...* — Речь идет о борьбе двух направлений в средневековой философии: реализма и номинализма. Реалисты утверждали, что общие понятия (универсалии) существовали раньше вещей; эта идеалистическая точка зрения явилась философской базой католицизма. Номиналисты же признавали первичность предмета; их тезис — «Вещи существуют раньше понятий». Маркс называл номинализм «первым выражением материализма в средние века». Номиналисты были осуждены католической церковью на Суассонском соборе в 1121 г.

...идут освободить гроб сына господня. — Имеются в виду

крестовые походы европейского рыцарства на Восток (XI—XIII вв.) якобы для освобождения от арабов гроба Иисуса Христа в Иерусалиме, но на самом деле носившие военно-колонизаторский характер.

...храмы чудесной красоты... — храмы готического стиля, который был характерен для архитектуры XII—XV вв.

Стр. 129. *...сжигать с колокольным звоном и пением псалмов мужчин и женщин...* — Подразумевается введение в XIII в. папой Иннокентием III церковной инквизиции.

...взором предстала дева. — Этот эпизод, основанный на действительном происшествии в Риме в 1485 г., уже был использован А. Франсом в «Острове пингинов».

Стр. 130. *Некий польский каноник доказал вращение земли...* — Подразумевается польский астроном Николай Коперник (1473—1543).

...сам папа... любил искусство... — Речь идет о папе Льве X (1513—1521).

...оживало мастерство Витрувия, возрожденное Браманте. — Витрувий (I в. до н. э.) — древнеримский архитектор, автор сочинения «Десять книг об архитектуре». Донато д'Антелли Лазарри, известный под именем Браманте (1444—1514), — итальянский архитектор, творчески использовавший художественные принципы и опыт Витрувия.

Полигимния (греч. миф.) — муза-покровительница лирической поэзии.

...некий немецкий монах... — Мартин Лютер (1483—1546), возглавивший движение Реформации в Германии.

Стр. 131. *...длинный и тощий доктор из Женевы...* — Жан Кальвин (1509—1564), деятель Реформации, добившийся неограниченной власти в Женеве и жестоко преследовавший своих религиозных противников.

...к гнусным временам Иисуса Навина... — Иисус Навин — библейский персонаж, преемник Моисея, объединявший в своем лице религиозную и светскую власть у древних евреев.

Стр. 132. *Венера Урания.* — В античном мире был особый культ богини, управляющей временем и покровительницы возвышенной любви — Венеры Урании.

Гассенди — см. примеч. к стр. 14.

Стр. 133. *Бернье Франсуа* (1620—1688) — французский философ, ученик Гассенди, автор книги «Краткий очерк философии Гассенди»; врач и путешественник.

Сент-Эврмон Шарль де Маргетель (1610—1703) — французский писатель-вольнодумец, один из непосредственных предшественников Вольтера.

Шапель — Клод-Эмманюэль Люилье (1626—1686), французский писатель-вольнодумец.

Ги-Патэн (1602—1672) — врач, последователь материалистической философии Гассенди.

...появились отшельники... — Речь идет о янсенистах — представителях религиозно-нравственного течения внутри католицизма, возникшего в XVII в. во Франции на основе учения голландского богослова Корнелия Янсения. Янсенисты отрицали свободу воли, выступали против папства и иезуитов.

Стр. 134. *«Завещание» патера Мелье.* — Мелье Жан (1664—1733) — французский, писатель, материалист, атеист. В произведении «Завещание», обнаруженном после его смерти и напечатанном Вольтером, Мелье жестоко осудил современный ему феодальный строй.

Один американский квакер с помощью бумажного змея похитил у него молнию... — Речь идет о Бенджамине Франклине (1706—1790), американском политическом деятеле, публицисте и физике. В 1752 г. Франклин, запустив во время грозы бумажный змей на изолированной нитке, получил электрическую искру, показав тем самым, что молния — результат электрического разряда.

Стр. 135. *Божественный Юлий* — Юлий Цезарь.

...именуя его Верховным существом. — Культ Верховного существа был введен во Франции в период буржуазной революции конца XVIII в. по предложению Робеспьера; он был направлен как против католицизма, так и против атеизма.

Г-жа Гельвециус — жена французского просветителя, философа-материалиста XVIII в. Гельвеция (Гельвециуса). В ее доме в пригороде Парижа Отейле собирались виднейшие философы и ученые того времени.

Вольней, Кабанис, Траси... Кондильяк... — Вольней Константен-Франсуа (1757—1820), Кабанис Пьер-Жан (1757—1808) — философ, близкий к материалистам XVIII в., выдающийся врач. Граф де Траси, Антуан-Луи Дестут (1754—1836) — философы, разделявшие взгляды материалистов XVIII в., последователи философа-сенсуалиста Этьена Кондильяка (1715—1780). Анатолий Франс не раз называл и себя учеником Кондильяка.

Кондорсе Жан-Антуан (1743—1794) — французский просве-

титель, социолог, во время революции был сторонником жирондистов — партии крупной буржуазии.

Стр. 136. *...явить миру нового Марка-Аврелия.* — То есть императора-философа. Марк-Аврелий — римский император (121—180), философ-стоик.

Он посадил под замок его наместника... — 17 июня 1809 г. по распоряжению Наполеона французские войска заняли Рим, объявив о его присоединении к французской империи. Папа Пий VII был взят под стражу и увезен во Францию.

Стр. 137. *...потребовал от него помазания...* — В 1804 г. Наполеон потребовал, чтобы папа Пий VII приехал его короновать в Париж.

...живописное и литературное христианство... — А. Франс всегда резко выступал против реакционного романтизма с его болезненным субъективизмом и христианской мистикой.

Стр. 141. *«Агнеса де Мерани»* — историческая трагедия Понсара (1814—1867); ее героиня — французская королева, жена короля Филиппа-Августа (XIII в.).

Греко (настоящее имя Доменико Теотокопули, 1541—1616) — выдающийся испанский художник, выходец с острова Крита, чем и объясняется его прозвище «Эль Греко» (грек).

Стр. 155. *...президент республики ведет переговоры с папой римским.* — С 1913 по 1920 г. президентом Французской республики был Раймон Пуанкаре (1860—1934), прозванный «Пуанкаре-война»; выражая интересы агрессивных кругов французского империализма, он проводил реакционную политику и стремился к сближению с Ватиканом.

Стр. 159. *Глегле* (1858—1889) — король французской колонии Дагомеи в Африке.

...начали строить башню... — Имеется в виду библейская легенда о Вавилонской башне, которую люди хотели возвести до самого неба.

Стр. 162. *Оссиан.* — В 1762 г. поэт Макферсон издал сборник поэм «Песни Оссиана», которые выдал за перевод на современный английский язык песен шотландского барда Оссиана, жившего, по преданию, в III в. «Песни Оссиана» оказали большое влияние на формирование романтической поэзии.

Стр. 166. *«Регент».* — Речь идет об огромном бриллианте, купленном в 1717 г. регентом, герцогом Филиппом Орлеанским, и хранящемся в алмазном фонде Французской республики.

Стр. 168. *...голова Голиафа в руке юного Давида.* — Согласно

библейской легенде юный пастух Давид, будущий царь Израиля, убил камнем из пращи вождя филистимлян, великана Голиафа.

Стр. 175. *Лоншан* — ипподром в Париже.

...гнев не вооружил его как Архилоха, мстительным лиризмом. — Архилох (середина VII в. до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик, автор язвительных «ямбов». Согласно легенде Архилох обратился к поэзии, чтобы отомстить некоему Ликамбу, обещавшему выдать за него свою дочь, но затем не сдержавшему слова. Став жертвой Архилоховой насмешки, Ликамб покончил самоубийством.

Стр. 180. *Черный пудель* — воплощение «нечистой силы», образ, взятый А. Франсом из трагедии Гете «Фауст»; в обличье черного пуделя впервые является Фаусту Мефистофель (сцена третья).

Стр. 184. *Пикрохол* — персонаж из сатирического романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», незадачливый вояка. В данном случае Франс намекает на французского критика и историка литературы Фердинанда Брюнетьера (1849—1906), который начал поход против разума и науки во имя религии («Наука и религия», 1895). В своих журнальных статьях Франс неоднократно полемизировал с Брюнетьером.

Стр. 189. *Кавалер де Грие* — герой романа аббата Прево «История Манон Леско» (1731). Возлюбленная кавалера де Грие, обвинявшаяся в безнравственности, была отправлена во французскую колонию на Миссисипи.

Стр. 193. *Блокисты* — участники «левого блока» — объединения буржуазных республиканцев в борьбе с клерикализмом и монархической реакцией в начале 900-х годов.

Нормальная школа — высшее педагогическое учебное заведение в Париже.

Стр. 198. *Пасифая* (греч. миф.) — жена критского царя Миноса, воспылавшая страстью к быку.

Стр. 200. *Лисипповский атлет* — статуя юноши, работы древнегреческого ваятеля Лисиппа (IV в. до н. э.).

Стр. 204. *Комбизм.* — Имеется в виду политика премьер-министра Эмиля Комба (1835—1921), который провел в 1902—1905 гг. ряд антиклерикальных законов: закон 1902 г. о закрытии школ монашеских конгрегаций, закон 1904 г. о запрещении преподавательской деятельности членам конгрегация, а также разорвал дипломатические отношения с Ватиканом и

внес в парламент законопроект об отделении церкви от государства. Анатоль Франс горячо поддерживал антиклерикальную политику Комба в многочисленных статьях и речах и написал предисловие к его книге «Антиклерикальная кампания 1902—1903 гг.» (1904).

Стр. 206. *Консьержери* — старинная тюрьма в Париже, занимающая часть здания Дворца правосудия.

Стр. 207. *...подобно тому, как Людовик XIV выбросил в окно свою трость перед Лозеном.* — Лозен — придворный Людовика XIV, снискавший скандальную известность своими любовными похождениями, сумел, вопреки воле короля, жениться на его двоюродной сестре. Узнавший об этом Людовик, увидя Лозена, сломал свою трость, так как боялся в гневе убить его.

Андре — военный министр в министерстве Эмиля Комба, активно противодействовал клерикальному влиянию в армии.

Стр. 209. *...отвезли в больницу для умалишенных.* — Любопытно, что нашелся человек, усмотревший в образе злополучного библиотекаря свое изображение. В 1934 г. некий Лемуан архивист-палеограф, бывший библиотекарь военного министерства, возбудил процесс против наследника Франса, обвиняя умершего писателя в оскорблении и клевете. Лемуан утверждал, что Франс изобразил и высмеял именно его, так как в мае 1913 г. он, Лемуан, был временно помещен в дом для умалишенных, а как раз в это время Франс начал перерабатывать первый вариант своего романа и, как указывалось выше, добавил новую главу о сумасшествии Сарьетта. Лемуан выиграл процесс: суд признал, что Анатоль Франс затронул личное достоинство истца, и обязал издателя романа, а также наследника Франса компенсировать Лемуана денежным вознаграждением в размере пяти тысяч франков.

Стр. 210. *...поддал жареную телятину.* — Намек на евангельскую притчу о блудном сыне, для которого после его возвращения в отчий дом «заклали тельца».

Стр. 213. *...под знаменем, которое принесло победу Константину.* — Римский император Константин (306—337) признал христианство государственной религией Римской империи. Согласно преданию накануне сражения между войсками Константина и его соперника Максенция (312) на небе появился крест и слова: «Ты победишь с этим знаменем».

МАЛЕНЬКИЙ ПЬЕР

В 1914 г. после долгого перерыва семидесятилетний писатель вновь возвращается к воспоминаниям детства. Новые рассказы о Пьере Нозьере появляются на страницах журнала «Revue de Paris» в 1914—1915 гг. В 1918 г. Франс публикует еще ряд эпизодов из этой серии и одновременно редактирует уже напечатанные главы, тщательно отработывая детали. 18 января 1918 г. он пишет своему другу Пьеру Кальметту: «Я пишу сейчас воспоминания детства: рассказ о бегстве и пленении попугая, жившего некогда в доме 19 по набережной Малакэ. Мне нужно знать размеры квартала, ограниченного Сеной и тремя улицами. Прошу тебя, набросай мне план тех мест, куда мог бы залететь попугай, не привыкший, однако, к далеким полетам». К концу 1918 г. Франс завершает работу над новым произведением и в начале января 1919 г. «Маленький Пьер» — третья книга автобиографической тетралогии — выходит в свет.

В «Маленьком Пьере» упоминаются некоторые лица и факты, уже известные читателям «Книги моего друга» (1885) и «Пьера Нозьера» (1899), но основная часть материала совершенно новая. Французские исследователи творчества Франса отмечают большую биографичность этой книги по сравнению с двумя предыдущими, но в целом автобиографичность «Маленького Пьера» столь же условна. И в этой книге подлинно биографические эпизоды, точно выписанные отдельные детали сочетаются со значительной долей поэтического вымысла, с художественным переосмыслением фактов жизни.

В книгу о маленьком Пьере вложено много личного, на каждой странице в ней присутствует сам автор, Анатолий Франс, с его сложным отношением к жизни, с глубиной его мысли, порой даже с его жизненным опытом, которым писатель наделяет своего маленького героя. Писатель Ле Гофф вспоминает, что Франс признавался ему в личной беседе: «Трудное это дело — писать свои воспоминания, невольно стараешься видеть и исправлять их под углом зрения того возраста, в каком находишься в данное время...»

Отдельные эпизоды из детства Пьера служат писателю, как правило, поводом для различных рассуждений, для доказательства своих убеждений и взглядов: так, посещение кондитерской, расписанной в стиле классицизма, влечет за собой размышле-

ния об упадке искусства со времени Людовика XIV; многие главы книги заканчиваются философской или моральной сентенцией.

Неповторимое своеобразие автобиографического цикла Франса заключается в сочетании зрелой мысли писателя с поэтическим изображением детства. Несмотря на философичность этих своих книг, Франс сумел передать в них наивность детского восприятия жизни, раскрыть мир простых и искренних чувств, показать богатство фантазии ребенка, которому все кажется новым и необычным и каждый день приносит удивительные открытия. Маленький герой Франса живет в мире ласки, заботы, довольства, видит жизнь из окна своей уютной комнаты или во время прогулок по улицам Парижа; его представление о мире ограничено, многое он воспринимает через посредство книг или искусства. Но жизнь с ее противоречиями и трудностями все же вторгается иногда и в узкий мирок Пьера; то это бедный мальчик-трубочист, с детских лет зарабатывающий себе на хлеб тяжелым трудом, то безжалостные законники, описывающие имущество доктора Нозьера. Но эти отдельные случаи ненадолго нарушают размеренный ход домашней жизни, куда даже грозные события революции долетают лишь тихим отзвуком. Книга «Маленький Пьер» создавалась в годы войны, в ней чувствуется желание Франса противопоставить настоящему мирные картины несколько идеализированного прошлого. В предисловии к рассказу «Первобытные времена» (составившему затем главу II книги), впервые напечатанному в журнале «Revue de Paris» 15 июля 1915 г., Франс высказывал надежду, что читатели «смогут несколько отвлечься, читая эти легкие страницы, дышащие любовью к родной земле...» С тихой грустью вспоминает писатель годы своего детства, когда, как ему теперь кажется, царила «какая-то особая радость жизни, какая-то задушевная интимность между живыми существами и вещами, тот особый уют, какого теперь уже не существует». С любовью говорит он о Париже середины XIX в., на узких старых улицах которого еще не так резко бросались в глаза социальные контрасты. Даже в лирической книге детских воспоминаний Франс выражает свою неприязнь к буржуазному государству. С осуждением пишет он о бесславных итогах июльской революции 1830 г., утвердившей власть банкиров и откупщиков, олицетворением которых является в книге «преуспевавший мошенник» г-н Беллаге, богатый домовладелец и финансист.

Многие из персонажей книги «Маленький Пьер» имеют реальных прототипов. Действительно существовал чудак-букинист г-н Деба (о нем более подробно говорится в книге «Пьер Нозьер»); в образе Пьера Данкена Франс воплотил некоторые черты Жака Шаравэ, библиофила и архивариуса, сын которого Этьен Шаравэ был другом детства писателя; прототипом дяди Гиацинта послужил дед Франса с материнской стороны Дюфур, уже изображенный писателем в романе «Преступление Сильвестра Бонара» (образ дяди Виктора). Один из лучших образов книги — старая Мелани, верная нянюшка Пьера. Для Франса она олицетворяет людей чистых сердцем и великих в своей любви к человеку, к жизни. С искренним и глубоким чувством говорит писатель о своем большом долге перед этой простой женщиной, открывшей перед ним поэзию народных сказок, неисчерпаемые богатства народной речи.

В книге «Маленький Пьер» выражено также свойственное Франсу восхищение национальным искусством Франции, высоким образом которого было в глазах писателя творчество Расина. Он неоднократно высказывал свое преклонение перед Расином (очерк «Жан Расин», 1873, включенный затем в книгу «Латинский гений»), считал язык его трагедий идеалом художественного совершенства. Но нигде отношение Франса к Расину не выражено так полно и глубоко, как в тридцать четвертой главе «Маленького Пьера». Эту главу сам Франс называл своим литературным завещанием. «Я не хочу умереть, не написав нескольких строк у подножья твоего памятника в знак моей любви и моего поклонения, о Жан Расин!»

Так на страницах «Маленького Пьера» не только оживают отдельные черты парижской жизни 40—50-х годов, не только возникает обаятельный мир детства, но встает и сам Анатолий Франс, влюбленный во Францию, в ее народ, в ее богатую культуру.

Стр. 221. *Леопольд Кан* — директор издательской фирмы Кальман-Леви, где, начиная с 1879 г., выходили почти все произведения Анатолия Франса; близкий друг писателя.

Стр. 224. *Кабанис* — см. примеч. к стр. 135.

Стр. 225. *...улыбку, без которой... человек недостоин ни трапезы богов, ни ложа богинь.* — Перефразировка двух последних стихов из 4-й эклоги Вергилия.

Стр. 226. *О'Меара* Эдвард (1786—1836) — английский хирург, приставленный к Наполеону во время пребывания последнего на острове Св. Елены.

Подобно Ламартину, он редко смеялся... — Альфонс де Ламартин (1790—1869) — французский поэт-романтик. Для его поэзии характерны настроения тихой грусти, меланхолии.

Стр. 227. *Жан-Жак* — то есть французский писатель-просветитель Жан-Жак Руссо (1712—1778). Героиня его шумевшего романа «Юлия, или Новая Элоиза» (1761), вопреки существовавшим тогда обычаям, сама кормила грудью своих детей.

Стр. 228. *Люди называли ее Марсель...* — Марсель — крестная мать маленького Пьера Нозьера; выведена Франсом в «Книге моего друга» (гл. VI, «Златоокая Марсель»).

...как тоскующая тень Дидоны в миртовой роще... — Дидона — героиня поэмы Вергилия «Энеида», царица Карфагена, покончившая с собой из-за любви к покинувшему ее Энею. Спустившись в загробный мир, Эней увидел там тень Дидоны.

Там всех несчастных, что лютым недугом любовь истерзала,
Тайные тропы скрывают и миртовый лес злополучных

Тенью одел, но тоска не покинула их и в смерти (Энеида, кн. VI).

Марсель, так же как и Дидона, — жертва любви.

На животе толстом, как у Гримо де ла Реньера... — Гримо де ла Реньер (1758—1838) — автор книги «Альманах Гурманов»; был известен своей тучностью.

Стр. 229. *В 1815 году он видел в Лионе Бонапарта.* — 1 марта 1815 г. Наполеон бежал с острова Эльбы и высадился на побережье Франции. Взяв города Канн и Гренобль, он с триумфом вошел в Лион, где и провозгласил низложение Бурбонов.

...Шатобриан, прославивший свое столетие... — Франс иронизирует над непомерно раздутой в годы Реставрации литературной славой писателя реакционного романтизма Франсуа-Ренэ де Шатобриана (1768—1848).

Стр. 231. *Симон из Нантуи* — герой одноименной нравоучительной книги для юношества писателя Лоран-Пьера Жюсье (1792—1866), умудренный житейским опытом человек, постоянно изрекающий наставления.

Стр. 232. *...дерзкого племени Иапета...* — По одному из древнегреческих мифов, прародителем человечества считается титан Иапет, отец титана Прометея.

...на гравюрах Калло. — Жак Калло (ок. 1592—1685) — французский гравёр и рисовальщик, мастер реалистического гротеска. О гравюрах Калло Франс писал и в «Книге моего друга» (гл. I «Чудища»).

Стр. 234. *Наполеон Бонапарт убежал из крепости Гам...* — Речь идет о Луи-Наполеоне Бонапарте, племяннике Наполеона I (впоследствии император Наполеон III). После неудачной попытки свергнуть Луи-Филиппа Луи-Наполеон в 1840 г. был осужден на пожизненное заключение в форте Гам, откуда он бежал в 1846 г., переодевшись в платье каменщика Баденге.

Мальчик-с-пальчик наряжался генералом... — В газетах конца 40-х годов часто писали об американском карлике Чарльзе Страттоне, ростом в 101 см.; его в шутку называли «генералом».

Стр. 235. *...герцогиню де Прален убивали.* — Имеется в виду нашумевший процесс герцога де Пралена, пэра Франции, убившего в 1847 г. свою жену.

...масляничный бык Дагобер разгуливал по Парижу... — Речь идет о ежегодном карнавальном шествии во главе с разукрашенным быком. Эта церемония вела свое начало от старинного праздника парижского цеха мясников. Масляничному быку обычно давали имя в честь знаменательного политического события года или же называли его именем героя новой книги. Так масляничный бык 1835 г. назывался Отец Горио — по роману Бальзака, — а в 1846 г. он был назван Дагобером в честь одного из персонажей романа Эжена Сю «Агасфер».

Стр. 236. *Робер де Монтескью* (1855—1921) — второстепенный французский поэт-декадент; славился необыкновенно тонким обонянием, воспевал в стихах изощренные запахи (сборник «Голубые гортензии»). В пятой серии «Литературной жизни» Франс опубликовал статью «Робер де Монтескью. — «Нетопыри», посвященную сборнику стихов этого поэта.

Стр. 239. *Дедал* (греч. миф.) — изобретатель ремесел и искусств, ваятель, высекавший из мрамора статуи, которые казались одухотворенными.

Стр. 242. *Наварин.* — Попугай назван так в память сражения при Наварине 20 октября 1827 г. во время греческой освободительной войны.

Стр. 245. *Мальчик Ганимед.* — По древнегреческому мифу, орел, выполняя волю Зевса, похитил красавца мальчика Га-

нимеда и унес его на Олимп, где Ганимед стал виночерпием богов.

Стр. 246. *...несмотря на бенедиктинцев... которые изобрели способ проверять даты...* — Монастыри бенедиктинского ордена славились в средние века своими летописцами и учеными-комментаторами; они опубликовали ряд исторических работ и справочников, среди них «Искусство проверять даты».

Клио (греч. миф.) — муза истории.

Стр. 248. *«Бон-Марше», «Лувр», «Весна», «Галереи»* — большие универсальные магазины в Париже.

Стр. 249. *Буйи* Жан-Никола (1763—1842) — французский писатель, автор многочисленных сентиментально-дидактических рассказов для детей.

Стр. 250. *Буальи* Луи-Леопольд (1761—1845) — французский художник, автор жанровых картин, портретов.

Персье, Фонтен — французские архитекторы. Шарль Персье (1764—1838) и Пьер-Франсуа Фонтен (1762—1853) создали стиль ампир в архитектуре и внутреннем убранстве домов, характерный для искусства империи Наполеона I.

Стр. 251. *Битвы при Арколе и при Лоди*. — При Лоди в мае 1796 г. и при Арколе в ноябре того же года Наполеон разбил австрийские войска.

Стр. 253. *«Золотой осел»* — см. примеч. к стр. 53.

Стр. 254. *...пророческой сказки Уильяма Морриса.* — Уильям Моррис (1834—1896) — английский писатель и художник, автор утопического романа «Письма ниоткуда» (1891), где он утверждает необходимость возврата к натуральному хозяйству и ремесленному труду.

Стр. 255. *Бара* — герой освободительных республиканских войн периода французской буржуазной революции конца XVIII в. Двенадцатилетний доброволец Бара, попав в руки к роялистам, несмотря на угрозы, воскликнул: «Да здравствует Республика!» — и был убит на месте. Конвент постановил воздвигнуть бюст Бара в Пантеоне.

Стр. 256—257. *...в духе Броувера и Яна Стена.* — Адриэн Броувер и Ян Стен — голландские художники XVII в., писавшие жанровые картины (сцены в кабачках, деревенские праздники и т. д.).

...о богине Немезиде Геродота... — Немезида (греч. миф.) — богиня возмездия и восстановления справедливости, Геродот

(род. ок. 484 — ум. ок. 425 г. до н. э.) — древнегреческий историк. Божественное возмездие за преступления и неправду Геродот считал реальной силой истории и с этой точки зрения объяснял многие исторические события, а также превратности человеческих судеб.

Стр. 259. ...голубок из басни тоже прибежал к нему... — Имеется в виду басня Лафонтена «Два голубя».

Стр. 262. ...слова, заставившие побледнеть неосторожного Тезея. — В трагедии Расина «Федра» царевна Арисия предостерегает царя Тезея, посылающего проклятия на голову своего сына Ипполита (действие V, явл. 3).

Стр. 263. *Г-жа Деборд-Вальмор* Марселина (1785—1859) — поэтесса романтического направления. Франс ценил ее поэзию и произнес теплую речь при открытии памятника поэтессе в городе Дуэ в 1896 г. Здесь цитируется ее стихотворение «Школьник».

Греческая трагедия вышла из повозки Феспиды. — Создателем древнегреческой трагедии считается поэт Феспид (VI в. до н. э.). Согласно преданию повозка, в которой он разъезжал по Греции, служила подмостками для представления его трагедий; помимо хора в них участвовал только один актер.

Одеон (греч.) — круглое здание для музыкальных представлений в древней Греции. «Одеоном» был назван основанный в 1797 г. парижский театр.

Стр. 264. *Калибан* — персонаж драмы Шекспира «Буря», получеловек-полуживотное, олицетворение злых сил природы.

Стр. 265. ...романсами королевы Гортензии... — Гортензия Богарне (1783—1827), падчерица Наполеона I, королева Голландии, сочиняла популярные в свое время сентиментальные романы.

Стр. 266. ...я работал в шекспировской манере — то есть допускал смешение трагического и комического, что строжайшим образом запрещалось в драматургии французского классицизма XVII в., ярким образцом которой были трагедии Расина.

Жозефина. — Жозефина-Мария-Роза Богарне (1763—1814) — первая жена Наполеона I, с которой он развелся в 1809 г.; Мария-Луиза — дочь австрийского императора Франца II, вторая жена Наполеона.

...по плодовитости я был настоящий Кальдерон. — Перу

испанского драматурга Педро Кальдерона де ла Барка (1600—1681) принадлежит около двухсот пьес.

Стр. 268. *Это была революция.* — То есть февральская революция 1848 года, в результате которой была свергнута монархия Луи-Филиппа и провозглашена республика.

Стр. 269. *Маршал Бюжо* де ла Пиконнери Тома-Робер (1784—1849) — военачальник, который во время февральской революции 1848 года безуспешно пытался оборонять королевскую резиденцию — дворец Тюильри. 24 февраля восставший народ овладел дворцом.

Стр. 272. *«Шаривари»* — газета, основанная в 1832 г. республиканцем Шарлем Филиппоном; находилась в оппозиции к режиму Июльской монархии. В «Шаривари» сотрудничали лучшие художники-карикатуристы того времени (Домье, Гаварни).

...орлеанисты с грушами вместо голов... — Орлеанисты — приверженцы короля Луи-Филиппа Орлеанского, голову которого карикатуристы обычно изображали в виде огромной груши.

Тьер Луи-Адольф (1797—1877) — французский реакционный политический деятель; руководил реакционной «партией порядка» в период Второй республики (1848—1852); кровавый палач Парижской коммуны 1871 г. Тьер был небольшого роста.

Жирарден Эмиль (1806—1881) — французский журналист и политический деятель, один из инициаторов издания дешевых многотиражных газет, в которых большое место отводилось всякого рода рекламе.

Президент Дюпен Андре (1783—1865) — французский юрист; был известен своей крайней политической беспринципностью, служил всем правительствам, бывшим во Франции, начиная от Первой и кончая Второй империей.

Виктор Консидеран (1808—1893) — французский социолог, один из ближайших учеников Фурье и популяризатор его идей.

Стр. 276. *Чудовища из «Искушений св. Антония».* — Имеются в виду лубочные картинки на сюжет церковной легенды о св. Антонии, отшельнике Фиваидской пустыни.

Стр. 277. *Квиеизм* — религиозное течение в католичестве XVII в., требовавшее полного подавления желаний человека и беспрекословного подчинения воле бога.

Стр. 279. *Гесиод* — древнегреческий поэт (конец VIII или начало VII в. до н. э.). Он толкует историю как смену веков, на протяжении которых люди становятся все хуже и хуже. Гномическими поэтами назывались авторы «гномов», то есть произведений, содержащих моральное или философское поучение.

Эти картинки... — Ниже перечисляются картины, с которых были сделаны гравюры: «Прощание в Фонтенебло», точнее «Прощание Наполеона с Императорской гвардией в Фонтенебло» (20 апреля 1814 г.) — картина художника Ораса Берне. «Сотворение Евы» — картина Рафаэля. «Смерть Виргинии» — картина Джемса Бертрена, изображающая смерть героини романа Бернардена де Сен-Пьера «Павел и Виргиния» (1787) во время кораблекрушения.

Стр. 280. *Гиньоль* — популярный персонаж французского народного кукольного театра, давший название самому кукольному театру.

Стр. 282. *Леду* Клод-Никола (1736—1806) — французский архитектор, построивший в Париже несколько арок-ворот на месте бывших городских застав.

Стр. 285. *Он был немножко аптекарем, как и его король.* — То есть как король Луи-Филипп, который в годы французской революции конца XVIII в. был в эмиграции и вынужден был различным способом зарабатывать себе на жизнь.

Стр. 288. *Королева Мария-Амалия* (1782—1866) — жена короля Луи-Филиппа; после революции 1848 года была изгнана из Франции.

Стр. 289. *...на трибуне Ламартин...* — Поэт Ламартин в 1848 г. был членом буржуазно-республиканского правительства.

Стр. 291. *«Пирожок» Фрагонара* — картина французского художника Жана-Оноре Фрагонара (1732—1806), изображающая молодую женщину, играющую в постели с собачкой.

Стр. 292. *Мне не разрешалось играть во дворе с сыном кухарки... Альфонсом.* — Эпизод с Альфонсом в более развернутом виде имеется в «Книге моего друга» (гл. V, «Кисть винограда»).

Стр. 293. *...«Матильду, обращающую в свою веру Малек-Аделя среди урагана пустыни».* — Сюжет скульптурной группы взят из популярного в первой половине XIX в. романа

г-жи Коттен «Матильда, или Воспоминания из истории крестовых походов» (1805), в котором рассказывалось о трагической любви сестры английского короля Ричарда Львиное Сердце Матильды и турецкого военачальника Малека-Аделя.

...хозяйственного пыла Геркулеса в Элиде... — Имеется в виду один из подвигов греческого героя Геракла, который, выполняя приказание царя Элиды Авгия, в один день вычистил его огромные конюшни.

Стр. 295. *Рашиель* (настоящее имя Элиза Феликс, 1821—1858) — выдающаяся французская трагическая актриса, возродившая на сцене классическую трагедию; играла Федру (одноименная трагедия Расина), ревнивую, страстную Гермionу, приказавшую Оресту убить изменившего ей Пирра (трагедия Расина «Андромаха»).

Стр. 297. *Басня о «Зверях, больных чумой»* — басня Лафонтена.

Стр. 301. *Кибела* — в восточной и античной мифологии «великая мать богов», символ природы.

...дали миру сорок два года безмятежного счастья. — Речь идет о римских императорах династии Антонинов (II в.), время правления которых буржуазные историки считали периодом относительного внешнего и внутреннего мира в римском государстве.

...причины, вроде той... которая заставила мать Моисея довернуть свое дитя водам Нила. — Согласно библейской легенде египетский фараон приказал уничтожить всех новорожденных еврейских мальчиков, поэтому мать пророка Моисея положила своего ребенка в корзину и пустила ее по течению Нила. Эту корзину выловила дочь фараона, которая и воспитала Моисея.

Стр. 307. ...одеяло, расшитое лилиями. — Лилии — геральдический цветок в гербе французских королей, эмблема монархии.

Осада Гранвиля — эпизод времен вандейского мятежа (1793—1796).

Стр. 308. *Г-жа Виже-Лебрен* Елизавета (1755—1842) — французская художница, писала портреты французской знати; в период революции эмигрировала.

...словно Сабинянки Давида, бросались разъединять сражающихся. — Имеется в виду картина французского художника-классициста Жака-Луи Давида (1748—1825) «Сабинянки»,

написанная на сюжет древнеримского предания. В центре картины фигура сабинянки, останавливающей сражающихся между собой римских и сабинских воинов.

Синие. — Синими по цвету их одежды называли в период французской буржуазной революции конца XVIII в. республиканских солдат.

Стр. 309. *В IV году...* — В октябре 1793 г. якобинский Конвент ввел новый революционный календарь, по которому летоисчисление велось со дня провозглашения Республики — с 22 сентября 1792 г. IV год республиканского календаря соответствует отрезку времени с сентября 1795 по сентябрь 1796 г.

Хулио Санчес — один из руководителей отрядов партизан (гверильясов) во время войны в Испании (1808—1813) против французских завоевателей.

Стр. 310. *Гусек* — популярная в начале XIX в. настольная игра. Каждый играющий делает ходы на разграфленной доске соответственно количеству выпавших очков и ставит себе целью первым достигнуть шестьдесят третьей клеточки, где изображен большой гусь.

Стр. 315. *Героновы фонтаны* — игрушка, названная по имени древнегреческого механика Герона (конец II — начало I в. до н. э.); составлена из двух сообщающихся сосудов и трубок, при помощи которых можно получить бьющую вверх струю воды.

Стр. 316. *...грот нимфы Эвхариды... Телемак.* — Эвхариды, Телемак (Телемах) — персонажи дидактического романа французского писателя Фенелона (1651—1715) «Приключения Телемака, сына Улисса».

Стр. 318. *...какими изобразил их Рабле.* — В пятой книге романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле сатирически изобразил судейских чиновников в виде алчных и жестоких Пушистых Котов; у их эрцгерцога — кошачья морда с вороньим клювом.

Стр. 320. *Принцесса де Жуанвиль* — внучка короля Луи-Филиппа; родилась в Бразилии, в Рио де Жанейро.

«*Вер-Вер*» — поэма французского поэта Жака-Батиста Грессе (1709—1777), описывающая забавные приключения попугая, воспитанного в женском монастыре. Поэма высмеивает монастырские порядки и религиозное ханжество.

Стр. 324. *...воспоминаниями о наполеоновских орлах...* — Изображение орла было эмблемой наполеоновской империи.

Стр. 325. ...лента ордена Почетного легиона и крест св. Людовика. — Орден Почетного легиона был введен Наполеоном в 1802 г.; крест св. Людовика — королевский орден, уничтоженный революцией и восстановленный после падения Наполеона, в период Реставрации.

Стр. 326. *Флибустьеры* — пираты XVII в., грабившие главным образом испанские корабли. В борьбе со своей соперницей на мировом рынке — Испанией Англия и Франция не раз использовали флибустьеров.

Стр. 330. ...сходство с Наполеоном на борту Нортумберленда. — На борту английского фрегата «Нортумберленд» Наполеон 15 октября 1815 г. прибыл на остров Св. Елены, где и находился до своей смерти.

Когда весной травка молодая... — строки из поэмы Грессе «Вер-Вер».

Стр. 333. ...во время французской кампании... — Имеются в виду военные действия 1814 г., после разгрома Наполеона под Лейпцигом (1813) происходившие на территории Франции.

Стр. 334. *Карл Берне* (1758—1835) — французский художник, автор многочисленных картин и рисунков из военной и охотничьей жизни.

Поджариватель. — «Поджариватели» — прозвище монархических банд, терроризировавших в 1795—1803 гг. французские провинции.

Стр. 335. ...сына великого человека — то есть сына Наполеона I, герцога Рейхштадтского (1811—1832), известного также под именем Наполеона II, хотя он никогда не царствовал.

«Еще один спутник Улисса!» — намек на то, что во время революции многие французские дворяне находились в эмиграции и скитались по разным странам, подобно герою гомеровского эпоса Одиссею (Улиссу) и его спутникам.

Панург — персонаж романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Стр. 336. *Этьенн Шарль-Гильом* (1777—1845) — французский драматург, прославлявший в своих произведениях Наполеона.

Стр. 337. ...мораль Савойского викария... — «Исповедание веры Савойского викария» — один из центральных эпизодов педагогического романа Руссо «Эмиль» (1762). Писатель излагает здесь принципы своей религии чувствительного сердца и, добродетели.

Шикано — герой комедии Расина «Сутяги» (1668), кляузник и крючкотвор.

Стр. 338. *Три Славных Дня* — то есть дни революции 1830 г. (27—29 июля).

Стр. 339. *Лафайет* Мари-Жозеф (1757—1834) — французский генерал, участник первого этапа революции конца XVIII в.; во время революции 1830 г. — был одним из вождей партии либералов и содействовал воцарению Луи-Филиппа.

Хартия. — Имеется в виду закон о конституции, который вынужден был издать в 1814 г. Людовик XVIII. Июльские ордо-нансы (законы) Карла X, нарушавшие основные принципы хартии, послужили поводом к начавшимся в 1830 г. револю-ционными событиями.

Стр. 342. *Давид* д'Анже Пьер-Жан (1788—1856) — француз-ский скульптор, создатель огромного барельефа на фронто-не парижского Пантеона, прославляющего знаменитых людей Франции.

Стр. 343. *Коронация императора*. — Наполеон I короновался 25 августа 1804 г. в соборе Парижской богоматери.

...когда императора снова привезли в Париж. — 15 декабря 1840 г. останки Наполеона I были перевезены с острова Св. Елены и торжественно водворены в парижском Дворце Инвалидов.

Стр. 344. *...милосердного самаритянина*. — Имеется в виду евангельская притча о милосердном человеке из Самарии, кото-рый помог лежавшему на дороге раненому путнику, в то время как двое других прохожих равнодушно прошли мимо.

Стр. 347. *Сикоракса* — ведьма, мать чудовища Калибана, из драмы Шекспира «Буря».

Стр. 348. *...ожидавшая, подобно Пенелопе, своего супруга, уехавшего с Кабэ в Икарию...* — Пенелопа — персонаж «Одис-сеи» Гомера, верная жена Одиссея, ожидавшая двадцать лет возвращения мужа и стойко отвергавшая многочисленных и весьма настойчивых женихов. Муж Гортензии Переспье, о ко-торой идет речь, уехал с французским коммунистом-утопистом Этьеном Кабэ в Северную Америку, где Кабэ в 1848 г. основал колонию Икария, долженствующую воплотить принципы ком-мунистического общества, описанного им в книге «Путешествие в Икарию» (1840). Колония просуществовала до конца 80-х годов.

Эпиктет и *Марки-Аврелии* — то есть мудрые слуги и хо-

зяева; Эпиктет (50—138 г. н. э.), раб, затем вольноотпущенник, и Марк-Аврелий, римский император (121—180 г. н. э.), были философами школы стоиков.

Стр. 350. ...*Лафонтен, который не посмел бы ответить «нет» мадемуазель де Силлери*. — Речь идет о басне «Тирсис и Аманранта». Поэт посвятил ее мадемуазель де Силлери и в посвящении (строки из которого цитируются Франсом) говорит, что не смог отказаться в ее просьбе сочинить басню, хотя до этого решил больше басен не писать.

Стр. 351. *Робер Макэр* — ловкий мошенник, вор и убийца, главное действующее лицо мелодрамы «Адретская гостиница» (1823) Антье, Сент-Амана и Полианта и пьесы «Робер Макэр» (1835) Сент-Амана и Ф. Леметра. Образ Робера Макэра на сцене был создан талантливым актером Фредериком Леметром. Выдающийся художник-карикатурист Оноре Домье (1808—1879), смело высмеивавший Июльскую монархию, быт и нравы буржуа, нередко прибегал в своих карикатурах к образу Робера Макэра, имя которого стало нарицательным во Франции.

Стр. 352. *Если Декарту вздумалось... заявить, что животные — это машины...* — Ренэ Декарт (1596—1650) — французский философ, математик и физик, был одним из основоположников механистической физиологии: живое существо для него — автомат, подчиненный тем же законам механики, что и мертвая природа. Картезианцы — последователи философии Декарта (название от латинской формы имени Декарта — Картезиус).

Стр. 354. *Маршал Сульт* Никола-Жан (1769—1851) — наполеоновский маршал, затем военный министр при Луи-Филиппе.

Стр. 356. *Оры* — женские божества античной мифологии, олицетворявшие время, двенадцать часов дня и ночи.

Царствование Карла X — 1824—1830 годы.

Стр. 357. *Миньона, тоскующая по родине* — персонаж романа Гете «Ученические годы Вильгельма Мейстера» (1777—1796), маленькая бродячая арфистка, грезящая о родной Италии.

Стр. 359. *Беркен* Арно (1747—1791) — французский писатель, автор сборников нравоучительных и слащавых рассказов для детей — «Друг детей».

Стр. 360. *Буйи* — см. примеч. к стр. 249.

Стр. 361. *Готфрид Бульонский* — французский феодал (1058—1100), возглавивший первый крестовый поход. Впоследствии король Иерусалима.

Стр. 371. *Леди Гамильтон* Эмма (1761—1815) — английская авантюристка. Некий Чарльз Гренвилл уступил ее в уплату за долги своему дяде Уильяму Гамильтону, послу Англии в Неаполе, который на ней женился.

Стр. 378. *Училище св. Иосифа*. — Под этим названием Франс описывает училище св. Марии, которое он посещал два года до поступления в коллеж (1853—1855).

«Краткая священная история» — начальная книга для чтения при изучении латыни, составленная в 1784 г. ученым педагогом Шарлем Ломоном.

Виктор Консидеран — см. примеч. к стр. 272.

Стр. 379. *...учение о фаланстерах*. — Фаланстеры — огромные дворцы, где согласно учению французского социалиста-утописта Ш. Фурье должны были жить и работать члены будущего социалистического общества, основанного на свободе человеческого страстей и стремлений.

Лоренцо Медичи, прозванный Лоренцо Великолепным (1448—1492) — один из представителей итальянского рода Медичи, правившего во Флоренции в XV—XVIII вв. Покровительствовал наукам и искусствам; отличался безобразной внешностью.

Стр. 380. *...советы царю Нуме*. — По преданию, легендарный римский царь-законодатель Нума Помпилий (VII в. до н. э.) руководствовался советами нимфы-прорицательницы Эгерии.

Стр. 382. *Камиль Демулен* (1760—1794) — один из видных деятелей французской буржуазной революции конца XVIII в., сторонник Дантона; журналист, блестящий оратор; от природы заикался.

Стр. 383. *...кошки, превратившейся в женщину...* — Имеется в виду одноименная басня Лафонтена, в которой кошка, став женщиной, сохраняет прежние кошачьи повадки.

Стр. 384. *Лафатер* Иоганн-Каспар (1741—1801) — создатель псевдонауки — физиогномики, согласно которой будто бы существует соответствие между чертами лица человека и определенными свойствами его характера.

Императрица Евгения-Мария де Монтихо де Гузман (1826 — 1920) — жена императора Наполеона III.

Стр. 385. *Робер-Уден* Жан-Этьен (1805—1871) — знаменитый в свое время фокусник-иллюзионист.

Стр. 389. *Не веря Дельфийскому оракулу, я вовсе не стремлюсь познать самого себя....* — На фронтоне храма бога Аполлона

в древнегреческом городе Дельфах, где находился знаменитый оракул, была высечена надпись: «Познай самого себя».

Монтень Мишель-Эйкем (1533—1592) — французский писатель, автор книги размышлений «Опыты». С большой тщательностью анализируя свои мысли и поступки, писатель на основании их делал общие выводы о человеческой природе. Монтень действительно страдал упомянутой Франсом болезнью.

Стр. 390. ...я был принят в коллеж проходящим. — Для описания коллежа во всех трех книгах автобиографического цикла Л. Франса образцом послужил коллеж св. Станислава — привилегированное среднее учебное заведение, руководимое монахами, в котором учился сам писатель с 1855 по 1862 г.

Стр. 391. *Федр* — римский баснописец (I в.), перелагал в латинские стихи греческие народные прозаические басни, приписываемые Эзопу (VI в. до н. э.).

«Избранные отрывки из мирских писателей» — учебная книга по-латыни для младших классов, составленная в 1827 г. Эзе.

«Эсфирь и Гофолия». — «Эсфирь» и «Гофолия» — трагедии Жана Расина на библейские сюжеты.

Стр. 392. *Фенелон* — см. примеч. к стр. 316.

Стр. 394. *Малерб* Франсуа (1555—1628) — французский поэт, один из зачинателей классицизма, автор многочисленных од на религиозные и политические темы. Здесь имеется в виду его ода «Утешение господину Перье, скорбящему о смерти дочери» (1599).

Стр. 396. *«Пышнопоножные» греки*. — «Пышнопоножные» — характерный эпитет из гомеровского эпоса; поножи — часть лат, закрывавшая ноги воинов, а также особые украшения, надевавшиеся на ноги.

Стр. 398. *Марсий* (греч. миф.). — Как рассказывает выше А. Франс, сатир Марсий осмелился вступить в музыкальное состязание с богом Аполлоном; за это разгневанный бог велел повесить Марсия за руки и содрать с него кожу.

Мария Фавар, Сарра, Барте, Вебер. — Фавар Мария-Пьеретта (1833—1908), Сара Бернар (настоящее имя Розина Бернар, 1844—1923), Барте (настоящее имя Реньо Жанна-Юлия, 1854—1941), Вебер Евгения-Каролина, известная на сцене под именем г-жи Сегон (1867—1945) — французские актрисы, прославившиеся в трагическом репертуаре.

Стр. 399. *Фероньерка* — лобная повязка, лента с драгоценным камнем посередине.

ЖИЗНЬ В ЦВЕТУ

Книга «Жизнь в цвету», завершившая автобиографическую тетралогию Франса, начатую в 1885 г., была опубликована 5 июля 1922 г.

Семидесятивосьмилетний писатель был полон творческих планов; в июне 1921 г. он писал: «Закончил том воспоминаний юности. Теперь я хочу написать что-нибудь более серьезное, но в шутовской манере». (Франс имел в виду задуманный им сатирико-аллегорический роман «Циклоп», краткий план которого сохранился в его черновых набросках.) Однако все дальнейшие замыслы писателя не были осуществлены.

Как и другие части тетралогии, «Жизнь в цвету» была составлена из ранее опубликованных рассказов; они были напечатаны в 1915—1916 г. в журнале «Revue de Paris» под общей рубрикой «Маленький Пьер. Новая серия». Обилие материала привело писателя к мысли выделить часть его в отдельное произведение; таким образом, «Жизнь в цвету» явилась непосредственным продолжением «Маленького Пьера». Название «Жизнь в цвету» появилось лишь в 1921 г., когда в «Revue de Paris», после пятилетнего перерыва, были напечатаны новые четырнадцать глав будущей книги. В том же 1921 г. были опубликованы предисловие и послесловие. Окончательный текст значительно отличается от журнального варианта; в течение всего 1921 г. писатель тщательно редактировал уже напечатанные главы, его письма этого года полны упоминаниями о новой книге. В письме к Ж. Куэ от 24 января 1921 г. Франс замечает полушутливо, полусерьезно: «Увы, разве мне, больному и немоощному, говорить о жизни в цвету?»

Рассказывая об отрочестве и юности Пьера Нозьера, Франс выводит на страницах своей книги наряду с новыми персонажами уже известных читателю лиц — Дюбуа, Риге, Данкена, госпожу Ларок. Одним из центральных образов книги стал Фонтанэ — школьный товарищ Пьера, персонаж, действовавший уже в «Книге моего друга» и в сатирическом рассказе «Граф Морен» (1886). Прототипом Фонтанэ был соученик Франса по училищу св. Марии и коллегу св. Станислава — Луи Газе, впоследствии крупный адвокат. В книге «Жизнь в цвету» Франс постоянно противопоставляет простосердечие и житейскую непрактичность Пьера расчетливому практицизму дельца Фонтанэ, который последовательно готовится к карьере модного

адвоката, депутата и министра, презируя все, что не способствует достижению этой цели. Фонтанэ — образ большого типического обобщения; в нем выражена глубокая неприязнь А. Франса к буржуазному делячеству, карьеризму и политиканству. Фонтанэ тесно связан с плеядой «героев» буржуазного общества, живущих на страницах романов Стендаля, Бальзака, Мопассана, Золя.

«Жизнь в цветугу», так же как и «Маленький Пьер», не является автобиографией писателя в буквальном смысле. Нельзя непосредственно относить к Франсу все факты и события, рассказанные в книге, но она дает читателю большой материал, раскрывающий характер того бытового и идейного окружения, под воздействием которого складывалось мировоззрение писателя.

Большое место в книге отведено обсуждению философских, политических и эстетических проблем, многие из которых были только намечены в «Маленьком Пьере» (как романтизм, бонапартизм), а здесь получают более полное раскрытие. Франс не столько описывает события юности героя, сколько заставляет своих персонажей спорить, доказывать, опровергать. Он широко прибегает к своему излюбленному приему сталкивания различных взглядов и идей. Беседы, диалоги, споры играют в «Жизни в цветугу» очень большую роль.

С легкой иронией вспоминает Франс свое детское увлечение романтизмом, экзотикой горячих речей Рибера, который в спорах так и сыпал увлекательными и таинственными словами. В связи с образом старого поклонника романтизма в искусстве Марка Рибера Франс еще раз подчеркивает свое отрицательное отношение к реакционным романтикам, к выпренности и напыщенности Шатобриана, к меланхолической мечтательности Ламартина, противопоставляя им искусство классицизма. Писатель посвящает специальную главу художнику Энгру, олицетворяющему для него совершенство французской классической живописи. Франс считал себя наследником духовных ценностей, созданных человечеством в прошлые века. «Я... теперь прекрасно сознаю, скольким я обязан моим ближним, как древним, так и новым, как согражданам, так и чужеземцам...» — пишет он.

В «Жизни в цветугу» с особенной глубиной отразилась тревога писателя за будущее культуры, тревога, вызванная в нем зрелищем упадка буржуазной культуры в XX в. Спасение куль-

туры Франс видел в том, чтобы сделать ее достоянием народа. Еще в начале 900-х годов Франс принимал активное участие в создании народных университетов, выступал с многочисленными речами, в которых утверждал, что культура — это оружие в классовой борьбе рабочих. Он сочувственно отнесся к мысли Ромена Роллана о создании народного театра. В книге «Жизнь в цвету» Франс требует демократизации всей системы образования, утверждает необходимость всеобщего равного бесплатного обучения, открытия широкого доступа к знаниям, к науке для детей трудящихся. Он осмеивает буржуазную школу, ее казенность, уродующую душу учеников. Продолжая тему «Книги моего друга», писатель создает ряд сатирических образов школьных учителей (Кротту, Босье). Пародийному осмеянию подвергается и французская академия, с ее сорока «бесмертными» членами, с напыщенностью ученых речей и пустословием ее заседаний.

Большое место отведено в книге спорам о Наполеоне, которые связаны с волновавшим писателя вопросом о войнах. К образу Наполеона Франс обращался уже не раз — в новеллах сборников «Колодезь святой Клары» и «Клио», в романе «Остров пингвинов»; он думал даже написать специальный роман, посвященный Наполеону. Для Франса Наполеон — это воплощение ненавистных писателю завоевательных войн. Трагический опыт недавно закончившейся первой мировой империалистической войны не мог не придать размышлениям Франса о войнах еще большую глубину. Писатель ясно видит теперь неизбежность войн при капитализме, он прямо пишет, что финансистам и крупным промышленникам «выгодно вести войны как ради барышей, которые они наживают на военных поставках, так и ради оживления и процветания их дел в случае победы». Как бы дополнением к этим страницам «Жизни в цвету» является «Диалог о войне», над которым писатель работал в последние годы своей жизни. Последнее публичное выступление писателя на праздновании его восьмидесятилетия, 24 мая 1924 г., было посвящено необходимости борьбы против войн. «Мы должны обеспечить мир — мир прежде всего», — говорил А. Франс.

В «Жизни в цвету», последней книге писателя, нашло свое отражение глубочайшее разочарование Франса во многих сторонах буржуазной действительности. Несмотря на поэтическое

название, страницы книги пронизывает чувство горечи и пессимизма. Автор заставляет своего героя пережить крушение многих иллюзий; в аллегорическом эпизоде прекрасная Селина — мечта и идеал художников — предстает перед ним в образе отвратительной старухи Кошле. На склоне лет А. Франс хранит твердое убеждение в неизбежности крушения старого мира. Однако и теперь звучат его прежние сомнения и колебания в вопросе о будущем. Его волнует мысль, что людям нового общества, может быть, не нужна будет старая культура, он все еще ошибочно возводит многие противоречия капитализма в вечные законы жизни человечества; он не может отрешиться от представления, что неизменная биологическая природа человека делает безрезультатными попытки радикального преобразования общества. Книга «Жизнь в цвету» свидетельствует, как сложен был для писателя процесс преодоления старых взглядов и убеждений. Франс шел по этому трудному пути до конца своей жизни, часто ошибаясь, но не отступая.

После «Жизни в цвету» Франс ничего больше не написал. В 1924 г. был опубликован заново отредактированный им очерк «Альфред де Виньи», впервые еще напечатанный в 1868 г.; уже после смерти писателя, в 1925 г., в книге М. Кордэ «Неизданные страницы Анатоля Франса» были частично опубликованы его философские «Диалоги под розой» (1917—1924).

Стр. 403. *Г-жа Келюс* Мария-Мargarита (1673—1729) — племянница фаворитки Людовика XIV г-жи де Ментенон, автор мемуаров о французском дворе конца XVII в.

Сен-Сир — пансион для благородных девиц, основанный г-жой де Ментенон при Сен-Сирском монастыре.

Стр. 409. *Красная ленточка* — лента ордена Почетного легиона.

Стр. 411. *...любимая Аполлоном дочь Приама...* — пророчица Кассандра; падение Трои описано во второй книге поэмы Вергилия «Энеида».

Стр. 415. *...не был последователем Прудона...* — Прудон Пьер-Жозеф (1809—1865) — один из основоположников анархизма, провозгласил борьбу против крупной капиталистической собственности. Здесь имеется в виду фраза Прудона «Собственность — это кража».

Стр. 416. *..Жаннета увенчала им некогда доброго Короля Ивето.* — Король Ивето — король, по преданию, некогда царствовавший в Ивето (местность в Нормандии); персонаж популярной песни Беранже «Король Ивето» (1813), где говорится, что шалунья Жаннета надела на голову короля Ивето колпак, который он и носил вместо короны.

Стр. 419. *«Сорока-воровка, или Служанка Палезо»* — мелодрама Кэнье и д'Обиньи (1815), сюжетом которой служит трагическая история служанки, осужденной за кражу столового серебра и погибшей на виселице; в действительности же серебро украла сорока.

Стр. 424. *Непомюсен Лемерсье* (1771—1840) — французский поэт и драматург, автор сатирической поэмы «Панипокризиада».

Стр. 426. *«Телемак»* — см. примеч. к стр. 316. Ментор — персонаж из романа, мудрый наставник юного Телемака.

Стр. 428. *...по воле знаменитого префекта еще только начали прокладывать новые широкие магистрали...* — Имеется в виду Эжен-Жорж Осман (1809—1891). Будучи в 1853—1870 гг. префектом департамента Сены, он проводил большие работы по реконструкции Парижа. Правительство Наполеона III, боясь революционных выступлений народа и повторения баррикадных боев на улицах города, переселяло рабочих на окраины и создавало на месте старых кварталов широкие проспекты.

Буало-Депрео Никола (1636—1711) — французский поэт, теоретик классицизма. В сатире «Невзгоды парижской жизни» (1660) Буало описывает Париж XVII в.

Стр. 429. *...сказки Матушки Гусыни, сказки времен Берты-прыхы...* — то есть старинные сказки. Матушка Гусыня — фольклорный образ, ей приписывались народные сказки. Этот образ был использован писателем Шарлем Перро, назвавшим свою книгу — «Сказки моей Матушки Гусыни» (1697). Жена короля франков Пипина — Берта (VIII в.) согласно легенде была до замужества пряхой.

Стр. 431. *...о победах в Крыму.* — Речь идет о Восточной войне (1853—1856).

Стр. 432. *Лирический театр* — театр, основанный в Париже в 1847 г.; на его сцене ставились главным образом музыкальные комедии.

Мадлена Броан (1833—1900) — французская актриса, выступавшая в комических ролях.

Понсар Франсуа (1814—1867) — французский драматург, один из представителей «школы здравого смысла» в драматургии времени Июльской монархии и Второй империи.

...имя Дамы с камелиями. — Автор романа (1848) и драмы (1852) «Дама с камелиями» Александр Дюма-сын использовал факты из жизни куртизанки Мари Дюплесси, прозванной «Дамой с камелиями» и умершей от туберкулеза в 1846 г.

Шэ д'Эст-Анж, Гюстав (1800—1876) — видный французский юрист и политический деятель.

Стр. 435. *Давид* — см. примеч. к стр. 308.

Стр. 441. *...эскизы, которые набросал с него Жироде в театре Сен-Клу...* — Жироде Анна-Луи де Русси, известный под фамилией Триозон (1767—1824), — французский художник. Во дворце Сен-Клу 19 брюмера VIII года (1799) Наполеон объявил Совету пятисот об упразднении Директории и передаче власти трем консулам, что послужило началом военной диктатуры Наполеона.

Стр. 442. *«Афинская школа»* — фреска Рафаэля, украшающая один из залов Ватиканского дворца. Под аркой у входа в храм изображены величественные спокойные фигуры беседующих философов: Сократа, Платона, Аристотеля, Зенона и других.

Стр. 443. *Марк-Аврелий* — см. примеч. к стр. 136.

Стр. 444. *...муз, которых г-н Фортюль счел нужным разъединить.* — В первые годы Второй империи министр просвещения и ректор Парижского университета Фортюль потребовал, чтобы ученики старших классов коллежей специализировались на изучении либо точных, либо гуманитарных наук.

...после государственного переворота... — то есть после переворота 2 декабря 1851 г., уничтожившего республику.

Стр. 445. *Пуссен Никола* (1594—1665) — крупнейший художник французского классицизма; писал картины-пейзажи на античные сюжеты.

Стр. 446. *Фалес, Пифагор, ...Гиппарх, ...Вьетт, Галилей, ...Ферма, Гюйгенс, ...Лейбниц, Эйлер, Монж, Анри Пуанкаре* — имена ученых, работавших в области математики, астрономии и физики.

Стр. 448. *Деларош Поль-Ипполит* (1797—1856) — французский художник, автор огромной фрески на внутренней стороне купола Дворца искусств в Париже — «Собрание знаменитейших художников от средневековья до современности».

Стр. 451. *...после пяти лет ужасной войны...* — то ость первой мировой войны 1914—1918 гг.

Мурон Воробьиное Просо. — Слово Мурон (mouron) по-французски означает «воробьиное просо».

День Карла Великого. — Император Карл Великий (742—814) считался основателем первой светской школы во Франции. Все учебные заведения Франции отмечают «День Карла Великого» — 28 января.

Стр. 452. *Никторида* — египетская царица VI династии эпохи Древнего царства (третье тысячелетие до н. э.).

Жизнеописание Корнелия Непота — книга, приписывавшаяся римскому историку Корнелию Непоту (I в. до н. э.); содержала главным образом биографии полководцев.

Пунические войны (III—II вв. до н. э.) — войны между Римом и Карфагеном за господство в западной части Средиземного моря, закончились разрушением Карфагена.

Друиды — жрецы у древних кельтов (галлов).

...пчелами Аристея и золотыми яблоками в саду Гесперид. — Аристей (греч. миф.) — сын бога Аполлона, научивший людей разводить пчел. О нем рассказывает Вергилий в главе XIV поэмы «Георгики». По другому мифу, золотые яблоки, выращенные богиней земли Геей, росли в садах титана Атласа и охранялись его дочерьми Гесперидами.

...победителями при Саламине... — В 480 г. до н. э. греческий флот под командованием афинского военачальника Фемистокла одержал решительную победу над персами в битве у острова Саламин.

...вздыхал о бумажном зеленом венке... крестах... вышитых мундирах... — Бумажным венком награждались отличившиеся ученики; крест — орден Почетного легиона; вышитые мундиры — мундиры академиков.

Стр. 455. *Мнемозина* — богиня памяти, мать девяти муз (греч. миф.).

Стр. 458. *...на плафоне виллы Фарнезе...* — Вилла в Риме, принадлежавшая в XVI в. кардиналу Алессандро Фарнезе, знаменита фресками Рафаэля и его учеников.

Стр. 459. *...поклониться, что он лучше меня.* — Франс имеет в виду слова Руссо, которыми тот начинает свою книгу «Исповедь»: «Я обнажил всю свою душу и показал ее такую, какою ты видел ее сам, всемогущий. Собери вокруг меня неисчислимую толпу подобных мне... пусть каждый из них... раскроет

сердце свое и пусть потом хоть один из них, если осмелится, скажет тебе: «Я был лучше этого человека».

Стр. 460. *Голубки Афродиты*. — В древней Греции голуби были посвящены богине любви — Афродите.

Стр. 462—463. *...подвиги... Эпаминонда и генерала Гоша*. — Афинский полководец Эпаминонд (IV в. до н. э.) прославился своими победами над спартанцами. Лазарь Гош (1768—1793) — блестящий полководец французской республиканской армии времен буржуазной революции конца XVIII в.

...связался с группой «Молодая Франция»... — В 1833 г. поэт Т. Готье опубликовал книгу «Молодая Франция», где он иронически описывал нравы романтической литературной богемы.

Стр. 464. *Дювержье де Оран* Проспер (1798—1881) — французский публицист, литературный критик и историк, ярый противник романтизма.

Стр. 465. *Жозеф Прюдом* — сатирический персонаж, созданный писателем, художником и актером Анри Монье (1805—1877) в серии рисунков с подписанным под ними текстом (1830-е гг.) и в комедии «Величие и падение господина Прюдома»; самодовольный и ограниченный мещанин.

Это господа Фонтаны. — Фонтан Луи (1757—1821) — посредственный поэт-классицист, ректор Парижского университета при Наполеоне I; был известен своей ограниченностью.

Жером Патюро — персонаж сатирического романа Луи Рейбо «Жером Патюро ищет должность» (1842) — тип самодовольного невежды.

Стр. 466. *...цитатами из «Короля Ивето» и «Мельника из Сан-Суси»*. — «Король Ивето» — см. примеч. к стр. 416. «Мельник из Сан-Суси» — популярная сатирическая сказочка в стихах поэта Андрие о прусском короле Фридрихе II и о беззаботном мельнике.

Людовик Сварливый — то есть Людовик X; его короткое царствование (1314—1316) было отмечено несколькими жестокими казнями, усилением феодальной анархии и неудачным походом против Фландрии.

Стр. 467. *Людовик Святой* — французский король Людовик IX (1226—1270), известный своим участием в крестовых походах и реформами в области судебного законодательства Франции.

Стр. 471. *Драма переносила нас к последним годам царствования Карла VII*. — Речь идет о романтической драме

Александра Дюма-отца — «Карл VII и его великие вассалы» (1831), действие которой происходит в XV в. Маргарита Шотландская — первая жена наследника Карла VII — дофина Людовика, впоследствии французского короля Людовика XI.

Стр. 474. ...мы, чередуясь, вторили друг другу, как сицилийские пастухи. — То есть как пастухи из «сицилийских песен» («Буколик») Вергилия, построенных в форме стихотворных диалогов.

Велледа (I в.) — галльская жрица, персонаж из поэмы Шатобриана «Мученики». В 1839 г. скульптор Мендрон изваял мраморную статую Велледы, поставленную в Люксембургском саду.

Стр. 475. «Призыв осужденных» — многофигурное полотно художника Шарля Мюллера, изображающее тюрьму Сен-Лазар, где в ожидании казни находятся осужденные революционным трибуналом 1793 г.

Ари Шеффер (1795—1858) — французский художник, один из зачинателей романтического направления в живописи. В последний период творчества разрабатывал мистические сюжеты.

Стр. 476. *Перипатетики* — наименование, полученное учениками и последователями Аристотеля.

Стр. 477. *Берье* Никола (1755—1841) — французский адвокат, пользовавшийся в свое время большой известностью.

Стр. 479. *Эрсия* — центральная фигура на картине Давида «Сабинянки».

Стр. 482. ...как офицеры Альфреда де Виньи... — Имеется в виду книга французского писателя и поэта-романтика Альфреда де Виньи «Рабство и величие солдата» (1835). Франс посвятил творчеству Альфреда де Виньи свое первое значительное произведение — очерк «Альфред де Виньи» (1868).

Стр. 484. *Бероальд де Вервиль* Франсуа (род. в 1558 — ум. после 1623) — французский писатель, автор книги «Способ добиться успеха», написанной в духе вольной застольной беседы.

Стр. 485. ...о котором рассказывает нам старый Гомер. — Имеются в виду стихи из одиннадцатой песни «Одиссеи»:

Там киммериян печальная область, покрытая вечно
Влажным туманом и мглой облаков...

(Перевод В. Жуковского)

Стр. 486. *Клавье* Этьен (1762—1817) — известный в свое время эллинист.

Винкельман Иоганн-Иоахим (1717—1768) — немецкий искусствовед и археолог, автор «Истории античного искусства», имевшей большое научное значение и оказавшей влияние на эстетику классицизма XVIII в.

Стр. 487. *Триумф Павла Эмилия*. — Речь идет о Павле Эмилии Македонском — римском военачальнике и консуле (230—160 гг. до н. э.), который завоевал Македонию и Эпир. Сенат устроил ему грандиозный триумф, продолжавшийся три дня.

Стр. 488. *...дурацкий экзамен на бакалавра...* — Франс получил степень бакалавра через два года после окончания коллежа, в 1864 г. (то есть 20 лет от роду).

Стр. 490. *...сорок членов...* — Во Французской Академии постоянное число членов; выборы нового академика производятся лишь в случае смерти одного из сорока «бессмертных».

Стр. 491. *Блэз Паскаль* — см. примеч. к стр. 14.

Стр. 492. «*Борда*» — учебный корабль высшей морской школы, стоявший на рейде в Бресте.

Стр. 495. *Мирон* (середина V в. до н. э.) — древнегреческий скульптор, прославившийся изображением атлетов.

Стр. 497. *...из книги г-на Тьера «Консульство и Империя»*. — Тьер (см. примеч. к стр. 272) был автором ряда исторических работ, в том числе «Истории Консульства и Империи» (1854—1862), написанной с реакционных позиций. В статье «Тьер историк» Франс не без иронии писал, что популярность среди мещанства этой книги уступает только популярности «Трех мушкетеров» А. Дюма. Раздача Наполеоном воинских знамен полкам происходила 5 декабря 1804 г.

Стр. 499. *...покрытыми надписями...* — Стены библиотеки св. Женевьевы покрыты именами знаменитых писателей.

Стр. 501. *Клод Бернар* (1813—1873) — французский естествоиспытатель и физиолог, посвятивший свою жизнь научному экспериментированию. Автор книги «Введение в экспериментальную медицину» (1866).

...свод законов Юстиниана и Кодекс Наполеона. — Юстиниан — византийский император (527—565), по его приказанию был составлен свод римских гражданских законов. В 1804 г. Наполеон ввел Гражданский кодекс — свод законов, юридически закрепивший победу буржуазных отношений во Франции; кодекс Наполеона явился основой последующего французского законодательства.

Стр. 502. *...трехсот спартанцев на картине Давида.* — Имеется в виду картина «Леонид в Фермопилах», в центре которой изображен задумавшийся перед боем спартанский царь Леонид. В 480 г. до н. э. Леонид с тремястами спартанцами отстоял от персов Фермопильское ущелье, причем все его воины погибли в этом сражении.

Стр. 505. *Жером Патюро* — см. примеч. к стр. 465.

Стр. 506. *Седен* Мишель (1719—1797) — французский драматург, автор первой во Франции мещанской драмы «Философ сам того не зная» (1765).

Луи де Роншо (1816—1887) — французский поэт и историк искусства.

Стр. 507. *...своего курса литературы.* — Начиная с 1856 г. Ламаргин издавал отдельными выпусками «Общедоступный курс литературы».

Блан Шарль-Огюст (1813—1882) — французский историк искусства, руководил изданием «Истории художников всех школ» в четырнадцать томах (1850—1876).

Стр. 508. «*Саския*», «*Лавиния*», «*Мужчина с разорванной перчаткой*». — Саския — жена Рембрандта, позировавшая ему для многих картин и портретов; Лавиния — дочь итальянского художника Тициана. «Мужчина с перчаткой» — картина испанского художника Веласкеза.

Энгр Жан-Огюст (1780—1876) — французский художник, ученик Давида, стремившийся к строгой художественной форме; автор больших полотен исторического или мифологического содержания и многочисленных портретов.

Делакруа — см. примеч. к стр. 24.

...часовня ангелов в церкви св. Сульпиция. — Росписи Делакруа церкви св. Сульпиция Франс посвятил несколько страниц в романе «Восстание ангелов» (гл. V).

Стр. 509. «*Волишебная флейта*» — опера Моцарта (1791).

Стр. 510. *Сент-Эвремон* — см. примеч. к стр. 133.

Павел Орозий (V в.) — христианский историк и богослов, автор книги «История против язычников»; Боссюэ следует Орозию в своей концепции божественного промысла как основного двигателя исторического развития.

«*Дух законов*» и «*Опыт о нравах*». — «Дух законов» (1748) — трактат Монтескье и «Опыт о нравах и духе народов» (1756) — сочинение Вольтера — крупнейшие памятники исторической мысли французского Просвещения XVIII в.

...*Феокрита или Катулла*... — Феокрит (середина III в. до н. э.) — древнегреческий поэт, автор пастушеских идиллий; Катулл (80-е гг. I в. до н. э. — умер ок. 54 г.) — римский поэт-лирик.

Стр. 511. ...*поэзию Лафонтена, Вольтера и Парни*. — Лафонтен здесь упомянут как автор стихотворных «Сказок» на сюжеты средневековых фэбль и новелл Возрождения; Вольтер — как автор фривольной антиклерикальной поэмы «Орлеанская девственница». Парни Эварист-Дезире (1753—1814) — французский поэт, в творчестве которого большое место занимали эротические и эпикурейские мотивы.

Лаокоон — скульптурная группа, изображающая смерть троянского жреца Лаокоона и его сыновей, задушенных змеями (создана между III и I вв. до н. э.). В «Лаокооне» уже несколько нарушен гармонический идеал классического греческого искусства.

«*Родиться, жить и смерть найти все в том же доме!*» — Строка, принадлежащая французскому поэту-романтику Сент-Беву (1804—1869).

Стр. 513. *Готье Теофиль* (1811—1872) — французский поэт; увлекался коллекционированием предметов искусства.

Кватроченто — XV век (итал.). Этим термином принято обозначать один из периодов Возрождения.

Мантенья Андреа (1431—1506) — итальянский художник, писал в сурово-сдержанной манере.

Стр. 514. ...*безжалостно сожженный побежденными*. — 24 мая 1871 г. во время боев парижских коммунаров с контрреволюционными войсками версальцев сгорела большая часть дворца Тюильри.

Стр. 515. *Гвидо, Караччи, Спальолетто, Батони, Рафаэль Менгс*. — Гвидо Рени, Караччи — итальянские художники эпохи Возрождения; Спальолетто — прозвище испанского художника Хосе Рибейры (1588—1656), прожившего долгие годы в Италии; Помпео Баттони (1708—1787) — крупнейший художник итальянского классицизма; Рафаэль Менгс (1728—1779) — немецкий художник.

...*от безвкусыя Буше, Пьера и Фрагонара* — то есть от дворянского искусства XVIII в.

Стр. 516. *Г-жа де Ноай Анна-Елизавета* (1876—1933) — французская поэтесса и писательница, друг Анатоля Франса;

посвятила ему несколько стихотворений, выступила с речью по время торжественного празднования восьмидесятилетнего юбилея писателя в 1924 г.

Персье, Фонтен — см. примеч. к стр. 250.

...Брут, осуждающий своих сыновей, и Виргиний, закалывающий дочь... — Луций Юний Брут (VI в. до н. э.) — один из основателей римской республики. Узнав, что его сыновья пытаются восстановить власть низложенного царя, Брут, будучи консулом, приговорил их к смертной казни. Согласно преданию римлянин Виргиний заколол свою дочь Виргинию, чтобы спасти ее от насилия децемвира (законодателя, пользовавшегося чрезвычайной властью) Аппия Клавдия (449 г. до н. э.).

Курульные кресла — кресла из слоновой кости, на которых восседали римские консулы и другие представители власти при исполнении служебных обязанностей.

Стр. 517. *«Психея» Жерара* — или, точнее, «Амур, целующий Психею» — картина французского художника-классициста Франсуа Жерара (1770—1837), находящаяся в Лувре.

Стр. 518. *Герен, Жироде, барон Реньо, Эрсан* — французские художники первой половины XIX в., представители живописи стиля ампир.

Стр. 521. *Николь Пьер* (1625—1695) — один из виднейших деятелей янсенизма (см. примеч. к стр. 133), автор многотомных «Опытов о морали», в которых требовал воздержания от мирских соблазнов и нравственного самоусовершенствования.

Стр. 522. *...монолог нежной Заиры...* — монолог из трагедии Вольтера «Заира» (1732), направленной против религиозного фанатизма.

Стр. 523. *Разве тревожили нас бедствия Рима...* — Строки из поэмы «О природе вещей» древнеримского поэта Лукреция — см. примеч. к стр. 32.

Стр. 524. *...в Италии столкнулись интересы Франции и Австрии.* — В начале 1855 г. премьер-министр Пьемонтского королевства Кавур вступил в Восточную войну на стороне Англии и Франции. Это вызвало резкое обострение отношений Франции с Австрией, которая в этой войне сохраняла нейтралитет.

Стр. 528. *...подобно тростнику Лафонтена во всем обвинять природу.* — Имеется в виду басня Лафонтена «Дуб и тростник».

Стр. 529. *Фиванцы! Никому завидовать не стоит...* — строки из трагедии Расина «Фиваида, или Братья-враги» (1664).

Стр. 530. *Тиссандье, Надар* — французские воздухоплаватели второй половины XIX в. Тиссандье Гастон (1843—1899) создал в 1883 г. модель управляемого аэростата с электродвигателем. Турнашон Феликс, известный под именем Надара (1820—1910), в 1863 г. соорудил огромный воздушный шар «Гигант» и чуть не погиб при его испытании.

...*во времена Лиги Пьер Летуаль*. — В XVI в. во время религиозных войн во Франции герцогами Гизами, стремившимися захватить престол, была создана Католическая Лига против гугенотов. Пьер Летуаль (1546—1611) — французский историк, автор «Воспоминаний», где он пишет о религиозных войнах.

Стр. 531. *Госпожа де Мирбель* (1796—1849) — модная в период Реставрации портретистка.

Стр. 533. *Госпожа Жанлис* (1746—1830) — воспитательница детей герцога Орлеанского Филиппа Эгалите, автор нескольких нравоучительных романов и книги мемуаров.

Стр. 534. *Дезожье* Марк-Антуан-Мадлен (1772—1827) — поэт-песенник, автор многочисленных застольных песен.

Буше де Перт (Буше де Кревкер де Перт Жак, 1788—1868) — французский археолог, исследовавший стоянки первобытного человека.

Стр. 535. *Кювье* Жорж (1769—1832) — французский ученый-естествоиспытатель, отстаивал метафизическую теорию неизменности видов в природе, выдвинул учение о геологических катастрофах, якобы объясняющих развитие животного мира.

Стр. 537. *Потом он пел...* — Ниже излагается содержание шестой эклоги Вергилия. По одному из древнегреческих мифов, во время потопа, ниспосланного Зевсом на землю, спаслись лишь Девкалион и его жена Пирра; из камней, которые они бросали через голову, возникли новые люди. С именем старинного древнеримского божества Сатурна в античной мифологии было связано представление о Золотом веке. Птицы Кавказа — имеется в виду орел, клевавший печень Прометея, прикованного по повелению Зевса к Кавказской скале.

Стр. 542. *Матушка Жигонь* — традиционный комический персонаж французского марионеточного театра, толстуха, окруженная своими многочисленными детьми.

Монтеглон Анатоль (1824—1895) — французский филолог, занимался изучением средневековой литературы.

Стр. 543. ...*с мистическим животворным яйцом Орфея и яйцом Озириса*. — В древней Греции в VI в. до н. э. возникла

религиозно-мистическая секта орфиков, считавшая своим основателем мифического поэта-певца Орфея. По космогонии орфиков, в начале мира существовало огромное мировое яйцо, в котором были заключены начала всех вещей. Вера в первоначальное мировое яйцо существовала также и в египетской мифологии.

Стр. 544. ...*вопреки строгим правилам Буало...* — Имеются в виду строки из «Поэтического искусства» Буало:

Природе вы должны быть верными во всем,
Не оскорбляя нас нелепым шутовством.

Стр. 547. *Вейо* Луи-Франсуа (1813—1883) — французский реакционный публицист, рьяный защитник церковных прав и привилегий.

Лузиньян — персонаж трагедии Вольтера «Заира», участник крестовых походов, потомок христианских королей Кипра.

Стр. 548. *Императрица Евгения* — см. примеч. к стр. 384.

Октав Фейе (1821—1890) — французский писатель, автор многочисленных сентиментально-психологических романов из светской жизни. Франс посвятил ему две статьи («Литературная жизнь», серия 2 и 3).

Стр. 549. *Мирель* — героиня одноименной поэмы провансальского поэта Ф. Мистрала (1830—1914); разлученная родителями со своим возлюбленным, Мирель умирает от горя.

«*Новая жизнь*» — книга лирических стихотворений Данте, рассказывающая историю его любви к Беатриче. Любовь трактуется поэтом в религиозно-мистическом духе.

Стр. 550. *Воспитанный на учении сен-симонистов...* — Последователи социалиста-утописта Сен-Симона (1760—1825), сенсимонисты верили в возможность примирения классов, видели путь к переустройству общества в нравственной проповеди и мечтали о всемирной ассоциации трудящихся.

Дворец Саргона — дворец, построенный ассирийским царем Саргоном II (VIII в. до н. э.); в середине XIX в. были обнаружены его развалины.

Стр. 551. *Арес Лудовизи* — статуя древнегреческого бога войны Ареса, хранившаяся в Риме, в вилле кардинала Лудовизи (XVII в.), где была собрана большая коллекция античной скульптуры.

Стр. 552. *Эрос и Антэрос* — в греческой мифологии божества любви и взаимной любви, их нередко изображали на мо-

гильных памятниках: Эроса с опущенным и потухшим факелом, Антэроса — с поднятым и горящим; это символизировало вечную любовь к умершему.

Зобеида — жена калифа Гарун аль-Рашида из сказок «Тысячи и одной ночи».

Стр. 557. *Он выражал свою страсть не в яблоках, локонах, розах...* — строка из поэмы «Киклоп» Феокрита.

Стр. 558. *Фульд, Перейр* — крупные финансисты, по происхождению евреи. Ашиль Фульд был министром финансов при Наполеоне III; Жакоб Перейр — банкир, основавший в 50—60-х годах несколько крупных акционерных компаний во Франции.

Стр. 559. *Тургенев, чета Виардо...* — И. С. Тургенев в 60—80-х годах много жил за границей, главным образом во Франции. Луи Виардо (1800—1883) — искусствовед и литератор, перевел на французский язык ряд произведений Пушкина, Голяя, Тургенева. Полина Виардо (1821—1910) — жена Луи Виардо, известная певица, ближайший друг И. С. Тургенева.

Стр. 560. *Паоло Учелло* (настоящее имя Паоло ди Доно, ок. 1396—1475) — флорентинский художник.

Стр. 563. «*Пир*» — трактат древнегреческого философа Платона, написанный в форме диалога (427—347 гг. до н. э.). Одна из тем «Пира» — спор о сущности и характере любви.

...подвиг же Алкесты... — Алкеста, героиня одноименной трагедии Еврипида, добровольно пожертвовала жизнью, чтобы спасти от смерти мужа.

Не так почтили они Орфея... — Орфей спустился в подземное царство, чтобы вернуть оттуда свою умершую жену Эвридику.

Стр. 567. *Гераклит Эфесский* (ок. 540—480 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-материалист и диалектик.

Трилогия Софокла — трагедии «Царь Эдип», «Эдип в Колоне» и «Антигона».

Элевсинские мистерии — празднества в честь древнегреческой богини земного плодородия Деметры и ее дочери Персефоны, похищенной богом подземного мира Аидом, который сделал ее своей женой. По велению Зевса Персефона проводила полгода на земле и полгода в подземном мире. В основе

элевсинских мистерий (центр их — город Элевсин) лежало представление о вечном возрождении природы.

...когда Август запер двери храма Януса... — Двудесятый Янус почитался в Риме как божество входа и выхода, начала и конца. В Риме был обычай в начале войны открывать двери храма Януса и держать их открытыми до наступления мира. Император Август писал в § 13 своих «Деяний»: «Храм Януса Квирина... который за все время от основания города до начала моей жизни запирался лишь дважды, в мой принципат по постановлению сената был заперт три раза».

Стр. 570. *Госпожа Рекамье* Жюли (1777—1849) — жена банкира, хозяйка монархического салона, высланная Наполеоном из Франции; вернулась в Париж после реставрации Бурбонов и поселилась при монастыре «Лесное Аббатство». Здесь в ее салоне собирались писатели реакционного романтизма, в том числе ее близкий друг Шатобриан.

...сотрудничаю в большом словаре древностей... — В 1868 г. Анатолий Франс сотрудничал в «Словаре греческих и римских древностей».

Стр. 572. *Молитвенные мельницы* — устройство в виде полого вертящегося цилиндра, внутрь которого помещены тексты молитв; верчение такой мельницы заменяет у буддистов Тибета чтение молитвы.

Стр. 574. «*Алхимик*» Бен-Джонсона — комедия английского драматурга Бен-Джонсона (1573—1637).

Первый вариант «Фауста» Гете — набросок трагедии «Фауст», созданный в 1774—1775 гг.; значительно отличается от окончательного текста первой части, опубликованной в 1808 г.

Мариво Пьер (1688—1763) — французский драматург, автор многочисленных комедий.

«*Лизистрата*» — комедия древнегреческого поэта Аристофана (V в. до н. э.)

Стр. 575. *Жанна Лефюель*. — В рассказе о Жанне Лефюель нашло отражение увлечение молодого Франса актрисой Элизой Девойд, которой он посвятил цикл своих лирических произведений 1865—1866 гг. При жизни Франса они не были опубликованы.

Казанова (1725—1798) — итальянский авантюрист, автор скандальных «Мемуаров», где он рассказывает о своих многочисленных любовных похождениях.

Стр. 576. *Домье* — см. примеч. к стр. 351.

«*Ревю де Дё Монд*» — литературный и общественно-политический журнал официального направления, очень влиятельный в годы Второй империи.

Стр. 577. ...*Пирр... Андромаха*. — Речь идет о трагедии Расина «Андромаха» (1666).

Стр. 578—579. ...*как Одиссей в стране киммерийцев... мы вызывали тени умерших...* — В одиннадцатой песне «Одиссеи» — Одиссей, прибыв в страну киммерийцев, вызывает из подземного мира тени умерших. Некия — жертвоприношение богу подземного царства мертвых.

Стр. 579—580. *Вот в чем задача, вот в чем труд...* — стих из «Энеиды» Вергилия (песнь VI).

Стр. 583. ...*все наши воспоминания и записки являются записками замогильными* — намек на книгу воспоминаний Шатобриана «Замогильные записки» (1848)..

Стр. 584. *Люсьен Декав* (1861—1949) — французский писатель и драматург, одно время был близок к натуралистам.

НОВЕЛЛЫ

Новеллы, включенные в данный том, написаны Франсом в разные годы и различны по своему характеру.

Новелла «Маргарита» была напечатана в первый раз в журнале «Les Lettres et les Arts» в декабре 1886 г. и вторично издана лишь в 1920 г. отдельной книжечкой. По сюжету и по тону повествования «Маргарита» имеет много общего с романом «Преступление Сильвестра Бонара» (1881); точная дата написания новеллы неизвестна, но вполне вероятно, что она создавалась одновременно с этим романом. Оба произведения сближает их глубокая поэтичность, любовь к человеку, сочетание лирической темы с социальной критикой; и в новелле и в романе мечта о счастье олицетворяется в образе синей птицы из старинной французской сказки.

В новелле занимает большое место осмеяние чиновничьего бюрократизма Третьей республики, казенщины и бездушия министерских канцелярий, уродующих душу человека, лишаящих его собственного «я», отнимающих у него возможность думать и чувствовать. Герой новеллы, рядовой французский чиновник, трагически ощущает оскудение и опошление жизни в буржуаз-

ном обществе конца XIX в. Новелла «Маргарита» создавалась в тот ранний период творчества писателя, когда он не отказался еще от пассивно-созерцательного отношения к жизни; таково же настроение героя новеллы, который спасается от тупости и грязи действительности в мире своей мечты, — мечты о счастье, о красоте, о больших чувствах.

В том же 1886 г. во втором номере журнала «Revue Indépendante» была напечатана новелла «Граф Морен», переизданная затем в 1921 г. Один из эпизодов «Графа Морена» очень близко повторяет основную сюжетную ситуацию новеллы «Маргарита»; и здесь герой встречает больную девочку и искренне старается ей помочь. Но в новелле «Граф Морен» этот эпизод играет второстепенную роль и решен автором совершенно по-иному, в более реалистической манере. Франс совершенно отказывается здесь от того романтически-мечтательного тона, который был характерен для «Маргариты»; в новелле «Граф Морен» главное — сатирическое изображение действительности. Здесь впервые в творчестве Франса появляется тема разоблачения фальшивой буржуазной демократии, продажности буржуазной прессы. Действие новеллы отнесено к 1868 г., но в ней нашли отражение наблюдения Франса над политической жизнью Третьей республики. Позднее, в 1892 г. он писал: «Я близко наблюдал парламентских деятелей в течение ряда лет. За исключением немногих достойных людей они представляют собой самую серую посредственность. Бездарность их равняется только их могуществу...» Писатель создает сатирический образ биржевого спекулянта Веле, добывающегося депутатского мандата наглой демагогической ложью, подкупом и обманом. Один из эпизодов новеллы, рисующий нравы буржуазной прессы, Франс опубликовал в 1892 г. в газете «Temps» под названием «Госпожа Планшоне», а в 1899 г. включил в книгу «Пьер Нозьер».

В новелле появляется и образ преуспевающего буржуазного «героя» Фонтанэ, причем в 1886 г. он дан совершенно в том же плане, что и более развернутый образ Фонтанэ из книги «Жизнь в цвету» (1922). Новелла «Граф Морен, депутат» свидетельствует об укреплении и развитии реалистических тенденций в творчестве Франса 80-х годов.

Новеллы «Пасха, или Освобождение» (впервые опубликована в парижском издании газеты «New-York Herald» 18 апреля 1897 г.) и «Чудо со скупым» (напечатана в той

же газете 5 апреля 1905 г.) весьма близки друг к другу и примыкают к многочисленной группе рассказов Франса, являющихся стилизацией христианских легенд и житий святых.

В новелле «Пасха, или Освобождение» Франс еще раз обращается к характерной для него теме — к осуждению богатства католической церкви, противоречащего догматам раннего христианства. Он разоблачает политические интриги епископов, их властолюбие и жестокость. Наивный искренний брат Жан очень близок к брату Джованни, герою новеллы «Трагедия человека» из сборника «Колодезь св. Клары» (1895).

Ирония по отношению к религиозным чудесам и таинствам, придающая своеобразный колорит «благочестивым» рассказам Франса, нашла яркое выражение в новелле «Чудо со скупым». Религиозное обращение скупого, его отказ от преследования немощных должников происходит не под воздействием проповедей «святого» монаха Антонио, а в результате ловкой проделки служанки Барбары и аптекаря Дзеноне.

Тема природы занимает в произведениях Франса сравнительно небольшое место, но писатель глубоко ощущал и понимал красоту родной ему французской природы и посвятил ей прочувствованные поэтические строки. Отрывок «Земля» — это своего рода стихотворение в прозе, славящее величие, красоту матери-земли, своеобразную прелесть земли Франции. «Земля» впервые была напечатана в «Almanach du bibliophile rouge l'année, 1902», вышедшем в 1904 г. в издательстве Пеллетана.

В следующем выпуске того же альманаха, в 1905 г., Франс опубликовал историческую новеллу «Штурм», рассказывающую о неудачной попытке герцога Савойского при поддержке испанского короля Филиппа III захватить в 1602 г. город Женеву. Новелла была предназначена для задуманного писателем сборника «Исторические рассказы». В 1911 г. Франс полностью составил этот сборник, но так как в него должны были войти новеллы, по большей части уже опубликованные ранее, писатель решил его не издавать (сохранилась только первая корректура). В новелле «Штурм» Франс, как обычно, подробно выписывает детали исторического события. Он восхищается героизмом защитников цитадели веротерпимости — Женевы и с резким осуждением говорит о завоевателях, выделив весьма неблагоприятную роль отца-иезуита, обманывающего солдат

обещанием вечного блаженства за победу над «вероотступниками» — женевицами. Новелла «Штурм» — звено в большой цепи антимилитаристических и антиклерикальных произведений Франса.

Диалог «Беседа в аду» был впервые напечатан в 1907 г. в качестве своеобразного предисловия к комедии Мольера «Мизантроп», в 1908 г. диалог был перепечатан в январском номере журнала «Illustration» и в том же 1908 г. инсценирован на одном из собраний в «Издательстве искусств», руководимом другом Франса Эдуардом Пеллетаном (который и был издателем «Мизантропа»). Мольер относится к числу тех писателей, творчество которых Франс ценил особенно высоко. Он посвятил Мольеру специальный очерк, включенный им затем в книгу «Латинский гений». Среди произведений Мольера Франса особенно интересовала комедия «Мизантроп», и он по-своему толковал образ героя комедии Альцеста. Об этом свидетельствовал, в частности, друг писателя Поль Гзелль в своей книге «Мои беседы с Анатолем Франсом». Франс утверждал, что Альцест — комический персонаж, что комизм его образа обусловлен противоречивостью его характера и поведения, что, по замыслу Мольера, Альцест — это молодой человек и «поэтому особенно смешно, когда он читает поучения. Актеры извращают роль, делая Альцеста сорокалетним; нужно показывать комичного брюзжащего юнца, а не старого ворчуна». Вопрос о комизме образа Альцеста составляет основное содержание «Беседы в аду». Франс выделяет лишь одну сторону этого образа: он подчеркивает комическое несоответствие между силой гнева Альцеста и ничтожеством вызывающих его причин; в мизантропии Альцеста писатель видит только проявление самомнения и эгоизма, но ничего не говорит об Альцесте как об искреннем искателе правды и обличителе несправливости и фальши дворянского общества.

Иррациональные явления часто служили сюжетом для Франса-новеллиста. Его новеллы на эту тему всегда в той или иной степени ироничны. Новелла «Величайшее открытие нашего века» (1910) как бы подводит итог развенчанию писателем сверхъестественного. Его ирония переходит здесь в саркастическое осмеяние самовлюбленного доктора Бода и его необычайных методов гипнотического лечения. Новелла — яркий образец реалистического мастерства Франса. Блестяще владея искусством описания, тонкой характеристикой,

используя сочные живописные детали, он нарисовал запоминающиеся картины провинциальных нравов и жизни парижской богемы.

Новелла «Величайшее открытие нашего века» была обещана Франсом венгерскому журналу «Возрождение». В 1910 г. венгерская писательница г-жа Дьердь Беллони (писавшая под псевдонимом Сандор Кемери) получила от Франса письмо с просьбой перевести эту новеллу на венгерский язык. Однако, когда перевод был закончен, журнала «Возрождение» уже не существовало, и новелла осталась ненапечатанной. Впервые она была опубликована лишь в 1935 г. в 25-м томе Полного собрания сочинений Анатоля Франса (издание Кальман—Леви).

Маргарита

Стр. 589. *Бурбонский дворец* — место заседаний палаты депутатов.

Стр. 591. *Кони Марли* — две скульптурные группы работы Кусту, поставленные в начале проспекта Елисейских полей; ранее стояли во дворце Марли.

Стр. 592. *Эпинальские картинки* — лубочные картинки, издававшиеся в городе Эпиналь.

Синяя птица. — Речь идет об одноименной сказке писательницы г-жи д'Онуа (XVII в.) Синяя птица — символ верной любви и мечты о счастье.

Стр. 593. *Хосе-Мария де Эредиа* (1842—1906) — французский поэт из группы «Литературный Парнас», автор книги сонетов «Трофеи» (1893).

Стр. 597. *Боливар* — широкополая шляпа, названная по имени политического деятеля Латинской Америки Боливара (1783—1830).

Граф Морен

Стр. 613. *Генерал Песет* Хуан-Антонио (1810—1876) — участник освободительной войны Перу против Испании, президент Перуанской республики с 1864 по 1868 г.

Генерал Шерман Уильям (1820—1891) — военачальник армии северян во время гражданской войны США 1861—1865 гг.

Лянгевич Мариан (1827—1887) — польский политический деятель, один из организаторов польского восстания 1863 г.

Пасха, или Освобождение

Стр. 630. ...от одного из двух пап... — Речь идет о так называемом «великом расколе» в католической церкви 1378—1415 гг., когда было одновременно два папы — один в Риме, другой в Авиньоне. Каждый из них объявлял другого антихристом и отлучал от церкви.

Стр. 632. ...когда Симон Петр владел лишь своей лодкой... — см. примеч. к стр. 126.

Стр. 634. ...того, чья голова покоилась на груди учителя. — Согласно евангелию во время Тайной вечери один из учеников Христа, апостол Иоанн, припал на грудь учителя.

Земля

Стр. 637. *Гесиод* — см. примеч. к стр. 279. «Груды и дни» — поэма о земледелии.

Чудо со скупым

Стр. 640. *Диоскорид* (I в.) — древнегреческий врач и ботаник, автор трактата «О лечебных травах», очень популярного в эпоху Возрождения.

Гален Клавдий (ок. 130—200 гг.) — римский врач, анатом и физиолог, сыгравший большую роль в развитии медицины.

Эреб (греч. миф.) — сын Хаоса и Ночи, воплощение мрака.

Стр. 644. *Доктрины катаров и патаренов* — средневековые религиозные ереси (XI—XIII вв.).

Штурм

Стр. 653. *Матьё Парис* (XIII в.) — французский историк, автор ряда исторических хроник.

Стр. 654. ...подобно карфагенянам, предпочли бы погибнуть... — В конце Третьей Пунической войны Карфаген после длительной осады и упорного сопротивления был полностью разрушен римлянами (146 г. до н. э.).

...старый лигер, покинувший Францию после вступления на престол короля Генриха. — То есть католик, член Католической лиги. Вступление на престол Генриха IV Бурбона в 1594 г. положило конец религиозным войнам во Франции.

Диалог в аду

Стр. 661. *Менипп* (IV в. до н. э.) — древнегреческий философ и поэт, автор многочисленных не дошедших до нас сатир. Анатолий Франс сделал Мениппа участником своих «Новых диалогов мертвых» (1890).

...прообраз его «Мизантропа». — Одним из прообразов героя комедии Мольера «Мизантроп» (1666) — Альцеста — считался Шарль де Сен-Мор, герцог де Монтозье, известный также как поэт.

Депрео — то есть поэт Никола Буало-Депрео.

Стр. 663. *Истинный гассендист...* — Материалистическая философия Гассенди оказала большое влияние на мировоззрение Мольера.

Стр. 665. *Сганарель, Созий* — типы слуг в комедиях Мольера «Дон Жуан» и «Амфитрион».

Одно из величайших открытий нашего века

Стр. 672. *Пювис де Шаван* (1824—1898) — французский художник, создатель своеобразно стилизованных декоративных панно.

Стр. 676. ...в дни буланжизма... — то есть в 1887—1889 гг., когда генерал Буланже возглавил реакционно-шовинистическое движение во Франции и пытался совершить государственный переворот.

Шарко Жан-Мартен (1825—1893) — французский врач, занимался главным образом клиническим исследованием нервных болезней, один из основоположников психиатрии.

РАБЛЕ

Франсуа Рабле был одним из любимейших писателей А. Франса. В специальном очерке об авторе «Гаргантюа» (1889) и в ряде других статей из серии «Литературная жизнь» Франс не раз писал о своем восхищении великим гуманистом и сатириком. Франс был членом «Общества изучения Рабле» и принимал активное участие в его работе; в течение ряда лет он собирал материал для большой книги о Рабле, которую, однако, ему так и не удалось написать. В своем творчестве Франс выступил как один из литературных наследников Рабле. В тра-

диции Рабле написан сатирический рассказ о трублионах («Современная история»), «Комедия о человеке, который женился на немой» (1908), многие страницы «Острова пингвинов» (1908) и «Восстания ангелов» (1912), в духе Рабле задуман был и роман «Циклоп», оставшийся неосуществленным. Интерес к Рабле особенно обостряется у Франса в предвоенные годы, в годы работы над философско-сатирическими романами. Поэтому, когда в 1909 г. А. Франсу предложили прочитать курс публичных лекций в Аргентине, в поисках темы он остановился на Рабле. Зимой 1909 г. писатель много работает над подготовкой этих лекций, изучает литературу о Рабле, произведения писателей французского Возрождения. Текст лекций был написан Франсом частично в Париже, частично в пути во время переезда через океан.

А. Франс отбыл из Франции 30 апреля 1909 г., а 22 мая его восторженно встречали в Буэнос-Айресе. 1 июня в помещении театра «Одеон» он прочитал первую из своих пяти лекций. Однако, несмотря на содержательность и блестящую форму, лекции Франса не пользовались в Буэнос-Айресе большим успехом. Слушатели слишком мало были знакомы с Рабле и литературой французского Возрождения, чтобы оценить все тонкости и детали, которыми изобиловали лекции А. Франса. Да и само имя Рабле отпугивало многих благонамеренных католиков. При жизни Франса его лекции о Рабле не были опубликованы; они были впервые напечатаны в томе XVII его Полного собрания сочинений в 1928 г. (издание Кальман—Леви).

Лекции Франса о Рабле преследовали прежде всего популяризаторскую цель, поэтому они построены как обстоятельный рассказ о жизни Рабле, перемежающийся изложением сюжета и анализом каждой из пяти книг его романа.

Франс показывает разносторонность гуманистических интересов Рабле, его взаимосвязи с наиболее выдающимися людьми эпохи, привлекает к изложению много трактатов и других сочинений XVI в., письма Рабле и его друзей. Писатель увлеченно воспроизводит красочные детали, многочисленные факты, характеризующие блестящий период развития мысли и искусств во Франции. При этом он не раскрывает социально-исторический процесс периода Возрождения, а стремится лишь создать у слушателей живое, яркое представление об общем колорите этой эпохи.

Пересказывая роман «Гаргантюа и Пантагрюэль», Франс

много цитирует, останавливается на подробностях, стараясь сохранить и донести до аудитории неповторимое своеобразие книги Рабле, сочетающей шутовство и буффонаду с глубоким философским и сатирическим содержанием. Франс не раз подчеркивает в своих лекциях, что шутовство Рабле было лишь приемом в борьбе с реакцией. Ту же мысль высказывал он и в разговорах с П. Гзеллем: «Так как лучше говорить, нежели молчать, то мудрецы часто прикидываются безумцами, чтобы им не зажали рот. Они скачут, трясут своим шутовским колпаком и гремят погремушкой, выкрикивая самые разумные нелепости. Им позволяют плясать, потому что их принимают за шутов. Не надо сердиться на них за эту военную хитрость». В своих сатирических романах Франс, как известно, широко использовал подобный прием шутовской сатиры.

Подробно останавливаясь на многочисленных источниках книги Рабле, Франс охотно указывает на заимствования из Лукиана, Плутарха и других писателей, каждый раз, однако, подчеркивая, что эти тонкие заимствованные струйки «поглощаются бурным потоком вдохновения Рабле»; он в принципе считает заимствования в художественном творчестве необходимыми и неизбежными. Еще раньше, в 1891 г., в двух статьях под несколько вызывающим названием «Апология плагиата» (цикл «Литературная жизнь») Франс, развивая тот же тезис, писал, что оригинальность произведения обуславливается не новой темой, а новой ее трактовкой, новым содержанием, вложенным в нее.

Франс прослеживает влияние Рабле на последующее развитие французской литературы, указывает на раблезианскую традицию в творчестве Мольера, Лафонтена, Расина.

В анализе романа Рабле Франс избегает каких-либо категорических оценок. Его лекции написаны в духе той же свободной импрессионистической манеры, что и другие литературно-критические работы писателя. Франс и здесь берет на себя роль «любезного провожатого», который ведет читателя по страницам избранной им книги, указывая на ее лучшие места.

Читателя не может не удивить то обстоятельство, что А. Франс, известный своими постоянными сатирическими выпадами против христианства и католической церкви, почти что совершенно не касается антиклерикальной темы у Рабле, хотя для этого у него материала более чем достаточно. Это объясняется прежде всего тем, что Франс читал свои лекции в стране,

где католицизм пользовался очень большим влиянием. Писатель не хотел отпугнуть своих слушателей. Обращаясь к ним, Франс говорит: «Я нарушил бы священные законы гостеприимства, если бы выказал малейшее неуважение к вашей совести, убеждениям, вере, к вашему внутреннему миру». Рабле-сатирик далеко не полностью раскрыт в лекциях Франса. И все же они вызвали недовольство католического духовенства. Аргентинский епископ не замедлил обнародовать грозное послание к верующим, в котором обрушивался на Франса, упрекая французского писателя в том, что тот переплыл океан лишь для того, чтобы проповедовать безбожие.

Хотя в лекциях Франса затронуты далеко не все проблемы, связанные с изучением творчества Рабле, хотя решение некоторых вопросов спорно, а порою и ошибочно, все же они представляют большой интерес как по обилию фактического материала, так и по яркому раскрытию художественного своеобразия и гуманизма книги Рабле. В лекциях Франса сочетаются прекрасное знание эпохи, большая эрудиция, глубокая любовь к Рабле и блестящее мастерство рассказчика.

Стр. 688. *Нозль* — песня, прославляющая рождение Христа.

Стр. 689. *Фарс о Патлене* — «Адвокат Патлен», французский фарс середины XV в. Образ пройдохи Патлена приобрел во Франции большую популярность, отсюда выражение «пателинаж» — хитрость, обман.

Стр. 691. *Король Ренэ*. — Речь идет о графе Прованском Ренэ (1409—1480), носившем также титул короля Сицилии и Неаполя.

...*обет невежества*... — В средние века многочисленные так называемые «нищенствующие» монашеские ордена считали, что занятие наукой — богопротивное дело, требовали от постригающихся в монастырь обета невежества.

Стр. 693. ...*взглянуть на несказанную красоту этой девушки*. — См. примеч. к стр. 129.

Стр. 694. *Книгопечатня, изобретенная... в середине XV века*... — Имеется в виду изобретение Иоганном Гуттенбергом (1396—1468) набора из подвижных букв, что положило начало широкому распространению книгопечатания.

Стр. 695. *Эразм Роттердамский* (1466—1536) — выдающийся нидерландский гуманист, автор сатиры «Похвала глупости»,

оказал большое влияние на развитие гуманизма во многих странах Европы.

Стр. 696. *Анри Этьен* (1531—1598) — французский гуманист, эллинист и книгопечатник, автор многотомного словаря древнегреческого языка.

Пандекты, или Дигесты — многотомный свод римских законов и сочинений виднейших римских юристов, составленный в 533 г. по поручению императора Юстиниана («Кодекс Юстиниана»).

Папиниан Эмилий — влиятельный римский юрист II в. н. э., автор многочисленных работ по вопросам права.

Гильом Бюде (1468—1540) — французский гуманист, автор многочисленных сочинений, в том числе двухтомных «Замечаний к Пандектам». Организатор «Коллежа королевских лекторов» (впоследствии — «Французский коллеж»).

Стр. 698. «*Пятнадцать радостей брачной жизни*» (ок. 1440) — сатира на женщин, рассказывающая о многочисленных невзгодах брачной жизни; приписывается Антуану де Ла Салю.

Стр. 699. *Лукиан* (род. ок. 125 — ум. ок. 200 г.) — древнегреческий писатель-сатирик, в своих диалогах высмеивал религию и нравы современного ему общества; оказал большое влияние на творчество многих писателей-сатириков нового времени (Рабле, Деперье, Вольтер).

Стр. 700. *Мелеагр* — древнегреческий поэт (II в. до н. э.).

Эпиграмма. — Здесь этот термин употреблен в том значении, которое он имел в античной поэзии; эпиграммой называлось короткое стихотворение — первоначально надпись на фронте храма, могильной плите или памятнике.

Стр. 705. *Маргарита Ангулемская* (1492—1549) — королева Наваррская, сестра короля Франциска I, покровительствовала гуманистам. Автор книги новелл «Гептамерон» и религиозно-философских стихотворений.

...в борьбе против Карла V... — В 1519 г. испанский король Карл I был избран под именем Карла V императором так называемой Священной Римской империи Германской нации. В течение более чем двадцати лет (1521—1544) Франциск I вел борьбу с Карлом V за овладение Италией.

Стр. 707. *Теренций* Публий Афр (ок. 194—159 гг. до н. э.) — римский драматург, автор комедий. В отличие от Плавта Теренций избегал буффонады и грубых шуток.

Мольер... многое заимствовал из пересказа Рабле. — К этому

следует добавить, что сам Анатолий Франс написал в 1908 г. на основании того же пересказа «Комедию о человеке, который женился на немой».

Стр. 708. *Гиппократ* (460—377 гг. до н. э.) — знаменитый врач античной Греции. До конца XVII в. его сочинения пользовались большим авторитетом, так же как сочинения Галена. Рабле написал комментарии к «Афоризмам» Гиппократа.

Андре Везаль (1511—1564) — нидерландский врач. Несмотря на запрещение церкви, занимался анатомическим исследованием трупов; суд инквизиции приговорил его к смертной казни, замененной по распоряжению короля Филиппа II папством в Иерусалим.

Этьен Доле (1509—1546) — французский типограф, гуманист, крупный филолог; отличался свободомыслием, с большой смелостью атаковал Сорбонну. Обвиненный в отрицании бессмертия души был сожжен в Париже на площади Мобер, где потом ему воздвигли памятник.

Стр. 710. *Поджо Браччолини* (1380—1459) — итальянский писатель-гуманист; открыл и опубликовал много неизвестных до тех пор рукописей античных писателей.

Стр. 711. *Иосиф Флавий* — см. примеч. к стр. 32.

Стр. 712. *Ромул и Фарамон*. — Ромул — см. примеч. к стр. 119. Фарамон — согласно легенде вождь франков, основатель Мерovingской династии.

Стр. 713. «*Сатирикон*» *Петрония*. — «Сатирикон» — римский сатирический роман, отличающийся крайней откровенностью отдельных сцен и описаний; приписывается Петронию, приближенному императора Нерона (I в.).

«*Великий пройдоха*» *Франсиско де Кеведо* — или точнее «История Жизни пройдохи по имени Паблос из Сеговии, образца бродяг и зеркала мошенников» — плутовской роман испанского писателя-сатирика Кеведо (1580—1645).

Марти-Лаво Шарль (1823—1899) — французский филолог, руководил комментированным изданием Рабле (1868—1903).

Стр. 718. *Сен-Симон Луи де Рувруа* (1675—1755), герцог — автор «Мемуаров» о дворе Людовика XIV, регента Филиппа Орлеанского и Людовика XV. Герцог Беррийский — внук Людовика XIV, наследник престола (дофин). Умер в 1713 г.

Стр. 721. *Плиний, Элиан, Аристотель, Афиней* — ученые-естествоиспытатели античности.

Диоскорид — см. примеч. к стр. 640.

Стр. 722. *Франсуа Гизо* (1787—1874) — французский политический деятель и историк. В годы Июльской монархии министр иностранных дел и премьер-министр.

Стр. 723. *Локк и Руссо* — философы, занимавшиеся также и вопросами педагогики. Локк Джон (1632—1704) — английский философ, во многом близкий к материализму; в книге «Мысли о воспитании» отстаивал принцип наглядности и конкретности обучения. Руссо в педагогическом романе «Эмиль, или О воспитании» (1762) утверждал, что воспитание должно носить трудовой характер, способствовать развитию инициативы и мышления учеников и что умственное воспитание должно сочетаться с физическим.

Боссюэ — см. примеч. к стр. 32.

Фенелон — см. примеч. к стр. 316.

Стр. 727. *Телемак* — см. примеч. к стр. 316.

Стр. 728. *Геркулесовы столпы*. — По греческому мифу, герой Геракл (Геркулес) на память о своем путешествии в Африку воздвиг Геркулесовы столпы (так в древности называли скалы, окаймляющие Гибралтарский пролив).

Барбаросса Фридрих (1152—1190) — германский император из династии Гогенштауфенов, вел многолетнюю борьбу с папой римским, так как стремился завладеть Италией.

Стр. 731. *Плутарх* (46 — умер после 120 г. н. э.) — греческий писатель, автор книги «Параллельные жизнеописания», содержащей биографии выдающихся деятелей античности.

Жак Амио (1513—1593) — французский гуманист, переводчик греческих авторов. Особенно известен был его перевод Плутарха.

Стр. 735. «*Налой*» — героико-комическая поэма Буало (1683); в торжественном стиле в ней повествуется о ничтожной ссоре двух прелатов из-за церковного налога.

...*просто Телемским аббатством*... — название Телемского аббатства происходит от греческого слова θέλημα — желание, так как девизом аббатства было «Делай, что хочешь».

Стр. 736. *Витрувий* — см. примеч. к стр. 130.

Фаланстера — см. примеч. к стр. 379.

Стр. 738. *Лютеция* — латинское название города, находившегося в древности на месте теперешнего Парижа, в переносном смысле — Париж.

Стр. 739. *Его мольба была услышана*. — Поэт Андре Шенье был гильотинирован в 1794 г. за связь с контрреволюционерами.

Стр. 740. *«Взгляни — и мимо!»* — В поэме Данте «Божественная комедия» эти слова говорит поэту Вергилий, указывая ему на души ничтожных людей, не имевших при жизни своего мнения и не принадлежавших ни к какой партии, а после смерти томящихся в преддверии ада.

Стр. 741. *Квинтилиан* Марк Фабий (ок. 35—95) — римский оратор, автор книги «Наставление в ораторском искусстве».

Стр. 743. *Эней и Ахат* — персонажи поэмы Вергилия «Энеида», верные друзья.

Пико де ла Мирандола (1463—1494) — итальянский гуманист, отличавшийся большой эрудицией.

Стр. 745. *У Рабле турецкие сцены отдают более грубым балаганом, чем у Мольера.* — Имеются в виду сцены турецкого маскарада из комедии Мольера «Мещанин во дворянстве» (1670).

Стр. 754. *...в октябре 1534 года, смелый выпад реформатов...* — 18 октября 1534 г. гугеноты расклеили в Париже плакаты, содержавшие резкие нападки на папу и требование запрещения «идолопоклоннической» католической церковной службы.

Подобно Бруту в Тарквиниевом Риме... — Брут Луций Юний (VI в. до н. э.) — один из основателей римской республики. Его семья стала жертвой жестокости римского царя Тарквиния; по преданию, Юний Брут спасся, притворившись дурачком; одно время он жил при царском дворе в качестве шута.

Стр. 756. *...вызвало тот самый раскол, который длится доныне.* — Отказ римского папы утвердить развод короля Генриха VIII с испанской принцессой Екатериной Арагонской был использован в Англии для полного разрыва с Ватиканом. «Актом о верховенстве» (1534) парламент провозгласил короля главой английской церкви.

Стр. 762. *Жак Кер* (1395—1456) — французский купец, наживший огромное состояние, был ложно обвинен в государственной измене придворными кругами, заинтересованными в конфискации его имущества.

Стр. 763. *...епископ Синезий в Пентаполе...* — Синезий (ок. 370 — ок. 413) — греческий оратор, епископ города Птолеми. Пентаполь (греч. «Пятиградье») — древнее название части Ливии, где были расположены пять крупных городов, в том числе Птолемея.

Стр. 765. *Клеман Маро* (1496—1544) — французский поэт, был близок к протестантизму. В 1541 г. Сорбонна осудила его

перевод протестантских псалмов, и Маро вынужден был бежать в Женеву.

Стр. 769. *Санти Ломмаки* Елисавет (1729—1808) — мать французского поэта Андре Шенье, родом гречанка с о. Кипр. Автор книги «Греческие письма».

Люсьена — местность недалеко от Версаля.

Стр. 774. *Бласко Ибаньес* Винсенте (1867—1928) — испанский писатель и политический деятель, автор многочисленных романов.

Стр. 775. *Святой Грааль* — чаша, в которую, по церковной легенде, была собрана кровь распятого Христа. Эта легенда легла в основу цикла средневековых рыцарских романов о приключениях рыцаря Персеваля (Парцифаля) и других хранителей святого Грааля.

Стр. 776. *Бонавантюр Деперье* (род. ок. 1510 — ум. в 1543) — один из крупнейших писателей-вольнодумцев французского Возрождения; подвергся преследованиям за антирелигиозную книгу диалогов «Кимвал мира».

Стр. 777. *Фантазио* — персонаж одноименной комедии Альфреда де Мюссе (1833).

Стр. 779. *Иов* — по библейской легенде, праведник, покорно и безропотно переносивший все ниспосланные ему страдания. Иову приписывается одна из книг библии.

Стр. 780. *Паскаль* — см. примеч. к стр. 14.

Стр. 781. *Фессалийские ведьмы*. — Имеется в виду роман Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел», где говорится о ведьмах Фессалии.

...недавно открытых сивилл Микеланджело. — Над росписью потолка Сикстинской капеллы в Риме Микеланджело работал около двух с половиной лет. Капелла была открыта в 1512 г. Рабле был в Риме в 1534 г.

Стр. 787. *Грекур* Жан-Батист (1683—1743) — французский поэт-вольнодумец, в своих произведениях осмеивал монастырские нравы.

Стр. 790. «*Сутяги*» — единственная комедия Жана Расина (1668).

Стр. 791. Автор «*Севильского цирюльника*» — Пьер-Огюстен Карон де Бомарше (1732—1799). Глупый судья Бридуазон — персонаж его комедии «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Трибуле Февриаль — шут при дворе Франциска I. Гюго вывел его в своей драме «Король забавляется» (1832).

Стр. 792. *Пакье* Этьен (1529—1615) — французский законовед и историк, автор исследования о происхождении государственных учреждений Франции.

Стр. 796. *...гражданская война тогда еще не возгорелась, Гизы...* — Речь идет о гражданских или так называемых религиозных войнах во Франции XVI в., которые с небольшими перерывами продолжались более 30 лет (с 1562 по 1594 г.). Гизы — см. примеч. к стр. 530.

Стр. 800. *...путь, который столько раз тщетно искали...* — то есть северный морской путь из Атлантического в Тихий океан через южные проливы Канадского Арктического архипелага. Мысль об отыскании этого пути возникла в XVI в., однако только в 1903—1906 гг. этот путь впервые был пройден с востока на запад и в 1940—1942 гг. с запада на восток.

Стр. 805. *Теодфиль Фоленго* (1496—1544) — автор юмористических поэм, написанных так называемой «макоронической» латынью — шутовским жаргоном, представляющим смесь латыни с латинизированными итальянскими словами. Наиболее известна его поэма «Бальдус».

Стр. 811. *...смерть нечестивого Пентея...* — По древнегреческому мифу, царь Фив Пентей протестовал против учреждения культа бога Диониса. За это разгневанный бог лишил рассудка его мать, и она вместе с вакханками растерзала Пентея. Этот миф лег в основу трагедии Еврипида «Вакханки».

Стр. 813. *Пьер Лоти* (настоящее имя Жюльен Вио, 1850—1923) — французский писатель, один из создателей колониального романа.

Стр. 815. *Атропос* (или Атропа) — в древнегреческой мифологии одна из трех богинь судьбы — Парок; она обрезает нить человеческой жизни.

Стр. 816. *Пан* (греч. миф.) — первоначально почитался как бог стад и полей, покровитель пастухов; затем он приобрел значение всеобъемлющего божества, олицетворяющего природу.

Стр. 818. *Евсевий* Памфил (263—340) — историк раннего христианства.

Апокалипсис — одна из книг христианского Нового завета, содержащая мистические «пророчества» о конце мира.

Стр. 819. *Арен* Поль-Огюст (1843—1896) — поэт, писавший на провансальском языке. Франс посвятил его творчеству очерк «Поль Арэн» (газета «Temps», 1889).

Стр. 820. *Саломон Рейнак* — см. примеч. к стр. 37.

Стр. 832. *Ронсар* Пьер (1524—1585) — крупнейший поэт-лирик французского Возрождения, глава поэтической группы «Плеяда».

Стр. 834. *Демокрит* (470—380 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-материалист; легенда изображает его вечно смеющимся над человеческой глупостью.

Стр. 838. *Брейгель Старший* Питер (1525—1569) — фламандский художник, автор полных юмора и грубоватого реализма картин из народной жизни.

Стр. 839. *...Пуанкаре выступить с новой теоремой...* — Речь идет о теории относительности французского математика Анри Пуанкаре (она была им выдвинута независимо от Эйнштейна). Некоторые буржуазные ученые делали из этой теории неправильный вывод о том, что будто бы системы. Птолемея и Коперника равноправны (являются эквивалентами).

Стр. 842. *Ролен* Шарль (1661—1741) — французский историк и педагог.

Стр. 844. *Филострат*. — Имеется в виду Филострат с Лемноса (III в.) — греческий писатель, автор «Героиков» — комических диалогов о троянских героях.

Стр. 847. *Госпожа Ролан* Манон (1754—1793) — жена жирондиста Ролана, гильотинированная во время французской буржуазной революции конца XVIII в. Ее салон был одним из центров жирондизма. Автор мемуаров.

Стр. 849. *«Голубая библиотека»* — серия дешевых книг, представлявших собой главным образом переделки средневековых рыцарских романов. Издавалась в XVII в. в г. Труа, с XVIII в. — в Париже.

Монтень — см. примеч. к стр. 389; был родом из провинции Гасконь.

Стр. 853. *Элизиум* (греч. миф.) — то же что Елисейские поля, местопребывание теней умерших героев и мудрецов.

Стр. 854. *Мишле* Жюль (1798—1874) — французский историк. В своих многотомных исторических работах «История Франции» (1833—1867) и «История французской революции» (1847—1853) стремился воссоздать живые яркие картины прошлого и характеры исторических деятелей,

Сент-Бев — см. примеч. к стр. 512.

СОДЕРЖАНИЕ

ВОССТАНИЕ АНГЕЛОВ. <i>Перевод М. П. Богословской и Н. Я. Рыковой</i>	7
МАЛЕНЬКИЙ ПЬЕР. <i>Перевод Д. Г. Лившиц</i> . . .	223
ЖИЗНЬ В ЦВЕТУ. <i>Перевод М. В. Вахтерової</i>	403
НОВЕЛЛЫ	
Маргарита. <i>Перевод В. Е. Шор</i>	589
Граф Морен. <i>Перевод В. Я. Парнах</i> . . .	611
Пасха, или Освобождение. <i>Перевод Ю. В. Корнеева</i>	630
Земля. <i>Перевод Е. А. Гунста</i>	637
Чудо со скупым. <i>Перевод Н. А. Сигал</i> . .	639
Штурм. <i>Перевод Е. А. Корнеевой</i>	653
Диалог в аду. <i>Перевод Ю. Б. Корнеева</i> . .	660
Одно из величайших открытий нашего времени. <i>Перевод Е. А. Гунста</i>	666
РАБЛЕ. <i>Перевод Н. М. Любимова</i>	685
<i>Комментарии И. А. Лилевой</i>	859

АНАТОЛЬ ФРАНС

Собрание сочинений, т. 7

Редактор *С. Брахман*. Худож. редактор *Л. Калитовская*.
 Оформление художника *Л. Зусмана*.
 Технич. редактор *Ф. Артемьева*. Корректор *В. Брагина*.

Сдано в набор 23/1 1959 г. Подписано к печати 7/IV 1959 г.
 Бумага 84 X 108^{1/32} — 29 печ. л. 47,56 усл. печ. л.
 45,55 уч.-изд. л. + 1 вкл. = 45,6 л. Тираж 240 000.

Заказ № 728. Цена 17 р.

Гослитиздат, Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление
 полиграфической промышленности. Типография № 1
 «Печатный Двор» имени А. М. Горького.
 Ленинград, Гатчинская, 26.